3 1761 08821003 4

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/polnoesobranieso12mami

M2655B

Mamin, Dmitry Nakisovich

Д. Н. МАМИНЪ-СИБИРЯКЪ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Polnoe sobranie sochineny

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА
И КРИТИКО-БІОГРАФИЧЕСКИМЪ ОЧЕРКОМЪ П. В. БЫКОВА

494379
7.7.49

ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ

(VII)

ИЗДАНІЕ Т-ВА А. Ф. МАРКСЪ * ПЕТРОГРАДЪ

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1917 г.

Артистическое заведеніе Т-ва А. Ф. МАКРСЪ. Петроградъ, Измайловскій пр., № 29.

ПАДАЮЩІЯ ЗВѢЗДЫ.

Романъ.

О, сынъ мой, плачь:
Еще звѣзда скатилась...
Беранже.

I.

Въ отдѣльномъ кабинетѣ моднаго загороднаго кабака „Кружало“ стояла какая-то одуряющая атмосфера. Пахло апельсинами, ликерами, ѣдкимъ дымомъ дорогихъ сигаръ и просто людьми, которые долго и много пили. Бургардтъ чувствовалъ, какъ у него начала тяжело кружиться голова, а вмѣстѣ съ ней и вся комната. Сидѣвшій напротивъ него Сахановъ то казался ему такимъ маленькимъ-маленькимъ, то начиналъ вытягиваться въ длину, точно складной англійскій аршинъ. Но хуже всего было то, когда жирное и бѣлобрысое лицо Саханова съ глазами жареной корюшки начинало струиться и переливаться, какъ вода. Оно именно струилось, и Бургардтъ напрасно старался фиксировать его, закрывая то одинъ, то другой глазъ. Кто-то неестественно-громкимъ голосомъ спорилъ, кто-то удушливо хохоталъ, гдѣ-то, сейчасъ за стѣной, назойливо бренчало разбитое піаниино и слышалось вызывающее взвизгиваніе женскихъ голосовъ.

— Эге, надо пройтись... — соображалъ Бургардтъ, невѣрнымъ движеніемъ поднимаясь со стула.

Повидимому, стулъ былъ очень пьянъ, потому что покачнулся и полетѣлъ на полъ, а Бургардтъ едва удержался, схватившись за столъ, причемъ сильно дернулъ скатерть и въ то же время наступилъ на платье своей сосѣдки Ольги Спиридоновны. Нѣсколько стакановъ опрокинулось, а изъ одного обдало Ольгу Спиридоновну какимъ-то красноватымъ кабацкимъ пойломъ, составленнымъ по самому замысловатому рецепту. Ольга Спиридоновна какъ-то зашипѣла, сбрасывая съ платья ломтики ананаса и апельсина:

— Въ какой вы конюшнѣ воспитывались, Егоръ Захарычъ?

Онъ посмотрѣлъ на ея обозленное, вспыхнувшее красными пятнами лицо и приготовился сказать какую-то дерзость, но именно въ этотъ рѣшительный моментъ лицо Ольги Спиридоновны начало струиться, какъ у Саханова.

— О, ммилая... — прошепталъ Бургардтъ коснѣющимъ языкомъ.

Ольга Спиридоновна окинула его уничтожающимъ взглядомъ, брезгливо повела плечами и отвернулась. Она чувствовала, что Красавинъ смотритъ на нее улыбающимися глазами, и не хотѣла показать ему, что разсердилась.

— Почему у васъ, Ольга Спиридоновна... глаза круглые? — спрашивалъ Бургардтъ, покачиваясь. — Совершенно круглые, какъ у кошки...

— Потому что я вѣдьма, — бойко отвѣтила она, не поворачивая головы.

— Дѣйствительно... — согласился добродушно Бургардтъ. — Удивительно, какъ я этого раньше не замѣчалъ... Совершенно вѣдьма!..

Эта маленькая сцена вызвала общій смѣхъ. Даже улыбнулся Красавинъ, а этого было достаточно, чтобы всѣмъ сдѣлалось весело. Сахановъ хохоталъ какимъ-то визгливымъ бабьимъ голосомъ, показывая свои гнилые зубы. Актеръ Бахтеревъ хохоталъ, запрокинувъ голову, а сидѣвшая рядомъ съ нимъ натурщица Шура улыбалась просто изъ вѣжливости, потому что никогда не понимала шутокъ. Смѣялся извѣстный „другъ артистовъ“ Васяткинъ, ему вторилъ не менѣе извѣстный любитель Петюковъ, и только хмуро молчалъ капитанъ Шпиловъ, неизмѣнный другъ Красавина.

Бургардтъ посмотрѣлъ на всю компанію осоловѣвшими глазами и, махнувъ рукой, направился къ дверямъ.

Онъ шелъ по какому-то коридору, состоявшему изъ хлопавшихъ дверей и „услужающихъ“ татаръ, потомъ спустился по какой-то лѣстницѣ, прошелъ мимо буфета и очутился въ чахломъ садикѣ съ большой утрамбованной площадкой. Вездѣ горѣли разноцвѣтные фонарики, сверху лился раздражающей волной мертвый электрическій свѣтъ, передъ открытой эстрадой игралъ плохонькій оркестръ. Бургардтъ мечталъ о маленькомъ балкончикѣ, который вытянулся надъ самой водой, но ему мѣшалъ итти какой-то господинъ въ котелкѣ.

— Милостивый государь, держите налѣво, — грубо замѣтилъ Бургардтъ.

— А вы держите направо! — не менѣе грубо отвѣтилъ котелокъ.

Это разозлило Бургардта. Онъ остановился передъ котелкомъ въ угрожающей позѣ и, тыкая себя въ грудь, съ пьянымъ азартомъ проговорилъ:

— Я — Бургардтъ... понимаете? Скульпторъ Бургардтъ...

Котелокъ остановился, дерзко смѣрялъ съ головы до ногъ знаменитаго скульптора и отвѣтилъ:

— Очень радъ... Имѣю честь рекомендоваться въ свою очередь: фабрикантъ Ивановъ... У меня фабрика никелированія живыхъ ершей.

Отвѣтъ былъ достоинъ того мѣста, гдѣ былъ данъ. Бургардтъ почувствовалъ чисто-кабацкое оскорбленіе и поднялъ руку, но въ этотъ моментъ кто-то почтительно удержалъ его сзади.

— Ваше сіятельство, не извольте безпокоиться.

Когда Бургардтъ оглянулся, передъ нимъ стоялъ лакей, татаринъ Ахметъ. Особенно дорогіе гости были распредѣлены между прислугой „Кружала“, и Ахмету достался Бургардтъ, извѣстный между услужающей татарской челядью подъ кличкой „профессора“.

— Мадамъ ждетъ, ваше сіятельство... — бормоталъ Ахметъ.

— Какая мадамъ?

— Марина Игнатьевна... Онѣ сидятъ на балкончикѣ...

Взрывъ энергіи у Бургардта смѣнился разомъ какой-то мертвой усталостью. Онъ повернулся и покорно зашагалъ къ главному зданію, иллюминованному разноцвѣтными шкаликами и электрическимъ солнцемъ.

— А ты знаешь Ольгу Спиридоновну? — спрашивалъ онъ, по пьяной логикѣ возвращаясь къ давешней сценѣ.

— Помилуйте-съ, кто же ихъ не знаетъ-съ, ваше сіятельство...

— Она — вѣдьма, Ахметка... да..

Поднимаясь по лѣстницѣ, Бургардтъ нѣсколько разъ останавливался и спрашивалъ:

— Ты кто такой?

— Услужающій, ваше сіятельство...

Они опять шли по коридору съ хлопающими дверями, опять сторожившіе въ коридорѣ татары почтительно давали имъ дорогу, пока Ахметъ не распахнулъ дверь, выходившую на небольшой балкончикъ, гдѣ сидѣла дама, кутавшаяся въ шелковый китайскій платокъ.

— Ахметъ, ты можешь уходить... — устало замѣтила она.

— Слушаюсь-съ...

— Подожди... Ты дашь сюда содовой воды и...

— Понимаю, ваше сіятельство.

Она усадила Бургардта на стулъ, пощупала его горѣвшій лобъ, поправила спутавшіеся волосы и заговорила покровительствующимъ тономъ старшей сестры:

— Егорушка, развѣ можно такъ напиваться? Вѣдь вы знаете, что портеръ для васъ настоящій ядъ...

— А если она вѣдьма? — съ пьяной логикой отвѣтилъ Бургардтъ, раскачиваясь на своемъ стулѣ. — Совершенно вѣдьма... Это такъ смѣшно.

— Очень смѣшно... Вы посмотрѣли бы на себя, въ какомъ вы видѣ сейчасъ. Ахъ, Егорушка, Егорушка...

— Да, совершенный ядъ... знаю... А у ней глаза дѣлаются совсѣмъ круглые, когда она сердится... Ха-ха! Какъ у кошки... Я этого раньше совсѣмъ не замѣчалъ...

Она подвинулась къ нему совсѣмъ близко, обняла одной рукой, а другой поднесла къ его носу флаконъ съ англійской солью. Онъ потянулъ знакомый острый запахъ, сморщился и засмѣялся. Ему нравилось, что она ухаживаетъ за нимъ, и поэтому онъ опять разсердился на котелокъ и даже погрозилъ кулакомъ внизъ, гдѣ по аллеямъ бродила публика. О, онъ бы показалъ этому негодяю такихъ ершей... Но сейчасъ онъ не могъ разсердиться по-настоящему, потому что его шею обвила такая теплая женская рука, потому что пахло знакомыми духами, потому что въ моментъ опьяненія онъ любилъ чувствовать присутствіе хорошенькой женщины, которая позволяла капризничать. Да, какая хорошая эта Марина Игнатьевна, а Ольга Спиридоновна — вѣдьма съ круглыми кошачьими глазами.

— Марина, я васъ люблю... очень..

Она даже не улыбнулась, а только отодвинулась, потому что послышались шаги Ахмета.

Лакей подалъ бутылку содовой воды и пузырекъ съ нашатырнымъ спиртомъ. Марина Игнатьевна сдѣлала ему знакъ головой, что онъ можетъ исчезнуть, а потомъ осторожно отмѣрила въ стаканъ двѣ капли нашатырнаго спирта, налила воды и изъ своихъ рукъ заставила выпить все.

— Вотъ такъ, Егорушка... И больше портера я вамъ не дамъ. Понимаете? Мы еще на пароходѣ поѣдемъ кататься... будетъ хоръ музыки... цыгане... А то Сахаповъ завтра разнесетъ по городу: „Бургардтъ былъ пьянъ мертвецки"... Всѣ будутъ смѣяться. Пожалуйста, пейте осторожнѣе, а то обольете меня всю, какъ давеча Ольгу Спиридоновну... Она вамъ этого никогда не проститъ. За каждое пятнышко на платьѣ она бьетъ свою горничную по щекамъ, а потомъ проситъ у нея прощенія.

Онъ молча поцѣловалъ ея руку, что заставило ее вздрогнуть и отодвинуться.

II.

Принятое лѣкарство подѣйствовало очень быстро. Бургардтъ выпрямился и встряхнулъ головой, какъ человѣкъ, проснувшійся отъ тяжелаго сна. Въ слѣдующій моментъ онъ удивился, что сидитъ на балконѣ tête-à-tête съ Мариной Игнатьевной, и проговорилъ:

— Хорошо...

Отвѣта не послѣдовало. Марина Игнатьевна облокотилась на барьеръ и смотрѣла на Неву. Она любила большую воду, которая нагоняла на нее какую-то сладкую тоску. И теперь она легонько вздохнула, поддаваясь этому смутному, уносившему въ невѣдомую даль чувству. А какъ была сейчасъ хороша эта красавица Нева, разстилавшаяся живой блестящей тканью. Гдѣ-то въ густой зелени противоположнаго берега мелькали, точно свѣтляки въ травѣ, огоньки дачъ, и такіе же свѣтляки быстро неслись по рѣкѣ. Налѣво Нева была перехвачена громаднымъ деревяннымъ мостомъ, точно деревяннымъ кружевомъ. И мостъ, и береговая зелень, и огоньки дачъ—все это отражалось въ водѣ, которая блестѣла и переливалась искрившейся чешуей, точно она была насыщена бѣлесоватой мглой бѣлой петербургской ночи.

— Ей-Богу, хорошо... — проговорилъ Бургардтъ.

— Ничего нѣтъ хорошаго... — лѣниво отвѣтила она, желая поспорить. — Я вообще не люблю этихъ безлунныхъ бѣлыхъ ночей. Есть что-то такое больничное въ освѣщеніи... Да, именно такой свѣтъ бываетъ въ больницахъ, гдѣ окна съ матовыми стеклами.

— Сентиментальное сравненіе.

— Что̀ же худого въ сентиментальности?

— Договаривайте: лучше, чѣмъ реализмъ... пьяный...

— Не спорю...

Она печально улыбнулась и замолчала. Онъ посмотрѣлъ на нее, и ему вдругъ сдѣлалось жаль вотъ эту самую Марину Игнатьевну, охваченную раздумьемъ своей собственной безлунной ночи. А вѣдь она красива и даже очень красива, красива по-настоящему, красива настоящей породистой красотой. Одинъ ростъ чего сто̀итъ. А лицо, тонкое и выразительное, съ затаенной лаской въ каждомъ движеніи, съ безукоризненнымъ профилемъ дорогой камеи, съ живой рамой слегка вившихся, какъ шелкъ, мягкихъ русыхъ волосъ, съ маленькимъ ртомъ—это была красавица, напоминавшая монету изъ драгоцѣннаго металла высокой пробы. Рядомъ съ ней Бургардтъ чувствовалъ себя мужикомъ, къ которому по странной ироніи судьбы была приклеена нѣмецкая фамилія. У него и ростъ, и коренастый складъ всей фигуры, и широкое лицо съ окладистой бородой, и мягкій носъ картошкой, и широкій ротъ, складывавшійся въ продававшую всего человѣка добрую славянскую улыбку — все было русское, мужицкое.

Она точно почувствовала его добрыя мысли, улыбнулась, придвинулась къ нему совсѣмъ близко, такъ что ея головка касалась его плеча, и заговорила:

— Егорушка, вамъ хорошо сейчасъ?.. Рѣка... огоньки... кто-то живетъ вонъ на тѣхъ дачахъ... да?.. Можетъ-быть, кто-нибудь кого-нибудь сейчасъ ждетъ, кто-нибудь страдаетъ, кто-нибудь радуется, кто-нибудь любитъ, тихо и безотвѣтно, какъ безотвѣтна вотъ эта нѣмая бѣлая ночь... У каждаго и свое горе и своя радость, и каждый увѣренъ, что міръ созданъ только для него. А я хотѣла бы сидѣть вотъ такъ долго-долго... Пусть идутъ минуты,

часы, дни, недѣли, мѣсяцы, годы, а я чувствовала бы себя спокойно-спокойно, какъ загипнотизированная...

Ея тонкіе пальцы перебирали его спутанные волосы. Ему хотѣлось сказать ей что-нибудь такое ласковое, доброе, хорошее, что̀ отвѣтило бы ея сентиментальному настроенію.

— Марина, милая, если бы вы знали...

Она быстро закрыла его ротъ своей рукой и строго проговорила:

— Егорушка, я не принимаю милостыни... Можно вѣдь и безъ этого. Я знаю, что вы меня не любите, и не огорчаюсь... А знаете, почему? Очень просто: вы не можете любить... У меня не можетъ быть счастливой соперницы...

— Это почему?

— Опять просто: вы состарѣлись, Егорушка, состарѣлись душой... Васъ слишкомъ баловали женщины, и вамъ *нечѣмъ* сейчасъ любить.

Бургардтъ засмѣялся. Марина умѣла быть умной какъ-то совсѣмъ по-своему и притомъ совершенно неожиданно. Впрочемъ, такое умное настроеніе такъ же быстро и соскакивало съ нея, какъ это было и сейчасъ. Марина Игнатьевна вздохнула и проговорила:

— А ваша Шура имѣетъ успѣхъ...

— Почему она моя, Марина?

— Я не точно выразилась: ваша натурщица, Егорушка. Конечно, это успѣхъ новинки... Красавинъ лишенъ способности увлекаться, какъ и вы, и ему нужно что-нибудь экстравагантное, острое, а у Шуры ему больше всего нравится дѣтское выраженіе ея глупаго личика.

— Да, Америка была открыта до нея...

— И знаете, Егорушка, мнѣ почему-то жаль ее, вотъ эту глупенькую поденку, какъ Сахановъ называетъ окружающихъ Красавина женщинъ. И вы виноваты, что толкнули ее на эту дорогу...

— Я?! Вся моя вина въ томъ, что Красавинъ видѣлъ ее у меня въ мастерской. Я больше ничего не знаю... Впрочемъ, какъ мнѣ кажется, наши сожалѣнія немного запоздали.

— Да, я видѣла, какъ давеча она пріѣхала въ коляскѣ Красавина.. Вотъ въ такой коляскѣ ея погибель. Привязанности Красавина мѣняются съ такой же быстротой, какъ и начинаются. Ахъ, какъ давеча Ольга Спиридоновна ѣла глазами эту несчастную Шуру... Рѣшительно не понимаю такихъ женщинъ... Не знаю, было у нея что-нибудь съ Красавинымъ или нѣтъ, но она такъ старается понравиться ему, а это губитъ женщину.

— У Ольги Спиридоновны своя психологія, Марина, и, какъ кажется, она не можетъ пожаловаться на судьбу.

— Да, но вопросъ въ томъ, чего требовать отъ судьбы?..

— Не больше того, что̀ можетъ быть исполнено.

— Виновата, я, кажется, коснулась вашего больного мѣста, Егорушка: вы ухаживали за Ольгой Спиридоновной...

— Да...

— А сейчасъ?

— Сейчасъ мое мѣсто старается занять Сахановъ, но, повидимому, безъ особеннаго успѣха.

— Вотъ кого я ненавижу отъ всей души! — подхватила Марина Игнатьевна съ особеннымъ оживленіемъ. — Ненавижу и въ то же время боюсь... Мнѣ кажется, что нѣтъ на̀ свѣтѣ хуже человѣка, какъ этотъ Сахановъ... Вѣдь это

онъ совращаетъ эту несчастную Шуру. Вы бы послушали, что̀ онъ ей говоритъ иногда...

— И я его тоже не люблю...

— Почему же Сахановъ считается однимъ изъ самыхъ близкихъ вашихъ друзей, Егорушка?

— Моимъ другомъ онъ никогда не былъ, но онъ умный человѣкъ... Да, очень умный человѣкъ, а умъ — неотразимая сила, какъ и красота. Такъ мы сегодня ѣдемъ?

— Да... какая-то прогулка по взморью, потомъ на тони... Однимъ словомъ, цѣлый рядъ совершенно ненужныхъ глупостей. Ахъ, какъ мнѣ все это надоѣло, Егорушка!

— Чего же мы ждемъ? Кажется, уже пора...

— Не знаю... Вѣроятно, готовится какой-нибудь неожиданный сюрпризъ. Я это подозрѣваю... Должно-быть, Васяткинъ что-нибудь придумалъ. Онъ давеча о чемъ-то шептался съ Сахановымъ, а потомъ исчезъ. Вѣдь они изъ кожи лѣзутъ, чтобы выслужиться передъ Красавинымъ. Гадко смотрѣть... Послушайте, намъ пора вернуться, а то Ольга Спиридоновна воспользуется случаемъ наговорить по моему адресу Богъ знаетъ что̀. Она, вообще, преслѣдуетъ меня...

Бургардтъ настолько оправился, что вернулся въ кабинетъ почти трезвымъ.

— А гдѣ же ваша сестра милосердія? — спросила Ольга Спиридоновна, сладко улыбаясь.

— Какая сестра милосердія? Ахъ, да... Вы спрашиваете про Марину Игнатьевну? — она сейчасъ должна вернуться. Мы съ ней гуляли въ саду...

— Прогулка молодыхъ людей, подающихъ надежды?

— Именно...

Появленіе Антипа Ильича Красавина въ „Кружалѣ“ составляло цѣлое событіе, что̀ чувствовалось послѣднимъ татарченкомъ. „Кружало“ только весной возникло на пепелищѣ прогорѣвшаго сада „На огонекъ“. Все было реставрировано въ томъ миѳическомъ стилѣ, въ какомъ устраиваются всѣ загородные кабаки, и весь вопросъ сводился только на то, поѣдетъ ли въ „Кружало“ настоящая публика, та публика, которая задаетъ тонъ всему. Конечно, провертывались хорошіе гости, какъ квасоваръ Парееновъ или мѣховой торговецъ Букинъ — они оставляли въ одинъ вечеръ тысячи по три и заказывали шампанское прямо сотней бутылокъ. Но, во-первыхъ, все это были гости случайные, а во-вторыхъ — они еще не давали имени новому кабаку. Вотъ Красавинъ другое дѣло... Хозяинъ „Кружала“ готовъ былъ угощать его даромъ, чтобы потомъ имѣть право сказать:

— А у насъ Антипъ Ильичъ весьма уважаютъ венгерскій хоръ...

Въ заколдованномъ кругу веселящагося „всего Петербурга“ это было самое яркое имя, хотя Красавинъ столько же принадлежалъ Москвѣ, какъ и Петербургу. Онъ переѣзжалъ съ мѣста на мѣсто дорогимъ и желаннымъ гостемъ. Хозяинъ „Кружала“ бѣгалъ сейчасъ по коридору и, грозя услужающимъ татарамъ кулакомъ, повторялъ:

— Вы у меня смотрите, зебры полосатыя...

III.

Самъ Красавинъ почти ничего не пилъ, кромѣ содовой воды, подкрашенной какимъ-то мудренымъ виномъ. Это былъ плечистый мужчина съ окладистой русой бородой, того неопредѣленнаго возраста, который Сахановъ

называлъ „петербургскимъ“. Широкая, крѣпкая шея съ краснымъ наливомъ, широкое лицо съ тугимъ румянцемъ, каріе глаза съ поволокой, слегка вьющіеся русые волосы безъ малѣйшихъ слѣдовъ сѣдины — все, кажется, говорило о завидномъ богатырскомъ здоровьѣ, а между тѣмъ этотъ богатырь въ глазахъ свѣтилъ медицинской науки былъ обреченнымъ человѣкомъ, дни котораго сочтены. Красавинъ, вообще, являлся таинственнымъ человѣкомъ, который всплылъ на бурную поверхность столичной жизни изъ неизвѣстныхъ глубинъ и котораго одни считали милліонеромъ, а другіе — нищимъ.

— Все это сплетни,—рѣшилъ разъ и навсегда Сахановъ.—Вѣрно одно, что Антипъ Ильичъ аккуратно уплачиваетъ по всѣмъ рестораннымъ счетамъ...

Конечно, это было передано Красавину, но онъ ничего не отвѣтилъ, какъ и вообще не любилъ терять напрасно слова. Онъ гдѣ-то и что-то такое дѣлалъ, устраивалъ, хлопоталъ и проводилъ, какъ всѣ дѣльцы, а отдыхалъ въ смѣшанномъ обществѣ артистовъ, художниковъ и особаго сорта интеллигенціи, которая охотно собирается на даровую кормежку. Изъ собравшихся въ номерѣ гостей едва ли кто-нибудь могъ опредѣленно сказать, что̀ такое Красавинъ, да мало этимъ и интересовались. Извѣстно было только, что онъ изъ заволжскихъ раскольниковъ и имѣетъ громадныя связи въ средѣ московскихъ старообрядцевъ-милліонеровъ. Ходили слухи, что раньше онъ пилъ запоемъ, а сейчасъ, когда на него накатывалась запойная тоска, ограничивался тѣмъ, что собиралъ около себя пьющую „братію“. Какъ у всѣхъ богачей, у Красавина былъ другъ, такой же таинственный человѣкъ, котораго всѣ называли Алешей. Онъ сейчасъ сидѣлъ около хорошенькой натурщицы Шуры и слѣдилъ за каждымъ движеніемъ патрона, какъ лягавая собака.

Эта Шура была послѣднимъ номеромъ изъ тѣхъ сомнительныхъ дамъ, которыя какъ-то неожиданно появлялись среди красавинской „братіи“ и такъ же неожиданно исчезали. Дѣвушка равнодушно смотрѣла на всѣхъ своими дѣтскими глазами и улыбалась при малѣйшемъ удобномъ случаѣ, что̀ ее портило. Красивое дѣвичье лицо, обрамленное шелковыми прядями мягкихъ, слегка вившихся русыхъ волосъ, точно было нарисовано какимъ-то капризнымъ художникомъ, который вложилъ въ это лицо неуловимую молодую прелесть. Всего красивѣе у Шуры былъ ротъ, очерченный съ изумительной граціей. Но главное достоинство было не въ лицѣ, а въ тѣлѣ, какъ это всѣ знали по эскизамъ Бургардта. Въ своей компаніи она была извѣстна подъ кличкой „Ню“. Шура была сложена, какъ статуя, и ее портили только руки, маленькія и нѣжныя, но съ слишкомъ короткими пальцами.

— У нея точно чужія руки...—говорила Ольга Спиридоновна, не выносившая женскаго превосходства.

Вернувшись въ номеръ, Бургардтъ нашелъ свое мѣсто занятымъ,—на его стулѣ сидѣлъ актеръ Бахтеревъ, котораго Ольга Спиридоновна нарочно подозвала, чтобы „отшить“ Бургардта. Въ минуты раздраженія она не стѣснялась выраженіями и любила пустить вульгарное словечко. Бургардтъ подсѣлъ къ Шурѣ и молча взялъ ее за руку, отчего дѣвушка засмѣялась, какъ смѣются отъ щекотки.

— Вамъ весело, Шурочка?

— Такъ себѣ, Егоръ Захаровичъ. Я не умѣю плакать.

— Это отлично.

Бургардтъ любилъ свою натурщицу и относился къ ней, какъ къ избалованному ребенку. Онъ не ухаживалъ за ней, но чувствовалъ себя въ ея присутствіи какъ-то легче, какъ и другіе, точно она заражала всѣхъ своей

цвѣтущей молодостью. Шура знала, что Бургардтъ любитъ портеръ, и незамѣтно подала ему полный стаканъ. Она видѣла, какъ слѣдитъ за нимъ Марина Игнатьевна, и дѣлала на зло ей изъ дѣтской шаловливости. Бургардтъ собственно не хотѣлъ больше пить, но изъ духа противорѣчія, чтобы подразнить „сестру милосердія“, выпилъ свой стаканъ залпомъ. Шура опять смѣялась, незамѣтно наливая второй стаканъ.

— Я боюсь Марины Игнатьевны...—шепнула она Бургардту.—Она такими злыми глазами смотритъ на меня.

— Страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ.

Публику занималъ одинъ Сахановъ, разсказывавшій самый послѣдній анекдотъ о какой-то актрисѣ, которая по близорукости приняла чужого мужа за своего, „со всѣми послѣдствіями“ такой опасной близорукости.

Красавинъ слушалъ равнодушно и все посматривалъ на дверь, какъ по его примѣру инстинктивно дѣлали и другіе, даже Ольга Спиридоновна, начинавшая что-то подозрѣвать. А Шура продолжала подливать Бургардту его стаканъ и незамѣтно перемѣнила свой стаканъ съ шампанскимъ. Бургардтъ поймалъ ее въ подлогѣ и на зло ей залпомъ выпилъ шампанское. Эта смѣсь быстро произвела свое дѣйствіе, и онъ необыкновенно быстро захмелѣлъ.

— Не пейте больше, ради Бога!—проговорила ему на ухо Марина Игнатьевна.

Но Бургардтъ уже былъ въ такомъ настроеніи, что не могъ слушать совѣтовъ, и отвѣтилъ какой-то грубостью. Шура кусала губы отъ смѣха, когда „сестра милосердія“ отъѣхала ни съ чѣмъ.

Дальнѣйшія событія для Бургардта точно заволокло туманомъ, и онъ потерялъ нить въ поступательномъ ихъ движеніи. Ему почему-то не нравилось, что Алеша слишкомъ близко сидитъ около Шуры и даже фамильярно положилъ свою руку на спинку ея стула.

— Вы! Господинъ хорошій! Такъ нельзя!—грубо замѣтилъ ему Бургардтъ.

Алеша что-то ему отвѣтилъ, и Бургардтъ готовъ былъ разсердиться, если бы не вмѣшалась Шура и прошептала:

— Миленькій... не стòитъ... бросьте.

Дальнѣйшія событія уже окончательно заволоклись туманомъ. Какъ сквозь сонъ Бургардтъ видѣлъ, какъ появился Васяткинъ, юркій господинъ въ пенснэ, и какъ всѣ разомъ поднялись со своихъ мѣстъ. Марина Игнатьевна опять подошла къ Бургардту и шепнула:

— Проводите меня, Егорушка.

— Вы домой? Нѣтъ... н-не желаю... да... вы меня будете отпаивать чаемъ, а я не хочу.

Въ номерѣ появились услужающіе татары и смотрѣли на Красавина какими-то жадными глазами. Шура была огорчена, что Красавинъ не подалъ ей руки, а повелъ Ольгу Спиридоновну. Ей пришлось довольствоваться обществомъ Алеши.

— Пойдемте и мы, Егоръ Захаровичъ!—говорилъ Бахтеревъ, подхватывая Бургардта подъ руку.—Пора!

— Куда и зачѣмъ?

— Пароходъ ждетъ...

— А...

Въ коридорѣ ихъ обгоняли цыганки, подталкивая другъ друга, какъ выпущенныя изъ класса школьницы.

— Гм... Антипъ Ильичъ не забылъ о провизіи...—соображалъ Бахтеревъ вслухъ, обнимая свободной рукой смуглую и костлявую цыганку.— Куда, фараоны?

— А мы съ вами на пароходъ.

Проходя садомъ, Бургардтъ вспомнилъ, какъ давеча обидѣлъ его господинъ въ котелкѣ, и началъ ругаться въ пространство, показывая кулаки.

— О, я ему покажу... да...

— Пренебрегите, Егоръ Захаровичъ!—уговаривалъ Бахтеревъ.

Когда они подходили уже къ пристани, Бургардтъ остановился и заявилъ, что не пойдетъ на пароходъ, потому что Красавинъ его не приглашалъ.

— Всѣхъ приглашалъ... значитъ, и васъ... Главное: на тони поѣдемъ. Я—страстный рыболовъ и лѣтомъ цѣлые дни просиживаю гдѣ-нибудь съ удочкой. А сейчасъ должны итти лососки. Понимаете, будемъ варить уху на свѣжемъ воздухѣ.

Послѣднее убѣдило Бургардта. Вѣдь и онъ тоже въ юности былъ страстнымъ рыбакомъ и проводилъ на Невѣ цѣлые дни. Милая, родная рѣка. Что̀ можетъ быть красивѣе Невы? А петербуржцы, какъ оглашенные, бѣгутъ на какія-то дачи.

— Знаешь что̀, Бахтеревъ?—заговорилъ Бургардтъ, останавливая артиста.—Наплюемъ на этихъ дурацкихъ цыганъ и на тоню, а возьмемъ лодку, уѣдемъ куда-нибудь на Лахту, разведемъ костеръ. Боже мой, что̀ лучше, какъ провести цѣлую ночь въ лѣсу у огонька? Голубчикъ... милый... поѣдемъ!

Этотъ планъ Бахтеревымъ не былъ принятъ, и онъ потащилъ Бургардта на пароходъ.

— Что̀ же это такое... опять пьянство...—шепталъ Бургардтъ, теряя способность къ сопротивленію.

IV.

Финляндскій пароходъ, расцвѣченный фонариками, стоялъ не у пристани, а прямо у берега. Слышалось легкое ворчаніе машины, гдѣ-то попыхивалъ бѣлыми клубами паръ, изъ трубы завивавшійся черной полосой тянулъ дымъ. На пароходѣ все было устроено еще въ Петербургѣ: поставлены столы, устроена закуска. Кухня помѣщалась въ носу. Все общество размѣстилось въ длинной каютѣ, кто гдѣ хотѣлъ. Бургардтъ замѣтилъ только одно, что Марина Игнатьева не поѣхала домой, а осталась съ нарочной цѣлью слѣдить за нимъ. Чтобы досадить ей, онъ выпилъ большую рюмку англійской горькой и ушелъ на носъ, чтобы полюбоваться Невой. По дорогѣ суетившійся Васяткинъ едва не сшибъ его съ ногъ.

— Ахъ, pardon!

Услужающіе татары изъ „Кружала“ тащили еще какія-то закуски, посуду и ящики съ бутылками, точно снаряжалась экспедиція на сѣверный полюсъ. Помѣстившись на самомъ носу парохода, Бургардтъ молча любовался красавицей Невой, которая отражала сейчасъ разноцвѣтные фонарики парохода. Что-то такое чудное и хорошее въ этой живой, вѣчно движущейся водѣ, какая-то скрытая сила и манящій покой. Недаромъ Марина Игнатьевна боялась воды: ее такъ и тянуло броситься въ рѣку.

Пароходъ далъ свистокъ и грузно началъ отдѣляться отъ берега. Слышно было, какъ винтъ рылъ воду, а машина прибавляла хода. Пароходъ легко

и свободно врѣзывался своей желѣзной грудью въ застывшую рѣчную гладь и, распахнувъ ее могучимъ движеніемъ, оставлялъ за собой бурно двоившійся, широко-волнистый слѣдъ.

— Какъ хорошо, какъ хорошо...—шепталъ Бургардтъ, подставляя горѣвшее лицо поднимавшемуся отъ движенія парохода вѣтру.

Плыли мимо нижіе зеленые берега, мелькали гдѣ-то въ зеленои гущѣ привѣтливые огоньки, быстро появлялись и еще быстрѣе исчезали лодки съ темными силуэтами сидѣвшихъ въ нихъ людей, давали свистки встрѣчные пароходики, пока все это не скрылось, уступивъ мѣсто широко налитому взморью. Боже, какъ хорошо было это подернутое матовой бѣлизной море, это свѣтившееся фосфорическимъ свѣтомъ небо, эта уходившая изъ-подъ парохода водяная гладь... Бургардту вдругъ страстно захотѣлось подѣлиться съ кѣмъ-нибудь своимъ настроеніемъ, и онъ вспомнилъ о Маринѣ Игнатьевнѣ.

— Да... только она пойметъ эту красоту. У нея есть чувство природы.

Бургардтъ уже поднялся, чтобы итти въ каюту, какъ раздалось цыганское пѣніе. Какой-то невообразимо дикій мотивъ поднялся дыбомъ, перемѣшиваясь съ брянчаньемъ цыганскихъ гитаръ. Бургардтъ даже заткнулъ уши. Неужели это кому-нибудь можетъ нравиться? Визгливые женскіе голоса съ гортаннымъ, надтреснувшимъ тембромъ, яркія вскрикиванія, раздражающее брянчанье гитаръ—въ общемъ, все это напоминало звонъ разбитой посуды.

— Нѣтъ, я пойду и скажу, что это... безобразіе!—рѣшилъ Бургардтъ.— Да... безобразіе... и самое скверное! Какъ не стыдно восхищаться этимъ дурацкимъ визгомъ и уханьемъ!

Цыгане столпились у входа въ каюту, такъ что ему пришлось расталкивать ихъ. Онъ отыскалъ глазами сидѣвшаго на дальнемъ концѣ стола Красавина, чтобы высказать ему все, и вдругъ остановился. Около мецената сидѣла бѣлокурая стройная дѣвушка съ удивительнымъ лицомъ. Она смотрѣла на него и улыбалась—улыбка у нея была тоже удивительная, быстро появлявшаяся и такъ же быстро исчезавшая.

— Кто это?—спросилъ Бургардтъ сидѣвшую недалеко Марину Игнатьевну.

— Не знаю...—сухо отвѣтила та.—Кажется, новая прихоть нашего принципала. А что: поражены?

— Да... что-то необыкновенное... изумительное.

— Знаю одно, что—англичанка. А вонъ ея мать сидитъ—крашеные рыжіе волосы и наштукатуренное лицо. Настоящая милашка! Это все сюрпризы Васяткина. Посмотрите на этого негодяя, какъ онъ доволенъ и счастливъ.

Хоръ дико завывалъ, гитары брянчали, хриплый баритонъ выводилъ какую-то нелѣпую руладу, а Бургардтъ все смотрѣлъ на бѣлокурую незнакомку и не могъ прійти въ себя. Красавинъ что-то такое ей говорилъ, жестикулируя сильнѣе обыкновеннаго, а она улыбалась ему непонимающей улыбкой и что-то такое старалась объяснить руками.

— Боже мой! Да вѣдь она нѣмая?!—невольно крикнулъ Бургардтъ, всплеснувъ руками отъ охватившаго его ужаса.

Это восклицаніе вызвало общій смѣхъ. Ольга Спиридоновна такъ и залилась, закрывая ротъ платкомъ. Къ Бургарду подошелъ Саханожъ и, слащаво улыбаясь, проговорилъ:

— Нѣтъ, каковъ нашъ Васяткинъ, а? Вѣдь это его выдумка. Дѣйствительно, нѣмая. Ну, кому придетъ въ голову такая счастливая идея?

Сахановъ никогда не напивался, а только входилъ въ умиленно-слащавое настроеніе, какъ и сейчасъ. Глядя на растерявшагося Бургардта, онъ какъ-то неестественно захохоталъ.

— Оставь меня, ради Бога...—сухо отвѣтилъ Бургардтъ, занимая свободный стулъ.—Гдѣ я? Что это такое?

— Самая обыкновенная вещь...—отвѣтила ему Ольга Спиридоновна, скашивая въ его сторону свои круглые глаза.—И нѣмыя дѣвушки имѣютъ скромное желаніе превратиться въ женщину... Очень просто.

Бургардтъ только посмотрѣлъ на нее дикими глазами и ничего не отвѣтилъ. Онъ теперь понялъ все. Васяткинъ въ своихъ интересахъ создавалъ соперницу Шурѣ. Да, это было ясно, какъ день. Чѣмъ можно было удивить Красавина, къ услугамъ котораго были женщины всѣхъ пяти частей свѣта? А тутъ нѣмая красавица. Это была такая экстравагантная новость, которая заставила оживиться скучавшаго мецената до неузнаваемости. Вглядываясь въ мать, Бургардтъ старался припомнить, гдѣ онъ ее встрѣчалъ. Эта женщина-маска положительно была ему знакома.

— Да вѣдь это миссъ Мортонъ?—обратился онъ къ Сахапову.—Она лѣтъ десять тому назадъ пѣла на сцеровахъ.

— Представьте себѣ, что она. Никто и не подозрѣвалъ, что у нея такая красавица дочь, и притомъ нѣмая. Васяткинъ положительно геніальный человѣкъ по этой части. У англичанокъ—знаешь—все просто и откровенно: Мортонъ желаетъ получить за свою дочь всего семнадцать тысячъ. Ха-ха-ха! Почему не двадцать—для круглаго счета? Я убѣжденъ, что у нея и мысли такія же крашеныя, какъ сама она.

— Да, бываютъ свои, а малу чуднѣй! Ахъ, негодяй!

— Кто? Васяткинъ? Видишь ли, всѣ геніальные люди немножко негодяи.

Дальше опять все заволоклось пьянымъ туманомъ. Бургардтъ пилъ уже безъ разбора рѣшительно все, что ему наливали—ликеры, портеръ, шампанское, водку. Ему хотѣлось забыться, хотѣлось плакать, хотѣлось крикнуть всѣмъ, какіе они негодяи. Да, именно негодяи. Это было самое подходящее слово.

Пароходъ сдѣлалъ широкій кругъ по взморью и двинулся обратно къ островамъ, чтобы попасть на тони у Елагина. На тоняхъ уже ждали дорогихъ гостей. Въ качествѣ спеціалиста теперь всѣмъ распоряжался Бахтеревъ. Всѣ вышли на деревянный плотъ, тонувшій подъ тяжестью набравшейся публики. Дамы считали своимъ долгомъ взвизгивать и кокетливо подбирали юбки.

Красавинъ велъ нѣмую миссъ Мортонъ подъ руку и оказывалъ ей знаки особеннаго своего вниманія. Бургардтъ слѣдилъ за этой сценой воспаленными глазами и повторялъ:

— Негодяй! О, негодяй!

Закинутая тоня оказалась счастливой, и нѣмая красавица аплодировала, когда рыбаки положили въ корзину судорожно бившуюся лососку.

— Одна нѣмая радуется, что попала въ сѣти другая нѣмая... — объяснилъ Сахановъ.

Потомъ тутъ же на плоту, на заранѣе приготовленномъ очагѣ изъ камней, запылалъ костеръ и торжественно варилась уха по какому-то спеціальному рецепту, секретъ котораго былъ извѣстенъ только одному Алешѣ. Нѣмая миссъ Мортонъ опять была счастлива, какъ ребенокъ. Получалась оригинальная и красивая картина.

V.

На другой день утромъ Бургардтъ просыпался нѣсколько разъ, натягивалъ на себя байковое одѣяло и опять засыпалъ тревожнымъ и нездоровымъ сномъ. Въ головѣ чувствовалась такая тяжесть, точно она была налита чугуномъ. А на улицѣ уже поднимался раздражающій дневной шумъ: тяжело катились ломовыя телѣги, дребезжали извозчичьи пролетки, изнемогающими голосами выкрикивали уличные разносчики, вообще просыпалось тысячью самыхъ разнообразныхъ звуковъ то чудовище, которое называется большимъ городомъ.

Но всего больше Бургардта раздражали тяжелые шаги „человѣка" Андрея, который имѣлъ дурную привычку по нѣскольку разъ подходить къ дверямъ и прислушиваться, не проснулся ли баринъ.

— Нѣтъ, нужно отоспаться...—думалъ про себя Бургардтъ, готовый притвориться спящимъ, если Андрею придетъ блажь отворить дверь въ кабинетъ.

Послѣ смерти жены Бургардтъ всегда спалъ у себя въ кабинетѣ, на широкомъ кожаномъ диванѣ, а спальня была превращена въ дѣтскую, гдѣ жила его дочь Анита со своей воспитательницей миссъ Гудъ. Кабинетъ для Бургардта являлся символомъ холостой студенческой свободы, и онъ не желалъ устраивать себѣ особую спальню, чтобы не поощрять этой свободы.

Почему-то сегодня Андрей особенно настойчиво прислушивался у дверей, и Бургардтъ пришелъ къ убѣжденію, что сонъ „переломленъ", и что ничего не остается, какъ только вставать. По давно усвоенной привычкѣ, еще лежа въ постели, онъ дѣлалъ провѣрку наступающему дню, т.-е. своей работоспособности. Онъ представлялъ себѣ свою мастерскую, покрытыя мокрыми тряпками работы, запахъ сырой скульптурной глины, молчаливаго Гаврюшу, работавшаго съ угрюмой настойчивостью, даже ту пыль, которая набиралась въ мастерской, и самого себя въ рабочей блузѣ, безъ которой онъ не могъ работать. Если получалось ощущеніе какой-то таинственной полноты—значитъ, онъ будетъ работать. Сейчасъ такая провѣрка дала очень грустный минусъ.

Лежа на своемъ диванѣ, Бургардтъ напрасно старался припомнить, что такое было вчера. Пьяная, безобразная ночь—это внѣ сомнѣній.—„Послѣдняя!"—повторялъ онъ про себя. Да, безобразіе было, и онъ былъ дѣятельнымъ участникомъ этого безобразія, но случилось еще что-то. Можетъ-быть, онъ сдѣлалъ скандалъ и, кажется, обругалъ Красавина негодяемъ. Да, онъ начиналъ припоминать отдѣльные эпизоды. Сначала „Кружало", гдѣ онъ, кажется, скандалилъ, потомъ пикникъ на пароходѣ, визгъ и уханье цыганскаго хора, потомъ тони...

— Безобразіе!—проговорилъ вслухъ Бургардтъ.

Потомъ онъ вдругъ все вспомнилъ и сѣлъ на диванѣ. Предъ его глазами живой выросла загадочная нѣмая бѣлокурая дѣвушка. Ахъ, да... Красавинъ ухаживалъ за ней, потомъ Сахановъ, по обычаю, говорилъ какія-то неприличныя вещи, потомъ горѣлъ костеръ... Да, да, она смѣялась, когда вытащили большую рыбу, и потомъ опять смѣялась, когда варили уху прямо на кострѣ, какъ любилъ Красавинъ.

— Да, да, все это было...—вслухъ проговорилъ Бургардтъ, начиная одѣваться.

Ему казалось, что онъ въ чемъ-то виноватъ и долженъ что-то такое

сдѣлать. Онъ позвонилъ, и Андрей—отставной солдатъ съ отпущенной бородой, точно подбитой молью—подалъ на подносѣ то, что полагалось, когда баринъ возвращался домой слишкомъ поздно: бутылку квасу, сельтерской воды и стаканъ крѣпкаго чернаго кофе. Поставивъ на столъ подносъ, Андрей тяжело топтался на одномъ мѣстѣ.

— Что тебѣ нужно?—довольно сурово спросилъ его Бургардтъ.

— А тамъ... этотъ...—бормоталъ Андрей, глядя въ уголъ.—Ну, который съ мѣшкомъ ходитъ.

— Хорошо! Я сейчасъ!

Когда вѣрный слуга удалился, Бургардтъ засмѣялся. Да... именно хорошо! Кажется, „человѣкъ съ мѣшкомъ“ не могъ выбрать лучшаго момента.

Бургардтъ позвонилъ и велѣлъ Андрею позвать въ кабинетъ того, который „съ мѣшкомъ“. Андрей презрительно скосилъ глаза и молча вышелъ. Скоро послышались тяжелые шаги, и въ кабинетъ вошелъ средняго роста человѣкъ въ русской поддевкѣ, въ мужицкихъ тяжелыхъ сапогахъ и съ бѣлымъ мѣшкомъ въ рукахъ. Бургардтъ бросился къ нему навстрѣчу, крѣпко его обнялъ и расцѣловалъ изъ щеки въ щеку.

— Григорій Максимычъ! Ты не могъ лучше прійти!..

— Слѣдовательно опять покаянное настроеніе? — отвѣтилъ гость вопросомъ, разглаживая свою козлиную бородку съ сильной просѣдью.

Гость говорилъ пріятнымъ груднымъ баскомъ и постарался освободить себя отъ вторичныхъ объятій хозяина. Онъ спокойно положилъ свой мѣшокъ въ уголъ, оглядѣлъ кабинетъ, точно былъ въ немъ въ первый разъ, и прибавилъ:

— Слѣдовательно пришелъ навѣстить... Какъ живешь?

— Ахъ, не спрашивай, ради Бога. То же самое свинство!

Бургардтъ торопливо налилъ квасу и залпомъ выпилъ весь стаканъ. Гость смотрѣлъ на него своими добрыми, карими глазами и беззвучно шевелилъ губами.

— Слѣдовательно Сахановъ...—резюмировалъ онъ невысказанныя мысли.

— Какой тутъ Сахановъ! Ахъ, ничего ты не понимаешь, Григорій Максимычъ! Смотри на меня и презирай!

Торопливо глотая квасъ, Бургардтъ началъ разсказывать о вчерашнемъ вечерѣ, сбивался и подбиралъ слова, особенно когда дѣло дошло до нѣмой миссъ Мортонъ. Гость слушалъ эту горячую исповѣдь совершенно безучастно и отвѣтилъ совершенно невпопадъ:

— Слѣдовательно я былъ сейчасъ въ мастерской... да... разсматривалъ твой барельефъ.

— Сергія?

— Слѣдовательно его.

— Ну и что же? Онъ еще въ эскизѣ. Все не хватаетъ времени кончить. Есть срочные заказы.

— Слѣдовательно вздоръ... Лѣность обуяла, пьянство, развратъ, Сахановъ! А барельефъ ничего. Какъ это у васъ нынче говорятъ? Есть настроеніе... да... Слѣдовательно я смотрѣлъ и могу понять.

— Милый мой, вотъ и не понимаешь!—перебилъ его Бургардтъ, ломая руки. — Вотъ ты смѣешься надъ моимъ покаяннымъ настроеніемъ, а эта работа и есть мое покаяніе... да! Вотъ и сейчасъ я пошелъ бы работать... нѣтъ, вру и совершенно безцѣльно вру!

Этотъ разговоръ былъ прерванъ появленіемъ Андрея. Онъ подалъ длин-

ный, изящный конвертъ и остановился въ дверяхъ. Бургардтъ быстро пробѣжалъ коротенькую записочку и схватилъ себя за волосы. Это было письмо отъ Марины Игнатьевны, которая напоминала ему, что вчера онъ пригласилъ всѣхъ къ себѣ на ужинъ и чтобы онъ не забывалъ объ этомъ.

— Ужъ второй часъ въ кухнѣ ждетъ васъ мужикъ съ рыбой,—объяснилъ Андрей, точно отвѣчая на нѣмое отчаяніе барина.

— Съ какой рыбой?

— А вы сами вчера заказывали, потому какъ бымши на тоняхъ...

— Пусть миссъ Гудъ ему заплатитъ, и ну его къ чорту!

Андрей вышелъ, а Бургардтъ зашагалъ по кабинету, напрасно стараясь припомнить, кого онъ вчера приглашалъ. Придетъ же такая пьяная фантазія! Если бы еще миссъ Гудъ съ Анитой были на дачѣ, а то онѣ дома. Однимъ словомъ, самая скверная исторія.

Прогнавши мужика съ тоней, Андрей еще разъ явился въ дверяхъ и какъ-то особенно сердито заявилъ:

— Значитъ, при письмѣ былъ букетъ. Приказано поставить его въ мастерской.

— А, хорошо!

Квартира Бургардта помѣщалась въ третьемъ этажѣ большого каменнаго дома на четвертой линіи Васильевскаго острова, недалеко отъ Средняго проспекта. Вотъ уже почти двадцать лѣтъ, какъ онъ живетъ на Васильевскомъ островѣ, и, несмотря на нѣкоторыя неудобства, какъ удаленность отъ центра, онъ оставался здѣсь, точно привязанный къ своей четвертой линіи юношескими воспоминаніями, когда еще былъ безвѣстнымъ академистомъ. Много было здѣсь поработано, пережито и перечувствовано въ горячую пору юности, и здѣсь же для него проявился тотъ свѣтъ, который ему впослѣдствіи далъ европейское имя.

Васильевскій островъ съ его по-казарменному вытянутыми улицами, напоминавшими архитектурный чертежъ, являлся для него второй духовной родиной, и онъ, работая въ Римѣ, тосковалъ вотъ объ этихъ скучныхъ улицахъ, вытянувшихся въ безнадежно-прямыя линіи. И какъ здѣсь ему было все знакомо, начиная съ домовъ и кончая послѣдней мелочной лавочкой. Вотъ студенческій трактиръ, рядомъ домъ, гдѣ онъ мыкалъ горе съ другими академистами, недалеко жила натурщица, въ которую онъ былъ влюбленъ, и т. д. По этимъ улицамъ онъ вынашивалъ свои юношескія надежды, свои первыя сомнѣнія, неудачи и первые успѣхи. При одной мысли о переѣздѣ собственно въ Петербургъ, въ одну изъ центральныхъ модныхъ улицъ, у него являлся инстинктивный страхъ, точно вмѣстѣ съ этимъ переѣздомъ онъ и самъ сдѣлается другимъ и художественное счастье его оставитъ. Это былъ совершенно дѣтскій страхъ, присущій слишкомъ нервнымъ натурамъ.

Настоящую квартиру Бургардтъ занималъ уже около десяти лѣтъ, хотя и собирался перемѣнить ее каждый годъ. Она была и велика и въ то же время мала. Собственно было только двѣ настоящихъ комнаты—большая зала и мастерская, а остальныя комнаты состояли изъ конурокъ, какъ его кабинетъ, столовая, комната Аниты. Зала тоже казалась меньше, благодаря загромождавшему его всевозможному хламу, набравшемуся во время путешествій, изъ разныхъ подарковъ и благопріобрѣтенныхъ на Александровскомъ рынкѣ. Все сводилось на желаніе создать „обстановку“, какъ говорилъ Сахановъ, а въ сущности получалась какая-то окрошка изъ всевозможныхъ стилей. Тутъ была и старинная стильная мебель, и восточные ковры, и старинное оружіе,

и художественная бронза, и фарфоры, и археологическія рѣдкости, и всевозможные articles. Вообще зала была слишкомъ загромождена, на что жаловались всѣ артисты, которымъ приходилось здѣсь пѣть или играть на роялѣ. Человѣкъ Андрей тоже не одобрялъ этого хлама, а къ такимъ вещамъ, какъ маккартовскіе букеты, точно питавшіеся пылью, относился прямо враждебно. „Въ самый разъ коровамъ отдать или какой барынѣ на шляпу",—ворчалъ онъ, когда по утрамъ наводилъ порядокъ въ комнатахъ. Самъ Бургардтъ не любилъ этого ненужнаго и претенціознаго хлама, но онъ набрался какъ-то самъ собой. Нѣсколько разъ онъ хотѣлъ выбросить всю эту дребедень, но ненужныя вещи, какъ и ненужные люди, имѣютъ присущую только имъ способность оставаться неприкосновенными по цѣлымъ годамъ.

Эта художественная обстановка больше всѣхъ возмущала Григорія Максимовича, какъ совершенно ненужная и безцѣльная прихоть. Прибавляя къ началу фразы свое „слѣдовательно", этотъ другъ дѣтства Бургардта возвышался до настоящаго краснорѣчія, когда обличалъ царившую въ залѣ „суету суетъ". Это было его пунктикомъ, какъ вторымъ пунктикомъ являлась какая-то органическая ненависть къ Саханову. Крайне терпимый и доступный во всемъ остальномъ, Григорій Максимовичъ дѣлался придирчивымъ и злымъ, стоило Суханову войти въ комнату.

— Надѣюсь, ты у меня сегодня останешься поужинать?—спрашивалъ его Бургардтъ.—Будутъ все свои...

— Слѣдовательно...

— Да, будетъ и Сахановъ... Удивляюсь, право, что̀ онъ тебѣ дался: ни хуже ни лучше другихъ. Такой же, какъ и всѣ... Я его совсѣмъ не желаю защищать.

Григорій Максимычъ не удостоилъ отвѣтомъ, а только теребилъ свою бородку.

— Ну, не сердись,—говорилъ Бургардтъ.—Пойдемъ въ мастерскую... Нужно посмотрѣть, что̀ дѣлаетъ Гаврюша...

VI.

Мастерская отдѣлялась отъ залы полутемнымъ коридоромъ, гдѣ уже чувствовался запахъ алебастра и мокрой глины. Въ мастерской никакой обстановки не полагалось. Эта была почти совсѣмъ пустая комната, освѣщенная громаднымъ венеціанскимъ окномъ. Посѣтители, которые время отъ времени являлись сюда, искренно удивлялись этому убожеству знаменитой мастерской, изъ которой выходили такія удивительныя произведенія. Большинство начатыхъ работъ стояли, закрытыя мокрыми тряпками, и до окончанія находились подъ строгимъ наблюденіемъ сторожа Андрея. Къ работамъ своего барина Андрей относился съ авторитетомъ завзятаго спеціалиста, причемъ, какъ попугай, повторялъ разныя мудреныя слова, придавая имъ свой собственный смыслъ. Напримѣръ, Гамлетъ—это сурьезная статуя, съ настроеніемъ. Недаромъ тогда на выставкѣ вся публика ахнула, а того и не знаютъ, что одинъ онъ, Андрей, видѣлъ, какъ баринъ лѣпилъ ее отъ начала до конца, и одобрилъ пораньше другихъ протчихъ. Вотъ тоже „Ромео и Джульета"—тоже ничего себѣ, невредная группа, хотя до „Гамлета" и далеко. Охъ, какъ далеко... Какъ будто и то, а на самомъ дѣлѣ даже совсѣмъ наоборотъ. Нѣкоторыя работы Андрей ненавидѣлъ, какъ послѣднюю,—осрамится съ ней баринъ въ лучшемъ видѣ. Что̀ публика уважаетъ: ей подавай съ пылу горячаго. Вонъ „Гамлетъ"-то какъ поглядываетъ и притомъ „мертвый черепъ" въ рукѣ держитъ, тоже голенькія барышни—сюжетъ пріятный. А то сейчасъ

баринъ придумалъ лѣпить барыню въ платьѣ, да и барыня-то Ольга Спиридоновна. Ну, кто ея не знаетъ, Ольгу Спиридоновну, какъ она на тіатрѣ ногами брыкаетъ. Было ея время, да ушло.

Сейчасъ Андрей ждалъ барина въ мастерской и только покосился на „человѣка съ мѣшкомъ", котораго считалъ вреднымъ, хотя онъ и генеральскій сынъ. Такъ въ томъ родѣ, какъ юродивый...

— Андрей, открой „Сергія"...—проговорилъ ему Бургардтъ.

Посрединѣ мастерской стоялъ знаменитый „Гамлетъ", съ котораго ученикъ Бургардта, самоучка Гаврюша, лѣпилъ копію. Это былъ юноша лѣтъ двадцати пяти, русоволосый, застѣнчивый, какъ дѣвушка, и съ дѣвичьимъ румянцемъ. Сторожъ Андрей ненавидѣлъ его и ворчалъ про себя:

— Туда же, за нами погнался, мужланъ... А того не понимаетъ, что нужно имѣть свою эмоцію колоритную и талантъ тоже...

Взглянувъ на Гаврюшу, Бургардтъ сразу замѣтилъ, что дѣло у него не клеится и онъ работаетъ съ молчаливымъ отчаяніемъ.

— Вотъ эта линія шеи у васъ не вышла...—объяснялъ Бургардтъ и хотѣлъ снять „стекой" лишнюю глину, но Гаврюша его остановилъ.

— Ради Бога, Егоръ Захарычъ... я самъ...

Юноша даже поблѣднѣлъ, точно ему самому хотѣли произвести какую-то очень мучительную операцію. Бургардтъ понялъ и оцѣнилъ это начинавшееся авторство. Похлопавъ Гаврюшу по плечу, онъ прибавилъ:

— Да, лучше самому повторить десять разъ свою ошибку и добиться цѣли...

Ему показалось, что Гаврюша посмотрѣлъ на него какимъ-то озлобленнымъ взглядомъ. Это было впечатлѣніе электрической искры.

Григорій Максимычъ внимательно разсматривалъ „Гамлета", точно видѣлъ въ первый разъ. Это была удивительная статуя, въ которой онъ находилъ каждый разъ что-нибудь новое. Такъ было и сейчасъ. Какъ хорошо это молодое лицо, тронутое тѣнью геніальнаго безумія,—нѣтъ, это было не одно лицо, а тысячи лицъ, спаянныхъ въ одно. Вотъ эти вдумчивые глаза, вотъ горькая улыбка, вотъ преждевременная старость въ слегка намѣченныхъ морщинахъ лба, вотъ цвѣтущая юность, притаившаяся въ мягкомъ контурѣ носа и губъ—однимъ словомъ, если смотрѣть на статую съ разныхъ точекъ, получалось впечатлѣніе разныхъ людей, возрастовъ и настроеній. А эта немного усталая поза молодого, сильнаго тѣла, точно пропитанная мыслью о бѣдномъ Іорикѣ:

Тутъ были уста—я цѣловалъ ихъ такъ часто...
Гдѣ теперь твои шутки, ужимки?
Гдѣ пѣсни, молніи остротъ, отъ которыхъ всѣ пирующіе хохотали до упаду?
Кто сострить теперь надъ твоей же костяной улыбкой?

Бургардтъ тоже смотрѣлъ на „Гамлета", стараясь поднять то чувство, которое онъ испытывалъ, работая надъ этой статуей подъ декламацію шекспировскихъ стиховъ Бахтеревымъ. Кстати, первыми оцѣнили это произведеніе именно люди, которыхъ онъ не любилъ и не уважалъ: актеръ Бахтеревъ и критикъ Сахановъ, а тѣ люди, на вниманіе и оцѣнку которыхъ онъ особенно разсчитывалъ, отнеслись къ его „Гамлету" или равнодушно, или скептически. Приходилось переживать мучительный періодъ сомнѣній, и бывали моменты, когда Бургардту приходилось удерживать самого себя, чтобы не разбить въ куски, можетъ-быть, лучшую свою работу.

— Хорошо...—думалъ вслухъ Григорій Максимычъ, отходя отъ статуи.— Хорошо, хотя и безполезная вещь.

— Да?

— Слѣдовательно да... Она немного опоздала, почти на цѣлыхъ сто лѣтъ. Къ этому „Гамлету“ нужно обстановку какого-нибудь Эрмитажа, мужчинъ въ парикахъ, женщинъ въ фижмахъ, придворныхъ льстецовъ...

— Готово-съ...—докладывалъ Андрей, раскрывъ громадный барельефъ, стоявшій въ массивной деревянной части.

— Вотъ это, кажется, будетъ по твоей части,—замѣтилъ Бургардтъ, подводя друга на мѣсто, съ котораго удобнѣе было разсматривать работу въ общемъ.

— Слѣдовательно посмотримъ...—говорилъ другъ, пристально всматриваясь въ барельефъ.

Бургардту нравилось, какъ его другъ относился къ его работамъ: вѣдь умѣть смотрѣть—искусство, которое дается немногимъ.

— Это преподобный Сергій въ тотъ моментъ, когда онъ благословляетъ Дмитрія Донского на битву съ Мамаемъ,—объяснялъ Бургардтъ.—Самъ Сергій уже конченъ... я его чувствовалъ... А вотъ вся бѣда съ Донскимъ: выходитъ что-то такое шаблонное, академическое, мертвое...

Барельефъ поразилъ Григорія Максимыча, хотя онъ ожидалъ отъ него многаго. Донского, дѣйствительно, не было, а Сергій вышелъ великолѣпно, удивительно, чудно. Какъ хорошо это изможденное постомъ, молитвой и трудами старческое лицо, проникнутое внутреннимъ свѣтомъ, очищенное душевными муками и смотрящее въ далекое-далекое будущее. У Григорія Максимыча просто шли мурашки по спинѣ, такъ хорошъ былъ этотъ великій представитель земли русской. Да, вотъ все это удѣльное княжье, городовая старшина и всякіе передніе люди полны недоумѣнія и страха; они уже не вѣрятъ въ собственную силу, которая изсякла подъ гнетомъ татарщины—вся сила теперь сосредоточилась вотъ въ этомъ изможденномъ старческомъ лицѣ и въ этомъ увѣренномъ, строгомъ движеніи благословляющей руки. Великій подвижникъ провидѣлъ далекое будущее и настоящее видѣлъ прошлымъ.

— Слѣдовательно изумительно...—бормоталъ Григорій Максимычъ, разсматривая детали.—Пересвѣтъ и Ослябя вышли тоже недурно... Они должны были быть именно такими простыми...

— А знаешь, чего недостаетъ въ этой работѣ?—спрашивалъ Бургардтъ.—Именно вотъ этой самой вѣрующей простоты, о которой ты сейчасъ говоришь. Художникъ только *понималъ* свой сюжетъ... Вѣдь взятъ рѣшающій моментъ, отъ котораго зависѣло все будущее, а въ такіе моменты самые обыкновенные люди дѣлаются героями.

Григорій Максимычъ молчалъ, продолжая наблюдать барельефъ. Его занимала та связь, которая необходимо должна была соединять „Гамлета“ съ этимъ именно барельефомъ. Да, эта связь существовала, должна была существовать, какъ и между другими работами, кончая бюстомъ Красавина.

Наблюдавшій за „человѣкомъ съ мѣшкомъ“ Андрей, чтобы посрамить барина, сказалъ:

— А у насъ есть еще одна модель, сударь... Вотъ извольте взглянуть.

Бургардтъ не успѣлъ предупредить, какъ Андрей уже раскрылъ бюстъ Ольги Спиридоновны. Григорій Максимычъ посмотрѣлъ на него совершенно равнодушно и еще болѣе равнодушно проговорилъ:

— Слѣдовательно актриса?

— Нѣтъ, больше: балерина.

Этотъ отвѣтъ заставилъ друга отвернуться, и онъ даже сдѣлалъ брезгливое движеніе рукой, какъ отмахиваются отъ назойливаго насѣкомаго.

Это движеніе огорчило Бургардта. Очевидно, другъ не желалъ понимать...

— Послушай, Григорій, ты напрасно...—обиженно заговорилъ Бургардтъ, подбирая слова.—Дѣло въ томъ, что это... Да, это будетъ моя лучшая работа, если хочешь знать.

Другъ смотрѣлъ на него непонимающими глазами, а вѣрный старый слуга даже закрылъ ротъ рукой.

— Слѣдовательно какъ же это такъ? То-есть я ничего не понимаю..

Гаврюша сдѣлалъ видъ, что продолжаетъ свою работу. Онъ торжествовалъ. Да, Бургардтъ получилъ наконецъ самое сильное оскорбленіе и получилъ отъ человѣка, котораго искренно любилъ и уважалъ.

Бургардтъ прошелся нѣсколько разъ по мастерской, а потомъ остановился передъ бюстомъ и заговорилъ:

— Вотъ вы всегда такъ судите, т.-е. вы—публика... да.

— И что̀ же изъ этого?

— Что̀ изъ этого? Послушайте, нѣтъ, это трудно объяснить словами. Понимаешь: въ жизни каждой хорошенькой женщины наступаетъ такой моментъ, когда духъ красоты, привлекавшій мужчинъ, ее оставляетъ, а форма еще остается. Она еще не успѣла состариться, линіи еще живы, но уже начинается омертвленіе... О, нѣтъ, ты ничего не понимаешь?! Уловить именно этотъ моментъ умирающей красоты, фиксировать его—громадная задача... Какъ хочешь, а міръ все-таки принадлежитъ хорошенькой женщинѣ, и красота, по выраженію поэта, страшная сила...

— Слѣдовательно что̀ же изъ этого?

— По-моему, это величайшая трагедія...

— Кому она нужна?

— А кому нужно сумасшествіе датскаго принца Гамлета?

— Слѣдовательно... Позволь, я рѣшительно не могу связать эти вещи: Гамлета, преподобнаго Сергія и умирающую женскую красоту..

— Въ послѣдней высшая трагедія: вмѣстѣ съ ней умираетъ призывъ къ жизни... Если бы мнѣ удалось воплотить то, что̀ я задумалъ... Голубчикъ, ты меня не понимаешь, и мы будемъ говорить на разныхъ языкахъ.

VII.

Въ мастерской они пробыли до завтрака. Бургардтъ дѣлалъ попытку что-то поправить въ барельефѣ, но изъ этого ничего не выходило. Пришла горничная, некрасивая и кривобокая дѣвушка, и заявила, что завтракъ поданъ.

— Ну, идемъ...—говорилъ Бургардтъ, подхватывая друга подъ локоть.

Тотъ немного уперся и что-то такое замычалъ.

— Знаю, знаю...—засмѣялся Бургардтъ.—Ты вѣдь не обязанъ ѣсть мясо, а травы сколько угодно.

Столовая была и мала и слишкомъ заставлена мебелью. Въ концѣ длиннаго стола сидѣла худенькая сгорбленная старушка съ строго подобранными глазами. Рядомъ съ ней сидѣла дѣвочка, подростокъ лѣтъ четырнадцати, длинная и костлявая, съ попорченнымъ оспой лицомъ и злыми, темными глазами. Она протянула гостю свою красную, костлявую руку, какія бываютъ у малокровныхъ дѣвочекъ этого возраста.

— Какъ поживаете, Анита?—добродушно спрашивалъ Григорій Максимычъ, съ шумомъ отодвигая свой стулъ.

— Ничего, благодарю васъ...—сухо отвѣтила дѣвушка и посмотрѣла на миссъ Гудъ улыбавшимися глазами.

Воспитательница Аниты, миссъ Гудъ, точно замерзла на извѣстномъ кодексѣ приличій, нарушеніе которыхъ приравнивалось чуть не къ государственнымъ преступленіямъ, въ томъ числѣ—двиганье стульевъ, неосторожное обращеніе съ ножами и вилками и т. д. На этомъ основаніи Григорій Максимычъ находился у миссъ Гудъ въ большомъ подозрѣніи, и старушка особенно выразительно говорила Анитѣ, поднимая свои рѣдкія брови: „такъ дѣлаетъ другъ твоего папы, который ходитъ съ мѣшкомъ и о носовыхъ платкахъ имѣетъ довольно смутное представленіе, какъ нашъ Андрей... У твоего отца, вообще, много довольно странныхъ друзей, чтобы не сказать больше...“

— Зачѣмъ вы сидите въ городѣ, миссъ Гудъ?—спрашивалъ Григорій Максимычъ, устраивая второе неприличіе—онъ отломилъ корочку чернаго хлѣба и обмакнулъ ее прямо въ солонку.—Слѣдовательно погода такая отличная, а здѣсь буквально дышать нечѣмъ...

Миссъ Гудъ отвѣтила ему по-французски, какъ говорила обыкновенно съ гостями, стѣсняясь своего ломанаго русскаго языка. Григорій Максимычъ свободно говорилъ на двухъ языкахъ и не повторялъ своего „слѣдовательно“, какъ по-русски.

— Мы ждемъ, когда будетъ свободенъ Егоръ Захарычъ,—говорила старушка.—Намъ однимъ скучно на дачѣ...

— Вы уѣзжаете, если не ошибаюсь, въ Финляндію?

— Да... Прелестная дикая страна, усѣянная чудными озерами. Я очень люблю Финляндію и не могу понять, почему эта страна не нравится Анитѣ...

— Очень интересно жить съ чухнами,—брезгливо отвѣтила Анита.—Самый противный народъ. Они и сами умираютъ отъ скуки...

Бургардтъ часто наблюдалъ за дочерью, когда она что-нибудь говорила, и находилъ ее остроумной. Ему не нравилось только то, что это остроуміе было подкрашено какимъ-то злобнымъ чувствомъ. Дѣвочка была умнѣе своихъ лѣтъ, потому что выросла въ обществѣ большихъ и наслушалась всего. Все вниманіе миссъ Гудъ было обращено главнымъ образомъ на физическую сторону воспитанія, и она больше всего гордилась тяжелой русой косой Аниты и ея ровными, мелкими, бѣлыми, какъ у хищнаго звѣрька, зубами. Папа Бургардтъ не обманывалъ себя и находилъ дочь дурнушкой. Въ раннемъ дѣтствѣ Анита росла прехорошенькимъ ребенкомъ, но ее погубила оспа, и это было тяжелымъ ударомъ для Бургардта, который страдалъ вдвойнѣ—и какъ отецъ и какъ художникъ, по своей профессіи поклонявшійся всякой красотѣ. Ему было больно, когда знакомые смотрѣли на Аниту со скрытымъ сожалѣніемъ, за исключеніемъ, можетъ-быть, одного Григорія Максимыча, видѣвшаго въ каждой женщинѣ прежде всего человѣка. И сейчасъ онъ говорилъ съ дѣвочкой такъ просто и хорошо, какъ бы говорилъ съ самой загисной красавицей.

— Да, я своими глазами видѣлъ, какъ одинъ чухонецъ умеръ отъ скуки,—поддержалъ Бургардтъ дочь.—Шелъ мимо нашей дачи, присѣлъ на камень и умеръ...

Григорію Максимычу не нравился шутливый тонъ, какимъ Бургардтъ говорилъ съ дочерью. Дѣвочка была уже большая и старалась тоже быть остроумной, а это извращало и портило природныя данныя. Миссъ Гудъ тоже ему не нравилась, какъ типичная представительница того Запада, который окаменѣлъ въ эгоизмѣ, являясь полной противоположностью славянской теплотѣ и отзывчивости. Григорій Максимычъ не то что не любилъ старушку-англичанку, а какъ-то жалѣлъ ее, какъ жалѣютъ слѣпого или глухого человѣка.

Затѣмъ, онъ рѣшительно не понималъ, почему Бургардтъ взялъ воспитательницей дочери именно англичанку.

— Слѣдовательно гораздо было бы лучше, если бы у Аниты была простая русская старушка-няня... Она бы и сказку пострашнѣе умѣла разсказать, и водила бы дѣвочку въ церковь, и разнымъ бы примѣтамъ научила,—право, все это хорошо въ свое время и все это необходимо пережить. А чему твоя накрахмаленная англичанка научитъ?

— Тутъ, братъ, цѣлая идея,—объяснялъ Бургардтъ.—Я признаю только два высшихъ типа, до которыхъ доработалось человѣчество за всю свою исторію. На одномъ концѣ стоятъ римляне, а на другомъ, къ нашему счастью, какъ современниковъ—англичане. Да, это великій народъ, который завоевалъ цѣлый міръ, что̀ ты тамъ ни говори. Они жестоки—да, потому что всякая сила жестока. Но они сконцентрировали въ себѣ самыя лучшія качества, какія только могла выработать вся наша европейская цивилизація. Англичанинъ недаромъ сдѣлался синонимомъ несокрушимой энергіи, предпріимчивости и всякой силы вообще... Англійская женщина—самая лучшая женщина, высшій антропологическій типъ. Моя мечта, чтобы Анита усвоила себѣ хотя частицу англійской настойчивости...

— Слѣдовательно все это пустяки... да.

За завтракомъ Григорій Максимычъ ѣлъ только одну зелень и даже отказался отъ яйца въ смятку. Миссъ Гудъ только пожала плечами, потому что питалась всю жизнь одними кровавыми бифштексами.

— У насъ сегодня вечеромъ гости...—предупредилъ ее, между прочимъ, Бургардтъ.—Вы видѣли лососину?

При словѣ „гости“ у миссъ Гудъ явилось на лицѣ покорно-печальное выраженіе, какъ у человѣка, который отъ доктора съ рецептомъ идетъ въ аптеку. О, она отлично понимала, что̀ такое эти русскіе гости, т.-е. сплошное безобразіе.

— Это вышло совершенно случайно, — оправдывался Бургардтъ.—У насъ вчера былъ очень веселый пикникъ, и я рѣшительно не помню, какъ пригласилъ къ себѣ всѣхъ. Будетъ Красавинъ...

Послѣднія слова подѣйствовали на миссъ Гудъ, какъ электрическая искра. Она благоговѣла предъ всякой силой, а мистеръ Красавинъ—это милліоны. Бургардтъ смотрѣлъ на нее и улыбался, зная ея слабость къ богатымъ людямъ.

Совершенно другого мнѣнія былъ человѣкъ Андрей, который нѣсколько разъ появлялся въ дверяхъ столовой, какъ вопросительный знакъ.

— Отчего Гаврюша не идетъ завтракать?—спрашивалъ Бургардтъ.

— Они просили дать имъ завтракъ въ мастерскую,—по-солдатски отвѣтилъ Андрей, вопросительно поглядывая на миссъ Гудъ, которая не выносила этого мужика-самоучку.

Солдатъ Андрей случайно зналъ Бургардта съ дѣтства, когда еще проживалъ на Охтѣ сейчасъ по выходѣ изъ военной службы. Сейчасъ онъ это скрывалъ по неизвѣстнымъ причинамъ. Зналъ онъ съ дѣтства и Григорія Максимыча. Дѣло было такъ. На Охтѣ проживалъ старый генералъ Шпиндинъ, типичный русскій мечтатель и неисправимый прожектёръ, который съ одинаковымъ увлеченіемъ занимался въ одно и то же время изобрѣтеніемъ какого-то универсальнаго воздушнаго шара, имѣвшаго скромную задачу разрѣшить всѣ проблемы и проклятые вопросы будущаго всей Европы—и разведеніемъ клубники-монстръ. У генерала были кой-какія средства и солидная пенсія, и онъ поселился на Охтѣ, гдѣ была и необходимая для изобрѣтателя

тишина и близость столицы. Клубнику-монстръ разводилъ обрусѣвшій нѣмецъ Бургардтъ, съ которымъ Андрей водилъ знакомство, главнымъ образомъ потому, что продавалъ краденую изъ генеральскихъ оранжерей клубнику въ Петербургъ. У генерала былъ единственный сынъ Гриша, превратившійся теперь въ „человѣка съ мѣшкомъ", а у садовника сынъ Егорка, превратившійся въ знаменитаго скульптора. Они выросли друзьями дѣтства, и добродушный генералъ Шипидинъ изъ любви къ дѣтской привязанности своего Гриши далъ воспитаніе въ гимназіи и его другу Егоркѣ, съ дѣтства проявлявшему способности къ рисованію. Это случайно-доброе дѣло, кажется, являлось единственнымъ удачнымъ предпріятіемъ генерала-мечтателя, хотя онъ и не дожилъ до славы садовничьяго сына.

Генералъ Шипидинъ разорился и кончилъ свои дни очень печально. Его универсальный шаръ не желалъ летѣть, и старикъ умеръ съ убѣжденіемъ, что, будь у него еще одна тысяча рублей, все человѣчество было бы осчастливлено и наступила бы новая эра. Клубника оказалась вѣрнѣе, и ученый нѣмецъ-садовникъ сколотилъ потихоньку небольшой капиталецъ, купилъ у генерала его оранжереи и повелъ дѣло самостоятельно. Послѣдніе дни генералъ Шипидинъ проживалъ чуть не изъ милости у своего садовника, тѣмъ болѣе, что Гриша, его отцовская надежда и гордость, пошелъ совсѣмъ по другой дорогѣ. Молодой человѣкъ не кончилъ даже университета...

Судьба зато улыбнулась садовничьему сыну, который послѣ гимназіи поступилъ въ академію художествъ, кончилъ тамъ блестящимъ образомъ, былъ отправленъ на казенный счетъ за границу на пять лѣтъ и вернулся оттуда знаменитымъ художникомъ. Солдатъ Андрей, воровавшій генеральскую клубнику, никакъ не могъ понять такой метаморфозы: изъ настоящаго генеральскаго сына вышла пустышка, а садовничій сынъ, сынъ простого нѣмецкаго мужика, возсіялъ.

— Онъ будетъ генераломъ,—увѣрялъ Андрея отецъ Бургардтъ.—Это весьма умный мальчикъ...

Устроившись, садовникъ началъ попивать, быстро опустился и умеръ отъ ожирѣнія.

И сейчасъ человѣкъ Андрей рѣшительно ничего не могъ понять. Садовничій сынъ жилъ барономъ, а генеральскій сынъ поселился въ деревнѣ и жилъ совсѣмъ по-деревенски—самъ и пахалъ, и сѣялъ, и велъ все крестьянское хозяйство. Какой же это порядокъ, ежели настоящія генеральскія дѣти пойдутъ въ мужики? Вотъ и сейчасъ сидятъ за столомъ рядомъ, а настоящаго-то генеральскаго сына никто и не признаетъ. Самъ Андрей тоже дѣлалъ видъ, что не узнаётъ Григорія Максимыча, чтобы не сконфузить напрасно человѣка.

„Ослабѣлъ человѣкъ, вотъ и ходи съ мѣшкомъ, — думалъ Андрей, стоя у дверей.—Баринъ Егоръ Захарычъ, конечно, добрый и не гнушается по старой памяти, а все-таки оно какъ-то того..."

VIII.

За завтракомъ Бургардтъ старался воздержаться отъ напитковъ, но все-таки для поправки выпилъ рюмки три водки и бутылку пива. На лицѣ у него выступили красныя пятна, а глаза подернулись пьяной влагой. Аниту всегда возмущало такое поведеніе отца, тѣмъ болѣе, что миссъ Гудъ, свято храня традиціи доброй старой Англіи, относилась къ пьянству мужчинъ совершенно равнодушно. По ея мнѣнію, настоящій мужчина и не можетъ не

пить, потому что алкоголь убавляетъ избытокъ физическихъ силъ, который дѣлаетъ мужчинъ несправедливыми, а потомъ выпившій мужчина всегда добрѣе, и если у него есть жена, то онъ на другой день проситъ у нея прощенія.

— Папа, довольно!..—рѣшительно заявила Анита. когда отецъ потянулся къ графинчику съ коньякомъ.—Это ужъ лишнее...

Бургардтъ посмотрѣлъ на нее, на эту некрасивую, маленькую женщину, и засмѣялся.

— Анита, ты знаешь, что я люблю пить кофе съ коньякомъ,—оправдывающимся тономъ заявилъ онъ.

— Нѣтъ, не будетъ... — съ капризной настойчивостью избалованной женщины заявила Анита и поставила графинъ съ коньякомъ на свою тарелку.—Ничего не будетъ...

— Да?

Бургардтъ вскочилъ и, улыбаясь, зашагалъ по столовой. Какъ всѣ женщины напоминаютъ одна другую. и Анита поступаетъ съ нимъ, какъ женщина. Бургардту захотѣлось сказать ей что-нибудь непріятное, какъ иногда позволяютъ себѣ мужчины говорить самымъ любимымъ женщинамъ; онъ остановился и, глядя въ упоръ на Аниту и продолжая улыбаться, проговорилъ:

— А съ какой удивительной красавицей я вчера познакомился, Анита... Представь себѣ... Впрочемъ, вѣроятно, она сегодня будетъ вечеромъ...

— Слѣдовательно, Егоръ Захарычъ, довольно... Да, довольно. Анита, вы можете не слушать... А еще лучше, если мы уйдемъ въ кабинетъ.

Миссъ Гудъ вся насторожилась, предчувствуя какую-то опасность, хотя и не могла понять, въ чемъ дѣло. Ей всегда не нравился тонъ, какимъ говорилъ „человѣкъ съ мѣшкомъ“, и она не понимала, какъ Егоръ Захарычъ могъ допустить такое неуваженіе къ себѣ. Вѣдь онъ хозяинъ дома, во-первыхъ, знаменитый художникъ, во-вторыхъ, и человѣкъ съ большимъ общественнымъ положеніемъ, въ-третьихъ, а „человѣкъ съ мѣшкомъ“ просто человѣкъ съ мѣшкомъ. Миссъ Гудъ давно жила въ Россіи, но многое для нея оставалось непонятнымъ. Старушка только пожала плечами, когда Шипидинъ взялъ Егора Захарыча подъ руку и увелъ его изъ столовой.

— Слѣдовательно это невозможно...—ворчалъ Шипидинъ. — Это уже распущенность... да! Есть вещи, о которыхъ нельзя говорить съ дѣвочками-подростками...

— Ахъ, оставь, пожалуйста,—смѣялся Бургардтъ.—Аниту трудно чѣмъ-нибудь удивить, и я просто хотѣлъ ее подразнить. Она дѣлается умнѣе, когда сердится...

Человѣкъ Андрей видѣлъ, какъ барышня Анита огорчила родителя, и поэтому протащилъ незамѣтно изъ буфета въ кабинетъ бутылку любимаго барскаго ликера и для потѣхи поставилъ двѣ рюмки. Въ семейныхъ дѣлахъ онъ всегда, конечно, былъ на сторонѣ барина, тѣмъ болѣе, что по личному горькому опыту отлично зналъ всѣ муки тяжелаго похмелья.

— Вотъ и отлично,—похвалилъ его Бургардтъ, наливая рюмку бенедиктина.

Шипидинъ отвернулся и началъ разсматривать заголовки стоявшихъ въ шкапу книгъ. Все это были роскошныя изданія на разныхъ языкахъ, главнымъ образомъ, конечно, по вопросамъ искусства. Тутъ были и послѣднія новости, которыхъ онъ еще не видалъ.

— Брось... все это хламъ...—замѣтилъ Бургардтъ, когда онъ взялъ французскую книгу о прерафаэлитахъ.—Не стоитъ...

— Интересно, что думаютъ въ Европѣ...

— Глупости думаютъ... Повѣрь мнѣ, что все это такъ. Да, глупости... импрессіонисты, прерафаэлиты... Ну какъ ихъ еще тамъ... Вообще декадентство, символизмъ, пунктуализмъ и сапоги въ смятку.

— Слѣдовательно ты совершенно не правъ... Совершенно не правъ. Жизнь есть движеніе, искусство тоже должно двигаться, какъ воплощеніе этой жизни, и всякая новая школа, новое направленіе имѣютъ законное право на существованіе. Даже ошибки здѣсь приносятъ пользу, какъ своего рода реактивъ для отысканія истины...

— Истина? Ха-ха...

Шипидинъ только теперь замѣтилъ, что Бургардтъ совершенно пьянъ, и съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ на него черезъ плечо.

— Ты меня жалѣешь, Гриша?—измѣнившимся тономъ спросилъ Бургардтъ, поймавъ этотъ взглядъ.—Да, я пьянъ... Только пьянъ не виномъ, какъ ты думаешь, а пьянъ вчерашнимъ вечеромъ, пьянъ этой чудной бѣлокурой головкой, этими дѣвичьими чистыми глазами, этой нѣмой загадкой, живымъ сфинксомъ.

Охваченный бурей мѣшавшихся въ головѣ мыслей, Бургардтъ крѣпко обнялъ друга дѣтства и цѣловалъ его, причемъ послѣдній имѣлъ удовольствіе чувствовать, какъ по его лицу и бородѣ катятся чужія слезы.

— Милый... дорогой... — шепталъ Бургардтъ, приходя въ „исповѣдальное“ настроеніе, которое являлось у него послѣ каждаго сильнаго кутежа.—Я тебѣ скажу все... и только тебѣ... да. Потому что ты одинъ поймешь меня...

Именно это покаянное настроеніе Шипидинъ и не любилъ, потому что припадки самоуничиженія смѣнялись, съ сумасшедшей быстротой, нелѣпой гордостью и буйствомъ. Въ этой послѣдней стадіи Бургардтъ билъ себя кулакомъ въ грудь и выкрикивалъ неистовымъ голосомъ: „Я—Бургардтъ... Понимаете?!. Меня знаетъ вся Европа. Да!.. Я... я...“ Эти моменты бѣшенства вызывались обыкновенно самыми ничтожными причинами, предусмотрѣть и устранить которыя было невозможно. Сейчасъ Бургардтъ находился въ первой стадіи и заставилъ друга во второй разъ выслушать все, что происходило вчера, до роковой встрѣчи съ нѣмой англичанкой включительно.

— Слѣдовательно я все это уже слышалъ...—увѣрялъ Григорій Максимычъ, защищаясь обѣими руками отъ новаго покушенія на объятія и поцѣлуи.—Да, слышалъ... И представь, что все это совсѣмъ не такъ интересно, какъ ты думаешь.

Въ помутившихся глазахъ Бургардта блеснуло бѣшенство и его кулаки сжались, но эта буря разрѣшилась улыбкой.

— Нѣтъ, постой, Гриша... Ты меня долженъ выслушать. Да... Если бы ты зналъ, какъ я себя презираю...

— Слѣдовательно...

— Нѣтъ, нѣтъ... Меня и другіе презираютъ, но они глупы и не понимаютъ, какъ и за что меня слѣдуетъ презирать. Что я такое, ежели разобрать? Завтра я протрезвлюсь, буду работать, и всѣ меня будутъ уважать. Но это еще хуже... Зачѣмъ я буду красть чужое уваженіе? Нѣтъ, мало этого: у меня есть свои завистники... Они приходятъ ко мнѣ въ мастерскую и завидуютъ. Да, завидуютъ... А я дѣлаю видъ, что этого не замѣчаю, и лгу каждымъ движеніемъ, каждымъ взглядомъ. Дескать, посмотрите, каковъ есть Бургардтъ, знаменитый Бургардтъ... Ха-ха! А никто и не подозрѣваетъ, что

знаменитый Бургардтъ—просто покойникъ, настоящій покойникъ... И господа черви точатъ его еще заживо, и онъ трогательно старается ихъ не замѣчать. Боже мой, Боже мой, если бы только они знали...

Схвативъ Шипидина за руку, онъ прибавилъ другимъ тономъ:

— Ты видѣлъ Аниту? Видѣлъ милѣйшую замороженную англичанку? Развѣ это жизнь? Развѣ я не понимаю, что это неудачная имитація жизни, и что я создалъ ее собственными руками... Ты только подумай, что я увѣренъ, что я люблю свою Аниту, и даже самъ иногда умиляюсь надъ этой мыслью. А между тѣмъ... Ты одинъ понимаешь, что я—мужикъ, настоящій мужикъ, которому мѣсто на огородѣ. Можетъ-быть, я и скульпторомъ сдѣлался только потому, что съ ранняго дѣтства больше всего любилъ устраивать чучела на грядахъ съ клубникой. Всѣ явленія связаны между собой невидимыми нитями, и переходъ отъ огородныхъ чучелъ къ статуямъ изъ каррарскаго мрамора совсѣмъ ужъ не такъ великъ. И сейчасъ меня очень часто гложетъ мужицкая тоска о потерянномъ мужицкомъ раѣ... Не смѣйся надо мной, это совсѣмъ не фраза, потому что вѣдь я говорю объ Анитѣ. Она была бы въ тысячу разъ счастливѣе, если бы родилась дочерью простого огородника... Понимаешь? Какъ это хорошо у Некрасова сказано: „Намъ съ лица не воду пить...“ Да!.. Онъ былъ правъ, потому что понималъ народную душу. Тутъ дѣло совсѣмъ не въ лицѣ, а въ человѣкѣ, въ душѣ, которую мы съ такой трогательной систематичностью вырываемъ изъ нашихъ дѣтей, какъ сорную траву. Мнѣ дѣлается больно, когда я начинаю думать о дочери...

— Слѣдовательно...

— Нѣтъ, постой!.. Знаешь, что̀ я долженъ былъ сдѣлать? Когда умерла жена, я долженъ былъ отдать Аниту на воспитаніе тебѣ... Боже мой, если бы ты зналъ, какъ я завидую именно тебѣ!.. Но ты этого̀ не долженъ знать... Храни тебя Богъ! Это я такъ... спьяна... Мы—антиподы. Единственное живое звено между нами—это человѣкъ Андрей, который кралъ съ моимъ отцомъ ягоды у твоего отца. Впрочемъ, послѣднее—тайна... Представь себѣ, это его пунктикъ, и онъ на этомъ основаніи, вполнѣ логично по-моему, ненавидитъ тебя... Ахъ, да, позволь, къ чему все это я говорю?

Бургардтъ присѣлъ къ столу и схватилъ себя за голову, точно руками хотѣлъ распутать свившуюся въ клубокъ нить своихъ мыслей. Потомъ онъ вскочилъ, стремительно обнялъ друга и заговорилъ, быстро роняя слова:

— Вспомнилъ... Да! Марина мнѣ еще вчера сказала, что мнѣ нечѣмъ любить... И она была права... Съ ней бываетъ что-то въ родѣ припадковъ ясновидѣнія. Да, мнѣ нечѣмъ любить, а любовь—это все творчество... Ты понимаешь? Вѣдь, навѣрно, влюбленный человѣкъ изобрѣлъ паровую машину, шведскія спички, телескопъ, спектральный анализъ, всѣ чудеса техники и величайшія проблемы науки, а въ недалекомъ будущемъ еще разъ влюбится и откроетъ секретъ воздухоплаванія. Да, я въ этомъ убѣжденъ. Я это, наконецъ, испыталъ на самомъ себѣ... Гриша, а ты былъ когда-нибудь влюбленъ?

— Слѣдовательно нѣтъ...—довольно рѣзко отвѣтилъ Шипидинъ и отвернулся къ окну.—Я любилъ—да, но ваша влюбленность—чувственное помѣшательство. Оно сейчасъ же падаетъ, какъ только чувственный голодъ получаетъ свое удовлетвореніе. У васъ нѣтъ истинной любви, потому что нѣтъ истиннаго уваженія къ женщинѣ, какъ къ человѣку. Всѣ вы—чувственники и смо̀трите на женщину нечистыми глазами, поэтому и ваше хваленое искусство не чисто...

— Ахъ, не то, совсѣмъ не то, Гриша! Я понимаю, цѣню и уважаю вашу монашескую любовь, а ты не хочешь понять нашей!.. Представь себѣ то ощущеніе... да, вчера... Когда я ее увидѣлъ, меня точно что̀ осѣнило... Понимаешь? Больше уже ничего не существовало, и я самъ не существовалъ, охваченный свѣтлымъ облакомъ грѣшнаго чувства... Это былъ моментъ откровенія и счастливыхъ слезъ, моментъ великаго гнѣва и покаянія... Душа росла съ жаждой искупленія... Боже мой, я готовъ отдать всю свою жизнь, чтобы такой моментъ повторился.

— Слѣдовательно довольно...—перебилъ его Шипидинъ, отыскивая свой мѣшокъ въ углу.—Я схожу по одному дѣлу, а ты въ это время успѣешь выспаться.

IX.

Бургардтъ безпрекословно повиновался, и Шипидинъ уложилъ его на диванъ, подсунувъ подъ голову расшитую шелками подушку. Запасъ пьяной энергіи изсякъ; кромѣ того, въ характерѣ Бургардта была чисто-женская черта, въ извѣстные моменты онъ любилъ поддаваться чужой волѣ, какъ избалованный ребенокъ.

— Да, хорошо соснуть... — бормоталъ онъ, закрывая глаза. — Какое чудное изобрѣтеніе сонъ, какъ говоритъ Сахановъ...

— Это говоритъ не Сахановъ, а Санчо Панса въ „Донъ-Кихотѣ“,— поправилъ его Шипидинъ.

Но Бургардту не суждено было воспользоваться „прекраснымъ изобрѣтеніемъ“. Когда Шипидинъ выходилъ изъ кабинета, то чуть не сбилъ съ ногъ Васяткина, который даже уронилъ пенснэ.

— Кажется, мы съ вами гдѣ-то встрѣчались...—проговорилъ Васяткинъ стереотипную фразу, которую повторялъ при встрѣчѣ съ каждымъ незнакомымъ человѣкомъ.

— Очень можетъ быть...—довольно грубо отвѣтилъ Шипидинъ, загораживая дорогу.—Егоръ Захарычъ легъ спать... Ему необходимъ нѣкоторый покой.

— О, мнѣ нужно всего одну минуту его видѣть... По очень важному дѣлу.

Потомъ онъ прибавилъ уже совершенно другимъ тономъ, вынимая изъ кармана массивный портсигаръ и даже подмигивая:

— Не желаете ли сигарочку? У меня, батенька, особенныя... по случаю досталъ два ящика..

— Благодарю васъ. Я не курю...

Васяткинъ, длинный, сѣрый господинъ—у него все было сѣрое: и глаза, и цвѣтъ лица, и зубы, и волосы, и костюмъ, и даже самый голосъ—являлся типичнымъ другомъ артистовъ. Чѣмъ онъ занимался и чѣмъ жилъ—вѣроятно, невозможно было бы открыть никакимъ химическимъ анализомъ. Просто, Васяткинъ—и больше ничего. Главной гордостью этого загадочнаго субъекта было то, что онъ рѣшительно всѣхъ зналъ и, пробѣгая утромъ газету, начиналъ съ объявленій о покойникахъ, причемъ повторялъ: „Боже мой, Павелъ Богданычъ тю-тю... А давно ли, кажется, завтракали у Кюба!.. И Македонскій туда же... Ну, у этого блуждающія почки—вообще, негодяй. Варвара Петровна Зарѣзова... хе-хе-хе!.. Егоровъ... Вотъ человѣкъ, который умеръ полнымъ генераломъ!“ Васяткина можно было встрѣтить на всѣхъ первыхъ представленіяхъ, на чествованіи знатныхъ иностранцевъ, юбилеяхъ и аукціонахъ. Кромѣ того, онъ былъ непремѣннымъ членомъ всѣхъ похоронныхъ про-

цессій и благороднымъ свидѣтелемъ всѣхъ громкихъ скандаловъ. Молва гласила, что онъ давалъ деньги подъ проценты и при случаѣ былъ очень нечистъ на руку. Кромѣ страсти къ знакомствамъ, его одолѣвала манія всевозможныхъ рѣдкостей, по части которыхъ онъ былъ великимъ знатокомъ и обладалъ всевозможными коллекціями. Шипидинъ давно его зналъ и презиралъ, какъ пустого человѣка. Онъ только махнулъ рукой, когда вихлястая фигура Васяткина шмыгнула въ кабинетъ.

„Тоже другъ...“—съ горечью подумалъ Шипидинъ.

Бургардтъ уже спалъ, когда Васяткинъ вошелъ въ кабинетъ, и нѣсколько мгновеній не могъ понять, когда его разбудили.

— Я на минутку, дорогой другъ,—говорилъ гость, усаживаясь на диванъ рядомъ.—Нарочно заѣхалъ предупредить васъ, что сегодня вечеромъ Красавинъ будетъ у васъ... да.

Это извѣстіе заставило Бургардта сѣсть. Вѣдь онъ вчера оскорбилъ, кажется, Красавина?

— Не хотите ли сигарку?—болталъ Васяткинъ, протягивая портсигаръ.—Особенныя, батенька... по случаю... да. А вчера порядочно кутнули... хе-хе! Я видѣлъ счетецъ... около двухъ тысячъ...

Для эффекта Васяткинъ одну тысячу привралъ. Бургардтъ машинально взялъ у него сигару и, раскуривая ее не съ того конца, сообразилъ наконецъ, въ чемъ дѣло.

— Значитъ, будетъ и эта... миссъ Мортонъ?—спросилъ онъ, не рѣшаясь договорить главнаго.

Но Васяткинъ предупредилъ неловкій вопросъ:

— Не безпокойтесь, мистрисъ устрапена, а миссъ пріѣдетъ съ Ольгой Спиридоновной, которая приняла въ ней почти родственное участіе... У женщинъ бываютъ свои капризы, и Ольга Спиридоновна непремѣнно захотѣла ее привезти къ вамъ.

Бургардтъ засмѣялся.

— Не будемте играть въ прятки... Ольга Спиридоновна въ данномъ случаѣ старается подслужиться предъ Красавинымъ и хочетъ устроить ему въ моемъ домѣ свиданіе. Да, я понимаю... гм... Только они забыли, что у меня есть дочь...

— Развѣ она здѣсь, а не на дачѣ? Гм... да... Впрочемъ, вѣдь Ню бываетъ у васъ, и мы можемъ выдать миссъ тоже за натурщицу...

Сообщивъ нѣсколько самыхъ свѣжихъ утреннихъ новостей, Васяткинъ уѣхалъ. Бургардтъ былъ взбѣшенъ и далъ рѣзкій звонокъ. Когда явился Андрей, онъ по логикѣ разсерженныхъ людей накинулся на него:

— Какъ ты смѣлъ пустить этого... этого господина, когда я только-что легъ спать?! Ты идіотъ... Понимаешь: идіотъ. Всякій будетъ врываться ко мнѣ въ кабинетъ... понимаешь?

Когда баринъ обругался всласть и отвелъ душу, человѣкъ Андрей, не проронивъ ни слова въ свое оправданіе, проговорилъ дѣловымъ тономъ:

— Въ самый бы разъ теперь, вашескородіе, въ баньку... ей-Богу! Даже вотъ какъ отлично...

Бургардтъ немного смутился беззащитностью человѣка Андрея, а затѣмъ пришелъ въ восторгъ отъ его мудрой предусмотрительности. Именно, нужна была сейчасъ баня, и все похмелье какъ рукой сниметъ. Конечно, отлично сейчасъ направиться въ баню, а потомъ бутылку холоднаго квасу...

— Приготовляй все...—отвѣтилъ онъ тоже дѣловымъ тономъ, стараясь не смотрѣть на невиннаго Андрея, на которомъ сорвалъ сердце. — Да не забудь взять квасу...

— Помилуйте, церемонія извѣстная...

Не глядя на барина, человѣкъ Андрей вышелъ, тяжело шмыгая ногами, точно онѣ у него прилипали къ полу.

Часа черезъ два Бургардтъ вернулся домой совершенно здоровымъ, точно снялъ съ себя въ банѣ пьяную тяжесть. Онъ любилъ баню и парился на полкѣ, какъ извозчикъ. Андрей встрѣтилъ его въ передней и, снимая пальто, говорилъ:

— Вотъ вы всегда такъ, баринъ... А я не виноватъ. Я думалъ, что у васъ сидитъ этотъ съ мѣшкомъ, ну, а господинъ Васяткинъ и прорвались...

— Ну, хорошо, хорошо...

— Ежели бы я зналъ, такъ я... Очень даже просто.

Послѣ бани Бургардтъ съ часъ отдыхалъ у себя въ кабинетѣ и удивлялся самому себѣ, припоминая событія сегодняшняго утра. Во-первыхъ, ему не слѣдовало выходить въ столовую, а спросить завтракъ въ кабинетъ. Миссъ Гудъ и Анита, конечно, замѣтили по его лицу, какъ онъ провелъ ночь. Ахъ, какъ нехорошо... Дѣвочка уже большая и о многомъ можетъ догадываться. Ему припомнилась сцена, какъ Анита не давала коньякъ и какъ онъ хотѣлъ ей досадить за это насиліе. Нелѣпо и глупо... Навѣрно, у него глаза были красные, а лицо въ пятнахъ. И это отецъ, который долженъ служить примѣромъ. Что̀ думаетъ о немъ миссъ Гудъ! А тутъ еще вечеромъ соберутся гости... Если бы можно было удалить Аниту куда-нибудь на вечеръ, но у миссъ Гудъ болитъ нога, и это неисполнимо.

— Вообще, прекрасно...—резюмировалъ вслухъ Бургардтъ свои мысли, проклиная впередъ всѣхъ гостей.—А потомъ эта исповѣдь передъ Григоріемъ Максимычемъ... тоже недурно.

Дальше мысль о гостяхъ развилась неожиданно въ противоположную сторону. Вѣдь всѣ эти люди есть только то, что̀ они есть, и нелѣпо требовать отъ нихъ, чтобы они были другими. Слѣдовательно нужно было сердиться на самого себя, что проводишь свое время въ такомъ обществѣ. А женщины уже окончательно не были виноваты ни въ чемъ, какъ существа слабыя и зависимыя отъ тысячи случайностей. Бургардту сдѣлалось жаль ихъ всѣхъ. Въ сущности, вѣдь всѣ онѣ такія несчастныя, и каждая тяжелой цѣной расплачивается за свои короткіе успѣхи и сомнительныя побѣды. Если бы его дочь Анита очутилась въ положеніи миссъ Мортонъ... Нѣтъ, лучше о такихъ вещахъ не думать. Бургардта охватила страстная жалость къ дочери, которую онъ, въ сущности, любилъ только формально, и дѣвочка росла по собственной волѣ. Можетъ-быть, эта дѣтская душа уже впитывала въ себя нездоровыя міазмы окружавшей ее артистической атмосферы.

— Нѣтъ, все это необходимо перемѣнить...—думалъ Бургардтъ вслухъ, напрасно стараясь придумать изолирующую Аниту комбинацію.

X.

Шипидинъ цѣлый день пробродилъ по городу, разыскивая кое-кого изъ старыхъ знакомыхъ и устраивая разныя дѣла. Когда онъ вышелъ изъ квартиры Бургардта, то сразу почувствовалъ облегченіе отъ какой-то неопредѣленной тяжести, которая испытывается иногда въ жарко натопленныхъ оранжереяхъ. Онъ постоялъ у подъѣзда и про себя похвалилъ жаркій іюньскій денекъ. Со стороны моря надвигались такія хорошія, бѣлогрудыя облака.

„Навѣрно будетъ хорошій дождь...“ — думалъ онъ по-мужицки, совершенно позабывая, что для города это все равно—будетъ дождь или не будетъ.

Онъ повернулъ къ Николаевскому мосту. По улицѣ попадались больше

ломовые, нагруженные бутовымъ камнемъ, кирпичомъ, досками, бочками съ цементомъ, мусоромъ отъ построекъ. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ шли постройки, обрѣшеченныя высокими лѣсами, по которымъ рабочіе ползали, какъ мухи. Въ воздухѣ пахло свѣжимъ кирпичомъ, известью, деревомъ и пылью. Многоэтажные дома, напоминавшіе соты, росли, какъ грибы, и Шипидинъ почему-то смотрѣлъ на нихъ съ недовѣріемъ, какъ на что-то ненастоящее и ненужное. Вѣдь если бы такого дома не было, все равно, какъ-нибудь люди размѣстились бы по другимъ домамъ. Особенно его занимали несчастные городскіе ребятишки, игравшіе на мостовой, по тротуарамъ, во дворахъ, походившихъ на глубокіе колодцы,—эти дѣти столичной улицы ужасно напоминали городскихъ воробьевъ, которые пурхались въ пыли мостовой. Ему ужасно сдѣлалось жаль этихъ несчастныхъ ребятишекъ, которые никогда-никогда не увидятъ деревенскаго простора и должны замереть въ своихъ подвалахъ и чердакахъ.

Набережная отъ Николаевскаго моста до Горнаго института всегда нравилась Шипидину, и онъ еще юношей простаивалъ на ней цѣлые часы, наблюдая кипучую работу тысячъ людей. Какъ красивы были всѣ эти суда, особенно морскія, выстроившіяся вдоль набережной въ нѣсколько рядовъ. Въ нихъ чувствовалась какая-то особенная сила, какъ у перелетныхъ птицъ сравнительно съ домашними. И матросы все были молодецъ къ молодцу, загорѣлые, сильные, какіе-то совсѣмъ особенные люди. Хороши были и крючники, разгружавшіе суда, и ломовики, нагружавшіе свои телѣги, и заморскіе мореходы—финляндскіе, шведскіе, датскіе, голландскіе, нѣмецкіе, англійскіе. Набережная являлась какимъ-то международнымъ пунктомъ, гдѣ разныя національности сошлись въ общей работѣ. Шипидинъ долго бродилъ по набережной и не могъ утерпѣть, чтобы не спрашивать, что̀ заключается въ тысячахъ этихъ тюковъ, бочекъ и ящиковъ. Шмыгавшіе вездѣ юркіе артельщики оглядывали его довольно подозрительно, а одинъ съ особенной грубостью отвѣтилъ ему:

— Проваливай... Вчерашній день потерялъ?

Кто-то засмѣялся, и Шипидинъ ушелъ. На набережной безъ него толкалось достаточно любопытныхъ. Онъ уносилъ съ собой ту тихую тоску, которая преслѣдуетъ бывалыхъ людей, когда они встрѣчаютъ знакомыя сцены и знакомую обстановку. Когда-то и онъ суетился на такихъ набережныхъ, каталъ бочки и помощникомъ кочегара переплывалъ Атлантическій океанъ. Да, тогда была вѣра во что-то, что̀ тамъ, за морями и горами, и что̀ было разбито самымъ безжалостнымъ образомъ. А все-таки жаль... Въ душѣ проснулась такая зовущая, хорошая тоска.

Шипидинъ еще разъ полюбовался съ Николаевскаго моста на красавицу Неву, уставленную точно отдыхавшими морскими судами, и неторопливымъ шагомъ отправился на другую сторону. Чѣмъ онъ ближе подвигался къ центру, тѣмъ сильнѣе вниманіе стоявшихъ на посту городовыхъ сосредоточивалось на его мѣшкѣ.

— Эй, ты, мужланъ, долой съ панели,—грубо остановилъ его одинъ изъ блюстителей порядка, когда онъ уже подходилъ къ Невскому.

Эффектъ получился еще больше, когда Шипидинъ вошелъ въ переднюю одного департамента. Расшитый швейцаръ даже онѣмѣлъ отъ изумленія.

— Мнѣ Петрова...—началъ-было Шипидинъ.

— У насъ нѣтъ никакого Петрова.

— Вы ошибаетесь: Сергѣй Васильевичъ Петровъ...

— Ихъ превосходительство заняты...

— Все-таки будьте любезны передать ему мою записку. Я сейчасъ напишу...

Петровъ, старый товарищъ по университету, оказался гораздо вѣжливѣе швейцара и встрѣтилъ Шипидина въ дверяхъ своей пріемной.

— Какими судьбами, голубчикъ?—спрашивалъ онъ, обнимаясь и цѣлуясь съ гостемъ.—А я ужъ думалъ, что тебя и въ живыхъ нѣтъ... Очень, очень радъ!..

Подтянутый, чистенькій, съ благообразной сѣдиной и почтительно-строгимъ лицомъ, этотъ Петровъ былъ типичнымъ чиновникомъ изъ новыхъ. Онъ много разспрашивалъ Шипидина объ его жизни и особенное вниманіе обратилъ на положеніе его дѣтей, причемъ проявилъ замѣчательную проницательность, заставившую Шипидина съежиться.

— Четверо дѣтокъ? Очень, очень хорошо... Три сына и дочь? Отлично... Учатся?..

— Да, т.-е. дома...

— А сколько лѣтъ старшему?

— Шестнадцать, кажется...

Благообразно-проницательное министерское лицо приняло скорбное выраженіе.

— Очень, очень хорошо, т.-е. совершенно наоборотъ, Григорій Максимовичъ... Ты ужъ меня извини, а я долженъ тебѣ сказать откровенно, какъ старый другъ... да... Дѣло въ томъ, что свою личную жизнь ты могъ устраивать, какъ хотѣлъ, причемъ, въ случаѣ неудачнаго опыта, благодаря тому капиталу, который ты несешь въ себѣ въ формѣ образованія и извѣстной культуры, могъ всегда вернуться въ привилегированную, нашу колею. Да... Но, по моему мнѣнію,—ты извини меня!—судьбой дѣтей ты не могъ такъ распоряжаться... Возьмемъ самый близкій вопросъ: воинская повинность?

— А если я, слѣдовательно, не желаю для своихъ сыновей никакихъ льготъ?

— Замѣть: это *ты* не желаешь, а вѣдь *они* имѣютъ право и на свои желанія... Вообще, вопросъ крайне серьезный, и я буду радъ поговорить о немъ съ тобой серьезно, когда буду свободенъ. Сейчасъ я живу въ Павловскѣ, на дачѣ... Тоже женатъ, очень недавно, впрочемъ, и уже имѣю шестимѣсячнаго бебешку. Да, такъ ты и пріѣзжай ко мнѣ на дачу... Сегодня у меня комиссія... завтра—тоже... дѣла. Вообще вся недѣля занята, а на будущей...

— Я на-дняхъ уѣзжаю...

— Оставайся, голубчикъ. Я такъ радъ...

— Слѣдовательно не могу... У насъ страда начинается.

Чиновный другъ, видимо, былъ радъ такой счастливой развязкѣ, хотя и прибавилъ съ грустью:

— Знаешь, я начинаю какъ-то терять *нашихъ* изъ виду... Ужасно обидно. Они немного косятся на меня... да... Я это понимаю и самъ отношусь немного скептически къ своей чиновничьей дѣятельности, но что подѣлаешь—слабый характеръ, не выдержалъ... Если тебѣ что-нибудь нужно будетъ относительно дѣтей, то я съ удовольствіемъ... посовѣтовать, указать...

По генеральской привычкѣ Петровъ при прощаньи первый протянулъ руку.

Умудренно-проницательный чиновникъ сразу попалъ въ самое больное мѣсто Шипидина, какъ давеча Бургардтъ, который такъ искренно жалѣлъ, что не отдалъ свою Аниту ему на воспитаніе. Петровъ оказался умнѣе и проницательнѣе, и Шипидинъ, шагая по тротуару, только встряхивалъ головой.

— Слѣдовательно капиталъ образованія и культуры...—бормоталъ онъ.— Хитрый чинушка... И все это такъ любезно...

Слѣдующимъ номеромъ былъ визитъ къ знаменитому дѣтскому врачу, тоже товарищу и даже однофамильцу. Нужно было посовѣтоваться относительно борьбы съ дѣтскими эпидеміями. На одной изъ модныхъ улицъ, у шикарнаго подъѣзда стоялъ великолѣпный рысакъ съ кучеромъ-чудовищемъ, у котораго на спинѣ были прикрѣплены къ поясу круглые часы. Шипидинъ въ первый разъ видѣлъ эту новинку и невольно засмѣялся. Въ подъѣздѣ онъ не утерпѣлъ и спросилъ швейцара, чей это кучеръ съ часами на поясницѣ.

— Доктора Шипидина...

— Значитъ, онъ дома?

— Стало-быть, дома...

Этотъ кучеръ простаивалъ безъ дѣла у подъѣзда иногда цѣлые дни, но пациенты должны были понимать, какъ дорого время знаменитаго человѣка.

Дверь отворила накрахмаленная, очень строгая горничная, оглядѣла незавиднаго гостя съ ногъ до головы и сказала:

— Я сейчасъ узнаю... Какъ о васъ доложить? Пожалуйте въ пріемную...

Шипидинъ написалъ записку и передалъ горничной, а самъ въ ожиданіи принялся разсматривать солидно обставленную пріемную. Тутъ все было солидно—мебель, ковры, бронза, картины, цѣлая витрина съ цѣнными подарками благодарныхъ кліентовъ. Въ углу стояли старинные англійскіе часы, и маятникъ ходилъ съ медленной важностью. Гдѣ-то слышались осторожные шаги, потомъ осторожно пріотворилась массивная дверь, и Шипидину показалось, что въ щель на него смотрѣлъ самъ знаменитый другъ, но вмѣсто него вышелъ толстый мопсъ. Собака хрипѣла отъ ожирѣнія, но сочла долгомъ подойти къ кліенту и ткнуть его своимъ чернымъ сплюснутымъ носомъ въ руку. Потомъ послышались шаги, и въ пріемную быстро вошла молодая, но болѣзненная и некрасивая дама.

— Простите, пожалуйста, что я прочла вашу записку,—заговорила она, протягивая руку.—Я—жена Ильи Алексѣевича... Онъ такъ будетъ жалѣть, что вы не застали его дома. Я много слышала о васъ и рада лично познакомиться... Илья Алексѣевичъ только-что вышелъ, и я удивляюсь, какъ вы не встрѣтились съ нимъ на лѣстницѣ.

— Слѣдовательно какъ же его лошадь стоитъ у подъѣзда?

— А онъ пошелъ пѣшкомъ къ больному рядомъ...

— Слѣдовательно какъ же швейцаръ сказалъ, что онъ дома?

— Нашъ швейцаръ глупъ и вѣчно спитъ...

Она лгала съ такой измученной улыбкой, что Шипидину сдѣлалось наконецъ ее жаль. Знаменитый однофамилецъ просто не хотѣлъ его принять.

— Слѣдовательно я зайду въ другой разъ,—проговорилъ Шипидинъ, дѣлая видъ, что всему повѣрилъ.

Знаменитый другъ, спрятавшись за драпировку, видѣлъ, какъ Шипидинъ переходилъ черезъ улицу, перекинувъ мѣшокъ черезъ плечо, и только покачалъ головой. Когда жена вошла въ кабинетъ, онъ сказалъ:

— Что можетъ быть хуже нашей проклятой профессіи? Ни одной свободной минуты, чтобы поговорить со старымъ другомъ... А этотъ Шипидинъ— замѣчательный человѣкъ. Говоря откровенно, я даже завидую ему...

Взглянувъ на часы, — у доктора въ кабинетѣ вездѣ были часы: на письменномъ столѣ, на каминѣ, на стѣнѣ, такъ что, куда онъ ни повертывался, его драгоцѣнное время показывалось съ точностью,—докторъ прибавилъ:

— У меня сейчасъ визитъ къ княгинѣ Оводовой... да...

Жена покорно его слушала, не вѣрила ни одному его слову и смотрѣла на него влюбленными овечьими глазами.

XI.

Шипидинъ пробродилъ по Петербургу до поздняго вечера. Онъ заходилъ въ складъ сельскохозяйственныхъ машинъ, чтобы просмотрѣть новый плужокъ, усердно рекламированный въ газетахъ, потомъ былъ въ редакціи одной газеты, куда посылалъ иногда корреспонденціи, потомъ очутился на Пескахъ, гдѣ жилъ одинъ изъ „нашихъ". Это былъ интеллигентный человѣкъ безъ опредѣленныхъ занятій, ютившійся въ грязномъ надворномъ флигелѣ съ громадной семьей.

— Иванъ Петровичъ дома?

— А куды ему дѣться...—грубо отвѣтила грязная кухарка.

Иванъ Петровичъ, испитой сгорбленный господинъ, съ тревожно бѣгавшими безцвѣтными глазками, былъ типичнымъ представителемъ интеллигентнаго столичнаго пролетаріата. Онъ всю жизнь чего-то ждалъ, на что-то надѣялся и смотрѣлъ на свое настоящее, какъ на переходное состояніе. Главное, нужно было выдержать характеръ, не поддаться fortuna adversa и т. д. Встрѣтилъ онъ гостя съ неподдѣльной радостью и сейчасъ же послалъ кухарку за пивомъ.

— Слѣдовательно я не пью...—заявилъ Шипидинъ.

— У тебя вѣчныя фантазіи!.. По крайней мѣрѣ, не мѣшай мнѣ порадоваться за тебя. Мнѣ докторъ прописалъ пить пиво, въ умѣренномъ количествѣ, конечно...

Квартира была грязная, обстановки никакой, изо всѣхъ дверей выглядывали грязныя дѣтскія рожицы, изъ кухни воняло жаренымъ лукомъ и еще какой-то дрянью. Хозяинъ пилъ пиво и все время говорилъ только о себѣ, о своихъ планахъ, причемъ кого-то бранилъ и обѣщался отомстить. Между прочимъ, досталось и генералишкѣ Петрову, и доктору Шипидину, и Бургардту. Шипидинъ терпѣливо его слушалъ, выжидая удобный моментъ, чтобы уйти поскорѣе.

Шипидинъ вздохнулъ свободнѣе, когда вышелъ изъ этого мертваго дома. Да, есть люди, которымъ нужно воспретить закономъ имѣть семьи, какъ это ни жестоко. Онъ съ тоской думалъ о чумазыхъ дѣтскихъ личикахъ и о собственномъ эгоизмѣ. Вотъ онъ взялъ и ушелъ, потому что ему было непріятно смотрѣть на эту западню, а Иванъ Петровичъ остался и будетъ пить свое пиво, пока его не съѣстъ чахотка или не разобьетъ параличъ. Если бы взять этихъ несчастныхъ дѣтей и воспитать ихъ въ деревнѣ, на свѣжемъ воздухѣ... Ему опять пришли на память отрывистыя слова мудраго чиновника относительно его собственныхъ дѣтей.

— Слѣдовательно капиталъ образованія и культуры,—повторялъ онъ, покачивая головой.

Слѣдующіе визиты къ „нашимъ" были удачнѣе. Люди какъ люди, хотя и пропитавшіеся столичнымъ ядомъ. Одинъ учитель гимназіи мечталъ даже о своей землѣ.

— У насъ почти всѣ мечтаютъ о землѣ,—объяснялъ онъ.—Конечно, не о подвигѣ, а просто о землѣ. Не нужно крайностей, а нуженъ простой нормальный человѣкъ. Прежде всего, необходимо, чтобы дѣти видѣли для сравненія деревню и деревенскую жизнь.

— Слѣдовательно въ родѣ нагляднаго урока или чтенія объяснительнаго?

— Называй, какъ хочешь... Ты думаешь, что мы не понимаемъ, что растимъ изъ нашихъ дѣтей какихъ-то квартирантовъ, у которыхъ всѣ дѣтскія впечатлѣнія и воспоминанія будутъ примѣняемы къ тѣмъ квартирамъ, гдѣ они жили, и у самыхъ счастливыхъ къ какому-нибудь дачному мѣсту? Нѣтъ, братику, отлично понимаемъ... А вотъ мы имъ покажемъ настоящую деревню, пусть смотрятъ и учатся...

— Но не живутъ?

— А это ужъ они сами... да. Теперь у насъ по части фантазій весьма тихо. Копимъ деньги и присовокупляемъ... Глядишь, годиковъ черезъ десять-пятнадцать имѣньишко и выросло. Ребята будутъ на свѣжемъ воздухѣ цѣлое лѣто проводить, а я буду капусту да рѣдьку садить...

— Пріятное съ полезнымъ, значитъ?

— Это, положимъ, не идеалъ и даже очень не идеалъ, но приходится довольствоваться возможнымъ. Вѣдь и ты, въ сущности, ведешь только фермерское хозяйство, значитъ, остановился на полдорогѣ. А ты запишись въ настоящіе мужики, войди членомъ въ настоящую мужицкую общину, вози станового и исправника, отбывай повинность какого-нибудь старосты—вотъ это будетъ послѣдовательно.

— Ты говоришь такъ потому, что не знаешь совсѣмъ деревни, гдѣ и фермерское хозяйство тоже нужно. Именно фермерское, а не помѣщичье или арендаторское.

— Вѣдь и наша дѣятельность тоже нужна, голубчикъ. Мы тоже не сидимъ, сложа руки... У насъ и ремесленныя школы, и школьныя лѣтнія колоніи, и пріюты, и санаторіи.

— Однимъ словомъ, чудеса въ рѣшетѣ.

Учитель обидѣлся и замолчалъ. Шипидинъ тоже былъ задѣтъ за живое его замѣчаніемъ о поступленіи въ настоящіе мужики и постарался выяснить разницу, которая принципіально раздѣляетъ его хозяйство отъ ихъ дачныхъ утѣхъ.

— Для меня мое хозяйство—все, въ моей работѣ есть нравственный смыслъ. Умѣть своими руками заработать свой кусокъ хлѣба—великая вещь, и заработать настоящимъ трудомъ, а не жалованіемъ, разными дипломными синекурами и культурными привилегіями. Если я ѣмъ кусокъ хлѣба, то я знаю, что я дѣйствительно его заработалъ тяжелымъ трудомъ. Затѣмъ, что мое хозяйство имѣетъ такое же значеніе, какъ и крестьянское—доказательство налицо. Нынче въ нашей Тамбовской губерніи урожай, а въ результатѣ страшное паденіе цѣнъ на хлѣбъ. Въ помѣщичьихъ хозяйствахъ получается такая комбинація: если убрать хлѣбъ и продать его, то получится чистаго убытка около четырнадцати рублей, считая арендную стоимость десятины въ двадцать рублей. Положеніе глупое: урожай плохой—цѣны хорошія и продавать нечего, а урожай хорошій—убытокъ землевладѣльцу, который работаетъ чужими руками. Зато мужикъ радуется, и мужицкій трудъ поднимается въ цѣнѣ. Я тоже радуюсь, потому что урожай для меня обезпеченіе на цѣлый годъ, а работаю самъ со своей семьей—слѣдовательно повышеніе цѣны на рабочія руки меня не касается. Кажется, ясно?

Друзья разстались чуть не врагами, обвиняя другъ друга въ непониманіи. Шипидинъ не былъ въ Петербургѣ лѣтъ пять и былъ особенно огорченъ: и онъ не понималъ и его не понимали, а въ результатѣ изъ „нашихъ“ получались чужіе люди. Да, это были настоящіе обломки разбитаго корабля...

Было уже часовъ десять вечера, когда Шипидинъ опять очутился на петербургской улицѣ, пыльной и еще не остывшей отъ дневного зноя. Духота

висѣла въ воздухѣ. Рабочая суета на улицахъ прекратилась, смѣнившись обычной вечерней сутолокой. Летѣли на острова экипажи, по тротуарамъ торопливо шли на свой промыселъ жертвы общественнаго темперамента, какіе-то подозрительные молодые люди въ котелкахъ и просто люди, желавшіе какъ-нибудь убить свое ненужное время. Милліонное чудовище засыпало тревожнымъ и тяжелымъ сномъ, придавленное болѣзненнымъ кошмаромъ.

„И люди могутъ здѣсь жить?—думалъ Шипидинъ, шагая по широкой панели Невскаго.—Имъ не страшно за каждый новый день? Вѣдь могутъ уѣхать на лѣто куда-нибудь на дачу только избранники, остальные заперты здѣсь навсегда“.

И если подумать, что вся эта живая сила въ разное время вытянута изъ провинціи и похоронена здѣсь навсегда—получалось ужасное впечатлѣніе. Въ молодости и онъ провелъ не одно лѣто въ Петербургѣ, но тогда все скрашивалось молодымъ настроеніемъ, работой и надеждами. Ему даже нравился Петербургъ лѣтомъ, благодаря красавицѣ Невѣ и взморью. Да, онъ помнилъ свои бѣлыя ночи, когда былъ по-своему счастливъ...

Мучительное чувство одиночества охватило Шипидина, и онъ даже закрылъ глаза, мысленно уносясь въ свою деревню, гдѣ сейчасъ такъ было хорошо. Онъ даже хотѣлъ вернуться въ свои меблированныя комнаты, но хотѣлось взглянуть на Неву ночью, когда онъ особенно ее любилъ. Ноги машинально двигались впередъ, и Шипидинъ уже чувствовалъ вѣявшую со стороны рѣки прохладу.

— Да, чужой, совсѣмъ чужой...—повторялъ онъ.

На Николаевскомъ мосту онъ опять остановился, не зная, итти ему къ Бургардту или нѣтъ. Нева плыла, точно подернутая матовымъ серебромъ, на мачтахъ судовъ яркими звѣздочками теплились разноцвѣтные фонарики, такія же звѣздочки бѣжали по водѣ, отражавшей въ себѣ параллельныя линіи береговыхъ фонарей. Гдѣ-то тихо плескалась сонная вода, гдѣ-то рѣзко прорѣзывалъ воздухъ пароходный свистокъ, гдѣ-то слышалось непріятное дребезжаніе извозчичьей пролетки...

— Да, капиталъ образованія и культуры,—еще разъ повторилъ про себя Шипидинъ, дѣлая поворотъ на Васильевскій островъ.

Ему вдругъ захотѣлось быть въ обществѣ и видѣть незнакомыхъ людей, тѣмъ болѣе, что у Бургардта соберутся разные художники и артисты, а къ искусству у Шипидина сохранялась какая-то неопредѣленная тяга—послѣдній остатокъ его культурныхъ привычекъ.

XII.

Когда Шипидинъ раздѣвался въ передней, человѣкъ Андрей встрѣтилъ его особенно непривѣтливо. Дескать, всякій претъ къ Егору Захарычу, а тутъ ждутъ Красавина. Изъ гостиной уже доносился трескучій голосъ Саханова, а на звонокъ въ дверяхъ показалась голова Васяткина и сейчасъ же скрылась. Шипидинъ былъ пріятно удивленъ, когда увидѣлъ Бургардта совершенно трезвымъ, именно такимъ, какимъ онъ его любилъ—скромный, умный, съ застѣнчивой улыбкой.

Въ гостиной, въ „азіатскомъ уголкѣ“, освѣщенномъ модной лампой на высокой тонкой подставкѣ, сидѣли какія-то дамы и тутъ же миссъ Гудъ съ Анитой. Изъ дамъ Шипидинъ узналъ одну Ольгу Спиридоновну, которую встрѣчалъ раньше и которая успѣла сильно обрюзгнуть и постарѣть. Она сегодня находилась въ умиленномъ настроеніи и все время ухаживала за миссъ Мортонъ, которую приняла подъ свое крылышко. Анита такъ и впилась

въ новую гостью, которая ей казалась какимъ-то ангеломъ, и дѣвочка не могла отвести отъ нея глазъ. Ей страстно хотѣлось сѣсть съ ней рядомъ, взять за руку и вообще чувствовать близость этой живой красоты. Даже нѣмота частью являлась въ глазахъ Аниты какимъ-то достоинствомъ, какъ молчатъ мраморныя статуи и картины, которыя она любила. Миссъ Мортонъ нѣсколько разъ улыбнулась ей, и Анита краснѣла вмѣстѣ съ ушами. Это было то дѣтское обожаніе, которое испытываютъ дѣвочки-подростки въ своемъ критическомъ переходномъ возрастѣ.

Бургардтъ наблюдалъ дочь и, по привычкѣ художника, обдумывалъ тему экзальтированной молящейся дѣвочки. Сейчасъ Анита была почти красива, и это было опять новой темой, именно сдѣлать некрасивое лицо подъ вліяніемъ сильнаго душевнаго возбужденія красивымъ. Противъ ожиданія, строгая миссъ Гудъ отнеслась къ новой гостьѣ съ большимъ сочувствіемъ, вѣроятно, благодаря ея нѣмотѣ, съ одной стороны, и потомъ тому, что миссъ Мортонъ разговаривала съ ней на бумагѣ на чистомъ англійскомъ языкѣ. Вообще, миссъ Мортонъ на всѣхъ произвела выгодное впечатлѣніе, и даже Шипидинъ, забившись въ уголокъ, разсматривалъ ее съ особеннымъ вниманіемъ, котораго женщинамъ не удѣлялъ вообще.

— Ну что̀?—спросилъ его Бургардтъ вполголоса, указывая на миссъ Мортонъ глазами.—Не правда ли, хороша?

Шипидинъ сразу точно съежился. Его даже покоробила послѣдняя фраза. Развѣ можно *такъ* говорить о несчастіи? Просто, несчастная дѣвушка, которая попала въ очень сомнительную обстановку. Ему вообще не нравилось, какъ Бургардтъ смотрѣлъ на женщинъ,—онъ вездѣ видѣлъ скрытое платьемъ живое женское тѣло и расцѣнивалъ его формы по спеціальному масштабу. Это его возмущало всегда, а теперь въ особенности. Несчастіе имѣетъ право если не на уваженіе, то на скромность.

— Зачѣмъ она здѣсь?—отвѣтилъ онъ Бургардту вопросомъ.

Бургардтъ немного смутился и ничего не отвѣтилъ. Шипидинъ не желалъ понимать, что̀ такое художникъ.

Марина Игнатьевна сидѣла въ тѣни развѣсистой латаніи и терпѣливо выслушивала жалобы Бахтерева. Ей какъ-то всегда приходилось выслушивать чужія жалобы, и она точно была по заказу создана терпѣливой слушательницей. Бахтеревъ стоялъ передъ ней и жаловался, дѣлая театральные жесты. Помилуйте, гдѣ же справедливость, когда его коронную роль Гамлета передаютъ какимъ-то безмозглымъ мальчикамъ? Положимъ, что его фигура округлилась, но вѣдь въ одной ремаркѣ Шекспира Гамлетъ прямо названъ жирнымъ, а Росси шестьдесятъ лѣтъ, у него порядочный животикъ, и старикъ все-таки продолжаетъ играть Гамлета.

— Да, да...—соглашалась Марина Игнатьевна.

— Вообще наши театральные порядки ни къ чорту не годятся,—продолжалъ Бахтеревъ, подогрѣтый искренностью тона своей терпѣливой слушательницы. — Развѣ у насъ есть пьесы? Что̀ ни новая пьеса, то провалъ. Нынѣшніе драматурги прямо пишутъ свои пьесы для извѣстнаго костюма какой-нибудь премьерши... И вездѣ первое мѣсто отводится именно женскимъ ролямъ, и даже названія пьесъ прямо говорятъ только о женщинахъ: „Медея“, „Татьяна Рѣпина“, „Ольга Ранцева“... Намъ, мужчинамъ, актерамъ, скоро отведется мѣсто статистовъ, какъ балетнымъ танцорамъ... Да, театръ падаетъ, вѣрнѣе—совершенно упалъ.

Бахтеревъ, какъ только просыпался утромъ, начиналъ припоминать нанесенныя ему въ разное время обиды и постепенно взвинчивалъ себя на

цѣлый день. У него выработалась даже стереотипная улыбка, когда онъ встрѣчалъ кого-нибудь изъ знакомыхъ, которые должны были понять, какъ міръ несправедливо относится къ нему и какъ онъ стоитъ головой выше этихъ мелочей. Марина Игнатьевна, по сценѣ Бачульская, могла бы разсказать изъ своей практики гораздо больше, потому что одинокой артисткѣ, не заручившейся крупнымъ и вліятельнымъ покровителемъ, приходилось терпѣть и отъ товарищей по сценѣ. Но она не любила говорить о своихъ невзгодахъ, ограничиваясь фразой:

— Вездѣ вѣдь одно и то же...

Между прочимъ, и Сахановъ приложилъ руку, когда она выступала въ „Озеркахъ" въ одной изъ лучшихъ ролей, причемъ самъ же привезъ къ ней номеръ газеты и сказалъ со свойственнымъ ему нахальствомъ:

— Видите, мой другъ, насколько я безпристрастенъ... Да, я могу ошибаться, но не буду лгать. Презирайте меня, выгоните вонъ, но я всегда писалъ и пишу, что думаю.

Между прочимъ, какъ театральный рецензентъ, Сахановъ пользовался нѣкоторымъ вліяніемъ, и послѣ его рецензіи Бачульская не рѣшилась дебютировать на императорской сценѣ. Сегодня онъ былъ особенно великолѣпенъ, потому что надѣлъ самый модный лѣтній костюмъ изъ бѣлой фланели съ тоненькими голубыми полосками, точно онъ весь былъ разграфленъ, какъ ученическая тетрадка. У него была дурная привычка что-нибудь вертѣть въ рукахъ во время разговора, и сегодня ему попалась черная фетровая шляпа Марины Игнатьевны.

— Да оставьте вы шляпу!—уговаривала его Ольга Спиридоновна.—Вѣдь за нее деньги плачены...

Въ обществѣ Сахановъ обыкновенно завладѣвалъ разговоромъ и обладалъ способностью говорить безъ умолку. Впрочемъ, онъ умѣлъ быть интереснымъ и уснащалъ свою рѣчь тысячью цитатъ, къ которымъ питалъ большую слабость. Онъ былъ и уменъ, и рѣчистъ, и остроуменъ, но писалъ скверно, какъ-то вяло и безцвѣтно, точно за него писалъ кто-нибудь другой. Когда-то онъ мечталъ объ ученой карьерѣ и нѣсколько лѣтъ готовилъ большую работу по исторіи Византіи, съ которой и провалился самымъ торжественнымъ образомъ. Это обозлило его навсегда, и ему казалось, что всѣ потихоньку смѣются надъ нимъ. Благодаря развившейся мнительности, онъ разошелся со своимъ ученымъ кругомъ и навсегда потонулъ въ болотѣ журнальныхъ спеціалистовъ, обязанныхъ знать все на свѣтѣ. Бургардтъ въ одно и то же время и любилъ его, какъ безспорно умнаго и образованнаго человѣка, и почти ненавидѣлъ, какъ болтуна и крайне пристрастнаго человѣка, на котораго нельзя было положиться ни на одну секунду. Теперь для Саханова было единственнымъ удовлетвореніемъ, если его слушали внимательно, смѣялись его остротамъ и вообще считали умнымъ человѣкомъ. Въ противномъ случаѣ онъ мстилъ, терпѣливо выжидая удобнаго случая, а въ такихъ случаяхъ недостатка не было, потому что онъ вращался въ пестрой средѣ артистовъ, художниковъ и своей братіи журналистовъ.

Сейчасъ Сахановъ по совершенно неизвѣстнымъ причинамъ разносилъ искусство вообще, искусство девятнадцатаго вѣка въ частности и русское въ особенности.

— Искусство—это фантазія сытаго человѣка... да. Больше: пресыщеннаго человѣка. Мнѣ надоѣли женщины, я уже потерялъ всякій аппетитъ и могу смотрѣть только на нарисованную женщину. Корова Ванъ-Гуттена въ Эрмитажѣ стоитъ сто тысячъ рублей... За что? Развѣ въ картинахъ, статуяхъ,

музыкѣ, стихахъ и прозѣ жизнь? Все это жалкая поддѣлка подъ жизнь, нашъ самообманъ и самодурство... Приведите свѣжаго, нетронутаго человѣка и покажите ему Рубенса или Канову—онъ отвернется, потому что это самая условная ложь. Всѣ школы и направленія во всякомъ искусствѣ сводятся только на новую форму лжи... Всего удивительнѣе то, что сами художники доводятъ себя до той степени самогипноза, что начинаютъ сами вѣрить въ свои произведенія. Я помню, какъ одинъ старый художникъ цѣлыхъ двадцать лѣтъ рисовалъ ручку метлы... Публика тоже гипнотизируетъ себя, когда ахаетъ надъ произведеніями искусства и даже проливаетъ слезы... Получается взаимное одолженіе...

— Позвольте, г. Сахановъ, а работа артиста? — перебилъ его Бахтеревъ, выпячивая грудь и надуваясь.

— Вы хотите сказать объ артистахъ-актерахъ? Это уже область подражательныхъ способностей, и по-моему самый лучшій актеръ—обезьяна.

— Вѣроятно, вы хотѣли сказать наоборотъ: обезьяна — самый лучшій актеръ,—нашелся Бахтеревъ.

— Браво, Бахтеревъ!—аплодировала Ольга Спиридоновна.

— Слѣдовательно, позвольте, есть здоровое и хорошее искусство, — неожиданно вмѣшался Шипидинъ изъ своего угла.

— Именно? Это очень интересно слышать...—иронически отвѣтилъ Сахановъ.

— Вы говорите парадоксами и правы въ томъ отношеніи, что въ искусствѣ есть свои мертвыя точки и отрицательныя стороны, но есть и другое искусство, серьезное, идейное, глубокое, которое освѣщаетъ намъ жизнь, какъ путеводный маякъ. Я укажу безъ комплиментовъ на нашу русскую школу... да-съ. Наши художники, не всѣ, конечно, дѣлаютъ большое и хорошее дѣло, пока не подлаживаются ко вкусамъ толпы и капризамъ меценатовъ. Не буду называть именъ—они извѣстны слишкомъ хорошо всѣмъ.

Завязался горячій споръ, причемъ Сахановъ нѣсколько смутился, когда взъерошенный субъектъ въ поддевкѣ началъ приводить въ подтвержденіе своихъ словъ цитаты по-нѣмецки и по-французски.

Бургардтъ вообще не выносилъ этихъ безконечныхъ русскихъ споровъ съ ихъ ожесточеніемъ, колкостями и взаимнымъ нежеланіемъ понимать противника, хотя Шипидинъ представлялъ исключеніе и спорилъ корректно, съ достоинствомъ искренно убѣжденнаго человѣка. Когда Сахановъ встрѣчалъ болѣе сильнаго противника, онъ прибѣгалъ къ одному маневру — вынималъ часы, дѣлалъ видъ, что подавлялъ зѣвоту, и говорилъ:

— Кажется, мы достаточно не понимаемъ другъ, друга и продолжать не понимать еще болѣе—не стоитъ...

Онъ такъ сдѣлалъ и сейчасъ.

Бургардтъ все время наблюдалъ миссъ Мортонъ и переживалъ какую-то тихую и такую хорошую радость, точно ожила одна изъ тѣхъ статуй, которыя когда-то грезились ему. Это былъ чудный молодой сонъ, который заслонялъ все остальное. А она была такъ хороша и чиста въ своемъ непониманіи, въ ореолѣ дѣвичьей невинности и въ этомъ молчаніи, скрывавшемъ таинственнаго внутренняго человѣка, точно это было не земное существо, а пришелецъ изъ какого-то другого міра. Бургардту хотѣлось сказать вотъ именно этой нѣмой дѣвушкѣ, какой онъ нехорошій человѣкъ, какъ безумно растрачиваетъ свои лучшіе годы, зарываетъ въ землю данный ему Богомъ талантъ и какъ раскаивается каждый разъ, чтобы повторить то же самое. Именно, сказать все это, чтобы почувствовать освѣжающій здоровый стыдъ, обновиться

душой, стряхнуть съ себя испорченнаго человѣка... И вдругъ, среди этихъ размышленій, въ головѣ Бургардта, какъ смертный приговоръ, мелькнула припомнившаяся ему именно сейчасъ фраза Бачульской, сказанная вчера: „Вамъ *нечѣмъ* любить...“

— Нѣтъ, неправда!.. — мысленно сказалъ Бургардтъ, отыскивая глазами Марину Игнатьевну, которая съ ангельскимъ терпѣніемъ битый часъ выслушивала жалобы Бахтерева.

XIII.

Шипидинъ не вытерпѣлъ дальнѣйшихъ разглагольствованій Саханова и ушелъ въ мастерскую, гдѣ Гаврюша работалъ при слабомъ освѣщеніи. Именно только при этомъ освѣщеніи выступали рельефы въ своей живой полнотѣ. У Гаврюши никакъ не удавался античный затылокъ Гамлета, именно мускулы cucullaris и latissimus dorsi. Затѣмъ, чувствовалось что-то неестественное въ легкомъ поворотѣ головы, точно у Гамлета болѣла шея. Увлекшись своей работой, Гаврюша не обратилъ вниманія на Шипидина, который по обыкновенію скромно помѣстился въ уголкѣ. Вѣроятно, въ ожиданіи гостей, всѣ работы были открыты и производили теперь странное впечатлѣніе, точно то сказочное царство, гдѣ всѣ заснули: застылъ на губахъ Гамлета его горькій монологъ, окаменѣла благословляющая рука препод. Сергія, Ромео и Джульета замерли, бюстъ Ольги Спиридоновны смотрѣлъ какими-то пустыми глазами, изъ которыхъ выкатилась жизнь. Появился на свѣтъ еще новый барельефъ, котораго давеча Шипидинъ не замѣтилъ,—онъ занималъ боковую стѣну и заслонялся со стороны входа печкой.

На первомъ планѣ была молодая женщина верхомъ на конѣ. Она была одѣта по-мужски, но съ распущенными волосами, съ лукомъ въ рукахъ. Около лошади толпились невыяснившіяся еще фигуры какихъ-то людей, которые хватались за поводья, угрожающе поднимали руки кверху и вообще страшно волновались, точно хотѣли вылѣзти изъ непросохшей глины.

— Что̀ это такое?—спросилъ Шипидинъ.—Жанна Д'Аркъ?

— Нѣтъ, это Марина Мнишекъ... Взятъ моментъ, когда она бѣжала изъ Тушина и явилась въ станѣ Сапѣги, одѣтая въ костюмъ польскаго воина.

Замѣтивъ, что Шипидинъ любуется Мариной, Гаврюша прибавилъ:

— Не правда ли, какая экспрессія? А лицо Марины... За такихъ женщинъ умираютъ. На выставкѣ вся публика ахнетъ, и никто не будетъ подозрѣвать, что вотъ эта самая Марина продавала булки и сухари на Пескахъ. Красавинъ, кажется, хочетъ купить и барельефъ и оригиналъ.

— Что̀ съ вами, Гаврюша? — удивился Шипидинъ, глядя на покрывшееся пятнами круглое лицо Гаврюши. — Вѣдь вы, вѣроятно, повторяете какую-нибудь ходячую сплетню..: Нехорошо, молодой человѣкъ.

Лицо Гаврюши приняло злое выраженіе, которое совсѣмъ не шло къ нему, онъ уже раскрылъ ротъ, чтобы отвѣтить, но въ этотъ моментъ послышался громкій звонокъ въ передней, и слышно было, какъ торопливо пробѣжалъ человѣкъ Андрей. Гаврюша быстро сбросилъ съ себя рабочую блузу, торопливо вымылъ руки и ушелъ. Шипидинъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ, покачалъ головой и подумалъ:

„Этотъ молодой человѣкъ плохо кончитъ... Что̀ за фантазія была у Егора выхватить этого мальчика изъ родной обстановки и бросить въ омутъ искусства?“

По затихшему въ гостиной говору Шипидинъ догадался, что пріѣхалъ самъ меценатъ Красавинъ. Въ открытую дверь коридора можно было раз-

смотрѣть промелькнувшую фигуру Васяткина, точно громадная сѣрая летучая мышь, которую показываютъ на экранѣ волшебнаго фонаря. Все это коробило Шипидина. Неужели искусство не можетъ существовать безъ мецената? А тутъ еще довольно прозрачные намеки Гаврюши.

— А ну ихъ!—рѣшилъ Шипидинъ, опять начиная разсматривать Марину, у которой уже окончательно не было никакой связи съ остальными произведеніями.

Именно здѣсь Шипидинъ и былъ накрытъ, когда изъ гостиной съ шумомъ привалила цѣлая толпа гостей съ Красавинымъ во главѣ.

— А... вы здѣсь, — проговорилъ Сахановъ, который велъ подъ руку бывшую натурщицу Шуру.—Рекомендую вамъ оригиналъ...

Ню слегка покраснѣла отъ этой рекомендаціи, но отнеслась къ новому знакомому съ самымъ обиднымъ равнодушіемъ, точно ей рекомендовали кошку. Красавина велъ подъ руку Васяткинъ, говорившій задыхавшимся отъ волненія голосомъ:

— Нѣтъ, вы посмотрите, Антонъ Ильичъ, что̀ это такое... Вѣдь съ этого барельефа открывается новая страница въ русской скульптурѣ... Вѣдь это все живое... Посмотрите, какъ протянула Марина впередъ свою руку, обращаясь къ казакамъ.

— И совсѣмъ это не казаки...—поправилъ его Сахановъ.

— Гм, эти... Виноватъ, дѣйствіе происходитъ въ лагерѣ Сапѣги и кругомъ поляки,—подхватилъ Васяткинъ.

Красавинъ только морщился, какъ человѣкъ, у котораго надъ самымъ носомъ жужжитъ муха. Онъ прямо подошелъ къ барельефу Марины Мнишекъ и долго разсматривалъ не ея лицо, а посадку, причемъ сдѣлалъ замѣчаніе относительно неправильно согнутаго колѣна и слишкомъ короткаго стремени. Бургардтъ не возражалъ, потому что былъ поглощенъ тѣмъ, какъ отнесется миссъ Мортонъ къ его работѣ. Нѣмая дѣвушка точно расцвѣла, когда очутилась въ мастерской. Она радостно узнала бюстъ Ольги Спиридоновны, Шуру въ Маринѣ Мнишекъ, ее же въ Джульетѣ и даже шею Бахтерева въ Гамлетѣ. Бургардту казалось, что среди его скульптуры она именно дома, какъ нигдѣ, и онъ даже поймалъ ея ревнивый взглядъ, когда она съ особеннымъ вниманіемъ разсматривала Марину.

— Удивительно... Новая эра въ искусствѣ...—задыхавшимся шопотомъ повторялъ Васяткинъ, обращаясь къ Саханову, причемъ шопотъ настолько былъ разсчитанъ, что его могли слышать и другіе.

Ольга Спиридоновна рѣшительно ничего не понимала въ скульптурѣ и восхищалась изъ вѣжливости. Она сегодня находилась въ самомъ умиленномъ настроеніи духа и даже не обидѣлась, когда Сахановъ назвалъ ее незаконной дочерью дьякона, какъ называлъ Бачульскую „мадонной для некурящихъ“. Это дешевенькое остроуміе, вѣроятно, было взято на прокатъ изъ какого-нибудь уличнаго заграничнаго листка. Сахановъ получалъ всѣ иностранныя изданія этого тона и не стѣснялся черпать изъ нихъ полной рукой.

Бывшая натурщица Шура такъ мило стѣснялась, чувствуя, какъ всѣ сравнивали ее съ Мариной. Ей даже было немножко стыдно, что она верхомъ на лошади и сидитъ въ сѣдлѣ по-мужски. Могли подумать, что она въ такой позѣ сидѣла передъ Бургардтомъ голая, потому что нѣкоторые скульпторы предварительно лѣпятъ голую фигуру, а уже потомъ ее одѣваютъ. Особенно она подозрѣла въ такомъ взглядѣ на нее Шипидина, который такъ пристально всматривался въ нее, сравнивая съ Мариной.

„Что̀ этому-то вахлаку нужно?“—думала Шура и злилась.

Наблюдая каждое движеніе Красавина, Шипидинъ, въ свою очередь, негодовалъ на меценатство, въ которомъ видѣлъ главный источникъ уклоненій искусства отъ своей прямой задачи служить одной истинѣ. Это его возмущало до глубины души, какъ своего рода развратъ. И Бургардтъ, какъ другіе, невольно поддѣлывается подъ вкусъ этого сомнительнаго креза, и, можетъ-быть, Гаврюша давеча былъ правъ. Эта мысль почти подтвердилась, когда, разсмотрѣвъ внимательно барельефъ, Красавинъ небрежно сказалъ Бургардту:

— Мнѣ эта вещь нравится... Мы потомъ поговоримъ.

Сахановъ и Васяткинъ только переглянулись, что̀ въ переводѣ значило: везетъ же этому Бургардту, какъ утопленнику. „Нравится“ Красавина стоило тысячъ десять - пятнадцать, а барельефъ еще не конченъ. Конечно, дѣло тутъ не въ искусствѣ, а въ Ню, которую Красавинъ желаетъ получить увѣковѣченной въ мраморѣ.

— Здоровую пѣночку слизнулъ многоуважаемый Егоръ Захарычъ, — шепталъ Васяткинъ.—Это, видно, не Пересвѣтъ и Ослябя...

Когда всѣ ушли, Шипидинъ сдѣлался невольнымъ свидѣтелемъ довольно жестокой сцены. Гаврюша, блѣдный и страшный, схватилъ за обѣ руки Шуру и задыхавшимся голосомъ повторялъ:

— Я тебя убью, змѣя... убью!..

— Мнѣ больно... больно...—шептала дѣвушка, напрасно стараясь вырвать свои руки.—Какъ вы смѣете...

Шипидинъ спокойно подошелъ къ Гаврюшѣ и помогъ дѣвушкѣ освободиться. Когда Шура торопливо ушла въ гостиную, онъ спокойнымъ голосомъ замѣтилъ:

— Слѣдовательно такъ съ дамами нельзя поступать...

Гаврюша ничего не понималъ и только смотрѣлъ на него страшными глазами.

— Слѣдовательно нельзя,—еще разъ повторилъ Шипидинъ.—Выпейте холодной воды. Это помогаетъ...

Гаврюша схватилъ себя за голову, бросился на узкій диванчикъ въ углу и зарыдалъ.

— Вы хорошій человѣкъ... — шепталъ онъ. — Но вы ничего не понимаете... Ее мало убить... Нѣтъ, ей лучше быть убитой... Смерть избавитъ ее отъ позора...

XIV.

Столовая оказалась тѣсной, и часть гостей должна была устроиться за маленькими угловыми столиками, какъ въ ресторанѣ. А гости все прибывали: зашелъ старикъ Локотниковъ, когда-то гремѣвшій, какъ жанристъ, потомъ молодой юркій пейзажистъ Меню и еще какіе-то художники, которыхъ, кажется, не зналъ и самъ хозяинъ. Ужинъ состоялъ всего изъ одного блюда,— на столъ подана была тридцатифунтовая лососина во всей своей красотѣ. Это было и оригинально и ново, какъ всегда у Бургардта. Миссъ Гудъ очень смущалась, что нѣтъ ни ростбифа ни дичи, и старушкѣ казалось, что гости смотрятъ на нее съ нѣмымъ укоромъ, обвиняя въ скаредности. Впрочемъ, она знала, что Красавинъ вообще ѣстъ очень мало, а другіе гости могутъ быть сыты и одной лососиной. Больше всѣхъ ѣла Ольга Спиридоновна, любившая покушать, а тутъ еще пили шампанское, какъ квасъ, что̀ ей тоже нравилось. Напуганная Шура все посматривала на дверь и виновато улыбалась, встрѣчаясь глазами съ Шипидинымъ, который очутился рядомъ съ Красавинымъ, занявъ по ошибкѣ мѣсто Саханова.

— Представьте себѣ, а я зналъ вашего отца...—припоминалъ Красавинъ, когда хозяинъ ихъ познакомилъ. — Я бывалъ даже у васъ на Охтѣ. Давненько это было...

Красавину нравился „пашковецъ“, какъ онъ мысленно назвалъ Шипидина. Неглупый и крѣпкій человѣкъ, напомнившій ему родныхъ заволжскихъ раскольниковъ. И держитъ себя такъ просто и независимо. Вниманіе Красавина къ какому-то юродивому въ поддевкѣ возмущало Саханова и Васяткина до глубины души, точно Шипидинъ обкрадывалъ ихъ. Бургардтъ тоже былъ хорошъ: все время смотритъ на нѣмую англичанку, какъ дуракъ, и, кажется, никого не замѣчаетъ.

— Кажется, завязка романа,—шепталъ Саханову Васяткинъ.

— Очень можетъ быть...—соглашался тотъ.—Только романы Бургардта извѣстны: срокъ—двѣ недѣли.

Сахановъ вообще терпѣлъ сегодня неудачу за неудачей. Сначала пробовалъ заговорить объ искусствѣ, т.-е. обругалъ кое-кого изъ отсутствовавшихъ художниковъ, а въ особенности молодежь, впадавшую въ ересь импрессіонизма. Но Красавинъ упорно не желалъ слушать, хотя время отъ времени и смотрѣлъ на него. Пришлось перемѣнить тему. Сахановъ переѣхалъ на свой любимый конекъ и заговорилъ о женщинахъ.

— Одинъ французъ совершенно вѣрно опредѣлилъ, что женщина есть апоѳеозъ кривой линіи,—ораторствовалъ Сахановъ съ обычнымъ апломбомъ.— Это очень мѣтко сказано... Не правда ли?

Но и тутъ вышла неудача. Старикъ Локотниковъ, обозленный на всѣхъ лѣтъ двадцать, замѣтилъ:

— А у меня есть знакомый профессоръ математики, который доказываетъ, что на пощечину нельзя сердиться, потому что на языкѣ математики это только кривая второго порядка... Значитъ, по-вашему, Павелъ Васильичъ, всякая женщина есть апоѳеозъ пощечины. Сравненіе немного натянуто, хотя и не хуже другихъ.

Сахановъ надулся и проворчалъ:

— Я бъ сказалъ вашему профессору математики, что онъ просто копченая ветчина, что̀ тоже не обидно, хотя въ переводѣ это выходитъ: свинья.

Въ отместку злому старичишкѣ Сахановъ заговорилъ о конченныхъ художникахъ, которымъ ничего больше не остается, какъ только повторять самихъ себя.

— Это повторяется во всѣхъ областяхъ творчества, и нѣтъ необходимости называть имена, которыя хорошо извѣстны публикѣ. Конечно, трудно опредѣлить роковой моментъ, когда художникъ духовно умираетъ. Въ механикѣ есть прекрасное опредѣленіе этого момента, именно, когда она разбираетъ законы движенія самаго обыкновеннаго колеса. Есть роковая *мертвая точка*, которая останавливаетъ это движеніе. То же самое и въ творчествѣ художника: если онъ не двигается впередъ — значитъ, онъ конченный человѣкъ для искусства. Возьмите наконецъ, скажемъ, какого-нибудь атлета: онъ развиваетъ свою силу постепеннымъ упражненіемъ мускуловъ, но уже въ самой его организаціи, въ скелетѣ, въ строеніи мышцъ, связокъ и сухожилій заключается своя предѣльная точка. Почему онъ можетъ выжать шесть пудовъ и двѣнадцать фунтовъ, а на тринадцатомъ фунтѣ пасуетъ? Вѣдь, кажется, фунтъ самъ по себѣ ничтожная величина, каждый ребенокъ поднимаетъ фунтъ, а тутъ именно этотъ роковой тринадцатый фунтъ пересиливаетъ профессіональнаго силача. Такъ и въ искусствѣ...

Бургардтъ слышалъ этотъ монологъ и только пожалѣлъ старика Локот-

никова. Мозгъ у Саханова походилъ на болотную кочку, въ которой гнѣздились самыя вредныя бактеріи и самыя ядовитыя міазмы. Локотниковъ не нашелся, что̀ ему отвѣтить, но за него обидѣлся Бахтеревъ, сидѣвшій рядомъ съ Бачульской.

— Позвольте, г. Сахановъ (онъ никогда не называлъ Саханова по имени и любилъ начинать рѣчь съ „позвольте", точно его мысль продиралась каждый разъ черезъ толпу невидимыхъ враговъ), вы, можетъ, и правы *механически* и даже *атлетически*, но вѣдь все это крайне условно... Вамъ ничего не сто̀итъ однимъ почеркомъ пера уничтожить самую почтенную репутацію, но это только потому, почему ребенокъ ломаетъ свои игрушки. Вы просто не любите искусства.

Красавинъ все-таки не обращалъ вниманія, хотя и смотрѣлъ на руки Саханова, въ которыхъ вертѣлась лакированная японская пепельница. Теперь удалось его занять Васяткину, подсѣвшему сзади и начавшему разговоръ о скачкахъ. Дѣло въ томъ, что скоро должны были фигурировать на скачкахъ въ Коломягахъ двѣ новыхъ лошади Красавина, о которыхъ спортсмены говорили еще зимой, именно рыжій жеребецъ „Ушкуйникъ" и сѣрая кобыла „Пурга". Впередъ уже составлялись пари, и Васяткинъ хотѣлъ вывѣдать кое-что впередъ.

— „Ушкуйникъ" что-то не ладится,—объяснялъ Красавинъ на спортсменскомъ жаргонѣ и назвалъ его секунды.—А „Пурга" еще совсѣмъ не готова.

Сахановъ былъ убитъ. Разъ Красавинъ заговорилъ о лошадяхъ — все было кончено. Продалъ друга проклятый Васяткинъ, умѣвшій подслужиться меценату. Понималъ Саханова одинъ Локотниковъ, наблюдавшій его улыбавшимися глазами.

„Боже мой, какіе идіоты!"—думалъ Сахановъ.

Ольга Сергѣевна насытилась и дремала, дѣлая видъ, что слушаетъ. У нея въ такіе моменты являлось какое-то куриное выраженіе, и Бургардтъ наблюдалъ на ея лицѣ зачатки мѣшковъ подъ глазами и на подбородкѣ. Сидѣвшая рядомъ съ ней Бачульская молчала все время, и Бургардту сдѣлалось ее жаль. Это была удивительная женщина—молодая, красивая, но въ ней не было чего-то, что̀ привлекаетъ мужчинъ. Она была не глупа и не безъ таланта. Мужчины охотно знакомились съ ней, но сейчасъ же отпадали, какъ осенній сухой листъ. Въ ней что-то было загадочное, недосказанное.

Бургардтъ подошелъ къ ней и молча пожалъ руку. Она его любила, но какъ-то по-своему.

— Егорушка, вы увлекаетесь?—съ ласковымъ укоромъ спросила она.

— Да...

— Знаете, это—хорошо. А слышали, что̀ говорилъ Сахановъ о конченныхъ людяхъ? Знаете, это... это...

Разговоръ оборвался, потому что Красавинъ быстро вскочилъ съ мѣста и выбѣжалъ въ гостиную. Васяткинъ остолбенѣлъ. Бургардтъ пошелъ за нимъ.

— Гдѣ вашъ кабинетъ? — тревожно спрашивалъ Красавинъ, мѣняясь въ лицѣ.

Бургардту показалось, что онъ нездоровъ. Красавинъ быстро прошелъ въ кабинетъ и заперъ за собой двери на ключъ. Васяткинъ и Сахановъ переглянулись, — вѣроятно, сейчасъ начнется торгъ за Маршу, и Бургардтъ получитъ изрядный кушъ впередъ.

Красавинъ настолько былъ взволнованъ, что долженъ былъ пройтись нѣсколько разъ по комнатѣ и выпить стаканъ холодной воды, прежде чѣмъ получилъ способность говорить.

— Этотъ... этотъ... неужели вы не замѣтили?—бормоталъ онъ, показывая рукой въ сторону столовой.

— Рѣшительно ничего не понимаю, Антипъ Ильичъ, — недоумѣвалъ Бургардтъ.

— Ахъ, ну, этотъ... Сахановъ!.. Понимаете: это ужасно... Да, ужасно!..

Бургардтъ опять ничего не понималъ, что̀ еще сильнѣе взволновало Красавина. Меценатъ кончилъ тѣмъ, что, боязливо оглянувшись на запертую дверь, проговорилъ:

— Вы обратили вниманіе: онъ весь въ этомъ фланелевомъ дурацкомъ костюмѣ... да? Давеча въ гостиной онъ все время вертѣлъ въ рукахъ черную дамскую шляпку... да? Бѣлое и черное — вѣдь это ужасно... Потомъ за ужиномъ онъ все время вертѣлъ въ рукахъ черную японскую тарелочку — опять черное и бѣлое... Нѣтъ, это невозможно!

Схватившись за голову, Красавинъ забѣгалъ по кабинету. Бургардтъ смотрѣлъ на него и ничего не могъ придумать въ утѣшеніе.

Карьера Саханова у знаменитаго мецената была кончена.

XV.

Неожиданное исчезновеніе Красавина произвело свой эффектъ, и, когда Бургардтъ вернулся въ столовую, его встрѣтили нѣмыми вопросительными взглядами. Онъ только развелъ руками и проговорилъ:

— Антипъ Ильичъ проситъ извинить его... Онъ чувствуетъ себя не совсѣмъ хорошо и поэтому уѣхалъ, не простившись.

— Все вретъ, — шепнулъ Сахановъ Васяткину. — Ни о чемъ Антипъ Ильичъ не просилъ, а просто взялъ и уѣхалъ, какъ и подобаетъ холую. Бургардтъ слизнулъ свой задатокъ и теперь будетъ разводить бобы.

Больше всѣхъ обидѣлась Ольга Спиридоновна и какъ-то распустилась. По театральной привычкѣ она всегда держалась лицомъ къ публикѣ, а сейчасъ это было лишнее, и она принялась снова за ѣду съ аппетитомъ какой-нибудь московской свахи. А еще она привезла эту нѣмушку, хлопотала съ ней, была доброй весь вечеръ,—спрашивается, для чего?

Миссъ Гудъ тоже смотрѣла на Бургардта тревожными глазами. Равнодушными оставались только Анита и нѣмая миссъ Мостонъ. Анита воспользовалась замѣшательствомъ, вызваннымъ бѣгствомъ Красавина, и заняла мѣсто рядомъ съ ней. Дѣвочка была глубоко счастлива, что сидитъ рядомъ именно съ этимъ чудомъ живой красоты, и онѣмѣла отъ радости, когда англичанка взяла ея руку и прижала къ своей божественной груди. Анитѣ хотѣлось плакать отъ охватившаго ее счастья, цѣловать безъ конца эту античную руку и чувствовать безъ конца близость богини. Да, близость богини... Когда Анита замѣтила пристальный взглядъ отца на миссъ Мортонъ, она припомнила, что̀ онъ говорилъ за завтракомъ, и ревниво прижалась къ плечу своего божества.

Бургардтъ разсказалъ о случившемся только одной Бачульской, которая пожала плечами и отвѣтила:

— Можетъ-быть, онъ и правъ...

— Вы думаете?

— Бываетъ такое настроеніе, когда хочется выгнать всѣхъ вонъ или бѣжать самой... Развѣ вы этого не испытывали? Ахъ, Егорушка, какъ я рада за васъ... Вы ничего не понимаете, что дѣлается кругомъ?

— Да...

Она молчала и крѣпко пожала ему руку. Миссъ Мортонъ наблюдала особенно пристально ее и Шуру и, видимо, не могла рѣшить вопроса, которая

изъ этихъ двухъ женщинъ пользуется преимуществомъ въ сердцѣ Бургардта. Въ ея глазахъ свѣтилось почти ревнивое чувство, и она невольно сравнивала себя съ присутствовавшими здѣсь женщинами. Осмотръ мастерской произвелъ на нѣмую дѣвушку глубокое впечатлѣніе, потому что она среди нѣмыхъ статуй чувствовала себя дома, какъ въ родной семьѣ. Вѣроятно, на этомъ основаніи она и на Бургардта смотрѣла теперь совсѣмъ иначе, какъ на человѣка, который понималъ безъ словъ. Да, онъ такой хорошій, и дѣвушка слегка волновалась, чувствуя на себѣ его наблюдавшій взглядъ. Бургардтъ въ свою очередь сдѣлалъ попытку говорить съ ней, но изъ этого ничего не вышло— онъ по-англійски объяснялся съ трудомъ, а она плохо знала французскій языкъ. Переводчицей явилась Анита, причемъ проявила ревнивое чувство къ своему нѣмому идолу.

— Она тебя, папа, очень любитъ,—переводила Анита отвѣтъ миссъ Мортонъ,—и желала бы превратиться въ одну изъ твоихъ статуй... Только не въ качествѣ натурщицы, конечно,—прибавила Анита уже отъ себя.

— Мнѣ и не нужно натурщицы,—отвѣчалъ Бургардтъ.—Мнѣ, вообще, ничего не нужно... Скажи ей, что она хорошая. Нѣтъ, лучше: славная. Я очень люблю это слово...

Ольга Спиридоновна немножко вздремнула и, очнувшись отъ неестественно-театральнаго хохота Бахтерева, заявила съ особенной торопливостью:

— Ну, намъ пора домой, миссъ...

Ея не удерживали. А вмѣстѣ съ ней разомъ поднялись и другіе гости. Между Васяткинымъ и Сахановымъ произошла нѣмая борьба изъ-за того, кому провожать Шуру. Но она предупредила ихъ и сама попросила проводить ее старика Локотникова, который былъ очень польщенъ этимъ вниманіемъ хорошенькой натурщицы. Бахтеревъ уѣхалъ съ Бачульской, и Васяткину съ Сахановымъ пришлось ѣхать вдвоемъ.

— Недурной пейзажикъ...—ворчалъ Сахановъ.—Возвращеніе двухъ непризнанныхъ львовъ. Такъ я говорю, Алексѣй Иванычъ?

— А я буду мстить, Павелъ Васильевичъ,—отвѣчалъ Васяткинъ, теребя бородку.—Эта Шу зазналась... Мы слишкомъ ее избаловали своимъ вниманіемъ.

— И Егоръ Захарычъ тоже хорошъ... Какъ онъ ловко обошелъ Красавина!

— Чего же ему: цапнулъ кушъ—и конецъ. Нужно бы и ему немножко крылышки пообрѣзать... Кто его создалъ-то, Павелъ Васильевичъ? Это на твоей душѣ грѣхъ...

— Да, я того... кажется, ошибка. А впрочемъ, за собакой палка не пропадаетъ. Еще сочтемся...

Шипидинъ остался ночевать у Бургардта, хотя и проявлялъ большое сопротивленіе.

— У меня съ юности принципъ: ночевать дома,—объяснилъ онъ Бургардту.—Кажется, пустяки, а между тѣмъ и пустяки имѣютъ свое значеніе...

Человѣкъ Андрей устроилъ человѣку съ мѣшкомъ постель въ мастерской, гдѣ на диванѣ обыкновенно спалъ Гаврюша. Послѣдній ушелъ, предупредивъ, что дома не будетъ ночевать. Бургардтъ только теперь вспомнилъ, что Гаврюша былъ какой-то странный и не вышелъ ни къ завтраку ни къ ужину.

Вернувшись изъ передней, Бургардтъ хотѣлъ пройти къ себѣ въ кабинетъ и сейчасъ же лечь спать, но, проходя по гостиной, онъ услышалъ чьи-то глухія рыданія. Забившись въ азіатскій уголокъ, плакала Анита.

— Что съ тобой, дѣвочка?—спрашивалъ Бургардтъ, стараясь отнять руки Аниты, которыми она закрывала свое лицо.

— Такъ, папа..

Онъ усадилъ ее рядомъ, обнялъ и повторилъ вопросъ. Она прижалась къ нему всѣмъ худенькимъ, еще совсѣмъ дѣтскимъ тѣломъ и прошептала:

— Папа, зачѣмъ я такая некрасивая?!. Боже мой, Боже мой... я сегодня смотрѣла на всѣхъ—вѣдь всѣ женщины красивы или были красивыми. Даже миссъ Гудъ и та въ свое время была красивой... Дѣвочекъ, которыя родятся некрасивыми, нужно убивать, чтобы онѣ не страдали всю, всю свою жизнь. Это наконецъ, папа, несправедливо...

— Милая дѣточка, вѣдь никто не обязанъ быть красивымъ.

— И безобразіе не обязательно, а я чувствовала себя все время такимъ несчастнымъ уродомъ...

— А вотъ и неправда, ты сегодня была даже интересной, когда любовалась миссъ Мортонъ... Я даже думаю сдѣлать съ тебя этюдъ молящейся дѣвочки. Есть внутренняя, болѣе глубокая красота...

Анита освободилась отъ родительскихъ объятій и заявила уже сердитымъ тономъ:

— Не хочу, не хочу... Это ты только утѣшаешь меня духовной красотой. Да... А я читала у Надсона:

Бѣдный ребенокъ,—она некрасива!
То-то и въ школѣ и дома она
Такъ не смѣла, такъ всегда молчалива,
Такъ не по-дѣтски тиха и грустна!
Зло надъ тобою судьба подшутила:
Острою мыслью и чуткой душой
Щедро дурнушку она надѣлила,—
Не надѣлила однимъ—красотой!
Ахъ, красота—это страшная сила...

Что было отвѣчать отцу, [illegible]ложнику и служителю чистой красоты? Бѣдная дѣвочка такъ была жал[illegible] [illegible] своемъ дѣтскомъ горѣ. Бургардтъ неловко молчалъ, не находя у себя ни подходящихъ аргументовъ ни словъ.

— Вѣдь всякая красота—вещь условная...—бормоталъ онъ, чувствуя, какъ начинаетъ брать фальшивый тонъ.—Да, совершенно условная... А впрочемъ, я плохой судья въ этихъ вопросахъ, и ты говори объ этомъ лучше съ Григоріемъ Максимычемъ.

Анита сдѣлала презрительное выраженіе своими худенькими плечиками.

— Да, да,—обрадовался Бургардтъ своей мысли.—И я даже говорилъ съ нимъ о тебѣ давеча утромъ... Онъ тебѣ объяснитъ все. Да вонъ и миссъ Гудъ ищетъ тебя.

Дѣйствительно, въ залу вошла миссъ Гудъ и очень подозрительно посмотрѣла на заплаканное лицо Аниты. Строгая старушка-англичанка не любила, когда Анита въ свое время не ложилась спать, какъ случилось сегодня.

Дѣвочка плохо спала ночь и поднялась на другой день раньше обыкновеннаго, такая худенькая, блѣдная и сдержанная. Вчерашнее настроеніе улеглось, и она, по любимому выраженію миссъ Гудъ, взяла себя въ руки. Бургардтъ объяснилъ Григорію Максимычу, въ чемъ дѣло, и тотъ еще за кофе предложилъ Анитѣ прогуляться въ биржевой скверъ, гдѣ продавали обезьянъ и канареекъ. Миссъ Гудъ ничего не имѣла противъ такой прогулки, тѣмъ болѣе, что сама не могла ходить. Возмущенъ былъ одинъ человѣкъ Андрей, когда барышня отправилась на прогулку съ человѣкомъ съ мѣшкомъ.

— Слѣдовательно мы отлично пройдемся...—повторялъ Шипидинъ, когда они вышли на улицу.

Было еще свѣжо, особенно на тѣневой сторонѣ улицы. Анитѣ вдругъ сдѣлалось совѣстно... А если папа все сказалъ вотъ этому Григорію Макси-

мычу? Они сдѣлали кругъ, чтобы побывать на набережной, гдѣ стояли суда. Рынокъ на биржевомъ скверѣ былъ совсѣмъ плохъ и ничего особеннаго не представлялъ, такъ что Анита пожалѣла о напрасно потерянномъ времени. Ее заинтересовали только двѣ крошечныя обезьянки „уистити". Совсѣмъ маленькія обезьянки, съ такими смѣшными мордочками.

— Обезьяны счастливѣе людей, Григорій Максимычъ,—болтала Анита.— Имъ не нужно быть красивыми...

— Слѣдовательно да,—схватился за эту мысль Шипидинъ.—Красота— это выдумка, какъ и безобразіе. Почему носъ картошкой хуже греческаго носа? Все это дѣло личнаго вкуса, вѣрнѣе сказать—дѣло нашей хищнической культуры. Въ сущности, наша условная красота—это возведенное въ типъ хищничество... Въ красотѣ скрыто незримое зло.

— А красивыя женщины?

— Слѣдовательно, вы видали орхидеи, любовались ими и, вѣроятно, знаете, что они не имѣютъ запаха? Въ сущности, это просто чужеядныя растенія, паразиты, какъ тѣ насѣкомыя, о которыхъ не принято говорить. Мы и женскую красоту подняли на эту степень чужеядности и паразитизма... Вся она сводится только на то, чтобы кому-то нравиться, производить импонирующее впечатлѣніе,—она существуетъ не сама по себѣ, а какъ паразитъ. Мужчина уже поднялся неизмѣримо выше, потому что въ немъ цѣнятъ прежде всего человѣка, и выходитъ даже какъ-то такъ, что красивый мужчина... Слѣдовательно, какъ это сказать повѣжливѣе?—ну, тоже въ своемъ родѣ паразитъ, т.-е. паразитъ въ возможности, поскольку онъ будетъ реализировать именно только одну свою красоту. Вы меня не понимаете, дѣтка?

— Нѣтъ, понимаю...

— Женщины выбиваются изъ силъ, чтобы казаться красивыми, но вѣдь это глубокое несчастіе... Я бы сказалъ, что женская красота — несчастіе. Вчера вечеромъ я смотрѣлъ на эту нѣмую миссъ Мортонъ и отъ души ее жалѣлъ... Бѣдная дѣвушка!.. Я говорю совершенно серьезно, Анита.

Анита молча пожала костлявую руку Шипидина, хоть и не могла съ нимъ согласиться.

XVI.

Утромъ послѣ фестиваля Бургардтъ проснулся въ странномъ настроеніи. Онъ чувствовалъ себя такъ бодро, какъ давно не чувствовалъ, голова была совершенно свѣжая, и потомъ являлась потребность къ работѣ. Онъ любилъ именно это послѣднее, какъ вѣрный признакъ душевнаго равновѣсія. Да, онъ сегодня будетъ работать все утро... Но это бодрое и хорошее настроеніе покрывалось какимъ-то новымъ, неяснымъ и смутнымъ ощущеніемъ, которое еще не опредѣлилось, но вызывало въ немъ счастливое смущеніе и какую-то робость, точно онъ шелъ на первое любовное свиданіе. Больше—ему было стыдно, такъ, безъ всякаго основанія, стыдно. Ему было стыдно и за свою безпорядочную жизнь, и за своихъ друзей, и за небрежное отношеніе къ своей работѣ—много было основаній для этого чувства, которое Бургадтъ даже любилъ въ себѣ. Вѣдь человѣкъ, который не потерялъ способности стыдиться—еще не совсѣмъ погибъ. Именно въ такіе моменты Бургардтъ работалъ особенно удачно и теперь перебиралъ мысленно, за что онъ сегодня возьмется. Все были только начатыя работы.

Проводивъ Аниту съ Шипидинымъ, онъ отправился въ мастерскую. Гаврюша, конечно, былъ уже на своемъ посту и поздоровался довольно сухо.

Раньше Бургардтъ не обращалъ вниманія на эти мелочи, а сегодня невольно посмотрѣлъ на своего ученика особенно пристально и замѣтилъ:

— Что̀ съ вами, Гаврюша? У васъ такой видъ, точно васъ всѣ обижаютъ... Знаете, вѣдь и я тоже могу быть недовольнымъ.

Гаврюша поблѣднѣлъ, поправилъ воротъ блузы и отвѣтилъ, очевидно, заранѣе обдуманной фразой:

— Егоръ Захаровичъ, право, мнѣ странно слышать, что вы обращаете вниманіе на такіе пустяки, какъ моя особа... Право, не сто̀итъ. Что̀ я такое: ничтожество, козявка, пыль...

— А вотъ видите, это именно и нехорошо, т.-е. нехорошо самоуниженіе. Впрочемъ, у всякаго человѣка могутъ быть свои личныя дѣла, которыя никого не касаются... Мнѣ показалось, что вы недовольны именно мной, поэтому я и позволилъ себѣ замѣтить.

— Не обращайте, пожалуйста, на меня вниманія, Егоръ Захаровичъ. Увѣряю васъ: не сто̀итъ.

— Какъ знаете...

Единственнымъ свидѣтелемъ этой сцены былъ человѣкъ Андрей, который смотрѣлъ на Гаврюшу ревнивыми глазами. Онъ удивился, когда Бургардтъ велѣлъ ему открыть всѣ работы, чего обыкновенно не дѣлалось. Андрей съ недовольнымъ видомъ исполнилъ приказаніе, подалъ въ тазикѣ воду, придвинулъ глину и вытянулся у дверей. Бургардтъ курилъ одну папиросу за другой, шагая по мастерской. Онъ не могъ рѣшить, съ чего сегодня ему начать. Конечно, слѣдовало прежде всего докончить Марину, какъ выгодный заказъ, съ другой стороны, хорошо было бы поработать надъ Пересвѣтомъ и Ослябей—пусть Шипидинъ посмотритъ и дастъ свое заключеніе, а лично для себя ему хотѣлось продолжать бюстъ Ольги Спиридоновны. Онъ нѣсколько разъ останавливался передъ нимъ и провѣрялъ вчерашнее наблюденіе подбородка съ зарождавшимися около него и подъ нимъ мѣшками, но это не подходило къ его задачѣ, потому что старило лицо слишкомъ откровенно.

— Нѣтъ, ничего не выйдетъ....—рѣшилъ Бургардтъ

Марина ему сегодня тоже не нравилась, потому что она сидѣла на лошади какъ-то деревянно, какъ манекенъ, а настоящая Марина умѣла ѣздить верхомъ. Бѣдная Шура даже плакала, когда по цѣлымъ часамъ сидѣла по-мужски въ сѣдлѣ. Она была сложена замѣчательно хорошо, но не умѣла красиво сидѣть. Взявъ стеку, Бургардтъ пробовалъ дѣлать поправки, но изъ этого ничего не выходило, кромѣ потери времени. А еще недавно ему нравилась эта работа...

Бургардтъ хорошо зналъ эти приливы художественнаго отчаянія, отъ которыхъ было одно средство—бросить на время работу. А сейчасъ ему между тѣмъ хотѣлось работать.

— Нѣтъ, не то... совсѣмъ не то...—повторялъ онъ мысленно.

У него въ головѣ зарождалась новая идея, которая мелькала въ мозгу, какъ легкая тѣнь. О, тутъ онъ зналъ, что̀ ему дѣлать... Передъ его глазами стоялъ такой чудный женскій образъ, покоряющій властной красотой. Именно, это былъ тотъ высшій женскій типъ, который грезился ему когда-то въ юношескихъ мечтахъ. Тутъ ничего не было лишняго и все вмѣстѣ составляло гармоническое цѣлое. Мысль забѣгала далеко впередъ, рисуя подробности живого чуда, а она была именно такимъ чудомъ, вся—чудо.

— Э, все равно, сегодня ничего не выйдетъ!—рѣшилъ Бургардъ про себя, снимая рабочую блюзу.

У него вдругъ явилось непреодолимое, страстное желаніе видѣть ее,

видѣть хотя издали. Да, именно сегодня видѣть... Отъ охватившаго его волненія онъ даже потерялъ способность представить себѣ ея лицо, улыбку, выраженіе глазъ... Онъ могъ не узнать ея, встрѣтивъ гдѣ-нибудь на улицѣ. Нѣчто подобное онъ испытывалъ и раньше, когда слишкомъ сильно увлекался женщинами,—изъ памяти вдругъ выпадало именно любимое лицо, точно предметъ, который мы разсматриваемъ черезъ увеличительное стекло на слишкомъ близкомъ разстояніи.

Въ сущности, самымъ простымъ было ѣхать къ ней съ визитомъ, но, во-первыхъ, онъ не зналъ ея адреса, а потомъ его охватывала робость. Самое лучшее было бы встрѣтиться гдѣ-нибудь на нейтральной почвѣ. Перебирая въ умѣ возможныя комбинаціи, Бургардтъ не могъ остановиться ни на одной. Если ѣхать къ Ольгѣ Спиридоновнѣ—это афишировать несуществующія отношенія, Васяткина никогда нѣтъ дома, Сахановъ—болтунъ. Нужно было рѣшить вопросъ, гдѣ она сегодня могла быть?

Но уѣхать Бургардту утромъ такъ и не удалось, чему онъ былъ даже радъ. Въ мастерскую явилась высокая полная дама, одѣтая съ дорогой простотой; съ ней была дѣвочка-подростокъ, смотрѣвшая на скульптора, какъ дѣти смотрятъ въ зоологическомъ саду на звѣрей.

— Извините, ради Бога, что я рѣшилась такъ безцеремонно ворваться въ вашу студію,—говорила гостья съ легкимъ иностраннымъ акцентомъ.—Моя фамилія—Карпенская. Мы съ вами встрѣчались... Да, да, встрѣчались у Красавина, а затѣмъ у насъ есть общій знакомый, г. Васяткинъ. О, я ему считаю себя очень много обязанной...

— Да, я помню,—довольно сухо отвѣтилъ Бургардтъ.

Это была одна изъ благотворительныхъ дамъ, вѣчно что-нибудь устраивавшая и надоѣдавшая актерамъ, пѣвцамъ и художникамъ. Было много и другихъ дамъ-благотворительницъ, но эта отличалась особенной энергіей и настойчивостью, почему и носила въ обществѣ артистовъ кличку „доброй щуки". Бургардтъ никакъ не могъ понять, что̀ ей отъ него нужно, тѣмъ болѣе, что благотворительный сезонъ былъ еще очень далекъ.

— Видите ли, я скоро уѣзжаю въ деревню, гдѣ и пробуду до осени,—продолжала она.—Можетъ-быть, вернусь слишкомъ поздно... да... Поэтому мнѣ и хотѣлось впередъ заручиться вашимъ согласіемъ помочь мнѣ вашими указаніями по устройству одного благотворительнаго вечера съ процессіями, живыми картинами...

— Вамъ лучше всего обратиться къ кому-нибудь изъ артистовъ, а затѣмъ мнѣ совсѣмъ не случалось заниматься этимъ дѣломъ.

— Вотъ, вотъ, именно послѣднее и дорого, когда ваше имя появится въ первый разъ на афишѣ. Это произведетъ громадный фуроръ... Согласитесь, что это совсѣмъ-совсѣмъ недурная идея? Успѣхъ будетъ обезпеченъ впередъ... Я понимаю вашу скромность и понимаю, что вы возмущаетесь моей навязчивостью, но войдите и въ наше положеніе... Боже мой, чего ни приходится переносить, когда наперекоръ всему хочешь быть доброй. Какъ надъ нами смѣются, какъ насъ вышучиваютъ юмористическіе журналы, сколько приходится выслушивать непріятныхъ вещей... Простите меня, но не всѣ художники бываютъ всегда деликатными.

Однимъ словомъ, это былъ ошеломляющій потокъ словъ, и, чтобы избавиться отъ назойливой посѣтительницы, Бургардтъ что-то такое обѣщалъ—вѣдь отказаться времени остается достаточно. Но выпроводить „добрую щуку" было не такъ-то легко. Заручившись согласіемъ милаго хозяина, она перешла къ осмотру начатыхъ работъ, что̀ всегда злило Бургардта. Ему дѣлалось жутко,

когда чужіе глаза прежде времени начинали цѣнить его работу. Но благотворительная дама ничего не желала замѣчать и, держа модный лорнетъ на длинной черепаховой ручкѣ, разсматривала одну работу за другой, причемъ съ особеннымъ вниманіемъ остановилась на Маринѣ, которую приняла за Жанну д'Аркъ, и почему-то улыбнулась, что̀ кольнуло Бургардта.

— Простите меня, если я позволю себѣ сдѣлать маленькое замѣчаніе,— проговорила она съ самой обворожительной улыбкой.

— Я слушаю.

— Ради Бога, не обижайтесь... Развѣ можно сердиться на женщину? Притомъ, и мое замѣчаніе чисто-женское...

Оглянувшись на дочь, которая съ дѣтскимъ любопытствомъ смотрѣла, какъ работаетъ Гаврюша, она проговорила вполголоса:

— Насколько мнѣ извѣстно, Жанна д'Аркъ не имѣла дѣтей, а у вашей Жанны д'Аркъ животъ замужней женщины...

Бургардтъ даже покраснѣлъ, но сдержалъ себя и отвѣтилъ съ дѣланой вѣжливостью:

— Во-первыхъ, сударыня, у дѣвушки, которая привыкла носить корсетъ, при посадкѣ въ мужскомъ сѣдлѣ долженъ быть именно такой животъ, а во-вторыхъ, это не Жанна д'Аркъ, а Марина Мнишекъ, у которой были дѣти.

— Простите, что я такъ грубо ошиблась. Печальная судьба всѣхъ дилетантовъ, которые суются не въ свое дѣло... Ахъ, бѣдная Марина! Какая это была поэтическая натура и какая энергія... Но, еще разъ будьте великодушны и простите—Марина была небольшого роста, притомъ съ наклонностью къ полнотѣ, и тогда животъ вашей Марины малъ...

Когда благотворительная дама наконецъ удалилась, Бургардтъ накинулся на Андрея.

— Тебѣ что̀ сказано, а?.. Тебѣ сказано никого не пускать въ мастерскую... а?

— Да ежели она, баринъ, ворвалась сама...

Андрей уже приготовился принять кару и сдѣлалъ безнадежно глупое лицо, но его выручила весело вбѣжавшая въ мастерскую Анита. За ней шелъ Шипидинъ, тоже довольный исполненной миссіей. Бургардтъ сразу отмякъ и даже подумалъ, что вѣдь если разобрать, такъ вся эта исторія просто смѣшной анекдотъ.

— Публика въ массѣ всегда справедлива, какъ замѣтилъ еще Тургеневъ,—отвѣтилъ Шипидинъ, когда Бургардтъ передалъ ему въ шутливомъ тонѣ визитъ „доброй щуки".—Слѣдовательно мы смотрѣли сейчасъ обезьянъ... да...

— Папочка, купи мнѣ уистити! — съ дѣтской порывистостью упрашивала Анита. — Маленькая-маленькая обезьянка и такая хорошенькая-хорошенькая...

Бургардтъ молча пожалъ руку другу дѣтства, который вернулъ Анитѣ ея веселость, и въ то же время почему-то подумалъ:

„Нѣтъ, я сегодня никуда не поѣду".

XVII.

Бачульская жила въ Озеркахъ, гдѣ наняла дачу въ расчетѣ на лѣтній заработокъ въ театрѣ. Но именно этотъ расчетъ и не оправдался, а вмѣсто него получилась масса непріятностей, начиная съ того, что въ Озеркахъ поселился и Сахановъ, отравлявшій ей существованіе однимъ своимъ видомъ. Бахтеревъ тоже жилъ въ Озеркахъ, потому что былъ приглашенъ на гастроли. Онъ былъ глупъ и грубоватъ, но не золъ, и Бачульская считала его поря-

дочнымъ человѣкомъ. И Сахановъ и Бахтеревъ были условно-семейные люди, т.-е. имѣли сожительницъ,—первый жилъ уже третій годъ съ одной „водевильной штучкой“, отъ которой имѣлъ ребенка, а у Бахтерева была старинная связь съ очень пожилой, некрасивой и очень подозрительной женщиной, которая держала его въ рукахъ, хотя они каждый годъ и расходились по нѣскольку разъ, причемъ Бачульской приходилось иногда устраивать примиреніе.

— Это самая скверная женщина, какую я только знаю!—повторялъ Бахтеревъ, дѣлая трагическіе жесты.—Но я не могу безъ нея жить... Понимаете? Это не женщина, а какой-то удавъ. Я ее когда-нибудь задушу...

Сахановъ тщательно старался скрывать свое семейное положеніе, держалъ сожительницу впроголодь, проявлялъ дома просвѣщенный деспотизмъ, ревновалъ и, какъ большинство ревнцевъ, предоставлялъ себѣ полную холостую свободу. Бѣдная „водевильная штучка“ страстно его любила, все прощала и все переносила. Бачульская встрѣчалась съ ней за кулисами и отъ души жалѣла, какъ совсѣмъ неопытную дѣвушку, которая еще вѣрила всему. Между прочимъ, бѣдняжка ревновала своего сожителя къ ней, потому что Сахановъ, хотя и бранилъ въ своихъ рецензіяхъ Бачульскую, но постоянно бывалъ у ней въ уборной. По сценѣ „водевильная штучка“ носила фамилію Комовой. Она часто приходила на репетицію съ красными отъ слезъ глазами, но никому не жаловалась и ни съ кѣмъ особенно близко не сходилась, ревниво оберегая свое горе. И костюмы у нея были такіе плохонькіе, сборные, причемъ опытный театральный глазъ сразу видѣлъ спрятанную подъ ними горькую нужду и тѣ грошовые расчеты, когда приходится одѣваться не для себя, а для службы. Бачульской часто хотѣлось ее приласкать, утѣшить, что-нибудь посовѣтовать, но Сахановъ предупредилъ всякую возможность такого сближенія, потому что постоянно говорилъ дома о Бачульской, какъ о чудовищѣ разврата.

Послѣ фестиваля у Бургардта прошло уже нѣсколько дней. Погода стояла чудная. Бачульская любила вставать рано, наскоро пила свой кофе и шла гулять. Ей нравилась именно эта оживляющая утренняя прохлада, когда въ воздухѣ еще стоитъ смолистый ароматъ. А потомъ раннимъ утромъ не нужно было одѣваться въ полную форму, потому что настоящая дачная публика еще спала. Просыпаясь утромъ, Бачульская распахивала окно и знала впередъ, что если день хорошій, то она увидитъ одну и ту же картину: черезъ крыши сосѣднихъ дачъ изъ ея окна виднѣлся уголокъ озера, гдѣ стояли купальни и лодки, а у купальни непремѣнно стоялъ Бахтеревъ съ удочкой. Онъ былъ страстный рыболовъ и выстаивалъ цѣлые часы, чтобы поймать нѣсколько мелкихъ рыбешекъ.

Проснувшись сегодня, Бачульская увидѣла обычную картину: Бахтеревъ былъ на своемъ посту. Она быстро одѣлась, выпила свой кофе и вышла. На улицѣ встрѣчались однѣ горничныя и дачные дворники, причемъ происходилъ обычный обмѣнъ утреннихъ вѣжливостей. Бачульская долго гуляла, наслаждаясь утренней прохладой. Обратно ей пришлось итти самымъ берегомъ озера, гдѣ стояли купальни. Бахтеревъ все еще удилъ. Съ нимъ рядомъ удили два маленькихъ гимназистика и какіе-то босоногіе ребятишки.

— Здравствуйте, Евстратъ Павлычъ,—окликнула Бачульская.

— А, здравствуйте...—отвѣтилъ Бахтеревъ, наблюдая дрогнувшій поплавокъ.—Ахъ, негодяй, сорвался! Извините, Марина Игнатьевна, что застаете меня за такимъ глупымъ занятіемъ. Знаете, утромъ на озерѣ такъ хорошо...

— Я каждое утро наблюдаю васъ изъ окна своей дачи и, говоря откровенно, могу только удивляться вашему терпѣнію...

— Привычка... Ахъ, опять сорвался, негодяй!..

— Я вамъ, кажется, принесла неудачу...

— О, нѣтъ... А вотъ и онъ, попался, голубчикъ!

Перекинувшись двумя-тремя фразами, Бачульская отправилась домой, испытывая пріятную усталость послѣ долгой ходьбы. Когда она уже подходила къ своей дачѣ, ее остановилъ чей-то голосъ, котораго она не узнала. Это былъ Сахановъ. Шея у него была обернута купальнымъ полотенцемъ.

— Марина Игнатьевна... ухъ! усталъ, т.-е. задохся. А я за вами гонюсь отъ самой купальни. Во-первыхъ, утро—самое неудобное время для свиданій, а во-вторыхъ—мнѣ необходимо васъ видѣть сегодня. Если я приду къ вамъ въ двѣнадцать, вы ничего не будете имѣть?

— Пожалуйста... Я буду рада васъ видѣть.

Эта встрѣча Бачульской была крайне непріятна. Съ Сахановымъ она видѣлась только въ театрѣ и у общихъ знакомыхъ. Къ ней на квартиру онъ никогда не заходилъ, и теперь его визитъ имѣлъ какую-нибудь непріятную подкладку.

Вернувшись домой, она заказала горничной, которая „отвѣчала“ и за камеристку и за повара, легкій завтракъ, а сама принялась убирать комнаты. Дачка была маленькая, вѣрнѣе—комнаты отъ жильцовъ во второмъ этажѣ, до котораго не поднималась уличная пыль и вечерніе туманы.

Сахановъ въ назначенный часъ—онъ отличался аккуратностью—явился и съ особенной галантностью расцѣловалъ обѣ руки „очаровательной отшельницы“. По пути онъ оглядѣлъ незавидную обстановку, даже прикинулъ въ умѣ, что̀ она могла стоить, и, какъ настоящій кавалеръ, заговорилъ о погодѣ.

— Васъ удивляетъ, что я говорю о погодѣ?—спохватился онъ и сейчасъ же нашелся:—А знаете, погода—все... Каждый солнечный день для насъ, дешевенькихъ смертныхъ—это нѣчто въ родѣ преміи „Нивы“. Мы слишкомъ удалились отъ природы и не хотимъ знать, что всякая наша радость существуетъ постольку, поскольку свѣтитъ солнце. Да, солнце, солнце и еще немножко солнца, чтобы прелестныя женщины улыбались, какъ вы сейчасъ, чтобы въ ихъ глазахъ свѣтился живой огонь и т. д. и т. д. А вы теряете время въ разговорахъ съ достопочтеннымъ мистеромъ Бахтеревымъ, который по своему существу есть дерево, или, выражаясь библейски—теревинѳъ рослый.

— А вы не можете обойтись безъ того, чтобы не позлиться?

— Такая натуришка... прибавьте къ этому, что всѣхъ, кого мнѣ случалось обидѣть, я въ большинствѣ случаевъ искренно люблю.

— Къ вамъ это слово „люблю“, Павелъ Васильевичъ, какъ-то совсѣмъ не идетъ...

Сахановъ весело болталъ все время завтрака и по обыкновенію сыпалъ цитатами. Бачульская замѣтила, что онъ какъ-то непріятно ѣстъ, жмуря глаза и чмокая. Она понимала, что настоящій разговоръ еще впереди, и смутно догадывалась объ его содержаніи. Когда горничная подала кофе, онъ попросилъ позволенія закурить сигару и, откинувшись въ креслѣ, проговорилъ:

— А нашъ общій другъ Егоръ Захарычъ, кажется, того... гм... да... Завернулъ какъ-то къ нему на-дняхъ, захожу въ кабинетъ, а онъ за спину книжку прячетъ... Ха-ха!.. Смотрю, а это азбука для разговора глухонѣмыхъ. Вотъ оно куда пошло... да-а.

— Что̀ же, эта англичанка очень красивая дѣвушка, а потомъ, какъ я думаю, Егору Захарычу интересно наблюдать ея мимику съ точки зрѣнія скульптора. У нѣмыхъ вырабатывается особенная подвижность лица...

— Гм... Лицо, конечно, вещь не послѣдняя, но я думаю, что Егоръ

Захарычъ пробирается поближе къ душѣ, забывая желѣзный законъ спроса и предложенія и другой не менѣе желѣзный законъ—о прибавочной стоимости и конкуренціи. Мнѣ его, вообще, жаль, потому что можетъ въ результатѣ получиться, выражаясь юридическимъ языкомъ, покушеніе съ негодными средствами, а въ данномъ случаѣ—съ малыми. Впрочемъ, я это такъ...

Бачульская покраснѣла. Сахановъ догадывался объ ея отношеніяхъ къ Бургардту и теперь старался подѣйствовать на ея ревность. Онъ не зналъ только одного, что старался совершенно напрасно,—эти отношенія ограничивались только тѣмъ, что она его любила.

Посасывая сигару, Сахановъ среди разговора спросилъ вскользь:

— А вы не помните, Марина Игнатьевна, изъ-за чего тогда Красавинъ убѣжалъ отъ Бургардта?.. Мнѣ помнится, что Егоръ Захарычъ что-то такое объяснялъ... да.

— Нѣтъ, я ничего не знаю...

— Странный человѣкъ, вообще... Представьте себѣ, Красавинъ сейчасъ живетъ въ Павловскѣ, у него великолѣпная дача, ну, я вчера былъ на музыкѣ и завернулъ къ нему—и онъ меня не принялъ. Такъ-таки и не принялъ... Я знаю, что онъ былъ дома, потому что встрѣтилъ на вокзалѣ Васяткина, и тотъ проговорился. А у меня къ Красавину есть одно серьезное дѣло... да. Въ свое время я умѣлъ быть ему полезнымъ...

Прощаясь въ передней, Сахановъ еще разъ вернулся къ этой темѣ.

— Вы не помните, Марина Игнатьевна, тогда за ужиномъ не сказалъ ли я чего-нибудь *такого?* Красавинъ ужасно обидчивъ и подозрителенъ.

— Могу васъ увѣрить, что ничего рѣшительно *такого* не было сказано.

— Странный человѣкъ... Наканунѣ пьяный Егоръ Захарычъ наговорилъ ему порядочныхъ дерзостей, а на другой день онъ пріѣзжаетъ къ нему, какъ ни въ чемъ не бывало. Да, странный... Я, знаете, всегда былъ за политику открытыхъ дверей...

Когда Сахановъ ушелъ, Бачульская заперлась въ своей спальнѣ и разрыдалась. О, Боже мой, сколько она терпѣла, цѣлую жизнь терпѣла, а тутъ приходитъ чужой человѣкъ и глумится надъ ней въ глаза. Ей хотѣлось крикнуть ему въ окно: негодяй!

Бросившись въ постель и уткнувшись головой въ подушку, чтобы горничная ничего не слышала, Бачульская передумала еще разъ свою неудавшуюся жизнь, начиная съ ранняго замужества. Восемнадцати лѣтъ она уже была замужемъ и черезъ годъ разошлась съ мужемъ, который оказался самымъ обыкновеннымъ негодяемъ. У нея оставались кое-какія средства, и она пошла на сцену, надѣясь въ искусствѣ получить какое-нибудь утѣшеніе, и еще разъ ошиблась. У нея была сценичная наружность, гибкій голосъ, пониманіе сцены и полное отсутствіе таланта, въ чемъ она сама постепенно убѣдилась. Она осталась на сценѣ „полезностью“ и была довольна, что у нея есть все-таки свое дѣло и свой маленькій кусокъ хлѣба. Съ молодыхъ ролей она уже переходила на амплуа grande dame.

Первое время молодого одиночества доставалось не легко, но время шло и постепенно дѣлало свое дѣло. Лѣтъ черезъ пять Бачульская пришла къ убѣжденію, что она пережила возможность ошибокъ и скороспѣлыхъ увлеченій и что теперь уже застрахована отъ всякихъ женскихъ слабостей. Но именно въ этотъ моментъ она случайно познакомилась съ Бургардтомъ и увлеклась имъ, какъ молодая дѣвчонка. Это было странное и обидное чувство, о которомъ самъ Бургардтъ и не подозрѣвалъ. Они были просто хорошими друзьями, и онъ любилъ ее и уважалъ, какъ друга, повѣряя свои задушевныя тайны.

Это была настоящая мука, растянувшаяся на нѣсколько лѣтъ, мука, которой даже не предвидѣлось конца. И она ему прощала все, прощала каждый мучительно прожитый день... А когда ей случалось бывать у него въ квартирѣ, какъ она страдала... Если бы она была скульпторомъ, какую бы статую нелюбимой женщины она сдѣлала,—вѣдь такія темы въ мужскую голову не приходятъ. Скульпторы лѣпятъ дѣвушекъ съ разбитыми кувшинами, покинутыхъ женщинъ, вдовъ, а настоящее женское горе имъ недоступно.

Въ теченіе шести лѣтъ передъ глазами Бачульской прошло нѣсколько женщинъ, которыми Бургардтъ увлекался, и она прощала счастливымъ соперницамъ ихъ успѣхъ. Кажется, однимъ изъ послѣднихъ номеровъ была Ольга Спиридоновна. Впрочемъ, увлеченія Бургардта не отличались особенной прочностью, и она могла утѣшать себя тѣмъ, что тутъ не было и тѣни настоящаго чувства. Плохое утѣшеніе, но все-таки утѣшеніе. Начинавшаяся сейчасъ м[illegible] безпокоила ее больше другихъ, и она начинала испытывать муки нас[illegible] ревности.

Вечеромъ Бачульская получила записку Саханова:

„Пріѣзжайте въ воскресенье въ Царское на скачки; я васъ встрѣчу на вокзалѣ“.

— Что̀ ему наконецъ нужно отъ меня?—возмущалась Бачульская.

XVIII.

Было воскресенье, и скачки въ Царскомъ Селѣ обѣщали быть очень интересными. Программы были напечатаны во всѣхъ газетахъ, и въ уличныхъ листкахъ впередъ были намѣчены фавориты. Праздничная толпа осаждала Царскосельскій вокзалъ въ Петербургѣ. Царило праздничное настроеніе, какое охватываетъ сонную петербургскую публику только во дни скачекъ. Въ сущности, лѣтній сезонъ для столицы мертвое время, и Сахановъ, толкаясь въ толпѣ, искренно удивлялся, откуда набирается въ Петербургѣ столько приличныхъ скаковыхъ мужчинъ и нарядныхъ скаковыхъ дамъ. Онъ вообще любилъ публику, любилъ просто подавленный шумъ толпы, сложную мозаику лицъ—въ этомъ было что-то захватывающее, гипнотизирующее, какъ въ морскомъ прибоѣ. Сахановъ помнилъ еще то время, когда скачки существовали только для присяжныхъ спортсменовъ и профессіональныхъ любителей, а собственно публика начала увлекаться скачками сравнительно очень недавно. Въ переливавшейся на вокзалѣ толпѣ онъ встрѣтилъ много знакомыхъ лицъ—одного профессора, съ которымъ онъ иногда завтракалъ у Кюба, нѣсколько извѣстныхъ врачей, инженеровъ, дѣльцовъ и просто богатыхъ людей неизвѣстной профессіи. Много было офицеровъ, которые держались хозяевами праздника. Сахановъ испытывалъ какое-то непріятное чувство, когда слышалъ терпкій лязгъ волочившейся по каменному полу кавалерійской сабли. Онъ переживалъ въ такіе моменты что-то въ родѣ затаенной гражданской скорби и дѣлалъ злое лицо.

Былъ уже второй звонокъ, а Бачульской все не было, и Сахановъ началъ волноваться. А вдругъ она не пріѣдетъ? Тогда весь его планъ рушится. Сахановъ обошелъ всю платформу, заглядывая въ окна вагоновъ—Бачульской нигдѣ не было. Она пріѣхала къ послѣднему звонку, когда Сахановъ потерялъ уже всякую надежду.

— Простите, если я заставила васъ ждать,—извинялась она.—Но отъ Финляндскаго вокзала такъ далеко...

— Ахъ, ничего, ничего...—говорилъ онъ, цѣлуя ея руку.—Какая вы сегодня интересная, Марина Игнатьевна.

Она, дѣйствительно, сегодня имѣла цвѣтущій видъ, и лѣтній костюмъ шелъ къ ней. Когда они сѣли въ вагонъ, она съ наивностью замѣтила:

— Знаете, я ѣхала и всю дорогу думала, зачѣмъ я ѣду? Вѣдь скачки для меня никакого рѣшительно значенія не имѣютъ...

— Просто потолкаемся въ публикѣ—иногда и это бываетъ полезно,— съ улыбкой объяснилъ Сахановъ.—Будетъ много знакомыхъ... Нельзя же вѣчно сидѣть въ своемъ углу. Одурь возьметъ...

— Въ довершеніе всего, кажется. еще гроза собирается, а я ужасно боюсь грома...

— Что же, это хорошо, если спрыснетъ дождичкомъ нашихъ спортсменовъ. Особенно хороши будутъ мокрые жокеи, которые и безъ того походятъ на обезьянъ. А сколько публики претъ на скачки... Кажется, скоро грудныхъ младенцевъ повезутъ... Мы будемъ играть на лошадей Красавина... Интересно.

Когда поѣздъ подходилъ уже къ Царскому Селу, началъ накрапывать дождь. Публика бросилась изъ вагоновъ съ такой стремительностью, точно ее оттуда гнали палками. На платформѣ произошла настоящая давка, пока пестрая толпа не вытянулась живой полосой по мосткамъ къ кассѣ. Дамы торопливо раскрывали зонтики и подбирали юбки безъ всякой надобности. У кассы опять происходила давка, и пришлось подождать. Сахановъ удивился, когда въ толпѣ замѣтилъ Шипидина.

— Вы-то какъ сюда попали, человѣкъ божій?—спросилъ онъ, здороваясь.

— А такъ же, какъ и вы... Слѣдовательно нужно было съѣздить въ одно мѣсто, къ одному человѣку, по одному дѣлу.

Глаза Саханова пытливо прищурились, и онъ спросилъ:

— Понимаю, вы были въ Павловскѣ у Антипа Ильича?

— Слѣдовательно былъ... Г. Сахановъ, будьте любезны, передайте Егору Захаровичу, что я его здѣсь жду. Я сегодня уѣзжаю...

— Хорошо, хорошо...

Когда они проходили черезъ турникетъ, Бачульская издали еще разъ раскланялась съ Шипидинымъ и замѣтила:

— Какой милый и симпатичный человѣкъ... Зачѣмъ вы его назвали божьимъ человѣкомъ?

— А какъ его иначе назвать? Это его профессія... Интересно знать, зачѣмъ онъ понадобился Красавину... Впрочемъ, нашъ уважаемый меценатъ питаетъ слабость къ такимъ монстрамъ на постномъ маслѣ. А вы сегодня, Марина Игнатьевна, прехорошенькая, и я буду за вами ухаживать...

— Прикажете принимать это за комплиментъ?

— Виноватъ, отъ избытка чувствъ обмолвился, сударыня,—извинялся Сахановъ и, остановивъ свою даму, показалъ на площадку между платформой и трибунами, гдѣ останавливались свои экипажи.—Обратите вниманіе, Марина Игнатьевна, вонъ на тотъ англійскій модный экипажъ, который дѣлаетъ кругъ. Правитъ лошадьми бѣлокурый господинъ въ цилиндрѣ... Это нашъ петербургскій купецъ, который торгуетъ пряниками и кислыми щами. Посмотрите, какъ онъ подогналъ себя подъ настоящаго англичанина... Нарродецъ!..

Черезъ буфетъ, гдѣ стѣной толпилась публика у „источника“, они прошли въ трибуны. Сахановъ раскланивался направо и налѣво, называя фамиліи интересныхъ знакомыхъ.

— Вонъ два театральныхъ рецензента, которые грызутся въ разныхъ газетахъ, и публика думаетъ, что они готовы перервать другъ другу горло... Одинъ писалъ о васъ и хвалилъ, значитъ, другой будетъ ругать. А вонъ тамъ милліонеръ... еще милліонеръ, изъ Москвы... Тоже конкуренты.

Всѣ трибуны были сплошь набиты пестрой праздничной толпой. Дамы забирались на верхнія скамейки, прячась отъ дождя. Ложи были всѣ заняты, и Сахановъ долго искалъ ложу Красавина, пока не догадался, что меценатъ въ сосѣдней членской трибунѣ. На скаковомъ кругу было еще пусто, и только направо, гдѣ въ концѣ круга стояли конюшни, толпилась кучка конюховъ, треперовъ и жокеевъ. Игралъ казачій оркестръ, но музыку плохо было слышно.

Сахановъ въ бинокль отыскалъ ложу, гдѣ у барьера сидѣла Шура, и, извинившись передъ своей дамой, отправился разыскивать Бургардта, чтобы передать ему порученіе божьяго человѣка. Но Бургардта въ ложѣ не оказалось—тамъ сидѣли однѣ дамы, изъ которыхъ Сахановъ узналъ Ольгу Спиридоновну и миссъ Мортонъ. Нужно было итти въ буфетъ, гдѣ Бургардтъ и оказался. Онъ сидѣлъ за столикомъ въ обществѣ одного доктора и двухъ журналистовъ.

— Ахъ, я сейчасъ...—спохватился Бургардтъ.—Вѣдь я ему обѣщалъ... Вотъ проклятая память.

Сахановъ не утерпѣлъ и спросилъ:

— А зачѣмъ этотъ божій человѣкъ ѣздилъ къ Карсавину?

— Вотъ ужъ, батенька, не знаю. Кажется, Красавинъ самъ его приглашалъ...

Когда Сахановъ вернулся въ трибуны, былъ уже второй звонокъ, и по скаковому кругу дѣлали пробную проѣздку два офицера. Бачульская вопросительно посмотрѣла на своего кавалера, удивляясь, что онъ не ведетъ ея въ ложу Ольги Спиридоновны, которую она успѣла высмотрѣть.

— Первый заѣздъ совсѣмъ пустой...—сбивчиво объяснялъ Сахановъ, что-то соображая про себя.—Это въ родѣ тѣхъ водевилей, которые даются для съѣзда публики. И призъ ничтожный и лошади неважныя. Странно, что тогда у Бургардта говорили, будто „Ушкуйникъ“ пойдетъ въ Коломягахъ, а онъ поставленъ въ шестомъ номерѣ здѣсь. Что-нибудь напуталъ Васяткинъ...

Послѣ маленькаго вступленія дождь хлынулъ разомъ, такъ что на время широкое скаковое поле было заслонено живой дождевой сѣткой. Шансы игры сразу перемѣнились, потому что по мокрому грунту могли выиграть только очень выносливыя лошади. Первый заѣздъ прошелъ подъ дождемъ, не вызвавъ особеннаго оживленія. Публика приняла сразу какой-то хмурый видъ. У Саханова была афиша, размѣченная Васяткинымъ, какъ знатокомъ лошадей, и онъ былъ радъ, что назначенная Васяткинымъ лошадь проиграла.

— Вотъ всегда такъ,—резонировалъ Сахановъ.—Всѣ эти знатоки рѣшительно ничего не понимаютъ. Вы знаете, что жокеи,—кажется, ужъ они-то должны знать лошадей,—всегда проигрываютъ...

Въ бинокль Сахановъ разсмотрѣлъ наконецъ Красавина, который сидѣлъ въ членской бесѣдкѣ наверху. Къ нему нѣсколько разъ подбѣгалъ Васяткинъ, что-то шепталъ и стремительно исчезалъ. Вѣроятно, шла какая-нибудь крупная игра, и онъ приносилъ послѣднія конюшенныя новости.

— Этакій хамъ!—возмутился про себя Сахановъ, жалѣя, что не можетъ конкурировать съ этимъ дуракомъ.

Второй и третій заѣздъ прошли тоже вяло. Одна лошадь упала, но ѣздокъ остался цѣлъ. Публика ахнула и точно осталась недовольна, что все сошло благополучно. Бачульская скучала, проклиная свою податливость. И зачѣмъ только она тащилась такую даль? Кругомъ шелъ разговоръ на какомъ-то тарабарскомъ языкѣ, а она ничего не понимала. Что такое значитъ: „голова въ голову“, „въ мертвомъ гитѣ“, „шотландская банкетка“, „стартъ“, „стипльчезъ“ и т. д.? О лошадяхъ говорили, какъ о старыхъ знакомыхъ, по именамъ пере-

числяя ихъ родословную, взятые призы, ожидающее ихъ будущее и разныя комбинаціи отдѣльныхъ заѣздовъ.

Передъ началомъ шестого заѣзда Сахановъ вдругъ потащилъ свою даму въ ложу Ольги Спиридоновны. Бачульская только теперь поняла, какую глупую роль она разыграла. Саханову, очевидно, нужно было попасть въ ложу Красавина, гдѣ сидѣли сейчасъ дамы, а итти туда безъ приглашенія было неловко, т.-е. можно было войти, раскланяться, поболтать и, если не послѣдуетъ приглашенія остаться—скромно удалиться. Другое дѣло, когда Сахановъ являлся со своей собственной дамой, тѣмъ болѣе, что Красавинъ благоволилъ до нѣкоторой степени Бачульской. Красавинъ теперь сидѣлъ въ ложѣ и пришелъ въ ужасъ, когда увидѣлъ Саханова.

— Боже мой, онъ преслѣдуетъ меня...—шепнулъ меценатъ Бургардту.— Уберите его, или я самъ убѣгу...

— Это не совсѣмъ удобно, Антипъ Ильичъ,—объяснилъ Бургардтъ.— Если бы онъ былъ одинъ, а то съ Мариной Игнатьевной. Она вѣдь не виновата...

— Да, совершенно не виновата...—упавшимъ голосомъ отвѣтилъ Красавинъ.

Къ Бачульской меценатъ отнесся съ особенной любезностью, точно старался вытѣнить свое неудовольствіе по поводу незванаго гостя. Красавинъ даже сказалъ ей какой-то комплиментъ, что̀ для него было страшнымъ усиліемъ. Бачульская улыбалась заученной театральной улыбкой, а въ сущности даже не слыхала, что̀ ей говорилъ Красавинъ. Она была вся поглощена присутствіемъ Бургардта и женскимъ чутьемъ поняла, что онъ волнуется и чѣмъ-то недоволенъ. Впрочемъ, причина этого недовольства скоро объяснилась, когда Бургардтъ показалъ ей глазами на Шуру и сидѣвшую рядомъ съ ней у барьера миссъ Мортонъ и выразительно пожалъ плечами.

— А вѣдь я умная и все поняла,—шепнула ему Бачульская, когда всѣ поднялись, чтобы посмотрѣть на скачку „Ушкуйника“.—Ей не слѣдовало появляться въ *этомъ* обществѣ и афишировать себя... да?

Онъ молча пожалъ ей руку, а потомъ шепнулъ:

— Узнайте *ея* адресъ... Мнѣ неудобно.

XIX.

Въ заѣздѣ было шесть лошадей, причемъ главнымъ соперникомъ „Ушкуйника“ была великолѣпная сѣрая кобыла „Баловень“, сильная и выносливая. Другіе соперники въ счетъ не шли, хотя и могъ случиться фуксъ. На „Ушкуйникѣ“ ѣхалъ знаменитый красавинскій жокей Чарльзъ, а на „Баловнѣ“ гусарскій офицеръ, тоже знаменитый ѣздокъ. Васяткинъ прибѣгалъ уже нѣсколько разъ въ ложу Красавина, сообщая ходъ игры въ тотализаторъ. Играли больше на „Баловня“, чѣмъ на „Ушкуйника“, потому что „Ушкуйникъ“ былъ лѣнивъ и шелъ со своимъ „лидеромъ“. Красавинъ только пожималъ плечами, какъ посторонній человѣкъ.

— А что̀ говорятъ жокеи?—спросилъ онъ, чтобы сказать что-нибудь.

— Они играютъ всѣ на „Ушкуйника“...

Красавинъ не былъ настоящимъ спортсменомъ и держалъ лошадей только для того, чтобы о нихъ говорили и писали. Какъ-то было неприлично такому богатому человѣку не имѣть своей скаковой конюшни. Сегодня онъ былъ въ дурномъ расположеніи духа и не уѣзжалъ со скачекъ домой только изъ приличія. Его даже не интересовало, выиграетъ „Ушкуйникъ“ или проиграетъ. Красавинъ сидѣлъ у барьера, и ему все время казалось, что изъ-подъ лѣваго

локтя его руки выползаетъ паукъ—покажутся тонкія, точно переломанныя и неудачно склеенныя паучьи ноги и сейчасъ же спрячутся. Это было мучительное и тяжелое состояніе, отъ котораго у Красавина шли мурашки по спинѣ. Онъ боялся пошевелиться, чтобы какъ-нибудь не раздавить воображаемаго паука, а главное, онъ боялся выдать самого себя и показаться смѣшнымъ.

Бургардтъ относился къ скачкамъ совершенно безучастно, а лошади для него имѣли смыслъ и значеніе только живыхъ моделей и какъ вопросъ о „прогрессѣ лошадиныхъ формъ". Вѣдь, въ сущности, всѣ эти дорогіе скакуны съ болѣе или менѣе вѣрной родословной и выработанными систематическимъ подборомъ формами являлись уродами. Да, настоящіе уроды, тонконогіе, поджатые уроды, у которыхъ утрачена всякая гармоническая пропорція отдѣльныхъ частей, какъ она утрачивается у подстриженныхъ деревьевъ. Цѣлой, настоящей нормальной лошади уже не существовало, а были монстры, задача которыхъ заключалась только въ томъ, чтобы развить предѣльную скорость на минимальное разстояніе. Вмѣстѣ съ утратой нормальной пропорціональности исчезла и настоящая красота. Сахановъ очень остроумно увѣрялъ Ольгу Спиридоновну, что давеча съ одной лошадью сдѣлалась истерика—вѣдь это тоже проявленіе нарушенной нормы и здоровой душевной красоты. Потомъ Бургардта интересовала эта спеціальная скаковая публика, слившаяся въ одно нервновозбужденное цѣлое. Особенно сильно волновались дамы, изъ которыхъ немногія рѣшились бы подойти къ лошади близко, какъ Ольга Спиридоновна, боявшаяся ѣздить даже на извозчикахъ, а тутъ она слѣдила за лошадьми, затаивъ дыханіе.

— А если кто-нибудь упадетъ?—впередъ ужасалась Ольга Спиридоновна и даже закрывала глаза, какъ курица.—Я ужасно боюсь!

Миссъ Мортонъ, казалось, вся превратилась въ одно зрѣніе и, кромѣ лошадей, ничего не видѣла. Она была счастлива, что могла понимать все происходившее, какъ и другіе, и улыбалась такой милой дѣтской улыбкой. Кое-кто изъ избранной скаковой публики уже обратилъ на нее вниманіе, и Бургардта коробило, когда на ихъ ложу наводились спортсменскіе бинокли. Очевидно, всѣхъ интересовала новая „звѣздочка", появившаяся на горизонтѣ петербургскаго полусвѣта. Шуру уже знали, она „опредѣлилась" въ этомъ исключительномъ міркѣ, и называли полуименемъ. Сегодня она была не въ своей тарелкѣ и ревновала миссъ Мортонъ, на которую всѣ обращали вниманіе. Ольга Спиридоновна, выросшая среди театральныхъ интригъ, только жмурила глаза, сдерживая невольную улыбку. Она нарочно выказывала особенные знаки своего вниманія нѣмой англичанкѣ, чтобы позлить „выскочку", какъ про себя называла Шуру.

„Вотъ тебѣ и красавинскія коляски! — думала Ольга Спиридоновна.— Покаталась—и будетъ. Много васъ, поденокъ!"

Эти сердитыя мысли мѣшались съ самыми мирными соображеніями, въ родѣ того, что пригласитъ Красавинъ всѣхъ обѣдать или не пригласитъ, а если пригласитъ, то повезетъ всѣхъ къ себѣ на дачу въ Павловскъ или устроитъ—когда кончатся скачки—обѣдъ въ членской бесѣдкѣ. У Ольги Спиридоновны началъ не въ шутку разыгрываться аппетитъ.

А скачки уже начались. Стартъ вырвала совершенно безнадежная лошадка „Гейша" и вынеслась впередъ корпусовъ на двадцать. Знающую публику такая рѣзвость не по чину только смѣшила.

— Смотрите! Смотрите, что дѣлаетъ „Гейша"!—кричали голоса.—Ай-да „Гейша"!

— У лѣска зарѣжется!

— Бываетъ, что и лидеръ выигрываетъ. Вонъ какъ „Ушкуйникъ“ и „Баловень“ караулятъ другъ друга!

Противники, дѣйствительно, повели скачку осторожно. Жокей Чарльзъ нѣсколько разъ оглядывался на „Баловня“, которая шла въ полукорпусѣ отъ „Ушкуйника“, спокойно и ровно отбивая копытами по мокрому грунту. Лидеръ „Ушкуйника“, благодаря потерянному старту, едва успѣлъ вынестись впередъ. „Ушкуйникъ“ началъ сердиться, забирая поводья. Съ высоты трибунъ видно было, какъ лошади вытянулись въ одну линію, а подходя къ лѣску, „Гейша“ какъ-то сразу отпала.

—„Гейша“ кончена!—крикнулъ въ толпѣ неизвѣстный голосъ.

На поворотѣ „у лѣска“ отпали еще двѣ лошади, а „Баловень“ прибавила ходу и висѣла совсѣмъ на хвостѣ „Ушкуйника“. При выходѣ на прямую обѣ лошади шли уже голова въ голову.

— „Ушкуйникъ“ идетъ впереди!

— Нѣтъ, „Баловень“! Браво, „Баловень“!

— Браво, „Ушкуйникъ“!

Публику ввелъ въ заблужденіе лидеръ „Ушкуйника“, который отпалъ уже на прямой. Особенно хорошо шла „Баловень“—ровно, широкимъ махомъ, постепенно набирая скорость. Когда лошади вышли на прямую, публикѣ видны были только однѣ лошадиныя головы, и трудно было рѣшить, которая лошадь впереди. Но вотъ надъ „Баловень“ взмахнулся хлыстъ, и публика пришла въ неописуемое волненіе.

—„Ушкуйникъ“ идетъ въ рукахъ! Браво, „Ушкуйникъ“!

—„Баловень“ зарѣзалась!

Дѣйствительно, „Ушкуйникъ“ пронесся мимо трибунъ свободно и легко, причемъ Чарльзъ старался его сдерживать. Бѣдная „Баловень“ осталась всего на полкорпуса назади. Поднялся страшный гвалтъ, и публика бросилась изъ трибунъ. Миссъ Мортонъ аплодировала, улыбающаяся, красивая и, какъ показалось Бургардту, безумно счастливая, точно она торжествовала побѣду собственной лошади.

Проходившіе мимо офицеры-кавалеристы пожимали плечами.

— Выигралъ тяжелый грунтъ...—говорилъ съ видомъ спеціалиста молоденькій бѣлокурый офицерикъ съ едва пробивавшимися усиками.—„Ушкуйникъ“ просто мужикъ.

Всѣ жалѣли красавицу „Баловень“, и даже самъ Красавинъ точно былъ недоволенъ, что выиграла его лошадь.

Бургардтъ сидѣлъ блѣдный и, повидимому, не замѣчавшій ничего, кромѣ миссъ Мортонъ. У него въ ушахъ стояла одна фраза: „Гейша“ кончена Бачульская наблюдала его все время и, тронувъ его руку, шепнула:

— Что̀ съ вами, Егорушка?

Онъ посмотрѣлъ на нее непонимающими глазами, снялъ шляпу, провелъ рукой по волосамъ и съ какой-то больной улыбкой отвѣтилъ:

— Со мной? Ничего! „Гейша“ кончена! Вы слышали?

— Да... что-то кричали.

Онъ опять посмотрѣлъ на нее и прибавилъ:

— И „Баловень“ тоже кончена!

— Что̀ же изъ этого, Егорушка?

— Я вамъ потомъ скажу!

Прибѣжалъ Васяткинъ и потащилъ Красавина въ членскую бесѣдку, гдѣ его ждали. На ходу онъ успѣлъ раскрыть золотой портсигаръ, съ налѣпленными на немъ монограммами, и, протягивая Бургардту, проговорилъ:

Особенныя сигарки... случайно получилъ отъ одного моряка, который третьяго-дня сошелъ съ ума.

Ольга Спиридоновна дернула его за рукавъ и шепнула:

— А обѣдать будемъ? Смертельно ѣсть хочу!

— Все будетъ... все будетъ, дорогая.

— И шампанское?

— И шампанское... и устрицы..

Ольга Спиридоновна аппетитно зѣвнула.

Сахановъ тоже думалъ объ обѣдѣ, но съ другой точки зрѣнія—пригласитъ его Красавинъ или не пригласитъ? Въ ложу онъ попалъ благодаря Бачульской, а дальнѣйшее было неизвѣстно. Лошади Саханова нисколько не интересовали, скаковую публику онъ давно зналъ—однимъ словомъ, ничего интереснаго. А между тѣмъ отъ какого-нибудь дурацкаго обѣда зависѣло все, т.-е. обѣщанное Красавинымъ мѣсто въ правленіи какого-то финансоваго учрежденія.

— Вамъ восьми тысячъ въ годъ достаточно?—спросилъ Красавинъ.

Эта роковая цифра разъѣдала мозгъ Саханова, какъ отрава. Достаточно ли ему восьми тысячъ? Если бы у него была такая ассюрированная сумма—нѣтъ, это что-то невозможное! Сахановъ зналъ десятки людей, которые получали вдвое и втрое больше, засѣдая въ какихъ-то правленіяхъ и комитетахъ, и глубоко презиралъ самого себя, что самое слово: „восемь тысячъ“ можетъ его волновать. О, онъ тогда показалъ бы всѣмъ, что̀ такое онъ, Сахановъ. Съ другой стороны, тутъ же рядомъ, вотъ въ этой самой ложѣ сидѣлъ меценатъ Красавинъ и сонными глазами наблюдалъ за своей лошадью. Вотъ человѣкъ, который сумѣлъ же поймать слѣпую фортуну прямо за хвостъ.

— Дуракъ ты, Павелъ Васильичъ Сахановъ!—мысленно укорялъ онъ самого себя.—Да! Совсѣмъ дуракъ... тряпка ты... простофиля—и больше ничего! Ну, посмотри на себя и подумай, зачѣмъ ты сидишь вотъ здѣсь и съ безпокойной ласковостью взгляда ждешь великой и богатой милости отъ Антипа Ильича Красавина?

Послѣдніе заѣзды прошли совсѣмъ вяло. Дамы начали скучать. Красавинъ не появлялся.

— Они тамъ, навѣрное, шампанское пьютъ!—шепнула Ольга Спиридоновна Бачульской.—А мы тутъ... сиди, какъ чортовы куклы! Что̀ это сдѣлалось сегодня съ Бургардтомъ? Мнѣ кажется, что онъ голоденъ, бѣдняжка. Серьезно. Онъ смотритъ такими голодными глазами.

— Зато Павелъ Васильичъ выбивается изъ силъ, чтобы понравиться вамъ.

— Влюбленъ, милашка, въ меня и, кажется, мечтаетъ о томъ, что̀ уже давно прошло. Ахъ, какъ я ѣсть хочу... голубушка... какъ два ломовыхъ извозчика! Въ жизнь свою не поѣду больше на эти дурацкія скачки!

Нагнувшись къ самому уху Бачульской, Ольга Спиридоновна прибавила:

— А знаете, голубушка, какъ насъ называютъ здѣсь? Вонъ черезъ ложу отъ насъ—офицеры. Тамъ сидитъ мой знакомый—Перцевъ. Онъ порядочный шалопай, но добрый малый. Давеча указываетъ головой въ нашу сторону и говоритъ настолько громко, чтобы я все слышала: „Красавинъ привелъ сюда не только свою конюшню, но и курятникъ захватилъ“. Какъ это вамъ понравится? Я этому Петькѣ уши надеру.

XX.

Сахановъ волновался недаромъ. Ему сегодня рѣшительно не везло. Въ послѣдній заѣздъ прибѣжалъ Васяткинъ и вызвалъ его въ коридоръ. По лицу друга Сахановъ догадался, что дѣло не ладно.

— Что̀ случилось, Алексѣй Иванычъ?—предупредилъ неловкое начало Сахановъ.

— Видишь ли... да... не хочешь ли сигарку?

— Убирайся ты къ чорту со своими сигарками.

— Ты не сердись. Я, право, тутъ ни при чемъ.

— Понимаю... понимаю. Красавинъ пригласилъ всѣхъ обѣдать... кромѣ меня?

— Гм... прямо онъ этого не говорилъ, а только не назвалъ твоей фамиліи. Можетъ-быть, это отъ разсѣянности. Мнѣ кажется, все-таки...

— Что будетъ лучше, если я не пойду съ вами!—добавилъ Сахановъ и захохоталъ.—О, милый другъ, какъ я понимаю всѣ эти тайны мадридскаго двора! Да мнѣ, собственно говоря, и чортъ съ нимъ, съ Красавинымъ. Я давно бы уѣхалъ, если бы не пріѣхалъ со своей дамой. Я долженъ ее проводить обратно.

Васяткинъ по безтактности поторопился успокоить друга относительно послѣдняго.

— Ничего... ее проводитъ Бургардтъ... да. Я провожаю Шуру. Ольга Спиридоновна увезетъ нѣмушку.

— Отлично!—согласился Сахановъ.—Я даже не вернусь, а ты скажи Маринѣ Игнатьевнѣ, что меня вызвали въ Петербургъ по телефону,

Трудно себѣ представить то бѣшенство, которое охватило Саханова, когда онъ разстался со своимъ другомъ Васяткинымъ. Онъ слышалъ, какъ кровь стучала у него въ головѣ, а передъ глазами все сливалось въ какую-то мутную полосу. Онъ остановился въ буфетѣ и залпомъ выпилъ двѣ большихъ рюмки водки, повторяя про себя одну фразу:

— Да... такъ вы вотъ какъ? Очень хорошо!

Все положеніе дѣлъ теперь было ясно, какъ день, и Сахановъ скрежеталъ зубами отъ ярости, возстановляя въ умѣ всю картину нанесеннаго ему оскорбленія. А кто писалъ въ газетахъ о разныхъ проектахъ Красавина? Кто ему помогалъ рекламировать его предпріятія, закидывать грязью конкурентовъ, вообще—пользоваться прессой, какъ общественной силой? А биржа? Отчеты о движеніи разныхъ бумагъ? Походы противъ банковъ? Корреспонденціи о промышленномъ оживленіи провинціи? Перебирая все это въ умѣ, Сахановъ пришелъ къ твердому убѣжденію, что лично Красавинъ не могъ рѣшительно ничего имѣть противъ него, а что настоящую „выставку“ ему устроили его же собственные друзья, т.-е. Бургардтъ и Васяткинъ. О, это было ясно, какъ день. Они хотѣли заполучить мецената только въ свои руки и вытолкали его въ шею.

— Человѣкъ! Рюмку водки!

А кто вывелъ въ свѣтъ того же Бургардта? Кто открылъ его публикѣ? Онъ—Сахановъ, дуракъ Сахановъ, идіотъ Сахановъ, который доставалъ изъ огня каштаны для своихъ милыхъ друзей, чтобы они его выгнали потомъ на улицу, какъ водовозную клячу.

— О, они будутъ меня помнить, негодяи!—ругался Сахановъ, шагая по платформѣ въ ожиданіи поѣзда въ Петербургъ.—Нѣтъ! Я не останусь въ долгу!

Когда Васяткинъ забѣжалъ въ ложу сообщить дамамъ приглашеніе на

обѣдъ и сообщилъ по пути, что Сахановъ вызванъ по телефону въ Петербургъ, Бургардтъ и Бачульская только переглянулись между собой.

— Сахановъ „конченъ“!—замѣтилъ Бургардтъ.

Обѣдъ былъ устроенъ въ членской бесѣдкѣ. Въ немъ приняли участіе какіе-то довольно сомнительные скаковые джентльмены и нѣсколько офицеровъ. Шура немного стѣснялась незнакомаго общества и напрасно старалась рѣшить вопросъ, у котораго изъ офицеровъ больше милліоновъ. Ольга Спиридоновна была въ своей сферѣ—и ее всѣ знали, и она всѣхъ знала или слыхала фамиліи. Разговоръ принялъ почти семейный характеръ, причемъ съ особеннымъ удареніемъ упоминались фамиліи извѣстныхъ кутилъ, а женщины назывались фамильярно по именамъ. Однимъ словомъ, сошлись свои люди. Былъ, между прочимъ, и молоденькій офицерикъ Перцевъ, которому Ольга Спиридоновна не безъ кокетства погрозила пальцемъ и замѣтила:

— Почему, Перцевъ, вы такъ любите куриный бульонъ?

Перцевъ не нашелся, что̀ ему отвѣтить, и даже покраснѣлъ. Отвѣтъ онъ подыскалъ только на другой день, именно, онъ долженъ былъ отвѣтить такъ:

— Потому, уважаемая Ольга Спиридоновна, что изъ старой курицы, какъ говорятъ французы, наваръ гуще.

Бургардтъ почти не принималъ участія въ общемъ разговорѣ, потому что вообще не любилъ обѣдовъ въ полузнакомомъ обществѣ. Онъ даже не обращалъ вниманія на миссъ Мортонъ, которая сидѣла рядомъ съ Красавинымъ и съ невинной дѣтской улыбкой пожимала подъ столомъ мускулистую, крѣпкую руку мецената. Общій разговоръ, конечно, шелъ о лошадяхъ и о герояхъ и героиняхъ сегодняшняго скакового дня, причемъ джентльмены оказались вполнѣ достойными меценатскаго обѣда и высказывали массу самыхъ профессіональныхъ подробностей.

„Боже мой, когда кончится этотъ дурацкій обѣдъ?“—съ тоской думалъ Бургардтъ, потихоньку глядя на часы.

Ему такъ хотѣлось уѣхать домой, запереться у себя въ кабинетѣ, растянуться на диванѣ и обдумать страшную мысль, которая пришла ему давеча въ голову, когда неизвѣстный голосъ изъ публики крикнулъ: „Гейша“ кончена! Почему въ самомъ тонѣ этого голоса слышались торжествующія ноты? Чему радовался неизвѣстный джентльменъ? Казалось, естественнѣе было бы пожалѣть выбившуюся изъ силъ несчастную лошадь, которая даже не была въ числѣ фаворитовъ. И какое это ужасное слово: „кончена“! Оно напоминало крикъ римской черни, какъ одинъ гладіаторъ „кончалъ“ другого гладіатора и публика ликовала, какъ кровожадный звѣрь. Бургардту припомнились разсужденія Саханова на его вечерѣ о „конченномъ“ человѣкѣ, что̀ относилось, очевидно, къ старику Локотникову. Но вѣдь и всякій другой могъ быть такимъ „конченнымъ“ человѣкомъ.

— Да вѣдь это ты „конченный“ человѣкъ!—крикнулъ какой-то внутренній голосъ.—Да! Ты, Бургардтъ!

Эта мысль точно придавила его, и ничего другого онъ больше не понималъ. „Конченъ! Конченъ! Конченъ!“ — стучало у него въ мозгу. Ему начало казаться, что и всѣ другіе смотрятъ на него какъ-то подозрительно и только изъ вѣжливости не говорятъ прямо въ глаза то, о чемъ думаютъ.

— Что̀ съ вами, Егоръ Захарычъ?—спрашивала встревоженная Бачульская.—Вы нездоровы?

— Потомъ я все разскажу.

Подъ конецъ обѣдъ очень оживился, конечно, благодаря главнымъ образомъ шампанскому. Скромные джентльмены оказались спеціалистами въ

разныхъ видахъ спорта: одинъ—велосипедистъ, побившій какой-то рекордъ, другой—конькобѣжецъ, третій—лыжникъ и въ то же время гармонистъ, балалаечникъ и членъ яхтъ-клуба. Однимъ словомъ, вся атмосфера постепенно точно насытилась именами и ѳиміамомъ славы. Всѣ жалѣли только объ одномъ, что нѣтъ какого-то атлета Ѳеди, который могъ „выжать" одной рукой весь столъ съ обѣдающими. Конечно, это было маленькое преувеличеніе, но именно поэтому всѣ охотно такъ и согласились съ нимъ. Особенно оживилась Шура, которая наконецъ могла понимать, о чемъ говорятъ. Всѣхъ знаменитостей спорта собралъ, конечно, Васяткинъ, который и торжествовалъ.

— Я вамъ покажу весь Петербургъ!—говорилъ онъ Шурѣ.—Да! Я вѣдь тоже спортсменъ—то-есть членъ всѣхъ обществъ, гдѣ цѣлью служитъ спортъ. Вы, конечно, умѣете ѣздить на велосипедѣ?

— Нѣтъ.

Шура, краснѣя, призналась, что ей очень хотѣлось бы научиться ѣздить на велосипедѣ, но у нея нѣтъ машины.

— О, это совершенно пустяки!—обрадовался Васяткинъ.—Мы купимъ велосипедъ въ разсрочку, или лучше—я его подарю вамъ, Шура.

Ольга Спиридоновна была сыта, и дѣйствительность для нея заволакивалась какимъ-то туманомъ. Ей ужасно хотѣлось прикурнуть, чтобы освѣжиться къ вечеру, когда она уговорилась быть на музыкѣ въ Павловскѣ. Красавинъ уже нѣсколько разъ выразительно смотрѣлъ на нее, что̀ въ переводѣ значило: „Пора ѣхать пить кофе".

„Отчего же и не напиться кофе?"—думала Ольга Спиридоновна, глядя улыбавшимися глазами на миссъ Мортонъ.

Она припомнила даже расположеніе комнатъ на дачѣ Красавина. Да, тамъ была такая хорошенькая угловая комнатка въ восточномъ стилѣ,—вотъ гдѣ можно было лихо всхрапнуть. Да, и она когда-то пила кофе на дачѣ Красавина, о чемъ вспоминала съ улыбкой. Нѣкоторыя вещи не повторяются, какъ нельзя повторить на заказъ счастливый сонъ... Теперь очередь другимъ, а она только благородная свидѣтельница счастливыхъ событій. А Бургардтъ въ какихъ дуракахъ останется!

А Бургардтъ думалъ свое: „Конченъ... конченъ... конченъ". Это одно слово давило его, какъ смертный приговоръ. Онъ чувствовалъ, какъ все кругомъ него точно сужается, какъ, вѣроятно, чувствуетъ себя обложенный кругомъ звѣрь. Ему хотѣлось крикнуть, какъ ему тяжело и больно.

XXI.

Бургардтъ опомнился только на желѣзной дорогѣ, когда поѣздъ подходилъ къ Павловску, и съ удивленіемъ посмотрѣлъ на сидѣвшую противъ него Бачульскую.

— Куда мы ѣдемъ, Марина Игнатьевна?

— Сейчасъ—въ Павловскъ!

— А гдѣ другіе?

— Васяткинъ съ Шурой—на музыкѣ, а Ольга Спиридоновна и миссъ Мортонъ уѣхали съ Красавинымъ къ нему на дачу. Они поѣхали въ коляскѣ прямо паркомъ и тоже будутъ на музыкѣ.

— Ахъ, да... припомнилъ. Они поѣхали пить кофе, а Красавинъ хочетъ похвастаться своей дачей. Понимаю.

Спускались лѣтнія сумерки, и, благодаря тучамъ, обложившимъ все небо, дѣлалось темно. Въ воздухѣ чувствовалась пріятная свѣжесть, и Бургардтъ съ удовольствіемъ смотрѣлъ на мелькавшую зеленую сѣтку деревьевъ. Гро-

хотъ поѣзда и свистокъ паровоза въ этомъ зеленомъ живомъ коридорѣ отдавались особенно рѣзко. На платформѣ была настоящая давка, какъ всегда въ праздники, когда на музыку приливала шальная волна спеціально-скаковой публики. Стоявшій надъ этой толпой гулъ совершенно заглушалъ оркестръ, который сегодня по случаю ненастной погоды игралъ не на открытой эстрадѣ въ саду, а въ залѣ. Послѣднее очень огорчало Бургардта.

— А мы отправимся въ паркъ...—предложила Бачульская, пользуясь настроеніемъ своего кавалера.—Я ужасно люблю Павловскій паркъ. Наша публика, по моему мнѣнію, не умѣетъ его цѣнить. А къ одиннадцати часамъ мы вернемся на музыку.

— Что же, отлично...—какъ-то устало согласился Бургардтъ, отдаваясь въ распоряженіе своей дамы.—Да, очень хорошо!

Они едва протолкались сквозь толпу въ садъ, прошли мостикъ, соединяющій территорію собственно вокзала съ паркомъ, и какъ-то особенно торопливо зашагали по аллеѣ, гдѣ такъ красиво росли столѣтніе дубы.

— Какъ хорошо...—вслухъ думала Бачульская, крѣпко опираясь на руку Бургардта.—Егорушка! Вы любите хмурое ночное небо? А я очень люблю... Въ немъ чувствуется что-то серьезное, какая-то скрытая грусть, точно вся природа задумывается и недовольна сама собой.

— А куда дѣвался Сахановъ?—совсѣмъ некстати спрашивалъ Бургардтъ, не слушавшій своей спутницы.

— Бѣдняжка... сбѣжалъ! Красавинъ не пригласилъ его обѣдать.

— Да? Какъ жаль, что я этого не зналъ, а то... и я тоже уѣхалъ бы. Это свинство. Такъ нельзя поступать съ порядочными людьми.

Бургардтъ вдругъ разсердился, а потомъ вспомнилъ свой разговоръ съ Шипидинымъ и сказалъ:

— Этотъ Красавинъ просто психопатъ! Давеча Шипидинъ разсказывалъ мнѣ удивительную сцену. Представьте себѣ, нашъ меценатъ чуть руки у него не цѣловалъ и въ чемъ-то каялся со слезами на глазахъ. Милый Григорій Максимычъ едва отъ него вырвался. Красавинъ вызывалъ его—знаете, зачѣмъ?—чтобы поговорить о смерти и загробной жизни. Жаль, что мнѣ некогда было подробно разспросить обо всемъ. И тутъ же скачки, кофе съ дамами...

Спохватившись, Бургардтъ прибавилъ уже другимъ тономъ:

— Гм! А знаете, вѣдь это некрасивая вещь, что Ольга Спиридоновна повезла миссъ Мортонъ къ Красавину. Какъ вы думаете?

— Ничего особеннаго, Егорушка. У Красавина вѣдь всѣ бываютъ, и миссъ Мортонъ поѣхала не одна.

— Да, конечно. А все-таки нехорошо! Не отправиться ли и намъ туда. А? Вотъ сдѣлали бы пріятный сюрпризъ!

— Они скоро будутъ всѣ на музыкѣ, Егорушка.

— Я пошутилъ.

Онъ взялъ ея маленькую руку и крѣпко пожалъ. Они шли черезъ лугъ къ Славянкѣ, гдѣ около дворца былъ такой крутой спускъ, но не перешли мостика, а повернули въ нижнюю аллею налѣво, которая вытянулась луговымъ берегомъ. Тучи, казалось, спускались все ниже. Отъ освѣженной давешнимъ дождемъ травы поднимался тяжелый ароматъ, песокъ на дорожкахъ былъ пропитанъ влагой, и не слышно было шаговъ. Она вела его все дальше, прижимаясь къ нему своимъ тѣломъ, счастливая каждымъ дыханіемъ. О, сейчасъ онъ принадлежитъ только ей одной.

— Что вы сегодня такой странный, Егорушка?—спрашивала она, когда

они начинали подниматься въ гору.—Вы давеча за обѣдомъ чего-то не досказали и обѣщали разсказать потомъ.

— Я? Ахъ, да! Право, не знаю, сумѣю ли я вамъ объяснить то, что̀ сейчасъ чувствую. Я смотрѣлъ на Ольгу Спиридоновну, и мнѣ показалось, что мнѣ никогда не сдѣлать ея портрета, то-есть такого портрета, о которомъ я думалъ. Согласитесь: вѣдь это ужасно. Меня это мучитъ и убиваетъ. Понимаете: „конченный“ человѣкъ, какъ говоритъ Сахановъ.

Она принялась его успокаивать, какъ успокаиваютъ капризничающаго ребенка. Всѣ истинные художники переживаютъ муки творчества, и только одна бездарность всегда довольна сама собой. Затѣмъ, если допустить, что работа дѣйствительно не удастся, то и это ничего не доказываетъ. Во-первыхъ—у каждаго художника могутъ быть неудачи, а во-вторыхъ—самъ онъ въ этомъ случаѣ слишкомъ пристрастный судья.

— Нѣтъ, нѣтъ, все это не то, Марина Игнатьевна...—упавшимъ голосомъ возражалъ онъ, какъ возражаютъ только изъ вѣжливости.—Я просто не умѣю вамъ объяснить, что̀ сейчасъ переживаю. Конечно, одна неудача еще ничего не доказываетъ... да. Но, сидя на скачкахъ, я мысленно провѣрилъ всѣ свои послѣднія работы и убѣдился, что паденіе шло вполнѣ послѣдовательно.

Она все-таки ничего не понимала. Они уже вышли на широкую аллею, которая вела къ дому главнаго парковаго лѣсничаго. Было уже совсѣмъ темно. Впереди высились сосны и ели, и отъ нихъ тянуло смолистымъ ароматомъ.

— Не правда ли, какъ хорошо!—шептала Бачульская.

Онъ взялъ ея руку и хотѣлъ поцѣловать, но она выдернула ее и прошептала:

— Ахъ, не нужно... Зачѣмъ? Вѣдь все равно, вы не любите меня... Я для васъ не женщина, а другъ. Я послѣднимъ горжусь... Знаете, что̀ я вамъ скажу, Егорушка... Сядемте вотъ на эту скамейку и поговоримте, какъ друзья.

Онъ повиновался. Въ лѣсу было такъ хорошо. Облака тянулись такъ низко, точно задѣвали за верхушки лѣса. А тамъ внизу, гдѣ неслышно катилась мутная Славянка, тихо поднимался бѣлый туманъ.

— Говорите...—замѣтилъ Бургардтъ, раскуривая папиросу.

— Да, да...—торопливо подхватила она.—Я такъ рада за васъ, Егорушка. И знаете, чему? Наконецъ вы нашли женщину, которая вамъ нравится... Вы знаете, о комъ я говорю. Да, это имѣетъ громадное значеніе. Вы воскреснете душой, Егорушка... Даже если бы это была неудачная любовь—и то хорошо. Вѣдь важно не то, чтобы *васъ* любили, а чтобы *вы* любили.

— Ну, съ этимъ я не совсѣмъ согласенъ...

— Нѣтъ, это такъ... Взаимное чувство—это миѳъ. Объ этомъ только въ книгахъ пишутъ да мы на сценѣ разыгрываемъ. И чѣмъ меньше человѣка любятъ, тѣмъ больше онъ любитъ. Это вѣрно... Счастливой любви поэтому и не можетъ быть, и которая-нибудь сторона должна непремѣнно страдать. Я не желаю вамъ зла, но была бы рада, если бы вы пережили еще разъ муки неудовлетворенной любви и встряхнулись. Въ вашей профессіи это необходимо...

— Какая вы бываете умненькая,—проговорилъ Бургардтъ и хотѣлъ обнять ее.

— Нѣтъ, нѣтъ... Ради Бога, не дѣлайте этого!—испугалась она.

— Виноватъ...

Наступило неловкое молчаніе. Они шли мимо домика лѣсничаго, гдѣ по лѣвой сторонѣ дороги росли такія высокія сосны. Потомъ началась темная аллея изъ елей. Бачульская выбрала скамеечку и сказала:

— Отдохнемте здѣсь... Я устала.

Онъ чертилъ палкой на пескѣ какія-то кабалистическія фигуры и продолжалъ молчать. Она точно чувствовала его невеселыя мысли и не мѣшала ему думать. Кругомъ было такъ хорошо, точно въ дѣтской сказкѣ. Деревья принимали такія причудливыя очертанія, и фантазія готова была населить это зеленое царство своими созданіями. Работѣ воображенія помогала стоявшая кругомъ мертвая тишина. Да, вотъ именно въ такомъ лѣсу живутъ русалки, подстерегаютъ неосторожнаго путника, котораго заманиваютъ своимъ смѣхомъ въ глухую лѣсную чащу и защекочиваютъ на-смерть... А лѣсъ все молчитъ, какъ заколдованный какой-то неразгаданной тайной.

Когда Бачульская взяла Бургардта за руку, онъ вздрогнулъ, какъ неосторожно разбуженный человѣкъ.

— Егорушка, я хотѣла вамъ предложить одну вещь... Мнѣ немножко неловко, но я думаю, что это принесетъ вамъ пользу... Видите ли, я понимаю, что вы стѣсняетесь открыто ухаживать за этой англичанкой... да? И ваше общественное положеніе и вашъ возрастъ до извѣстной степени дѣлаютъ неудобнымъ то, что̀ позволяется молодымъ людямъ... Взять ее натурщицей, я понимаю, вы сами не согласитесь, чтобы сохранять иллюзіи... да? Вы вѣдь сейчасъ именно объ этомъ думали... Одна Ольга Спиридоновна чего сто̀итъ. Я ее очень люблю, но у нея языкъ, какъ набатный колоколъ...

Бургардтъ вскочилъ и заговорилъ, быстро роняя слова:

— Марина Игнатьевна, ради Бога, не доканчивайте... Я понимаю, что̀ вы хотите сказать, цѣню вашу доброту, но никогда не соглашусь навязать вамъ роль сближающаго элемента.

— Но вѣдь вамъ ничто не мѣшаетъ случайно встрѣчать ее у меня въ Озеркахъ? Я ничего дурного вамъ не предлагаю, а только...

— Довольно, довольно...

Онъ только сейчасъ понялъ, какъ она его любила и что для него готова была пожертвовать собственнымъ женскимъ самолюбіемъ. Есть женщины, которымъ душевныя муки доставляютъ наслажденіе, какъ мужчинамъ доставляютъ его опасности.

— Милая, вы не понимаете, что̀ говорите,—серьезно проговорилъ Бургардтъ, цѣлуя похолодѣвшую маленькую руку.—Это невозможно и обидно для васъ и для меня.

Бачульская молчала. Бургардту казалось, что она сердится, и онъ старался ее занимать, когда они возвращались на музыку. Когда они подходили къ вокзалу, начали падать первыя капли дождя, рѣдкія и крупныя. Взглянувъ на лицо своей спутницы, Бургардтъ удивился—она улыбалась такой счастливой и хорошей улыбкой.

— Милая... — прошепталъ Бургардтъ невольно, пожимая маленькую, теперь теплую руку, точно она оттаяла.

— Мы еще застанемъ кусочекъ музыки,—проговорила Бачульская, глядя на часы.—По воскресеньямъ, кажется, оркестръ играетъ до двѣнадцати часовъ.

— Послушайте, а какъ же вы отсюда домой попадете?—спохватился Бургардтъ.

— Я переночую въ городѣ у знакомои „комической старухи“.

— Ага... А до города провожаю васъ я.

— Благодарю...

Когда они вошли въ залу, лицо Бачульской приняло обычное безстрастное выраженіе, точно ее оставила охватившая ее на короткое время теплота. У нея сохранилось какое-то жуткое чувство по отношенію ко всякой толпѣ, какъ къ чему-то злому, подавляющему и несправедливому,—это чувство сложилось на театральныхъ подмосткахъ и было выстрадано личнымъ опытомъ. Бургардтъ же, наоборотъ, испытывалъ именно среди толпы бодрое настроеніе, точно она его подталкивала къ работѣ.

XXII.

Они были прижаты неудержимымъ потокомъ публики къ колоннѣ, и Бургардтъ напрасно отыскивалъ среди столиковъ въ ресторанномъ отдѣленіи залы Красавина съ его дамами.

— А мы поджидали васъ,—окликнулъ его сзади голосъ Васяткина.

Онъ шелъ подъ руку съ Шурой, у которой сегодня было такое злое лицо, что совсѣмъ ужъ не шло къ ней. Съ ней всѣ обращались, какъ съ дѣвочкой-подросткомъ, и къ ея настроенію относились съ покровительственной снисходительностью. Бачульская сразу поняла, въ чемъ дѣло: бѣдная Шура знала, что не попала на красавинскій кофе, и ревновала нѣмую англичанку.

— *Мы* сердимся...—шепнулъ Васяткинъ на ухо Бургардту и прибавилъ уже громко:—Красавинъ съ дамами въ отдѣльномъ кабинетѣ... да. А моя дама не хотѣла туда итти безъ васъ. У женщинъ свои фантазіи, и мы должны имъ покоряться.

— Что же, идемте...—предлагалъ Бургардтъ.—Шура, нехорошо капризничать. Будьте паинькой...

Оркестръ игралъ какую-то бравурную пьесу, но праздничная толпа была безжалостна и заглушала шумомъ шаговъ и говоромъ всѣ звуки. Васяткинъ, осторожно пробираясь со своей дамой между столиками, направился къ буфету, изъ котораго былъ ходъ въ отдѣльные кабинеты. Онъ былъ счастливъ, что ведетъ подъ руку такую красавицу, и что мужчины провожаютъ его завистливыми взглядами. Ему хотѣлось остановиться и показать всѣмъ, какая Шура красавица. Но въ одномъ мѣстѣ онъ поморщился, замѣтивъ одиноко сидѣвшаго за столикомъ Гаврюшу, который сдѣлалъ видъ, что не узнаётъ ихъ, и точно спряталъ свое лицо въ кружкѣ съ пивомъ. Шура боязливо прижалась къ своему кавалеру и прошептала:

— *Этотъ* человѣкъ убьетъ меня... Онъ самъ говорилъ...

Васяткинъ вынужденно засмѣялся и вызывающе выпрямился.

— Онъ, бѣдняжка, глупъ,—отвѣтилъ онъ.—А на глупыхъ людей не слѣдуетъ обращать вниманія...

— А я все-таки боюсь...—признавалась Шура.—Не все ли равно, кто убьетъ: глупый или умный.

Замѣтивъ Бургардта въ толпѣ, Гаврюша отвернулся лицомъ къ окну. О, какъ онъ ненавидѣлъ ихъ всѣхъ, этихъ счастливцевъ, которые выхватываютъ въ жизни все лучшее... Онъ давно слѣдилъ за Васяткинымъ и отлично зналъ, что всѣ идутъ сейчасъ въ кабинетъ къ Красавину. А онъ, жалкая ничтожность, долженъ былъ сидѣть въ полномъ одиночествѣ и душить съ горя пиво.

„Нѣтъ, погодите... — думалъ онъ, задыхаясь отъ бѣшенства: — я вамъ покажу Гаврюшу!..“

Бѣдный Гаврюша былъ пьянъ. Онъ съ нѣкотораго времени усвоилъ

себѣ привычку по вечерамъ напиваться гдѣ-нибудь въ портерной, гдѣ собирались ученики академіи художествъ, или, когда были въ карманѣ деньги, въ знаменитомъ „Золотомъ Якорѣ“, гдѣ въ свое время кутилъ и Бургардтъ. Въ состояніи опьяненія Гаврюша дѣлался придирчивымъ и частенько устраивалъ скандалы. Въ послѣднее время эта озлобленность въ немъ все возрастала, особенно когда онъ начиналъ думать о своей неудачной любви. И сейчасъ онъ сидѣлъ за своимъ столикомъ, какъ въ туманѣ. Ему такъ и хотѣлось броситься на Васяткина и разорвать его въ клочья, а когда проходилъ Бургардтъ съ Бачульской, Гаврюша готовъ былъ спрятаться, точно они могли видѣть его душевное настроеніе.

Ресторанная прислуга знала Васяткина, какъ красавинскаго прихвостня, и почтительно распахнула дверь кабинета, гдѣ сидѣлъ самъ. Красавинъ былъ радъ, когда появились гости,—онъ уже усталъ занимать своихъ дамъ. Васяткину было достаточно взглянуть на мецената, чтобы опредѣлить его настроеніе—меценатъ находился въ хорошемъ состояніи духа, хотя и смотрѣлъ усталыми глазами. Миссъ Мортонъ кусала губы и смотрѣла въ тарелку. Ольга Спиридоновна имѣла недовольный видъ и встрѣтила вошедшихъ довольно непривѣтливо.

— Гулять столько времени въ паркѣ съ мужчиной?!—негодовала она, когда Бачульская разсказала ей о своей прогулкѣ.—Послушайте, мадонна для некуряшихъ, вы забываете, что за обувь деньги плачены...

Обернувшись къ Бургардту и показывая глазами на Бачульскую, она шепнула:

— Ne reveillez pas le chat qui dort...!

Бургардтъ въ свою очередь отвѣтилъ тоже шопотомъ:

— Зачѣмъ вы отбиваете хлѣбъ у Саханова? Остроуміе—это его область, и нехорошо вытаскивать куски говядины изъ чужихъ щей...

Ольга Спиридоновна засмѣялась и, прищуривъ глаза, отвѣтила:

— Le roi est mort—и престолъ остается свободнымъ... Мнѣ жаль его, милашку.

Шура все время наблюдала миссъ Мортонъ ревнивыми глазами и сразу поняла все, о чемъ никто даже не догадывался, а всѣхъ меньше Бургардтъ. Тутъ было даже не соперничество, а переживаніе самой себя. О, какъ отлично сейчасъ понимала эта глупенькая Шура настроеніе нѣмой англичанки, потому что сама переживала его... Она встрѣтилась глазами съ Красавинымъ и улыбнулась уже не обычной своей дѣтской улыбкой. Онъ отвернулся и поморщился, какъ человѣкъ, которому подаютъ разогрѣтое кушанье, оставшееся отъ вчерашняго дня. Шуру злило и то, что Бургардтъ рѣшительно ничего не понималъ, и что она ему не могла объяснить всего, въ чемъ была увѣрена.

Начался обычный ужинъ, какой устраивается по отдѣльнымъ кабинетамъ. Красавина, конечно, отлично знали и здѣсь, какъ въ „Кружалѣ“, и русская прислуга выбивалась изо всѣхъ силъ, чтобы угодить ему. За всѣхъ хлопоталъ Васяткинъ, который зналъ погребъ и кухню Павловскаго вокзала, кажется, лучше самого хозяина. Онъ даже извинялся за нѣкоторыя не совсѣмъ удачныя блюда, какъ метръ-д'отель, и пришелъ въ ужасъ, когда Шура вмѣсто всякихъ тонкихъ блюдъ потребовала просто раковъ-борделезъ.

— Здѣсь ихъ отлично готовятъ...—наивно объясняла она.—Гораздо лучше, чѣмъ въ „Золотомъ Якорѣ“.

— Какая она милая!..—восхищалась Ольга Спиридоновна, сама любившая дома поѣсть чего-нибудь попроще, какъ тешка или углицкая колбаса.—Очень мило... И я тоже не прочь поѣсть раковъ соусъ борделезъ.

Собственно никто не хотѣлъ ѣсть и никто не зналъ, зачѣмъ всѣ собрались въ отдѣльномъ кабинетѣ. Красавинъ по обыкновенію молчалъ. Бургардтъ имѣлъ разсѣянный видъ, и выбивался изъ силъ одинъ Васяткинъ, но изъ этого ровно ничего не выходило. У всѣхъ невольно явилась мысль о Сахановѣ, который всегда являлся душой общества и сумѣлъ бы расшевелить всѣхъ. Разговоръ тянулся вяло. Говорили о скачкахъ, вспоминали чудную сѣрую кобылу „Баловень", которая проиграла только благодаря искусству красавинскаго жокея Чарльза, и т. д. Бургардтъ нѣсколько разъ пытался наблюдать миссъ Мортонъ, но она точно вся съеживалась, когда замѣчала его взглядъ. Вообще, она сегодня была какая-то странная, и наблюдавшая ее въ свою очередь Ольга Спиридоновна строго подбирала губы и поднимала брови, какъ тетерька.

— А вы когда думаете кончить свою „Марину"?—спрашивалъ Красавинъ, обращаясь къ Бургардту.

— Право, не знаю, Антипъ Ильичъ... Мнѣ въ послѣднее время какъ-то не работается.

— Да? Но вѣдь это всѣмъ художникамъ такъ кажется, Егоръ Захаровичъ. Мнѣ нравится барельефъ, и я съ удовольствіемъ поставилъ бы его у себя въ столовой, знаете, у той стѣны, гдѣ сейчасъ торчатъ эти дурацкіе рыцари...

Бургардту показалось, что Красавинъ говоритъ съ нимъ нѣсколько иначе, чѣмъ говорилъ раньше. Неужели онъ уже успѣлъ что-нибудь замѣтить? Конечно, онъ въ искусствѣ только дилетантъ, но у него есть извѣстное чутье, и плохую вещь онъ не купитъ даже по рекомендаціи. Потомъ Красавинъ почему-то сразу перевелъ разговоръ на Шипидина, который произвелъ на него импонирующее впечатлѣніе.

— Я такъ радъ, что познакомился съ нимъ,—повторилъ Красавинъ нѣсколько разъ.—Это рѣдкій экземпляръ... Сегодня цѣлый день думаю о немъ и все жалѣю, что не предложилъ ему давеча одну вещь... Именно, у меня въ окрестностяхъ Петербурга есть нѣсколько участковъ земли, и, если бы онъ пожелалъ взять любой изъ нихъ, я охотно уступилъ бы на какихъ угодно условіяхъ. Какъ вы думаете, согласился бы онъ на такую комбинацію?

— Право, не знаю, а впрочемъ—отчего и не согласиться. Если хотите, я могу написать...

— Пожалуйста...

Разговаривая съ Красавинымъ, Бургардтъ все время слѣдилъ за Бачульской, которая усиленно старалась что-то объяснить миссъ Мортонъ и на бумагѣ и знаками. Закончилось это объясненіе тѣмъ, что миссъ Мортонъ торопливо спрятала въ карманъ какую-то записку Бачульской, и Бургардтъ понялъ, что это былъ адресъ ея дачи въ Озеркахъ.

„Этакая упрямая женщина..." — сердился Бургардтъ, отвѣчая что-то Красавину совсѣмъ невпопадъ.

Васяткинъ занималъ Ольгу Спиридоновну и Шуру, которыя съ большимъ аппетитомъ ѣли своихъ раковъ.

— Шампанскаго я не хочу,—объясняла Ольга Спиридоновна, вытирая губы салфеткой.—А вы мнѣ, Алексѣй Иванычъ, закажите этого... вотъ все забываю названіе... ну, съ соломинкой?

— Шерри-коблеръ?

— Вотъ-вотъ... Смерть люблю.

Бѣдная Шура готова была расплакаться, потому что Красавинъ сегодня не обращалъ на нее никакого вниманія, а тутъ еще приставала Ольга Спиридоновна.

— Шерочка, что̀ вы сегодня такая кисленькая, точно осенняя муха?

— Нѣтъ, я ничего...

— Это все Алексѣй Иванычъ васъ изводитъ. О, я отлично знаю этого шематона...

— А что̀ такое значитъ: шематонъ?—спрашивала Шура.

— А я и сама не знаю, шерочка, что̀ оно значитъ. Просто, оно мнѣ нравится... Шематонъ—и все тутъ.

Улучивъ минутку, Шура спросила Васяткина:

— Вы меня проводите?

— О, съ величайшимъ удовольствіемъ...

— Я боюсь этого... который давеча сидѣлъ за столомъ... Онъ обѣщалъ убить меня.

Васяткинъ выпрямился, какъ давеча, и вызывающе засмѣялся. Желалъ бы онъ знать, кто посмѣетъ въ его присутствіи пошевелить ее пальцемъ...

Ѣли устрицъ, пили шампанское, кофе, ликеры. Въ сосѣднемъ кабинетѣ кутили гусары, и Ольга Спиридоновна, прислушиваясь къ веселому гулу, со вздохомъ говорила:

— Люблю гусаръ... Такъ и хочется пойти къ нимъ.

— Что̀ же, это можно устроить,—обидѣлся Васяткинъ.—Я давеча видѣлъ въ коридорѣ Перцева, и онъ спрашивалъ меня про васъ. Я могу его вызвать...

— Ну, батенька, устарѣла я немного кутить съ гусарами. Было и мое время, да прошло. А такъ, къ слову сказалось.

Чокаясь съ Бургардтомъ бокаломъ шампанскаго, Ольга Спиридоновна проговорила:

— За здоровье Саханова... Безъ него у насъ точно уксусная фабрика. Скажите ему, что я его очень люблю... издали.

— Отчего же вы сами этого не скажете ему?

— А все забывала, да и какъ-то, признаться, лѣнь было. Право, онъ милый человѣкъ, и безъ него скучно.

Всѣ были рады, что ужинъ кончился, и отправились на платформу за цѣлыхъ полчаса до послѣдняго поѣзда. Главный валъ праздничной публики уже отлилъ. Въ буфетѣ остались одни запоздавшіе гуляки, и въ числѣ ихъ Шура увидѣла Гаврюшу, который поднялся изъ-за своего столика и колеблющейся походкой шелъ къ нимъ навстрѣчу. Красавинъ шелъ впереди съ миссъ Мортонъ, а за ними Ольга Спиридоновна и Бачульская. Бургардтъ шелъ позади и невольно оглянулся, когда за нимъ раздался звукъ пощечины.

Къ нему бросилась смертельно-блѣдная Шура съ крикомъ:

— Онъ убилъ... убилъ...

Васяткинъ нагнулся, чтобы поднять сбитую съ головы шляпу, и, спрятавшись за спину Шуры, крикнулъ стоявшему въ дверяхъ Гаврюшѣ:

— Вы, милостивый государь, негодяй!!! Я... я... съ вами еще разсчитаюсь!!!

XXIII.

Бургардтъ въ первый моментъ былъ совершенно ошеломленъ этой дикой сценой, а потомъ бросился къ Гаврюшѣ, но его остановилъ Васяткинъ.

— Егоръ Захарычъ, ради Бога, оставьте это дѣло!.. Я ужъ устрою все самъ... да. Предоставьте мнѣ...

— Но вѣдь это... это...—повторялъ Бургардтъ, начиная горячиться все больше и больше.

Но его вò-время подхватили дамы и увлекли впередъ, увѣряя, что былъ уже второй звонокъ. Васяткинъ торопливо шагалъ за ними, оглядываясь назадъ, точно онъ боялся погони. Въ сущности, онъ былъ счастливъ, что такъ дешево отдѣлался, именно: Красавинъ ничего не видѣлъ и не слышалъ—это главное. И другіе тоже ничего не видѣли, за исключеніемъ Шуры, которая хотя и видѣла, но едва ли могла со страха сообразить все, чтò случилось, и, вѣроятно,—какъ думалъ Васяткинъ,—закрыла глаза, какъ курица, когда Гаврюша бросился на него съ поднятыми кулаками. Единственными свидѣтелями оставались два офиціанта, но вѣдь ихъ никто не будетъ разспрашивать о случившемся. Въ головѣ Васяткина сейчасъ же мелькнулъ и планъ, какъ нужно было дѣйствовать.

— Вамъ не больно?—спрашивалъ онъ Шуру.—Вѣдь этотъ сумасшедшій, дѣйствительно, могъ убить васъ, и если бы я вò-время не отвелъ его руку...

— Я рѣшительно ничего не помню, Алексѣй Иванычъ... Во всякомъ случаѣ, спасибо вамъ.

Она крѣпко пожала его руку, и Васяткинъ самъ повѣрилъ въ собственное геройство и въ то, что Гаврюша хотѣлъ убить бѣдную Шуру. Когда всѣ уже сидѣли въ вагонѣ, Васяткинъ разсказалъ всѣ обстоятельства дѣла именно въ этомъ освѣщеніи.

— Хорошо, что я вò-время подставилъ руку, и ударъ попалъ въ мою шляпу... да.

— А я отлично слышалъ звукъ пощечины...—наивно удивлялся Бургардтъ.—Ну, совершенно явственно...

— Это вамъ показалось, Егоръ Захарычъ,—увѣрялъ Васяткинъ, не сморгнувъ глазомъ.—Такая особенная акустика въ этой залѣ устроена, что стòитъ плюнуть на полъ, а слышится звукъ пощечины.

Ольга Спиридоновна и Бачульская отлично понимали тактику Васяткина и кусали губы, чтобы не расхохотаться.

— А мнѣ онъ, этотъ Гаврюша, очень понравился,—неожиданно для всѣхъ заявила Ольга Спиридоновна.—И потомъ мнѣ его жаль, бѣдняжку...

— Ольга Спиридоновна, чтò вы говорите?!—взмолился Бургардтъ, никакъ не могшій успокоиться.—Да я его на порогъ своей мастерской больше не пущу... Никогда! Чтò это такое? Какой-то дикарь, бѣшеное животное...

— Ничего вы не понимаете,—спокойно перебила его Ольга Спиридоновна.—Да, ничего... Если бы меня кто-нибудь такъ любилъ—вы видѣли, какое у него было давеча лицо?

— Какъ у всякаго пьянаго человѣка...

— Нѣтъ, ужъ извините-съ... Тутъ дѣло совсѣмъ не въ пьянствѣ. Ахъ, какъ я понимаю простыхъ русскихъ бабъ, которыя говорятъ, что если мужъ не бьетъ—значитъ не любитъ.

— Довольно, Ольга Спиридоновна,—уговаривалъ ее Бургардтъ.—Такъ можно договориться до того, что и вы желали бы быть такой бабой, которую колотятъ...

— И даже очень, Егоръ Захарычъ... Вѣдь *любя* колотятъ. Понимаете? Да я не знаю, чтò дала бы, если бы нашелся такой человѣкъ, который, дѣйствительно, по-настоящему могъ бы любить. Пожалуйста, господа, не смѣйтесь... Я говорю совершенно серьезно. Если хотите, такъ другихъ бабъ, французскихъ и англійскихъ, колотятъ еще почище... Я сама читала въ газетѣ, какъ одинъ англійскій лордъ лупилъ свою жену каминными щипцами. А у французовъ еще того проще. У меня много знакомыхъ француженокъ, достаточно наслушалась. Такъ ихъ за косы таскаютъ

— Тоже *любя*?—подчеркнулъ Бургардтъ.

— Нѣтъ, они не умѣютъ любить...—наивно отвѣтила Ольга Спиридоновна, что̀ заставило всѣхъ разсмѣяться.—Куда имъ!..

Инцидентъ былъ исчерпанъ, и всѣмъ сдѣлалось весело безъ всякой побудительной причины, особенно, когда Васяткинъ началъ увѣрять, что онъ одной рукой поднимаетъ восемь пудовъ и могъ убить Гаврюшу однимъ ударомъ.

— Охъ, не пугайте, Алексѣй Иванычъ, дѣло къ ночи!—повторяла Ольга Спиридоновна, задыхаясь отъ смѣха.—Хорошо, что вы не женаты, если не ошибаюсь...

Не могла развеселиться одна Шура, хотя и улыбалась вмѣстѣ съ другими. Она никакъ не могла оправиться и даже вздрагивала, припоминая ужасное лицо Гаврюши. Миссъ Мортонъ имѣла попрежнему разсѣянный видъ и отнеслась ко всему случившемуся довольно равнодушно. Бургардтъ могъ немного объясняться съ ней, отчасти знаками, а отчасти по нѣмецкому устному способу „чтенія по губамъ говорящаго". Миссъ Мортонъ умѣла уже „слышать глазами", какъ выражаются учебники, хотя ее и сбивали мудреныя согласныя русской азбуки и слишкомъ длинныя русскія слова.

На петербургскомъ вокзалѣ всѣ раздѣлились. Ольга Спиридоновна уѣхала съ миссъ Мортонъ, Васяткинъ съ Шурой, а Бургардтъ съ Бачульской. Дождь пересталъ, и небо прояснилось. Надъ Петербургомъ стояла тяжелая бѣлесоватая мгла.

— Какой хитрый этотъ Васяткинъ,—смѣялась Бачульская, когда они ѣхали на извозчикѣ.—Вѣдь Гаврюша его ударилъ прямо по лицу и совсѣмъ не думалъ бить Шуру...

— Въ чемъ же тутъ хитрость?..

— Васяткинъ больше всего испугался того, что объ этомъ можетъ узнать Красавинъ... Знаете, неудобно, хотя никто и не застрахованъ отъ подобныхъ случайностей.

— Да... Этотъ несчастный Гаврюша, дѣйствительно, сошелъ съ ума.

— Оставьте его въ покоѣ, какъ говорила Ольга Спиридоновна. Дѣло уладится само собой... Не безпокойтесь, Васяткинъ не останется въ долгу, особенно, когда Гаврюша выставитъ какую-нибудь работу. Они его съ Сахановымъ живьемъ съѣдятъ...

— Ну, это уже свинство...

Бургардтъ былъ скученъ, и Бачульская понимала, какія мысли его безпокоятъ. Онъ проводилъ ее до Офицерской и отправился торопливо домой. Ему такъ хотѣлось остаться одному, чтобы собраться съ мыслями и провѣрить угнетавшую его мысль. Было уже часа два, когда онъ подъѣзжалъ къ своей квартирѣ и очень удивился, что въ дѣтской еще огонь. Первой его мыслью было, что больна Анита, и онъ быстро вбѣжалъ на верхъ.

— Нѣтъ, ничего, барышня здоровы,—успокоила его горничная.

— Отчего же огонь въ дѣтской?

— А старая барышня больны... Нога у нихъ разболѣлась.

Анита еще не спала и встрѣтила отца въ гостиной. У дѣвочки былъ такой встревоженный видъ.

— Что̀ такое съ миссъ Гудъ?

— Мнѣ кажется, папа, что она запустила свою болѣзнь. Вѣдь ты знаешь, что врачей она не признаетъ и все время лѣчилась своей гомеопатіей. Потомъ она стѣснялась сказать, что у нея язва на ногѣ, а теперь нога распухла до колѣна...

Миссъ Гудъ разсердилась, когда Бургардтъ хотѣлъ войти въ дѣтскую.

— Пожалуйста, не входите!—упрашивала она.—Эта Анита все преувеличиваетъ...

— У васъ лихорадка...

— Нѣтъ, просто голова побаливаетъ... Анита сейчасъ ляжетъ спать, и я тушу огонь. Покойной ночи!

Бургардтъ зналъ упрямый характеръ своей гувернантки и безъ возраженій отправился къ себѣ въ кабинетъ.

— Вѣдь этакая упрямая женщина,—ворчалъ онъ, укладываясь спать на своемъ диванѣ.

Болѣзнь миссъ Гудъ серьезно встревожила его. Она жила у него лѣтъ восемь и никогда не бывала больна. Со своими болѣзнями старушка обходилась съ такой же строгостью, какъ со своими воспитанниками. Бургардтъ только теперь сообразилъ, съ какимъ эгоизмомъ относился къ ней. Кто она такая, эта миссъ Гудъ? Какъ она прожила свою одинокую жизнь? Онъ зналъ только то, что она пріѣхала въ Петербургъ совсѣмъ молоденькой дѣвушкой и переходила изъ дома въ домъ, воспитывая дѣтей, главнымъ образомъ дѣвочекъ. Періодически миссъ Гудъ получала изъ своей доброй старой Англіи какія-то письма, всегда аккуратно отвѣчала на нихъ и нѣсколько дней находилась въ грустномъ настроеніи. О своихъ родныхъ въ Англіи она говорила уклончиво, точно не желала посвящать Бургардта въ свои семейныя дѣла. Теперь онъ догадался, что она дѣлала это изъ простой щепетильности, не желая навязывать свои личныя дѣла. А въ то же время сама входила во всѣ подробности жизни Бургардта, радовалась его удачамъ и сочувствовала его непріятностямъ. Аниту она любила, какъ родную дочь—это была послѣдняя привязанность милой англичанки.

„А если миссъ Гудъ умретъ?“ — думалъ Бургардтъ, и эта мысль гнала отъ него сонъ.

Нѣтъ, это невозможно. Завтра же онъ пригласитъ врача, можно составить консиліумъ, и дѣло поправится. Придетъ же фантазія лѣчиться этой гомеопатіей...

Эти мысли о болѣзни миссъ Гудъ по аналогіи вызвали тяжелыя семейныя воспоминанія. Бургардтъ припоминалъ, какъ болѣзнь его жены тоже началась маленькимъ недомоганьемъ, на которое онъ не обратилъ даже вниманія. Она была такая молодая, свѣжая и цвѣтущая. Когда приглашенный врачъ, выслушавъ больную, опредѣлилъ начинавшееся воспаленіе легкихъ, Бургардтъ не особенно встревожился. Вѣдь такое воспаленіе опасно для стариковъ, а тутъ такая молодая и здоровая женщина.

— Мнѣ не нравится сердце,—объяснялъ докторъ.—Знаете, есть какая-то тревога въ его ударахъ. Опредѣленнаго сказать сейчасъ ничего нельзя...

Черезъ двѣ недѣли жены Бургардта не стало, и онъ въ теченіе цѣлаго года не могъ привыкнуть къ этой мысли. Почему? Зачѣмъ? Почему живутъ милліоны болѣзненныхъ женщинъ, живутъ при самой невозможной обстановкѣ, а тутъ умираетъ человѣкъ въ полномъ расцвѣтѣ силъ. Нѣсколько лѣтъ Бургардтъ горевалъ самымъ искреннимъ образомъ, пока время не взяло свое. Вѣдь это ужасное слово: время... Развѣ онъ могъ подумать, что будетъ увлекаться когда-нибудь другими женщинами? Правда, что увлеченій въ истинномъ значеніи этого слова и не было, но это не мѣшало ему вести довольно разсѣянную жизнь и размѣниваться на мелкую монету. Взять хотя сегодняшній день,—что̀ это такое? Бургардтъ припомнилъ миссъ Мортонъ, и ему сдѣлалось немного стыдно. Правда, она произвела на него

очень сильное впечатлѣніе, но это было совсѣмъ не то, о чемъ онъ мечталъ, когда оставался одинъ.

— Это признакъ дрянной и мелкой натуры,—казнилъ себя Бургардтъ, лежа съ раскрытыми глазами.—Развѣ Данте забылъ свою Беатриче или Петрарка свою Лауру? Такъ любятъ настоящіе большіе люди, а наша любовь—только похотливость маленькаго дрянного звѣрька.

Ему припомнились бабьи глупости, которыя давеча говорила Ольга Спиридоновна.

„А вѣдь она права...—мелькнуло въ головѣ Бургардта, когда онъ припомнилъ всю сцену.—Гаврюша, дѣйствительно, *любитъ*, потому что не растратилъ еще своей души по мелочамъ“.

Ему такъ живо представился Васяткинъ, который сначала кричалъ изъ-за спины Шуры: „негодяй“, а потомъ началъ отпираться отъ полученной пощечины.

— Можетъ-быть, Гаврюша былъ и правъ...

Съ этой мыслью Бургардтъ и заснулъ.

XXIV.

Утромъ на другой день Бургардта разбудилъ человѣкъ Андрей и заявилъ съ особенной суровостью:

— Барышня ждетъ въ гостиной...

— Какая барышня?

— Анна Егоровна...

Анита ждала отца въ гостиной съ заплаканными глазами.

— Миссъ Гудъ бредитъ, папа... Мнѣ страшно.

Старушка лежала, дѣйствительно, въ бреду. Бургардтъ даже испугался, когда увидѣлъ ея багровое лицо и мутные глаза. Она уже больше не стѣснялась, что въ ея комнату входитъ мужчина, когда она въ постели.

— Я умираю...—тихо проговорила она, пожимая руку Бургардта своей горячей рукой.—Ради Бога, ничего не говорите Анитѣ и не посылайте за докторомъ.

— Миссъ Гудъ, Богъ съ вами, что̀ вы говорите...

— У меня къ вамъ единственная просьба...—продолжала старушка, съ трудомъ открывая отяжелѣвшія вѣки:—да, одна... Увезите меня куда-нибудь въ больницу... Это тяжело, когда въ домѣ покойникъ, и Анита будетъ напрасно волноваться... Я не хочу быть никому въ тягость...

Съ трудомъ переведя духъ, она прибавила:

— Знаете, кошки никогда не умираютъ дома...

Бургардту стоило большого труда уговорить ее относительно доктора. Миссъ Гудъ не вѣрила въ аллопатію и согласилась только подъ условіемъ, именно—пригласить какого-то старичка-нѣмца Гаузера. Вѣдь всѣ остальные доктора немножко шарлатаны, а у Гаузера она когда-то лѣчилась, и онъ проявлялъ несомнѣнные признаки порядочности.

— Онъ такой джентльменъ,—резюмировала она свои мысли.—А въ медицинѣ это главное...

Разыскать въ Петербургѣ стараго медицинскаго джентльмена было не легко, начиная съ того, что Гаузеровъ оказалось нѣсколько, и кончая тѣмъ, что настоящій Гаузеръ уже давно бросилъ практику и жилъ на покоѣ у Пяти Угловъ. Старикъ занималъ свою квартиру больше сорока лѣтъ и устроилъ въ ней маленькую Германію. Когда Бургардтъ вошелъ въ эту тѣсную докторскую квартиру, на него пахнуло именно этой Германіей. Вездѣ

стояли бюсты Вильгельма, Бисмарка и Мольтке, пахло настоящимъ кнастеромъ, и во всей квартирѣ, кажется, не было русской пылинки. Вышелъ Гаузеръ въ нѣмецкой ермолкѣ, съ нѣмецкой трубкой въ зубахъ и въ нѣмецкомъ халатѣ. Это былъ чистенькій, сухой старичокъ съ бритымъ лицомъ и живыми, сѣрыми глазами. Когда Бургардтъ объяснилъ ему цѣль своего визита, Гаузеръ пожевалъ губами, строго осмотрѣлъ его съ головы до ногъ и проговорилъ довольно сухо:

— Меня удивляетъ, что вы, милостивый государь, обратились именно ко мнѣ... Именно, я хочу сказать, что на Васильевскомъ островѣ есть достаточно врачей, а мое есть правило—не отбивать практику у моихъ уважаемыхъ коллегъ.

Бургардту пришлось объяснять, почему онъ обратился именно къ нему, и лицо Гаузера приняло уже грозное выраженіе.

— Гомеопатія?—проговорилъ онъ, поднимая брови.

— Да...

— Значитъ, она лѣчилась у врача-гомеопата?

Бургардтъ чуть не поклялся, что миссъ Гудъ лѣчилась сама, по какому-то таинственному руководству, и старикъ успокоился. Дорогой онъ объяснилъ, что давно бросилъ практику, хотя и продолжаетъ заниматься медициной теоретически.

— А что вы думаете о бактеріяхъ?—неожиданно спросилъ онъ, когда уже подъѣзжали къ квартирѣ Бургардта.

— Какъ вамъ сказать...—соображалъ Бургардтъ, боясь отвѣтить невпопадъ.—Я думаю, что, какъ всякая новинка, ученіе о бактеріяхъ зашло дальше, чѣмъ слѣдуетъ.

— Вотъ именно,—согласился старикъ, успокоившись.

Если бы Бургардтъ отвѣтилъ иначе, упрямый нѣмецъ, вѣроятно, уѣхалъ бы домой. Вообще, это былъ оригинальный человѣкъ, и онъ понравился Бургардту своей цѣльностью. Очевидно, онъ давно пережилъ самого себя и ревниво оберегалъ тѣ взгляды и понятія, въ которыхъ выросъ.

Осмотръ больной продолжался недолго. Бургардтъ съ волненіемъ ждалъ появленія доктора въ гостиной. Когда тотъ вошелъ, онъ по его лицу замѣтилъ, что дѣло слишкомъ серьезно.

— Придется отнять ногу,—спокойно проговорилъ старикъ, протирая очки.—Это было безуміе запустить такъ рану... Вотъ вамъ плоды этой дурацкой гомеопатіи.

— Неужели нѣтъ другого исхода?

— Никакого... Пригласите консультантовъ. Начинается общее зараженіе крови...

— Вы ей сказали все?

— Да... Это женщина съ твердымъ характеромъ. Она отказалась наотрѣзъ отъ операціи... Поговорите съ ней сами, а я васъ подожду.

Переговоры Бургардта не привели ни къ чему. Миссъ Гудъ была спокойна и на всѣ его доводы твердила одно:

— Я не желаю быть калѣкой... да. У меня органическое отвращеніе ко всякому уродству. Анита не будетъ меня уважать, когда у меня одна нога будетъ деревянная... Вѣдь дѣти безжалостны къ уродамъ, а я не хочу быть смѣшной въ ея глазахъ.

Какъ Бургардтъ ни уговаривалъ ее, какъ ни убѣждалъ и ни молилъ, миссъ Гудъ оставалась непреклонной. Его охватила страстная жалость къ этой героической старой дѣвушкѣ, и онъ упрашивалъ ее со слезами согласиться на операцію.

— Я цѣню ваше участіе,—отвѣчала миссъ Гудъ.—Но позвольте мнѣ остаться при моемъ мнѣніи. Это мое право... да... Я всю жизнь провела при своемъ мнѣніи.

Анита, очевидно, подслушивала у дверей и ворвалась въ комнату съ горькими слезами. Она цѣловала руки миссъ Гудъ, умоляла, опустившись на колѣни, и это откровенное дѣтское горе довело Бургардта до настоящихъ слезъ.

— Ахъ, какъ я васъ всѣхъ люблю...—шептала миссъ Гудъ, утомленная сдѣланнымъ усиліемъ.—Но всему есть свой предѣлъ... Господу угодно призвать меня въ лучшій міръ, и я покоряюсь Его волѣ. Анита, ты дашь мнѣ слово читать одну главу изъ Библіи каждое воскресенье, какъ мы дѣлали до сихъ поръ, и когда сдѣлаешься большой, то поймешь, что миссъ Гудъ не могла поступить иначе...

Старый джентльменъ Гаузеръ страшно разсердился, когда Бургардтъ вышелъ въ гостиную съ заплаканными глазами и только развелъ руками.

— Это сумасшедшая женщина! — выкрикивалъ старикъ, бѣгая по комнатѣ маленькими старческими шажками. — Я сейчасъ пойду къ ней и поговорю... Да, я поговорю. Это безуміе... это... это...

— Нѣтъ, ради Бога, не ходите, — уговаривалъ его Бургардтъ. — Ей необходимо успокоиться... Она взволнована.

Докторъ обиженно замолчалъ, простился довольно сухо, не взялъ денегъ за визитъ и, одѣваясь въ передней, проговорилъ:

— Эта женщина меня возмущаетъ... да... Это... это... я не знаю, какъ это назвать!

Миссъ Гудъ очень страдала, но оставалась спокойной. Полосы тяжелаго забытья смѣнялись свѣтлыми минутами сознанія, и въ одну изъ такихъ минутъ она послала Аниту за отцомъ. Это было вечеромъ. Бургардтъ и Анита обѣдали одни, и имъ казалось страннымъ, что стулъ, на которомъ миссъ Гудъ сидѣла восемь лѣтъ, остается пустымъ. За день Бургардтъ страшно измучился, и ему было тяжело итти въ дѣтскую. Анита вошла вмѣстѣ съ отцомъ, но миссъ Гудъ замѣтила ей съ обычной строгостью:

— Анита, ты выйдешь... Дѣтямъ не слѣдуетъ слышать все, что̀ говорятъ между собой большіе.

Анита выбѣжала со слезами, и Бургардта поразила эта жестокость больной.

— Это такъ нужно...—отвѣтила ему она на его нѣмой вопросъ.—Я ее очень люблю, и въ свое время она узна̀етъ всѐ...

Съ трудомъ переведя духъ, миссъ Гудъ продолжала:

— Да, я ухожу изъ здѣшняго міра... И мнѣ хотѣлось вамъ сказать, Егоръ Захаровичъ... Вы знаете, что я никогда не вмѣшивалась въ ваши личныя дѣла, но сейчасъ мой долгъ велитъ мнѣ сказать... Я много думала... Я понимаю, что художники не могутъ жить, какъ живутъ обыкновенные люди... Имъ нужны впечатлѣнія... Я не осуждаю и не желаю осуждать... Но я всегда боялась, что въ вашъ домъ можетъ войти недостаточно корректная женщина... Какъ мужчина—вы еще молоды, и можетъ случиться все... да... Но я боюсь за Аниту... Она вступаетъ въ свой критическій возрастъ, когда нужна твердая рука... Пожалѣйте и поберегите ее... Возьмите себя въ руки... Я знаю, что вы по душѣ хорошій и очень добрый человѣкъ, но у васъ, къ несчастію, мягкій русскій характеръ... Послѣднее меня убиваетъ...

— Миссъ Гудъ, повѣрьте, что для Аниты будетъ сдѣлано все, что̀ я въ силахъ сдѣлать... Кажется, вы меня не можете упрекнуть въ чемъ-нибудь...

— Къ несчастію, у нея такой же добрый характеръ, какъ и у васъ. Я отлично сознаю, что̀ говорю.

Миссъ Гудъ нѣсколько времени лежала съ закрытыми глазами, охваченная истомой. Потомъ она поднялась, оперлась локтемъ на подушку и заговорила:

— Я позаботилась объ Анитѣ... Къ вамъ пріѣдетъ изъ Лондона моя племянница, тоже миссъ Гудъ... Жаль, что она немного молода... Но это пройдетъ. Она займетъ мое мѣсто. Она такая же дѣвушка, какъ и я, т.-е. по-англійски это называется spinster, а по-русски—третій полъ. Насъ много такихъ дѣвушекъ въ Англіи... Молодые люди уѣзжаютъ въ колоніи, а мы остаемся. Половина дѣвушекъ остается безъ мужей и расходится по всему свѣту искать работы... У меня былъ женихъ, и я ждала его десять лѣтъ, а онъ умеръ въ Индіи отъ желтой лихорадки... Другія англійскія дѣвушки тоже ждутъ долгіе-долгіе годы своихъ жениховъ... Ваши русскія дѣвушки этого не знаютъ... О, имъ хорошо, и Анитѣ будетъ хорошо. Вы художникъ, а не подозрѣваете, что ваша Анита—красавица... я знаю, что вы считаете ее дурнушкой, но вы ошибаетесь...

Миссъ Гудъ хотѣла сказать еще что-то, но слабо махнула рукой. Ее оставляли послѣднія силы.

Когда Бургардтъ вышелъ въ гостиную, его удивило, что тамъ сидѣлъ докторъ Гаузеръ и читалъ свою нѣмецкую газату. Онъ даже захватилъ съ собою ермолку и трубку.

— Что̀ наша упрямая женщина?—спросилъ онъ съ особенной, виноватой кротостью въ голосѣ.—О, я много думалъ о ней...

Когда Бургардтъ объяснилъ все, докторъ Гаузеръ поднялъ палецъ вверхъ и проговорилъ:

— Я теперь понимаю упрямую женщину... да. Она имѣетъ свое полное право... да.

Въ виду рѣшительнаго отказа миссъ Гудъ сдѣлать операцію или созвать консиліумъ, старый медицинскій джентльменъ рѣшилъ, что онъ со своей стороны не имѣетъ права оставлять больную, и поэтому пріѣхалъ съ тѣмъ, чтобы провести всю ночь около нея.

— Она сейчасъ бодрится, а потомъ будетъ слабость,—объяснилъ онъ Бургардту.—Да, большая слабость... Я это хорошо знаю, потому что много лѣчилъ въ свое время.

Бургардтъ и Гаузеръ просидѣли въ гостиной цѣлую ночь. Положеніе больной быстро ухудшалось. Полосы забытья увеличивались. Являлся тяжелый изнуряющій бредъ. Докторъ и Гаузеръ дежурили у постели больной поочередно, а когда она забывалась—сидѣли въ гостиной и разговаривали вполголоса.

— Что̀ такое жизнь?—спрашивалъ старикъ.—Что̀ такое смерть? Съ точки зрѣнія философской, какъ говоритъ Шопенгауэръ, это явленія безразличныя... да. Что̀ такое наше горе или радость? То же самое... Мы совершенно напрасно боимся смерти, потому что это только наша точка зрѣнія, что смерть почему-то ужасна.

Въ гостиной стоялъ полусвѣтъ, нѣмецкая трубка Гаузера хрипѣла, слышно было, какъ въ столовой тикали часы. Бургардту нравилось, какъ говорилъ старый нѣмецъ, и ему казалось, что онъ такой славный, и что онъ давно его знаетъ, и что у нихъ есть общія мысли.

XXV.

Миссъ Гудъ умерла, какъ и жила, съ большимъ достоинствомъ. Старикъ Гаузеръ провелъ у ея постели безвыходно двое сутокъ, стараясь облегчить послѣднія минуты больной. Бургардтъ чередовался съ нимъ въ дежурствѣ и тоже почти не спалъ. Все происходившее производило на него глубокое впечатлѣніе, какимъ-то страннымъ образомъ совпадая съ собственнымъ угнетеннымъ настроеніемъ. Миссъ Гудъ уходила изъ этого міра неразрѣшимой загадкой, какъ непризнанная женщина новаго вѣка, которому нужны паръ, электричество, разныя чудеса техники и послѣднія слова науки, а человѣкъ не нуженъ. Нужна, вообще, машина, а человѣкъ подешевѣлъ, какъ сравнительно неудачный по силѣ конкурентъ. И подешевѣла главнымъ образомъ женщина. Вѣдь на Востокѣ нѣтъ разрастающагося въ гигантской прогрессіи института третьяго пола, какъ нѣтъ и жертвъ общественнаго темперамента. Восточная женщина еще сохранила свою большую цѣну, и ее нужно заработать, а культурная англійская женщина является результатомъ перепроизводства. Вѣдь это ужасное явленіе, когда дѣвушка должна уходить отъ родного очага въ далекую неизвѣстную страну и вести свою трудовую жизнь среди чужихъ людей, чужой обстановки и чужихъ интересовъ. Вѣдь это тоже смерть, смерть цѣлаго народа... На эту тему Бургардтъ и Гаузеръ проговорили двѣ ночи.

— Исторія повторяется,—думалъ вслухъ старикъ.—Мы присутствуемъ при роковомъ поворотѣ и не замѣчаемъ его. Развѣ греки или римляне замѣчали свое паденіе? У насъ останутся машины, рѣдкія изобрѣтенія и послѣднія слова науки, а человѣкъ уйдетъ, выродится. Получатся dégénérés supérieurs...

— Что̀ же дѣлать, докторъ?

Старикъ Гаузеръ краснорѣчиво разводилъ руками и закрывалъ глаза.

— Тутъ ничего нельзя подѣлать, потому что весь общественный организмъ зараженъ и болѣзнь приняла скрытую форму. Мы ищемъ только отдѣльныхъ виновниковъ, а это есть большая ошибка и непослѣдовательность. Я уже давно все это замѣтилъ, говорилъ объ этомъ и писалъ, но надо мной только много смѣялись. „Старый Гаузеръ хочетъ быть оригинальнымъ“... „Старый Гаузеръ сошелъ съ ума“. Хе-хе-хе! А развѣ я виноватъ, что понимаю больше другихъ? Вотъ и сейчасъ я опять правъ, и мнѣ жаль миссъ Гудъ, которая была большая женщина.

Оказалось, что докторъ тоже былъ „третьимъ поломъ“ и провелъ жизнь холостякомъ. А между тѣмъ его завѣтной мечтой было имѣть семью и маленькихъ Гаузеровъ. Но что̀ дѣлать — когда былъ молодъ, приходилось много работать, чтобы „обставить себя“, а когда вся обстановка получилась— докторъ Гаузеръ состарился.

— Конечно, я могъ жениться и въ этомъ возрастѣ,—точно оправдывался старикъ,—но я уже потерялъ аппетитъ къ семейной жизни, а затѣмъ принципіально долженъ былъ воздержаться, потому что дѣти отъ отцовъ такого возраста бываютъ склонны къ самоубійству... Да, у каждаго жизнь складывается по-своему, и старый Гаузеръ остался одинокимъ.

Анита вытащила старый альбомъ миссъ Гудъ, гдѣ хранилась ея фотографія, когда она была молодой. Докторъ долго и съ особеннымъ вниманіемъ разсматривалъ ее, а когда Анита ушла, проговорилъ со вздохомъ:

— Представьте себѣ... да... если память мнѣ не измѣняетъ... Нѣтъ, именно это та самая дѣвушка, которую я лѣчилъ и.... и... гм... если я не ошибаюсь, я былъ ей увлеченъ... да, да... Вотъ встрѣча!

Потомъ на старика напало сомнѣніе, дѣйствительно ли это была та

самая дѣвушка, въ которую онъ былъ влюбленъ. Вѣдь это было такъ давно... Когда миссъ Гудъ была положена на столъ, докторъ Гаузеръ вошелъ въ комнату посмотрѣть на нее—и отшатнулся. Да, это была она. Въ этомъ не могло быть никакого сомнѣнія. Послѣ смерти нѣкоторое время, особенно у женщинъ, лицо точно молодѣетъ.

- Боже мой, это она...—шепталъ старикъ въ ужасѣ, хватаясь за голову.—И я ея не узналъ... Пора старому Гаузеру умирать.

Бѣдная Анита еще въ первый разъ видѣла покойника и точно вся застыла. Мать она плохо помнила. Ей все казалось, что это неправда, что вотъ-вотъ миссъ Гудъ поднимется и сдѣлаетъ всѣмъ строгій выговоръ. Отецъ былъ особенно внимателенъ къ ней и, видимо, слѣдилъ за ея настроеніемъ. При постороннихъ Анита старалась не плакать, а убѣгала въ дѣтскую, гдѣ всякая мелочь напоминала ей миссъ Гудъ. Дѣвочка плакала не столько о самой миссъ Гудъ, сколько о томъ, что постоянно ее огорчала своимъ поведеніемъ. Теперь ей казалось, что даже неодушевленные предметы являются для нея нѣмымъ упрекомъ — любимое кресло, на которомъ всегда сидѣла миссъ Гудъ, ея рабочій столикъ, полочка съ любимыми англійскими авторами, ея чайная чашка, вывезенная еще изъ Англіи. Да, эти вещи еще жили, напоминая всѣ привычки своей хозяйки.

Сейчасъ послѣ смерти миссъ Гудъ хозяйство поступило въ полное распоряженіе человѣка Андрея, который, какъ оказалось, рѣшительно все зналъ и все умѣлъ предусмотрѣть. Онъ же заказывалъ и трауръ Анитѣ, и гробъ для покойницы, и всѣ подробности похоронъ. Человѣкъ Андрей рѣшилъ, между прочимъ, капитальный вопросъ о томъ, по какому обряду хоронить „старую барышню“. Конечно, по православному, потому какъ миссъ Гудъ очень одобряла русскія похороны, а на послѣдней недѣлѣ поста ходила въ русскую церковь. Однимъ словомъ, все нужно было устроить честь-честью, потому что покойница, хотя и была строгонька, а ужъ, сдѣлайте милость, человѣкъ правильный! Дай Богъ всякому такъ-то прожить.

— Ахъ, дѣлай, какъ знаешь! — говорилъ Бургардтъ, когда человѣкъ Андрей приставалъ къ нему съ разными пустяками.—Не все ли равно, какъ и что̀ устроимъ...

— Нѣтъ, ужъ вы извините, баринъ. Все чтобы въ полномъ аккуратѣ... Не такой былъ человѣкъ, чтобы безпорядокъ.

— Хорошо, хорошо. Если что̀ нужно—спрашивай Аниту. Она теперь осталась хозяйкой въ домѣ...

— Ужъ это извѣстно...

Покойница была поставлена въ гостиной, и Бургардтъ очень удивился, когда увидѣлъ около гроба Гаврюшу, читавшаго псалтырь. Послѣ исторіи въ Павловскѣ Бургардтъ его не видалъ и даже забылъ обо всемъ. Гаврюша читалъ ровно и спокойно, крестился широкимъ настоящимъ крестомъ и походилъ на молодого послушника. Бургардту показалось, что даже въ самой фигурѣ Гаврюши есть какое-то скрытое духовное смиреніе.

Всѣ эти дни Гаврюша гдѣ-то прятался, и Бургардтъ совершенно забылъ о немъ. Сейчасъ выплыла наружу вся павловская глупая исторія, но Бургардтъ смотрѣлъ на своего ученика совершенно другими глазами. Конечно, онъ былъ виноватъ, это вѣрно, но, съ другой стороны, его и обвинять нельзя. У молодости есть свои права. Сейчасъ читающій псалтырь Гаврюша для Бургардта являлся живой совѣстью: да, это онъ, Бургардтъ, виноватъ, что поставилъ молодого человѣка въ глупое положеніе. И голыя мраморныя женщины имѣютъ свою жизнь, а Гаврюша былъ живой человѣкъ. Бургардту

съ особенной отчетливостью рисовалась его собственная жизнь, полная такихъ вопіющихъ противорѣчій и несообразностей. Бѣдный юноша, какъ созрѣвшее зерно, попалъ между вертящимися жерновами. Мысль о своей оконченности, заглохшая на время, опять поднялась въ душѣ Бургардта, хотя онъ и смотрѣлъ сейчасъ на нее уже съ другой точки зрѣнія. Да, это было другое и не менѣе тяжелое. Смерть миссъ Гудъ являлась какой-то роковой поправкой, дававшей новое теченіе мыслямъ Бургардта. Онъ припомнилъ свои споры съ Шипидинымъ и мысленно согласился съ нимъ. Искусство было такъ далеко отъ дѣйствительности, выбирая только кричащіе моменты, рельефныя положенія и вызывающія позы. Вѣдь вся жизнь—трагедія. Даже вотъ Гаврюша, который сейчасъ читаетъ псалтырь—тоже трагедія. И все трагедія, трагедія мелочей, недосказанныхъ подробностей, подавленныхъ страданій и непроявившихся чувствъ. Гдѣ отвѣтъ? Куда итти? Для чего жить и работать?

Вслушиваясь въ чтеніе Гаврюши, Бургардтъ невольно началъ вникать въ смыслъ великой книги. Отдѣльныя фразы и выраженія такъ рельефно отвѣчали его собственному настроенію. Боже мой, вѣдь это болитъ его собственная душа, болитъ и мучится такими хорошими покаянными словами... А тутъ еще безмолвствующая миссъ Гудъ, которая точно слушала эти слова скорби и душевнаго умиленія.

Въ одинъ изъ перерывовъ Гаврюша подошелъ къ Бургардту и проговорилъ:

— Вы на меня сердитесь, Егоръ Захаровичъ?

— Лично вы меня не обидѣли, Гаврюша, да сейчасъ и не мѣсто и не время говорить о нѣкоторыхъ вещахъ,—отвѣтилъ Бургардтъ, удивляясь собственной сухости.

Очевидно, Гаврюша ожидалъ какой-нибудь вспышки и былъ доволенъ, что отдѣлался такъ дешево, хотя ему и было бы легче, если бы Бургардтъ вспылилъ и „отчиталъ“ его. Потомъ вся настоящая обстановка располагала къ покаянному настроенію.

Въ жизни трагедіи и комедіи идутъ рука объ руку, какъ мракъ и свѣтъ. Пріѣхалъ старикъ Гаузеръ, хотя ему, какъ врачу, рѣшительно нечего было дѣлать у покойника. Онъ и явился такимъ смущеннымъ, почти виноватымъ и даже совралъ, что заѣхалъ по пути, ссылаясь на какую-то консультацію. Бургардтъ былъ радъ его видѣть и расцѣловалъ милаго добраго джентльмена, что̀ вышло ужъ совсѣмъ не корректно.

— Да, да, я понимаю... — бормоталъ смущенно Гаузеръ, поправляя очки.—Я не виноватъ, что другіе не понимаютъ.

Старикъ держалъ себя своимъ человѣкомъ въ домѣ, принималъ живое участіе во всѣхъ хлопотахъ, старался развлечь Аниту и даже бѣгалъ въ переднюю отворять дверь, когда человѣка Андрея не было дома. Разъ, именно въ одну изъ такихъ критическихъ минутъ, Гаузеръ выбѣжалъ на рѣзкій звонокъ въ переднюю, разсердившись по дорогѣ на негодяя, который такъ громко звонитъ, когда въ домѣ покойница, и, отворивъ дверь, встрѣтился лицомъ къ лицу съ Сахановымъ. Они смѣряли другъ друга вызывающими взглядами, и Гаузеру показалось, что дерзкій гость принимаетъ его за новаго лакея. На послѣднемъ основаніи онъ, когда Сахановъ хотѣлъ снять верхнее пальто, спросилъ его довольно рѣзко:

— Вамъ что̀ угодно, милостивый государь?

— Мнѣ?—пробормоталъ растерявшійся немного Сахановъ. — А вы кто такой будете?

— Я—докторъ Гаузеръ... А вы?

— Я—другъ дома, а по профессіи — критикъ, публицистъ и чуть-чуть ученый. Моя фамилія: Сахановъ...

— О, это совсѣмъ другое дѣло,—заговорилъ старикъ, протягивая руку,— хотя и друзья дома не должны такъ громко звонить, когда въ домѣ покойникъ...

— Я не буду больше, domine...

Слово „покойникъ“ заставило Саханова отступить. Онъ страшно боялся покойниковъ и всякихъ похоронъ, и если бы зналъ, то, конечно, не пришелъ бы. Но сейчасъ отступать было поздно, особенно, когда докторъ объяснилъ, что умерла миссъ Гудъ, и что Бургардтъ сейчасъ вернется. Если бы отворилъ дверь человѣкъ Андрей, а тутъ чортъ подсунулъ нѣмца, да еще дернуло отрекомендоваться другомъ дома.

— Удивляюсь, какъ это Васяткинъ прозѣвалъ, — ворчалъ Сахановъ, раздѣваясь. — Вы не знаете Васяткина? Тоже другъ дома и спеціалистъ по похоронной части... Очень милый мужчина вообще и въ частности.

Когда Бургардтъ, ѣздившій въ редакцію одной газеты напечатать извѣщеніе о смерти миссъ Гудъ, вернулся домой, онъ нашелъ у себя въ кабинетѣ Гаузера и Саханова, бесѣдовавшихъ самымъ мирнымъ образомъ, причемъ Сахановъ называлъ доктора domine и старикашкой, а докторъ хлопалъ его по колѣнкѣ и говорилъ:

— А вы мнѣ нравитесь, чортъ возьми, хотя рвать звонки и не полагается воспитанному человѣку...

— Я еще могу исправиться, domine...

Развеселившійся докторъ подмигнулъ и спросилъ:

— А признайтесь, г. публицистъ и критикъ, вы меня приняли за офиціанта?

— О, это тайна, которая умретъ вмѣстѣ со мной, domine..

XXVI.

Васяткинъ явился только въ самый день похоронъ, по газетному извѣщенію, и крайне былъ возмущенъ, что узналъ такую новость послѣднимъ.

— Ну что стоило вамъ, Егоръ Захаровичъ, извѣстить меня? — накинулся онъ на Бургардта.

— Я думалъ, что вы на дачѣ,—оправдывался Бургардтъ.

— И не думалъ... Знаете, это можетъ показаться смѣшнымъ, но я считаю своимъ долгомъ хоронить всѣхъ своихъ знакомыхъ.

— Очень пріятно быть твоимъ знакомымъ, — шутилъ Сахановъ. — Того гляди, ты и насъ похоронишь...

Васяткинъ имѣлъ привычку періодически объѣзжать всѣхъ своихъ знакомыхъ и не былъ почти цѣлую недѣлю у Бургардта только потому, что не желалъ встрѣчаться съ Гаврюшей. А сейчасъ, какъ на грѣхъ, именно такой встрѣчи и нельзя было избѣгнуть. Впрочемъ, Гаврюша первый подошелъ къ нему съ извиненіями и былъ очень сконфуженъ. Васяткинъ взялъ его за бортъ пиджака и заявилъ со своей обычной развязностью:

— Развѣ *вы* могли меня оскорбить чѣмъ-нибудь? Вѣдь это не оскорбленіе, если меня на улицѣ укуситъ собака или лягнетъ лошадь... Наконецъ долженъ сказать, что въ крайнемъ случаѣ я одной рукой поднимаю восемь пудовъ, и ваше счастье, что въ тотъ моментъ я былъ съ дамой.

Васяткинъ былъ страшный трусъ и совершенно безсильный физически человѣкъ, почему, вѣроятно, и любилъ хвастаться миѳическими восемью пудами.

Всего больше досталось отъ Васяткина человѣку Андрею, потому что все оказалось не такъ, какъ слѣдовало быть. И гробъ не такой, и цвѣтовъ мало, и покровъ скверный, и положена покойница не по-настоящему—однимъ словомъ, вездѣ и все неладно. Взбѣшенный человѣкъ Андрей заявилъ своему барину, что онъ до сихъ поръ служилъ вѣрой и правдой, а теперь долженъ бросить службу.

— Помилуйте, баринъ, этакую мораль напустили г. Васяткинъ, точно я все на-смѣхъ дѣлалъ... Они вотъ пожаловали къ самому выносу и свой характеръ показываютъ.

— Хорошо, хорошо, мы поговоримъ потомъ, — успокаивалъ его Бургардтъ.—Теперь не до того...

Еще хуже пришлось человѣку Андрею, когда по газетному извѣщенію явились дамы въ полномъ составѣ. Онѣ сдѣлали такую ревизію каждой мелочи, что человѣкъ Андрей бросилъ шапку ѐземь и убѣжалъ въ портерную.

Бургардтъ былъ тронутъ вниманіемъ дамъ, и особенно ему понравилось, когда заявился Бахтеревъ. У него и видъ былъ совсѣмъ похоронный, какъ у благороднаго отца изъ какой-нибудь мелодрамы. Ольга Спиридоновна притащила съ собой миссъ Мортонъ, которая плакала отъ чистаго сердца. Женщины окружили покойницу, какъ рабочія пчелы. Анита тоже сдѣлалась предметомъ общаго вниманія. Ее нарядили въ плерезы, сдѣлали траурную шляпку и вообще устроили все прилично случаю. Въ траурѣ Анита казалась уже совсѣмъ большой

Докторъ Гаузеръ былъ необыкновенно любезенъ съ дамами и сдѣлался общимъ любимцемъ. Въ концѣ концовъ оказалось, что всѣ дамы больны, и кромѣ того докторъ нашелъ у нихъ еще цѣлый рядъ новыхъ болѣзней.

— О, я люблю женщинъ, — признавался старикъ Бургардту. — Знаете, это въ моемъ возрастѣ, можетъ-быть, даже смѣшно и нелѣпо, но что̀ подѣлаешь съ натурой... По-моему, въ сорокъ лѣтъ мужчина только еще начинаетъ жить, а женщина живетъ въ сорокъ лѣтъ только по привычкѣ.

Особенное вниманіе докторъ оказалъ Шурѣ и нашелъ, что она, исключая нѣкоторой наклонности къ полнотѣ, настоящая нѣмецкая Гретхенъ.

— Вы обратили вниманіе, какъ она сидитъ? — объяснялъ онъ Бургардту.—О, это много значитъ...

Похороны прошли, какъ всѣ похороны. Было что-то неестественное въ выраженіи лицъ, въ манерѣ говорить, въ каждомъ движеніи. Лучше всѣхъ былъ, конечно, Бахтеревъ, изображавшій удрученное душевное настроеніе съ неподражаемой простотой. Оказалось, что всѣ очень любили миссъ Гудъ, и каждый старался припомнить какой-нибудь случай изъ своей жизни, связанный съ ея именемъ. Бургардту казалось, что всѣхъ искреннѣе и проще была миссъ Мортонъ. Она и плакала настоящими слезами. Когда миссъ Гудъ была жива, она умѣла оставаться какъ-то совсѣмъ незамѣтной, а теперь всѣ точно выплачивали какой-то долгъ. Очень жаль, что многіе покойники лишены возможности видѣть собственныя похороны, чтобы убѣдиться въ невысказанныхъ почему-нибудь добрыхъ чувствахъ окружающихъ людей

Анита поступила въ полное распоряженіе Гаузера, и старикъ не отходилъ отъ нея съ самой трогательной заботливостью. Онъ слѣдилъ за ней, какъ за своей паціенткой, и старался отвлечь вниманіе отъ настоящаго. Бургардту все больше и больше нравился этотъ оригинальный старикъ. Въ немъ было что-то такое непосредственное и простое, что̀ дѣлало его своимъ. И тутъ же рядомъ продолжались самыя обыденныя мысли, все то, что̀ напол-

нистъ нашъ день. Когда шли за гробомъ на Выборгскую сторону, гдѣ католическое кладбище, Сахановъ держалъ Бургардта за руку и говорилъ:

— А вѣдь я къ вамъ заѣхалъ, Егоръ Захарычъ, по очень важному дѣлу... да. Я люблю работать лѣтомъ и написалъ на этой недѣлѣ цѣлую статью по искусству. Угадайте, о чемъ?

— Ну, это трудно угадать...

— Вы правы... Статья называется такъ: „Меценатъ въ искусствѣ“.

— Это о Красавинѣ?

— Нѣтъ, вообще... Я штудирую этого мецената съ древнѣйшихъ временъ, поскольку сохранились историческія данныя. Вы не подумайте, что тутъ какія-нибудь личности. Нѣтъ, я пишу фактами и доказываю... да, доказываю, что меценатство—это своего рода проказа въ искусствѣ.

— Не слишкомъ ли сильно сказано?

— Нѣтъ, въ самую мѣру... Все факты, батенька, а это краснорѣчивѣе всякихъ жалкихъ словъ. Меценатство вноситъ развратъ въ искусство, и я вполнѣ согласенъ съ тѣми мыслями, которыя были высказаны вашимъ другомъ Шипидинымъ. Помните, тогда на вечерѣ у васъ, когда Красавинъ бѣжалъ?.. Да, только вы, пожалуйста, не подумайте, что я хочу написать что-нибудь непріятное именно Красавину. Боже, сохрани... Литература должна оставаться чистой отъ всякихъ личныхъ счетовъ — это мой принципъ. Мнѣ, вообще, хотѣлось бы прочитать эту статью именно вамъ... Вы можете оцѣнить ее безпристрастно и сказать свое вѣское слово.

— Хорошо. Съ удовольствіемъ послушаю... Только не сегодня и не завтра, а какъ-нибудь потомъ.

Съ похоронъ Бургардтъ возвращался домой съ Анитой. Дѣвочка была серьезна, и ему сдѣлалось ее жаль. Обнявъ ее, Бургардтъ ласково проговорилъ:

— О чемъ ты думаешь?

Анита отвѣтила не вдругъ.

— Это несправедливо, папа... т.-е. несправедлива вся жизнь. Почему миссъ Гудъ должна лежать въ землѣ, а другіе будутъ жить? Вѣдь это ужасно... Я много думала всѣ эти дни и ужасно жалѣла, что нѣтъ Григорія Максимыча.

— Развѣ другіе тебѣ не нравятся?

— Какъ тебѣ сказать... Мнѣ казалось все время, что они притворяются. Вѣдь имъ рѣшительно все равно, есть миссъ Гудъ или ея нѣтъ... Даже эти проводы до кладбища и участіе къ покойницѣ—это дѣлалось только для тебя. Я это понимаю...

— Какъ тебѣ сказать... да... Съ одной стороны, ты, можетъ-быть, и права, но вѣдь трудно судить другихъ только по своему личному впечатлѣнію. Всегда можно ошибиться... Я думаю, что многіе пришли по искреннему желанію отдать послѣдній долгъ покойницѣ, какъ Бахтеревъ или Шура.

Вернувшись домой, Бургардтъ съ болѣзненной яркостью почувствовалъ ту пустоту, которую оставляетъ послѣ себя дорогой покойникъ. Да, миссъ Гудъ не было... И она умерла именно въ тотъ моментъ, когда особенно была нужна для формировавшейся Аниты. Старушка точно унесла съ собой изъ дома послѣднее тепло...

Бургардту было и обидно и больно думать на эту тему. Изъ друзей никто не догадался проводить его домой. Это было немного жестоко, но вѣдь всякому до себя. Анита съ самымъ серьезнымъ видомъ принялась подворять нарушенный вездѣ порядокъ, точно исполняла послѣднія инструкціи миссъ

Гудъ. И тутъ же сейчасъ начались домашнія дрязги и спеціально-хозяйственныя недоразумѣнія. Горничная поссорилась съ кухаркой, человѣкъ Андрей явился пьянымъ и т. д. Не стало того махового колеса, которое приводило въ правильное движеніе весь хозяйственный механизмъ. Гаврюша заперся въ мастерской и съ какимъ-то ожесточеніемъ работалъ надъ своей копіей. Бургардту казалось, что онъ не испытывалъ настоящаго раскаянія и къ нему лично относился нехорошо.

Кончилось тѣмъ, что Бургардтъ тоже заперся въ своемъ кабинетѣ и лежалъ на своемъ диванѣ съ открытыми глазами.

— Если бы былъ здѣсь Григорій Максимычъ... — повторялъ онъ мысленно слова Аниты.

Да, онъ не растерялся бы и зналъ бы, что̀ нужно дѣлать. Бургардтъ отлично видѣлъ сейчасъ спокойное и сосредоточенное лицо своего друга дѣтства, точно оно являлось для него живымъ упрекомъ.

По ассоціаціи идей у Бургардта опять всплыла преслѣдовавшая его мысль о конченности, но сейчасъ она показалась ему такой ничтожной и жалкой. Неужели онъ могъ такъ думать? Предъ нимъ вставало что-то такое огромное и роковое, которое заслоняло всѣ остальныя мысли. Вѣдь нашла же миссъ Гудъ силы уйти изъ этого міра съ такимъ самообладаніемъ и достоинствомъ...

XXVII.

Послѣ смерти миссъ Гудъ въ квартирѣ Бургардта воцарилась самая мучительная пустота. Всѣ въ домѣ, въ каждой мелочи домашняго обихода, чувствовали, что чего-то недостаетъ, какъ въ часахъ, гдѣ сломалась пружина, приводившая въ движеніе весь часовой механизмъ. Человѣку Андрею въ свое время доставалось отъ старой миссъ Гудъ немало и онъ отъ души ее ненавидѣлъ, но сейчасъ при каждомъ удобномъ случаѣ говорилъ:

— Ужъ что̀ тутъ говорить: какая жисть безъ нашей старой барышни. Другой такой-то и не нажить... Какъ за каменной стѣной всѣ жили. Она только для видимости строгость на себя напущала, потому какъ въ дому долженъ быть порядокъ, а сама была добрая... Черезъ число даже добрая.

Бургардтъ въ первое время послѣ похоронъ думалъ куда-нибудь уѣхать, чтобы немного разсѣяться и развлечь скучавшую Аниту. Но этотъ планъ оказался пока неосуществимымъ, потому что приходилось ждать миссъ Гудъ померъ второй. Положимъ, Анита уже большая дѣвочка, но путешествовать вдвоемъ было какъ-то неудобно. Не вездѣ можно найти номеръ въ двѣ комнаты, а оставить въ номерѣ дѣвочку одну было неловко. Вообще, выступилъ цѣлый рядъ совершенно новыхъ заботъ, о существованіи которыхъ при миссъ Гудъ онъ и не подозрѣвалъ. На первый планъ выступилъ, напримѣръ, вопросъ спеціально о женскомъ обществѣ для Аниты, и Бургардту пришлось забраковать всѣхъ своихъ знакомыхъ дамъ. При миссъ Гудъ Анита могла съ ними встрѣчаться время отъ времени, а безъ нея получалась совершенно другая картина. Вѣдь всякое общество накладываетъ на своихъ членовъ извѣстную печать, и Бургардтъ меньше всего желалъ, чтобы его дочь походила на Ольгу Спиридоновну, на Шуру или на миссъ Мортонъ. Послѣднее женское имя особенно его огорчало. Вѣдь онъ почти любилъ эту дѣвушку-загадку, вѣрилъ въ нее, самъ возрождался въ ея нетронутой молодости, и все-таки его коробило при одной мысли, что Анита будетъ проводить свое время въ обществѣ миссъ Мортонъ. Единственнымъ исключеніемъ являлась Марина

Игнатьевна, на которую можно было вполнѣ положиться, но именно въ этомъ пунктѣ Анита проявила самое отчаянное сопротивленіе. Оказалось,—чего Бургардтъ совершенно не замѣчалъ раньше, — что Анита ненавидитъ Марину Игнатьевну и не хотѣла ничего слышать. Сначала Бургардтъ серьезно этимъ возмущался и пробовалъ переубѣдить Аниту, но это ни къ чему не повело, или, вѣрнѣе, привело какъ разъ къ обратнымъ результатамъ. Анита окончательно не желала видѣть Марины Игнатьевны и даже запиралась у себя въ комнатѣ, когда та пріѣзжала. Марина Игнатьевна женскимъ чутьемъ поняла, въ чемъ дѣло.

— Это, мой другъ, наша женская ревность,—говорила она съ какой-то больной улыбкой.—Бѣдняжка сильно меня подозрѣваетъ и совершенно напрасно. Да... Она стережетъ свое гнѣздо, какъ настоящая, хотя и маленькая женщина.

Изъ знакомыхъ рѣдко кто заглядывалъ теперь къ Бургардту. Точно всѣ сговорились, и Бургардту начинало казаться, что это не спроста. Вѣдь всѣ крысы уходятъ съ корабля, который далъ течь... Оставался неизмѣннымъ одинъ старикъ Гаузеръ, который бывалъ чуть не каждый день и иногда оставался ночевать. Онъ какъ-то особенно близко сошелся съ Анитой и проводилъ съ ней цѣлые часы.

— Онъ, кажется, все на свѣтѣ знаетъ, — удивлялась Анита.—И такой, папа, интересный...

Когда Аниты не было дома, Гаузеръ уходилъ въ столовую, вынималъ карты и по цѣлымъ часамъ раскладывалъ какой-то необыкновенный старинный пасьянсъ: „Веселый монахъ“. Старикъ вмѣшивался во всѣ дѣла Аниты, даже по хозяйству, и ходилъ въ кухню присмотрѣть, такъ ли готовятъ обѣдъ, какъ было заказано. Ему же принадлежала честь примиренія горничной и кухарки, которыя чуть не бросили мѣсто, чтобы насолить одна другой. Но всего интереснѣе Гаузеръ относился къ человѣку Андрею, котораго возненавидѣлъ съ перваго момента своего появленія въ квартирѣ Бургардта. Человѣкъ Андрей платилъ ему той же монетой и ворчалъ про себя:

— Вотъ чортушка навязался... Уморилъ старую барышню, а потомъ и насъ всѣхъ переморитъ.

— Ты что̀ это тамъ ворчишь? — строго замѣчалъ ему докторъ, сдвигая брови.—Ты не забывай, мой милый, что если бы не другой докторъ Гаузеръ, который устроилъ противъ меня самую гнусную интригу, то я давно былъ бы дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, а теперь просто статскій совѣтникъ Гаузеръ... Понимаешь? Но мой врагъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Гаузеръ, который не хотѣлъ, чтобы были два дѣйствительныхъ статскихъ совѣтника Гаузера,—получилъ уже давно смерть, а я еще живъ и полагаю, что живой статскій совѣтникъ Гаузеръ все-таки лучше мертваго дѣйствительнаго статскаго совѣтника Гаузера. Понимаешь?

— Очень превосходно понимаю, ваше превосходительство...

— И я тебя насквозь вижу и все понимаю,—неожиданно прибавлялъ Гаузеръ и даже грозилъ пальцемъ лѣнивому и лукавому рабу.—Ты меня никогда не можешь обманывать...

Человѣкъ Андрей отводилъ душу въ кухнѣ, гдѣ читалъ что-то въ родѣ лекціи о генералахъ кухаркѣ и горничной.

— Тоже генералъ выискался, подумаешь!.. „Я“, „я“—а самъ просто нѣмецкая кочерыжка. Такими генералами заборъ подпирай... Вотъ былъ настоящій генералъ Шипидинъ. Вся повадка генеральская. И разорился по-генеральски, потому что больше всего уважалъ клубнику.

Бургардтъ отъ души полюбилъ стараго доктора, съ которымъ отводилъ душу въ безконечныхъ спорахъ. Какъ истинный нѣмецъ, Гаузеръ любилъ искусство, хотя признавалъ его существованіе только въ предѣлахъ Германіи. Исключеніе дѣлалось только для нѣкоторыхъ старыхъ итальянскихъ мастеровъ и антиковъ. Къ русскому искусству, какъ и къ русской наукѣ, старикъ относился презрительно и только пожималъ плечами.

— Русское искусство?!..—возмущался онъ.—Великое искусство—продуктъ долгой и послѣдовательной культуры, а гдѣ ваша русская культура? Все, что̀ сдѣлано въ Россіи за послѣдніе два вѣка, сдѣлано исключительно нѣмцами. Даже вашъ знаменитый царь Петръ сдѣланъ Петромъ нѣмцами... Это смѣшно говорить: искусство, да еще *русское*... Развѣ можетъ быть національное искусство въ совершенно дикой странѣ? Такъ называемые русскіе художники только донашиваютъ уже отжившія формы и школы европейскаго искусства, какъ донашивали прежде фижмы, парики и шпицрутены.

Докторъ Гаузеръ былъ твердъ въ своихъ положеніяхъ, и для него все было ясно. Докторская голова походила на аптеку, гдѣ въ самомъ строгомъ порядкѣ по коробкамъ, ящичкамъ, ящикамъ, банкамъ и склянкамъ были размѣщены всевозможныя средства. На каждый вопросъ отвѣтъ уже былъ заготовленъ впередъ, стоило только протянуть руку. Развѣ это не ясно: das Schöne — прекрасное, das Hässliche—безобразное, das Komische—комическое, das Erhabene — возвышенное. Вся суть въ das Schöne, которое является тожествомъ идеи и о̀браза, переходя три стадіи—das Schöne въ натурѣ, das Schöne въ фантазіи и das Schöne въ о̀бразѣ (das Bild). Развѣ можно тутъ о чемъ-нибудь спорить или сомнѣваться? Всѣ эти термины въ нѣмецкой головѣ доктора Гаузера напоминали тѣхъ высохшихъ бабочекъ и жуковъ, которые сохраняются приколотыми на булавкахъ въ витринахъ какого-нибудь музея цѣлыми столѣтіями, пока ихъ не съѣстъ какая-нибудь благодѣтельница моль. Лукаво подмигивая, докторъ говорилъ Бургардту:

— О, старые умные нѣмцы все понимали, и докторъ Гаузеръ тоже все понимаетъ... Развѣ нынче есть искусство? Я читаю иногда русскія газеты для курьеза и что̀ вижу: въ живописи—импрессіонисты, въ поэзіи—декаденты, въ наукѣ — марксисты, а въ философіи... да, даже въ философіи! — Шопенгауэръ, Гартманъ, Ницше. Скоро старый Гаузеръ не будетъ ничего понимать.

— Видите ли, дорогой докторъ, всѣ эти новыя теченія въ искусствѣ, литературѣ и наукѣ доказываютъ только то, что и мы живемъ одной жизнью съ Западомъ и даже болѣемъ его послѣдними, самыми модными болѣзнями...

— Да, да. Это ваша русская басня о Тришкиномъ кафтанѣ.

Докторъ любилъ сидѣть въ мастерской и наблюдать, какъ работаетъ Бургардтъ, который время отъ времени пробовалъ что-нибудь закончить изъ начатыхъ работъ. Особенно его мучилъ бюстъ Ольги Спиридоновны, являвшійся какимъ-то живымъ упрекомъ его художественной конченности. Ему иногда казалось, что онъ какъ будто нападалъ на счастливую разгадку, и лихорадочно принимался за работу, но возбужденіе быстро падало, и Бургардтъ погружался въ свои унылыя мысли. Гаузеръ высиживалъ въ мастерской цѣлые часы и по старческой болтливости задавалъ цѣлый рядъ вопросовъ, касавшихся главнымъ образомъ художественной техники. Но среди этихъ вопросовъ попадались такіе, которые невольно смущали Бургардта, точно докторъ задавалъ ему осторожный докторскій экзаменъ, запутывая основную мысль разными пустяками.

„Неужели онъ догадывается?—въ ужасѣ думалъ Бургардтъ, чувствуя,

какъ начинаетъ весь холодѣть.—Старикъ наблюдательный и не можетъ не видѣть...“

Разъ, въ минуту такого возбужденнаго состоянія, Бургардтъ неожиданно для самого себя въ упоръ спросилъ:

— Послушайте, докторъ, говоря между нами, вы вѣдь не считаете меня художникомъ?

— Я?!..—обиженно удивился старикъ и, пожевавъ губами, отвѣтилъ уже съ улыбкой:—Какъ я смотрю на васъ? О, это меня самого начинаетъ весьма интересовать... да. Вотъ вы считаете себя русскимъ художникомъ, а между тѣмъ... хе-хе!..

— Вы хотите сказать, что я нѣмецъ? Вы ошибаетесь, милый докторъ... У меня отъ всего нѣмецкаго осталась одна фамилія

— И все-таки... О, я весьма васъ понимаю, я все понимаю. Вы имѣете свое самолюбіе, и я тоже имѣю свое самолюбіе, и каждый имѣетъ свое самолюбіе. Вы ѣли русскій хлѣбъ и поэтому считаете себя русскимъ. О, я весьма понимаю... Но нѣмецкая кровь сказывается. Повѣрьте мнѣ, какъ старому врачу и вашему другу. Только одни нѣмцы могутъ быть истинными художниками, и вы никого не обманете.

Это оригинальное объясненіе успокоило Бургардта, хотя онъ и не совсѣмъ довѣрялъ хитрому „старикашкѣ“, какъ называла доктора Анита. Въ свою очередь Бургардтъ время отъ времени наводилъ разговоръ на тему о глухонѣмыхъ. Гаузеръ, какъ оказалось, былъ въ курсѣ и сообщилъ много интереснаго и новаго, чего Бургардтъ не зналъ.

— У нихъ умственное развитіе пріостанавливается на извѣстной стадіи,—объяснялъ докторъ.—И получается въ сущности необъяснимая странность, на которую наука еще не обратила достаточнаго вниманія. Именно, слѣпые гораздо развитѣе глухонѣмыхъ, хотя должно было быть какъ разъ наоборотъ. Въ самомъ дѣлѣ, наша внутренняя жизнь складывается изъ внѣшнихъ впечатлѣній, а главнымъ проводникомъ этихъ впечатлѣній служитъ нашъ глазъ. И Христосъ сказалъ: свѣтильникъ тѣлу есть око. Да... А между тѣмъ слѣпые стоятъ выше по умственному и нравственному развитію. Невольно припоминаются забытыя слова Аристотеля, что въ отношеніи всѣхъ чувствъ человѣкъ остается позади многихъ животныхъ, но осязаніе у него острѣе, чѣмъ у другихъ, поэтому онъ и умнѣйшее изъ животныхъ.

— Но вѣдь глухіе могутъ читать, а слѣпые лишены этого?

— Вотъ здѣсь-то и штука... Da ist der Hund begraben. Наука довольствуется только фактомъ, что у глухонѣмыхъ существуетъ преобладаніе животныхъ инстинктовъ.

XXVIII.

Докторъ Гаузеръ пріѣхалъ къ завтраку, но завтракъ еще не былъ готовъ. Анита проспала, а прислуга безъ барышни ничего рѣшительнаго не предпринимала. Бургардтъ работалъ у себя въ мастерской и былъ не въ духѣ, что̀ докторъ замѣтилъ сразу. Докторъ посидѣлъ въ мастерской, а потомъ незамѣтно ушелъ въ столовую, гдѣ и принялся за свой любимый пасьянсъ. Сегодня выдался какой-то день неудачъ, и даже „Веселый монахъ“ не желалъ выходить. Докторъ Гаузеръ только хотѣлъ разсердиться, какъ въ столовую вошелъ человѣкъ Андрей и заявилъ, что его спрашиваетъ какая-то барышня.

— Меня?!..—разсердился старикъ.—Кто меня можетъ спрашивать здѣсь?

— Не могу знать, ваше превосходительство...

Доктору Гаузеру показалось, что человѣкъ Андрей хочетъ надъ нимъ подшутить, и, поднявъ брови, строго проговорилъ:

— Пригласи ее въ гостиную...

— Слушаю-съ, ваше превосходительство.

Когда докторъ вышелъ въ гостиную, сдѣлавъ строгое и недовольное лицо, онъ попятился. Въ дверяхъ стояла *она*, да, та самая миссъ Гудъ, въ которую онъ былъ влюбленъ тридцать лѣтъ тому назадъ. Это явленіе до того его ошеломило, что старикъ, не сказавъ ни одного слова съ призракомъ, бросился къ Анитѣ.

— Тамъ... она...—бормоталъ онъ растерянно, чувствуя, какъ у него идутъ мурашки по спинѣ.—Боже мой, что это такое? Идите скорѣе, Анита... *Она* тамъ.

Анита сразу узнала въ гостьѣ племянницу миссъ Гудъ, которую ожидала съ особеннымъ нетерпѣніемъ. Англичанка тоже была рада, главнымъ образомъ, тому, что могла наконецъ говорить на своемъ родномъ языкѣ. Это была темноволосая дѣвушка съ типичнымъ строгимъ лицомъ, красивая, но уже вступившая въ свой критическій возрастъ. Одѣта она была въ сѣрый дорожный костюмъ, причемъ изъ-подъ короткой юбки выставлялись некрасивыя и плоскія англійскія ноги. Анита побѣжала къ отцу и, задыхаясь отъ смѣха, разсказала, какъ перепугался старикашка-докторъ. Дѣвочка никакъ не могла понять, въ чемъ дѣло, и Бургардту пришлось объяснять.

— Онъ зналъ миссъ Гудъ еще молодой, и, вѣроятно, покойная миссъ Гудъ страшно походила на свою племянницу.

— Ахъ, какъ я рада, папа! Вылитая миссъ Гудъ...

Человѣкъ Андрей посмотрѣлъ на гостью со своей точки зрѣнія, именно по части дорожныхъ вещей. Немного привезла съ собой новая барышня, какъ онъ окрестилъ гостью,—всего-то одинъ дорожный сундучишко, подушечка въ плэдѣ—и вся тутъ.

— Церемонія небольшая,—соображалъ старикъ, водворяя вещи новой барышни въ комнатѣ Аниты.—Только, видно, и всего, что на себѣ... Голенькая пріѣхала, какъ облупленное яичко.

Горничная вполнѣ раздѣляла это мнѣніе и впередъ возненавидѣла новую барышню, которая, хоть и голая пріѣхала, а небось сейчасъ же примется заводить свои порядки.

Бургардту очень понравилась новая миссъ Гудъ, типичная spinster, какой въ свое время была и покойная миссъ Гудъ. Онъ сказалъ съ ней нѣсколько англійскихъ фразъ, а дальнѣйшій разговоръ шелъ уже при помощи Аниты. Миссъ Гудъ изъ писемъ своей тетки знала, что Бургардтъ—знаменитый русскій художникъ, и отнеслась къ нему съ тѣмъ особеннымъ почтеніемъ, которое русской публикѣ неизвѣстно. Она смотрѣла на него такими покорными глазами, какъ на какое-то высшее существо. Затѣмъ, она знала, что это чрезвычайно добрый человѣкъ и настоящій джентльменъ, хотя и съ присущими всѣмъ русскимъ джентльменамъ недостатками. Къ доктору Гаузеру она отнеслась довольно равнодушно, такъ какъ онъ не былъ ей извѣстенъ по письмамъ.

Завтракъ прошелъ очень оживленно. Даже вышелъ дичившійся въ послѣднее время Гаврюша. Новая миссъ Гудъ только покосилась на его пиджакъ со слѣдами скульптурной глины. Растерявшійся въ первый моментъ докторъ теперь точно старался выкупить свое малодушіе и былъ особенно

милъ. Онъ когда-то немного говорилъ по-англійски и теперь пресмѣшно коверкалъ англійскія слова. Бургардту было немного странно видѣть за столомъ на мѣстѣ бывшей миссъ Гудъ новую миссъ Гудъ, и онъ невольно подумалъ французской фразой: le roi est mort—vive le roi!.. Анита такъ и впилась въ свою новую руководительницу и даже обнюхивала ее, какъ дѣлаютъ комнатныя собачонки, когда входитъ незнакомый имъ человѣкъ. Ей очень понравилась новая гувернантка, къ которой она отнеслась, какъ къ подругѣ, а не какъ къ начальству.

— Знаете, все это мнѣ даетъ на нервы,—нѣсколько разъ повторялъ Гаузеръ, обращаясь къ Бургардту.—Удивительно странный случай... Ну, какъ живая!..

— Да, удивительно,—соглашался Бургардтъ.—Совсѣмъ живая!..

Анита слышала этотъ разговоръ и старалась не расхохотаться. Она поняла, что старикашка Гаузеръ былъ влюбленъ въ миссъ Гудъ, только теперь и смотрѣла на отца улыбающимися счастливыми глазами.

А Бургардтъ былъ такъ далекъ отъ всего происходившаго. Работая давеча въ своей мастерской, онъ сдѣлалъ взволновавшее его открытіе, именно, что Гаврюша его ненавидитъ и ненавидитъ спеціально-профессіональной ненавистью. Раньше онъ смотрѣлъ на него только какъ на ученика, а теперь ему приходилось съ нимъ считаться. Бургардтъ боялся сказать самому себѣ послѣднее слово, именно, что Гаврюша оказался пустышкой въ художественномъ смыслѣ. Изъ талантливаго мальчика рѣшительно ничего не вышло, кромѣ плохого копіиста. Въ послѣднемъ онъ винитъ одного себя, какъ неспособнаго учителя, не могшаго и не умѣвшаго вдохнуть душу живу. Несмотря на всю старательность, у Гаврюши ничего не выходило, кромѣ разраставшагося болѣзненнаго самолюбія и какой-то жажды отыскивать въ другихъ одни недостатки. Въ послѣднемъ отношеніи онъ сдѣлалъ большіе успѣхи и слушалъ Саханова, какъ оракула. У Гаврюши были уже свои собственныя мысли, и Бургардтъ чувствовалъ, что онъ и къ нему начинаетъ относиться критически, что̀ ему въ его теперешнемъ настроеніи было особенно больно.

Сидя за завтракомъ, Бургардтъ припоминалъ нѣкоторые вопросы, которые ему дѣлалъ Гаврюша сегодня въ мастерской, и ему казалось, что всѣ эти вопросы имѣли одинъ наводящій смыслъ—Гаврюша догадывался раньше другихъ о его конченности. Да, именно такъ... Потомъ Бургардтъ припоминалъ являвшееся у него жуткое ощущеніе, какое испытывается нервными людьми, когда ихъ упорно наблюдаютъ. И раньше Гаврюша слѣдилъ за его работой, но то было совсѣмъ другое.

„Я, кажется, дѣлаюсь подозрительнымъ",—думалъ Бургардтъ, наблюдая, какъ Гаврюша ѣстъ свой бифштексъ.

Онъ старался не думать о Гаврюшѣ, но всѣ его мысли сводились именно къ нему. Да, за что можетъ этотъ мальчикъ ненавидѣть его? Вѣдь онъ ничего дурного не сдѣлалъ ему, а напротивъ—старался, какъ умѣлъ, вывести его на настоящую трудовую дорогу.

Докторъ Гаузеръ, напротивъ, былъ въ самомъ лучшемъ настроеніи и даже прочелъ какіе-то нѣмецкіе стихи, вѣроятно, очень сентиментальные. Миссъ Гудъ осталась въ самомъ трогательномъ невѣдѣніи относительно ихъ содержанія, какъ Анита ни старалась перевести эти стихи по-англійски. Дѣвочка едва дождалась конца завтрака, чтобы завладѣть окончательно новой гувернанткой, и сейчасъ же утащила ее въ свою комнату. Докторъ и Бургардтъ остались въ столовой вдвоемъ.

— Славная дѣвушка...—говорилъ докторъ, раскуривая свою трубку.

— Сейчасъ трудно сказать что-нибудь опредѣленное, докторъ,—почему-то возражалъ ему Бургардтъ.

— Нѣтъ, славная... Она не можетъ не быть славной. О, я все понимаю... Если бы была такая сила, которая дала бы возможность снять съ плечъ лѣтъ тридцать... да... О, тогда Гаузеръ былъ бы совсѣмъ молодой и поступилъ бы совсѣмъ по-молодому!..

— Что же, вы хотите меня лишить гувернантки? Это не благородно, чтобы не сказать больше...

— Нѣтъ, не то... Мнѣ давеча было весьма жаль самого себя, потому что я могъ бы устроить весьма иначе.

— Это ничего не значитъ, докторъ. Гёте, кажется, женился семидесяти лѣтъ...

— Да, то былъ Гёте... Онъ совмѣщалъ въ себѣ весь міръ. Да, великій Гёте...

Миссъ Гудъ точно унесла съ собой хорошее настроеніе доктора, и онъ сдѣлался опять грустнымъ. Бургардту отъ души было жаль хорошаго старика.

— А какъ я давеча испугался...—разсказывалъ докторъ.—Выхожу, а *она* стоитъ въ дверяхъ. Да, та *она*, которую я зналъ тридцать лѣтъ тому назадъ.

Извините нескромный вопросъ: у васъ тогда было что-нибудь серьезное?

— О, нѣтъ... Миссъ Гудъ была не такая дѣвушка. Но мы смотрѣли другъ на друга, много смотрѣли, и я чувствовалъ себя совсѣмъ бѣднымъ молодымъ человѣкомъ, который не имѣлъ права такъ долго смотрѣть на красивую молодую дѣвушку...

XXIX.

Бургардту страстно хотѣлось уѣхать изъ Петербурга съ Анитой куда-нибудь подальше, но, когда пріѣхала новая миссъ Гудъ, это желаніе какъ-то отпало. Началось съ того, что миссъ Гудъ должна была отдохнуть послѣ дороги, потомъ Анита непремѣнно захотѣла показать ей острова, Петергофъ, Стрѣльну, Павловскъ. Миссъ Гудъ пришла въ восторгъ главнымъ образомъ отъ Невы, такой холодной, быстрой и глубокой.

— Это просто какая-то сказочная рѣка,—удивлялась она.—Я не ожидала ничего подобнаго... И вообще Петербургъ—удивительный городъ. Я не могу понять, зачѣмъ лѣтомъ уѣзжать изъ него на дачи.

Только разъ впечатлѣніе отъ Петербурга было для миссъ Гудъ омрачено. Она съ Анитой ѣздила на Елагинъ, чтобы посмотрѣть со Стрѣлки на закатъ солнца, и здѣсь встрѣтила Шуру и миссъ Мортонъ, которыя ѣхали въ одной коляскѣ. Анита имѣла неосторожность раскланяться съ ними и потомъ должна была объяснить миссъ Гудъ, что это за дамы. Она еще не успѣла докончить свою характеристику, какъ уже поняла непоправимую ошибку. Лицо миссъ Гудъ точно окаменѣло, и она не отвѣтила Анитѣ ни однимъ звукомъ.

— Вѣдь папа—художникъ, и у него бываютъ всѣ,—старалась выпутаться Анита.—Шура была его натурщицей „для всего“... Есть натурщицы только для головы или для рукъ, потомъ натурщицы въ костюмахъ. Миссъ Гудъ очень ее любила и миссъ Мортонъ тоже...

Миссъ Гудъ продолжала сохранять свое замороженное состояніе, въ ка-

комъ вернулась и домой. Она раньше не рѣшалась войти въ мастерскую, а тутъ сама попросила Аниту показать ей работы отца. Бургардта и Гаврюши не было дома, и миссъ Гудъ долго и внимательно разсматривала барельефы и статуи, точно дѣлала имъ экзаменъ. Она узнала Шуру въ Маринѣ и особенно долго разсматривала ее.

— А гдѣ же *другая*?—спросила она, не находя миссъ Мортонъ.

— Она не натурщица, а просто знакомая...

Мастерская произвела на миссъ Гудъ довольно грустное впечатлѣніе, и у нея явилась даже мысль вернуться въ свою добрую, старую Англію. Что̀ она могла ожидать здѣсь, въ этомъ царствѣ голыхъ мраморныхъ женщинъ? Но старая миссъ Гудъ переносила все это, значитъ, нужно оставаться на своемъ посту. Это былъ критическій моментъ въ жизни миссъ Гудъ, и она даже краснѣла при одной мысли, что Бургардтъ могъ смотрѣть на нее сквозь платье. Вѣдь для этихъ художниковъ существуетъ только одно тѣло... Съ другой стороны, ей въ первый разъ сдѣлалось жаль Аниту, и она поняла, почему покойная тетка осталась на своемъ посту до самой смерти.

Въ нѣсколько дней миссъ Гудъ совершенно освоилась въ новой обстановкѣ и внесла новую струю въ жизнь дома. Она по-англійски не обращала никакого вниманія на прислугу и только требовала строгаго исполненія обязанностей. Въ ея англійскихъ глазахъ это были не люди, а живыя машины. Развѣ можно сердиться на машину или разговаривать съ ней? Человѣкъ Андрей сразу понялъ англійскую политику новой барышни и пожаловался барину.

— Что̀ же это такое, баринъ? Этакъ и житья не будетъ. Все молчитъ новая барышня и за людей насъ не считаетъ...

— Она просто не умѣетъ говорить по-русски,—объяснялъ Бургардтъ.

Послѣднему человѣкъ Андрей никакъ не могъ повѣрить, тѣмъ болѣе, что старая барышня тоже была англичанка, а между тѣмъ говорила и даже очень обидно иногда говорила. Анита тоже не понимала въ этомъ отношеніи новой гувернантки. Она была на сторонѣ прислуги, хотя и ссорилась съ ней въ качествѣ отвѣтственной хозяйки.

— Эти англичане, папа, страшные эгоисты,—жаловалась она.—Для нихъ прислуга что-то въ родѣ низшихъ животныхъ...

— А развѣ хорошо ругаться съ прислугой, какъ дѣлаютъ наши русскія барыни? Даже есть такія, которыя дерутся...

— Ольга Спиридоновна бьетъ свою горничную по щекамъ, а все-таки она добрая и ее любятъ.

— Дѣло вкуса... Лучше всего не ссориться съ прислугой, какъ миссъ Гудъ, и относиться къ ней гуманно.

Проявленная новой гувернанткой сухость не нравилась Бургардту, но онъ разсчитывалъ на то, что время сдѣлаетъ свое дѣло и англійская жестокость постепенно стушуется.

Послѣ смерти миссъ Гудъ прошло уже около двухъ недѣль, и Бургардтъ совершенно забылъ о статьѣ Саханова, пока онъ въ одно прекрасное утро не заявился самъ съ рукописью въ рукахъ.

— Я думалъ, что вы куда-нибудь уѣхали,—говорилъ Сахановъ съ дѣловымъ видомъ,—и совершенно случайно узнаю, что вы дома...

— Очень радъ васъ видѣть, и сегодня мы можемъ заняться вашей статьей.

Въ сущности Бургардтъ совсѣмъ не желалъ слушать статьи Саханова,

чтобы не сдѣлаться этимъ косвеннымъ путемъ ея участникомъ, а затѣмъ онъ отлично понималъ, что Сахановъ именно и добивается послѣдняго, чтобы потомъ имѣть право сказать, что читалъ ее Бургардту и получилъ его одобреніе. Бываютъ такія непріятныя положенія, когда ваши друзья насилуютъ вашу волю самымъ безцеремоннымъ образомъ, и когда вы, при всемъ желаніи, не можете высказать имъ откровенно свои настоящія мысли и чувства. Бургардтъ только покосился, когда Сахановъ развернулъ довольно объемистую тетрадь, испещренную помарками и вставками, чѣмъ онъ гордился, какъ относившійся строго къ своей работѣ авторъ.

— Статья въ сущности общаго характера,—предупреждалъ Сахановъ, усаживаясь поудобнѣе въ креслѣ.—Я знаю, что вы врагъ всякихъ предисловій, и поэтому могу выпустить нѣкоторыя общія соображенія объ искусствѣ... Тѣмъ болѣе, что мы по нѣкоторымъ пунктамъ съ вами расходимся.

— Нѣтъ, ужъ читайте все,—упрямо заявилъ Бургардтъ, начинавшій впередъ испытывать смутное озлобленіе.

— Основная тема во всякомъ случаѣ является новостью въ нашей художественной литературѣ...

— Развѣ такая есть?

— Въ собственномъ смыслѣ слова, конечно, нѣтъ, но есть статьи по отдѣльнымъ вопросамъ и художественная отсебятина. Не скрою, что я немножко горжусь своей темой, потому что другіе все-таки до нея не додумались. Какъ хотите, а въ искусствѣ меценатъ всегда являлся своего рода маховымъ колесомъ, и я самъ удивлялся, когда пришлось подводить итоги, какую страшную силу онъ представляетъ собой.

Общая часть, несмотря на массу цитатъ изъ всевозможныхъ авторовъ, начиная съ древнѣйшихъ временъ, и на массу подстрочныхъ примѣчаній, ничего новаго и оригинальнаго собою не представляла, а носила эклэктическій характеръ. Это былъ только подсчетъ существующимъ формуламъ и легкая характеристика новыхъ теченій въ искусствѣ. Надлежащее мѣсто было отведено и приподнятому цвѣтистому стилю, когда Сахановъ опредѣлялъ искусство шумливыми фразами, какъ „глубочайшее откровеніе жизни и единственный языкъ народовъ, поколѣній, всего человѣчества“. Были пущены въ ходъ довольно избитыя остроты по адресу декадентовъ, символистовъ, плейнеристовъ и вообще всѣхъ новшествъ, которыя не признавали единой и непогрѣшимой академической школы, поскольку она движется впередъ. Гораздо интереснѣе было дальнѣйшее, когда на сцену появился меценатъ, сначала въ лицѣ древнихъ азіатскихъ деспотовъ, египетскихъ фараоновъ, всесильныхъ языческихъ жрецовъ, античной уличной толпы и народныхъ героевъ. Искусство являлось только одной изъ формъ рабства, какъ это ни странно сказать, и многіе художники были настоящими рабами, почему имена ихъ и не сохранены исторіей для благодарнаго потомства. Это рабство продолжалось и дальше, замаскировавшись въ тогу меценатства. Художникъ творилъ свободнымъ только по имени, а по существу дѣла онъ служилъ только прихоти какого-нибудь знатнаго и богатаго человѣка, причемъ еще вопросъ, что лучше—физическій ли рабъ, служившій государству, своей религіи и своему народу, или свободный рабъ, служившій отдѣльнымъ лицамъ.

— Мнѣ кажется, что у васъ здѣсь противорѣчіе уже въ самомъ словѣ: свободный рабъ,—замѣтилъ Бургардтъ.

— Я хочу только выяснить разницу между физическимъ рабствомъ и рабствомъ культурнымъ. Мы всѣ ради чего-нибудь..

— Это уже слишкомъ широкое обобщеніе, въ которомъ расплывается совершенно основное понятіе и получается что-то въ родѣ гомеопатіи. Я не могу согласиться съ этой основной формулой, что искусство—только одна изъ формъ рабства, а даже наоборотъ—вѣрю въ его освободительную миссію.

— Ахъ, вы не хотите меня понять, Егоръ Захарычъ! Правда, что мысль совершенно новая и, можетъ-быть, немножко смѣлая... Наконецъ, можетъ-быть, я не сумѣлъ формулировать ее достаточно убѣдительно, но въ своемъ основаніи она глубоко вѣрна, въ чемъ вы убѣдитесь дальше.

Дальнѣйшее заключалось въ перечисленіи историческихъ фактовъ, какъ меценатами явились ограбившіе весь міръ римскіе магнаты, обезумѣвшіе отъ власти римскіе цезари, византійскіе императоры, римскіе папы, христіаннѣйшіе средневѣковые короли, а въ послѣднее время выступилъ на сцену капиталистическій феодализмъ. Въ послѣднемъ кроется основная причина упадка новѣйшаго искусства по сравненію съ античнымъ, т.-е. временемъ античныхъ республикъ, когда художникъ творилъ для государства, воплощая въ своихъ произведеніяхъ свою миѳологію и религіозныя представленія. Мертвый камень дѣйствительно оживалъ, превращался въ чудные образы античнаго творчества, въ которомъ горячее и живое участіе принималъ весь народъ. Античная статуя являлась предметомъ религіознаго культа, и на нее молились, какъ на святыню.

Бургардтъ слушалъ внимательно, но не хотѣлъ спорить съ авторомъ, ожидая настоящаго,—все предшествовавшее, очевидно, было только вступленіемъ. Дѣйствительно, все „настоящее“ было припрятано авторомъ подъ конецъ, гдѣ онъ разбиралъ исторію спеціально-русскаго шального меценатства, до нашихъ дней включительно. Здѣсь Сахановъ былъ въ курсѣ дѣла и, не называя именъ, наговорилъ цѣлую массу самыхъ горькихъ истинъ, причемъ оказалось, что наше меценатство принесло страшный вредъ русскому искусству, внесло въ него разлагающіе элементы и систематически развращаетъ художниковъ, которые вынуждены поддѣлываться подъ вкусы своихъ заказчиковъ и вѣроятныхъ покупателей. Можетъ-быть, въ послѣднемъ кроется простая причина и того грустнаго явленія, что русская публика относится совершенно равнодушно къ своему родному искусству, какъ къ прихоти ничтожной кучки богатыхъ людей. Главнымъ страдающимъ лицомъ во всей этой грустной исторіи является художникъ, незамѣтно для самого себя размѣнивающій свое дарованіе на гроши и копейки.

— А Третьяковская галлерея въ Москвѣ?—спросилъ Бургардтъ.

— Это — исключеніе... Притомъ, на всю Россію одна галлерея — это слишкомъ немного. Я смотрю на русскихъ художниковъ, какъ на мучениковъ въ своемъ дѣлѣ, потому что имъ приходится разрабатывать не тѣ сюжеты и темы, которые близки всему складу ихъ характера, а сюжеты и темы, заданные какимъ-нибудь шальнымъ меценатомъ.

— Ну, послѣднее ужъ слишкомъ огульно сказано, Павелъ Васильичъ, и я опять не могу согласиться съ вами. Потомъ, въ концѣ концовъ, говоря между нами, ваша статья написана прямо противъ Красавина и... противъ меня, между прочимъ.

— Противъ васъ?!

Сахановъ вскочилъ и забѣгалъ по кабинету.

— Да, и противъ меня,—твердо повторилъ Бургардтъ.—И, какъ видите, я нисколько не сержусь на васъ... Въ вашихъ словахъ есть много горькой правды, въ чемъ я и расписываюсь.

— Позвольте, конечно, вы можете многое принять на свой счетъ, какъ художникъ, но именно васъ я не имѣлъ въ виду. Скажу больше: продолженіемъ этой статьи будетъ статья о роли женщины въ искусствѣ... да. Вѣдь намъ подайте именно голую женщину, чтобы меценатъ заржалъ отъ удовольствія, а вы, кажется, въ этомъ не грѣшны. Да... Глубоко-растлѣвающее вліяніе меценатовъ именно и выразилось въ этомъ стремленіи художниковъ рисовать и лѣпить именно голую женщину. Всѣ эти якобы богини, якобы вакханки, якобы римскія оргіи—все это дань ожирѣвшему меценатскому вкусу. Вотъ на тебѣ такую вакханку, чтобы у тебя духъ заперло... Въ нашемъ искусствѣ для порядочной женщины даже и мѣста не осталось, а такъ, иногда напишутъ какую-нибудь дѣвушку съ кувшиномъ, покинутую, утопленницу..

XXX.

Какъ Бургардтъ ни старался сдержать себя, но статья Саханова возмутила его до глубины души. Когда онъ уходилъ, обѣщая принести продолженіе, онъ невольно подумалъ:

„Родятся же подобные негодяи!..“

Даже Анита замѣтила, что отецъ не въ духѣ, и спросила:

— Ты поссорился съ Сахановымъ, папочка?

— Нѣтъ, этого не было, но это не мѣшаетъ ему быть большимъ... ну, все равно кѣмъ.

Взволновавшись, Бургардтъ никогда не работалъ. Сегодняшній день былъ испорченъ, и онъ рѣшился съѣздить въ Озерки, навѣстить Бачульскую, которую уже давно не видалъ.

— Папа, ты не обижайся на меня...—говорила Анита, провожая его въ переднюю.—Не обидишься?

— Нѣтъ. Въ чемъ дѣло?

— Если ты встрѣтишь Шуру или миссъ Мортонъ, то, пожалуйста, не приглашай ихъ къ намъ... т.-е. пока...

— Это почему?

Анита смущенно передала эпизодъ своей встрѣчи на островахъ и то впечатлѣніе, которое произвела эта встрѣча на миссъ Гудъ.

— Папочка, она вѣдь совсѣмъ не знаетъ, какъ живутъ художники, а потомъ привыкнетъ и пойметъ, что дурного въ этомъ ничего нѣтъ.

Бургардтъ только пожалъ плечами, а разсердился только на лѣстницѣ.

— Ей-то какое дѣло?—ворчалъ онъ.—Вотъ еще опека явилась...

Впрочемъ, это настроеніе разсѣялось еще дорогой, пока Бургардтъ ѣхалъ по Финляндской желѣзной дорогѣ. На него природа дѣйствовала успокаивающимъ образомъ, и въ окно вагона онъ все время любовался дачными постройками. Онъ любилъ эти маленькія, на живую нитку сколоченныя дачки, въ которыхъ ютилась лѣтомъ приличная бѣднота. Почему-то принято относиться къ нимъ съ пренебреженіемъ, а между тѣмъ именно въ нихъ такъ много своеобразной лѣтней поэзіи, гораздо больше, чѣмъ въ вычурныхъ дачныхъ палаццо гдѣ-нибудь въ Павловскѣ, Стрѣльнѣ или Петергофѣ. Бивуачный характеръ всей дачной обстановки имѣетъ свою прелесть. Кромѣ всего этого, именно съ этимъ дачнымъ уголкомъ у Бургардта были связаны такія хорошія и свѣтлыя юношескія воспоминанія, когда онъ жилъ въ этой мѣстности еще академистомъ. Конечно, съ того времени много воды утекло, и онъ не узналъ бы многихъ дорогихъ по воспоминаніямъ уголковъ.

„А вѣдь Сахановъ правъ,—думалъ Бургардтъ, переживая снова не-

пріятное чувство.—Конечно, статья написана пристрастно и съ намѣреніемъ оскорбить именно Красавина, а все-таки много правды".

Потомъ оказалось, что и миссъ Гудъ по-своему тоже права, потому что имѣла въ виду исключительно интересы Анны. Что могла позволить покойная миссъ Гудъ, какъ болѣе опытный человѣкъ, того же самаго не могла допустить молодая барышня. Какъ всѣ нервные и безхарактерные люди, Бургардтъ соображалъ всѣ обстоятельства потомъ, когда остывало первое впечатлѣніе.

Бачульская была дома, но Бургардтъ попалъ въ самый неудобный моментъ,—она только-что собралась итти въ театръ, хотя было всего шесть часовъ.

— Что вы такъ рано идете?—удивился Бургардтъ.

— Ахъ, вы не знаете нашей проклятой службы, Егорушка... Чего стоитъ актрисѣ одѣться, потомъ гримировка, прическа.

Бургардтъ былъ еще въ первый разъ въ Озеркахъ у Бачульской, и она не знала, куда его усадить и чѣмъ угостить. Онъ осматривалъ ея квартиру, точно отыскивая что-то глазами, и слегка морщился.

— Мы сегодня въ дурномъ расположеніи духа?—ласково спрашивала его суетившаяся хозяйка.—Хотите, я сама сварю вамъ кофе?

— Нѣтъ, я чего-нибудь съѣмъ въ вашемъ театральномъ буфетѣ. Идемте, а то опоздаете

Они пошли пѣшкомъ, и дорогой Бургардтъ разсказывалъ о своей новой гувернанткѣ и объ Аннѣ.

— Дѣвочка ужъ большая, и, кажется, я скоро попаду подъ ея опеку,—говорилъ онъ съ улыбкой.

— А вамъ нравится эта новая миссъ Гудъ?—пытливо спрашивала Бачульская, заглядывая въ лицо своему кавалеру.—Она молодая?

— Вы желаете меня ревновать?

— О, я ревную васъ ко всѣмъ женщинамъ...

Она засмѣялась и покраснѣла.

Театръ былъ еще пустъ, и гдѣ-то гулко отдавались шаги невидимыхъ людей. На улицѣ стоялъ іюльскій жаръ, и Бургардтъ съ удовольствіемъ почувствовалъ прохладу большого помѣщенія.

— Черезъ полчаса вы можете зайти ко мнѣ въ уборную,—предлагала Бачульская.

Уходя за кулисы, она обернулась и, какъ показалось Бургардту, улыбнулась съ несвойственнымъ ей вызывающимъ лукавствомъ.

„Вотъ что значитъ лѣто,—невольно подумалъ Бургардтъ, шагая къ буфету.—Что-то такое есть..."

Буфетъ былъ большой, совсѣмъ даже не по театру, и Бургардтъ напрасно старался придумать цифру его посѣтителей. Слава Озерковъ, какъ дачной мѣстности, уже отошла, и театръ былъ великъ для мѣстной дачной публики. По привычкѣ Бургардтъ прошелъ прямо къ буфетной стойкѣ и здѣсь лицомъ къ лицу встрѣтился съ Бахтеревымъ.

— Батенька, какими судьбами?—дѣланымъ тономъ проговорилъ послѣдній, торопливо прожевывая бутербродъ и вытирая руки салфеткой.—Вотъ пріятная неожиданность...

Оглянувшись на всякій случай кругомъ, Бахтеревъ взялъ Бургардта за лацканъ верхняго пальто и проговорилъ заученнымъ драматическимъ шопотомъ:

— А я здѣсь того... да... Мнѣ дома полагается всего одна рюмка, а для моей машины, согласитесь, это немного мало.

Въ доказательство онъ выпятилъ колесомъ грудь, повелъ богатырскими плечами и прибавилъ упавшимъ голосомъ:

— Cherchez la femme...

Бургардтъ кое-что слыхалъ о его семейномъ положеніи и постарался замять непріятный разговоръ. Бахтеревъ здѣсь, въ театральномъ буфетѣ, являлся другимъ человѣкомъ. У него явилась какая-то чисто-актерская развязность и склонность къ душевному изліянію, чего Бургардтъ не выносилъ.

— Вы участвуете въ спектаклѣ?—спрашивалъ Бургардтъ, чтобы сказать что-нибудь.

— Къ несчастію... У насъ труппа съ бору да съ сосенки набрана, антрепренеръ... ну, однимъ словомъ, лѣтній антрепренеръ. Пригласилъ на гастроли, а выходитъ чортъ знаетъ что̀ такое...

Они выпили по второй рюмкѣ и разошлись. Бургардту было немного стыдно, что онъ даже не посмотрѣлъ на афишу, какая сегодня шла пьеса. Онъ заказалъ человѣку по карточкѣ бифштексъ и попросилъ его подать на террасу, выходившую въ садъ. Сейчасъ за садомъ виднѣлось красиво блестѣвшее озеро, а впереди настоящая горка съ вычурной бесѣдкой наверху. На террасѣ было прохладно. Публика еще и не думала собираться. По саду бродили одни музыканты, игравшіе въ антрактахъ не въ театрѣ, а на открытой садовой эстрадѣ. Офиціантъ, накрывая столъ чистой скатерью, подалъ афишу сегодняшняго спектакля, и Бургардтъ чуть не ахнулъ, когда прочелъ, что сегодня идетъ „Медея“, и Медею играетъ Марина Игнатьевна.

„И вѣдь ничего не сказала...—подумалъ Бургардтъ.—Язонъ—Бахтеревъ... Очень недурно!.. Ну, Марина Игнатьевна едва ли справится со своей ролью. Не хватитъ темперамента.

Вечеръ былъ тихій. Накаленный воздухъ такъ и переливался. Блестѣвшее между деревьями озеро рѣзало глаза. Гдѣ-то сонно перекликались невидимыя птицы. Пахло сосной и болотной травой. Послѣ городской пыли все-таки хорошо, хотя до настоящей природы и далеко. Бургардтъ опять думалъ о статьѣ Саханова, но уже не волновался. Конечно, немного обидно, что Сахановъ правъ изъ желанія насолить Красавину и по пути бьетъ всѣхъ художниковъ въ самое больное мѣсто, выдвигая „шкурный вопросъ“. Бургардтъ имѣлъ громадный успѣхъ и слѣдовательно виноватъ „шкурно“ больше другихъ, что̀ сейчасъ же и поймутъ, конечно, всѣ эти другіе.

„Э, все равно...—думалъ Бургардтъ.—Вѣдь Сахановъ только сказалъ громко то, о чемъ другіе думали“.

Онъ не успѣлъ доѣсть своего бифштекса, когда Бачульская прислала за нимъ капельдинера. На сценѣ было темно, и на него налетѣлъ какой-то маленькій разсерженный человѣкъ, комкавшій въ рукахъ какую-то писаную тетрадку.

— Вы, вы...—наскочилъ онъ на него.—Ахъ, виноватъ... Гдѣ Петровъ? Господи, онъ меня зарѣжетъ... Гдѣ Петровъ?

— Играетъ на бильярдѣ...—отвѣтилъ хриплый голосъ изъ темноты, и маленькій разсерженный человѣчекъ громко обругался.

Уборная Бачульской походила на всѣ уборныя лѣтнихъ театровъ, т.-е. имѣла видъ чердачной комнаты съ дощатыми деревянными стѣнами, съ расщелившимся поломъ и вѣчнымъ сквознякомъ. Пахло керосиномъ, какой-то противной гарью и пудрой.

— Видѣли афишу?—спрашивала она Бургардта, отдавая свою голову въ распоряженіе камеристки, которая должна была доканчивать античную при-

ческу.— Я знаю, что вы подумали: „Какая она Медея?“. И я тоже думаю... А хочется сыграть эту роль до смерти и боюсь до смерти.

— Чего же бояться?

— И сама знаю, что нечего, а вотъ подите... Бахтеревъ тоже боится, а, кажется, мужчина солидный. Боюсь, чтобъ онъ не напился для храбрости... А тутъ еще случай: у насъ заболѣла Креуза, и ее будетъ играть маленькая выходная актриса... такъ, водевильная штучка Комова. Вотъ труситъ-то бѣдняжка... А я ея боюсь. Какъ разъ перепутаетъ какую-нибудь реплику, будетъ „наузить“—это наше театральное слово. Это когда дѣлаютъ ненужныя паузы.

Бургардтъ сидѣлъ и довольно безцеремонно разсматривалъ свою собесѣдницу, одѣтую въ бѣлую тунику. Античный костюмъ очень шелъ къ ней, и особенно выдѣлялась красивая шея и голыя до плеча руки. Портилъ впечатлѣніе только гримъ—глаза были подведены, губы подкрашены, даже шея и руки были намазаны чѣмъ-то бѣлымъ, придававшимъ кожѣ мертвый тонъ.

— Что̀, хороша?—спрашивала Бачульская, разсматривая себя въ зеркало и еще разъ подводя глаза карандашомъ.—Настоящая чортова кукла...

Она засмѣялась и опять посмотрѣла на Бургардта лукавыми глазами. Очевидно, закулисный воздухъ опьянялъ ее, какъ и Бахтерева, и Бургардту она казалась другой женщиной.

— Ну, теперь вы все видѣли и можете итти въ свою ложу,—заявила она, поднимаясь.—Ваша ложа номеръ третій... съ правой стороны... Когда я буду выходить, вы, пожалуйста, не смотрите на меня, а потомъ можете смотрѣть сколько угодно.

— Хорошо, хорошо... Не трусьте.

— Публики мало—единственное мое спасеніе.

Бургардтъ только сейчасъ вспомнилъ, что Сахановъ живетъ въ Озеркахъ, и ему непріятно было бы встрѣтиться съ нимъ въ театрѣ.

— Не безпокойтесь, именно сегодня онъ не придетъ.

Она объяснила объ его отношеніяхъ къ Комовой и что бѣдная дѣвушка со слезами умоляла его не приходить.

Когда капельдинеръ открылъ дверь ложи, Бургардтъ даже попятился назадъ,—у барьера сидѣла миссъ Мортонъ и привѣтливо улыбалась. Она, очевидно, его ждала, и Бургардтъ только сейчасъ понялъ, почему Марина Игнатьевна тоже улыбалась, когда разговаривала съ нимъ. Это былъ коварный сюрпризъ. Миссъ Мортонъ указала мѣсто рядомъ съ собой и показала свою записную книжечку, въ которой было написано:

— Я васъ ждала...

Онъ молча поцѣловалъ у ней руку и не вдругъ собрался, что̀ отвѣтить. Миссъ Мортонъ была хороша, какъ весна. Бургардтъ чувствовалъ, какъ у него замерло сердце и какъ выпали изъ головы всѣ слова, которыя хотѣлъ ей сказать. Она видимо понимала его настроеніе и продолжала улыбаться, ласковая, сіяющая, строгая. Бургардтъ, дѣлая орѳографическія ошибки, написалъ въ ея книжкѣ:

— Я такъ радъ... и счастливъ...

Она не дала ему докончить и спрятала книжку въ карманъ, а потомъ уже знаками объяснила, что онъ лучше ничего не напишетъ, и что она рада его счастью, какъ своему. Онъ вторично поцѣловалъ ея руку, охваченный сладкимъ безуміемъ, отъ котораго кружилась голова. Какъ она попала въ Озерки и какъ попала именно на этотъ спектакль и въ эту именно ложу—онъ не спрашивалъ, точно все такъ и должно было быть. Развѣ спрашиваютъ упавшаго съ неба ангела, какъ онъ упалъ, и развѣ стали бы спрашивать статую, если бы она вдругъ заговорила?

XXXI.

Публики въ театрѣ было мало, да и та имѣла какой-то унылый видъ, что дѣйствовало на актеровъ угнетающимъ образомъ. Каждый опытный театральный человѣкъ понималъ, что спектакль успѣха не будетъ имѣть. Артистъ живетъ своей публикой, которая служитъ для него живымъ резонаторомъ. Спектакль начался вяло, потому что не для кого было играть. Одинъ Бургардтъ не хотѣлъ ничего замѣчать и даже пропустилъ моментъ появленія на сценѣ Медеи.

— Язонъ пьянъ...—записала въ своей книжкѣ миссъ Мортонъ.

Она, очевидно, подготовилась къ пьесѣ и хорошо знала ея содержаніе. Бургардтъ слѣдилъ все время за выраженіемъ ея лица, стараясь угадать, что она испытываетъ. Вѣдь это было ужасно—все видѣть и ничего не слышать. Сцена для нея являлась чѣмъ-то въ родѣ аквариума, гдѣ плетъ жизнь безъ малѣйшаго звука. Бургардтъ припомнилъ объясненіе доктора Гаузера о преобладаніи въ психологіи глухонѣмыхъ животныхъ инстинктовъ, и ему казалось, что въ лицѣ миссъ Мортонъ онъ находилъ что-то новое, особенное, чего раньше не замѣчалъ. На немъ, какъ на живомъ экранѣ, пробѣгали причудливыя тѣни, отражая смѣну внутреннихъ движеній, какъ на поверхности текучей воды отражается невидимый внутренній токъ. Когда миссъ Мортонъ понимала отдѣльныя сцены пьесы, ея лицо оживлялось какой-то дѣтской радостью, и она смотрѣла на Бургардта счастливыми, улыбавшимися глазами.

— Милая, милая, милая...—шепталъ Бургардтъ, отвѣчая ей счастливой улыбкой.—О, милая...

Въ антрактѣ миссъ Мортонъ непремѣнно захотѣла пойти за кулисы къ Маринѣ Игнатьевнѣ. По дорогѣ они встрѣтили Креузу, которая виновато стояла передъ сердившимся режиссеромъ. Бѣдная дѣвушка смотрѣла на него умоляющими глазами и, кажется, готова была расплакаться каждую минуту. Эта сцена на сценѣ покоробила Бургардта, и ему хотѣлось наговорить режиссеру дерзостей. Марина Игнатьевна приняла гостей довольно сухо, и Бургардту не понравилось, когда она сказала совсѣмъ громко:

— Егорушка, вы счастливы? Ахъ, идите въ садъ, тамъ играетъ музыка, а мнѣ нужно еще просмотрѣть роль. Мы сегодня ужинаемъ вмѣстѣ? Я васъ приглашаю...

— Мы опоздаемъ къ послѣднему поѣзду,—неосторожно отвѣтилъ Бургардтъ и сейчасъ же спохватился, когда лицо Медеи точно потемнѣло отъ этого „мы„.

Медея еще больше потемнѣла, когда миссъ Мортонъ въ припадкѣ непонятной нѣжности обняла ее и поцѣловала.

— Она тоже счастлива, бѣдняжка,—уже тихо проговорила Бачульская, поправляя прическу.—Идите, идите... Счастье не повторяется.

— Что съ вами сегодня, Марина Игнатьевна?—спросилъ Бургардтъ.

— Ахъ, оставьте меня... Вѣдь я сегодня—Медея.

Въ саду игралъ довольно плохонькій оркестръ и уныло бродила публика. Все это были дачники, которые пришли въ театръ только потому, что гдѣнибудь нужно было убить вечеръ. Какія-то скучныя физіономіи пили за отдѣльными столиками пиво, какія-то скучающія дачныя дѣвицы уныло маршировали по центральной площадкѣ,—вообще все было скучно и уныло, и только одна миссъ Мортонъ улыбалась своей дѣтской улыбкой, крѣпко опираясь на руку Бургардта. Они поднялись на горку и долго сидѣли на самомъ верху

деревянной башни, любуясь открывавшимся отсюда видомъ на лѣсистыя горы, усѣянныя дачами, на линію Финляндской желѣзной дороги, на широкую равнину, которая уходила къ невидимому взморью. Миссъ Мортонъ объяснила, что ее сегодня приглашала Бачульская, чтобы она посмотрѣла на нее въ роли Медеи. Спускалось солнце, затихали въ садахъ птицы, по окрашенной розовыми бликами поверхности озера медленно чертили лодки.

— Вамъ хорошо?—спрашивалъ Бургардтъ свою задумавшуюся даму.

Она посмотрѣла на него какими-то непроснувшимися глазами и отвѣтила однимъ словомъ:

— Очень...

— О чемъ вы сейчасъ думали?

Она смутилась, потомъ подняла на него глаза и засмѣялась.

Занавѣсъ былъ уже поднятъ, когда они вернулись въ театръ. Шла сцена между Креузой и Медеей. Бургардта поразила перемѣна въ тонѣ послѣдней,—это была совсѣмъ другая женщина, оскорбленная, страдающая, большая своимъ женскимъ горемъ. Чувствовался тотъ подъемъ настроенія, который такъ поразительно дѣйствуетъ на публику. Бургардту казалось, что и публика совершенно измѣнилась за одинъ антрактъ, и даже въ молчаливомъ вниманіи къ происходившему на сценѣ слышалась какая-то нарастающая сила. Медея завладѣла этой публикой, она дѣлалась ея властительницей, душой и сердцемъ. Только артисты понимаютъ такіе великіе моменты въ своей жизни, которыми она только и красна. Даже миссъ Мортонъ точно заразилась общимъ настроеніемъ и записала въ своей книжкѣ:

— Какъ она страдаетъ...

Когда занавѣсъ упалъ, наступила короткая пауза, которая разрѣшилась настоящимъ залпомъ аплодисментовъ. Никто не торопился къ выходу, вызывая Бачульскую безъ конца, точно каждое ея появленіе усиливало произведенное впечатлѣніе. Дальнѣйшіе акты шли уже полнымъ тріумфомъ артистки. Другіе актеры точно приподнялись, и даже Креуза не портила своей роли. Когда послѣ третьяго акта Бургардтъ зашелъ съ миссъ Мортонъ въ уборную, Марина Игнатьевна встрѣтила ихъ такая измученная, утомленная, и только лихорадочно горѣли одни глаза.

— Я не буду говорить вамъ комплиментовъ,—говорилъ Бургардтъ, цѣлуя ея руки,—это одинъ изъ рѣдкихъ спектаклей, какіе мнѣ случалось видѣть...

— Признайтесь, вы совершенно не ожидали ничего подобнаго?

— Вѣроятно, и вы сами тоже...

Бачульская грустно улыбнулась и отвѣтила:

— Это мой послѣдній успѣхъ, а первыхъ я не знала. Я еще несчастнѣе вѣдь этой Медеи, у которой были хоть дѣти, а мой Язонъ не желалъ даже сдѣлать меня несчастной...

У нея на глазахъ блестѣли слезы, и Бургардтъ понялъ, что она играла только для него одного, переживая пережитое и увлекаясь призракомъ собственнаго воображенія.

Изъ присутствующихъ никто не замѣтилъ сидѣвшую скромно въ уголкѣ Креузу. Когда Бургардтъ и миссъ Мортонъ вышли, Бачульская быстро поднялась, сдѣлала нѣсколько шаговъ къ двери и, прислонившись къ стѣнѣ, зарыдала. Комова осторожно подошла къ ней, обняла и прошептала:

— Марина Игнатьевна, перестаньте... Ахъ, какъ я васъ сейчасъ люблю!..

Бачульская опомнилась и, улыбаясь сквозь слезы, отвѣтила:

— Это такъ... нервы... Ахъ, крошка, если бы вы знали, что я переживаю!..

— Да, я знаю, что вы такая милая, и всегда жалѣла, что вы меня почему-то ненавидѣли...

— Развѣ я могу ненавидѣть? Вѣдь нужно умѣть и любить и ненавидѣть, и заставлять себя любить...

— Куда мнѣ, семеркѣ, какъ меня называетъ Павелъ Васильевичъ... Вотъ вамъ все дано, а я рядомъ съ вами какая-то несчастная побирушка.

— Перестаньте, голубчикъ, говорить такія жалкія слова... Это нехорошо. У каждаго свое горе. Вы знаете, почему я сегодня хорошо играю? Въ партерѣ сидитъ мой Язонъ, а съ нимъ рядомъ Креуза... Они счастливы и не могутъ видѣть, что мое сердце истекаетъ кровью.

Эта чувствительная сцена была прервана стукомъ въ двери уборной. Это былъ неумолимый режиссеръ, тотъ самый маленькій разсерженный человѣчекъ, который давеча чуть не довелъ Креузу до слезъ. Теперь онъ смотрѣлъ на Бачульскую и повторялъ:

— Марина Игнатьевна... ахъ, Марина Игнатьевна! Ради Бога, не сорвитесь въ четвертомъ актѣ, особенно во второй картинѣ. Вѣдь я стою за кулисами и трясусь за васъ.

Но умиленный успѣхомъ режиссеръ напрасно безпокоился,—четвертый актъ прошелъ блестящимъ образомъ, вызвавъ настоящую бурю рукоплесканій. Бургардтъ стоялъ у барьера своей ложи и неистово аплодировалъ. Миссъ Мортонъ махала платкомъ и тоже аплодировала. Но Бачульская уже не замѣчала ихъ и раскланивалась съ публикой вообще.

— Знаете, я хотѣлъ уѣхать съ послѣднимъ поѣздомъ,—писалъ онъ въ книжкѣ миссъ Мортонъ,—но придется измѣнить планъ. Вы останетесь ночевать у Марины Игнатьевны, а я уѣду въ городъ на извозчикѣ. Послѣ спектакля поужинаемъ... Придется немного подождать, пока Марина Игнатьевна будетъ переодѣваться...

Они отправились въ буфетъ, и Бургардтъ заказалъ ужинъ на четверыхъ, потому что нужно было еще пригласить Бахтерева.

Было уже темно. Съ озера вѣяло прохладой. Въ ожиданіи ужина они отправились пройтись по пустымъ аллеямъ. Миссъ Мортонъ боялась темноты и прижималась всѣмъ тѣломъ къ своему кавалеру. А въ это время съ озера доносился свѣжій молодой голосъ, пѣвшій старинный романсъ Даргомыжскаго:

Насъ вѣнчали не въ церкви,
Не въ вѣнцахъ, не съ свѣчами...
Вѣнчала насъ полночь средь мрачнаго бора...
Вѣнчальныя пѣсни пропѣлъ буйный вѣтеръ
Да воронъ зловѣщій...

— Слышите, миссъ Мортонъ? — спрашивалъ Бургардтъ, забывая, что говоритъ съ глухонѣмой.

Не дожидаясь отвѣта, онъ быстро обнялъ и крѣпко поцѣловалъ ее прямо въ губы. Она не сопротивлялась и точно вся распустилась въ его объятіяхъ. А голосъ на озерѣ продолжалъ пѣть:

Всю ночь бушевала гроза и ненастье,
Всю ночь пировала земля...

— Милая, милая... — стоналъ Бургардтъ въ отчаяніи. — Она не слышитъ моихъ словъ?!.

Онъ усадилъ ее на скамью, и она припала своей бѣлокурой чудной головкой къ его плечу. Онъ цѣловалъ ея лицо, шею, руки, а она сидѣла съ

раскрытыми глазами, точно статуя, если бы статуи умѣли возвращать поцѣлуи и обнимать.

А голосъ все пѣлъ:

Разбудило насъ утро...
Земля отдыхала отъ буйнаго пира.
Веселое солнце играло съ росою...

Бургардтъ немного сконфузился, когда, вернувшись на террасу, засталъ уже всѣхъ въ сборѣ. Бахтеревъ имѣлъ недовольный видъ страдающаго жаждой человѣка. Марина Игнатьевна пригласила на ужинъ Комову, которая очень стѣснялась за свою лѣтнюю кофточку не первой молодости. Миссъ Мортонъ чувствовала на себѣ пристальный взглядъ Марины Игнатьевны и выдавала себя виноватой улыбкой.

— Поздравляю... — проговорила Бачульская, когда Бургардтъ сѣлъ рядомъ съ ней. — Я рада за васъ...

Бургардтъ почему-то счелъ нужнымъ сдѣлать непонимающее лицо и вопросительно пожалъ плечами.

Ужинъ прошелъ какъ-то вяло. Бахтеревъ съ какимъ-то ожесточеніемъ глоталъ водку рюмку за рюмкой и приговаривалъ къ каждой:

— Да, Марина Игнатьевна... гм... Говоря откровенно... Впрочемъ, вы можете принять мои слова за лесть... вообще... да.

Бачульская молча пила шампанское и заставляла пить Комову, за которой ухаживала съ афишированной нѣжностью. Комова съ непривычки быстро опьянѣла и совершенно забыла о своей кофточкѣ. Она раскраснѣлась и сдѣлалась разговорчивой. Миссъ Мортонъ жаловалась, что ей жарко, и попросила шерри-коблеръ. Чтобы не встрѣчаться глазами съ Бачульской, она дѣлала видъ, что не можетъ справиться съ соломинкой, сломала нѣсколько штукъ и требовала новыхъ. Бургардтъ замѣтилъ, что Бачульская пьетъ сегодня лишнее, и высказалъ ей это въ шутливомъ тонѣ.

— Ахъ, оставьте меня... — нервно отвѣтила она. — Я никогда не бывала пьяной, а сегодня желаю напиться. Къ кофе спросите ликеровъ...

— Вамъ будетъ дурно, Марина Игнатьевна...

— Э, не все ли равно?.. Я хочу веселиться, а каждый веселится по-своему.

Она по лицу миссъ Мортонъ прочитала все, и ее охватило отчаяніе. Да, она, жалкая комедіантка, можетъ-быть, ускорила своей счастливой игрой развязку.

Бургардтъ едва дождался окончанія ужина, чтобы ѣхать въ городъ. Миссъ Мортонъ осталась ночевать у Бачульской.

XXXII.

Вернувшись домой, Бургардтъ почти не спалъ. Съ одной стороны, онъ былъ безумно счастливъ, а съ другой — ему было стыдно. Въ сорокъ лѣтъ влюбиться — это и тяжело и какъ-то обидно. То, что принадлежитъ молодости по праву, здѣсь является своего рода преступленіемъ. А главное — неувѣренность въ самомъ себѣ, какая-то смутная тревога, полная утраты душевнаго равновѣсія. Въ такой любви замаскировано холодное отчаяніе, какъ неумолимый призракъ. Всѣ разумныя мысли и разсужденія отпадаютъ, какъ сухой листъ съ дерева, и человѣкъ начинаетъ двоиться. Именно ощущеніе этой раздвоенности больше всего и мучило Бургардта.

„Вотъ тебѣ и конченный человѣкъ!“ — повторялъ онъ про себя.

Да, онъ былъ счастливъ, и ему казалось, что онъ любитъ еще въ первый разъ, и что прежнія увлеченія были только жалкимъ недоразумѣніемъ, а настоящее чувство онъ переживалъ только теперь, испытывая радостную полноту существованія и томительно-сладкую тревогу. Онъ не могъ бы отвѣтить, если бы его кто-нибудь спросилъ, что ему нравится въ миссъ Мортонъ и какъ все это могло случиться. Ему казалось, что все это такъ ясно и что иначе и быть не можетъ, и что самъ онъ внѣ этого уже не существуетъ. А между тѣмъ выступала на первый разъ задача, требовавшая немедленнаго практическаго рѣшенія — ни содержанкой ни любовницей миссъ Мортонъ онъ не желалъ дѣлать, и одна мысль о возможности подобной комбинаціи уже оскорбляла его, и въ то же время онъ не могъ представить ее своей женой, той женщиной, которая займетъ по праву принадлежащее ей мѣсто вотъ въ этихъ стѣнахъ.

Съ послѣднимъ представленіемъ, какъ роковая тѣнь, связывалось имя старухи Мортонъ. Это было уже чудовищно... Въ немъ проснулось „чувство дома", своего угла, банальная святость котораго могла быть нарушена. Да еще являлся одинъ маленькій вопросъ: какъ отнесется Анита къ такой метаморфозѣ? Дѣвочка уже вступала въ такой возрастъ, что могла имѣть свое собственное маленькое мнѣніе и защищать свое родное гнѣздо. Однимъ словомъ, чѣмъ дальше думалъ Бургардтъ, тѣмъ больше возникало препятствій, точно онъ дальше и дальше шелъ въ какой-то темный лѣсъ, населенный чудовищами и зловѣщими призраками. И тутъ же рядомъ свѣтлый, ликующій неземной красотой образъ, который блуждающимъ огонькомъ манилъ въ эту глубину.

Бургардтъ хватался за голову, точно боялся сойти съ ума, и повторялъ:

— Милая... чудная... Мы будемъ счастливы наперекоръ всему. Да, счастливы, какъ боги, а счастье даже богамъ не доставалось даромъ...

Онъ припомнилъ, какъ цѣлыхъ десять лѣтъ спало его сердце и онъ все глубже и глубже уходилъ въ тину безпутной жизни, размѣнивалъ на мелкую монету. А теперь, въ день посѣщенія, въ день счастья, онъ старается разбить его собственными руками, какъ ребенокъ, который изъ неудержимаго любопытства ломаетъ любимую куклу. Въ самомъ дѣлѣ, кто можетъ быть его судьей? Почему онъ долженъ отказаться отъ личной жизни, отъ которой зависитъ его творчество? Это было бы чудовищнымъ безуміемъ...

Странно, какъ мѣняются мысли даже отъ такихъ простыхъ причинъ, какъ перемѣна дня и ночи. То, что такъ волновало Бургардта ночью, при дневномъ свѣтѣ оказалось самой обыкновенной нелѣпостью. Скажите, пожалуйста, какое и кому дѣло до него? Прежде всего, всякій живетъ для самого себя, особенно, если онъ соблюдаетъ вѣжливость не мѣшать другимъ

Когда человѣкъ Андрей утромъ подалъ въ кабинетъ обычную порцію изъ сельтерской воды, кваса и лимонада, Бургардтъ прогналъ его довольно позорнымъ образомъ.

— Ты, кажется, съ ума сошелъ, Андрей?..

Человѣкъ Андрей покорно унесъ всю „снасть" въ кухню и съ удрученнымъ видомъ объяснилъ, что баринъ немного рехнулся. Ну, квасъ — это еще туда сюда, а какой же баринъ, ежели онъ не желаетъ утромъ принимать сельтерской воды?

Выпивъ свой стаканъ чаю у себя въ кабинетѣ, Бургардтъ отправился въ мастерскую. Ему показалось, что онъ въ чемъ-то виноватъ передъ Гаврюшей, даже больше — онъ чувствовалъ себя его тайнымъ сообщникомъ,

потому что Гаврюша тоже любитъ... Конечно, проявленіе чувства у Гаврюши выразилось въ болѣе интенсивныхъ формахъ, но вѣдь это не мѣшало сущности дѣла оставаться одной и той же. Потомъ, своя собственная работа для Бургардта являлась сейчасъ совершенно въ иномъ свѣтѣ, — она скрашивалась мыслью о любимомъ человѣкѣ, точно онъ работалъ сейчасъ для двоихъ. Мысль о конченности казалась ему сейчасъ просто смѣшной и нелѣпой.

— Ну, какъ у васъ подвигается работа? — спрашивалъ Бургардтъ своего ученика, чувствуя фальшь въ собственномъ голосѣ.

— Все то же... — мрачно отвѣтилъ Гаврюша, глядя на учителя исподлобья...

Бургардтъ, увлеченный своимъ настроеніемъ, хотѣлъ сдѣлать нѣсколько указаній, но во-время вспомнилъ о ненависти Гаврюши и удержался. Бѣдный юноша, вѣроятно, тоже работалъ для двоихъ.

Сегодня свои собственныя работы Бургардту показались въ нѣсколько иномъ свѣтѣ. Право, нѣкоторыя вещи были не дурны... Взять хоть ту же Марину. Конечно, нужно было докончить аксессуары, поправить немного посадку, какъ справедливо замѣтилъ Красавинъ, а детали выработаются сами собой. Бюстъ Ольги Спиридоновны подождетъ — до весенней выставки еще далеко.

Въ этомъ бодромъ настроеніи Бургардтъ явился къ завтраку и только тутъ вспомнилъ, что Анита не вышла утромъ даже поздороваться съ нимъ, какъ это дѣлала обыкновенно. Миссъ Гудъ тоже смотрѣла въ сторону, на что уже не имѣла рѣшительно никакого основанія.

„Что съ ними?“ — удивлялся Бургардтъ про себя, напрасно стараясь принять непринужденный тонъ.

У Бургардта явилась даже малодушная мысль о докторѣ Гаузерѣ, точно старикъ все могъ устроить. Анита, очевидно, дулась, хотя не имѣла на это рѣшительно никакого права. Она приняла по отношенію къ отцу какой-то офиціальный тонъ и многозначительно переглядывалась съ миссъ Гудъ, когда онъ разсказывалъ о вчерашнемъ спектаклѣ въ Озеркахъ.

„Эге, начинается бабій бунтъ“, — подумалъ Бургардтъ, наблюдая своихъ женщинъ.

Да, у женщинъ въ нѣкоторые моменты является просто какая-то проворливость, онѣ, какъ пчелы, предчувствуютъ самое появленіе соперницы. Почему, напримѣръ, Анита раньше ничего не замѣчала, хотя онъ пропадалъ изъ дому иногда по нѣскольку дней? Вѣроятно, у него что-нибудь есть въ выраженіи лица или въ манерѣ себя держать. Однимъ словомъ, чувствовался другой человѣкъ. Бургардту казалось, что даже и горничная какъ будто смотритъ на него другими глазами. Не замѣчая за собой, Бургардтъ проявлялъ въ то же время совершенно необычную для него угодливость, какъ поступаютъ виноватые мужья.

Послѣ завтрака онъ поступилъ уже совсѣмъ безтактно. Обыкновенно онъ отдыхалъ у себя въ кабинетѣ съ часъ, пробѣгая газеты. Сегодня онъ измѣнилъ своему обыкновенію и остался въ столовой, чтобы поговорить съ Анитой.

— Ну, какъ, дѣтка, мы будемъ устраиваться съ нашимъ лѣтомъ? — спрашивалъ онъ фальшивымъ голосомъ. — Теперь миссъ Гудъ пріѣхала, и мы можемъ гдѣ-нибудь взять хвостикъ лѣта...

Анита посмотрѣла на него удивленными глазами и улыбнулась улыбкой обманутой женщины.

— Лѣто прошло, папа, и объ этомъ не стòитъ говорить...

— Мы можемъ уѣхать на осень въ Крымъ или за границу...

— Ты забылъ, что у меня есть гимназія, а тебѣ придется работать для весенней выставки... Ты, какъ я замѣчаю, папа, начинаешь лѣниться...

— А вѣдь ты, Анита, права... да...

Бургардтъ вынужденно засмѣялся и поцѣловалъ Аниту, чтò миссъ Гудъ не понравилось. Положимъ, поцѣлуй отца, но Анита уже въ такомъ возрастѣ, когда съ поцѣлуями нужно обращаться осторожно. Анита продолжала оставаться холодной, и Бургардтъ опять вспомнилъ про старика Гаузера, который не являлся точно на зло.

Цѣлый день Бургардтъ провелъ очень тревожно и едва дождался вечера, когда условился быть у миссъ Мортонъ. Онъ и страстно желалъ этого свиданія и чего-то смутно боялся. До сихъ поръ онъ еще не былъ ни разу у нея съ визитомъ. Она жила на Большой Морской, въ какихъ-то меблированныхъ комнатахъ. Раза три Бургардтъ проѣзжалъ мимо и не могъ рѣшиться нанести визитъ. Почему — онъ и самъ не могъ себѣ объяснить. Но сегодня онъ долженъ былъ ѣхать къ ней, потому что такъ было условлено, и въ записной книжкѣ миссъ Мортонъ стояла лаконическая фраза: „Завтра я васъ жду“... Какъ она его встрѣтитъ? Онъ напрасно старался представить себѣ выраженіе ея лица, ея глаза, улыбку. Даже то, чтò случилось вчера въ саду, начинало казаться ему какимъ-то сномъ. Это было какое-то безумное счастье, отъ одной мысли о которомъ у него захватывало дыханіе. Нѣтъ, онъ счастливъ, какъ молодой богъ... Къ чорту всѣ сомнѣнія! Жизнь человѣческая такъ коротка, и ни одно солнце не поднимается во второй разъ. А вѣдь люди больше всего боятся именно собственнаго счастья, какъ слѣпые, когда имъ снимутъ катарактъ, боятся дневного свѣта.

Бургардтъ отправился на Морскую часовъ въ девять вечера. Анита видѣла, что онъ уѣзжаетъ, но не спросила, куда онъ ѣдетъ, зачѣмъ и надолго ли. Онъ вышелъ изъ своей квартиры съ чувствомъ вора, который уноситъ съ собой самое дорогое и боится, что его кто-нибудь остановитъ на дорогѣ. Только на улицѣ онъ вздохнулъ свободнѣе. Жаръ свалилъ. Съ моря громоздившимися облаками надвигалась гроза. Подъѣзжая къ Морской, Бургардтъ слышалъ первый ударъ грома. У него мелькнула малодушная мысль о бѣгствѣ, — вѣдь можно послать письмо, что некогда или что-нибудь въ этомъ родѣ.

Она была дома и встрѣтила его въ передней. Первое впечатлѣніе, которое непріятно подѣйствовало на него — это запахъ какихъ-то крѣпкихъ восточныхъ духовъ. У миссъ Мортонъ было три комнаты, устроенныхъ, какъ бонбоньерки, чтò тоже не понравилось Бургардту.

— Я такъ ждала... — объясняла она, не сопротивляясь его ласкамъ.

Онъ точно опьянѣлъ отъ одного взгляда на нее, и ему показалось, что онъ уже раньше бывалъ вотъ въ этихъ комнатахъ, знаетъ всю обстановку, всѣ привычки хозяйки и что никогда не уйдетъ отсюда.

Бургардтъ замѣтилъ, что сегодня у нея шевелились губы, точно она что-то повторяла про себя. Но развѣ нужны были слова, когда такъ краснорѣчиво блестѣли эти глаза... И онъ еще могъ колебаться, могъ въ чемъ-то сомнѣваться, раздумывать, — онъ больше уже не принадлежалъ самому себѣ.

— Милая, милая, милая... — шепталъ онъ, теряя всякое чувство дѣйствительности. — Я тоже ждалъ и много думалъ, и былъ счастливъ, что могу думать о тебѣ...

Все время визита Бургардта безпокоила мысль о старухѣ Мортонъ. Ему даже казалось, что она сидитъ въ сосѣдней комнатѣ, но миссъ Мортонъ какимъ-то чутьемъ угадала его мысли и, не дожидаясь неловкаго вопроса, предупредила, что „мама въ Лондонѣ". Бургардтъ вздохнулъ свободно, хотя и не желалъ оставаться въ этихъ комнатахъ, въ которыхъ было что-то подозрительное.

— Мы ѣдемъ на острова? — предложилъ онъ.

Она согласилась и вопросительно посмотрѣла на него.

XXXIII.

Докторъ Гаузеръ попрежнему бывалъ у Бургардта довольно часто, но какъ-то случалось такъ, что онъ появлялся именно въ тѣ часы, когда хозяина не было дома. Можетъ-быть, это была простая случайность, но миссъ Гудъ это не нравилось, и она не отпускала отъ себя Аниты. Старикъ проявлялъ по отношенію къ ней особенную внимательность и даже привозилъ конфеты, причемъ миссъ Гудъ краснѣла и строго говорила доктору:

— Это лишнее, г. Гаузеръ... да. Вы испортите характеръ Аниты...

Анита очень удивлялась, что конфеты привозились именно ей, но находила такой обычай очень хорошимъ, потому что любила конфеты. Потомъ у нея явилось сомнѣніе въ адресѣ, по которому приносились въ ихъ домъ конфеты, и она начала слѣдить за поведеніемъ своего стараго друга. Закончилось это наблюденіе открытіемъ, что старикъ Гаузеръ влюбленъ въ миссъ Гудъ. Анита въ этомъ не сомнѣвалась, хотя и молчала съ лукавствомъ маленькой обезьянки.

Но появилось и неопровержимое доказательство. Разъ утромъ Анита ворвалась въ кабинетъ къ отцу вся красная отъ душившаго ее смѣха.

— Папа, милый, посмотри, что̀ это такое...

Она подала отцу листокъ почтовой бумаги съ виньеткой изъ незабудокъ. Онъ былъ исписанъ убористымъ старческимъ почеркомъ, и въ заголовкѣ стояло: *къ ней.*

— Что̀ это такое? — удивлялся Бургардтъ.

— Прочитай, папочка... Это ужасно смѣшно.

Это было самое удивительное произведеніе, какое только случалось Бургардту когда-нибудь читать.

„Я былъ степнымъ вѣтромъ,
Я поднимался утреннимъ туманомъ,
Я падалъ на истомившуюся отъ зноя землю дождемъ,
Я былъ соловьиной трелью и хрипѣньемъ умирающаго,
Я летѣлъ на небо птицей и рычалъ въ лѣсу звѣремъ,
Я былъ голубымъ цвѣточкомъ въ рукахъ невинной дѣвушки,
Я заглядывалъ въ ея спальню лучомъ утренняго солнца, —
Я былъ всѣмъ, потому что я — все...
Я — все, потому что полюбилъ тебя,
Я любилъ тебя, когда еще ты не родилась на свѣтъ".

Подъ этимъ наборомъ фразъ стояла черта и подъ ней приписка, сдѣланная другой рукой:

„И я плакалъ... какъ старый швейцарскій сыръ!"

Бургардтъ прочиталъ нѣсколько разъ написанное и, возвращая листокъ Анитѣ, проговорилъ:

— Это бредъ какого-то сумасшедшаго...

— Нѣтъ, папочка, это писалъ Гаузеръ... Написалъ и забылъ въ сто-

ловой на столѣ. Можетъ-быть, онъ это сдѣлалъ съ намѣреніемъ... А послѣ него приходилъ Сахановъ, прочиталъ и сдѣлалъ приписку. Ты узнаешь его руку?

— Да, да... Теперь и я начинаю понимать: старикъ хотѣлъ пошутить...

— Нѣтъ, папа, онъ писалъ серьезно...

Бургардтъ засмѣялся въ свою очередь, когда Анита ушла. Милый старикашка былъ влюбленъ, но не могъ никакъ поладить съ рифмами и притомъ написалъ по-русски, а миссъ Гудъ читала только по-англійски. Всего вѣроятнѣе, что это былъ только конспектъ для будущаго произведенія, и старикъ просто забылъ его въ столовой. Примѣчаніе Саханова заставило Бургардта хохотать до слезъ.

— Вотъ комики! — повторялъ онъ.

По-настоящему слѣдовало бы вернуть этотъ листочекъ автору, но это было невозможно, благодаря примѣчанію Саханова.

„Да, любовь всесильна... — думалъ Бургардтъ. — Бѣдный Гауеръ!.. Онъ опоздалъ какъ разъ на тридцать лѣтъ...“

По пути Бургардтъ припоминалъ, что и самъ онъ тоже опоздалъ лѣтъ этакъ на пятнадцать. Ему начинали иногда приходить въ голову мысли о старости. Да, она близилась, безпощадная, холодная, жалкая въ собственномъ безсиліи... Это особенно чувствовалось, когда миссъ Мортонъ смотрѣла на него такими пытливыми глазами. Она, вообще, держалась неровно, и бывали такіе дурные дни, когда точно замерзала. Сядетъ куда-нибудь въ уголокъ, закутается въ шаль и точно ничего не видитъ, что̀ дѣлается кругомъ. По отношенію къ Бургардту эта неровность проявлялась особенно рельефно. То она ласкалась, какъ котенокъ, то смотрѣла на него совсѣмъ чужими глазами, точно удивлялась, что онъ въ одной комнатѣ съ ней.

Бургардтъ бывалъ теперь на Морской каждый день и часто мучился совершенно нелѣпыми вещами. Такъ, мысль о старухѣ Мортонъ положительно его убивала. А если она не въ Англіи, а гдѣ-нибудь въ Петербургѣ, чего могла не знать и сама дочь? Можетъ-быть, съ другой стороны, что она потихоньку навѣщаетъ дочь, что̀ тщательно скрывается обѣими вмѣстѣ. Въ самой обстановкѣ комнатъ чувствовалось что-то подозрительное и то неуловимое нѣчто, когда люди живутъ не по средствамъ или добываютъ ихъ какимъ-нибудь нелегальнымъ путемъ. Кстати, о средствахъ онъ какъ-то раньше совсѣмъ не думалъ. Чѣмъ живетъ, въ самомъ дѣлѣ, эта миссъ Мортонъ? Спросить ее прямо объ этомъ онъ не рѣшался.

— Эта обстановка хозяйки комнатъ, — объяснила однажды дѣвушка, угадывая мысли Бургардта.

Вотъ вамъ и разгадка: зачѣмъ было старухѣ Мортонъ прятаться, когда она могла взять комнату для себя отдѣльно, чтобы не компрометировать своимъ присутствіемъ дочь. Но вѣдь за комнату нужно платить, деньги нужны на костюмы и просто на мелочные расходы? Потомъ Бургардтъ замѣтилъ у миссъ Мортонъ нѣсколько очень дорогихъ бездѣлушекъ, какъ брошь и серьги съ изумрудами, кольца и браслеты, и ему было непріятно, что она прятала ихъ отъ него, какъ ему, впрочемъ, казалось, а въ дѣйствительности могло выходить и случайно. Бургардтъ замѣтилъ, что всѣ эти бездѣлушки совершенно новыя, сдѣланныя по спеціальнымъ рисункамъ. Однимъ словомъ что-то было, чего онъ не понималъ, какъ не понималъ иногда холоднаго выраженія лица миссъ Мортонъ, какого-то особеннаго способа щурить глаза и особенно улыбаться. Послѣдняя особенность серьезно его огорчала, точно

каждая такая улыбка убивала миссъ Мортонъ, которую онъ такъ безумно любилъ.

Разъ, встрѣтивъ на улицѣ Васяткина, Бургардтъ остановилъ его.

— Ужасно тороплюсь, Егоръ Захаровичъ, — предупредилъ его Васяткинъ. — Представьте себѣ: Ивановъ умеръ... да... Завтра похороны.

— Какой Ивановъ?

— Ахъ, какой вы... Ну, онъ постоянно бывалъ у Кюба и на скачкахъ. Его всѣ ресторанные татары знаютъ... Онъ, кажется, игралъ на биржѣ. И вдругъ... да... Не желаете ли сигарку? Ахъ, да, послѣдняя новость: вы, конечно, читали статью Саханова? Вотъ это называется взять быка за рога...

— Развѣ она напечатана? Т.-е. онъ говорилъ мнѣ, что будетъ печатать осенью какую-то статью о меценатахъ...

— Не утерпѣлъ и напечаталъ, а осенью будетъ другая. И какъ написана!.. За границей одна такая статья сдѣлала бы человѣку имя. Нѣмцы кричали бы: „пирамидаль! колоссаль!..". И замѣтьте, какъ остроумно сдѣлано самое заглавіе: „Меценатъ въ искусствѣ", а не „меценаты".

— Въ чемъ же тутъ остроуміе?

— Очень просто: назови онъ „меценаты" — каждый думалъ бы, что это написано про другихъ, а теперь каждый будетъ думать, что это именно про него. Жаль, что нѣтъ Красавина, а я ему уже приготовилъ одинъ экземплярчикъ... Ха-ха!.. Интересно будетъ посмотрѣть на его физіономію, когда онъ прочтетъ статью. Кстати, тамъ есть нѣкоторые намеки и по вашему адресу. Очень тонкіе намеки, правда, но можно узнать.

Когда они уже прощались, Бургардтъ спросилъ какъ будто между прочимъ:

— Скажите, пожалуйста, Алексѣй Иванычъ, вѣдь вы знаете все на свѣтѣ... Мнѣ давеча показалось, что я встрѣтилъ старуху Мортонъ.

— Позвольте: старуху Мортонъ... Это мать нѣмушки? Нѣтъ, она въ Англіи... Была, но уѣхала. Впрочемъ, о комъ мы говоримъ? Я могу перепутать... Были двѣ старухи Мортонъ, обѣ англичанки и у каждой по красавицѣ дочери. Вѣдь въ этомъ міркѣ псевдонимы переходятъ изъ рукъ въ руки, какъ имена скаковыхъ лошадей.

Бургардтъ едва отвязался отъ этого болтуна. Онъ замѣтилъ, что въ послѣднее время его начали раздражать старые друзья. Ну что такое сами по себѣ вотъ этотъ Васяткинъ или Сахановъ, — чѣмъ дальше отъ нихъ, тѣмъ лучше. Сахановъ хоть умный человѣкъ, а Васяткинъ уже совсѣмъ негодяй. Даже если взять Красавина, то и онъ самая подозрительная личность. Къ числу удивительныхъ особенностей послѣдняго принадлежало то, что онъ не сердился на оскорбленія, какъ было въ тотъ пикникъ, когда Бургардтъ спьяна наговорилъ ему какихъ-то дерзостей. Положимъ, что на пьяныхъ людей нельзя сердиться, но тутъ было и нѣчто другое, что понялъ Бургардтъ изъ поведенія новой миссъ Гудъ, именно, развѣ сердятся на людей „услужающихъ", которыхъ, когда они не нужны, просто выгоняютъ, а въ обыкновенное время игнорируютъ. Статья Саханова какъ-то не выходила изъ головы Бургардта, и онъ часто думалъ о ней. Что же, что правда, то правда... Конечно, Сахановъ пересолилъ и съ излишнимъ усердіемъ подтасовалъ факты, а все-таки, если разобрать, и т. д.

Встрѣча Васяткина произвела на Бургардта самое непріятное впечатлѣніе, а вернувшись домой, онъ засталъ чуть не драку.

Еще въ передней человѣкъ Андрей, принимая пальто, заявилъ съ ироніей:

— Ихъ превосходительство изволили весьма взбунтоваться... ругаютъ господина Саханова на чемъ свѣтъ стоитъ.

Изъ кабинета доносился крикливый голосъ доктора Гаузера. По дорогѣ Бургардтъ видѣлъ, какъ Анита подслушивала изъ гостиной и скрылась въ столовую, когда увидѣла его.

— Въ васъ нѣтъ ничего священнаго... да!—кричалъ докторъ, размахивая роковымъ листочкомъ со стихами.

— Во-первыхъ, я не церковный сторожъ!—совершенно спокойно отвѣчалъ Сахановъ, сидя на диванѣ.—Во-вторыхъ, это не обязательно

— А... а... а... не обязательно?!—визжалъ старикъ, наскакивая на Саханова, какъ пѣтухъ.—А я обязанъ быть старымъ швейцарскимъ сыромъ? Я никогда не былъ старымъ швейцарскимъ сыромъ! Я—старый честный баварецъ, у меня есть свой король, я даже не бывалъ въ Швейцаріи!

— Вы перепутываете, мейнъ герръ!—невозмутимо отвѣчалъ Сахановъ, раскуривая сигару.—Я написалъ: „какъ“ старый швейцарскій сыръ. Это только сравненіе, которое допускается всѣми учителями словесности. Затѣмъ, самъ по себѣ сыръ—вещь очень вкусная и для желудка полезная, и наконецъ слезы доказываютъ только высокую чувствительность души и великое преимущество надъ нами всякой женщины. Вообще, я чувствую себя правымъ.

— Развѣ хорошо читать чужія письма?

— Это было не чужое письмо, а просто, выражаясь юридически, res nullius. Прибавьте къ этому, что я очень уважаю васъ, и что примѣчаніе, говоря между нами, довольно остроумно, что очень рѣдко встрѣчается въ наше безцвѣтное время.

— Я знаю, что вы—остроумный человѣкъ, но въ васъ не осталось ничего священнаго!—упрямо повторялъ докторъ и даже топалъ ногами.—Вы—погибшій человѣкъ!

Бургардтъ оставилъ друзей ссориться, сколько имъ угодно, а самъ отправился сдѣлать выговоръ Анитѣ за ея предательство. Это, кажется, былъ еще первый серьезный выговоръ, который онъ дѣлалъ дочери. Она выслушала его съ удивленными глазами и, повидимому, осталась при своемъ коварствѣ. У нея на лицѣ появилось такое же упрямое выраженіе, какъ у Гаврюши. Бургардтъ только махнулъ рукой и отправился къ себѣ въ кабинетъ, откуда уже слышался смѣхъ Гаузера. Недавніе враги сидѣли на диванѣ рядомъ, и Сахановъ, хлопая хохотавшаго старика по колѣнкѣ, объяснялъ что-то такимъ тономъ, какимъ говорятъ съ дѣтьми.

— Охъ, я умираю!—стоналъ докторъ.—Это невозможный человѣкъ! Это чудовище!

— Вы не подумайте, что я сказалъ что-нибудь дѣйствительно остроумное...—предупреждалъ Сахановъ Бургардта тѣмъ же тономъ.—А только получилась очень оригинальная комбинація. Милый докторъ прямо отбиваетъ хлѣбъ у декадентовъ. Влюбиться въ человѣка, который еще не родился, даже не былъ еще въ зародышевомъ состояніи...

— Позвольте, господинъ Сахановъ!—перебивалъ его докторъ.—Вы человѣкъ развратный и не можете понять самой простой вещи. Докторъ Гаузеръ былъ молодъ и бѣденъ и встрѣтилъ дѣвушку молодую, красивую и бѣдную. Да? У доктора Гаузера былъ только умъ, и этотъ умъ сказалъ ему: „Не дѣлай красивую, молодую, бѣдную дѣвушку несчастной...“ Такъ? Докторъ Гаузеръ остался старымъ холостякомъ и потомъ, черезъ тридцать лѣтъ, опять встрѣчаетъ ее—ту самую бѣдную, молодую, красивую дѣвушку, которую разъ

уже любилъ. И сердце (тогда говорилъ больше умъ доктора Гаузера) доктора Гаузера сказало:

„Я любилъ тебя, когда ты еще не родилась на свѣтъ...“

— Да... это совершенно новая форма любви, не предусмотрѣнная даже учебниками словесности! Это цѣлое открытіе, и всѣ декаденты ахнули бы отъ неожиданности такой комбинаціи. Да, милый докторъ Гаузеръ. И я даю только съ своей стороны опредѣленіе этому новому чувству: любовь-продіусъ. На скачкахъ есть такой призъ, который называется „продіусъ“—то-есть записываютъ на призъ еще не родившихся лошадей, но предполагаемыхъ по нѣкоторымъ даннымъ къ рожденію именно въ такомъ-то году. Простите за грубую аналогію, но другой я не могъ подыскать.

— Господи, развѣ можно говорить съ такимъ человѣкомъ?—стоналъ докторъ Гаузеръ.

Бургардтъ только пожалъ плечами. Онъ рѣшительно ничего смѣшного не находилъ въ шутовствѣ Саханова и не могъ никакъ понять веселаго настроенія стараго доктора. Объясненіе могло быть одно: старикъ впадалъ въ дѣтство.

Вечеромъ, прощаясь съ отцомъ, Анита тихонько шепнула ему на ухо:

— Милый папочка, я понимаю, что поступила дурно, но не могла удержаться.

— А я забылъ тебѣ сказать еще одно: каждая глупость ведетъ съ собой слѣдующую. Не слѣдовало передавать письмо доктору, а затѣмъ еще больше не слѣдовало подслушивать, какъ они будутъ ссориться. Наконецъ, ты ставишь въ глупое положеніе людей, которые имѣютъ право на извѣстное уваженіе.

— И Сахановъ?—спросила Анита, дѣлая удивленное лицо.

— Да... и Сахановъ.

Это объясненіе только прибавило горечи. Бургардтъ еще раньше замѣтилъ у Аниты скептическое отношеніе къ артистамъ, художникамъ и вообще къ его друзьямъ, въ которыхъ она видѣла только однѣ слабыя стороны. Въ ней начинало сказываться чисто-русское неуваженіе къ именамъ, больше—желаніе ихъ унизить, развѣнчать и, вообще, уничтожить, какъ ребенокъ уничтожаетъ свои игрушки.

XXXIV.

Миссъ Мортонъ иногда куда-то уѣзжала, и это волновало Бургардта. Ей одной было трудно ѣздить, значитъ, она ѣздила съ кѣмъ-нибудь. Нѣсколько разъ Бургардтъ оставлялъ въ ея квартирѣ свою визитную карточку, и она каждый разъ объясняла ему одно и то же:

— Я была въ Озеркахъ, у Марины Игнатьевны. Мнѣ скучно сидѣть одной по цѣлымъ днямъ.

Съ этимъ объясненіемъ нельзя было не согласиться. Бачульская продолжала, очевидно, сердиться на него, не пріѣзжала сама и не приглашала къ себѣ. Бѣдная ревновала его. Но—съ другой стороны—онъ совершенно не могъ понять, какъ она могла ухаживать за миссъ Мортонъ, которую считала своей соперницей? Это уже выходило совсѣмъ не по-женски. Есть вещи, которыхъ самыя идеальныя женщины не прощаютъ. А миссъ Мортонъ разсказывала, какъ Марина Игнатьевна ее любитъ и скучаетъ, если она нѣсколько дней не бываетъ у ней.

— А вы ее любите?—спросилъ какъ-то Бургардтъ.

Миссъ Мортонъ посмотрѣла на него и только улыбнулась. Бургардтъ почему-то днемъ говорилъ ей всегда „вы“ и только вечеромъ переходилъ на „ты“. Ее это забавляло, а для него оставалось загадкой, чему она иногда улыбается.

Разъ онъ захотѣлъ ее провѣрить и по горячему слѣду отправился въ Озерки. Миссъ Мортонъ оказалась у Бачульской, но онъ не пошелъ къ нимъ, чтобы не выдавать своей неудавшейся ревности. Кто пойметъ двухъ женщинъ, которыя любятъ одного и того же мужчину?

Дня черезъ три Бургардтъ встрѣтилъ Бачульскую въ Петербургѣ. Она поздоровалась съ нимъ довольно сухо и проговорила:

— Егорушка, вы держите себя, какъ гимназистъ шестого класса. Пріѣзжаете incognito въ Озерки, чтобы узнать, у меня ли миссъ Мортонъ. Представьте себѣ мое положеніе, когда моя прислуга докладываетъ мнѣ, что видѣла васъ, какъ вы разспрашивали дворника.

— Да... это было...—признался Бургардтъ.—Думаю, что не нужно ставить надъ I точку? А вотъ почему вы не хотите бывать у меня?

— Я? О, сто и одна причина, какъ отвѣчалъ какой-то комендантъ, когда сдалъ свою крѣпость непріятелю, и сказалъ, что первая причина была та, что у него не было пороха. Его просили не продолжать перечисленія послѣдовавшихъ отсюда дальнѣйшихъ причинъ.

— Comparaison n'est pas raison.

— Вы хотите знать? Извольте. Ваша Анита меня ненавидитъ, и мнѣ это больно чувствовать. У васъ есть новая миссъ Гудъ, которая ненавидитъ меня заочно. Наконецъ, я не хочу бывать въ домѣ, гдѣ все наполнено другой женщиной. Да, я ревнива, я—Медея! Скажу больше: васъ удивляетъ, почему я ухаживаю за миссъ Мортонъ? Ахъ, въ этомъ есть... непонятное вамъ... жгучее удовольствіе—наслаждаться собственными муками, отравлять себя каждую минуту. Когда пытали Равальяка, вливая горячее масло въ его раны, онъ кричалъ: „Сильнѣе! Сильнѣе!“. Однимъ словомъ, вы этого не поймете, мой дорогой другъ.

— Марина Игнатьевна, что вы говорите? Опомнитесь!

— Какой трогательный совѣтъ! Вѣдь женщина должна быть только красивой и пикантной, а горе ее старитъ и дѣлаетъ безобразной. Вы правы, мой другъ. Сумасшествіе никогда не можетъ быть красивымъ. Меня можетъ вылѣчить только ваша женитьба. Видите, какъ я говорю откровенно и прямо. Бѣдняжка васъ такъ трогательно любитъ. Она мнѣ разсказываетъ все и часто плачетъ.

— О чемъ

— Отъ счастья! Она любитъ... а любовь—это судъ Божій. Да! Наконецъ, Егорушка, вы должны ее пощадить и не компрометировать своими ухаживаньями. Для дѣвушекъ существуетъ спеціальное уложеніе о наказаніяхъ.

— Вы серьезно совѣтуете мнѣ жениться, Марина Игнатьевна?

— О, да! Я этого даже требую. Вы сдѣлаетесь совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Въ послѣднее время вы работали вяло, а присутствіе любимой женщины воодушевитъ васъ, вдохнетъ новыя силы. Вѣдь соловей поетъ только для своей жены, для нея же павлинъ распускаетъ свой хвостъ...

— И для нея же олень носитъ свои великолѣпные рога?

Простившись, Бачульская вернулась и, взявъ Бургардта за руку, надѣла ему на мизинецъ маленькое колечко въ формѣ змѣйки съ рубиновыми глазками и брильянтомъ въ раскрытой пасти.

— Даръ Медеи...—прошептала она, улыбаясь.

Бургардту сдѣлалось ея жаль, и онъ долго провожалъ глазами извозчичью пролетку, гремѣвшую по мостовой. Да, у женщинъ есть страшный недостатокъ—всѣ онѣ напоминаютъ одна другую, какъ монеты одного чекана. Даже горе не дѣлаетъ ихъ разнообразнѣе. Марина Игнатьевна только повторила то, что ему говорили другія женщины. Да, онѣ тоже кончали великодушіемъ, когда ничего другого не оставалось. Бѣдная Марина Игнатьевна!

Мысль о женитьбѣ приходила Бургардту нѣсколько разъ и безъ совѣта Бачульской. Но для ея реализаціи у него просто не хватало смѣлости. Доходило до того, что онъ представлялъ себѣ обиженное лицо человѣка Андрея, который, конечно, не одобритъ женитьбы на нѣмушкѣ. А тамъ—Анита, миссъ Гудъ, Гаврюша, добрые знакомые...

„Вотъ нѣтъ Шипидина!"—подумалъ Бургардтъ, привыкшій въ трудныя минуты своей жизни хотя заочно обращаться къ неизмѣнному старому другу.—Онъ бы разсудилъ и рѣшилъ все сразу.

Дома Бургардта какъ-то все начало теперь раздражать, и онъ дѣлался придирчивымъ, что было уже совсѣмъ не въ его характерѣ. Вообще, онъ жилъ сейчасъ раздвоенной жизнью, и дома у себя ему казалось пусто. Какой-нибудь выходъ изъ такого ненормальнаго положенія долженъ былъ быть, и нормальный здоровый человѣкъ давно бы его отыскалъ. Самимъ собой Бургардтъ чувствовалъ себя только на Морской, и въ одинъ изъ визитовъ къ миссъ Мортонъ у него явилась счастливая мысль, именно, отчего бы не съѣздить куда-нибудь вдвоемъ, стряхнувъ съ себя эти сѣрые будни. Побыть вдвоемъ нѣсколько дней, внѣ всякихъ условій, внѣ раздражающихъ мелочей, внѣ той наутины, которой опутала жизнь каждаго. Да, это была счастливая мысль.

— Если бы мы съѣздили на Иматру?—предложилъ Бургардтъ, когда миссъ Мортонъ приняла скучающій видъ.

Она какъ-то вздрогнула и посмотрѣла на него удивленными большими глазами, а потомъ улыбнулась своей загадочной улыбкой.

— Дня на два, на три...—продолжалъ свою мысль Бургардтъ.—Будемъ совершенно одни! Да, хорошо?

Она какъ-то боязливо прижалась къ нему и долго держала его руку въ своихъ рукахъ. Потомъ въ записной книжкѣ появился отвѣтъ:

— Какъ хочешь!

На нее находили минуты такой милой покорности, когда она точно боялась кого-то разбудить.

— Главное... никого-никого знакомыхъ...—объяснялъ Бургардтъ.—Совершенно одни... Горы, лѣсъ, чудныя озера... Ахъ, какъ мы будемъ счастливы, когда будемъ чувствовать себя совершенно свободными и весь міръ на время исчезнетъ для насъ. Вѣдь это называется счастьемъ.

Записная книжка отвѣтила той же фразой:

— Какъ хочешь, милый.

Какъ всѣ безхарактерные люди, Бургардтъ, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, рѣшилъ, что они выѣдутъ завтра же.

— Какъ хочешь, милый.

— Да, я этого именно хочу! Каждый человѣкъ имѣетъ право быть самимъ собой хоть два-три дня.

Мысль объ этой поѣздкѣ точно опьянила Бургардта, хотя дома онъ и не сказалъ прямо, куда ѣдетъ и на сколько времени. Явилась та маленькая

домашняя ложь, которая окутываетъ нашу жизнь и гнѣздится въ каждой комнатѣ, какъ паутина по угламъ. Анита сдѣлала видъ, что ей все равно— это тоже была маленькая домашняя ложь. Дѣвочка выдержала характеръ и не стала разспрашивать, куда онъ ѣдетъ. Она знала только одно, что онъ ѣдетъ не одинъ.

Бургардтъ ужасно торопился, точно человѣкъ, который въ первый разъ рѣшается ѣхать по желѣзной дорогѣ и боится опоздать, потерять багажъ и пропустить какой-то роковой срокъ. Когда онъ заѣхалъ на слѣдующій день за миссъ Мортонъ, она встрѣтила его съ равнодушной усталой улыбкой.

— Вы, кажется, не рады этой поѣздкѣ?—участливо спрашивалъ ее Бургардтъ.

— Нѣтъ, рада!—совершенно равнодушно объяснила она.

Бургардтъ боялся какой-нибудь неожиданной встрѣчи съ кѣмъ-нибудь изъ своихъ многочисленныхъ знакомыхъ, пока поѣздъ идетъ до Выборга, — рѣшилъ впередъ, что упорно будетъ сидѣть въ вагонѣ. Но на Финляндскомъ вокзалѣ уже встрѣтился знакомый докторъ, ни имени ни фамиліи котораго онъ не зналъ.

— На дачу?—спрашивалъ докторъ, походившій на купца съ Сѣнной, и, не дожидаясь отвѣта, прибавилъ съ улыбкой:—А я тоже на дачу и нагруженъ, какъ верблюдъ.

Онъ глазами показалъ на картонки и свертки, которые держалъ въ обѣихъ рукахъ.

— До свиданія!—прощался онъ.—Какъ видите, я добросовѣстно исполняю роль дачнаго мужа.

Это еще было милостиво. Докторъ былъ мало знакомъ, и встрѣча не могла имѣть угрожающаго характера. Другое дѣло, если встрѣтить Саханова, Бахтерева или Бачульскую. Самое опасное было доѣхать до границы Финляндіи, а тамъ уже дачныя мѣста дѣлаются рѣже и публика больше финская. Бургардтъ замѣтилъ, что и миссъ Мортонъ волновалась и тревожно поглядывала на желѣзнодорожную публику. Впрочемъ, она успокоилась, когда поѣздъ миновалъ Озерки. Бургардтъ смотрѣлъ въ окно вагона и вспомнилъ почему-то покойную миссъ Гудъ, которая всегда любила Финляндію. Сколько разъ они ѣздили вмѣстѣ вотъ по этой самой дорогѣ, а теперь старушка лежитъ на своемъ кладбищѣ. Миссъ Мортонъ точно понимала мысли Бургардта и, когда при выѣздѣ изъ Петербурга направо мелькнула колокольня католическаго кладбища, показала ему на нее и сдѣлала грустное лицо. Когда поѣздъ проходилъ мимо Озерковъ, Бургардтъ молча показалъ на блеснувшее въ зелени озеро. Смерть и жизнь шли рука объ руку.

До самаго Выборга не случилось ничего особеннаго. Толстякъ-докторъ выскакивалъ на каждой станціи, гдѣ былъ буфетъ, и торопливо что-нибудь ѣлъ.

— Люблю чухонцевъ!—объяснялъ онъ Бургардту, когда тотъ вышелъ въ буфетъ купить бутылку лимонада.—Какъ ѣдятъ, какъ ѣдятъ... куда нашей Москвѣ! Нужно умѣть ѣсть, а здѣсь именно умѣютъ ѣсть.

Докторъ его точно преслѣдовалъ, и Бургардтъ напрасно ждалъ, когда онъ наконецъ исчезнетъ. Расчетъ, что онъ выйдетъ на какой-нибудь промежуточной станціи до Выборга—не оправдался. Въ Выборгѣ миссъ Мортонъ захотѣла прогуляться, чтобы подышать воздухомъ,—докторъ оказался опять въ буфетѣ и опять что-то ѣлъ.

„Это, наконецъ, свинство!“—подумалъ Бургардтъ.

Бургардтъ окончательно разсердился, когда, выѣзжая изъ Выборга на Иматру, онъ увидѣлъ торчавшую изъ окна вагона докторскую голову. Получалось что-то въ родѣ преслѣдованія, и Бургардтъ возненавидѣлъ ни въ чемъ неповиннаго представителя медицины.

„А, чортъ, вѣроятно, онъ тоже тащится на Иматру, а говорилъ, что ѣдетъ на дачу!“—думалъ Бургардтъ.

Миссъ Мортонъ была все время какая-то вялая, и Бургардтъ замѣтилъ, что она нюхаетъ воздухъ.

— Меня преслѣдуетъ запахъ моихъ любимыхъ духовъ Grab-Apple...— объяснила она въ своей книжкѣ.—Я чувствую, какъ у меня начинаетъ кружиться голова.

Конечно, это было отъ неподвижнаго сидѣнья въ вагонѣ.

XXXV.

На Иматру поѣздъ приходитъ около шести часовъ. День былъ великолѣпный. Съ вокзала они отправились пѣшкомъ. Бургардтъ сразу почувствовалъ себя такъ легко и хорошо, точно снялъ съ себя какую-то тяжесть. Онъ любилъ эту бѣдненькую финляндскую природу съ ея выцвѣтшими блеклыми красками и какимъ-то особеннымъ сѣрымъ тономъ, лежавшимъ на всемъ. Вѣдь есть красота и въ этихъ жиденькихъ лѣсахъ съ бахромой готическихъ стрѣлокъ, и въ свѣтлыхъ озерахъ, и въ бурныхъ потокахъ, и въ торчащихъ изъ земли валунахъ, точно позабытыхъ здѣсь какимъ-то гигантомъ-строителемъ, не успѣвшимъ докончить свою циклопическую постройку. Въ самомъ воздухѣ чувствовалась та особенная бодрящая свѣжесть, какую даетъ только сѣверное скупое лѣто. Близость любимаго человѣка точно освѣщала всю картину.

— Вамъ хорошо, миссъ Мортонъ?

— О, очень!

Она крѣпко опиралась на его руку и улыбалась.

Отъ станціи до главнаго отеля, стоявшаго надъ самымъ водопадомъ, было съ версту. Они остановились на легкомъ желѣзномъ мосту, который такъ смѣло былъ перекинутъ черезъ водопадъ. Внизу вода неслась бурнымъ потокомъ, свиваясь пѣнящимся клубомъ и бросая направо и налѣво шипящія волны, которыя съ какимъ-то бѣшенствомъ лѣзли на прибрежныя скалы. Дальше все сливалось въ одну пѣнящуюся массу, клокотавшую въ безумномъ порывѣ вырваться на волю. Собственно это былъ не водопадъ, а рядъ крутыхъ пороговъ.

Миссъ Мортонъ не могла оторвать глазъ отъ кружившейся внизу бездны и чувствовала, какъ у нея начинаетъ кружиться голова. Она крѣпко держалась за руку Бургардта, точно боялась броситься съ моста въ воду.

— Хорошо?—спрашивалъ онъ.

— Очень... Я совершенно счастлива!

Бургардтъ еще изъ Петербурга послалъ телеграмму въ отель на Иматрѣ, чтобы имъ оставили два номера. Прислуга ихъ встрѣтила на подъѣздѣ громаднаго деревяннаго зданія, напоминавшаго барскую дачу. Когда миссъ Мортонъ вошла въ свой номеръ, то поморщилась и объяснила, что здѣсь пахнетъ духами Grab-Apple, какъ давеча на желѣзной дорогѣ.

— Займите мой номеръ...—предлагалъ Бургардтъ, не чувствовавшій запаха модныхъ духовъ.

Въ его номерѣ, выходившемъ окнами прямо на водопадъ, миссъ Мортонъ нашла тотъ же преслѣдовавшій ее запахъ, хотя и въ меньшей степени.

До обѣда они долго гуляли по обоимъ берегамъ водопада, любуясь

бурной работой воды. У Бургардта явилась мысль о тщетѣ искусства изобразить хотя приблизительно всю подавляющую грандіозность разбушевавшейся стихіи. Музыка и скульптура оставались безсильны, а живопись оставалась плоской ложью, какъ опредѣлилъ ее Гейне. Можетъ-быть, искусство будущаго найдетъ новыя средства для осуществленія этой задачи. Книжка миссъ Мортонъ была вся исписана на эту тему, съ добавленіемъ, что и маленькое человѣческое счастье тоже недоступно искусству, хотя въ жизни каждаго человѣка случаются свои страшные водовороты и бурные моменты, восходитъ свое ясное солнце и наступаютъ благодатные теплые дни.

Кое-гдѣ по берегу бродили скучающіе туристы, въ лѣсу мелькали дамскіе зонтики, но настоящаго оживленія не чувствовалось. Русская публика не умѣетъ веселиться. Бургардтъ чувствовалъ себя безсовѣстно счастливымъ и старался избѣгать всякихъ встрѣчъ. Миссъ Мортонъ раскраснѣлась отъ ходьбы и свѣжаго воздуха. Въ книжкѣ появилась фраза: „Я тебя люблю очень!“

Они вернулись въ отель только къ восьми часамъ вечера, когда обѣдъ уже кончался. Имъ согласились подать только изъ особой любезности, какъ своимъ квартирантамъ. Бургардтъ петербургскимъ глазомъ сразу взвѣсилъ всѣ достоинства отеля, у котораго не было и тѣни чего-нибудь кабацкаго, какъ даже въ лучшихъ петербургскихъ ресторанахъ. Все было солидно и носило почти семейный характеръ. Въ общей залѣ на столикахъ лежали иллюстрированныя изданія и разные альбомы, вездѣ цвѣты, а среди нихъ стояли гипсовые бюсты знаменитыхъ финляндскихъ людей. Послѣднее носило самый трогательный характеръ. Маленькая страна съ такой материнской заботливостью относилась къ своимъ именамъ. Бургардтъ пожалѣлъ, что не могъ показать этого своей Анитѣ. Была и библіотека, гдѣ всѣ стѣны были украшены портретами, среди которыхъ находились и русскіе. Это являлось маленькой любезностью по отношенію къ метрополіи. Вообще, все было хорошо, кончая выдержанной приличной прислугой, которая не проявляла татарской угодливости и ресторяннаго холуйства.

Они заняли мѣсто на террасѣ, и первое, что замѣтилъ Бургардтъ, былъ опять толстякъ-докторъ, который что-то ѣлъ, уткнувшись лицомъ въ тарелку.

„Ну, пусть его ѣстъ...“—подумалъ Бургардтъ, на всякій случай садясь къ доктору спиной.

По финляндскому обычаю предъ обѣдомъ была подана опять закуска, и миссъ Мортонъ съ большимъ аппетитомъ принялась уничтожать какіе-то шведскіе консервы. Бургардтъ немножко былъ шокированъ этимъ,—для него ѣда, вообще, не существовала, а сейчасъ въ особенности. Онъ сидѣлъ и думалъ о томъ, въ какой формѣ ему сдѣлать предложеніе. Лучшій моментъ былъ, какъ ему казалось, пропущенъ, именно, когда они сидѣли въ деревянной бесѣдкѣ у самаго водопада. Прозаическая обстановка обѣда точно нарушала важность наступавшаго момента, а тутъ еще аппетитъ миссъ Мортонъ.

„Эти англичане всѣ помѣшаны на питаніи!“—думалъ Бургардтъ, точно стараясь оправдать аппетитъ миссъ Мортонъ.

Послѣ закуски она съ такимъ же аппетитомъ принялась за обѣдъ и съ улыбкой показала на стоявшую въ меню жареную форель. Вѣдь такой форели нигдѣ не достать—прямо изъ водопада, живая. Когда миссъ Мортонъ ѣла Бургардту припоминались слова доктора Гаузера,—у нея въ лицѣ, дѣйствительно, получалось „преобладаніе животныхъ инстинктовъ“. Впрочемъ, всѣ

люди, когда ѣдятъ, не отличаются особенной красотой. Терраса была пуста, и только подъ конецъ пріѣхали три дѣвушки-велосипедистки съ финляндскими ножами на поясахъ. Онѣ заняли отдѣльный столикъ и, видимо, были счастливы собственной свободой. Да, онѣ пріѣхали въ ресторанъ однѣ, что-то заказали и даже спросили полбутылки какого-то вина. Бургардтъ невольно полюбовался возбужденными молодыми лицами, точно освѣщенными безпричиннымъ счастьемъ первой нетронутой молодости. Дѣвушки посматривали на миссъ Мортонъ и о чемъ-то шептались, очевидно, передавая взаимныя впечатлѣнія. Сейчасъ, по сравненію, Бургардтъ въ особенности оцѣнилъ вызывающую красоту своей дамы, останавливавшую на себѣ общее вниманіе.

Подана была жареная форель. Миссъ Мортонъ сдѣлала видъ, что апплодируетъ этому чуду финской кухни. Но она взяла всего одинъ кусокъ и положила его обратно на тарелку. Форель была пропитана Grab-Apple...

— Это не можетъ быть!—вступился Бургардтъ.—Это вамъ просто кажется... Какая-то галлюцинація...

Но лицо миссъ Мортонъ поблѣднѣло, она быстро поднялась изъ-за стола и, закрывая ротъ платкомъ, быстро пошла въ общую залу. Бургардтъ побѣжалъ за ней, чтобы проводить до ея номера, и едва поспѣвалъ. Въ номерѣ съ ней сдѣлалось дурно, но она объяснила, что это пройдетъ, и что она все-таки будетъ ѣсть чудную форель.

— Вы уходите, а я сейчасъ приду,—объяснила она.—Скажите, чтобы не убирали форель...

Онъ вернулся и тщательно изслѣдовалъ свою порцію форели, причемъ оказалось, что, конечно, никакого признака запаха духовъ не было, а форель пахла форелью. Бургардтъ только покачалъ головой, удивляясь дамскимъ нервамъ.

— Ну, domine, какъ здѣсь кормятъ...—раздался за его спиной голосъ неотступнаго доктора.—Какъ это у чухонцевъ называются ихъ закуски на вокзалахъ? Ѣшь-ѣшь-ѣшь, а потомъ сорокъ копеекъ заплатишь, да еще водку можешь даромъ пить. Это, батенька, такая роскошь... Я нарочно останавливаюсь на Иматрѣ, чтобы пообѣдать. Грѣшный человѣкъ, не утерпѣлъ и послѣ обѣда спросилъ себѣ еще порцію жареной форели... Вѣдь такой форели вы нигдѣ въ свѣтѣ не получите. Unicum...

— Послушайте, докторъ, при вашей комплекціи...

— Э, все равно. Доктора умираютъ точно такъ же, какъ и обыкновенные люди...

Докторъ хотѣлъ что-то еще прибавить на эту тему, но увидѣлъ выходившую изъ залы миссъ Мортонъ и отошелъ къ своему столику, соображая, что бы ему еще такое съѣсть.

У миссъ Мортонъ явилось недовольное выраженіе лица, когда она нашла свою порцію форели остывшей. Бургардтъ, чтобы исправить свою оплошность, заказалъ новую порцію. Когда ее принесли, миссъ Мортонъ, не обнюхивая, взяла кусокъ въ ротъ и опять поблѣднѣла.

— Духи... опять духи...—объяснила она, вскакивая.

Когда она ушла въ свой номеръ, Бургардтъ рѣшился обратиться за совѣтомъ къ доктору, который опять что-то ѣлъ.

— А я сейчасъ ее посмотрю, вашу даму,—спокойно заявилъ докторъ, вытирая жирное лицо салфеткой.

Бургардтъ объяснилъ, что она нѣмая и что съ ней можно объясняться только знаками. Докторъ махнулъ рукой и пошелъ на верхъ. Бургардтъ остался на террасѣ. Нѣсколько минутъ, которыя провелъ докторъ на верху, показались

ему слишкомъ долгими. Онъ прислушивался къ шуму водопада и старался сосчитать ритмическій ропотъ бушевавшей въ слѣпой ярости воды.

Докторъ вернулся улыбающійся и, пожимая плечами, проговорилъ:

— Самая обыкновенная вещь.

— Именно?

— Видите ли, я не знаю вашихъ отношеній къ этой дамѣ...

— Она—дѣвушка.

— Да, но и съ дѣвушками иногда случается... Однимъ словомъ, самая обыкновенная вещь.

Докторъ продолжалъ улыбаться. Бургардтъ смотрѣлъ на него остановившимися глазами и боялся понять ужасную истину. Ему казалось, что водопадъ шумитъ у него въ головѣ... Потомъ онъ проговорилъ задыхавшимся голосомъ:

— Вы хотите сказать, что она въ такомъ положеніи?

— Внѣ всякаго сомнѣнія, domine..

А водопадъ шумѣлъ, шумѣлъ...

XXXVI.

Наступила осень... Установился чуть не обычай бранить петербургскую осень, но Бургардтъ особенно любилъ именно это время, потому что только осенью Петербургъ дѣлался Петербургомъ, втягивая въ себя живую силу со всѣхъ сторонъ. Конечно, и дождь, и слякоть, и холодъ, но со всѣмъ этимъ можно было примириться во имя той кипучей, неизмѣримо-громадной работы, которая вершилась подъ этимъ сѣренькимъ слезливымъ небомъ, подъ шумъ непогоды и при рѣдко появлявшемся солнечномъ свѣтѣ, напоминавшемъ ту рѣдкую улыбку, которая освѣщаетъ серьезное лицо труженика. Да, хорошее, бодрое время, когда хочется работать и когда каждый чувствуетъ, что онъ не можетъ не работать. Это начало настоящей петербургской страды.

Бургардтъ время отъ времени нарочно ходилъ на вокзалы, чтобы посмотрѣть на оживившійся приливъ публики, точно къ Петербургу, какъ къ центру, приливала молодая кровь, напоенная молодой нетронутой силой, освѣженная лѣтнимъ отдыхомъ и полная такой красивой энергіи. Бургардтъ особенно любовался учащейся молодежью, тянувшей со всѣхъ концовъ необъятной Россіи. Какія все славныя молодыя лица, какая у всѣхъ хорошая тревога въ глазахъ, какая преждевременная серьезность въ выраженіи этихъ молодыхъ лицъ. Какъ ему хотѣлось подойти къ нимъ и чѣмъ-нибудь выразить все сочувствіе, но такія нѣжности не приняты, и онъ любовался издали, какъ посторонній наблюдатель. Да, это была молодая Россія, полная силы, надеждъ, энергіи и счастливыхъ, радужныхъ сновъ юности.

Нынѣшняя петербургская осень походила на всѣ другія. Разъ Бургардтъ встрѣтилъ на вокзалѣ Саханова.

— Вы откуда-нибудь пріѣхали?—спросилъ Сахановъ.

— Нѣтъ.

— Куда-нибудь ѣдете?

— Нѣтъ. Такъ просто пришелъ..

Они сѣли къ столику. Бургардтъ имѣлъ неосторожность разсказать Саханову, какое онъ испытываетъ настроеніе.

— Да, да...—согласился Сахановъ, прищуривая глаза.—Я позволю сдѣлать маленькій комментарій. Гм... да... На какой-то выставкѣ—не помню, гдѣ, но только не у насъ, конечно, а въ Европѣ—демонстрировали сложную машину, какъ послѣднее слово техники. Дѣло въ томъ, что въ нее впускали

живую свинью, а чрезъ полчаса она выходила изъ машины въ формѣ колбасъ, сосисекъ, окороковъ. Конечно, это плодъ газетнаго воображенія, но я имъ воспользуюсь для даннаго случая, именно, мнѣ кажется, что Петербургъ—самая сложная и мудреная машина, въ которую входитъ нетронутый, чистый, хорошій, провинціальный бѣдный молодой человѣкъ и въ короткое время выходитъ изъ нея совсѣмъ порядочной свиньей...

Цинизмъ Саханова всегда возмущалъ Бургардта, а сейчасъ возмутилъ въ особенности. Ему хотѣлось сказать, что по себѣ нельзя судить о всѣхъ другихъ, но онъ проговорилъ совсѣмъ другое:

— Мнѣ очень жаль, что мы говоримъ на двухъ разныхъ языкахъ...

Слѣдовало попросту обрѣзать Саханова, а онъ поступилъ, какъ истинный русскій мямля. Бургардту сдѣлалось какъ-то совѣстно за самого себя, за ту непростительную деликатность, къ какой такъ склоненъ русскій человѣкъ. Онъ невольно поставилъ на свое мѣсто новую миссъ Гудъ—вотъ она, навѣрно, лучше бы сумѣла отвѣтить Саханову, чѣмъ онъ. Вообще дрянь, какая-то сладкая тряпка и каша-размазня...

Приливъ молодой силы, конечно, чувствовался и въ академіи художествъ, куда въ это время Бургардтъ любилъ заходить, чтобы полюбоваться молоденькими академистами. Съ академіей, кромѣ выставокъ, у него не было отношеній. Бургардтъ держался совершенно въ сторонѣ отъ всѣхъ злобъ академическаго дня. Онъ дорожилъ больше всего собственной независимостью, и ему казалось, что его успѣхи создали ему много тайныхъ враговъ, сильныхъ именно въ массѣ. У него не было никакихъ личныхъ недоразумѣній, но это не мѣшало ему чувствовать какую-то отчужденность. Можетъ-быть, это была самая обыкновенная мнительность, присущая всѣмъ людямъ свободныхъ профессій, и онъ это сознавалъ, сознавалъ и все-таки сторонился собратьевъ-профессіоналовъ. Вѣдь никакой успѣхъ не прощается именно собратьями по профессіи,—это въ природѣ вещей.

Это рабочее бодрое настроеніе охватило Бургардта осенью съ особенной силой. Да, онъ хотѣлъ работать и взялся за дѣло съ какой-то особенной жадностью, точно человѣкъ, дни котораго сочтены. Сомнѣнія, волновавшія его раньше, отступили на задній планъ. Да, нужно было работать усиленно, особенно теперь, когда дѣло шло не о немъ одномъ. Человѣкъ Андрей чувствовалъ охватившее барина настроеніе и принялъ строго-дѣловой видъ. Всѣ работы были открыты, кромѣ барельефа Марины Мнишекъ.

— Оставь...—строго сказалъ Бургардтъ, когда Андреи хотѣлъ снять съ барельефа драпировку.

Человѣкъ Андрей только пожалъ плечами. Онъ сильно разсчитывалъ на „Маринку“, потому что ее одобрилъ самъ Красавинъ, а каждое слово Красавина все равно, что наличныя деньги.

Гаврюши еще не было. Онъ не считалъ нужнымъ увѣдомить, куда уѣхалъ, и человѣкъ Андрей не безъ ядовитости доложилъ барину:

— Нашъ Гаврила Гаврилычъ на господскомъ положеніи, поѣхали дышать свѣжимъ воздухомъ...

— А тебѣ обидно?

— Обиды никакой, а такъ вообще... Не наше дѣло. Вонъ и нашъ докторъ тоже сколько время глазъ не кажетъ... Тоже, надо полагать, на воздухѣ проклажается.

Бургардтъ какъ-то совсѣмъ позабылъ о миломъ старикѣ, и ему сдѣлалось даже совѣстно. И Анита тоже ничего не знала о старикашкѣ и съ дѣтскимъ эгоизмомъ не интересовалась его участью. Дѣвочка продолжала относиться къ

отцу съ сдержаннымъ недовѣріемъ, и Бургардтъ постоянно чувствовалъ на себѣ ея пристальный, наблюдающій взглядъ. Ему иногда хотѣлось ее приласкать, но онъ не могъ этого сдѣлать. Между отцомъ и дочерью точно росла какая-то глухая стѣна. Бургардтъ часто думалъ про себя, что, если бы Анита была постарше лѣтъ на пять, онъ разсказалъ бы ей все, а сейчасъ не могъ объяснить даже нелѣпости ея подозрѣній относительно Бачульской. Анита уже умѣла быть несправедливой какъ-то по-женски, внѣ предѣловъ логики.

Вмѣстѣ съ наступленіемъ осени начался и съѣздъ художниковъ. Особенно пріятное впечатлѣніе производили пейзажисты, возвращавшіеся съ лѣтнихъ экскурсій. Какую массу этюдовъ привозилъ каждый. Начинался настоящій сѣнокосъ. Оживали въ эту пору даже давно конченные старики, отъ которыхъ публика уже не ждала ничего новаго. Въ своей артистической средѣ у Бургардта какъ-то не было особенно близкихъ знакомыхъ, хотя онъ всѣхъ зналъ и со многими былъ „на ты". Его особенно радовали молодые художники, вносившіе въ искусство такую бодрую струю. Да, это были уже совсѣмъ новые люди, освободившіеся отъ многихъ недостатковъ своихъ предшественниковъ по искусству. Народъ былъ все трезвый, расчетливый, серьезный, работающій. У Бургардта являлось по отношенію къ нимъ что-то въ родѣ отцовскаго чувства. Право, все такой милый народъ... Были и крупныя дарованія, обѣщавшія много, были середнячки, не гонявшіеся за большимъ, и были просто хорошіе работники. Все это было въ общемъ такъ мило, хорошо и какъ-то свѣтло.

Въ мастерскую Бургардта частенько приходили начинающіе академисты, смотрѣвшіе на него чуть не съ благоговѣніемъ, какъ на учителя. Они слѣдили за его работой, затаивъ дыханіе. Публика тоже заглядывала въ мастерскую, и, конечно, одной изъ первыхъ явилась „благотворительная щука" съ дочерью, чтобы напомнить Бургардту данное имъ обѣщаніе принять участіе въ ея базарѣ. Между прочимъ, завернулъ Васяткинъ, одѣтый въ какой-то необыкновенный смокингъ необыкновеннаго табачнаго цвѣта.

— Какая новость... вы, конечно, знаете?—говорилъ онъ, задыхаясь отъ волненія:—Красавинъ...

— Нельзя ли меня избавить отъ этого господина...—сухо перебилъ его Бургардтъ.

— Нѣтъ, позвольте... Егоръ Захарычъ, голубчикъ, вѣдь весь Петербургъ сейчасъ кричитъ о немъ. Да... Я былъ у него недѣли двѣ назадъ, и онъ такъ сострилъ... Да. „Она себя неприлично ведетъ..." Ха-ха!.. Помните эту нѣмую англичанку? Она того... да... И теперь опять царитъ Шура, потому что у нея нѣтъ наклонности къ продолженію красавинскаго рода.

Бургардтъ, блѣдный, какъ полотно, крикнулъ:

— Ради Бога, замолчите!..

Васяткинъ отступилъ отъ него и, пятясь къ двери, проговорилъ:

— Не могу, Егоръ Захарычъ... Убейте меня на мѣстѣ, а я не могу. Весь Петербургъ... у Кюба... да... Однимъ словомъ, Красавинъ сошелъ съ ума.

Взбѣшенный до послѣдней степени, Бургардтъ только-что хотѣлъ выгнать Васяткина вонъ, но послѣднее извѣстіе его точно ошеломило. Онъ стоялъ посреди мастерской съ раскрытымъ ртомъ и не могъ произнести ни одного слова.

— Да, сошелъ съ ума...—продолжалъ Васяткинъ.—Я самъ видѣлъ... И на чемъ помѣшался—удивительно. Сначала онъ все скупалъ бревна и завалилъ ими всю дачу. Потомъ началъ собирать веревочки отъ покупокъ, рваную бумагу, коробки изъ-подъ спичекъ... Ѣстъ только студень изъ бычачьихъ ногъ, который варитъ самъ, потому что боится отравы. Вообще, очень оригинальное помѣшательство... Я, конечно, сейчасъ же поѣхалъ къ нему. Около него какія-то

темныя личности, т.-е. кафтанники... да. Меня не пускаютъ и т. д. А я все-таки видѣлъ его. По наружному виду рѣшительно ничего нельзя сказать... И говоритъ обо всемъ совсѣмъ здраво, пока дѣло не касается веревокъ. Спрашивалъ о васъ, т.-е. почемъ вы покупаете глину. А знаете послѣднюю остроту Саханова?.. Я записываю его выраженія. Онъ сказалъ про миссъ Мортонъ, что она еще красавинскихъ башмаковъ не износила, какъ должна была за неприличное поведеніе уступить мѣсто Шурѣ. И еще Сахановъ сказалъ...

Бургардтъ схватилъ комъ свѣжей глины и запустилъ имъ въ Васяткина. Послѣдній едва успѣлъ уклониться, и комъ влѣпился въ стѣну.

— Уходите, несчастный!..—кричалъ въ бѣшенствѣ Бургардтъ, отыскивая глазами, чѣмъ бы еще бросить въ гостя.—Я... я васъ убью... Понимаете?!..

Бургардтъ сейчасъ же опомнился, какъ только Васяткинъ исчезъ въ дверяхъ. Господи, что̀ же это такое? До чего онъ дошелъ... У него въ ушахъ еще стояла послѣдняя острота Саханова, и онъ стоналъ, какъ раненый звѣрь.

Раньше онъ какъ-то совсѣмъ не думалъ о Красавинѣ, который въ его глазахъ являлся какимъ-то собирательнымъ лицомъ. Зло было такъ велико, что не поддавалось измѣренію и обыкновенной логикѣ. А сейчасъ оно точно вспыхнуло, какъ пробившійся сквозь золу огонь.

— Вѣдь я долженъ былъ убить этого негодяя,—стоналъ Бургардтъ, хватаясь за голову.

А сейчасъ не оставалось мѣста даже для мести. Сумасшедшій человѣкъ внѣ закона.

XXXVII.

Что̀ такое ненависть? Въ какихъ неизвѣданныхъ глубинахъ зарождается это чудовище? Какъ оно растетъ, питается и множится, пока не захватитъ всего человѣка? Въ самомъ дѣлѣ, не странно ли, что для двухъ человѣкъ вдругъ дѣлается тѣсно на свѣтѣ, другіе люди перестаютъ для нихъ существовать, и всякая мысль, всякое чувство, всякое движеніе роковымъ образомъ привязываются къ врагу, котораго не обойдешь и не объѣдешь. Въ сущности, Бургардтъ даже не былъ вполнѣ увѣренъ въ виновности по отношенію миссъ Мортонъ именно Красавина, вѣрнѣе сказать—старался не думать объ этомъ, потому что слишкомъ былъ поглощенъ налетѣвшимъ на него шкваломъ. Вѣдь это только въ романахъ пишутъ, что тонущій человѣкъ въ одно мгновеніе переживаетъ всю свою прошлую жизнь,—ничего этого нѣтъ и не можетъ быть, потому что всѣ мысли и всѣ чувства сосредоточиваются на разстояніи нѣсколькихъ роковыхъ аршинъ, и въ этихъ географическихъ предѣлахъ разыгрывается вся драма. Да, одно настоящее, одинъ моментъ—и человѣка не стало, вмѣстѣ съ его животнымъ страхомъ за свое драгоцѣнное существованіе. Муха, попавшая въ молоко, раздавленный червякъ, вытащенная изъ воды рыба—развѣ это не трагедія? Когда человѣкъ ненавидитъ другого человѣка—развѣ это не трагедія? Именно ненависть суживаетъ душевный горизонтъ до послѣдней степени, и человѣкъ гибнетъ подъ напоромъ своего собственнаго душевнаго настроенія. А тутъ у Бургардта вся ненависть поднялась заднимъ числомъ, когда объектъ этой ненависти очутился въ состояніи невмѣняемости.

— Зачѣмъ я его не убилъ?—повторялъ Бургардтъ въ отчаяніи, вспоминая Красавина, какимъ онъ былъ здоровымъ.

Трагедія и комедія, какъ извѣстно, родныя сестры. На другой день послѣ инцидента съ Васяткинымъ къ Бургардту явился Сахановъ. Онъ имѣлъ какой-то необычный для него дѣловой видъ и озабоченно вертѣлъ въ рукахъ мягкій

портфель. Взглянувъ на черный, наглухо застегнутый сюртукъ, Бургардтъ невольно проговорилъ:

— Ужъ вы, Павелъ Васильичъ, не поступили ли куда-нибудь на службу?

— Я? Нѣтъ... А къ вамъ, я, Егоръ Захаровичъ, по очень серьезному дѣлу, именно, по порученію моего друга Алексѣя Иваныча Васяткина.

— Вызовъ на дуэль? — предупредилъ его Бургардтъ и засмѣялся.— Ужасно жалко, что вчера не проломилъ табуреткой пустую голову этого негодяя...

— Вы забываете, Егоръ Захаровичъ, что я къ вамъ явился съ требованіемъ удовлетворенія, и что въ моемъ присутствіи вамъ придется воздержаться отъ рѣзкихъ выраженій.

Разговоръ происходилъ въ кабинетѣ. Бургардтъ прошелся изъ угла въ уголъ, взъерошилъ волосы и съ кривой улыбкой отвѣтилъ:

— Дѣло принимаетъ настолько серьезный оборотъ, что мнѣ придется прибѣгнуть тоже къ посредничеству какого-нибудь друга... Лично мнѣ трудно говорить о г. Васяткинѣ спокойно, и я даже лишенъ всякой возможности объяснить истинную причину своего вчерашняго поступка, потому что не имѣю нравственнаго права называть третьихъ лицъ.

— Я съ своей стороны не вижу ни малѣйшаго основанія скрывать имена третьихъ лицъ,—проговорилъ Сахановъ сухимъ дѣловымъ тономъ.—Впрочемъ, если хотите, я могу и не называть имени миссъ Мортонъ...

Бургардтъ побѣлѣлъ отъ бѣшенства и, подступивъ къ Саханову, задыхающимся голосомъ отвѣтилъ:

— Если вы еще разъ позволите назвать имя этой дѣвушки, я не ручаюсь, что не выброшу васъ въ окно...

— Это очень любезно съ вашей стороны, т.-е. предупредить меня относительно нѣкоторыхъ, не совсѣмъ пріятныхъ для меня послѣдствій, но...

— Я васъ попрошу замолчать...

— И убираться вонъ?

— И убираться вонъ... Я пришлю къ вамъ своего секунданта.

— Не забудьте: нужны двое. Я пріѣхалъ только для предварительныхъ переговоровъ.

— Хорошо, хорошо... Я васъ не задерживаю.

Сахановъ сдѣлалъ дѣловой поклонъ и вышелъ изъ кабинета съ достоинствомъ человѣка, исполнившаго нѣкоторый священный долгъ. Сдѣлавъ нѣсколько шаговъ въ гостиной, онъ остановился и только пожалъ плечами,—изъ кабинета слышался хохотъ Бургардта.

„Для начала недурно, какъ сказалъ турокъ, посаженный на колъ, — подумалъ онъ, шагая въ переднюю.—Это какой-то сумасшедшій“.

А Бургардтъ ходилъ по кабинету и хохоталъ.

— Ахъ, негодяй!..—повторилъ онъ.—Дуэль съ Васяткинымъ... Какъ это мило!.. Ха-ха...

Потомъ у него явилась счастливая мысль проломить голову господину Саханову, съ чѣмъ онъ и выскочилъ въ переднюю, но, на его счастье, Сахановъ уже ушелъ.

— Они ушли...—объяснилъ человѣкъ Андрей.

— Ну, и чортъ съ нимъ!..

На первомъ планѣ сейчасъ стоялъ вопросъ о секундантахъ. Бургардтъ долго перебиралъ имена своихъ знакомыхъ и остановился на Бахтеревѣ. Онъ теперь подумалъ о модели своего Гамлета даже съ нѣкоторой нѣжностью. Конечно, Бахтеревъ былъ человѣкъ недалекій и, какъ артистъ, даже совсѣмъ

„никакой“, но на него было можно положиться вполнѣ. Именно такіе простые и недалекіе люди удобнѣе всего при такихъ нелѣпыхъ обстоятельствахъ. А кто же другой? Бургардтъ перебралъ еще разъ всѣхъ своихъ знакомыхъ и никого не нашелъ. Нѣтъ другого подходящаго человѣка—и конецъ. Можно было бы попросить старика Локотникова, но онъ уже охваченъ старческой трусливостью. Если бы былъ въ Петербургѣ Шипидинъ—нѣтъ, онъ принципіальный человѣкъ и въ секунданты не пойдетъ. Бургардтъ даже вскрикнулъ отъ радости, когда вспомнилъ про милѣйшаго доктора Гаузера. Да, для полнаго комплекта комедіи недоставало только его. Въ юности, по обычаю нѣмецкихъ буршей, онъ, конечно, бывалъ и секундантомъ и самъ дрался на студенческихъ дуэляхъ.

„Милый старикашка...“—вслухъ думалъ Бургардтъ.

Не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, Бургардтъ сейчасъ же отправился къ Пяти Угламъ. Осенній день былъ дождливый и вѣтреный. По тротуарамъ сновали съежившіеся пѣшеходы, извозчики закрылись непромокаемыми накидками, дома казались какъ-то особенно непривѣтливыми и смотрѣли на улицу точно заплаканными окнами. Погода, вообще, располагала къ мрачнымъ мыслямъ, и у Бургардта явилась мысль, ужъ не умеръ ли милый докторъ у своихъ Пяти Угловъ, умеръ безвѣстно, какъ умираютъ старые холостяки. Эта мысль перешла почти въ увѣренность, когда Бургардтъ подъѣзжалъ къ квартирѣ доктора. Конечно, умеръ, а то иначе онъ далъ бы о себѣ знать. Бургардтъ торопливо вбѣжалъ на третій этажъ, и ему отворилъ самъ докторъ. Онъ посмотрѣлъ на гостя черезъ очки, нерѣшительно протянулъ руку и довольно сухо проговорилъ:

— Очень радъ... Да, радъ...

— Докторъ, вы были больны?

— Я? Нисколько...

— Вы куда-нибудь уѣзжали?

— Опять нисколько...

— Значитъ, вы забыли о нашемъ существованіи?

Докторъ вмѣсто отвѣта только пожевалъ губами. Бургардтъ понялъ, что старичокъ чѣмъ-то обиженъ.

— Да, давненько я васъ лишенъ былъ видѣть, — говорилъ докторъ, стараясь быть любезнымъ.—И все собирался... каждый день...

— Вотъ этого и не слѣдовало дѣлать, т.-е. собираться, а просто выйти на улицу и взять извозчика, который васъ и довезъ бы на Васильевскій островъ.

— У васъ кто-нибудь боленъ?—сухо спросилъ докторъ.

— Нѣтъ, слава Богу, всѣ здоровы... Право, я пріѣхалъ къ вамъ, не какъ къ доктору, а какъ къ хорошему старому другу, въ совѣтѣ котораго сейчасъ очень нуждаюсь.

Поднятыя брови доктора Гаузера выразили полную готовность оказать дружескую услугу. Но Бургардтъ постѣснился высказать прямую цѣль своего визита и началъ издалека, причемъ путался, подбиралъ слова и держалъ себя, какъ виноватый человѣкъ. Гаузеръ слушалъ его съ истиннымъ нѣмецкимъ терпѣніемъ и только спросилъ:

— Васяткинъ... это такой сѣрый?

— Да, совершенно сѣрый...

— Вы учились фехтовать?

— Немного...

— А... Русскіе не умѣютъ фехтовать вообще, хотя и не трусы.

Старикъ принесъ изъ передней двѣ палки и показалъ Бургардту, какъ нужно фехтовать, но изъ этого ничего не вышло.

— У васъ нѣтъ способностей къ фехтованію,—учительскимъ тономъ рѣшилъ Гаузеръ.—Вы торопитесь, а тутъ самое главное—выдержка характера. А стрѣляете хорошо?

— Такъ себѣ...

У доктора на лбу всплыли морщины. Потомъ онъ посмотрѣлъ на Бургардта поверхъ очковъ и проговорилъ:

— Тогда г. Васяткинъ застрѣлитъ васъ, какъ куропатку...

— Очень можетъ быть, докторъ, но я не могу отказаться отъ дуэли...

— Совершенно не можете... Дуэль сама по себѣ, конечно, нелѣпость, но бываютъ случаи, когда ничего другого не остается... Я въ молодости тоже дрался... да... Одному молодому барону я отрубилъ полъ уха, и онъ гордился этимъ всю жизнь.

Воспоминанія молодости настолько взволновали стараго доктора, что онъ еще сбѣгалъ въ переднюю за палкою и показалъ наглядно, какъ отрубилъ ухо молодому нѣмецкому барону. Потомъ онъ прочелъ цѣлую лекцію о разныхъ типахъ ранъ и сопровождающихъ ихъ послѣдствіяхъ. Въ заключеніе старикъ поднялъ брови и строго спросилъ:

— А кто ваши секунданты?

— Пока еще никого нѣтъ...

— О, это весьма важный вопросъ. Нужны люди опытные и хладнокровные... Если вы ничего не будетъ имѣть, я согласенъ буду быть вашимъ секундантомъ, потому что весьма понимаю это дѣло.

— Я буду очень радъ, если только это не стѣснитъ васъ, докторъ...

— А кто другой секундантъ?

— Я думаю пригласить Бахтерева. Вы его встрѣчали у меня.

— Да, да, помню... Такая внушительная наружность. Да, хорошо...

Старикъ сразу размякъ и даже улыбнулся. О, онъ отлично понимаетъ, что такое дуэль, и съ удовольствіемъ отрубилъ бы нѣмецкому барону и другое ухо. Воспользовавшись хорошимъ настроеніемъ старика, Бургардтъ откровенно его спросилъ, почему онъ такъ долго не былъ у нихъ и чѣмъ обиженъ.

— Я? Обиженъ?—повторилъ докторъ вопросъ.—Нѣтъ, меня никто не обидѣлъ, но мнѣ было больно...

Сразу онъ все-таки не сказалъ, въ чемъ дѣло, и только потомъ объяснилъ, что „больно“ получилось отъ Аниты, которая передала его стихи Саханову.

— Я не сержусь на нее, потому что она еще ребенокъ,—объяснялъ онъ торопливо,—и все-таки больно...

Бургардтъ не оправдывалъ Аниту, а только старался успокоить огорченнаго старика.

— О, я все понимаю,—соглашался Гаузеръ.—И все-таки больно...

— Не обращайте вниманія на глупую дѣвчонку—и только,—совѣтовалъ Бургардтъ.—Развѣ она что-нибудь понимаетъ?

— Извините, г. художникъ, все понимаетъ, и даже весьма...

Только дорогой отъ Гаузера Бургардтъ понялъ, въ чемъ дѣло, именно, что старикъ былъ влюбленъ въ миссъ Гудъ, и Анита съ дѣтскимъ безсердечіемъ задѣла его больное мѣсто.

Предполагаемый второй секундантъ Бахтеревъ жилъ на Гороховой. Когда Бургардтъ объяснилъ цѣль своего пріѣзда, Бахтеревъ обнялъ его и расцѣловалъ.

— Вы—благородный человѣкъ,—повторилъ онъ нѣсколько разъ трагическимъ тономъ, принимая театральную позу.

— Ну, кажется, благородства тутъ не много, а одна вопіющая глупость... Принципіально я, конечно, противъ дуэли и меньше всего желаю проливать кровь г. Васяткина.

XXXVIII.

Когда Бургардтъ пріѣхалъ въ Озерки, гдѣ Бачульская оставалась до начала зимняго сезона, тамъ уже все было извѣстно. Миссъ Мортонъ пожала ему руку особенно горячо, а Бачульская видимо волновалась.

— Ахъ, все это глупости, — говорилъ Бургардтъ. — Я убѣжденъ, что Васяткинъ въ рѣшительную минуту просто сбѣжитъ. Помните тогда въ Павловскѣ, какъ онъ струсилъ?

— Да, но есть храбрость отчаянія...

Бургардтъ разсказалъ ей подробно весь инцидентъ. Конечно, съ его стороны было гадко бросать въ этого негодяя мокрой глиной, но онъ вывелъ его изъ терпѣнія своей нахальной болтовней...

— Вѣдь онъ и забѣжалъ ко мнѣ съ цѣлью оскорбить меня,—увѣрялъ Бургардтъ.—Сумасшествіе Красавина служило только предлогомъ... Я и Саханова прогналъ.

— Ахъ, Егорушка, Егорушка... У васъ все такъ: вѣчный порывъ и раскаяніе заднимъ числомъ. Ни малѣйшей выдержки характера... И обидно и больно за васъ. Вѣдь всѣхъ негодяевъ на свѣтѣ не перестрѣляешь...

— Однимъ меньше—и то прибыль.

— Это вы такъ говорите сейчасъ. Гдѣ вамъ стрѣлять въ живого человѣка... Боюсь, чтобы Бахтеревъ не испортилъ дѣла, потому что очень ужъ горячо взялся за него. Я его случайно встрѣтила въ Петербургѣ... Такъ гоголемъ и ходитъ. А Васяткинъ только и повторяетъ одно слово: „къ барьеру!“.

— Вотъ видите, Марина, какъ все вышло глупо, а отказаться нельзя.

Этотъ визитъ въ Озерки подѣйствовалъ на Бургардта самымъ успокоительнымъ образомъ. Миссъ Мортонъ, кажется, еще никогда не была такъ мила, и Бургардтъ чувствовалъ, какъ безгранично ее любитъ и какъ все остальное не имѣетъ никакого значенія, даже если бы Васяткинъ убилъ его. Что̀ значитъ смерть одного человѣка? А тутъ смерть за свою любовь... Кто-то и гдѣ-то сказалъ, что только тотъ достоинъ жизни и свободы, кто не боится смерти. Но тутъ же рядомъ лѣзли въ голову самыя нелѣпыя мысли. Бургардтъ припомнилъ прочитанныя въ романахъ описанія дуэлей, гдѣ главный герой всегда является храбрымъ, благороднымъ и великодушнымъ, а его противникъ низкимъ и трусливымъ негодяемъ. Такая схема всегда коробила Бургардта, потому что такихъ людей, строго говоря, не существуетъ на бѣломъ свѣтѣ. Примѣняя эту схему къ данному случаю, Бургардтъ по совѣсти не могъ принять на себя роль праведника. Конечно, предстоявшая дуэль—колоссальная глупость, но она только логическій результатъ нелѣпой жизни. Кто заставлялъ его знаться съ гг. Васяткиными, Сахановыми и тому подобными темными личностями? Сейчасъ приходилось только расплачиваться за это удовольствіе.

Дома Бургардтъ, конечно, ничего не говорилъ ни Анитѣ ни миссъ Гудъ, но онѣ, какъ оказалось, все уже тоже знали благодаря неожиданно появившемуся Гаврюшѣ. Болтливость этого молодого человѣка взбѣсила Бургардта, и онъ сдѣлалъ ему строгое замѣчаніе, но Гаврюша и бровью не повелъ, а только проговорилъ:

— *Тогда* вы обвиняли меня, Егоръ Захарычъ, что я ударилъ Васяткина, а сами бросили въ него глиной...

— Это уже мое дѣло, и оно васъ не касается.

Бургардтъ испугался, что извѣстіе о дуэли встревожитъ Аниту, но послѣдняго не было. Дѣвочка отнеслась къ нему почти равнодушно, потому что не могла повѣрить, чтобы папа могъ кого-нибудь убить, а тѣмъ болѣе Васяткина. Она даже пошутила:

— Папа, развѣ можно быть такимъ кровожаднымъ?

Миссъ Гудъ молчала. Она тоже не вѣрила въ возможность дуэли и была убѣждена, что все происходитъ изъ-за какой-нибудь безнравственной женщины.

Поведеніе Гаврюши за послѣднее время окончательно не нравилось Бургардту. Онъ дѣлался дерзкимъ, и въ его глазахъ часто появлялся злобный огонекъ. Между прочимъ, онъ бросилъ своего Гамлета и началъ самостоятельную работу, именно лѣпилъ бюстъ человѣка Андрея. Бургардтъ наблюдалъ за этой работой и еще разъ убѣждался, что изъ Гаврюши вышла полная пустышка. Со своей стороны Гаврюша время отъ времени, слѣдя за работой Бургардта, дѣлалъ свои замѣчанія тономъ спеціалиста. А разъ онъ забылся до того, что хотѣлъ самъ поправить что-то въ работѣ учителя.

— Гаврюша, да вы, кажется, съ ума сошли?!..—удивлялся Бургардтъ.

— Пока еще нѣтъ, Егоръ Захарычъ.

Бургардту больше всего не нравилось то, что Гаврюша, очевидно, дѣйствовалъ по внушенію со стороны и повторялъ только чужія слова. Какъ оказалось, онъ бывалъ у Саханова и тамъ пропитывался художественными истинами и, главное, тономъ. У Бургардта нѣсколько разъ являлось желаніе прогнать Гаврюшу, но на такой подвигъ у него не хватало рѣшимости. Онъ такъ привыкъ къ нему, съ одной стороны, а съ другой—чувствовалъ передъ нимъ что-то въ родѣ отвѣтственности.

Переговоры о дуэли велись цѣлую недѣлю. Докторъ Гаузеръ и Бахтеревъ пріѣзжали по нѣскольку разъ въ день, порознь и вмѣстѣ. Васяткинъ проявилъ большую кровожадность, съ одной стороны, а съ другой—предусматривалъ впередъ всякую мелочь. Дуэль въ проектѣ предполагалась на разстояніи двадцати шаговъ и непремѣнно „до первой крови“.

— Какъ хотите, мнѣ все равно,—говорилъ Бургардтъ.—Только, ради Бога, нужно покончить эту глупость поскорѣе, такъ или иначе... Мнѣ надоѣло быть героемъ.

Васяткина почему-то больше всего интересовало самое мѣсто дуэли, и онъ со своими секундантами объѣхалъ всѣ окрестности, пока не остановился на Шуваловскомъ паркѣ, гдѣ-то за Каболовкой или Заманиловкой. Назначенъ былъ даже и день, а наканунѣ Васяткинъ устроилъ у Кюба легкій прощальный ужинъ en trois. Вторымъ секундантомъ у него былъ какой-то штабъ-ротмистръ. Бургардтъ относился ко всему какъ-то безучастно. Ему надоѣла эта дурацкая комедія. О томъ, какъ все кончится—онъ даже не думалъ. Духовное завѣщаніе было составлено раньше, и по нему Анита была совершенно обезпечена. Наканунѣ дуэли принято писать чувствительныя письма, но Бургардту некому было писать. Въ сущности, у него былъ единственный близкій человѣкъ—это Шипидинъ, но и ему писать, послѣ размолвки, было неудобно. Все-таки наканунѣ дуэли Бургардтъ чувствовалъ себя въ надлежащую мѣру скверно и глупо.

Къ вечернему чаю явились оба секунданта, бывшіе на верху своего положенія. Докторъ Гаузеръ, бывая у Бургардта, замѣтно сторонился Аниты, и если говорилъ, то какъ говорятъ съ человѣкомъ, до котораго нѣтъ никакого

дѣла. Это очень огорчало Бургардта, и онъ напрасно старался ихъ помирить. Анита упрямилась и не хотѣла итти на примиреніе первой. Но наканунѣ дуэли старый Гаузеръ точно размякъ и проявилъ къ Анитѣ свои прежнія добрыя чувства. Бургардту какъ-то непріятно было видѣть такую перемѣну именно сейчасъ, потому что ея истинной подкладкой являлась мысль о возможномъ сиротствѣ Аниты.

Въ окна смотрѣлъ глухой осенній вечеръ. Всѣ старались говорить о разныхъ постороннихъ предметахъ, а Бахтеревъ шагалъ по гостиной, по-наполеоновски сложивъ руки на груди. Получалось такое впечатлѣніе, какъ наканунѣ отъѣзда дорогого человѣка куда-то далеко, когда всѣ говорятъ совсѣмъ не о томъ, что̀ нужно. Бургардтъ сдерживалъ зѣвоту, выдерживая эту пытку. Да, это были истинные друзья, которыхъ, въ сущности, онъ недостаточно цѣнилъ и любилъ. Недоставало еще Бачульской, и у Бургардта являлось какое-то нехорошее чувство къ дочери, упорно не желавшей быть справедливой. Развлекалъ всѣхъ старикъ Гаузеръ, съ трогательной наивностью развивавшій планы своего будущаго. Анита кусала губы, сдерживая смѣхъ и переглядываясь съ миссъ Гудъ, дѣлавшей строгое лицо.

— Да, я поѣду въ Германію, на родину,—говорилъ Гаузеръ.—Хочется посмотрѣть мѣста, гдѣ прошла молодость... Меня ничто не держитъ въ Петербургѣ, но вотъ пятнадцать лѣтъ я собираюсь и все не могу собраться. О, родина—это все... Въ зрѣлыхъ годахъ какъ-то забываешь о ней, а подъ старость не можешь не думать. Анита, вы не думайте, что я уже такой глубокій старикъ... У меня еще есть свои желанія. Да... Самое лучшее въ жизни человѣка—это невѣдѣніе. Я дѣлаю маленькій мысленный скачокъ, потому что есть связь между мыслью о родинѣ и мыслью о смерти. Я часто думалъ о ней... И представьте себѣ, если бы наука когда-нибудь достигла такого совершенства, что могла бы опредѣлить вполнѣ точно годъ, мѣсяцъ, недѣлю, день и часъ вашей смерти,—вѣдь это было бы ужасно!

Старикъ говорилъ совсѣмъ не то, о чемъ хотѣлъ говорить, а слово „смерть“ вырвалось какъ-то само собой. Спохватившись, докторъ неловко замолчалъ. Бургардтъ разсматривалъ сборную обстановку своей гостиной и думалъ о томъ, какъ все это глупо нагромождено, а между тѣмъ каждая вещь пріобрѣталась съ любовью и несла на себѣ отпечатокъ вкуса хозяина.

„Надо все продать...—думалъ Бургардтъ.—Къ чему? Точно мало глупостей и безъ того?..“

Общее молчаніе было нарушено появившимся въ дверяхъ гостиной человѣкомъ Андреемъ, который съ смущеннымъ видомъ держалъ въ рукахъ визитную карточку.

— Сегодня я никого не принимаю,—заявилъ Бургардтъ, отмахиваясь рукой.—Меня нѣтъ дома... Скажи, что ты не видѣлъ, какъ я вышелъ.

— Никакъ невозможно, баринъ...—бормоталъ вѣрный слуга, подавая карточку.—Они въ передней и непремѣнно желаютъ васъ видѣть.

Бургардтъ взялъ карточку и передалъ доктору.

— Сахановъ?!..—возмутился тотъ.—Еще что̀ такое? И почему онъ непремѣнно желаетъ видѣть именно васъ? Кажется, всѣ наши переговоры кончены...

— Проси,—коротко сказалъ Бургардтъ.

Сахановъ вошелъ въ гостиную, наклонившись немного впередъ и держа шляпу на отлетъ, какъ входятъ на сцену отвергнутые друзья дома. Бахтеревъ сталъ въ углу, принявъ окончательно наполеоновскій видъ.

— Господа, я знаю, что вы меньше всего ожидали моего появленія

именно сегодня,—заговорилъ Сахановъ, повторяя сложенную дорогой фразу.— Скажу больше: вамъ просто непріятно меня видѣть. Но я не могъ не прійти... Дѣло въ томъ, что мой другъ Васяткинъ скрылся сегодня самымъ позорнымъ образомъ.

Всѣ молчали. Бургардтъ поднялся и, идя навстрѣчу гостю и протягивая руку, отвѣтилъ:

— Я очень радъ, что эта глупая исторія кончилась, Павелъ Васильевичъ... Самое лучшее, если мы сейчасъ же забудемъ о ней.

— Нѣтъ, г. Бургардтъ, я не согласенъ,—перебилъ его докторъ.—Такъ порядочные люди не поступаютъ...

— Я съ вами совершенно согласенъ, докторъ,—подтвердилъ Бахтеревъ глухимъ трагическимъ голосомъ.—Нельзя же заставлять порядочныхъ людей играть дурацкую и смѣшную роль...

Анита поняла, что мужчинамъ нужно остаться однимъ, и увела миссъ Гудъ въ столовую. Сахановъ оставался посреди комнаты, не выпуская руки Бургардта.

— Вы меня оскорбили, Егоръ Захаровичъ,—говорилъ онъ.—Но я знаю, что вы совсѣмъ не желали этого сдѣлать, а такъ вышло... На вашемъ мѣстѣ, вѣроятно, и я поступилъ бы такъ же, если не хуже. Мнѣ не слѣдовало брать роль посредника и вмѣшиваться въ чужія дѣла...

Произошла довольно нелѣпая сцена, причемъ Бургардту пришлось чуть не умолять секундантовъ позабыть все. Старикъ Гаузеръ даже впалъ въ неистовство и наговорилъ дерзостей.

XXXIX.

По окончаніи глупаго инцидента съ Васяткинымъ у Бургардта явилось то бодрое рабочее настроеніе, которое обыкновенно охватывало его осенью. Онъ проводилъ теперь цѣлые дни въ своей мастерской, чтобы закончить къ весенней выставкѣ начатыя работы. Прежде всего ему хотѣлось закончить бюстъ Ольги Спиридоновны. Послѣдняя почему-то дулась на него и не хотѣла заглядывать къ нему въ мастерскую. Бургардту пришлось ѣхать къ ней самому. Ольга Спиридоновна неизмѣнно жила на Офицерской и встрѣтила его довольно неласково.

— Слышала, слышала, какъ вы хотѣли вымазать Васяткина глиной,— говорила она, пожимая руку Бургардту.—Думаю, пріѣдешь къ нему, а онъ и меня обмажетъ глиной. Нечего сказать, хорошъ...

— Хочется вамъ повторять чужія глупости, Ольга Спиридоновна?

— Слухомъ земля полнится, отецъ...

Ольга Спиридоновна за лѣто какъ-то обрюзгла и пріобрѣла привычку говорить: отецъ. Послѣднее у нея выходило какъ-то особенно мило, потому что она говорила всегда такимъ тономъ, точно сердилась. Ласковыя слова имѣютъ особенную цѣну у сердитыхъ людей. Замѣтивъ на себѣ наблюдающій взглядъ Бургардта, Ольга Спиридоновна съ грубоватой откровенностью отвѣтила:

— Постарѣла, да? Состарилась?.. Ничего не подѣлаешь, отецъ. Нынче кончаю дрыгать ногами... На подножный кормъ поступаю и за генерала замужъ выйду. Будетъ болтаться-то зря... Всѣ другія-то вонъ какъ пристроились, одна я осталась неприкаянная душа. На что ваша Шурка глупа, а и та собственный домъ отъ Красавина получила. Вмѣстѣ кофе-то пили, а домъ получила она...

Бургардтъ только теперь припомнилъ разсказъ Бачульской, какъ Ольга Спиридоновна бунтовала по поводу этого дома, и невольно разсмѣялся.

— Кажется, Ольга Спиридоновна, вы и меня подозрѣваете въ этой исторіи?

— Охъ, отецъ, мнѣ все равно!.. Говорю: состарилась. Небось, опять хотите меня мучить своими сеансами въ мастерской?

— Да, имѣлъ такое намѣреніе.

— Не понимаю, къ чему я вамъ нужна... Не стало развѣ молодыхъ, ну, съ нихъ и лѣпите, а старуха кому нужна. Да еще на выставку потащите такую старую кожу...

— Мнѣ очень немного осталось докончить...

— Знаю, знаю... Насидѣлась я, кажется, достаточно въ вашей мастерской.

Небольшая квартира Ольги Спиридоновны походила на бомбоньерку. Въ свое время она пользовалась большимъ успѣхомъ, и всѣ стѣны были декорированы разными подношеніями тароватыхъ „поклонничковъ", какъ называла Ольга Спиридоновна завзятыхъ балетомановъ. Въ сущности, она терпѣть не могла всѣхъ этихъ вѣнковъ, лиръ и разныхъ букетовъ и предпочитала подарки по хозяйственной части. То ли дѣло серебряный сервизъ, а эти вѣники только пыль разводятъ. Сама по себѣ Ольга Спиридоновна была самая „простецкая баба", какъ она называла себя, и относилась къ своей профессіи иронически, какъ къ дѣлу самому пустому, ненужному и грѣшному. Тоже въ другой разъ и стыдно голой-то передъ биноклями прыгать. Положимъ, не совсѣмъ голая, а въ томъ родѣ, если не хуже. Бургардтъ именно любилъ ее за то, что она была простая женщина, въ которой ничего балетнаго не было. Просто хорошій человѣкъ, попавшій въ балетъ по игрѣ глупаго случая.

Прежде Бургардтъ бывалъ у Ольги Спиридоновны довольно часто и одно время даже немного ухаживалъ за ней. Но она его предупредила со своей грубоватой откровенностью:

— Оставьте это дѣло, Егоръ Захарычъ...

— Почему?

— А такъ, не подходящее... Не тотъ коленкоръ. Миндальности разныя я не умѣю разводить, а сварливой бабой быть не хочу, да и вамъ не сладко бы пришлось. Ужъ лучше такъ, останемтесь пріятелями... Мнѣ и свои-то поклонники до смерти надоѣли...

Ольга Спиридоновна принадлежала къ тѣмъ женщинамъ, которыя не любятъ мужчинъ. Театральные сплетники разсказывали про нее, что въ свое время и у нея были какіе-то романы, но Бургардтъ этому не вѣрилъ.

— Мнѣ бы самое настоящее быть попадьей,—шутила Ольга Спиридоновна надъ самой собой.—Страстно люблю огурцы солить, а на дачѣ цыплятъ развожу.

Идя сейчасъ въ ея гостиной, Бургардтъ припоминалъ сравнительно недавнее прошлое и неожиданно спросилъ:

— А Сахановъ бываетъ у васъ, Ольга Спиридоновна?

— Охъ, отецъ, надоѣлъ... Смертынька!.. Придетъ и сидитъ, какъ идолъ. Я ему прямо говорю: „Дѣла, что ли, у васъ нѣтъ, коли торчите у меня?" Онъ такой приличнивый... Бываютъ такіе мужчинки. Не отвяжешься... И что ему надо—ума не приложу. За генерала выйду замужъ и прогоню.

Бургардту показалось что-то неискреннее въ словахъ Ольги Спиридоновны, и что она притворно старалась говорить грубѣе обыкновеннаго. Они говорились относительно сеанса, и, когда Бургардтъ началъ прощаться, Ольга Спиридоновна проговорила:

— Ну, а какъ у васъ тамъ, въ Озеркахъ?

Этотъ простой вопросъ смутилъ немного Бургардта, а Ольга Спиридоновна, не дожидаясь отвѣта, прибавила:

— Знаете, отецъ, я давно бы завернула къ вамъ, да только боюсь новой англичанки... говорятъ, строгая.

— Перестаньте ребячиться, Ольга Спиридоновна. Пріѣдете и увидите ее.

— И то, видно, пріѣду...

Черезъ два дня Ольга Спиридоновна пріѣхала въ назначенный часъ. Она отличалась вообще аккуратностью.

— Нашей сестрѣ, казенной бабѣ, иначе нельзя,—объясняла она.—А то сейчасъ: штрафъ.

Анита очень ей обрадовалась и не проявляла ни малѣйшей тѣни хитрости, что̀ съ ней случалось. Миссъ Гудъ старалась быть любезной и привѣтливой и въ то же время наблюдала гостью какъ-то смѣшно округлившимися глазами, точно Ольга Спиридоновна вотъ-вотъ выскочитъ изъ своего платья и примется танцовать. Англійская строгая миссъ видѣла такъ близко настоящую балерину въ первый разъ. Разговоръ происходилъ при помощи Аниты, потому что Ольга Спиридоновна не знала хорошенько даже русскаго языка.

Сеансъ въ мастерской продолжался часа два. Нужно было поправить шею, зародыши будущихъ мѣшковъ на нижней челюсти, зажирѣвшія линіи овала лица, едва замѣтно собиравшіяся морщинки у наружныхъ угловъ глазъ — такъ называемыя „гусиныя лапки“, но ничего не выходило, какъ Бургардтъ ни старался поймать переходный моментъ въ жизни красиваго женскаго лица. Ольга Спиридоновна въ теченіе одного лѣта постарѣла годовъ на пять, и Бургардтъ чувствовалъ, какъ его охватывало молчаливое отчаяніе, знакомое всѣмъ истиннымъ художникамъ, когда лучшая работа валится изъ рукъ. А тутъ еще Гаврюша, который молча и со злобой слѣдилъ за каждымъ неудачнымъ штрихомъ. Ольга Спиридоновна чувствовала, что дѣло не клеится, и сдерживала зѣвоту.

— Долго вы меня будете мучить? — взмолилась она наконецъ, когда Бургардтъ уничтожалъ сдѣланныя поправки.

— Сегодня я васъ освобождаю,—отвѣтилъ онъ съ грустью.—Ничего не выходитъ...

Ольга Спиридоновна долго разсматривала свой бюстъ и только покачала головой. Какъ будто она и какъ будто совсѣмъ даже не она. Бургардтъ замѣтилъ, какъ Гаврюша смотрѣлъ на нее улыбавшимися глазами. Ему вдругъ сдѣлалось точно холодно, и въ головѣ застучала забытая мысль о своей конченности.

— Да, конченъ, конченъ... Больше ничего не будетъ.

— Ничего я не понимаю,—проговорила Ольга Спиридоновна, пожимая плечами.—И кому все это нужно? Вы ужъ меня извините, Егоръ Захарычъ, что говорю прямо... По-моему, это одно баловство, т.-е. разныя картины и статуи.

— Вы забываете одно, Ольга Спиридоновна, что бываютъ очень хорошія картины и статуи,—замѣтилъ съ улыбкой Бургардтъ.

— А по-моему, всѣ картины и статуи одинаковы, отецъ... Такъ, для богатыхъ людей.

— Вы повторяете слова Саханова?..

— А что̀ же, Павелъ Васильевичъ умный человѣкъ. Статей-то я его, положимъ, не читаю, а изъ разговоровъ больше... Охъ, ужъ и разговоръ у него: какъ гусь по водѣ плыветъ, такъ онъ на словахъ.

Когда Ольга Спиридоновна собралась уходить, Анита шепнула ей:

— Зайдите ко мнѣ въ комнату... Мнѣ нужно съ вами переговорить очень-очень серьезно.

— Отлично, крошка, — согласилась Ольга Спиридоновна, удивляясь, что нынче у грудныхъ младенцевъ какіе-то серьезные разговоры.

Анита увела ее въ свою комнату, закрыла за собой дверь и, краснѣя, спросила:

— Я хотѣла узнать... вы меня извините... Вы давно видѣли Бачульскую?

— Не особенно давно... А что?

— Вы меня еще разъ извините за нескромный вопросъ... Въ какомъ она сейчасъ положеніи?

— Какъ въ какомъ положеніи? Въ самомъ обыкновенномъ... Будетъ зиму играть гдѣ-то въ клубѣ.

— Нѣтъ, не то... Я хотѣла сказать... да, хотѣла спросить совсѣмъ о другомъ, т.-е. о положеніи, въ какомъ бываютъ замужнія женщины... Я слышала, что она... что у нея скоро будетъ ребенокъ.

Ольга Спиридоновна расхохоталась, что еще сильнѣе сконфузило Аниту.

— Голубчикъ, да какъ тебѣ это могло прійти въ голову?!..—продолжала смѣяться Ольга Спиридоновна.—Бачульская—и вдругъ въ интересномъ положеніи... Ха-ха!.. Охъ, крошка, уморила на-смерть!..

Анита поблѣднѣла и проговорила серьезно:

— У меня есть основаніе *такъ* говорить, Ольга Спиридоновна... И вы напрасно смѣетесь.

Она достала изъ кармана скомканную бумажку и подала ее Ольгѣ Спиридоновнѣ.

— Вотъ прочитайте...

По печатному Ольга Спиридоновна еще читала съ грѣхомъ пополамъ, а писанное разбирала съ трудомъ. Но поданная Анитой записка была написана настолько четко, что она ее разобрала. Анонимный авторъ писалъ:

„Милая Анита, скоро я буду имѣть удовольствіе поздравить съ новорожденнымъ“.

Подъ этой запиской никакой подписи не было. Ольга Спиридоновна прочитала ее нѣсколько разъ, пожала плечами и проговорила всего одно слово:

— Негодяй!..

Анита подавленно молчала, кусая губы, чтобы не расплакаться.

— Откуда у тебя, крошка, эта дурацкая записка?

— Я получила по почтѣ. Письмо было адресовано на гимназію...

— Ахъ, негодяй! Ну, я тебѣ не могу объяснить всего, но только это скверная ложь и больше ничего. Марина Игнатьевна тутъ рѣшительно ни при чемъ, какъ и твой отецъ. Даю тебѣ честное и благородное слово, что это такъ... Не волнуйся и забудь все. Дрянные люди всегда найдутся на свѣтѣ. Отцу до поры до времени ничего не говори... У него достаточно и друзей и враговъ.

Анита расплакалась и, обнимая Ольгу Спиридоновну, шептала:

— Вѣдь я одна и совершенно одна... Вы не можете себѣ представить, какъ я тоскую о прежней миссъ Гудъ.

Бургардтъ былъ очень доволенъ, что Ольга Спиридоновна все время ни однимъ словомъ не заикнулась о Красавинѣ.

XL.

Въ Озеркахъ время тянулось ужасно медленно, и наступившая осень чувствовалась здѣсь гораздо сильнѣе, чѣмъ въ городѣ. Бачульская каждый день заставляла миссъ Мортонъ гулять по нѣскольку часовъ и сама ходила

съ ней. Вѣчное молчаніе англичанки наводило теперь на нее какую-то особенную тоску, какъ и эти сѣрые осенніе дни, оголенныя деревья, почернѣвшая въ озерѣ вода.

Предполагавшаяся дуэль съ Васяткинымъ очень волновала Бачульскую, и она расплакалась, когда въ Озерки пріѣхалъ Бахтеревъ, чтобы излить свое негодованіе на трусость Васяткина.

— Вы должны радоваться, а не сердиться,—раздраженно замѣтила ему Бачульская.—Ахъ, какъ я боялась... Мало ли какія могутъ быть случайности. Знаете, мнѣ просто хочется расцѣловать васъ, милѣйшій, дорогой, единственный Евстратъ Павловичъ. Мнѣ кажется, что вы самый добрый человѣкъ въ мірѣ...

— А все-таки Васяткинъ—трусъ,—упрямо повторялъ Бахтеревъ, дѣлая мрачное лицо.

Миссъ Мортонъ отнеслась какъ-то безучастно къ этому извѣстію, что̀ огорчало Бачульскую до глубины души. Изъ-за нея Бургардтъ хотѣлъ стрѣляться, рисковалъ жизнью, а ей рѣшительно все равно. Бачульская не хотѣла замѣчать, что у миссъ Мортонъ все чаще и чаще стали проявляться полосы какой-то мертвой апатіи. Дѣвушка могла цѣлые дни лежать гдѣ-нибудь на диванѣ съ книгой въ рукахъ, и стоило большого труда расшевелить ее. Всего равнодушнѣе миссъ Мортонъ относилась къ самой себѣ и своему будущему.

Даже когда Бургардтъ пріѣхалъ самъ, миссъ Мортонъ не проявила особенной радости и если немного оживилась, то скорѣе по привычкѣ.

— Знаете, Марина Игнатьевна, я ѣду къ вамъ и вдругъ дорогой испугался, — разсказывалъ Бургардтъ съ веселой улыбкой. — Говорю совершенно серьезно... Вы подумайте: быть убитымъ какимъ-то дуракомъ?

— Да, но и вы были не правы, Егорушка...

— Ну, это, положимъ, неправда, но рѣшительно все равно... Вообще не стоитъ говорить.

Сохраняя тотъ же веселый тонъ, Бургардтъ въ смѣшномъ видѣ разсказывалъ свой визитъ къ Ольгѣ Спиридоновнѣ и ея сеансъ у него, а въ заключеніе прибавилъ:

— Знаете, Анита спрашивала меня сегодня, почему вы перестали бывать у насъ?

Бачульская смутилась, покраснѣла и посмотрѣла на Бургардта полными ласковаго укора глазами.

— Я пріѣду какъ-нибудь...—нерѣшительно отвѣтила она. — Только для того, чтобы Анита убѣдилась, какъ она несправедливо относится ко мнѣ...

— Хочется вамъ обращать вниманіе на дѣвчонку, которая ничего не понимаетъ... Какъ-нибудь пріѣзжайте. Знаете, когда я почти выгналъ Саханова, мнѣ сдѣлалось ужасно скучно. Вѣдь, въ сущности, въ нашемъ кружкѣ это самый интересный человѣкъ.

— И все-таки лучше быть отъ него подальше. Такіе люди способны каждую минуту подарить самымъ непріятнымъ сюрпризомъ...

— Вы преувеличиваете, моя хорошая...

Бачульская была очень рада веселому настроенію Бургардта, хотя и замѣтила, что онъ все время точно наблюдаетъ ее и точно чего-то не договариваетъ. На прощанье онъ тихо спросилъ ее, точно миссъ Мортонъ могла ихъ услыхать:

— А скоро *мы* получимъ новаго человѣка?

— Къ вашей весенней выставкѣ, по моимъ расчетамъ... — отвѣтила Бачульская, дѣлая серьезное лицо.

Съ этой мыслью о „новомъ человѣкѣ“ Бургардтъ вернулся домой. Онъ

всю дорогу думалъ объ этомъ неизвѣстномъ пришельцѣ, который уже впередъ являлся обреченнымъ на разныя непріятности. Кто родится: мальчикъ или дѣвочка? Лучше бы, конечно, дѣвочка. Ея незаконное происхожденіе покрылось бы въ свое время замужествомъ, а мальчикъ долженъ нести наказанія за грѣхи родителей всю жизнь. Мысль о будущемъ ребенкѣ все разрасталась въ головѣ Бургардта, и онъ въ одно и то же время любилъ его и не любилъ. Какой онъ будетъ? Что̀ онъ принесетъ съ собой въ міръ? Что̀ его ожидаетъ? А если вдругъ родится какой-нибудь уродъ, рахитикъ, идіотъ, эпилептикъ? Вся обстановка способствовала именно какому-нибудь уклоненію отъ нормальнаго типа. Думая о ребенкѣ, Бургардтъ на время забывалъ о самомъ себѣ и точно дѣлался лучше. Вѣдь забота о дѣтяхъ умѣряетъ нашъ эгоизмъ, прежде всего, а тутъ эта забота окрашивалась совершенно исключительными условіями, и Бургардта впередъ охватывала такая хорошая мужская жалость, требовавшая приложенія здоровой мужской силы, покровительства и покрывающей мужской ласки.

Миссъ Мортонъ, какъ мать этого будущаго ребенка, рисовалась ему въ какомъ-то радужномъ свѣтѣ. Кому какое дѣло, что ребенокъ будетъ незаконный? А онъ еще волновался именно по поводу этого нелѣпаго по существу вопроса. „Да, пусть будетъ незаконный, а я его буду любить и буду любить его мать, можетъ-быть, лучше и чище, чѣмъ любятъ матерей законныхъ дѣтей“.

Подъѣзжая къ Финляндскому вокзалу, Бургардтъ припомнилъ, какъ Бачульская разспрашивала его о работѣ и точно присматривалась къ нему, какъ присматриваются къ больному. Можетъ-быть, ничего подобнаго и не было, можетъ-быть, это только показалось, но... Веселое настроеніе Бургардта быстро измѣнилось, и онъ вернулся домой нахмуреннымъ. Конечно, Марина Игнатьевна безконечно добра и прямо ничего не покажетъ, но, очевидно, она уже кое-что замѣтила.

Полосы бодраго настроенія у Бургардта нынче быстро смѣнялись полосами унынія и подозрительности. Онъ это зналъ и начиналъ мучительно слѣдить за самимъ собой. Напримѣръ, человѣкъ Андрей и тотъ проявлялъ что-то особенное, и Бургардту казалось, что онъ даже пальто подаетъ не такъ, какъ подавалъ прежде. И Анита слѣдитъ за нимъ съ хитростью молодой обезьяны...

— Э, всѣ вы жестоко ошибаетесь!—повторялъ Бургардтъ про себя съ какимъ-то озлобленіемъ.

Ему начинало казаться, что онъ даже не начиналъ еще работать, а только еще начинаетъ.

Мысль о ребенкѣ проникла въ домъ Бургардта, и онъ былъ страшно пораженъ, когда Анита спросила его въ упоръ:

— Папа, ты желалъ бы имѣть ребенка?

— Т.-е. какъ ребенка?

— Маленькаго...

— Ты говоришь глупости, Анита... Какія могутъ быть у меня дѣти?

— А если взять чужого, т.-е. не совсѣмъ чужого, а какого-нибудь знакомаго ребенка...

— Ребенокъ не игрушка. Кто за нимъ будетъ у насъ ходить? Ты утромъ въ гимназіи, вечеромъ у тебя уроки... Вообще, нелѣпость.

— Совсѣмъ маленькаго ребеночка, папа...

— Отстань, пожалуйста...

Бургардтъ никакъ не могъ понять, откуда подобная мысль могла попасть въ голову Анитѣ. Можно было подумать, что она все знаетъ и предрѣшаетъ вопросъ. Онъ и не подозрѣвалъ, что мысль о неизвѣстномъ ребенкѣ

совершенно поглощала Аниту и она думала о немъ день и ночь. Объясненія Ольги Спиридоновны совершенно ее удовлетворили, и дѣвочка съ нетерпѣніемъ ждала, когда пріѣдетъ Бачульская, предъ которой чувствовала себя виноватой. Анита рѣшила про себя, что спроситъ ее откровенно, гдѣ тотъ новорожденный, о которомъ ей писалъ неизвѣстный авторъ. Ольга Спиридоновна, очевидно, скрывала что-то. Папа тоже замѣтно смутился, когда она разговаривала о ребенкѣ, значитъ, онъ знаетъ и тоже скрываетъ. Между тѣмъ Анита чувствовала своимъ дѣтскимъ сердцемъ, что этотъ неизвѣстный ребенокъ какъ-то ея касается и что онъ не чужой ей

Бачульская пріѣхала только черезъ недѣлю, съ какой-то репетиціи, усталая и немного взволнованная. Анита встрѣтила ее съ повышенной любезностью и горячо расцѣловала.

— Какая вы, Анита, выросли большая...—удивлялась Бачульская.

— Говорите мнѣ „ты“, Марина Игнатьевна, — предупредила Анита, краснѣя.—Для васъ я всегда вѣдь буду маленькой...

Почему-то Анитѣ именно теперь Бачульская показалась красавицей. Да, настоящая красавица, какой должна быть каждая женщина. Какое чудное женское лицо, какой голосъ, глаза, улыбка, фигура—все такъ было хорошо. Миссъ Гудъ, наоборотъ, отнеслась къ Бачульской сдержанно и даже холодно, и Анита, служившая переводчицей, должна была смягчить нѣкоторыя выраженія.

— Ахъ, какая вы милая...—шепнула Анита гостьѣ.—А на миссъ Гудъ вы не обращайте вниманія. Я ея не люблю. Она вся какая-то безцвѣтная. Только и дѣлаетъ, что цѣлый день моется.

Даже человѣкъ Андрей и тотъ былъ радъ Бачульской, какъ старой знакомой, и изъ усердія оборвалъ даже вѣшалку у ея ротонды. Бургардтъ тоже былъ радъ, когда Бачульская въ сопровожденіи Аниты вошла въ его мастерскую.

— Мы такъ, не будемъ мѣшать вамъ,—предупреждала Бачульская.—Посмотримъ и уйдемъ.

Бюстъ Ольги Спиридоновны стоялъ прикрытый мокрыми тряпками. Бургардтъ работалъ надъ барельефомъ преподобнаго Сергія, гдѣ начинали выдѣляться лица Пересвѣта и Ослаби. Работа подвигалась впередъ съ необычной быстротой. Бачульская посмотрѣла на барельефъ непонимающими глазами и рѣшительно не знала, что̀ ей сказать. Бургардтъ въ шутливомъ тонѣ разсказалъ ей, какъ Ольга Спиридоновна раскассировала все искусство, и Бачульская такъ мило разсмѣялась.

— Я прибавила бы къ ея словамъ, что и я понимаю столько же,—проговорила она.—Въ сущности, я очень люблю и живопись и скульптуру, но это еще не значитъ понимать...

— Въ отдѣльности можно встрѣтить очень рѣдко такого понимающаго человѣка,—объяснялъ Бургардтъ.—А въ массѣ публика судитъ почти безошибочно. Это необъяснимое, по-моему, проявленіе массовой мысли... Вѣдь публика создаетъ имена, репутаціи и то, что̀ принято называть славой.

Анита уговорила Бачульскую остаться обѣдать и затащила ее къ себѣ въ комнату.

— Вы такъ давно не были у насъ,—повторяла она.—Я соскучилась по васъ... У насъ нынче почти никто не бываетъ. Папа какой-то странный... Мнѣ кажется, что онъ прежде былъ добрѣе.

— Ты ошибаешься, Анита, папа все такой же добрый, какимъ былъ всегда.

Анитѣ показалось, что Бачульской у нихъ скучно и что она смотритъ на нее съ сожалѣніемъ. Но это было не такъ. Бачульская, дѣйствительно, испытывала жуткое чувство, которое она испытывала и раньше... О, вѣдь ея сердце давно уже билось въ этихъ комнатахъ, и ей дѣлалось жаль самой себя, жаль того чувства, которое не нашло отвѣта,—вообще, она чувствовала себя вотъ въ этихъ стѣнахъ собственной тѣнью.

Анита, какъ ни храбрилась раньше, никакъ не могла спросить Бачульскую о таинственномъ новорожденномъ. Слова застывали у нея на языкѣ. Когда горничная пришла сказать, что обѣдъ готовъ, Анита еще задержала Бачульскую въ своей комнатѣ и все-таки ничего не могла сказать.

Когда онѣ вошли въ столовую, за обѣденнымъ столомъ „на своемъ мѣстѣ“ уже сидѣлъ докторъ Гаузеръ, завѣшанный салфеткой. Старикъ очень некстати поднялъ разговоръ о несостоявшейся дуэли и въ пылу негодованія заявилъ, что самъ вызоветъ г. Васяткина и заставитъ драться.

— Если онъ честный и порядочный человѣкъ, — прибавилъ старикъ, поднимая брови.

Потомъ старикъ проговорилъ совсѣмъ другимъ тономъ:

— О, время доктора Гаузера прошло, и теперь уже никому не нужно вызывать его и на дуэль, чтобы убивать. Всему свое время... да!..

XLI.

Доктора Гаузера мучила старческая безсонница, особенно въ переходные періоды между временами года. Когда падалъ первый снѣгъ, старикъ ходилъ по своему кабинету до самаго утра и успокаивался только съ появленіемъ дневного свѣта. Именно въ такое утро въ началѣ октября, когда Гаузеръ только хотѣлъ ложиться спать, горничная подала ему визитную карточку Бачульской.

— Не принимать!—рѣзко отвѣтилъ Гаузеръ.—Я не практикую...

— Онѣ непремѣнно желаютъ васъ видѣть, баринъ...

Старикъ затопалъ на горничную ногами, но надѣлъ тужурку и вышелъ въ гостиную, гдѣ сидѣла Бачульская.

— Я, сударыня, не практикую,—заговорилъ онъ, сухо здороваясь.—Вы это хорошо знаете... Потомъ, я не спалъ цѣлую ночь...

— Милый, дорогой докторъ, ради Бога, — умоляла Бачульская, не выпуская его руки.—Къ другимъ я не могу обратиться... Она умираетъ... Помните нѣмую дѣвушку-англичанку? Докторъ, вѣдь вы такой добрый...

— А что съ ней такое?

— Кажется, будетъ... какъ это вамъ объяснить... Она была въ такомъ положеніи, но до срока еще далеко...

— Ага...

— Понимаете: дѣвушка... Она такъ мучится и умоляетъ пріѣхать... Она стѣсняется другихъ врачей и довѣряетъ только вамъ... Ради Бога, докторъ, каждая минута дорога.

— Ага...

— Умоляю васъ, хорошій, милый докторъ. Мы поспѣемъ какъ разъ къ поѣзду...

Старикъ молча повернулся и пошелъ переодѣваться. Десять минутъ ожиданія показались Бачульской цѣлой вѣчностью. Развѣ можно такъ медлить, когда человѣкъ умираетъ? Она ломала руки, прислушиваясь къ докторскимъ шагамъ въ кабинетѣ. Наконецъ онъ одѣлся и вышелъ.

— Куда вы меня повезете? — спросилъ старикъ капризнымъ голосомъ.

— Въ Озерки, докторъ...

— Въ Озерки?.. Не поѣду.

Онъ съ рѣшительнымъ видомъ сѣлъ и повторилъ, что не поѣдетъ.

— Я самъ боленъ... да... Есть другіе доктора, въ Петербургѣ десять тысячъ докторовъ... Я умру самъ до вашихъ Озерковъ.

Это упрямство старика заставило Бачульскую пустить въ ходъ спеціально-театральный пріемъ. Она подошла къ нему, смѣло взяла за руку и проговорила рѣшительнымъ тономъ.

— Нѣтъ, вы поѣдете... да. Вы не можете не ѣхать... Понимаете: не можете.

— Не могу?!

Докторъ махнулъ рукой и покорно пошелъ за ней въ переднюю. Дальше ему не понравился дрянной извозчикъ, который ихъ ждалъ у подъѣзда, потомъ онъ капризничалъ на вокзалѣ, потомъ ворчалъ все время, пока поѣздъ шелъ до Озерковъ. Паровозъ тащился ужасно медленно, точно онъ сговорился съ докторомъ.

— Миленькій, хорошій... — шептала Бачульская, хватая доктора за руку. — Хотите, я стану предъ вами на колѣни, буду цѣловать ваши руки... Милый, хорошій...

Докторъ заявилъ, что Финляндская желѣзная дорога самая скверная въ цѣломъ мірѣ, что Озерки какой-то лягушатникъ, что лѣстница въ квартиру Бачульской одно безобразіе, что горничная не умѣетъ принять пальто и роняетъ палку, что онъ самъ долженъ послать за докторомъ для себя и т. д. Войдя въ гостиную, докторъ столкнулся лицомъ къ лицу съ Бургардтомъ.

— Это вы?!..—удивился онъ и холодно прибавилъ: — А... понимаю..

Бургардтъ ничего ему не отвѣтилъ. Онъ былъ блѣденъ, но спокоенъ. Только глаза блестѣли лихорадочно. Бачульская вызвала его срочной телеграммой, и онъ пріѣхалъ съ первымъ поѣздомъ. Замѣчаніе доктора заставило его горько улыбнуться, и онъ только посмотрѣлъ на старика.

— Да, понимаю.. —повторилъ Гаузеръ, не обращаясь ни къ кому.

Больная лежала въ своей комнатѣ съ закрытыми глазами. Когда Бачульская вошла къ ней, акушерка въ бѣломъ балахонѣ молча показала ей глазами на корзину изъ-подъ бѣлья, гдѣ лежалъ мертвый семимѣсячный ребенокъ. На нѣмой вопросъ Бачульской акушерка только покачала головой.

Когда докторъ ушелъ въ комнату больной, Бургардтъ началъ ходить по гостиной. Онъ уже зналъ о мертворожденномъ. Вотъ тебѣ и будущій ребенокъ, и заботы о немъ, и любовь къ нему. Ему по ассоціаціи идей пришелъ въ голову разговоръ Аниты. Онъ понялъ сейчасъ, о какомъ ребенкѣ она говорила. Да, этотъ ожидаемый невѣдомый гость точно самъ устранилъ себя изъ среды бытія. Онъ точно не хотѣлъ быть лишнимъ, не хотѣлъ никому мѣшать и ушелъ въ невѣдомый міръ загадкой.

смотрѣвъ больную, докторъ Гаузеръ вернулся въ гостиную. Онъ имѣлъ суровый видъ и старался не смотрѣть на Бургардта. За нимъ вышла Бачульская, и по ея заплаканному лицу Бургардтъ понялъ, что все кончено. Да, все... Ему захотѣлось крикнуть, что они ошибаются, хотѣлось броситься въ комнату больной, схватить въ объятія безконечно дорогого человѣка и вырвать изъ рукъ смерти.

— Мнѣ здѣсь нечего дѣлать... — коротко и сухо проговорилъ Гаузеръ, не обращаясь ни къ кому.

Бургардтъ бросился къ нему, схватилъ за руки и задыхающимся голосомъ заговорилъ:

— Докторъ, ради всего святого, не уѣзжайте... Можетъ быть во всякомъ дѣлѣ ошибка... Бываютъ случаи, когда являются невозможныя комбинаціи...

— Если вы хотите, то я могу остаться,—сухо отвѣтилъ Гаузеръ, отвертываясь къ окну.

Потомъ онъ заговорилъ сдержаннымъ, ровнымъ тономъ, чеканя слова:

— Мы знали раньше, что есть жертвы общественнаго темперамента, а теперь приходится имѣть дѣло съ жертвой артистическаго темперамента... да. О, я все понимаю...

— Нѣтъ, вы ошибаетесь!.. — горячо вступился Бургардтъ, бросаясь къ нему.—Вы... вы... вы...

Только вмѣшательство Бачульской предупредило серьезное столкновеніе. Бургардтъ былъ блѣденъ, какъ смерть, и повторялъ:

— Я ее люблю... понимаете? Да, люблю... Боже, если бы кто-нибудь могъ меня понять!..

Бачульская увела Бургардта въ свою комнату и, вернувшись, объяснила доктору, что во всей этой исторіи Бургардтъ рѣшительно ни при чемъ, кромѣ того, что принялъ участіе въ судьбѣ несчастной дѣвушки.

— Но онъ ее любитъ?—спрашивалъ Гаузеръ.

— Да, но любовью брата, не больше...

Старый Гаузеръ засмѣялся.

— Да, поменьше мужа, побольше брата, какъ говоритъ принцъ Гамлетъ.

Больная все время лежала съ закрытыми глазами и никого не узнавала. Бургардту показалось, что она одинъ разъ взглянула на него, но онъ не былъ увѣренъ и въ этомъ. Гаузеръ сидѣлъ въ гостиной и терпѣливо дождался, когда дѣйствительно все было кончено. Онъ пришелъ, посмотрѣлъ издали на мертвую и отвернулся. Бургардтъ стоялъ у нея въ изголовьѣ и думалъ о томъ, что чего-то не сдѣлалъ, что̀ долженъ былъ сдѣлать. А у покойной на лицѣ было такое выраженіе, точно она что-то спрашивала. Да, каждый человѣкъ уходитъ изъ этого міра съ такимъ неразрѣшеннымъ вопросомъ, и кажется, что онъ чего-то не сдѣлалъ, что̀ долженъ былъ сказать и сдѣлать.

XLII.

Въ день похоронъ миссъ Мортонъ неожиданно пріѣхалъ Шипидинъ. Онъ привезъ съ собой на кладбище Аниту, что̀ не понравилось Бургардту. Зачѣмъ было тащить дѣвочку, которая не должна была знать этой темной и грустной исторіи. Потомъ оказалось, что Анита уѣхала съ Шипидинымъ на кладбище, не предупредивъ миссъ Гудъ...

— Ахъ, Анита, Анита... — упрекнулъ ее Бургардтъ. — Развѣ такъ можно?

— Папа, меня пригласилъ Григорій Максимычъ, — оправдывалась Анита. — А потомъ, папа... да... Я вѣдь ужъ совсѣмъ большая.

Бургардтъ только пожалъ плечами, особенно, когда Шипидинъ прибавилъ:

— Слѣдовательно нужно знать и оборотную сторону жизни... Да, полезно.

Анита точно прильнула къ Бачульской и не отходила отъ нея. Она была въ восторгѣ отъ Марины Игнатьевны, къ которой такъ шелъ трауръ, а заплаканное лицо было еще красивѣе. Изъ знакомыхъ пріѣхалъ одинъ докторъ Гаузеръ, но онъ гордо держался все время въ сторонѣ и едва раскланялся съ Шипидинымъ. Несмотря на объясненія Бачульской, старикъ остался при убѣжденіи, что въ смерти миссъ Мортонъ виноватъ все-таки Бургардтъ. Онъ дождался конца похоронъ и уѣхалъ домой, ни съ кѣмъ не простившись.

— Старикъ совсѣмъ спятилъ съ ума, — шепнула Бургардту огорченная поведеніемъ доктора Бачульская.

— Я ничего не могу подѣлать, — отвѣтилъ Бургардтъ, который даже не могъ разсердиться на старика. — Мнѣ кажется, что я дѣйствительно виноватъ...

— Егорушка, что̀ вы говорите?!..

— Нравственно виноватъ... Кто знаетъ, что̀ было бы, если бы не наша роковая встрѣча.

Въ самомъ дѣлѣ, кто можетъ опредѣлить границы физической и духовной жизни, ихъ взаимодѣйствіе и тѣ моменты, когда является перевѣсъ одной стороны надъ другой. Бургардтъ почти былъ убѣжденъ, что, не вмѣшайся онъ совершенно случайно въ жизнь миссъ Мортонъ, она осталась бы жива. Вопросъ шелъ о неизвѣданныхъ глубинахъ, куда, вѣроятно, не проникаетъ никогда самый пытливый человѣческій умъ. Есть тайны, которыя каждый человѣкъ уноситъ съ собой въ могилу, и только ученое самодовольство тѣшитъ себя полузнаніемъ. Да, каждое рожденіе — величайшая тайна, которая въ зародышѣ несетъ другую тайну — смерть... Это два полюса, между которыми вращается наша жизнь.

Съ кладбища Бургардтъ возвращался домой на одномъ извозчикѣ съ Шипидинымъ. Оба молчали. Бургардтъ зналъ, о чемъ думаетъ его другъ, и сердился, что онъ не вѣритъ его планамъ относительно переселенія въ деревню.

— А Красавинъ, слѣдовательно, того, — неожиданно заговорилъ Шипидинъ и сейчасъ же сообразилъ, что не долженъ былъ упоминать этой фамиліи именно сейчасъ. — Вообще, никакой надежды...

Къ его удивленію, Бургардтъ отнесся къ этому совершенно равнодушно и не вспылилъ.

— Красавинъ? — повторилъ онъ фамилію, точно напрасно старался что-то припомнить. — Ахъ, да... Онъ меня избавилъ отъ удовольствія убить его.

Бачульская хотѣла ѣхать домой, къ себѣ въ Озерки, но Анита ни за что не хотѣла ее отпустить и потащила къ себѣ. Бачульской оставалось только удивляться наслѣдственной передачѣ недостатковъ, — Анита своей порывистостью и смѣной настроеній такъ напоминала отца. Такая же ласковость, милое добродушіе и вспышки негодованія, переходившія въ усталость и полное равнодушіе. Дорогой онѣ говорили все время о старикѣ Гаузерѣ, который держалъ себя невозможно, и Анита напрасно выпытывала, въ чемъ дѣло.

— Вѣроятно, у него отъ безсонницы голова болитъ, — по-дѣтски объясняла Бачульская.

— Нѣтъ, я его хорошо знаю, — сказала Анита. — Онъ серьезно сердится...

— Право, не знаю, Анита. Богъ съ нимъ...

Миссъ Гудъ было очень непріятно, что Бачульская опять начала бывать у нихъ и что Анита льнетъ къ ней. Строгая англійская дѣвушка никакъ не могла понять, почему отецъ допускаетъ такое сближеніе подростка-дѣвочки съ какой-то очень сомнительной артисткой. Когда она узнала, что Анита ѣздила на похороны еще болѣе подозрительной миссъ Мортонъ, ея негодованію не было границъ.

— Я должна отказаться отъ мѣста, — заявила она Бургардту прямо. — Я вижу, что мое присутствіе въ вашемъ домѣ совершенно лишнее, а куклой быть не желаю.

— Ахъ, миссъ, мы поговоримъ объ этомъ потомъ! — взмолился Бургардтъ. — Могу сказать только одно, что настоящаго поступка Аниты я совершенно не оправдываю, хотя, съ другой стороны, она уже не такъ виновата.

— Вы хотите сказать о вашемъ другѣ, который увезъ ее на кладбище? Могу только удивляться странному выбору друзей съ вашей стороны...

— Да, да, вы правы, но, ради Бога, поговоримте объ этомъ не сегодня. Мнѣ, право, не до того...

Бачульская, впрочемъ, пробыла очень недолго и уѣхала подъ какимъ-то предлогомъ. Анита смотрѣла на миссъ Гудъ вызывающими глазами, готовая отвѣтить какой-нибудь дерзостью. Но миссъ Гудъ поняла ея настроеніе и не подняла исторіи.

— О, Боже мой, какъ только эти русскіе люди живутъ?!.. — возмущалась про себя миссъ Гудъ.

Миссъ Гудъ не знала еще другого факта, который убилъ бы ее окончательно и о существованіи котораго она даже не подозрѣвала. Дѣло въ томъ, что осенью она ѣздила съ Анитой два раза въ Михайловскій театръ, и Анита рѣшила про себя, что непремѣнно сдѣлается актрисой. Она находила, что фигура для сцены у нея будетъ самая подходящая, а гримъ исправитъ недочеты въ красотѣ. Свое рѣшеніе Анита тщательно скрывала ото всѣхъ и страшно боялась, какъ бы кто-нибудь не открылъ ея секрета.

Шипидинъ, по обыкновенію, сдѣлалъ подробный обзоръ мастерской и остался доволенъ. Бургардтъ много работалъ, а это было самое главное. Особенно двинулся впередъ барельефъ съ преподобнымъ Сергіемъ. Только у себя въ мастерской, за своей работой Бургардтъ дѣлался самимъ собой, тѣмъ Бургардтомъ, котораго Шипидинъ такъ любилъ и цѣнилъ. Гаврюша, лѣпившій бюстъ человѣка Андрея, долго не рѣшался показать свою работу Шипидину.

— Ничего, похоже, — одобрилъ Шипидинъ.

Гаврюшѣ показалось, что онъ смѣется надъ нимъ. Онъ переживалъ тѣ моменты отчаянія, которые неизбѣжно связаны съ творчествомъ.

— Да, похоже, — продолжалъ Шипидинъ, разсматривая бюстъ. — И знаете, это хорошо, что вы выбрали первой темой именно *человѣка* Андрея... Вѣдь это громадный классъ людей, остатокъ былого рабства, и вся задача уловить именно это рабство. Счастливая тема, вообще...

Бургардтъ переживалъ ужасное положеніе. Онъ мучился тѣмъ, что не могъ высказать всего, что̀ сейчасъ переживалъ. Да, Шипидинъ его другъ, котораго онъ искренне любилъ, но этотъ другъ, все равно, не пойметъ его. Шипидинъ, со своей стороны, смутно догадывался, въ чемъ дѣло, но въ то же время понималъ, что не можетъ быть другомъ. Между друзьями выросла точно громадная пропасть и выросла именно въ тотъ моментъ, когда они были нужны другъ другу. Они дѣлали попытку разговориться откровенно, какъ случалось прежде, но изъ этого рѣшительно ничего не вышло.

— Слѣдовательно надо подождать, — рѣшилъ Шипидинъ.

Дня черезъ три послѣ похоронъ Бургардтъ получилъ съ посыльнымъ отъ Бачульской записную книжку миссъ Мортонъ. На послѣдней страницѣ тонкимъ почеркомъ миссъ Мортонъ было написано всего одно слово: „Farewell“... Это „прости“ точно прилетѣло съ того свѣта, и Бургардтъ еще въ первый разъ заплакалъ обидными, безсильными слезами

— Милая, милая, милая!..—шепталъ онъ, цѣлуя написанное, можетъ-быть, холодѣвшей рукой слово.

XLIII.

Шипидинъ пріѣхалъ въ Петербургъ ненадолго, недѣли на двѣ. У него были хлопоты по устройству какой-то рабочей артели. Но время шло быстро, какъ оно идетъ только за работой, и онъ убѣдился, что всякіе сроки слишкомъ условная вещь. Его безпокоилъ главнымъ образомъ Бургардтъ, въ поведеніи котораго проявились нѣкоторыя странности самаго непріятнаго свойства. Одна исторія съ Васяткинымъ чего стоила... Положимъ, Бургардтъ всегда отличался неровностью характера, но раньше это объяснялось неосторожнымъ обращеніемъ съ напитками, а сейчасъ и этого не было. Смерть любимой дѣвушки тоже отразилась въ жизни Бургардта какъ-то странно. Не было даже того бурнаго горя, которое отвѣчало бы его характеру. Онъ ничего не говорилъ о покойной, а тосковалъ какъ-то молча. Шипидинъ чувствовалъ, что и по отношенію къ нему Бургардтъ тоже держится какъ-то равнодушно и даже больше — точно ждетъ, когда онъ наконецъ уѣдетъ домой. Но въ то же время Шипидинъ чувствовалъ, что онъ не долженъ уѣзжать именно теперь, и видимое равнодушіе Бургардта опаснѣе случавшихся раньше вспышекъ...

— Слѣдовательно я еще останусь на недѣльку, — говорилъ Шипидинъ, откладывая отъѣздъ день за днемъ.

— Что же, поживи,—соглашался Бургардтъ.—Въ деревнѣ сейчасъ тебѣ нечего дѣлать, все равно...

— Дѣло-то всегда есть, а только, слѣдовательно, такъ... Да, нужно еще недѣльку пожить.

Одна недѣля шла за другой, и Шипидинъ даже не сталъ откладывать, а такъ, жилъ, пока живется. Бургардтъ усиленно работалъ, какъ не работалъ, кажется, никогда. Шипидинъ слѣдилъ за его работой издали, стараясь не вмѣшиваться. Онъ чувствовалъ себя профаномъ и не рѣшался дѣлать никакихъ замѣчаній, даже когда Бургардтъ его спрашивалъ о чемъ-нибудь. Въ тѣхъ случаяхъ, когда Шипидину хотѣлось получить объясненіе чего-нибудь, чего онъ не понималъ въ работѣ Бургардта, онъ обращался къ Гаврюшѣ. Молодой человѣкъ съ величайшей готовностью давалъ такія объясненія, причемъ главнымъ образомъ останавливался на недостаткахъ работы учителя.

— Вотъ это совершенно мертвая линія,—объяснялъ онъ, разбирая лицо Ольги Спиридоновны.—И подбородокъ тоже весь мертвый... Лобъ живой, а нижняя часть лица какъ у трупа. У Марины Мнишекъ совершенно деревянная нога... да. Пересвѣтъ и Ослабя точно вросли въ землю... планы не выдержаны... движеніе массъ совершенно условно... Вотъ эти казаки, которые бросаются къ Маринѣ—развѣ это живые люди?

Шипидину не нравился тонъ, который являлся у Гаврюши при такихъ объясненіяхъ, точно онъ радовался находимымъ недостаткамъ. А между тѣмъ этотъ начинающій неудачникъ въ большинствѣ случаевъ былъ правъ, и Шипидинъ начиналъ видѣть деревянную ногу у Марины Мнишекъ и мертвый подбородокъ у Ольги Спиридоновны.

Разъ, когда Шипидинъ съ Гаврюшей занимались критикой работъ Бургардта, въ мастерскую неожиданно вошелъ Сахановъ. Онъ въ послѣднее время являлся довольно часто, но не засиживался попрежнему. У него былъ какой-то таинственный видъ, точно онъ что-то желалъ сказать и не договаривалъ. Присутствіе Саханова всегда было непріятно Шипидину, а нынче въ особенности, точно онъ что-то высматривалъ. Затѣмъ Шипидину не нравилось то преувеличенное вниманіе, съ какимъ Сахановъ относился къ Гаврюшѣ.

— Ну, какъ дѣла, маэстро?—спрашивалъ Сахановъ, разсматривая бюстъ человѣка Андрея.—Ничего, начинаетъ вытанцовываться...

Въ присутствіи Саханова Гаврюша какъ-то совсѣмъ терялся и краснѣлъ, какъ дѣвушка, отъ каждаго его замѣчанія. Шипидина Сахановъ игнорировалъ съ самой обидной вѣжливостью и смотрѣлъ на него такими глазами, какъ смотрятъ на манекенъ. Въ этотъ разъ было все такъ же, какъ всегда, и Шипидину сдѣлалось обидно за Бургардта, когда Сахановъ полусловами дѣлалъ характеристики его работъ. Собственно обиденъ былъ самый тонъ, которымъ высказывались самыя простыя вещи.

— Слѣдовательно вы глумитесь!—вспылилъ Шипидинъ совершенно неожиданно.

— Нѣтъ, гораздо проще: я пользуюсь правомъ высказывать свое мнѣніе,—отвѣтилъ Сахановъ.

— Я вѣдь понимаю, что̀ вы говорите, хотя и не художникъ, — продолжалъ Шипидинъ, краснѣя отъ волненія. — Слѣдовательно понимаю.... и... и удивляюсь нѣкоторой безцеремонности съ вашей стороны, чтобы не сказать больше...

— Ну, послѣднее — дѣло личнаго вкуса, а о вкусахъ не спорятъ.

— Нѣтъ, тутъ дѣло не во вкусѣ!.. Да... Слѣдовательно вы просто развращаете молодого человѣка... да!..

Сахановъ оказался невозмутимымъ и отвѣтилъ совершенно спокойно:

— Вотъ это ужъ вы совершенно напрасно изволите говорить. Гаврюша не маленькій и самъ кое-что понимаетъ въ искусствѣ, и даже понимаетъ гораздо больше, чѣмъ вы думаете. А затѣмъ я вообще, не охотникъ кому-нибудь навязывать свои мнѣнія...

Выдержка Саханова произвела то, что Шипидинъ смутился и неловко замолчалъ. Давно ли онъ обличалъ Бургардта за его вспыльчивость и несдержанность, а самъ дѣлаетъ то же самое.

Сахановъ, вообще, занималъ какое-то особенное мѣсто въ домѣ Бургардта, и Шипидина огорчало, что онъ имѣлъ вліяніе и на Аниту, которая съ жадностью ловила каждое его слово. Ѣдкое остроуміе Саханова производило свое дѣйствіе. Даже самъ Бургардтъ, несмотря на свое неуваженіе къ Саханову, какъ-то поддавался его вліянію и оживлялся въ его присутствіи. Когда Шипидинъ начиналъ бранить Саханова, Бургардтъ отвѣчалъ:

— Я его тоже не люблю, а поэтому считаю долгомъ относиться къ нему съ особенной осторожностью, т.-е. чтобы не быть несправедливымъ. Конфуцій сказалъ такъ: „да не ослѣпляетъ ни дружба насчетъ недостатковъ твоего друга, ни ненависть насчетъ хорошихъ качествъ твоего врага“. Видишь, какъ опытъ жизни дѣлаетъ человѣка осторожнымъ...

— Слѣдовательно можно оправдать этимъ путемъ всякаго негодяя... У каждаго мерзавца найдется свое китайское оправданіе. Ты даже и цитаты начинаешь приводить à la Сахановъ...

— Ахъ, милый другъ, я боюсь, что ты въ одно прекрасное утро будешь правъ... Есть словесная зараза, какъ существуютъ заразы физическія.

У Бургардта въ послѣднее время явилось какое-то пристрастіе къ отдѣльнымъ выраженіямъ, несмотря даже на ихъ полную внутреннюю пустоту. Сахановскія остроты оставались въ его мозгу, какъ заноза остается въ пальцѣ. Онъ цѣлыхъ три дня повторялъ характеристику артистокъ, сдѣланную мисъ Гудъ:

— Женщины съ рискованными жестами... ха-ха!.. Вѣдь это очень мило... Не правда ли? Собственно говоря, такой женщиной является одна милѣйшая

Ольга Спиридоновна... Очень недурно сказано! Кстати, представь себѣ, я ни разу не видалъ ее на сценѣ... Все собирался, лѣтъ десять, а скоро она оставляетъ сцену, съ пенсіей, конечно, за выслугу лѣтъ и предѣльный возрастъ.

— Да, спеціальность недурная,—ядовито соглашался Шипидинъ.

Ольга Спиридоновна пріѣзжала раза два на сеансы и каждый разъ сталкивалась съ Шипидинымъ, который не уходилъ изъ дому только изъ вѣжливости. А между тѣмъ она чувствовала какое-то тяготѣніе именно къ нему и старалась проявить самую изысканную любезность. Бургардтъ задыхался отъ смѣха, глядя на это ухаживанье старой балерины, принимавшей въ присутствіи Шипидина какой-то виноватый видъ. Разъ, когда Шипидинъ не выдержалъ и ушелъ, Ольга Спиридоновна проводила его глазами до дверей и со вздохомъ проговорила:

— Не любитъ меня угодничекъ Божій...

XLIV.

Бачульская, послѣ смерти миссъ Мортонъ, переѣхала въ Петербургъ и поселилась въ меблированныхъ комнатахъ на Невскомъ. Опредѣленнаго ангажемента на зимній сезонъ она не имѣла, а играла по клубнымъ сценамъ и въ любительскихъ спектакляхъ, гдѣ случится. Бургардтъ бывалъ у нея время отъ времени и жаловался на преслѣдовавшую его тоску. Бачульскую удивляло только то, что онъ почти ничего не говорилъ о покойной миссъ Мортонъ, что̀ ее искренне огорчало.

Зима уже наступила. Петербургъ переживалъ свое самое оживленное время. Особенно чувствовалось это сезонное оживленіе по вечерамъ, когда зажигалось электричество.

— Развѣ мы прокатимся на острова по старой памяти? — предложилъ Бургардтъ.—Падаетъ снѣжокъ, въ воздухѣ чувствуется какая-то раздражающая свѣжесть...

Бачульской совсѣмъ не хотѣлось ѣхать, но она согласилась, чтобы поддержать въ Бургардтѣ его бодрое настроеніе. Она не бывала на островахъ съ того рокового вечера, когда Бургардтъ встрѣтился съ миссъ Мортонъ. Это воспоминаніе отравляло ей поѣздку.

— Да, необходимо взять воздуху, — повторилъ нѣсколько разъ Бургардтъ.—Зимой нѣтъ лучше города, какъ Петербургъ.

— Да, хорошій городъ, — машинально соглашалась Бачульская. — Особенно, когда на душѣ хорошо...

— Само собой разумѣется... — согласился Бургардтъ тоже машинально.

Когда они вышли на улицу, Бачульской передалось настроеніе ея кавалера. По панели Невскаго двигалась почти сплошная толпа. Электрическій свѣтъ черезъ живую сѣтку падавшаго снѣга сквозилъ радужными тонами. Мимо неслись вихремъ „свои“ экипажи.

— Вѣдь хорошо?—шепталъ Бургардтъ, крѣпко прижимая къ себѣ руку своей дамы.

— Да...

У Аничкова моста они взяли тройку. Кучеръ посмотрѣлъ на Бургардта съ особеннымъ вниманіемъ и, улыбаясь, проговорилъ:

— Знакомый баринъ...

— Ты меня знаешь?

— Помилуйте, какъ не знать: съ Васильевскаго острову, изъ художествъ.

Это объясненіе вышло очень смѣшно, и господа засмѣялись, усаживаясь въ сани. Да, хорошо прокатиться на острова... Бачульская какъ-то совсѣмъ

спряталась въ своей ротондѣ и показалась Бургардту такой маленькой, почти дѣвочкой. Тройка понеслась по Невскому, весело погромыхивая бубенчиками. Ѣзда съ знакомыми господами особенная, а баринъ „изъ художествъ“ меньше пяти рублей на водку не давалъ. Неслись мимо пятиэтажные дома, электрическіе фонари, ярко освѣщенныя окна магазиновъ, вереница экипажей, живая лента пѣшеходовъ, и точно все это старалось остаться позади.

Осталась и Нева позади. Тройка вихремъ понеслась по Каменноостровскому проспекту. Послѣ яркаго освѣщенія на Невскомъ, здѣсь фонари едва мигали. Попалось нѣсколько встрѣчныхъ троекъ. Сзади слышался звонъ бубенчиковъ нагонявшихъ троекъ. Бургардтъ обнялъ Бачульскую и заговорилъ:

— Мнѣ совѣстно, Марина Игнатьевна, что я все говорю при нашихъ встрѣчахъ только о себѣ... Это ужъ глупый эгоизмъ. Какъ вы живете?

Этотъ вопросъ заставилъ ее вздрогнуть. Освободившись отъ его объятій,— она могла говорить, только глядя въ лицо,—она повторила вопросъ:

— Какъ я живу? Очень просто: играю въ жизнь на своихъ театральныхъ подмосткахъ. Я все забываю вамъ сообщить, что у меня есть другъ, который заботится обо мнѣ самымъ трогательнымъ образомъ: это Бахтеревъ... Онъ не то что ухаживаетъ за мной,—мы слишкомъ стары для этого,—а такъ, по-хорошему. Доставляетъ мнѣ роли, хлопочетъ о рецензіяхъ, ведетъ переговоры съ антрепренерами — словомъ, несетъ самую черную работу. Недавно, Егорушка, меня хвалили въ одной газетѣ и даже нашли талантъ... Ей-Богу, не лгу!.. Вѣдь нравится, когда хвалятъ... Знаешь, что все это вздоръ и неправда, а какъ-то пріятно. А тутъ еще кругомъ непріятности, кажется, всѣ дѣвушки рѣшились сдѣлаться актрисами и прогнать насъ, старухъ. Есть и таланты... Пора, значитъ, закрывать лавочку.

У обоихъ сразу явилась мысль объ Анитѣ, но оба промолчали. Бачульская догадывалась объ истинной причинѣ теперешней нѣжности къ ней Аниты, а Бургардтъ объяснялъ это институтскимъ обожаніемъ.

Кучеръ зналъ, куда вести господъ, и осадилъ взмыленную тройку у ярко освѣщеннаго подъѣзда „Кружала“, надъ которымъ горѣлъ электрическій „глазъ“. Было часовъ десять вечера, въ сущности самое раннее время, когда настоящая публика еще не показывалась. Еще въ передней охватила специфическая атмосфера загороднаго кабака. Бургардтъ взялъ ложу въ бель-этажѣ, гдѣ можно было сидѣть не на глазахъ у публики. Зала, уставленная столиками, была еще наполовину пуста. Пѣвцы и пѣвицы слонялись безъ дѣла по коридорамъ. На эстрадѣ довольно скверно игралъ какой-то дамскій оркестръ. У входа въ ложу Бургардта догнала молоденькая цыганка и проговорила:

— Хорошій баринъ, позолоти ручку...

Бачульская спряталась въ глубинѣ ложи и шепнула Бургардту:

— Напротивъ насъ въ ложѣ Шура и Васяткинъ.

— Что же, они намъ не мѣшаютъ, — равнодушно отвѣтилъ Бургардтъ.

Шура была одѣта, какъ кокотка—пестро и вызывающе. Она раскланивалась съ кѣмъ-то изъ офицеровъ въ ложѣ напротивъ, прикрывая нижнюю часть лица вѣеромъ. Брильянты горѣли у нея въ ушахъ, въ волосахъ, на шеѣ, на рукахъ. Сахановъ не безъ основанія сострилъ по ея адресу, что природа сдѣлала ошибку, не давъ ей двѣ шеи и по шестому пальцу на каждой рукѣ. Васяткинъ узналъ Бургардта и напрасно старался разсмотрѣть его даму, прятавшуюся въ глубинѣ ложи. Бургардтъ случайно занялъ знаменитую красавинскую ложу, куда со сцены посыпались самые любезные поклоны и воздушные поцѣлуи. Недавніе красавинскіе прихлебатели еще не теряли

надежды, что въ этой ложѣ въ одинъ прекрасный вечеръ опять появится меценатъ

Послѣ дамскаго оркестра на сценѣ начался дивертисментъ, и публика сразу оживилась. Бургардтъ давно не бывалъ въ общественныхъ мѣстахъ и, глядя сверху на кабацкую публику, почувствовалъ приливъ гнетущей тоски.

Что же это такое?! вслухъ возмущался онъ. — Прежде всего — неприлично... И публика, и артисты и вся обстановка — все неприлично. И тоска, тоска, тоска..

Бачульская испытывала приблизительно такое же настроеніе и отвѣтила:

— Поѣдемте домой, Егорушка.

— Отлично. Мы поужинаемъ у Палкина.

Они вздохнули свободнѣе, когда вышли изъ „Кружала". Въ ушахъ Бургардта еще стоялъ неистовый визгъ и дикое уханье цыганскаго хора. А вѣдь когда-то все это нравилось и даже очень нравилось, какъ нравится сейчасъ оставшейся публикѣ.

А какъ было хорошо, когда отдохнувшая тройка вихремъ полетѣла обратно. Поднялся легкій вѣтерокъ и засыпалъ снѣжной пылью, садившейся на лицо ледяной паутиной. Навстрѣчу летѣли другія тройки, забрасывая комьями снѣга. Бургардтъ вдыхалъ морозный воздухъ всей грудью, точно хотѣлъ сбросить съ себя кабацкую тяжесть.

— Марина Игнатьевна, вамъ хорошо?

— Да...

Онъ сдѣлалъ паузу и прибавилъ:

— И мнѣ тоже... И хорошо и какъ-то страшно. У меня нынче чувства двоятся... да.. И мнѣ кажется иногда, что я схожу съ ума. Да...

— Перестаньте, Егорушка... просто нервы.

— Нѣтъ, побольше, чѣмъ нервы. Представьте себѣ, какой недавно случай со мной вышелъ. Вотъ вы давеча сказали о Бахтеревѣ, а мнѣ это непріятно. Вы тутъ совсѣмъ ни при чемъ... Онъ какъ-то пріѣхалъ ко мнѣ... вечеромъ... Я его люблю вообще, какъ порядочнаго и добраго человѣка, но особенно близкихъ отношеній у насъ не было никогда. А тутъ представьте себѣ, сидимъ мы въ кабинетѣ, я открываю ему душу да такъ, какъ никому бы не открылъ Онъ слушаетъ меня и, видимо, ничего не понимаетъ... А когда онъ ушелъ, я его возненавидѣлъ за собственную истеричную болтливость.

Сдѣлавъ паузу, Бургардтъ прибавилъ:

— Знаете, у меня бываетъ такое ужасное душевное настроеніе, что я не знаю, что съ собой дѣлать. Нѣсколько разъ пробовалъ даже напиться, и ничего изъ этого не вышло. Не могу даже пить...

XLV.

Когда сани остановились у Палкинскаго подъѣзда, Бургардтомъ овладѣла нерѣшимость, но онъ совладалъ собой и вошелъ. Швейцаръ узналъ его и раскланялся, какъ со старымъ знакомымъ. Бургардта это кольнуло непріятно,—его преслѣдовала трактирная извѣстность. Они заняли въ общей залѣ угловой столикъ. Неистовое гудѣнье трактирной машины заставило Бургардта поморщиться. Бачульская поймала это движеніе и пожалѣла, что согласилась ѣхать ужинать, тѣмъ болѣе, что могли встрѣтиться общіе знакомые, которыхъ совсѣмъ не желательно было видѣть. Старичокъ-офиціантъ узналъ Бургардта и сообщилъ, что у нихъ сегодня есть на кухнѣ „особеннаго".

Когда ужинъ былъ заказанъ, Бургардтъ неожиданно заявилъ:

— Марина Игнатьевна, простите меня, но я больше не могу оставаться здѣсь... Мнѣ просто противно. Пойдемте лучше къ вамъ и попросту напьемся чаю...

Бачульская, конечно, согласилась, но ей было жаль бросить ужинъ, оплаченный по счету Бургардтомъ. Старичокъ-офиціантъ былъ прямо обиженъ.

Бургардтъ вздохнулъ свободно только на панели и проговорилъ уже совсѣмъ весело:

— Знаете, мы сегодня покутимъ по-студенчески... Я сейчасъ зайду и возьму у Филиппова пирожковъ, потомъ купимъ сыру и колбасы... да?

— Нужно еще масла,—въ тонъ прибавила Бачульская.

Черезъ полчаса они сидѣли въ комнатѣ Бачульской въ ожиданіи самовара. На столѣ въ бумажкахъ лежала разная дешевая закуска. Когда Бачульская хотѣла переложить ее на тарелки, Бургардтъ запротестовалъ.

— Нѣтъ, прямо изъ бумажки... Въ этомъ есть стиль.

— У меня есть бутылка бѣлаго вина.

— Ради Бога, не нужно... Эта несчастная бутылка испортитъ все, т.-е. стиль. Да у меня къ тому же нынче физическое отвращеніе къ вину.

— Сейчасъ поздно, и портера нельзя достать.

— Зачѣмъ портеръ? Я давно ничего не пью...

Пока номерная горничная подавала самоваръ, Бургардтъ съ особеннымъ вниманіемъ осматривалъ комнату, обставленную съ приличной бѣдностью всѣхъ меблированныхъ комнатъ. Раньше онъ какъ-то не обращалъ вниманія на эту обстановку, а теперь проговорилъ съ завистью:

— Какъ хорошо, Марина... Вотъ именно въ такихъ мѣщанскихъ комнатахъ и живется хорошо. Главное, все такъ просто и ничего лишняго. Мнѣ это напоминаетъ молодость, когда такъ хорошо жилось...

Замѣтивъ пристальный взглядъ горничной, Бургардтъ сообразилъ, что своимъ позднимъ визитомъ компрометируетъ Бачульскую, и сказалъ горничной:

— Вы не затворяйте дверь... Мнѣ кажется, что здѣсь мало воздуха.

Бачульская поняла эту любезность и посмотрѣла на Бургардта улыбавшимися благодарными глазами. Бургардтъ какъ-то особенно умѣлъ быть такимъ милымъ и безобидно-предупредительнымъ. Онъ былъ въ восторгѣ, что нашелся лимонъ, который забыли купить.

— Отлично,—повторилъ онъ, прихлебывая чай.—Въ сущности много ли человѣку нужно? А всѣ мы громоздимъ какую-то дурацкую обстановку и дѣлаемся ея рабами. Мнѣ, напримѣръ, моя quasi-художественная обстановка въ послѣднее время прямо сдѣлалась противной, и я только не знаю, какъ отъ нея избавиться.

— Вы забываете, Егорушка, что у васъ есть Анита, которая можетъ на это и не согласиться.

— Анита?!

— Да, Анита. Она уже большая дѣвочка, и съ ея мнѣніемъ вамъ приходится считаться.

— Въ самомъ дѣлѣ, а я про нее совершенно забылъ... Пожалуй, вы и правы.

— Она отлично понимаетъ цѣну всѣхъ этихъ художественныхъ бездѣлушекъ, и вы не захотите ее огорчать, выбрасывая ихъ на улицу рѣшительно безъ всякаго основанія, по простой прихоти. Кромѣ того, нарушеніе привычекъ въ нашемъ съ вами возрастѣ очень нехорошая примѣта.

— Именно?

— Спросите докторовъ, они лучше вамъ объяснятъ.

— Да, да, понимаю... Еще разъ: вы правы. Но у меня это началось уже давно... Ну, да это все равно, а у васъ хорошо. Вѣдь жизнь состоитъ изъ пустяковъ, а тѣ пустяки, которые насъ окружаютъ, имѣютъ свое значеніе... Да, кстати, вы давеча сказали, что у васъ часто бываетъ Бахтеревъ.

— Не часто, но бываетъ, когда есть какое-нибудь дѣло.

— Да, это все равно... Я говорю только о фамиліи и томъ, что̀ сказалъ вамъ дорогой.

— Вы его ненавидите?

— Если хотите—да... Онъ, прибавьте, ни въ чемъ не виноватъ, а я его ненавижу за собственную болтливость. И, знаете, я еще никому не говорилъ того, что̀ высказалъ ему, совершенно постороннему для меня человѣку. У меня есть другъ, старый и хорошій другъ, котораго я люблю отъ всей души...

— Григорій Максимычъ?

— Да... И представьте себѣ, что именно ему я и не могъ открыть всего, что̀ накипѣло въ душѣ. Больше: мнѣ казалось, что онъ точно подкрадывается ко мнѣ, а я все сжимался, ежился и прятался. А вотъ Бахтеревъ... Ахъ, какъ я презираю себя!.. Если бы вы это знали въ десятую долю, то доставили бы мнѣ величайшее наслажденіе однимъ тѣмъ, что выгнали бы меня на улицу... И такъ некрасиво все то, что̀ я говорю вамъ сейчасъ, точно выхвачено изъ какого-нибудь дрянного романа, гдѣ дѣйствующія лица изъ нанье-маше. Вы скажете: нервы... Не говорите этого, ради Бога!.. Мы сваливаемъ на нервы всю нашу дрянность, всю непригодность къ жизни, всю безпорядочность.

— Что̀ же такое вы сказали Бахтереву?—тихо спросила Бачульская.

— Я?!..

Онъ поднялся и забѣгалъ по комнатѣ.

— Вы хотите знать?—спросилъ онъ, останавливаясь.

— Это не простое любопытство, а даже нѣкоторое право... Да, именно право. Вѣдь есть права и неписанныя мужчинами. Не все же вамъ, господамъ мужчинамъ. Вы снисходите до насъ, какъ боги...

— Такъ вы хотите знать? Хорошо... *Я никогда не любилъ миссъ Мортонъ.*

Въ меблированной комнатѣ наступила какая-то мертвая пауза. Бачульская откинулась на спинку дивана и закрыла глаза, точно по ней выстрѣлили. Бургардтъ шагалъ по комнатѣ и ерошилъ волосы.

— Егорушка, опомнитесь...—умоляющимъ голосомъ прошептала Бачульская.—Что̀ вы говорите?.. Мнѣ дѣлается страшно за васъ... Такъ нельзя...

Онъ остановился передъ ней и проговорилъ, чеканя слова:

— Это гораздо ужаснѣе, чѣмъ вы думаете, Марина... да. О, я столько перестрадалъ за это время... Мнѣ тяжело все это говорить, но меня неотступно преслѣдуетъ мысль именно объ этомъ. Предъ вами стоитъ жалкій человѣкъ... полное ничтожество... Развѣ такъ любятъ? Любовь Данте—вотъ это идеалъ, потому что тамъ и любовь и жизнь—одно цѣлое. Тамъ любовь пронесена черезъ всю жизнь, какъ святыня... Да, я понимаю, что я дрянной человѣкъ, и это сознаніе меня убиваетъ. Такіе дрянные люди и должны исповѣдываться передъ Бахтеревыми. Иначе и быть не можетъ!..

Бачульская молчала, подавленная этими безумными признаніями. Да и что̀ она могла сказать этому безумцу, рвавшему собственное сердце на части?

— Любовь—это самое святое, что̀ только есть въ человѣкѣ,—продолжалъ Бургардтъ.—Она освѣщаетъ всю нашу жизнь, она роняетъ послѣдніи

слезы надъ свѣжей могилой, она свѣтитъ путеводной звѣздой, она одна—единственный источникъ всякаго творчества... Разъ въ душѣ человѣка погасъ этотъ священный огонь—онъ погибъ... Развѣ *такъ* любятъ, какъ я любилъ миссъ Мортонъ? Это была иллюзія, миражъ, несбыточная мечта, самогипнозъ...

Теперь для Бачульской сдѣлалось ясно, о чемъ говорилъ Бургардтъ. Онъ подошелъ къ ней, обнялъ и долго цѣловалъ ея глаза, на которыхъ выступили слезы.

— О, вы одна понимаете меня!..—стоналъ онъ.—Да, одна, одна...

Когда Бургардтъ уходилъ и Бачульская провожала его съ заплаканными глазами, померная горничная поняла, что баринъ съ барыней поссорились.

XLVI

Присутствіе Шипидина начало стѣснять Бургардта и даже раздражало до извѣстной степени. И чего торчитъ человѣкъ въ Петербургѣ? Ѣхалъ бы къ себѣ въ деревню, давно пора. Бургардтъ не могъ не чувствовать, что Шипидинъ внимательно слѣдитъ за нимъ, и это его злило. Но больше всего Бургардтъ волновался, когда Шипидинъ какимъ-то деревяннымъ голосомъ заводилъ рѣчь объ Анитѣ.

— Слѣдовательно ты думалъ о ней?

— Объ Анитѣ? Да...

— Ну, и что̀ же?

— Ничего... Дѣвочка, какъ дѣвочка. Ничего особеннаго...

— Слѣдовательно ты, дѣйствительно, ничего не понимаешь! Ты не даешь себѣ труда войти даже приблизительно въ ея маленькую жизнь, и дѣвочка растетъ, какъ крапива подъ заборомъ. Ты никогда и ничѣмъ не займешься съ ней, не поговоришь по душѣ—вообще держишь себя какимъ-то дальнимъ родственникомъ.

— Представь себѣ, что ты правъ... Ну, и что̀ же изъ этого слѣдуетъ?

— А ты не сердись... Я съ тобой говорю серьезно. Не знаю, о чемъ ты думаешь, но поступаешь нехорошо. Русская апатія ко всему, азіатщина, обломовщина... Да, не сердись.

— Отстань ты отъ меня, ради Бога!.. Не безпокойся, Анита за насъ обоихъ подумаетъ... Дѣвица себѣ на умѣ и въ обиду не дастся.

— Ну, это такъ, пустыя слова и отговорка.

На эту тему между друзьями происходили крупныя размолвки, причемъ Бургардтъ бѣсновался и кричалъ, а Шипидинъ оставался совершенно невозмутимымъ.

— Ты представь только себѣ, что дѣвочкѣ просто холодно жить... Да, душѣ бываетъ такъ же холодно, какъ и тѣлу. А у дѣвочекъ этого формирующагося возраста особенная чувствительность къ такому душевному холоду...

— Ты правъ, мой другъ, и я тебя именно за это ненавижу, потому что и не умѣю и не могу быть другимъ! Да, ненавижу...

— Слѣдовательно я тутъ ни при чемъ...

Анита серьезно занимала Шипидина, и онъ подолгу велъ съ ней душевные разговоры, когда вечеромъ она кончала свои уроки. Бойкая и умная дѣвочка нравилась Шипидину, но его огорчало въ ней одно,—именно, было что-то затаившееся и хитрое, какъ у маленькаго хищнаго звѣрька, который прячетъ когти. Шипидинъ развивалъ общіе взгляды на жизнь, на счастье, на цѣль жизни, и его мысли неизмѣнно уходили въ далекую отъ столицы Россію, въ тѣ глухія деревушки, гдѣ прозябалъ настоящій и единственный русскій

человѣкъ. Народъ для Аниты составлялся изъ дворниковъ, извозчиковъ, швейцаровъ и кухонныхъ мужиковъ, а тутъ оказывалось, что все это только отбросы настоящей деревни, потерянные для настоящей жизни люди. Анита узнала наконецъ, что если для чего стоитъ жить на свѣтѣ, такъ это именно для этого великаго въ своей исторической бѣдности народа, гиганта въ лохмотьяхъ. Шипидинъ говорилъ такъ просто и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ увлекательно, что Анита невольно заинтересовалась.

— Что же я могу сдѣлать для этого народа?—спросила она однажды съ отчаяніемъ въ голосѣ.

— О, очень много!

Личико Аниты приняло брезгливое выраженіе. Развѣ она могла быть сельской учительницей, фельдшерицей или сестрой милосердія, чтобы похоронить свою молодость въ какомъ-нибудь медвѣжьемъ углу?

— Слѣдовательно это кажется страшнымъ только издали,—невозмутимо продолжалъ Шипидинъ.—Вѣдь самое важное, чтобы жизнь была полна, важно сознаніе, что каждый день прошелъ не безслѣдно... Развѣ это жизнь, какъ живутъ въ большихъ городахъ, умирая со скуки? Развѣ это работа, которая никому не нужна и которая тяготитъ работающаго, какъ ярмо?

Шипидинъ задался цѣлью черезъ Аниту подѣйствовать на Бургардта и увезти его въ деревню во что бы то ни стало. Самому Бургардту недоставало рѣшимости, а для Аниты онъ могъ пойти на все. Только бы увезти его изъ Петербурга, и онъ проснулся бы, ожилъ и началъ бы работать съ удвоенной энергіей. Шипидину начало казаться, что Анита понемногу сдается и въ ней начинаетъ пробуждаться аппетитъ къ настоящему и серьезному. Но эта иллюзія была разбита самымъ безжалостнымъ образомъ, когда Анита неожиданно призналась ему, что желаетъ поступить на сцену.

— Да, я буду на сценѣ,—упрямо заявила дѣвочка.

— Слѣдовательно... да... слѣдовательно... — бормоталъ Шипидинъ, не вѣря собственнымъ ушамъ...—Да, я понимаю... Это результатъ знакомства съ Бачульской и Бахтеревымъ. Слѣдовательно... да...

— Что же, они хорошіе люди...

— Я не говорю про нихъ ничего дурного, но мнѣ жаль васъ, Анита... Если бы мнѣ сказала моя дочь то, что вы сейчасъ мнѣ сказали, я заплакалъ бы...

Анита испугалась и торопливо прибавила:

— Григорій Максимычъ, пожалуйста, ничего не говорите папѣ. Онъ пока еще ничего не знаетъ и не долженъ знать...

Въ глазахъ Шипидина послѣднее являлось прямымъ слѣдствіемъ отношеній Бургардта къ дочери, и Анита, строго говоря, не была виновата. Она шла своей дорогой, руководствуясь примѣрами, какіе были у нея предъ глазами: Бачульская, Ольга Спиридоновна, Бахтеревъ—вѣдь это цѣлая школа. Особенно вознегодовалъ Шипидинъ на Бачульскую, которая пользовалась въ послѣднее время особеннымъ вниманіемъ Аниты.

Когда Бачульская пріѣхала, Шипидинъ воспользовался отсутствіемъ Аниты и заявилъ ей прямо свое неудовольствіе, что она сбиваетъ подростка-дѣвочку.

— Я?!..—удивилась Бачульская.—Даю вамъ честное слово, что я слышу все это въ первый разъ. Мнѣ Анита не говорила ни одного слова... Затѣмъ, вы совершенно напрасно этимъ волнуетесь: нынче, кажется, всѣ дѣвушки бредятъ сценой. Это яркій примѣръ массоваго помѣшательства... Какъ вамъ не стыдно, Григорій Максимычъ, подозрѣвать меня въ такихъ вещахъ? Я-то ужъ

лучше другихъ знаю, что̀ такое сцена, и не стала бы толкать Аниту на эту опасную дорогу, гдѣ къ цѣли приходитъ одна изъ тысячи.

Этотъ случайный эпизодъ и взволновалъ и серьезно обидѣлъ Бачульскую. Она всегда относилась къ Анитѣ, какъ къ родной дочери, и вдругъ она же будетъ толкать ее на сцену... Затѣмъ, ея голова была занята совершенно другими мыслями. Послѣднее объясненіе съ Бургардтомъ серьезно ее обезпокоило. Подъ этимъ впечатлѣніемъ она съ чисто-женской рѣшимостью отправилась къ старому Гаузеру, который принялъ ее очень холодно.

— Предупреждаю васъ, что у меня всего пять свободныхъ минутъ,— безцеремонно объяснилъ старикъ и даже показалъ ей на свои старинные часы.—Да, всего пять минутъ...

— Докторъ, вы забываете, что имѣете дѣло съ женщиной...

— О, это двѣ небольшихъ разницы—мужчинъ и женщинъ.

Приподнятая своимъ настроеніемъ и этимъ жесткимъ пріемомъ, Бачульская безъ всякихъ предисловій перешла въ наступательное положеніе. Она съ несвойственной ей храбростью начала обвинять доктора въ несправедливости. Да, старый докторъ Гаузеръ напрасно тогда оскорбилъ ни въ чемъ неповиннаго Бургардта, статскій совѣтникъ Гаузеръ держалъ себя на похоронахъ миссъ Мортонъ невозможно; просто добрый и милый докторъ, котораго всѣ такъ любятъ, оказался въ высшей степени несправедливымъ.

Старикъ Гаузеръ во все время этой горячей обвинительной рѣчи смотрѣлъ на свои часы и, когда Бачульская кончила, задыхаясь отъ волненія, проговорилъ:

— Вы обвиняли меня ровно восемь минутъ и двадцать три секунды... Я вамъ не имѣю права не вѣрить, слѣдовательно я виноватъ... да... Но что̀ же я могу сдѣлать?

— О, милый, хорошій докторъ!..—заговорила Бачульская, точно повторяла какую-то театральную роль.—*Онъ* васъ такъ любитъ, а сейчасъ...

Задыхаясь отъ волненія, Бачульская довольно сбивчиво передала свои наблюденія относительно повышеннаго нервнаго состоянія Бургардта и закончила мольбой бывать попрежнему на Васильевскомъ островѣ.

— Докторъ Гаузеръ не практикуетъ,—упрямо отвѣтилъ старикъ, пряча часы въ карманъ.

— Я васъ приглашаю, какъ друга дома...

Когда такое приглашеніе заставило плечи доктора Гаузера подняться, Бачульская неожиданно прибавила:

— Васъ удивляетъ, почему именно я васъ приглашаю? Хорошо, я скажу... да, скажу... У каждой женщины есть одно право, котораго никто не можетъ отнять: любить... Да!.. Я давно и совершенно безнадежно люблю Бургардта... Немного меньше жены и больше сестры люблю...

Старому Гаузеру пришлось подать стаканъ холодной воды, потомъ лавровишневыхъ капель, потомъ поклясться въ сохраненіи тайны и т. д. Когда Бачульская уѣхала, старикъ подошелъ къ зеркалу, повертѣлъ пальцемъ около лба и проговорилъ:

— О, старый Гаузеръ, за тобой еще ухаживаютъ совсѣмъ, совсѣмъ молодой женщинъ... Будь твердъ, старый Гаузеръ!

XLVII.

Докторъ Гаузеръ появился въ домѣ Бургардта съ немного виноватымъ видомъ и, въ свое оправданіе, сказалъ Бургардту:

— А я все-таки былъ правъ, хотя вы и не были виноваты, какъ я думалъ.

— Оставьте этотъ разговоръ,—отвѣтилъ Бургардтъ.—Кто виноватъ— не наше дѣло.

Присутствіе доктора какъ-то всѣхъ оживило. Анита не отходила отъ него. Ей казалось, что такой старый и почтенный человѣкъ долженъ знать больше всѣхъ, и поэтому она приставала къ нему со всевозможными вопросами и даже показала свою новую шубку.

— Не правда ли, докторъ, какая хорошенькая шубка?

— О, очень.

Старикъ по этому случаю прочелъ ей цѣлую лекцію по спорнымъ вопросамъ гигіены спеціально-женскихъ костюмовъ, начиная съ древнѣйшихъ временъ и кончая современными модами.

Вначалѣ Бургардтъ очень обрадовался доктору, а потомъ замѣтилъ, какъ онъ тщательно наблюдаетъ и время отъ времени задаетъ разные наводящіе вопросы. Очевидно, составился цѣлый заговоръ, въ которомъ приняли участіе Бачульская, Шипидинъ и докторъ.

„Они, кажется, считаютъ меня за сумасшедшаго, — съ горечью думалъ Бургардтъ.—А всѣхъ подняла на ноги милѣйшая Марина Игнатьевна...“

А потомъ у него явились другія мысли. Дѣло въ томъ, что сейчасъ точно считали своей обязанностью по очереди дежурить въ его мастерской и упорно слѣдили за его работой. Это вниманіе начинало его раздражать. Очевидно, всѣхъ интересовала не его работа въ готовомъ видѣ, а то, *какъ* онъ работаетъ. Но случайные гости приходили и уходили, а зато оставался Гаврюша, отъ котораго уже некуда было дѣваться. Онъ слѣдилъ за нимъ съ какимъ-то озлобленнымъ упорствомъ и отмѣчалъ малѣйшій промахъ. Въ послѣднемъ отношеніи Гаврюша сдѣлалъ большіе успѣхи, и Бургардтъ чувствовалъ себя неловко, выслушивая его замѣчанія. Разъ онъ не вытерпѣлъ и сказалъ:

— Гаврюша, скажите откровенно, за что вы меня ненавидите?

— Я?!.. Васъ ненавижу?..—притворно изумился Гаврюша.—Развѣ я могу васъ ненавидѣть, Егоръ Захарычъ? Я отлично понимаю ту неизмѣримую разницу, которая существуетъ между нами. Вы корифей, гордость русскаго искусства, а я безвѣстная тля. Я только состою при искусствѣ изъ милости и отлично это понимаю...

Съ Гаврюшей невозможно было разговарить. Онъ притворялся и лгалъ съ открытымъ лицомъ. Про себя Бургардтъ рѣшилъ, что непремѣнно разстанется съ нимъ послѣ весенней выставки въ академіи художествъ. Очевидно, Гаврюшу заѣдала профессіональная зависть, какъ это случается нерѣдко. Превосходство учителя угнетало и мучило его до послѣдней степени. За спиною Гаврюши Бургардту чувствовалась направляющая и благословляющая рука Сахапова.

Бургардтъ усиленно работалъ для выставки, чтобы закончить все. Онъ гналъ работу, точно на пожаръ. Въ его головѣ складывались уже другіе замыслы и новые сюжеты. Въ сущности, скульптура точно застыла въ средѣ другихъ отраслей искусства, какъ живопись или музыка. Что-нибудь новое трудно было найти, да и новости эти появлялись на выставкахъ единицами, какъ единицами являлись и сами скульпторы, несмотря на страстную жажду найти новые пути и новыя средства. Новаторство выражалось большею частью въ какихъ-то болѣзненныхъ формахъ. Что больше всего огорчало Бургардта, такъ это то, что скульптура оставалась какъ-то внѣ текущей жизни, повторяя избитые темы и пріемы.

Давно обѣщанная Сахановымъ статья „о голой женщинѣ въ искусствѣ“

появилась только на Святкахъ и произвела извѣстную сенсацію, хотя являлась только дополненіемъ статьи о роли мецената въ искусствѣ. Большое мѣсто въ этой статьѣ было отведено скульптурѣ, гдѣ, по выраженію автора, голая женщина царитъ по преимуществу. Обсуждая этотъ вопросъ, Сахановъ проявилъ много пуританизма и горячо возмущался, что скульптурная голая женщина такъ нахально лѣзетъ въ глаза на каждой выставкѣ. Если въ древности она являлась олицетвореніемъ извѣстныхъ религіозныхъ представленій, если въ Греціи, во времена ея цвѣтущаго періода, она служила выраженіемъ культа красоты, то въ наше время, время пара и электричества, голая скульптурная женщина обязана своимъ существованіемъ только разнузданному вкусу современныхъ богачей и дурнымъ инстинктамъ прогнившей до мозга уличной толпы. Въ общемъ—она только иллюстрація страшнаго упадка здоровыхъ вкусовъ современнаго общества и показатель его полной испорченности. Вѣдь если бы показалась живая голая женщина, будь она первая красавица, на улицѣ, ее забрали бы въ участокъ за нарушеніе общественныхъ приличій, а скульптурная голая женщина показывается всѣмъ, выставляется въ общественныхъ мѣстахъ и даже нашла себѣ мѣсто на надгробныхъ памятникахъ. Но особенно досталось голой женщинѣ въ русскомъ искусствѣ, какъ продукту, имѣвшему единственную цѣль—разжигать еще болѣе разнузданное барское воображеніе. Въ Западной Европѣ всѣ эти голыя богини и нимфы имѣли еще хоть какой-нибудь raison d'être, какъ печальное наслѣдство сгнившаго до корня язычества, а ужъ мы взяли эту языческую голь совершенно зря, изъ обезьянства. Развѣ эти богини говорятъ что-нибудь нашему уму или чувству, кромѣ подслуживающагося разжиганія похоти ничтожной кучки, ополоумѣвшей отъ своего родного крѣпостного разврата съ разными Матрешками и Палашками? Правда, что русскимъ художникамъ въ этомъ отношеніи далеко до французскихъ, но все-таки и мы платимъ вполнѣ достаточную дань голой женщинѣ, какъ товару выгодному и ходкому. И т. д. и т. д. Общее впечатлѣніе статьи оставалось все-таки незаконченнымъ, точно Сахановъ что-то не договаривалъ. Нѣсколько избитыхъ остротъ не прибавили пикантности пикантному и безъ того сюжету. Очевидно, Сахановъ началъ исписываться и повторять самого себя.

„Да, тоже конченный человѣкъ, — невольно подумалъ Бургардтъ, перелистывая статейку.—Его время прошло...“

Удивительнѣе всего было то, что въ статьѣ попадалось много цѣнныхъ мѣстъ, но они какъ-то терялись среди остального хлама, точно тѣ монеты, которыя теряются на улицѣ въ уличномъ мусорѣ. Это потерянное золото уже не производило впечатлѣнія, какъ сухой трескъ холостого заряда.

У Саханова была привычка провѣрять по живымъ людямъ произведенное его статьей впечатлѣніе, и онъ объѣзжалъ своихъ знакомыхъ, чтобы узнать ихъ мнѣніе, причемъ къ свѣдѣнію, какъ у большинства авторовъ, принимались только благопріятные отзывы и похвалы, а все непріятное отметалось. Черезъ недѣлю по выходѣ статьи Сахановъ пріѣхалъ къ Бургардту, гдѣ засталъ общество — Шипидина, доктора Гаузера, Бахтерева и Ольгу Спиридоновну. Бургардтъ сразу понялъ, зачѣмъ онъ пріѣхалъ, и изъ любезности хозяина завелъ рѣчь самъ о его статьѣ.

— Ахъ, да...—притворился равнодушнымъ Сахановъ.—Я уже получилъ нѣсколько ругательныхъ писемъ. Самое обидное было отъ одной очень молоденькой и очень хорошенькой дамы, которая назвала меня лысымъ осломъ... Я нахожу, что не совсѣмъ еще заслужилъ такое названіе, потому что есть люди болѣе лысые, чѣмъ вашъ покорный слуга.

— Я тоже читала вашу статью,—замѣтила Ольга Спиридоновна, подбирая строго губы.—У васъ ничего не сказано о балетѣ... Нынче Богъ знаетъ кто пишетъ о насъ. Придумали какую-то поэзію спины... Рѣшительно ничего не понимаю... О женщинахъ нынче пишутъ, какъ о лошадяхъ...

— Слѣдовательно совершенно вѣрно, — поддержалъ ее Шипидинъ. — Именно какъ о лошадяхъ... Что касается спеціально статьи г. Сахапова, то, какъ мнѣ кажется, онъ сдѣлалъ выстрѣлъ изъ пушки по воробью и просмотрѣлъ одно, именно, что голая женщина постепенно уходитъ изъ искусства. Есть цѣлый рядъ большихъ художниковъ, которые, кажется, ни разу ея не выводили, какъ Рѣпинъ, Верещагинъ и т. п. Насколько мнѣ помнится, у Егора Захарыча тоже не было ни одной нимфы или богини.

— Нѣтъ, былъ такой грѣхъ,—сознался Бургардтъ.—Въ юности пробовалъ лѣпить русалку, но дѣло не состоялось, потому что не нашелъ подходящей модели...

Сахановъ остался недоволенъ малыми размѣрами удѣленнаго ему вниманія и скоро уѣхалъ.

— Слѣдовательно жалкій человѣкъ,—замѣтилъ Шипидинъ, не обращаясь въ частности ни къ кому.

XLVIII.

Время отъ Рождества до выставки пролетѣло стрѣлой. Бургардтъ почти не выходилъ изъ своей мастерской. Онъ рѣшился во что бы то ни стало кончить все. Въ сущности, это была даже не работа, а что-то въ родѣ запоя. Даже завтракъ подавали въ мастерскую. Изъ знакомыхъ позволялось входить сюда только Шипидину и Ольгѣ Спиридоновнѣ, пріѣзжавшей на сеансы. Послѣдняя продолжала откровенно возмущаться собственнымъ бюстомъ.

— Старуху какую-то вылѣпилъ... Очень нужна такая старая кожа кому-то!..

Только разъ, вглядѣвшись, она съ удивленіемъ проговорила:

— А вѣдь старуха-то наполовину еще молодая...

Это замѣчаніе страшно обрадовало Бургардта. Онъ даже покраснѣлъ отъ удовольствія. Именно, дороже всего было то, что это сказала Ольга Спиридоновна, откровенный и вполнѣ непосредственный человѣкъ

Только авторы художественныхъ произведеній въ любой области искусства понимаютъ, какъ трудно кончать даже самую маленькую вещь. Вѣдь нѣтъ такой работы, которую нельзя было бы сдѣлать лучше. Замыселъ всегда блѣднѣетъ въ исполненіи, не выражая и сотой доли того, что желалъ бы сказать художникъ. А муки поправокъ, дополненій и передѣлокъ? Бургардтъ даже во снѣ продолжалъ свою работу и страшно мучился. Нервы были напряжены до послѣдней степени, и онъ начиналъ галлюцинировать наяву.

Бургардтъ дошелъ въ концѣ концовъ до какого-то мученичества. Моменты отчаянія, неизбѣжные при всякомъ творчествѣ, дѣлались все чаще и оставались дольше, пока Бургардтъ не возненавидѣлъ собственную работу. Послѣднее чувство охватило его въ послѣднія двѣ недѣли, и онъ доканчивалъ свою работу въ какомъ-то отупѣломъ состояніи.

„Э, не все ли равно? — думалъ онъ. — Какой я художникъ, какой скульпторъ...“

Конецъ наступилъ какъ-то неожиданно, точно что оборвалось. Въ сущности оставалось сдѣлать еще много, но Бургардтъ понялъ, что дальше ему уже нечего дѣлать и что онъ своими поправками будетъ только портить то, что уже сдѣлано такъ или иначе. За недѣлю до выставки онъ бросилъ все

и даже не заглядывалъ въ мастерскую, какъ боятся зайти въ комнату, гдѣ лежитъ дорогой покойникъ, котораго еще всѣ привыкли видѣть живымъ. Изъ всѣхъ близкихъ людей только одинъ Шипидинъ понималъ это настроеніе и тоже не заглядывалъ въ мастерскую. Онъ боялся увидѣть не то, что предполагалъ. Съ Бургардтомъ онъ старался не говорить о выставкѣ и вообще о художествѣ, что было бы просто жестоко въ виду его настроенія. Гаврюша впередъ торжествовалъ. Онъ отлично видѣлъ, что въ настоящей работѣ прежняго Бургардта уже не было, а только одни намеки на то, чѣмъ онъ могъ бы быть. Да, не было цѣлаго, а только отдѣльныя „счастливыя мѣста", какъ выражался Сахановъ.

Въ самомъ отчаяніи есть кульминаціонныя точки, когда всѣ чувства достигаютъ послѣдней степени напряженія. Именно такое состояніе переживалъ Бургардтъ, отправивъ свою работу на академическую выставку. Онъ даже не пожелалъ посмотрѣть, какъ будутъ ихъ выставлять, и предоставилъ все Гаврюшѣ.—„Не безпокойтесь, Егоръ Захаровичъ, ужъ я устрою все,— говорилъ Гаврюша, на этотъ разъ вполнѣ искренно.—Мѣсто у насъ отличное, да и конкурентовъ очень мало..."

У Гаврюши явилось опасеніе за работу учителя, и онъ теперь относился къ ней ревниво. Развѣ публика, которая толчется на выставкѣ, что-нибудь понимаетъ? Конечно, Бургардтъ могъ сдѣлать все лучше, но все-таки *это* работа Бургардта. Пусть попробуютъ другіе сдѣлать *такъ*.

Отправивъ работу, Бургардтъ долго стоялъ въ опустѣвшей мастерской, точно напрасно старался припомнить что-то, какъ напрасно припоминаютъ иногда счастливые молодые сны. Да, вотъ онъ здѣсь работалъ, волновался, мучился, и все вдругъ отпало и точно умерло. Больше не нужно волненій... Довольно. Онъ чувствовалъ, какъ его начинаютъ душить безсильныя слезы, и, пошатываясь, какъ пьяный, ушелъ въ свой кабинетъ.

„Зачѣмъ я отправилъ все на выставку? — думалъ онъ съ тоской. — Нужно было все разбить... уничтожить..."

У него являлась мысль даже о томъ, чтобы вернуть съ выставки все, но потомъ его охватила всего такая усталость, что не хотѣлось ни о чемъ думать.

Въ молодости для Бургардта открытіе академической выставки составляло настоящій праздникъ, наступленія котораго онъ ждалъ съ величайшимъ нетерпѣніемъ. А сейчасъ онъ думалъ объ этой выставкѣ со страхомъ. Даже когда она открылась, онъ переждалъ первые три дня, когда выставку посѣщала настоящая дорогая публика, и пошелъ только на четвертый, и то въ сопровожденіи Шипидина, тащившаго его насильно.

— Слѣдовательно это невозможно,—ворчалъ другъ дѣтства.—Выставка имѣетъ успѣхъ... Около твоихъ вещей цѣлая толпа. Странно, что всѣмъ нравится больше всего бюстъ Ольги Спиридоновны... Не понимаю.

Выставка была удачною. Публика переходила изъ залы въ залу толпой, останавливаясь главнымъ образомъ передъ излюбленными ей „стариками", репутація которыхъ установилась давно. Молодые художники, а особенно начинающіе, фигурировавшіе на выставкѣ въ первый разъ, возбуждали толки, разницу мнѣній и критику. Публика точно не рѣшалась сказать окончательное и рѣшительное слово, то слово, которое дастъ художнику имя. Бургардтъ и Шипидинъ, разсматривая картины, долго прислушивались къ толкамъ и пересудамъ этихъ неизвѣстныхъ людей, мнѣніе которыхъ имѣло такое роковое и рѣшающее значеніе.

— Это удивительно, какъ въ массѣ публика оцѣниваетъ вѣрно,—гово-

рилъ Бургардтъ.—Людей съ настоящимъ художественнымъ пониманіемъ и вкусомъ у насъ ничтожная кучка, а судитъ вотъ эта масса...

Васяткинъ, конечно, былъ на выставкѣ и суетливо перебѣгалъ отъ одной группы къ другой. У него на каждомъ шагу встрѣчались знакомые. Онъ что-то такое объяснялъ, размахивалъ руками и вообще производилъ впечатлѣніе завзятаго спеціалиста и тонкаго знатока. Бургардтъ поморщился, когда Васяткинъ потащилъ своихъ знакомыхъ къ его работамъ. Его сердце невольно сжалось отъ страха. Недоставало для полноты картины только Саханова. Но и онъ явился и сдѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ Бургардта.

„Эге, дѣло неладно",—подумалъ Шипидинъ.

Къ своимъ работамъ Бургардтъ подошелъ послѣ всего, когда публика отхлынула съ выставки. Гаврюша постарался и поставилъ барельефы при очень выгодномъ освѣщеніи. Здѣсь они много выигрывали сравнительно съ мастерской.

— Что же, не вредно...—похвалилъ Шипидинъ.—Говоря между нами, мнѣ больше всего нравится Сергій. Вещь капитальная...

Сейчасъ Бургардтъ смотрѣлъ на собственную работу уже глазами посторонняго человѣка. У него явилась даже мысль, что ужъ не все такъ плохо, а есть и нѣкоторыя достоинства. Конечно, можно было многое сдѣлать лучше, чувствовалась торопливость работы и нѣкоторая недоконченность, но въ общемъ получалось довольно цѣльное впечатлѣніе. И бюстъ человѣка Андрея вышелъ у Гаврюши тоже недурно, и его портила только намѣренная небрежность въ отдѣлкѣ деталей.

— Ничего, хорошо,—похвалилъ Шипидинъ работу Гаврюши.—Слѣдовательно будетъ настоящій художникъ со временемъ.

— Очень можетъ быть,—согласился Бургардтъ.

Вернувшись домой, Бургардтъ еще изъ передней услышалъ голоса Бахтерева и старика Гаузера. Они о чемъ-то очень горячо спорили и сразу замолчали, когда Бургардтъ вошелъ въ кабинетъ. На письменномъ столѣ валяялся скомканный номеръ газеты, и Бургардтъ понялъ сразу, въ чемъ дѣло.

— Обругалъ Сахановъ?—спросилъ онъ, здороваясь.

— Это чортъ знаетъ что такое!—вспылилъ докторъ, бѣгая по комнатѣ.—Всему наконецъ есть границы...

— Просто: негодяй и мерзавецъ!..—подтвердилъ Бахтеревъ.

Бургардтъ взялъ номеръ и принялся читать посвященный ему фельетонъ. Сахановъ разбиралъ его по косточкамъ, доказывая пунктъ за пунктомъ, что Бургардтъ конченный человѣкъ. Нужно отдать справедливость, что статья была написана великолѣпно, какъ давно уже не писалъ Сахановъ, и главное, въ серьезномъ тонѣ, безъ всякихъ грубыхъ выходокъ и спеціально-газетнаго гаерства. Прочитавъ внимательно всю статью, Бургардтъ положилъ газету на столъ и проговорилъ совершенно спокойно.

— Да, къ сожалѣнію, онъ правъ... Было бы хуже, если бы онъ началъ хвалить меня ни за что. Да... Повѣрьте, что никакой критикъ не можетъ ни прибавить ни убавить даже полвершка моего роста.

ЭПИЛОГЪ.

Что хуже: женское письмо или Тамбовская губернія? Этотъ немного странный вопросъ задалъ себѣ Евстратъ Павлычъ Бахтеревъ, остановившійся, какъ въ сказкѣ, на распутіи трехъ полевыхъ дорожекъ. День былъ жаркій, настоящій іюльскій. Кругомъ безъ конца разлеглись поля назрѣвавшей пше-

ницы. Мѣстахъ въ пяти отдѣльными купами круглились рощицы, въ которыхъ прятались заброшенныя помѣщичьи усадьбы. Одна изъ этихъ купъ принадлежала усадьбѣ „Уланка", куда Бахтереву нужно было пройти. На желѣзнодорожномъ полустанкѣ безтолковый сторожъ ткнулъ пальцемъ прямо и сказалъ:

— Иди все прямо, баринъ... Дорога одна.

Вотъ тебѣ и одна дорога... Бахтеревъ въ отчаяніи сѣлъ на землю, досталъ изъ кармана письмо Бачульской и еще разъ перечиталъ его. Конечно, числа, какъ на всѣхъ женскихъ письмахъ, не полагалось, а самый адресъ можно было прочитать только по догадкѣ: Уланка, Ульянка, даже выходило что-то въ родѣ Улыбки.

— Очень даже трогательно,—ворчалъ Бахтеревъ, пряча письмо.

Бачульская писала ему въ Воронежъ, гдѣ Бахтеревъ гастролировалъ, и просила убѣдительно навѣстить ее. До рокового полустанка все шло благополучно, а тутъ сразу точно на необитаемый островъ пріѣхалъ: лошадей нѣтъ, послать за ними некого, фамиліи Бачульской никто не слыхалъ и т. д. Однимъ словомъ, получалась Тамбовская губернія, о которой всѣ свѣдѣнія Бахтерева ограничивались тамбовскими окороками и знаменитой „кашей изъ Тамбова", которой „не было пріятнѣй, веселѣй".

Послѣ нѣкотораго колебанія Бахтеревъ рѣшилъ, что нужно итти по средней дорожкѣ, тѣмъ болѣе, что по ней навстрѣчу ѣхала деревенская телѣга,— послѣднее было только предположеніемъ, потому что гдѣ-то далеко впереди, надъ поднявшейся шелкомъ безконечной пшеницей медленно двигалось облачко пыли.

Бахтереву пришлось итти по меньшей мѣрѣ битый часъ только для того, чтобы убѣдиться, что предполагаемая крестьянская телѣга точно провалилась сквозь землю. Но, когда онъ хотѣлъ прійти въ отчаяніе, изъ живой стѣны пшеницы показалась баба. Да, настоящая россійская баба—въ лапоткахъ, съ замотанной, несмотря на лѣтній зной, шалью головой. Когда Бахтеревъ задалъ вопросъ объ Уланкѣ, баба ткнула рукой прямо и отвѣтила:

— А вонъ она...

Очевидно, эта тамбовская баба была родственницей желѣзнодорожнаго сторожа. Бахтеревъ пошелъ впередъ съ твердой рѣшимостью куда-нибудь дойти. Попался какой-то глубокій оврагъ, по дну котораго пряталась въ лозникахъ безымянная рѣчонка, потомъ глинистый косогоръ, потомъ плотина, а за ней барская усадьба въ уютной рощицѣ

— Здѣсь,—рѣшилъ Бахтеревъ.

Усадьба походила на всѣ помѣщичьи усадьбы. Двухъэтажный деревянный домъ съ колоннами, террасой, съ какою-то башенкой, кругомъ запущенный садикъ, за домомъ неизбѣжная „вѣковая аллея", которая хранила воспоминанія о счастьѣ дѣдушекъ и бабушекъ, и т. д. Бахтеревъ вошелъ прямо въ открытое парадное крыльцо, потомъ попалъ въ какой-то коридоръ и наконецъ очутился въ уютномъ садикѣ изъ сиреней и акацій. На зеленой садовой скамейкѣ сидѣла женщина съ какой-то женской работой, рядомъ съ ней въ колясочкѣ, прикрытой кисеей, спалъ ребенокъ. Появленіе Бахтерева заставило женщину подняться.

— Боже мой, кого я вижу?!—сказала она.

— Марина Игнатьевна, вы ли это?—въ свою очередь удивился Бахтеревъ и покосился на дѣтскую колясочку.

Она густо покраснѣла и театральнымъ жестомъ пригласила говорить тихо.

— *Онъ* спитъ...—объяснила она съ виновато-счастливымъ видомъ.

Бахтеревъ принялъ позу благороднаго отца изъ „La dame aux camélias" и даже заложилъ правую руку за бортъ лѣтняго пиджака.

— Фамилія?—коротко спросилъ онъ.

Она еще сильнѣе покраснѣла и отвѣтила, опустивъ глаза:

— „Домби и сынъ“.

— Ага, понимаю...

Они оба разсмѣялись. Вѣроятно, старая барская усадьба давно не слыхала такого счастливаго, хорошаго смѣха...

— А гдѣ же *онъ*?—спросилъ Бахтеревъ.

— *Онъ* у Шипидина... Я сейчасъ пошлю за нимъ. Это совсѣмъ близко—версты четыре. Мы считаемъ разстояніе по-деревенски.

Она встала и позвала горничную. Отданъ былъ приказъ, и горничная отправилась бѣгомъ, шлепая босыми ногами. Когда Бачульская возвращалась, Бахтеревъ ее обнялъ и поцѣловалъ.

— Ахъ, это нельзя...—смущенно объясняла она.—Я уже начинаю забывать наши актерскіе добрые поцѣлуи.

— Не актерскіе, а дружескіе... Да и я уже настолько старъ, что мнѣ можно это позволить. Притомъ я вижу, что вы счастливы, и мое старое сердце забилось...

Они сѣли на зеленую скамеечку, и Бачульская въ короткихъ словахъ разсказала все, что̀ случилось за этотъ годъ. Бургардтъ послѣ выставки сейчасъ же исчезъ неизвѣстно куда. Она и Шипидинъ страшно перепугались, пока не пришла мысль искать его въ Финляндіи,—дѣйствительно, Бургардтъ уѣхалъ на Иматру и тамъ поселился. Съ нимъ было очень нехорошо. Временами онъ заговаривался, потомъ были истерическіе припадки, безграничный страхъ и страшная тоска.

— О, намъ много было съ нимъ хлопотъ,—разсказывала Бачульская и прибавила уже вполголоса:—Да и сейчасъ бываютъ несчастные дни... Но все-таки жизнь въ деревнѣ точно воскресила его, хотя о работѣ нечего и думать. Надо подождать... Мы теперь занимаемся больше всего деревенскимъ хозяйствомъ. Есть двѣ лошади, двѣ коровы, Анита выкармливаетъ телку—однимъ словомъ, настоящіе помѣщики. Я ужасно рада, что его все это интересуетъ, и даже больше—онъ увлекается. Прошлое мнѣ иногда кажется какимъ-то тяжелымъ сномъ. Кстати, когда будете писать мнѣ, адресуйте на имя m-me Бургардтъ... Бачульская больше не существуетъ.

Бахтеревъ крѣпко пожалъ ея руку и проговорилъ съ тяжелымъ вздохомъ:

— Да, да, чувствую, что вы счастливы... Можетъ-быть, когда-нибудь забредетъ къ вамъ старый товарищъ по сценѣ... Да, не оставьте его... Одно слово участія... нѣсколько дней отдыха...

Она со слезами на глазахъ крѣпко его расцѣловала. Въ этотъ трогательный моментъ на террасѣ показались Бургардтъ и Шипидинъ, оба загорѣлые и оба въ одинаковыхъ костюмахъ. Бургардтъ страшно обрадовался гостю и тоже заключилъ его въ свои объятія.

— Боже, какъ я васъ радъ видѣть, Евстратъ Павлычъ,—повторялъ онъ.—Да, радъ... Жена вамъ писала уже не первое письмо, и мы частенько васъ поджидали.

— Слѣдовательно и я тоже радъ,—прибавилъ отъ себя Шипидинъ, оглядывая гостя съ ногъ до головы.—А какой бы изъ васъ отличный рабочій вышелъ... да...

Вечеромъ они долго сидѣли въ саду вокругъ самовара, вспоминая прошлое, и Бургардтъ, какъ случается съ семейными людьми, проговорилъ словами жены:

— А знаете, прошлое мнѣ кажется какимъ-то тяжелымъ сномъ... Это и былъ сонъ.

1899.

ВЪ НѢКОТОРОЕ ВРЕМЯ.

(Совершенно невѣроятная исторія).

1.

„Третій пунктъ", Сладкоѣжка и „тетя".

I.

Татары-официанты на Николаевскомъ петербургскомъ вокзалѣ мѣрили день господиномъ среднихъ лѣтъ, средняго сложенія, роста и полноты, аккуратно появлявшимся въ буфетѣ перваго класса ежедневно въ опредѣленные часы. Онъ занималъ свое мѣсто за небольшимъ столикомъ у окна, не торопясь надѣвалъ очки въ золотой оправѣ и вынималъ изъ кармана газету. Официанты, не спрашивая, подавали бутылку свѣтлаго „императорскаго" пива и обязательно спрашивали:

— Какъ ваше здоровье, Иванъ Семенычъ?

— Спасибо. Слава Богу, здоровъ. А какъ вы тутъ поживаете?

— Покорно благодаримъ, Иванъ Семенычъ... Мало-мало живемъ.

Татары любили неизвѣстнаго Ивана Семеныча не за чай—онъ больше гривенника не давалъ, а за обращеніе. Мало ли порядочныхъ господъ бываетъ въ буфетѣ, а только то да не то. Круглое лицо Ивана Семеныча съ жиденькой бородкой и выпуклыми, добродушными, близорукими глазами точно было вуалировано, выражаясь языкомъ фотографовъ-любителей, удивительно добродушной улыбкой. Онъ и весь былъ какой-то добрый, даже широкая спина и короткія ручки казались добрыми. Что это былъ за человѣкъ,—никто не зналъ. Онъ появился на вокзалѣ года четыре тому назадъ и приходилъ встрѣчать поѣзда, какъ на службу. Желѣзнодорожные жандармы и сомнительные господа въ барашковыхъ пальто и несмотря ни на какую погоду въ резиновыхъ калошахъ и съ зонтиками обратили на него свое благосклонное вниманіе, но потомъ махнули рукой. Улыбающійся незнакомецъ вѣчно встрѣчалъ какихъ-то пріѣзжихъ „далекихъ" провинціаловъ въ оленьихъ дохахъ и самыхъ удивительныхъ шапкахъ съ наушниками. Потомъ онъ ихъ провожалъ во-свояси и начиналъ поджидать новыхъ.

Стоялъ уже ноябрь. Санный путь въ столицѣ только-что установился. Провертывались совсѣмъ морозные деньки. Въ одинъ изъ такихъ деньковъ Иванъ Семенычъ явился на свое дежурство раньше обыкновеннаго и противъ обыкновеннаго имѣлъ немного тревожный видъ.

— Сибирскій поѣздъ придетъ черезъ часъ,—объяснилъ подававшій пиво Ахметъ.—Расписаніе перемѣнили противъ прежняго...

— Знаю, Ахметъ. Спасибо... Ну, какъ вы тутъ живете?

— Мало-мало живемъ, Иванъ Семенычъ. Покорно благодаримъ...

Читая газету, Иванъ Семенычъ дѣлалъ перерывы. Онъ доставалъ старый толстый бумажникъ, какой бываетъ только у провинціаловъ, раскрывалъ его, вынималъ какую-то телеграмму, перечитывалъ ее, морщился и покачивалъ головой.

— Да, штука...—повторялъ онъ про себя.—И зачѣмъ только панъ Гедиминъ замѣшался? Не по-ни-ма-ю... А куда дѣлся Лихошерстовъ? Удивительно... Проку не будетъ...

Телеграмма гласила слѣдующее: „Ивану Семенычу Ахлюстину. Отецъ ѣдетъ сегодня курьерскимъ Петербургъ. Встрѣчай. Цвѣтъ-Ивановъ. Гедиминъ-Шмурло-Зиковичъ“. Ахлюстинъ прочелъ дату и мѣсто отправленія телеграммы,—подана въ Москвѣ 7-го ноября.

— Удивительно...—еще разъ проговорилъ Ахлюстинъ, бережно сложилъ газету и отправился на платформу встрѣчать дорогихъ гостей.

Ранніе утренніе поѣзда встрѣчаютъ мало, особенно курьерскій. На платформѣ одни артельщики и титулованные лакеи въ цилиндрахъ съ розетками и плэдами въ рукахъ. И здѣсь кондуктора знали Ахлюстина, раскланивались съ нимъ, какъ со старымъ знакомымъ.

Нѣтъ ничего томительнѣе, какъ ожиданіе поѣзда. Часы точно останавливаются. Чужіе свистки передаточныхъ и служебныхъ поѣздовъ вводятъ въ заблужденіе, и ожидаемый поѣздъ всегда является какъ-то неожиданно. Такъ было и теперь, когда въ просвѣтъ желѣзнодорожнаго полотна выдвинулась желѣзная масса, съ подавляющимъ, сдержаннымъ гуломъ остановившаяся у платформы. Обычная безтолковая суета, окрики, возбужденныя лица, торопливые шаги, тревожные, ищущіе взгляды.

Составъ курьерскаго поѣзда невеликъ, и Ахлюстинъ успѣлъ пробѣжать мимо линіи вагоновъ раза три, напрасно отыскивая знакомыхъ. Публика выходила, а ихъ нѣтъ какъ нѣтъ. Вотъ и вагоны уже опустѣли. Ахлюстинъ уже повернулся къ выходу съ платформы, какъ его окликнулъ знакомый голосъ изъ послѣдняго вагона:

— Иванъ Семенычъ, да постой ты... Охъ, и бѣсова тѣснота у васъ!..

Въ дверяхъ выходной вагонной площадки стояло что-то круглое, мохнатое и тяжело дышавшее. Пассажиръ завязъ въ дверяхъ своей грузной фигурой, и носильщикъ напрасно старался вытолкнуть его, упираясь въ спину всѣмъ корпусомъ.

— Егоръ Егорычъ, голубчикъ!—невольно крикнулъ Ахлюстинъ.—Какими судьбами? Вотъ удивилъ...

Онъ подскочилъ къ тяжело дышавшему отъ натуги Егору Егоровичу, схватилъ его руку и помогъ освободиться изъ тисковъ.

— Ну, здравствуй, голубчикъ...

Пріѣзжій съ трудомъ могъ двигаться въ своей сибирской дохѣ изъ жеребячьяго мѣха, а изъ-подъ мѣховой пыжиковой шапки съ неизбѣжными наушниками выставлялась только часть лица. Они расцѣловались, причемъ Ахлюстинъ не переставалъ бормотать.

— Вотъ удивилъ... Вѣдь ты на службѣ, Егоръ Егоровичъ, и вдругъ въ Петербургъ махнулъ.

— А ну ее, бисову службу,—съ мягкимъ хохлацкимъ акцентомъ говорилъ Егоръ Егорычъ, отдувая толстыя щеки.—Довольно послужилъ. Пусть другіе послужатъ.

— Въ отставкѣ?

— Въ отставкѣ... Однимъ словомъ, наплевать.

— А я пріѣхалъ встрѣчать на вокзалъ Цвѣтъ-Иванова и пана Гедимина. Получилъ отъ нихъ телеграмму изъ Москвы... Надули, прохвосты.

— Ну, ихъ придется ждать... Я до Москвы вмѣстѣ съ ними ѣхалъ, а потомъ едва вырвался. Закурили напропалую... Не выходятъ отъ Омона.

— Это ужъ панъ Гедиминъ... А Лихошерстовъ?

— И онъ въ Москвѣ. Ждетъ, когда они прочухаются... Какъ-то захожу вечеромъ къ нимъ въ номеръ. Темно... Чиркнулъ спичку, смотрю, а въ передней на диванчикѣ спитъ Лихошерстовъ. „Илья Саввичъ, что̀ вы, говорю, тутъ дѣлаете?“—„А я, говоритъ, жду, когда проснется мой министръ финансовъ. Пришелъ домой пьянѣе вина, двѣ ночи не спалъ и завалился на мою кровать...“—„Такъ зачѣмъ, говорю, въ темнотѣ лежите?“—„А зачѣмъ, говоритъ, я зря буду электричество палить? Оно вѣдь денегъ сто̀итъ“... Однимъ словомъ, такая компанія собралась, что если подарить знакомому чорту — обратно отдастъ.

Они усѣлись съ трудомъ на одного извозчика, и Ахлюстинъ крикнулъ:

— Пушкинская... Я остановился въ меблированныхъ комнатахъ и живу въ нихъ вотъ уже третій годъ. Есть свободные номера... У насъ отлично.

— А та мнѣ жъ все равно... Я не надолго.

— Ну, это всѣ такъ говорятъ, Егоръ Егорычъ, а глядишь—человѣкъ и заживется. Ужъ такой особенный городъ... Только разъ въ него попасть. Я тоже вотъ на недѣльку пріѣхалъ, а идетъ ужъ пятый годъ. Нельзя, дѣла... Впрочемъ мнѣ недолго осталось ждать: черезъ двѣ недѣли мое дѣло окончательно рѣшится.

— Ахъ, ты, третій пунктъ!—засмѣялся Егоръ Егорычъ.—Твои-то двѣ недѣли лѣтъ пять продолжаются... Даромъ только здѣсь проѣдаешься.

— Скоро все кончится. Вотъ устроилъ дѣло Лихошерстова, отлично устроилъ. А онъ вотъ въ Москвѣ прокла́жается со своими идолами... Нашелъ компанію тоже... Ахъ, какой здѣсь есть человѣкъ, Егоръ Егорычъ! Вотъ я тебя познакомлю съ нимъ, такъ самъ увидишь. Такой человѣкъ, такой человѣкъ... А нашихъ здѣсь здо̀рово понаперло: изъ Иркутска, изъ Томска, съ Урала. Чего хочешь—того просишь. Встрѣтишь и старыхъ пріятелей... Со всѣхъ сторонъ народъ съѣхался и все по дѣламъ. Нѣтъ, братъ, не старое время, когда мы всю жизнь сидѣли, какъ грибы въ лѣсу... Да вотъ я — я въ Питерѣ какъ у себя дома. И какой народъ попадается ловкій, особенно которые понаѣхали съ юга. Какъ вода въ котлѣ всѣ кипимъ да варимся...

— Тебѣ это въ самый разъ, Иванъ Семенычъ. Хлѣбомъ тебя не корми, а только бы на людяхъ потолкаться...

— Что̀ же, и поговорка такая есть: бывали рога въ торгу... Не съ деньгами жить, а съ добрыми людьми.

— А я, братъ, насчетъ пенсіи пріѣхалъ похлопотать...

— Можно и пенсію выхлопотать, ежели умѣючи. Я-то теперь всѣ ходы и выходы знаю... Сначала-то какъ въ потемкахъ ходилъ, а теперь вотъ какъ все выучилъ.

— Еще бы: извѣстная консисторская строка. Недаромъ со службы по третьему пункту выгнали...

— Я не виноватъ, Егоръ Егорычъ, ежели злые люди погубили. Другіе за мою спину спрятались, ну, а меня подъ обухъ...

II.

Сани остановились у подъѣзда громаднаго пятиэтажнаго дома. Выскочилъ бравый швейцаръ и помогъ Егору Егорычу вылѣзти изъ саней. Онъ всѣхъ провинціаловъ въ дохахъ считалъ золотопромышленниками и на этомъ основаніи относился къ нимъ съ особеннымъ уваженіемъ.

— Пожалуйте-съ... Есть два свободныхъ номера.

Пришлось подниматься въ третій этажъ, и Егоръ Егорычъ нѣсколько разъ останавливался, чтобы перевести духъ.

— Этакая у васъ бѣсова тѣснота...—ворчалъ онъ.—Тутъ какъ разъ на лѣстницѣ и помрешь.

— Ничего, привыкнешь,—успокаивалъ его Ахлюстинъ.—Доктора даже совѣтуютъ жить повыше. Съ одной стороны—гимнастика, а съ другой—воздухъ чище.

Когда уже вошли въ номеръ, Ахлюстинъ сообразилъ, что шубы слѣдовало оставить внизу, у швейцара. Комната была свѣтленькая и выходила двумя окнами на Пушкинскую улицу.

— Вотъ мы и дома,—говорилъ Ахлюстинъ.—У насъ прислуга вѣжливая... Видѣлъ, какой у насъ швейцаръ? И горничная одинъ коленкоръ...

Егоръ Егорычъ только пыхтѣлъ, снимая съ себя дорожный костюмъ. Это былъ еще не старый, полный человѣкъ съ маленькими, сѣрыми, хитрыми глазами. Лысина, легкая просѣдь въ волосахъ и медленныя движенія придавали ему солидный видъ. Общее впечатлѣніе портилъ только несоразмѣрно большой съ фигурой животъ. Такіе животы бываютъ у засидѣвшихся въ своей глуши провинціаловъ, которые отъ скуки очень ужъ усердно предаются „тихимъ желудочнымъ радостямъ“.

Черезъ часъ швейцаръ Андрей Иванычъ, надѣвъ очки, долго и съ недоумѣніемъ перечитывалъ документы новаго жильца. Въ паспортѣ значилось, что онъ—исправникъ въ отставкѣ, Георгій Георгіевичъ Сладкоѣжка. Фамилія совсѣмъ странная и даже для чиновника какъ будто смѣшная. При паспортѣ глупая горничная принесла еще и послужной списокъ, въ которомъ говорилось ужъ совсѣмъ что-то непонятное. Оказалось, что „вышеизложенный дворянинъ Сладкоѣжка“ окончилъ курсъ прапорщикомъ запаса школы штурмановъ дальняго плаванія, потомъ проходилъ службу въ какомъ-то „сосредоточенномъ архивѣ“, потомъ получилъ мѣсто сибирскаго засѣдателя и т. д.

— Мудреные бываютъ господа...—думалъ вслухъ Андрей Ивановичъ.

На черной доскѣ, гдѣ мѣломъ записывались фамиліи пріѣзжающихъ, онъ съ особенной тщательностью крупными солдатскими буквами вывелъ: „Сладкоѣжка“.

Сладкоѣжка и „Третій пунктъ“ сидѣли у кипѣвшаго самовара и бесѣдовали. По заказу Ахлюстина горничная принесла фунтъ малороссійскаго сала, вареной колбасы, двинской семги, копченой ряпушки. Потомъ Ахлюстинъ принесъ изъ своей комнаты початую бутылку водки.

— Съ пріѣздомъ, Егоръ Егорычъ...—говорилъ онъ, чокаясь рюмкой.

— Здравствуй, третій пунктъ.

— Отвѣдай нашей двинской семужки, будетъ получше вашей печорской. И сальце малороссійское—антикъ съ гвоздикой.

Просить гостя не приходилось. Онъ всей закускѣ отдалъ надлежащую дань уваженія, а особенно своему любимому салу.

— Добрая закуска,—похвалилъ онъ, дѣлая передышку.

— Если бы я зналъ, что ты пріѣдешь, такъ впередъ бы заготовилъ и

малороссійскую запеканку и стару вудку,—хвалился Ахлюстинъ, начиная краснѣть отъ выпитой водки.—Здѣсь, братъ, только птичьяго молока не достанешь, да еще отца съ матерью.

Ахлюстинъ не могъ сидѣть на одномъ мѣстѣ и бѣгалъ по комнатѣ маленькими шажками. Онъ раза три принимался обнимать дорогого гостя, цѣловалъ его и повторялъ:

— Вотъ удивилъ-то, другъ сердечный... Вѣдь сколько лѣтъ не видались... да. Ну, что у васъ тамъ, въ провинціи?

— А та ничего жъ нѣтъ...—равнодушно отвѣчалъ Сладкоѣжка, жмуря глаза.—Все по-старому, какъ мать поставила.

— Желѣзную дорогу вамъ провели...

— А ну ее къ нечистому! Жили и безъ желѣзной дороги... Одну тѣсноту она намъ привезла. Воровъ больше стало...

— Читалъ въ газетахъ, что адвокатъ Мышкинъ умеръ... Ахъ, какой человѣкъ былъ! Нарочно ходилъ въ здѣшній судъ послушать извѣстныхъ адвокатовъ,—въ подметки Мышкину не годятся. Если бы онъ не попивалъ черезъ мѣру...

— Да, померъ Мышкинъ. Мало, видно, водки пилъ.

— Много у васъ перемерло народу за пять-то лѣтъ, Егоръ Егорычъ. Съ ума тоже сходятъ нѣкоторые.

— Случается...

— Даже на что доктора—и тѣ умираютъ.

— И здѣсь люди мрутъ не меньше.

— Ахъ, это даже совсѣмъ наоборотъ: идешь утромъ по улицѣ, этакую колесницу везутъ, а кто умеръ—неизвѣстно. Даже какъ-то по жаль, хотя и грѣшно это, если разсудить по человѣчеству.

Остановившись, Ахлюстинъ съ какимъ-то чмоканьемъ прибавилъ:

— А какъ митрополичьи пѣвчіе поютъ... Обѣдню г. Чайковскаго не могу одобрить, ибо по-театральному. А вотъ чинъ погребенія... Дастъ Богъ, можетъ-быть, умретъ какой-нибудь архіерей изъ проживающихъ на покоѣ,—вотъ службу послушаемъ!

— А баня у васъ близко есть?—прерваль его Сладкоѣжка.

— Да сколько угодно... Вотъ сейчасъ по Пушкинской. Чего хочешь, братику, того просишь.

— Ну, противъ московскихъ бань не выдержать. Я цѣлую недѣлю прожилъ въ Москвѣ и каждый день ходилъ въ баню... Грѣшный человѣкъ, люблю. Хлудовскія бани въ Китайскомъ проѣздѣ, Сандуновскія на Неглинной—не нужно въ театръ ходить.

— Что же, и я съ тобой въ баню схожу. Паръ костей не ломитъ... А потомъ пообѣдаемъ гдѣ-нибудь... Угощу тебя нашей невской лососинкой... Пальчики оближешь.

Отправились въ баню, а изъ бани прямо въ ресторанъ „Москву“ на Невскомъ. Занявъ столикъ около машины, друзья опять принялись за водку, причемъ Ахлюстинъ счелъ своимъ долгомъ предупредить:

— Собственно говоря, я вѣдь не пью... да. Ну, а сегодня разрѣшилъ по случаю твоего пріѣзда... Гдѣ наше не пропадало!

— Ну, а я люблю выпить съ пріятелемъ. Служба была собачья, ну, отъ скуки и хлопнешь. Вѣдь семнадцать лѣтъ исправникомъ лямку тянулъ... Шесть губернаторовъ переслужилъ. Да... тутъ мертвый запьетъ,—признавался Сладкоѣжка, уписывая закуску. Онъ могъ съѣсть невѣроятное количество. Остановившись въ Москвѣ, онъ съѣдалъ по два и по три обѣда, пока не

являлась одышка. Сейчасъ онъ припалегъ и на свѣжую осетровую икру, и на балыкъ изъ бѣлорыбицы, и на копченаго сига, и на вестфальскую ветчину.

— Ничего, добрая закуска...—одобрялъ онъ, дѣлая передышку.—А еще говорятъ, что въ Питерѣ плохо кормятъ.

— Такъ, зря болтаютъ. Вотъ только наши сибирскіе пельмени не умѣютъ дѣлать... Нѣ-етъ, не тотъ коленкоръ. Нашъ пельмень въ тонкой кожицѣ, начинка жирная и сейчасъ въ своемъ собственномъ соку... Тоже вотъ по части стерлядей здѣсь плохо. И дорого и тоже не понимаютъ. Представь себѣ, уху изъ стерлядей готовятъ на куриномъ бульонѣ? Вѣдь это ужъ чортъ знаетъ что̀ такое...

— Просто свинство выходитъ...

— Вполнѣ свинство.

Когда графинчикъ съ водкой опустѣлъ, Ахлюстинъ вдругъ спохватился.

— А что̀ Простосердовъ? Вотъ любилъ пельмени... Онъ ихъ ѣлъ сырыми. Сядетъ и штукъ пятьдесятъ оплететъ... Мы его такъ и называли: бурсацкое луженое брюхо.

— Да, это человѣкъ... И ни капельки не измѣнился: сухой, желтый, точно давно нечищенный сапогъ. Недавно ему справляли тридцатипятилѣтній юбилей. Онъ правителемъ губернаторской канцеляріи больше двадцати лѣтъ...

— Вѣдь собственно онъ правитъ губерніей.

— Конечно, онъ... Назначатъ новаго губернатора, ну, онъ сейчасъ прыть свою показывать. Новая метла чисто мететъ... Туда-сюда, а кончится дѣло тѣмъ, что пошлетъ за Іоной Гавридычемъ. Министерская голова... Четыре генеральныхъ ревизіи выдержалъ. Кругомъ чиновники, какъ на войнѣ, валятся, а онъ сидитъ, какъ дубъ, и знать ничего не хочетъ.

— Знаю, знаю... Охъ, какъ знаю, Егоръ Егорычъ! Самъ по третьему пункту уволенъ изъ консисторіи изъ-за ревизіи... Пострадалъ за другихъ, потому что не хотѣлъ сора изъ избы выносить. Какъ это раздумаешься про старое-то... особенно ночью... Точно вотъ тяжелый сонъ увидишь...

III.

Друзья вернулись домой только вечеромъ, осторожно поддерживая другъ друга. Ахлюстинъ сейчасъ же послалъ горничную за четвертью дешеваго краснаго бессарабскаго вина, извѣстной подъ именемъ „тети“. Теперь они сидѣли уже въ комнатѣ Ахлюстина, выходившей единственнымъ запыленнымъ окномъ на глубокій каменный дворъ-колодецъ.

— Вино ничего себѣ...—похваливалъ Ахлюстинъ.—У меня есть знакомый виноторговецъ, онъ ужъ знаетъ мой вкусъ.

Сладкоѣжка отнесся къ „тетѣ“ подозрительно и долго жевалъ губами, сдѣлавъ первый глотокъ. Отставивъ недопитый стаканчикъ, онъ тономъ спеціалиста проговорилъ:

— Знакомое винцо... У насъ про него въ Сибири говорятъ, что какъ выпьешь бутылку, такъ и оглохнешь на цѣлую недѣлю.

— Ну, это ужъ пустяки!.. Вамъ чихирь въ бочкахъ возятъ, а потомъ изъ него всѣ сорта вина и выдѣлываютъ собственные алхимики. Я какъ-то разговорился съ однимъ виноторговцемъ, зачѣмъ, молъ, вино поддѣлываете, а онъ мнѣ: „Для васъ же стараемся, потому какъ вы натуральнаго виноградного вина и пить не станете“.

Сидѣли и пили, предаваясь далекимъ провинціальнымъ воспоминаніямъ. Ахлюстинъ раскраснѣлся, какъ маковъ цвѣтъ, и нѣсколько разъ принимался обнимать и цѣловать Сладкоѣжку.

— Голубь ты мой сизокрылый...—повторялъ онъ слегка начинавшимъ заплетаться языкомъ.—Какъ праздникъ свалился... а? Удивилъ!..

— Чего же удивительнаго? Гора съ горой не сходится...

— Ахъ, не то, совсѣмъ не то! Поживи-ка ты пять лѣтъ въ Петербургѣ... да. Обрадуешься полѣну съ родной стороны, а не то что живому человѣку, да еще старому благопріятелю. Вотъ адвокатъ Мышкинъ умеръ, нотаріусъ Полозовъ отравился... А какіе были люди! Изо всего дерева сдѣланы были... Ахъ, Господи! Этакъ, пожалуй, и всѣ перемрутъ, пока тутъ болтаешься...

Хлопнувъ стаканчикъ вина, Ахлюстинъ лукаво подмигнулъ и, хлопнувъ себя по животу, вытащилъ изъ бокового кармана свой толстый бумажникъ.

— Вотъ онъ, голубчикъ...

Прищелкнувъ языкомъ и прижавъ бумажникъ къ сердцу, Ахлюстинъ шопотомъ проговорилъ:

— Милліонъ...

— У какого бѣса милліонъ?

— Да у меня... Черезъ двѣ недѣли все будетъ кончено. Вѣдь цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ веду дѣльце. У меня съ заводами тяжба. Они захватили у крестьянъ девять тысячъ десятинъ...

— Помню, какъ же, хотя и не въ моемъ уѣздѣ.

— Да... А земля-то золотоносная... хе-хе! Съ крестьянами у меня условіе, что, какъ оттягаю имъ землю—десять процентовъ мои, а другое условіе—ежели устрою золотопромышленную компанію, то получаю пожизненно пять процентовъ съ каждаго добытаго пуда золота. Я уже все подсчиталъ... Площадь великолѣпная, золота будетъ намываться ежегодно отъ трехъ до пяти пудовъ, а мнѣ причтется, значитъ, получать ежегодно, считая пудъ золота въ двадцать тысячъ, отъ трехъ тысячъ рубликовъ до пяти. Что̀, ничего, недурно? Вѣдь это называется, Егоръ Егорычъ: кусъ!.. Хе-хе... Я и золотопромышленную компанію обмозговалъ... Только состоится рѣшеніе сената, и сейчасъ пойдетъ битка въ конъ.

— Смотри, не подавись... Что-то ужъ очень много барышей считаешь.

— Самое вѣрное дѣло, какъ въ аптекѣ... Тогда узна̀ете, каковъ таковъ есть третій пунктъ. Какъ говорятъ французы: смѣется послѣдній. У меня это даже въ книжечкѣ записано. Я теперь всякія слова записываю. Вотъ читай: „рира бьенъ ки рира ле дерньеръ“. Хорошо? Хе-хе... Я и другимъ устраиваю дѣла... Какъ же! Оно ужъ по пути... Вотъ и Лихошерстову тоже устроилъ, а онъ въ Москвѣ проклажается...

— Тоже милліонъ?

— Ну, ему побольше придется получить за его промыслы...

— Какой ты добрый, третій пунктъ... И деньги у васъ въ Питерѣ, видно, дешевыя...

Начавшій совѣть Сладкоѣжка неожиданно расхохотался. Закинувъ голову, онъ повторялъ:

— Охъ, не могу... Уморили вы меня!... Охъ, не могу...

Ахлюстинъ хотѣлъ уже обидѣться, но Сладкоѣжка пришелъ въ себя и объяснилъ, задыхаясь отъ смѣха:

— Забылъ я тебѣ давеча разсказать, третій пунктъ... Да, забылъ... Что̀ они тамъ придумали, въ Москвѣ... Ха-ха!.. То-есть придумалъ, конечно, министръ финансовъ Цвѣтъ-Гуляевъ. Ахъ, шутъ гороховый! Ха-ха... Ну, и панъ Гедиминъ ему, конечно, помогъ... Охъ, уморили отцы! Вѣдь это два такихъ праведника, что голову оторвутъ кому угодно...

— Да что̀ они придумали-то?

— Все министръ финансовъ, хрѣнъ ему въ голову!.. Мы, говоритъ, какъ пріѣдемъ въ Петербургъ, такъ сейчасъ и будемъ съ паномъ Гедиминомъ у Лихошерстова личными секретарями... Ей-Богу! Ахъ, шарлатаны... Хороши секретари!

— Отчего же, Егоръ Егорычъ? Это даже очень хорошо... Недавно въ Питеръ пріѣзжалъ американскій милліардеръ Вандербильдъ, такъ при немъ пять секретарей состояло. Притомъ Лихошерстовъ ни въ зубъ толкнуть по иностраннымъ языкамъ, да и я тоже, ну, секретари и будутъ вести всѣ переговоры... Въ самый даже разъ, если разсудить.

— Да вѣдь они жулики, т.-е. Цвѣтъ-Гуляевъ и панъ Гедиминъ?

Ахлюстинъ смутился. Выдумка хорошая, а вдругъ Сладкоѣжка гдѣ-нибудь проболтается подъ пьяную руку. Все дѣло можетъ испортить однимъ своимъ глупымъ хохотомъ...

— Послушай, Егоръ Егорычъ,—заговорилъ „третій пунктъ“ вкрадчиво-серьезнымъ тономъ.—Вотъ что̀ я тебѣ скажу... Уговоръ на берегу, а потомъ за рѣку.

— Ну, ну?.. Что̀ еще скажешь?

— А вотъ тебѣ и сказъ: ежели что-нибудь разболтаешь про Лихошерстова... понимаешь?

— Ну, ну?

— Вотъ тебѣ и будетъ тогда: ну! Пенсіи не увидишь...

— Это какъ же такъ? Ты, что ли, раздаешь здѣсь пенсіи?

— Я-то не я, а надо умѣть ее получить... Сколько васъ здѣсь такихъ-то по Питеру шляется... Да... Умѣючи, говорю, надо, а не зря. Придешь ты въ департаментъ и отрекомендуешься: такъ и такъ, тамъ-то и тамъ проходилъ службу, подъ судомъ и слѣдствіемъ не состоялъ, формуляръ имѣю чистый, награжденъ тѣмъ-то и тогда-то,—музыка извѣстная. Тебѣ, чтобы отвязаться, наобѣщаютъ съ три короба, а потомъ начнутъ гонять по канцеляріямъ. Тутъ надо справочку, тамъ копію съ копіи, и вездѣ одна волчья пѣсня: „Надо подождать, г. Сладкоѣжка“. Да-съ... Провинціалы всѣ такъ думаютъ: пріѣду въ Питеръ—и сейчасъ дѣло въ шляпѣ. Нѣ-етъ, отецъ, тутъ поумнѣе насъ съ тобой люди сидятъ и видали виды...

— А ну васъ съ Лихошерстовымъ къ лысому бѣсу! Очень мнѣ нужно, что̀ вы тамъ будете вытворять...

„Тетя“ быстро пустѣла. Если бы она владѣла даромъ слова, то могла бы разсказать удивительныя и поучительныя вещи. Ахлюстинъ бѣгалъ своими мелкими шажками по комнатѣ и говорилъ, не слушая Сладкоѣжку.

— А мнѣ только бы промаячить эти проклятыя двѣ недѣли...

— Мнѣ бы только пенсію...

Потомъ они безъ всякой побудительной причины начинали обниматься и цѣловаться, потомъ подняли споръ, кричали, Сладкоѣжка колотилъ по столу кулакомъ, а „третій пунктъ“ такъ размахивалъ руками, точно хотѣлъ ударить гостя. Закончилось дѣло тѣмъ, что Сладкоѣжка завалился на кровать и сейчасъ же захрапѣлъ, какъ зарѣзанный. Ахлюстинъ продолжалъ спорить уже съ самимъ собой, хихикалъ и ни съ того ни съ сего грозилъ кулакомъ неизвѣстному врагу.

— Третій пунктъ?.. Ха-ха... Я вамъ покажу третій пунктъ, всѣмъ покажу!.. Вотъ только бы Лихошерстовъ поскорѣе пріѣхалъ.

2.

Человѣкъ безъ спины.

I.

Сладкоѣжка проснулся, противъ обыкновенія, довольно поздно. Голова была тяжелая, какъ пивной котелъ. Онъ проспалъ всю ночь, не раздѣваясь. „Третій пунктъ“ спалъ на диванѣ, свернувшись калачикомъ, какъ комнатная собачка. Онъ тоже не раздѣвался. Еще не проснувшись хорошенько и лежа съ закрытыми глазами, Сладкоѣжка припомнилъ, что всю ночь его кто-то толкалъ въ бокъ и чѣмъ-то очень твердымъ. Открывъ глаза, онъ увидалъ лежавшую рядомъ съ нимъ „тетю“. Бутылка была пуста, и удивительно, что она не скатилась на полъ.

— Ахъ, „третій пунктъ“, что̀ придумалъ!.. — ворчалъ Сладкоѣжка. — Совсѣмъ глупый человѣкъ... Совсѣмъ дурень!..

Сладкоѣжка спустился съ кровати, положилъ „тетю“ на диванъ къ „третьему пункту“ и ушелъ въ свой нумеръ. По дорогѣ его чуть не сбила съ ногъ какая-то дама въ ночной кофточкѣ. Она какъ-то спѣшно юркнула въ свой номеръ, подобравъ юбки.

„О о! бѣшеная баба...“—подумалъ Сладкоѣжка.

Онъ заказалъ горничной самоваръ, умылся, переодѣлся, погулялъ по коридору, чтобы размять свою хохлацкую натуру, и почувствовалъ, что ему дѣлается скучно. Ничего не оставалось, какъ вернуться въ номеръ Ахлюстина, чтобы разбудить дурня. Пить одному чай не хотѣлось. Но „третій пунктъ“ такъ сладко спалъ, некрасиво раскрывъ ротъ, что Сладкоѣжка пожалѣлъ его будить и присѣлъ къ столу, чтобы написать письмо домой о своемъ благополучномъ прибытіи въ столицу. На письменномъ столѣ были всѣ необходимыя принадлежности для такого скромнаго занятія, но вниманіе Сладкоѣжки привлекла прежде всего валявшаяся на столѣ записная книжка.

„Ого, да онъ писателемъ тутъ сдѣлался!..“—сообразилъ Сладкоѣжка.

По старой полицейской привычкѣ онъ безъ всякаго стѣсненія раскрылъ книжку и принялся читать. Книжка велась довольно безалаберно. Были тутъ записи расходовъ, адреса и какія-то совершенно непонятныя замѣтки, отдѣльныя фразы и слова. Для большей удобопонятности Сладкоѣжка принялся читать вслухъ:

— „Носокъ, убѣжденный, вѣрующій въ свою силу“... Такъ-съ... „Индивидуальность Карякиной осталась нетронутой, несмотря на ея поѣздку въ Италію, гдѣ балерины дѣлаютъ фу... фуэтте въ 36 оборотовъ“... Эге, это, значитъ, о танцоркахъ!.. Ахъ, старый грѣховодникъ!.. „Варіаціи на пуантахъ... баллонъ... двойные туры и пируэты безъ колебаній... антраша и воздушные темпы“... Ловко! Ха-ха... Вотъ такъ „третій пунктъ“!.. „У Хризантемовой тонкія ноги, острые локти и ни малѣйшей поэзіи спины“... Хо-хо! Охъ, уморилъ!.. „Горемыкина танцуетъ такъ, точно на ней горитъ рубашка“... Га-а-а!.. „Про корифейку Панафидину говорятъ, что когда она танцуетъ, то лицо у нея, какъ у кошки во время грома“... О-го-го!.. Кха!.. Гы-ы!..

Сладкоѣжка такъ закашлялся, что весь посинѣлъ и чуть не задохся. Ахлюстинъ вскочилъ какъ встрепаный и никакъ не могъ сообразить, что̀ такое случилось. „Тетя“ съ жалобнымъ звономъ упала на полъ и укатилась подъ диванъ.

— Что съ тобой, Егоръ Егорычъ!

— Ахъ, оставь!.. Гха-ха-а!.. Охъ, умираю!..

Увидавъ раскрытую записную книжку, Ахлюстинъ наконецъ понялъ все. Онъ разсердился на полицейское любопытство своего благопріятеля, вырвалъ изъ его рукъ свою книжку и проговорилъ:

— Ничего ты не понимаешь... Да... Однимъ словомъ, провинціалъ несчастный. Вотъ еще похохочи, пенсіи и не получишь...

— А ну ее къ нечистому!.. Тоже и придумаетъ музыку... Сразу и не разберешь ничего... Отчаянный ты человѣкъ и при этомъ безстыдникъ... А впрочемъ, умывайся и пойдемъ ко мнѣ чай пить. Я и самоваръ заказалъ и послалъ за горяченькимъ колачикомъ... Ха ха!.. А ты видѣлъ, какъ рубашка горѣла на этой?.. Ну, какъ ее тамъ звать?

— Не „эта", а Капитолина Захаровна Горемыкина, корифейка... Да-съ!.. Про нее и въ газетахъ написано такъ:

— Безстыдникъ какой-нибудь писалъ, въ родѣ тебя...

— Ничего ты не понимаешь, сибирскій маралъ *)...

За самоваромъ произошелъ дѣловой разговоръ. Выпивъ нѣсколько стакановъ чаю, Ахлюстинъ покрутилъ головой и проговорилъ:

— Экъ насъ съ тобой вчера угораздило!.. Главизна зѣло трещитъ. Да... Будетъ баловаться. Сегодня же примемся за работу... Время терять нечего. Вотъ ты меня дразнишь „третьимъ пунктомъ", а не знаешь даже, по какой это статьѣ выйдетъ.

— Врешь, знаю: статья 838-я Устава о службѣ по опредѣленію отъ правительства...

— Вѣрно... Конечно, оно обидно, а бываютъ статьи и похуже. Вотъ сегодня поѣдемъ къ статьѣ 191-й Свода Законовъ, т. 16, ч. 2, Законъ о судопроизводствѣ гражданскомъ...

— И эту статью даже очень хорошо знаю: по ней не допускаются въ дѣлѣ тяжебномъ къ свидѣтельству подъ присягой портившіе тайно межевые знаки и явные прелюбодѣи...

— Вотъ, вотъ, въ самый разъ... Я ужъ тебѣ говорилъ, что есть тутъ одинъ человѣкъ... ахъ, какая голова! Ну, такъ онъ судился по обоимъ этимъ пунктамъ. Впрочемъ, дѣло не наше, а мы въ своей кампаніи называемъ его „человѣкомъ безъ спины", потому что никто еще не видалъ, какая у него спина,—онъ всегда ко всѣмъ лицомъ, какъ балерина передъ публикой. Ахъ, какой человѣкъ!.. Онъ все на свѣтѣ знаетъ, и черезъ него всякое дѣло можно устроить. Онъ и корабельный лѣсъ поставляетъ, и кишками бараньими торгуетъ, и женскій волосъ по всей Россіи скупаетъ... Разъ въ Ирбитской ярмаркѣ на сто тысячъ рубликовъ сорокъ скупилъ. Гдѣ-то у него есть каменно угольныя копи, потомъ онъ устраиваетъ въ Каспійскомъ морѣ добычу нефти прямо изъ-подъ воды...

— Прохвостъ какой-нибудь,—спокойно замѣтилъ Сладкоѣжка.—У меня въ уѣздѣ такихъ шарлатановъ сколько угодно было... И, навѣрно, двойная фамилія. Не далеко ходить: панъ Гедиминъ или Цвѣтъ-Гуляевъ.

— Фамилія, дѣйствительно, каверзная, не сразу и выговоришь, а онъ себя производитъ прямо отъ королевской крови и говоритъ, что состоитъ претендентомъ на португальскій престолъ въ случаѣ пресѣченія прямой линіи. И удивительно, что его зовутъ просто: Антонъ Гаврилычъ...

---

*) Маралъ—особая порода оленей, рога которыхъ особенно цѣнятся китайцами, какъ цѣлебное средство.

— Можетъ-быть, просто фальшивый монетчикъ?..

— Оставь, если ничего не понимаешь... Мы должны къ часу быть у Кюба,—тамъ къ завтраку всѣ сходятся. У Антона Гаврилыча свой особый столикъ внизу, гдѣ дѣловые люди сходятся. Вотъ увидишь...

Ахлюстинъ съ особеннымъ вниманіемъ отнесся къ костюму Сладкоѣжки. Бывшіе военные плохо носятъ штатское платье, а отставные исправники и совсѣмъ не умѣютъ. Сюртукъ какъ на коровѣ сѣдло... Хорошо бы пестрый модный жилетъ приспособить, смокингъ... А впрочемъ, нужно посовѣтоваться съ Антономъ Гаврилычемъ: онъ уже это дѣло вотъ какъ понимаетъ. Тоже вотъ относительно носовыхъ платковъ съ этими провинціалами ухо востро держи,—сейчасъ ошибка можетъ выйти, рыбу примется ножомъ ѣсть, да еще начнетъ чавкать, какъ бѣлуга.

— Главное, ты смотри, какъ я дѣлаю,—совѣтовалъ Ахлюстинъ,—и подражай... Завтракъ-то у Кюба два рублика стòитъ, не считая остального прочаго.

— Два рубля?—изумился Сладкоѣжка.—Не поѣду...

— Ну, тогда и пенсіи не получишь... Ты слушайся меня и дѣлай все, чтò тебѣ говорятъ.

Передъ отъѣздомъ Ахлюстинъ осмотрѣлъ Сладкоѣжку съ особенною тщательностью, какъ новобранца, и замѣтилъ:

— Ну, сюртучокъ-то придется новенькій заказать, а этотъ мѣшковатъ... Сейчасъ видно, что провинціальный портной своей клешней кроилъ.

По дорогѣ къ Кюба Ахлюстинъ не утерпѣлъ и прочиталъ цѣлую лекцію о томъ, какъ слѣдуетъ себя держать въ модномъ кабакѣ.

— Отстань, смола!..—ворчалъ Сладкоѣжка.—Получше тебя знаю, какъ ѣздятъ. Съ пятью губернаторами, слава Богу, обѣдалъ, и ничего, все сходило съ рукъ...

— Велики твои губернаторы тамъ, за угломъ, а здѣсь они ни по чемъ.

— Эге, и чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника ни по чемъ?

— Подымай выше... Здѣсь такихъ-то генераловъ по тридцати на дюжину считаютъ. Вотъ тайные совѣтники—это другое дѣло. Даже бароны ни по чемъ, графы такъ себѣ, середка на половинѣ, а князья—глядя по роду и состоянію...

— У васъ все деньгами считаютъ...

— Есть такой грѣхъ. Такъ ты, Егоръ Егорычъ, того, держи себя поаккуратнѣе, а то и пенсіи не увидишь, какъ своихъ ушей

Вмѣсто отвѣта Сладкоѣжка замурлыкалъ:

Чѣмъ тебя я огорчила,
Возврати мой пятачокъ...

Ресторану Кюба посчастливилось по части всероссійской извѣстности. О немъ существуетъ цѣлая литература, и нѣтъ никакой необходимости еще разъ его описывать. По обстановкѣ онъ ниже своей славы, вѣрнѣе сказать—у него какая-то казенная обстановка. Это—модный кабакъ-департаментъ, куда собираются дѣловые люди по своимъ дѣламъ. Сюда ѣздятъ не ѣсть и не пить, а дѣлать дѣла, какъ ѣздятъ на службу. Временно здѣсь закипаетъ лихорадочная жизнь, а временами наступаетъ полный штиль. И говорятъ здѣсь особымъ языкомъ, языкомъ биржи, банковъ, промышленныхъ предпріятій, акціонерныхъ компаній, финансовыхъ крушеній, крупныхъ хищническихъ замысловъ,—однимъ словомъ, самый воздухъ насыщенъ мыслью о деньгахъ и наживѣ. Въ послѣднее время крупныхъ дѣлъ нѣтъ, и ресторанъ влачитъ

довольно жалкое существованіе, котораго не могутъ скрасить десятка два-три очень сомнительныхъ дѣльцовъ, прогорѣвшихъ предпринимателей, тѣхъ странныхъ людей, которые вѣчно чего-нибудь ждутъ: смерти богатой тетки, казенной командировки, выигрыша, громкаго процесса, тепленькаго мѣстечка въ банкѣ и т. д. Въ послѣдній разъ ресторанъ Кюба лихорадилъ, когда на сцену выступили бельгійцы, бравшіеся за всѣ дѣла, но ихъ энергія не оправдалась, и произошелъ отбой по всей промышленной линіи. Вообще ресторанъ Кюба—мѣсто довольно скучное и канцелярски-унылое.

Именно въ такой моментъ кабацкаго затишья Ахлюстинъ и привезъ Сладкоѣжку въ ресторанъ Кюба. Онъ, какъ нянька, слѣдилъ за каждымъ его движеніемъ и все время боялся, чтобы Сладкоѣжка по провинціальной наивности не поздоровался съ кѣмъ-нибудь изъ официантовъ, напоминавшихъ молчаливо-торжественныхъ департаментскихъ чиновниковъ, за руку. Но Сладкоѣжка выдержалъ этотъ молчаливый экзаменъ блестящимъ образомъ и вошелъ на кабацкое пепелище съ непринужденностью настоящаго кровнаго барина.

„Этакій хитрый хохолъ!..“—невольно подумалъ про себя Ахлюстинъ, успокоенный за будущее.

Когда-то знаменитые „завтраки у Кюба“ занимали промежутокъ времени отъ часу до четырехъ. Сейчасъ было уже два, но ресторанъ былъ пустъ. Ахлюстинъ не любилъ второго этажа, гдѣ игралъ румынскій оркестръ и собиралась разношерстная и неинтересная публика, а провелъ гостя въ первый этажъ, гдѣ собирались „свои“ и гдѣ у каждой компаніи былъ свой столикъ.

— Антона Гаврилыча еще нѣтъ,—предупредилъ Ахлюстинъ, усаживаясь за столикъ въ уголкѣ!—Садись сюда. Онъ придетъ... Это нашъ столикъ.

Ресторанная пустота напоминала морской берегъ въ моментъ отлива, когда на мокромъ пескѣ остается всевозможный хламъ, выкинутый волной точно сознательно, какъ никуда ненужный соръ: морская трава, гнилушки, мертвыя ракушки, заснувшая мелкая рыбешка. Такъ и сейчасъ за столиками кое-гдѣ сидѣли никому ненужные люди, которые пріѣзжали сюда по привычкѣ, для того, чтобы поскучать на людяхъ, въ крайнемъ случаѣ разсказать или выслушать какой-нибудь новый анекдотъ. Это былъ особый міръ людей, выкинутыхъ за бортъ. Изъ сосѣдней комнаты доносился гнусавый голосъ бывшаго директора департамента, спорившаго съ извѣстнымъ балетоманомъ, и потомъ жирный хохотъ лысаго, какъ пасхальное яйцо, толстяка, извѣстнаго своимъ обжорствомъ.

Прислушавшись, Ахлюстинъ проговорилъ:

— А вѣдь Антонъ Гаврилычъ тамъ... въ компаніи...

Онъ быстро вскочилъ и побѣжалъ. Дѣйствительно, „человѣкъ безъ спины“ сидѣлъ за „директорскимъ“ столикомъ и хохоталъ. Онъ смѣялся какъ-то особенно—сдержанно и вѣжливо, не раскрывая рта. Это былъ рослый и видный господинъ критическаго возраста, преждевременно лысый, съ рыжеватыми усами и умными, большими, сѣрыми глазами. На поблекшемъ, блѣдномъ, точно выцвѣтшемъ лицѣ яркимъ контрастомъ выдавались удивительно свѣжія, ярко-красныя губы. Когда онъ говорилъ, шепелявя по-барски, другимъ контрастомъ являлись ослѣпительно-бѣлые, крѣпкіе зубы, такъ что казалось, что природа отпустила ему ихъ въ двойномъ количествѣ.

— Иванъ Семенычъ, снимайте сапоги...—предлагалъ кто-то изъ хохотавшей компаніи Ахлюстину.

„Третій пунктъ“ ничего не понималъ и только развелъ руками.

— Ахъ, Аглая Терентьевна, вотъ придумала... Ха-ха!..

— Господа, вѣдь это геніально!..

— Да, она всегда была умницей, поэтому, вѣроятно, и танцуетъ всю жизнь у воды...

— И даже не боится отъ сырости получить насморкъ...

— Въ чемъ дѣло, господа?—полюбопытствовалъ Ахлюстинъ.

— Вотъ Антонъ Гаврилычъ вамъ разскажетъ... У него по этой части замѣчательный даръ слова.

„Человѣкъ безъ спины“ по выраженію лица Ахлюстина понялъ, что случилось что-то, и поднялся, продолжая смѣяться короткимъ смѣшкомъ, какъ человѣкъ, котораго слегка щекочутъ по спинѣ.

— Ну, какъ дѣла, Иванъ Семенычъ?—спрашивалъ онъ, подхватывая Ахлюстина подъ-руку.

— Лихошерстовъ уже въ Москвѣ... Да... На-дняхъ будетъ здѣсь... Да...

Оглянувшись, Ахлюстинъ шопотомъ проговорилъ:

— А какого я человѣка сюда привелъ... Онъ вмѣстѣ съ Лихошерстовымъ до самой Москвы ѣхалъ... Исправникомъ выслужилъ при пяти губернаторахъ семнадцать лѣтъ... Умный хохолъ, и намъ пригодится. Онъ все знаетъ... По фамиліи Сладкоѣжка.

— Какъ?

— Сладкоѣжка... Хохлацкая настоящая фамилія.

„Человѣкъ безъ спины“ опять засмѣялся. Такой ужъ счастливый денекъ выдался... Вотъ такъ фамилія! Цѣлый капиталъ, если человѣкъ съ умомъ.

Егоръ Егорычъ сидѣлъ у своего столика и очень внимательно разсматривалъ карточку завтрака, написанную по-французски. Онъ ничего не понималъ, но дѣлалъ видъ, что внимательно ее читаетъ. Офиціантъ почтительно вытянулся передъ нимъ, потому что уже слышалъ отъ швейцаровъ, что пріѣхалъ новый сибирскій золотопромышленникъ. Доха произвела свое впечатлѣніе.

Къ новому знакомству Егоръ Егорычъ отнесся довольно равнодушно, точно передъ нимъ стоялъ какой-нибудь непомнящій родства. Онъ обратилъ вниманіе главнымъ образомъ на изысканный костюмъ „человѣка безъ спины“ и оглядѣлъ его довольно безцеремонно съ ногъ до головы.

— Очень радъ... очень радъ...—повторялъ Антонъ Гаврилычъ, подсаживаясь къ столику.

— А тёшки здѣсь не полагается?—спрашивалъ Сладкоѣжка, водя пальцемъ по карточкѣ кушаній.

— Нѣтъ, нѣтъ... И сала малороссійскаго тоже нѣтъ,—объяснялъ Ахлюстинъ, когда палецъ Сладкоѣжки остановился на артишокѣ.—Ну, это тебѣ не годится...

— А что̀ это такое?—упрямо допытывался Егоръ Егорычъ.

— Это... это овощъ такой... Однимъ словомъ, ты подавишься, если будешь ѣсть. Въ родѣ ежа...

Опять вышло смѣшно. Антонъ Гаврилычъ самъ выбралъ по карточкѣ кушанья, спросилъ бутылку краснаго вина собственной марки, которую знали всѣ офиціанты, и распорядился по части закуски. За завтракомъ состоялось уже настоящее знакомство. „Человѣкъ безъ спины“ незамѣтно заставилъ Сладкоѣжку разговориться и въ свою очередь разсказалъ, надъ чѣмъ сегодня всѣ смѣялись въ ресторанѣ.

— Есть здѣсь балерина Теркина, Аглая Терентьевна... Очень неглупая женщина и очень плохая танцовщица. За ней ухаживала цѣлая компанія богатыхъ молодыхъ купчиковъ. Они возили ее на острова, устраивали разные фестивали по отдѣльнымъ кабинетамъ и все-таки оказались въ концѣ концовъ

хамами, что̀ и слѣдовало ожидать. Нужно было избавиться отъ нихъ, и вотъ Аглая Терентьевна придумываетъ... Ха-ха! Приглашаетъ ихъ къ себѣ на ужинъ... Да... Все идетъ, какъ и слѣдуетъ итти на веселомъ ужинѣ. Когда компанія подпила, Аглая Терентьевна поднимается, беретъ бокалъ и провозглашаетъ тостъ за того изъ своихъ друзей, у котораго окажутся совсѣмъ чистые... носки, а для этого предлагается не стѣсняться и снять сапоги. Эффектъ единственный, и Аглая Терентьевна остается одна... Что̀ и требовалось доказать, какъ говорится въ старинныхъ геометріяхъ.

Сладкоѣжка смотрѣлъ на „человѣка безъ спины“ и никакъ не могъ понять, что̀ тутъ смѣшного. Просто глупая баба, которую слѣдовало высѣчь. Ахлюстинъ тоже не понималъ, но хихикалъ и потиралъ коротенькія ручки.

Воспользовавшись темой о женщинѣ, Антонъ Гаврилычъ неожиданно, какъ-то въ упоръ спросилъ Сладкоѣжку:

— А у васъ тамъ много хорошенькихъ женщинъ?

— Гм... Попадаются всякія. Есть и хорошенькія... Я люблю толстыхъ...

— Нѣтъ, не то... Я хотѣлъ спросить васъ, какой цвѣтъ волосъ преобладаетъ?

— А разные бываютъ волосы...

— Напримѣръ, бѣлокурыхъ много? Есть, знаете, такой цвѣтъ... съ золотымъ отливомъ, какъ у спѣлой пшеницы... Еще лучше, если встрѣчаются рыжія.

— Одна жидовка рыжая была, дѣйствительно...

— Видите ли, Егоръ Егорычъ, я получилъ изъ-за границы крупный заказъ на поставку женскихъ волосъ. Цѣну даютъ хорошую... Обыкновенные волосы стоятъ 10—12 р. за фунтъ, а бѣлокурые и рыжіе по особому соглашенію, и можно вогнать до 50-ти и даже до 100 руб. фунтъ. Понимаете? А у васъ тамъ много сектантокъ, ссыльно-поселенокъ, препровождаемыхъ по этапу, арестантокъ,—къ чему имъ волосы? Только лишняя обуза.

III.

Народъ все прибывалъ, и къ двумъ часамъ уже не было ни одного свободнаго столика. Между собой почти всѣ были знакомы, и Сладкоѣжка поэтому, какъ новый человѣкъ, невольно обращалъ на себя вниманіе. Его приняли за Лихошерстова, о которомъ здѣсь говорили еще прошлою зимой. Болѣе нетерпѣливые проходили по нѣскольку разъ мимо, чтобы посмотрѣть на знаменитаго милліонера-золотопромышленника. Нѣкоторые подходили къ столу, здоровались съ Антономъ Гаврилычемъ и безцеремонно разсматривали Сладкоѣжку въ упоръ. Это забавляло „человѣка безъ спины“, и онъ нарочно никого не знакомилъ съ таинственнымъ незнакомцемъ.

— Дикое счастье везетъ Антону Гаврилычу...—съ завистью шептались добрые знакомые.—Этакого осетра за жабры привелъ.

— Это все „третій пунктъ“ подстроилъ,—объясняли другіе.—Только еще неизвѣстно, кто кого обманетъ: Антонъ Гаврилычъ или „третій пунктъ“... Нынѣшніе провинціалы—самый продувной народъ. Пальца въ ротъ не клади...

А Сладкоѣжка ничего не подозрѣвалъ, а ѣлъ за троихъ. Особенно ему понравилась разварная соль,—рыба изрядная, хоть къ архіерейскому столу подавай. Индѣйка тоже ничего, а остальное все дрянь, какіе-то соуса да разные фигли-мигли. Не разберешь, изъ чего сдѣлано, пожалуй, еще и кошкой накормятъ. Закончивъ ѣду, Сладкоѣжка грузно отвалился на спинку дивана и, вытирая губы салфеткой, безъ всякихъ предисловій проговорилъ:

— А я, Антонъ Гаврилычъ, насчетъ пенсіи пріѣхалъ хлопотать. Будетъ, послужилъ отечеству...

— Вамъ нужно пенсію?—повторилъ „человѣкъ безъ спины“, пытливо вглядываясь въ Сладкоѣжку.—Пенсію? А для чего вамъ пенсія?

— А какъ же!.. Служилъ... старался... Невозможно безъ пенсіи.

„Человѣкъ безъ спины“ засмѣялся и, хлопнувъ Егора Егорыча по плечу, проговорилъ:

— Ну, это пустяки... Какая вамъ пенсія, когда у васъ есть собственные золотые промысла? Не хитрите, дорогой мой, *это* сейчасъ замѣтно... по всему... Не правда ли?

Сладкоѣжка посмотрѣлъ на искусителя прищуренными глазами и, не торопясь, отвѣтилъ:

— А отчего же и не быть золотымъ промысламъ? Хитрость не велика...

— Да, да... Я вамъ даже разскажу, какъ все вышло, т.-е. почему вы бросили службу и дѣлаете видъ, что пріѣхали хлопотать о пенсіи. Пріобрѣли по случаю хорошенькое мѣстечко и пріѣхали сюда его продать... Да?

— Отчего бы и не продать?—согласился Сладкоѣжка, хотя у него и не было ни одного пріиска.—Я счастливъ на золото...

Ахлюстинъ тихонько ткнулъ его въ бокъ, но Сладкоѣжка, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжалъ:

— Дѣло самое вѣрное, если найдется подходящій покупатель. Все дѣло въ деньгахъ...

— Вотъ именно,—поддерживалъ его Антонъ Гаврилычъ.—А деньги мы найдемъ...

Хитрый хохолъ сразу сообразилъ политику „человѣка безъ спины“ и съ нѣкоторыми оговорками, подъ секретомъ, разсказалъ, что у него пять собственныхъ пріисковъ, и что три онъ арендуетъ.

Немного подвыпившій Ахлюстинъ обидѣлся явнымъ лганьемъ Сладкоѣжки и началъ съ нимъ спорить.

— Никакихъ у тебя пріисковъ нѣтъ, Егоръ Егорычъ. Все ты врешь...

— А вотъ и есть...—упрямо повторялъ Сладкоѣжка.—Почему у меня не быть пріискамъ? У другихъ есть, ну, и у меня есть...

— Врешь, все врешь...

Друзья чуть не поссорились, но „человѣкъ безъ спины“ съ ловкостью настоящаго дипломата перемѣнилъ тему.

— Вонъ идутъ наши именинники, — проговорилъ онъ, указывая на двухъ проходившихъ мимо восточныхъ человѣковъ.—Это—бакинскіе нефтяники... Вотъ горяченькія денежки загребаютъ. Сейчасъ единственное серьезное дѣло въ Россіи, только жаль, что все захвачено. Комару носа негдѣ просунуть...

Нефтяники и держали себя именинниками. Они едва раскланивались съ ресторанными знакомыми и даже какъ-то особенно подавали руку, когда здоровались. Едва они сѣли за свой столикъ, какъ къ нимъ уже подбѣжалъ балетный рецензентъ и разсказалъ анекдотъ о Теркиной, но именинники только переглянулись и едва улыбнулись.

— Да, нѣтъ серьёзныхъ дѣлъ,—продолжалъ „человѣкъ безъ спины“.—Только и осталось, что скупать яйца у бабъ, экспортировать сибирское масло, полтавскихъ гусей и тому подобную дрянь. Вотъ за тѣмъ столикомъ сидятъ два юркихъ человѣчка,—это и есть экспортеры.

— А чтобы имъ пусто было, вашимъ экспортерамъ!—невольно вырвалось у Сладкоѣжки.—Теперь похристосоваться скоро нечѣмъ будетъ, у ребятъ по деревнямъ молоко отняли... Охъ, что̀ только будетъ!.. А все проклятыя желѣзныя дороги...

— Такъ, по-вашему, желѣзныя дороги приносятъ вредъ? — удивился „человѣкъ безъ спины“.

— А то какъ же?—удивился въ свою очередь Сладкоѣжка.—Хуже ничего нельзя было придумать... Придешь на вокзалъ, и даже противно смотрѣть: всѣ бѣгутъ, точно на пожаръ. А спросить, куда торопятся? Такъ, одна глупость...

— Онъ не вѣритъ, что и земля вертится,—сообщилъ Ахлюстинъ.

— Конечно, брехня... Я семнадцать лѣтъ прослужилъ исправникомъ, постоянно ѣздилъ по своему узѣду и никогда не замѣчалъ, чтобы земля вертѣлась.

„Человѣкъ безъ спины“ смѣялся до слезъ. Вотъ настоящій монстръ, котораго можно за деньги показывать гдѣ-нибудь въ балаганѣ. Сладкоѣжка тоже смѣялся какимъ-то глухимъ смѣхомъ, точно смѣялся не онъ, а кто-то за его спиной, какъ въ театрѣ маріонетокъ.

— Такъ не вертится?—повторялъ „человѣкъ безъ спины“.

— А для чего ей вертѣться? Только дурни вертятся... Вы еще скажете, что земля вальсъ танцуетъ. Брехня!

Къ тремъ часамъ завтракъ былъ уже въ полномъ разгарѣ. Одни уходили, другіе приходили, и каждый новый гость встрѣчался анекдотомъ о Теркиной. Смѣялось сибирское масло, смѣялась бакинская нефть, уфимскія яйца, полтавскіе гуси, даже смѣялись „виды на будущій урожай“, которые тщательно подсчитывались по теоріи вѣроятностей на основаніи отчетовъ податныхъ инспекторовъ... Собравшіеся въ кабакѣ-департаментѣ большіе и маленькіе хищники впередъ смаковали грядущую наживу.

Сладкоѣжка смотрѣлъ, слушалъ—и вдругъ сдѣлалось ему грустно, какъ человѣку, совершенно случайно попавшему на скамью подсудимыхъ. Какая ужъ тутъ пенсія!.. А все „третій пунктъ“ навралъ, да и „человѣкъ безъ спины“ тоже хорошъ. Ему изъ кабака прямая дорога въ мѣста не столь отдаленныя...

— Ну, я домой побреду...—устало проговорилъ Сладкоѣжка, поднимаясь.

— Куда же это вы торопитесь, Егоръ Егорычъ?—удивился „человѣкъ безъ спины“.—Пенсію мы вамъ устроимъ... А вотъ вамъ на случай моя карточка.

На карточкѣ подъ дворянской короной значилось: Антонъ Гавриловичъ Малюта. Сладкоѣжка прочелъ, посмотрѣлъ на новаго знакомаго и подумалъ:

„И фамилія настоящая каторжная...“

Когда старикъ ушелъ, Антонъ Гаврилычъ проговорилъ:

— Большой оригиналъ... Онъ намъ пригодится... Знаете, какъ говорится въ сказкахъ: „Человѣкъ, въ нѣкоторое время я тебѣ пригожусь“. Да, для декораціи...

— Вотъ ему костюмъ новый надо заказать, Антонъ Гаврилычъ, и я хотѣлъ посовѣтоваться съ вами...

— Не нужно, ничего не нужно... Онъ именно хорошъ въ своемъ настоящемъ видѣ. Couleur locale... Да.

Перемѣнивъ тонъ, Малюта прибавилъ:

— Я уже все приготовилъ къ пріѣзду Лихошерстова... Его уже ждутъ. Нужно только подвинтить общее вниманіе. Это необходимо.

3.

„Адамовы головы“ и „Вице-рой“.

I.

„Третій пунктъ“ и Сладкоѣжка разссорились,—разссорились совершенно неожиданно и, главное, очень глупо. Дѣло кончилось полнымъ разрывомъ. Началось изъ-за „человѣка безъ спины“, настойчиво желавшаго видѣть Сладкоѣжку у Кюба.

— А ну его къ нечистому...—огрызался Сладкоѣжка безъ всякой видимой причины.—Что̀ я тамъ потерялъ, у вашего Кюбы?

— Да вѣдь Антонъ Гаврилычъ тебя проситъ...

— Антонъ Гаврилычъ? А мнѣ начхать на твоего Антона Гаврилыча...

— Начхать?.. На Антона Гаврилыча?!..

— Да, начхать...—совершенно серьезно подтвердилъ Сладкоѣжка и даже плюнулъ.—Мало ли шарлатановъ на бѣломъ свѣтѣ!

Ахлюстинъ покраснѣлъ, какъ ракъ, и въ ужасѣ прошепталъ:

— Антонъ Гаврилычъ шарлатанъ?!..

— Именно... Ему на скамьѣ подсудимыхъ все равно сидѣть, а потомъ въ мѣста не столь отдаленныя...

Это было уже слишкомъ... Конечно, Сладкоѣжка погорячился, конечно, онъ былъ неотесанный провинціалъ, конечно, онъ многаго просто не могъ понять, но все-таки, какъ хотите, все это было крайне обидно.

— Если Антонъ Гаврилычъ—шарлатанъ, то кто же ты послѣ этого, Егоръ Егорычъ?—вызывающе спросилъ Ахлюстинъ, принимая наполеоновскую позу.—Да, кто ты такой?..

— А прочитай мой формуляръ...

Невозмутимость Сладкоѣжки и допущенный имъ нѣкоторый ироническій тонъ окончательно взбѣсили Ахлюстина, и онъ проговорилъ задыхавшимся голосомъ:

— Въ твоемъ формулярѣ забыли написать одно слово: дуракъ!..

Тутъ ужъ покраснѣлъ Сладкоѣжка, грузно поднялся съ дивана,—роковой разговоръ происходилъ въ номерѣ Ахлюстина,—и, не прощаясь, пошелъ къ двери. Но Ахлюстинъ догналъ его въ коридорѣ и громко заявилъ:

— И пенсіи никакой не получишь... Слышалъ?

— И не надо мнѣ вашей пенсіи. Я не у Кюбы лакеемъ служилъ и получать пенсію изъ-подъ какой-нибудь балетной юбки не желаю.

Сладкоѣжка вошелъ въ свой номеръ и громко хлопнулъ дверью. Ахлюстинъ молча погрозилъ ему кулакомъ и побрелъ къ себѣ.

— Ну, не дуракъ ли?—разсуждалъ онъ самъ съ собой.—Такіе дураки родятся по одному въ сто лѣтъ.

На другой день старые друзья, конечно, одумались, и обоимъ сдѣлалось обидно, а главное—скучно. Какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, каждый считалъ себя правымъ, и на этомъ основаніи всякая мысль о примиреніи являлась недоступною химерой. Если бы еще поругались подъ пьяную руку,—тогда можно было бы свалить все на пьяное безпамятство, а то все произошло,—какъ пишутъ въ духовныхъ завѣщаніяхъ,—въ здравомъ умѣ и твердой памяти.

Съ горя Ахлюстинъ по цѣлымъ днямъ пропадалъ на Николаевскомъ вокзалѣ, выжидая пріѣзда Лихошерстова съ компаніей. Онъ время отъ времени

получалъ изъ Москвы какія-то таинственныя телеграммы и съ озабоченнымъ видомъ летѣлъ на вокзалъ. Но и послѣ пятой телеграммы Лихошерстовъ не появлялся, точно что̀ его заворожило въ Москвѣ.

— А все панъ Гедиминъ виноватъ!—ругался Ахлюстинъ,—ужъ навѣрно завязъ гдѣ-нибудь въ клубѣ и въ карты нажариваетъ... Охъ, согрѣшилъ я съ ними!..

Сладкоѣжка тоже скучалъ и отъ-нечего-дѣлать слонялся по всему Петербургу. Лучшимъ развлеченіемъ была для него конка: сѣлъ, и куда-нибудь привезутъ. И дешево, и любопытно, и время совершенно незамѣтно проходитъ. Тоже осмотръ разныхъ памятниковъ, посѣщеніе церквей, гулянье передъ обѣдомъ по Невскому, когда здѣсь живой стѣной движется настоящая столичная публика,—все это требовало тоже времени.

— И откуда только набралось здѣсь столько богатыхъ людей?—удивлялся хохолъ, прикидывая интересную публику на свой провинціальный аршинъ.

Хлопотать о своей пенсіи онъ все откладывалъ день за днемъ.

Разгуливая по Невскому, Сладкоѣжка особенное вниманіе обращалъ на на людей, одѣтыхъ въ дохи. А ихъ попадалось немало. Конечно, всѣ были сибиряки. Но знакомыхъ никого не попадалось.

„Тоже, вѣроятно, за пенсіями пріѣхали,—соображалъ про себя Сладкоѣжка,—и, можетъ, продаютъ что-нибудь“.

Однажды Сладкоѣжка шелъ по Невскому въ особенно грустномъ настроеніи, соображая, гдѣ бы ему пообѣдать подешевле. Онъ даже не обращалъ вниманія на окна фруктовыхъ магазиновъ, чтобы напрасно не раздражать аппетита выставленными деликатесами. И дорого и обидно, особенно если подумать, что есть же люди, которые все это съѣдятъ. Падалъ мокрыми хлопьями снѣгъ; панель покрылась жидкою снѣговою кашицей, дворники совершенно напрасно старались ее уничтожить своими метлами. Сладкоѣжка вдругъ остановился, озаренный вѣщимъ предчувствіемъ. Впереди медленно и важно шелъ высокій господинъ въ дохѣ; онъ точно весь окостянѣлъ, какъ человѣкъ, который идетъ по туго натянутому канату.

„Онъ!..“—подумалъ вслухъ Сладкоѣжка.

Въ слѣдующую минуту онъ догналъ заподозрѣннаго господина въ дохѣ и, забѣжавъ сбоку, радостно проворилъ:

— Ваше превосходительство, да неужели это вы?!

Господинъ остановился, посмотрѣлъ на Сладкоѣжку своими мутно-сѣрыми, точно ввинченными въ глубокія орбиты глазами и, протягивая руку, довольно сухо отвѣтилъ:

— Слѣдовательно я-съ...

— Глазамъ не вѣрю, ваше превосходительство...—бормоталъ подобострастно Сладкоѣжка, превращаясь весь въ одну улыбку.

Слѣдовательно ты, т.-е. вы тоже въ Петербургѣ?

— Точно такъ, ваше превосходительство...

Онъ остановился, подозрительно посмотрѣлъ на сновавшую кругомъ публику и, приложивъ руку ко рту, какъ дѣлаютъ суфлеры, проговорилъ вполголоса:

— Здѣсь я, слѣдовательно, просто Иннокентій Ѳедорычъ... Да-съ! Его превосходительство осталось тамъ... далеко. Понимаешь, т.-е. понимаете?

— Ахъ, ваше пре... т.-е. Иннокентій Ѳедоровичъ, какъ же не понять. Это называется у писателя, г. Гоголя, инкогнито.

— Да, да... Слѣдовательно идемъ обѣдать. Тамъ поговоримъ... Знакомыхъ встрѣтишь...

Они пошли по Невскому къ Полицейскому мосту. Сладкоѣжка опасался, какъ бы *онъ* не завелъ его къ Кюба. Но *онъ* остановился у подъѣзда ресторана Лейнера и еще разъ предупредилъ:

— Пожалуйста, братецъ, забудь, что я его превосходительство... Да, слѣдовательно, если прислуга узнаетъ, то придется много на чай давать.

— Точно такъ, ваше...

— Опять?

— А я же больше не буду...

Швейцаръ въ подъѣздѣ встрѣтилъ „тайнаго" дѣйствительнаго статскаго совѣтника, какъ своего человѣка. То же было и въ шинельной.

— Ваши уже всѣ въ сборѣ,—фамильярно предупредилъ человѣкъ, принимавшій платье.

— Я знаю...—сухо отвѣтилъ *онъ*.

Ростораиъ Лейнеръ—учрежденіе второго сорта, съ нѣкоторою претензіей на заграничный видъ. И публика собиралась здѣсь тоже второго сорта, которой первоклассные рестораны были не по-плечу: второсортные биржевые зайцы, очень сомнительные иностранцы, а главнымъ образомъ отставные всевозможныхъ категорій. Даже въ воздухѣ чувствовался этотъ господствовавшій здѣсь второй сортъ: воняло кухней и, какъ показалось Сладкоѣжкѣ, пахло какъ будто жженымъ копытомъ.

Онъ провелъ Сладкоѣжку въ отдѣльную комнату, гдѣ за длиннымъ столомъ сидѣли молча три господина съ обѣденными меню въ рукахъ. Сладкоѣжка даже попятился отъ изумленія: двое являлись въ далекой глуши страхомъ и трепетомъ, а третій недавно еще носилъ кличку „Вице-роя". У Сладкоѣжки даже захолонуло на душѣ отъ охватившаго его рабьяго чувства. „Господи, вѣдь какіе были все люди".

— Слѣдовательно, господа, рекомендую вамъ...—заявилъ *онъ*, поднимая облѣзлыя, точно подбитыя молью брови.—Старый знакомый-съ... Да.

Всѣ трое посмотрѣли на Сладкоѣжку глазами сфинска и, видимо, нѣкоторое время колебались, подавать ли руку бывшему исправнику. Но Вице-рой, лицо котораго напоминало циферблатъ незаведенныхъ часовъ, вывелъ всѣхъ изъ недоразумѣнія, первый протянулъ Сладкоѣжкѣ руку и глухо буркнулъ:

— Что̀ ты стоишь, братецъ, садись...

II.

Четыре важныхъ персоны за однимъ столомъ... Даже страшно подумать, какая это сила, хотя и въ прошломъ. Вѣдь милліоны провинціальныхъ человѣковъ прямо или косвенно зависѣли отъ нихъ. Судьба тысячъ зависѣла отъ нахмуренныхъ бровей или одной милостивой улыбки. Да, одна улыбка,—и погибавшій человѣкъ воскресалъ, одна морщина недовольства на челѣ,—и человѣкъ навѣки погибалъ.

Во главѣ этого угла стоялъ Иннокентій Ѳедоровичъ Журакинъ, получившій при первомъ же своемъ появленіи на посту кличку „Адамова голова". Названіе было удачно и какъ нельзя лучше отвѣчало дѣйствительности. Лысая голова Журакина съ ввинченными глазами, облѣзлыми бровями и мертвымъ ртомъ дѣйствительно напоминали адамову голову, какъ ее изображаютъ провинціальные богомазы на образахъ. Другіе непосредственно за нимъ и вмѣстѣ съ властью унаслѣдовали и кличку. Сибирскій „Вице-рой" оставался какъ-то особнякомъ и носилъ свою кличку по наслѣдству отъ предшественниковъ, хотя и не совсѣмъ по праву: вице-роями прежде называли сибирскихъ генералъ-губернаторевъ.

Когда первый моментъ спеціально-чиновничьей оторопи миновалъ, въ душѣ Сладкоѣжки тайно зародилось какое-то предательское чувство. Давно ли онъ трепеталъ передъ этими властодержцами и пускалъ въ оборотъ весь запасъ своей хохлацкой хитрости, чтобы не выдать внутренняго смятенія, и вдругъ ничего, никакого страха... И трепеталъ совершенно безъ всякаго основанія, потому что по службѣ рѣшительно не зависѣлъ отъ нихъ, а такъ,— очень ужь сильные были люди, которыхъ даже губернаторы побаивались.

Сначала они приняли Сладкоѣжку съ начальническою сухостью, а потомъ какъ-то сразу отмякли, хотя и путали въ разговорѣ съ нимъ „ты“ и „вы“. Даже больше: они были рады Сладкоѣжкѣ. Да, рады, потому что онъ напоминалъ имъ о блаженномъ прошломъ.

— Ахъ, что̀ было, было, ваше... Иннокентій Ѳедоровичъ!—вырвалось невольное восклицаніе у Сладкоѣжки.—Какъ вспомнишь, такъ даже тоска схватитъ. А нынче что̀, совсѣмъ людей не стало.

Это благодарное движеніе души Сладкоѣжки произвело на всѣхъ самое благопріятное впечатлѣніе, и даже сибирскій „Вице-рой“ посмотрѣлъ почти милостиво. Онъ обыкновенно молчалъ, впадая въ какое-то величавое полузабытье, и только съ просонья точно выбрасывалъ изъ себя любимое словечко: „Что-о?“. Да, хорошій былъ исправникъ Сладкоѣжка, хотя и большой плутъ, пожалуй не лучше канальи Простосердова, который былъ вколоченъ въ губернаторскую канцелярію съ незапамятныхъ временъ, точно желѣзный гвоздь.

Между прочимъ, Сладкоѣжка замѣтилъ, что „адамовы головы“ что-то ужъ очень долго соображаютъ по части обѣда, о чемъ-то совѣтуются между собою и, видимо, стараются все устроить подешевле, а главное—убить время.

— А тутъ этотъ... какъ его?—заговорилъ Журакинъ.—Ну, консисторскій...

— Ахлюстинъ?—отвѣтилъ Сладкоѣжка и прибавилъ:—Такой негодяй, такой негодяй, Иннокентій Ѳедоровичъ... Недаромъ выгнали со службы по третьему пункту.

— Развѣ?

— Точно такъ... У него и отецъ былъ такой же негодяй и умеръ въ больницѣ отъ запоя.

— Что̀ же онъ тутъ дѣлаетъ, этотъ Ахлюстинъ?

— А такъ, ищетъ кого-нибудь обмануть. Тутъ ихъ собралась цѣлая шайка разбойниковъ...

Для чего Сладкоѣжка вралъ и для чего приплелъ ахлюстинскаго отца, котораго совсѣмъ не зналъ, трудно сказать. Просто была жгучая потребность отлить накипѣвшую злобу. Однако бывшіе властодержцы, видимо, ему не повѣрили, и Сладкоѣжка понялъ, что „Третій пунктъ“ со своимъ консисторскимъ пронырствомъ успѣлъ проникнуть и въ этотъ заколдованный кругъ и раскинулъ здѣсь свою консисторскую паутину.

„Вотъ негодяй...“—уже подумалъ про себя Сладкоѣжка, не встрѣтивъ сочувствія своему отзыву о недавнемъ пріятелѣ.

Ѣли всѣ медленно, съ чувствомъ, толкомъ, разстановкой, смакуя каждый кусокъ. Передъ обѣдомъ выпили по рюмкѣ какихъ-то мудреныхъ водокъ, имѣвшихъ, вѣроятно, специфическое цѣлебное дѣйствіе. Это послѣднее стѣсняло Сладкоѣжку, и онъ даже не рѣшился выпить своихъ обычныхъ трехъ рюмокъ водки и ограничился одной. Между отдѣльными блюдами дѣлалась передышка съ очевидной цѣлью убить ненужное драгоцѣнное время.

— А я пріѣхалъ сюда хлопотать о пенсіи...—говорилъ Сладкоѣжка, пользуясь такимъ антрактомъ.—Да, будетъ, послужилъ. Да нынче и служить не стоитъ серьезному человѣку. Ей-Богу... Извините меня, я, конечно, чело-

вѣкъ маленькій и не могу всего знать, но все-таки семнадцать лѣтъ выслужилъ исправникомъ и вполнѣ присмотрѣлся, какіе бываютъ настоящіе начальники.

Хитрый хохолъ льстилъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ, чтобы заручиться протекціей всесильныхъ еще недавно людей. Конечно, всѣмъ имъ сейчасъ цѣна—расколотый грошъ, но вдругъ призовутъ,—и опять сила. Но „адамовы головы“ не откликнулись ни однимъ звукомъ на поданную реплику и уныло смотрѣли въ свои пустыя тарелки.

— Недѣльки двѣ поживу здѣсь, а потомъ опять во-свояси,—продолжалъ Сладкоѣжка, смущенный полнымъ безчувствіемъ слушателей.—Дорого здѣсь все, и куда ни повернешся—подавай деньги. Даже удивительно, какъ могутъ жить въ столицахъ обыкновенные люди... Вѣдь не у каждаго богатая тетка или пятиэтажный домъ.

Послѣ обѣда, когда подали кофе, вся компанія оживилась.

— Слѣдовательно не стало людей настоящихъ въ провинціи?—говорилъ Журакинъ, обращаясь къ Сладкоѣжкѣ.—Этому не нужно удивляться, потому что ихъ здѣсь нѣтъ... Слѣдовательно совсѣмъ нѣтъ. Да...

— Нѣтъ людей!..—въ одинъ голосъ подтвердили „адамовы головы“.—Какихъ-то мальчишекъ посылаютъ... Даже совѣстно смотрѣть на нихъ.

Отсюда былъ прямой переходъ къ разнымъ воспоминаніямъ, а ихъ у каждаго было достаточно, и Сладкоѣжка служилъ живымъ экраномъ, на которомъ они отражались китайскими тѣнями. Между собою уже давно все было переговорено сотни разъ, и каждый отлично зналъ репертуаръ своихъ собесѣдниковъ, но присутствіе Сладкоѣжки всѣхъ оживило. Вотъ человѣкъ, который больше всѣхъ зналъ, чѣмъ они были въ свое время и, главное, чѣмъ могли бы быть. Сладкоѣжка воспользовался моментомъ и помогалъ разбираться въ этихъ воспоминаніяхъ, возстановляя имена дѣйствовавшихъ лицъ, послѣдовательность событій и ихъ даты.

— Помните, ваше... Иннокентій Ѳедоровичъ, дѣло Гололобова?

— О, какъ же!..—Слѣдовательно и Гололобовъ будетъ помнить.

— Онъ отбылъ свой срокъ ссылки въ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ Сибири и вышелъ по милостивому манифесту.

— А бунтъ въ Кабаровкѣ, Инонкентій Ѳедоровичъ?.. Вѣдь и до сихъ поръ бунтуютъ... Ей-Богу! Я ихъ 17 лѣтъ усмирялъ... О, они будутъ меня помнить!.. Бывало, только пріѣду, а они ужъ всѣ трясутся.

— Это удивительно, братецъ!.. И всѣ живы?

— Точно такъ, рѣшительно всѣ... Этого бунта еще надолго хватитъ.

Сладкоѣжка говорилъ тономъ спеціалиста по части бунтовъ, но его перебилъ Журакинъ:

— А если говорить правду, такъ во всемъ виноватъ Іона Добросердовъ... Слѣдовательно онъ все напуталъ. Да... Кабаровскій бунтъ, который продолжается 50 лѣтъ.

Увлекшись воспоминаніями, „адамовы головы“ постоянно сбивались съ темпа: то говорили, какъ будто еще продолжали быть прежними властными людьми,—говорили властно и проникновенно, то вдругъ „теряли амбушюръ“ а начинали говорить какъ обыкновенные, нормальные люди, не испытавшіе прелестей заоблачныхъ высей, гдѣ, по словамъ поэта, „безъ руля и безъ вѣтрилъ тихо плаваютъ въ туманѣ хоры стройные свѣтилъ“. Получалась самая губительная двойственность,—та роковая трещина, которая превращаетъ дорогой фіалъ въ самые обыкновенные черепки...

III

Въ разгаръ этого пиршества кто-то припомнилъ даже анекдотъ, очень старинный, отставной анекдотъ, и всѣ смѣялись. Даже смѣялся „Вице-рой“, вѣрнѣе сказать, у него смѣялись однѣ щеки, какъ у младенца, который набралъ полный ротъ каши. Между прочимъ, онъ отозвалъ мановеніемъ руки Сладкоѣжку къ окну и вполголоса сообщилъ:

— Знаешь, братецъ, мы, т.-е. я тутъ не надолго... Да, я скоро опять получаю назначеніе... Да, вспомнили и про насъ...

— Ваше высокопревосходительство, да развѣ могли васъ забыть?—подобострастно отвѣчалъ Сладкоѣжка шопотомъ.—Гдѣ такихъ людей найти? Призовутъ, непремѣнно призовутъ...

„Адамовы головы“ по очереди тоже отводили Сладкоѣжку въ сторону и тоже сообщали шопотомъ о своемъ скоромъ призваніи. У Сладкоѣжки просто не хватало словъ для выраженія вѣрноподданническихъ чувствъ, и онъ только дѣлалъ краснорѣчивые жесты человѣка, котораго тошнитъ. „Ваше превосходительство... Ахъ, Господи! Да гдѣ же найдутъ другого такого человѣка?!. Васъ всѣ ждутъ, какъ манну небесную“.

Эти маленькія интимныя интервью были неожиданно прерваны неожиданно, точно изъ-подъ земли появившимся „человѣкомъ безъ спины“. Онъ вошелъ неслышными шагами заговорщика, поздоровался фамильярно со всѣми и, протягивая руку Сладкоѣжкѣ, проговорилъ:

— А я, знаете, голубчикъ, уже началъ о васъ хлопоты, т.-е. о пенсіи. Кстати, вотъ и билетъ на балетъ „Спящая красавица“. Музыка прекрасная... Да. Между прочимъ, будетъ танцовать Аглая Терентьевна Теркина, о которой вы уже слышали. Очень большой и колоритный талантъ, хотя и танцуетъ до сихъ поръ у воды. Впрочемъ, она не честолюбива, да и пенсію скоро выслужитъ... А васъ я знаю, вы—большой шалунъ.

Эта изысканная любезность совершенно обезкуражила Сладкоѣжку, и онъ крѣпко жалъ руку человѣка, котораго нѣсколько дней тому назадъ называлъ негодяемъ и шарлатаномъ и изъ-за котораго поссорился со старымъ, многолѣтнимъ другомъ.

„Человѣкъ безъ спины“ безъ приглашенія присѣлъ къ столу, спросилъ себѣ кофе и рюмку какого-то мудренаго ликера.

— Ну, господа, какъ вы поживаете?—фамильярно спрашивалъ онъ, не обращаясь въ частности ни къ кому.—Есть новыя перемѣны въ министерствахъ... Да... Новыя вѣянія... гм... Придется еще потерпѣть.

„Адамовы головы“ уныло молчали. „Человѣкъ безъ спины“ безцеремонно разсматривалъ ихъ унылыя физіономіи и только качалъ головой.

— Ахъ, господа, господа...—проговорилъ онъ, прихлебывая свой кофе и опять не обращаясь ни къ кому.—Время-то какое... Вѣдь каждая минута дорога. Вы слышали, организуется громадная золотопромышленная компанія? Мы покупаемъ въ Сибири знаменитые золотые промысла знаменитаго Лихошерстова и еще нѣкоторыхъ другихъ. Наступаетъ новая эра, господа... Нельзя, какъ сдѣлалъ евангельскій лукавый и лѣнивый рабъ, зарывать свой талантъ въ землю... Мы вотъ и будемъ этотъ талантъ лѣниваго раба выкапывать изъ земли... Да.

Во время разговора „человѣкъ безъ спины“ какъ-то особенно пытливо смотрѣлъ въ лицо „адамовымъ головамъ“, точно производилъ негласное медицинское дознаніе, и, какъ показалось Сладкоѣжкѣ, „адамовы головы“ смущались отъ этихъ испытующихъ взглядовъ, ежились и съ виноватымъ видомъ старались не встрѣчаться глазами.

„И чего они боятся этого шарлатана?—возмущался про себя Сладкоѣжка.—Совсѣмъ пустой человѣкъ...“

Впрочемъ, дѣло скоро разъяснилось. „Человѣкъ безъ спины“ таинственно отвелъ къ окну „Вице-роя“ и таинственно началъ его допрашивать вполголоса. Но у Сладкоѣжки былъ отличный слухъ, и онъ слышалъ таинственный разговоръ отъ слова до слова.

— Ваше высокопревосходительство, неужели вы ничего не могли припомнить?—вкрадчиво допрашивалъ „человѣкъ безъ спины“.

„Вице-рой“ только молча развелъ руками. Это движеніе, видимо, возмутило „человѣка безъ спины“, и онъ со сдержаннымъ раздраженіемъ заговорилъ:

— Ваше высокопревосходительство, вы просто не желаете... Другими словами, упорно отказываетесь отъ собственнаго счастья. Да... Однимъ словомъ, я не могу повѣрить, что у васъ ничего не осталось, что вы могли бы продать, т.-е. реализировать. Помилуйте, сколько людей, когда вы были крупною силой, у васъ въ глазахъ составили состояніе...

— Да, составили...—какъ эхо, соглашался сибирскій „Вице-рой“.

— Недалеко ходить: состоявшій при тогдашнемъ губернаторѣ чиновникомъ особыхъ порученій Вечтомовъ—сейчасъ милліонеръ. У него оказалось до сорока золотоносныхъ площадей, и наша компанія ведетъ уже съ нимъ переговоры. Если Вечтомовъ умѣлъ такъ устроиться, то вы... Вы же были губернаторомъ, а какую силу имѣли...

— Ахъ, Господи!—взмолился „Вице-рой“,—то Вечтомовъ... Да-съ... А у меня рѣшительно ничего нѣтъ для продажи. Пожалуйста, оставьте меня въ покоѣ...

Въ видѣ угрозы „человѣкъ безъ спины“ отвѣтилъ:

— Хорошо, ваше высокопревосходительство, я переговорю еще разъ съ Матильдой Тарасовной...

— Можете...—сухо отвѣтилъ „Вице-рой“, прерывая аудіенцію.

Аналогичный допросъ былъ произведенъ по очереди и „адамовымъ головамъ“, причемъ они безпомощно разводили руками и увѣряли самымъ трогательнымъ образомъ, что у нихъ рѣшительно ничего нѣтъ для продажи. Да, рѣшительно ничего: ни золотыхъ розсыпей, ни желѣзныхъ рудниковъ, ни мѣсторожденій марганца, киновари, азбеста, ни копей драгоцѣнныхъ сибирскихъ камней и т. д.

— Напрасно, господа, вы скрываете,—увѣрялъ ихъ „человѣкъ безъ спины“, дѣлая энергичный жестъ.—Потомъ жалѣть будете... А я о васъ же хлопочу, господа.

Когда „человѣка безъ спины“ вызвали къ телефону, всѣ облегченно вздохнули.

— Слѣдовательно онъ съ ума сошелъ...—рѣшилъ за всѣхъ Журакинъ, поднимая брови.

Сладкоѣжка угнетенно молчалъ. Ему было обидно за этихъ великихъ людей, которыхъ такъ безсовѣстно одолѣвалъ какой-то трактирный шарлатанъ. А съ другой стороны, „адамовы головы“ въ его глазахъ дѣлались все меньше и меньше, теряя послѣдній престижъ власти и обаянія силы. Отъ огорченія онъ ушелъ въ буфетъ и потихоньку хлопнулъ двѣ большихъ рюмки коньяку.

Выпитое вино какъ-то сразу ударило Сладкоѣжкѣ въ голову, и онъ поторопился уйти. Въ передней его догналъ „человѣкъ безъ спины“ и, хлопнувъ по плечу, фамильярно проговорилъ:

— А васъ, почтеннѣйшій Егоръ Егоровичъ, непремѣнно желаетъ видѣть одна дама... Угадайте, какая дама?

— Дама?..

— Я уже далъ слово ей, что привезу васъ къ ней... Помните, что дѣло идетъ о вашей пенсіи, а у нея большія связи.

Сладкоѣжка шелъ по Невскому не совсѣмъ твердыми шагами и сначала улыбался, а потомъ не могъ удержаться и захохоталъ. Публика смотрѣла на него съ удивленіемъ, очевидно, принимая за сумасшедшаго.

4.

Развязка.

I.

Лихошерстовъ появился въ Петербургѣ инкогнито. Ахлюстинъ и Сладкоѣжка узнали объ его прибытіи изъ газетъ и были крайне удивлены и обижены.

— Что же это такое?—накинулся на Ахлюстина „человѣкъ безъ спины“.— Что же вы-то смотрѣли?

„Третій пунктъ“ только развелъ безпомощно руками.

— Интрига, Антонъ Гаврилычъ...

— А вотъ полюбуйтесь!..

Малюта сунулъ Ахлюстину цѣлую кипу газетъ, въ которыхъ необходимыя мѣста были размѣчены краснымъ карандашомъ. Какая-то невидимая рука сообщила съ холодной таинственностью о прибытіи въ Петербургъ знаменитаго сибирскаго золотопромышленника Л—ва, который стоитъ во главѣ громадной золотопромышленной компаніи. Обозначались и члены этой компаніи еще болѣе таинственными иниціалами, какъ въ уравненіи со многими неизвѣстными въ алгебрѣ. Въ одной газетѣ было сообщено даже такое важное событіе, что таинственный сибирскій милліонеръ остановился въ Европейской гостиницѣ и занялъ со своими секретарями цѣлыхъ три номера. Попытки интервьюировать его кончились полной неудачей, а секретари хранили дипломатическое молчаніе. Оставалось неизвѣстнымъ, зачѣмъ пріѣхалъ Л—въ: лѣчить свою сахарную болѣзнь или продавать свои золотые промыслы.

Пробѣжавъ эти торопливо набросанныя строки, Ахлюстинъ совершенно спокойно замѣтилъ:

— Это все панъ Гедиминъ написалъ... Не безпокойтесь, Антонъ Гаврилычъ, сами придутъ къ намъ, да еще поклонятся.

— Изъ-за чего же я-то старался?

— Эхъ, Антонъ Гаврилычъ, Антонъ Гаврилычъ... Подождите, и все устроится.

И, дѣйствительно, все устроилось. Панъ Гедиминъ самъ пріѣхалъ съ визитомъ къ „человѣку безъ спины“ и почти обворожилъ его своимъ поведеніемъ. Это былъ изящный господинъ неопредѣленныхъ лѣтъ, неопредѣленнаго цвѣта, съ неопредѣленною улыбкой. Одѣтъ онъ былъ безукоризненно, и единственный недостатокъ, какой можно было ему приписать, это—обиліе сибирскихъ драгоцѣнныхъ камней, что рѣзало глазъ, какъ мѣщанство

— Вѣдь мы — глухіе провинціалы,—точно оправдывался панъ Гедиминъ.—Настоящіе медвѣди, которыхъ подняли изъ берлоги и которые съ про-

сонья сами не знаютъ, куда бредутъ... Вся наша надежда на васъ, Антонъ Гавриловичъ.

И Цвѣтъ-Гуляевъ понравился Малютѣ. Тоже настоящій джентльменъ и даже недурно говоритъ по-французски, какъ и панъ Гедиминъ. Вообще оба лихошерстовскихъ секретаря не посрамили бы и самого Вандербильта, который тоже останавливался въ Европейской гостиницѣ. Но, несмотря на вѣжливость и готовность услужить, оба сохраняли дипломатическій тонъ и ни однимъ словомъ не выдали плановъ своего патрона.

— Да, съ этими господами нужно держать ухо востро,—рѣшилъ про себя „человѣкъ безъ спины".—А впрочемъ, будемъ посмотрѣть, какъ говорятъ настоящіе русскіе нѣмцы.

Что не нравилось Малютѣ, такъ это то, что Лихошерстовъ никого не желалъ принимать и отсиживался въ своемъ номерѣ, какъ обложенный въ берлогѣ медвѣдь. „Третій пунктъ" тоже напустилъ на себя важность и на всѣ разспросы только пожималъ плечами. Малюту неожиданно выручилъ Сладкоѣжка, котораго онъ встрѣтилъ на Невскомъ.

— Ну, какъ вамъ нравится нашъ Лихошерстовъ?—съ обычною фамильярностью спросилъ Сладкоѣжка.

— Да никакъ, потому что я его не видалъ...

— Эге, такъ пойдемте сейчасъ къ нему...

— Вѣдь онъ никого не принимаетъ?

— Пусть другихъ не принимаетъ, а меня приметъ. Кстати и позавтракаемъ у него... Какой номеръ занимаетъ, дурень. Ха-ха-ха...

Малюту немного покоробила эта фамильярность. А впрочемъ, можетъ-быть, въ Сибири принято такъ обращаться съ милліонерами...

Коридорный не хотѣлъ-было пускать гостей безъ доклада, но Сладкоѣжка безъ церемоніи отвелъ его отъ дверей и съ достоинствомъ заявилъ:

— Не пускать? Меня? Да я могъ быть давно вице-губернаторомъ, если бы хотѣлъ.

Коридорный отступилъ и виновато пробормоталъ: „Виноватъ, ваше превосходительство"... Это было лишнимъ доказательствомъ того, что нелѣпости убѣждаютъ сильнѣе всякихъ разумныхъ доводовъ.

— Кто тамъ? Войдите,—послышался изъ номера свѣжій старческій голосъ.

Гостей встрѣтилъ невысокаго роста, благообразный, сѣденькій старичокъ въ полосатомъ шелковомъ татарскомъ бешметѣ и въ большихъ круглыхъ старинныхъ очкахъ въ серебряной оправѣ. Онъ мелькомъ взглянулъ красивыми, сѣрыми, еще не потерявшими живого блеска глазами на „человѣка безъ спины", крѣпко пожалъ ему руку и пѣвуче проговорилъ:

— Очень радъ... Кажется, я уже слышалъ о васъ...

— Да я жъ тебѣ говорилъ, Илья Саввичъ,—добавилъ Сладкоѣжка.

— Такъ, такъ...

— Прекраснѣйшій человѣкъ и все на свѣтѣ знаетъ,—рекомендовалъ Сладкоѣжка.

„Человѣкъ безъ спины" всегда испытывалъ нѣкоторую благочестивую оторопь при первомъ знакомствѣ съ настоящими милліонерами, какъ воръ, который ночью пробрался въ подвалъ съ золотомъ. Номеръ былъ знакомый: въ немъ всегда останавливалась этуаль Берси. Да, когда-то здѣсь недурно проводили время...

— Никакъ не могу я привыкнуть къ вашему телефону,—говорилъ Лихошерстовъ, обращаясь къ гостю.—Сначала все кланялся машинкѣ... Ей-

Богу! Вотъ она наша таёжная простота... Сказать примѣнько: всѣ мы отъ пня. Недаромъ говорится, что мы въ тайгѣ-то пнямъ молимся...

Старичокъ при разговорѣ улыбался и разглаживалъ свою небольшую бородку клинышкомъ. Какъ всѣ сибиряки, онъ сильно напиралъ на букву *о* и дѣлалъ ошибки по части удареній.

— А гдѣ мы будемъ завтракать?—спрашивалъ Сладкоѣжка, поглядывая на свои часы.

— Гдѣ хотите... Можно въ ресторанѣ, можно и здѣсь. Подойдутъ ужо и мои молодцы. Съ утра куда-то разбѣжались...

— Лучше здѣсь,—рѣшилъ Сладкоѣжка, расхаживающійся по-хозяйски.

Къ завтраку, дѣйствительно, явились панъ Гедиминъ и Цвѣтъ-Гуляевъ. Они, видимо, непріятно были удивлены, встрѣтивъ здѣсь „человѣка безъ спины", и только краснорѣчиво переглянулись между собой. Впрочемъ, за завтракомъ все уладилось, особенно когда немного выпили съ разными наговорами передъ каждою рюмкой. Самъ Лихошерстовъ ничего не пилъ и только вздыхалъ, поглядывая на другихъ.

Завтракъ былъ сервированъ на широкую ногу, по спеціальному заказу пана Гедимина. Потомъ подали кофе и ликеры. Все время говорили о разныхъ пустякахъ, а о дѣлѣ никто не проронилъ ни одного слова. Малютѣ было неловко первому начать серьезный разговоръ.

— Илья Саввичъ, а ты смотри за молодцами въ оба,—предупреждалъ Сладкоѣжка.—Да... Того и жди, что они втянутъ до картофельнаго клуба, а тамъ правая рука не знаетъ, что дѣлаетъ лѣвая, пока человѣка не выпустятъ въ одной рубашкѣ. О, я жъ усе знаю сейчасъ...

— А что я съ ними подѣлаю?—жаловался хозяинъ.—Въ Москвѣ вотъ тоже чуть совсѣмъ не застряли... А все панъ Гедиминъ.

Послѣ завтрака „молодцы" увели Сладкоѣжку въ свой номеръ, оставивъ Малюту съ глазу на глазъ съ Лихошерстовымъ. Старикъ ходилъ по комнатѣ, а потомъ остановился передъ гостемъ и проговорилъ въ упоръ:

— А про васъ мнѣ говорилъ Ахлюстинъ... да. Онъ по нѣскольку разъ въ день забѣгаетъ... Какъ вы думаете, устроится наше дѣло?

— Что зависѣло отъ меня, я все подготовилъ, Илья Саввичъ. Подробно разработалъ уставъ будущей компаніи. Есть и желающіе принять въ ней участіе. Очень солидные и вліятельные люди...

— Такъ, такъ... Что же, въ добрый часъ. Надо повести все дѣло сильною рукой, какъ у насъ говорятъ въ Сибири.

На эту тему говорили долго, причемъ каждый не высказывался до конца.

— У насъ уже оперируетъ одно крупное золотопромышленное общество,—объяснялъ Малюта.—Но оно намъ не можетъ составить конкуренціи... Я не вѣрю въ него. Это, знаете, чувствуется...

— Да, да... Я кое-что слышалъ. Дѣла найдется для всѣхъ...

Они разстались довольные другъ другомъ. Особенно былъ доволенъ „человѣкъ безъ спины". Конечно, таежный старецъ крѣпокъ и надъ нимъ придется серьезно поработать, но „Парижъ стоитъ обѣдни", какъ говорилъ одинъ благочестивый французскій король.

II.

О новой золотопромышленной компаніи заговорилъ тотъ дѣловой Петербургъ, который ютится по модным кабакамъ и разнымъ дѣловымъ притонамъ. Въ смыслѣ коммерческой и финансовой солидности эта сборная публика

не внушала къ себѣ особеннаго довѣрія, но важно было распустить громкую молву.

Малюта былъ доволенъ и боялся только одного, чтобы у него кто-нибудь не перехватилъ Лихошерстова. Онъ теперь завтракалъ и обѣдалъ въ Европейской гостиницѣ и зорко слѣдилъ за появлявшимися здѣсь юркими сомнительными людьми, въ которыхъ подозрѣвалъ своихъ конкурентовъ.

Лихошерстова уже знали. Швейцары провожали и встрѣчали его, какъ турецкаго пашу, городовые отдавали честь, на Невскомъ раскланивались какіе-то неизвѣстные субъекты, — однимъ словомъ, популярность таежнаго милліонера уже катилась по улицѣ. Но онъ держалъ себя замѣчательно хорошо, съ достоинствомъ и съ тою дорогой простотой, какая усваивается только людьми, привыкшими къ собственному могуществу.

— Умный старикъ,—хвалилъ Малюта, встрѣчаясь съ Ахлюстинымъ.— Умѣетъ себя держать...

— Умонъ-то уменъ, да ужъ очень простъ,—сомнѣвался „третій пунктъ".— Долго ли такого человѣка подвести... Надо торопиться все дѣло оборудовать въ окончательной формѣ, Антонъ Гавриловичъ.

— Скоро все покончимъ... Вотъ только праздники немного помѣшаютъ.

— Да, это дѣйствительно, недѣльки двѣ выпадетъ. Главное, весна-то не за горами. Самое дорогое время въ нашемъ золотомъ дѣлѣ... Съ февраля нужно все заготовить, чтобы встрѣтить первую вешнюю воду не съ голыми руками. Зимняя работа тихая, а лѣто на промыслахъ огнемъ горитъ. Зимой только подготовляются: вскрываютъ розсыпи, дѣлаютъ разрѣзы, сносятъ пустую породу.

„Третій пунктъ" отлично зналъ золотое дѣло и читалъ „человѣку безъ спины" цѣлыя лекціи.

— Вы знаете, Илья Саввичъ первый началъ добывать золото изъ воды,— объяснилъ онъ.—Прежде-то брали золото изъ сухихъ розсыпей, по логамъ, горнымъ покатостямъ, рѣчнымъ размывамъ, а Илья Саввичъ началъ выбирать золото прямо изъ воды. Да... Есть такая машина, называется „драга", вотъ въ томъ родѣ, какъ землечерпалки на Невѣ. Ну, такую машину на плоту и ставятъ по срединѣ рѣки и начинаютъ черпать рѣчной песокъ и тутъ же на мѣстѣ его промывать. Большіе капиталы онъ нажилъ такимъ манеромъ... Кажется, чего проще, а вотъ раньше-то его никто и не догадался.

Дѣло вообще шло во всѣхъ отношеніяхъ недурно, и огорчали только своимъ безшабашнымъ поведеніемъ лихошерстовскіе „молодцы". Они быстро освоились въ Петербургѣ и только не спали въ клубахъ и по разнымъ игорнымъ притонамъ. Это роняло престижъ будущей фирмы.

— Ничего, Антонъ Гавриловичъ,—успокаивалъ Ахлюстинъ. — Это вѣдь ужъ всѣмъ извѣстно, какъ живутъ сибиряки. Шила въ мѣшкѣ не утаишь... Какъ попали въ столицу, и пошелъ дымъ коромысломъ. Зараза ужъ такая. Дикія-то денежки, извѣстно, некормленными пѣтухами поютъ...

„Человѣкъ безъ спины" только улыбнулся. Великій онъ былъ мастеръ по части зеленаго поля, и если бы захотѣлъ, то отъ лихошерстовскихъ молодцовъ не осталось бы ни пера ни волоса, какъ говорятъ охотники. Но сейчасъ онъ былъ слишкомъ занятъ организаціей новой компаніи, а главное—проведеніемъ черезъ разныя инстанціи ея устава. Дѣло было не изъ легкихъ, и выпадали такіе моменты, что хоть все брось. Нужно было организовать паевое товарищество съ основнымъ капиталомъ въ пятьсотъ тысячъ, что не встрѣчало особыхъ затрудненій въ сферахъ. А вотъ когда дѣло коснулось обмега-

ціоннаго пятипроцентнаго займа въ двѣсти тысячъ, дѣло сильно затормозилось.

— Несвоевременно, Антонъ Гаврилычъ,—говорили имущіе власть вязать и рѣшить.—Было прежде легко, даже совсѣмъ легко... Конечно, слово громкое: золото, и даже обольщаетъ легковѣрныхъ, но... вообще...

Тутъ слѣдовали умолчанія, экивоки, кислыя улыбки и т. д.

Былъ такой моментъ, когда „человѣкъ безъ спины“ готовъ былъ прійти въ отчаяніе, но его неожиданно выручила... Аглая Терентьевна Теркина. Да, она, танцующая отъ воды... Малюта заѣхалъ къ ней собственно ни за чѣмъ, по старой памяти.

— Какую вы муху проглотили, Антонъ Гаврилычъ?—спросила любезная хозяйка, питавшая къ гостю нѣсколько повышенное чувство.

Теркина жила въ собственномъ домѣ, который, какъ она выразилась, былъ заработанъ ею потомъ и кровью. Положимъ, это было давно, когда она была свѣжа, какъ только-что сорванное съ дерева яблоко, но это все равно,—пусть хронологіей занимаются ученые, которые никогда не поймутъ, что маленькій капиталъ изъ восемнадцати лѣтъ гораздо больше солиднаго капитала изъ сорока лѣтъ.

За кофе Малюта разговорился. Онъ слишкомъ усталъ и переволновался за послѣднее время, и явилась потребность высказаться. Аглая Терентьевна умѣла слушать,—качество, присущее немногимъ женщинамъ. Сидя на своемъ любимомъ диванчикѣ, она узнала удивительныя вещи, самой удивительной изъ которыхъ было то, что передъ ней сидѣлъ будущій милліонеръ.

— Вы не смѣйтесь,—предупреждалъ ее Малюта.—Я велъ слишкомъ разсѣянную жизнь, и пора серьезно подумать о будущемъ. Да... Почему какой-нибудь сибирскій мужикъ можетъ быть милліонеромъ, а я не могу?

Аглая Терентьевна тоже не находила къ этому никакихъ препятствій. Малюта уже назначилъ себя директоромъ будущей компаніи, отчислилъ въ свою пользу учредительскіе паи, извѣстные проценты съ каждаго пуда выработаннаго золота, особые проценты съ чистаго дивиденда и т. д. Суммы получались очень круглыя и убѣдительныя уже по одной своей величинѣ. Когда дѣло дошло до препятствій по части разрѣшеній и утвержденій, Теркина съ радостью заявила:

— А про меня-то вы и забыли, злой человѣкъ? У меня есть такой человѣкъ... онъ...

Малюта краснорѣчиво посмотрѣлъ на нее, а Теркина еще болѣе краснорѣчиво потупила глазки и даже покраснѣла.

Все дѣло уладилось въ нѣсколько минутъ, и растроганный „человѣкъ безъ спины“ расцѣловалъ руки Аглаи Терентьевны.

— Вы—золотая женщина,—отъ чистаго сердца заявилъ онъ.

— Мои золотыя розсыпи въ прошломъ,—со вздохомъ отвѣтила тоже разочарованная хозяйка.

Благодаря Теркиной дѣло устроилось, и Малюта торжествовалъ впередъ. Никакихъ сомнѣній больше не могло быть. Чтобы чѣмъ-нибудь отплатить за эту любезность, Малюта посовѣтовалъ Лихоперстову нанести визитъ Аглаѣ Терентьевнѣ.

— Да вѣдь я не умѣю разговаривать съ дамами,—отвѣтилъ таёжный старецъ.—А тутъ еще балерина...

— Ничего, ничего... Вѣдь она при насъ не будетъ танцовать. Притомъ и я поѣду съ вами...

Теркина, конечно, была предупреждена о визитѣ и приняла дорогого гостя съ обычной ловкостью, такъ что Лихошерстовъ даже заявилъ:

— И что̀ я вамъ скажу, Аглая Терентьевна: точно вотъ я съ вами вѣкъ знакомъ. Ей-Богу! Извините ужъ на нашей простотѣ: что̀ думаемъ, то и говоримъ отъ чистаго сердца. Понравились вы мнѣ.

Прощаясь съ любезною хозяйкой, Лихошерстовъ крѣпко пожалъ ея руку и проговорилъ:

— Дружба дружбой, Аглая Терентьевна, а служба службой... Позволите мнѣ какъ-нибудь завернуть къ вамъ?

— О, всегда буду рада, Илья Саввичъ...

Обѣ стороны остались довольны знакомствомъ, а черезъ нѣсколько дней Лихошерстовъ дѣйствительно пріѣхалъ и на этотъ разъ уже одинъ.

— Не боитесь меня?—пошутила Аглая Терентьевна.—Мнѣ разсказывалъ Антонъ Гаврилычъ, что вы боитесь балеринъ...

— Помилуйте, сударыня... Да такихъ женщинъ, какъ вы, я и во снѣ не видалъ. А заѣхалъ я къ вамъ собственно по дѣлу. Должокъ привезъ... Вотъ извольте получить. Наши сибирскіе камушки... настоящіе иркутскіе аквамарины... Вещь для васъ подходящая. Извините, что лучше не могъ найти...

Теркина ахнула, какъ горничная, когда раскрыла футляръ съ чуднымъ колье изъ аквамариновъ.

— Очень вамъ благодарна, Илья Саввичъ, но это слишкомъ дорогой подарокъ...—бормотала она.

— Сущіе пустяки, сударыня. Очень ужъ большую услугу вы намъ сдѣлали... Дорого яичко ко Христову дню.

Однимъ колье дѣло не ограничилось. Лихошерстовъ пріѣзжалъ въ „свободные дни“ вечеркомъ напиться чаю и каждый разъ что-нибудь привозилъ въ подарокъ.

— Скучно сидѣть въ своемъ трактирѣ, вотъ я и надоѣдаю вамъ,— объяснялъ онъ.

Въ теченіе двухъ-трехъ недѣль Лихошерстовъ надарилъ тысячъ на десять. Аглая Терентьевна подозрѣвала нѣкоторые коварные планы съ его стороны, но и плановъ не оказалось. Просто, добрый сибирскій милліонеръ... Онъ какъ-то по-отечески вошелъ во всѣ подробности жизни Теркиной и съ сожалѣніемъ качалъ иногда головой.

— Трудненько вамъ, сударыня... И служба ваша тоже нелегкая, а тутъ еще разная забота. Вотъ домикъ собственный имѣете, надо его страховать... налоги, ремонтъ... затрудненія и непріятности съ квартирантами...

— Ахъ, не говорите, Илья Саввичъ!.. Вѣдь я, просто, мученица съ этимъ домомъ...

— Вотъ, вотъ... Извѣстно, ваше женское дѣло, и понимать вы многаго не должны.

III.

Въ половинѣ января товарищество было открыто, и началась продажа паевъ. Лихошерстовъ проявилъ необыкновенную для его возраста энергію и все повторялъ одну фразу:

— Скоро вешняя вода вскроется... Надо вотъ какъ торопиться.

Сейчасъ задержка заключалась только въ деньгахъ. Обѣщаній было много, а реализація ихъ подвигалась довольно медленно. У Малюты, какъ

человѣка опытнаго, явилось подозрѣніе, что какая-то невидимая рука тормозитъ все дѣло. Въ собраніи пайщиковъ онъ былъ избранъ директоромъ главнаго правленія товарищества въ Петербургѣ съ скромнымъ окладомъ въ 20 тысячъ. Для открытія дѣйствій по разработкѣ промысловъ не хватало всего какихъ-нибудь полутораста тысячъ рублей. Эта сумма никакъ не давалась, точно завѣтный кладъ. Но неожиданно выручилъ „Третій пунктъ".

— Знаете, Антонъ Гаврилычъ, можно бы вывернуться, — таинственно говорилъ бывшій консисторскій дѣлецъ.—И даже очень вывернуться...

— Именно?

— Мнѣ Илья Саввичъ говорилъ самъ... да... Конечно, ему самому это неудобно было предлагать. Могли подумать Богъ знаетъ что̀... Вѣдь дѣло самое вѣрное и будетъ давать 50% чистой прибыли. Да. Такъ вотъ какъ-то вечеркомъ сидимъ съ нимъ, а онъ и говоритъ: „А вѣдь, ежели разобрать, такъ все дѣло устроила намъ Аглая Терентьевна... Очень мнѣ хотѣлось бы ее отблагодарить по-настоящему. Вѣдь заплатить ей прямо деньгами неудобно..."

„Третій пунктъ" перевелъ духъ и заговорилъ совсѣмъ шопотомъ:

— Да, такъ Илья Саввичъ очень жалѣетъ Аглаю Терентьевну, потому, какъ хотите, а все-таки она—женщина... да. Илья-то Саввичъ такъ прямо и говоритъ по своей добротѣ... Вѣдь онъ и церковнымъ старостой состоитъ и деньги постоянно жертвуетъ на разныя благотворительныя учрежденія... Такъ вотъ Илья Саввичъ и говоритъ: „Показывала, говоритъ, Аглая Терентьевна мнѣ свой домикъ. Ничего, говоритъ, домикъ порядочный, тысячъ двѣсти стоитъ... А дохода получаетъ она всего тысячъ десять. А сколько ей, бѣдной, хлопотъ съ нимъ да непріятностей... Ежели бы у ней вмѣсто дома на рукахъ были деньги, совсѣмъ другой оборотъ. Вотъ по своему дѣлу я съ удовольствіемъ платилъ бы ей 20%, да еще за цѣлый годъ впередъ. Ей-Богу! На, получай... А у насъ въ дѣлѣ эти денежки дадутъ 50%. И безъ всякихъ хлопотъ... Голенькія совсѣмъ денежки, какъ балерина. А ежели, говоритъ, Аглая Терентьевна сомнѣвается, такъ я собственные векселя съ удовольствіемъ ей выдамъ на всю сумму. Только, говоритъ, двухсотъ тысячъ мнѣ не нужно, а полтораста возьму, чтобы ее отблагодарить за труды честь-честью". Вотъ онъ какой человѣкъ... Сказалъ, какъ топоромъ отрубилъ.

Малюта молчалъ, немного ошеломленный этой неожиданною комбинаціей.

— Конечно, можно и заложить въ этой суммѣ домикъ, — продолжалъ нашептывать „Третій пунктъ". — Только это невыгодно Аглаѣ Терентьевнѣ: 7% будетъ терять. А у меня и покупатель есть на примѣтѣ.

Бываютъ удивительныя вещи на свѣтѣ... Ужъ, кажется, крѣпкій была человѣкъ Аглая Терентьевна и отлично знала счетъ деньгамъ. Притомъ она была убѣждена, что каждая женщина должна была только получать деньги, какъ на обязанности мужчины было ихъ платить. А тутъ вдругъ разступилась... И какъ-то это совсѣмъ вдругъ сдѣлалось. Гипнотизировало главнымъ образомъ громкое имя таёжнаго милліонера. По этому дѣлу онъ самъ пріѣзжалъ къ ней нѣсколько разъ и очень убѣдительно повторялъ одно и то же:

— Мы васъ не неволимъ, Аглая Терентьевна... Вамъ лучше знать, какъ и что̀.

Домъ былъ проданъ въ нѣсколько дней, и она лично вручила Лихоперстову 200 тысячъ, не считая всего полтораста, а остальныя великодушно вернула.

— Большая получорыхъ есть на хитру, на мудру будетъ, Аглая Терен-

тьевна. А вотъ извольте получить и тридцать тысячъ процента за нынѣшній годъ.

Теркина была въ восторгѣ отъ такой щедрости и называла Лихошерстова „папашей“.

Лихошерстовъ ужасно торопился въ Сибирь, чтобы не опоздать къ началу работъ. Онъ уѣзжалъ въ сопровожденіи одного Ахлюстина, получившаго званіе главнаго пріисковаго бухгалтера. Оба секретаря пока оставались въ Петербургѣ.

На вокзалъ провожать милліонера собралась довольно разношерстная толпа пайщиковъ, большинство которыхъ видѣли другъ друга въ первый разъ. Пріѣхала и Аглая Терентьевна въ сопровожденіи Малюты. Пили на прощанье шампанское, кто-то сказалъ напутственную рѣчь, а Аглая Терентьевна расчувствовалась до того, что бросилась на шею „папаши“ и расцѣловала его совсѣмъ по-родственному.

— Пріѣзжайте, дочка, погостить къ намъ въ тайгу...—шутилъ Лихошерстовъ.—А „Третій пунктъ“ намъ вотъ какъ въ присядку спляшетъ.

Малюту удивляло только одно, что Сладкоѣжка не явился на проводы.

Лѣтомъ Теркина жила на островахъ. Она не выносила далекихъ путешествій и была убѣждена, что лучше острововъ ничего нѣтъ, а Крестовскій островъ являлся перломъ географіи. Послѣ шумнаго зимняго сезона она была рада отдохнуть и вела образъ жизни самый простой. Ходила цѣлые дни въ капотѣ, ѣла исключительно простыя русскія кушанья и принимала только самыхъ близкихъ друзей, которыхъ не нужно было стѣсняться. Сейчасъ такими друзьями являлись Малюта и Сладкоѣжка. Послѣдній попалъ въ этотъ заколдованный кругъ въ качествѣ кровнаго сибиряка. Онъ быстро сдѣлался своимъ человѣкомъ, чуть не каждый день являлся къ обѣду и постоянно разсказывалъ что-нибудь новое о Сибири.

— Ахъ, какъ я люблю сибиряковъ!—повторяла Аглая Терентьевна съ умиленіемъ.—Что-то такое новое, освѣжающее...

Она скучала, когда Сладкоѣжка не приходилъ въ свой часъ. Такой уморительный толстякъ и такъ хорошо и остроумно разсказываетъ. Совсѣмъ свой, родной человѣкъ... Онъ даже самъ готовилъ нѣкоторыя кушанья: малороссійскую кашу, борщъ, сибирскіе пельмени.

Онъ же приносилъ всѣ сибирскія новости, т.-е. извѣстія о работѣ лихошерстовскихъ промысловъ. Какъ оказывалось, дѣло шло отлично, и впереди предвидѣлись громадные дивиденды.

Лѣто промелькнуло незамѣтно. Начали перепадать холодные осенніе дожди. Разъ, когда Аглая Терентьевна садилась завтракать, явился „человѣкъ безъ спины“. На немъ, какъ говорится, лица не было.

— Что съ вами, Антонъ Гаврилычъ? Вы нездоровы?

— Я?!.. Я не знаю... Сладкоѣжка здѣсь не былъ?

— Онъ долженъ прійти...

— Ахъ, негодяй... т.-е. не онъ негодяй, а тѣ... другіе... Дайте мнѣ стаканъ воды...

Въ этотъ моментъ появился и Сладкоѣжка. Онъ былъ чуть-чуть навеселѣ и сонно улыбался. Малюта такъ и кинулся на него.

— Правда?!..

Сладкоѣжка молча вытащилъ изъ кармана смятый номеръ какой-то сибирской газеты и ткнулъ пальцемъ на статью въ хроникѣ: „Несостоятельность золотопромышленника Лихошерстова на имя И. С. Лихошерстовъ и К°“. Малюта пробѣжалъ замѣтку и бросился къ двери.

— Нѣтъ, этого не можетъ быть...—шепталъ онъ.—Это слишкомъ было бы глупо... Именно: глупо!..

— Что̀ случилось? Въ чемъ дѣло?—спрашивала Аглая Терентьевна.

— А вотъ прочтите...—предложилъ ей Малюта.

Она прочла и ровно ничего не поняла. Что̀ такое несостоятельность?

Когда Малюта объяснилъ, что̀ это значитъ, съ Аглаей Терентьевной сдѣлался обморокъ, первый настоящій обморокъ въ жизни.

— Этого не можетъ быть!..—кричала она, когда ее привели въ чувство.—У насъ есть законы... я буду жаловаться... я... я...

Сладкоѣжка преспокойнѣйшимъ образомъ сидѣлъ за столомъ и съ аппетитомъ ѣлъ омары. Это взорвало Малюту.

— Вы... вы... что̀ же вы молчите?—накинулся онъ на него.—Вѣдь вы же знали Лихошерстова...

— И даже очень... Большой негодяй,—преспокойно отвѣтилъ Сладкоѣжка, продолжая ѣсть.

— Извѣстный милліонеръ... Его вся Сибирь знаетъ.

— Эге, да то совсѣмъ наоборотъ...

— Какъ наоборотъ?

— Да два же есть Лихошерстова...

— Ну?

— Ну, одинъ—милліонеръ, а другой—прохвостъ, и обоихъ зовутъ Ильей Саввичемъ...

— Что̀ же вы мнѣ этого раньше не говорили?

— А почему же вы меня объ этомъ раньше не спрашивали?

Это уже было наглое нахальство, такъ что даже „человѣкъ безъ спины“ совершенно опѣшилъ. Помилуйте, что̀ же это такое?.. Это какіе-то разбойники съ большой дороги, каторжники... И какъ ловко все было подстроено. Игра на двойника... Глупо, глупо и глупо!.. А тутъ еще Аглая Терентьевна катается въ истерикѣ по полу и принимаетъ совсѣмъ не предусмотрѣнныя хореографіей позы.

— А я же уйду,—заявилъ Сладкоѣжка, кончивъ завтракъ.

Его не удерживали.

— Сто двадцать тысячъ, а?—выкрикивала Аглая Терентьевна, ломая руки совсѣмъ не по-театральному.—Вѣдь ихъ нужно было заработать... тяжелымъ трудомъ заработать...

— Благодарите Бога, что Илья Саввичъ не взялъ у васъ послѣднихъ пятидесяти тысячъ и выдалъ впередъ тридцать тысячъ процентовъ,—отвѣчалъ Малюта.

— О... о... о!..

Малюта шагалъ по комнатѣ, какъ звѣрь въ клѣткѣ.

— Что̀ значатъ сто двадцать тысячъ?—повторялъ онъ.—Пустяки... да. А тутъ дѣло гораздо серьезнѣе... Обмануть меня... да, меня, который всю жизнь и всѣхъ обманывалъ... И кто же обманулъ? „Третій пунктъ“... Онъ пять лѣтъ готовилъ всю эту исторію...

— А я выхлопоталъ пенсію Сладкоѣжкѣ...

— Вотъ вамъ и провинціалы... ха-ха!.. Это... это... Нѣтъ, этому нѣтъ названія! Два Лихошерстовыхъ и оба Ильи Саввичи... Глупо, глупо, глупо... Теперь провинція начинаетъ насъ учить, какъ слѣдуетъ жить. Проклятіе... Главное: позоръ. Вы потеряли только деньги, а я потерялъ все...

Съ „человѣкомъ безъ спины“ тоже чуть не сдѣлалась истерика.

1904.

ОХОТНИЧЬИ РАЗСКАЗЫ.

1.

Комары.

I.

— Такъ, говоришь, направо?

— Подайся къ Сычовкѣ, значитъ, перейди мостикъ, и сейчасъ тебѣ будетъ повертка влѣво, а ты правую руку держи. Тутъ выпадетъ просѣка, ну, значитъ, у ней и стань. По просѣкѣ-то этихъ форкушекъ летаетъ объ эту пору, какъ комаровъ.

Простой народъ на Уралѣ называетъ вальдшнеповъ „форкушками", вѣроятно, потому, что лѣтомъ эта птица держится въ густыхъ лѣсныхъ заросляхъ и при приближеніи человѣка съ шумомъ взмываетъ кверху, а не летитъ вдаль, какъ всякая другая, — однимъ словомъ, „форкаетъ". Дававшій объясненіе кучеръ имѣлъ снисходительный видъ человѣка, вынужденнаго поблажать господское баловство. Развѣ форкушка — настоящая дичина, какъ рябчикъ, утки или тетеря, — конечно, баловство. Только порохъ изводятъ даромъ... Получившій объясненіе Петрилло имѣлъ не менѣе важный видъ, потому что былъ поглощенъ предстоящимъ подвигомъ. Это былъ высокій, худой господинъ съ зеленоватыми строгими глазами и горбатымъ носомъ. Прошлогодніе охотничьи сапоги сидѣли на немъ такъ, точно вмѣсто ногъ у Петрилло были палки. Впрочемъ, это былъ первый весенній выѣздъ на охоту, а потомъ сапоги размякнутъ и примутъ форму человѣческой ноги. Рваный пиджакъ табачнаго цвѣта, перехваченный ремнемъ съ патронташемъ, и разношенная, измятая шляпа дополняли костюмъ. Для настоящаго охотника дѣло не въ костюмѣ, а въ ружьѣ, и теперь все вниманіе Петрилло было сосредоточено именно на этомъ послѣднемъ. Новенькая „Діана" Пиппера такъ и отливала воронеными стальными стволами. Петрилло сдѣлалъ нѣсколько прицѣльныхъ вскидокъ, какъ стрѣляютъ птицу въ летъ, съ видимымъ удовольствіемъ взвѣсилъ на рукѣ ружье-игрушку и озабоченно проговорилъ:

— Ну, господа, по мѣстамъ. Солнце садится. Пожалуйста, осторожнѣе стрѣляйте въ проводку: какъ разъ кого-нибудь подстрѣлите.

Остальные охотники сдѣлали только большіе глаза, какъ имъ сдѣлала бы щука, которой деликатно предложили брать уроки плаванія. Вотъ самъ-то Петрилло не зацѣпилъ бы кого-нибудь.

— Вы очки не забыли дома? — ядовито спросилъ толстый молодой докторъ.

— У меня пенсне... — отвѣтилъ Петрилло, уже шагая по узкой лѣсистой дорожкѣ, которая должна была вывести его на Сычовку.

— Посмотримъ, какъ Петрилло будетъ махать изъ своего Пикиера, — замѣтилъ учитель латинскаго языка, очередной, съѣдаемый завистью къ новому патентованному ружью. — Развѣ это ружье? Вѣсу никакого нѣтъ. Просто, противно его въ руки брать. То ли дѣло старинныя ружья, одно ложе чего стоитъ, а нынче какія-то утиныя шеи дѣлаютъ.

Компаньоновъ у Петрилло было двое: бѣлокурый пожилой учитель латинскаго языка Антроповъ и молодой земскій врачъ Говоровъ. Они еще зимой, сидя за винтомъ, мечтали о тягѣ, а теперь эта завѣтная мечта осуществлялась. Всѣмъ хотѣлось отдохнуть, подышать свѣжимъ воздухомъ, вообще развлечься, а какія могутъ быть развлеченія въ глухомъ провинціальномъ городѣ? А тутъ уже съ первыхъ шаговъ началась поэзія: и лѣсъ, и огонекъ дымится, и кучеръ дѣлаетъ приготовленія для предстоящаго охотничьяго ужина. Но всего лучше, конечно, эта чудная весенняя ночь, какія бываютъ только въ концѣ апрѣля. Деревья стоятъ еще голыя, а уже чувствуется дружно наступающая весна. Она уже виситъ въ воздухѣ, этомъ чудномъ весеннемъ воздухѣ, слегка пропитанномъ горькимъ ароматомъ прошлогодняго палаго листа и смолистымъ запахомъ быстро набухающихъ почекъ. Трава еще чуть пробивается мягкими зелеными усиками, лежащимъ образомъ около воды, застоявшейся послѣ стаявшаго снѣга по низинамъ и колдобинамъ. Зато вездѣ въ лѣсу распустилась анемона, этотъ настоящій охотничій цвѣтокъ. Удивительно красивое растеніе: на пушистой короткой ножкѣ великолѣпный блѣдно-желтый цвѣтокъ.

Изъ всѣхъ троихъ охотниковъ настоящимъ любителемъ природы былъ одинъ Петрилло. Вотъ онъ уже добрался до Сычовки, перешелъ мостикъ и по лѣсной дорожкѣ взялъ вправо. Онъ шелъ съ замирающимъ сердцемъ, какъ всегда на первой тягѣ, — что-то такое хорошее и полное накипало въ груди. Мы не преувеличимъ, если скажемъ, что ему просто хотѣлось плакать, — плакать отъ радости. Есть такія чувства, когда человѣкъ точно отмякнетъ весь, и одно изъ такихъ испытывается именно на тягѣ. Вѣдь давно ли все было покрыто снѣгомъ, давно ли бушевалъ здѣсь зимній вѣтеръ, и вотъ наступило воскресеніе, дохнуло тепломъ, и гдѣ-то незримо закипала новая жизнь.

— Хорошо... — резюмировалъ вслухъ Петрилло свое настроеніе. — Просто, душа расцвѣтъ!..

Вотъ и просѣка. Отлично. Окинувъ мѣстность опытнымъ глазомъ, Петрилло сразу опредѣлилъ глазомъ опасный пунктъ, именно то направленіе, по которому должны были летѣть вальдшнепы.

— Конечно, они полетятъ вотъ отъ того перелѣска къ просѣкѣ, а то и по дорожкѣ. Какъ разъ стану вотъ у этой березки, — все-таки прикрытіе...

Солнце уже быстро пряталось за стрѣлами молодыхъ елей ближайшаго лѣска, точно торопилось на покой послѣ трудового весенняго дня. Съ просѣки пахнуло весенней сыростью, и отъ высокихъ сосенъ потянулись длинныя тѣни. Удивительно прозрачный воздухъ весь дрожалъ и переливался, какъ въ жаркіе дни. Въ голубомъ небѣ точно таяло небольшое облачко, окаймленное горячимъ румянцемъ заката. На западѣ небо горѣло розовыхъ огнемъ все сильнѣй, по мѣрѣ того, какъ все ниже спускалось солнце. Вотъ уже все на западѣ, и на небу розовыхъ какіе-то свѣтло-оранжевые тона, медленно отъ нахлынувшей вечерней-сѣрой мглы весенняго

неба, — синева оставалась только тамъ, вверху, надъ самой головой, точно небо сдѣлалось глубже.

— Хорошо... — еще разъ сказалъ Петрилло.

По долгу справедливости, мы должны констатировать хотъ фактъ, что Петрилло былъ въ самомъ прекрасномъ расположеніи духа, — это находится въ связи съ послѣдующими событіями. Кромѣ хорошаго вечера, это пріятное настроеніе увеличивалось предстоящей пробой новаго ружья, что тоже имѣло свое значеніе. Устроившись подъ березой и взявъ ружье правой рукой на перевѣсъ, нашъ герой превратился въ одинъ слухъ. Каждое движеніе могло быть роковымъ. Петрилло даже полуоткрылъ ротъ, чтобы лучше слышать. Ему уже два раза показалось, что гдѣ-то пролетѣлъ вальдшнепъ съ характернымъ хорканьемъ. Охотникъ даже вздрогнулъ и на всякій случай взвелъ курки. Но это была ложная тревога... Вотъ другое дѣло — комары. И откуда они взялись? Прѣдольно кусаются, каналья, а главное, мѣшаютъ слушать. Этакъ, пожалуй, выйдетъ охота за комарами, а не вальдшнепами. Впрочемъ, Петрилло припомнилъ изъ охотничьей практики, что огонь не пугаетъ вальдшнепа, даже, какъ увѣряютъ нѣкоторые, привлекаетъ его благосклонное вниманіе. А подлые комары продолжали сосать благородную охотничью кровь... Приставивъ ружье къ стволу березы и еще разъ прислушавшись, Петрилло присѣлъ на корточки и принялся быстро разводить огонь, благо кругомъ валялась сухія сучья, а береста была подъ рукой. Скоро затрещалъ веселый огонекъ, лизнулъ прошлогоднюю сухую траву и пустилъ вверху синюю струйку ѣдкаго дыма.

— Вотъ вамъ, господа комары, коръ бы васъ побралъ!..

А въ лѣсу уже залилась какая-то жеугомонная весенняя птичка, такъ весело поговаривавшая на высокой березѣ что-то такое мило-беззаботное. Надъ ближайшимъ болотцемъ заблеялъ бекасъ-баранчикъ. Удивительная эта птица и непривычнаго человѣка можетъ ввести въ обманъ: настоящій козленокъ блеетъ, да еще такъ жалобно. Странный, совсѣмъ не птичій звукъ объясняется роговыми пластинками, скрытыми подъ крылышками; эти пластинки въ моментъ полета и производятъ этотъ звукъ. Въ двухъ шагахъ мягко проковылялъ зайчонокъ-русакъ, присѣлъ на заднія лапы, насторожилъ длинныя уши и съ удивленіемъ посмотрѣлъ на застывшаго подъ березой охотника. Проваливай, косой, не до тебя... Уже совсѣмъ спустились сумерки. Отъ напряженнаго вниманія Петрилло слышалъ, какъ у него бьется собственное сердце. А птицы все больше поговариваютъ: самое брачное время для нихъ. Откуда-то издали несся гомонъ тетеревинаго тока. Однимъ словомъ, лѣсъ жилъ кипучей жизнью, полный своей таинственной поэзіи. Каждая травка жила, каждая почка... А вотъ уже настоящее хорканье... Только охотники понимаютъ всю поэзію этого момента, когда всего охватываетъ это сладкое безуміе, когда все сосредоточивается въ одной быстро движущейся точкѣ, когда глазъ и рука дѣйствуютъ моментально. Вотъ онъ плыветъ, красавецъ-вальдшнепъ, — именно плыветъ, разсѣкая воздухъ своими сильными крыльями. Онъ катилъ прямо на охотника, и Петрилло стоило большого усилія пропустить его и сдѣлать выстрѣлъ въ проводку, т.-е. по улетавшей птицѣ. Выстрѣлъ прямо въ грудь требуетъ большой сноровки и рѣдко бываетъ удаченъ, а въ проводку значительно легче. Гулко пронесся этотъ первый выстрѣлъ, вальдшнепъ взмылъ вверху, перевернулся и комомъ полетѣлъ на просѣку.

— Съ полемъ!.. — крикнулъ Петрилло, бросаясь къ пригашенной въ конвульсіяхъ красавицѣ-птицѣ. — Вотъ такъ Діана...

Говоровъ и Антроповъ тоже стояли на тягѣ и съ завистью услыхали эхо этого выстрѣла. Чего добраго, на грѣхъ еще убилъ кого-нибудь... Охотники завистливы къ чужимъ успѣхамъ, да, какъ на бѣду, выбрали и мѣста неудачныя. Вальдшнепы летѣли гдѣ-то въ сторонѣ, а кругомъ дѣлалось уже совсѣмъ темно. Оставалось всего какихъ-нибудь четверть часа для тяги. Скверное положеніе вообще... Но черезъ нѣсколько минутъ послѣ выстрѣла послышался какой-то необыкновенно громкій разговоръ, затѣмъ настоящій крикъ. Они бросились на выручку товарища.

То, что̀ они увидѣли, объяснило все. Подъ березой, гдѣ стоялъ Петрилло, сейчасъ происходило настоящее ратоборство. Схватка шла уже въ рукопашную, такъ что трудно было даже разобрать, гдѣ кончался Петрилло и гдѣ начинался его таинственный врагъ. Докторъ и учитель бросились разнимать и въ благодарность получили нѣсколько здоровенныхъ тумаковъ неизвѣстнаго происхожденія.

— Я его убью... — хрипѣлъ Петрилло, когда его оттащили. — Пустите... убью!..

— А я тебѣ покажу!.. — ревѣлъ неистово какой-то мужикъ, старавшійся вырваться изъ рукъ доктора. — У тебя кишки красныя, такъ я тебѣ ихъ сдѣлаю зелеными... Ты — баринъ, а я по закону. Да... У меня полное право... я покажу... А еще господа называются...

— Какъ ты смѣешь дѣлать мнѣ дерзости? Я тебя не трогалъ... я стоялъ вотъ здѣсь подъ березой и только убилъ вальдшнепа, какъ прибѣгаетъ этотъ дьяволъ и начинаетъ меня гнать... Понимаете, господа: гнать?!. А тутъ вальдшнепы тянутъ... Какую-то дерзость сказалъ... да...

— А законъ знаешь... а, знаешь законъ? — повторилъ мужикъ. — Я при исполненіи обязанностей... я присягу принималъ... Вонъ бляха-то валяется...

Въ этой бляхѣ заключалось все разъясненіе: мужикъ оказался лѣсникомъ. Онъ обходилъ лѣсъ, услыхалъ выстрѣлъ и вышелъ посмотрѣть, кто „палитъ“, а тутъ стоитъ баринъ и огонекъ еще разложилъ. Развѣ полагается огни-то по сухой травѣ разводить? Сразу весь лѣсъ спалилъ бы. И въ законѣ то же самое сказано. Вѣдь не лѣто, когда сырая трава не горитъ, а теперь въ лѣсу порохъ—только дотронь огонькомъ.

— Подойди и скажи мнѣ добромъ, ну, я бы и самъ погасилъ огонь,— объяснялъ Петрилло, задыхаясь отъ волненія.—А то бѣжитъ на меня, оретъ, ругается... схватилъ меня за грудь...

— Нѣтъ, ужъ это ты, баринъ, меня по мордѣ смазалъ...

— Я? Да, точно... Жалѣю что всего одинъ разъ... Убить тебя мало, каналью!..

— А законъ зна-аешь?.. И бляху сорвалъ...

— Хорошо, я тебѣ покажу, какой бываетъ законъ...

Докторъ записалъ, какъ зовутъ лѣсника — Иванъ Конюховъ, адресъ — кордонъ на Сычовкѣ. Когда все было кончено, стороны разошлись. Петрилло немного прихрамывалъ.

— Эхъ, угораздило васъ! — укоризненно замѣтилъ учитель, качая головой. — Вы идите съ докторомъ, а я сейчасъ вернусь.

Онъ вернулся къ лѣснику, затаптывавшему остатки огня.

— Тебя зовутъ Иваномъ Конюховымъ?

— Точно такъ-съ...

— Гм... да... Вотъ что̀, другъ мой, ты былъ неправъ, оскорбляя чело-

вѣка, который просто не зналъ вашихъ лѣсныхъ правилъ. Да... гм... И всего лучше дѣло кончить миромъ. Понимаешь?..

Латинистъ даже вытащилъ портмоне, какъ самое соблазнительное доказательство всеобщаго мира.

— Нѣтъ, я по закону!.. — заявилъ лѣсникъ. — Много вашего брата, охотниковъ, по лѣсу шляется... всякій будетъ по мордѣ бить...

— Ну, какъ знаешь. Тебѣ же будетъ хуже...

— Нѣтъ ужъ, я по закону... Мировой разберетъ, даромъ, что вы городскіе господа, а я простой мужикъ.

II.

Возвращеніе охотниковъ въ городъ было довольно печальное. Латинистъ молчалъ. Петрилло десять разъ повторялъ разсказъ о случившемся и говорилъ такимъ тономъ, когда человѣкъ ищетъ сочувствія слушателей; даже выходило такъ, какъ будто онъ передъ кѣмъ-то оправдывался. Первый пылъ прошелъ, и ясно было одно, что Петрилло погорячился.

— А вѣдь все дѣло, если разобрать, изъ-за проклятыхъ комаровъ вышло, — объяснилъ Петрилло съ нѣкоторой унылой ноткой въ голосѣ. — Ну, не будь ихъ, и ничего бы не было.

— Ну, комары-то будутъ еще впереди! — смѣялся докторъ, отличавшійся веселымъ характеромъ. — Вѣдь лѣсникъ-то къ мировому потянетъ. Скандалъ на весь городъ... Антроповъ, какъ это вамъ нравится, когда намъ черезъ полицію вручатъ повѣстку для явки такого-то числа къ мировому судьѣ? Ха-ха... Понимаете, куда дѣло поворачивается? Мнѣ-то наплевать, а вдругъ мировой судья вызоветъ васъ въ камерѣ: „Вы г. Антроповъ? Вы преподаватель латинскаго языка въ Пропадинской гимназіи? Что̀ имѣете сказать по настоящему дѣлу?“ Да еще къ присягѣ будутъ приводить... Всѣ знакомые сбѣгутся. Вотъ такъ Петрилло, удружили вы намъ... Ха-ха!..

— Я? Что̀ же я сдѣлалъ? Дѣйствительно, погорячился, но вѣдь онъ первый началъ...

— Да это все пустяки, а важенъ скандалъ... Посмѣшищемъ сдѣлаемся цѣлаго города. „Господа интеллигентные, это вы дрались съ лѣсникомъ? Ахъ, нехорошо...“ Мировой судья еще нравоученіе прочитаетъ. Это въ какомъ участкѣ представленіе будетъ?

— Должно-быть, у Прокофьева... Ну, онъ — знакомый человѣкъ. Въ клубѣ постоянно встрѣчаемся.

— Знакомый-то знакомый, а все-таки кривить душой не приходится. Вѣдь и мы не можемъ врать... Мы, во-первыхъ, видѣли, что вы, дѣйствительно, дрались... Фактъ!.. Затѣмъ, бляха лѣсника была сорвана — другой фактъ, наконецъ вы сами сознались, что первый ударили его — третій...

Это вышучиванье не понравилось Петрилло. Онъ сначала молчалъ, потомъ пробовалъ улыбаться и кончилъ тѣмъ, что разсердился на доктора. Чему онъ-то радуется? Со всякимъ можетъ быть непріятная случайность... да.

— Да, главное, комбинація невыгодная для насъ, — не унимался докторъ, попыхивая сигарой. — Съ одной стороны невѣжество, некультурный человѣкъ, однимъ словомъ — мужикъ, а съ другой — человѣкъ просвѣщенный, носитель культурныхъ завѣтовъ... Вы въ какомъ университетѣ кончили курсъ, Петрилло?

— Я? Гм... А вы въ какой конюшнѣ довершали свое образованіе, господинъ лѣкарь?

— Послушайте, вы себѣ позволяете слишкомъ много и, кажется, начинаете смѣшивать меня съ избитымъ лѣсникомъ...

— Нѣтъ, къ сожалѣнію, я этого не могу сдѣлать при всемъ желаніи...

— Позвольте узнать, почему?..

— Очень просто: вамъ слѣдовало бы поучиться у этого же лѣсника самой простой вѣжливости... да. Онъ дрался со мной по обязанности, а вы вышучиваете меня, какъ... мальчишка.

Произошла пауза.

— Кучеръ, стой!.. — крикнулъ взбѣшенный докторъ, выскакивая изъ экипажа.

— Докторъ, куда вы? — взмолился латинистъ, ухватывая его за фалду.— Господа, будетъ вамъ... Право, точно школьники!

Единственнымъ свидѣтелемъ всей этой сцены былъ кучеръ Петрилло, о которомъ всѣ забыли. Онъ сидѣлъ на козлахъ и слушалъ, какъ господа другъ друга потрошатъ. Въ сущности, онъ былъ на сторонѣ своего барина. Что же, баринъ правильный: сперва-наперво лѣсника по скулѣ, а потомъ благопріятелей за хвостъ да объ стѣну. И лошадямъ легче...

До города оставалось всего верстъ пять. Петрилло сдѣлалъ попытку примириться со своими компаньонами, но изъ этого ничего не вышло.

— До свиданія, г. Петрилло... въ камерѣ мирового судьи! — крикнулъ голосъ доктора въ темнотѣ.

— А, когда такъ, такъ и чортъ съ вами. Идите пѣшкомъ, благо до города осталось всего верстъ пять, — моціонъ прекрасный.

Итакъ, виновникъ всего укатилъ на своей парѣ, а невиновные свидѣтели должны были возвращаться per pedes apostolorum. Они шли по разнымъ сторонамъ дороги и нѣкоторое время молчали. Латинистъ былъ близорукъ и часто спотыкался. Потомъ, говоря между нами, онъ немного трусилъ идти ночью. Хорошо еще, что этотъ чортъ докторъ вышагиваетъ почти рядомъ, — все-таки двое. Но докторъ проникъ этотъ тайный страхъ и проговорилъ:

— Если бы не я, такъ у васъ, Антроповъ, и ружье отняли бы да, пожалуй, и сапоги бы стащили....

Это было новое оскорбленіе.

— Я васъ презираю...—послышался отвѣтъ латиниста.—Да, презираю...

— А вамъ попечитель уши еще надеретъ...

Опять оскорбленіе.

Вернувшись домой, Петрилло поссорился съ женой. Онъ хотѣлъ подѣлиться съ ней своимъ настроеніемъ и очень краснорѣчиво разсказывалъ о коварствѣ такъ называемыхъ друзей, а она, вмѣсто сочувствія, начала обвинять во всемъ его же. Произошла довольно бурная семейная сцена, закончившаяся женскими слезами. Господи, гдѣ же наконецъ справедливость! Петрилло былъ добрякъ по натурѣ и никого никогда не желалъ обижать, а тутъ всѣ противъ него... Лежа въ постели, онъ перебралъ въ послѣдовательномъ порядкѣ всѣ событія рокового дня: какой прекрасный былъ вечеръ, какъ хорошо было въ лѣсу, какой удачный выстрѣлъ въ проводку — и вдругъ... И не будь комаровъ, ничего бы этого не было.

Это приключеніе на охотѣ сдѣлалось быстро городской сказкой, какъ это бываетъ только въ маленькихъ провинціальныхъ городкахъ. Создалась цѣлая легенда. Разболталъ главнымъ образомъ кучеръ, а стоустая молва прикрасила остальное. Петрилло занималъ довольно видный постъ въ судеб-

номъ мірѣ, и это придавало особую пикантность его теперешнему юридическому положенію. Интересно, какъ будетъ мировой судья его судить... Затѣмъ всѣмъ было извѣстно, что Петрилло — добрякъ и мухи не обидитъ, хотя и отличался нѣкоторой вспыльчивостью, какъ всѣ слишкомъ добрые люди. Оскорбленный лѣсникъ удерживалъ за собой позицію и не шелъ на мировую, несмотря ни на какіе подходы; послѣдніе устраивались не самимъ Петрилло, а его женой, старавшейся потушить скандалъ домашними средствами. Эта же добрая женщина дѣлала нѣсколько попытокъ примирить мужа съ докторомъ и учителемъ, но и здѣсь ея усилія не увѣнчались успѣхомъ. А время летѣло съ роковой быстротой, и ровно черезъ двѣ недѣли была получена повѣстка мирового судьи.

Наступилъ и день судьбища.

Мировой судья Прокофьевъ волновался заранѣе, главнымъ образомъ потому, что дѣло было самое глупое и замѣшались въ него все свои. Конечно, кривить душой онъ не будетъ, но все-таки глупо. Прокофьевъ когда-то и гдѣ-то служилъ въ военномъ вѣдомствѣ, носилъ въ петличкѣ какой-то орденокъ, необыкновенно громко сморкался и отлично игралъ въ винтъ съ пересадкой. Наружность имѣлъ самую представительную — сѣдой, толстый, съ длинными усами. Публики набралось въ камеру съ ранняго утра масса. Не хватило мѣстъ для всѣхъ желающихъ. Это обозлило старика. Удивительно глупая эта публика... Ну, чего лѣзутъ? И какъ не стыдно... Нашли развлеченіе смотрѣть, какъ будутъ на судѣ повторять чужія глупости.

Свидѣтели были налицо, и въ свое время ихъ заключили въ свидѣтельскую комнату. Потерпѣвшій Иванъ Конюховъ, войдя въ камеру, отыскалъ глазами икону, помолился и даже раскланялся на обѣ стороны по древнерусскому обычаю. Онъ былъ спокоенъ и не подавалъ никакихъ признаковъ, располагавшихъ къ примиренію. Сидѣвшій въ первомъ ряду Петрилло только теперь разсмотрѣлъ своего врага — средняго роста мужикъ съ русой бородкой и больше ничего. Такихъ мужиковъ милліоны.

Прокофьевъ открылъ засѣданіе съ недовольнымъ видомъ. Попадется же такое дурацкое дѣло именно къ нему въ участокъ!

Публика превратилась въ одинъ слухъ, когда Иванъ Конюховъ былъ вызванъ и началъ давать показаніе. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ его разсказа въ публикѣ слышался сдержанный смѣхъ, и мировой сердито смотрѣлъ поверхъ золотыхъ очковъ на легкомысленныхъ людей. Хихикали, конечно, дамы, закрываясь носовыми платками. Старику ужасно хотѣлось вывести ихъ изъ камеры, но онъ крѣпился.

Впрочемъ, появленіе у судейскаго стола Петрилло заставило всѣхъ присмирѣть. Ждали чего-то необыкновеннаго. Но главный виновникъ держалъ себя съ большимъ тактомъ, ничего не скрывалъ и не выгораживалъ себя. Онъ просто и толково разсказалъ все дѣло, и только. Мировой судья записывалъ его показанія, склонивъ немного голову набокъ и помогая языкомъ дрожавшему перу.

— Такъ-съ... — повторялъ онъ, продолжая писать. — Вы не помните, подсудимый, что именно вы сорвали бляху?

— Рѣшительно не помню, Иванъ Семенычъ...

Мировой судья поднялъ голову и съ разстановкой проговорилъ:

— Съ вами говоритъ не Иванъ Семенычъ, а мировой судья...

У Петрилло показались на лицѣ красныя пятна, и лѣвая рука быстро пробѣжала по пуговицамъ сюртука.

— Такъ вы не помните? — прежнимъ тономъ спросилъ судья, наклоняясь къ своей бумагѣ.

— Да вѣдь я же сказалъ вамъ, Иванъ Сем...

— Я васъ оштрафую, если вы еще разъ позволите себѣ называть меня по имени и отчеству.

— Послушайте, Иванъ Семенычъ, вы просто формалистъ! — отрѣзалъ Петрилло, вспыхнувъ. — Вѣдь я же вамъ сказалъ...

— Я занесу въ протоколъ ваше выраженіе...

— Какъ вамъ угодно...

— Вы не имѣете права отвѣчать мнѣ въ такомъ тонѣ, подсудимый...

Въ результатѣ появился протоколъ объ оскорбленіи мирового судьи при исполненіи имъ своихъ служебныхъ обязанностей. Петрилло только махнулъ рукой, припоминая, вѣроятно, тѣхъ комаровъ, изъ-за которыхъ весь сыръ-боръ загорѣлся. Публика замерла. Возникало новое сенсаціонное дѣло. Мировой судья съ красными пятнами на лицѣ продолжалъ писать.

Нѣкоторое развлеченіе доставили свидѣтельскія показанія, особенно, когда появился Антроповъ. Со страху онъ многое перепуталъ, такъ что судья долженъ былъ сдѣлать очную ставку съ докторомъ. Свидѣтели заспорили и готовы были наговорить другъ другу колкостей, но мировой судья во-время отпустилъ ихъ.

Петрилло былъ приговоренъ къ аресту на три дня или къ штрафу въ двадцать пять рублей. Онъ внесъ деньги и заявилъ, что доволенъ рѣшеніемъ.

Зимой въ мѣстномъ клубѣ, извѣстномъ подъ названіемъ „Капернаумъ", собрались винтеры. За тремя столами уже играли, а четвертый никакъ не могъ устроиться. Сначала усѣлись мировой судья Прокофьевъ и докторъ Говоровъ, поджидая партнеровъ.

— Хотя бы чорта какого-нибудь принесло, — ворчалъ старикъ. — Э, да вонъ идетъ Антроповъ... Вы съ нимъ все еще ссоритесь? Ну, да ничего...

— Но вѣдь четвертаго все еще недостаетъ? — отвѣтилъ докторъ, стараясь не смотрѣть на своего врага.

Точно въ отвѣтъ на его слова, въ дверяхъ показался Петрилло. Всѣ немного смутились, но вѣдь нельзя же винтить безъ четвертаго, чортъ возьми. Черезъ четверть часа за столомъ самымъ мирнымъ образомъ винтили судья, докторъ, учитель и Петрилло.

— Комары четыре!.. — громко выкрикивалъ докторъ.

2.

Скверные четверть часа.

I.

Сборы на охоту—сколько поэтическихъ моментовъ въ этомъ по своему существу совершенно невинномъ занятіи. Приготовленія къ самому событію начинаются за нѣсколько дней, причемъ получается цѣлый рядъ обязательныхъ сюрпризовъ: затворъ новой англійской двустволки проржавѣлъ, разные номера дроби какой-то дьяволъ ссыпалъ въ одинъ мѣшокъ, у любимаго сеттера Никса оказался насморкъ (замѣтьте, ни раньше ни позже, а именно когда ему нужно было исполнять прямыя его обязанности, чортъ бы его взялъ!), а главное, непромокаемые охотничьи сапоги запропастились чортъ

ихъ знаетъ куда. Охотничья терминологія отличается нѣкоторой энергіей, что̀, какъ извѣстно, состоитъ въ органической связи съ общимъ кровожаднымъ характеромъ этого спорта.

— Сапоги! Наташа, гдѣ мои сапоги?—вопилъ Петръ Ивановичъ, энергичнымъ звонкомъ вызывая горничную.

— Гдѣ имъ быть, въ самомъ-то дѣлѣ?..—довольно равнодушно отозвалась Наташа.

— Гдѣ имъ быть? Вотъ я и спрашиваю про это!—уже кричалъ Петръ Ивановичъ, размахивая руками.—Сапоги... сапоги... понимаете?

— Баринъ, да вѣдь не я же ихъ надѣла?—довольно грубо, хотя и логично отвѣтила Наташа.

Скажемъ въ скобкахъ, что горничныя старыхъ холостяковъ отличаются двумя качествами: нѣкоторой условной смазливостью и совершенно ясно выраженной грубостью, а Петръ Ивановичъ былъ старый холостякъ, слѣдовательно Наташа имѣла „свое полное право“ ему грубить. Но, съ другой стороны, какъ же ѣхать на охоту безъ сапогъ? Да и Сѣмянниковъ вотъ-вотъ пріѣдетъ.

— Сказали бы съ вечера...—ворчала Наташа.

— Чортъ надѣлъ мои сапоги и ушелъ!—оралъ Петръ Ивановичъ, краснѣя отъ справедливаго негодованія.

Это трагическое недоразумѣніе разрѣшилось самымъ простымъ образомъ, потому что кучеръ Игнатій нашелъ сапоги въ чуланѣ, гдѣ у кухарки стояли мѣшки съ мукой. Правда, они имѣли очень жалкій видъ—ссохлись, сморщились, были покрыты плѣсенью и мукой, но все-таки они были налицо, и кучеръ принялся приводить ихъ въ порядокъ съ такой энергіей, что даже прорвалъ въ одномъ мѣстѣ голенище. Ворчавшая Наташа мыла въ умывальномъ тазикѣ ружейные стволы. Однимъ словомъ, порядокъ былъ возстановленъ, и Сѣмянниковъ могъ пріѣзжать хоть сейчасъ,—они вчера еще въ клубѣ уговорились ѣхать вмѣстѣ на новой парѣ, купленной Сѣмянниковымъ спеціально для охоты.

— А, чортъ...—раздавалось въ кабинетѣ, гдѣ баринъ долженъ былъ собственноручно пришивать пуговицу къ охотничьимъ рейтузамъ.

Наконецъ все было кончено, и пара Сѣмянникова стояла у подъѣзда, а изъ экипажа выглядывала толстая голова сѣмянниковскаго лягаша „Виста“.

Пока наши герои были заняты сборами въ окончательной формѣ, скажемъ нѣсколько словъ объ ихъ наружности, такъ какъ у каждаго героя таковая должна быть. Петръ Ивановичъ былъ высокъ, коренастъ, брилъ бороду, говорилъ зычнымъ голосомъ и имѣлъ скверную привычку хохотать такъ громко, что незнакомые люди даже обижались. Но стоило взглянуть на это добродушное, мясистое лицо съ сѣрыми на-выкатѣ глазами, на зубы съ оскаломъ, на ярко-красныя губы и курчавые волосы золотистаго цвѣта, чтобы убѣдиться наглядно, что на такихъ добродушныхъ людей не сердятся. Молодыя вдовушки, разведенныя жены и дѣвицы съ колоритнымъ темпераментомъ любятъ помечтать о такихъ крупныхъ экземплярахъ, приведенныхъ въ скромное домашнее состояніе вьючнаго животнаго. Но это такъ, кстати, потому что мы уже знаемъ, что Петръ Ивановичъ сохранилъ до сорока лѣтъ свою мужскую самостоятельность. Сѣмянниковъ былъ полной противоположностью, что̀ случается съ героями разсказовъ: худенькій, точно заржавѣвшій отъ сидѣнья въ своей канцеляріи, съ испитымъ лицомъ землистаго цвѣта, вѣчно лѣчившійся отъ какой-нибудь болѣзни и тѣмъ не менѣе бывшій отцомъ девяти человѣкъ дѣтей, подаренныхъ ему тремя женами. Именно у такихъ

субъектовъ семейная шишка получаетъ особенно сильное развитіе. Характеръ Сѣмянниковъ имѣлъ скрытный, любилъ говорить колкости, особенно за карточнымъ столомъ, непрочь былъ разсказать въ холостой компаніи веселый анекдотъ, а дома молился съ сокрушеніемъ сердца о своихъ грѣхахъ и изводилъ своимъ брюзжаньемъ уже третью жену. Однимъ словомъ, люди какъ люди.

— Э, чортъ!—выругался въ послѣдній разъ Петръ Ивановичъ, когда охотничья фляга оказалась безъ пробки.—Ну, скажите, пожалуйста, какому дьяволу понадобилась пробка?

— У меня есть водка...—какимъ-то затхлымъ голосомъ успокаивалъ Сѣмянниковъ, ядовито улыбаясь.—Берестова мы догонимъ дорогой. Онъ поѣхалъ впередъ... Кстати, у него барометръ показываетъ отличную погоду.

— А куда мы ѣдемъ?

— Берестовъ знаетъ... Онъ взялъ съ собой Андрона. Ахъ, да, вспомнилъ: на Икрянку. Рѣчка такая есть, такъ тамъ тетеревиные выводки руками лови...

„Вистъ“ и „Никсъ“ внимательно обнюхали другъ друга, выразили нѣкоторое недоразумѣніе глухимъ ворчаніемъ, даже оскалили зубы, но потомъ смиренно улеглись въ ногахъ у своихъ владыкъ. Пара новокупокъ быстро влекла охотниковъ по пыльнымъ городскимъ улицамъ, гдѣ красовались присутственныя мѣста, гостиный дворъ, банкъ, купеческія хоромины—однимъ словомъ, все то, что полагается губернскому городу. Заканчивалась эта картина казармами и острогомъ, за которыми шло поле, заваленное городскими нечистотами, и только дальше по обѣимъ сторонамъ пылившаго тракта начинался чахлый лѣсокъ. Мы забыли сказать, что день былъ іюльскій, жаркій, и часы на соборѣ показывали ровно десять часовъ утра.

— Даже какъ-то не вѣрится, что ты на свободѣ,—мечталъ Петръ Ивановичъ, набирая воздухъ полной грудью.—И все это къ чорту: и канцелярію, и клубъ, и винтъ, и собственную квартиру... Вѣдь вотъ есть же и голубое небо, и вѣтерокъ, и лѣсъ, и этакая рѣчонка Икрянка, и гдѣ-нибудь ужъ бродятъ тетеревиные выводки...

— И бутылка водки на придачу,—дополнилъ Сѣмянниковъ.—Природа, орошенная водкой, еще лучше...

— Ты грубый реалистъ, а я понимаю поэзію. Да, чортъ возьми... Вотъ она, эта самая поэзія сейчасъ начнется, и только мы, охотники, понимаемъ ее... Послушай, а гдѣ же мы догонимъ Берестова?

— На девятой верстѣ повертка, тамъ онъ будетъ ждать. Сегодня онъ выводитъ своего пойнтера „Модъ“... Очень ужъ что-то хвастаетъ. Будемъ посмотрѣть на это собачье чудо...

II.

Берестовъ, дѣйствительно, ждалъ на девятой верстѣ. Это былъ необыкновенно аккуратный молодой человѣкъ, человѣкъ „съ пригонкой“, какъ опредѣлялъ его Петръ Ивановичъ. Все у него было пригнано одно къ одному—черные усики жальцемъ, каріе вѣжливые глаза, цвѣтъ лица матово-розовый, маленькія руки, новенькая охотничья куртка, лакированные ботфорты, легкая бельгійская двухстволка, какой-то вычурный ягдташъ съ висюльками и бахромой, однимъ словомъ, это былъ вполнѣ цѣльный человѣкъ, начиная съ новенькой спичечницы съ секретомъ и кончая изумительно бѣлыми зубами. Онъ и должность занималъ такую же чистенькую, съ пригонкой, именно со-

стоялъ чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ, вѣрнѣе—при губернаторшѣ. На козлахъ его новенькаго экипажа дремалъ кривой Андронъ, промышлявшій около господъ, подверженныхъ охотѣ. Субъектъ былъ подозрительный, но въ достаточной мѣрѣ привѣсившійся къ господскимъ капризамъ. Знаменитый пойнтеръ „Модъ", кофейная сука съ глазами цвѣта горчицы, выражала всѣ признаки молодого нетерпѣнія. Она вытягивала шею, дрожала и нюхала воздухъ, закрывая глаза отъ умиленія,—для нея этотъ лѣсной воздухъ, вѣроятно, представлялъ собой цѣлую мелодію изъ самыхъ соблазнительныхъ запаховъ.

Подкатилъ экипажъ Сѣмянникова. Охотники поздоровались. „Никсъ" радостно завизжалъ, увидѣвъ стройную фигурку красавицы „Модъ", и успокоился, только получивъ ударъ прикладомъ въ бокъ. Петръ Ивановичъ былъ немножко нетерпѣливъ.

— Зайцевъ будетъ гонять,—ядовито замѣтилъ Сѣмянниковъ, оглядывая опытнымъ глазомъ прятавшуюся и выглядывавшую изъ-за хозяина съ женскимъ любопытствомъ „Модъ".

— Ты у меня смотри, сахаръ!—пригрозилъ Петръ Ивановичъ улыбавшемуся Андрону.—Опять надуешь...

— Что вы, баринъ... Да я... Вотъ сейчасъ провалиться... Ужъ, кажется, для васъ вотъ какъ стараемся...

Охота тронулась дальше. Узкій проселокъ велъ лѣсомъ. Андронъ указывалъ кучеру, гдѣ сворачивать направо или налѣво. Въ одномъ мѣстѣ экипажъ Берестова застрялъ на гниломъ мостикѣ. Пристяжная Сѣмянникова крутила хвостомъ; оказалось, что она не выносила овода. Потомъ потеряли чекушку отъ задняго колеса. Петръ Ивановичъ вспомнилъ, что забылъ дома приготовленную провизію. Вѣдь была уложена въ коробокъ, такъ аппетитно перевязана бечевкой, а Наташа забыла ее вынести. Интересно бы знать, что дѣлается вообще въ головѣ этой набитой дурищи, чортъ бы ее взялъ вмѣстѣ съ крахмаленными юбками и напомаженными до безобразія волосами!..

До Икрянки Андронъ считалъ отъ повертки верстъ пятнадцать, но Петръ Ивановичъ началъ требовать съ него эту рѣчку съ пятой версты и обѣщалъ переломать всѣ ребра—рѣшительно всѣ, до послѣдняго, изъ котораго сотворена была праматерь Ева.

— Вѣдь я ея не пряталъ въ карманъ, Икрянку-то,—оправдывался Андронъ, отмахиваясь довольно граціозно вѣткой.—Обождите.

А какія мѣста шли—лѣсъ, перелѣски, покосы, безыменныя рѣчонки. Кто бы могъ подумать, что какихъ-нибудь два часа отъ этой благодати до самаго поганаго губернскаго города, какой только можно отыскать на картѣ Европейской и Азіатской Россіи. Вотъ только солнце жаритъ какъ-то особенно неистово—распекаетъ, какъ только-что назначенный начальникъ, да іюльскій оводъ лѣзетъ въ глаза, въ носъ и уши. Для чего только сотворена эта маленькая дрянь?.. Извольте тутъ искать цѣлесообразность мірозданія. Петръ Ивановичъ то и дѣло хватался за свой красный затылокъ, покрывшійся волдырями. Вотъ Сѣмянникова даже оводъ не бралъ, и онъ ехидно хихикалъ надъ упражненіями въ ловкости Петра Ивановича. Берестовъ кокетливо повязалъ шею бѣлымъ фуляромъ и при этомъ счелъ долгомъ пріятно улыбнуться.

На Икрянку пріѣхали только къ часу, въ самый разгаръ горячаго лѣтняго дня. Мѣсто было отличное, но съ помятой травой. Очевидно, что кто-то успѣлъ предупредить нашихъ охотниковъ.

— А, чортъ, какая охота въ такой жаръ!—заявилъ Петръ Ивановичъ, растягиваясь на травѣ.—Я хочу отдохнуть, пока жаръ свалитъ...

Охотники сдѣлали привалъ на берегу самой рѣки Икрянки, въ тѣни развѣсистой березы. Кучера разостлали на травѣ ковры и развели курево, чтобы отогнать оводовъ. Лошади отчаянно отмахивались хвостами.

— А я попытаю счастья...—рѣшилъ Берестовъ, вскидывая на плечо двухстволку.—„Модъ", allons!..

— Счастливо отправляться, — пожелалъ Петръ Ивановичъ, сладко жмурясь.

Кучеръ Сѣмянникова развелъ въ сторонѣ огонь, досталъ старинный погребецъ и занялся походнымъ самоваромъ. Петръ Ивановичъ лежалъ на спинѣ и любовался, какъ бѣжали по голубому небу легкія перистыя облачка-барашки. Рядомъ съ нимъ на травѣ растянулся „Никсъ" и дышалъ такъ, точно у него въ груди была устроена кузница.

Хорошо...

А главное, ничего, что̀ напоминало бы губернскій городъ. Эту свободу Петръ Ивановичъ чувствовалъ какъ-то всѣмъ своимъ громаднымъ тѣломъ. И впереди еще цѣлый охотничій вечеръ, когда выводки выйдутъ изъ чащи на ягодники, а утро чего сто̀итъ... Нѣтъ, рѣшительно хорошо, и только одни охотники въ полной мѣрѣ могутъ наслаждаться жизнью, т.-е. лучшей ея частью. Положительно хорошо, особенно, если вотъ лежать такъ въ тѣни. Сѣмянниковъ копошился со своимъ погребцомъ и ворчалъ на кучера.

„Этакая кикимора..."—думалъ Петръ Ивановичъ, чувствуя, какъ его подхватываетъ сладкая истома и какъ все около него точно поплыло.

Петръ Ивановичъ заснулъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ, какъ умѣютъ спать только такіе богатыри. Но видѣлъ онъ совсѣмъ не богатырскій сонъ: свою канцелярію, служилыхъ губернскихъ людишекъ, входящія и исходящія бумаги, доклады, смѣтныя предположенія, какой-то дурацкій проектъ объ арестантскомъ продовольствіи, оказавшійся потомъ не проектомъ, а ремизомъ безъ двухъ, и даже не ремизомъ, а крахмальной юбкой Наташи, которую кучеръ Игнатій чистилъ ваксой.

Проснулся Петръ Ивановичъ отъ ощущенія какого-то холода въ спинѣ, а главнымъ образомъ потому, что „Никсъ" громко чхнулъ.

— Э, чортъ, позвольте...

Петръ Ивановичъ сѣлъ, и первое, что̀ ему бросилось въ глаза,—это охотничьи сапоги, совершенно мокрые. Съ березы на него сыпались крупной слезой дождевыя капли. Даль была заслонена мутной сѣткой лѣтняго ливня. Что̀ всего обиднѣе показалось Петру Ивановичу, такъ это то, что онъ былъ совершенно одинъ. Взглянувъ на часы, показывавшіе восемь, Петръ Ивановичъ выругался.

— Ахъ, подлецы!..

Ему сейчасъ же представилась хихикавшая фигурка Сѣмянникова. Да, это его дѣло: взялъ и ушелъ потихоньку со своимъ „Вистомъ" и не велѣлъ будить. И это называются товарищи... Хороши! Затѣмъ Петръ Ивановичъ разсердился на Наташу, которая забыла вынести коробокъ съ провизіей—его начиналъ разбирать голодъ. Позвольте—у Петра Ивановича созрѣлъ во мгновеніе ока планъ самой жестокой мести. Онъ поднялся, потянулся и отправился къ экипажу Сѣмянникова. Добывъ провизію и фляжку съ водкой, онъ комфортабельно помѣстился подъ своей березой и принялся за охотничій завтракъ: рюмка водки—закуска яйцомъ вкрутую, вторая—ветчиной, третья—

свѣжимъ огурцомъ. Дальше слѣдовалъ копченый языкъ, кусокъ ростбифа, какой-то пирогъ. „Никсъ“ только могъ удивляться аппетиту своего барина, облизываться и жмуриться отъ голода. . . . . .

. . . . . .

„Никсъ“, глодавшій кость отъ ветчины, глухо заворчалъ, когда вдали показались охотники. Петръ Ивановичъ не шевельнулся и продолжалъ лежать подъ своей березой. Какой жалкій видъ они имѣли сейчасъ, эти несчастные гг. охотники. Какъ они ругали несчастнаго Андропа, плевнагося въ арьергардѣ процессіи. Съ губернаторшей и колоритными дѣвицами сдѣлалось бы дурно, если бы онѣ услышали, какимъ богатымъ лексикономъ скверныхъ словъ обладаетъ г. Берестовъ, милый г. Берестовъ, который, кажется, самой природой созданъ былъ со спеціальной цѣлью дирижировать танцами на губернаторскихъ балахъ.

— Мало тебя повѣсить, мерзавца!—кричалъ онъ хриплымъ голосомъ.— Погоди, вотъ пріѣдемъ въ городъ, я тебѣ покажу кузькину мать!

Сѣмянниковъ ограничивался тѣмъ, что травилъ горячившагося молодого человѣка разными замѣчаніями.

— Какіе тутъ могутъ быть выводки. Мѣсто совсѣмъ не такое. Знаете, на мнѣ нитки нѣтъ сухой и сапоги промокли, а сапожникъ еще увѣрялъ, что въ нихъ хоть по морю ступай. А главное, вашъ барометръ, г. Берестовъ. Самое лучшее, если вы его разобьете или подарите горничной Наташѣ нашего почтеннаго друга.

— А вашъ „Вистъ“ хорошъ?—совершенно логично отвѣчалъ г. Берестовъ.—Стойку сорвалъ, когда подошла „Модъ“. И ей все время мѣшалъ своимъ ухаживаньемъ. Никакой дрессировки!

— А какъ ваша „Модъ“ заварила по зайцу! Хи-хи... Это называется собака высокой школы. Она у васъ будетъ скоро мышей ловить.

Однимъ словомъ, охотники вернулись на привалъ въ самомъ скверномъ расположеніи духа и были удивлены спокойствію Петра Ивановича. Все объяснилось, когда были усмотрѣны жалкіе остатки богатырскаго завтрака.

— Что же это такое?—бормоталъ Сѣмянниковъ, обращаясь къ г. Берестову.—Это не по-товарищески, наконецъ.

— А это по-товарищески оставить меня одного? Развѣ я затѣмъ пріѣхалъ, чтобы дрыхнуть здѣсь? Это вы нарочно меня не разбудили.

— Скажите, пожалуйста, а мы пріѣхали затѣмъ, чтобы смотрѣть, какъ вы спите? Нѣтъ, что же это такое? А меня такой голодъ разбираетъ.

Произошла довольно непріятная сцена, которая не разыгралась въ настоящую ссору только благодаря присутствію посторонней публики въ лицѣ двухъ кучеровъ и Андропа. Сохраненію политическаго равновѣсія много способствовало и то, что Петръ Ивановичъ былъ сытъ, какъ ярмарочный боа-констрикторъ. Но, за всѣмъ тѣмъ, накопившееся раздраженіе должно было найти какой-нибудь исходъ, и такимъ исходомъ явился несчастный Андронъ.

— Вотъ посмотрите на этого идола, Петръ Ивановичъ!—поджигалъ Сѣмянниковъ, разсчитывая на вспыльчивость пріятеля.—Вы только на морду его посмотрите. И вѣдь не совѣстно! Недаромъ въ царствіи небесномъ ни одного кривого угодника нѣтъ.

— Надулъ опять, ракалія!?—загремѣлъ Петръ Ивановичъ.—Ну-ка, подойди сюда. Да ближе, ближе иди!

Андронъ отлично зналъ, что значитъ „приличное разстояніе“, когда дѣло имѣешь съ господами, и поэтому, вмѣсто того, чтобы подойти, отступалъ.

— Моей причины тутъ нѣтъ...—бормоталъ онъ, снимая шапку.—Это все ихнія собачки... неустойка вышла.

Этимъ маневромъ Андронъ спасъ свою личную неприкосновенность, потому что Сѣмянниковъ и Берестовъ сейчасъ же сцѣпились изъ-за собакъ. Петръ Ивановичъ слушалъ и въ качествѣ третейскаго судьи добродушно улыбался. Конечно, дрянныя собаки,—Андронъ хоть и мерзавецъ, а въ этомъ случаѣ совершенно правъ. Вотъ его „Никсъ“ не погнался бы за зайцемъ и не сорвалъ бы стойки изъ-за „Модъ“.

III.

Ливень унялся. Показалось опять голубое небо, по которому громадными хлопьями неслось разорванное дождевое облако. Кучера развели громадный костеръ, и охотники въ одномъ бѣльѣ сушились около огня. Андронъ на длинной палкѣ точно поджаривалъ остальныя принадлежности охотничьихъ костюмовъ. По двѣ рюмки выпитой водки вернули нѣкоторую бодрость.

— Нужно ѣхать домой...—брюзжалъ Сѣмянниковъ.—Какъ разъ схватишь ревматизмъ, а тамъ жена и дѣти будутъ безпокоиться.

— Перестань, пожалуйста...—уговаривалъ его Петръ Ивановичъ.—Никакого ревматизма не будетъ. Все это вздоръ... А завтра возьмемъ отличное утро. Вотъ и Андронъ то же скажетъ... Птица въ мокрой травѣ смирная. Наконецъ, просто совѣстно возвращаться съ пустыми руками.

Берестовъ былъ за Петра Ивановича. Сѣмянникову оставалось только покориться большинству голосовъ. Да и вечеръ выдался такой, что тошно было подумать о возвращеніи въ городъ. Вдобавокъ у Берестова въ особомъ изящномъ саквояжѣ изъ лакированной кожи нашлась необходимая провизія,—она спаслась отъ истребленія только благодаря тому, что саквояжъ былъ заперт Сейчасъ Петръ Ивановичъ великодушно отказался отъ общей трапезы.

— Что-то не хочется ѣсть...—скромно замѣтилъ онъ, ощупывая свой животъ.

Недоставало только водки,—Петръ Ивановичъ всю выпилъ. Выручилъ Андронъ, который возилъ про запасъ бутылку. Онъ зналъ барскую повадку, а въ лѣсу негдѣ водки взять. Случалось ему гонять верхомъ на пристяжной верстъ за двадцать. Это ничтожное обстоятельство сразу подняло его курсы.

— А вѣдь онъ молодчина!—одобрительно басилъ Петръ Ивановичъ.—Подлецъ со всѣхъ сторонъ, а догадался водку захватить...

Охотники ѣли съ азартомъ, а Петръ Ивановичъ опять любовался свѣтлѣвшимъ небомъ, бродившимъ по травѣ легкимъ туманомъ, яркимъ закатомъ уже невидимаго солнца. Положительно хорошо, а городъ—провались онъ къ семи чертямъ...

— Да, бываютъ скверныя положенія...—тянулъ онъ, позѣвывая такъ, что хрустѣли челюсти.—Да, бываютъ... Разъ въ клубѣ. Да... Выхожу въ шинельную и жду лакея, которому отдалъ номеръ шубы. Тутъ знакомыя дамы около... Кутаются, хихикаютъ, играютъ глазками... Вдругъ подходитъ ко мнѣ этакій скромный сѣдовласый старецъ, подходитъ и протягиваетъ руку съ номеркомъ... Понимаете, онъ меня за лакея принялъ!.. Ха-ха... Ну, скажите, ради Бога, похожъ я на лакея? А вѣдь совсѣмъ я растерялся... Главное, дамочки туть вертятся, юбки свои подбираютъ, а благообразный старецъ ко мнѣ съ номеркомъ... Зарѣзалъ, мерзавецъ!..

— Со мной тоже былъ случай... въ Москвѣ... въ конкѣ...—разсказывалъ Берестовъ, обгладывая крылышко цыпленка.—Сижу... входитъ старушка съ

ридикюлемъ... Сѣла рядомъ... Кондукторъ... Она сейчасъ въ ридикюль—портмонэ нѣтъ, въ карманѣ пальто—нѣтъ, въ платье—нѣтъ, а сама этакъ на меня оглядывается и на сосѣда съ другой стороны... Натурально, вся публика на насъ смотритъ... вотъ, дескать, какіе ловкіе жулики... не успѣла старушка войти, а ужъ они ее обчистили. Я... знаете... чувствую, что начинаю краснѣть... краснѣть... А кондукторъ стоитъ и смотритъ. Вѣдь скандалъ... могли подвергнуть обыску. И что бы вы думали, вѣдь нашла-таки старушонка свое портмоне... Такъ мнѣ эти двѣ минуты показались вѣчностью. Вотъ какія дурацкія положенія бываютъ...

IV.

Съ кѣмъ не бываютъ скверныя положенія? Эта тема заняла всѣхъ, благо дѣлать было нечего. Да пора и отдохнуть. Кучера приготовили походное общее ложе для всѣхъ троихъ. Сѣмянниковъ особенно долго возился. Онъ натянулъ на себя какую-то фуфайку, шею обернулъ шарфомъ и сталъ ужасно похожъ на цыпленка. Спускалась быстрая лѣтняя ночь. Охотничій привалъ свѣщался только колебавшимися всполохами костра.

— Эхъ, свѣчъ не захватили съ собой, господа...

— И карпишки недурно было бы взять!.

Молчаніе. Городскіе служилые люди не привыкли засыпать рано, и на всѣхъ опять напало раздражительное настроеніе. Въ темнотѣ попыхивали красными точками папиросы. Сѣмянниковъ кашлялъ, охалъ и что-то такое бормоталъ. Отъ скуки еще разъ поругали Андрона, придумывая самыя ядовитыя словечки.

— Сморчокъ проклятый, повѣсить его мало!..

— Рракалія...

— Извергъ естества...

Потомъ поднятъ былъ вопросъ о барометрѣ Берестова и кокетствѣ „Модъ“, но и эта тема быстро исчерпалась, какъ всякое повтореніе.

— А ты все-таки, Петръ Иванычъ, сожралъ у меня все,—корилъ Сѣмянниковъ, вздыхая.—Вѣдь вотъ платка изъ кармана не украдешь, а съѣсть чужую провизію—это ничего. И главное, никакихъ угрызеній совѣсти... Даже ни малѣйшаго признака того, что называется совѣстью.

Петръ Ивановичъ добродушно смѣялся, такъ что Сѣмянниковъ даже толкнулъ его своимъ костлявымъ кулачонкомъ въ бокъ.

— Что же мнѣ, по-твоему, умирать съ голоду?—оправдывался толстякъ.—Или заняться людоѣдствомъ?..

— Съѣлъ бы своего „Никса“...

— Господа, вы оба разсуждаете неправильно,—вмѣшался Берестовъ, выцѣживая слова, какъ драгоцѣнный напитокъ.—Нужно быть послѣдовательнымъ. Приготовлена ли была Петромъ Иванычемъ провизія? Да... По свидѣтельскимъ показаніямъ, она уже была уложена въ дорожный коробокъ и перевязана бечевкой. Да? Идемте дальше... Чья обязанность была вынести коробокъ и поставить въ экипажъ?

— Да, да, понимаю,—догадался Сѣмянниковъ, хихикая въ темнотѣ.—Виновата во всемъ служанка Наташа... Петръ Иванычъ, другъ, признайся, бьетъ она тебя иногда? Ну, такъ, немного?.. Да ты не стѣсняйся, вѣдь здѣсь свои...

— Отстань, сѣра горючая.

— Даже и Наташа не виновата, господа,—продолжалъ Берестовъ.—Если бы Петръ Иванычъ былъ женатъ, то жена не позабыла бы самаго главнаго, чѣмъ поддержалось бы его бренное существованіе. Кстати, Петръ Иванычъ, отчего вы не женились?

— Голубчикъ, разскажи!—умолялъ Сѣмянниковъ.—Вѣдь, навѣрно, была этакая аппетитная бабеночка... Ну, разскажи, ангелъ!..

Петръ Ивановичъ сѣлъ, вытянулъ ноги, вздохнулъ и только покрутилъ головой, отгоняя какое-то воспоминаніе.

— Будь отцомъ роднымъ, разскажи... У тебя при этомъ несомнѣнный даръ слова. Помнишь, какую спичку сказалъ на юбилеѣ предсѣдателя казенной палаты?.. Петръ Иванычъ, голубчикъ...

— Что же, я съ удовольствіемъ,—неожиданно согласился Петръ Ивановичъ, продолжая отгонять всплывшее воспоминаніе.—Я уже сказалъ, что бываютъ удивительно скверныя положенія... Иногда какіе-нибудь подлые четверть часа, и вся жизнь убита, какъ павшая налѣво карта. Да... Именно у меня и были такіе скверные четверть часа. Однако случилось это давненько, лѣтъ восемнадцать назадъ, когда мнѣ, слѣдовательно, было двадцать два года—возрастъ довольно опасный въ смыслѣ увлеченій. Была и *она*... Изъ дворянской семьи, такое поэтическое, нѣжное и вмѣстѣ гордое созданіе... Да... Какъ сейчасъ ее вижу.

— Черкешенка?—спрашивалъ сонным голосомъ Берестовъ.

— Нѣтъ, русская... Стариннаго дворянскаго рода. Глаза у нея были... этакъ прищуритъ ихъ немножко и такъ взглянетъ... Ну, да что тутъ говорить! Однимъ словомъ, милостивые государи, я былъ влюбленъ,—остальное понятно. Только объясниться мнѣ все какъ-то не случалось. Семья большая, кто-нибудь да мѣшаетъ... Въ театръ пойдешь, тоже увяжутся братцы да сестрицы. У любви своя географія и хронологія... Хорошо-съ. Дѣло происходило въ Петербургѣ, я только-что кончилъ университетъ... Стояла весна—однимъ словомъ, все было, какъ слѣдуетъ. Отлично... Только въ Москвѣ заболѣла у нея какая-то тетка, и родители рѣшили, что ей нужно ѣхать навѣстить эту самую тетку.

— И ты влюбился потомъ въ эту тетку?—сдѣлалъ попытку догадаться Сѣмянниковъ.

— Совсѣмъ нѣтъ... Не люблю, когда меня перебиваютъ. Ну, и мнѣ, конечно, тоже нужно было ѣхать въ Москву. Отличный случай объясниться въ вагонѣ. Хорошо-съ... Но я скрылъ это обстоятельство и пріѣхалъ на вокзалъ нарочно попозже, чтобы не встрѣтить родныхъ. Пріѣзжаю, а уже второй звонокъ и касса закрыта. Я на платформу, а тамъ кондукторъ не пускаетъ въ вагонъ. „Есть билетъ?“ Я нашелся: досталъ рубль и сунулъ ему въ руку. Пропустилъ. Хорошо-съ... Какъ разъ попалъ въ тотъ самый вагонъ, гдѣ она сидѣла. Конечно, она удивилась, какъ это и подобаетъ ничего не подозрѣвающей дѣвицѣ. „Куда? какъ? зачѣмъ?“ Я что-то такое соврал: телеграмму получилъ,—ну, однимъ словомъ, понесъ околесную. Затѣмъ вручаю кондуктору деньги, чтобы гдѣ-нибудь на станціи купилъ мнѣ билетъ. Хорошо-съ... Въ нашемъ отдѣленіи почти совсѣмъ пусто—значитъ, судьба благопріятствуетъ. Поѣздъ летитъ, мелькаютъ станціи, я начинаю приступать къ дѣлу... Моя барышня смущается, дѣлаетъ видъ, что уже окончательно ничего не понимаетъ, и что во всякомъ случаѣ у нея есть папенька и маменька. Въ самый интересный моментъ, когда я уже готовъ былъ изъяснить свои намѣренія въ окончательной формѣ... бацъ!.. вбѣгаетъ кондукторъ, прямо ко мнѣ: „Баринъ добрый, не погубите... шестеро дѣтей!.. Контроль сейчасъ, а я васъ безъ билета пустилъ—откажутъ мнѣ отъ службы“. Понимаете? „Что же я для тебя сдѣлаю, любезный?.. Деньги я тебѣ далъ, а ты нарочно выгадывалъ нѣсколько станцій, чтобы воспользоваться разницей. Не броситься же мнѣ съ поѣзда...“—„Баринъ добрый, шестеро...“ А тамъ ужъ дверь отвори-

лась, и показался контроль. Кондукторъ сдѣлалъ этакую умоляющую морду и манитъ меня пальцемъ... Нечего дѣлать, иду за нимъ. Выводитъ онъ меня въ коридорчикъ, отворяетъ въ стѣнкѣ какой-то шкапъ—пожалуйте! „Да ты съ ума сошелъ?"—„Баринъ добрый, шестеро..." А контроль все ближе, я даже слышу, какъ машинка чикаетъ. Некогда даже думать... Нечего дѣлать, залѣзъ въ шкапъ, скорчился тамъ, какъ грѣшная душа, а онъ меня снаружи приперъ. Сижу въ темнотѣ и, конечно, ругаю кондуктора. А контроль все ближе... Вдругъ у меня мысль: а что, если контролеру придетъ мысль открыть мой шкапъ? „А, вы здѣсь..." Скандалъ!.. И какъ я не нашелся сказать, что просто потерялъ билетъ. Развѣ я не имѣлъ права потерять свой собственный билетъ и заплатить за это удовольствіе двойной штрафъ?

— Гм... да...—промычалъ Сѣмянниковъ сонным голосомъ.

— Хорошо-съ. Сижу я въ шкапу дуракъ-дуракомъ. Представьте это при моей-то фигурѣ, а тамъ любимая дѣвушка Богъ знаетъ что обо мнѣ могла подумать. Хорошо-съ... т.-е. не хорошо, а чортъ знаетъ, какая глупость. Вотъ и дверь отворяется, контроль идетъ по моему коридорчику, а я даже глаза закрылъ со страху. Что переживаешь въ такія дурацкія минуты—не передать... Мнѣ показалось, что контроль шелъ цѣлыхъ полчаса. Наконецъ все затихло, и я вздохнулъ свободнѣе. Ну, конечно, прибѣжалъ кондукторъ и выпустилъ меня. Я на него: такой-сякой... „Помилуйте, говоритъ, у меня здѣсь самые настоящіе полковники сиживали, да еще потомъ спасибо говорили". Однимъ словомъ, мерзавецъ...

— Каналья...—слышится сонный голосъ.

Пауза. Петръ Ивановичъ дѣлаетъ неопредѣленный жестъ, точно отмахиваетъ муху, и долго смотритъ на потухающій огонь, вокругъ котораго разлеглась прислуга. Ночь темная, мягкая, душистая. Послѣ дождя земля „дала паръ", такъ что дышать трудно. Пахнетъ шалфеемъ и еще какой-то душистой травой. Слышно, какъ лошади щиплютъ траву и жуютъ ее съ аппетитнымъ хрустомъ. Кажется, уже часовъ десять есть.

— Ну и что же?

— Ахъ, да...—отозвался Петръ Ивановичъ, точно просыпаясь отъ своего раздумья.—Да ничего дальше... Мнѣ-то нужно было бы промолчать или сказать, что простоялъ все время на платформѣ, а я всю правду-матку и разсказалъ да еще, кажется, что-то прибавилъ для комизма. Ну, она, натурально, смѣется, и я тоже смѣюсь... Молодъ былъ, глупъ. Есть положенія, когда мужчина не долженъ казаться смѣшнымъ, а я-то дурака валяю... да. И что бы вы думали? Начинаю я заводить рѣчь на старое, какъ сначала дѣло шло, а у самого ужъ и словъ такихъ нѣтъ, да и она смотритъ на меня во всѣ глаза и прежняго въ ней ни-ни. Я и такъ и этакъ—не вытанцовывается... Она слушала-слушала меня да какъ вдругъ расхохочется прямо мнѣ въ лицо. „Какой вы смѣшной, Петръ Иванычъ!"... Тутъ ужъ я понялъ, что романъ кончился. Только и всего... Лѣтъ черезъ пять встрѣтилъ ее уже замужней женщиной. Обрадовалась. Поболтали, я и спрашиваю: „Скажите откровенно, что бы вы тогда мнѣ сказали, если бы не эти скверные четверть часа?" Серьезно такъ посмотрѣла на меня, вздохнула и говоритъ: „Не были бы вы старымъ холостякомъ, Петръ Иванычъ..." Вотъ какіе случаи бываютъ. Да...

Аудиторія Петра Ивановича спала мертвымъ сномъ, такъ что конецъ онъ разсказывалъ вслухъ самому себѣ. Онъ горько улыбнулся, махнулъ рукой, крякнулъ и тоже завалился спать.

1893.

8.

Блудливое мѣсто.

Разсказъ капитана Вараксина.

I.

— Нѣтъ, скажите ради Бога, зачѣмъ тогда Нина Александровна поѣхала съ нами на охоту? Есть хоть какой-нибудь человѣческій смыслъ въ подобной нелѣпой затѣѣ? Женщина—созданіе во всякомъ случаѣ деликатное, и вдругъ этакое кровожадное удовольствіе, какъ охота... Извините меня, mesdames, но я несогласенъ! Да, я протестую, чтобы женщины ѣздили на охоту... Даже, если на то пошло, то я издалъ бы законъ, что женщинѣ воспрещается даже прикасаться къ огнестрѣльному оружію. Да-съ... Впрочемъ, я, конечно, отклекаюсь въ сторону. Еще одна маленькая оговорка: я человѣкъ очень скромный и если считаю себя въ правѣ разсказать этотъ эпизодъ, то только потому, что изъ участниковъ этой охоты никого уже не осталось въ живыхъ, слѣдовательно никто даже косвенно не можетъ быть на меня въ претензіи. Увы, все это происходило очень давно... Право, мнѣ даже дѣлается грустно при одной мысли, что нѣтъ уже на свѣтѣ и Нины Александровны (перламутровые глаза, ножка богини, ямочки на щекѣ отъ каждой улыбки и т. д.), и Свенторжецкаго (шестифутовый молодецъ съ рыжими усами и волчьимъ взглядомъ), и мирового посредника Тюрина, и двухъ братьевъ Мѣшковыхъ, и лѣсничаго Эйгера... Да, никого нѣтъ, всѣ отправились въ ту экспедицію, изъ которой не возвращаются. Странное совпаденіе—именно: Нина Александровна умерла въ одинъ годъ съ Свенторжецкимъ... Пусть матеріалисты и скептики говорятъ что угодно, а я вѣрю въ предчувствія. Нина Александровна еще тогда говорила, что Свенторжецкій—роковой человѣкъ. Оно такъ и вышло: онъ умеръ на масленицѣ въ четвергъ, а она въ четвергъ на первой недѣлѣ поста. Впрочемъ, я опять забѣгаю впередъ—это моя дурная привычка, за которую доставалось мнѣ еще въ ....скомъ драгунскомъ полку. Еще одно и послѣднее отступленіе: вы, вѣроятно, уже догадываетесь, что всѣ мы были влюблены въ Нину Александровну,—такъ и было въ дѣйствительности, хотя каждый самымъ тщательнымъ образомъ скрывалъ отъ другихъ это щекотливое обстоятельство. Впрочемъ, и винить насъ нельзя: я былъ человѣкъ холостой, Свенторжецкій разошелся съ женой, Тюринъ жилъ съ чужой женой, братья Мѣшковы—вдовцы. Лѣсничій Эйгеръ мѣнялъ свои привязанности, какъ молодой мѣсяцъ, пока не кончилъ собственной горничной, на которой впослѣдствіи и женился,—онъ одинъ не былъ влюбленъ въ Нину Александровну, и то потому, что она приходилась ему родной сестрой. Теперь, кажется, все.

— Поѣдемте на линяныхъ косачей, господа,—предложилъ за обѣдомъ Эйгеръ.—Погода отличная.

Мы собрались у Эйгера и обѣдали, какъ всегда, очень весело, потому что предсѣдательствовала сама Нина Александровна, замѣнявшая хозяйку дома. Было и выпито,—однимъ словомъ, все въ порядкѣ, а Нина Александровна, какъ говорится, разошлась. Раньше она немножко кокетничала со старшимъ Мѣшковымъ, а сегодня проявляла особенную благосклонность къ Свенторжецкому. Предложеніе хозяина всѣмъ очень понравилось.

— А вы неужели тоже поѣдете?—спросила Нина Александровна Тюрина, на котораго обыкновенно не обращала никакого вниманія.

— И я поѣду,—отвѣтилъ Тюринъ.

— Что же вы будете такъ дѣлать?

— Буду стрѣлять...

— Хорошъ стрѣлокъ!.. Мѣшокъ съ овсомъ какой-то, а туда же на охоту... Господа, я въ такомъ случаѣ сама ѣду. Да, ѣду... Лучше и не спорьте! Не только ѣду, но и буду стрѣлять... Меня Варахсинъ (вашъ покорный слуга) училъ, какъ держать ружье, какъ заряжать, а попадать я ужъ буду сама.

Все это было сказано такимъ задорнымъ, вызывающимъ тономъ, хотя никто и не думалъ спорить, а напротивъ—всѣ, пожалуй, были рады, за исключеніемъ, можетъ-быть, меня. Хорошенькая бабенка кому же помѣшаетъ, а я не любилъ только одного: охота такъ охота, съ приличной выпивкой и закуской, съ анекдотомъ. Да... А тутъ слова нельзя сказать: говори да откусывай. Вообще стѣсненіе, какъ хотите, а гдѣ стѣсняешься, тамъ нѣтъ и удовольствія. Конечно, я правъ, и вы поймете мои мысли.

— Нина, вѣдь это очень трудная охота,—по-братски предупреждалъ Эйгеръ.—Косачи прячутся теперь по трущобамъ... Придется лѣзть въ чащу, въ болота... Тебѣ будетъ трудно.

Если бы Эйгеръ не сдѣлалъ этого возраженія, Нина Александровна, вѣроятно, и осталась бы, но теперь она рѣшила вопросъ уже безповоротно: „А, вы не хотите, чтобы я ѣхала, такъ вотъ на зло вамъ всѣмъ поѣду... Поѣду, поѣду, поѣду!..“ Кстати у нея заранѣе былъ приготовленъ и охотничій мужской костюмъ, т. е. бархатныя шаливары, бархатная поддевка, голубая шелковая рубашка, лакированные охотничьи сапоги и чертовски хорошенькая сѣрая шляпа съ орлинымъ перомъ. Если говорить правду, такъ Нина Александровна, вѣроятно, и на охоту собралась только затѣмъ, чтобы показать свой мужской костюмъ. Женщины тщеславны, и Ларошфуко (а можетъ-быть, и не онъ) сказалъ, что, если бы изобрѣсти удачный костюмъ для приговоренныхъ къ смертной казни, то много нашлось бы охотницъ итти на плаху, чтобы только примѣрить этотъ костюмъ.

— А что такое линялые косачи?—спрашивала Нина Александровна, еще не выходя изъ-за стола.—Почему линялые?

— Потому что весной косачи имѣютъ привычку линять...

— Это не отвѣтъ! Почему именно весной и именно косачи?..

Свенторжецкій началъ объяснять, что такое весеннее брачное оперенiе, а когда дошелъ до тока, то окончательно заврался и подъ конецъ замолчалъ самымъ дурацкимъ образомъ. Это вышло такъ смѣшно, что хохоталъ даже Тюринъ, говоря между нами—набитый дуракъ. Онъ, представьте себѣ, не вѣрилъ даже тому, что земля вертится и что она такая же круглая, какъ его глупая голова.

II.

Итакъ, ѣдемъ... Мужчины уѣхали на линейкѣ, а я попалъ въ экипажъ къ Нинѣ Александровнѣ. Она сама этого пожелала... Боже, какъ она была мила, и я не знаю другой женщины... впрочемъ, это въ сторону и къ дѣлу не относится. На козлахъ рядомъ съ кучеромъ сидѣлъ Ипатъ, любимый лѣсообъѣздчикъ Эйгера. Это былъ самый обыкновенный взлохмаченный мужичонка, ходившій на медвѣдя съ однимъ ножомъ. Дорогой онъ все потряхивалъ головой и чесалъ затылокъ.

— Ипатъ, ты что это головой-то трясешь какъ мячомъ?

— Да такъ, вашебродіе... Мѣстечко-то выбрали баринъ не совсѣмъ ладное: „Косые Ложки“ прозывается.

— Да чѣмъ оно неладное сдѣлалось? Далеко, что ли?

— Далеко-то оно не далеко, всего верстовъ съ двѣнадцать, а та въ ёмъ причина, что глаза быдто отводитъ... Блуживалъ я по этимъ „Косымъ Ложкамъ“ не однова.

Конечно, все это глупости: Ипатъ зналъ лѣсъ на сто верстъ, въ которую угодно сторону, какъ свои пять пальцевъ.

— Куда же отводитъ глаза?—спрашивала Нина Александровна.

— А ужъ куда доведется, барыня...

— И тебѣ отводило?

— Случалось.

Кто испытывалъ удовольствіе путешествовать съ хорошенькой женщиной, тотъ пойметъ, что я находился въ прекрасномъ расположеніи духа, хотя и долженъ былъ обдумывать нѣкоторыя фразы, прежде чѣмъ сказать ихъ. Что дѣлать, скверныя привычки „стараго солдата“ сказывались... А Нина Александровна такъ весело смѣялась всю дорогу, болтала безъ умолку и не давала мнѣ ни одной минуты покоя. Мое удовольствіе увеличивалось еще завистью ѣхавшихъ на линейкѣ.

Къ „Косымъ Ложкамъ“ съ торной дороги вела чуть замѣтная повертка, что-то въ родѣ покосной дороги. Версты чрезъ двѣ открылась лужайка, точно нарочно созданная для охотничьяго привала. Загорѣлся костеръ, застучалъ топоръ, потянуло дымкомъ—однимъ словомъ, вся поэзія такихъ охотничьихъ стоянокъ была налицо. Стояла вторая половина іюня, и косачи должны были бы „сдаться въ ягодники“, но лѣто было холодное, и они держались по рѣчнымъ уремамъ, въ кочкарникѣ и вообще въ лѣсной крѣпи. На жировкѣ попадались только исключенія. На привалѣ Нина Александровна сдѣлала подъ моимъ руководствомъ пробу легонькой бельгійской двухстволки,—мы бросали свои шапки, а она стрѣляла. Изъ всѣхъ этихъ шапокъ пострадала одна шляпа Свенторжецкаго. Собаки лаяли и подавали падавшую мишень.

Охота началась по плану. Эйгеръ опредѣлилъ всѣмъ, кто и куда долженъ итти.

— А главное, не упускай изъ виду Нины Александровны,—строго внушалъ онъ, грозя Ипату пальцемъ.—Понялъ?

— Какъ не понять, вашебродіе...

— Куда она, туда и ты... Понялъ?..

Ипатъ чесалъ затылокъ и косился на лѣсистую горку, раздѣлявшую „Косые Ложки“.

— Только и мѣстечко!—ворчалъ Ипатъ, когда Эйгеръ отошелъ.

Сказано—сдѣлано. Всѣ имѣли такой видъ, что заняты предстоящей охотой, а въ сущности слѣдили за Ниной Александровной, которая кокетничала своимъ мужскимъ костюмомъ. Такъ и разошлись. Хорошо... Иду я по своей линіи, бокъ-о-бокъ съ Ипатомъ, и рѣшительно ни на что не обращаю вниманія: говоря между нами, охотникомъ настоящимъ я уже не былъ тогда, да и послѣобѣденныя прогулки по чертолому—мое почтеніе... Попалось какихъ-то два линялыхъ косача, собака стойку, а я пропуделялъ. Слышу, влѣво отъ меня хлопъ-хлопъ. По голку слышу, что Нина Александровна тѣшится по моимъ косачамъ. Еще гдѣ-то хлопнулъ выстрѣлъ... Только и проклятое мѣстечко это Косые Ложки, недаромъ Ипатъ ругалъ ихъ! Болото не болото, а чортъ знаетъ что... Главное, все впередъ маниваетъ, — впереди-то лучше

все кажется. Эй-Богу, не лгу! Сколько время прошло — не умѣю сказать, но вижу я, что можно зернуться къ стану. Солнце уже за лѣсомъ. Повернулъ. Иду. Вдругъ навстрѣчу бѣжитъ Свенторжецкій и еще издали руками машетъ.

— Не видали Нины Александровны?

— Нѣтъ, она вотъ въ этой сторонѣ съ Ипатомъ...

— Позвольте, да вы куда теперь-то идете?

— На станъ...

— Перекреститесь, батенька! Какъ разъ наоборотъ, я иду на станъ... Однимъ словомъ, это все равно, а дѣло въ томъ, что Нина Александровна заблудилась. Вонъ Ипатъ бѣжитъ.

Дѣйствительно, бѣжитъ нашъ Ипатъ и тоже руками машетъ. Вотъ тебѣ разъ... Если я заблудился, такъ Нину Александровну Богъ проститъ. Собрались мы втроемъ и устроили совѣтъ, какъ быть: надо выручать нашу Діану. Ипатъ молчитъ, а самъ такой растерянный—боится Эйгера.

— Все на глазахъ ее держалъ, а тутъ какъ сквозь землю провалилась эта самая Ника Александровна... Ужо задастъ мнѣ баринъ за нее!.. Только и мѣстечко... Тьфу!

Посовѣтовались и разошлись на три стороны, чтобы кругомъ обойти Нину Александровну. Некуда ей дѣваться... Хорошо. Слышу, кто-то ужъ кличетъ ее: это Эйгеръ хватился сестры. Слышу, заоралъ Свенторжецкій, а Нина Александровна ни гу-гу. Крикнулъ я нѣсколько разъ—тоже. Скверно. Главное, солнце уже начало садиться, холодкомъ потянуло. Пошелъ я быстрѣе, чтобы свою линію обогнуть и сойтись съ Ипатомъ. Иду и вижу, что въ сторонѣ этакъ блеснула какъ будто поляна, а на полянѣ какъ будто Нина Александровна. Я туда—она отъ меня. Я кричу, а она бросила ружье и уже совсѣмъ бѣгомъ... Что за диво такое? Можетъ-быть, я помѣшалъ, чертъ возьми, но честью васъ увѣряю, что она на полянѣ была совершенно одна. Бѣжали, бѣжали, наконецъ я ее догналъ.

— Нина Александровна, голубушка, да вѣдь мы съ ногъ сбились, искавши васъ!..

Остановилась, смотритъ на меня, молчитъ, а сама вся трясется. Потомъ ужъ и говоритъ, что приняла меня за бродягу.

— Что же,—говорю я,—вы на голосъ-то не откликались?

Увѣряетъ, что откликалась. Конечно, женскій голосъ слабѣе, такъ мы могли и не слыхать. А я, знаете, доволенъ, что первый отыскалъ Нину Александровну, и совсѣмъ развеселился, точно призъ получилъ.

III.

— Послушайте, я ужасно устала,—призналась Нина Александровна.— Едва ноги передвигаю.

— Присядемте отдохнуть, а то давайте я васъ на рукахъ понесу...

— Вы съ ума сошли?

Вижу, дѣйствительно, моя барыня совсѣмъ раскисла: ни папы ни мамы, какъ говорится. Присѣли, отдохнули, надо итти, а она не можетъ. Что мнѣ съ ней дѣлать? Вотъ положеніе, скажу я вамъ, а въ лѣсу ужъ совсѣмъ начало темняться. Мало этого: сидитъ моя Нина Александровна и вдругъ какъ заплачетъ. Что такое?

— Боюсь...

— Кого?

— Медвѣдей боюсь, бродягъ боюсь...

— А я-то на что, голубушка?

— Да, я и забыла... Не обращайте вниманія на меня: это нервы.

Какъ это вамъ понравится? А время идетъ... Слышу, кричитъ Свенторжецкій—я ему отвѣчаю. Откликнулся и идетъ на мой голосъ. Вдвоемъ все-таки легче, авось что-нибудь придумаемъ: на носилкахъ нашу Діану вынесемъ изъ болота... Кричу я, знаете, а Свенторжецкій все ближе и ближе. Совсѣмъ у меня отлегло отъ сердца. Маленькій охотничій казусъ, общій смѣхъ, шутки и хорошій ужинъ. Только что бы вы думали: не дошелъ Свенторжецкій до насъ всего какихъ-нибудь шаговъ двѣсти и вдругъ повернулъ назадъ. Я ему кричу, а онъ претъ назадъ, и конецъ тому дѣлу. Что такое? Тутъ я, знаете, вышелъ изъ себя и сказалъ такое словечко, что моя Діана опять въ слезы.

— Вы гадкій человѣкъ, отвратительное созданіе. Наконецъ вы меня компрометируете.

Какъ это вамъ нравится? А въ лѣсу темно, чортъ возьми. Нечего дѣлать развелъ огонекъ, посадилъ Діану къ огню, а самъ опять кричать. Я кричу, а мнѣ откликаются уже нѣсколько голосовъ: очевидно, всѣ ищутъ Нину Александровну по этимъ проклятымъ „Косымъ Ложкамъ". Охрипъ я совсѣмъ, аппетитъ анаѳемскій, пить хочется—тьфу!.. Слышу, Ипатъ совсѣмъ близко, потомъ Эйгеръ съ другой стороны бредетъ. Прекрасно... И опять то же самое, какъ и Свенторжецкій: подошли и вернулись. Это ужъ, знаете, меня взорвало окончательно, а моя Діана спрашиваетъ меня:

— Послушайте, у меня голова разболѣлась отъ вашего крика... Будетъ вамъ. Вы любите бульонъ съ гренками? Да? И ветчину тоже? А какъ хорошо было бы теперь выпить чашку чаю съ густыми сливками... Я захватила съ собой и колбасы, и сыру, и половину индѣйки, но все это тамъ осталось... Мнѣ ужасно ѣсть хочется.

Смотрю: слезы. Прекрасно... А я ужъ чувствую, что у меня и глотку перехватило отъ крика, какъ у хорошаго цѣпного пса. Главное, оставить ее нельзя: боюсь, и кончено. Ночь засвѣжѣла, въ болотѣ сырость, надо огонь поддерживать, а я уже самъ изъ силъ выбился. Такъ-съ... Сидимъ мы такимъ манеромъ около огонька, смотрю я на свою Діану и думаю: „И что хорошаго мы всѣ находили въ ней? Рѣшительно ничего нѣтъ интереснаго,—самая обыкновенная бабенка и далеко не первой молодости даже". Тутъ мнѣ въ первый разъ мысль въ голову пришла: „Что она такое въ самомъ дѣлѣ—настоящая дѣвица? мужняя жена, разводка или вдовица?" Этимъ какъ-то раньше никто не интересовался: Нина Александровна—и все тутъ.

— Вы, пожалуйста, не волнуйтесь!—успокаиваетъ она меня.—Ну что жъ такое, переночуемъ здѣсь, а утромъ выйдемъ... Не вѣкъ же намъ въ лѣсу оставаться.

Могу сказать, выдалась хорошая ночка! Душу изъ меня всю выметала вотъ эта самая Нина Александровна: то ей холодно, то жарко, то она пауковъ боится (это въ лѣсу-то пауки!), то заставляетъ ей что-нибудь разсказывать. И сама болтаетъ со мной... Пока мы такъ сидѣли, нѣсколько разъ опять подходили къ намъ: сначала младшій Мѣшковъ, потомъ Свенторжецкій—подойдутъ и вернутся. Просто, попали мы въ какое-то заколдованное мѣсто.

— Помните, вы смѣялись давеча надъ Ипатомъ?—донимаетъ меня Нина Александровна.—Вотъ теперь и казнитесь... Впередъ будете знать, какъ глаза отводить!.. Знаете, давеча мнѣ показалось, когда я побѣжала отъ васъ что это были не вы, а Свенторжецкій.

— Да вѣдь вы сказали, что приняли меня за бродягу?

— Нисколько! А испугалась я Свенторжецкаго потому... потому... однимъ словомъ, онъ мнѣ немножко нравится, а тутъ одни въ лѣсу... я въ такомъ костюмѣ...

Вотъ такъ комплиментъ отвѣсила: Свенторжецкій нравится, и поэтому она испугалась его, а меня, вѣроятно, считала за какой-то чурбанъ... Мегго! Хоть кому непоздоровится отъ такой откровенности, тѣмъ болѣе, что я съ своей стороны имѣлъ глупость думать... ну, да это къ дѣлу не относится. Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, что̀ она такое: дѣвица или дама? Какъ будто и такъ и этакъ, а въ сущности ничего не разберешь. Раздумавшись, я пришелъ къ заключенію, что мое положеніе очень скверное; вернемся мы завтра домой, и мнѣ проходу не дадутъ разными намеками да шуточками, а я тутъ разыгрываю какого-то Иванушку-дурачка. Однимъ словомъ, даже обидно.

— Послушайте, вы были когда-нибудь влюблены?

— Да, немножко такъ...

— А кто она: дѣвушка или женщина? Блондинка, брюнетка?

— Она? Какъ вамъ сказать... Просто, она была легкомысленная женщина, потому что не могла отвѣчать на серьезное чувство.

— А глаза какіе у ней были?

— Глаза?..

— Надѣюсь, не слѣпая же она была?.. А вамъ нравятся глаза у Свенторжецкаго? Вообще въ немъ есть что-то такое особенное, какая-то сила... Вы замѣчали?..

— Гм... да...

И такъ до бѣлаго свѣта!.. Хорошо еще, что іюльскія ночи коротки. Когда разсвѣло, первое, что̀ бросилось мнѣ въ глаза—это дымъ, который валитъ очень недалеко отъ нашей стоянки. Вглядываюсь пристальнѣе—да вѣдь это въ той сторонѣ, гдѣ нашъ станъ. Разбудилъ я мою Діану, и мы отправились на дымъ, а черезъ полчаса были на мѣстѣ. Что̀ же оказалось: всѣмъ слышалось, что я кричалъ со стана—выйдутъ на станъ, а меня тамъ нѣтъ, и мой голосъ съ другой стороны наноситъ. Чортъ знаетъ, что̀ такое получилось! А Тюринъ имѣлъ нахальство даже итти и провѣрить мое показаніе, точно я кого-то обманывалъ. Но всего больше поразилъ меня самъ Эйгеръ. Этотъ хорошій товарищъ и милѣйшій человѣкъ отвелъ меня въ сторону и проговорилъ требовымъ тономъ:

— Я удивляюсь одному: за кого вы насъ всѣхъ принимаете? Другіе какъ хотятъ, а я не позволю, чтобы имя моей сестры служило мишенью для остротъ и двусмысленныхъ намековъ.

— Послушайте, да я-то при чемъ тутъ? Чистая случайность..

— Вы желаете повторить свою сказку? Это могла придумать Нина Александровна въ свое оправданіе, а вы-то стыдитесь повторять подобныя небылицы...

И т. д., и т. д., и т. д. Однимъ словомъ, черезъ два дня я сдѣлалъ предложеніе Нинѣ Александровнѣ, причемъ имѣлъ удовольствіе узнать, что она вдовушка. Черезъ полгода Нина Александровна была уже m-me Вараксина, а еще черезъ полгода она бѣжала съ Свенторжецкимъ. Дѣло прошлое, и я теперь могу отнестись ко всему совершенно безпристрастно, а потому и спрошу васъ, была ли хоть какая-нибудь логическая связь въ поступкахъ Нины Александровны? Никакой!.. Да и вообще, если разобрать, какъ и вся-то наша жизнь не что̀ иное, какъ тѣ же „Косые Ложки“, по которымъ мы постоянно блуждаемъ вкривь и вкось.

МЕДОВЫЯ РѢКИ.

1.

Въ одно мѣсто, къ одному человѣку, по одному дѣлу.

I.

Они жили въ Петербургѣ уже недѣли двѣ, занимая двѣ крошечныя комнатки въ пятомъ этажѣ громаднаго дома на Невскомъ. Три окна этихъ комнатъ выходили на дворъ, который сверху казался громаднымъ колодцемъ. Вадимъ, мальчикъ лѣтъ пятнадцати, по цѣлымъ часамъ смотрѣлъ на дно этого колодца, что̀ возмущало Анну Гавриловну.

— Ты или простудишься у окна, или свалишься,—говорила она сыну.

— Успокойтесь, пожалуйста, Анна Гавриловна,—раздражительно отвѣчалъ мальчикъ, называвшій мать всегда по имени и отечеству.

— Удивляюсь, что̀ тебя можетъ интересовать въ этой ямѣ...

— А вотъ, попробуйте, догадайтесь, Анна Гавриловна... Даже весьма поучительно.

Аннѣ Гавриловнѣ не нравилось выраженіе лица Вадима, которое у него являлось при разговорѣ съ ней,—въ немъ было столько желчи и какого-то скрытаго озлобленія, особенно въ выраженіи суженныхъ безцвѣтныхъ глазъ и въ конвульсивной улыбкѣ безкровныхъ тонкихъ губъ. Про себя Анна Гавриловна называла, припоминая школьные учебники, это выраженіе сардоническимъ. Еще хуже была скверная привычка Вадима смѣяться отрывистымъ, глуховатымъ смѣшкомъ, точно у него изъ горла выскакивали какія-то невидимыя пробки. Часто, глядя на сына, Анна Гавриловна никакъ не могла рѣшить вопроса, на кого онъ походитъ... Она была всегда полной и здоровой женщиной настоящаго русскаго склада—широкая въ кости, мясистая, жирная, съ короткой шеей и добродушнымъ, немного плоскимъ лицомъ.

„Это какой-то выродокъ“,—думала она про себя.

Оставалось отыскивать сходство съ отцомъ, но тутъ ужъ окончательно ничего не получалось. Отецъ такой плотный, кряжистый, съ тяжелой походкой откормленнаго животнаго, съ громкимъ, твердымъ голосомъ и раскатистымъ хохотомъ. Однимъ словомъ, полная противоположность пятнадцатилѣтнему заморышу, у котраго весь видъ былъ какой-то сѣрый, и даже его смѣхъ ей казался сѣрымъ.

Вадима никогда и ничто въ сущности не волновало, и онъ относился равнодушно рѣшительно ко всему на свѣтѣ, а кажется, ужъ онъ ли не видалъ всякой всячины, главнымъ образомъ въ Европѣ, гдѣ провелъ лучшіе свои годы. И послѣ чудесъ европейской культуры заинтересоваться какимъ-то дурацкимъ дворомъ-колодцемъ...

— Мнѣ кажется, Вадимъ, что ты не совсѣмъ здоровъ,—говорила ему Анна Гавриловна не безъ нѣкоторой ядовитости.

— Вы думаете, что я начинаю сходить съ ума? Нѣтъ, пока все обстоитъ благополучно. А нашъ дворъ—одна прелесть... Смотришь съ громадной высоты, а тамъ, гдѣ-то внизу, гдѣ и сыро и грязно, копошатся малюсенькія человѣческія личинки, тѣ живыя ничтожества, изъ которыхъ потомъ выростутъ большіе негодяи. Но природа по своему существу аристократична и крайне экономна, какъ настоящій богатый человѣкъ, а поэтому выбираетъ на разводку—Züchtung Нищше—только лучшіе экземпляры. Девяносто процентовъ личинокъ должны погибнуть. Развѣ это не интересно? Для меня нашъ дворъ является опытной зоологической станціей, гдѣ у меня на глазахъ день за днемъ угасаетъ жизнь маленькихъ личинокъ, потому что нѣтъ свѣта, тепла, воздуха... Я съ особеннымъ наслажденіемъ чувствую собственное существованіе, именно наблюдая этотъ процессъ уничтоженія себѣ подобныхъ. А какъ они борются за свое существованіе, какъ стараются прожить хоть одинъ лишній день—смѣшно смотрѣть съ моей освѣщенной высоты.

— Что̀ ты говоришь, Вадимъ?!.. Ты начинаешь корчить изъ себя какого-то сверхчеловѣка, именно корчить, а это противно, какъ все дѣланое, неестественное и крикливое.

— А вотъ почему вы такъ волнуетесь, Анна Гавриловна? Кто волнуется, тотъ не правъ... Вы всю жизнь боялись называть вещи ихъ настоящими именами и оправдывали собственное малодушіе разными добрыми чувствами. Развѣ это добро, если бы я соблаговолилъ спуститься на дно нашего двора-колодца и накормилъ человѣческихъ личинокъ? Это зло, потому что только продолжило бы агонію приговоренныхъ къ смерти...

— Тебѣ остается только примѣнить эту логику къ собственной драгоцѣнной особѣ...

— Что̀ же, я ничего не имѣю противъ этого и могу только удивляться вашей любезности, Анна Гавриловна, благодаря которой я имѣлъ удовольствіе появиться на свѣтъ. Право, не стоило... Впрочемъ, у каждаго своя точка зрѣнія, и я, кажется, довольно невѣжливо вмѣшиваюсь въ ваши дѣла, хотя немножко и заинтересованъ въ нихъ, какъ потерпѣвшее лицо. По-моему, даже какъ будто невѣжливо вызывать къ жизни человѣка, предварительно не спросивъ его, желаетъ ли еще онъ жить въ этомъ лучшемъ изъ міровъ...

— Вадимъ, ты просто дерзкій мальчишка!

— Ну, вотъ это, по крайней мѣрѣ, логично, т.-е. то, что вы сердитесь на собственное неудачное произведеніе.

— Господи, что̀ онъ говоритъ?!.. Что̀ онъ говоритъ?!..

— Чтобы быть на вершинѣ логики, Анна Гавриловна, вамъ остается только уронить слезу...

И такіе разговоры каждый день, утомительные, безсодержательные, съ одними и тѣми же словами, какъ капли дождя. Анна Гавриловна приходила въ полное отчаяніе и старалась не раздражать сына. Впрочемъ, все это было только днемъ, а вечеромъ мальчикъ дѣлался такимъ задумчивымъ, покорнымъ и даже ласковымъ. Онъ слишкомъ много читалъ, и Анна Гавриловна старалась прятать отъ него книги. Для своихъ лѣтъ онъ и безъ того былъ слишкомъ развитъ, что̀ начинало пугать мать. Хилая физическая оболочка оказывалась тѣсной для преждевременно созрѣвшей мысли. Заграничные врачи давно запретили всякія занятія, объясняя болѣзненность умственнымъ переутомленіемъ.

— Какъ это остроумно,—иронизировалъ Вадимъ въ качествѣ благодарнаго паціента.—Переутомленіе человѣка, который еще и не думалъ работать...

Вадимъ лѣчился въ Америкѣ, въ Англіи, въ Италіи, въ Германіи у всѣхъ знаменитостей и по всѣмъ послѣднимъ словамъ науки, до гипнотизма включительно. И все было безплодно. Неизвѣстная болѣзнь не поддавалась никакому лѣченію. Это было что-то таинственное и упорно-жестокое.

— Любящая мать и больное дитя,—резюмировалъ Вадимъ свое положеніе.—Картинка недурная...

Онъ говорилъ по-русски немного съ акцентомъ и очень неохотно, предпочитая англійскій языкъ. Вообще, къ Россіи онъ относился отрицательно и постоянно дразнилъ мать „любезнымъ отечествомъ“.

— Европейцы только еще начинаютъ открывать Россію, Анна Гавриловна, и признаютъ ея существованіе только изъ вѣжливости. Собственно говоря, это любезное отечество придумано Петромъ Великимъ...

Анна Гавриловна вернулась съ сыномъ въ Россію послѣ пятнадцатилѣтняго отсутствія по двумъ основательнымъ причинамъ, именно: одно европейское медицинское свѣтило, какъ послѣднее средство, посовѣтовало „лѣчить мальчика родиной“, а потомъ сама Анна Гавриловна послѣ горькаго опыта различныхъ скитаній рѣшила, что Вадиму пора сдѣлаться настоящимъ русскимъ человѣкомъ. Была еще третья причина, можетъ-быть, самая главная, но о ней Анна Гавриловна боялась признаться даже самой себѣ.

I.

По вечерамъ, когда Невскій тонулъ въ синеватой лихорадочной мглѣ электрическаго освѣщенія, Анну Гавриловну охватывало какое-то жуткое безпокойство. Вадимъ отлично это видѣлъ и говорилъ одну и ту же фразу:

— Въ одно мѣсто, къ одному человѣку, по одному дѣлу, Анна Гавриловна? Идите, пожалуйста, я васъ не желаю стѣснять...

Анна Гавриловна почему-то считала нужнымъ конфузиться, даже немного краснѣла и начинала оправдываться виноватымъ голосомъ.

— Ты ничего не понимаешь, Вадимъ, и для тебя, конечно, смѣшно, что я немного волнуюсь. Вѣдь здѣсь, въ Петербургѣ, прошли мои лучшіе годы, молодость, все, все... А сколько было тогда хорошихъ людей!.. Какъ мнѣ тебя жаль, что ты никогда ничего подобнаго не испыталъ и едва ли въ состояніи даже испытать... Тебѣ смѣшно, что я разыскиваю своихъ старыхъ знакомыхъ... и никого не могу найти... Много ихъ умерло, другіе далеко...

— Анна Гавриловна, уроните слезу...

— Негодный мальчишка!—бранилась Анна Гавриловна, отвертываясь къ окну, чтобы скрыть слезы.—У тебя нѣтъ сердца... и у тебя не будетъ ни одной свѣтлой минуты въ жизни. Мнѣ даже страшно подумать, несчастный, о твоемъ будущемъ...

Разъ вечеромъ Анна Гавриловна вернулась такая взволнованная, счастливая, съ красными пятнами на лицѣ.

— Америка открыта во второй разъ?—спросилъ Вадимъ.

— Да, да, злой мальчишка...—улыбаясь и задыхаясь отъ волненія, отвѣтила Анна Гавриловна.—Я ее наконецъ нашла...

— Америку?

— Я тебѣ надеру уши, негодному мальчишкѣ... Помнишь Женю Парвову? То-есть ты, конечно, ее не могъ видѣть... да... А я постоянно о ней тебѣ говорила. Это удивительная, единственная, рѣдкая женщина... Боже мой, какъ я счастлива..

Вадимъ только пожалъ своими узкими, худенькими плечами и презрительно фыркнулъ. Но Анна Гавриловна уже ничего не замѣчала, а, схвативъ

его за руку, продолжала торопливо, неудержимо, точно боялась потерять нить своихъ бурливыхъ мыслей.

— Понимаешь: мы съ ней вмѣстѣ поступили на курсы. Нашъ былъ первый выпускъ... Она южанка, бойкая, остроумная, рѣзкая. На курсахъ ее называли Колючкой... Ахъ, какая она уморительная! И добрая-добрая... Мы ужасно любили другъ друга... вмѣстѣ готовились къ экзаменамъ, спорили, ссорились, мирились... Да вотъ ты самъ увидишь, какой это чудный человѣкъ. Я рада за тебя, что наконецъ ты увидишь настоящаго человѣка... Да, настоящаго. У Жени каждое слово—золото...

Колючка явилась на другой день къ завтраку, и Вадимъ слышалъ, какъ мать съ гостьей цѣловались въ передней, точно сумасшедшія. Онъ впередъ возненавидѣлъ эту „единственную женщину", которая сейчасъ, прерывая каждое слово поцѣлуемъ, говорила:

— Я... ангелочикъ... голодна... какъ волкъ...

— Ахъ, мы, Колючка, позавтракаемъ по-студенчески... Помнишь, какъ мы завтракали тогда на Бармалеевой улицѣ, на Петербургской сторонѣ? Колбаса въ бумажкѣ, двѣ миноги въ бумажкѣ, кусочекъ горькаго дешеваго сыру въ бумажкѣ... Двѣ миноги въ бумажкѣ, два соленыхъ огурца въ бумажкѣ... ахъ, какъ было все хорошо!..

Опять поцѣлуи, какой-то восторженный шопотъ, безпричинный смѣхъ и тотъ неудержимый дамскій разговоръ, когда женщины говорятъ за-разъ и не желаютъ слушать другъ друга. Вадимъ замѣтилъ, что Колючка каждую фразу начинаетъ съ „я", и окончательно ее возненавидѣлъ.

— А вотъ и мой неудавшійся сверхчеловѣкъ,—говорила Анна Гавриловна, впячиваясь изъ передней въ комнату спиной.

Колючка была худенькая черноволосая дама съ черными усиками. Длинный носъ и сросшіяся густыя брови придавали ея сохранившемуся лицу жесткое выраженіе, а крупный ротъ и ярко-бѣлые зубы усиливали это впечатлѣніе. Одѣта она была почти изысканно: черное шелковое платье, черная модная высокая шляпа съ перьями, черныя перчатки и т. д. На рукахъ были браслеты, сѣрый длинный галстухъ застегнутъ брильянтовой булавкой, въ темныхъ волнистыхъ волосахъ блестѣли двѣ золотыхъ шпильки съ настоящими жемчугами — однимъ словомъ, полная противоположность Аннѣ Гавриловнѣ, которая не особенно обращала на свою особу вниманіе.

— Я очень рада познакомиться съ твоимъ сверхчеловѣкомъ,—проговорила Колючка, надѣвая золотое пенснэ и протягивая Вадиму свою руку въ перчаткѣ.

— Онъ у меня порядочный дикарь,—извинялась Анна Гавриловна, когда Вадимъ не отвѣтилъ гостьѣ ни однимъ звукомъ.

Колючка смотрѣла на Вадима прищуренными глазами и неизвѣстно чему улыбалась, что̀ было уже совсѣмъ противно.

Анна Гавриловна еще утромъ сама сбѣгала въ мелочную лавочку и принесла всѣ закуски „въ бумажкѣ". Самоваръ тоже былъ заказанъ впередъ. Однимъ словомъ, выполненъ былъ весь репертуаръ студенческаго угощенія, хотя гостья, повидимому, и не раздѣляла восторговъ хозяйки въ этомъ направленіи. Она какъ-то брезгливо посмотрѣла на закуски „въ бумажкѣ" и проговорила, снимая медленно перчатки:

— Я, признаться, отвыкла уже отъ такой роскоши... А ты осталась все такая же восторженная...

Анну Гавриловну немножко огорчило, что гостья отнеслась почти брезгливо къ ея стильному завтраку. Колючка замѣтно важничала, что̀ ее коль-

нуло. Какъ будто даже и совсѣмъ не Колючка, а grande dame изъ театра. Впрочемъ, это непріятное впечатлѣніе скоро сгладилось, потому что начались непрестанныя воспоминанія о старыхъ знакомыхъ, причемъ обѣ замѣтно волновались. Вадимъ узналъ массу новыхъ, очень странныхъ именъ: Сорокоумъ, Петька Вѣтеръ, Гетманъ, Большакъ, Поденка, Пленира, Ниточка и т. д.

— А Петька Вѣтеръ—да ты его и не узнаешь,—разсказывала Колючка.—Громадный имѣетъ успѣхъ... Вѣдь онъ сдѣлался моднымъ дамскимъ докторомъ и катается на собственныхъ рысакахъ. Да, да... Ужасно важничаетъ. Какъ-то ѣду на извозчикѣ, такъ онъ чуть не смялъ меня. Я страшно перепугалась и хотѣла обругать нахала, а оглянулась—Петька... Кучеръ—какое-то чудовище, и на спинѣ у него часы. Послѣднее меня уже окончательно взорвало, и я даже плюнула. Помилуйте, какая важная персона, подумаешь, каждая минута на счету...

Анна Гавриловна слушала этотъ разсказъ, ощипывая салфетку, и, подавивъ невольный вздохъ, спросила:

— А ты такъ и не вышла замужъ?

— Я? Замужъ?—какъ-то дѣланно засмѣялась Колючка.—Нѣтъ, до этого, слава Богу, не дошло... Пока устраивалась—некогда было, а потомъ ужъ время ушло.

Дамы переглянулись и вынужденно замолчали,—очевидно, присутствіе Вадима стѣсняло необходимую для воспоминаній свободу. Потомъ обѣ улыбнулись безъ всякой для того побудительной причины.

— Да, я кое-что слышала,—продолжала Анна Гавриловна какую-то недосказанную мысль.—Много воды утекло, а сознаться не хочется, что состарилась и многаго уже не понимаешь... Роли перемѣнились: изъ дѣтей мы перешли въ отцы.

— Я не согласна стариться!—энергично протестовала Колючка.—Старость—предразсудокъ... Женщины просто распускаютъ себя. Посмотри на мужчинъ—они ужъ потому умнѣе насъ, бабъ, что всегда считаютъ себя молодыми.

Вульгарное слово „бабы“ сорвалось у Колючки нечаянно, какъ дань далекому прошлому, когда Петька Вѣтеръ называлъ всѣхъ курсистокъ бабами, а женскій вопросъ—бабьимъ.

— Эротическая старушка,—резюмировалъ Вадимъ свои впечатлѣнія, когда Колючка ушла.—А вмѣстѣ вы типичные экземпляры старушенцій отъ либерализма въ отставкѣ...

Анна Гавриловна терпѣть не могла, когда Вадимъ употреблялъ слово „либерализмъ“ въ ироническомъ смыслѣ, и обиженно замолчала, а потомъ, сдѣлавъ паузу, вызывающе проговорила:

— Для тебя Колючка эротическая старушка, а для другихъ она докторъ медицины...

III.

Анна Гавриловна даже не могла думать, что эта поѣздка въ Петербургъ для нея будетъ такъ мучительна. Этотъ „блестящій“ городъ казался ей сейчасъ громаднымъ кладбищемъ, въ которомъ для нея лично было похоронено столько хорошаго, честнаго, святого... А главное, именно здѣсь похоронены были золотые сны вѣрующей юности, лучшія мечты и несбывшіяся надежды. Ея собственный сынъ съ ироніей бросаетъ ей прямо въ лицо дорогое для нея слово „либерализмъ“, надъ которымъ теперь глумятся всѣ ренегаты и вся уличная пресса. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, это смѣшно: либерализмъ... Надъ

этимъ словомъ хихикаютъ изъ каждой литературной подворотни. Но всего тяжелѣе были эти живые покойники, которые продали за чечевичную похлебку успѣха свое недавнее первородство. Сколько было такихъ знакомыхъ ей именъ въ наукѣ, литературѣ и на всѣхъ ступеняхъ общественной дѣятельности. Оставалась вѣрной идеаламъ юности очень небольшая кучка людей, забившихся по своимъ угламъ, откуда ихъ голоса раздавались все рѣже и рѣже. Вѣдь это ужасно, если разобрать все разумно и всѣ вещи назвать ихъ собственными именами. Это даже не недородъ хорошихъ людей, а разрастающаяся пустыня, по которой бродитъ стая хищниковъ...

Анна Гавриловна не одинъ разъ плакала, до того ее огорчало все окружающее. Даже Колючка, милая, хорошая Колючка, и та измѣнилась настолько, что никакъ не могла понять ея огорченія.

— Я рѣшительно не понимаю, что̀ тутъ такого особеннаго?—удивлялась Колючка.—Время идетъ, и все кругомъ измѣняется. Естественный законъ, по которому и мы съ тобой уже не тѣ фантазерки, какими были двадцать лѣтъ тому назадъ...

— Нѣтъ, это ужъ ты оставь, пожалуйста: я все такая же и такой умру.

Колючка загадочно улыбалась и умолкала, не желая спорить. Вѣдь и время горячихъ молодыхъ споровъ тоже прошло... Она смотрѣла на Анну Гавриловну такими глазами, какими смотрятъ на упрямыхъ дѣтей. Анна Гавриловна безъ словъ понимала это отношеніе къ ней старой подруги, но старалась не думать, что Колючка уже больше не Колючка.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты такая же осталась, какой была,—увѣряла она съ трогательной настойчивостью—Это скверная петербургская привычка непремѣнно напускать на себя что-то такое... Пожалуйста, брось эту скверную манеру.

— Я говорю только одно, что съ фактами, моя милая, нельзя спорить. Я просто не желаю себя обманывать—и только.

Многое въ поведеніи Колючки для Анны Гавриловны оставалось непонятнымъ, до ея отношенія къ Вадиму включительно. Достаточно сказать, что Колючка сошлась съ Вадимомъ, и этотъ нелюдимъ, избѣгавшій общества, оживлялся въ ея присутствіи и постоянно о чемъ-нибудь спорилъ. Колючка называла его по студенческой привычкѣ къ кличкамъ—„мой сверхчеловѣчикъ". Они даже сошлись скоро „на ты", и Анна Гавриловна никакъ не могла объяснить себѣ такого быстраго сближенія. Колючка хохотала до слезъ, когда узнала, что Вадимъ называетъ ихъ „старушенціями въ отставкѣ отъ либерализма".

— Я и сама начинаю то же думать,—говорила она.—Конечно, старушонки... И пресмѣшныя старушонки, если говорить серьезно.

У Колючки была привычка подшучивать надъ всѣмъ и, главнымъ образомъ, надъ самой собой, что̀, повидимому, Вадиму и нравилось больше всего. Впрочемъ, иногда на Колючку нападали минуты какого-то молчаливаго отчаянія, и она объясняла, что ею овладѣлъ злой духъ.

— Милый сверхчеловѣчикъ, это очень скверное состояніе... Начинаешь ненавидѣть самого себя, какъ, вѣроятно, ненавидитъ себя игрокъ, когда проснется утромъ послѣ жестокаго проигрыша.

Анна Гавриловнѣ не нравились именно такіе покаянные разговоры, и она боялась, какъ бы Колючка въ порывѣ откровенности не сказала чего-нибудь лишняго, чего Вадимъ не долженъ былъ знать.

А такое обстоятельство было, и Вадимъ, конечно, зналъ, что о немъ можетъ ему сообщить только одна Колючка. Самъ онъ никогда не спрашивалъ

мать объ этой семейной тайнѣ, и только разъ она нашла на своемъ письменномъ столѣ вырѣзку изъ какой-то газеты, гдѣ приводился текстъ японской дѣтской пѣсенки, въ которой говорилось, что на свѣтѣ четыре странныхъ и непонятныхъ вещи: вѣтеръ, огонь, землетрясеніе и отецъ. Ребенкомъ Вадимъ иногда спрашивалъ:

— А гдѣ мой папа? У всѣхъ дѣтей есть папа...

— Твой папа далеко,—уклончиво отвѣчала Анна Гавриловна, стараясь перевести неловкій разговоръ на какую-нибудь другую тему.

Иногда Анна Гавриловна чувствовала на себѣ испытующій, пристальный взглядъ Вадима и понимала, что онъ думаетъ объ отцѣ, который до сихъ поръ для него былъ „далеко". Сверхчеловѣчикъ по дѣтскому инстинкту догадывался, что этотъ таинственный отецъ здѣсь, въ Петербургѣ, и что они какъ-нибудь встрѣтятся. Послѣдняго Анна Гавриловна и боялась и въ то же время желала. Разъ, когда Колючка что-то разсказывала объ общихъ знакомыхъ и въ томъ числѣ о Петькѣ Вѣтрѣ, у Анны Гавриловны захолонуло на душѣ,—Вадимъ смотрѣлъ на нее такимъ тяжелымъ и нехорошимъ взглядомъ. Она не выдержала и убѣжала въ другую комнату, чтобы скрыть ненужныя бабьи слезы.

Все это ужасно волновало Анну Гавриловну, и она тысячу разъ перебирала свое прошлое, точно старалась оправдаться передъ самой собой. Да, она сдѣлала одну изъ тѣхъ грустныхъ ошибокъ, которыя отравляютъ всю жизнь. Но вѣдь она не побоялась послѣдствій и всю жизнь отдала своему ребенку. Боже мой, какъ она мучилась тоской по родинѣ, живя за границей, но вернуться не могла, пока были живы отецъ и мать. Они ничего не должны были знать, особенно отецъ, суровый и педантичный человѣкъ, который не умѣлъ прощать. О, какъ она тосковала о своей милой Тамбовской губерніи, какъ рвалась туда всей душой—и должна была оставаться за границей. А тутъ еще постоянныя письма съ родины, умолявшія вернуться, чтобы провести послѣдніе годы въ родномъ гнѣздѣ. Съ Вадимомъ она не могла пріѣхать, а бросить его—тѣмъ болѣе. Это была вѣчная мука, тянувшаяся изъ года въ годъ, какъ тяжелый кошмаръ. Былъ моментъ, когда въ минуту отчаянія она написала все отцу Вадима, и тотъ предложилъ ей „въ интересахъ восходящей линіи" фиктивный бракъ, но отъ этой милостыни она отказалась съ чисто-женскимъ героизмомъ. Достаточно было одной ошибки, за которой оставалась жизнь искренность, а покрывать эту ошибку обманомъ было выше ея силъ. Она не могла этого сдѣлать по своей натурѣ, не выносившей лжи. Для Анны Гавриловны всякая ложь являлась самой ужасной вещью на свѣтѣ, и она по своей натурѣ никогда не могла лгать.

Какъ, въ самомъ дѣлѣ, складывается жизнь. Аннѣ Гавриловнѣ часто бывало жаль самой себя до слезъ. Вѣдь она, такая простая, любящая и хорошая, могла бы прожить совершенно иначе. Но какая-то слѣпая стихійная сила все изломала, испортила и исковеркала. Положимъ, счастливыхъ людей не особенно много на свѣтѣ, но они все-таки есть. Она особенно завидовала старикамъ. Идетъ такая сѣденькая парочка и непремѣнно подъ ручку. Вотъ эти мудрецы умѣли пройти бурное море жизни рука объ руку и сохранили до глубокой старости согрѣвающую теплоту молодого чувства. Она и себя видѣла такой же сѣденькой старушкой, видѣла свое неосуществившееся гнѣздо гдѣ-нибудь тамъ, въ далекой, милой, родной безконечной глуши, видѣла даже тѣ книги, которыя посадила бы своими руками въ молодости и въ тѣни которыхъ играли бы ея внуки... Она какъ-то особенно всегда любила дѣвочекъ, и ея старшей дочери было бы уже лѣтъ тридцать. И ничего, ничего... Какая-то

могучая волна оторвала ее отъ родного берега и на всю жизнь унесла въ чужую, непріютную и холодную даль. А тутъ еще сверхчеловѣчикъ Вадимъ, о будущемъ котораго она боялась даже думать.

IV.

Колючка была своимъ человѣкомъ въ Петербургѣ и ввела Анну Гавриловну въ дома, гдѣ собиралась молодежь. Именно эта русская молодежь ее интересовала больше всего, и она впередъ волновалась. За границей она жадно слѣдила по газетамъ за новымъ поколѣніемъ, но никакого опредѣленнаго впечатлѣнія не получалось. Нападки нѣкоторой части печати на молодежь даже ее не возмущали,—конечно, и среди молодежи встрѣчаются типы несимпатичнаго характера, но по исключеніямъ нельзя судить о цѣломъ. Совсѣмъ другое дѣло въ общемъ тонѣ, въ господствующемъ настроеніи и конечныхъ задачахъ, какія создаются извѣстнымъ временемъ. Побывавъ на нѣсколькихъ собраніяхъ, Анна Гавриловна вынесла странное впечатлѣніе, именно, что она совершенно чужая среди этой молодежи. Да, чужая, что̀ и какъ ни говорите. Дѣло не въ марксизмѣ и не въ ницшеніанствѣ, а въ болѣе сложныхъ и болѣе глубокихъ причинахъ.

— Наша съ тобой пѣсенка спѣта,—резюмировала съ обычной ироніей Колючка.—Раньше были просто отцы и дѣти, тоже не понимавшіе другъ друга, а теперь отцы, т.-е. мы, и господа дѣти... Ты обратила вниманіе, съ какой обидной снисходительностью они относятся къ намъ?

— Ну, ты это уже преувеличиваешь... Вещь самая простая: то было наше время, а сейчасъ другое. Очень естественно, что молодежь идетъ своей дорогой впередъ...

— Ты, милая, только оправдываешься передъ самой собой, какъ оправдываются люди, которые не хотятъ признаться въ собственной старости, выморочности и отставкѣ по предѣльному возрасту.

— Перестань, пожалуйста... Я этого не люблю, т.-е. такой болтовни.

— А я такъ давно примирилась съ ролью благородной свидѣтельницы и ничѣмъ не огорчаюсь. Что̀ же, намъ тлѣть, а имъ цвѣсти—ergo, всякому овощу свое время.

Колючка, вообще, точно наслаждалась, огорчая старую подругу. Вѣдь время вотъ такихъ восторженныхъ давно прошло, а она все еще ищетъ восторговъ...

Разъ, возвращаясь съ одного изъ „идейныхъ“ обѣдовъ, гдѣ было много горячихъ споровъ и восторженныхъ словъ, Анна Гавриловна была въ особенно грустномъ настроеніи безъ всякой побудительной причины. Ей казалось, что она уже начинаетъ многое понимать—и все-таки было грустно. Погода была въ тонъ этому настроенію. Сѣялъ назойливый осенній дождь, мелкій, какъ пыль. Электрическіе фонари съ трудомъ боролись съ надвигавшейся сырой мглой. По тротуарамъ въ какомъ-то молчаливомъ отчаяніи торопливо шли пѣшеходы съ такимъ выраженіемъ лицъ, точно каждый далъ себѣ слово покончить жизнь самоубійствомъ. Такихъ же самоубійцъ везли извозчики, иззябшіе, суровые, обмѣнивавшіеся при встрѣчахъ и объѣздахъ непутными словами. Неосвѣщенныя окна домовъ казались глазными впадинами въ черепѣ какого-то многоглазаго чудовища. Вообще, все было скверно.

На подъѣздѣ швейцаръ Павелъ предупредилъ Анну Гавриловну, что ее „дожидаетъ“ какой-то господинъ.

— Вѣроятно, ты что-нибудь перепуталъ,—довольно сурово отвѣтила Анна Гавриловна.

— Никакъ нѣтъ-съ... Вотъ и собственная ихная лошадь стоитъ у подъѣзда. Еще кучеръ съ часами на спинѣ...

У Анны Гавриловны заходили темные круги передъ глазами, и она едва имѣла силы спросить, давно ли пріѣхалъ этотъ господинъ?

— Да ужъ близко полчаса будетъ...

Швейцара Анна Павловна не любила, потому что, какъ ей казалось, онъ ея не уважалъ. Про себя она по старинной студенческой терминологіи называла его „неразвитымъ субъектомъ", какъ и хозяйку своихъ меблированныхъ комнатъ.

„Это *онъ*... — въ ужасѣ думала Анна Гавриловна, поднимаясь наверхъ съ такимъ трудомъ, точно на нее навалили десятипудовую гирю.—Что онъ можетъ дѣлать тамъ цѣлыхъ полчаса? Могъ бы предупредить... Вадимъ наговоритъ не знаю что... А тутъ еще Колючка хотѣла завернуть. А можетъ-быть, это она и устроила такой дикій сюрпризъ..."

Сегодня лѣстница оказалась вдвое выше обыкновеннаго, и Анна Гавриловна нѣсколько разъ принуждена была отдыхать.

Петръ Васильичъ Арбузовъ сидѣлъ за чайнымъ столомъ, прихлебывая изъ стакана остывшій чай съ лимономъ, и, какъ всегда, находился въ самомъ отличномъ настроеніи. Его нескладная, но сильная фигура, неправильное лицо съ мягкимъ носомъ и выпуклыми, близорукими глазами неопредѣленнаго цвѣта, его свѣжій голосъ и раскатистый смѣхъ—все соотвѣтствовало веселому настроенію, точно для этого было создано. Одѣтъ онъ былъ изысканно, но костюмъ, сшитый у лучшаго портного, сидѣлъ на немъ, точно былъ взятъ съ чужого плеча.

Вадимъ ходилъ по комнатѣ, заложивъ руки за спину, и нѣсколько разъ проговорилъ:

— Удивительно жизнерадостный характеръ у васъ, Василій Петровичъ.

— Петръ Васильичъ... Что же, это хорошо. Будьте добры, молодой человѣкъ, повернитесь въ профиль... такъ, такъ... Ну, а теперь смотрите на меня прямо и старайтесь припомнить что-нибудь самое смѣшное или самое грустное... Ахъ, не то! Поднимите немного голову и прищурьте лѣвый глазъ... Вотъ такъ. Отлично... А если бы вы опустили лѣвый уголъ рта и свели оба глаза къ носу... Не умѣете? Ну, все равно...

— Послушайте, Василій Петровичъ, это наконецъ смѣшно...

— Петръ Васильичъ... А если вы закроете глаза и поднимете правую ногу?

Раздѣваясь въ передней, Анна Гавриловна слышала, какъ Арбузовъ совѣтовалъ Вадиму сдѣлать языкъ трубочкой и что-то еще такое, а Вадимъ хохоталъ и говорилъ:

— Удивительно веселый у васъ характеръ, докторъ... Вы дѣлаете мнѣ испытаніе, какъ идіоту.

— Быть веселымъ заставляетъ меня моя профессія, а что касается идіотства...

Онъ въ первую минуту не узналъ Анны Гавриловны, которая показалась ему совсѣмъ старухой. Она его узнала и удивилась, что онъ почти не измѣнился и только обросъ большой бородой песочнаго цвѣта. Онъ подошелъ къ ней и поцѣловалъ руку.

— Какъ я радъ васъ видѣть, Анюта... т.-е. Анна Гавриловна. Какъ только узналъ вашъ адресъ, я сейчасъ же пріѣхалъ. Мы тутъ съ вашимъ сыномъ продѣлали нѣсколько медицинскихъ упражненій...

Она не знала, что ей говорить, и только смотрѣла на него испуганными

глазами. Вадимъ повернулся и ушелъ въ свою комнату. Арбузовъ продолжалъ что-то говорить и нѣсколько разъ бралъ ее за руку.

— А вѣдь я часто вспоминалъ васъ,—говорилъ онъ.—Да... Гдѣ вы? Что вы дѣлаете? Какъ вы живете? Да...

— И я... я тоже... Садитесь, пожалуйста. Не хотите ли чаю?

Живя за границей, Анна Гавриловна часто думала о возможности этой встрѣчи и про себя составляла длиннѣйшіе монологи. О, какъ ей много было нужно сказать *этому* человѣку, вылить душу, наконецъ просто выплакаться по-бабьи. Никакихъ нехорошихъ и злыхъ чувствъ по отношенію къ нему она не питала, а обвиняла во всемъ только одну себя. И вотъ онъ стоитъ передъ ней, смотритъ ей въ глаза, держитъ ея руку въ своей, а у нея нѣтъ ни одного слова для него.

— Садитесь, пожалуйста... Не хотите ли чаю? — машинально повторила она.

— Да, давненько мы не видались,—повторялъ онъ, поднося ко рту пустой стаканъ.

Наступила неловкая пауза. Оба напрасно подыскивали слова, пока Анна Гавриловна не нашлась.

— Какъ вы нашли Вадима?

Онъ издалъ неопредѣленный звукъ, вытянувъ губы, поднялъ брови и вполголоса отвѣтилъ:

— Тутъ все кончено... навязчивыя идеи... Но это еще только начало. Да... У него мозгъ походитъ на кусокъ хорошаго стараго рокфора...

— Никакой надежды?—тихо спросила она.

— Я не хочу васъ обманывать: ни малѣйшей...

Анна Гавриловна заплакала тихо и безутѣшно. Онъ поднялся и началъ шагать по комнатѣ. Какъ всѣ безхарактерные люди, онъ не выносилъ женскихъ слезъ.

V.

Колючка застала хозяйку и гостя за тѣмъ же чайнымъ столомъ. У Анны Гавриловны еще оставались слѣды слезъ на лицѣ. Арбузовъ вынужденно улыбался, здороваясь съ гостьей.

— Я вамъ не помѣшаю?—спрашивала Колючка.

— Нисколько,—совершенно спокойно отвѣтила Анна Гавриловна.—Мы тутъ болтали о разныхъ пустякахъ.

— Вотъ и отлично,—согласилась гостья.—Я тоже сегодня въ болтливомъ настроеніи...

— Кажется, это у васъ обычное настроеніе?—весело замѣтилъ Арбузовъ.

— Нельзя ли безъ дерзостей, милостивый государь? Притомъ, васъ ждетъ вашъ великолѣпный кучеръ съ часами на спинѣ... Вотъ подите: не могу я видѣть такихъ кучеровъ. Такъ меня и подмываетъ сказать владѣльцу такого кучера, что онъ, т.-е. владѣлецъ, а не кучеръ,—напрасно смѣшитъ публику, чтобы не сказать больше.

— Для начала недурно...

Колючка и Арбузовъ пикировались постоянно еще во времена студенчества и сразу попали въ этотъ тонъ. Анна Гавриловна слушала ихъ, но ничего не понимала. Ей не нравилось кокетство, съ какимъ держала себя Колючка— раньше этого не было. Потомъ эта безпредметная болтовня уже совсѣмъ не соотвѣтствовала ея настроенію. А Колючка играла глазами, заливалась дѣланымъ смѣхомъ и разъ даже ударила Арбузова перчаткой по рукѣ.

„Зачѣмъ они тутъ сидятъ?“—удивлялась Анна Гавриловна,—у нея въ головѣ, какъ молотки, стучали слова Арбузова, приговорившаго Вадима къ смерти.

Родной отецъ и такъ безсердечно, съ научнымъ безпристрастіемъ вынесъ смертный приговоръ. Какъ это ужасно... И она когда-то вѣрила вотъ этимъ глазамъ, этому голосу, этой улыбкѣ—вѣрила и была счастлива, т.-е. увѣряла себя, что счастлива. Для полноты этого счастья недоставало только того, чтобы ихъ навѣки разлучила роковая волна, забросившая ее на далекій востокъ, а потомъ за границу. Онъ, кажется, не долго горевалъ и скоро утѣшился въ обществѣ другихъ женщинъ, которымъ она не завидовала ни на одну минуту. Глядя теперь на Арбузова, она не могла себѣ представить, что̀ могло ее увлечь. Вѣдь были и другіе люди, такіе хорошіе, честные и смѣлые. Да, ей выпалъ неудачный померъ въ жизни—и больше ничего.

— Какую ты муху проглотила сегодня?—шутила Колючка, обнимая Анну Гавриловну.

— Нѣтъ, мнѣ ужъ не до мухъ,—съ раздраженіемъ отвѣтила Анна Гавриловна.—Не всякій можетъ быть веселымъ, какъ ты или Петръ Васильичъ...

— Это значитъ, что мнѣ пора убираться,—перевелъ Арбузовъ.—Мадамъ сердится, мадамъ не въ духѣ... Ахъ, какъ я хорошо выучилъ эту науку!

Арбузовъ имѣлъ дурную привычку прощаться по десяти разъ, потомъ разговаривалъ въ передней и даже возвращался съ лѣстницы, чтобы сказать еще нѣсколько словъ. Однимъ словомъ, выпроводить такого гостя не легко, и Анна Гавриловна была рада, когда онъ наконецъ ушелъ. Она испытывала какую-то смертную истому, какъ человѣкъ, котораго много и долго били. Кстати, ей было очень непріятно, что Колючка осталась и будетъ продолжать болтовню. Но на этотъ разъ Анна Гавриловна ошиблась,—Колючка сидѣла и молчала, тоже усталая и какая-то жалкая.

— Что̀ ты такъ нахохлилась?—спросила Анна Гавриловна, начиная ее жалѣть.

— Я?!.. А такъ... глупости...

Колючка поднялась и, по-мужски заложивъ руки за спину, принялась молча шагать по комнатѣ.

— Равноправность—тоже придумали...—бормотала она, думая вслухъ.—А мы вѣрили... Такъ и было...

— Да о чемъ ты бормочешь?

— Я? Очень просто... Природа несправедлива до послѣдней степени. Посмотри на Петьку, онъ старше насъ съ тобой лѣтъ на пять и молодецъ молодцомъ, а мы, какъ говоритъ твой Вадимъ, совсѣмъ старушонки... Онъ еще романы продѣлываетъ, за нимъ дѣвушки ухаживаютъ—своими глазами видѣла, а мы—старая, негодная поломанная мебель, которую сваливаютъ на чердакъ. И какія мы дуры съ тобой были тогда, когда были молодыми. Помнишь, какъ мы гордились, что цѣнятъ наши убѣжденія... Ха-ха!..

— Чему же ты смѣешься?

— Я? А вотъ этому самому... Вотъ сейчасъ развѣ интересно кому-нибудь знать, какія у насъ съ тобой убѣжденія? Къ хорошимъ убѣжденіямъ, моя милая, прежде всего нужно хорошенькую и молоденькую рожицу...

Тутъ ужъ Анна Гавриловна расхохоталась. Колючка умѣла такъ смѣшно злиться и въ такіе моменты договаривалась до абсурдовъ.

— Да, всю жизнь совершенствовались,—не унималась Колючка, останавливаясь у окна.—Вырабатывали твердость характера, учились, а когда достигли совершенства—оказались никому не нужными. Взять того же Петьку...

Онъ теперь развиваетъ какихъ-то провинціалочекъ, конечно, молоденькихъ, которыя налетаютъ осенью въ столицы, какъ поденки на огонь. Такія же будутъ дуры, какъ и мы съ тобой...

— Ну, прибавь еще, позлись...

— Я говорю правду, матушка...

— А если бы тебѣ предложили начать жить снова, какъ бы ты устроилась?

Колючка задумалась и сквозь слезы прошептала:

— Да опять продѣлала бы то же самое... Ни чужія ни свои глупости не дѣлаютъ насъ умнѣе. Помнишь, какъ мы дѣвчонками мечтали создать совершенно другую породу людей, какъ мечтала объ этомъ великая русская царица Екатерина II? Ахъ, какія глупыя, какія глупыя мы были...

— И нисколько не глупыя... Я и теперь то же самое думаю,—спокойно возражала Анна Гавриловна.—У меня радостно бьется сердце каждый разъ, когда вижу учащуюся дѣвушку. Что̀ можетъ быть лучше? Какія онѣ всѣ милыя, хорошія...

— Очень милыя... Ты видала, какъ мухи ползаютъ по стеклу? Черезъ стекло-то все видно—и небо, и землю, и вольную волюшку, а онѣ, бѣдныя мушки, только и могутъ, что ползать по стеклу. Такъ и мы съ тобой всю жизнь проползали, да и послѣ насъ такъ же будутъ ползать...

— Бываетъ и такъ, конечно, но не всегда. Ты ужъ слишкомъ любишь обобщать...

Колючка разнервничалась до того, что съ ней сдѣлалась истерика, и Аннѣ Гавриловнѣ пришлось долго ее успокаивать.

— Не буду... не буду...—шептала Колючка, съ трудомъ глотая холодную воду.—Никому это не нужно...

Вадимъ лежалъ на диванѣ въ своей комнатѣ и мучился. Онъ слышалъ все, что̀ говорилъ Арбузовъ, а потомъ Колючка. Его мучила чисто-ребячья мысль, что о немъ совсѣмъ забыли. А съ другой стороны, какіе глупые эти русскіе люди, которые такъ хвастаются своимъ добродушіемъ и широкой натурой. Нечего сказать, хороши, особенно этотъ милѣйшій докторъ Петръ Васильичъ...

Когда Анна Гавриловна проводила наконецъ Колючку и вошла въ комнату Вадима, мальчикъ лежалъ на диванѣ, отвернувшись лицомъ къ стѣнѣ, и плакалъ. Съ нимъ тоже была истерика. Анна Гавриловна привыкла къ такимъ припадкамъ, спокойно сѣла на диванъ и положила свою руку на вздрагивавшее отъ подавленныхъ рыданій плечо сына.

— Я, мама, все слышалъ...—шепталъ Вадимъ,—это было въ первый разъ, что онъ такъ назвалъ мать.—Да, слышалъ... и мнѣ сдѣлалось такъ жаль тебя... и Колючку... и всѣхъ хорошихъ русскихъ женщинъ... Ахъ, если бы я былъ здоровъ!.. А какъ это хорошо сказала Колючка про мухъ... Помнишь, я тебя дразнилъ: „въ одно мѣсто, къ одному человѣку, по одному дѣлу“, какъ ты привыкла говорить... Больше не буду, мама...

— Все это прошло, милый мальчикъ,—со вздохомъ отвѣтила Анна Гавриловна.—Некуда больше итти...

Когда она, успокоивъ сына, хотѣла выйти на цыпочкахъ изъ комнаты, онъ удержалъ ее за руку, заставилъ нагнуться и, крѣпко обнявъ за шею, прошепталъ:

— Я знаю, *кто* это приходилъ... и мнѣ такъ жаль тебя, такую хорошую, любящую, честную...

2.

Бумажный тигръ.

I.

Передовая статья „Пропадинскаго Эхо“ начиналась такъ: „Наконецъ „министерство“ Порфирія Уткина пало... Мы уже пятнадцать лѣтъ предсказывали это событіе. Иначе и быть не могло. Восторжествовала крайняя лѣвая. Лучшіе элементы нашего городского самоуправленія наконецъ пришли къ сознанію, что старый режимъ долженъ былъ пасть. Давно пора намъ освободиться отъ ига капиталистовъ. Довольно! Свѣта, больше свѣта, какъ сказалъ умирающій Гёте. Мы слишкомъ долго терпѣли, чтобы имѣть право радоваться. Мы завоевали свое право быть самими собой, а не прислужниками капиталистическаго феодализма. Еще разъ: довольно!“ и т. д. Статья заканчивалась довольно крикливо, фразой: Le roi est mort — vive le roi! Въ этой французской поговоркѣ скрытъ былъ самымъ деликатнымъ образомъ намекъ на то, что вмѣсто Порфирія Уткина въ городскіе головы будетъ избранъ Савва Митюрниковъ.

— Интересно, что̀ теперь будетъ дѣлать Порфишка, — думалъ вслухъ Арсеній Павлычъ Хлоповъ, просматривая утромъ только-что выпущенный изъ редакціи свѣжій номеръ газеты, отъ котораго еще пахло непросохшей типографской краской. — Да, интересно... очень.

Небольшого роста, худенькій, съ желчнымъ лицомъ и сильной просѣдью въ окладистой бородѣ, Хлоповъ казался какимъ-то фальшивымъ, вѣрнѣе сказать — поддѣльнымъ человѣкомъ. Напримѣръ, великолѣпная борода совершенно не шла къ его маленькой фигуркѣ, и казалось, что она была повѣшена на него въ качествѣ грима. Еще больше не шелъ къ нему его густой, низкій басъ, и, когда онъ говорилъ, можно было подумать, что за него говорилъ кто-то другой, какъ за ярмарочнаго манекена. И самая старость — ему было за пятьдесятъ — казалась неестественной, потому что онъ старился какъ-то особенно, не весь сразу, какъ старятся другіе, а частями, причемъ эти части имѣли различный возрастъ — голосъ сильный и мужественный, походка, стариковская, а глаза совсѣмъ молодые, хотя онъ и носилъ очки съ двадцати лѣтъ.

— Да, что̀ будетъ теперь дѣлать Порфишка? — продолжалъ думать вслухъ Арсеній Павлычъ, еще разъ пробѣгая свою передовицу.

Старикъ волновался цѣлый день и не могъ дождаться вечера, когда по обыкновенію уходилъ въ клубъ. Жилъ онъ старымъ холостякомъ, хотя и былъ когда-то женатъ, но давно развелся съ женой и всего больше дорожилъ своей холостой свободой. У него была всего одна комната, а остальное помѣщеніе въ двухъэтажномъ домикѣ было занято — нижній этажъ типографіей, а второй редакціей и конторой. Обыкновенно въ редакціи цѣлый день толкался народъ, а сегодня никого, исключая секретаря Ивана Ефимыча да глухого старика-экспедитора. Правда, забѣгалъ на минутку хроникеръ Мурашинцевъ, но ничего особеннаго не принесъ.

— Ну, что̀ говорятъ о моей передовицѣ въ городѣ? — спросилъ Арсеній Павлычъ.

— Ахъ, да... — спохватился Мурашинцевъ. — Произвела громадную сенсацію... Въ общественномъ банкѣ всѣ такъ и ахнули... въ гостиномъ дворѣ

газету такъ и рвутъ... Встрѣтилъ адвоката Миловидова — только улыбается.

Хлоповъ нахмурился, потому что Мурашинцевъ имѣлъ дурную привычку врать.

Около трехъ часовъ проѣхалъ мимо редакціи докторъ Селезневъ и, увидѣвъ въ окнѣ Арсенія Павлыча, „сдѣлалъ ему ручкой". Отчего этотъ добродушный толстякъ не заѣхалъ? Раньше онъ завертывалъ. Это даже немного смутило Хлопова, хотя докторъ и не принадлежалъ ни къ одной изъ городскихъ партій и ко всему на свѣтѣ относился исключительно „съ медицинской точки зрѣнія".

Вообще Хлоповъ волновался и считалъ себя въ правѣ волноваться, потому что вѣдь даже самый дурацкій камень, брошенный въ рѣку, оставляетъ послѣ себя рядъ водяныхъ круговъ. А тутъ рѣшительно ничего, полный нуль... Онъ даже припомнилъ стихи, которые училъ лѣтъ сорокъ назадъ: „Реветъ ли звѣрь въ лѣсу глухомъ, поетъ ли дѣва за холмомъ", и т. д. Вмѣсто заключительнаго слова „поэтъ" онъ поставилъ другое: редакторъ провинціальной газеты.

Надъ провинціальнымъ городомъ Пропадинскомъ сумерки спускались какъ-то раньше, чѣмъ надъ другими россійскими градами и весями. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось Хлопову, хотя онъ и любилъ именно эти сумерки, нагонявшія какую-то особенную волчью дремоту. Вѣдь темнота — спеціально-волчья стихія, и редакторъ провинціальной газеты находилъ въ этомъ сравненіи нѣкоторую аналогію. Конечно, и онъ тоже волкъ, старый газетный волкъ... Именно въ такія сумерки онъ любилъ выйти на крутой берегъ Волги, по которому раскинулся городъ, и погулять безъ всякой цѣли. Сейчасъ стояло такъ называемое раззимье, падалъ рыхлый снѣжокъ и сейчасъ же таялъ. Могучая рѣка, скованная аршиннымъ льдомъ, спала глубокимъ, мертвымъ сномъ. На пристаняхъ еще не видно было движенія. Въ сумрачной мглѣ смутно обрисовывались неясные силуэты зимовавшихъ въ затонѣ пароходовъ, баржъ и разнаго типа барокъ. Этотъ могучій покой нравился Арсенію Павлычу, какъ символъ скованной силы. Она, эта стихійная сила, вотъ тутъ, подъ этимъ льдомъ продолжаетъ свою вѣчную работу и ждетъ только весенняго яркаго солнца, чтобы проснуться... Чувствовалось какое-то раздумье и неясныя грезы.

Именно въ такія сумерки Хлоповъ вышелъ на берегъ Волги, чтобы пройти въ общественный клубъ, хотя и приходилось дѣлать значительный крюкъ. Онъ работалъ въ своей редакціи до пяти часовъ утра и поэтому просыпался поздно. Дома у него не было даже кухарки, и поздній завтракъ состоялъ изъ двухъ яицъ. Поздній редакторскій обѣдъ происходилъ уже въ клубѣ, гдѣ Хлоповъ обѣдалъ около двадцати лѣтъ. Онъ любилъ свой провинціальный клубъ, какъ общественное учрежденіе, гдѣ всегда можно было встрѣтить нужныхъ людей. Кромѣ того, учрежденіе до извѣстной степени иностранное, и это нравилось Арсенію Павлычу. Всѣ общественные дѣятели въ Англіи, напримѣръ, имѣютъ свой клубъ, и Пропадинскъ въ этомъ отношеніи не отставалъ отъ западно-европейской культуры. Арсеній Павлычъ привыкъ „обосновывать" каждый свой шагъ. Если онъ шелъ въ клубъ, то общественные дѣятели въ Англіи и Франціи отдыхаютъ тоже въ „своихъ клубахъ". Если послѣ обѣда онъ садился поиграть въ карты, то вѣдь играли въ карты и Бѣлинскій, и Некрасовъ, и Салтыковъ. И т. д.

Клубъ помѣщался въ старомъ одноэтажномъ барскомъ домѣ, стоявшемъ на юру. Лѣтомъ съ террасы клуба видна была Волга верстъ на десять, и

пріятно было смотрѣть, какъ по ней вѣчно ползли пароходы, расшивы, плоты изъ бревенъ и стояли мелкія лодчонки, точно мухи на стеклѣ.

Подходя къ своему клубу, Арсеній Павлычъ еще разъ подумалъ:

„А что̀ теперь будетъ дѣлать Порфишка?“

II.

Швейцаръ Акимъ всегда стоялъ въ дверяхъ и встрѣчалъ обычныхъ клубныхъ гостей. Клубные завсегдатаи появлялись въ свои часы. Первымъ приходилъ членъ суда Коростелевъ и сидѣлъ въ журнальной, гдѣ привыкъ просматривать новую почту. Потомъ приходилъ отставной старичокъ полковникъ Маліевъ, потомъ старшій нотаріусъ Гавриловъ, потомъ инспекторъ реальнаго училища Гололобовъ, потомъ городской архитекторъ Чебашевъ, потомъ секретарь духовной консисторіи Богоявленскій, потомъ учитель женской гимназіи Крохалевъ и т. д. У каждаго изъ раннихъ гостей былъ свой часъ. Дальше публика набиралась уже случайная. Хлоповъ всегда приходилъ ровно въ девять часовъ, какъ было и сегодня.

Акимъ снялъ съ него мѣховое пальто и проговорилъ:

— Читали-съ, Арсеній Павлычъ, какъ вы Порфира Порфирыча раздѣлали...

— А тебя это интересуетъ? — удивился Хлоповъ.

— Помилуйте-съ, какъ же-съ...

Оглянувшись, Акимъ прибавилъ шопотомъ:

— *Они* уже здѣсь... Сидятъ-съ въ буфетѣ-съ.

— Ну, это мнѣ рѣшительно все равно, гдѣ они ни сидятъ, — сурово отвѣтилъ Хлоповъ, вытирая запотѣвшія очки.

— Можно сказать-съ, Арсеній Павлычъ, изуважили Порфишку вполнѣ-съ.

Хлопову не понравился развязный тонъ швейцара Акима, хотя это и былъ самый аккуратный читатель „Пропадинскаго Эхо“.

Арсеній Павлычъ поднялся во второй этажъ и по пути прочиталъ аншлагъ, что сегодня — четвергъ — обычный семейный вечеръ съ танцами. Онъ прошелъ прямо въ столовую, гдѣ его уже ждалъ буфетный человѣкъ Арсеній, докладывавшій меню ужина:

— Супъ потафю... антрекотъ... суфле...

Этотъ Арсеній, разбитной ярославецъ съ рябымъ лицомъ, всегда подавалъ Хлопову и зналъ его вкусъ, почему и прибавилъ:

— Есть биштексъ по-гамбургски, Арсеній Павлычъ...

Хлоповъ вошелъ въ столовую, какъ къ себѣ домой, и занялъ свое мѣсто въ концѣ стола. Когда онъ поднялъ глаза, чтобы заказать что-то, то прежде всего увидѣлъ сидѣвшаго на другомъ концѣ стола сверженнаго городского голову Уткина. Это былъ средняго роста пожилой человѣкъ съ интеллигентной наружностью и жгучими черными глазами. Онъ смотрѣлъ на Хлопова въ упоръ и улыбался. Хлоповъ невольно смутился. Человѣкъ, котораго онъ такъ ѣдко сегодня обругалъ, сидѣлъ противъ него и имѣлъ наглость еще улыбаться. Бываютъ такія нелѣпыя и глупыя положенія даже въ Пропадинскѣ...

Бываютъ такія встрѣчи, когда одинъ видъ человѣка вызываетъ цѣлую вереницу самыхъ бурныхъ воспоминаній. Ну что̀ такое купецъ Уткинъ, у котораго была хлѣбная торговля на Волгѣ и собственный пароходъ „Коля“? А между тѣмъ нужно было затратить цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ, чтобы его свергнуть съ министерскаго поста... Боже мой, какъ Арсеній Павлычъ ненавидѣлъ его, не его лично, а какъ представителя народившагося волжскаго капиталистическаго феодализма! Какой-то Уткинъ и вдругъ цѣлыхъ пятна-

дцать лѣтъ занимаетъ постъ представителя городского самоуправленія. Что̀ вы тамъ ни говорите, а городской голова, да особенно въ уѣздномъ городѣ, persona grata. За нимъ тянулись другіе капиталисты, подслуживающіе купеческой мошнѣ адвокаты, и дѣло вершилось. Въ собственномъ смыслѣ интеллигенція, „безземельная и безлошадная“, конечно, игнорировалась купеческо-адвокатскимъ режимомъ, а дворянскій элементъ въ составѣ городского самоуправленія являлся какой-то обветшалой декораціей. И вотъ этотъ купецъ Уткинъ, излюбленный городской человѣкъ, теперь сидѣлъ передъ Арсеніемъ Павлычемъ и улыбался.

— Прикажете бифштексъ по-гамбургски? — спрашивалъ клубный человѣкъ Арсеній.

— Да, по-гамбургски.

Арсеній Павлычъ съѣлъ клубный супъ, потомъ перешелъ на „бифштексъ“ и все время чувствовалъ на себѣ пристальный взглядъ свергнутаго Порфишки. Это его волновало, и онъ спросилъ полбутылки какого-то краснаго вина. Когда онъ налилъ стаканъ, Порфишка Уткинъ поднялся со своего мѣста и подошелъ къ нему со своимъ стаканомъ вина.

— Арсеній Павлычъ, позвольте выпить за ваше здоровье, — проговорилъ онъ пріятнымъ мягкимъ баритономъ. — Видите ли, вы меня преслѣдовали цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ, а я васъ уважаю... Да, уважаю! Раньше мы взаимно избѣгали встрѣчъ, а сейчасъ, право, можемъ пожелать другъ другу всего лучшаго. Право, вѣдь намъ, Арсеній Павлычъ, сейчасъ рѣшительно нечего дѣлить...

Хлоповъ нѣсколько растерялся и чокнулся съ павшимъ городскимъ головой почти машинально. Близко онъ его совсѣмъ не зналъ и видѣлъ хорошенько въ первый разъ.

— Я понимаю, Арсеній Павлычъ, что вамъ, можетъ-быть, непріятно встрѣтиться со мной...—продолжалъ Уткинъ.—Но это только печальное недоразумѣніе... Будемте говорить обо мнѣ, какъ о человѣкѣ конченномъ. Вѣдь я понимаю немножко и кое-что...

Отхлебнувъ изъ своего стакана, Уткинъ прибавилъ:

— А статейку вашу, дорогой Арсеній Павлычъ, я прочелъ и прочелъ не безъ удовольствія... да.

— Именно? Что̀ вы хотите сказать?

— Что̀ я хочу сказать?.. Да... А сказать можно, охъ, какъ много, Арсеній Павлычъ... Вотъ вы про меня говорили цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ. Вы-то говорили, а я-то молчалъ... И, какъ видите, ничуть не обижаюсь. И многое правильно говорили, а только одного никакъ не могли понять: что̀ такое есть купецъ Уткинъ?

— Кажется, тутъ и понимать нечего...

— А вотъ и нѣтъ, Арсеній Павлычъ. И меня даже это весьма удивляетъ съ вашей стороны... Теперь дѣло прошлое, и я могу поговорить съ вами по душѣ.

Онъ совсѣмъ близко придвинулся къ Хлопову, такъ что задѣлъ его колѣнкой, и продолжалъ уже другимъ тономъ:

— Нужно сказать, что я васъ всегда любилъ и уважалъ... да. Вы по своей части человѣкъ вполнѣ правильный, а только... Однимъ словомъ, вы никогда не понимали купца Уткина. Городской голова, городское самоуправленіе... хе-хе!.. Это слова-съ, а по-настоящему городская дума это пасть, и у каждаго зуба свое мѣсто... За моей-то спиной пряталось и купечество, и господа адвокаты, и понимающіе люди изъ дворянства, а я-то изображаю изъ

себя персону. Кукла тряпичная, и больше ничего... И вы, Арсеній Павлычъ, цѣлыхъ пятнадцать лѣтъ эту самую тряпичную куклу со всего плеча по головѣ лупите... Со стороны-то, ей-Богу, даже смѣшно выходило.

— Даже, вѣроятно, очень смѣшно...

— Ну, не будемъ объ этомъ говорить. Дѣло прошлое, а кто старое помянетъ—тому глазъ вонъ. Есть и еще одна смѣшная штучка, Арсеній Павлычъ... Вы думаете, что мы не понимаемъ, куда вы гнете? Очень даже хорошо понимаемъ: вы хотите посадить въ головы Савву Егорыча Митюрникова?

— Да...

— Очень хорошо-съ... Изъ молодыхъ, да ранній! Да-съ... А я вамъ скажу, Арсеній Павлычъ, такъ скажу, любя, именно, какъ бы вы не вспомнили Порфишку... Вѣдь вы меня такъ называли. Я не обижаюсь... Даже весьма вспомните Порфишку, а почему—не скажу.

III.

Уткинъ посидѣлъ, выпилъ полбутылки краснаго вина и ушелъ. Хлоповъ остался въ довольно странномъ настроеніи. Его поразило спокойное настроеніе недавняго врага, а главное—его недомолвки и намеки. Что̀ хотѣлъ сказать этотъ свергнутый человѣкъ?

Арсенію Павлычу сегодня вся клубная обстановка показалась какъ-то особенно гадкой. Онъ возненавидѣлъ и буфетчика Ивана Павлыча, и клубнаго лакея Арсенія, и бифштексъ по-гамбургски, и все, все. Въ столовую приходили и уходили обычные клубные завсегдатаи. Докторъ Селезневъ, разжирѣвшій преждевременно субъектъ, спросилъ свою неизмѣнную порцію осетрины „по-русски“, потомъ приковылялъ смотритель тюремнаго за̀мка Гагинъ, потомъ пѣтушкомъ забѣжалъ новенькій присяжный повѣренный Альскій, мрачно вошелъ учитель греческаго языка Герундіевъ и спросилъ бутылку пива и т. д. и т. д. Набиралась все своя публика, и каждый считалъ своимъ долгомъ сказать нѣсколько словъ о „Пропадинскомъ Эхо“.

— А что̀, мы повинтимъ сегодня?—спрашивалъ докторъ Селезневъ, вытирая губы салфетко̀й.

— Я не знаю...—уклончиво отвѣчалъ Хлоповъ.

Докторъ засмѣялся, движеніемъ головы поправляя сбившійся воротникъ рубашки. По номенклатурѣ Арсенія Павлыча, это былъ „безразличный человѣкъ“, хотя и игралъ въ винтъ прекрасно.

Клубъ раздѣлялся на нѣсколько частей: главная зала была отведена „подъ танцы“ и любительскіе спектакли; налѣво въ двухъ комнатахъ играли въ винтъ, направо была круглая комната—будуаръ, и въ ней по временамъ завязывалась жестокая игра въ штоссъ. Арсеній Павлычъ, по заведенному обычаю, направлялся налѣво, гдѣ и встрѣчалъ своихъ неизмѣнныхъ партнеровъ. Сегодня, какъ всегда, онъ нашелъ ихъ на своемъ посту.

— Арсеній Павлычъ, развѣ можно заставлять себя такъ ждать?—говорилъ тучный и добродушный хохолъ-исправникъ. — Та мы жъ васъ ждали-ждали...

„Столъ“ Арсенія Павлыча не измѣнялся, по крайней мѣрѣ, въ теченіе десяти лѣтъ: исправникъ Подиско, учитель греческаго языка Герундіевъ и докторъ Селезневъ. Сегодня было, какъ всегда, и Хлопову показалось немного страннымъ, что его постоянные партнеры даже не читали передовой статьи въ „Пропадинскомъ Эхо“, или просто дѣлали видъ, что читали. Мимо проходили другіе клубные завсегдатаи и тоже, какъ ему казалось, ничего не читали. Въ результатѣ оказывалось, что сегодняшній номеръ прочли двое: швей-

царъ Акимъ и ci-devant городской голова Уткинъ. Конечно, это было обидно, и Арсеній Павлычъ поставилъ сразу ремизъ безъ трехъ черви пятыя.

Послѣ каждаго крупнаго проигрыша Арсеній Павлычъ имѣлъ благородную привычку оправдываться передъ своими партнерами, но сейчасъ онъ былъ лишенъ этой возможности, потому что подошелъ клубный человѣкъ Арсеній и шепнулъ:

— Васъ желаетъ видѣть одна дама... тамъ, въ залѣ...

— Какая дама?

— Нина Карловна-съ...

— А...

Конечно, партнеры были обижены, но, къ счастью, проходилъ мимо Уткинъ, и его посадили играть за Арсенія Павлыча.

— Что же, я очень радъ,—добродушно согласился онъ.—Я очень уважаю Арсенія Павлыча...

Общая зала, гдѣ происходили семейные вечера, походила немного на казарму, но этого никто не замѣчалъ. Хлоповъ быстро вышелъ изъ комнаты играющихъ и въ дверяхъ столкнулся съ высокой, толстой и мужественной старухой, которая и была Нина Карловна. Она взяла его довольно фамильярно подъ руку и повела въ дальній, плохо освѣщенный уголокъ залы.

— Поздравляю, голубчикъ...—говорила она на ходу удивительно свѣжимъ голосомъ, совсѣмъ не соотвѣтствовавшимъ ея мужественному сложенію.—Да, Порфишка палъ... Поздравляю!..

Она крѣпко пожала его руку и заставила сѣсть рядомъ съ собой.

— Порфишка погибъ! Я читала сегодня твою передовицу... Немножко крикливо, но хорошо. Нашу публику всегда нужно бить палкой по головѣ... На его мѣсто, конечно, будетъ выбранъ Савва?

— Да, я надѣюсь...

— Отлично... Это совершенно новый элементъ въ общественной жизни. Купецъ-милліонеръ и съ высшимъ образованіемъ...

— Представь себѣ, я его училъ, когда служилъ въ гимназіи учителемъ исторіи. Такой пытливый и свѣтленькій мальчикъ.

— Да, я его хорошо знаю. Во всякомъ случаѣ, не чета этому сиволапому Уткину... Еще разъ: поздравляю.

Глядя на эту пару, никто бы не подумалъ, что это бывшіе мужъ и жена. Нина Карловна была когда-то женой Арсенія Павлыча и дарила его восторгами первой любви. Но потомъ возникли семейныя недоразумѣнія, дрязги, и въ одно прекрасное утро они рѣшились разойтись. Черезъ два мѣсяца послѣ развода (Арсеній Павлычъ принялъ всю вину на себя) она вышла замужъ за водяного инженера и сейчасъ имѣла полдюжины дѣтей. Идеалистъ Хлоповъ во всей этой исторіи былъ обиженъ больше всего тѣмъ, что она не пригласила его на свою свадьбу, чего не могъ простить и сейчасъ. У нея сохранилось къ нему хорошее и теплое чувство, скрашенное воспоминаніями первой дѣвичьей любви.

Встрѣчаясь съ глазу на глазъ, они продолжали говорить другъ другу „ты". Нина Карловна продолжала слѣдить за дѣятельностью своего бывшаго мужа и время отъ времени считала своимъ долгомъ давать ему материнскіе теплые совѣты. Арсеній Павлычъ въ ея глазахъ оставался милымъ, но взбалмошнымъ ребенкомъ, котораго нельзя выпускать изъ глазъ. Такъ было и сейчасъ. Поговоривъ о свергнутомъ министерствѣ Порфишки, она спросила:

— А ты слышалъ послѣднюю новость?

— Какую?

— Савва Митюрниковъ хочетъ издавать свою собственную газету... да. Я это знаю изъ самыхъ вѣрныхъ источниковъ.

— Газету? Гм... Нѣтъ, ничего не слыхалъ... А впрочемъ, это очень хорошо. Была одна газета, а теперь будутъ двѣ. Очень хорошо...

— А мнѣ это совершенно непонятно... Кто свергнулъ министерство Порфишки? Кто въ теченіе пятнадцати лѣтъ преслѣдовалъ его на каждомъ шагу и такимъ образомъ расчищалъ дорогу Митюрникову? И вотъ тебѣ благодарность за твою работу... Кажется, проще было бы, если бы „Пропадинское Эхо" сдѣлалось органомъ новой партіи интеллигентныхъ представителей городского самоуправленія. Я увѣрена, что въ этой исторіи что-то кроется...

— Я думаю, дѣло гораздо проще, именно, Митюрниковъ немного побаивается меня и хочетъ сохранить свою независимость...

— Увидимъ... Я тебя задерживаю?

— Нѣтъ, ничего. А представь себѣ, Нина, вѣдь я сегодня встрѣтилъ Порфишку здѣсь въ столовой. Онъ самъ подошелъ ко мнѣ и что-то такое намекалъ... Вѣроятно, онъ уже слышалъ о новой газетѣ...

— Конечно, слышалъ. Какъ хочешь, свой своему поневолѣ братъ, а купеческая партія всегда останется купеческой...

— Да, но Митюрниковъ съ высшимъ образованіемъ, ты это забываешь. Можетъ-быть, у него есть какія-нибудь торговыя дѣла съ Порфишкой. Но это еще не значитъ, что Митюрниковъ будетъ служить капитализму... Я вѣрю въ него.

— Дай Богъ,—со вздохомъ согласилась Нина Карловна.—Ну, иди къ своимъ партнерамъ, они тебя ждутъ, а у меня свои дѣла есть.

— Какъ дѣла идутъ въ школѣ?

— Помаленьку. Наша публика извѣстна: сначала встрѣчаютъ горячо, говорятъ разныя хорошія слова, а потомъ начинаютъ помаленьку забывать. Прощай...

IV.

Хлоповъ былъ типичнымъ представителемъ безпокойнаго человѣка шестидесятыхъ годовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ являлся живой лѣтописью всего, что случилось въ Пропадинскѣ за послѣднія тридцать лѣтъ. По происхожденію онъ былъ настоящій „кухаркинъ сынъ", получившій первыя впечатлѣнія бытія въ кухнѣ богатаго помѣщичьяго дома барона Мандельштерна. Это былъ настоящій помѣщичій домъ, и баронъ считалъ себя кореннымъ русскимъ человѣкомъ. Какъ онъ попалъ въ глубины Пропадинскаго уѣзда—покрыто было мракомъ неизвѣстности добраго стараго крѣпостного времени. Въ помѣщичьей средѣ онъ былъ своимъ человѣкомъ, отличался широкимъ русскимъ хлѣбосольствомъ и служилъ нѣсколько трехлѣтій предводителемъ дворянства. Когда маленькій кухаркинъ сынъ изъ кухни перешелъ въ качествѣ казачка въ переднюю, баронъ первый открылъ въ немъ признаки чего-то необыкновеннаго, начиная съ того, что смышленый кухаркинъ сынъ самъ выучился грамотѣ. Время было особенное, нашлись добрые люди, которые тоже обратили вниманіе на мальчика, и онъ очутился въ гимназіи, гдѣ блестяще кончилъ курсъ, а потомъ поступилъ въ университетъ. Кончивъ университетъ, Хлоповъ вернулся на родное пепелище съ твердымъ намѣреніемъ никогда здѣсь не оставаться.

Пропадинскій уѣздъ еще утопалъ въ кромѣшной тьмѣ невѣжества, а Хлоповъ мечталъ о широкой дѣятельности и новыхъ формахъ жизни. Его тянуло въ столицу. Но тутъ случилось обстоятельство, которое имѣло въ его жизни роковое значеніе. Конечно, онъ часто бывалъ въ домѣ своего патрона

барона Мандельштерна, гдѣ къ этому времени подросъ цѣлый выводокъ молоденькихъ баронессъ, а въ ихъ числѣ Нина Карловна, которую Хлоповъ зналъ еще маленькой дѣвочкой, когда гимназистомъ репетировалъ съ ней „по предметамъ". Баронессы съ нѣмецкой фамиліей меньше всего походили на баронессъ, особенно Нина Карловна, серьезная и настойчивая дѣвушка, унаслѣдовавшая отъ русской матери какой-то особенно добродушный складъ. Вѣяніе того горячаго времени попали и въ баронскій домъ, и Хлоповъ явился для Нины Карловны типичнымъ новымъ человѣкомъ. Молодые люди сошлись, полюбили другъ друга „идейно", а потомъ рѣшили соединиться на всю жизнь для общаго блага. Когда баронъ Карлъ Мандельштернъ узналъ объ этомъ, то поклялся застрѣлить коварнаго кухаркина сына, какъ неблагодарнаго пса, потомъ онъ поклялся собственноручно выпороть его на своей конюшнѣ и кончилъ тѣмъ, что далъ свое родительское согласіе, мотивируя его такъ:

— Во-первыхъ, чтобы я никогда не видалъ этого негодяя у себя въ домѣ; во-вторыхъ, чтобы никто при мнѣ не смѣлъ произносить его гнуснаго имени, и, наконецъ, я навсегда отказываюсь отъ своей дочери.

Стараго барона эта mésalliance больше всего возмущала тѣмъ, что заговоритъ о немъ цѣлая губернія, но именно послѣдняго и не случилось, потому что въ одномъ Пропадинскомъ уѣздѣ такихъ случаевъ были десятки, т.-е. въ этомъ родѣ, когда дворянки выходили за безвѣстныхъ попенчей и всевозможныхъ разночинцевъ.

Первый годъ замужества прошелъ для Нины Карловны очень хорошо. Она была совершенно счастлива. Но Хлопову приходилось жутко, потому что онъ вынужденъ былъ поступить въ гимназію преподавателемъ исторіи, чего совсѣмъ не желалъ. Педагогическая дѣятельность была не по его характеру. Къ его счастью, наступила эпоха великихъ реформъ, и для него открылось широкое поле дѣятельности. Онъ бросилъ гимназію и поступилъ въ секретари земской управы, потомъ былъ секретаремъ городской управы и т. д. Хлоповская служба заканчивалась неизмѣнно какой-нибудь исторіей, и онъ долженъ былъ искать новаго мѣста. А тутъ еще начались нелады дома: хотя мужъ и жена любили другъ друга, а все-таки ссорились постоянно и жестоко. У Арсенія Павлыча оказался очень тяжелый характеръ — вспыльчивый, грубый, нуждирчивый.

— Намъ необходимо разойтись,—рѣшила первой Нина Карловна.—Иначе мы перестанемъ быть порядочными людьми... Мы отдѣльно, вѣроятно, очень хорошіе люди, а вмѣстѣ никуда не годимся.

Изъ-за чего разошлись Хлоповы—такъ и осталось неизвѣстнымъ. Такихъ случаевъ въ то время было, впрочемъ, достаточно, и особенной сенсаціи этотъ разводъ не произвелъ, какъ и вторичный выходъ замужъ Нины Карловны. А старый баронъ Мандельштернъ даже былъ доволенъ и одобрилъ поведеніе своего бывшаго зяля.

— Что же, всякій можетъ ошибиться,—разсуждалъ баронъ.—Но не у всякаго настолько хватитъ характера, чтобы исправить собственную ошибку...

Самымъ страннымъ было то, что съ этого времени Хлоповъ опять началъ бывать въ баронскомъ домѣ, а старый баронъ его опять полюбилъ. У нихъ было много общихъ интересовъ. Время было самое горячее, и провинціальное болото всколыхнулось. У всѣхъ оказались свои жгучіе интересы и вопросы. Дворянство, купечество, интеллигентные классы, разночинцы, мужики—у каждаго было свое кровное дѣло. Хлоповъ, оставшись одинъ, весь ушелъ въ общественныя дѣла, и въ столичныхъ газетахъ начали появляться его горячія корреспонденціи о пропадинскихъ злобахъ дня. Быстрое помѣщичье разореніе

народныя хозяйственныя нужды, народное образованіе, основныя задачи земской дѣятельности—онъ писалъ обо всемъ и однимъ изъ первыхъ подмѣчалъ нарожденіе купеческаго вопроса. Волга въ этомъ послѣднемъ направленіи давала богатѣйшій и яркій матеріалъ, какъ громадная промышленная и торговая артерія, пульсъ которой отдавался по всей Россіи.

Въ качествѣ корреспондента Хлоповъ прошелъ весь репертуаръ полагающихся провинціальному корреспонденту злоключеній. Его бранили въ глаза и за глаза, преслѣдовали судомъ, покушались бить и т. д. Онъ все выносилъ съ замѣчательнымъ терпѣніемъ и продолжалъ вѣрить въ свое дѣло, въ его законность и правоту и въ хорошихъ людей. Послѣднее было особенно трогательно. Конечно, вѣдь это только недоразумѣніе, что люди не хотятъ понимать самыхъ простыхъ, ясныхъ, какъ день, вещей.

Кульминаціонной точки своей дѣятельности Хлоповъ достигъ только съ основаніемъ своей собственной газеты. Тутъ же опредѣлилась и окончательная программа этой дѣятельности. Хлоповъ повелъ атаку противъ нараставшаго купеческаго хищничества, которое проявлялось вездѣ, крѣпло и получало поддержку даже со стороны науки, въ лицѣ адвокатуры. Все городское хозяйство сводилось исключительно къ торжеству мелкихъ и крупныхъ купеческихъ интересовъ. „Пропадинское Эхо“ при каждомъ удобномъ случаѣ выпускало въ свѣтъ обличительную громовую статью, и редакторъ приглашался на скамью подсудимыхъ за клевету, диффамацію и по другимъ статьямъ уложенія о наказаніяхъ. Хлоповъ судился, по крайней мѣрѣ, разъ пятнадцать и выходилъ изъ этой неравной борьбы съ честью.

— Ничего, мы еще посмотримъ,—говорилъ онъ, выходя изъ залы суда.— Говорятъ, что одинъ въ полѣ не воинъ, а вотъ мы будемъ воевать.

За послѣднія пятнадцать лѣтъ Хлоповъ велъ самую отчаянную борьбу именно съ купеческой партіей, захватившей въ свои руки все городское хозяйство. Отдавая полную справедливость энергіи, умѣлости и знанію этой партіи, Хлоповъ громилъ ее по всѣмъ пунктамъ, причемъ излюбленный городской голова Уткинъ являлся для него центральной мишенью.

Удивительно было то, что Уткинъ никогда и ничего не отвѣчалъ, не опровергалъ и не тащилъ Хлопова въ судъ. Только разъ Хлоповъ слышалъ, что онъ гдѣ-то назвалъ его „Арсеніемъ неистовымъ“.

V.

Итакъ, „министерство Порфишки“ было свергнуто. Всѣмъ было извѣстно, что его мѣсто займетъ Савва Митюрниковъ, сравнительно еще молодой человѣкъ, но съ высшимъ образованіемъ, даже больше — Митюрниковъ жилъ нѣсколько лѣтъ за границей, преимущественно въ Англіи, гдѣ къ чему-то присматривался и чему-то учился, что не написано ни въ какихъ руководствахъ, какъ онъ самъ говорилъ.

Хлоповъ зналъ этого Савву еще гимназистомъ, когда онъ приходилъ къ нему за совѣтомъ, какія книжки читать. Потомъ Митюрниковъ бывалъ у него студентомъ, потомъ по окончаніи курса и до отъѣзда за границу. Это былъ очень скромный и серьезный молодой человѣкъ, у котораго была какая-то странная улыбка. Смотритъ-смотритъ и улыбнется. Эта улыбка сперва немного коробила Хлопова, но потомъ онъ пересталъ ее замѣчать. Когда Митюрниковъ вернулся изъ-за границы, улыбки уже не было. Явилась какая-то сухость, выдержка, дѣланность. Прежде онъ былъ склоненъ къ душевнымъ разговорамъ, высказывалъ нѣкоторыя сомнѣнія, а тутъ получилъ видъ человѣка, для котораго все было ясно и котораго ничѣмъ не удивишь.

— Ну, что̀ тамъ, за границей, Савва Егорычъ?—пробовалъ спрашивать Хлоповъ.

— Да ничего, Арсеній Павлычъ... Живутъ, какъ и мы. Хотя, конечно, какое же можетъ быть сравненіе... Мы только еще начинаемъ жить, мы—піонеры, и передъ нами дремучій лѣсъ. Ничего даже похожаго на культуру...

Хлопову нравился этотъ купеческій самородокъ, нравилась его манера говорить и держать себя, а главное—это былъ первый интеллигентный человѣкъ изъ именитаго купечества въ Пропадинскѣ. „Вотъ если бы такихъ людей было побольше",—думалъ иногда Хлоповъ, слушая осторожныя рѣчи новаго купеческаго человѣка. Вѣдь, въ концѣ концовъ, все дѣло въ культурѣ и только въ культурѣ, а остальное приложится уже само собой.

Въ „Пропадинскомъ Эхо" выборъ Митюрникова былъ привѣтствованъ спеціальной статьей, а также и появленіе второй газеты, которая называлась „Пропадинскій Курьеръ".

— Очень хорошо, — повторялъ Хлоповъ, потирая руки. — Одна газета хорошо, а двѣ лучше.

Но за этимъ одобреніемъ скрывалась и нѣкоторая тревога. А чортъ его знаетъ, что̀ еще изъ этой новой газеты выйдетъ... Хлоповъ припоминалъ собственный тяжелый тернистый путь и невольно смущался. Въ первыхъ номерахъ „Курьера" ничего особеннаго и не было, кромѣ чего-то недосказаннаго и неяснаго, что̀ обличало просто неопытную редакторскую руку. Но потомъ, ни съ того ни съ сего, появилась предупреждающая замѣтка, что новая газета совсѣмъ отказывается отъ полемики, о чемъ и заявляетъ впередъ,

Смыслъ этой замѣтки объяснился только черезъ полгода, когда Митюрниковъ проявилъ себя въ окончательной формѣ, какъ представитель новой купеческой партіи, оснащенной послѣдними словами науки. Онъ оказался прекраснымъ ораторомъ и совсѣмъ загналъ въ угомъ обычныхъ думскихъ говоруновъ.

— О-го-го!.. Мальчикъ пойдетъ далеко... — охнулъ старый газетный человѣкъ Хлоповъ.—Тутъ не чуйкой и сапогами-бутылкой пахнетъ.

Митюрниковъ произвелъ нѣчто въ родѣ маленькой революціи и, главное, держалъ себя съ такимъ достоинствомъ, что все купечество ахнуло. Русское купечество по своему существу трусливо, особенно передъ начальствомъ, а Митюрниковъ говорилъ даже съ самимъ губернаторомъ, какъ съ равнымъ себѣ. О Митюрниковѣ заговорила цѣлая губернія. Старый баронъ Карлъ Мандельштернъ, уже не выходившій изъ дому благодаря наслѣдственной подагрѣ, любилъ подразнить Хлопова этимъ новымъ теченіемъ общественной жизни.

— Какъ купечество-то поднялось, Арсеній Павлычъ? Посмотрите, гордость какая... А кто виноватъ, какъ вы думаете? Да вы виноваты, Арсеній Павлычъ... вы! Кто проповѣдывалъ культуру, а? Кто требовалъ образованія для купцовъ? Вотъ теперь смотрите и радуйтесь... Что̀ значитъ одинъ Митюрниковъ, а вотъ когда двинутся всѣ Митюрниковы—ничего отъ васъ, милѣйшій мой, не останется, кромѣ послѣдняго вздоха. Вы всю жизнь ихъ газетой пугали, а они сотню своихъ собственныхъ газетъ откроютъ и писакъ наймутъ. Вы вопросы разные поднимаете, а они васъ будутъ душить вашимъ же просвѣщеннымъ печатнымъ словомъ. Я, конечно, отсталый и старый человѣкъ, но умру съ убѣжденіемъ, что купца высшимъ наукамъ учить отнюдь не слѣдуетъ.

Хлоповъ какъ-то растерялся. Главное, во что онъ такъ слѣпо вѣрилъ, т.-е. въ образованіе въ широкомъ смыслѣ, и оно же обратилось противъ него же. Онъ даже не спорилъ съ барономъ, который, конечно, преувеличивалъ, но нараставшую интеллигентную купеческую силу понималъ отлично.

— Вы думаете, что̀ Митюрниковъ вывезъ изъ Англіи, мой милый?—говорилъ баронъ.—Очень просто: самые усовершенствованные способы реализировать силу своего капитала, т.-е. давить всѣхъ. Вѣдь это не Колупаевы и Разуваевы, о которыхъ такъ много кричали. Пустяками они и рукъ себѣ не будутъ марать, а чуть что̀, заграничный способъ и готовъ, выбирай любой да лучшій. Въ Англіи пудъ чугуна сто̀итъ тридцать копеекъ, а у насъ рубль—разницу кладетъ просвѣщенный коммерсантъ себѣ въ карманъ; въ Англіи, благодаря вывозной преміи, русскимъ сахаромъ откармливаютъ свиней, потому что онъ въ Лондонѣ сто̀итъ четыре копейки фунтъ, а мы платимъ за тотъ же сахаръ у себя дома вчетверо дороже. Митюрниковы теперь ворочаютъ всѣми банками, они же вездѣ въ совѣщательныхъ комиссіяхъ о своемъ купецкомъ интересѣ радѣютъ, они же вопіютъ о государственной помощи и они же въ самыхъ лучшихъ газетахъ финансовую полемику себѣ заказываютъ... А кто виноватъ? Вы виноваты, Арсеній Павлычъ... И какой гоноръ у этого просвѣщеннаго коммерсанта, а все потому, что онъ сила.

Хлоповъ и самъ видѣлъ, какъ лапа этого просвѣщеннаго купечества все глубже и глубже всаживалась въ кровное для него дѣло — прессу. Происходилъ страшный захватъ по всей газетной линіи. Наконецъ высказался и „Пропадинскій Курьеръ“, когда Хлоповъ высказалъ свои наболѣвшія мысли по поводу торжествующаго капитализма. „Мы уже говорили раньше, что не будемъ полемизировать, — такъ начиналась отвѣтная статья въ „Пропадинскомъ Курьерѣ“. — Мы сдержимъ свое слово, чтобы не смѣшить нашу почтенную публику красотами полемическаго задора. Къ счастью, это время уже миновало. Пресса должна прежде всего уважать себя, и можно только пожалѣть, что по разнымъ провинціальнымъ захолустьямъ еще сохранились, выражаясь китайскимъ сравненіемъ, тѣ бумажные тигры, которыми пугаютъ дѣтей“.

— Ахъ, это я бумажный тигръ! — проговорилъ Хлоповъ, прочитавъ статью.—Конечно, я... Ахъ, Савва Егорычъ, Савва Егорычъ!.. Да...

Ему почему-то припомнились слова свергнутаго Порфишки, который тогда въ клубѣ сказалъ ему, что какъ бы онъ, Хлоповъ, не вспомнилъ и не пожалѣлъ о сверженномъ министерствѣ Порфишки Уткина.

— Что̀ же, будемъ бумажнымъ тигромъ, — повторилъ Хлоповъ въ назиданіе самому себѣ.—И таковымъ бумажнымъ тигромъ и помремъ...

Въ хроникѣ „Пропадинскаго Курьера“, между прочимъ, была напечатана выдержка изъ какого-то полицейскаго протокола, именно, что „въ чертѣ города, около Мыльнаго лѣска, найдено тѣло неизвѣстнаго человѣка, повидимому, жулика. Около него находилась сломанная палка, другого конца которой, несмотря на самые тщательные розыски, никакъ не могли найти“. Прочитавъ эту замѣтку, Хлоповъ невольно расхохотался. Вѣдь около каждаго русскаго человѣка „находится“ такая палка, другого конца которой никакъ нельзя найти...

3.

Отрадное явленіе.

I.

— Студентъ Сергѣевъ совершенно вѣрно сказалъ, что путешествіе — лучшій способъ самообразованія,—убѣжденно говорила Анна Васильевна, спотыкаясь о засохшій комъ земли, лежавшій по самой срединѣ дороги.—Я ему вообще не вѣрю, а въ этомъ случаѣ онъ правъ... Напримѣръ, я? Какъ я освѣжилась и отдохнула за границей, душой отдохнула... Вотъ тебѣ бы, Катя, хорошо встряхнуться, а то ты совсѣмъ закисла въ этой трущобѣ. Необходимо видѣть другую жизнь, другихъ людей, чтобы понять наше русское убожество. Господи, гдѣ я ни была за эти три мѣсяца: въ Парижѣ, въ Бретани, на островѣ Уайтѣ, на Ривьерѣ, въ Венеціи, на Рейнѣ... До сихъ поръ не могу опомниться. Вотъ гдѣ люди живутъ, потому что умѣютъ жить, а главное — хотятъ жить. Нѣтъ, тебѣ необходимо, Катя, встряхнуться... И студентъ Сергѣевъ то же скажетъ, хотя я ему не вѣрю, нисколько не вѣрю.

— А деньги?—отвѣтила вопросомъ Катя, прежде времени поблекшая дѣвушка съ усталымъ лицомъ.

— Деньги—пустяки... Если человѣкъ чего-нибудь захочетъ, онъ добьется своего. На выставкѣ въ Чикаго американскіе студенты служили лакеями. Это по-русски звучитъ немного грубо, и затѣмъ въ Америкѣ положеніе прислуги совсѣмъ иное, чѣмъ у насъ... Тамъ каждый привыкъ уважать себя...

Дѣвушки шли по пыльной проселочной дорогѣ, которая такъ красива на картинахъ, а въ дѣйствительности является мучительной пыткой. Анна Васильевна очень ловко сбивала своимъ парижскимъ зонтикомъ бѣлыя головки придорожной ромашки и нѣсколько разъ брезгливо стряхивала съ подола платья дорожную пыль. Въ своемъ сѣромъ дорожномъ платьѣ и въ англійской соломенной шляпѣ она походила на строгую англійскую миссъ, которая привыкла путешествовать одна и у которой точно написано на лицѣ, что она никого и ничего не боится. Рядомъ съ ней Екатерина Петровна казалась старше лѣтъ на десять, хотя онѣ учились вмѣстѣ въ гимназіи.

— Фу, какая гадость!—проговорила въ отчаяніи Анна Васильевна, останавливаясь, чтобы перевести духъ.

— Я тебѣ предлагала ѣхать на станцію въ телѣгѣ,—точно оправдывалась Екатерина Петровна.—Ты сама не хотѣла...

— Въ телѣгѣ?!.. Прости, голубушка, мнѣ еще жизнь дорога.

— До станціи всего остается версты три...

— Это я слышу съ самаго начала, какъ мы вышли изъ деревни...

— Отъ деревни четыре версты, Анюта. Впрочемъ, я такъ привыкла ходить пѣшкомъ...

— И я тоже, только не по такимъ скверпымъ дорогамъ. Я всю Швейцарію исходила пѣшкомъ...

Въ голосѣ Анны Васильевны слышалось раздраженіе. Она съ какой-то безнадежной тоской посмотрѣла кругомъ и съежила плечи. Картина, дѣйствительно, ничего привлекательнаго собой не представляла. Кругомъ разстилались чахлыя крестьянскія поля. Стояла засуха, и земля въ нѣкоторыхъ мѣстахъ растрескалась. Посѣвы были плохіе. Жиденькая рожь, рѣдкіе и низкіе овсы, чахлая трава—вотъ и все. Крестьянскій недородъ висѣлъ въ воздухѣ. По

извилистой линіи проселка тамъ и сямъ уныло торчали ветлы, точно измученные путники, которые уже не надѣялись дойти до пристанища. Назади, въ туманной дымкѣ лѣтняго марева, чуть виднѣлось село Ольгино, гдѣ Екатерина Петровна учительствовала восемь лѣтъ. Собственно, виднѣлась бѣлая церковь съ садомъ и нѣсколько вѣтряныхъ мельницъ, а крестьянская стройка залегла по скатамъ голубой балки. Вправо темной полоской залегъ небольшой лѣсокъ. До станціи ровною гладью стлались безконечныя поля, наводившія уныніе своимъ однообразнымъ видомъ.

„Ахъ какая тоска! — думала Анна Васильевна.—Развѣ можно жить въ такой отчаянной трущобѣ, гдѣ люди могутъ только голодать... И это святая родина!.. Ужасно, ужасно...“

Екатерина Петровна чувствовала тайный ходъ мыслей своей гимназической подруги и тоже раздражалась. Ей было обидно и за себя, и за этотъ незавидный русскій пейзажъ, и за что-то такое хорошее, теплое и родное, что̀, какъ казалось ей, порывалось съ каждымъ шагомъ впередъ. Боже мой, какъ она ждала этой встрѣчи, а теперь считала минуты, когда наконецъ эта пытка кончится. Екатерина Петровна со школьной скамьи попала прямо въ деревню, въ учительницы, да такъ и засѣла въ ней. Анна Васильевна училась на курсахъ и въ теченіе восьми лѣтъ перемѣнила не одну спеціальность: сначала была „бестужевкой“ по отдѣленію исторіи, потомъ перешла на медицинскіе курсы, потомъ на педагогическіе, потомъ опять на бестужевскіе. Въ средствахъ она не нуждалась и могла располагать своимъ временемъ, какъ хотѣла. Нужно ей отдать справедливость, что за все это время она поддерживала съ Екатериной Петровной самую дѣятельную переписку и аккуратно сообщала ей самыя послѣднія столичныя новости. Подруги мечтали о свиданіи, чтобы наговориться и отвести душу. И вотъ это свиданіе совершилось, но было бы лучше, если бы его никогда не было. Подруги точно не узнали другъ друга, и имъ даже говорить было не о чемъ. Ихъ раздѣлила навсегда какая-то невидимая пропасть, черезъ которую не было перехода, какъ въ сказкахъ.

— Кажется, мы никогда не дойдемъ до этой проклятой станціи! — капризно говорила Анна Васильевна, чтобы сказать что-нибудь.

— Скоро, скоро, Аня... Вонъ около того лѣска, направо,—утѣшала ее Екатерина Петровна.—Ты сейчасъ куда хочешь ѣхать?

— Право, я сама хорошенько не знаю... Можетъ-быть, къ сестрѣ заѣду, можетъ-быть, на Кавказъ.

„Для чего я спрашиваю ее? — подумала про себя Екатерина Петровна.—Не все ли мнѣ равно...“

II.

Желѣзнодорожная станція называлась Грядки. Она стояла на юру, на самомъ припекѣ. Зимой ее заносило снѣгомъ, а лѣтомъ жгло солнце. Грязный даже въ самые жаркіе дни дворъ оживлялся нѣсколькими крестьянскими телѣгами, оборванными мужиками, ожидавшими кого-то или чего-то, нѣсколькими курами и грязными рябятами. Маленькій станціонный садикъ походилъ на пріютъ для растеній-рахитиковъ. Чувствовалось что-то такое унылое и безнадежное въ каждой мелочи, что̀ было придумано какой-то больной фантазіей. Зала третьяго класса представляла собой клоповникъ, а въ залѣ перваго класса, гдѣ былъ буфетъ, вѣковѣчная русская грязь была точно загримирована разными предметами европейскаго комфорта. Для чего-то висѣла бронзовая люстра, на общемъ столѣ еще болѣе неизвѣстно зачѣмъ стояли неиз-

бѣжныя пальмы и т. д. Анна Васильевна съ тоской окинула это обстановочное убожество и невольно сравнила Грядки съ щегольскими европейскими желѣзнодорожными станціями.

— До поѣзда остается еще цѣлыхъ два часа, Аня, а ты такъ торопилась,—замѣтила Екатерина Петровна.—Хочешь чаю?

— Пожалуй...

Надо было что-нибудь дѣлать, чтобы убить эти два часа.

Официантъ въ засаленномъ фракѣ подалъ чай. Анна Васильевна брезгливо посмотрѣла на него и на плохо вымытый стаканъ, но скрѣпилась и отхлебнула съ ложечки подозрительную мутную жидкость. Екатерина Петровна смотрѣла въ окно на дворъ, гдѣ узнала двухъ мужиковъ изъ Грядокъ. Она почему-то вздохнула.

— Ты меня спрашивала, Катя, что̀ я думаю дѣлать,—заговорила Анна Васильевна, подбирая слова.—Кажется, на зиму я уѣду въ Парижъ... Студентъ Сергѣевъ говоритъ, что мнѣ необходимо прослушать въ Сорбоннѣ исторію среднихъ вѣковъ. Это необходимо, потому что новая исторія совершенно непонятна безъ знанія средней. Эпоха возрожденія, гуманисты, реформація, религіозныя войны—все связано между собой органически, и все послѣдующее только логическое слѣдствіе этихъ первоисточниковъ. А средневѣковое искусство, пропитанное религіозными идеями и классицизмомъ?

Мимо прошелъ молодой начальникъ станціи и поклонился Екатеринѣ Петровнѣ. Онъ немного ухаживалъ за ней, и она слегка покраснѣла. Анна Васильевна замѣтила послѣднее и улыбнулась. Боже мой, романъ съ начальникомъ желѣзнодорожной станціи! До чего можетъ дойти человѣкъ, засидѣвшійся въ медвѣжьей глуши. Похоронить себя заживо на глухой желѣзнодорожной станціи, когда другіе будутъ пользоваться жизнью во всю ширь, и смотрѣть всю жизнь, какъ эти другіе, счастливые и жизнерадостные, полные энергіи, окрыленные мечтами и жаждой жизни, будутъ мчаться съ быстротой вѣтра вотъ мимо этой самой несчастной станціи. Бѣдная Катя... А тутъ куча дѣтей, нарожденныхъ со скуки, мелкая домашняя нужда, непріятности, мужъ, который будетъ выпивать передъ обѣдомъ по рюмкѣ водки, играть въ карты гдѣ-нибудь на именинахъ и всю жизнь завидовать начальнику сосѣдней станціи и т. д., и т. д.

— Катя, я знаю, о чемъ ты думаешь сейчасъ,—неожиданно проговорила Анна Васильевна.

— И я тоже знаю, о чемъ ты думаешь... Тебѣ жаль меня, и въ то же время намъ не о чемъ съ тобой говорить. Вѣрнѣе сказать: мы говоримъ на двухъ разныхъ языкахъ.

— Ты угадала...

— И мнѣ тебя жаль...

— Меня?!

— Да... Жаль, потому что тебѣ вотъ все это родное убожество кажется чужимъ, больше—возбуждаетъ въ тебѣ гадливое чувство. И мнѣ больно, что ты не любишь вотъ эти выжженныя солнцемъ нивы, не понимаешь человѣка, который ихъ вспахалъ и засѣялъ, а тѣмъ больше не понимаешь своей бывшей подруги, для которой вотъ въ этомъ вся жизнь и которая вотъ этимъ счастлива.

Въ голосѣ Екатерины Петровны послышались твердыя ноты, и Анна Васильевна посмотрѣла на нее съ удивленіемъ. Это была совсѣмъ другая дѣвушка, которой она совсѣмъ не знала.

— Я знаю впередъ, что̀ ты скажешь. Катя, и по-своему ты, конечно,

права. Служеніе идеѣ требуетъ жертвъ, это вѣрно, но вѣдь для насъ, обыкновенныхъ среднихъ людей, героизмъ не обязателенъ. Скажу проще: есть, наконецъ, своя собственная, личная жизнь. Я даже могу представить себѣ весь тотъ ужасъ, который происходитъ вотъ здѣсь, кругомъ, когда все будетъ занесено снѣгомъ и умретъ на полгода. Вѣдь это ужасно, Катя, даже подумать ужасно. И никакого общества, никакого проявленія общественной жизни, ни одного человѣка, съ которымъ можно было бы про это поговорить по душѣ...

Екатерина Петровна засмѣялась.

— Ахъ, какая ты смѣшная, Аня... Какъ-то установилось смотрѣть на насъ, какъ на героинь и прочее, а въ дѣйствительности этого-то и нѣтъ. Даже нѣтъ подвига, который намъ желаютъ навязать... Конечно, у насъ въ Ольгинѣ нѣтъ оперы, концертовъ, нѣтъ въ общепринятомъ смыслѣ слова общества, но, во-первыхъ, безъ этого можно обойтись, т.-е. безъ условныхъ удовольствій, а что касается общества, то у меня гораздо его больше, чѣмъ у тебя.

— Самогипнозъ, Катя, а впрочемъ, для тебя же лучше...

Подруги неожиданно разговорились. Ихъ охватила та молодая откровенность, которая не знаетъ удержу. Екатерина Петровна даже раскраснѣлась и сдѣлалась красивой. Глаза блестѣли, она улыбалась и нѣсколько разъ принималась обнимать Анну Васильевну.

— Аня, милая Аня, если бы ты знала, какъ мнѣ было тяжело всѣ эти дни...—говорила она.—Тяжело и за тебя и за себя. Когда-то вѣдь и я рвалась туда, въ столицу, и другой жизни не понимала, а сейчасъ... Боже мой, вѣдь я совсѣмъ, совсѣмъ другая... Вѣдь я отлично знаю, что далеко отстала, до извѣстной степени ступѣла, и что тебѣ, напримѣръ, неинтересно со мной разговаривать. Мои интересы слишкомъ сужены, и всякая профессія дѣлаетъ человѣка одностороннимъ. Такъ и быть должно... Все, все отлично понимаю!.. Въ вашемъ обществѣ я, дѣйствительно, и скучна и не интересна, но у меня есть свое общество... И какое чудное общество, Аня!.. Вѣдь для села Ольгина я являюсь чѣмъ-то въ родѣ академіи наукъ... Моя маленькая аудиторія ловитъ каждое мое слово. Тебѣ страшна деревенская зима, а для меня это лучшее время. Представь себѣ зимній вечеръ... на столѣ горитъ лампочка дешевенькая, а кругомъ стола живой вѣнокъ изъ милыхъ дѣтскихъ рожицъ... И мы путешествуемъ по всему свѣту, переживаемъ исторію, повторяемъ подвиги человѣческаго ума... Ты скажешь: „А учительская нужда? А эти несчастные двадцать рублей жалованья?“ Но вѣдь эта нужда съ городской точки зрѣнія, а по-нашему, по-деревенски, это богатство... Мои деревенскіе бабы постоянно мнѣ говорятъ: „Охъ, Катерина Петровна, кабы хучь одинъ денекъ-то пожить по-твоему!..“ И мнѣ дѣлается совѣстно за такую уйму денегъ, какую я получаю. Конечно, будетъ время, когда учительницы будутъ получать въ нѣсколько разъ больше, но сейчасъ... Вотъ надъ нашей головой висятъ недородъ и недоѣдъ, весь вопросъ нашей жизни сводится къ простому куску ржаного хлѣба, дѣти пойдутъ въ „кусочки“, т.-е. за милостыней, мои дѣти, которыя должны учиться у меня въ школѣ, а я буду получать свои двадцать рублей жалованья... Вѣдь это цѣлое богатство, и совѣстно это получать. Я не говорю, что всѣ учительницы должны именно такъ думать и благословлять свою судьбу... Многія недовольны и считаютъ себя несчастными, имъ скучно и холодно въ деревнѣ, но такимъ нужно уходить въ городъ и поступать въ какую-нибудь контору или искать другой городской работы. А я счастлива, и мнѣ ничего не нужно... Да, счастлива!.. И счастлива потому, что я *живу*.

Этотъ разговоръ былъ прерванъ звонкомъ. Подходилъ поѣздъ. Неужели

прошло цѣлыхъ два часа? Подруги досказывали послѣднія мысли и чувства уже на ходу. Когда Анна Васильвна сѣла въ свой вагонъ, они продолжали разговаривать черезъ окно.

— Аня, знаешь, что̀ меня обижаетъ?—торопливо говорила Екатерина Петровна.—Это когда читаю въ газетахъ разныя извѣстія подъ спеціальной рубрикой: *отрадное явленіе*. Впередъ знаешь, что какой-то учительницѣ прибавили желованья и т. д. Все, что̀ угодно, только не нужно именно этого, т.-е. покровительствующаго сожалѣнія.

Третій звонокъ. Поѣздъ тяжело двинулся. Два бѣлыхъ платка посылали послѣднее прости.

4.

Перекати-поле.

I.

Свѣтило раннее весеннее крымское солнце. Красавица Ялта еще спала, т.-е. спали господа, а набережная и пристани уже работали. Однимъ изъ первыхъ на набережной появлялся Фролъ Иванычъ, человѣкъ неопредѣленныхъ лѣтъ, съ солдатскимъ лицомъ, хотя никогда не служилъ въ солдатахъ, въ рваномъ пиджакѣ и бѣломъ передникѣ. Его сѣрые небольшіе глазки всегда съ затаенной тревогой что-то высматривали, а въ движеніяхъ чувствовалась торопливость вѣчно занятаго человѣка, которому, какъ говорится, дохнуть некогда.

— Эхъ, сколько народу понаперло, — думалъ вслухъ Фролъ Иванычъ, опытнымъ глазомъ прикидывая сновавшихся на набережной рабочихъ. — И откуда только берутся, подумаешь...

Собственно, на набережной и на пристаняхъ у Фрола Иваныча не было никакого дѣла, но онъ каждое утро считалъ своимъ долгомъ обойти весь берегъ. Какъ же не поговорить съ вернувшимися съ моря рыбаками, съ встрѣтившимся таможеннымъ солдатикомъ, съ артелью турокъ-носильщиковъ, съ швейцаромъ гостиницы, — Фролу Иванычу все нужно было знать. Сегодня море было задернуто густой пеленой тумана, и на пристани ждали срочнаго парохода, который долженъ былъ прійти изъ Севастополя еще вчера вечеромъ.

— Въ туманѣ всю ночь кружится, — объяснялъ швейцаръ тономъ спеціалиста.—Ночью свистки подавалъ... Надо полагать, гдѣ-нибудь подъ Алупкой застрялъ.

— Много господъ ждете?

— А какъ же, время такое... Въ началѣ апрѣля много народу изъ Адесты пріѣзжаетъ, значитъ, на Пасху, тоже вотъ изъ Москвы, изъ Харькова. Номеровъ-то пустыхъ совсѣмъ мало осталось.

— Цѣну хорошую дерете?

— Всяко случается... Прижимистые господа нынче стали. Каждый на грошъ пятаковъ хочетъ получить...

Въ горахъ, окружавшихъ Ялту высокой стѣной, туманъ уже начиналъ подниматься. Выдѣлялись отдѣльные гребни, освѣщенные утреннимъ солнцемъ. Фрола Иваныча особенно огорчала бѣлая масса тумана, надвигавшаяся на Ялту черезъ Массандру и заслонявшая солнце.

— И откуда только этотъ туманъ берется, — ворчалъ Фролъ Иванычъ и прибавлялъ для собственнаго утѣшенія:—Оно, обнакновенно, море агромадное, застудилось зимой, а какъ солнышкомъ подогрѣетъ его—вотъ и туманъ.

Въ воздухѣ чувствовалась уже наливавшаяся теплота, и море ласково облизывало береговые камни ровной зеленой волной. Изъ тумана показывались рыбачьи лодки, гдѣ-то въ бѣлесоватой мглѣ тонкими штрихами обрисовывался косой турецкій парусъ, въ переливавшейся зеленой ткани моря весело кувыркались неугомонные дельфины... На пристаняхъ работа кипѣла. Разгружались нѣсколько судовъ съ лѣсомъ, кирпичомъ и желѣзомъ. По сходнямъ, какъ муравьи, тащились носильщики. Около мола тяжело попыхивалъ струйками бѣлаго пара пришедшій ночью изъ Ѳеодосіи пароходъ, точно человѣкъ, который не можетъ отдышаться послѣ быстраго бѣга. На длинной каменной платформѣ мола правильными штабелями лежала всевозможная пароходная кладь, ломовые подвозили багажъ, толпы носильщиковъ ждали работы и т. д. Въ утреннемъ воздухѣ постепенно накоплялся и нарасталъ смѣшанный гулъ рабочаго приморскаго дня. Чувствовалось въ самомъ воздухѣ что-то такое бодрое, радостное и обѣщающее, какъ улыбка выздоравливающаго человѣка,— послѣ зимней спячки здѣсь начинало все улыбаться — и море, и горы, и качавшіяся на рейдѣ суда, и даже эта пестрая и разноязычная толпа поденщиковъ, облѣпившая набережную, молъ и пристани.

Фролъ Иванычъ давно присмотрѣлся къ постояннымъ ялтинцамъ и сразу могъ опредѣлить каждаго чужестраннаго, особенно своихъ русачковъ изъ Курской, Орловской или Тамбовской губерніи. Онъ самъ былъ тамбовскій уроженецъ и узнавалъ земляка по одеждѣ и говору безошибочно.

— Іонъ прійшовъ...—говорилъ онъ, встрѣчая своего тамбовца.

Эти „іоны“ начали появляться на южномъ берегу Крыма все чаще и чаще и тащили за собой своихъ бабъ, искавшихъ работы на табачныхъ плантаціяхъ или „коло винограду“. У Фрола Иваныча сохранилась тоска по родинѣ, и онъ всячески старался опредѣлить земляковъ къ какому-нибудь подходящему дѣлу. Куда же имъ дѣться, въ самомъ дѣлѣ... Не отъ добра „идуть у Крымъ“. Значитъ, дома нечего дѣлать, ну, и идуть... Въ первое время этихъ заморенныхъ и сѣрыхъ „іоновъ“ можно было видѣть въ самомъ тяжкомъ положеніи, а потомъ ничего, пріобыкали и устраивались не хуже другихъ. Вѣдь это были не тѣ босяки, которыми кишатъ всѣ южныя пристани, а настоящая рабочая армія.

Обѣжавъ пристани, Фролъ Иванычъ отправился на Черный рынокъ, гдѣ у него было свое заведеніе, какъ онъ выражался деликатно, т.-е. самая обыкновенная квасная лавчонка. Это „заведеніе“ примостилось на самомъ юру, гдѣ толпился рабочій людъ въ ожиданіи нанимателей. У лавочки Фрола Иваныча уже дожидалась его жена, Анисья Филипповна, приземистая, полная старушка съ сморщеннымъ, дряблымъ лицомъ. Она казалась не по годамъ старше мужа.

— Пароходъ запоздалъ, — дѣловымъ тономъ заявилъ Фролъ Иванычъ, начиная разбирать доски передней стѣнки своего заведенія.

— Того гляди, еще на камни попадетъ, — озабоченно отвѣтила Анисья Филипповна.

— А зачѣмъ ему на камни попадать? — обиженно и строго спросилъ Фролъ Иванычъ, нахмуривъ брови.

— Да я такъ, къ слову...—добродушно оправдывалась старушка, точно отъ ея словъ пароходъ, дѣйствительно, могъ попасть на камни.

— То-то... Слово тоже къ мѣсту говорится. На камни...

Мужъ и жена составляли примѣрную чету и всегда говорили другъ другу „вы“. Фролъ Иванычъ въ минуту откровенности любилъ говорить. „Нѣтъ, вы не знаете мою Анисью Филипповну... Это не баба, а копье!“. Въ чемъ заключалась суть такого оригинальнаго сравненія и чѣмъ добродушная старушка напоминала копье — оставалось неизвѣстнымъ. Въ обыкновенное время, особенно при чужихъ, Фролъ Иванычъ почему-то считалъ нужнымъ постоянно спорить съ женой и относился къ ней почти сурово и даже бранился въ третьемъ лицѣ: „И для чего только эти самыя бабы на свѣтѣ болтаются... Взять бы ихъ всѣхъ за хвостъ да объ стѣну“, и т. д.

На рынкѣ всѣ лавчонки уже были открыты, и начинался обычный утренній торгъ мясомъ, рыбой, зеленью и разными припасами. Появились татарчата съ чибуреками и лепешками. Особенно бойко торговала напротивъ заведенія Фрола Иваныча турецкая булочная. Около нея стояла цѣлая толпа рабочихъ турокъ въ ихъ нарядныхъ лохмотьяхъ. Загорѣлые, черноглазые, усатые и носатые, они рѣзко отличались отъ сѣрой толпы русскихъ рабочихъ, столпившихся по другую сторону квасной Фрола Иваныча.

— Ужъ эти мнѣ черномазые!—считалъ нужнымъ ругаться Фролъ Иванычъ.—На копейку квасу не выпьютъ... Развѣ это люди?

Утро для его торговли было самымъ тихимъ временемъ, особенно весной, и Фролъ Иванычъ не торопился открывать свое заведеніе. Онъ открылъ свой прилавокъ, не торопясь, привелъ въ порядокъ жестяныя кружки, пересчиталъ бутылки, попробовалъ кранъ у квасной бочки и нѣсколько разъ благочестиво зѣвнулъ.

— И сколько этой самой нашей рассейской бабы набирается,—говорила Анисья Филипповна, наблюдая сбившихся въ отдѣльную кучку женщинъ-поденщицъ.—Тоже, миленькія, ѣсть-пить хотятъ... Вонъ какую даль забрались. И не выговоришь...

— Всѣхъ не пережалѣешь... Другая, можетъ, отъ своей собственной глупости приволоклась, — сказалъ Фролъ Иванычъ совершенно безъ всякой причины, потому что самъ первый жалѣлъ вотъ эту самую рассейскую бабу.— Дома-то угарно, ну и лопочутъ, какъ овцы, неизвѣстно куда... Мужикъ подать платить, а бабѣ какая печаль: надѣла сарафанишко да платчишко — и все тутъ. А другая еще и рукомесло самое скверное выкинетъ...

— Не грѣшите, Фролъ Иванычъ...

Онъ хотѣлъ что-то возразить женѣ, но, какъ сумасшедшій, выскочилъ изъ своего заведенія. На углу у трактира собралась цѣлая толпа, и въ воздухѣ мелькала какая-то жилетка съ разномастными пуговицами. Фролу Иванычу никакой жилетки не было нужно, но онъ протискался въ толпу, выхватилъ жилетку изъ рукъ продавца, внимательно ее осмотрѣлъ и, прикинувъ на свѣтъ, рѣшающе проговорилъ:

— Ничего не стòитъ!..

Кто-то вырвалъ у него жилетку изъ рукъ, и Фролъ Иванычъ только-что хотѣлъ обидѣться на невѣжливое обращеніе, какъ съ моря донесся далекій свистокъ. Фролъ Иванычъ ринулся въ свое заведеніе и отдалъ на всякій случай приказаніе.

— Вы, Анисья Филипповна, значитъ, того... вообще и въ оба надо смотрѣть... А то вотъ эти самыя подобныя бабы, которыхъ вы жалѣете... Однимъ словомъ, какъ разъ сцапаетъ бутылку или кружку—и поминай, какъ звали.

— Не безпокойтесь, Фролъ Иванычъ...

— И тоже напримѣрно, чтò касаемо льду... сейчасъ въ кадушкѣ подъ стойкой...

— Чтò вы въ самомъ дѣлѣ, Фролъ Иванычъ, — заворчала Анисья Филипповна.—Слава Богу, не слѣпая...

II.

Фролу Иванычу рѣшительно не было никакого дѣла до подходящаго парохода, но онъ бѣжалъ, точно на пожаръ, обгоняя другихъ и толкая встрѣчнаго и поперечнаго. Туманъ только-что началъ подниматься надъ моремъ, и вдали виднѣлся силуэтъ подходившаго парохода. Къ молу двигались толпы носильщиковъ, ломовые и коляски извозчиковъ. Фролъ Иванычъ встрѣтилъ нѣсколько знакомыхъ, здоровался на ходу и успокоился только тогда, когда остановился у того края мола, къ которому долженъ былъ причалить пароходъ. Онъ тяжело дышалъ, какъ лошадь, сдѣлавшая большой перегонъ.

— Куды ускорился, Фролъ Иванычъ? — окликнулъ его сѣденькій худенькій старичокъ съ благочестивымъ лицомъ подвижника.

— А, это ты, Никитичъ... Здравствуй. Каково прыгаешь?

— Помаленьку, пока Господь грѣхамъ терпитъ.

— Такъ, такъ... Это „Ксенія“ бѣжитъ? Ну, а ты работничковъ ждешь?

— Ужъ это какъ Богъ дастъ... Все отъ Бога.

— Да ужъ тебѣ-то Богъ пошлетъ, извѣстное дѣло...

Никитичъ былъ извѣстный подрядчикъ, изъ рязанскихъ. Онъ носилъ рассейскую чуйку, говорилъ разбитымъ жиденькимъ теноркомъ и отличался какимъ-то ожесточеннымъ благочестіемъ.

Пароходъ приближался. Уже можно было слышать, какъ онъ тяжело буравилъ воду, распихивая двѣ зеленыхъ волны. Издали казалось, что онъ все усиливалъ ходъ и дѣлался больше. Сдѣлавъ кругъ, онъ тяжело подошелъ къ пристани, точно желѣзное чудовище. На пристани поднялась обычная въ такихъ случаяхъ суматоха, а больше всѣхъ суетился, конечно, Фролъ Иванычъ. Когда публика хлынула съ парохода живой волной, онъ первымъ бросился по сходнямъ на палубу, не обращая вниманія на ругань и толчки.

— Эй, Фролъ Иванычъ, постой немножко, — остановилъ его на палубѣ третьяго класса знакомый голосъ.

Передъ нимъ стоялъ приземистый старикъ въ красной рубахѣ, въ валенкахъ и полушубкѣ, съ большой котомкой за плечами. Сѣрая отъ просѣди борода падала на широкую грудь волнистыми космами.

— Мосеичъ, да это ты?! — ахнулъ Фролъ Иванычъ, останавливаясь.— А мнѣ сказывали, что ты померъ...

— Анъ живъ Мосеичъ... Поклоны тебѣ привезъ. Танбовская губернія кланяется... А что̀ касаемо смерти, такъ пока все другіе протчіе человѣки помирали. Значитъ, наша очередь еще не пришла...

Изъ-за Мосеича выглядывало румяное курносое дѣвичье лицо, ухмылявшееся по неизвѣстной причинѣ. По глазамъ и по вздернутому носу Фролъ Иванычъ сразу опредѣлилъ, что это или дочь, или племянница, а по лаптямъ и накинутой на плечи изъ бѣлаго домотканнаго сукна—настоящую „танбовку“. Въ сторонкѣ, отдѣльной кучкой стояли тамбовскіе Панасы, Ѳедосы, Савелы и Петряи, тоже въ свитахъ изъ домашняго сукна и нѣкоторые въ лаптяхъ. Фролъ Иванычъ любовно посмотрѣлъ на эти родныя свиты и лапти и даже вздохнулъ. „Эхъ, Танбовская губернія, нѣтъ-то тебя лучше и пріятнѣе“...

Первыми восклицаніями разговоръ исчерпался, и Фролъ Иванычъ не находилъ, что̀ сказать землякамъ, хотя вопросъ былъ всегда готовъ: зачѣмъ пожаловали?

— Донька, уди, —отстранилъ дѣвушку Мосей и, отведя въ сторону Фрола Иваныча, вполголоса заговорилъ:—А мы, значитъ, того, Фролъ Иванычъ...

— Работы искать?

— Правильно...

Еще разъ оглянувшись, Мосей подмигнулъ и прибавилъ:

— Не спроста мы сюда-то пришли этакую даль... Еще по зимѣ наслышаны были, что царь строитъ каменный мостъ черезъ Черное море, ну, значитъ, и того, народъ нуженъ...

Фролъ Иванычъ расхохотался. И придумаетъ же эта Тамбовская губернія... Каменный мостъ черезъ Черное море!.. Тоже, натощакъ не вдругъ и выговоришь. Когда онъ сталъ разувѣрять Мосея, теперь уже тотъ расхохотался въ свою очередь.

— Ладно, ладно, перестань морочить, Фролъ Иванычъ.... Нечего тутъ скрываться.

— Да хоть кого спроси!..

— И то спрашивали дорогой. Никто не хочетъ правду сказать, всѣ скрываются...

— Это молъ будутъ продолжать, Мосей, а ты мостъ выдумалъ.

Мосей хлопнулъ Фрола Иваныча по плечу и, подмигнувъ, закончилъ:

— Ну, пусть будетъ по-твоему, а мы кубыть тебѣ вѣримъ... Цѣлую артель вывелъ.

— Такъ вы ступайте на Черный рынокъ, тамъ моя старуха въ заведеніи сидитъ, а мнѣ еще нужно тутъ сбѣгать по одному дѣлу...

— Ладно, ладно, знаемъ,—согласился Мосей.—Не впервой... Ну, Тамбовская губернія, трогай!..

Подрядчикъ Никитичъ уже замѣтилъ своимъ благочестивымъ окомъ эту кучку тамбовцевъ и ждалъ ихъ у самыхъ сходней. Мосей, въ свою очередь, узналъ Никитича и весело поздоровался.

— Погляди-ка, какую я артель вывелъ, Никитичъ! Прямо съ берлоги народъ поднялъ...

— Что же, подавай Богъ... Господь любитъ труды.

— Тебя Мосеемъ звать?

— Онъ, видно, самый... Мосей Шершавый. Работы къ вамъ пріѣхали искать...

— Дай Богъ, дай Богъ...

Дорогу на Черный рынокъ Мосей зналъ хорошо и вывелъ свою артель прямо къ заведенію Фрола Иваныча. Анисья Филипповна узнала Мосея и тоже ахнула.

— Живъ, Анисья Филипповна,—успокаивалъ ее Мосей, сбрасывая тяжелую котомку.—Развѣ ты насъ кваскомъ угостишь съ дороги? Вотъ родную племянницу Доньку вывелъ... „Хочу, гритъ, мостъ батюшкѣ царю строить“. Озорная дѣвка... хе-хе!..

Это былъ подвохъ, чтобы шуткой выпытать у Анисьи Филипповны сущую правду, но хитрая старуха заперлась, какъ мужъ, и отвѣтила, что о мостѣ ничего не слыхать.

— Ну ладно, мы его сами поищемъ,—увѣренно замѣтилъ Мосей.—Не мѣшокъ съ деньгами, не потеряется...

Поднятые изъ тамбовской берлоги мужики съ любопытствомъ разсматривали галдѣвшую на непонятномъ языкѣ толпу турокъ и переглядывались. Ну, только и народецъ!..

— Ничего, народъ хорошій, хоша и турки,—объяснялъ Мосей.—Смирный народъ, а главное—непьющій... У нихъ такой законъ.

Въ квасной сидѣлъ какой-то рабочій съ парохода, одѣтый въ синюю блузу. Онъ съ аппетитомъ ѣлъ краюшку полубѣлаго хлѣба, запивая его дешевымъ квасомъ.

— Что̀ законъ?—обидчиво отвѣтилъ онъ.—У каждаго человѣка есть законъ, а только всякая держава пьетъ...

Анисья Филипповна сосредоточила все свое вниманіе на Донькѣ и угостила ее квасомъ.

— Кушай, милая, на здоровье,—ласково повторяла старушка.—Работы пришла искать? Будетъ и работа... Вонъ сколько нашихъ рассейскихъ бабочекъ стоитъ, тоже работы ждутъ. Всѣмъ мѣсто найдется... Татарки-то у себя по саклямъ только и умѣютъ кохе свой пить, а на табачныхъ огородахъ наша сестра рассейская и садитъ, и полетъ, и поливаетъ.

Между прочимъ, Анисья Филипповна въ артели тамбовцевъ сразу присмотрѣла бѣлокураго парня Ѳедоса. Ничего, хорошъ паренекъ, хоть куда поверни. И плечо тугое, и рука могутная, и грудь выпираетъ изъ-подъ рубашки... Другіе были помельче ростомъ, ну, да въ артели все сойдетъ. Замѣтила старушка и то, что какъ будто Донька все отворачивается отъ Ѳедоса и даже хмуритъ брови, когда встрѣтится съ нимъ глазами. Охъ, дѣвичье дѣло, конечно, совѣстно... Ѳедосъ и самъ не замѣчалъ, какъ нѣтъ-нѣтъ да и очутится рядомъ съ Донькой.

— Ужо надо поснѣдать съ дороги,—соображалъ Мосей.—Домашнюю-то ѣду всю прикончили дорогой, а здѣсь и настоящаго хлѣба не найдешь. Здѣсь все ситный да баранки... Не уважаютъ ржаной-то хлѣбушко.

Мосей самъ сходилъ купить хлѣба и принесъ цѣлую коврягу.

— Ну, ребятки, пока ѣшьте съ оглядкой,—предупредилъ онъ, нарѣзая аппетитные ломти.—Пожалуй, и себя съѣдимъ такъ-то, пока нѣтъ работы... Донька, а тебѣ побольше ломоть, потому какъ бы очень затошцала на пароходѣ. Анисья Филипповна, всю ночь насъ эта самая Донька потѣшала, пока пароходъ кружилъ въ туманѣ. Мы, мужики, ничего, и она всю ноченьку бѣгала къ борту, точно барыня или поповна...

— Это съ непривычки,—объяснилъ Фролъ Иванычъ, точно выросшій изъ земли.—Никитичъ не приходилъ?

— Нѣтъ, не видать кубыть...

Фролъ Иванычъ обругался.

— Ужъ только и народится человѣчина... Недаромъ онъ по пристанямъ-то обнюхиваетъ.

— Ничего, Фролъ Иванычъ, безъ работы не останемся,—успокаивалъ Мосей.—Не впервой, слава Богу. Вотъ ужо схожу къ дохтуру Палъ Петровичу, у него мы какъ-то домъ налаживали... потомъ баринъ изъ нѣмцевъ есть знакомый... Обойдется.

— Чему обходиться-то?—ругался Фролъ Иванычъ.—Тоже не фасонъ задарма̀ на базарѣ стоять... А Никитичъ знаетъ свое: „Какъ Богъ“ да „Господь не оставитъ“... Растерзать его мало!

Черезъ часъ Мосей велъ свою артель куда-то по главной дорогѣ въ Массандру и по пути объяснялъ Донькѣ:

— Видишь агроматные дома, дура? Тутъ все дохтура живутъ... Значитъ, все ихніе дома. Ежели, напримѣръ, другому человѣку у смерти конецъ, то-есть человѣку богатому, ну, его сичасъ въ эту самую Ялту: тутъ тебѣ море, тутъ тебѣ горы, тутъ тебѣ свободный воздухъ, розаны и всякое удовольствіе... Іонъ и отдышаетъ, значитъ, который хворый. А то и для баловства которые наѣзжаютъ... У себя-то въ Москвѣ или въ Питирѣ надоѣстъ безобразничать, ну валяй на солнышко. Однимъ словомъ, баловство...

III.

Первый день тамбовской артели прошелъ какъ-то между рукъ. Мосей разыскалъ какой-то сарай, гдѣ и размѣстились всѣ.

— Здѣсь, братъ, тепло,—объяснялъ онъ, надѣвая полушубокъ.—Недаромъ богатѣющіе господа сюда ѣдутъ. Ужъ я знаю. Ужо въ баню вечеркомъ сходимъ отъ свободности...

Устроивъ артель, Мосей отправился въ городъ на поиски работы и пропадалъ до самаго вечера. Вернулся онъ сумрачный и ничего не сказалъ, гдѣ былъ и кого видѣлъ. Старикъ только встряхивалъ головой и вздыхалъ. Артель пріуныла.

— А ничего, какъ Богъ,—рѣшилъ Мосей.—Другіе живутъ, и мы какъ-нибудь проживемъ. Посмотрѣлъ это я давеча на пропойцевъ—Господи, и сколько ихъ тутъ набралось, и всѣ-то пьяные. Точно комары надъ болотомъ толкутся... Берутъ же гдѣ-нибудь деньги на пропой души, окаянные? Охъ, дѣла... И нашихъ русачковъ понапёрло вполнѣ достаточно.

Вечеромъ пошли въ баню и по дорогѣ насмотрѣлись на всякихъ господъ, которые катались по городу въ коляскахъ и верхомъ. Особенно удивляли тамбовцевъ дамы-амазонки: уцѣпится въ сѣдлѣ бочкомъ и вотъ какъ нажариваетъ, только пыль летитъ. Доньку бы посадить такъ-то... Тамбовцы всему удивлялись и указывали пальцами на разныя диковины. И горы какія высокія, и море какое зеленое, и дома всѣ до одного каменные, и люди всѣ до одного богатые, и дерева все неизвѣстныя да чужія. Одна Донька ничего не желала ни видѣть ни слышать и готова была разревѣться каждую минуту. Ее душила тоска по своей Тамбовской губерніи... Что-то тамъ теперь дѣлается?

По дорогѣ изъ бани обратно они встрѣтили смѣшного молодого барина съ стеклышкомъ въ глазу. Онъ шелъ въ какомъ-то длинномъ до пятъ, рыжемъ балахонѣ, насвистывая опереточный мотивъ и помахивая тоненькой тросточкой.

— Да вѣдь это нашъ молодой баринъ...—съ радостью проговорилъ Мосей.—Ей-Богу, іонъ самый!.. Только вотъ какъ его звать—не упомню. Мудреное имя какое-то...

Старикъ даже забѣжалъ впередъ и поклонился молодому барину, который посмотрѣлъ на него своимъ стеклышкомъ совершенно равнодушно.

Эта встрѣча сразу оживила Мосея. Если молодой баринъ въ Ялтѣ, значитъ, и старый баринъ здѣсь же. Городъ не великъ, и разыскать можно живой рукой. А старый баринъ все знаетъ... У Мосея гвоздемъ засѣла въ головѣ мысль о царскомъ мостѣ, и онъ былъ убѣжденъ, что всѣ отъ него скрываютъ все. А старому барину ужъ не зачѣмъ его обманывать.

Утромъ тамбовскую артель ожидала самая непріятная неудача. Когда они чуть свѣтъ вышли на базаръ, Фролъ Иванычъ былъ уже тамъ и сообщилъ Мосею подъ секретомъ очень важную новость:

— Никитичу сегодня надо будетъ нанять цѣлыхъ пятьдесятъ человѣкъ... У него подрядъ на набережной... Того гляди, притащится сюда. Только ухо держите востро: обманетъ. Выпрашивайте по полтора рубли поденщину... Понялъ?

— А ежели не дастъ?

— Ну, можно сбавить на рупь двадцать, а больше—ни-ни. Онъ, какъ идолъ, будетъ рядиться...

Какъ оказалось, эта новость была небезызвѣстна и другимъ, потому что русскіе рабочіе сбились въ одну толпу и сдержанно толковали о томъ же.

— А ежели турки перебьютъ?—сомнѣвался Мосей, почесывая затылокъ.

— Что̀ турки?—разсердился Фролъ Иванычъ.—Развѣ турки могутъ работать настоящую тяжелую работу? Такъ, разныя подробности работаютъ, а сурьезнаго-то и нѣтъ... Турки!.. Они вонъ въ цѣлое лѣто на копейку квасу не выпьютъ...

Появленіе Никитича было встрѣчено глухимъ гуломъ смѣшанныхъ голосовъ. Впередъ выступили артельные рядчики и повели переговоры. Никитичъ билъ себя кулакомъ въ грудь и что-то выкрикивалъ своимъ тонкимъ, бабьимъ голосомъ.

— Полтора цѣлковыхъ?!..—кричалъ онъ, размахивая руками.—Да креста на васъ нѣтъ, ребятки... Бога-то побойтесь, Бога-то!.. Безъ ножа хотите зарѣзать живого человѣка.

Рядчики отвѣчали такими же пустыми словами и стояли на своемъ. Первыми сдались черниговскіе хохлы, сразу сбавивъ цѣну на рубль двацать. Поднялся крикъ и ругань.

— Ну, и бери хохловъ, Никитичъ!.. Развѣ это рабочіе?.. Лопаты держать не умѣютъ въ рукахъ... Не столько работаютъ, сколько оглядываются. На хохлахъ недалеко уѣдешь...

Хохлы отмалчивались. Они уже около недѣли напрасно искали работы и были рады итти за рубль. Никитичъ, конечно, это зналъ и давалъ девять гривенъ.

— Дома-то за двугривенный работаете, а здѣсь на полтора цѣлковыхъ разстарались! Забыли Бога-то...

Ряда шла отчаянная. Никитичъ еще накинулъ пятачокъ и поклялся, что больше не прибавитъ ни одной копейки. Рядчики сошлись вмѣстѣ и начали сговариваться между собой. Конечно, можно и за цѣлковый работать, а только нехорошо ронять цѣну. Разъ уронили, а потомъ и не подымешь. Никитичъ, несмотря на самыя отчаянныя клятвы, хотѣлъ уже прибавить еще пятачокъ, но въ этотъ моментъ показалась цѣлая толпа турокъ, только-что пріѣхавшихъ на пароходѣ.

— Вотъ такъ фунтъ!—ахнулъ Фролъ Иванычъ, принимавшій, конечно, самое дѣятельное участіе въ общей суматохѣ.

Онъ забѣжалъ въ толпу и старался заслонить собой Никитича, чтобы тотъ не видалъ турокъ. Но было уже поздно. Никитичъ махнулъ рукой и самъ пошелъ къ толпѣ турокъ, собравшейся у своей булочной. Здѣсь переговоры были кончены въ нѣсколько минутъ. Турки согласились итти работать за сорокъ копеекъ. Фролъ Иванычъ въ отчаяніи бросилъ свою шапку о̀земь и, грозя туркамъ кулакомъ, кричалъ:

— Вотъ вамъ, черномазые черти!.. Въ колья васъ надо... Только хлѣбъ у добрыхъ людей отбиваете. И ты хорошъ, Никитичъ!.. Креста на тебѣ нѣтъ...

Артель турокъ ушла за Никитичемъ, а русскіе рабочіе остались на базарѣ. Не слышно было ни обычнаго галдѣнія ни ругани—горе было слишкомъ неожиданно и велико.

— Да, воопче... — смущенно бормоталъ Мосей.—Экъ ихъ угораздило, чертей... Въ самый секундъ подоспѣли.

— Да что̀ имъ, туркамъ, сорокъ копеекъ—и того много!—оралъ Фролъ Иванычъ. — Развѣ это люди? Вонъ какая на немъ одежда: однѣ заплатки. Развѣ онъ понимаетъ, напримѣръ, настоящую ѣду? Съѣстъ одинъ бубликъ въ три копейки, запьетъ его водой—и цѣлый день сытъ. Онъ и праздника не понимаетъ, какъ собака: у нихъ все будни...

Пока происходила вся эта передряга, Анисья Филипповна успѣла при-

строить Доньку къ другимъ бабамъ, которыя нанялись куда-то на табачную плантацію въ Алупку.

— Тридцать копеекъ будетъ получать, а тамъ прибавятъ,—хвасталась старушка своей удачей.—И тридцать копеекъ деньги...

Мосей, поощренный этой удачей, увѣренно заявилъ:

— Э, и мы безъ дѣла не останемся!... Слава Богу, свѣтъ не клиномъ сошелся... Ежели что̀, такъ мы и въ Новороссійскъ махнемъ. Не тужите, братцы!..

IV.

Тамбовская артель причиняла Фролу Иванычу массу хлопотъ. Онъ даже осунулся въ лицѣ и похудѣлъ. Одна борьба съ дешевыми турками чего стоила. Когда на базарѣ появлялся подрядчикъ Никитичъ, высматривавшій свою дневную порцію рабочихъ рукъ, Фролъ Иванычъ накидывался на него съ яростью.

— Опять обманывать пришелъ?—кричалъ Фролъ Иванычъ, размахивая руками.—Полюбуйся на свою работу: турки работаютъ у тебя, а наши русачки вотъ стѣнкой стоятъ голодные. Это какъ по-твоему?

— А ужъ какъ Господь...—пѣвуче отвѣчалъ Никитичъ.—Ужъ это не отъ насъ, милый человѣкъ. И турки тоже ѣсть хотятъ. Понедѣльниковъ, небойсь, не справляютъ, да еще каждый день своему Богу по три раза молятся.

— А что̀ изъ того, что молятся—хоть десять разъ молись, а ихній Богъ неправильный. Вотъ тебѣ бы въ самый разъ въ мухоѣданскую вѣру...

Благодаря хлопотамъ Мосея и Фрола Иваныча, тамбовская артель получила работу, но лиха бѣда была въ томъ, что приходилось работать въ разныхъ мѣстахъ. Сходились вмѣстѣ только по вечерамъ. И Донька отшиблась отъ артели, что̀ очень угнетало Мосея. Дѣвушка молодая, ничего не понимаетъ,—долго ли до грѣха. Вся артель скучала по Донькѣ, въ которой сохранялась послѣдняя теплота родной губерніи. Фролъ Иванычъ былъ того же мнѣнія и чуть не подрался изъ-за Доньки съ своей Анисьей Филипповной и довелъ ее до слезъ.

— Что̀ же, я для нея же старалась,—оправдывалась старушка, вытирая слезы.—Не одна ушла въ Алупку, а съ другими протчими бабами.

— А ежели она оттуда воротится круглая? Баба не мужикъ, и по здѣшнимъ мѣстамъ ей вездѣ цѣна. У меня есть знакомый татаринъ Асанъ въ Ауткѣ, такъ я уже ее туда опредѣлю... По крайности, каждый день дѣвушка дома, въ своей артели ночевать будетъ.

— Ну, и устроивай.

— И устрою. Не буду тебѣ въ ноги кланяться... Вотъ погоди, воскресенье придетъ—тогда и опредѣлю. Пусть чувствуетъ, каковъ есть человѣкъ Фролъ Иванычъ.

Фролъ Иванычъ сдержалъ свое слово и опредѣлилъ Доньку къ Асану, въ Аутку. Эта татарская деревушка слилась съ Ялтой и была, какъ ковромъ, обложена табачными плантаціями. Анисья Филипповна соображала свое и все поглядывала на Ѳедоса. Въ самый бы разъ парочка вышла. Старушка стороной успѣла вызнать, что у себя въ деревнѣ Ѳедосъ былъ завиднымъ женихомъ и за него пошла бы любая дѣвушка, но онъ не хотѣлъ жениться, пока не устроится.

„Ничего, Богъ дастъ, все устроится, — соображала старушка.—Ушелъ холостой, а вернулся женатый. Конечно, Донька не Богъ знаетъ какая корысть, ну, да съ лица не воду пить“.

Весна быстро шла впередъ. Миндали давно отцвѣли. Начала быстро

распускаться зелень. Море теплѣло съ каждымъ днемъ. Ялта оживала весеннимъ прилетомъ своихъ больныхъ гостей. И старики и молодые—всѣ искали животворящаго тепла. Больные бродили по набережной, любуясь моремъ, ютились въ маленькомъ городскомъ садикѣ, слушая музыку, и вообще старались какъ-нибудь убить время. Это была какая-то призрачная жизнь, окрыленная несбыточными надеждами найти именно здѣсь утраченное здоровье. Были и такіе люди, которые рѣшительно не знали, зачѣмъ они пріѣхали въ Ялту—вѣрнѣе сказать, не знали, куда имъ дѣваться. Они ругали и Ялту и по пути всѣ русскіе курорты, клялись, что это уже въ послѣдній разъ они попали на южный берегъ Крыма, и доказывали другъ другу всѣ преимущества заграничныхъ курортовъ.

Именно къ послѣднему сорту господъ относился „нашъ родной баринъ“ Мосея Шершаваго—Ипполитъ Андреичъ Череповъ. Семья Череповыхъ поселилась въ „Россіи“, занимая два номера — въ большомъ жилъ старикъ Череповъ съ сыномъ Вадимомъ, а въ маленькомъ помѣстилась дочь Ирина, молодая худенькая дѣвушка съ острыми плечами и какими-то жгучими глазами. Старикъ Череповъ, представительный сѣдой старикъ, держалъ себя съ большимъ достоинствомъ и пользовался у всей прислуги никарнаго отеля большимъ уваженіемъ. Онъ дѣлалъ все, до послѣднихъ мелочей, съ какой-то министерской солидностью, даже умывался не такъ, какъ другіе, а верхъ солидности, доходившей до священнодѣйствія, проявлялся больше всего за обѣдомъ и ужиномъ. Послѣднее, впрочемъ, носило характеръ почти платоническій, такъ какъ старикъ Череповъ страдалъ катарромъ желудка и половины артистически приготовленныхъ кушаньевъ не могъ ѣсть.

— Мой желудокъ такъ же не перевариваетъ нѣкоторыхъ вещей, какъ не перевариваютъ головы моихъ дѣтей цѣлый рядъ идей, — мрачно острилъ старикъ.

Дѣти привыкли къ желчнымъ выходкамъ отца и не обращали на нихъ особеннаго вниманія. Это была довольно странная семья, жившая какими-то взрывами. Всѣ держались на равной ногѣ, какъ добрые старые знакомые. Получалась та излишняя откровенность, какая извиняется только добрымъ старымъ знакомымъ, на которыхъ не обижаются.

Деревья покрылись зеленью. Начали распускаться глициніи. Наступала лучшая весенняя пора. Старикъ Череповъ ежедневно гулялъ по набережной опредѣленное докторомъ время. Разъ въ воскресенье, когда онъ съ дочерью возвращался домой, его остановилъ у входа на лѣстницу какой-то мужикъ, державшій шапку въ рукахъ. Это былъ Мосей Шершавый съ Донькой.

— Ваше высокоблагородіе, Ипполитъ Андреичъ... — бормоталъ Мосей, кланяясь.—Не допущаютъ до васъ... холуи трактирные не пущаютъ...

— Что̀ такое? Что̀ тебѣ нужно? — недовольнымъ голосомъ проговорилъ Череповъ.—Кто ты такой?.

— А мы, баринъ, ваши родные мужики будемъ, значитъ, изъ деревни Парфеновой... Мосей Шершавый, а это моя племянница Донька, значитъ. Дѣльце есть у меня къ вамъ, а холуи не пущаютъ... Прямо, значитъ, къ вашимъ стопамъ, потому какъ вы намъ природный баринъ, и мы вполнѣ обвязаны... напримѣръ, подвержены...

— Какое дѣльце?

— Прикажите допустить, а на улицѣ никакъ невозможно...

Ирина все время разсматривала въ лорнетъ Доньку и пришла въ восторгъ. Вѣдь это былъ великолѣпный этнографическій типъ, который необходимо показать пріѣхавшему въ Ялту путешественнику. Пусть полюбуется на кровную „танбовку“.

У нея и костюмъ весь настоящій, домашней работы. Череповъ слушалъ несвязную болтовню Мосея, нѣсколько разъ поморщился, что̀ въ переводѣ означало его полное недовольство навязчивымъ мужичонкой, но вступилась Ирина.

— Ты, мужичокъ... какъ тебя зовутъ?

— Мосей, барышня...

— Да, такъ ты иди за нами, — рѣшительно приглашала дѣвушка. — Никто не смѣетъ тебя не пустить...

Мосей немного замялся и сбоку посмотрѣлъ на Доньку.

— И она пойдетъ съ нами,—командовала Ирина.

— Для чего эта комедія?—по-французски замѣтилъ Череповъ, пожимая плечами.—Вѣчныя эксцентричности.

— Ахъ, папа, это такъ интересно!..—по-французски отвѣтила Ирина.— Одно имя чего стоитъ: m-lle Донька.

— Съ родственниками трудно спорить, — проворчалъ Череповъ, направляясь по лѣстницѣ къ верхней площадкѣ.

Мосей сразу догадался, что за него заступилась барышня, и, шагая за ней, повторялъ:

— Гонютъ насъ, барышня... которые холуи... А мы ужъ къ вашимъ стопамъ...

Отельные офиціанты попробовали загородить дорогу Мосею, когда вся компанія поднялась къ роскошному вестибюлю.

— Куда прешь, сиволапый!..

— Оставьте, пожалуйста, ихъ,—строго протестовала Ирина.—Они идутъ ко мнѣ... Поняли?..

— Вотъ эти самые, барышня,—жаловался Мосей, указывая на офиціантовъ.—Гонютъ...

Донька никогда еще не видала, какъ живутъ настоящіе господа, и всему удивлялась: лѣстницѣ, ковру въ коридорѣ, дверным ручкамъ и т. д. Ирина провела ее въ свою комнату, и тамъ удивленію Доньки не было границъ, особенно когда она увидѣла нарядную кровать барышни.

— Неужели ты на ней спишь?—спросила Донька.

— Сплю... А что̀?

— Кубыть страшно.

Ирина смѣялась до слезъ надъ Донькой.

Въ номерѣ Черепова происходила не менѣе оригинальная сцена. Мосей стоялъ у дверей и, повертывая въ рукахъ шапку, издалека началъ разсказывать исторію постройки царскаго моста и о томъ, какъ всѣ его обманываютъ. Старикъ Череповъ сначала слушалъ его съ нахмуреннымъ лицомъ, а потомъ захохоталъ.

— На васъ, баринъ, послѣдняя надежда осталась... — закончилъ свое повѣствованіе Мосей.

Череповъ подошелъ къ нему, хлопнулъ его по плечу и, продолжая смѣяться, проговорилъ:

— Не будетъ тебѣ царскаго моста, Мосей...

— Какъ же это такъ, баринъ? Не даромъ люди говорили...

— Я тебѣ сказалъ: не будетъ. И тебѣ и мнѣ никакого моста не будетъ... Былъ у насъ съ тобой „крѣпкій“ мостъ, а теперь ничего не осталось. Купецъ гуляетъ по нашему мосту, а мы въ окошечко на него поглядываемъ.

Мосей зналъ привычку стараго барина говорить мудреныя слова и только хлопалъ глазами. А старикъ Череповъ совсѣмъ развеселился, что съ нимъ случалось рѣдко, усадилъ Мосея на стулъ и началъ подробно его разспраши-

вать обо всемъ: какъ мужики живутъ въ Парфеновой, какъ набралась артель строить царскій мостъ, какъ они шли пѣшкомъ, какъ устроились въ Ялтѣ.

— Утѣснили вы насъ, баринъ, тогда земелькой-то, — говорилъ Мосей, потряхивая головой.—Кормовъ совсѣмъ не стало, скотину пасти негдѣ... Обезлошадили вконецъ.

— И я тоже безлошадный, Мосей... Конскій заводъ давно продалъ. А теперь землю въ банкъ отбираютъ... Новую землю приходится искать...

При словѣ „земля“ Мосей весь встрепенулся.

— Это вы, значитъ, на Кавказъ, баринъ? Сказываютъ, господамъ тамъ отводятъ царскую землю по тыщѣ десятинъ...

Старый баринъ задумался и, вздохнувъ, проговорилъ:

— Приходи какъ-нибудь вечеркомъ, поговоримъ...

Онъ слышалъ шаги Вадима, при которомъ не желалъ говорить. Молодой человѣкъ вошелъ въ номеръ, понюхалъ воздухъ и брезгливо замѣтилъ:

— Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ...

V.

Отъ своего барина Мосей вернулся домой, какъ пьяный. Вѣдь самъ баринъ завелъ рѣчь о новой землѣ, а даромъ онъ говорить не будетъ. Мосей встряхивалъ головой и чесалъ въ затылкѣ. Что̀ же, у батюшки-царя земли сколько угодно, да и Кавказъ великъ. Всѣмъ мѣста найдется. Чѣмъ толкаться по заработкамъ, за милую душу поработать бы на своей землѣ.

Увлеченный своими мыслями, Мосей не замѣчалъ, что въ его артели творится что-то не совсѣмъ ладное. Тамбовцы начали скучать, что̀ было связано съ временемъ года. Всплыла настоящая мужицкая тоска о своей сиротѣвшей землѣ, о сиротѣвшихъ домахъ и сиротѣвшихъ семьяхъ. Крымская яркая весна казалась обидой. Въ результатѣ явились нѣсколько прогульныхъ дней. Единственнымъ живымъ мѣстомъ въ артели являлась Донька, за которой всѣ ухаживали, какъ за родной. Исключеніе въ этомъ случаѣ представлялъ одинъ Ѳедосъ, который старался избѣгать Доньки и почему-то злился на нее.

— Ну, ты, корявая губернія...—ворчалъ Ѳедосъ, когда Донька проходила мимо.

Въ свою очередь донька не оставалась въ долгу и, когда Аписья Филипповна политично наводила ее разговоръ о Ѳедосѣ, грубо отвѣчала:

— Этотъ-то? Да я его и видѣть-то не могу... На сердцѣ мутитъ. Шалый іонъ... тошный...

Ѳедосъ самъ не зналъ, что̀ такое съ нимъ дѣлается, и совершенно не зналъ, куда ему дѣваться въ свободные часы, особенно по праздникамъ. И въ своей артели тошно и на чужихъ людяхъ тошно. Онъ уходилъ куда-нибудь на набережную и по цѣлымъ часамъ смотрѣлъ на море. На набережной и въ праздники работа кипѣла. На базарѣ Ѳедосъ избѣгалъ заходить въ лавочку Фрола Иваныча, а забирался куда-нибудь въ съѣстную, гдѣ толклись пропойцы. И какого только тутъ народа ни было, и почти все грамотные. Они тоже работали временами, чтобы сейчасъ же и пропить весь заработокъ. Ѳедосъ среди нихъ казался богатыремъ и съ презрѣніемъ смотрѣлъ на этихъ несчастныхъ, у которыхъ лица опухли отъ пьянства, руки и ноги тряслись, глаза слезились.

„Господи, да откуда такіе люди берутся?“—съ тоской думалъ Ѳедосъ.

Попадались и женщины-пьянчужки, ходившія съ синяками, рваныя и грязныя. Это была послѣдняя степень паденія. Пробовалъ Ѳедосъ приставать

къ туркамъ, которые ему нравились, но они какъ-то сторонились отъ него, да и разговориться съ ними было трудно. Русскіе рабочіе часто роптали на свою судьбу, волновались и при всякомъ удобномъ случаѣ ругались, а турки держали себя такъ спокойно и съ какимъ-то особеннымъ достоинствомъ носили свои рабочіе лохмотья. А главное, до сихъ поръ Ѳедосъ не видалъ ни одного пьянаго турка...

А борьба между русскими и турками велась по всей линіи. Пока торжествовали турки, хотя Фролъ Иванычъ и грозилъ имъ погромомъ, случавшимся въ Ялтѣ не разъ. Совершенно безучастными оставались въ этой борьбѣ за трудъ одни крымскіе татары, изъ которыхъ прибрежные жили припѣваючи на счетъ своихъ табачныхъ плантацій, виноградниковъ и пріѣзжихъ туристовъ. Настоящіе горные татары появлялись рѣдко и жили въ своихъ горныхъ гнѣздахъ неизвѣстно какъ и чѣмъ. Они привозили дрова, уголь, овечій сыръ, молодыхъ барашковъ, овощи — и тѣмъ ограничивались. Странно было сопоставить черноволосыхъ побѣжденныхъ, сытыхъ и сравнительно обезпеченныхъ, и пришлыхъ, большею частью бѣлокурыхъ или свѣтлорусыхъ побѣдителей, прибитыхъ волной всякихъ злоключеній къ чужому берегу. Типичнѣе всего была русская баба, которая обрабатывала табачныя плантаціи и ходила „коло винограду“.

Разъ Ѳедосъ обходомъ пробрался по базару, минуя заведеніе Фрола Иваныча, и неожиданно натолкнулся на Доньку, которая ходила за хлѣбомъ для артели. Ѳедосъ сдѣлалъ видъ, что не узналъ ея, и повернулъ въ сторону. Донька тоже хотѣла повернуть, но прямо наткнулась на Ѳедоса.

— Ахъ, ты, чучело гороховое!—проворчалъ Ѳедосъ.

— А ты чего смотришь, шалый?!—огрызнулась Донька.

Ѳедосъ погрозилъ ей кулакомъ, свернулъ въ сторону и зашагалъ къ толпѣ турокъ. Донька стояла на мѣстѣ, и у нея на глазахъ навернулись слезы.

Донька, по приглашенію „барышни“, раза два бывала въ „Россіи“, но потомъ перестала ходить. Ее удивляло какое-то особенное нахальство этой барышни, которая не стѣснялась выспрашивать ее о самыхъ интимныхъ вещахъ.

— Тебѣ не страшно жить одной съ мужиками?—спрашивала ее Ирина.— Вѣдь ихъ много, они такіе грубые, слова говорятъ такія...

Донька не понимала.

— Можетъ-быть, тебѣ кто-нибудь нравится?—продолжала барышня наводящіе вопросы.

— Дядя Мосей нравится...

— Ну, это само собой. А изъ парней? У васъ вѣдь это все просто... Я видѣла въ деревнѣ сама, какъ парни хватали дѣвушекъ въ охапку... щипали ихъ...

— Такъ это на играхъ, барышня, а не на артели. На артели у насъ строго... Дядя Мосей не любитъ баловства. Ни-ни...

— А все-таки есть такой парень, который тебѣ нравится?

Донька конфузилась.

— Однимъ словомъ, женихъ?..

— Это ужъ дядя Мосей, барышня, знаетъ...

— Да вѣдь не дядѣ Мосею замужъ выходить, а тебѣ... Кто у васъ въ артели первый красавецъ?

— Всѣ красавцы... На деревнѣ дѣвушки болтали о Ѳедосѣ, только онъ совсѣмъ шалый. И на человѣка не походитъ...

Донька чувствовала себя неловко, когда барышня впивалась въ нее своими „колючими“ глазами или начинала улыбаться. Разъ Донька не выдержала и откровенно заявила:

— А вы смѣетесь надо мной, барышня, какъ надъ писаной дурой... Дѣлать вамъ нечего, вотъ и потѣшаетесь надъ деревенщиной.

— Нѣтъ, не потѣшаюсь,—оправдывалась Ирина, немного смутившись.— А просто мнѣ интересно, какъ другія дѣвушки на свѣтѣ живутъ, что̀ онѣ думаютъ и чувствуютъ.

Донька расхохоталась. Ужъ очень смѣшныя слова барышня разговариваетъ: кто же не знаетъ, о чемъ всѣ дѣвки думаютъ... Очень даже просто. Вонъ какъ Анисья Филипповна пристаетъ съ Ѳедосомъ, точно онъ у нея въ зубахъ завязъ.

— Тебѣ очень хочется замужъ, Донька?

— Н-нѣ... Въ дѣвушкахъ лучше.

— Зачѣмъ же тогда выходятъ замужъ?

— А такъ: выдадутъ — и все тутъ. Вотъ какъ дѣвки-то ревутъ, когда ихъ окручиваютъ. Самая безстрашная и та голосомъ воетъ...

Для Ирины эта „танбовка“ являлась своего рода сфинксомъ, котораго она никакъ не могла разгадать. Путешественникъ-этнографъ, которому Донька была предъявлена въ качествѣ вещественнаго доказательства отъ тамбовской антропологіи, рѣшительно ничего въ ней не нашелъ, что̀ разочаровало Ирину, и Донька была исключена изъ реестра развлекающихъ рѣдкостей. Простившись съ живой игрушкой, Ирина почувствовала ту гнетущую тоску, для которой спеціально создана русская „барышня не у дѣлъ“. Даже было обидно думать, что вотъ эта самая смѣшная Донька кому-то нужна, что у нея есть свое мѣсто въ тамбовской артели, что какая-то таинственная Анисья Филипповна хочетъ ее окрутить съ какимъ-то тамбовскимъ Ѳедосомъ, и что все это нужное, настоящее, серьезное, какъ серьезно шумитъ море, серьезно растетъ трава, серьезно идетъ дождь.

Съ отцомъ у Ирины были совершенно дружескія отношенія, и она не стѣснялась говорить съ нимъ откровенно. Послѣ увольненія Доньки, она за вечернимъ чаемъ долго говорила съ нимъ на эту тему.

— Папа, почему я чувствую себя никому ненужной?

— Очень просто: повышенная требовательность. Нынѣшнія дѣвушки ищутъ непремѣнно героевъ, а таковыхъ слишкомъ мало, даже почти нѣтъ.

— Какіе тамъ герои, папа, просто интересный человѣкъ — и вполнѣ достаточно.

— И такихъ интересныхъ мужчинъ нѣтъ, моя милая. Эта погоня за интересными людьми обличаетъ только собственную внутреннюю пустоту, безсодержательность и вялость. Собственное ничтожество мы желаемъ оправдать на содержательности другого. Это моральное тунеядство... И твоя Донька, конечно, стоитъ неизмѣримо выше тебя, потому что знаетъ, что̀ ей дѣлать, а это главное.

— Ахъ, папа, все это непутныя слова, которыя еще никого не убѣдили и не сдѣлали лучше.

— Нѣтъ, это нужно и знать и чувствовать, Ирина. Я жилъ много за границей, много видѣлъ и пришелъ къ убѣжденію, что лучше русскаго мужика и русской бабы ничего нѣтъ. Да...

— Въ тебѣ, папа, говоритъ уволенный въ отставку рабовладѣлецъ.

— Ничуть! Ты ошибаешься... Ты вотъ читаешь исторіи, гдѣ господа историки такъ красиво подкладываютъ историческіе законы подъ звер-

шившіеся факты и не видятъ настоящаго. Напримѣръ, кто продѣлалъ всю русскую исторію? Да вотъ эта самая тамбовка Донька, которая совсѣмъ не интересна для твоего этнографа. А для меня это все ясно... Я говорю не о томъ, что Донька родила эту исторію, — нѣтъ, она внесла въ нее всепокоряющую живучесть, изумительную эластичность формъ, еще болѣе изумительную приспособляемость въ какомъ угодно положеніи. Эта Донька, какъ кошка, которую выбросили изъ пятаго этажа и которая непремѣнно упадетъ прямо на ноги... И я ее люблю, русскую бабу. Ее историки совершенно просмотрѣли. Да и сейчасъ ея не видятъ... Помнишь, когда ѣздили на воды подъ Учанъ-Су, тамъ по дорогѣ всѣ табачныя плантаціи были усѣяны русскими бабами. Татарская баба не можетъ работать у себя дома, а русская баба бредетъ искать работы за тысячи верстъ. Ее и вѣтромъ сушитъ, и солнцемъ жжетъ, и дождемъ мочитъ, а она все-таки дѣлаетъ свое бабье дѣло. Вѣдь это стоитъ хорошаго завоеванія, и никто этого не видитъ. Бабѣ тѣсно стало дома, и она пошла оплодотворять своимъ великимъ бабьимъ трудомъ чужую ей землю. Самое это великое дѣло, когда есть настоящая баба... Ты слыхала, вѣроятно, что есть такъ называемый русскій скотъ — крестьянская лошадь, крестьянская корова, деревенская курица? Это самая изумительная зоологія, потому что она разрѣшила неразрѣшимую экономическую задачу, т.-е. при наличности minimum'а условій получается maximum производительности. Особенно характерна корова-крестьянка, возведенная въ типъ. Есть такъ называемыя коровы-тасканки и коровы-горемыки, подраздѣляющіяся на кровныхъ горемыкъ и полукровныхъ горемыкъ. Это маленькое тощее созданіе, которое цѣлую зиму обходится безъ пищи и которое до того ослабѣваетъ къ веснѣ, что его нужно вытаскивать на весеннія зелени, гдѣ оно отгуливается. Про курицу и говорить нечего: она должна класть яйца и кормиться сама. А кто создалъ эти живыя чудеса хозяйства? Опять Донька...

Череповъ медленно шагалъ по комнатѣ, пуская синеватый дымъ дорогой сигары. Когда онъ говорилъ, его лицо дѣлалось красивымъ, и Ирина любовалась имъ. Такой умный, хорошій и понимающій старикъ... А между тѣмъ онъ пустилъ своихъ бывшихъ крѣпостныхъ съ даровымъ надѣломъ нищими, вѣчно судился за потравы и кончилъ тѣмъ, что разорилъ все свое хозяйство и проѣдалъ сейчасъ послѣднія крохи. Ирина все это знала и никакъ не могла понять отца, въ которомъ слова, мысли и дѣла шли разными дорогами.

VI.

Благодаря неудержимой энергіи Фрола Иваныча, тамбовская артель къ концу мая устроилась вмѣстѣ, т.-е. на одной работѣ, что представляло много удобствъ.

— Слава Богу, всѣ теперь въ одной кучкѣ,—радовался за всѣхъ Фролъ Иванычъ. — Ужъ на что лучше... А разбились бы по одному человѣку — и конецъ артели. Куда человѣкъ, ежели онъ отъ своихъ отстанетъ? Пропалъ, какъ шведъ подъ Полтавой...

Фрола Иваныча огорчало только то, что Мосей Мерьавый какъ будто не выражалъ особенной радости. Даже совсѣмъ наоборотъ — старикъ все хмурился и угнетенно вздыхалъ.

— Да ты это что, Мосей?—спрашивалъ Фролъ Иванычъ.—Точно муху проглотилъ...

— Есть и муха, Фролъ Иванычъ... Вѣрно ты сказалъ.

Какую муху проглотилъ Мосей — такъ и осталось неизвѣстнымъ, что̀ окончательно огорчило Фрола Иваныча.

— Вотъ и хлопочи для земляковъ,—ворчалъ онъ.—Они же надъ тобой и фигуряютъ...

Потомъ, по наведеннымъ справкамъ, оказалось, что Мосей почти каждый вечеръ куда-то исчезалъ и возвращался домой поздно.

— Ужъ не закутилъ ли грѣшнымъ дѣломъ старикъ, — посомнѣвался Фролъ Иванычъ. — Трактировъ у насъ вполнѣ достаточно, ежели который человѣкъ слабый...

„Муха“ Мосея Шершаваго засѣла въ „Россіи“. Старикъ Череповъ полюбилъ тамбовскаго мужика и каждый разъ угощалъ его чаемъ. Мосей усаживался съ большой осторожностью на краешекъ стула и пилъ одинъ стаканъ чая за другимъ. Иногда угощала его Ирина, а когда ея не было—наливалъ чай самъ Череповъ. Мосей обливался пòтомъ и все-таки пилъ, не смѣя отказаться. Череповъ шагалъ по номеру, заложивъ руки за спину, и говорилъ безъ конца. Когда онъ останавливался, Мосей говорилъ:

— Совершенно правильно, баринъ Апполитъ Андреичъ... Сущая правда вполнѣ...

Скучавшій старый баринъ читалъ цѣлый рядъ лекцій по исторіи Крыма и Кавказа и предъявилъ цѣлый рядъ остроумныхъ соображеній относительно будущаго этихъ двухъ жемчужинъ.

— Рабочія руки нужны, Мосей, наши русскія рабочія руки. Въ Расеѣ стало тѣсно жить, а тутъ всѣмъ мѣста хватитъ.

— Какъ не хватить: тутъ тебѣ море, а тутъ сейчасъ рядышкомъ берегъ. Очень просто...

Мосея смущало только одно, именно, когда баринъ раскладывалъ на своемъ письменномъ столѣ громадную карту и по ней объяснялъ прошедшее, настоящее и будущее. Мосей рѣшительно ничего не понималъ, кромѣ того, что по „плану“ Тамбовская губернія выходила ужъ какъ-то обидно маленькой. Двухъ овецъ некуда выпустить... Не можетъ этого быть. Просто, казенные анжинеры напутляли невѣсть что̀, чтобы скрыть Тамбовскую губернію. А вотъ когда баринъ принимался разсказывать про Кавказъ, Мосей превращался въ одинъ слухъ и все отлично понималъ, только понималъ своими мужицкими словами.

— Эхъ, старость, старость!.. — иногда говорилъ Череповъ, повторяя слова Тараса Бульбы. — Если бы не старость, я самъ бы пошелъ съ вашей артелью... Нашли бы землю и работу.

— Нашли бы вотъ какъ,—соглашался Мосей.

— Ты не понимаешь самаго главнаго, Мосей: ты неуязвимъ, какъ броненосецъ. Много ли тебѣ нужно: одинъ хлѣбъ.

— Да ежели бы былъ іонъ, хлѣбушко-то, да я не знаю, что̀ бы, кажется, сдѣлалъ.

— Ну, прежде ты крѣпостной былъ, а теперь свободный человѣкъ.

— Совершенно свободный, какъ есть ничего нѣтъ.

— А выведи-ка ты свою бабу на Кавказъ — да тамъ ей и цѣны не будетъ.

— Ну, бабу, баринъ, трудно поднять, какъ медвѣдя изъ берлоги. Она тоже ежели упрется, такъ ничего не подѣлаешь... Конечно, ежели міръ прикажетъ, такъ и баба пойдетъ...

Мосей начиналъ понимать, что баринъ тоже склоненъ къ мечтамъ, но слѣпо вѣрилъ каждому его слову. Кому же и знать, какъ не старому барину.

Вотъ какъ все понимаетъ баринъ и все можетъ обсказать, до крайности. Домой Мосей возвращался точно пьяный и во снѣ видѣлъ гостепріимные кавказскіе берега, гдѣ сохранилось крестьянское настоящее счастье.

Не спалось и старому барину Ипполиту Андреичу, хотя и по другимъ причинамъ. Онъ страдалъ старческой безсонницей, а въ послѣднее время она сопровождалась какой-то удручающей старческой тоской. Впереди уже ничего не оставалось, кромѣ механическаго чередованія ненужныхъ дней и ночей. А вѣдь когда-то и онъ мечталъ... Даже и очень мечталъ. Но самая дѣятельная полоса жизни какъ-то сама собой точно выпала, какъ незамѣтно выпадаютъ волосы на головѣ. Онъ сейчасъ съ ужасомъ чувствовалъ нараставшую въ самомъ себѣ пустоту жизни и то, что въ сущности онъ, баринъ Череповъ, никого и ничего въ жизни не любилъ. Боже мой, какъ онъ сейчасъ завидовалъ какому-нибудь Мосею Шершавому, жизнь котораго была и полна и имѣла впереди опредѣленную и ясную цѣль. Въ этомъ безвѣстномъ тамбовскомъ мужичонкѣ чувствовалась та стихійная сила, которая двигаетъ милліонами. Да, они идутъ къ своему безвѣстному счастью и будутъ итти, потому что они нужны, а ненужный никому баринъ Ипполитъ Андреичъ будетъ гнить въ своей могилѣ... Ему даже самымъ близкимъ по крови людямъ, какъ родныя дѣти, нечего передать, кромѣ того, что живите, какъ знаете.

— Ахъ, тоска, тоска!..—шепталъ старый баринъ, шагая по комнатѣ до утра, когда море начинало наливаться бѣлесоватой мглой и отъ него тянуло теплой влажной струей, какъ отъ парного молока.

А тамъ, на базарѣ, русская исторія двигалась своимъ чередомъ. Фролъ Иванычъ, оскорбленный въ лучшихъ своихъ чувствахъ, дѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ тамбовскихъ земляковъ. Они тоже какъ будто избѣгали его заведенія. Вообще чувствовалась натянутость.

— А все ты, чортова кукла!—накидывался Фролъ Иванычъ на жену.— „Наши танбовцы пріѣхали... Наша Танбовская губернія!“ Вотъ тебѣ и Танбовская губернія... Какъ устроились, такъ и рыло на сторону. Извѣстный манеръ...

Можно себѣ представить удивленіе Фрола Иваныча, когда въ концѣ мая въ заведеніе явился Мосей Шершавый въ полушубкѣ, валенкахъ и съ дорожной котомкой за плечами. Съ нимъ пришла и Донька, тоже одѣтая по-дорожному. Фролъ Иванычъ даже потеръ глаза.

— Да ты это что̀, Мосей, куда наклался?

— А вотъ пришелъ проститься съ землячкомъ, — спокойно отвѣтилъ Мосей.—Спасибо за привѣтъ да ласку.

— Да ты куда въ самъ-то дѣлѣ?

— Мы-то?.. А въ Батунъ... Мѣсто такое есть, значитъ, на самомъ берегу.

— И всю артель за собою тащишь?

— Обнакновенно... Вчера съ однимъ человѣкомъ сговорился и задатки получили. Хорошо у васъ, да по нашему пропиталу начетисто кубыть...

— Да ты въ умѣ, Мосей?!.. Точно съ печи упалъ...

— Очень даже въ умѣ... Такая ужъ линія вышла.

Въ короткихъ словахъ и довольно сбивчиво Мосей разсказалъ о своихъ душевныхъ бесѣдахъ съ старымъ бариномъ, о какой-то „вѣрной землѣ“ въ Закавказьѣ и о томъ, какъ мучился все это время.

— Да ты и впрямь рехнулся, Мосей!—вступилась Анисья Филипповна.— Мало ли что̀ кто скажетъ. За всѣми не угоняешься... Прямо сказать, сбѣсился человѣкъ.

Фролъ Иванычъ сначала ругался, ругался вообще и въ частности, потомъ обругалъ Анисью Филипповну, а когда къ заведенію подошла вся тамбовская артель—бросилъ свой картузъ оземь и неожиданно заявилъ:

— Эхъ, Мосей, нехорошо! Вотъ даже какъ нехорошо... Зачѣмъ столько время скрывался? Да я самъ, коли на то пошло, съ вами бы поѣхалъ въ Батумъ... Ей-Богу!.. И мнѣ здѣсь очертѣло смотрѣть на разную пакость. Ей-Богу, поѣхалъ бы!.. И даже очень просто... Да я сейчасъ поѣду!..

Около заведенія собралась цѣлая толпа. Надъ Фроломъ Иванычемъ начали подшучивать. Одна Анисья Филипповна была спокойна. Она знала, что на мужа иногда „нажалываетъ“ и что онъ только такъ говоритъ, на зло ей.

— Да въ Батумѣ твоего квасу и пить никто не станетъ,—замѣтилъ изъ толпы какой-то бывалый человѣкъ.—Тамъ всѣ красное церковное вино пьютъ...

Поднялся шумъ и общій смѣхъ. Взбѣшенный Фролъ Иванычъ разогналъ толпу и продолжалъ увѣрять, что непремѣнно завтра же поѣдетъ.

— Обождите денекъ,—упрашивалъ онъ Мосея.

— Невозможно, Фролъ Иванычъ... У насъ и билеты на пароходъ выправлены.

Пароходъ отходилъ только въ одиннадцать часовъ, но тамбовцы забрались на пристань спозаранку и терпѣливо ждали отвала. Фролъ Иванычъ прибѣгалъ на пристань раза два, чтобы поругаться и сорвать сердце. Между прочимъ, онъ принесъ цѣлую вязку турецкихъ баранокъ и сердито объяснилъ:

— Это отъ моей старухи...

Ровно за полчаса до отхода парохода въ щегольской коляскѣ пріѣхалъ старикъ Череповъ съ дочерью. Тамбовцы были уже на палубѣ и устраивались съ своими пожитками. Мосей бросился по сходнѣ къ барину, чтобы проститься.

— Вотъ видишь, я пріѣхалъ проводить васъ, — говорилъ старый баринъ, поднимаясь по сходнѣ на палубу.

Ирина разыскала Доньку и тихонько ее спросила:

— А который Ѳедосъ?

— Да вонъ онъ... лупоглазый такой...

— А... Ничего, красивый парень.

— Да, такъ въ Батумъ? — какимъ-то дѣланымъ тономъ спрашивалъ Череповъ.—Что же, дѣло хорошее... Съ Богомъ!

Тамбовцы узнали „родного барина“ и сняли шапки. Вынырнувшій изъ толпы Фролъ Иванычъ тоже узналъ Черепова и тоже снялъ шапку.

— Точно такъ-съ, ваше превосходительство, — отвѣтилъ онъ за всѣхъ.

— А ты тоже изъ артели?—спросилъ Череповъ, подозрительно оглядывая городской костюмъ Фрола Иваныча.

— Я-то тоже тамбовскій, ваше превосходительство, только я по квасоваренной части. У меня собственное заведеніе на базарѣ.

Череповъ поговорилъ съ тамбовцами и отправился съ парохода. Уходя, Ирина сунула Донькѣ полуимперіалъ и шепнула:

— Когда будешь выходить замужъ, такъ это тебѣ на приданое...

Донька даже не сумѣла поблагодарить и только крѣпко сжала монету въ кулакѣ.

Когда пароходъ отваливалъ, Мосей Шершавый долго махалъ своей шапкой. Череповъ удостоилъ его кивкомъ головы. Фролъ Иванычъ вертѣлся около него безъ шапки и повторялъ:

— Этотъ Мосей перекати-поле, ваше превосходительство. Ему вездѣ будетъ тѣсно...

5.

Душевный гладъ.

I.

Даже у прокуроровъ бываютъ скверные дни, какъ, напримѣръ, было сегодня у Матвѣя Матвѣича Ельшина. Во-первыхъ, онъ проснулся позднѣе обыкновеннаго (вчера заигрался въ клубѣ въ карты и вдобавокъ проигрался), а потомъ—сегодня ему нужно было ѣхать въ острогъ, что̀ его каждый разъ волновало. За чаемъ онъ молчалъ, стараясь не глядѣть на жену, которая въ такіе дни ему казалась и растрепанной, и грязной, и вообще безобразной. Парасковья Ивановна была на четыре года старше мужа и дѣйствительно не блестѣла особенной красотой. Высокая, брюзглая, съ веснущатымъ лицомъ и всегда мокрымъ ртомъ, она точно создана была спеціально для того, чтобы омрачать существованіе прокурора загорскаго окружнаго суда. Сидѣвшій рядомъ съ Парасковьей Ивановной пухлый и головастый мальчикъ лѣтъ пяти напоминалъ мать.

„Какой-то рахитикъ... — думалъ Ельшинъ, наблюдая, какъ сынъ набивалъ ротъ булкой.—Идіотъ, совсѣмъ идіотъ... Да и что̀ другое можетъ быть отъ такой прелестной мамаши...“

По своей прокурорской привычкѣ, Матвѣй Матвѣичъ у всѣхъ своихъ знакомыхъ находилъ удивительно ярко выраженные признаки врожденной преступности (морелевскія уши, гутчинсоновскіе зубы, сѣдлообразное небо и т. д.), а у себя дома, когда былъ не въ духѣ, мысленно даже переодѣвалъ жену въ арестантскій халатъ и находилъ, что она служила бы типичнымъ экземпляромъ преступности. Еще сильнѣе проявлялась эта преступность въ сынѣ: надбровныя дуги, какъ у шимпанзе, нижняя челюсть „калошей“, какъ выражаются французскіе анатомы, несоразмѣрно длинныя руки, а главное — этотъ тупой, безсмысленный взглядъ безцвѣтныхъ глазъ... Въ сущности, ничего подобнаго, конечно, не было, и маленькій Коля ничѣмъ особеннымъ не выдѣлялся среди другихъ интеллигентныхъ дѣтей. Просто, тихій и склонный къ мечтамъ ребенокъ, который любилъ больше всего свое дѣтское уединенное житіе.

— Я убѣжденъ, что изъ этого отшельника съ временемъ вырастетъ очень хорошій преступникъ,—увѣрялъ жену Ельшинъ, когда хотѣлъ ее позлить.— Вообще, великолѣпный экземпляръ изъ области судебной медицины...

Сегодня, подъ впечатлѣніемъ вчерашняго проигрыша, Ельшину собственная семья казалась какимъ-то гнѣздомъ преступниковъ, такъ что онъ даже пошелъ въ гостиную и посмотрѣлъ на самого себя въ зеркало, какъ на человѣка, который до извѣстной степени, прямо и косвенно, причастенъ къ этому дѣлу. Изъ зеркала на него смотрѣло худенькое нервное лицо съ карими глазами и козлиной бородкой. На этомъ лицѣ выдѣлялся не по возрасту свѣжій ротъ, открывавшій при разговорѣ два ряда чудныхъ бѣлыхъ зубовъ, что̀ придавало ему видъ маленькаго хищника. Ельшинъ былъ немного меньше средняго роста, и, можетъ-быть, поэтому казалось, что у него слишкомъ много зубовъ.

— Да, есть что-то хищное въ выраженіи лица,—опредѣлялъ самого себя Ельшинъ, глядя въ зеркало.—Но признаковъ врожденной преступности никакихъ.

Успокоившись относительно послѣднихъ, онъ, не торопясь (въ острогѣ прокурора могутъ и подождать „господа преступники"), одѣлся, еще разъ оглянулъ себя въ зеркало и, не простившись съ женой (онъ не могъ ей простить своего вчерашняго проигрыша), вышелъ въ переднюю, гдѣ его уже ждала очень миловидная горничная Груша. Надѣвая пальто, Ельшинъ успѣлъ подумать, что если бы вотъ эта простая дѣвушка Груша была его женой, то онъ не спасался бы ежедневнымъ бѣгствомъ въ клубъ. Такая скромненькая, простая и хорошая дѣвушка эта Груша, и, навѣрно, она народитъ не рахитиковъ и будущихъ преступниковъ. Въ Грушѣ не было ни одного признака преступности.

Выходя изъ дому, Ельшинъ принималъ внушительный, дѣловой видъ, какъ это дѣлаютъ всѣ мужчины небольшого роста. Дома онъ былъ просто Матвѣй Матвѣичъ, а за предѣлами этого дома—настоящимъ прокуроромъ. Но это спеціальное настроеніе было нарушено глупой сценой на самомъ подъѣздѣ. Когда Груша отворила дверь и Ельшинъ уже занесъ ногу черезъ порогъ, справа кинулась прямо ему подъ ноги какая-то масса.

— Голубчикъ, господинъ прокуроръ, ваше превосходительство... — заголосила эта неопредѣленная масса „источнымъ" бабьимъ голосомъ. — Охъ, пришла моя смертынька...

— Что̀ вамъ нужно отъ меня!?

— Охъ, смертынька... ваше высокое превосходительство...

— Во-первыхъ, я никакое превосходительство, — обиженно замѣтилъ Ельшинъ, надѣвая перчатки.—А во-вторыхъ...

– Баринъ, это жена Буканова, который въ острогѣ, — шопотомъ объяснила Груша.—Таисьей звать...

— А... Ну, что̀ вамъ угодно отъ меня, госпожа Буканова? Да встаньте, пожалуйста... Это неприлично—валяться на полу.

Госпожа Буканова, благодаря своей тучности и возрасту, поднялась съ большимъ трудомъ на ноги и запричитала.

— Все изъ-за Ивана Митрича... Родной племянникъ и пустилъ на старости лѣтъ по міру... Ѳедоръ-то Евсеичъ за что въ острогѣ засаженъ?

— Какой Ѳедоръ Евсеичъ?

— А, значитъ, мой мужъ... Онъ самый. Одного страму не износить...

— Ахъ, да, Букановъ, который будетъ судиться за подлогъ... Ну, матушка, тутъ я ничего не могу подѣлать.

Горничной Грушѣ нравилось, что у ея барина въ ногахъ валяется толстомордая купчиха. И ростомъ не вышелъ баринъ и капиталу никакого, а тутъ купчиха Буканова, у которой и собственный домъ, и собственный капиталъ, и собственная лавка со скобянымъ товаромъ.

— Да вѣдь ни при чемъ тутъ мой-то Ѳедоръ Евсеичъ... Все племянничекъ Иванъ Митричъ нахороводилъ, онъ еще двухъ племянниковъ разорилъ и родную жену обокралъ... Все онъ, змѣй подколодный!..

— Вѣроятно, онъ много натворилъ, вашъ Иванъ Митричъ, и все это выяснится въ свое время на судѣ, но отъ этого вашему мужу не будетъ легче. Вашъ мужъ будетъ судиться особо, по своему собственному дѣлу, и, повторяю, я рѣшительно ничего не могу для васъ сдѣлать, даже если бы и желалъ.

Въ отвѣтъ Буканова опять повалилась въ ноги и закричала что-то ужъ совсѣмъ безсмысленное. Ельшинъ разсердился. У подъѣзда уже начала собираться кучка любопытныхъ.

— Да говорятъ же вамъ, встаньте!..

— Охъ, смертынька...

Ельшина выручилъ извозчикъ, который „подалъ“ въ самый критическій моментъ. Буканова поднялась и, провожая глазами уѣзжавшее начальство, проговорила:

— Этакій маленькій, а злости-то сколько въ ёмъ...

Это замѣчаніе обидѣло Грушу.

— И даже совсѣмъ наоборотъ... Матвѣй Матвѣичъ даже совсѣмъ не злые, а такая ужъ ихняя строгая служба.

— Не ври, мать... Все отъ прокурора: кого захочетъ—того и посадитъ въ острогъ. На что боекъ былъ Иванъ Митричъ, а и того упомѣстилъ твой-то баринъ. Охъ, смертынька!

II.

Въ первый моментъ Ельшинъ разсердился на полоумную старуху, которая держала его квартиру въ осадѣ, такъ что ему носу нельзя было показать на улицу. А съ другой стороны, ему льстило, что кліенты считаютъ его всесильнымъ. Какъ хотите, гласъ народа—гласъ Божій... Сознаніе собственной силы—что̀ можетъ быть выше и лучше? А Загорскъ давно оцѣнилъ Матвѣя Матвѣича... Даже свѣтила мѣстной адвокатуры побаивались его. Не обладая какимъ-нибудь выдающимся ораторскимъ талантомъ, Ельшинъ велъ каждое дѣло съ какимъ-то ожесточеніемъ и затаенной злостью. Особенно доставалось подсудимымъ во время допроса свидѣтелей на судѣ. Ельшинъ просто выматывалъ душу, какъ говорили про него адвокаты. А между тѣмъ по душѣ онъ совсѣмъ не былъ прокуроромъ и считалъ себя не на своемъ мѣстѣ.

— Какой же я прокуроръ? — спрашивалъ онъ въ минуту отчаянія. — Развѣ такіе прокуроры бываютъ?

— Чѣмъ же вы, Матвѣй Матвѣичъ, хотѣли бы быть?

— Я?..

Онъ задумывался, теребилъ свою козлиную бородку и съ виноватой улыбкой признавался:

— Можетъ-быть, я ошибаюсь, но мнѣ кажется, что изъ меня вышелъ бы недурной акварелистъ...

Незнакомые люди удивлялись такому скромному желанію загорскаго прокурора, а знакомые соглашались съ Матвѣемъ Матвѣичемъ, потому что своими глазами видѣли его акварельные рисунки и находили ихъ очень хорошими и талантливыми. Но бывали моменты, когда Матвѣй Матвѣичъ сомнѣвался самъ, что могъ бы быть хорошимъ акварелистомъ, какъ это было сегодня. Тогда у него начиналась другая полоса мыслей, и онъ начиналъ думать на тему, что единственно хорошее въ жизни — это добывать свой хлѣбъ своими руками, какъ дѣлали еще римскіе магнаты и неудавшіеся цезари, въ родѣ пресловутаго Цинцинната. Да, быть свободнымъ, быть самимъ собой... Матвѣю Матвѣичу грезилось собственное имѣньице, очень небольшое, но уютное, и онъ видѣлъ самого себя въ рабочей блузѣ фермера. Даже Парасковья Ивановна и идіотъ Коля въ этой обстановкѣ утрачивали признаки врожденной преступности и дѣлались нормальными. Развѣ тогда онъ сталъ бы проводить безсонныя ночи въ клубѣ за дурацкимъ винтомъ? Кстати, онъ припомнилъ ужасный случай, который произошелъ съ нимъ именно изъ-за картъ. Какъ-то года три назадъ, послѣ картежной ночи, онъ изъ клуба отправился прямо въ судъ, гдѣ долженъ былъ участвовать въ распорядительномъ засѣданіи. Какъ на зло, засѣданіе вышло очень скучное. Ельшинъ задремалъ и на предложеніе предсѣдателя высказать свое мнѣніе отвѣтилъ:

— Я пасъ...

Это была одна изъ самыхъ прискорбныхъ минутъ въ жизни Матвѣя Матвѣича, и онъ каждый разъ краснѣлъ, вспоминая о ней. Хуже всего въ этомъ случаѣ было то, что онъ гдѣ-то читалъ именно въ такомъ родѣ дурацкій анекдотъ, а потомъ (horribile dictu!) самъ продѣлалъ его. И сегодня, подъ впечатлѣніемъ вчерашняго проигрыша, Матвѣй Матвѣичъ невольно припомнилъ свой роковой „пасъ" и въ тысячу первый разъ рѣшилъ, что необходимо сдѣлаться фермеромъ, — да, фермеромъ, а не помѣщикомъ. Вѣдь у каждаго ненормальнаго человѣка, т.-е. человѣка съ нарушенной волей, есть свой „пасъ", какъ у той же купчихи Таисьи Букановой, которая сейчасъ валялась у него въ ногахъ. Высшая реализація этого „паса" былъ тотъ острогъ, въ который онъ ѣхалъ сейчасъ,—тамъ были собраны тѣ человѣческіе минусы, которые являлись въ общемъ теченіи жизни тѣмъ, что въ математикѣ называется отрицательными величинами. А высшая математика оперируетъ съ „мнимыми величинами", создаетъ теорію вѣроятностей и т. д. Недостаетъ только теоріи „прокурорскаго паса",—вѣдь существовало же въ старинныхъ ариѳметикахъ какое-то „дѣвичье правило". отчего же не быть „теоріи прокурорскаго паса"?

Было уже одиннадцать часовъ утра. Уѣздный городъ Загорскъ по-провинціальному просыпался очень рано, и сейчасъ трудовой городской день былъ въ полномъ ходу, какъ заведенная машина. Ельшинъ ѣхалъ по знакомымъ улицамъ, мимо знакомыхъ домовъ, и встрѣчалъ знакомыхъ людей, которые раскланивались съ нимъ и говорили:

— Ну, нашъ Матвѣй Матвѣичъ въ острогъ покатилъ разборку дѣлать...

Загорскъ хотя и былъ провинціальнымъ городомъ, но это не мѣшало ему имѣть свои „сенсаціонные процессы", какъ сейчасъ злостное банкротство бывшаго директора общественнаго банка Ивана Дмитрича Тишаева. Это дѣло было особенно непріятно Ельшину, потому что еще недавно онъ игралъ въ карты вотъ съ этимъ Тишаевымъ, встрѣчался съ нимъ у общихъ знакомыхъ, а теперь не имѣетъ права подать ему руку и предложить сѣсть. Тишаевъ по его же настоянію былъ заключенъ въ острогъ, несмотря на поручителей, которые предлагали взять его на поруки и вносили залогъ. Amicus Plato, sed veritas magis... Когда Ельшинъ былъ назначенъ прокуроромъ въ Загорскъ, онъ не подозрѣвалъ, съ какими тонкими преступленіями ему придется имѣть дѣло. Какой-нибудь уѣздный городъ и такая не по чину тонкая работа преступной мысли и преступной воли! О, сколько пришлось Матвѣю Матвѣичу поработать надъ этимъ преступнымъ матеріаломъ! Какъ хитрили его кліенты, притворялись, обманывали его на каждомъ шагу, старались сбить съ настоящихъ слѣдовъ, запутать въ противорѣчіяхъ, вызвать его сожалѣніе или участіе, и т. д. и т. д. Взять того же Тишаева, который обобралъ общественный банкъ, ограбилъ двухъ племянницъ, довелъ до острога родного дядю купца Букавова и натворилъ цѣлый рядъ правонарушеній. А сколько всякихъ другихъ преступленій по части всяческаго насилія, съ истязаніями, членовредительствомъ, убійствомъ—и все это въ маленькомъ провинціальномъ городишкѣ, гдѣ и люди-то всѣ наперечетъ.

И сейчасъ, конечно, дѣятельность преступной воли не прекращалась. По наружному виду все обстояло благополучно: сапожникъ тачалъ сапоги, слесарь ковалъ свое желѣзо, купецъ торговалъ, учитель греческаго языка изводилъ ребятъ греческой грамматикой, чиновникъ неусыпно блюлъ, съ одной стороны, интересы обывателя, а съ другой — охранялъ престижъ власти, наконецъ городовой стоялъ на своемъ посту, отдавая честь проѣзжавшему

мимо прокурору Матвѣю Матвѣичу, и въ то же время гдѣ-то неустанно и незримо работали преступная мысль и преступная воля, работали вотъ въ этихъ улицахъ, подъ крышами вотъ этихъ домовъ, работали настойчиво и неугомонно, чтобы въ свое время предстать предъ недремаппымъ прокурорскимъ окомъ Матвѣя Матвѣича.

— Ахъ, такъ вы вотъ какіе, голубчики...

Почему-то всякое преступленіе вызываетъ удивленіе публики, особенно удивленіе близкихъ знакомыхъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда всѣ въ одинъ голосъ кричатъ объ имя-рекъ такомъ-то, что ему острога мало. Рядомъ можно сопоставить только удивленіе предъ смертью.

— Иванъ Петровичъ приказалъ долго жить... Кто бы могъ этого ожидать?

И всѣмъ кажется, что покойный Иванъ Петровичъ оставилъ послѣ себя какую-то особенно мучительную и безнадежную пустоту, а прошло какихъ-нибудь двѣ недѣли, и Ивана Петровича точно не бывало. То же самое и съ преступленіями... А между тѣмъ, по какой-то психической близорукости, люди забываютъ основную формулу юридической этики: pereat mundus — fiat justitia. Ельшинъ любилъ думать заученными въ университетѣ латинскими цитатами и вѣрилъ глубоко, что со временемъ, благодаря дѣятельности неуклонно карающей руки правосудія, преступная воля будетъ доведена до того minimum'а, который допускается даже самыми строгими математиками въ примѣненіи на практикѣ самыхъ точныхъ математическихъ формулъ, когда нельзя не считаться съ составомъ и свойствами матеріала, теплоемкостью, треніемъ и т. д. На Загорскъ и своихъ клієнтовъ Матвѣй Матвѣичъ смотрѣлъ именно съ этой точки зрѣнія и вѣровалъ въ то свѣтлое будущее, когда мечи перекуются на орала и левъ спокойно ляжетъ рядомъ съ ягненкомъ, и когда провинціальный глухой городишко Загорскъ проникнется основными идеями правды, добра и красоты.

III.

Къ острогу Ельшинъ подъѣхалъ уже настоящимъ фермеромъ. Да, нужно все бросить, что затемняетъ жизнь, и начать жить снова. Конечно, правосудіе должно исправить со временемъ все человѣчество, но, съ другой стороны, можно подумать и о себѣ, т.-е. о собственной нормальной жизни. Всѣ эти теоретическія размышленія нисколько не мѣшали тому, что Матвѣй Матвѣичъ, слѣзая съ извозчика, принялъ убійственно-спокойный и безнадежно-серьезный прокурорскій видъ. Онъ зналъ по давнему опыту, какъ одна фраза: „пріѣхалъ прокуроръ"—всполошитъ весь острогъ. Вѣдь каждый острожный человѣкъ чего-нибудь ждетъ, а послѣднія надежды особенно дороги.

Почему-то Матвѣй Матвѣичъ каждый разъ убѣждался, что его ждутъ въ острогѣ, хотя объ этомъ никто не могъ знать. Нынче было, какъ вчера. Около острожныхъ желѣзныхъ воротъ, какъ всегда, толпились самые простые люди изъ уѣзда—старики, женщины и дѣти, которые приходили и пріѣзжали навѣстить попавшаго въ острогъ родного человѣка. Нужда, страхъ и свое домашнее невыносимое горе глядѣли этими напуганными простыми лицами, лохмотьями, согбенными деревенскими спинами—это былъ тотъ „отработанный паръ", который не попадаетъ въ графы статистики. И они знали, что къ острогу подъѣзжаетъ прокуроръ, и эти лохмотья и заплаты начинали надѣяться, что прокуроръ „все можетъ". Но это строгое деревенское горе не причитало и не бросалось въ ноги, какъ дѣлала купеческая жена Таисія Буканова, а ждало своей участи съ трогательнымъ героизмомъ. Вѣдь нѣтъ ничего ужаснѣе

именно ожиданія... И прокуроръ Ельшинъ чувствовалъ себя тѣмъ, что фигурально называется руками правосудія. Да, онъ призванъ возстановить нарушенную волю—и больше ничего. И рядомъ съ этими повышенными мыслями являлись соображенія другого порядка: а вѣдь хорошо было бы нарисовать акварелью вонъ ту старуху, которая замотала себѣ голову какой-то рваной шалью... То, что въ жизни являлось очень некрасивымъ, въ акварели получало какую-то особенную, ноющую прелесть: лохмотья, старческія морщины, искривленныя отъ старости деревья, заросшая плѣсенью вода, плачущее осенними слезами небо и т. д. Это были спеціально-акварельныя мысли. А тутъ уже выскакиваетъ какой-то дежурный человѣкъ, другой дежурный человѣкъ распахиваетъ желѣзную калитку (а вѣдь хорошо бы было нарисовать такую острожную желѣзную калитку акварелью!), и Матвѣй Матвѣичъ переступаетъ роковую грань съ видомъ начальства. Нормальное человѣчество, хотя и находившееся въ сильномъ подозрѣніи, осталось тамъ, назади, за роковой гранью этой желѣзной рѣшетки, а здѣсь, въ ея предѣлахъ, начиналась область преступной воли и всяческихъ правонарушеній.

Матвѣй Матвѣичъ прошелъ въ пріемную, гдѣ его встрѣтилъ смотритель Гаврила Гаврилычъ, сѣдой, стриженый подъ гребенку старикъ, страдавшій одышкой благодаря излишней толщинѣ, которая такъ не идетъ къ военному мундиру.

— Ну, что хорошаго, Гаврила Гаврилычъ?—спросилъ Ельшинъ, сбрасывая верхнее пальто на руки оторопѣло старавшагося услужить начальству стражника.

— Ничего, все, слава Богу, благополучно, Матвѣй Матвѣичъ... Въ четвертой камерѣ вчера случилась драка, но мы ее прекратили домашними средствами... Изъ уѣзда привезли двухъ конокрадовъ, оказавшихъ при поимкѣ вооруженное сопротивленіе. Вообще все, слава Богу, благополучно. Въ женское отдѣленіе сегодня препровождена одна дѣтоубійца и одна отравительница.

Пріемная дѣлилась большой полутемной передней на два отдѣленія: въ одномъ помѣщалась собственно пріемная, гдѣ засѣдалъ Гаврила Гаврилычъ, а въ другомъ—острожная канцелярія. Въ послѣдней надъ письменнымъ столомъ всегда виднѣлась согнутая спина бѣлокураго молодого человѣка съ интеллигентнымъ лицомъ. Ельшину было всегда его жаль,—такой молодой, учившійся до третьяго класса гимназіи и въ качествѣ рецидивиста отбывавшій за кражу второй годъ острожной высидки. Онъ вставалъ, когда проходилъ въ пріемную Ельшинъ, и какъ-то конфузливо кланялся.

— Какъ бы вы, Гаврила Гаврилычъ, того...—замѣтилъ Ельшинъ, нюхая воздухъ.—Провѣтривали бы, что ли...

— Ужъ, кажется, я стараюсь, Матвѣй Матвѣичъ. Всякую дезинфекцію прыскаю и порошкомъ посыпаю, а все воняетъ, потому что какая у насъ публика, ежели разобрать... Такого духу нанесутъ... Тоже и посѣщающіе для свиданія родственники не безъ аромата.

— А что Тишаевъ?—спросилъ Ельшинъ, не слушая эту старческую болтовню.

— Ничего, слава Богу. Все лежитъ и „Рокамболя“ читаетъ. Вообще человѣкъ несообразный...

— Вы вотъ смотрите, чтобы ему письма въ „Рокамболѣ“ не приносили...

— Помилуйте, Матвѣй Матвѣичъ, да у меня комаръ носу не подточитъ... Человѣкъ, т.-е. арестантъ еще не успѣлъ подумать, а я ужъ его наскрозь вижу... Прикажете его вызвать?

— Нѣтъ, пока не нужно...

У смотрителя были свои любимыя слова, какъ: „вообще“, „слава Богу“, а потомъ онъ, точно безграмотный, говорилъ: „опеть“, „наскрозь“ и т. д.

— Вчера былъ слѣдователь?

— Точно такъ-съ, наѣзжали и производили допросъ Ефимова, который у насъ числится въ четырехъ душахъ, а тутъ выходитъ, что еще есть пятая-съ... И даже очень просто все обозначалось.

„Вотъ бы такого подлеца акварелью нарисовать, — невольно подумалъ Ельшинъ.—Этакая, можно сказать, преступная рожа...“

Вмѣсто Тишаева, съ которымъ Матвѣй Матвѣичъ долженъ былъ вести сегодня довольно длинную бесѣду, онъ вспомнилъ о женѣ Буканова и велѣлъ вызвать послѣдняго. Молодой бѣлокурый человѣкъ нагнулся еще ниже надъ своимъ письменнымъ столомъ и хихикнулъ, зажимая ротъ ладонью. Ужъ если прокуроръ вызоветъ Буканова, то начнется представленіе. Купецъ Букановъ въ острогѣ былъ на особенномъ положеніи, и даже самъ Матвѣй Матвѣичъ позволялъ ему многое, чего не допускалъ для другихъ. Улыбались и стражники, и тюремные надзиратели, и Гаврила Гаврилычъ.

— Ну, что̀ онъ у васъ, какъ себя ведетъ?—спрашивалъ Ельшинъ смотрителя.

— Да ничего, слава Богу... Все правду ищетъ, а всѣ арестанты его очень любятъ. Опять и такъ сказать, особенный человѣкъ, и въ головѣ у него зайцы прыгаютъ.

Матвѣй Матвѣичъ шагалъ по пріемной, заложивъ руки за спину. Въ пыльное окно падалъ яркій свѣтъ лѣтняго солнца, разсыпаясь колебавшимися жирными пятнами по полу. Гдѣ-то жужжала муха. Въ такую погоду вся острожная обстановка казалась особенно непривѣтливой, а задѣланныя желѣзными рѣшетками окна походили на бѣльма.

— Букановъ идетъ!..—пронесся шопотъ съ лѣстницы.—Букановъ...

Послышалось тяжелое дыханье, удушливый кашель, и въ коридоръ пріемной съ трудомъ вошелъ высокій, грузный старикъ въ сѣромъ длиннополомъ пальто, подпоясанномъ пестрымъ гаруснымъ шарфомъ. Отъ натуги его широкое русское лицо съ окладистой сѣдой бородой совсѣмъ посинѣло. Близорукіе сѣрые глаза на выкатѣ отыскали въ углу небольшой образокъ. Помолившись, старикъ поклонился смотрителю и писарю.

— По какой такой причинѣ растревожили старика?—спросилъ онъ.

Смотритель только показалъ головой на шагавшаго въ пріемной Матвѣя Матвѣича. Бѣлокурый рецидивистъ еще разъ прыснулъ, захвативъ ротъ всей горстью. Гаврила Гаврилычъ погрозилъ ему за неумѣстную смѣшливость кулакомъ.

IV.

Войдя въ пріемную, Букановъ опять отыскалъ образъ, помолился, отвѣсилъ поклонъ шагавшему по комнатѣ прокурору и, остановившись у печки, спокойно проговорилъ:

— Изволили спрашивать меня, ваше высокоблагородіе?

— Да, да... Жена у васъ бываетъ?

— Само собой...

— Когда вы ее увидите, Букановъ, то предупредите, чтобы она меня не безпокоила. Она мнѣ проходу не даетъ. Сегодня поймала меня на подъѣздѣ, бросилась въ ноги, начала причитать на всю улицу... Вѣдь вы знаете, что я рѣшительно ничего не могу сдѣлать для васъ, и объясните это женѣ.

— Ужъ простите, ваше высокоблагородіе. Конечно, женское малодушіе одно, и притомъ очень она жалѣетъ меня, потому какъ я безъ вины долженъ терпѣть.

— Ну, это дѣло присяжныхъ, которые будутъ васъ судить.

— Присяжные тоже человѣки и весьма могутъ ошибаться, ваше высокоблагородіе. Все черезъ Ивана Митрича вышло... Моей тутъ причины никакой нѣтъ.

— А кто поддѣлалъ вексель?

— А кто меня въ разоръ разорилъ, до тла? Родной племянничекъ мнѣ приходится Иванъ Митричъ и вотъ до тюрьмы меня довелъ...

— А зачѣмъ вы ставили его бланкъ на векселѣ?

— Да вѣдь онъ мнѣ долженъ?

— Послушайте, Букановъ, съ вами невозможно говорить. Это какая-то сказка про бѣлаго бычка.

— Она самая и есть, ваше высокоблагородіе, — совершенно спокойно согласился старикъ. — То-есть въ самый разъ. И примѣрять не нужно...

Именно этотъ спокойный тонъ и раздражалъ Матвѣя Матвѣича, а потомъ его интересовало, почему и откуда это спокойствіе.

— Букановъ, вѣдь вы знали, что̀ будетъ вамъ за подлогъ?

— Кто же этого не знаетъ, ваше высокоблагородіе? Извѣстно, что за такія художества по головкѣ не гладятъ, и очень даже просто... Вышлютъ съ лишеніемъ нѣкоторыхъ правъ на поселеніе въ мѣста не столь отдаленныя— вотъ и вся музыка!

— Вы знали это и все-таки устроили подлогъ?

Старикъ широко вздохнулъ и, сдѣлавъ шагъ впередъ, заговорилъ, быстро роняя слова:

— Ахъ, ваше высокоблагородіе... Вотъ вы всякій законъ знаете, а того закона, которымъ всѣ мы живемъ, не хотите знать: всякій человѣкъ хочетъ устроить себя какъ можно получше. Вотъ у васъ въ острогѣ, напримѣрно, около шести сотенъ народу сидитъ, и для васъ это очень просто преступники. Да-съ... Значитъ, худую траву изъ поля вонъ. И я такъ же прежде думалъ, пока самъ не попалъ въ тюрьму. Жалѣлъ, конечно, по человѣчеству и харчи посылалъ къ праздникамъ; а, грѣшный человѣкъ, осуждалъ ихъ всѣхъ, которые не умѣли себя соблюсти... да... А вотъ тутъ-то и была ошибочка... Есть, ваше высокоблагородіе, гладъ тѣлесный и есть гладъ душевный... да... Вотъ они для васъ арестанты и преступники вообще, бездѣльники и негодяи, а вы только то подумайте, что ни одинъ человѣкъ изъ нихъ не думалъ попасть въ острогъ. Каждый старался какъ можно лучше устроить свою жизнь... И не просто старался, какъ простые люди, а со всеусердіемъ и прилежаніемъ. Развѣ легко украсть, сдѣлать подлогъ или убить живого человѣка? И даже очень это трудно, ваше высокоблагородіе, а только онъ хотѣлъ устроить какъ можно получше. Конечно, грѣхъ и даже очень большой грѣхъ, а ужъ очень донималъ вотъ этотъ самый гладъ душевный...

— Значитъ, и Иванъ Митричъ, который, какъ вы говорите, довелъ васъ до тюрьмы, тоже правъ?

— Сердитъ я на него, ваше высокоблагородіе, и ругаю, а иногда и раздумье возьметъ... И такъ можно разсудить и этакъ. Вѣдь и я не думалъ въ тюрьмѣ сидѣть, а вотъ Господь привелъ на старости лѣтъ.

— Тоже былъ душевный гладъ?

— А то какъ же? И теперь каждый арестантъ впередъ знаетъ свою судьбу, что̀ и какъ ему соотвѣтствуетъ, и чѣмъ хуже ему выходитъ линія, тѣмъ онъ пуще, ваше высокоблагородіе, надѣется. Вотъ, молъ, отбуду, примѣрно, столько-то лѣтъ каторги, а тамъ выйду на поселенье и заживу ужъ по-настоящему. Взять хоть Ефимова—ему за четыре души безсрочная, а онъ говоритъ, что безпремѣнно попадетъ подъ милостивый манифестъ...

— И Ефимовъ, по-вашему, тоже старался устроиться получше, когда убивалъ?

— Ужъ онъ-то больше всѣхъ старался, ваше высокоблагородіе, потому какъ человѣкъ отчаянный вполнѣ.

Ельшинъ шагалъ по пріемной, заложивъ руки за спину, и внимательно слушалъ странную рѣчь Буканова. Это былъ какой-то романтизмъ на острожной подкладкѣ. Букановъ, угадывая прокурорскія мысли, продолжалъ думать вслухъ:

— Который ежели человѣкъ свободный, ваше высокоблагородіе, такъ у него меньше мыслей, а свяжите человѣка по рукамъ и ногамъ,—сколько у него этихъ самыхъ мыслей объявится. Такъ и у насъ въ тюрьмѣ. Каждый арестантикъ вашъ какъ мечтаетъ, мечтаетъ даже о томъ, чего раньше и не замѣчалъ. Примѣрно взять меня... Конечно, былъ капиталишко, торговлишка, домишко—и все, напримѣръ, очень просто прахомъ пошло. Ну, что дѣлать, все это дѣло наживное. А вотъ я сижу въ тюрьмѣ и думаю... Была у меня собачка. „Идоломъ“ ее звали. Выйдешь это на дворъ, а она ужъ тутъ—въ глаза смотритъ, хвостикомъ виляетъ и только вотъ не скажетъ, какъ она для тебя все готова сдѣлать. Пойдешь куда—проводитъ до угла, идешь домой—она ужъ ждетъ у воротъ. Вотъ ея ужъ не воротишь... Другую собаку заведешь, такъ она и будетъ другая собака. Тоже были у меня двѣ коровы: „Колдунья“ и „Именинница“... Ахъ, какія коровы! А рысакъ „Варнакъ“?.. Развѣ другую такую лошадь найдете въ Загорскѣ?

Въ канцеляріи слушали этотъ разговоръ смотритель и бѣлокурый молодой человѣкъ. Оба они улыбались, качали головами и объяснялись знаками. Очень ужъ потѣшный этотъ Букановъ, а прокуроръ его слушаетъ.

— Все это хорошо, Букановъ,—перебилъ Буканова Матвѣй Матвѣичъ, останавливаясь.—А что же вы будете дѣлать послѣ суда?

Старикъ улыбнулся и, оглядѣвшись, не подслушиваетъ ли кто, заговорилъ вполголоса:

— А у меня ужъ все впередъ готово, ваше высокоблагородіе... Всю слѣпоту какъ рукой сняло. Скажите, пожалуйста, много ли человѣку нужно? Ну, вышлютъ въ Томскую губернію... А развѣ тамъ не люди живутъ? И сейчасъ за работу по своей части, а главное, разведу хозяйство, чтобы все было свое до послѣдней нитки. И всякій овощъ, и яичко, и молочко...

— Да, да, вотъ именно,—соглашался Матвѣй Матвѣичъ, и въ его голосѣ уже не слышалось прокурорскихъ нотъ.—Главное, чтобы все было свое, и чтобы человѣкъ чувствовалъ себя свободнымъ... Не правда ли?

— Совершенно вѣрно, ваше высокоблагородіе. Вѣдь коровушка-то окупитъ себя въ одно лѣто, а тутъ еще теленочка принесетъ, какъ премію къ еженедѣльному иллюстрированному журналу „Нива“. А каждая курка должна сто яичекъ дать въ лѣто... У меня, ваше высокоблагородіе, была одна курочка пестренькая, такъ она по три раза въ лѣто на яйца садилась и по три раза цыплятъ выводила...

— Три раза?..—удивлялся Матвѣй Матвѣичъ.

— Точно такъ-съ... А одного боровка держалъ, такъ онъ черезъ два года восемь пудовъ сала далъ, а тушка въ счетъ не шла.

— Восемь пудовъ?!..

— Оно вѣдь спорое, значитъ, это свиное сало, ежели засолить въ прокъ... Напримѣрно, въ сѣнокосъ, когда не до варева, или въ кашу рабочимъ, въ щи, просто съ картошкой.

Гаврила Гаврилычъ сдѣлался свидѣтелемъ необыкновенной сцены, именно, когда прокуроръ Матвѣй Матвѣичъ совершенно забылъ, что онъ прокуроръ, что купецъ Букановъ арестантъ, и на прощанье протянулъ ему руку.

6.

Сибирскіе старцы, кухарка Агаѳья и гражданинъ Рихтеръ.

I.

Средняго роста, плечистый и коренастый старикъ осторожно пробирался по огороду, выбирая дорогу между грядъ такъ, чтобы его не было видно изъ оконъ докторской квартиры. Впрочемъ, самъ докторъ вставалъ поздно, а могла увидѣть акушерка Прасковья Ивановна или ея горничная Паня. Старикъ благополучно обогнулъ баню, и оставалось пройти небольшое разстояніе между сараями и кухней. Окна въ кухнѣ были открыты, и въ одномъ виднѣлась спина кухарки Агаѳьи, мѣсившей тѣсто.

„Экая спина-то",—подумалъ старикъ.

— Ты это куда прешь-то?—неожиданно окликнулъ его сердитый голосъ кучера Игната.—Тебѣ что было сказано? Позабылъ станового Ѳедора Иваныча?

— Оставь ты меня, Игнатъ,—отвѣтилъ старикъ, стараясь придать своему голосу строгую ласковость.—И совсѣмъ даже не твое это дѣло... Ради Бога, оставь. Не къ тебѣ вѣдь иду...

Игнатъ, здоровенный парень, съ скуластымъ и угрюмымъ лицомъ, чистилъ докторскую лошадь и въ этотъ моментъ отличался особенной дѣловой мрачностью, а тутъ еще старецъ подвернулся.

— Не къ тебѣ иду, сказано,—повторилъ старикъ уже съ нѣкоторымъ нахальствомъ.

— Значитъ, къ Агаѳьѣ?

— Значитъ, къ Агаѳьѣ...—вызывающе отвѣтилъ старикъ, глядя на Игната въ упоръ маленькими сѣрыми глазками.

Онъ уже хотѣлъ итти къ кухнѣ, когда Игнатъ вспомнилъ, что вѣдь Агаѳья его жена, и что на этомъ основаніи слѣдуетъ старику накостылять хорошенько шею. Игнатъ бросилъ скребницу и остановилъ старика, схвативъ за плечо.

— Куда прешь, безголовый?!..

Старикъ только повернулъ могучимъ плечомъ, и кучеръ Игнатъ отлетѣлъ въ сторону.

— Говорятъ тебѣ: оставь!—сурово крикнулъ старикъ.—А то единымъ махомъ весь изъ тебя духъ вышибу...

Остервенившійся Игнатъ уже ничего не понималъ, съ какимъ-то ревомъ бросился на старика и, какъ медвѣдь, сразу подмялъ его подъ себя. Но это продолжалось всего одинъ моментъ, а въ слѣдующій уже старикъ сидѣлъ на Игнатѣ верхомъ и немилосердно колотилъ его прямо по лицу, такъ что только скулы трещали.

— Говорили тебѣ: оставь...—повторялъ старикъ.

На крикъ Игната изъ кухни выбѣжала Агаѳья и съ причитаньями начала разнимать дравшихся.

— Голубчикъ... Матвѣй Петровичъ... оставь ты его, глупаго!.. Ничего онъ не понимаетъ...

Когда Агаѳья убѣдилась, что ей не разнять дравшихся, она пустила въ ходъ послѣднее средство и проговорила:

— Вонъ барыня въ окно смотритъ..

Смотрѣла въ окно не барыня, а горничная Паня, но дравшіеся поднялись и конфузливо пошли въ кухню. Дорогой Игнатъ успѣлъ вытереть кровь съ лица рукавомъ рубахи, продолжая ругаться.

— Зачѣмъ по скулѣ бьешь, желторотый?!.. Вотъ пріѣдетъ становой Ѳедоръ Иванычъ, такъ я тебя произведу... Будешь помнить, каковъ есть человѣкъ Игнатъ... Я тебѣ покажу, старому чорту.

— Говорилъ тебѣ: оставь,—повторялъ свое старикъ.—Я тебя не трогалъ...

— Охъ, оставьте вы грѣшить, ради истиннаго Христа,—умоляла слезливо Агаѳья.

Кухня была свѣтлая и большая, какъ и полагается настоящей господской кухнѣ. И кухарка была по кухнѣ—молодая, ядреная, какъ рѣпа. Она носила сборчатый сарафанъ съ чисто-заводскимъ шикомъ, а подвязанный подъ мышками длинный передникъ („запонъ", какъ говорятъ на Уралѣ) нисколько не портилъ могучей груди. Вообще, баба была красавица, какъ ее ни наряди. Она показала глазами старику мѣсто въ переднемъ углу на лавкѣ подъ образомъ, но онъ только покосился на образъ и присѣлъ на кончикъ лавки у двери, спиной къ образу. Игнатъ умывался у рукомойки за большой русской печью и продолжалъ ругаться.

— Знаемъ мы этихъ варнаковъ, сибирскихъ старцевъ... Даже очень хорошо знаемъ. Кто въ третьемъ году у насъ хомуты укралъ? Выпросился ночевать такой же варнакъ, а утромъ хомутовъ и не стало...

Агаѳья понимала, что Игнатъ уже не сердится на старца и что сорветъ сердце на ней.

— Ну и пусть бьетъ, — рѣшила она про себя, улыбаясь смиренно сидѣвшему на лавочкѣ сибирскому старцу.—И пусть...

Она добыла изъ залавка кусокъ вареной говядины отъ вчерашняго господскаго супа и подала на столъ. А потомъ отрѣзала большой ломоть ржаного хлѣба и пѣвуче проговорила:

— Не обезсудь, миленькій, на угощеніи... Въ чужихъ людяхъ живемъ, такъ ужъ что подъ рукой нашлось. Прикушай, Матвѣй Петровичъ...

Сибирскій старецъ взялъ ломоть хлѣба, взвѣсилъ его на рукѣ и съ улыбкой спросилъ:

— По-твоему это, Агаѳьюшка, хлѣбъ?

— Ужъ какъ печь испекла, Матвѣй Петровичъ...—отвѣтила Агаѳья, не понимая вопроса.

— Печь-то печью, а только печаль не отъ печи... Мучку-то на какихъ вѣсахъ вѣсила? На клейменыхъ, голубушка: на чашкахъ-то лежитъ мучка, а на коромыслѣ печать антихристова. И кто ѣстъ сей хлѣбъ, тотъ вѣрный слуга антихристовъ. Въ Апокалипсисѣ прямѣнько сказано: „безъ числа его ни купити, ни продати никто не можетъ, а число его 666..." Поняла, миленькая?

Игнатъ только-что хотѣлъ вытереть лицо полотенцемъ, но такъ и остолбенѣлъ. Вотъ какъ ловко сказалъ сибирскій старецъ про клейменый-то хлѣбъ... Игнатъ съ мокрымъ лицомъ подошелъ къ старцу и бухнулъ ему въ ноги.

— Ужъ ты того, Матвѣй... значитъ, прости за давешнее...

— Не мнѣ кланяйся, миленькій, а кланяйся своему становому Ѳедору Иванычу, самому любезному антихристову сосуду,—сурово отвѣтилъ старецъ, поднимаясь съ лавки.

Онъ подтянулъ ременный поясъ, которымъ былъ перехваченъ татарскій азямъ, и хотѣлъ выйти, но, оглянувшись на стоявшую у печки Агаѳью, замѣтилъ стоявшую на окнѣ пустую бутылку изъ-подъ сельтерской воды.

— Это у васъ что такое?

— Бутылка...

— Вижу, и антихристово клеймо на бутылкѣ вижу. А вотъ ты мнѣ скажи, что̀ въ бутылкѣ-то было?..

— Извѣстно, вода...

— Вотъ то-то, что вода... Вода—даръ Божій и шипѣть не будетъ. А тутъ вытащишь пробку, твоя вода и зашипитъ, потому какъ *онъ*, скверный, надышалъ въ бутылку смраду. Господамъ, которые щепотью молятся, это первый скусъ... Охъ, и говорить-то, миленькіе, грѣшно объ его мерзостяхъ! Всѣ у него щепотники, какъ рыба въ неводу, и все онъ осквернилъ: гдѣ скверной своей лапой цапнетъ, гдѣ смрадомъ надышитъ, гдѣ свою антихристову печать наложитъ, яко свое антихристово знаменіе.

Когда сибирскій старецъ ушелъ, Игнатъ молча бросился на жену и началъ ее немилосердно бить. Онъ таскалъ ее по полу за косы, топталъ ногами, билъ кулакомъ прямо по лицу.

— Вотъ тебѣ сибирскіе старцы!..—рычалъ Игнатъ, дѣлая передышку.— Я изъ тебя вышибу всю дурь, змѣя...

Агаѳья все терпѣла, пока мужъ не ударилъ ее ногой прямо въ животъ. Господская кухня огласилась неистовымъ бабьимъ крикомъ.

II.

Отчаянный вопль Агаѳьи разбудилъ барыню Прасковью Ивановну. Она выскочила въ ночной кофточкѣ въ столовую, гдѣ спряталась Паня.

— Игнатъ убилъ Агаѳью,—шопотомъ заявила перепуганная и поблѣднѣвшая, какъ полотно, дѣвушка.—Своими глазами видѣла, барыня...

Донесшійся изъ кухни новый вопль показалъ, что Агаѳья еще жива. Прасковья Ивановна не растерялась, а, накинувъ на скорую руку утренній капотъ, въ однѣхъ туфляхъ бросилась въ кабинетъ, гдѣ спалъ докторъ Рихтеръ.

— Гдѣ у васъ револьверъ, Гаврила Гаврилычъ? — кричала она, на ходу завязывая распущенные волосы въ узелъ.—Игнатъ убиваетъ жену...

— Револьверъ въ письменномъ столѣ,—спокойно отвѣтилъ докторъ, потягиваясь подъ своимъ пледомъ.—А что̀ касается Игната, такъ я тебѣ не совѣтую мѣшаться въ чужія семейныя дѣла...

— А если онъ убиваетъ Агаѳью?.. Паня видѣла своими глазами.

— Пустяки, просто маленькое семейное недоразумѣніе. Агаѳья повоетъ, а потомъ и помирятся.

— Ничего вы не понимаете! Такихъ вещей нельзя позволять, и я могу только удивляться вашему безсердечію...

— Успокойся, пожалуйста, и не мѣшай мнѣ спать. Револьверъ въ лѣвомъ ящикѣ... Только будь осторожна и не подстрѣли сгоряча себя.

Пока Прасковья Ивановна искала револьверъ, докторъ невольно полюбовался ею. Въ сущности, удивительно милая женщина, не утратившая ни въ фигурѣ ни въ движеніяхъ дѣвичьей свѣжести. Даже безпорядочный утренній костюмъ не портилъ общаго впечатлѣнія. Особенно хорошо было круглое лицо съ темными горячими глазами, сейчасъ точно вспыхнувшее чисто-южной энергіей. Когда Прасковья Ивановна сердилась, она была особенно хороша, что̀ свойственно не всѣмъ женщинамъ. Съ своей стороны, Прасковья Ивановна въ спокойномъ равнодушіи доктора видѣла только тысяча первое доказательство гнуснаго мужского эгоизма. Схвативъ револьверъ, она съ презрительной улыбкой проговорила:

— Вы, Гаврила Гаврилычъ... вы, дѣйствительно, только гражданинъ Рихтеръ—и больше ничего.

— Что же, я ничего не имѣю противъ этого,—согласился докторъ, позѣвывая.

— И кухаркинъ сынъ,—прибавила уже про себя Прасковья Ивановна.— Сейчасъ видно кухаркину кровь...

Выбѣжавъ въ слѣдующую комнату съ револьверомъ въ рукахъ, она успѣла уже раскаяться въ этой выговоренной про себя, тайной мысли.

— Все еще убиваетъ...—встрѣтила ее шопотомъ Паня, ждавшая въ столовой.—Вотъ какъ кричитъ Агаѳья...

— А вотъ я сейчасъ его застрѣлю, негодяя!—энергично отвѣтила Прасковья Ивановна, показавъ револьверъ.—Да еще баринъ ему задастъ, когда встанетъ.

Кухня была черезъ дворъ. Когда Прасковья Ивановна спустилась съ параднаго крыльца, то увидѣла, что Игнатъ, какъ ни въ чемъ не бывало, чиститъ подъ навѣсомъ лошадь. Она быстро подошла къ нему и грозно спросила:

— Ты это что дѣлаешь, разбойникъ... а?

Игнатъ даже не повернулъ головы и, продолжая драть скребницей вздрагивавшую лошадь, очень грубо отвѣтилъ:

— Лошадь чищу...

— Ахъ, ты, негодяй!—уже крикнула Прасковья Ивановна, подступая ближе.—А кто сейчасъ убивалъ Агаѳью?

— Агаѳью? Это васъ не касаемо, барыня, потому какъ Агаѳья мнѣ жена, и я по закону могу дѣлать съ ней, что хочу...

— Да ты съ кѣмъ разговариваешь-то, разбойникъ? Вотъ я возьму и сейчасъ застрѣлю тебя...

— И даже очень не смѣете убивать живого человѣка.

— А, не смѣю... Тогда я тебя отправлю, негодяя, къ Ѳедору Иванычу, и онъ посадитъ тебя въ кутузку... да! Потомъ я буду жаловаться мировому судьѣ... да! Наконецъ Гаврила Гаврилычъ тебѣ задастъ... Онъ уже одѣвается и сейчасъ выйдетъ... Съ нимъ не будешь такъ разговаривать и грубить, какъ со мной. Понялъ, негодяй?!

„Негодяй“ продолжалъ свою работу и все поворачивался къ разсвирѣпѣвшей барынѣ спиной, чтобы не показать опухшаго отъ работы сибирскаго старца лица. При имени барина онъ даже ухмыльнулся самымъ глупымъ образомъ, что не ускользнуло отъ вниманія Прасковьи Ивановны.

— И этотъ негодяй еще смѣется... Отчего ты прячешь лицо? Хоть и негодяй, а совѣстно посмотрѣть въ глаза... Вотъ баринъ тебѣ задастъ, и Ѳедоръ Иванычъ, и мировой судья.

— Промежду мужа и жены судья-то одинъ Богъ. И не касаемо это самое дѣло васъ даже нисколько... Хочу и буду бить, сколько влѣзетъ, потому какъ я въ законѣ съ Агаѳьей.

Дальнѣйшія разсужденія съ негодяемъ были совершенно излишни, и Прасковья Ивановна отправилась въ кухню. Агаѳья въ какомъ-то оцѣпенѣніи сидѣла на лавкѣ и даже не замѣтила, какъ вошла барыня. Она была вся въ крови, а лицо ея было обезображено до неузнаваемости. Правый глазъ совершенно затекъ подъ громаднымъ синякомъ. Паня даже вскрикнула, когда увидѣла Агаѳью въ такомъ видѣ.

— Агаѳья, тебѣ больно?—спросила Прасковья Ивановна по-дѣтски.— Паня, бѣги скорѣе въ аптеку и принеси мнѣ губку, карболки, англійскаго пластыря... Нѣтъ, сначала принеси губку и теплой воды. Ахъ, негодяй!.. Ахъ, разбойникъ!..

Агаѳья молчала. Она не плакала, не стонала, не жаловалась, а только вздрагивала и пугливо озиралась на входную дверь. Человѣка не было, оставалось одно избитое женское тѣло. Прасковья Ивановна стояла надъ ней и не знала, что̀ ей дѣлать и что̀ говорить

— Баринъ одѣвается...—скороговоркой повторяла Прасковья Ивановна, чтобы сказать что-нибудь.—Потомъ я пошлю Паню за Ѳедоромъ Иванычемъ... да... Вечеромъ къ намъ пріѣдетъ пить чай мировой судья... Однимъ словомъ, я все устрою. Игнатъ не имѣетъ права бить тебя, какъ скотину, да и скотину никто такъ не бьетъ...

— Милая барыня, оставьте —сухо отвѣтила Агаѳья, охая отъ боли въ плечѣ.

— Какъ: оставьте?! Я о тебѣ же хлопочу...

— Нечего тутъ хлопотать: что̀ заслужила, то и получила.

— Агаѳья, да что̀ съ тобой?!.. Изъ-за чего у васъ вышла вся эта исторія?

— Ахъ, милая барыня, не спрашивайте...

Единственнымъ свидѣтелемъ этого разговора былъ солнечный весенній лучъ, съ любопытствомъ заглядывавшій въ окно, да нѣсколько мухъ, бродившихъ по ломтю оставленнаго сибирскимъ старцемъ ржаного хлѣба. Какъ Прасковья Ивановна ни допрашивала, ничего не могла добиться. Ее выручила вернувшаяся съ водой и губками Паня, которая боялась взглянуть въ лицо Агаѳьѣ. Засучивъ рукава, Прасковья Ивановна опытной рукой принялась мыть лицо и голову Агаѳьѣ, которая покорялась каждому ея движенію. Когда кровь была смыта, ничего особеннаго не оказалось, т.-е. черепъ былъ цѣлъ, а пострадало одно лицо отъ кровоподтековъ и содранной кое-гдѣ кожи. Все-таки пришлось кое-гдѣ залѣпить ссадины пластыремъ, а разбитый глазъ забинтовать. Оставалась разсѣченная рана на губѣ, но Агаѳья не согласилась ее зашивать.

— Ничего, барыня, живое мясо само срастется...

Когда работа кончилась и Прасковья Ивановна начала мыть руки, Агаѳья неожиданно повалилась ей комомъ въ ноги и запричитала:

— Милая барыня, не троньте вы, ради Христа, Игната...

— Да вѣдь я о тебѣ же хлопочу, глупая?!.. Надо его хорошенько проучить...

— Барыня, ужъ наше дѣло такое... Хоть и битая, а все же мужняя жена въ настоящемъ законѣ.

Прасковья Ивановна закусила губу, повернулась и вышла. Это было уже оскорбленіе, какъ и давешній отвѣтъ Игната. т.-е. намекъ на ея незаконное сожительство съ докторомъ.

Вернувшись въ свою спальню, Прасковья Ивановна расплакалась. Она слишкомъ переволновалась...

— Это какія-то низшія животныя,—шептала она сквозь слезы.—И ничего человѣческаго...

II.

Выдался нервный день. Докторъ Рихтеръ отправился въ свое время, т.-е. въ десять часовъ утра, въ больницу, обошелъ четыре палаты (лѣтомъ онѣ пустовали, потому что лѣтомъ заводскіе рабочіе не любили лѣчиться), принялъ въ амбулаторномъ отдѣленіи человѣкъ пятнадцать, съѣздилъ къ двумъ тифознымъ больнымъ и въ обычное время, т.-е. къ пяти часамъ, вернулся домой. Онъ послѣ рабочаго дня вообще чувствовалъ себя хорошо, какъ человѣкъ, который не даромъ ѣстъ хлѣбъ, и ѣхалъ всегда домой съ удовольствіемъ.

Прибавьте къ этому, что Прасковья Ивановна, какъ всѣ хохлушки, была отличная хозяйка и умѣла изъ ничего выкроить что-нибудь вкусное и даже пикантное.

Сегодня, какъ всегда, онъ вошелъ въ переднюю въ очень хорошемъ настроеніи. Паня его встрѣтила, и по ея лицу онъ догадался, что въ домѣ что-то неладно. Паня смотрѣла въ землю, и это было плохимъ признакомъ. Въ столовой Прасковьи Ивановны не было, что̀ было еще хуже. Докторъ только теперь припомнилъ, что утромъ было что-то такое, однимъ словомъ— была глупость, и что Прасковья Ивановна на него сердится. На чисто-русскомъ лицѣ доктора, съ присвоенномъ таковому окладистой бородкой, мягкимъ носомъ и этими добрыми славянскими глазами, явилось недовольное выраженіе. Если Прасковья Ивановна не въ духѣ, слѣдовательно все въ домѣ идетъ вверхъ дномъ, и т. д.

Но „гражданинъ“ Рихтеръ ошибся. Прасковья Ивановна вышла къ обѣду и даже извинилась, что заставила себя ждать. У нея былъ такой кроткій видъ, и докторъ понялъ, что все дѣло въ сегодняшнемъ утреннемъ происшествіи, о которомъ онъ совершенно добросовѣстно забылъ.

— Ну, что̀ *тамъ* такое дѣлается?—спросилъ докторъ, когда подали по его вкусу зажаренную котлетку.

— Я ничего не понимаю, Гаврила Гаврилычъ,—отвѣтила она съ продолжавшейся кротостью.

Онъ говорилъ ей „ты“, а она — „вы“. Это какъ-то установилось само собой и оставалось.

— Я тоже ничего не понимаю,—отвѣтилъ докторъ.

— Дѣло гораздо серьезнѣе, чѣмъ можно было бы думать,—заговорила Прасковья Ивановна.—И пока ясно только одно: что мы съ вами ровно ничего не понимаемъ. Скажу больше, мы даже не можемъ ничего понять. Какіе-то сибирскіе старцы, что-то такое Агаѳья... Игнатъ прежде, чѣмъ бить жену, отчаянно дрался съ однимъ изъ этихъ сибирскихъ старцевъ,—что̀ Паня видѣла собственными глазами, когда мы спали. Заподозрѣть въ чемъ-нибудь Агаѳью я не имѣю никакого права, и самъ Игнатъ ни въ чемъ ея не обвиняетъ. Вообще, въ нашемъ домѣ творятся совершенно непонятныя вещи...

— Гм... да...

— И, какъ мнѣ кажется, дѣло гораздо серьезнѣе, чѣмъ мы вообще привыкли думать о нашей прислугѣ.

— Я понимаю, что прислуга такіе же люди, какъ и мы съ тобой,—заговорилъ докторъ, стараясь сдержать нараставшее раздраженіе.—Да, понимаю... Можетъ-быть, понимаю даже больше другихъ, потому что самъ—сынъ петербургской кухарки...

Когда докторъ начиналъ волноваться, что̀ съ нимъ случалось очень рѣдко, Прасковья Ивановна сразу чувствовала себя виноватой. Опять сказывалась— да простятъ меня южныя женщины!—привычка восточной женщины къ повиновенію, въ меньшемъ случаѣ — къ извѣстному режиму. Но сейчасъ вышло какъ разъ наоборотъ. Прасковья Ивановна пододвинула свой стулъ поближе къ стулу доктора и заговорила вполголоса:

— Представьте себѣ, Гаврила Гаврилычъ, наша Агаѳья помѣшалась на томъ, что должна спасать свою душу. Да... Я ходила къ ней второй разъ. Она почти обругала меня, какъ... Я, право, не умѣю сказать, какъ она меня называла. По въ ея глазахъ мы съ вами просто погибшіе люди... Она же и жалѣетъ насъ!.. Какая-то тамъ щепоть, хожденіе по̀-солонь, и т. д. Она мнѣ прямо въ глаза сказала, что считаетъ насъ погибшими людьми. Что-то тутъ

играетъ роль и ржаной хлѣбъ, и сельтерская вода, и то, что я волосы плету не въ одну косу, по-дѣвичьи... Представьте себѣ, все это говоритъ мнѣ наша собственная Агаѳья и говоритъ авторитетно, какъ какая-то Жанна д'Аркъ.

— Гм... да... Кажется, дѣло сведется къ тому, что мы должны итти и извиниться предъ Игнатомъ,—не безъ ядовитости замѣтилъ докторъ.

— Опять не то!..

Прасковья Ивановна даже вскочила съ своего мѣста и зашагала по столовой.

— Да, не то... Если вы хотите знать, гражданинъ Рихтеръ, я начинаю понимать нашу Агаѳью съ ея щепотью и хожденіемъ по-солонь. Вѣдь весь вопросъ въ томъ, что она хочетъ спасти свою бабью душу, а мы... Вы только подумайте, что гдѣ-то въ нашей кухни тлѣетъ мысль о спасеніи души. Развѣ это не трогательно?

— Прибавь къ этому, что всѣ эти сибирскіе старцы—бѣглые и каторжники.

— Очень можетъ быть... Мы даже могли бы сдѣлать такъ, что когда пріѣдетъ Ѳедоръ Иванычъ...

— Ну, это уже лишнее...

— Нѣтъ, будемъ говорить по душѣ... Мнѣ Паня все разсказала, т.-е. разсказала, что въ нашу кухню приходятъ какіе-то два сибирскихъ старца. Одного зовутъ Матвѣемъ, который сегодня дрался съ Игнатомъ, а другого Спиридономъ. Они совращаютъ нашу Агаѳью въ расколъ, и въ этомъ разгадка сегодняшней исторіи... Игнатъ жалѣетъ по-своему совращаемую жену и на этомъ основаніи бьетъ ее смертнымъ боемъ.

Весь вечеръ былъ занятъ тоже мыслью о томъ, что дѣлается въ кухнѣ. Паня разъ пять бѣгала посмотрѣть въ окно и ничего особеннаго не увидѣла. Игнатъ починялъ какую-то сбрую, а Агаѳья что-то шила. Даже заѣрнувшій вечеркомъ становой Ѳедоръ Иванычъ не могъ отогнать этой мысли о кухнѣ. Это былъ толстый и лысый мужчина за пятьдесятъ. Полицейскій мундиръ сидѣлъ на немъ мѣшкомъ. Круглое лицо вѣчно лоснилось, точно было покрыто лакомъ. Ѳедоръ Иванычъ любилъ хорошо покушать, хорошо выпить, хорошо соснуть и хорошо повинтить, отличался почти истеричной набожностью и боялся грома до такой степени, что во время грозы спасался на собственной постели, прикрывъ голову подушкой. Между прочимъ, онъ любилъ острить, и одной изъ самыхъ его удачныхъ остротъ была та, что онъ прозвалъ доктора „гражданиномъ".

— Конечно, гражданинъ, потому что живетъ гражданскимъ бракомъ,— объяснялъ Ѳедоръ Иванычъ, подмигивая немного косившимъ глазомъ.

Сегодняшній вечеръ какъ-то не удался, какъ не удались пельмени у Агаѳьи, хотя по этой части она была великая мастерица. Прасковья Ивановна извинялась предъ гостемъ, а докторъ курилъ сигару и думалъ объ Агаѳьѣ.

— У васъ много раскольниковъ?—спросилъ онъ Ѳедора Иваныча.

— А сколько угодно этого добра, хоть отбавляй. Нашъ Ушкуйскій заводъ старинное и самое крѣпкое раскольничье гнѣздо. Охъ, и хлопотъ же мнѣ съ ними было...

— А сейчасъ?

— Ну, сейчасъ какъ будто полегче... Бываютъ, конечно, случаи, но особеннаго ничего не замѣтно. Ихъ губитъ то, что они дѣлятся между собой на разные толки и согласія и отчаянно враждуютъ.

— Чего же они хотятъ?

— Вѣроятно, они и сами этого не знаютъ...

Поздним вечером, когда Ѳедоръ Иванычъ уѣхалъ, Прасковья Ивановна долго сидѣла на террасѣ одна. Послѣ весенняго теплаго дня наступила довольно холодная горная ночь. Съ террасы можно было видѣть краешекъ заводскаго пруда, залегшую подъ плотиной фабрику, а дальше начинались горы, покрытыя лѣсомъ. Ночью фабрика была почти красива, благодаря своей вѣчной рабочей иллюминаціи—всполохами вырывалось пламя изъ доменныхъ печей, высокія трубы снопами разсыпали искры, густыми клубами валилъ черный дымъ. Гдѣ-то, точно подъ землей, слышались удары молотовъ, визгъ и лязгъ желѣза, тяжелое дыханіе паровыхъ машинъ, шумъ воды, свистки и окрики рабочихъ. Прасковья Ивановна долго любовалась этой картиной и вспоминала свою далекую родину съ ея чудными весенними ночами. У нея что-то ныло въ душѣ, ей хотѣлось плакать. Почему она не думала о своей душѣ, какъ думаетъ Агаѳья?

IV.

Въ слѣдующіе дни кухня продолжала оставаться центромъ общаго вниманія. Оказалось, что дня черезъ три вечеромъ приходили оба сибирскихъ старца и долго сидѣли. Игната не было дома. Старцы пришли съ собственными чашками и съ аппетитомъ ѣли докторскій супъ. Агаѳья все время стояла передъ ними и слушала, подперевъ по-бабьи щеку рукой. Въ открытое окно слышно было каждое слово, но Паня ничего не поняла.

— Что-то такое о горахъ да о пещерахъ все толковали,—разсказывала она—Спиридонъ, худенькій такой старичокъ, все грозилъ ей, что она душу свою губитъ... Агаѳья плакала и въ ноги кланялась... Потомъ старцы пили водку изъ своихъ стаканчиковъ... Матвѣй все грозился, что убьетъ Игната, если онъ станетъ опять бить жену, а Спиридонъ велѣлъ Агаѳьѣ все терпѣть. А когда пришелъ Игнатъ, старцы убѣжали въ окно...

Изъ этого довольно безсвязнаго показанія трудно было что-нибудь заключить.

— Эти сибирскіе старцы еще насъ всѣхъ убьютъ,—говорила Прасковья Ивановна.—Надо поговорить съ Агаѳьей серьезно. Можетъ-быть, это разбойники...

— Нѣтъ, барыня, они все божественное говорятъ,—защищала старцевъ Паня.—Спиридонъ училъ Агаѳью, какъ надо молиться, и самъ складывалъ ей пальцы въ ихній раскольничій крестъ.

Паня только потомъ призналась, какъ сибирскіе старцы ругали господъ и всячески ихъ срамили, какъ безбожниковъ.

— „И молятся твои господа щепотью, и крещены противъ солнца, и живутъ супротивъ закона, какъ собаки“,—объясняла Паня со слезами на глазахъ.—Ужъ мнѣ такъ было обидно... Особенно этотъ Матвѣй ругался, который билъ Игната. И потомъ все поминали какую-то вдову Марью Тимоѳеевну... Такъ страшно было слушать, такъ страшно!..

Докторъ сначала не обращалъ вниманія на всю эту исторію, а потомъ заинтересовался. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ онъ живетъ на Уралѣ пять лѣтъ, имѣетъ съ раскольниками постоянное дѣло и ничего о нихъ не знаетъ. Даже и не интересовался что-нибудь узнать. А эти люди живутъ своимъ собственнымъ міромъ, у нихъ свои жгучіе интересы, сомнѣнія и страстное тяготѣніе къ правдѣ, хотя послѣднее и выражается иногда въ довольно странныхъ формахъ, чтобы не сказать больше. Конечно, тутъ есть и своя доля религіознаго фанатизма, и наслѣдственность, и гипнозъ, и воинствующая стадность. Во всякомъ случаѣ, явленіе громадной общественной важности, непонятое и не объясненное до сихъ поръ, но продолжающее существовать, принимая уродливыя формы.

— Да, надо этимъ вопросомъ заняться,—рѣшилъ докторъ, перебирая въ умѣ злобу послѣднихъ дней.—Матеріалъ самый благодарный, да и все подъ рукой. Взять хоть того же Игната...

Докторъ приступилъ къ выполненію своего плана съ самыми тонкими предосторожностями. Игнатъ былъ вызванъ въ кабинетъ для совмѣстнаго обсужденія вопроса о новомъ дорожномъ тарантасѣ, какъ экспертъ. Онъ, какъ всегда, остановился у двери, заложилъ руки за спину и началъ смотрѣть на барина тупымъ взглядомъ, какъ быкъ. Повидимому, у Игната явилось подозрѣніе, что его недаромъ вызвали, и что, конечно, тарантасъ только предлогъ.

„Вотъ сейчасъ баринъ учнетъ пилить за Агаѳью“, — думалъ Игнатъ, наблюдая шагавшаго передъ нимъ доктора.

Переговоры о тарантасѣ кончились скоро, потому что Игнатъ соглашался на все: и такъ можно и этакъ можно.

— Послушай, Игнатъ, какіе это сибирскіе старцы ходятъ къ вамъ въ кухню?—спросилъ докторъ, стараясь придать и лицу и голосу равнодушное выраженіе.

— Старцы-то?—тоже равнодушно повторилъ Игнатъ вопросъ.—А кто ихъ знаетъ... Сказываются сибирскими.

— А зачѣмъ они ходятъ къ тебѣ?

— А, значитъ, жену Агаѳью смущаютъ,—откровенно признался Игнатъ, нисколько не смущаясь.—Значитъ, для спасенія души..

— Чѣмъ же они смущаютъ?

— Разное говорятъ... Однимъ словомъ, волки безпаспортные. Убить мало...

— Гм... да... Я это такъ спрашиваю. Мнѣ все равно. Спасать душу—дѣло недурное. Можетъ-быть, и ты хочешь спасаться?

Игнатъ посмотрѣлъ исподлобья на барина, почесалъ въ затылкѣ и нехотя отвѣтилъ:

— Гдѣ ужъ нашему брату, которые, значитъ, около лошадей!..

Игната удивило, что баринъ ни слова не сказалъ про избіеніе Агаѳьи, а онъ уже приготовилъ чисто-кучерской отвѣтъ: „Вотъ тебѣ, баринъ, хомутъ и дуга, а я тебѣ больше не слуга“.

У Прасковьи Ивановны, которая производила допросъ Агаѳьи, дѣло шло успѣшнѣе, вѣроятно, потому, что Прасковья Ивановна проявила болѣе сильный дипломатическій талантъ. Сначала Агаѳья отнеслась къ барынѣ очень подозрительно и даже что-то нагрубила.

— Зачѣмъ ты грубишь мнѣ, Агаѳья?

— А зачѣмъ вы меня пытаете, барыня, о чемъ не слѣдуетъ? Можетъ, мнѣ и разговаривать-то съ вами грѣшно...

— Чѣмъ же грѣшно?

Агаѳья понесла какую-то околесную о щепоти, хожденіи по-солонь, клейменыхъ вѣсахъ и сельтерской водѣ.

— Это научили тебя говорить сибирскіе старцы?

При напоминаніи о сибирскихъ старцахъ Агаѳья впала въ какое-то ожесточенное состояніе и даже погрозила барынѣ кулакомъ.

— Вотъ теперь вы—барыня, а я—слуга, а кто будетъ на томъ свѣтѣ въ смолѣ кипѣть?!..—истерически выкрикивала Агаѳья.—Это тоже надо понимать, ежели который человѣкъ правильный... Для васъ душа-то наплевать. Вы вотъ и постовъ не соблюдаете...

Прасковья Ивановна рѣшила выдерживать характеръ до послѣдняго и старалась говорить съ ангельской кротостью.

— Агаѳья, неужели для спасенія души необходимо грубить людямъ, которые тебѣ же желаютъ пользы?

— Матвѣй наказалъ обличать.

Кроткій тонъ барыни подѣйствовалъ на Агаѳью. Она какъ-то сразу отмякла и расплакалась.

— Барыня, ничего-то, ничего вы не понимаете,—запричитала она, вытирая слезы передникомъ.—И того не знаете, что я, можетъ-быть, ночи не сплю... Силушки моей не стало... и страшно какъ... Какъ раздумаешься—у смерти конецъ. Вѣдь вся-то я грѣшная и съ мужемъ живу по-грѣшному, потому какъ вѣнчали насъ противъ солнца... И тебя сейчасъ осудила, а по писанію лучше согрѣшить, чѣмъ осудить—кто осудилъ, на томъ и грѣхъ. Охъ, моченьки моей нѣтъ... Смерть моя... И васъ жаль, и своего Игната жаль, и себя жаль... Никакого терпѣнья! Вамъ-то, поди, смѣшно дуру-бабу неученую слушать, а мнѣ тошнехонько...

Прасковья Ивановна только теперь замѣтила стоявшую въ углу Паню и тоже плакавшую.

— Паня, ты-то о чемъ плачешь?—спросила Прасковья Ивановна.

— А не знаю...—отвѣтила дѣвушка, закрывая лицо руками.

V.

„Честная матёрая *) вдова“ Марья Тимоѳеевна жила на самомъ краю Ушкуйскаго завода. Ея пятистѣнная изба стояла на самомъ берегу заводскаго пруда. Марьѣ Тимоѳеевнѣ было за пятьдесятъ, но она казалась гораздо моложе своихъ лѣтъ,—ядреная, рослая, румяная баба хоть куда, особенно когда въ праздники выряжалась въ кумачный сарафанъ. Въ избѣ съ ней жила дочь Палагея, некрасивая и сердитая дѣвушка лѣтъ двадцати, на которую временами „находило“, а потомъ ютились какіе-то подозрительные люди, въ родѣ сибирскихъ старцевъ и разныхъ скитницъ, являвшихся въ Ушкуйскій заводъ изъ невѣдомой горной глуши за подаяніемъ разныхъ доброхотовъ и милостивцевъ. Марья Тимоѳеевна чѣмъ-то приторговывала въ дощатой лавчонкѣ на базарѣ, куда-то по временамъ уѣзжала и вообще вела таинственный образъ жизни. Свои заводскіе считали ее ухомъ-бабой, у которой всякое дѣло къ рукамъ пристаетъ. Время отъ времени въ избѣ Марьи Тимоѳеевны появлялись таинственные младенцы, которые еще болѣе таинственно исчезали. Всѣмъ было извѣстно, что этихъ младенцевъ привозили изъ женскихъ скитовъ, и всѣ молчали, чтобы не выдать честную вдову въ лапы любезнаго антихристова сосуда, станового Ѳедора Иваныча.

Встрѣчая Марью Тимоѳеевну, становой непремѣнно грозилъ ей пальцемъ и говорилъ:

— Ты у меня смотри, сахарная.. Все знаю!

— Да чего и знать-то про вдову,—отвѣчала Марья Тимоѳеевна.— Каждый тараканъ знаетъ наши бабьи дѣла...

Марья Тимоѳеевна за словомъ въ карманъ не лазила, и Ѳедоръ Иванычъ любилъ съ ней пошутить.

— Ужо въ гости къ тебѣ чай пріѣду пить, сахарная...

— Милости просимъ, Ѳедоръ Иванычъ...

Становому, конечно, было извѣстно кое-что про честную вдову, но онъ ея не трогалъ до поры до времени. Ничего, пусть себѣ живетъ, а когда буде

*) Матёрая, женщина, у которой есть дѣти.

нужно—отъ рукъ правосудія не уйдетъ. Конечно, главное подозрѣніе заключалось въ пристанодержательствѣ, и Ѳедоръ Иванычъ даже берегъ Марью Тимоѳеевну про всякій случай. Мало ли бывало въ его практикѣ случаевъ, когда приходилось ловить какого-нибудь бродягу, подозрительнаго пустынника или шляющаго человѣка, а пятистѣнная изба Марьи Тимоѳеевны являлась очень удобной ловушкой.

Между прочимъ, Марья Тимоѳеевна частенько завертывала къ Прасковьѣ Ивановнѣ. У нея всегда было какое-нибудь неотложное дѣло, начиная съ собственныхъ болѣзней. Прасковья Ивановна только удивлялась, что такая на видъ здоровая женщина и болѣла самыми утонченными нервными болѣзнями. Въ сущности, Марья Тимоѳеевна была форменная истеричка, какъ и кухарка Агаѳья. Откуда, какъ и почему? Гражданинъ Рихтеръ, призванный къ отвѣту, по обыкновенію, отвѣтилъ уклончиво:

— Удивительнаго въ этомъ рѣшительно ничего нѣтъ... да. Вѣдь это чисто-городская логика, что здоровые люди могутъ быть только въ деревнѣ. Нѣтъ и нѣтъ... Каждый самый простой мужикъ—истерикъ. Не смѣйся, Прасковья Ивановна, ибо я говорю правду... А твои деревенскія бабы еще болѣе истеричны, что̀ уже въ порядкѣ вещей.

Прасковья Ивановна даже не желала спорить съ гражданиномъ Рихтеромъ, потому что это, во-первыхъ, было безполезно; а во-вторыхъ, гражданинъ Рихтеръ былъ правъ. Лучшимъ примѣромъ являлась та же Марья Тимоѳеевна, какъ женщина для крестьянской среды незаурядная.

Марья Тимоѳеевна являлась въ докторскомъ домикѣ какъ-то неожиданно, всегда оглядывалась и любила говорить какимъ-то предательскимъ шопотомъ. Въ ней чувствовалась та истеричная ласковость, которая гипнотически дѣйствуетъ на толпу. Она именно такъ и явилась къ Прасковьѣ Ивановнѣ дня черезъ три послѣ исторіи съ Агаѳьей. Прасковья Ивановна встрѣтила ее довольно сухо.

— А вотъ и я пришла...—пѣвуче проговорила Марья Тимоѳеевна.—Не ладно у васъ, Прасковья Ивановна, въ дому.

— Нѣтъ, ничего,—неизвѣстно для чего солгала Прасковья Ивановна.—Кучеръ у насъ дерется съ женой...

— Слышала, слышала... Поучить бы его немножко надо. Глуповатъ паренекъ...

— Ну, я въ этой исторіи рѣшительно ничего не понимаю,—откровенно призналась Прасковья Ивановна.—Ничего не разберешь... Думаю, что вы больше знаете, Марья Тимоѳеевна, что̀ дѣлается у насъ въ домѣ...

— Я?!.. Да храни меня Богъ... Такъ, стороной слышала...

— Перестаньте и будемте говорить откровенно... Представьте себѣ, что я знаю гораздо больше, чѣмъ вы думаете.

Лицо Марьи Тимоѳеевны сразу измѣнилось, такъ что Прасковья Ивановна сочла нужнымъ поправиться:

— Вы, пожалуйста, не подумайте, что... Однимъ словомъ, вы понимаете, что я хочу сказать.

— Вотъ сейчасъ помереть, ничего въ толкъ не возьму.

— Дѣло ваше,—сухо отвѣтила Прасковья Ивановна. — А впрочемъ, должна сказать вамъ откровенно, что вы совершенно напрасно подсылаете къ Агаѳьѣ вашихъ сибирскихъ старцевъ. Для васъ же можетъ выйти большая непріятность...

— Охъ, Прасковья Ивановна, какое ты словечко выговорила...—заго-

ворила раскольница, размахивая руками.—И то ко мнѣ Ѳедоръ Иванычъ подсыкается. А мое дѣло вдовье, и ничего я не понимаю. А что̀ касаемо Агаѳьи, такъ ей про себя-то ближе знать.

Марья Тимоѳеевна долго наговаривала какіе-то пустяки, которыхъ нельзя было разобрать, и Прасковья Ивановна чуть не прогнала ее, сославшись на какое-то дѣло.

— А ты не сердитуй, матка-свѣтъ, на глупую деревенскую бабу,—говорила Марья Тимоѳеевна, уходя. Ну, какой спросъ съ нашего брата бабы? Хуже овцы... И слова-то только самыя глупыя умѣемъ говорить.

Изъ господскихъ комнатъ Марья Тимоѳеевна завернула въ кухню, гдѣ Агаѳья была одна, и безъ обиняковъ объяснила:

— Ну, нахлебалась я изъ-за тебя и жару и пару, Агаѳья. Какъ разстервенилась твоя-то полубарыня... Все грозила мнѣ Ѳедоромъ Иванычемъ. Я, гритъ, тебѣ покажу, будешь, гритъ, меня помнить, а сама табачище проклятый куритъ... Смрадъ отъ нея идетъ на версту... тьфу!.. Ужъ я думала, что и живая отъ нея не вырвусь. Такъ къ сердцу и подкатываетъ...

Агаѳья слушала эти наговоры, опустивъ виновато глаза. Вѣдь изъ-за нея барыня сживаетъ со свѣту Марью Тимоѳеевну... Она уже видѣла, какъ ночью Ѳедоръ Иванычъ наѣдетъ въ избу къ Марьѣ Тимоѳеевнѣ съ обыскомъ, заберетъ въ плѣнъ сибирскихъ старцевъ, да и Марью Тимоѳеевну посадитъ вмѣстѣ съ ними въ острогъ. А Марья Тимоѳеевна смотрѣла на нее и качала головой.

— Ловко тебя мужъ-то изукрасилъ, Агаѳьюшка! Вонъ какъ глаза-то подбилъ...

Агаѳья старалась надвинуть платокъ на лобъ такъ, чтобы не видно было мужниныхъ синяковъ, но всего лица не скроешь. Сожалѣніе Марьи Тимоѳеевны вызвало у нея слезы.

— Случается, что мужья учатъ женъ, — не унималась Марья Тимоѳеевна. — Только и учатъ, жалѣючи... И виноватая жена своя, а не чужая. Не мужъ онъ тебѣ, твой Игнатъ...

Прасковья Ивановна своимъ косвеннымъ вмѣшательствомъ очень помогла Марьѣ Тимоѳеевнѣ.

VI.

Вечеромъ, когда господа уѣхали въ гости къ мировому судьѣ, Агаѳья урвалась на минуточку къ Марьѣ Тимоѳеевнѣ. Ее давило предчувствіе какой-то неминучей бѣды. А вдругъ Ѳедоръ Иванычъ накроетъ сибирскихъ старцевъ... И все изъ-за нея, скверной. Сердце Агаѳьи замирало отъ страха, а мысли въ головѣ путались во что-то безсвязное и безвыходное.

Шатровыя ворота у избы Марьи Тимоѳеевны, какъ во всѣхъ раскольничьихъ домахъ, всегда были на запорѣ, и калитка отворялась по-старинному только тогда, когда гость „помолитвуется“ подъ волоковымъ оконцемъ. Марья Тимоѳеевна выглянула въ окно и узнала въ темнотѣ Агаѳью.

— Чего примчалась, свѣтъ? — ласково спрашивала она, когда Агаѳья вошла въ избу.

— Охъ, матушка Марья Тимоѳеевна, тошнехонько... — шептала Агаѳья, сдерживая слезы.—Вся сама не своя... Мѣста не найду... и страшно до смерти...

— Вотъ, вотъ, матушка...—жалѣла ее Марья Тимоѳеевна.—Извели тебя вконецъ, бабочка.

Въ избу вошла Палагея и злыми глазами посмотрѣла на гостью. Она

слышала, какъ Игнатъ избилъ жену, и радовалась. Такъ и надо вамъ, мужнія жены... Маленькая жестяная лампочка плохо освѣщала избу, и Палагея никакъ не могла разсмотрѣть Агаѳьиныхъ синяковъ.

— Ужо, пойдемъ въ заднюю избу, — предложила Марья Тимоѳеевна.

Изба Марьи Тимоѳеевны, не особенно казистая снаружи, вмѣстѣ съ надворными постройками и крытымъ дворомъ, являлась чѣмъ-то въ родѣ деревянной крѣпости. Самая изба большими сѣнями дѣлилась на двѣ половины: передняя изба—жилая и задняя—„на всякій случай", главнымъ образомъ для пріема гостей. Сейчасъ въ задней избѣ, замѣнявшей моленную, сидѣлъ за столомъ старецъ Спиридонъ и писалъ раскольничьмъ уставомъ „канунъ о единоумершемъ" по заказу какого-то милостивца-питателя.

— Матвѣя-то нѣтъ еще?—довольно грубо спросила Марья Тимоѳеевна, державшая сибирскихъ старцевъ въ строгости.

— А придетъ, куда ему дѣваться, — спокойно отвѣтилъ Спиридонъ, не подымая глазъ отъ своей работы.—Не мѣшокъ съ деньгами—не потеряется...

— Бѣда мнѣ съ вами, вотъ что̀,—продолжала Марья Тимоѳеевна.—Того гляди, Ѳедоръ Иванычъ накроетъ...

— А ты терпи, Марья Тимоѳеевна,—съ прежнимъ спокойствіемъ отвѣтилъ Спиридонъ.—Не за насъ будешь страдать, а за правильную вѣру...

Условный стукъ въ окно прервалъ эту сцену. Въ избу вошелъ старецъ Матвѣй и сердито бросилъ какой-то мѣшокъ въ уголъ подъ лавку. Агаѳья стояла у двери и чувствовала, какъ ее начинаетъ бить лихорадка. Марья Тимоѳеевна не приглашала ее сѣсть на лавку и начала разсказывать, какъ давеча ей грозила докторская „полубарыня".

— Грозится на меня, а отъ самой смрадъ табачищемъ... Я-то изъ-за чего терпѣть все это должна? Въ самъ-то дѣлѣ прикачается Ѳедоръ Иванычъ и заморитъ въ тюрьмѣ...

— Будетъ тебѣ,—рѣзко остановилъ ее Матвѣй.—Какія слова неподобныя выговариваешь? Другая радовалась бы, что свою часть въ страданіи пріемлетъ, а ты, какъ коза, новыхъ воротъ боишься. Агаѳья, ты ея не слушай... И протчая во страданіяхъ да не минуетъ. Табачниковъ да щепотниковъ испугались, а того не боитесь, что душу свою вотъ въ этомъ самомъ страхѣ губите. Не Ѳедоромъ Иванычемъ заперто царствіе небесное. Что̀ сказано въ писаніи: „нуждницы восхищаютъ царство небесное". А вы: Ѳедоръ Иванычъ... Вотъ наложу послушаніе, тогда и будете знать.

— Подобострастный я человѣкъ, Матвѣй Петровичъ, — заговорила другимъ тономъ Марья Тимоѳеевна.—Боюсь по своей женской слабости страданія...

— А ты себя бойся... Что̀ тебѣ показано? Тверди одно: „щепотью молитесь, противъ солнца ходите, табакъ курите, рыло свое скоблите"... Вотъ и вся ваша грамота.

Старецъ Матвѣй снялъ съ себя кафтанъ и остался въ одной рубахѣ изъ синей крестьянской пестрядины, которая выдавала во всѣхъ подробностяхъ его могучее сложеніе. Онъ раза два взглянулъ на Агаѳью и погладилъ косматую бороду. Старецъ Спиридонъ продолжалъ писать, время отъ времени присматривая свою работу къ унылому свѣту оплывавшей сальной свѣчи.

— А ты ничего не бойся, Агаѳья, — заговорилъ Матвѣй, не глядя на нее.—Страхъ и отчаяніе пуще смертнаго грѣха. Тебѣ страшно, а ты побороть старайся.

— И терпѣть надо, — прибавилъ Спиридонъ, продолжая писать свой канунъ. — Все терпѣть...

Потомъ старцы какъ-то сразу накинулись на полубарыню и принялись ее ругать такими словами, что даже Марья Тимоѳеевна вступилась.

— И что̀ она вамъ далась?!

— А зачѣмъ табачище куритъ? Развѣ это подобаетъ женску полу?!.. И волосы подстригаетъ въ образъ козы... Въ постные дни жретъ скоромное... Дохтуръ нѣмецъ и творитъ волю пославшаго, а она въ свою голову антихристу служитъ. Вотъ какъ прилѣпилась къ антихристову окаянству...

Что̀ было дальше — Агаѳья плохо помнила. Очень ужъ складно говорилъ старецъ Матвѣй и даже кулакомъ себя въ грудь колотилъ. Для нея было ясно одно, именно, что она еще можетъ спасти свою грѣшную душу и что еще не все погибло.

— Дщи *), уже близится часъ, — говорилъ старецъ Матвѣй, когда она собралась уходить.—Да не будетъ унынія и протчая... Маловѣрни, ежели въ васъ нѣсть горчичнаго зерна вѣры...

Это была не рѣчь разумнаго человѣка, а какіе-то истерическіе выклики, и Агаѳья отлично понимала ихъ какъ-то всѣмъ своимъ грѣшнымъ бабьимъ естествомъ. Ахъ, какая она была грѣшная, вся грѣшная, до послѣдней косточки... И какъ она чувствовала сейчасъ свой женскій грѣхъ и чувствовала, какъ далеко желанное спасеніе. И мужъ ей казался еще больше грѣшнымъ. За что онъ ее билъ, какъ не бьютъ лошадь?

— Уйду, уйду... — шептала она, возвращаясь въ свою кухню. — Уйду...

Ее смущало только одно: полубарыня Прасковья Ивановна, конечно, была кругомъ виновата, а все-таки была добрая. Никогда не обидитъ и всегда очестливая такая. Вотъ только ничего настоящаго не хочетъ понимать и не можетъ даже понять.

Когда Агаѳья вернулась домой, господа были уже дома. Игнатъ отпрягъ лошадь и лежалъ на полатяхъ. Онъ притворялся, что спитъ. Агаѳью дожидалась на крылечкѣ горничная Паня и успѣла шепнуть:

— „Онъ“ опять тебя будетъ бить?

— А пусть его бьетъ...—совершенно спокойно отвѣтила Агаѳья.

Дѣйствительно, ничего особеннаго не произошло. Агаѳья, не раздѣваясь, прилегла на лавку около печи и хотѣла заснуть. Она до того устала, что, какъ говорится, рада была мѣсту.

— Агаѳья...—послышался голосъ Игната.

— Была Агаѳья, а теперь нѣтъ Агаѳьи,—отвѣтила она со смѣлой простотой.—Чего тебѣ?

Молчаніе. Потомъ послышались какіе-то сдавленные вздохи и всхлипыванье.

— Агаѳья...

— Да отстань, постылый!..

Опять молчаніе, опять всхлипыванье.

— И что̀ же это будетъ?—слышался въ темнотѣ голосъ Игната.—Убью я тебя, Агаѳья...

— Бей...

— Агаѳья...

— Бей, говорятъ тебѣ!.. Мало еще билъ?..

— Агаѳья...

— Молчи, постылый...

---

*) Дщи—дщерь, дочерь.

— Такъ ничего и не будетъ?..

— Ничего...

VII

Что̀ дѣлалось въ кухнѣ, доходило въ докторскую квартиру черезъ Паню, которая все вызнавала съ ловкостью ящерицы. Такъ гражданинъ Рихтеръ узналъ, что Агаѳья уже больше не ѣстъ изъ одной чашки съ мужемъ, молится только своему образку, а главное — неистово постится. Игнатъ больше ея не бьетъ и все молчитъ. Однимъ словомъ, кухонная трагедія продолжала разыгрываться, оставаясь непонятной и загадочной. Сначала докторъ отнесся къ этой семейной мужицкой драмѣ совершенно равнодушно, какъ къ самому обычному проявленію жестокой народной тьмы, но потомъ началъ интересоваться все больше и больше и какъ человѣкъ и какъ врачъ.

— Должны же быть какія-нибудь основанія Агаѳьиной психологіи, — разсуждалъ онъ.—Расколъ расколомъ, соціальныя условія сами по себѣ, а по-моему, тутъ причины кроются гораздо глубже... Если, напримѣръ, смотрѣть на Агаѳью, какъ на нервную больную?

— Она и въ дѣйствительности больная, — подтверждала Прасковья Ивановна. — Я уже говорила вамъ объ этомъ. И Марья Тимоѳеевна тоже больная, а ея дочь Пелагея форменный эпилептикъ.

— Да, все это такъ... Но почему наклонность къ истеріи въ Агаѳьѣ приняла форму упорной религіозной маніи? По-твоему, всѣ простыя бабы истерички, но не всѣ такъ неистово предаются спасенію души. Чрезвычайно интересная и типичная форма психическаго разстройства...

Съ этой точки зрѣрія докторъ и приступилъ къ своему дѣлу. Вѣдь фактъ—все, а выводы и заключенія приклеиваются къ нему, какъ штукатурка къ готовымъ стѣнамъ. Доктору начало казаться, что, по существу дѣла, и вся русская исторія только curriculum громадной народной истеріи. Развѣ солдатъ, который идетъ въ огонь, не истерически храбръ? Наукой установленъ фактъ, что всѣ великіе историческіе герои были самые обыкновенные истерико-эпилептики, которымъ настоящее мѣсто въ психіатрической больницѣ. А исторія, сама по себѣ, развѣ не есть исторія массовой истеріи? Первые вѣка христіанства, эпоха крестовыхъ походовъ, священная инквизиція, реформація, нашъ родной русскій расколъ — все это только отдѣльныя звенья одной общей органической цѣпи. Агаѳья являлась въ этомъ круговоротѣ громадной исторической концепціи только минимальнымъ фактомъ, той бактеріей, которая создавала незримо самую исторію. И чѣмъ больше вдумывался докторъ въ находившійся предъ его глазами матеріалъ, тѣмъ сильнѣе убѣждался въ его громадности и, рядомъ, въ недостаткѣ собственныхъ средствъ для его изслѣдованія, провѣрки и точнаго научнаго анализа. Онъ походилъ на человѣка, который голыми руками хочетъ схватить раскаленное добѣла желѣзо... Все это было и безсмысленно, и обидно, и какъ-то больно, больно той тупой болью, какая является только при серьезныхъ хроническихъ заболѣваніяхъ.

Чтобы быть послѣдовательнымъ, нужно было по частному вопросу объ Агаѳьѣ обратиться къ ея родовому прошлому, какъ первоисточнику. Случай не заставилъ себя ждать. Къ доктору сразу явились отецъ и мать Агаѳьи, очень почтенные люди, составлявшіе по-заводски „справную семью“. Они часа два просидѣли въ кухнѣ, прежде чѣмъ рѣшились безпокоить господъ.

— Ахъ, да, я очень радъ васъ видѣть, — съ торопливой виноватостью заговорилъ докторъ.—Вы относительно Агаѳьи?

Отецъ Агаѳьи, рослый и сравнительно молодой мужикъ, тупо переминался на одномъ мѣстѣ и ничего не отвѣчалъ. Краснорѣчивѣе оказалась мать Агаѳьи, преждевременно состарившаяся женщина.

— Все, дохтуръ, черезъ Марью Тимоѳеевну, — быстро заговорила она, выступая впередъ.—Все черезъ нее, поскуду...

Мужъ дернулъ ее за сарафанъ, но это оказалось безполезнымъ

— Она первую дочь заморила въ скитахъ, — продолжала мать Агаѳьи съ нараставшимъ азартомъ. — А вторая дочь Палагея ни къ чему, вотъ она и ухватилась за нашу Агаѳью.

— Для чего же ей именно ваша Агаѳья? — спрашивалъ докторъ, не понимая ничего.

— Марья-то Тимоѳеевна знаетъ, для чего... У ней всякое лыко въ строку. На части ее мало растерзать... У ней и тетка такая же была. Въ третьемъ году померла... Она вся въ тетку.

— Вы тетку Агаѳьи оставьте,—заявилъ докторъ, шагая по кабинету.— А вотъ что̀ мы будемъ дѣлать съ Агаѳьей?

Мать Агаѳьи, какъ и слѣдуетъ дамѣ, въ отвѣтъ расплакалась, а отецъ, переминаясь съ ноги на ногу, заявилъ:

— Конечно, Агаѳья, напримѣрно, намъ единоутробная дочь, а промежду прочимъ у ней мужъ... Мужъ и должонъ отвѣчать за родную жену.

— Въ такомъ случаѣ, зачѣмъ вы пришли ко мнѣ? — спросилъ докторъ, ставя вопросъ ребромъ.

Кстати, черезъ ту же всевѣдущую Паню онъ зналъ, что отецъ и мать Агаѳьи „прикержачиваютъ“, т.-е. тайно сочувствуютъ расколу, хотя и числятся православными. Это для доктора имѣло громадное значеніе, потому что (слѣдовательно) Агаѳья только фактически довершала реальнымъ фактомъ невыясненное стремленіе всей семьи.

— Такъ, значитъ, какъ же быть? — рѣшительно поставилъ вопросъ докторъ.—Мое дѣло сторона. Вамъ ближе знать...

Докторъ смотрѣлъ на отца и мать Агаѳьи, какъ на первоисточники ея религіозной маніи, а эти первоисточники рѣшительно ничего не давали для собственнаго оправданія. Самая обыкновенная семья заводскихъ рабочихъ— и больше ничего. Никакихъ ненормальныхъ признаковъ, кромѣ нѣкоторой тупости и обычной русской апатіи. Они говорили о родной дочери, какъ о постороннемъ лицѣ, не проявляя ничего особеннаго.

— Прасковья Ивановна, я въ отчаяніи, — заявлялъ гражданинъ Рихтеръ.—Отецъ и мать Агаѳьи—совершенно нормальные люди.

— Не можетъ быть?! — горячо протестовала Прасковья Ивановна. — Я вамъ говорю, гражданинъ Рихтеръ, не можетъ быть!..

— У меня уже составилась цѣлая теорія, а они ее нарушаютъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ. Это какіе-то пещерные люди, т.-е. я хочу сказать— люди пещернаго періода.

Прасковья Ивановна выкурила, по крайней мѣрѣ, двѣ папиросы, пока отвѣтила совершенно опредѣленно и категорически:

— Гаврила Гаврилычъ, а я сочувствую вотъ именно этимъ пещернымъ людямъ. По наукамъ, какъ вамъ извѣстно, я ушла не особенно далеко, но чувствовать могу. И если бы... да...

— Если бы я былъ кучеромъ Игнатомъ и билъ тебя смертнымъ боемъ...

— Гаврила Гаврилычъ, есть предѣлъ даже для шутокъ, а я говорю совершенно серьезно...

— Слушаю-съ...

— И слушайте... Я завидую вотъ этой самой Агаѳьѣ, завидую, конечно, не потому, что она ходитъ въ синякахъ, а тому, что у нея...

— Спасеніе души?

— Да!

Прасковья Ивановна не замѣчала, что она повторяется, — все это она высказала еще раньше.

Съ Прасковьей Ивановной дѣлалось что-то странное, чего раньше не было. Ну, скажите, пожалуйста, при чемъ тутъ какая-то кухарка Агаѳья?!. Гражданинъ Рихтеръ самымъ добросовѣстнымъ образомъ отказывался что-нибудь понимать.

— Прасковья Ивановна, ты, просто, какъ говорится, чудишь,—категорически резюмировалъ все происходившее гражданинъ Рихтеръ.

— Я?!..—Она засмѣялась и такъ странно засмѣялась. — Гражданинъ Рихтеръ, вѣдь вы никогда не думали о душѣ? Да? А правда, совѣсть, та маленькая правда, которая творится въ четырехъ стѣнахъ?!..

Прасковья Ивановна плакала, смѣялась и опять плакала, какъ живой препаратъ истеріи. Гражданинъ Рихтеръ только махнулъ на нее рукой, потому что давно убѣдился въ безполезности всякихъ средствъ, когда дѣло коснется дамскихъ нервовъ. Да, есть именно дамскіе нервы, хотя и принято смѣяться надъ этимъ опредѣленіемъ, какъ есть нервы раскольничьи (читай: Агаѳья).

VIII.

Гражданинъ Рихтеръ дѣлалъ нѣсколько попытокъ разговориться по душѣ съ Агаѳьей, но изъ этого ничего не вышло. Она изъ слова въ слово повторила тѣ же безсмыслицы, какія говорила барынѣ. Игнатъ оказался толковѣе жены. На допросѣ онъ сообщилъ много интереснаго.

— Сказываютъ, ужъ пятая труба прошла...

— Какая труба? Кто сказываетъ?

— Ну, тѣ ужъ знаютъ, баринъ, которые сказываютъ. Будетъ всѣхъ семь трубъ до свѣтопреставленья... Двѣ кровавыхъ звѣзды упадутъ. Первая-то пала еще при третьей трубѣ, а вторая, сказываютъ, недавно свалилась... Это похуже будетъ первой, потому какъ отворила кладезь бездны.

— Кладезь?

— Точно такъ, Гаврила Гаврилычъ. Прямо сказано въ писаніи: и возгласи труба пятая.

— Да вѣдь ты неграмотный, Игнатъ, какъ же говоришь о писаніи?

— А сказывали... Тѣ ужъ знаютъ.

— А отчего я не знаю, хоть и грамотный?

Игнатъ уставился глазами въ уголъ и долго подыскивалъ отвѣтъ.

— У господъ совсѣмъ наоборотъ, баринъ...

— Значитъ, по-твоему, спасутся только простые люди и купцы?

— Точно такъ... Только купцамъ гораздо труднѣе, потому какъ состоятъ при собственномъ капиталѣ.

Побившись напрасно съ Агаѳьей и кучеромъ Игнатомъ, докторъ догадался, что дѣлалъ именно то, чего ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало дѣлать. Конечно, о его разговорахъ и разспросахъ все доводится до свѣдѣнія сибирскихъ старцевъ; тѣ примутъ, съ своей стороны, соотвѣтствующія мѣры, такъ какъ въ ихъ глазахъ онъ, гражданинъ Рихтеръ, вмѣстѣ съ Ѳедоромъ Иванычемъ, только любезный антихристовъ сосудъ. Нужно было начать съ

Марьи Тимоѳеевны, которую Прасковья Ивановна прогнала совершенно напрасно. Изъ-за послѣдняго у доктора съ Прасковьей Ивановной произошла горячая семейная сцена, причемъ онъ чувствовалъ себя совершено правымъ и долженъ былъ просить извиненія.

— Если вамъ ее нужно, такъ я ее приглашу, — сдѣлала съ своей стороны уступку Прасковья Ивановна. — Она такая безсовѣстная, и ее трудно огорчить.

— Такъ, пожалуйста, пригласи ее.

Марья Тимоѳеевна явилась по первому зову, какъ ни въ чемъ не бывало. Она, конечно, догадалась, въ чемъ дѣло, хотя и не выдавала себя ни однимъ словомъ. Когда докторъ заявилъ ей о своемъ желаніи познакомиться съ сибирскими старцами, Марья Тимоѳеевна только замахала руками.

— И что̀ ты только придумалъ, Гаврила Гаврилычъ? И любопытнаго-то ничего въ нихъ нѣтъ... Просто, мужичье сиволапое.

— Ну, это мое дѣло, Марья Тимоѳеевна, а вы все-таки приведите какъ-нибудь ихъ вечеркомъ. Будто пришли полѣчиться — я не имѣю права никакому больному отказывать въ пріемѣ.

— Ужо, поговорю... Можетъ, какъ-нибудь завернутъ ко мнѣ.

— Я вамъ даю честное слово, что разговоръ останется между нами и Ѳедоръ Иванычъ никогда ничего о немъ не узнаетъ. Вѣдь старцы ходятъ же въ мою кухню...

— Ужъ не знаю, право... Поговорить поговорю, а только... А ежели спросятъ, для чего ихъ надобно тебѣ?

— Хочу поговорить о старой вѣрѣ...

— Значитъ, насчетъ Агаѳьи?

— И насчетъ Агаѳьи, между прочимъ...

Сибирскіе старцы расхохотались, когда узнали о желаніи доктора познакомиться.

— Никакъ въ нашу вѣру хочетъ перейти,—шутливо говорилъ старецъ Матвѣй.—Въ самый бы разъ... Вотъ только зачѣмъ постовъ не соблюдаетъ, да табачище куритъ, да съ женой не по закону живетъ.

— А ты его и обличи,—совѣтовала Марья Тимоѳеевна.

— И обличу... Даже очень это просто.

Дня черезъ три Марья Тимоѳеевна привела старца Спиридона въ кухню и послала Агаѳью сказать объ этомъ барину. Было уже темно, но старца провели въ столовую не прямо, а черезъ садикъ, чтобы никто не видалъ.

— Такъ-то лучше будетъ, ежели съ опаской,—объяснила Марья Тимоѳеевна.

Опытъ оказался совершенно неудачнымъ. Старецъ Спиридонъ рѣшительно ничего не зналъ, кромѣ своихъ каноновъ, и несъ какую-то околесную.

— И нужно терпѣть...—повторялъ онъ ни къ селу ни къ городу.

Докторъ попросилъ его показать языкъ, сосчиталъ пульсъ и выслушалъ сердце, которое работало неправильно. Старецъ жаловался на одышку и на то, что отъ постной пищи у него „голову обноситъ“. Потомъ старецъ ходилъ по комнатѣ съ закрытыми глазами, стоялъ на одной ногѣ, растопыривалъ пальцы на рукахъ, попеременно раскрывалъ глаза и т. д. Когда докторъ для полноты діагноза хотѣлъ смѣрить температуру старца, послѣдній обозлился.

— Не согласенъ, ваше благородіе,—грубо заявилъ онъ.—Это вы ужъ другихъ обманывайте, кто попроще...

— Вѣдь вы же сами говорите, что нужно терпѣть?

— Терпѣть, да не отъ антихриста!.. Другимъ показывай свою антихристову машинку...

— Хорошо, хорошо... А какъ вы относительно водки?

— По уставу, когда разрѣшеніе вина и елея...

Докторъ только теперь догадался, что это совсѣмъ не тотъ старецъ, котораго ему нужно, и спросилъ:

— Это вы дрались съ моимъ кучеромъ Игнатомъ?

— Никакъ нѣтъ-съ, — по-солдатски отвѣтилъ Спиридонъ, принимая почему-то виноватый видъ.—Хилый я человѣкъ, и куда мнѣ драться.

— Ну хорошо. Это я такъ... Можетъ-быть, вы какого-нибудь лѣкарства желаете получить?

— Сохрани, Господи...

Можно себѣ представить то впечатлѣніе, которое произвелъ разсказъ старца Спиридона, когда онъ вернулся къ Марьѣ Тимоѳеевнѣ. Даже никогда не смѣявшійся старецъ Матвѣй хохоталъ до слезъ.

— Вотъ-вотъ, оно самое,—повторялъ онъ.—Ты кому языкъ-то показывалъ? Ахъ, Спиридонъ, Спиридонъ... это ты бѣсу показывалъ. Ты языкъ высунулъ, а бѣсу это и надобно... Онъ ужъ знаетъ, что̀ ему нужно. И персты растопыривалъ? А какую руку? Правую? Вотъ-вотъ... Щепоть и вышла. А на одной ногѣ, какъ журавль, къ чему стоялъ? Христосъ-то когда на одной ногѣ стоялъ? Ну-ка?

— Неученый я человѣкъ...—хмуро отвѣчалъ сконфуженный Спиридонъ.

— Вотъ то-то и есть... какъ есть ничего не понимаешь. На одной-то ногѣ вотъ какъ грѣшно стоять, потому какъ Христосъ стоялъ на одной ногѣ, когда садился на осла... Ахъ, Спиридонъ, Спиридонъ, потѣшился надъ тобой бѣсъ...

Спиридонъ наконецъ озлился.

— Да я-то что̀ же? Все это Марья Тимоѳеевна... Она меня подвела. Докторъ-то наказалъ тебя прислать. Вотъ ступай и покажи свою храбрость.

Марья Тимоѳеевна тоже грѣшнымъ дѣломъ посмѣялась надъ простотой Спиридона. Очень ужъ смѣшно все вышло. Она скрыла, что Прасковья Ивановна и ее тоже заставляла стоять на одной ногѣ и ходить по комнатѣ съ закрытыми глазами.

— А зачѣмъ ты бѣсу мигалъ?—не унимался старецъ Матвѣй.—Ахъ, Спиридонъ, Спиридонъ... И оба глаза закрывалъ? Бѣсу вотъ это самое и нужно, чтобы человѣкъ оба глаза закрывалъ—онъ въ эту пору и цапаетъ его своей мерзкой лапой.

— Вотъ что̀, Матвѣй Петровичъ, — заговорила Марья Тимоѳеевна, косвенно вступаясь за Спиридона.—Осудилъ ты Спиридона и посмѣялся надъ нимъ, значитъ, грѣхъ-то и перекачнулся на тебя. Ты бы лучше пошелъ самъ къ доктору и переговорилъ съ нимъ...

— А ты думаешь, не пойду?—храбрился Матвѣй.—Ничего я не боюсь... И еще обличу отъ писанія.

— Такъ-то лучше будетъ, миленькій.

— Зачѣмъ докторъ и его полубарыня вцѣпились въ Агаѳью? Не стало имъ другихъ кухарокъ? Небойсь, пока Агаѳья не думала о спасеніи души, такъ ея и не замѣчали... Вотъ пойду и обличу.

Подвела старца Матвѣя честная вдова Марья Тимоѳеевна. Позахвастался онъ грѣшнымъ дѣломъ, и отступаться отъ своего слова было поздно.

— И пойду,—упрямо повторялъ онъ.—Можетъ, еще и бѣса посрамлю...

IX.

Старецъ Матвѣй сдержалъ свое слово и черезъ нѣсколько дней вечеромъ „объявился“ въ докторской кухнѣ.

— Въ горницы я не пойду,—заявилъ онъ Агаѳьѣ.—А твоему доктору могу сказать словечко, если придетъ сюда. Такъ и скажи...

Агаѳья побѣжала сначала къ барынѣ, блѣдная и перепуганная. Прасковьѣ Ивановнѣ сдѣлалось ея жаль.

— Да вы не волнуйтесь, Агаѳья,—старалась она ее успокоить.—Ничего особеннаго не будетъ. Поговорятъ—и только.

Гражданинъ Рихтеръ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и что-то читалъ, когда Прасковья Ивановна сообщила ему о появленіи старца Матвѣя.

— А, отлично...

Взглянувъ на Прасковью Ивановну, онъ прибавилъ:

— Ты, кажется, волнуешься?

— Да... такъ... Прибѣгала Агаѳья—лица на ней нѣтъ.

— Пустяки... Мнѣ хочется выяснить себѣ нѣкоторые вопросы съ чисто-научной точки зрѣнія. Ты, можетъ-быть, думаешь, что этотъ старецъ будетъ бить меня, какъ Игната?

— Нѣтъ, я этого совсѣмъ не думаю, а только... Мнѣ нельзя итти въ кухню вмѣстѣ съ вами?

— Гм... Думаю, что лучше этого не дѣлать. Ты только будешь мѣшать намъ...

Прасковья Ивановна сочла долгомъ обидѣться, хотя и понимала, что гражданинъ Рихтеръ былъ правъ. Все нельзя... И это съ ранняго дѣтства: „ты—дѣвочка, и тебѣ это нельзя“. Дѣвушкѣ тоже все „нельзя“, а теперь она женщина, все можетъ понимать—и все-таки проклятое слово „нельзя“ остается, какъ у какихъ-то дикарей слово „табу“. Никто не виноватъ, а одно слово виситъ у всѣхъ на языкѣ, какъ замокъ.

Кстати, когда гражданинъ Рихтеръ былъ чѣмъ-нибудь недоволенъ, онъ называлъ Прасковью Ивановну Прасковьей Ивановной; когда онъ былъ въ хорошемъ настроеніи, то называлъ Пашей или Параней, а когда въ совсѣмъ веселомъ—попросту Приской. Прислугѣ и паціентамъ онъ неизмѣнно говорилъ „вы“, кромѣ отдѣльныхъ случаевъ, и не обижался, что они всѣ говорили ему „ты“.

Старецъ Матвѣй сидѣлъ въ кухнѣ, на лавочкѣ у самой двери. Это была его привычка, точно онъ вѣчно хотѣлъ куда-то бѣжать, а бѣгать ему приходилось всю жизнь. Когда докторъ подходилъ къ кухнѣ, ему загородила дорогу Агаѳья и умоляюще прошептала:

— Баринъ, папиросу бросьте...

— Ахъ, да...

Онъ бросилъ папиросу и вошелъ въ кухню. Старецъ Матвѣй поднялся и молча поклонился.

— Здравствуй, баринъ...

— Садитесь, пожалуйста.

Агаѳья осталась караулить у двери, чтобы кто-нибудь не вошелъ. Она вся замерла отъ страха и чувствовала, какъ бьется собственное сердце въ груди. Что только и будетъ—подумать страшно. Какъ на грѣхъ, еще наѣдетъ Ѳедоръ Иванычъ...

По привычкѣ докторъ прошелся нѣсколько разъ по кухнѣ, прежде чѣмъ

заговорить. Сибирскій старецъ ему понравился съ перваго раза, какъ великолѣпный антропологическій экземпляръ. Такихъ сохранившихся субъектовъ ему приходилось встрѣчать въ своей практикѣ не много. Настоящій крестьянскій богатырь.

— Да, такъ мнѣ хотѣлось переговорить съ вами относительно Агаѳьи,— началъ докторъ, точно продолжалъ только-что прерванный разговоръ.

— Нестоящее это дѣло, баринъ,—спокойно отвѣтилъ Матвѣй.

— Какъ нестоящее?

— Первое дѣло—баба, а второе дѣло—силомъ никого въ царство небесное за рога не тащатъ. Кому, значитъ, дадено.

— Однако вотъ вы уговариваете Агаѳью уходить въ скиты?

— Я?!.. И даже не подумалъ... А ежели она сама, напримѣрно, желаетъ спасти душу. Да... Сама пристаетъ ко мнѣ, а я что же

Кухня освѣщалась слабымъ огнемъ дешевой жестяной лампочки, и докторъ не могъ хорошенько разсмотрѣть выраженіе лица старца Матвѣя, когда онъ говорилъ. Доктору казалось, что этотъ загадочный старецъ смотритъ на него съ улыбкой, и онъ начиналъ чувствовать себя неловко. Матвѣй, съ своей стороны, тоже присматривался къ доктору и въ свою очередь остался доволенъ. И борода и усы—все какъ слѣдуетъ, хоть и нѣмецъ. Вотъ зачѣмъ онъ только шею себѣ удавилъ „галстусомъ".

— Вотъ ты со мной разговариваешь, баринъ,—заговорилъ Матвѣй.—А мнѣ, можетъ, и слушать-то тебя грѣшно...

— Почему?

— Да вотъ креста-то, поди, на тебѣ нѣтъ, а вмѣсто него галстусъ удавленія носишь...

— Это пустяки. Ты просто не смотри на мой галстухъ.

— По твоему-то оно, точно, что все пустяки...

— Грѣхъ совсѣмъ не въ томъ, какъ человѣкъ одѣвается или что онъ ѣстъ и пьетъ, а въ томъ, живетъ онъ по совѣсти или нѣтъ... Не правда ли? Вотъ ты читаешь писаніе, а въ писаніи сказано, что не сквернитъ человѣка входящее во уста, а исходящее изъ устъ.

— Сказано-то оно сказано, да только это самое надо понимать тоже по писанію. Въ седьми-толковомъ Апокалипсисѣ пряменько говорится... Прочитай-ка Изложеніе Филарета патріарха—и тамъ найдешь. Вотъ вы и ученые, а всѣ сидите въ челюстяхъ мысленнаго льва...

Старецъ Матвѣй съ ловкостью записного полемизатора отводилъ рѣчь отъ Агаѳьи и засыпалъ доктора совершенно непонятными для него цитатами изъ разныхъ раскольничьихъ цвѣтниковъ и еще болѣе непонятной терминологіей. Такъ могутъ говорить только религіозные маніаки, для которыхъ слова дороже ихъ содержанія. По всему было видно, что Матвѣй привыкъ поучать и говорилъ учительскимъ тономъ, и что больше всего на его „послушниковъ" и „послушницъ", какъ Агаѳья, дѣйствовалъ именно этотъ убѣжденный и страстно-повелительный тонъ. Вѣроятно, такъ же говорилъ Стенька Разинъ, Гришка Отрепьевъ, Емельянъ Иванычъ Пугачевъ, „изящный скиталецъ" протопопъ Аввакумъ и другіе вожаки и коноводы, потому что за шелухой ихъ ненужныхъ иногда словъ чувствовалась стихійная сила, та почвенная поёмная вода, которая неудержимо подмываетъ самые крутые берега и крушитъ все на своемъ властномъ пути. Конечно, сибирскій старецъ Матвѣй только ничтожность самъ по себѣ, особенно рядомъ съ крупными историческими именами, но онъ дѣйствовалъ отраженной силой, какъ отработанный паръ

„Если бы смѣрить у него температуру... — думалъ докторъ, слушая старца Матвѣя.—Или, по крайней мѣрѣ, сосчитать пульсъ...“

А старецъ Матвѣй уже вошелъ въ ражъ и принялся обличать барина въ „галетусѣ“.

— А что̀ тебѣ далась Агаѳья? Конечно, баба, а свою тѣлесную бабью немощь жаждетъ отложить и мужецкую крѣпость воспріять... Господамъ-то этого и не понять, потому какъ у нихъ одно сладкое житье на умѣ. Зачѣмъ вамъ далась Агаѳья?

— А развѣ нельзя спасти душу у себя дома, а нужно бѣжать куда-то въ горы, въ лѣсъ?..

— Никакъ даже невозможно... И опять вамъ этого невозможно понять, значитъ, подвига. Въ міру со всѣхъ сторонъ грѣхъ плыветъ, а въ пустынѣ кругомъ одно спасенье. Тамъ и мысли другія... Ты вотъ какъ посмѣялся надъ старцемъ Спиридономъ, да еще надо мною хотѣлъ пошутить...

— И не думалъ... Я просто не понимаю, зачѣмъ для спасенія души непремѣнно нужно куда-то бѣжать. Вы побѣжите, я побѣгу...

— Не побѣжишь, баринъ... Некуда тебѣ бѣжать, да и отъ самого себя не убѣжать.

— И спасенья нѣтъ?

— Нѣтъ.

Странное дѣло, гражданинъ Рихтеръ, разговаривая съ сибирскимъ старцемъ, началъ испытывать что-то такое особенное, для чего не было названія. Въ безсвязныхъ словахъ старца Матвѣя была своя гипнотизирующая логика, было то, что̀ называется настроеніемъ. Докторъ точно начиналъ что-то такое понимать, какъ мы съ радостнымъ страхомъ начинаемъ иногда понимать морской прибой, торжествующій ропотъ дремучаго лѣса, подавляющую красоту горъ... Вѣдь и здѣсь мысли и чувства шли могучимъ прибоемъ и застывали каменными громадами. Вчера мертвое и даже ничтожное слово принимало глубокое внутреннее значеніе, смыслъ и силу.

Это начинавшееся настроеніе было прервано появленіемъ испуганной Агаѳьи, которая побѣлѣвшими губами едва могла прошептать:

— Ѳедоръ Иванычъ пріѣхалъ...

X.

Наступило лѣто. Сибирскіе старцы куда-то исчезли и больше не показывались въ Ушкуйскомъ заводѣ. Въ докторской кухнѣ водворились миръ и тишина. Кучеръ Игнатъ, какъ ни въ чемъ не бывало, исполнялъ свои кучерскія обязанности, а Агаѳья управлялась въ своей кухнѣ. Прасковья Ивановна была рада, что все уладилось само собой.

— Старцы ушли въ горы,—сообщала горничная Паня.

— Совсѣмъ?

— Неизвѣстно... Марья Тимоѳеевна знаетъ, но ничего не говоритъ даже Агаѳьѣ.

— Ну, а что̀ же Агаѳья?

— А ничего.. Все молится по-своему и ѣстъ только изъ своей чашки. Игнатъ все молчитъ...

Агаѳья за лѣто сильно похудѣла, потому что постилась и волновалась. Синяки прошли, и она сдѣлалась еще красивѣе. Глаза, благодаря худо ѣ, казались больше и смотрѣли такимъ хорошимъ, вдумчивымъ взглядомъ. Докторъ

какъ-то встрѣтилъ ее въ столовой, когда Прасковья Ивановна заказывала обѣдъ, и невольно залюбовался ею.

— Какая красивая женщина,—подумалъ онъ вслухъ.

Прасковья Ивановна была ревнива и надулась. Помилуйте, любоваться кухаркой,—что̀ же это такое?

— Что̀ же, я не слѣпой,—какъ то по-дѣтски оправдывался докторъ.— Да, очень красивая женщина. И лицо совсѣмъ какое-то особенное.

Становой Ѳедоръ Иванычъ еще раньше обратилъ свое благосклонное вниманіе на Агаѳью, и доктору не нравилось, что при встрѣчѣ съ ней онъ отпускалъ довольно свободныя шуточки. Сейчасъ Ѳедоръ Иванычъ удвоилъ свое вниманіе и нѣсколько разъ повторялъ:

— Очень пріятный бабецъ эта ваша Агаѳья... Ужъ, кажется, я знаю женщинъ, каждую бабу въ своемъ стану по имени могу назвать. И вообще, докторъ, говоря между нами—Прасковья Ивановна не слышитъ?—да, говоря между нами, я предпочитаю простую русскую бабу всемъ этимъ барынямъ. А вашихъ ученыхъ женщинъ—ужъ извините меня за откровенность—просто ненавижу.

— Да гдѣ вы видали ученыхъ женщинъ, Ѳедоръ Иванычъ?

— А вообще... Для меня ученая женщина напоминаетъ собаку, выкрашенную въ зеленую краску.

— Да вѣдь вы и собакъ такихъ нигдѣ не видали?

— Не видалъ, а ненавижу... То ли дѣло какая-нибудь Агаѳья. У нея все какъ-то кругло выходитъ, и говоритъ она какими-то круглыми словами... Э, батенька, повѣрьте мнѣ, что я отлично знаю женщинъ. Была тутъ одна дьяконица... Ну, да это все равно... Вообще, отлично понимаю этотъ самый женскій вопросъ.

Пренебрежительный тонъ, которымъ Ѳедоръ Иванычъ говорилъ о женщинахъ, не нравился доктору, и онъ въ то же время ловилъ самого себя въ этомъ отношеніи, потому что относился къ женщинамъ немного свысока, съ прибавкой спеціально-докторской точки зрѣнія на этотъ деликатный предметъ. А такая точка зрѣнія, къ сожалѣнію, существовала, хотя докторъ и считалъ себя поборникомъ женскаго образованія и вѣрилъ въ женскую эмансипацію. Но все это было въ области теоретическихъ мечтаній, а настоящая реальная женщина (Прасковья Ивановна) какъ-то совсѣмъ не укладывалась въ эту рамку. Почему, напримѣръ, онъ сожительствуетъ съ той же Прасковьей Ивановной? А такъ, по неизвѣстнымъ причинамъ, какъ складывается большинство такихъ сожительствъ. Свѣжая молодая дѣвушка, которая отлично варила свой малороссійскій борщъ, пѣла малороссійскія пѣсни и танцовала съ Ѳедоромъ Иванычемъ гопака—вотъ и все. Прибавьте къ этому сближающую обстановку совмѣстной медицинской работы, полныя бѣлыя руки Прасковьи Ивановны, заразительный веселый смѣхъ—и женскій вопросъ для даннаго случая былъ рѣшенъ. Въ голову доктора какъ-то даже не заходилъ вопросъ, любитъ онъ или не любитъ Прасковью Ивановну. Затѣмъ явилась привычка, и день шелъ за днемъ.

Кучеръ Игнатъ относился къ бабамъ презрительно, какъ всѣ кучера. Но въ одно прекрасное утро пришелъ къ доктору и, глядя въ уголъ, заявилъ:

— А я къ тебѣ, баринъ...

— Что̀ случилось, Игнатъ?

— А ты бы поговорилъ съ Агаѳьей... Совсѣмъ отбилась отъ рукъ бабенка.

— А зачѣмъ ты ее бьешь?

— А кто же ее будетъ учить? Поговорите вы съ ней, баринъ, можетъ, она васъ больше послушаетъ...

Агаѳья въ докторскомъ кабинетѣ. Она остановилась у дверей и смотритъ на барина спокойными, добрыми глазами. Докторъ только сейчасъ замѣтилъ, что у Агаѳьи чудные темно-сѣрые глаза съ поволокой и мягкіе, какъ шелкъ, темно-русые волосы.

— Вотъ что̀, Агаѳья...—начинаетъ докторъ, подбирая слова.—Приходилъ Игнатъ и просилъ переговорить съ тобой. У васъ что-то такое тамъ вышло... Однимъ словомъ, онъ жаловался на тебя.

— Не жена я ему больше, баринъ,—съ покорной ласковостью отвѣчаетъ Агаѳья, оправляя сарафанъ.—Напрасно только тебя безпокоилъ, значитъ, Игнатъ.

— Какъ не жена? Вѣдь вы вѣнчаны?

— Жена бываетъ отъ Бога, а не отъ людей...

— Ты его все-таки любила?

Агаѳья не понимаетъ вопроса. Докторъ поправляется:

— Ну, по-вашему, жалѣла?

— И сейчасъ жалѣю...

— Такъ въ чемъ же дѣло?

— А уйду я отъ него, отъ Игната... Своя-то душа дороже Игната. Ни къ чему мы жили... такъ... Одинъ грѣхъ. Всякая баба грѣшная, баринъ... И хуже нѣтъ нашего бабьяго грѣха. Мужикъ-то какими глазами на бабу глядитъ? И что̀ ему отъ нашего брата бабы нужно? Вотъ это и есть самый настоящій бабій грѣхъ... Развѣ такой-то мужъ думаетъ о бабьей душѣ? Для него что̀ лошадь, что̀ баба—одна одну работу работаетъ, другая другую. И не одинъ мой Игнать, а всѣ мужики на одну руку. Вотъ я и уйду...

— Въ скиты?

— Не знаю, ничего не знаю...

— А кто же знаетъ?

Агаѳья въ отвѣтъ только опустила глаза. Докторъ замѣтилъ, что у нея чудный, свѣжій ротъ и удивительно красивые зубы. И смущеніе такъ къ ней шло. Доктору вдругъ захотѣлось сказать ей что-нибудь такое хорошее и доброе, чтобы поддержать эту проснувшуюся душу, утѣшить ее, просто—приласкать, приласкать по-хорошему, какъ ласкаютъ ребенка.

— И вамъ не страшно, Агаѳья?—неожиданно для самого себя спросилъ онъ.

Она посмотрѣла на него такъ просто, довѣрчиво и отвѣтила тономъ человѣка, который много страдалъ и привыкъ къ своему положенію:

— Какъ же не страшно, баринъ? И еще какъ страшно-то... Какъ раздумаешься про себя—головушка съ плечъ. Отецъ съ матерью съѣли покорами... Мать-то какъ убивается. Тоже не чужая. А что̀ же я могу?

— Въ лѣсу скучно будетъ жить.

— Богу молиться не скучно... Грѣхи буду отмаливать.

— Да... Такъ что̀ же сказать Игнату?

— А то и скажи, что... что...

Агаѳья закрыла лицо руками и тихо заплакала. Докторъ смотрѣлъ на нее и не зналъ, что̀ ей сказать въ утѣшеніе. Вѣдь, въ сущности, она была права... Да и что̀ онъ, гражданинъ Рихтеръ, могъ ей сказать: живи съ нелюбимымъ мужемъ и спасай свою душу у меня въ кухнѣ. А ее манило

пустынножительство въ горной глуши, жажда подвига, страстное желаніе стряхнуть съ себя всякую женскую скверну. Сколько въ послѣднемъ для этой простой и чистой души было поэзіи, смысла и неотвратимой ничѣмъ тяги... И какъ сейчасъ онъ, гражданинъ Рихтеръ, вотъ сейчасъ понималъ ее, всю понималъ, съ ея нелѣпыми словами, полумыслями и родовыми муками внутренняго духовнаго человѣка.

Кучеръ Игнатъ получилъ отъ барина неожиданно для него суровый отвѣтъ:

— Вы, Игнатъ, просто негодяй и пальца не стоите Агаѳьи. Бить такую женщину—это... это... Однимъ словомъ, вы—негодяй.

Кучеръ Игнатъ долго чесалъ въ затылкѣ, переминался съ ноги на ногу, какъ спутанная лошадь, и кончилъ тѣмъ, что погрозилъ въ пространство, неизвѣстно кому, кулакомъ.

XI.

Съ гражданиномъ Рихтеромъ дѣлалось что-то странное, непонятное, радостное и пугавшее его. Въ его жизнь ворвалась новая струя, которая провела рѣзкую грань между его прошлымъ и настоящимъ. Онъ не узнавалъ самого себя. Ему иногда дѣлалось совѣстно, хотя при самомъ тщательномъ анализѣ онъ ничего нехорошаго и не находилъ. Выходило какъ-то такъ, что какъ будто онъ до сихъ поръ даже не жилъ, потому что не испытывалъ никогда того радостнаго волненія, которое сейчасъ захватило его.

„Неужели это... это... — думалъ онъ, не рѣшаясь назвать настоящимъ именемъ свое душевное настроеніе.—Не можетъ быть... Пустяки и вздоръ!..“

Онъ точно оправдывался передъ самимъ собой, какъ дѣлаютъ безнадежно больные. Потомъ онъ открылъ массу новыхъ вещей, которыхъ раньше не замѣчалъ, а главное—открылъ другого себя, того себя, который до сихъ поръ былъ точно похороненъ. Боже мой, какъ хороша жизнь, какъ хорошо свѣтитъ солнце, какъ ласково зеленѣетъ трава, какъ мило шепчетъ съ ней вѣтеръ... Ему хотѣлось думать стихами, чтобы придать гармоническій ритмъ своимъ чувствамъ. Прасковья Ивановна часто наблюдала его испытующими и взвѣшивающими глазами, и на ея лбу всплывала жирная морщинка. Она инстинктомъ догадывалась, что съ гражданиномъ Рихтеромъ творится что-то неладное и что онъ скрываетъ отъ нея свое настроеніе. По свойственной южанкамъ пылкости она рѣшилась дѣйствовать стремительно, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ.

Становой Ѳедоръ Иванычъ было немного удивленъ, когда Паня передала ему записку Прасковьи Ивановны. Она приглашала его въ необычное время, т.-е. утромъ, когда гражданинъ Рихтеръ занимался въ своей больницѣ.

— Гм.. Скажи барынѣ: хорошо,—отвѣтилъ Ѳедоръ Иванычъ, перечитывая записку.

Когда Паня ушла, Ѳедоръ Иванычъ подошелъ къ зеркалу, подмигнулъ самому себѣ и лукаво улыбнулся. Онъ немножко ухаживалъ за Прасковьей Ивановной и... мало ли что могло быть съ спеціалистомъ по женскому вопросу? Конечно, гражданинъ Рихтеръ хорошій человѣкъ, но вѣдь и онъ не дурной.

Въ докторской квартирѣ Ѳедора Иваныча ожидало самое горькое разочарованіе. Прасковья Ивановна встрѣтила его почти сухо.

— Мнѣ необходимо переговорить съ вами по очень важному дѣлу, Ѳедоръ Иванычъ...

— Къ вашимъ услугамъ, Прасковья Ивановна...

— Благодарю. Я всегда знала, что вы хорошо относитесь ко мнѣ... И теперь... да... Прежде всего: все должно остаться въ самой строгой тайнѣ... между нами...

Ѳедоръ Иванычъ поднялъ плечи, надулся и принялъ такой видъ, точно превратился въ несгораемый шкапъ, въ которомъ можно безопасно спрятать всѣ драгоцѣнности.

— Садитесь, Ѳедоръ Иванычъ...

Разговоръ происходилъ въ гостиной, что̀ тоже не представляло особенной интимности.

— Видите ли, Ѳедоръ Иванычъ...—рѣшительно заговорила Прасковья Ивановна, глядя на гостя своими темными, какъ черная смородина, глазами прямо въ упоръ.—Вѣдь вы знаете нашу кухарку Агаѳью? Да?

Ѳедоръ Иванычъ прищурилъ глаза, дѣлая видъ, будто старается припомнить.

— Брюнетка?

— Нѣтъ, шатенка... Но это все равно для васъ. Да, такъ если бы вы, Ѳедоръ Иванычъ, выслали ее куда-нибудь подальше...

— Позвольте, т.-е. какъ это выслалъ?

— А какъ высылаютъ? Вамъ это ближе знать...

— Позвольте, сударыня, вы можете выслать ее гораздо проще, т.-е. отказать отъ мѣста, какъ поступаютъ съ прислугой.

— Ахъ, это совсѣмъ не то, Ѳедоръ Иванычъ... Во-первыхъ, она ничего не сдѣлала такого, за что бы я могла ей отказать, а во-вторыхъ... мнѣ даже какъ-то неудобно это говорить... Однимъ словомъ, могутъ подумать, что я это сдѣлала изъ ревности. Понимаете?

„Любезный антихристовъ сосудъ“ былъ совершенно озадаченъ. Вотъ положеніе... Ужъ не рехнулась ли Прасковья Ивановна, потому что городитъ совершенно несообразное, точно съ печи свалилась.

— Знаете, Прасковья Ивановна, высылаютъ людей только по приговору суда или по какимъ-нибудь чрезвычайнымъ случаямъ.

— По чрезвычайнымъ?.. Вы, пожалуйста, не подумайте, что я прошу васъ удалить Агаѳью изъ ревности... Конечно, вы понимаете, что верхъ нелѣпости ревновать къ какой-то несчастной кухаркѣ... да... Затѣмъ, вѣдь я не говорю вамъ рѣшительно ничего такого, что̀ могла бы сказать вотъ про эту Агаѳью?

— Рѣшительно ничего.

— Вѣдь я не говорю вамъ, что къ ней по ночамъ приходятъ два бѣглыхъ разбойника, которыхъ она называетъ старцами?

— Нѣтъ, не говорите, Прасковья Ивановна...

— Вѣдь я могла бы вамъ сказать, что эти бродяги собираются у Марьи Тимоѳеевны и наша Агаѳья бѣгаетъ туда? И я не говорю...

— Ничего не говорите...

— Наконецъ я могла бы вамъ сказать, что она не желаетъ жить съ мужемъ и собирается бѣжать съ сибирскими старцами куда-то въ горы?

— Да, очень могли бы...

— Я не люблю мѣшаться въ чужія дѣла, Ѳедоръ Иванычъ, и если бы дѣло коснулось ревности, то завтра бы моей ноги не было въ этомъ домѣ, какъ ни было бы это тяжело для меня, какъ для женщины. Вы понимаете меня?

— О, совершенно, Прасковья Ивановна..

Подслушивавшая у дверей Паня сломя голову бросилась въ кухню и, задыхаясь отъ волненія, сообщила Агаѳьѣ, что Ѳедоръ Иванычъ хочетъ ее посадить въ тюрьму, и что барыня упрашиваетъ его не дѣлать этого. Агаѳья выслушала это извѣстіе совершенно спокойно, не проронивъ ни одного слова.

— Ѳедоръ Иванычъ сказалъ, что ты подманиваешь разбойниковъ, чтобы убили господъ,—продолжала Паня,—и что Марью Тимоѳеевну онъ посадитъ въ острогъ вмѣстѣ съ тобой...

Ѳедоръ Иванычъ уѣхалъ, давъ честное слово, что все останется въ тайнѣ, и что онъ, съ своей стороны, приметъ мѣры. Вечеромъ „весь“ Ушкуйскій заводъ, конечно, уже зналъ, что Прасковья Ивановна хотѣла сначала отравить Агаѳью, а потомъ отравиться сама, и что, только по свойственной Ѳедору Иванычу проницательности, онъ предупредилъ катастрофу.

— О, я знаю, что̀ такое женщина, хотя никакой медицинѣ и не учился,— повторялъ Ѳедоръ Иванычъ, лукаво подмигивая.

Гражданинъ Рихтеръ узналъ эту исторію послѣднимъ, когда вечеромъ игралъ въ карты у мирового судьи. Онъ остался безъ пяти, объявивъ маленькій шлемъ, и уѣхалъ скоро домой. Прасковья Ивановна совсѣмъ не ожидала, что онъ такъ рано вернется домой, и хотѣла что-то такое сказать относительно ужина.

— Не нужно,—довольно рѣзко отвѣтилъ ей докторъ.—Долженъ сказать вамъ, сударыня, что я знаю все и считаю ваше поведеніе недостойнымъ порядочной женщины... да!..

Поблѣднѣвшая Прасковья Ивановна хотѣла что-то возражать, но докторъ хлопнулъ дверью и ушелъ къ себѣ въ кабинетъ.

Поздно вечеромъ, когда Прасковья Ивановна уже улеглась спать, въ окно докторскаго кабинета кто-то осторожно постучалъ. Это была Агаѳья.

— Пришла проститься, баринъ... Пожалѣлъ—купилъ ты меня... Вотъ принесла тебѣ на память рушничокъ (полотенце), сама пряла, сама ткала, сама вышивала узоры. Не поминай лихомъ...

— Куда ты, Агаѳья? Ты съ ума сошла...

— А куда иголка, баринъ, туда и нитка... Прощай, милый баринъ...

Докторъ хотѣлъ выскочить во дворъ, чтобы удержать Агаѳью, и въ дверяхъ кабинета чуть не сшибъ съ ногъ подслушивавшую Прасковью Ивановну. Она не сказала ни слова, а только смотрѣла на доктора широк раскрытыми глазами. Онъ понялъ стоявшій въ этихъ глазахъ нѣмой вопросъ и, задыхаясь, отвѣтилъ:

— Да, да, вы угадали... Я люблю ее!..

XII.

Агаѳья исчезла, какъ тѣнь. Куда она ушла—никто не зналъ, хотя всѣ и догадывались, что ей некуда было итти, кромѣ скитовъ.

— Куда ей дѣться окромя,—сурово отвѣчалъ Игнатъ, примирившійся съ фактомъ.—Старцы уволокли, какъ волки овцу...

Гражданинъ Рихтеръ былъ мраченъ. Онъ ничего не говорилъ о своемъ настроеніи и отнесся съ презрительнымъ равнодушіемъ къ гнусному поведенію Прасковьи Ивановны. Послѣдняя давно раскаялась въ своемъ проступкѣ и не знала, чѣмъ и какъ возстановить свою репутацію въ глазахъ гражданина Рихтера. Она, по женской логикѣ, во всемъ обвиняла Ѳедора Иваныча, который все разболталъ, какъ базарная баба, а потомъ въ ея глазахъ оставался виновнымъ и гражданинъ Рихтеръ, который своимъ поведеніемъ довелъ

ее до гнуснаго предательства. Если бы онъ вступилъ съ Агаѳьей въ преступную связь—это еще можно было бы понять и такіе факты случаются, но полюбить свою собственную кухарку, женщину, у которой такія громадныя красныя руки, широкая мужицкая спина и, главное, ноги... Она не могла никакъ понять, что для гражданина Рихтера совсѣмъ не существовало ни Агаѳьиныхъ рукъ и ногъ ни Агаѳьиной спины. Агаѳья для него оставалась той чудной русской женщиной, которая незримо и безыменно творила всю русскую исторію.

Прошло лѣто. Наступила осень. Въ концѣ октября выпалъ первый снѣгъ. Однажды утромъ пришелъ къ доктору кучеръ Игнатъ и заявилъ, что онъ уходитъ и чтобы искали другого кучера.

— Куда же вы уходите?—полюбопытствовалъ докторъ.

— Я-то? Не знаю... такъ... тошно мнѣ... Пойду искать Агаѳью.

— Гдѣ же вы ее найдете? Въ горахъ много мѣста...

— Ужъ я-то найду... Лѣтомъ старцамъ вездѣ дорога, а зимой прошелъ или проѣхалъ—слѣдъ и остался, а ихъ я по слѣду и найду.

Игнатъ ушелъ, и гражданину Рихтеру было совѣстно, что онъ бранилъ его негодяемъ.

Вмѣсто Агаѳьи была нанята другая кухарка, вмѣсто Игната—новый кучеръ. Происходившая въ докторской кухнѣ драма начала понемногу зарастать травой забвенія. Только пріѣзжавшій изрѣдка Ѳедоръ Иванычъ, когда оставался съ докторомъ съ глазу на глазъ, говорилъ:

— Агаѳья не вернулась?

— Нѣтъ...

— Ну, я приму свои мѣры... Впрочемъ, она могла уйти въ другой станъ—тогда я безсиленъ.

Помолчавъ немного, Ѳедоръ Иванычъ прибавлялъ:

— А славная была бабенка...

— Не будемте говорить объ этомъ, Ѳедоръ Иванычъ.

— Дѣйствительно, наплевать. Навѣрно, она ушла изъ моего стана...

Наступила зима, суровая, снѣжная. Гражданинъ Рихтеръ чувствовалъ себя какъ-то особенно скверно. Его охватывала неопредѣленная глухая тоска. День за днемъ тянулся съ унылой медленностью, а люди точно не жили, а только отбывали повинность собственнаго бытія. Въ докторскомъ домикѣ водворилась какая-то хроническая скука. Прасковья Ивановна тоже чувствовала себя хмуро. Она, несмотря на всѣ свои старанія, никакъ не могла возстановить своей репутаціи въ глазахъ гражданина Рихтера, и это угнетало ее съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе. Она отводила душу только съ своей горничной Паней, которую вывезла изъ Малороссіи.

— У насъ теперь на Украйнѣ какъ хорошо...—повторяла Паня съ тяжелымъ вздохомъ.—Поѣдемте, барыня, домой?..

— Некуда мнѣ ѣхать, Паня.

Прошло Рождество, масленица, и наступилъ Великій постъ. Суровая уральская зима долго не сдавалась на ласки начинавшейся календарной весны. Провертывались и теплые деньки, а потомъ опять падалъ снѣгъ, выла мятель и замерзала оттаявшая вода. Эта пестрая погода, когда зима точно боролась съ весной, характерно называется отзимьемъ. Особенно скучны были вечера, темные, непріютные, раздражающіе своей безнадежной тоской. На Уралѣ весна очень коротка, и зима почти безъ всякихъ предисловій переходитъ прямо въ лѣто, тоже короткое, но полное своеобразной прелести.

Среди скверныхъ и тяжелыхъ дней бываютъ еще болѣе скверные и тяжелые. Именно въ одинъ изъ такихъ мрачныхъ дней въ докторскій домикъ завернула Марья Тимоѳеевна. Дѣло было вечеромъ, и она, по обыкновенію, прошла сначала въ кухню. Паня, цѣлый день вертѣвшаяся въ кухнѣ, сообщила объ этомъ событіи господамъ, которые пили чай въ столовой.

— У ней есть какое-то дѣло до васъ,—объясняла она, задыхаясь отъ совершенно безпричиннаго волненія.

— Зови ее сюда,—коротко приказала Прасковья Ивановна, чтобы насолить гражданину Рихтеру, который усвоилъ гнусную привычку за вечернимъ чаемъ читать вѣчную газету и изводить ее угнетающимъ молчаніемъ.

Марья Тимоѳеевна вошла въ столовую крадущимся шагомъ, точно боялась кого-то разбудить. Прасковья Ивановна пригласила ее сѣсть, что дѣлалось тоже на зло гражданину Рихтеру, прятавшемуся за газетой.

— Ну, каково вы поживаете, Марья Тимоѳеевна?—съ усиленной ласковостью заговорила Прасковья Ивановна, обрадовавшаяся живому человѣку.

— Какая ужъ наша жисть...—нѣвуче отвѣтила Марья Тимоѳеевна, оглядываясь кругомъ, точно ждала какой-то засады.—Такъ, день да ночь—сутки прочь...

— Чаю хотите? Ахъ, да, вѣдь вы не пьете чай... Я вамъ сдѣлаю просто сахарной воды съ вареньемъ... Вѣдь вы любите варенье, Марья Тимоѳеевна?

— Охъ, не до угощенья мнѣ, Прасковья Ивановна... Головушка съ плечъ! Вотъ какое дѣло,..

— Что такое случилось, Марья Тимоѳеевна?!.

— Да ужъ не знаю, какъ тебѣ и разсказать...

Марья Тимоѳеевна еще разъ оглянулась кругомъ и заговорила уже шопотомъ:

— Сижу я это третьева-дни вечеромъ, а въ окошко кто-то и постучи... Страсть я перепугалась, потому какъ живу одна съ дочерью, и всякій можетъ обидѣть. Выглянула въ окошечко, вижу, стоитъ старецъ Спиридонъ... У меня такъ сердце и упало. Чувствую, что онъ не съ добромъ... Ну, пустила его въ избу, а сама глазъ съ него не спускаю. Ну, снялъ онъ съ себя шубу и говоритъ: „Приказала тебѣ, Марья Тимоѳеевна, Агаѳья долго жить...“. У меня ноженьки подкосились, гляжу на него, а сама ничего не понимаю. Затемнилась вся... „Какая Агаѳья?“—спрашиваю.—„А, гритъ, которая у дохтура въ стряпкахъ жила. Она самая“... Заплакала я, глупая, Палагея тоже реветъ... И что бы, думала, вышло? Эти самые сибирскіе старцы совсѣмъ даже безсовѣстные, т.-е. Матвѣй. Это онъ тогда увелъ отъ васъ Агаѳью въ лѣсъ. Сначала для прилику упомѣстилъ ее у двухъ старушекъ-скитницъ. Она тамъ и жила до снѣгу. А потомъ объявился Игнатъ и началъ жену звать домой или чтобы она жила съ нимъ. Онъ тоже хотѣлъ спасать душу. Матвѣй-то тутъ и оказалъ себя настоящимъ волкомъ. Прогналъ Игната, а Агаѳью увелъ къ себѣ въ избушку. А она идетъ за нимъ, какъ коза... Грѣшно и разсказывать-то. Все Агаѳья дѣлала, что ей Матвѣй ни скажетъ... Ахъ, грѣхъ, грѣхъ!.. У Спиридона-то все на глазахъ было, потому какъ онъ вмѣстѣ съ Матвѣемъ въ одной избушкѣ спасался. А Игнатъ-то въ томъ родѣ, какъ послѣдняго ума рѣшился. Всю зиму, слышь, все по скаламъ бродилъ, а потомъ высмотрѣлъ себѣ пещеру и поселился въ ней съ другимъ скитникомъ. По веснѣ, такъ недѣлѣ на шестой поста... охъ, грѣхъ и разсказывать-то! Тяжелая была Агаѳья и не могла никакъ разродиться. Такъ и померла въ избушкѣ у

Матвѣя, онъ ее и похоронилъ въ лѣсу, а самъ ушелъ, куда глаза глядятъ. Вотъ какой грѣхъ-то, Прасковья Ивановна... Ну, Спиридону стало скучно жить одному, онъ и пошелъ разыскивать Игната. Нашелъ ихнюю пещеру, а Игнатъ еле живъ. Слышь, тринадцать дёнъ безъ ѣды прожилъ... Спиридонъ-то едва изъ пещеры выволокъ да къ матери на заводъ и привезъ. Охъ, грѣхъ, грѣхъ...

Гражданинъ Рихтеръ ушелъ къ себѣ въ кабинетъ и, не зажигая лампы, долго стоялъ у окна. На него глядѣла темная ночь. Падалъ мягкими хлопьями послѣдній снѣжокъ. Темно было и на душѣ гражданина Рихтера.

1900—1901.

БЕЗЗАВѢТНАЯ ЛЮБОВЬ.

Повѣсть.

I.

Павелъ Павлычъ нервно ходилъ по комнатѣ, заложивъ короткія и жирныя руки за спину. Время отъ времени онъ разсѣянно улыбался, бормоталъ что-то себѣ въ носъ и опять шагалъ съ легкимъ перевальцемъ, какъ всѣ разжирѣвшіе прежде времени мужчины. Эту полноту до извѣстной степени скрадывалъ высокій ростъ и остатки сохранившейся военной выправки. Вообще Павелъ Павлычъ былъ одинъ изъ тѣхъ крупныхъ русскихъ людей, какіе сохранились еще кое-гдѣ въ Москвѣ, какъ послѣдніе представители добраго, стараго помѣщичьяго времени. Выкармливались такіе богатыри въ свое время въ подмосковныхъ вотчинахъ, въ степныхъ помѣстьяхъ и по разнымъ другимъ привольнымъ крѣпостнымъ гнѣздамъ. Послѣ эмансипаціи богатыри куда-то исчезли, и только ничтожная ихъ часть какимъ-то чудомъ уцѣлѣла въ старой Москвѣ, гдѣ-нибудь на Поварской или въ прилегающихъ къ Пречистенскому бульвару кривыхъ уличкахъ и безыменныхъ переулкахъ.

— Посмотримъ, посмотримъ, какого гуся подманила наша Пустышка,— самодовольно повторялъ Павелъ Павлычъ, останавливаясь передъ окномъ.— За другихъ дочерей я не боялся: у Ольги талантъ къ музыкѣ, Серафима прекрасно поетъ, а у этой... гм... у Вавочки—рѣшительно ничего!..

Павелъ Павлычъ подвинулся къ самому окну и заглянулъ черезъ переплетъ рамы на дворъ, узкій и глубокій, какъ колодецъ. Скверный дворъ, а когда шелъ дождь, какъ сейчасъ, онъ превращался въ какую-то помойную яму. Не умѣютъ даже выстроить порядочнаго дома эти проклятые толстосумы и купчишки. Вообще, нѣтъ традицій, нѣтъ настоящихъ культурныхъ привычекъ, а тѣ люди, которые сумѣли бы выстроить настоящіе дома,—увы!— должны скитаться по скверным квартирамъ... Назойливый осенній дождь точно подтверждалъ эти невеселыя мысли и наводилъ ту тягучую, неотступную тоску, которая мертвымъ камнемъ привязывается къ извѣстному возрасту Да, кого-то приведетъ Пустышка въ самомъ дѣлѣ,—эта странная дѣвушка въ колыбель которой добрая фея не положила ни одного таланта и которая съ ранняго дѣтства не подавала рѣшительно никакихъ надеждъ.

— Позвольте, этотъ гусь заставляетъ себя ждать...—ворчалъ Павелъ Павлычъ, поглядывая на часы.—Половина второго...

Легкіе знакомые шаги заставили его оглянуться: въ дверяхъ гостиной стояла сама Вавочка—свѣжая, розовая, сіяющая какимъ-то непозволительнымъ здоровьемъ. „Она здорова до неприличія“,—говорила о ней старшая

-естра, Ольга Павловна. Высокая ростомъ, статная, съ красивой фигурой и красиво поставленной на плечахъ махровой головкой, она бросалась въ глаза еще издали, но вблизи ее портили какой-то остановившійся взглядъ карихъ глазъ и тупое выраженіе небольшаго рта. „Нужно смотрѣть умнѣе, Вавочка, — повторяла ей мать съ ранняго дѣтства,—у тебя въ лицѣ что-то такое глупо-удивленное и вмѣстѣ равнодушное...“—„Maman, я не умѣю придать лицу другого выраженія“,—спокойно отвѣчала Пустышка. И теперь она, остановившись въ дверяхъ, посмотрѣла на отца съ такимъ равнодушіемъ, что того наконецъ взорвало.

— Вавочка, этотъ монсиньоръ заставляетъ себя ждать слишкомъ долго...— замѣтилъ Павелъ Павлычъ, щуря глаза и покачиваясь на каблукахъ.—Да... Согласись, что можно быть любезнѣе, по крайней мѣрѣ такъ принято въ порядочномъ обществѣ.

— Придетъ, если ему нужно,—равнодушно отвѣтила Вавочка и даже зѣвнула.

— А какъ его фамилія?

— Камкинъ, Георгій Евгеньичъ...

— Изъ какихъ же онъ Камкиныхъ?.. Должно-быть, это изъ рязанскихъ— тамъ эта фамилія еще сохранилась. Да, настоящая дворянская фамилія и имя хорошее—Георгій... Что же, у него свое имѣнье?

Вавочка отрицательно покрутила головой.

— Нѣтъ имѣнья?—удивился Павелъ Павлычъ, поднимая брови.

— Да не знаю же я, папа... Какое мнѣ дѣло до того—есть у Георгія Евгеньича имѣнье, или нѣтъ!..

— Какъ какое дѣло?.. Ты ужъ не маленькая, и объяснять тебѣ такія простыя вещи довольно трудно... наконецъ, ты въ такомъ возвратѣ, что нельзя поручиться... гм... да...

— Спросите маму или Ольгу: онѣ все знаютъ...

— Почему же ты ничего не знаешь, когда это, можетъ-быть, касается больше всего именно тебя? У Ольги—музыкальный талантъ, у Серафимы— прекрасный голосъ, а тебѣ серьезно слѣдуетъ подумать о своей судьбѣ. Если молодой человѣкъ знакомится съ новымъ семействомъ, гдѣ есть молодая дѣвушка, то всегда можно предполагать, что у него есть свои основанія для такого серьезнаго шага. Да, серьезныя намѣренія...

— Ахъ, папа, это, наконецъ, скучно: вѣдь это не первый молодой человѣкъ въ нашемъ домѣ, и пока ничего еще особеннаго не случилось...

— Твои сестры были счастливѣе, хотя и твое время еще не ушло... Говорю тебѣ, какъ отецъ, который долженъ предусмотрѣть многое, о чемъ дѣвушки узнаютъ послѣ.

Мысль, что не-сегодня-завтра Вавочка можетъ выйти замужъ, растрогала Павла Павлыча. Онъ подошелъ къ ней, обнялъ и горячо поцѣловалъ прямо въ губы. Въ этотъ моментъ въ дверяхъ столовой показалась худая и сморщенная старуха. Она посмотрѣла на нѣжную родительскую сцену и только покачала головой. Павелъ Павлычъ видимо смутился, выпустилъ дочь изъ своихъ объятій и торопливо заговорилъ:

— Половина втораго... да... я жду, Ниночка...

Старуха сдѣлала знакъ глазами дочери, чтобы та уходила, и, когда они остались вдвоемъ, она строго заговорила:

— Павелъ Павлычъ, кажется, я васъ предупреждала, что считаю такое обращеніе съ взрослыми дочерьми неприличнымъ... Что за объятія и что за поцѣлуй!.

— Ниночка, Богъ съ тобой, что̀ ты говоришь?..

— Я знаю, что̀ говорю, и знаю, кому говорю... Вавочка—совершенный ребенокъ, и не слѣдуетъ ее развращать. Да, я знаю, что̀ говорю...

Покрытое морщинами лицо Нины Александровны даже покрылось пятнами отъ волненія. Въ своемъ домашнемъ, полнившемъ, люстриновомъ платьѣ она не походила на grande dame, а на средней руки экономку или какую-нибудь содержательницу плохонькихъ меблированныхъ комнатъ. Передникъ изъ суроваго полотна и засученные рукава платья говорили о горячей кухонной порѣ: Нина Александровна не довѣряла испорченной московской прислугѣ и готовила сама. Хорошій столъ былъ наслѣдственной слабостью Нины Александровны, какъ урожденной Михалевой, а Михалевы буквально проѣли милліонное состояніе. Павелъ Павлычъ тоже раздѣлялъ эту фамильную слабость, хотя и носилъ другое имя. Любарскіе тоже любили плотно покушать. Даже самые близкіе знакомые не знали, что Нина Александровна частенько работаетъ дома за кухарку. Ложная гордость заставляла Любарскихъ тщательно скрывать это обстоятельство.

— Я всѣмъ пожертвовала для семьи,—продолжала Нина Александровна уже съ развивавшейся горячностью.—Да, я сдѣлалась сама кухаркой, чтобы дочери были всегда прилично одѣты и чтобы, вообще, были не хуже другихъ... Понимаете ли вы эту жертву, которую я приношу каждый день!.

Павелъ Павлычъ терпѣть не могъ вообще домашнихъ сценъ, а тутъ буря налетѣла совершенно неожиданно: онъ былъ въ такомъ хорошемъ настроеніи, даже расчувствовался по случаю судьбы Вавочки, и вдругъ явилась эта фурія.. Какъ воинъ, Павелъ Павлычъ въ такихъ случаяхъ всегда слѣдовалъ мудрому правилу Наполеона I: искусство побѣждать заключается въ умѣньи отступить во̀-время, т.-е. Павелъ Павлычъ отыскивалъ свою шляпу, надѣвалъ пальто и уходилъ изъ дому. Это благородное бѣгство являлось лучшимъ лѣкарствомъ: Нина Александровна успокоивалась, а Павелъ Павлычъ возвращался домой съ прекраснымъ аппетитомъ. Но сейчасъ онъ даже бѣжать не могъ, потому что онъ—тотъ неизвѣстный, который могъ имѣть серьезныя намѣренія относительно Вавочки—долженъ былъ явиться съ минуты на минуту...

— Ниночка, тебѣ вредно волноваться,—бормоталъ Павелъ Павлычъ, застегивая и разстегивая щегольскую домашнюю визитку.

— Что-о? Мнѣ вредно... и ты это говоришь?!..

Раздавшійся въ передней звонокъ спасъ Павла Павлыча на этотъ разъ, а явившійся гость былъ для него тѣмъ голубемъ, который приноситъ „вѣтку мира“.

II.

Нина Александровна, конечно, скрылась, а изъ гостиной вышла Вавочка и съ милой развязностью представила своему папа „молодого человѣка“.

— Очень пріятно, очень пріятно, Георгій Евгеньевичъ,—повторялъ старикъ Любарскій, крѣпко пожимая руку молодаго человѣка.—Я уже слышалъ о васъ отъ Ольги Павловны.

Небольшаго роста, одѣтый безукоризненно, Камкинъ на первый разъ не производилъ особенно сильнаго впечатлѣнія, какъ самый обыкновенный человѣкъ съ тѣми примѣтами, какія описываются на паспортахъ. Правда, въ быстромъ взглядѣ неопредѣленнаго цвѣта глазъ было что-то такое, чего не было у Павла Павлыча и его сверстниковъ, но въ наше время всѣ молодые

люди именно такъ смотрятъ... Общее резюме перваго впечатлѣнія Любарскій могъ выразить однимъ словомъ: нашъ, т.-е. нашего стараго, дворянскаго круга человѣкъ, а не просто какое-нибудь сомнительное comme il faut, какъ большинство нынѣшнихъ молодыхъ людей. Вѣдь это сейчасъ замѣтно, а Павелъ Павлычъ видѣлъ-таки на своемъ вѣку всякихъ людей: ни мѣщанской торопливости въ движеніяхъ, ни дѣланой выдержки, а въ каждой мелочи—настоящее дворянское сознаніе собственнаго достоинства. Притомъ сейчасъ видно коренного москвича съ широкой складкой въ характерѣ.

И Вавочка тоже держала себя съ гостемъ прелестно, такъ что Любарскій даже полюбовался на молодыхъ людей и невольно подумалъ: настоящая парочка... Впрочемъ, эту вольную мысль онъ сейчасъ же заглушилъ въ себѣ и тревожно посмотрѣлъ на дверь въ столовую.

— Вы постоянный житель Москвы, если не ошибаюсь?—спрашивалъ Любарскій, когда Вавочка устала занимать гостя.

— Да... хотя и не совсѣмъ,—уклончиво отвѣтилъ гость.—Мои занятія заставляютъ меня частенько оставлять Москву.

— Конечно, служба... да...

— Нѣтъ, я не служу, какъ это принято понимать, а только есть свои занятія...

— Понимаю, понимаю... Это прежде было, что только и свѣту въ окнѣ, что служба... Духъ времени, Георгій Евгеньевичъ, которому невольно приходится подчиняться. Банки, акціонерныя компаніи, вообще предпріятія—да, я понимаю.

Этотъ дѣловой разговоръ былъ прерванъ появленіемъ Нины Александровны, которая вошла въ гостиную съ особенной торжественностью. Она едва успѣла переодѣться, и Камкинъ, цѣлуя у ней руку, имѣлъ удовольствіе насладиться запахомъ дешеваго мыла. Получилась небольшая пауза, прежде чѣмъ завязался новый разговоръ. Гость въ это время успѣлъ осмотрѣть скромную обстановку гостиной и чуть замѣтно поднялъ лѣвую бровь,—Вавочка поймала это движеніе, и на лицѣ у ней заиграли розовыя пятна. Никогда она не чувствовала всей тяжести окружавшаго ее приличнаго убожества: и мебель починена десять разъ, и ковры слѣдовало давно перемѣнить, и лампа стараго фасона, и эти противныя вязаныя салфеточки на креслахъ—вѣдь это хуже даже бѣдности. Камкинъ понялъ ея настроеніе и сумѣлъ его разсѣять оживленнымъ разсказомъ о послѣднихъ скачкахъ: онъ любилъ лошадей, какъ и Вавочка.

— А я, признаться сказать, недолюбливаю эти скачки,—заявилъ съ своей стороны Любарскій, принимая одну изъ своихъ лучшихъ позъ.—Да... Лошадей люблю до страсти, но скачки—это что-то барышническое и совсѣмъ намъ чужое. Если существуетъ нашъ коренной русскій спортъ, такъ это рысистые бѣга...

— Да, конечно,—соглашался Камкинъ,—но скачки создали англичане, а согласитесь—все англійское...

— Папа говоритъ, какъ бывшій рысистый заводчикъ,—не безъ ловкости объяснила Вавочка, чувствуя на себѣ благодарный взглядъ матери.

Разговоръ вертѣлся все время на общихъ темахъ, о какихъ говорятъ обезпеченные люди. Гость просидѣлъ ровно столько времени, сколько требовали приличія, и поднялся, чтобы проститься, но Павелъ Павлычъ задержалъ его: это была та обѣщающая любезность, которая понимается между строкъ. У Вавочки блестѣли глаза, когда она смотрѣла на отца.

Чтобы попытать гостя, Нина Александровна завела настоящій салонный разговоръ о московской знати и съ непринужденной скромностью назвала нѣсколько громкихъ фамилій, какъ людей своего круга. Гость оказался въ курсѣ дѣла и въ свою очередь сообщилъ нѣсколько интересныхъ фактовъ которые свидѣтельствовали о его довольно близкомъ знакомствѣ съ этимъ заколдованнымъ кругомъ. Это было нѣчто въ родѣ предварительнаго экзамена, и Вавочка видѣла по лицу матери, что гость получилъ для перваго раза удовлетворительную отмѣтку. Но въ самомъ интересномъ мѣстѣ этой бесѣды въ передней послышался рѣзкій звонокъ, и Нина Александровна вышла сама въ залу. Она вдругъ встревожилась, предчувствуя какую-то непріятность.

— Лука Агаѳонычъ...—доложила горничная, пряча грязныя руки подъ передникомъ.

— Нечего сказать, нашелъ время,—ворчала Нина Александровна, поднимая худыя плечи.

— Я ему говорила...—попыталась объяснить горничная, но сейчасъ же смолкла, встрѣтивъ строгій взглядъ.

Въ передней уже слышался скрипъ смазныхъ сапоговъ, топтанье и тяжелые вздохи. Нина Александровна подняла еще разъ свои плечи и едва собрала силы, чтобы выйти къ нежданному гостю съ немного кислой улыбкой.

— А я къ вамъ, Нина Александровна,—точно съ разсчитанной рѣзкостью заговорилъ толстый купецъ, вваливаясь въ залу.—Завернулъ... то-есть, чтобы какъ насчетъ дровъ неустойки у насъ не вышло... Сами знаете, время теперь такое: о теплѣ пора подумать.

— Я васъ попрошу въ кабинетъ мужа, Лука Агаѳонычъ,—предупредила его Нина Александровна.—Павелъ Павлычъ сейчасъ занятъ...

— Ежели я не во̀-время пришелъ, такъ можно и уйтить... И пословица такая: „не въ пору гость—хуже татарина“. Собственно для васъ же, Нина Александровна...

— Ахъ, я очень вамъ благодарна...

На выручку явилась Вавочка. Она съ ужасомъ слушала изъ гостиной начинавшійся разговоръ и не выдержала. Въ трудныхъ случаяхъ для переговоровъ съ Лукой Агаѳонычемъ высылала ее сама Нина Александровна. Появленіе Вавочки немного смутило гостя, и онъ даже прикрылъ свою пасть рукой.

— Извините, барышня, ежели я къ примѣру...

— Всего лучше, если вы зайдете въ другой разъ,—коротко отвѣтила Вавочка съ своимъ обычнымъ видомъ.

Старикъ Любарскій въ это время сидѣлъ какъ на иголкахъ: въ гостиной слышно было каждое слово, и что̀ могъ подумать человѣкъ, пріѣхавшій въ первый разъ въ домъ, куда можетъ вваливаться, съ позволенія сказать, каждая скотина. Изъ затрудненія вывелъ самъ гость, который началъ дѣловой разговоръ съ самымъ непринужденнымъ видомъ. Отъ Ольги Павловны онъ уже слышалъ объ ихъ имѣніи и, если не измѣняетъ ему память, года два назадъ проѣзжалъ мимо. Прекрасное имѣнье... да. Конечно, помѣщики—плохіе хозяева, нужно сказать правду, но, съ другой стороны, есть и отрадныя явленія: интенсивная культура замѣтно прививается, и все будущее, больше, спасеніе—въ машинѣ... Нужно вести борьбу съ наступающимъ капитализмомъ его же оружіемъ.

— Всѣхъ насъ губитъ слѣпая довѣрчивость,—вралъ Павелъ Павлычъ, облегченно вздохнувъ: такіе дѣловые разговоры были его конькомъ.—Мое

имѣнье не изъ плохихъ, но нѣтъ рабочаго, нѣтъ умѣлыхъ рукъ, нѣтъ надежныхъ людей, на которыхъ можно было бы положиться въ такомъ важномъ дѣлѣ. Представьте себѣ: у меня дѣлалась запашка въ четыреста десятинъ, подъ сѣнокосомъ шестьсотъ...

Когда Вавочка вернулась въ гостиную, Павелъ Павлычъ былъ уже въ ударѣ и съ раскраснѣвшимся лицомъ объяснялъ гостю о существовавшемъ въ его воображеніи громадномъ хозяйствѣ. Гость поддакивалъ, соглашался и въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ удивлялся. Чтобы отплатить той же монетой хозяину, онъ откровенно разсказалъ о своей профессіи, какъ комиссіонера крупныхъ машиностроительныхъ фирмъ—дѣло и въ настоящемъ его видѣ прекрасное, а въ будущемъ трудно даже представить границы нарастающаго прогресса.

— Вашу руку, дорогой Георгій Евгеньевичъ,—повторялъ Любарскій, молодцовато выпячивая грудь,—у насъ земля, хозяйство, у васъ—машины...

Вавочка старалась дѣлать внимательное лицо, но понимала только одно, что и папа и гость лгутъ самымъ добросовѣстнымъ образомъ, лгутъ до того, что сами начинаютъ вѣрить собственнымъ словамъ. И сама она—развѣ не приврала рысистый заводъ, а мама смотрѣла на нее такими благодарными глазами...

III.

Выйдя отъ Любарскихъ, Сбоевъ постоялъ на „паратнемъ", почесалъ затылокъ и строго, съ чувствомъ собственности, оглядѣлъ весь свой дворъ. Да, все это его, Луки Агаѳоныча Сбоева—и домъ, и флигеля, и службы, и всякое угодье, все нажито отъ трудовъ праведныхъ, потому что и самъ онъ, Лука Агаѳонычъ, человѣкъ обстоятельный и правильный. Не чета „другимъ протчіимъ"... Но, несмотря на всѣ эти осязательныя преимущества, Сбоевъ все-таки чувствовалъ себя сейчасъ очень скверно. Онъ понималъ, что его сейчасъ благороднымъ образомъ выгнали, какъ это умѣютъ дѣлать настоящіе господа, выгнали потому, что тамъ сидитъ настоящій гость, а онъ, Лука Агаѳонычъ, только купецъ третьей гильдіи, бывшій крѣпостной Любарскихъ, слѣдовательно—мужикъ по-ихнему.

— Туда же, гостей заводятъ —ворчалъ Сбоевъ, спускаясь съ крыльца.

Онъ обошелъ чистый дворъ, сходилъ на задній, гдѣ грязь стояла по колѣна, и завернулъ къ себѣ во флигель-особнячокъ. Жена управлялась у печи, а сынъ Никифоръ сидѣлъ безъ всякаго дѣла. Онъ какъ-то глупо сорвался съ мѣста и хотѣлъ уйти, когда вошелъ отецъ.

— Куда?—остановилъ его Лука Агаѳонычъ.—Опять балбесничаешь... Чтой-то, Никешка, никакого въ тебѣ толку нѣтъ!..

— Я, тятенька...

— Молчать!.. Чѣмъ балбесничать, такъ съѣзди лучше къ Троекурову на Ильинку и закажи овса десять четвертей, да оттуда заверни въ Зарядье; да нѣтъ, все равно, проку не будетъ, и придется самому ѣхать.

— Не велика обуза—и Нюша съѣздитъ,—вступилась-было за сына мать, но сейчасъ же оговорилась:—я такъ къ слову молвила, Лука Агаѳонычъ, тебѣ лучше знать...

— Молчать, потаковщица!—зыкнулъ и на нее Сбоевъ

Никешка стоялъ и выжидалъ удобнаго момента, чтобы уйти половчѣе съ родительскихъ глазъ. Это былъ рослый купеческій выкормокъ, одѣтый по-домашнему въ замасленный „спинжакъ" и сапоги бутылкой. Круглое румяное

лицо глядѣло какъ-то тупо, а длинныя руки видимо мѣшали Никешкѣ, и онъ ихъ неловко совалъ въ карманы. „Этакое дерево стоеросовое,—думалъ Сбоевъ, стараясь не смотрѣть на сына.—То-есть никакого въ емъ настоящаго выверта или обращенія благороднаго, а такъ въ родѣ кучера... тьфу!“

Когда Сбоевъ прошелъ въ горницу, Никешка поспѣшилъ улизнуть въ дверь, а Маремьяна Прокопьевна тяжело вздохнула, какъ доменная печь. Сбоевъ походилъ по горницѣ, пошвырялъ на счетахъ, попробовалъ даже запѣть что-то, но ему сдѣлалось еще тошнѣе, чѣмъ во дворѣ. Вотъ и жену напрасно обидѣлъ: извѣстно, мать, за свое дѣтище заступается. Еще разъ оглядѣлъ Сбоевъ свои чистыя комнаты, выкрашенныя масляной краской стѣны, горки сундуковъ по угламъ, кисейныя занавѣски и герани на окнахъ, олеографіи въ новыхъ багетахъ, и опять на него накатился давешній горькій стихъ: вездѣ необразованность одна, а онъ, Лука Агаѳонычъ, и взаправду мужикъ... Вотъ и домъ свой, и деньги, и всякій достатокъ, а лучше вотъ этихъ сундуковъ, занавѣсокъ да купленной съ аукціона мягкой мебели ничего не могутъ они придумать вмѣстѣ съ женой. Другіе изъ послѣдняго живутъ, прямо сказать—въ долгахъ по уши, а все у нихъ по-настоящему, какъ требуетъ порядокъ. Взять хоть тѣхъ же Любарскихъ: недалеко отъ нищихъ ушли, а въ квартирѣ все какъ слѣдуетъ настоящимъ порядкомъ быть. Да не разберешь скоро-то, что у Павла Павлыча съ Ниной Александровной, у двоихъ-то, одна дыра въ горсти всѣхъ достатковъ...

— Мать... а мать?—по возможности ласково заговорилъ Сбоевъ, чувствуя себя виноватымъ передъ женой.

— Ну?—сердито отозвалась она, гремя ухватами.

Сбоевъ подавилъ въ себѣ поднявшееся злое чувство отъ этого „нуканья“ и спокойно проговорилъ:

— Былъ во флигелѣ у *господъ*... Новаго гостя приспособили...

— Самимъ ѣсть нечего, такъ въ самую пору съ гостями проклажаться.

— Я вижу, что къ нимъ новый франтъ шмыгнулъ,—ну, и закинулъ задѣлье насчетъ дровъ...

— Извѣстно, дочь на возрастѣ, такъ шалыганамъ разнымъ это и на руку... Глядѣть-то на нихъ тошнехонько!..

— Постой, дай слово сказать... Прихожу, подвожу рѣчь, а они меня благороднымъ манеромъ въ шею. Это какъ по-твоему? Положимъ, что „онъ“ дѣйствительно пріѣхалъ на лихачѣ и одежа на емъ по всей формѣ,—ну, а меня-то зачѣмъ выпроваживать? Тоже стыдится, что мужикъ прямо къ нимъ ввалился...

— А за квартиру заплачено у ихъ?.. Имѣньишко-то, какое было, заложено да перезаложено, а туда же... Только одна видимость, что господа.

— Лихачу по рублю въ часъ платитъ онъ-то... Я говорилъ съ лихачомъ. Въ номерахъ живетъ... Разыщутъ гдѣ-то, тоже.

— Я ужъ не знаю, право, Лука Агаѳонычъ, что это ты съ ними канителишься: отказалъ, и все тутъ. Только квартиру страмятъ, а жильцовъ по Москвѣ найдется достаточно... Вонъ у Троекуровыхъ полковникъ квартиру держитъ. Въ праздникъ нацѣпитъ регалію, а дворнику рупь на водку... Не чета нашимъ-то!..

— Тьфу!.. Ничего ты не понимаешь,—оборвалъ жену Сбоевъ, плюнулъ и, хлопнувъ дверью, вышелъ на дворъ.

— „Экъ его взяло...—раздумывала Маремьяна Прокопьевна, опуская

руки.—Чего на меня-то накинулся, какъ звѣрь? Лѣзетъ на стѣну, не знаю съ чего...“

Сбоевъ вышелъ за ворота и увидѣлъ, что Никешка разговариваетъ съ лихачомъ. Онъ цыкнулъ на него и вступилъ въ разговоръ самъ.

— Рупь, говоришь, въ часъ?—спрашивалъ онъ, усаживаясь на приворотную лавочку, когда Никешка исчезъ въ воротахъ.

— Точно такъ-съ...

— Можетъ, и денегъ-то не заплатитъ баринъ-то твой? Больно вертоватъ, и пальтишко на емъ куцое... Изъ какихъ онъ будетъ?

— Изъ настоящихъ... Въ „Дрезденѣ“ остановился.

— Это на Тверской? Ловко...

Молчаніе. Моросить мелкій осенній дождь. На Маросейкѣ народъ такъ и кипитъ. Конка бѣжитъ мимо, а народу набито въ ней видимо-невидимо. По тротуарамъ несется пестрая московская публика; медленно ѣдутъ ломовики, съ трескомъ катятъ „ваньки“ — все то же, что Сбоевъ видитъ каждый день. Вонъ изъ-за угла показалась карета, заложенная тройкой, кучеръ безъ шапки — везутъ Иверскую. Народъ останавливается, снимаетъ шапки и торопливо крестится. Сбоевъ и лихачъ тоже обнажаютъ головы. Карета останавливается у дома напротивъ. Выходятъ въ облаченіяхъ священникъ и дьяконъ, а икону несутъ куда-то во дворъ.

— Надо полагать — къ болящему...—замѣчаетъ Сбоевъ, не надѣвая шапки.

— Надо полагать, — соглашается лихачъ.

— А то, можетъ, по обѣщанію...

— Бываетъ и по обѣщанію...

Бородатый лихачъ сонно зѣваетъ и выравниваетъ топчущуюся на мѣстѣ лошадь, которая коситъ глазами на карету и громко фыркаетъ. На тротуарѣ противъ кареты собирается цѣлая толпа. Точно изъ-подъ земли выросли какія-то мозглявыя старушонки и продираются съ нахальствомъ къ каретѣ. Изъ портерной вышелъ сидѣлецъ Агапычъ въ черномъ фартукѣ и красной кумачной рубахѣ. Онъ издали поклонился Сбоеву и тряхнулъ намасленными рыжими кудрями.

— Одначе скоро повернули молебенъ-то, — замѣтилъ Сбоевъ, когда изъ воротъ показалось обратное шествіе съ иконой.

— Не замедлили... — согласился лихачъ, снимая свою клеенчатую шляпу и откладывая широкій крестъ.

При выходѣ изъ воротъ икону остановилъ сгрудившійся народъ. Священника и дьякона совсѣмъ прижали къ стѣнѣ. Несшіе икону напрасно отбивались ногами и локтями, — ихъ толпа пронесла мимо кареты прямо къ портерной. Здѣсь произошла сцена, которую можно наблюдать только въ Москвѣ: благочестивая публика поползла подъ иконой... Ползли мозглявыя старушонки, ползли какіе-то благочестивые старички, а послѣднимъ проползъ рыжій Агапычъ; его покраснѣвшее отъ натуги лицо подходило на только-что отчеканенный мѣдный пятакъ. Сбившаяся толпа загородила ему дорогу, и Агапычъ сидѣлъ подъ иконой на корточкахъ.

— Господа, разступитесь! — вмѣшался подоспѣвшій во-время городовой.— Честью васъ просятъ... Эй, вы, трухлявые, куда прете?

Въ этотъ моментъ вышелъ изъ воротъ Камкинъ и окликнулъ зазѣвавшагося лихача. Онъ легко прыгнулъ въ щегольскую пролетку, поправилъ небрежно шелковый цилиндръ, и рысакъ съ мѣста лихо полетѣлъ впередъ по Маросейкѣ къ Кремлю. Сбоевъ проводилъ экипажъ глазами, пока онъ не

смѣшался съ другими, благочестиво отплюнулся и крѣпче надвинулъ суконный картузъ на свою угловатую голову. Оглянувшись, онъ въ воротахъ своего дома опять замѣтилъ Никешку, который выглядывалъ изъ-за воротины.

— Эй, ты, шалыганъ, — обругалъ его Сбоевъ и, снявшись съ лавочки, побрелъ въ свой флигель. — Необразованность одна, право...

Къ кому относилось послѣднее замѣчаніе — трудно сказать. Могъ его принять на свой счетъ и Никешка и сидѣлецъ Агапычъ, застрявшій подъ иконой. Сбоевъ замѣтилъ, какъ баринъ чуть улыбнулся, когда садился на свою пролетку, и Сбоеву сдѣлалось какъ-то даже совѣстно за Агапыча. Попавшійся навстрѣчу дворникъ съ метлой въ рукахъ вѣжливо снялъ шапку, но Лука Агаѳонычъ не удостоилъ его даже кивкомъ головы, а только посмотрѣлъ на окна квартиры Любарскихъ и широко вздохнулъ.

IV.

Черезъ недѣлю Камкинъ опять былъ у Любарскихъ. Онъ пріѣзжалъ на другомъ рысакѣ, въ другомъ, длинномъ пальто и въ шляпѣ котелкомъ. Сбоевъ опять встрѣтился съ нимъ у воротъ.

— Любезный, барышня Любарская дома? — спросилъ Камкинъ съ небрежностью своего человѣка.

— Мы эфтакими дѣлами не занимаемся, — грубо отвѣтилъ Сбоевъ, закладывая руки за спину.

— Какими „эфтакими“?

— А такими — за чужими барышнями подглядывать.

— Ага...

Онъ быстро оглядѣлъ Сбоева съ ногъ до головы, загадочно улыбнулся и, сдѣлавъ легкій поклонъ, отправился къ Любарскимъ. „Ахъ, ты, стрикулистъ! — думалъ Сбоевъ, провожая его глазами до „паратней“ двери. — Туда же: „любезный“... Еще рыломъ не вышелъ, чтобы купца второй гильдіи любезнымъ-то навеличивать“.

Черезъ три дня Камкинъ опять пріѣхалъ, и Сбоевъ видѣлъ его только изъ окна своего флигеля.

— Ну, теперь началась музыка... — проговорилъ Сбоевъ, обращаясь къ женѣ.

— Это ты насчетъ жениха, Лука Агаѳонычъ?

— До жениховъ-то еще, положимъ, далеко, а только терпѣть я не могу, когда вотъ такіе шалыганы по двору шмыгаютъ... Мутитъ меня. Туда же на лихачѣ по Москвѣ катается... тьфу!..

Сбоевъ даже ночью видѣлъ таинственнаго барина, который сталъ ему поперекъ горла, какъ кость.

Это тревожное настроеніе требуетъ нѣкоторыхъ справокъ и объясненій въ далекомъ прошломъ. Сбоевъ родился крѣпостнымъ въ родовомъ имѣніи Любарскихъ, курскомъ сельцѣ Шальковкѣ. Мальчикомъ онъ попалъ въ дворню и состоялъ казачкомъ еще при старомъ баринѣ Павлѣ Евтихычѣ. Старый баринъ постоянно сосалъ трубку, а казачокъ Лукашка постоянно долженъ былъ стоять за его спиной и бросаться со всѣхъ ногъ, когда Павелъ Евтихычъ крикнетъ: „огня!“, или „трубку!“. Три цѣлыхъ года выстоялъ Лукашка за барской спиной, а потомъ за смѣтливость и расторопность переведенъ былъ въ „мальчики“ къ дворецкому. Изъ мальчиковъ Лукашка попалъ въ подручные къ повару и т. д. Къ эмансипаціи онъ былъ уже правой рукой управителя и вообще обѣщалъ пойти далеко по шаткой лѣстницѣ крѣпостной іерархіи.

Но объявили волю; старый баринъ Павелъ Евтихычъ умерли, а наслѣдники раздѣлились, и родовое гнѣздо Шальковка продано было съ торговъ какимъ-то банкомъ. Дворня разбрелась куда глаза глядятъ. У Сбоева была прикоплена малая толика деньжонокъ, и онъ отправился съ ними прямо въ Москву, гдѣ и занялся подрядами и вообще разными подходящими дѣлами.

Лѣтъ пятнадцать Сбоеву приходилось въ Москвѣ очень туго, пока онъ не ухватилъ одного дѣльца на строившейся желѣзной дорогѣ. Результатомъ явился домъ на Маросейкѣ и вторая гильдія. Когда Сбоевъ вылѣзъ въ люди, деньги уже пошли къ нему сами собой, и свое дѣловое знакомство завелось, и подрядчичья популярность, и нѣкоторая, чисто-московская легкость на руку. Приторговывалъ онъ все, что̀ продавалось по случаю, и больше всего любилъ покупать старые барскіе дома, продававшіеся за безцѣпокъ. Разъ онъ прочиталъ въ „Московскихъ Полицейскихъ Вѣдомостяхъ", что на Поварской продается домъ Любарскаго, и сейчасъ же полетѣлъ по печатному адресу. Занятый своими дѣлами, онъ какъ-то совсѣмъ упустилъ изъ виду своихъ бывшихъ господъ и теперь былъ радъ повидаться съ наслѣдниками. Въ старомъ барскомъ домѣ онъ нашелъ Павла Павлыча, котораго зналъ еще мальчикомъ. И баринъ и бывшій крѣпостной обрадовались этой встрѣчѣ, какъ давно не видавшіеся родственники.

— Ну что̀, какъ ты поживаешь? — спрашивалъ Павелъ Павлычъ, ласково потрепывая стараго раба по пчечу.

— Ничего, Павелъ Павлычъ, благодареніе Создателю... вторую гильдію плачу... на Маросейкѣ собственный домъ...

— Ого!.. Да ты, братъ, въ гору полѣзъ!..

Наметанный глазъ Сбоева сразу произвелъ оцѣнку положенія Любарскихъ: проѣлись господа вконецъ, ежели домъ пустили въ оборотъ, да и домъ-то былъ заложенъ въ банкъ. Сбоеву даже жаль сдѣлалось Павла Павлыча, которому приходилось разставаться съ послѣднимъ недвижимымъ имуществомъ. Главное — довѣрчивый баринъ, — ну, и проѣлся насквозь... Сбоевъ даже покачалъ головой, когда Павелъ Павлычъ начистоту разсказалъ ему свои дѣла.

— Что̀ подѣлаешь: не умѣемъ мы жить по-нынѣшнему, — говорилъ онъ. — Благодарю моего Бога, что пристроилъ двухъ дочерей: старшая, Ольга, сдѣлала отличную партію — она вышла за полковника Разметова, вторая дочь, Серафима, вышла за генерала Горностаева — тоже приличная партія... Осталась послѣдняя дочь, Вавочка — ну, съ одной и забота будетъ всего одна.

Познакомившись съ Ниной Александровной, Сбоевъ сейчасъ понялъ, что самъ баринъ дома не имѣетъ никакого значенія, и что семья держится одной барыней. У нея оставалось еще небольшое имѣніе, вынесенное приданымъ, и оно составляло всѣ рессурсы въ будущемъ. Барыня вообще была вострая и билась, какъ рыба объ ледъ, но всѣ ея заботы не шли въ прокъ, потому что баринъ проѣлъ и бо̀льшую половину ея приданаго.

— А вѣдь жаль дома-то, Нина Александровна, — говорилъ Сбоевъ, когда оглядѣлъ своимъ ястребинымъ окомъ родовое дворянское гнѣздо. — Главное, стоитъ на самой дворянской улицѣ, да и дадутъ за него теперь расколотый грошъ.

— Что̀ подѣлаешь, Лука Агаѳонычъ: жить мы не умѣемъ.

Полученныя за домъ деньги пошли по тому же адресу, какъ и прожитыя раньше. Павелъ Павлычъ не умѣлъ ни въ чемъ себѣ отказывать, а Нина Александровна не могла его остановить.

— Если я такъ привыкъ жить? — оправдывался Любарскій. — Не могу

же я, въ самомъ дѣлѣ, ѣсть всякую мерзость, не мѣнять бѣлья и жить въ конурѣ.

Начались переѣзды съ квартиры на квартиру, по мѣрѣ истощенія средствъ. Съ Поварской переѣхали на Пречистенку, съ Пречистенки — на Садовую, съ Садовой — къ Краснымъ воротамъ и т. д. Сбоевъ время отъ времени посѣщалъ ихъ и сдѣлался необходимымъ человѣкомъ, съ которымъ Нина Александровна могла совѣтоваться о своихъ дѣлахъ и черезъ котораго выполняла разныя хозяйственныя операціи. Благодаря Сбоеву, Павелъ Павлычъ совсѣмъ избавилъ себя отъ всякихъ хлопотъ „по домашности"... Дѣло кончилось тѣмъ, что въ одно прекрасное утро Сбоевъ самъ предложилъ Нинѣ Александровнѣ переѣхать на квартиру въ его домъ.

— Только квартира будто во флигелѣ будетъ, — объяснялъ онъ, — а ничего, жить можно...

Это былъ важный шагъ для Сбоева, противорѣчившій всей его тугой жизни, разсчитанной на наживу. Отъ Любарскихъ онъ не могъ уже ничѣмъ поживиться, а рисковалъ для нихъ цѣлой квартирой, дававшей въ годъ шестьсотъ рублей. Сказалось старое рабье чувство: кулакъ Сбоевъ пожалѣлъ своихъ прогорѣвшихъ господъ. Очень ужъ они просты, и гдѣ имъ по чужимъ квартирамъ жить!.. Удивительнѣе всего, что онъ радовался, когда Любарскіе поселились въ его домѣ, точно и домъ-то дороже для него сталъ. Конечно, нажитъ онъ отъ трудовъ праведныхъ, а все какъ будто чего-то недоставало, именно — недоставало въ немъ настоящихъ господъ... Сбоеву пріятно было, когда по двору проходилъ баринъ Павелъ Павлычъ или барышня Вавочка: одна походка чего стоитъ! Особенно полюбилъ Сбоевъ барышню. Когда Любарскіе переѣхали къ нему, она была еще въ подросткахъ, но такая высокая и голенастая, какъ настоящая кохинхинка. Не чета купеческимъ или чиновничьимъ дочерямъ... Иногда Сбоевъ нарочно выходилъ на улицу какъ разъ въ то время, когда Вавочка съ книжками возвращалась изъ своей гимназіи, снималъ картузъ и весело говорилъ:

— Какъ здоровье нашей барышни-съ?..

— Ничего, Лука Агаѳонычъ...— весело отвѣчала Вавочка, краснѣла и ускоряла шаги.

„Вотъ такъ Вавочка вырастетъ! — весело думалъ Сбоевъ, провожая дѣвушку глазами. — Всей Москвѣ на украшеніе... Одно слово: дворянская кровь!.. Не чета нашимъ-то кувалдамъ..."

Всѣ дѣла Нины Александровны теперь велись черезъ Сбоева, который въ короткій срокъ многое сумѣлъ исправить, и маленькое имѣніе стало давать доходъ. Главное — чтобы только Павелъ Павлычъ не вмѣшивался... По дѣламъ Сбоевъ почти каждый день бывалъ въ квартирѣ Любарскихъ и скоро изучилъ ихъ жизнь до послѣдней мелочи. Особенно любилъ онъ, когда выходила къ нему Вавочка. Этой слабостью Нина Александровна и пользовалась, высылая дочь, когда приходилось устроить какой-нибудь заемъ, поручительство или выдать вексель.

— Только для барышни... — говорилъ Сбоевъ. — У меня для барышни отказу нѣтъ.

Результатомъ такихъ отношеній въ головѣ Сбоева зародилась смѣлая мысль женить Никешку вотъ на этой самой Вавочкѣ и тѣмъ улучшить свою хамскую природу. Чѣмъ больше думалъ Сбоевъ, тѣмъ больше она ему нравилась: для кого же онъ наживалъ всю жизнь свое добро?.. Какъ сыръ въ маслѣ стала бы кататься у него Вавочка, только Господь устроилъ бы... Не она

первая за купца выйдетъ. Когда Вавочка проходила мимо Сбоева, онъ даже вздрагивалъ и весь таялъ...

Появленіе у Любарскихъ стрикулиста поэтому и взволновало Сбоева до глубины души. Вотъ поѣздитъ такъ-то разъ десятокъ, а потомъ Вавочка и — ау!.. Одна мысль о такой возможности бросала Сбоева въ жаръ...

V.

Знакомство съ Камкинымъ ничего новаго не внесло въ жизнь Любарскихъ: Павелъ Павлычъ такъ же скучалъ отъ своего вѣчнаго бездѣлья, а Нина Александровна такъ же выбивалась изъ послѣднихъ силъ, чтобы показаться „какъ всѣ", т.-е. люди ихъ круга. Когда Павелъ Павлычъ выходилъ изъ дома, онъ незнакомому человѣку могъ показаться богатымъ бариномъ: костюмъ—безукоризненный, шляпа и перчатки — по сезону, часы съ модными брелоками и т. д. У него всегда съ собой были карманныя деньги, чтобы зайти въ дешевый ресторанъ и пообѣдать съ пріятелемъ, купить при случаѣ какую-нибудь бездѣлушку, сходить въ театръ, наконецъ проиграть въ винтъ, если это нужно. Когда онъ возвращался домой, то его ожидалъ приличный холодный ужинъ. Вообще, онъ напоминалъ собой какого-то громаднаго домашняго идола, которому приносятъ жертвы неизвѣстно за что. У Нины Александровны было всего одно шелковое платье, которое она переворачивала на тысячу ладовъ, но ее спасало то, что она рѣшительно никуда не показывалась и вела ту особенную жизнь, которая въ этомъ кругу даетъ женщинѣ эпитетъ „святой". Старшія дочери еще не дожили до такого состоянія святости и очень рѣдко навѣщали отеческій кровъ. Впрочемъ, Ольга Павловна завернула на минутку навести справки — какъ и что новый знакомый: Ольга Павловна всегда торопилась, потому что вѣчно была по горло завалена какими-нибудь чужими дѣлами.

— Кто его знаетъ... — уклончиво отвѣтила Нина Александровна и подавила невольный вздохъ. — Повидимому, человѣкъ порядочный. Изъ новыхъ... все дѣла какія-то...

— А Вавочка какъ?

— Какъ всегда... Я начинаю думать, Olga, что она у насъ безнадежна. Да... Въ ней нѣтъ даже женственности, и присутствіе молодого человѣка въ домѣ рѣшительно никакого вліянія на нее не оказываетъ.

— Надѣюсь, maman, вы приготовились на случай предложенія съ его стороны?

— О, да... Это по части Павла Павлыча, а я, ты знаешь, не люблю церемоній.

Къ числу особенностей семейной обстановки Любарскихъ нужно прибавить еще то, что оба зятя почти никогда у нихъ не бывали, хотя и принимали Павла Павлыча съ изысканной вѣжливостью. Другіе гости тоже появлялись раза два въ годъ съ офиціальными визитами, чѣмъ дѣло и ограничивалось.

Когда падалъ первый снѣгъ, любимымъ удовольствіемъ Павла Павлыча были прогулки на Пречистенскій бульваръ, гдѣ собиралась въ это время исключительная публика. Отъ Маросейки это было очень далеко, но свободнаго времени у Павла Павлыча — еще больше. Онъ обыкновенно отправлялся сейчасъ послѣ обѣда и непремѣнно бралъ съ собой Вавочку. До Никитскихъ воротъ они ѣхали на конкѣ, затѣмъ проходили Никитскій бульваръ и черезъ площадь — на Пречистенскій. У Павла Павлыча вездѣ были знакомые, и онъ едва успѣвалъ раскланиваться направо и налѣво. Ему нравилось, что вмѣстѣ съ Вавочкой они всегда производили нѣкоторое впечатлѣніе: она много

выигрывала въ толпѣ, а на свѣжемъ воздухѣ ея лицо оживлялось. Знакомые старички поглядывали на Вавочку одобрительно, молодые люди улыбались, а барышни завидовали. На двухъ балахъ въ Дворянскомъ собраніи Вавочка даже произвела фуроръ своимъ ростомъ и плечами „изъ живого мрамора", и Павелъ Павлычъ ходилъ съ ней подъ руку по залитымъ огнями заламъ, какъ тріумфаторъ.

Въ одинъ изъ хорошихъ ноябрьскихъ дней Павелъ Павлычъ отправился съ Вавочкой на обычную прогулку. Падалъ мягкій, пушистый снѣжокъ, и воздухъ дышалъ осенней свѣжестью. Въ своей бархатной шубкѣ и мѣховой шапочкѣ Вавочка была прелестна. Но Павелъ Павлычъ еще дорогой обратилъ вниманіе, что она какъ будто встревожена и все оглядывается по сторонамъ. Когда они гуляли уже по Пречистенскому бульвару, она сказала отцу:

— Ты, папа, куда думаешь итти отсюда?

— Не знаю... а что?

— Мнѣ нужно завернуть на минуту къ Ольгѣ, а ты меня подожди здѣсь, или...

— Я пройду бульварами въ пассажъ Солодовникова.

— Хорошо. Я пріѣду туда на конкѣ...

— Черезъ часъ?

— Да...

Они разошлись. Вавочка отправилась на Пречистенку, гдѣ жили Разметовы, а Павелъ Павлычъ повернулъ назадъ по линіи бульваровъ. Въ сумерки, когда зажигали огни и на бульварахъ набиралась совершенно особенная публика, Павелъ Павлычъ любилъ потолкаться въ толпѣ. Попадалось столько молодыхъ женскихъ лицъ, слышался беззаботный смѣхъ, веселые голоса, и вообще въ самомъ воздухѣ висѣло что-то такое, что говорило объ увлеченіяхъ и ошибкахъ молодости, о дешевенькомъ прожиганіи жизни и бульварныхъ романахъ. Павелъ Павлычъ посидѣлъ на Тверскомъ бульварѣ, гдѣ въ это время особенно много публики, и, не торопясь, пошелъ дальше, спускаясь постепенно подъ гору. Онъ еще разъ отдохнулъ противъ „Эрмитажа" и повернулъ къ пассажу. Масса экипажей, толкотня на тротуарахъ, яркое освѣщеніе произвели на него, какъ всегда, самое хорошее впечатлѣніе. Такъ какъ было еще рано, то онъ прошелся по Петровскимъ линіямъ и уже отсюда направился въ пассажъ, гдѣ публики оказалось совсѣмъ мало. Онъ одинъ принялся бродить по пустымъ корпусамъ и подолгу останавливался передъ окнами магазиновъ, разсматривая показной товаръ.

— Однако того... Вавочка заставляетъ себя ждать, — проговорилъ онъ, вынимая часы.—Ого, ровно полтора часа!.. Что бы это значило: можетъ-быть, задержала Ольга Павловна...

Прошло еще полчаса, но Вавочки не было. Павелъ Павлычъ встревожился. Можетъ-быть, они разошлись въ самыхъ корпусахъ. Еще полчаса — Вавочки нѣтъ... Не можетъ быть, чтобы она поставила его въ дурацкое положеніе. Павелъ Павлычъ обидѣлся и отправился на конкѣ домой.

— Гдѣ Вавочка? — спрашивалъ онъ, когда вошелъ въ свою переднюю.

— Вотъ мило: вѣдь она съ тобой ушла... — удивилась Нина Александровна.

Когда Павелъ Павлычъ разсказалъ все, она успокоила его:

— Очень просто: вечеръ, и Olga не отпустила ее одну...

— Гм... зачѣмъ же тогда было ставить меня въ дурацкое положеніе?

— Завтра все объяснится, папа... Можетъ-быть, Olga больна, да и вообще мало ли что можетъ случиться.

Ночью Павелъ Павлычъ опять безпокоился и видѣлъ странный сонъ: какой-то длинный-длинный коридоръ, а по сторонамъ все лошадиныя морды— морды направо, морды налѣво, и такъ безъ конца. Вообще, самый нелѣпый сонъ... Утромъ сейчасъ послѣ чая былъ отправленъ къ Ольгѣ Павловнѣ посолъ за Вавочкой, но Вавочки тамъ не оказалось, и вчера вечеромъ она не приходила. Это извѣстіе въ первую минуту оглушило стариковъ: не можетъ этого быть... Павелъ Павлычъ одѣлся самъ и отправился въ походъ. Можетъ-быть, онъ ослышался, и Вавочка отправилась не къ Ольгѣ Павловнѣ, а къ Серафимѣ Павловнѣ, но опять Серафима Павловна живетъ въ Бутыркахъ, а Вавочка пошла къ Пречистенкѣ. Вообще, чортъ знаетъ что̀ такое!

Вавочки нигдѣ не оказалось, и никто ея не видалъ. Гдѣ же она могла провести ночь, свою первую ночь внѣ родительскаго крова? У Павла Павлыча захолонуло на душѣ, и онъ не зналъ, какъ ему показать домой глаза. Нину Александровну это извѣстіе убьетъ... Можетъ-быть, съ Вавочкой случилось какое-нибудь несчастье: обморокъ на улицѣ и т. д. Развѣ заявить въ полицію на всякій случай? Но для чего дѣлать огласку,—а репутація дѣвушки прежде всего. Домой онъ возвращался нарочно пѣшкомъ и нѣсколько разъ принимался отдыхать, чтобы выиграть время: можетъ-быть, именно въ эти лишніе полчаса Вавочка и явится. Мало ли у дѣвушекъ бываетъ необъяснимыхъ причудъ, а родительское безпокойство имъ совершенно неизвѣстно.

Еще съ бо̀льшимъ волненіемъ дожидалась Нина Александровна, когда вернется мужъ, и перебѣгала отъ одного окна къ другому, какъ гимназистка. Ахъ, что̀ будетъ, что̀ будетъ: это убьетъ его... Она имѣла силы едва настолько, чтобы отворить мужу дверь и провести его въ кабинетъ.

„Бѣдняжка, она догадывается“... — думалъ Павелъ Павлычъ, дѣлая впередъ торжественно-печальное лицо.

Она дала ему выговориться, какъ онъ ходилъ и ничего не нашелъ, какія дѣлалъ предположенія, а потомъ достала изъ кармана письмо и подала Павлу Павлычу.

„Милая мама, — писалъ Вавочка матери, — прости меня, что я вчера не имѣла времени извѣстить тебя о своемъ поступкѣ и, можетъ-быть, этимъ доставила напрасное безпокойство... Мама, милая мама, я навсегда оставила васъ съ любимымъ человѣкомъ... Подробности сообщу потомъ, а пока скажу одно: искать меня не трудитесь. Цѣлую папу... Ваша Вавочка“.

— Не можетъ быть, это не она писала!.. — вскричалъ Любарскій, перечитывая письмо. — Наконецъ, просто, это безграмотно, а моя дочь не могла писать мѣщанской фразы въ родѣ: „напрасное безпокойство“... Ахъ, да, она могла писать подъ диктовку этого... мерзавца!.. Боже мой... оставалось еще послѣднее испытаніе: позоръ моихъ отцовскихъ сѣдинъ.

Съ Павломъ Павлычемъ сдѣлалось дурно. Лицо у него посинѣло, глаза остановились, и онъ едва отдохнулъ, глотая кусочки льда. Но все время ни онъ ни она не сказали ни одного слова о томъ, кто могъ быть похитителемъ Вавочки: это было ясно безъ словъ...

VI.

Романическое исчезновеніе подняло на ноги всю родню Любарскихъ, и прежде всего досталось Ольгѣ Павловнѣ, которая представляла Камкина. По наведеннымъ въ „Дрезденѣ“ справкамъ оказалось, что Камкинъ выѣхалъ изъ Москвы еще недѣлю тому назадъ, „въ свое имѣнье“, какъ записано было въ конторѣ.

— Все это наглая ложь!—кричалъ Павелъ Павлычъ.—Или я рѣшительно ничего не понимаю.

Дѣйствительно, если Камкинъ имѣлъ серьезныя намѣренія относительно Вавочки, то почему онъ не сдѣлалъ офиціальнаго предложенія; если онъ не надѣялся получить согласіе, то отчего онъ не переговорилъ предварительно хотя съ той же Ольгой Павловной, и наконецъ, если онъ... а что̀, если Камкинъ женатъ?... Нѣтъ, помилуйте, дворянинъ, порядочный человѣкъ по воспитанію и привычкамъ, не позволитъ себѣ ничего подобнаго, и наконецъ сама Вавочка такъ мало его знала, чтобы отдаться незнакомому человѣку, очертя голову. Это не въ традиціяхъ дома Любарскихъ...

— Во всякомъ случаѣ, я не ручаюсь за себя...—мрачно повторялъ Павелъ Павлычъ, наслаждаясь впередъ своей трагической ролью.—Я поставлю его къ барьеру... да!..

Нину Александровну больше всего смущала огласка; Вавочка еще можетъ вернуться, она опомнится... Но что̀ скажутъ въ ихъ кругѣ? Свѣтъ такихъ вещей не прощаетъ молодымъ дѣвушкамъ. Всѣ старались обвинить другъ друга и по нѣскольку разъ перессорились. Въ самомъ дѣлѣ, если бы тогда Ольга Павловна не представила его maman и т. д., и т. д.

— Да откуда онъ взялся, этотъ Камкинъ?—чистосердечно удивлялась сама Ольга Павловна.—Хоть убейте, ничего не помню... Кто-нибудь да представлялъ же его мнѣ!..

— Ты, душа моя, всегда отличалась легкомысленностью,—строго говорила дочери Нина Александровна.

— Maman...

— Я знаю, что̀ говорю. Конечно, у тебя есть мужъ, но я—мать... Если бы ты не представила тогда его мнѣ, ничего не было бы. Въ какомъ обществѣ ты вращаешься?..

— Позвольте, maman... Если ужъ пошло на то, такъ у васъ свои глаза были. Вѣдь вы могли принять его такъ, что онъ во второй разъ и глазъ не показалъ бы...

— Ты меня убиваешь, Ольга...

Во всѣхъ трудныхъ случаяхъ своей жизни Нина Александровна привыкла совѣтоваться съ Лукой Агаѳонычемъ и теперь обратилась къ этому же средству. Конечно, онъ простой человѣкъ, но здѣсь именно важно здравое сужденіе трезваго и практическаго ума. Отправивъ Павла Павлыча на обычную послѣобѣденную прогулку—онъ не долженъ выдавать себя нарушеніемъ своихъ привычекъ, да!—она заперлась въ столовой съ своимъ совѣтникомъ и подробно разсказала ему все. Что̀ же, Лука Агаѳонычъ почти свой человѣкъ и знаетъ всѣ семейныя тайны фамиліи Любарскихъ, начиная съ амурныхъ похожденій дѣдушки.

— Можно сказать, что даже весьма необыкновенное дѣло-съ, Нина Александровна,—повторялъ Сбоевъ, повертывая въ рукахъ картузъ.—Ужъ, кажется, по всей Москвѣ съ огнемъ искать другой такой барышни, какъ Варвара Павловна... да...

Оказалось, что Лука Агаѳонычъ волновался не меньше самой Нины Александровны, что̀ она приняла за выраженіе чувства преданности бывшаго двороваго человѣка. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ казалось ей, онъ что-то недоговаривалъ. Можетъ-быть, онъ знаетъ что-нибудь такое, чего она не знаетъ. Въ этомъ направленіи Нина Александровна и повела разговоръ, а Сбоевъ сразу точно съежился и понесъ уже совершенный вздоръ. Время отъ времени онъ хлопалъ себя по колѣнкѣ, вздыхалъ и говорилъ:

— Да вѣдь какая барышня-то... Бывало, по двору идетъ, такъ глядѣть на нее—сердце радуется. Тоже и мы, Нина Александровна, достаточно можемъ

понимать, какая кость черная, какая бѣлая. Вы ужъ извините меня, сударыня, а я еще тогда въ первый разъ, какъ „онъ“ пріѣзжалъ къ вамъ, замѣтилъ, что дѣло не ладно...

— Что̀ же ты замѣтилъ, Лука Агаѳонычъ?

— Со стороны-то оно и совсѣмъ видно, Нина Александровна, что совсѣмъ неправильный человѣкъ... Тоже въ Москвѣ достаточно всякаго народу толчется—такъ оно и замѣтно. Ужъ вы меня извините, а „онъ“, пряменько сказать, прямо стрикулистъ...

Такой оборотъ разговора подѣйствовалъ на Нину Александровну непріятно, и она даже пожалѣла, что позволила себѣ интимные разговоры съ этимъ мужикомъ. Развѣ онъ можетъ понимать тонкости отношеній въ средѣ культурныхъ людей? Допустимъ, что Камкинъ поступилъ нехорошо, даже преступно, но порывъ, страсть, увлеченіе извиняютъ многое: есть такія неистовыя натуры, которымъ прощаются даже преступленія. И кто знаетъ, что̀ заставило его поступить именно такъ... Вообще, если бы Камкинъ и дѣйствительно оказался мерзавцемъ, но какое право имѣетъ Сбоевъ называть его стрикулистомъ? Это ужъ слишкомъ... Да.

„Вотъ если бы Павелъ Павлычъ былъ другой человѣкъ, — мелькнула въ головѣ Нины Александровны обычная горькая мысль,—да, тогда другое бы дѣло... И мнѣ не пришлось бы совѣтоваться съ мужикомъ!“

А онъ между тѣмъ употреблялъ, кажется, всѣ мѣры, чтобы напасть на слѣдъ похитителя дочери, и домой являлся только спать. Событіе придало ему силы, потому что цѣлые дни слоняться по бульварамъ, въ пассажахъ и ресторанахъ одного терпѣнія мало. Лицо у Павла Павлыча приняло грустно-величавое выраженіе, какъ у театральныхъ благородныхъ отцовъ. Встрѣчаясь съ знакомыми, онъ крѣпко жалъ руку, грустно улыбался и, поднявъ брови, шелъ дальше: онъ долженъ быть каждую минуту на посту и терять напрасно время въ разговорахъ съ знакомыми онъ не имѣетъ права. Да, онъ зналъ, что долженъ былъ дѣлать...

Ольга Павловна и Серафима Павловна поочередно пріѣзжали навѣщать maman каждый день, пока не надоѣли своимъ участіемъ. Ихъ мужья попрежнему оставались въ сторонѣ и едва ли даже знали объ исчезновеніи Вавочки. Зятья относились къ тестю и тещѣ, какъ относятся къ хорошимъ знакомымъ по клубу—вѣжливо и совершенно равнодушно. Зато необыкновенное участіе выказали Нинѣ Александровнѣ разныя безполезныя старушки, переносившія вѣсти по гостинымъ,—отъ нихъ просто не было отбоя, и Нина Александровна подъ конецъ начала прятаться. Только одно материнское сердце чувствовало ту гнетущую пустоту, которую оставила Вавочка подъ родительскимъ кровомъ, и Нина Александровна, одумавшись, приходила опять къ тому заключенію, что изъ окружавшихъ ее людей мужикъ Сбоевъ все-таки лучше всѣхъ.

Да, мужикъ Сбоевъ не дремалъ. Пока Павелъ Павлычъ разыгрывалъ свою роль благороднаго отца, онъ успѣлъ съѣздить въ Петербургъ и „подъ рукой“ собралъ свѣдѣнія о „прохвостѣ“, какъ Сбоевъ называлъ про себя Камкина. Вернувшись въ Москву, онъ сейчасъ же отправился съ докладомъ къ Нинѣ Александровнѣ.

— Видѣлъ я ихъ, Нина Александровна,—заявилъ онъ безъ всякихъ предисловій.—Иду этакъ по Невскому вечеромъ... электричество и протчее... А онѣ, Варвара Павловна, навстрѣчу мнѣ и подъ ручку съ бариномъ. Еще краше стали, потому какъ одѣты по модѣ. Накидка на нихъ, можетъ, всю тыщу рублей стоитъ... шапочка соболиная, мухточка... По всей формѣ.

Нинѣ Александровнѣ сдѣлалось дурно, и Сбоевъ долженъ былъ отваживаться съ ней. Какъ бывшій дворовый, онъ зналъ всякое обхожденіе съ „настоящими господами“.

— Что же она... Вавочка?..—слабымъ голосомъ спрашивала Нина Александровна, когда пришла въ себя.—Узнала тебя?..

— Какъ не узнать, сударыня, когда на Невскомъ свѣтло, какъ днемъ.. Узнали и этакъ только головкой кивнули. Только и всего... Ну, я за ними этакъ издали, а они въ тіятръ. И я въ тіятръ... Высмотрѣлъ: въ отдѣльной ложѣ сидѣли. Послѣ тіятра подкараулилъ у подъѣзда и сослѣдилъ дальше. Сперва поѣхали въ ресторанъ господина Бореля, поужинали, а потомъ повернули домой, въ „Европейскую гостиницу“. Ничего, номеръ превосходный. Я съ швейцаромъ познакомился и водилъ его въ пивную—пару пива выпить... Обнаковенно, онъ барина одобряетъ весьма, только, говоритъ, въ клубѣ въ карты играетъ до бѣлаго свѣта.

Нина Александровна слушала Сбоева, опустивъ голову, а когда онъ кончилъ докладъ, протянула руку и сказала:

— Лука Агаѳонычъ, я, право, не знаю, какъ тебя и благодарить...

— Помилуйте, сударыня, какая благодарность. Признаться сказать, я для себя хлопоталъ...

— Какъ для себя?..

Сбоевъ оглянулся на запертую дверь, встряхнулъ головой и шопотомъ сообщилъ:

— Видите ли, какое дѣло-съ, Нина Александровна... Варвара Павловна были превосходная барышня, по всей формѣ, можно сказать, и я ими завсегда любовался. Теперь у меня домъ, всякое обзаведенье и кромѣ того капиталъ... На Таганкѣ и то знаютъ Луку Сбоева, ежели кому какая причина случится. Хорошо-съ... Всѣмъ достаточны, Нина Александровна, и взысканы отъ Господа, можно сказать, черезъ число. Только, конечно, сынъ Никешка одинъ, какъ перстъ... Малый глупъ—это точно, а ежели бы... къ примѣру говорю... я такъ прикидывалъ, значитъ, умомъ...

Нина Александровна поднялась, выпрямилась и гордо указала Сбоеву на дверь. Подрядчикъ не ожидалъ такого дѣйствія своихъ словъ именно теперь, когда Вавочка—„изъ поля вонъ“.

— Какъ вамъ угодно, Нина Александровна, — бормоталъ онъ, выпячиваясь изъ кабинета.—Только ежели такіе ваши поступки, такъ вы поищите себѣ фатеру гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ.

Отвѣтомъ былъ все тотъ же нѣмой жестъ оскорбленной матери.

VII

У Любарскихъ происходили двойные сборы: прежде всего нужно было отправить Павла Павлыча въ Петербургъ, чтобы накрыть бѣглянку по свѣжему слѣду, а потомъ—переѣхать на новую квартиру. Послѣднее, конечно, всецѣло выполнилось одной Ниной Александровной и не считалось особенно труднымъ, потому что самъ Павелъ Павлычъ терпѣть не могъ такихъ геологическихъ переворотовъ въ своей обстановкѣ и, предоставивъ все женѣ, скромно удалился куда-нибудь въ гости на цѣлый день. Теперь Нина Александровна какъ-то совсѣмъ туго отнеслась къ своему положенію, хотя еще не имѣла въ виду другой квартиры: все ея вниманіе было поглощено поѣздкой Павла Павлыча въ Петербургъ. Необходимо придумать дорожный зимній костюмъ для него, найти денегъ и т. д. Павелъ Павлычъ тоже былъ поглощенъ своей миссіей и цѣлыхъ три дня разыскивалъ по Москвѣ приличную дорожную

сумку. Наконецъ все было устроено какъ слѣдуетъ, и отъѣздъ Павла Павлыча откладывался изъ-за пустяковъ: выбирали счастливый день, хорошую погоду и благопріятный сонъ, а Павелъ Павлычъ ежедневно примѣривалъ свой дорожный костюмъ и передъ зеркаломъ изучалъ позы скромнаго путешественника съ таинственнымъ порученіемъ.

Разъ Павелъ Павлычъ такъ увлекся репетиціей своей роли передъ зеркаломъ, что совершенно не слыхалъ ни звонка въ передней, ни того, какъ горничная выскочила отворять дверь,—рѣшительно ничего, какъ и всякій бы другой на его мѣстѣ. Нина Александровна выглянула изъ столовой, гдѣ связывала узлы съ столовымъ бѣльемъ. Въ передней послышались легкіе шаги, и въ залу вошла... Вавочка!.. Можете себѣ представить изумленіе papa и maman. Это было неописуемый моментъ: Павелъ Павлычъ вытянулся, принялъ величественную позу и смотрѣлъ то на жену, то на дочь; Нина Александровна схватилась одной рукой за дверь и точно застыла, устремивъ на дочь всепроникающій, испуганный и любящій взглядъ, какъ умѣютъ смотрѣть одни матери, а Вавочка, сдѣлавъ два нерѣшительныхъ шага и опустивъ голову, остановилась въ покорной позѣ кающейся грѣшницы.

— Мама...

— Молчи, несчастная, — драматическимъ шопотомъ предупредилъ ее Павелъ Павлычъ, дѣлая соотвѣтствующій жестъ правой рукой.—Для тебя не существуетъ больше этого святого слова... Исчадіе ада, какъ ты смѣла переступить порогъ закрытаго для тебя навсегда крова? Понимаешь ли ты— навсегда!.. Одно твое преступное дыханіе уже заражаетъ воздухъ...

Легкій крикъ прервалъ эту сцену въ самый интересный моментъ,— Нина Александровна тяжело и некрасиво прислонилась къ косяку двери, а потомъ повалилась на полъ. Вавочка едва успѣла подхватить ее на руки, но суровый и непреклонный отецъ молча оттолкнулъ ее. Онъ самъ поднялъ жену и отнесъ ее на рукахъ въ спальню, а Вавочка одна оставалась въ залѣ и какъ-то безнадежно смотрѣла на знакомыя стѣны, на безпорядочно составленную мебель, на какіе-то узлы по угламъ и на диванѣ. Она не понимала происшедшей въ ея отсутствіе перемѣны и кончила тѣмъ, что сняла свою зимнюю мѣховую шапочку и покорно усѣлась на ближайшее кресло.

Да, Вавочка сидѣла въ той самой залѣ, которая такъ ей недавно еще своимъ приличнымъ убожествомъ, и ее постепенно охватывало еще неиспытанное чувство отчужденности и холода, точно она умерла. Величественное презрѣніе отца и обморокъ матери нисколько ея не тронули, какъ неизбѣжное зло ветъ всей этой фальшивой обстановки, а между тѣмъ ей некогда разыгрывать комедіи. Она едва дождалась, когда въ дверяхъ столовой показался папа и величественнымъ жестомъ открылъ дорогу въ комнату матери. Когда Вавочка проходила мимо отца, то съ удивленіемъ замѣтила, какъ затряслась у него нижняя челюсть и жалко заморгали глаза, такъ что онъ долженъ былъ отвернуться, чтобы скрыть это настоящее проявленіе своего отцовскаго горя.

Нина Александровна лежала въ постели и показалась Вавочкѣ такой маленькой, почти дѣвочкой, если бы не это сморщенное старое лицо, выдѣлявшееся на бѣлой подушкѣ желтымъ пятномъ. Она закрыла глаза, когда дочь вошла въ комнату, и знакомъ попросила ее сѣсть на стулъ возлѣ ея ложа.

— Ты насъ убила...—зашептали сухія губы съ старческой синевой.— Но наша жизнь прошла, а придется жить тебѣ, и... и есть возмездіе... есть правосудіе...

Вавочка покорно опустила свою махровую головку,—этотъ приступъ сразу расхолодилъ ее. То чувство жалости и нѣжности, которое начинало ею овладѣвать, сразу разсѣялось. А Нина Александровна не замѣчала настроенія дочери и продолжала въ томъ же духѣ. Это былъ горячій потокъ упрековъ, жалобъ, увѣщаній, просьбъ и слезъ, слезъ безъ конца, какъ можетъ говорить одна любовь.

— Человѣкъ, который дѣйствительно любитъ, никогда не поставитъ женщину въ фальшивое положеніе,—повторяла Нина Александровна, поднимаясь на подушкѣ.—Да... А вырвать дѣвушку изъ порядочной семьи и... и... Что̀ тебя ждетъ, Вавочка?.. Подумай о томъ, что ты можешь быть матерью... Наконецъ мы не знаемъ, кто такой этотъ Камкинъ, и, какъ оказалась, его никто не знаетъ. Отчего онъ самъ не явился, а подослалъ тебя? Такъ порядочные люди не дѣлаютъ.

— Мама, я знаю только одно, что онъ любитъ меня, а я его люблю.

— Это не отвѣтъ, моя милая.

— Онъ женатъ и хлопочетъ о разводѣ.

— Ты видѣла его жену.

— Нѣтъ.

— Значитъ, онъ лжетъ, чтобы выиграть время. Тебя сама судьба привела въ Москву, а промедли одинъ какой-нибудь день—тогда я не поручилась бы ни за что... Отецъ совсѣмъ собрался въ Петербургъ, — ты видѣла уже его въ дорожномъ костюмѣ. Представь себѣ встрѣчу его съ твоимъ... твоимъ любовникомъ...

— Мама...

Вавочка вдругъ заплакала, заплакала, какъ дѣвочка, у которой отняли любимую куклу. Она закрыла лицо руками, и высокая молодая грудь заходила упругой волной. Слезы матери и дочери смѣшались, а потомъ послѣдовали слова утѣшенія и та материнская ласка, которой не замѣнитъ ничто на свѣтѣ. Видимо, Вавочка стояла уже на пути къ раскаянію, и только оставалось воспользоваться этимъ благопріятнымъ моментомъ. Начались поцѣлуи, радостный шопотъ и т. д.

Между прочимъ, Нина Александровна не могла удержаться, чтобы не сообщить дочери про дерзость Сбоева, который осмѣлился ей высказать свои гнусныя предположенія относительно идіота Никешки. Конечно, она указала ему на дверь, а онъ отказалъ отъ квартиры. Вообще оказался страшный мужикъ и нахалъ.

— Мама, ты погорячилась...—замѣтила Вавочка въ раздумьѣ.—И такъ какъ дѣло вышло изъ-за меня, то позволь мнѣ самой переговорить съ Лукой Агаѳонычемъ.

— Никогда!.. Какъ онъ смѣлъ даже подумать, что ты могла когда-нибудь выйти замужъ за его Никешку. Если мы не богаты, то это еще не даетъ права дѣлать дерзости.

— Во-первыхъ, мама, ничего обиднаго въ этомъ нѣтъ, а во-вторыхъ, Лукѣ Агаѳонычу многое можно извинить за его необразованность. По-своему онъ совершенно правъ... И въ-третьихъ, наконецъ, мама, даже говорить теперь объ этомъ немного поздно. Я не хочу, чтобы изъ-за меня ты безпокоилась переѣздомъ на новую квартиру...

Слушая эти рѣчи, Нина Александровна могла только развести руками: неужели это говоритъ Пустышка, глупая Пустышка, которая не имѣла отъ рожденія ни одного таланта?.. Въ ихъ положеніи искать другую квартиру, дѣйствительно, было безуміемъ, и затѣмъ—кто другой замѣнитъ ей, Нинѣ Александровнѣ, всезнающаго Сбоева?..

— Я не понимаю ничего...—печально проговорила Нина Александровна, опуская голову.—Необходимо переговорить съ отцомъ, отъ котораго, конечно, зависитъ все.

Павелъ Павлычъ все время, пока шли эти переговоры, въ волненіи шагалъ по своему кабинету. Дорожный костюмъ былъ снятъ и брошенъ въ уголъ,—это огорчало почтеннаго отца семейства больше всего. Для чего же онъ столько времени хлопоталъ, выбивался изъ силъ и вообще затратилъ всю свою наличную энергію? Когда въ залѣ послышались шаги, онъ принялъ гордую осанку рѣшившагося на все человѣка. Дѣловой видъ появившихся въ дверяхъ женщинъ непріятно изумилъ его, а покорность, съ какой смотрѣла на него Вавочка, начинала его бѣсить. Что̀ такое—помириться съ Сбоевымъ, который осмѣлился нанести несмываемое оскорбленіе всей фамиліи—нѣтъ, ужъ извините, mesdames!.. Именно такъ могутъ разсуждать только бабы, и хорошо, что онъ, Павелъ Любарскій, еще въ состояніи понимать, что̀ такое фамильная честь...

Вавочка глазами попросила мать выйти изъ комнаты и осталась съ отцомъ одна. Она дала прежде всего полную волю ему высказаться и только покорными глазами слѣдила за каждымъ его движеніемъ.

— Если ты покрыла позоромъ наши сѣдыя головы, то это еще не даетъ права всякому мужику топтать насъ въ грязь!—кричалъ Павелъ Павлычъ.—Я перенесу отъ равнаго себѣ оскорбленіе, я наконецъ буду бороться съ нимъ, но позволить мужику, холопу...

Эта послѣдняя комедія продолжалась ровно часъ, пока истощился весь запасъ заготовленныхъ Павломъ Павлычемъ фразъ, а потомъ онъ устало опустился въ кресло и сказалъ:

— А впрочемъ, я умываю руки... Дѣлайте, что̀ знаете..

VIII.

Сбоевъ по своему обыкновенію сидѣлъ за воротами на лавочкѣ, когда Вавочка возвращалась съ перваго свиданія съ родителями. Она было-прошла мимо него, но оглянулась, остановилась и въ раздумьѣ подошла сама къ нему.

— Развѣ вы меня не узнаёте, Лука Агаѳонычъ?—спросила она, протягивая свою узенькую ручку въ перчаткѣ.

— Какъ не узнать, Варвара Павловна... Даже весьма узнали!..

Вавочка еще разъ оглянулась и проговорила:

— Приходите сегодня на Чистые Пруды... третья лавочка со входа. Я буду васъ ждать.

— Помилуйте, зачѣмъ же безпокоиться... Заверните лучше ко мнѣ въ избушку, Варвара Павловна.

— Нѣтъ, тамъ будетъ удобнѣе, а мнѣ необходимо серьезно съ вами поговорить.

Вавочка еще разъ протянула Сбоеву свою ручку, улыбнулась и легкой походкой пошла по тротуару. А Сбоевъ стоялъ у своей лавочки безъ шапки и долго провожалъ уходившую барышню глазами.

— Ахъ, барышня, барышня...—шепталъ онъ, встряхивая головой.—Пропала, видно, наша красота ни за грошъ, ни за копеечку! Однако ловко: „приходите на Чистые Пруды“...

Въ первую минуту Сбоевъ рѣшилъ, что не пойдетъ—онъ заподозрѣлъ подвохъ, но чѣмъ ближе было дѣло къ вечеру, тѣмъ сильнѣе его начинало тянуть.—„И ловкая барышня! Тоже не пошла во флигель, потому эта фефела

Маремьяна Прокопьевна еще скандалъ бы ей сдѣлала... И ручку сама протянула. Эхъ, и ласковая только барышня!..“

Въ назначенное время онъ былъ уже на Чистыхъ Прудахъ и занялъ третью лавочку. Хорошо, что было темно и публика на бульварѣ гуляла незнакомая. Все-таки Сбоеву было совѣстно, когда проходившія мимо бульварныя барышни улыбались, глядя на него. До старости дожилъ, а по бульварамъ никогда не шлялся—легко сказать. Прошло съ полчаса, а Вавочки не было. На Сбоева напало раздумье: а что̀ если она и совсѣмъ не придетъ, а онъ стараго дурака свалятъ... Онъ даже поднялся при этой мысли и только хотѣлъ итти, какъ его остановилъ знакомый голосъ:

— Куда это вы, Лука Агаѳонычъ, собрались бѣжать? Ахъ, нехорошо обманывать.

Это была она. Сбоевъ пробормоталъ что-то безсвязное и все оглядывался по сторонамъ, точно боялся какой засады. Вотъ бы Маремьяна Прокопьевна увидала его на бульварѣ съ барышней, такъ задала бы жару-пару...

— Вотъ что̀, Лука Агаѳонычъ,—заговорила Вавочка, смѣло поднимая вуалетку на лобъ.—Зачѣмъ вы гоните маму съ квартиры?..

— Моей причины тутъ никакой нѣтъ, барышня, и я Нину Александровну всегда, можно сказать, какъ родную мать почиталъ... Еще сызмальства подверженъ былъ завсегда вашей фамиліи и могу чувствовать...

— Хорошо, хорошо... Значитъ, вы завтра явитесь къ maman и извинитесь передъ ней, а она добрая и проститъ васъ.

— Позвольте, барышня... т.-е. никакъ невозможно это самое дѣло!

— А если я [illegible] прошу—значитъ, возможно... Это разъ. Я вѣдь не обижаюсь на васъ [illegible] сдѣлайте это для меня.

— Эхъ, барышня, барышня, обочли вы старика!.. Не то было удумано,— ну, да Господь съ вами... Будь по вашему!

Вавочка опять протянула ручку и крѣпко пожала лапу Луки Агаѳоныча. Онъ смущенно поднялся, чтобы итти домой.

— Вѣдь я не обижаюсь на васъ, Лука Агаѳонычъ,—говорила Вавочка съ какой-то особенной ласковостью,—вы и сдѣлайте это для меня... Только для меня!.. Кто знаетъ, можетъ-быть, и я вамъ когда-нибудь пригожусь.

Сбоевъ ушелъ со свиданья въ какомъ-то туманѣ и самъ удивлялся, какъ это онъ легко согласился на все. Что-то ему будетъ отъ Маремьяны Прокопьевны, когда та узнаетъ, что Любарскіе остаются. Пожалуй, еще задуритъ баба... „Эхъ, барышня, барышня!..“—повторялъ Сбоевъ, встряхивая головой.

Маремьяна Прокопьевна дѣйствительно поднялась на дыбы, и Сбоеву пришлось укрощать ее домашними средствами.

— Молчать, капустный звѣрь, а то раздавлю!—оралъ Сбоевъ.—Не твоего ума дѣло... Не ты наживала деньги-то!..

У Сбоева все-таки сдѣлалось легче на душѣ, когда все дѣло устроилось и пошло по-старому. Пусть поживутъ господа,—не съѣдятъ его. Въ немъ жило смутное чувство рабьей покорности вотъ этимъ самымъ настоящимъ господамъ, а что̀ касаемо Вавочки, такъ это ужъ само собой вышло, и ничьей тутъ причины нѣтъ.

Какъ Вавочка сказала, такъ Сбоевъ и сдѣлалъ. Тяжело ему было итти съ повинной къ Нинѣ Александровнѣ, но дѣваться некуда. Нина Александровна приняла извиненія „мужика“ и даже расчувствовалась до слезъ

— Простите на глупомъ словѣ,—повторялъ Сбоевъ:—не хотѣлъ обидѣть, а такъ сорвалось съ языка...

— Не будемъ поминать стараго, Лука Агаѳонычъ. Я тоже была не права съ своей стороны...

Послѣ этого вступленія они разговорились попрежнему. У Нины Александровны за время ссоры накопилось нѣсколько такихъ дѣлъ, о которыхъ нужно было посовѣтоваться съ Сбоевымъ. Между прочимъ, она сообщила ему, что выдала Вавочкѣ довѣренность по имѣнію. Сбоевъ даже развелъ руками отъ изумленія.

— Да для чего имъ, Варварѣ Павловнѣ, довѣренность ваша?—удивлялся Сбоевъ.

— А что̀ же я одна-то подѣлаю, Лука Агаѳонычъ — оправдывалась Нина Александровна.—Ты тогда гналъ насъ, Павелъ Павлычъ въ такихъ дѣлахъ ничего не понимаетъ, а я стара стала... Какъ-то оно само собой вышло.

— Да, оно тово... Конечно, Варвара Павловна родная вамъ дочь, а все-таки оно тово...

— Да вѣдь я могу уничтожить ее, довѣренность-то?

— Это точно, а все-таки вы напрасно, Нина Александровна... Боюсь я сказать вамъ настоящее-то...

— Ахъ, пожалуйста, безъ церемоній!

Сбоевъ оглядѣлся и сообщилъ шопотомъ.

— А я такъ полагаю, Нина Александровна, не подослалъ ли Варвару-то Павловну тотъ?.. Женское дѣло слабое, ужъ извините меня, а нынче какой народъ...

— Ну, это вздоръ! Я отлично знаю Вавочку...

Этимъ разговоръ и кончился, и каждый остался при собственномъ мнѣніи.

„Эхъ, дала маху Нина Александровна, — думалъ про себя Сбоевъ. — Конечно, это тотъ подослалъ Вавочку, а гдѣ ей самой удумать такое дѣло... Конечно, имѣнье не важное, а на худой конецъ тысячъ десять стоитъ“.

Жизнь пошла своимъ чередомъ, и Вавочка точно канула въ воду. Нина Александровна получала отъ нея изрѣдка письмо съ подробнымъ отчетомъ о дѣлахъ по имѣнію. Камкинъ оказывался дѣловымъ человѣкомъ и приводилъ все въ строгій порядокъ. Вавочка даже выслала часть полученныхъ съ имѣнія доходовъ. Дѣло о разводѣ подвигалось впередъ медленно, но Вавочка разсчитывала, что черезъ годъ все устроится. Эти письма очень успокаивали Нину Александровну, а Павелъ Павлычъ говорилъ:

— Что̀ же, можетъ-быть, все къ лучшему... Конечно, г. Камкинъ поступилъ съ нами нехорошо, но все-таки сейчасъ видно порядочнаго человѣка. Кровь—великое дѣло...

На шестой недѣлѣ Великаго поста, когда Сбоевъ сидѣлъ на своей лавочкѣ за воротами, какой-то прилично одѣтый господинъ подалъ ему длинный конвертъ съ адресомъ, написаннымъ женскимъ изящнымъ почеркомъ.

— Это не мнѣ...—говорилъ старикъ, повертывая письмо въ рукахъ.

— Нѣтъ, вамъ-съ... Вѣдь вы Лука Агаѳонычъ Сбоевъ?

— Да вы-то кто такой будете?

— Я-съ? А я при номерахъ, гдѣ остановились Варвара Павловна. Онѣ просили безпремѣнно отвѣтъ...

Сбоевъ съ трудомъ разобралъ любезное приглашеніе непремѣнно пожаловать по очень важному дѣлу въ меблированныя комнаты на углу Газетнаго и Тверской. Записка была подписана лаконически: „Ваша Вавочка“.

— Хорошо, буду,—отвѣтилъ Сбоевъ и сейчасъ же спохватился, но лакей уже ушелъ.—Охъ, неладно слово сорвалось... Зачѣмъ я къ ней пойду, да еще вечеромъ?

Послѣ цѣлодневнаго раздумья Сбоевъ однако пошелъ по адресу записки, какъ тогда на Чистые Пруды. Вавочка сама встрѣтила его въ дверяхъ своего номера. Номеръ былъ чистенькій, но скромный. На столѣ кипѣлъ самоваръ. Сбоевъ осторожно оглядѣлся и только послѣ этого рѣшился войти.

— Сначала напьемся чаю...—весело щебетала Вавочка, торжественно стяося сбоевскій картузъ на столикъ къ зеркалу.—Вы какой любите—крѣпкій или слабый?

— Мнѣ все единственно, Варвара Павловна...

— А я безъ васъ соскучилась, Лука Агаѳонычъ. Все-таки вы свой человѣкъ...

Вавочка за зиму еще похорошѣла. Дѣвичья угловатость смѣнилась женской мягкостью формъ и движеній. Сбоевъ чувствовалъ, что ему не слѣдуетъ здѣсь оставаться, но его удерживала какая-то неотразимая сила.

— Я еще не успѣла увидать мамы,—разсказывала Вавочка, ухаживая за подозрительно поглядывавшимъ на нее старикомъ.—На-дняхъ буду у васъ... То-есть къ вамъ-то мнѣ не совсѣмъ удобно итти, вотъ я и рѣшилась пригласить васъ къ себѣ.

— Конечно, необразованность у насъ одна, Варвара Павловна,—проговорилъ Сбоевъ и широко вздохнулъ, вспомнивъ орущую Маремьяну Прокопьевну.

Вавочка пересадила гостя съ кресла на диванъ и смотрѣла на него своими свѣтлыми, ласковыми глазами. Сбоеву дѣлалось даже жутко подъ этимъ взглядомъ, а воротъ ситцевой рубахи начиналъ давить его шею, особенно когда Вавочка сѣла рядомъ съ нимъ и положила свою ручку къ нему на плечо.

— Я хотѣла посовѣтоваться съ вами, Лука Агаѳонычъ,—заговорила она уже тихо, совершенно другимъ голосомъ.—Вы, вѣроятно, знаете, что мама выдала мнѣ довѣренность на имѣніе и... и оно будетъ продано за долги, если завтра я не внесу трехъ тысячъ. Всего какихъ-нибудь жалкихъ три тысячи,—даже и не деньги, а одна подпись на векселѣ... Мама иначе будетъ разорена, у нея ничего не останется.

Сбоевъ поднялся, застегнулъ сюртукъ и проговорилъ:

— Прощенья просимъ, Варвара Павловна... Мы эфтакими дѣлами даже и не занимаемся, чтобы векселя. Ужъ вы меня извините, Варвара Павловна, а какое колѣно вы подъ меня-то подвели... Я вѣдь тоже не дуракъ и могу понимать, что̀ и къ чему слѣдоваетъ. Не вамъ бы, сударыня, такими дѣлами заниматься... Прощайте-съ...

Вавочка закрыла поблѣднѣвшее лицо руками и отошла къ окну. Сбоевъ взялъ свой картузъ и на цыпочкахъ вышелъ изъ номера,—она не шевельнулась, не позвала его, не кликнула... Въ коридорѣ онъ остановился. Въ номерѣ попрежнему все было тихо. Онъ пріотворилъ дверь и прислушался: Вавочка плакала тихо-тихо, какъ плачутъ больныя дѣти. Она попрежнему стояла у окна, закрывъ лицо руками, а сквозь тонкіе пальцы крупныя слезы такъ и сыпались, какъ жемчугъ съ порвавшейся нитки.

— Варвара Павловна...

Молчаніе и легкія всхлипыванія. Сбоевъ бросилъ свой картузъ на стулъ и тяжело переступилъ съ ноги на ногу.

— Варвара Павловна, голубушка... да неужели мнѣ жаль трехъ тысячъ? Ежели бы это для васъ,—да кожу бы съ себя снялъ да вамъ отдалъ... Не для себя вы просите и не для себя униженіе принимаете предо мной, передъ мужикомъ.

Вавочка отняла руки отъ лица и такъ посмотрѣла на Сбоева своими опухшими отъ слезъ глазами, что онъ только замоталъ головой.

— Я не стыжусь ни своего униженія ни своихъ слезъ...—отвѣтила она съ гордостью.—Не вы—такъ дастъ кто-нибудь другой!..

Точно ножомъ ударила она Сбоева послѣдней фразой, да и гордость эта проняла его.

— Давайте бумагу,—проговорилъ онъ.—Не хочу, чтобы вы, моя безцѣнная барышня, да стали унижать себя передъ кѣмъ другимъ... Даромъ такихъ денегъ не даютъ.

Вавочка сходила за ширму и принесла уже готовый векселъ, и Сбоевъ подписалъ.

— Что̀ же, довольны вы мной, сударыня?—спрашивалъ онъ уже со злобой въ голосѣ.—Эхъ, барышня, барышня...

Она порывисто бросилась къ нему на шею и горячо поцѣловала прямо въ губы, такъ что Сбоевъ не успѣлъ даже опомниться.

— Нѣтъ, зачѣмъ же, Варвара Павловна...—бормоталъ онъ растерянно.—Это ужъ вы напрасно... не трехъ тысячъ это самое сто̀итъ...

IX.

Сбоеву „попритчилось“, какъ говорила Маремьяна Прокопьевна. Онъ всѣмъ былъ недоволенъ, ворчалъ на всѣхъ и вообще не находилъ мѣста. Особенно доставалось несчастному Никешкѣ, какъ тотъ ни старался не попадаться отцу на глаза. Дѣла свои Сбоевъ запустилъ и жилъ только рѣдкими пріѣздами Вавочки въ Москву. Она безъ церемоніи взяла у него еще денегъ, „для гладкаго счета“, какъ объяснилъ самому себѣ Сбоевъ.

— Не прикажите ли еще, Варвара Павловна?—говорилъ онъ, глядя въ упоръ на улыбавшуюся дѣвушку.—Могу соотвѣтствовать, только бы вамъ было весело...

— Мнѣ совѣстно, Лука Агаѳонычъ...

— Не у меня, такъ у другого возьмете.

Этотъ „другой“ являлся для Сбоева какимъ-то злымъ духомъ. Онъ уже примирился съ Камкинымъ, какъ мирятся съ неизбѣжнымъ зломъ, и боялся только того, чтобы Вавочка не пошла съ рукъ на руки, какъ выпущенная изъ банка въ оборотъ новенькая монета. Если ужъ его не постыдилась, то другихъ не постыдится и подавно. Съ Камкинымъ онъ познакомился совершенно случайно, когда распивалъ чай у Вавочки,—первое впечатлѣніе было не въ пользу стрикулиста, а потомъ Сбоевъ нашелъ, что это—обходительный баринъ. Навѣрно, плутъ, а все-таки обходительный. Камкинъ держался серьезно и велъ настоящій, дѣловой разговоръ. Можетъ, онъ и обстоятельный господинъ, только вотъ деньгами замѣтно подшибся,—ну, и фиктитъ. Нина Александровна тоже хвалила его.

— Слава Богу, доходъ съ имѣнья теперь вдвое,—говорила она.—Вавочка по третямъ деньги высылаетъ и какъ аккуратно...

Сбоевъ только мычалъ: зналъ онъ эту Вавочкину аккуратность и чьи денежки получала съ имѣнья Нина Александровна. Приходилось только отмалчиваться и мотать себѣ на усъ. Принимать Камкина Нина Александровна все еще не рѣшалась изъ боязни разговоровъ и пересудовъ, потому что какъ его и назвать—не подберешь: зять не зять, любовникъ не любовникъ. Все-таки не слѣдуетъ лѣзть въ глаза, а когда будетъ полученъ разводъ—тогда другое дѣло. Успокоивало Нину Александровну и то, что Сбоевъ относился къ Вавочкѣ съ особеннымъ вниманіемъ, какъ будто ничего особеннаго не

случилось. О Камкинѣ онъ тоже ничего дурного не говорилъ, хотя и кряхтѣлъ, когда Нина Александровна начинала вывѣдывать о немъ наводящими вопросами.

— А между прочимъ, чужая душа—потемки,—заканчивалъ обыкновенно такіе разговоры Сбоевъ и сейчасъ же уходилъ.

— Этого-то какая муха укусила?—удивлялась Нина Александровна.

Что̀ происходило съ Сбоевымъ—трудно объяснить. Это не было чувствомъ любви съ его сладкимъ безуміемъ, чарующими грезами и окрыляющимъ жаромъ. Сбоеву дѣлалось тошно, тоска давила его, и онъ успокаивался только въ присутствіи Вавочки, какъ успокаиваются пьяница или наркотикъ, принявъ извѣстную дозу отравы. Другими словами, онъ не могъ жить безъ Вавочки. Его неудержимо тянуло къ ней—и только. Ни одна дурная мысль, ни одно нескромное желаніе не омрачили этого необъяснимаго тяготѣнія. Сбоевъ прожилъ цѣлую жизнь безъ тонкихъ душевныхъ волненій, и чувство любви дремало въ немъ неудовлетвореннымъ позывомъ, а теперь оно охватило его неудержимой волной, и онъ даже не пробовалъ ему сопротивляться. Знахари и бабы-лѣкарки называютъ это дьявольскимъ навожденіемъ, приворотомъ, присухой и вообще произведеніемъ темной, нечистой силы. То же сказалъ бы и самъ Сбоевъ, если бы могъ посмотрѣть на себя со стороны.

Два раза, бросивъ всѣ свои дѣла, Сбоевъ уѣзжалъ въ Петербургъ, чтобы хоть издали посмотрѣть на Вавочку. Лѣзть прямо къ ней на квартиру онъ не рѣшался, какъ это дѣлалъ въ Москвѣ, потому что въ Питерѣ совсѣмъ другіе порядки, Камкинъ занималъ прекрасную квартиру на Владимирской, обставленную совсѣмъ по-барски; были и свои лошади, и экипажи, и настоящая барская прислуга. Откуда только все это бралось... Впрочемъ, о послѣднемъ Сбоевъ и не думалъ, потому что—какъ же иначе Вавочка и могла жить. Онъ, по обычаю, познакомился съ прислугой Камкина и черезъ нее изучилъ до мельчайшихъ подробностей всю жизнь молодой четы. Живутъ широко и ни въ чемъ себѣ не отказываютъ, а часто бываетъ и такъ, что Вавочка занимаетъ рублями у собственной горничной. По вечерамъ часто бываютъ гости, играютъ въ карты, пьютъ дорогія вина и проч. До одного только не могъ добраться Сбоевъ—чѣмъ занимался Камкинъ.

— Да развѣ онъ одинъ такъ-то живетъ?—удивлялся лакей, сообщавшій Сбоеву эти подробности.—Много ихъ такихъ-то... Однимъ словомъ, баринъ форменный! Въ другой разъ у него денегъ бугры, а то и нѣтъ ничего...

Одно не нравилось Сбоеву, именно, что у Камкина бывали одни мужчины, а знакомыхъ дамъ совсѣмъ не было. Это ужъ не порядокъ для настоящаго барскаго дома: какъ же возможно безъ дамъ... Сбоевъ отлично помнилъ всѣ барскіе распорядки и чуялъ что-то недоброе.

Такимъ образомъ онъ прожилъ въ Петербургѣ около недѣли и только въ концѣ рѣшился представиться Вавочкѣ. Онъ улучилъ минуту, когда Камкина не было дома, а Вавочка только еще поднялась съ постели—самое подходящее время, когда настоящія барыни принимаютъ нужныхъ людей. Конечно, Сбоевъ проникъ черезъ кухню и терпѣливо ждалъ своей участи въ лакейской. Когда вернулась бѣгавшая съ докладомъ горничная, онъ отъ волненія чуть не задохся.

— Пожалуйте...

Вавочка ждала его въ столовой и встрѣтила съ радостью, какъ родного. Она была въ голубомъ утреннемъ пеньюарѣ, въ туфляхъ, съ неприбранными волосами. На лицѣ еще оставались розовыя пятна отъ подушки, а глаза блестѣли влагой.

— Давно ли вы здѣсь, Лука Агаѳонычъ?—спрашивала она, удерживая его руку въ своихъ теплыхъ, маленькихъ ручкахъ.

— Цѣлую недѣлю.

— И не зайти ко мнѣ... Это безсовѣстно!..

— Дѣла-съ, Варвара Павловна... невозможно было никакъ уосужиться...

Она усадила гостя къ столу и поставила ему свою чашку кофе, а сама такъ и смотритъ прямо въ душу своими дѣтскими глазами. Что мама? что новаго въ Москвѣ?.. Впрочемъ, она знаетъ, что все по-старому.

Когда Сбоевъ выпилъ чашку, Вавочка потащила его показывать всю квартиру—залу, гостиную, кабинетъ мужа, свой будуаръ и даже спальню. Послѣдняя была убрана, какъ бонбоньерка: розовые обои, розовыя драпировки, розовая кровать, мебель, обтянутая розовымъ шелкомъ, туалетъ изъ розоваго дерева и т. д.

— Ну, что мама?—въ пятый разъ спрашивала Вавочка и сама смѣялась своей разсѣянности.—Ахъ, да, все по старому, знаю... Можетъ-быть, вы за деньгами пріѣхали, Лука Агаѳонычъ? Нѣтъ?.. Отлично. А то, можетъ-быть, выслѣживать меня, какъ въ тотъ разъ?.. Ну, признавайтесь... А я вотъ рада васъ видѣть, какъ родного.

Сбоевъ, подогрѣтый этимъ вниманіемъ и лаской, откровенно высказалъ свое мнѣніе, что все у нихъ хорошо и вездѣ порядокъ, а недостаетъ только дамъ. Не порядокъ вообще для настоящаго барскаго дома. Это объясненіе разсмѣшило Вавочку до слезъ. Она схватилась рукой за грудь и упала на розовую кушетку—смѣхъ ее просто душилъ. Въ дверяхъ показалось улыбавшееся лицо горничной, а потомъ и самъ Камкинъ. Неожиданное появленіе этого послѣдняго сильно смутило Сбоева, и онъ неловко началъ прощаться.

— Куда?—коротко спрашивалъ Камкинъ, удерживая его за рукавъ московскаго кафтана.—Нѣтъ, такъ порядочные люди не дѣлаютъ... А если бы Вавочка захохоталась до смерти?.. Разсмѣшилъ и бѣжать...

— Извините ужъ на нашей простотѣ, Егоръ Евгеньичъ.

— Не могу, голубчикъ.

А Вавочка все хохотала, не имѣя силъ сказать ни одного слова. Камкинъ увелъ Сбоева въ столовую и усадилъ позавтракать. Такая честь то ни была хуже неволи, но дѣлать нечего—приходилось покормиться. Когда вышла изъ спальни сама Вавочка, все еще вздрагивавшая отъ смѣха, Сбоеву опять сдѣлалось весело.

— Вы насъ не забывайте,—упрашивала она, когда Сбоевъ собрался уходить.—Приходите ко мнѣ попросту, безъ всякихъ церемоній. По утрамъ я совершенно свободна.

Такой пріемъ понравился Сбоеву. Настоящіе господа всегда простые, не то что какая-нибудь шушера изъ чиновниковъ или изъ своего брата купцовъ.

Черезъ мѣсяцъ онъ опять былъ въ Петербургѣ и на этотъ разъ заявился уже съ парадного хода. Вавочка еще спала, хотя было около двухъ часовъ дня: наканунѣ гости заигрались до восьми часовъ утра. Сбоева встрѣчилъ самъ Камкинъ и провелъ къ себѣ въ кабинетъ.

„Вотъ такъ попалъ“,—угнетенно думалъ Сбоевъ, разглядывая шитье на шелковомъ халатѣ барина. Онъ даже покрутилъ головой: „вотъ такъ фунтъ!“ Но Камкинъ принялъ его такъ любезно и сразу попалъ въ тонъ полудѣлового „сурьезнаго“ разговора. Старикъ почувствовалъ себя опять легко и опять откровенно заявилъ:

— Гляжу я на васъ, Егоръ Евгеньичъ, и такъ думаю про себя: въ

самый бы разъ жить вамъ у насъ въ Москвѣ... ей-Богу!.. По вашему обхожденію и деликатности, лучше и не придумать бы...

— Неудобно мнѣ сейчасъ въ Москву, Лука Агаѳонычъ, потому что у Вавочки тамъ много знакомыхъ, и никуда нельзя глазъ показать.

— Это вы точно...

— А вотъ получу разводъ, законъ приму,—ну, тогда и въ Москву.

— А ужъ я бы вамъ свой домишко приспособилъ въ лучшемъ видѣ. Право бы переѣхали, Егоръ Евгеньичъ... Вы бы въ дому жили, а Павелъ Павлычъ—во флигелѣ. Ей-Богу-съ...

Вавочка приняла Сбоева опять въ спальнѣ. Она въ постели пила утренній кофе и не хотѣла одѣваться. Камкинъ самъ привелъ его къ женѣ.

— Она къ вамъ очень неравнодушна,—пошутилъ Камкинъ, уходя изъ спальни.—Смотрите у меня...

— Помилуйте-съ...—окончательно смутился старикъ, не зная, куда ему спрятать глаза.—Ужъ я въ другой разъ лучше...

Лежавшая на кровати Вавочка натянула на себя розовое шелковое одѣяло до самыхъ глазъ и лукаво молчала. Сбоева даже въ потъ ударило, и онъ обидился. Главное, ему было совѣстно горничной, которая приготовляла барынѣ утренній костюмъ.

— Вы сердитесь?—спросила Вавочка.

— Обидно-съ, Варвара Павловна, потому что не такія мои лѣта, чтобы, напримѣръ, этакое слово Егоръ Евгеньичъ... Моложе былъ, а и то не подверженъ былъ женскому полу.

— Вы хотите разсердиться и не можете... ну, еще попробуйте!..

— Нехорошо-съ, Варвара Павловна. Я васъ въ столовой обожду-съ...

Ждать ему пришлось не долго, потому что Вавочка накинула на себя только капотъ, надѣла туфли на босыя ножки и въ такомъ видѣ вышла къ гостю. Сбоевъ былъ серьезнѣе обыкновеннаго и только тяжело вздыхалъ. Конечно, настоящія барыни дома вообще не стѣснялись, а когда Сбоевъ былъ казачкомъ, то барыни и барышни купались у него на глазахъ—его заставятъ бѣлье держать, а сами купаются. Крѣпостное было время, за человѣка не считали тогда, а теперь другое...

Посердившись немного, Сбоевъ предложилъ Вавочкѣ то же, о чемъ говорилъ Камкину, т.-е. переѣхать въ Москву. Вавочка вдругъ сдѣлалась серьезной и даже запечалилась.

— Я и сама тоже думала сколько разъ, но...—въ раздумьѣ говорила она, опустивъ голыя руки на скатерть.

— Эхъ, одно бы словечко сказали, Варвара Павловна, а я бы ужъ устроилъ все. Ей-Богу... Въ Москвѣ-то куда вольготнѣе!

— Я подумаю, Лука Агаѳонычъ, а вы не сердитесь на меня..

— Нехорошо, Варвара Павловна, опять скажу я вамъ: этакъ вы меня, лежа въ постели, примете для шутки, а потомъ и другого кого...

Это замѣчаніе опять развеселило Вавочку, и она опять принялась дурачиться, какъ школьникъ.

Мысль о томъ, чтобы перевести Вавочку въ Москву, засѣла въ головѣ Сбоева, какъ желѣзный клинъ. Только бы изъ проклятаго Питера выманить, а тамъ все будетъ на глазахъ. Самъ Камкинъ тоже обѣщалъ подумать и какъ-то особенно долго и внимательно посмотрѣлъ на Сбоева, точно хотѣлъ прочитать на немъ какую-то недосказанную мысль.

X.

У подъѣзда петербургскаго окружнаго суда съ ранняго утра стоитъ живой стѣной публика, которую вы встрѣтите только на интересныхъ процессахъ: уголовныя дамы, молодые люди неопредѣленныхъ профессій, такъ называемыя подозрительныя личности и т. д. Ровно въ десять часовъ утра показывался во дворѣ высокій, сѣдой старикъ, и публика разступалась, давая ему дорогу къ завѣтной двери.

Выглядывавшій на подъѣздъ суровый швейцаръ встрѣчалъ его съ поклономъ и, пріотворивъ одну половину двери, пропускалъ.

— Это отецъ...—шептала сбившаяся у дверей публика.—Отецъ подсудимой Любарской... да.

— Какой молодецъ, хоть и старикъ.

— Онъ отказался быть свидѣтелемъ... Да и въ головѣ у него, говорятъ, несовсѣмъ въ порядкѣ.

Да, это былъ онъ, Павелъ Павлычъ, нашъ старый знакомый. Процессъ, надѣлавшій шуму, продолжался уже цѣлыхъ три дня, и старикъ являлся въ судъ съ аккуратностью стараго служаки. Онъ посѣдѣлъ за послѣдніе полгода, пока подготовлялся процессъ Вавочки, сдѣлался задумчивымъ и порой заговаривался. Слѣдователь освободилъ его отъ свидѣтельскихъ показаній, какъ человѣка по существу дѣла безполезнаго и немножко тронутаго, что выяснилось при первомъ же допросѣ. „Вы утверждаете, что любовникъ моей дочери—мѣщанинъ Егоръ Хамкинъ,—заявилъ Павелъ Павлычъ съ достоинствомъ,—но это не правда... Моя дочь можетъ дѣлать ошибки, увлекаться, но она никогда не полюбила бы какого-то мѣщанина Хамкина. Вы ошибаетесь, г. слѣдователь. Наконецъ обратите вниманіе на манеры, а это нельзя присвоить себѣ, какъ чужія деньги. Да... я утверждаю одно, что онъ нашего круга человѣкъ и только фигурируетъ подъ чужой фамиліей“.

Раздѣвшись въ передней, Павелъ Павлычъ проходилъ въ залу судебнаго засѣданія и занималъ одно и то же мѣсто на правой скамьѣ. Въ теченіе этихъ трехъ дней онъ настолько освоился со всей обстановкой этой залы, что чувствовалъ себя въ ней какъ у себя дома. Отъ-нечего-дѣлать онъ изучилъ здѣсь все: сосчиталъ скамьи, стулья, столы, количество оконъ, запомнилъ расположеніе дверей, даже всѣ трещины и пятна на стѣнахъ, какъ это дѣлаютъ всѣ больные. Сторожа ему кланялись, какъ своему человѣку. Да, раньше онъ никогда не бывалъ въ окружномъ судѣ, потому что чувствовалъ какое-то инстинктивное отвращеніе къ гласному судопроизводству. Съ громкими дѣлами онъ знакомился по газетнымъ отчетамъ, какъ это дѣлалъ и теперь съ своимъ собственнымъ дѣломъ. По дорогѣ въ судъ онъ покупалъ двѣ большія газеты, печатавшія подробный отчетъ о дѣлѣ мѣщанина Хамкина и дворянки Варвары Любарской, и внимательно просматривалъ ихъ до начала засѣданія, отмѣчая карандашомъ неточности и пропуски.

Появленіе подсудимыхъ каждый разъ волновало старика, и онъ особенно пристально разглядывалъ Вавочку, которая въ своемъ черномъ шелковомъ платьѣ казалась ему совсѣмъ другой женщиной, а не той Пустышкой, какой она существовала до этого времени въ его родительскихъ глазахъ. Вавочка, въ свою очередь, помѣстившись на скамьѣ подсудимыхъ, отыскивала глазами отца и кивала ему головой. Камкинъ держалъ себя джентльменомъ и не обращалъ на публику никакого вниманія. Въ числѣ свидѣтелей фигурировали на первомъ планѣ Нина Александровна и Обеевъ, а затѣмъ цѣлый рядъ темныхъ личностей съ удивительно громкими фамиліями. Нина Але-

ксандровна въ своемъ скромномъ черномъ платьѣ вызывала общія симпатіи, а Сбоевъ возбуждалъ самое веселое настроеніе.

Въ теченіе трехъ дней судебнаго засѣданія выступила полная картина жизни Любарскихъ и Камкина, а затѣмъ всѣ отношенія причастныхъ къ дѣлу лицъ. Фигурировала масса тѣхъ жертвъ, которыя были обобраны Камкинымъ при помощи Вавочки, и въ томъ числѣ на первомъ планѣ Сбоевъ. Этотъ послѣдній являлся главнымъ свидѣтелемъ и съ какимъ-то ожесточеніемъ разсказывалъ рѣшительно все, что̀ только зналъ. Онъ поплатился нѣсколькими десятками тысячъ, а другіе—еще больше. Тутъ было все: и фальшивые векселя, и спаиванье во время картежной игры, и заманиванье Вавочкиной красотой. Нѣкоторыя подробности жизни Вавочки заставляли Павла Павлыча краснѣть: если она и не торговала собой, то разыгрывала съ большимъ успѣхомъ роль лакомой приманки

— Нѣтъ, это была не она, а какая-нибудь другая женщина...—упрямо повторялъ про себя Павелъ Павлычъ и опять слѣдилъ за дѣломъ съ напряженнымъ вниманіе

Его трогало до слезъ поведеніе Камкина, который все старался взвалить на себя, чтобы выгородить Вавочку,—это было благородно. Да, а они называютъ его мѣщаниномъ,—не правда-съ! Въ одномъ мѣстѣ Павелъ Павлычъ не выдержалъ и заявилъ громкое одобреніе, такъ что его едва не вывели. Что̀ же, и пусть выводятъ, а онъ все-таки заявилъ.

Содержаніе процесса могло интересовать только собравшуюся уголовную публику, падкую до пикантныхъ подробностей и обстановки совершившагося, а само по себѣ это содержаніе ничего новаго не представляло. Такихъ процессовъ прошли десятки, и всѣ они замѣчательно повторяли другъ друга. Если что̀ и было интереснаго, такъ это то, что главнымъ дѣйствующимъ лицомъ являлся простой мѣщанинъ, а затѣмъ отношенія къ нему Вавочки, слѣдовавшей за нимъ, какъ охотничья собака. Прокуроръ въ своей обвинительной рѣчи особенно напиралъ на ту среду, изъ которой вышла Вавочка, и безжалостно приводилъ мельчайшія подробности домашней обстановки Любарскихъ. Это была готовая почва для такого экзотическаго растенія, какъ неспособная ни къ какому разумному труду Вавочка, и если бы не воспользовался ею для своихъ темныхъ и грязныхъ цѣлей мѣщанинъ Хамкинъ, то на его мѣсто нашлись бы десятки другихъ героевъ легкой наживы. Знаменательно въ этомъ процессѣ именно сближеніе этихъ двухъ противоположныхъ по культурѣ людей, слившихся въ одномъ желаніи во что бы то ни стало жить на чужой счетъ. И т. д., и т. д., и т. д.

Судьи, присяжные, адвокаты и публика—всѣ были утомлены настолько, что ждали только конца, какъ и подсудимые. Вавочка уже равнодушно смотрѣла утомленными глазами на все и только ждала—когда же конецъ: что̀ угодно, только конецъ. Но Камкинъ сохранилъ энергію до конца и сказалъ свое „послѣднее слово“ съ особеннымъ эффектомъ: онъ не отрицалъ очевидныхъ фактовъ, не сваливалъ вины на другихъ, но только просилъ присяжныхъ обратить вниманіе на тотъ исключительный міръ, въ которомъ все происходило. Если сажать на скамью подсудимыхъ, то сажать всѣхъ. Особенно ядовито онъ очертилъ тѣхъ, которые на языкѣ прокурора получили громкое названіе „жертвъ“. Вавочка не сказала никакого „послѣдняго слова“.

Присяжные удалились. Наступила мертвая пауза. Нина Александровна потихоньку крестилась, Сбоевъ вытиралъ потное лицо платкомъ и все скашивалъ глаза на сидѣвшаго назади Павла Павлыча. Судебный приставъ ходилъ одинъ по залѣ и время отъ времени зѣвалъ въ руку.

„Нѣтъ, это другая женщина, не Вавочка, — думалъ Павелъ Павлычъ, опять наблюдая дочь.—Развѣ Пустышка могла надѣлать столько гадостей съ такимъ расчетомъ? Да она просто глупа, какъ была глупой всегда...“

Рѣзкій звонокъ изъ комнаты присяжныхъ заставилъ вздрогнуть всѣхъ. Совѣщаніе длилось не больше получаса. Съ шумомъ размѣстился судъ по своимъ мѣстамъ, съ шумомъ заняли свои скамьи присяжные, и старшина прочелъ вердиктъ: мѣщанинъ Егоръ Хамкинъ виновенъ по всѣмъ пунктамъ, а дворянка Варвара Любарская не виновна. Публика облегченно вздохнула и радостно загудѣла. Когда предсѣдатель объявилъ Вавочкѣ, что она можетъ вернуться въ публику, она съ недоумѣніемъ посмотрѣла на присяжныхъ и на Камкина, точно хотѣла сказать: „А какъ же онъ?“.

Нужно ли описывать, какъ встрѣтила освобожденіе дочери Нина Александровна—она такъ и замерла у нея на шеѣ. Павелъ Павлычъ вытиралъ слезы и шепталъ:

— Я говорилъ... да, я говорилъ, что оправдаютъ.

Вавочка, освободившись отъ объятій матери, заявила съ необычной для нея твердостью:

— Все равно, мама, я пойду за нимъ и въ Сибирь... Не стоило меня и оправдывать!.. Все равно пойду... да.

1908.

БЛАЖНЫЕ.

Очеркъ изъ заводскихъ нравовъ.

I.

Яркій солнечный день. Въ большія запыленныя окна заводской конторы врываются снопы ослѣпляющаго свѣта и дѣлаютъ еще неприглядне́е мертвую, казенную обстановку длинной и высокой комнаты, именуемой бухгалтерской. Голыя бѣленыя стѣны съ паутиной по угламъ, избитый въ ямы тысячами тяжелыхъ ногъ деревянный полъ, захватанныя грязныя двери, покрытые больничной клеенкой письменные столы съ грудами книгъ и бумагъ, просиженные деревянные стулья, и вездѣ пыль, соръ и грязь, какъ это бываетъ только въ полицейскихъ управленіяхъ да еще въ заводскихъ конторахъ. Ликующій солнечный свѣтъ дѣлаетъ еще ярче убожество этой специфической обстановки и заставляетъ кружиться въ воздухѣ миріады пылинокъ, точно и самый воздухъ здѣсь насыщенъ грязью. Тяжелая деревянная рѣшетка съ пузатыми балясинами раздѣляетъ бухгалтерскую на двѣ половины; въ первой, которая ближе къ входнымъ дверямъ, вѣчно толпятся запеченные мастеровые въ пеньковыхъ пряденикахъ и въ кожаныхъ фартукахъ-защиткахъ, углежоги, транспортные и разная „поденщина“, а во второй за столами возсѣдаетъ администрація. Открытая внутренняя дверь ведетъ въ кассирскую, такую же пустую и унылую комнату, гдѣ въ вѣчномъ молчаніи движется сгорбленная фигура сѣдого коренастаго кассира. На меня всѣ эти заводскія конторы производятъ самое тяжелое впечатлѣніе, потому что отъ нихъ отдаетъ и больницей, и острогомъ, и чиновничьей канцеляріей, и крѣпостными порядками. Да, эти голыя стѣны много таки-видали всякой всячины на своемъ вѣку и теперь напоминаютъ собою внутренность старинныхъ стѣнныхъ часовъ съ разными хитроумными кунштюками, въ родѣ кукушки, ворочающаго глазами льва, хриплаго боя, и съ тяжелыми гирями, гдѣ медленно двигаются десятки почернѣвшихъ отъ времени колесъ. Въ часахъ бухгалтерской десятокъ согнутыхъ надъ бумагами фигуръ замѣняли собой колеса и шестерни, а самъ бухгалтеръ, очень мрачный и неразговорчивый человѣкъ, служилъ свинцовой гирей, которая заставляла двигаться весь механизмъ.

Отъ-нечего-дѣлать я частенько захаживалъ въ бухгалтерскую выкурить папиросу и покалякать съ служащими объ охотѣ и разныхъ мелочахъ сложнаго заводскаго быта. Черемшанскій заводъ имѣлъ семь тысячъ населенія, но общественныхъ интересовъ здѣсь не полагалось, кромѣ обычныхъ дрязгъ глухой провинціальной жизни—именинъ, картъ, выпивокъ, разныхъ анекдотовъ и просто сплетенъ. Обстановка самая затягивающая, и самый свѣжій чело-

вѣкъ быстро обрастаетъ въ ней мхомъ. Охота является единственнымъ спасеніемъ, и почти всѣ заводскіе служащіе, или, по-старинному, служители, — поголовно охотники. Даже самъ неприступный бухгалтеръ Семенъ Павловичъ Середкинъ, работавшій какъ желѣзная машина, и тотъ оживлялся, когда рѣчь заходила объ охотѣ; въ свободное время, когда въ страду заводскія работы останавливаются, онъ съ ружьишкомъ тоже шатался по лѣсу, благо мѣсто было глухое и дичи всякой вполнѣ достаточное количество.

Разъ свѣтлымъ іюньскимъ утромъ, когда въ виду предстоявшей страды въ конторѣ шелъ особенно оживленный разговоръ объ охотѣ, къ рѣшеткѣ, чрезъ толпу дожидавшихся рабочихъ, протолкался мужчина средняго роста, одѣтый въ потертое драповое пальто. Его большая сѣдая голова съ развитымъ лбомъ и большими сѣрыми глазами невольно кидалась въ глаза, хотя при ближайшемъ „разсмотрѣніи“ производила непріятное впечатлѣніе: разбухшій съ синеватыми жилками носъ обличалъ пьяницу, такія же жилки были на дряблыхъ осунувшихся щекахъ, подъ глазами отвисли водянистые мѣшки, остановившіеся выкаченные глаза смотрѣли, какъ у амфибій, тяжелымъ неморгающимъ взглядомъ. Прибавьте къ этому еще то, что все лицо подергивалось конвульсивной судорогой.

— А, Палачъ пришелъ... Палачъ!.. — зашептались служащіе и выжидающе смотрѣли на Семена Павловича, который продолжалъ разсказывать объ убитой имъ тетеркѣ и дѣлалъ видъ, что не замѣчаетъ Палача.

А Палачъ какъ остановился глазами на бухгалтерѣ, такъ и застылъ въ одной позѣ, точно, по меньшей мѣрѣ, хотѣлъ проглотить его. Кончивъ свой разсказъ, Семенъ Павловичъ повернулся къ столу и уткнулъ носъ въ свои безконечныя бумаги. Кто-то изъ молодыхъ фыркнулъ въ горсть, но это не нарушило нѣмой сцены. Рабочіе давно переглядывались между собой и толкали другъ друга локтями.

— Ваше высоко-ничего, позвольте мнѣ два листа бумаги...—заявилъ наконецъ Палачъ хриплымъ голосомъ.

— Для чего тебѣ бумаги?—послѣ долгой паузы спросилъ Семенъ Павлычъ, не поднимая головы отъ работы.

— А на тебя прошеніе на чемъ буду писать?

— Какое прошеніе?

Въ толпѣ рабочихъ и служащихъ происходитъ движеніе, всѣ ждутъ, что сморозитъ Палачъ бухгалтеру.

— Обыкновенное прошеніе... Ты у меня душевное зеркало укралъ. Вотъ я и хочу подать прошеніе на тебя оберъ-протосингелу святѣйшаго сената.

Слышится сдержанный смѣхъ, на лицахъ блеститъ улыбка; одинъ Семенъ Павловичъ невозмутимъ попрежнему и продолжаетъ выставлять ряды цифръ въ какой-то безконечной заводской вѣдомости. У него была ужъ такая привычка, что непремѣнно заставитъ всякаго подождать, даже самого заводскаго управителя. Послѣ безконечной паузы онъ откуда-то изъ-подъ стола достаетъ два листа бумаги и, не глядя, тычетъ ихъ Палачу. Взявъ бумагу и свернувъ ее трубочкой, Палачъ торжественно направился къ выходной двери, но вернулся съ полдороги и опять обратился къ бухгалтеру:

— У меня свадьба, Семенъ Павлычъ... прошу не оставить своей милостью.

— Какая свадьба?

— Налимъ на бѣлкѣ женится... Ужъ милости просимъ къ большому столу.

— Гдѣ свадьба-то будетъ?

— Подъ девятой сваей у бучила..

Улыбнувшись кривой торжествующей улыбкой, Палачъ выходитъ и сильно хлопаетъ дверью. На улицѣ встрѣчаютъ его ребятишки, приносившіе на фабрику работавшимъ отцамъ и братьямъ обѣдъ; слышатся дѣтскіе голоса: „Палачъ... Палачъ!.. Жирно съѣлъ!“... Въ отвѣтъ раздается площадная брань, и Палачъ съ поднятой палкой бросается на ребятишекъ, которые удираютъ врассыпную, какъ стая воробьевъ отъ брошеннаго камня. Въ конторѣ всѣ бросаются къ окнамъ и надрываются отъ смѣха, любуясь, какъ Палачъ на всѣхъ парахъ летитъ по площади съ палкой въ рукѣ.

— Ужъ этотъ Палачъ всегда штуку уколетъ,—говоритъ кто-то въ толпѣ служащихъ.—Душевное зеркало потерялъ... ахъ, прокуратъ!..

— Что̀ это за Палачъ?—спрашиваю я Семена Павлыча.

— Такъ... блажно̀й,—нехотя отвѣчаетъ бухгалтеръ.—Давно ужъ съ ума онъ спятилъ, а теперь такъ болтается по заводамъ.

— Зачѣмъ его Палачомъ называютъ?

— Заслужилъ, значитъ, если всѣ зовутъ... Прежде при крѣпостномъ правѣ хуже звѣря былъ. Надзирателемъ служилъ... Страсть сколько народу передралъ и дралъ на смерть. И теперь еще не забыли его-то музыку... Можетъ, изъ-за него сколько народу въ острогѣ сгнило да въ бѣгахъ по лѣсамъ пропало. Сорокоумовъ еще тогда главнымъ управляющимъ былъ, такая же медвѣжья лапа была,—ну, заодно и гноили народъ. Лютъ былъ драть этотъ Палачъ, изо всѣхъ отличался. А какъ воля подошла, ему и отказали... Дѣло было у него въ судѣ о двухъ запоротыхъ мастеровыхъ, ну, при старыхъ еще судахъ было, отвертѣлся какъ-то. Оставили въ подозрѣніи — и только... Съ тѣхъ поръ и тронулся.

— Что̀ же онъ теперь дѣлаетъ?

— А такъ—болтается по заводамъ да блажитъ: гдѣ переночуетъ, гдѣ покормятъ, гдѣ пятачокъ подадутъ... Все, что̀ было нажито, промоталъ, а теперь такъ — художествами разными промышляетъ да комедіи разыгрываетъ. Прошенія писать мастеръ, ужъ такой мастеръ, что этакого и не найти... Куда угодно навалаетъ. Вѣдь онъ только прикидывается дуракомъ...

— А какое онъ душевное зеркало потерялъ?

— Да такъ, вретъ... Вы его сами поспросите, онъ, ничего, любитъ поговорить, особенно, если немножко подвыпьетъ.

— Семья есть?

— Какая семья... Трехъ женъ въ гробъ заколотилъ. Чистый звѣрь, однимъ словомъ, не приведи Богъ. И что̀ только онъ надъ своими женами ни выдѣлывалъ, какъ ни галился *)... Звѣрски тиранилъ. А ребятишекъ, бывало, всѣхъ за окошко сонныхъ повыкидаетъ. Послѣднюю жену прямо въ запой вколотилъ: поставитъ передъ ней полштофъ водки, зарядитъ ружье, взведетъ курокъ и прицѣлится въ жену; пока та всего полштофа не выпьетъ, не отойдетъ. Такъ и спилась бабенка...

Этотъ Палачъ очень заинтересовалъ меня, какъ характерный обломокъ крѣпостного режима на уральскихъ горныхъ заводахъ; онъ мнѣ напомнилъ другого блажного, проживавшаго въ Черемшанскомъ заводѣ и извѣстнаго подъ именемъ Борьки. Мнѣ вдругъ сдѣлалась ясной цѣлая полоса заводской жизни, которая раньше только поражала своими рѣзкими противорѣчіями.

---

*) Галиться—насмѣхаться.

II.

Я жилъ недалеко отъ фабрики, на берегу пруда. Каждое утро Борька проходилъ мимо и непремѣнно остановится. Станетъ передъ окномъ, тряхнетъ лохматой головой и забормочетъ:

— Приказываю... сорокъ восемь серебромъ... Начальство... нельзя.

— На фабрику идешь, Борька?

— Иванычи робятъ... нельзя... начальство. Съ меня спросятъ...

— Да кто съ тебя спроситъ?

— Управитель вѣдь я... какъ же... за Иванычей спросятъ. Начальство... нельзя.

Борька былъ тоже блажной, но совсѣмъ въ другомъ родѣ, чѣмъ Палачъ, начиная съ самой наружности. Юркій, маленькій, озабоченный Борька вѣчно куда-нибудь торопился и даже свой армякъ носилъ такимъ образомъ, точно второпяхъ не успѣлъ его хорошенько надѣть—армякъ вѣчно валился у него съ плечъ. Его немного птичье лицо, съ быстрыми, темными глазами, никогда не улыбалось; волосы были спутаны въ какую-то кошму, а обтрепанную баранью шапку Борька и лѣто и зиму носилъ въ рукахъ. Говорилъ онъ плохо и безсвязно, такъ что трудно было прослѣдить нить его больной, свихнувшейся мысли. Ясно было только одно, что онъ, Борька, заводскій управитель, начальство и долженъ за всѣхъ отвѣчать. Въ церкви Борька вставалъ всегда на первое мѣсто, торжественно встрѣчалъ пріѣзжавшее начальство въ Черемшанскій заводъ и неизмѣнно провожалъ каждаго покойника до кладбища.

— Нельзя, Иванычъ умеръ... Похоронить Иваныча приказываю... сорокъ восемь серебромъ...

Всѣхъ мужчинъ Борька называлъ Иванычами; женщинъ онъ не любилъ, называлъ „браковками“ и при встрѣчѣ съ ними плевался. Проживалъ онъ изъ милости у разныхъ добрыхъ людей изъ заводскаго купечества; его любили за незлобный характеръ и за то, что Борька ужасно былъ богомоленъ—никогда не пропуститъ ни одной церковной службы и постоянно кладетъ земные поклоны.

Раньше, какъ разсказывали, Борька былъ совсѣмъ здоровый человѣкъ и работалъ на фабрикѣ. Это было еще въ крѣпостное время. Можетъ-быть, онъ работалъ бы и теперь, какъ самый исправный мастеровой, но его погубило совершенно случайное обстоятельство. На фабрикѣ, гдѣ работалъ Борька, пропали какія-то мѣдныя „подушки“ отъ колеса, и Борька очутился въ числѣ заподозрѣнныхъ въ кражѣ. Это и нарушило душевное равновѣсіе Борьки, потому что впереди предстояла жестокая казнь. Борька началъ задумываться,—думалъ, думалъ и въ одно прекрасное утро открылъ, что онъ-то, Борька, и есть главное заводское начальство. Такимъ образомъ для него разрѣшился вопросъ не только объ украденныхъ мѣдныхъ подушкахъ, но вопросъ всего тогдашняго порядка: начальство—и конецъ дѣлу, все ясно, никакихъ сомнѣній. Если Палачъ тронулся отъ избытка власти, то Борька, наоборотъ, отъ слишкомъ безправнаго своего положенія. Онъ кончилъ тѣмъ, чѣмъ иногда кончаютъ слишкомъ униженные и оскорбленные—онъ помѣшался на той самой власти, которая кругомъ давила все и вся.

— Я управитель...—бормоталъ постоянно Борька, размахивая своей бараньей шапкой.—Иванычи, постарайтесь для начальства... нельзя... за всѣхъ отвѣчать долженъ...

Въ качествѣ прямого заводскаго начальства Борька ежедневно отправлялся на фабрику и непремѣнно обходилъ всѣ „дѣйствія“. Странно было

видѣть этого сумасшедшаго въ царствѣ огня и желѣза, гдѣ самыя машины, кажется, были преисполнены мысли и вели свою работу вполнѣ сознательно. Борька торопливо осматривалъ всѣ корпуса, размахивалъ своей шапкой и оставался доволенъ работой Иванычей. Рабочіе любили Борьку и устраивали ему разные сюпризы: то встрѣтятъ у входа въ корпусъ безъ шапокъ, то выстроятся въ двѣ шеренги и начнутъ кричать „ура", то наконецъ примутся качать импровизированнаго управителя на рукахъ.

— Спасибо, Иванычи...—серьезно благодаритъ Борька.—Не забывайте начальства... Нельзя, Иванычи, сорокъ восемь серебромъ...

Нужно было видѣть лицо Борьки въ эти моменты: оно точно все свѣтлѣло и прояснялось, а глаза просто сіяли блаженствомъ. Вообще, можно сказать, что Борька по-своему былъ совершенно счастливъ и придуманной фикціей разрѣшалъ неразрѣшимый вопросъ... Только разъ Борька чуть не потерпѣлъ пораженія отъ новаго черемшанскаго управителя изъ русскихъ нѣмцевъ, который почему-то не взлюбилъ сумасшедшаго и даже не велѣлъ пускать его на фабрику. Когда Борька явился утромъ для осмотра своихъ владѣній, сторожъ загородилъ ему калитку, черезъ которую входили на фабричный дворъ.

— Не видишь, браковка, кто идетъ...—заревѣлъ Борька, оттолкнулъ сторожа и, какъ ни въ чемъ не бывало, отправился осматривать заводскія дѣйствія.

Доложили настоящему управителю, который разсердился и велѣлъ вывести Борьку силой. Но послѣднее было исполнить не такъ-то легко—Борька защищался съ большой ловкостью, ругался и ревѣлъ, какъ быкъ, пока человѣкъ десять здоровенныхъ мастеровъ не вынесли его на рукахъ. На слѣдующій день повторилась та же исторія и т. д., пока настоящему управителю не надоѣло возиться съ сумасшедшимъ. Такимъ образомъ Борька отвоевалъ свою власть и ходилъ по фабрикѣ, съ усиленной дерзостью ругая всѣхъ браковщиками.

— Въ острогъ посажу всѣхъ...—ворчалъ Борька на Иванычей.—Позабыли начальство... приказываю...

Эти два блажныхъ составляли типичное воспоминаніе о минувшихъ крѣпостныхъ порядкахъ на уральскихъ горныхъ заводахъ.

Въ темное время до 19-го февраля на каждомъ заводѣ было нѣсколько такихъ блажныхъ, составлявшихъ неотъемлемую принадлежность тогдашнихъ заводскихъ порядковъ. Были и дураки и дуры; иногда въ одномъ только заводѣ ихъ считалось больше десятка. Замѣчательно то, что вмѣстѣ съ наступившей волей быстро началъ вымирать и этотъ жалкій типъ, созданный спеціальными условіями крѣпостного быта—теперь по заводамъ рѣдко гдѣ встрѣтишь одного, много двухъ дураковъ, да и тѣ большею частью старики, слѣдовательно самое законное наслѣдство еще крѣпостничества. Происхожденіе такихъ дураковъ именно въ то время вполнѣ понятно, потому что нигдѣ въ такихъ жестокихъ формахъ не выразилось крѣпостничество, какъ на горныхъ заводахъ. Собственно, это была каторга, только безсрочная, безъ всякой выслуги лѣтъ, создававшая на одномъ концѣ Палачей, свихнувшихся отъ избытка власти, а на другомъ Борекъ, терявшихъ послѣднюю каплю разсудка отъ своего больше чѣмъ рабьяго положенія.

Здѣсь интересно отмѣтить тотъ фактъ, что параллельно съ полосой крѣпостныхъ дураковъ и дуръ тянулась другая аномалія, именно спеціально-заводскіе крѣпостные разбойники. Въ разбойники шли исключительно энергичныя натуры, какія создаются въ такія жестокія времена слишкомъ исклю-

чительными бытовыми условіями и служатъ живымъ протестомъ существующему порядку. Каждый почти горный заводъ на Уралѣ имѣлъ такихъ разбойниковъ, прославившихся громкими подвигами; теперь имена этихъ яркихъ протестантовъ окружены легендарными сказаніями и сдѣлались достояніемъ народной фантазіи. Замѣчательно то, что всѣ эти заводскіе разбойники, переходившіе въ нелегальное положеніе, исчезли сейчасъ же послѣ 19-го февраля, когда рушились создававшія ихъ условія: не стало фабричной и пріисковой каторги, не стало и разбойниковъ...

Типъ крѣпостныхъ дураковъ, какъ все менѣе рельефное и яркое, сказался живучѣе и доживаетъ теперь свои послѣдніе дни въ видѣ живого памятника о „добромъ старомъ времени“.

III.

Съ Палачомъ я познакомился на заводской плотинѣ, гдѣ онъ по утрамъ удилъ рыбу. Я подъѣхалъ на душегубкѣ и тоже закинулъ удочки недалеко отъ него. Было еще рано, прудъ дымился бѣлымъ волокнистымъ туманомъ, который расползался подъ лучами солнца во всѣ стороны. Сейчасъ за плотиной глухо грохотала фабрика и долетали окрики рабочихъ. Гдѣ-то визжала пила и гудѣлъ тяжелый обжимочный молотъ, жулькавшій сырую чугунную крицу... Изъ красной стѣны „машинной“ вырывались съ хрипѣньемъ бѣлые клубы таявшаго въ воздухѣ пара, какъ лихорадочное дыханіе измученнаго животнаго. Рыба брала плохо, точно на зло всѣмъ благопріятнымъ примѣтамъ; поплавки лежали въ водѣ, какъ заколдованные.

— Ишь дворяне... не хотятъ своего дѣла знать!—ворчалъ Палачъ, вытаскивая изъ воды пустую удочку и насаживая на крючокъ самаго „веселаго“ червяка.—Зазнались господа помѣщики...

Палачъ былъ въ своемъ обыкновенномъ костюмѣ и находился по обыкновенію въ самомъ ожесточенномъ настроеніи духа; мнѣ было видно его фигуру только сбоку. Чтобы завязать разговоръ, я попросилъ у него червяка повеселѣе.

— У меня всѣ, дьявола, веселые будутъ...—засмѣялся Палачъ, подавая на своей широкой ладони кружившагося спиралью червяка. — Слово такое знаю... Дайте, я его, подлеца, самъ вамъ насажу!

Палачу доставляло видимое удовольствіе продѣвать черезъ корчившееся отъ боли тѣло стальной крючокъ, и я предоставилъ ему это продѣлать лишній разъ. Мы помаленьку разговорились.

— Вы ему въ глаза наплюйте, подлецу...—совѣтовалъ Палачъ, передавая мнѣ совсѣмъ готовую наживку.—Веселѣе будетъ въ водѣ играть... У, дворянинъ! Помѣщики нынче всѣ сдѣлались.

— И черви?

— И черви... А то какъ же?.. Вотъ скоро и червямъ земство, да окружные суды, да школы устроятъ... ха-ха!.. Вы какъ полагаете на этотъ счетъ? Тогда никто не смѣй пальцемъ пошевелить его, червяка-то... Вотъ оно какъ!.. Охъ, показалъ бы я вамъ, какіе помѣщики да дворяне бываютъ!..

Палачъ сжалъ кулакъ и даже заскрипѣлъ зубами; одно удилище у него сорвалось въ воду и тихо поплыло къ плотинѣ, но Палачъ добылъ его голой разутой ногой, какъ обезьяна.

— Вы теперь собственно чѣмъ занимаетесь? — спросилъ я, чтобы поддержать интересный разговоръ.

— Я-съ?.. А вотъ думаю устроить на этомъ самомъ пруду кабакъ... Понимаете: подвижной кабакъ. Да... Теперь мужикъ долженъ ходить къ ка-

баку; трудно, я думаю, мужику-то безпокоить себя на дворянскомъ-то положеніи, а тогда кабакъ къ самому рылу подплыветъ: „Выкушайте, ваше благородіе“...

— Какъ же вы устроите кабакъ на водѣ собственно?

— А очень просто-съ... Отъ земства выхлопочу пособіе за изобрѣтеніе, а тамъ сенатъ привилегію дастъ — вотъ и кабакъ готовъ. Надо же и мнѣ чѣмъ-нибудь жить... Прежде трехрублевыми бумажками трубку раскуривалъ, а нынче волка ноги кормятъ. Настоящую фабрику сгорѣвшихъ отъ вина заведу, и медаль выдадутъ... ха-ха!..

— А душевное зеркало?

Палачъ взглянулъ на меня своими остановившимися глазами и нахмурился: очевидно, мой вопросъ былъ невпопадъ. Мы удили нѣсколько времени молча.

— Что душевное зеркало... душевное зеркало—особь статья,—задумчиво заговорилъ Палачъ, глядя въ сторону.—Ежели бы изъ васъ печенки выняли или вотъ этакъ на крючокъ посадили, какъ червя—какъ вы насчетъ этого понимаете?

— Скверно въ томъ и другомъ случаѣ...

— То-то вотъ и есть,—какъ-то обрадовался Палачъ.—А безъ душевнаго зеркала еще хуже... Было душевное зеркало, все въ него какъ на ладонкѣ видно, а тутъ вдругъ не стало. Темнота... дворянство... А кто же работать будетъ... а?.. Кто начальству повиноваться? Кто по острогамъ будетъ сидѣть?.. Плачутъ о васъ, о дворянахъ, палки-то... давно плачутъ! Погодите, только найти бы мнѣ душевное зеркало, показалъ бы я имъ, откуда ноги растутъ...

Палачъ дико захохоталъ, какъ хохочутъ трагическіе актеры. Онъ былъ правъ: ничего нѣтъ хуже, какъ потерять „душевное зеркало“ и вмѣстѣ съ нимъ всякую надежду когда-нибудь снова найти.

IV.

Въ Черемшанскомъ заводѣ мнѣ привелось прожить цѣлое лѣто. Въ августѣ началась скверная дождливая погода, значитъ, наступила пора уѣзжать. Назначенъ день и часъ отъѣзда, чемоданъ уложенъ. Ничего нѣтъ хуже этого неопредѣленнаго положенія, которое остается до вырѣшеннаго отъѣзда, когда ничѣмъ не можешь заняться и вообще чувствуешь себя прескверно. Наконецъ и лошади поданы, садишься въ экипажъ—слава Богу, поѣхали. Грязь по колѣно, повозка грузно осѣдаетъ въ разъѣзженныхъ колеяхъ, лошади съ подвязанными хвостами уныло шлепаютъ копытами по разведенной, какъ кисель, грязи. А съ сѣраго, печальнаго неба такъ и сыплется мелкій, какъ водяная пыль, безпощадный и всепроницающій дождь, который зарядилъ надолго. Однимъ словомъ настоящее ненастье, которое нагоняетъ тоску даже на свиней.

Повозка спускается съ горы, гдѣ стоитъ церковь, на плотину, катится мимо заводской конторы, направо мелькаютъ ряды дрянныхъ деревянныхъ лавокъ, составляющихъ въ совокупности „базаръ“.

— А-ахъ, ѣшь тебя волкъ!..—ругается ямщикъ, осаживая тройку.

Начинается медленное слѣзаніе съ козелъ, еще болѣе медленное хожденіе вокругъ экипажа, чесаніе въ затылкѣ, крѣпкія русскія слова сквозь зубы, и въ результатѣ оказывается, что старый изгорѣвшій ременный тяжъ лопнулъ.

— Не ворочаться же назадъ,—протестую я.

— Пошто ворочаться... На вотъ!.. Еще умный тяжъ-отъ былъ, вишь, догадался, гдѣ лопнуть, супротивъ самаго базара... Веревочку надо будетъ прихватить, вашескородіе, живой рукой оборудуемъ!..

Подъѣзжаемъ къ крайнимъ лавкамъ и останавливаемся. Экипажъ окружаютъ прасолы и приказчики, качаютъ головами, хвалятъ умный тяжъ, бранятъ кучера, даютъ совѣты и т. д. Коренника выпрягаютъ, и начинается безконечное налаживаніе варовиннаго тяжа; торгашамъ дѣлать нечего, и они принимаютъ самое дѣятельное участіе въ этой работѣ. Я смотрю отъ-нечего-дѣлать по сторонамъ. У одной лавки играютъ двое въ шашки, у другой сѣдой старикъ съ хлыстомъ гоняется за голубями, вообще тоска и скука смертная, и всякій старается какъ-нибудь убить ненавистное время. Покупателей нѣтъ, но дома дѣлать тоже нечего—вотъ и сидятъ. На выручку умирающей отъ тоски публики изъ-за угла появляется Палачъ, и сейчасъ же начинается травля.

— Жирно съѣлъ... жирно съѣлъ!.. — кричитъ сѣдой старикъ, гонявшій голубей.

Палачъ усталъ, продрогъ, вообще измученъ и едва вытаскиваетъ изъ липкой грязи свои голыя ноги, такъ что едва отвѣчаетъ на задиранье легкой руганью и какимъ-то рычаньемъ. Но въ этотъ моментъ съ другой стороны торопливой походкой приближается Борька и, конечно, несетъ шапку въ рукѣ. Два дурака разомъ—это ужъ цѣлое спасеніе отъ гнетущей всѣхъ тоски. Какъ надъ всѣми блаженненькими, надъ Борькой всѣ любили продѣлать какую-нибудь веселенькую штучку, безъ чего русскій человѣкъ какъ-то не можетъ обойтись, хотя и питаетъ большую слабость ко всѣмъ блажнымъ и тронувшимся. Надъ Борькой потѣшались тѣ же самые люди, которые заботились о немъ. Но больше всего ему доставалось на рынкѣ отъ заводскихъ торгашей, сходившихъ съ ума отъ бездѣлья: здѣсь первымъ дѣломъ, конечно, выучили Борьку пить водку, ругаться непечатными словами и т. д. Разсердить Борьку было довольно трудно, но если онъ выходилъ изъ себя, то лѣзъ драться къ первому встрѣчному съ пѣной у рта. Обыкновенно, какъ всѣ тронутые люди, Борька „стервенился“ изъ-за сущихъ пустяковъ, что̀ и было особенно любопытно базарнымъ Иванычамъ.

— Палачъ, Борька укралъ твое душевное зеркало!..—послышались натравливанья съ нѣсколькихъ сторонъ разомъ.

Палачъ какъ-то жалко моргаетъ своими остановившимися глазами и, повидимому, не имѣетъ никакого желанія травить Борьку; онъ въ своихъ отрепьяхъ походитъ на ошпаренную когда-то веселымъ поваромъ бездомную уличную собаку, у которой одинъ бокъ совсѣмъ голый, а на другомъ шерсть торчитъ скатавшимися клочьями.

— Борька, на твое мѣсто управителемъ сдѣлали Палача...—травятъ съ другой стороны Борьку.

Но блажные слишкомъ промокли и устали и не поддаются на закидываемую удочку. Тогда сѣдому старику, забавлявшемуся голубями, пришла счастливая мысль.

— Эй, ребята, перенесите-ка вотъ рѣшетку въ ту вонъ лавку,—проситъ онъ блажныхъ.—По колачику дамъ за работу...

Дѣло не трудное, потому что въ рѣшеткѣ лежитъ всего нѣсколько мѣшковъ изъ-подъ муки. Блажные немного поломались, но потомъ согласились, что̀ и было нужно. Не успѣли они отойти съ рѣшеткой десяти шаговъ отъ лавки, какъ сѣдой старикъ закричалъ:

— Борька, а Борька... вѣдь Палачъ-то надуваетъ: ты одинъ несешь рѣшетку, а онъ такъ идетъ...

Борька остановился и вопросительно посмотрѣлъ на своего партнера: остроумная мысль никакъ не укладывается въ его затемненномъ мозгу, и

онъ, видимо, начинаетъ подозрѣвать Палача въ мошенничествѣ. Вдобавокъ Палачъ улыбается самымъ нахальнымъ образомъ.

— Иванычъ, нехорошо... приказываю...—бормочетъ Борька и трогается въ путь, но его опять останавливаютъ.

Начинается настоящая травля. Блажные сначала спорили, потомъ принялись ругаться и кончили жестокой дракой, покатившись къ удовольствію публики прямо въ грязь. На меня эта сцена произвела самое тяжелое впечатлѣніе: около пустой рѣшетки валялись въ грязи съ неистовымъ ревомъ двѣ половины отошедшаго въ вѣчность крѣпостного уклада...

Остается вопросъ: навсегда ли миновало время людей, потерявшихъ свое „душевное зеркало“ въ той или другой формѣ? Полагаю, что нѣтъ, по крайней мѣрѣ, это вѣрно для мудреной заводской жизни, гдѣ на каждомъ шагу такая масса противорѣчій... Конечно, героическія времена заводской каторги канули въ вѣчность, но, съ другой стороны, мимоидущее время, чреватое всяческими сюрпризами, несетъ много новыхъ бѣдъ и золъ. Но объ этомъ въ другой разъ.

1885.

БОГОВАЯ ИСКРА.

Эскизъ.

I.

Въ жаркомъ лѣтнемъ воздухѣ мѣрно и гулко носятся удары церковнаго колокола. Что-то такое торжественно-зовущее проносится въ колеблющейся волнѣ этихъ звуковъ, замирающихъ у подножія лѣсистыхъ горъ, обступившихъ N-скій заводъ. Кругомъ всего селенія обошли эти горы, и церковь стоитъ на горѣ. На каждый ударъ воскреснаго колокола въ горахъ откликается чуткое эхо. Оно подхватываетъ замирающій звукъ и уноситъ по блестящей глади узкаго и глубокаго заводскаго пруда въ ущелье, гдѣ торжествующій праздничный гулъ и замираетъ окончательно изнемогающе-примиренной нотой, какую даетъ порвавшаяся струна. На призывные звуки медленно бредетъ рабочій людъ со всѣхъ сторонъ, преимущественно старики и женщины,— мужики въ полѣ, на базарѣ или около волости. Около церковной ограды сдѣланы деревянныя лавочки, на которыхъ богомольцы отдыхаютъ. Цѣлый рядъ типичныхъ старческихъ лицъ съ окладистыми бородами и общей печатью благообразной великорусской старости. Въ N-скомъ заводѣ населеніе „пригонное", „расейское", что̀ замѣтно еще и сейчасъ, какъ по пѣвучему говору, такъ особенно по спокойному выраженію этихъ широкихъ великорусскихъ лицъ. Въ нихъ нѣтъ вороватой юркости кровнаго сибиряка и, главное, нѣтъ этого хватающаго, хищническаго выраженія глазъ. Молодежь измельчала, выродилась, какъ вырождается на поляхъ хорошее зерно, а старики сохранились. Заводскіе парни давно щеголяютъ въ спинджакахъ и картузахъ, а здѣсь широкіе халаты, армяки и „расейскіе" шляпы-гречневики. На лавочкахъ размѣстилось такихъ славныхъ стариковъ человѣкъ тридцать, и всѣ какъ на подборъ. Конечно, по этимъ экземплярамъ ошибочно было бы сдѣлать заключеніе, что всѣ „расейскіе" были такими же богатырями или что въ доброе старое время народъ былъ много крупнѣе нынѣшняго,—вѣрнѣе сказать, что на лавочкахъ сидѣли тѣ богатыри, которыхъ не могла сломить каторжная заводская работа. Все слабое и безсильное давно перемерло, а остались только вотъ эти инвалиды огненной, рудниковой, куренной и разной другой заводской страды. Я съ особеннымъ почтеніемъ смотрю на уцѣлѣвшихъ счастливцевъ рабочей арміи и подсаживаюсь къ нимъ на лавочку. Нѣсколько гречневиковъ раскланиваются,—это рабья заводская привычка,—при видѣ городского костюма. Кровный сибирякъ не ломаетъ шапки, потому что не переживалъ крѣпостного права, когда каждый картузъ являлся грознымъ начальствомъ.

Мое появленіе не вызываетъ обычныхъ вопросовъ: кто? откуда? по какому дѣлу? и т. п. какъ спросятъ васъ гдѣ-нибудь на пароходѣ или желѣзной

дорогѣ. Отвѣтъ здѣсь готовъ впередъ; баринъ, т.-е. человѣкъ, который швыряетъ несчитанными деньгами, ѣздитъ въ троечномъ экипажѣ и вообще живетъ въ полную свою волю. Колоколъ гудитъ, подходятъ новые старички, и наши лавочки заняты сплошь. Изрѣдка обмѣняются короткой фразой, и опять праздничная тишина. Общее вниманіе сосредоточивается на базарѣ, гдѣ отдѣльными кучками галдитъ прибывающій народъ. Торговля идетъ въ нѣсколькихъ деревянныхъ лавчонкахъ, да около вѣсовъ стоятъ два воза съ огурцами—вотъ и все. А поговорить есть о чемъ: овсы нынче плохіе—выгорѣли отъ засухи, мука ржаная къ рублю подходитъ. Плохое лѣто у всѣхъ на умѣ, и мои старички угнетенно вздыхаютъ, подавленные цѣлымъ строемъ хозяйственныхъ заботъ. У зимы брюхо велико... Какъ-то перебьются лошадные мужики, какъ управятся бабы съ разной домашней скотиной, которая къ голодному году ѣстъ вдвое. Старики грустно качаютъ головами, вздыхаютъ и внимательно прислушиваются, какъ галдитъ народъ на базарѣ. Какая-то грустная нотка слышится во всемъ, какъ тяжелое предчувствіе неминучей бѣды, висящей въ воздухѣ.

— Какъ-то добрые люди по другимъ протчимъ мѣстамъ?..

— А вездѣ народъ прижался: засуха обошла кругомъ.

Эти отрывочные разговоры приходилось дополнять собственнымъ воображеніемъ и уже такимъ образомъ возстановлять органическую связь между отдѣльными фразами, тѣмъ болѣе, что основная мысль въ мужицкомъ разговорѣ рѣдко выставляется прямо, а только подразумѣвается. Я люблю вслушиваться въ такіе разговоры, гдѣ говорятъ, кажется, рѣшительно обо всемъ, кромѣ того, что̀ нужно, а на повѣрку выходитъ какъ-то такъ, что люди успѣли столковаться между собой и отлично поняли другъ друга. Между прочимъ, наблюдая галдѣвшую на базарѣ толпу, я замѣтилъ одного мужика, который стоялъ на пригоркѣ совершенно неподвижно и глядѣлъ въ одну сторону. Никто не обращалъ на него вниманія, и онъ въ свою очередь точно не замѣчалъ никого. И одѣтъ онъ былъ особенно въ какой-то бѣлый больничный халатъ, на головѣ войлочная бѣлая башкирская шляпа, и даже на рукахъ бѣлыя рукавицы.

— А это кто такой стоитъ?—спросилъ я у старика-сосѣда, указывая на неподвижнаго бѣлаго мужика.

— Гдѣ? Этотъ-то... а Ефимъ нашъ будетъ.

— Зачѣмъ же онъ тутъ стоитъ?

— Да ужъ такъ, видно... Несообразный человѣкъ, однимъ словомъ, неплательщикъ. Согласіе такое у насъ есть... Ну, вотъ Ефимъ и стоитъ.

Я кое-что слыхалъ объ этой сектѣ и даже читалъ, но видѣть неплательщиковъ не случалось. Сосѣдъ оказался человѣкомъ словоохотливымъ, хотя тоже зналъ о неплательщикахъ очень немного: и раньше жили въ N-скомъ заводѣ и сейчасъ живутъ. Особеннаго ничего не дѣлаютъ, а вотъ только податей не платятъ и по праздникамъ выходятъ на базаръ—постоятъ, пока идетъ служба, а потомъ по домамъ разбредутся. Несообразный народъ, однимъ словомъ... Вотъ другіе, кто въ храмъ Божій идетъ, кто на базаръ, кто въ волость, а они, какъ идолы, стоятъ на пригоркѣ—и все тутъ.

— Много ихъ, неплательщиковъ-то?

— Да дворовъ съ двадцать наберется...

— А въ другихъ мѣстахъ есть?

— Мало... Прежде-то ихъ побольше было, а теперь умалились.

Пауза. Мой собесѣдникъ внимательно слѣдитъ за базарной суетой и потомъ оживленно говоритъ:

— Вонъ и старуха Ефимова ползетъ... Въ синемъ пониткѣ и платочекъ бѣленькій на головѣ. Тоже стоять будетъ... Пока обѣдня идетъ, они все время будутъ стоять, въ томъ родѣ, какъ идолы. Стоять и на востокъ глядятъ. Это у нихъ въ томъ родѣ выходитъ, какъ у насъ молитва.

Низенькая коренастая старушка степенно подошла къ мужу и стала рядомъ. Пока на нихъ никто не обратилъ вниманія.

— Что же, они смирные, эти неплательщики?—спросилъ я.

— Ничего... Никого не трогаютъ, окромѣ того, когда, напримѣрно, крестный ходъ. Не любятъ и камнями бросаютъ... Ну, ихъ въ карцъ уводятъ для такого случая. И хлопотъ намъ было съ этимъ вотъ Ефимомъ,—прибавилъ мой собесѣдникъ совсѣмъ другимъ тономъ.—Страсть... Ужъ мы его били, били!..

— За что же вы его били?

— Я въ сотскихъ ходилъ, такъ напримался съ нимъ муки. Ну и волокешь его, какъ барана... Его бьютъ, напримѣрно, онъ молчитъ. Его дерутъ,— опять же молчитъ. Все равно звѣрь... Ужъ столько съ нимъ хлопотъ было... Какъ-то мы возили его къ начальству, значитъ, въ другой заводъ, такъ такая битва была, не приведи Богъ.

— А онъ молчалъ?

— Все одно, что березовый пень... Вѣдь мы-то не деревянные, тоже и обычно въ другой разъ. Говорю: измаялись съ нимъ, съ идоломъ, дравши-то его. Да и нахальство тоже... Съ нимъ и говорить невозможно: ты ему свое, а онъ свое, хоть колъ на головѣ теши.

Занятый этимъ объясненіемъ, я не замѣтилъ, какъ подошли другіе неплательщики: теперь стояло уже цѣлыхъ три мужика и четыре бабы. Мужики выстроились въ рядъ, а за ними стояли бабы. Старуха, жена Ефима, стояла въ первомъ ряду, рядомъ съ мужемъ, а около нея маленькая дѣвочка лѣтъ шести. Мужики были одѣты въ сѣрые кафтаны и обыкновенныя валяныя шляпы, и бабы тоже. Выдѣлялись изъ этой толпы своимъ костюмомъ только самъ Ефимъ да его жена-старуха.

— Теперь вся фамилія въ полномъ сборѣ,—объяснялъ мой собесѣдникъ.—Рядомъ-то съ Ефимомъ, по лѣвую руку стоитъ,—значитъ, зять Ефима, Иванъ, а за нимъ своная жена, молоденькая бабочка. Дѣвчурка-то ихняя... Третій мужикъ, значитъ, староста, а за нимъ своная сестра,—они въ такомъ родѣ, какъ мужъ и жена. И говорить-то такъ неподобно... Вотъ они какіе, неплательщики-то... Ни поста, ни иконы, ни жены, ни подати—ничего не желаетъ знать. Станешь имъ говорить, молодымъ-то, такъ они тебѣ одно толмятъ: „нечистый духъ, отвались!“. Молодые-то не такъ еще осатанѣли, какъ Ефимъ-то, и разговариваютъ... У Ефима-то сынъ былъ, ну, его въ солдаты забрили. Не отдавали они, его силомъ взяли, а потомъ на службѣ солдатъ и выправился, а приходитъ домой—его опять Ефимъ-то по-своему захотѣлъ повернуть и первымъ дѣломъ всю солдатскую муницію спряталъ. А сынъ-то не будь плохъ, ухватилъ корову да прямо на базаръ продавать. Сколь у нихъ тогда грѣха было, и не обскажешь. Достигъ солдатъ Ефима-то и муницію свою сполна получилъ.

II.

Мнѣ хотѣлось поближе посмотрѣть на неплательщиковъ, но подойти къ нимъ такъ, зря, какъ-то было неудобно. Всякое праздное и назойливое любопытство неумѣстно, а тутъ еще можно было получить лаконическій отвѣтъ: „Нечистый духъ, отвались!“. Изъ затруднительнаго положенія меня вывелъ

какой-то господинъ въ сѣрой лѣтней парѣ, шелковой бѣлой фуражкѣ и дымчатыхъ большихъ окулярахъ. Онъ безъ всякихъ церемоній подошелъ къ Ефиму и вступилъ въ разговоръ. Это послужило сигналомъ: около неплательщиковъ сейчасъ же образовалась кучка любопытныхъ. Какъ оказалось, господинъ въ сѣрой парѣ былъ свой земскій человѣкъ, одинъ изъ тѣхъ земскихъ Микулъ Селяниновичей, какихъ воспѣлъ Д. Мордовцевъ въ своемъ „Десятилѣтіи русскаго земства". Воспользовавшись случаемъ, и я подошелъ къ толпѣ.

Сначала опишу предстоявшихъ оригинальныхъ сектантовъ. Глава секты, Ефимъ, былъ мужикъ лѣтъ пятидесяти, изможденный и сгорбленный, съ сморщеннымъ и желтымъ худымъ лицомъ, едва прикрытымъ жиденькой бородкой песочнаго цвѣта. Въ этомъ лицѣ заслуживали вниманія быстрые каріе глаза, слегка щурившіеся, и сложенный къ улыбку широкій ротъ,—чувствовалось что-то нервное и безпокойное въ этомъ лицѣ, то неуловимо-особенное, чѣмъ отличаются всѣ обреченные люди. Старуха, жена Ефима, была типичнѣе. Низенькая, коренастая, она выглядѣла настоящимъ кочнемъ. Крупное, не по росту, старушечье лицо смотрѣло большими сѣрыми глазами въ упоръ, сморщенныя губы были сложены рѣшительно и даже нѣсколько вызывающе. Ефимъ стоялъ съ видомъ блаженненькаго, не обращая ни на кого вниманія, а его старуха походила на птицу, приготовившуюся защищаться. Видимо, что она одна болѣла и душой и сердцемъ за всѣ невзгоды своей маленькой общины и по каплѣ отдаетъ за нее свою старую кровь.

— Ну, что же вы тутъ стоите, милые,—съ ядовитой ласковостью говорилъ земскій человѣкъ, франтовато останавливаясь передъ развернутымъ строемъ сектантовъ.—Вонъ къ обѣднѣ звонятъ, шли бы и молились, чѣмъ даромъ здѣсь торчать.

Рѣчь была обращена собственно къ Ефиму, но старикъ упорно молчалъ, глядя куда-то черезъ головы, и только его глаза сильнѣе прищурились.

— И въ самомъ дѣлѣ шли бы,—поддержалъ земскаго человѣка голосъ изъ толпы.

— Кто вы такіе будете?—спрашивалъ земскій человѣкъ.

— Божіи странники,—отвѣтила старуха.

— Такъ-съ... А дѣвочка чья?

— Божья!

— Всѣ мы Божьи, старушка, только у всякаго отецъ и мать полагаются.

— Божья,—упрямо повторяла старуха и какъ-то залпомъ прибавила, точно выстрѣлила:—отъ Бога, Сына и Святого Духа мы не отступимся... И отъ истиннаго Божьяго закона, и отъ святого града Ерусалима, и отъ всевышняго престола, и отъ морской глубины, и земной широты, и небесной высоты. А ты иди, куда шелъ, Божій человѣкъ...

— Не отступимся отъ Духа Святого,—откликнулась долгоносая, изможденная бабенка съ другого края, „сестра своего мужа".—Всѣмъ дано, а мы не отступимся... и отъ всѣхъ потомковъ впередъ и назадъ.

— Значитъ, и въ Троицу вѣрите?—допрашивалъ земскій человѣкъ.

Послѣдовалъ рѣзкій отвѣтъ въ раскольничьемъ духѣ,—заговорилъ зять Иванъ, молодой, но болѣзненный мужикъ, у котораго дергало все лицо. Онъ былъ весь какой-то сѣрый, какъ и всѣ остальные, и только выдѣлялось необыкновенно подвижное лицо и его женски-крикливый голосъ. Земскій человѣкъ прицѣпился сейчасъ же къ нему.

— Вотъ вы говорите, что вѣруете и въ Бога, и въ Сына, и въ Св. Духа, а иконъ почему не признаёте?

— Мы отъ Духа Божьяго не отказываемся, — быстро отвѣчалъ Иванъ готовой фразой.—Ты вотъ зажмурился и ничего не видишь, а во мнѣ Боговая искра... да.

— У нихъ все Святой Духъ,—заговорилъ изъ толпы степенный мужикъ въ суконномъ праздничномъ халатѣ. — И иконъ не надобно. Святой-то Духъ по избамъ, что ли, ходитъ у васъ, Иванъ?..

— А ты погляди хорошенько около себя-то, такъ и увидишь Святого Духа,—отвѣтилъ Иванъ безъ запинки.—Всѣ вы зажмурились, а всѣмъ одно дато.

— Они и молочное въ постъ потреоляютъ,—замѣтилъ кто-то изъ толпы.— Другимъ постъ, а имъ все розговѣнье. Пятницъ и тѣхъ не знаютъ.

— Это ты вѣрно: ѣдимъ всегда одинаково,—согласился Иванъ,—потому что опять-таки все дато на потребу человѣку: и земля, и вода, и лѣсъ. А ты вотъ посты-то разбираешь, а того не думаешь, что все на потребу человѣку создано, только человѣка не ѣшь...

— Кто тебя-то съѣлъ?

— И сейчасъ ѣдятъ... Посты разбираютъ, зажмурились, а живого человѣка не жаль. Рыбку-то ѣшь, да рыбака не ѣшь...

— Коровенку у насъ послѣднюю свели на подати,—вступилась старуха.— Тоже ребятишкамъ и молочка надо. Все взяли. А когда сына мово въ солдаты брали, такъ руки и ноги ему связали. Ихъ десять человѣкъ пришло, а онъ одинъ... Въ службѣ-то всѣ кости переломали ему. Ребятишки теперь сидятъ безъ молочка...

Ефимъ взглянулъ на жену, и она сейчасъ же смолкла, только губы у ней дергало да на глазахъ выступили слезы. Возмущенный расправами Иванъ говорилъ торопливо и все старался обличить. Стоявшій съ нимъ рядомъ долгоносый мужикъ съ маленькими сѣрыми глазками время отъ времени дергалъ его за рукавъ и бормоталъ:

— Иванъ, не цѣпляйся... Ишь, разыгрался.

— А я скажу, завсегда скажу!—кричалъ Иванъ надтреснутымъ, плачущимъ голосомъ.—Теперь подати требуютъ... За что? Землю отымаютъ... за что? Все Божье, всѣмъ одно дато... Святого Духа забыли, отъ Божьяго закону отказались, табакъ всѣ нюхаютъ...

— Иванъ, а Иванъ...—тихонько шепнула молодая женщина, стоявшая за нимъ, и тихонько дергала его за полу.—Не цѣпляйся, Иванъ.

Ей было лѣтъ двадцать пять. Молодое, довольно симпатичное лицо являлось живымъ портретомъ старухи-матери, только оно было смягчено и молодостью и охватившимъ ее волненіемъ. Особенно хороши были эти большіе, ласковые и молящіе глаза, полные женской заботы о мужѣ, какъ бы онъ не сказалъ чего лишняго.

Этотъ импровизированный диспутъ подъ открытымъ небомъ принялъ особенно ожесточенный характеръ, когда рѣчь зашла о православной церкви и о предстоящей власти. Иванъ кричалъ съ пѣной у рта, подкрѣпляя свою рѣчь наборомъ готовыхъ, стереотипныхъ фразъ о Духѣ Святомъ, о градѣ Ерусалимѣ и всевышнемъ престолѣ. Сдерживавшій его третій мужикъ тоже не вытерпѣлъ и горячо вступился въ споръ, такъ какъ рѣчь зашла о самомъ главномъ—о землѣ.

— Ничья земля,—повторялъ онъ съ особенной настойчивостью.—А кто надъ ей трудится, тому она и даетъ свой плодъ... Мало ли бы я захватилъ ея сколько и сказалъ: моя земля, а кто мнѣ повѣритъ? Я, что ли, ее сотворилъ? Божья земля...

— А начальство не признаешь?

— Никакого начальства нѣтъ: въ сердцѣ у меня начальство... отъ Святого Духа.

— А ежели, напримѣръ, кто начнетъ обижать кого, тогда какъ безъ начальства-то?

— Говорятъ тебѣ, дерево стоеросовое: Святой Духъ... Всѣ мы Божьи люди, и никакого начальства не сотворено особенно. Сами вы придумали себѣ начальство и землю расхватали... И скотина всякая тоже отъ земли питается. Сколько поробишь, столько и съѣшь. Это ужъ отъ Святого Духа...

— Ты зажмурился и ничего не видишь!—кричалъ Иванъ.

„Сестра своего мужа“ вслушивалась въ эти пренія и время отъ времени повторяла съ заученнымъ азартомъ:

— А мы отъ Святого Духа не отступимся... и отъ града Ерусалима и отъ всевышняго престола!..

Она являлась эхомъ старухи, которая первая высказала эту формулу.

Вслушиваясь въ эти споры, трудно было разобраться, въ чемъ дѣло, да едва ли оно отчетливо сознавалось и самими сектантами, хотя они и стояли твердо на извѣстныхъ положеніяхъ, какъ понятіе о ничьей землѣ, о неплатежѣ податей, о жизни по Святому Духу. Для меня ясно было только одно, что это была спеціально-заводская секта, возникшая въ темную и кровавую эпоху приписныхъ къ заводамъ крестьянъ, когда на заводы сгоняли купленныхъ мужиковъ со всей Россіи. Они принесли сюда, въ это царство огня и желѣза, свою рассейскую мысль о своей землѣ и затаили ее на все время крѣпостничества, а затѣмъ она приняла уже протестующую форму болѣзненнаго характера. Впрочемъ, сущность ученія неплательщиковъ до сихъ поръ остается совершенно неизвѣстной, за исключеніемъ нѣсколькихъ консисторскихъ духовныхъ слѣдствій и полицейскихъ протоколовъ. Я только констатирую фактъ,—то, что видѣлъ и слышалъ,—не пускаясь въ дальнѣйшіе комментаріи. Замѣчу кстати, что неплательщиками кое-что заимствовано отъ раскольниковъ, какъ органическая ненависть къ табаку и „щепоти“, т.-е. трехперстному сложенію православнаго креста, хотя имъ бы, по смыслу приведенныхъ выше разговоровъ, то и другое должно быть безразличнымъ.

III.

Въ общемъ картина этого диспута настолько была характерна, что я отъ души пожалѣлъ о невозможности снять съ нея фотографію,—и сектанты и публика такъ и просились на полотно. Такія живыя проявленія народнаго творческаго духа приходится встрѣчать не часто, а тутъ говорило все, начиная съ костюмовъ и кончая позами, выраженіемъ лицъ и жестами. Эти невидимые сѣрые люди составляли центръ картины, ея живое пятно, а остальная публика шла только на придачу, какъ приправа. Но и здѣсь выдвигались характерныя лица, о которыхъ стоитъ сказать.

О земскомъ человѣкѣ мы уже говорили. Онъ относился къ сектантамъ свысока и покровительственно, какъ человѣкъ, привыкшій имѣть дѣло съ „темнотой“. Поспоривъ и давъ нѣсколько хорошихъ совѣтовъ, онъ исчезъ. Его мѣсто сейчасъ же заступилъ какой-то солдатъ, находившійся въ подпитіи.

— Эй, вы, Божьи странники, а какъ вы насчетъ денегъ полагаете?—приставалъ солдатъ къ Ивану. — Ну, напримѣрно, я дамъ тебѣ цѣлковый... Твой законъ дозволяетъ его принимать?

Иванъ пристально смотритъ прямо въ лицо вороватому солдату, стараясь разгадать устраиваемый послѣднимъ подвохъ, но ничего не отвѣчаетъ.

— Извѣстно, принимаютъ, — поддакиваетъ голосъ изъ толпы. — Ежели, напримѣръ, за работу...

— А отъ кого деньги-то?—торжествуетъ солдатъ.—Развѣ онѣ отъ Святого Духа? То-то вотъ вы, углопы, толковать беретесь, а смыслу въ васъ нѣтъ...

Иванъ и третій мужикъ съ азартомъ накидываются на солдата, и дѣло доходитъ до крупной перебранки.

— Я вамъ покажу!—оретъ солдатъ.—Умнѣе другихъ протчихъ захотѣли быть... А деньги тоже берете?..

Жена Ивана напрасно старается сдержать мужа, а потомъ ласково начинаетъ уговаривать солдата:

— Миленькій, отстань... Вѣдь мы тебѣ не мѣшаемъ, а ты пристаешь. Ну и шелъ бы своей дорогой... Какія такія деньги ты увидѣлъ у насъ: вотъ всѣ мы тутъ, дома ничего не осталось. Хороши мы — для себя, худы мы — тоже для себя, а тебя вѣдь не трогаемъ, миленькій.

— А ты чего выставляешься-то: не съ тобой говорятъ!—огрызается солдатъ.—Развѣ съ бабами объ такихъ предметахъ возможно разсужденіе допускать? Гдѣ твое-то мѣсто бабье? Вмѣстѣ съ кошкой ты должна въ избѣ сидѣть, а не то чтобы при всемъ народѣ пасть растворять... Съ молочнаго-то въ тебѣ много храбрости прибавилось!..

Солдатъ ядовито обругалъ бабъ и опять сцѣпился съ мужиками. Онъ старался поднять ихъ на смѣхъ, и одно время окружавшая толпа сдержанно хихикнула на какое-то ловкое солдатское колѣно.

— Хорошо вамъ разговоры-то ваши разговаривать, когда податей съ васъ не спрашивается, значитъ, съ заводскихъ,—высчитывалъ онъ по пальцамъ. — Потому какъ общество вноситъ сумму съ общественнаго кабака за всѣхъ; а то поглядѣлъ бы я, какъ бы вы не отдали податей... Теперь начальство взять—тоже ваша полная неустойка выходитъ.

Въ толпѣ пробивался ближе къ сектантамъ какой-то старикъ съ сѣденькой бородкой клинышкомъ, но его не пускали впередъ какія-то услужливыя руки.

— Ахъ, одно словечко сказалъ бы я солдату... — повторялъ старикъ, качая головой.—Братцы, пустите!..

Но бахвалившійся солдатъ уже встрѣтилъ соперника въ лицѣ молодого мастерового съ „шадривымъ“ лицомъ. Это былъ еще совсѣмъ молодой парень, одѣтый въ „спинджакъ“ и красную кумачную рубаху.

— Солдатъ, отстань,—рѣзко окрикнулъ онъ бахвала.—Чего присталъ, какъ банный листъ...

— А тебѣ какое такое дѣло до меня?—огрызнулся солдатъ.

— А вотъ такое...

— Какое?

— Пустой ты человѣкъ, вотъ что! Люди стоятъ, никому не мѣшаютъ, ну и не лѣзь...

— А ежели я, напримѣрно, въ полномъ своемъ правѣ могу вполнѣ соотвѣтствовать?..

— Да вѣдь ты, дуракъ, лѣзешь-то къ нимъ! Обнялъ, какъ песъ, и думаешь—ладно... Ежели ты хочешь узнать, зачѣмъ вотъ они стоятъ здѣсь, такъ ты и приди къ нимъ на домъ да и спроси честью, а не сгаломъ. Лаемъ-то немного возьмешь... Ты ежели обстоятельный человѣкъ, такъ спроси не на народѣ, а дома его. Можетъ, онъ получше насъ съ тобой...

— Ваня, это ты правильно...—подтвердилъ старикъ съ сѣдой бородкой клинышкомъ, выставляя черезъ плечи свою голову.—Здря солдатъ бахвалится.

Изъ всей толпы невозмутимымъ оставался попрежнему одинъ старикъ Ефимъ. Онъ только посмотрѣлъ своими прищуренными глазами на шадриваго парня и пожевалъ сухими губами. Слова парня замѣтно подѣйствовали на толпу, и послышался одобрительный шопотъ. Кто-то широко вздохнулъ, прислушиваясь къ доносившемуся изъ растворенного окна церкви церковному пѣнію. Солдатъ быстро исчезъ, какъ и земскій человѣкъ. Изъ толпы перекрестнымъ огнемъ сыпались на сектантовъ отдѣльные вопросы, но уже въ примирительномъ духѣ: главные оппоненты ушли отъ грѣха въ церковь. Иванъ замѣтно успокоился и, скрестивъ руки, смотрѣлъ сосредоточенно на востокъ, предоставивъ отвѣчать на вопросы третьему мужику. Время отъ времени крайняя бабенка съ утинымъ носомъ съ безпричиннымъ азартомъ повторяла стереотипную фразу:

— А мы отъ Святого Духа не отступимся, и отъ закона Божьяго, и отъ святого града Ерусалима и престола всевышняго!..

Эти выкрикиванія часто выходили совсѣмъ не къ мѣсту, и жена Ивана тянула товарку за полу.

— А какъ вы полагаете насчетъ горнаго устава?—спросилъ въ толпѣ какой-то прилично одѣтый господинъ съ добродушнымъ лицомъ.

— Почитай самъ, такъ и увидишь,—отвѣчалъ за всѣхъ Иванъ увѣреннымъ тономъ.—Тамъ все обсказано... А мы теперь про Боговую искру.

Къ числу странностей секты неплательщиковъ относится между прочимъ то, что они въ своей этикѣ ссылаются на какую-то статью горнаго устава, которая будто бы разрѣшаетъ ихъ отъ установленнаго брака. Извѣстно это все изъ тѣхъ же консисторскихъ духовныхъ слѣдствій, но насколько это справедливо—я не могу ничего сказать. Вообще, неплательщики темное явленіе неизвѣстной намъ народной жизни, о которомъ трудно судить по имѣющимся даннымъ, даже сектой, въ собственномъ смыслѣ, едва ли будетъ справедливо назвать эту маленькую общину.

Мнѣ нужно было съѣздить по дѣламъ въ нѣсколько мѣстъ. Когда я возвращался изъ телеграфной конторы, обѣдня уже кончилась, и народъ пестрой толпой валилъ изъ церкви. На базарной площади неплательщиковъ уже не было. Я догналъ ихъ въ слѣдующей улицѣ. Они торопливо и озабоченно шагали посрединѣ дороги, выдѣляясь своимъ сѣрымъ тономъ. Всѣ кругомъ были погружены въ обыденныя хлопоты, мелочи и работы, въ коихъ проходитъ незамѣтно жизнь, и только вотъ эта кучка сѣрыхъ людей уносила съ собой что-то особенное, что стояло выше общепринятыхъ будней. Провожая ихъ глазами, я думалъ о тѣхъ таинственныхъ горныхъ ключахъ, которые пробиваются на поверхность земли изъ невѣдомой глубины, невѣдомыми путями...

1891.

БОЖІЙ ОГОРОДЪ.

Очеркъ.

I.

Анна Васильевна уѣзжала изъ Горѣлова въ самомъ лучшемъ настроеніи. Особенно ее тронуло прощанье съ отцомъ Евграфомъ. Старый батюшка былъ очень добродушный человѣкъ, но ей все время казалось, что онъ къ ней относится съ предубѣжденіемъ. Придетъ въ школу и осмотритъ все такими недовѣрчивыми глазами. Дѣвушка чувствовала это недовѣріе и не могла понять, въ чемъ дѣло. Ее смущала и самая манера говорить — у батюшки все было хорошо. Даже когда ученикъ или ученица начинали путаться, онъ настойчиво повторялъ:

— Что̀ же, очень хорошо... Да, хорошо.

Аннѣ Васильевнѣ казалось, что онъ смѣется надъ ней, хотя это ужъ совсѣмъ не вязалось съ общимъ характеромъ о. Евграфа. Иногда дѣвушкѣ казалось, что батюшка что-то хочетъ ей сказать, но не можетъ выговорить какого-то рокового слова. А вотъ сейчасъ, передъ самымъ отъѣздомъ, когда она заѣхала въ поповскій домикъ проститься, все и объяснилось.

— Съ Богомъ, съ Богомъ...—повторялъ о. Евграфъ.—Какъ разъ домой пріѣдете подъ самую заутреню. Да, хорошо... А у меня тоже радость. Какъ же... Племянница у меня есть... такъ она, сирота... ну, въ епархіальномъ училищѣ кончила курсъ. Да... А тутъ умираетъ какъ разъ ваша предшественница... Долго она умирала, ну, я и думалъ, что опредѣлю племянницу на ея мѣсто, а управа вдругъ назначаетъ васъ. Вы-то, конечно, не виноваты, а мнѣ жаль племянницу было... Сирота круглая, да...

— Значитъ, она получила мѣсто?—догадалась Анна Васильевна.

— Вотъ-вотъ... Учитель одинъ умеръ, ну, мѣсто и оказалось за ней. Три года она ждала, значитъ, племянница...

— Поздравляю, о. Евграфъ...

— Вотъ-вотъ... Слава Богу. Жаль, конечно, ея предшественника, но всѣ мы смертны и всѣ кому-нибудь освободимъ мѣсто.

— Пора бы и ѣхать...—прервалъ этотъ разговоръ кучеръ Артемъ, торопившійся доставить учительку въ городъ засвѣтло.

— И то пора...—спохватился о. Евграфъ.—Съ Богомъ!.. Очень хорошо... А ты, Артемъ, не засядь въ яму подъ Мышкиной. Тамъ теперь вотъ какъ развело все... И съ лошадью можно утонуть, какъ фельдшеръ въ прошломъ году. Вода-то вотъ какъ тронулась...

— Знаемъ...—обидчиво отвѣтилъ Артемъ, соображавшій, что ему придется сдѣлать лишнихъ три версты, объѣзжая луга.

Анна Васильевна сѣла въ телѣгу, гдѣ было устроено сидѣнье изъ сѣна. Она была счастлива, какъ никогда. Впереди цѣлая недѣля отдыха... Какъ мама обрадуется! Дѣвушка видѣла уже маленькую квартирку, коленкоровыя занавѣски на окнахъ, старомодные цвѣты, портретъ отца на стѣнѣ — да, хорошо. Совсѣмъ хорошо, какъ говорилъ о. Евграфъ.

Телѣга медленно потащилась черезъ церковную площадь, а потомъ свернула направо.

— Ты это куда же, Артемъ?—удивилась Анна Васильевна.

— А туда... Мы сегодня горой поѣдемъ, потому какъ по лугамъ никакого проѣзду нѣтъ.

— Это дальше будетъ?

— Знаю, дальше. Версты съ три объѣздъ... Лошадь-то вотъ какъ пересобачишь.

— Я тебѣ прибавлю, Артемъ.

Артемъ не удостоилъ отвѣта, а только уныло проговорилъ, хлестнувъ лошадь кнутомъ:

— Эхъ, ты, животная тварь...

Село Горѣлово раскинулось широко по теченію рѣки Лопатки, какъ всѣ сибирскія села. Изъ одного края не было видно другого. Но это разстояніе не мѣшало ему періодически выгорать — то съ одного края выгоритъ, то съ другого, а то огнемъ всю середку выхватитъ. Отсюда и названіе: Горѣлово. Телѣга съ трудомъ выбралась изъ грязной боковой улицы, обогнула послѣдніе огороды и медленно начала взбираться въ гору, наполовину еще покрытую лѣсомъ. Узкій проселокъ служилъ сейчасъ канавой, по которой съ веселымъ шумомъ неслась вешняя полая вода. Артемъ укоризненно качалъ головой и что-то ворчалъ себѣ подъ носъ. Гнѣдая мохноногая деревенская лошаденка вытягивалась въ оглобляхъ, какъ кошка, мотала головой и въ концѣ концовъ останавливалась.

— Вѣдь вотъ ты... а?.. Ну и дорожка... Да, кажется, дай мнѣ десять цѣлковыхъ—ни въ жисть не повезу!..—ворчалъ Артемъ.

Анна Васильевна не обращала на него вниманія, поглощенная собственными мыслями. Она была такъ рада, что недоразумѣніе съ о. Евграфомъ такъ благополучно разрѣшилось. А она и не подозрѣвала, въ чемъ тутъ дѣло. Конечно, она, Анна Васильевна, не виновата, но, съ другой стороны, вполнѣ законны и заботы о. Евграфа о племянницѣ-сиротѣ. Сколько, вѣроятно, было тутъ предположеній, плановъ и надеждъ, и вдругъ управа назначаетъ ее, Анну Васильевну... Жестокій законъ конкуренціи, когда конкуренты даже не подозрѣваютъ о взаимномъ существованіи. Какая-то поповская племянница, какая-то дочь чиновника Анна Сергѣевна, умирающая „предшественница“... Кстати, кто была эта „предшественница“—Анна Васильевна даже не знала, и ей почему-то сдѣлалось сейчасъ совѣстно. Она по отчетамъ знала только ея фамилію — Грачева и больше ничего. Почему она осталась умирать въ Горѣловѣ—не зналъ даже о. Евграфъ. Гдѣ-то далеко у нея были какіе-то дальніе родные, но она не хотѣла къ нимъ ѣхать, предпочитая остаться на своемъ школьномъ посту.

А тутъ еще какой-то „предшественникъ“, который очистилъ мѣсто поповской племянницѣ. Отчего онъ умеръ? Кто онъ былъ такой? Можетъ-быть, послѣ него осталась семья? Вотъ завтра Пасха, всѣ будутъ радоваться, поздравлять другъ друга, а „предшественникъ“ будетъ лежать въ землѣ... Чѣмъ его сгубило: непосильный трудъ, случайность, или типичная учительская горловая чахотка? Бѣдный, бѣдный... Кто ты былъ? Кого ты оставилъ? О

чемъ ты думалъ передъ смертью? Навѣрно, ты надѣялся до самаго конца и думалъ, что вотъ только бы дотянуть до весны, сдать школьные экзамены, а тамъ цѣлое лѣто отдыха. Вѣдь если разобрать, такъ у всѣхъ людей мысли приблизительно одинаковы, а особенно одинаковы надежды и ошибки. Мы всѣ безъ конца повторяемъ другъ друга...

Эти невеселыя мысли были прерваны остановкой. Телѣга завязла переднимъ правымъ колесомъ въ водоронинѣ. Артемъ, не торопясь, слѣзъ съ облучка, обошелъ телѣгу кругомъ, поправилъ кнутовищемъ сбившуюся на лошади шлею и проговорилъ:

— Вотъ такъ дорожка... Точно пьяный чортъ проѣхалъ. Не выворотиться ли намъ назадъ, барышня?

— Нѣтъ, ради Бога, Артемъ... меня мама ждетъ, — умоляющимъ голосомъ уговаривала Анна Васильевна. — Я могу наконецъ въ гору и пѣшкомъ подняться...

— Ну, отъ этого какая польза. Много ли въ тебѣ и вѣсу... А главная причина: дорога.

— Доѣдемъ потихоньку...

— Оно, конечно, доѣдемъ... Вотъ только въ горку бы подняться, а тамъ сейчасъ дорога и пойдетъ подъ гору.

Влѣво отъ дороги раскинулось деревенское кладбище. Это мѣсто упокоенія горѣловскихъ обывателей имѣло самый унылый видъ. Когда-то оно было огорожено кругомъ, но изгородь мѣстами покосилась, мѣстами лежала, а мѣстами отсутствовала. Могильные кресты вездѣ наклонились, а большинство могилъ стояли и совсѣмъ безъ крестовъ. Только до десятка свѣжихъ могилъ еще сохраняли свой первоначальный видъ. У Анны Васильевны мелькнула мысль, что, навѣрно, гдѣ-нибудь здѣсь же спряталась и безвѣстная могила ея „предшественницы“. На эту мысль точно отвѣтилъ чей-то пѣвучій женскій голосъ:

— Не ищи, милушка: не найдешь.

Къ телѣгѣ подошла высокая сухая старуха въ черномъ платкѣ на головѣ и съ длинной черемуховой палкой въ рукѣ. Она какъ-то особенно любовно посмотрѣла строгими, свѣтлыми глазами на дѣвушку прибавила:

— Домой, видно, наклонилась? Ну что же, въ добрый часъ. Поди, дома-то вотъ какъ ждутъ? Извѣстно, праздникъ... да... Артемъ, что у тебя лошадь-то?

Артемъ только махнулъ рукой.

Это была раскольничья начетчица Мароа Агаповна, которую Анна Васильевна знала больше по наслышкѣ, главнымъ образомъ потому, что она всячески стороной поносила „легкую земскую грамоту“, а по пути и учительницу. Встрѣча, во всякомъ случаѣ, была не изъ пріятныхъ.

II.

— А я вотъ къ себѣ на огородъ иду, милушка, — продолжала начетчица. — Заходите ко мнѣ въ гости, а пока лошадка-то и отдохнетъ. Вотъ тутъ близко... Артемъ, а ты пока поѣзжай потихоньку. Потомъ догонимъ

Въ пѣвучемъ голосѣ старой начетчицы было что-то такое ласковое и въ то же время властное, такъ что Анна Васильевна слѣзла съ телѣги и пошла за ней. Дѣвушка теперь только замѣтила прятавшуюся за начетчицей дѣвочку лѣтъ восьми, худенькую и востроносую, съ преждевременно строгими глазами.

— Сиротка круглая...—отвѣтила на этотъ взглядъ начетчица.—У насъ ужъ такой обычай: прикармливаемъ сиротокъ. Растетъ сирота — міру работ-

никъ. А я иду и вижу, какъ ты воззрилась на кладбище-то... Значитъ, могилку, молъ, ищетъ старой учительки.. Тутъ она упокоилась, Таисья Захаровна... Хорошая была дѣвушка, строгая, только вотъ Господь вѣку не далъ.

— Вы куда меня ведете, Марѳа Агаповна? — спрашивала Анна Васильевна, съ трудомъ вытаскивая изъ грязи глубокія резиновыя калоши.

— А близко, совсѣмъ близко... Вотъ лѣсокъ-то у самой дороги — тутъ и есть мой огородъ. Работа теперь у насъ, милушка... Своимъ бабьимъ дѣломъ управляемся. Не похвастать хочу, а свой Божій огородъ надо показать...

— Какой Божій огородъ?

— А вотъ увидишь... Всѣ науки произошла, а этого вотъ не понимаешь. Ну что же, всякому свое...

Анна Васильевна догадалась, что начетчица ведетъ ее на свои раскольничій могильникъ, залегшій въ полугорѣ, на лѣсной опушкѣ. Издали еще можно было видѣть, что здѣсь и сосны и ели выше, точно они сошлись охранять раскольничьи могилки, — раскольники рѣдко говорятъ: могила, а непремѣнно—могилка. Въ этомъ ласкательномъ словѣ чуялся далекій культъ предковъ,

— Ну, вотъ мы и дома,—проговорила Марѳа Агаповна, останавливаясь у изгороди, чтобы перевесть духъ. — Всѣ мы думаемъ, что домъ-то у насъ, гдѣ живемъ, а того не догадаемся, что дома-то мы только гости. Настоящій-то домъ вотъ онъ...

Анна Васильевна начала различать печальное женское пѣніе, доносившееся изъ глубины лѣса.

— Это сестрички канунъ поютъ,—объяснила Марѳа Агаповна.

Они пошли въ лѣсъ, гдѣ все было наполнено сырымъ весеннимъ ароматомъ, а вѣковыя деревья образовали вверху живую крышу изъ своихъ мохнатыхъ вѣтвей. Кое-гдѣ еще лежалъ почернѣвшій снѣгъ. Маленькая тропинка вывела на неправильной формы поляну, точно усыпанную правильными рядами деревянныхъ „голубцовъ". Голубецъ—деревянная обшивка могилы съ весьмиконечнымъ раскольничьимъ крестомъ подъ шатровой крышкой. Верхняя часть голубца открыта, оставалась на виду „родная" могильная земля, въ которую ставятъ и поминальную кутью, и пасхальныя яйца, и заказные поминальные блины. Около одного такого голубца стояла кучка бабъ, а передъ голубцомъ аналой. Одна изъ сестрицъ, одѣтая во все черное, пѣвуче читала „уставной канунъ за единоумершаго". Обстановка получалась самая домашняя и какая-то печально-ласковая, какъ свѣтъ осенняго солнца.

— Видишь, какъ пчелки скружились около могилки,—объяснила Марѳа Агаповна, любуясь живой картиной молившихся женщинъ.—Вотъ и въ ульѣ такъ же: зиму тихо, а какъ весна—пчелки и вылетаютъ. И душа человѣческая такъ же: зиму-то спитъ, а потомъ и проснется. Видишь, сколько могилокъ-то, точно пчелиные соты.

Сестрицы, завидѣвъ мастерицу, остановили службу и сдѣлали уставное метаніе, т.-е. поклонились начетчицѣ въ поясъ, касаясь пальцами лѣвой руки земли и приговаривая:

— Прости, матушка! Благослови, матушка!..

— Богъ васъ проститъ, милушки! Богъ благословитъ!..

Все это дѣлалось чинно, съ обрядовой строгостью. Молившіяся женщины тоже поклонились. Одна стояла съ красными отъ слезъ глазами. Очевидно, подъ деревяннымъ голубцомъ лежалъ кто-то дорогой. Марѳа Агаповна посмотрѣла на нее строгими глазами и покачала головой.

— Ахъ, Парасковья, нехорошо... Какой завтра день-то? Возстанутъ мертвіи въ жизнь вѣчную, а ты о душевной зимѣ плачешь...

Отведя Анну Васильевну въ сторону, начетчица совсѣмъ другимъ тономъ прибавила:

— По мужѣ убивается бабочка-то... Ужъ такъ ее жаль, такъ жаль. Трое ребятишекъ осталось... Придетъ сюда и какъ птица бьется у могилки! Къ тому идетъ, какъ будто она и въ умѣ измѣнилась. Только вотъ строгостью ее и беру. Пристрашишь ее, ну, она какъ будто и отойдетъ. Охъ-хо-хо... Слабость наша женская и немощь.

Начетчица говорила такимъ тономъ, какъ ученики отвѣчаютъ хорошо выученный урокъ.

— Вотъ и съ Таисьей-то Захаровной я такъ же отваживалась, — продолжала начетчица.—Приходила она ко мнѣ частенько сюда... Тосковала ужъ очень. Вонъ на тотъ пенекъ сядетъ и плачетъ-плачетъ, рѣкой льется. Ну, я даю ей выплакаться, а потомъ и построжу малымъ дѣломъ. Ничего она только не поняла по-настоящему, что̀ и къ чему.

— Чего же она не понимала, по-вашему?

— А смерти боялась и совсѣмъ глупыя слова говорила, не тѣмъ будь помянута. Жить все хотѣла, а того не думала, что вѣдь жить-то не вѣчно будетъ. Все равно помирать придется... Вотъ это и есть наша глупость, всѣ мы такъ-то думаемъ.

Анна Васильевна слушала странную рѣчь раскольничьей начетницы и тоже чувствовала себя глупой. Кому же не хочется жить? И весенній день такой ласковый, и гдѣ-то поетъ безыменная птичка, и воздухъ опьяняетъ весеннимъ горьковатымъ ароматомъ, и что-то такое щемитъ на душѣ—сладкое, недосказанное, непережитое. Она прислушивалась къ грустному похоронному пѣнію сестрицъ, смотрѣла на желтые огоньки оплывавшихъ на воздухѣ восковыхъ свѣчъ, и предъ ея глазами проносилась тѣнь плакавшей вотъ здѣсь „предшественницы“, у которой была какая-то таинственная духовная связь вотъ съ этой строгой раскольничьей мастерицей. А какой громадный контрастъ раскольничьяго могильника съ православнымъ кладбищемъ—здѣсь на каждомъ шагу чувствовалась заботливая и любящая женская рука. Православная баба „ничего не умѣетъ около могилки“, а здѣсь справлялось духовное четье-пѣтье своимъ бабьимъ дѣломъ, творился неугасавшій „поминъ души единоумершаго“, и душа, прилѣпленная къ своей землѣ, находила покой и миръ, потому что уносилась въ невѣдомый міръ, въ пугающую даль небытія. „Божій огородъ“ точно примирялъ съ мыслью о смерти, потому что былъ согрѣтъ женской молитвой.

— Мы не живемъ, а только спимъ,—продолжала начетчица. — А душа проснется вотъ только здѣсь, какъ посѣянное зерно...

Эта бесѣда была прервана появившимся Артемомъ

— Ѣхать пора, барышня,—обиженно заявилъ онъ.—Этакъ-то мы и къ завтрему не доѣдемъ...

— И то пора,—спохватилась Мароа Агаповна.—Ужо завертывай когда ко мнѣ на огородъ... Весной-то вотъ какъ хорошо у насъ.

Когда телѣга тронулась, Артемъ обернулся и проговорилъ:

— И хитрая эта Мароа... Вотъ какая хитрая, право! Ишь, какъ начитываютъ чернички надъ могилами...

— Чѣмъ же она хитрая?

— А какъ же? Теперь вотъ у насъ суббота... такъ? Ну, а она въ великій четвергъ поѣла, а разговѣется только послѣ своей пасхальной службы. Безъ малаго трое сутокъ на одной водѣ живетъ... Вотъ она какая!.. Бабенки-то къ ней такъ и льнутъ.

1898.

БУКЕТЪ ЛАНДЫШЕЙ.

Изъ морскихъ картинокъ.

I.

— Наконецъ-то!..—проговорилъ Борисъ и даже облегченно вздохнулъ, когда нашъ поѣздъ по берегу Севастопольской бухты медленно и тяжело подходилъ къ вокзалу.

— Почему наконецъ-то?—переспросилъ я.—Кажется, ничего особеннаго не случилось...

— А чортъ его знаетъ: тутъ какія-то дурацкія пропасти, здѣсь—туннель, тамъ—подъемъ... Тррахъ—и Бориса Борисыча Черепкова не стало. Очень просто...

— Ахъ, ты, трусишка!..

— Нисколько... Просто благородное чувство самосохраненія, присущее на самомъ законномъ основаніи всякой животинѣ, а я въ качествѣ послѣдняго слова творенія имѣю на оное особыя права и преимущества.

Мой другъ Борисъ отличался нѣкоторыми странностями характера. Напримѣръ, онъ страшно волновался, когда нужно было садиться въ поѣздъ или, какъ сейчасъ, выходить. Тревога охватила его еще въ Симферополѣ, и онъ нѣсколько разъ принимался упаковывать свои вещи, старался запомнить число мѣстъ, заглядывалъ подъ диванъ, осматривалъ сѣтки для ручного багажа,—вообще проявлялъ совершенно ненужную и безцѣльную дорожную суетливость, къ которой такъ склоненъ путешествующій русскій человѣкъ. Въ нашемъ вагонѣ съ нимъ соперничалъ только какой-то ветхій старецъ въ форменной фуражкѣ министерства народнаго просвѣщенія, который не пропускалъ ни одного кондуктора, чтобы не разспросить его самымъ подробнымъ образомъ о томъ, когда поѣздъ придетъ въ Севастополь, какъ удобнѣе проѣхать съ вокзала на пароходную пристань и т. д. Почтеннаго старца больше всего пугала разница между „Русскимъ“ Обществомъ пароходства и „Россійскимъ“, и онъ повторялъ эти названія, точно заучивалъ урокъ.

— Это идіотъ какой-то!—ворчалъ по его адресу Борисъ, обладавшій счастливой способностью любить или ненавидѣть совершенно незнакомыхъ ему людей.—Да, совершенный идіотъ!.. Отъ него даже пахнетъ, какъ отъ залежавшейся въ кладовой какой-нибудь старой рухляди, которую почему-то жалѣютъ выбросить.

Когда поѣздъ началъ останавливаться, Борисъ, конечно, стремительно ринулся впередъ и въ коридорѣ чуть не сшибъ съ ногъ ветхаго старичка, который тоже стремился къ выходу, какъ на пожаръ. На платформѣ происходила настоящая свалка. Въ окно я видѣлъ, какъ Борисъ врѣзался бомбой

въ эту мятущуюся толпу, наступалъ на ноги, расталкивалъ локтями, потомъ на мгновеніе исчезъ, поглощенный живой людской толпой, а затѣмъ неожиданно появился, высоко держа надъ головой букетъ живыхъ полевыхъ цвѣтовъ. Онъ проталкивался обратно въ вагонъ и по пути еще разъ чуть не сшибъ съ ногъ ветхаго старичка, который съ изумленіемъ проводилъ глазами толкавшагося господина и даже ощупалъ всѣ карманы. Очевидно, онъ принялъ Бориса за одного изъ тѣхъ желѣзнодорожныхъ воровъ, относительно которыхъ такъ краснорѣчиво предупреждали вывѣшенные на большихъ вокзалахъ спеціальные афишлаги.

Ниспровергнувъ на своемъ стремительномъ пути какую-то зазѣвавшуюся старушку, Борисъ наконецъ ворвался въ вагонъ и набросился уже на меня.

— Цвѣты!.. Первые весенніе цвѣты!.. Вѣдь всего еще 4-е апрѣля, у насъ тамъ еще глубокій снѣгъ, а здѣсь полевые цвѣты... Это—анемоны... барвинки... А вотъ вѣтки цвѣтущаго миндаля. Представь себѣ, миндаль уже отцвѣтаетъ...

Онъ прижималъ къ сердцу свой букетъ, цѣловалъ миндальную вѣтку, отороченную розовымъ плюшемъ цвѣтовъ, и не зналъ, какъ и чѣмъ проявить охватившій его неистовый восторгъ. Милый Борисъ... Я просто любовался этимъ сорокапятилѣтнимъ младенцемъ, сумѣвшимъ сохранить неугасимый молодой жаръ сердца. Даже пробившаяся въ волосахъ сѣдина не портила впечатлѣнія.

Съ платформы желѣзнодорожная суматоха перешла въ вокзалъ. Вездѣ было биткомъ набито, особенно въ залѣ перваго класса, гдѣ происходило торопливое кормленіе младенцевъ, закуска на ходу и обжиганіе горячимъ чаемъ. Мой Борисъ на время исчезъ за полученіемъ багажа и вернулся немного сконфуженный, съ виноватымъ выраженіемъ въ глазахъ. У него предательски покраснѣла переносица,—у другихъ отъ выпитой водки краснѣетъ носъ, а у Бориса краснѣла переносица и глаза дѣлались розовыми, какъ у кролика. Кстати онъ очень гордился своимъ французскимъ профилемъ и особенно носомъ съ горбинкой, за что среди товарищей-студентовъ носилъ кличку „француза послѣ Седана“.

— Борисъ... опять?—укоризненно замѣтилъ я.—Вѣдь сейчасъ только 9 часовъ утра...

— А если меня оскорбили!?.. Представь себѣ, я жду своего багажа, а этотъ затхлый старичонка какъ бросится мнѣ прямо подъ ноги... Совершенно сумасшедшій!.. Ну, я ему наступилъ на ногу, а онъ какъ зарычитъ на меня... Ей-Богу! Да еще говоритъ: „Какъ это непріятно встрѣчаться съ людьми, которыхъ въ дѣтствѣ били палкой по головѣ“... Вотъ какой вредный старикашка! Я хотѣлъ его обругать, но онъ скрылся съ удивительной быстротой, точно ящерица.

— Борисъ, а что̀ тебѣ скажетъ твой докторъ?

— Мой докторъ? Фюить!.. Мой докторъ далеко и не можетъ считать выпитыя мною рюмки коньяка... Замѣть, я перехожу на морское положеніе: водки ни-ни, а только одинъ коньякъ. Моряки пьютъ только коньякъ и портвейнъ...

— А нервы? А сахарная болѣзнь?

— Что̀ же изъ того? Есть, виноватъ... Но я буду лѣчиться въ Ялтѣ и выдержу самый строгій режимъ. Что̀ же мнѣ дѣлать, если мнѣ все запрещено,—все сладкое, фрукты, овощи, содержащіе сахаръ, и даже хлѣбъ насущный... Осталось только огорчаться. Но даю тебѣ честное слово, что моя переносица не будетъ больше меня конфузить. Я и женѣ обѣщалъ... Да... А

пріѣдемъ въ Ялту, сейчасъ къ доктору: вотъ жертва, гдѣ же ножъ? О, ты совсѣмъ не знаешь моего характера!

Съ вокзала свою дорожную тревогу Борисъ перевезъ на пароходную пристань, гдѣ происходило настоящее столпотвореніе вавилонское. Борисъ врѣзался въ толпу, обѣжалъ весь пароходъ, познакомился съ коридорнымъ, чуть не подрался съ носильщикомъ и еще разъ столкнулся гдѣ-то въ полутемномъ коридорчикѣ съ ветхимъ старцемъ.

— Мнѣ показалось, что онъ покушался на мою жизнь,—сообщалъ Борисъ, вытирая катившійся по лицу потъ.—Уфъ! Чертовски усталъ...

— И совершенно напрасно...

— А если я въ первый разъ поплыву по настоящему синему морю? Ахъ, какая прелесть!.. Какое тепло! А вода въ бухтахъ синяя-синяя, какъ живая эмаль. Восторгъ!.. Знаешь, меня охватываетъ такое чувство восторга, что я готовъ даже расцѣловать этого старикашку. И представь себѣ, сегодня всѣ женщины хорошенькія... А эти черномазенькія южанки: глаза—миндаль, черносливы и смотрятъ прямо рентгеновскими лучами. Тебѣ, какъ моему благородному другу, предстоитъ нелегкая задача удержать меня отъ перехода въ магометанство... И потомъ кругомъ исторія, настоящая исторія Иловайскаго, на каждомъ шагу исторія: Малаховъ курганъ, Братское кладбище, древній Херсонесъ, памятники героямъ... Я задыхаюсь отъ исторіи и буду писать дневникъ, какъ влюбленная классная дама. Вѣдь знаешь, такимъ мачеромъ можно достукаться до стиховъ... Помнишь, какъ сказалъ поэтъ:

Я видѣлъ море, я измѣрилъ
чами жадными его...

А весенній южный день дѣйствительно былъ великолѣпенъ, особенно для насъ, пріѣхавшихъ съ сѣвера. Даже какъ-то не вѣрилось, что и солнце настоящее, и вода настоящая, и полевые цвѣты настоящіе. Хотѣлось даже крикнуть, какъ хорошо кругомъ, и какъ этого не понимаютъ вотъ эти южане, привыкшіе къ окружающему ихъ непрестающему чуду.

Нашъ пароходъ уже подавалъ свистки, вызывая усиленную тревогу въ публикѣ. Гдѣ-то подавленно вздыхала паровая машина, разводившая пары. Публика съ какимъ-то дѣтскимъ легкомысліемъ захватывала лучшія мѣста въ каютахъ, въ общей залѣ, на палубѣ, точно мы ѣхали въ экспедицію къ сѣверному полюсу, а не въ Ялту, до которой отъ Севастополя всего пять часовъ хода. Наконецъ прогудѣлъ послѣдній свистокъ, боцманъ „отдалъ“ на вахтѣ звонокъ, капитанъ пронзительно свистнулъ, и нашъ пароходъ тяжело отвалилъ отъ пристани, взбурливая изумрудную волну. На пристани оставшаяся публика провожала отъѣзжавшихъ послѣдними словами, махала платками и шляпами, а Борисъ стоялъ у борта и, прижимая свой букетъ къ сердцу, раскланивался съ совершенно незнакомыми людьми и съ ожесточеніемъ размахивалъ своей шляпой. Рядомъ съ нимъ стоялъ ветхій старичокъ и махалъ зонтикомъ.

II

Мы оставили залитый весеннимъ солнцемъ Севастополь въ самомъ лучшемъ расположеніи духа, любовались развалинами древняго Херсонеса, исполняя обязанность туристовъ, и не замѣчали, какъ начинало покачивать нашъ пароходъ. Вѣтра не было, а поднималась какая-то шальная волна. Ветхій старичокъ оказался большимъ знатокомъ исторіи и прочелъ собравшимся вокругъ него „намъ цѣлую исторію Херсонеса съ незапамятныхъ временъ“

въ связи съ незапамятной исторіей всего Крымскаго полуострова, являвшагося, по его словамъ, „ристалищемъ“ народностей.

— Чортъ его знаетъ, еще окажется какимъ-нибудь профессоромъ, а я ему на любимую мозоль наступилъ давеча,—ворчалъ Борисъ.

Публики набралось на пароходѣ много и самой разнообразной. На палубѣ третьяго класса выдѣлялась оригинальная группа учителей, учительницъ и гимназистокъ, ѣхавшихъ въ Ялту провести праздники. Отдѣльно отъ другихъ держались два толстовца въ синихъ блузахъ, съ котомками, въ широкополыхъ шляпахъ и съ какими-то библейскими посохами въ рукахъ.

На нашей палубѣ перваго класса собрались разнородные элементы, этнографическій составъ которыхъ можно было бы опредѣлить развѣ только при помощи химическаго анализа. Какіе-то сомнительные иностранные джентльмены въ пестрыхъ шапочкахъ, съ биноклями, моноклями, яркихъ цвѣтовъ галстуками и подозрительно сіявшими въ нихъ булавками. Было нѣсколько дамъ тоже довольно сомнительныхъ и совсѣмъ несомнительныхъ отставныхъ офицеровъ, моряковъ и чиновниковъ, бережно везшихъ въ Ялту свои застарѣлые ревматизмы, катарры и заржавѣвшіе на службѣ отечеству нервы.

— Это все отбросы нашей всероссійской цивилизаціи,—характеризовалъ Борисъ русскую публику перваго класса.—У меня такое ощущеніе, какъ будто я попалъ въ мусорную яму, и даже начинаю вдыхать присвоенный ей специфическій ароматъ... Вонъ посмотри на эту высокую даму съ лорнетомъ, которая разговариваетъ съ упитаннымъ студентомъ-кирасиромъ. Она ужасно походитъ, благодаря модному корсету съ прямой планкой, на кенгуру: бюстъ впередъ, животъ спрятанъ, а окончаніе спины выдвинуто. Вся разница между ней и кенгуру только въ томъ, что у послѣдней мѣшокъ на животѣ, а у этой прицѣпленъ сбоку. И милый студентъ хорошъ: грудь колесомъ, ходитъ вывороченной кавалерійской походкой, мундиришко коротенькій... И это—мужъ науки, надежда благороднаго отечества... И въ довершеніе всего—монокль въ глазу. Впрочемъ, послѣднее благоразумно, потому что у него глаза какъ у копченаго сига.

Однимъ словомъ, Борисъ сразу возненавидѣлъ студента, очень добродушнаго, повидимому, малаго, отдававшаго въ своемъ костюмѣ и манерѣ себя держать извѣстную дань создавшему его кругу. Кажется, что̀ тутъ обиднаго, если молодому человѣку нравится бросать въ глазъ монокль, выпячивать грудь и носить обтянутые до неистовства рейтузы, но Борисъ искренне негодовалъ.

— А фуражка какая мерзкая!.. Едва держится на головешкѣ, козырекъ до половины лба, — все это подражаніе нѣмецкому юнкерству и нѣмецкимъ буршамъ. Вообще, сейчасъ видно, что негодяй...

А „негодяй“ не только ничего не подозрѣвалъ, но, видимо, былъ очень доволенъ собой, лихо покручивалъ пробивавшіеся усики и дѣлалъ рискованную попытку говорить со своей дамой по-французски.

Русскіе люди съ присущей славянскому племени скромностью стѣсняются разговаривать громко при постороннихъ и подозрительно оглядываются кругомъ, точно кто-то ихъ подслушиваетъ, но дама-кенгуру не обладала этимъ качествомъ и говорила даже какъ-то вызывающе громко. Мы съ Борисомъ стояли у борта и любовались моремъ, а она со своимъ студентомъ ходила мимо насъ, точно роняя обрывки фразъ.

— ...А вы читали г. Розанова? Ахъ, какой писатель!.. Я, знаете, его немного боюсь и представляю его себѣ въ родѣ Петра Пустынника, а съ другой стороны, какія у него чудныя слова: „часовенка“, „родникъ бытія“!.. А. г. Меньшикова вы читаете?.. Я отъ него въ восторгѣ... У г. Розанова еще

встрѣчаются иногда такія выраженія... такія выраженія... Ну, однимъ словомъ, вы понимаете меня? А г. Меньшиковъ—одинъ восторгъ!.. Я его себѣ представляю розовымъ аббатомъ конца XVIII вѣка, остроумнымъ, вѣжливымъ, находчивымъ... У него нѣтъ ни одного обиднаго слова... И слова все самыя вѣжливыя, и каждое слово, точно хорошо воспитанный человѣкъ, умѣетъ во-время войти и во-время уйти... Это величайшее искусство... Не правда ли?.. А о. Іоанна Кронштадтскаго вы слышали? О, это saint!.. Я нарочно ѣздила въ Кронштадтъ... Какую чудную проповѣдь онъ держалъ!.. Всѣ плакали и каялись, а я даже жалѣла, что у меня недостаетъ нѣкоторыхъ грѣховъ... Вѣдь такъ пріятно каяться... Вы это, конечно, испытывали...

Дама-кенгуру засыпала бѣднаго студента вопросами, но не дожидалась отвѣта и летѣла впередъ, перескакивая съ предмета на предметъ съ головокружительной быстротой. Борисъ покраснѣлъ, какъ ракъ, сдерживая хохотъ.

— Вотъ такъ субъектецъ!.. — шепталъ онъ, кашляя отъ натуги. — Студентъ-то, студентъ-то въ какую передѣлку попалъ!.. Это называется флиртъ!.. Мнѣ даже дѣлается жаль бѣднягу... Навѣрно, онъ не одинъ уже разъ вспотѣлъ.

Оживленная бесѣда закончилась тѣмъ, что увлекшаяся дама-кенгуру взяла студента за бортъ его кирасирскаго мундира и патетически воскликнула:

— Молодой человѣкъ, любите Россію... У васъ еще все впереди!.. Россія васъ ждетъ!..

Терпѣніе Бориса лопнуло. Онъ фыркнулъ самымъ вульгарнымъ образомъ и убѣжалъ въ буфетъ, отмахиваясь рукой, точно дама-кенгуру гналась за нимъ по пятамъ.

Ветхій старичокъ бродилъ по палубѣ, напрасно выискивая себѣ жертву. Очевидно, ему страстно хотѣлось поговорить и подѣлиться впечатлѣніями. Но дамы отъ него отвертывались довольно безцеремонно, а мужчины отдѣлывались короткими отвѣтами или простымъ мычаньемъ, какъ толстый нѣмецъ съ массой брелоковъ на толстой золотой цѣпи. Кончилось тѣмъ, что старецъ подсѣлъ ко мнѣ и заговорилъ такимъ тономъ, точно мы только вчера разстались:

— А я, знаете, въ первый разъ путешествую... И какъ-то странно все вышло. Думаю, отчего мнѣ не поѣхать? Такъ, вдругъ... Цѣлую жизнь просидѣлъ въ захолустьѣ, долбилъ съ ребятами исторію и ничего, какъ есть ничего не видалъ. Вѣдь гдѣ-то живутъ другіе люди, есть другая жизнь... Иногда ночью нападетъ раздумье, даже грустно сдѣлается. Я давно овдовѣлъ, дѣтей нѣтъ... круглое одиночество... Вотъ взялъ и поѣхалъ, даже самому какъ-то странно... Да...

Старецъ снялъ свою форменную фуражку и поправилъ длинные пушистые волосы, совсѣмъ сѣрые отъ прохватившей ихъ сѣдины. При нѣкоторой игрѣ фантазіи могло показаться издали, что у него изъ головы идетъ дымъ... Какое-то мелкое старческое лицо было изборождено морщинами, напоминавшими по рисунку географическую карту съ разными изотермами и изохименами; маленькіе сѣрые глазки, уже подернутые старческой мутью, какъ-то сиротливо пріютились около толстаго мясистаго носа, точно дальніе бѣдные родственники, которые изъ уваженія садятся на кончикъ стула. Чахлая, сѣдая бородка напоминала болотную заросль, а пожелтѣвшіе отъ табака усы лѣзли въ ротъ, напрасно отыскивая тамъ несуществующіе зубы.

Наша мирная бесѣда была прервана появленіемъ Бориса, у котораго переносица опять приняла предательскую окраску, а движенія особенную развязность.

— Я за табльдотомъ занялъ мѣста,—объяснилъ онъ и, оборотившись

къ старцу, какъ къ старому знакомому, фамильярно добавилъ:—И для васъ, domine, мѣсто есть. Имѣю честь рекомендоваться: Черепковъ, судебный слѣдователь изъ Тобольской губерніи.

— Скворченко, учитель исторіи.

— Очень пріятно... А признайтесь, domine, вы меня давеча на вокзалѣ приняли, кажется, за жулика, когда ощупывали карманы?

Не дожидаясь отвѣта, Борисъ захохоталъ какимъ-то глупымъ, дѣланымъ смѣхомъ, какъ смѣются на сценѣ актеры на выходныхъ роляхъ.

— Я, дѣйствительно, немного того...—оправдывался старецъ, добродушно улыбаясь.—Знаете, вездѣ на вокзалахъ объявленія: „Берегитесь воровъ!"

Голосъ у старца оказался сильнымъ и какъ-то совсѣмъ не гармонировалъ съ общей старческой чахлостью.

Занятые общей бесѣдой, мы совсѣмъ не замѣтили, какъ попали въ полосу густого бѣлаго тумана. Берегъ пропалъ, и буквально ничего не было видно въ двухъ шагахъ. Поднимавшаяся отъ нагрѣтой солнцемъ воды теплота производила иллюзію, какъ будто нашъ пароходъ двигался по парному молоку Когда раздался тревожный свистокъ, Борисъ всполошился.

— Господа, вѣдь этакъ, чего добраго, мы наскочимъ на подводный камень или столкнемся съ другимъ пароходомъ... Кстати, показались дельфины, а это—плохой признакъ: будетъ буря. По расчету, мы сейчасъ должны огибать мысъ Форосъ.

Борисъ полетѣлъ къ капитану, чтобы навести необходимыя справки. Иначе онъ не могъ, потому что вѣчно суетился.

Я долго стоялъ у борта и любовался краскомъ моря, которое жалось къ нашему пароходу шипѣвшею волной. Радужные тона морской воды поблекли, но они все-таки были хороши, и можно было только позавидовать кувыркавшимся въ жемчужной влагѣ дельфинамъ.

III.

Туманъ взволновалъ всю публику. Всѣ одолѣвали капитана одними и тѣми же вопросами, пока онъ благоразумно не скрылся въ своей каютѣ.

— Какой это капитанъ? Просто молодой человѣкъ, который и по морю-то плаваетъ въ первый разъ!—негодовалъ Борисъ.

Звонокъ къ обѣду нѣсколько успокоилъ публику.

Помѣстившись за обѣденными столами, всѣ какъ-то сразу приняли гордый видъ и подозрительно оглядывали другъ друга, точно добрая половина пассажировъ состояла изъ поджигателей или фальшивыхъ монетчиковъ. Борисъ не отставалъ отъ другихъ, неестественно выпячивалъ грудь и оглядывалъ всѣхъ, какъ своихъ будущихъ кліентовъ. По игрѣ случая ненавистный студентъ занялъ мѣсто рядомъ съ нимъ вмѣстѣ со своей дамой-кенгуру. Я только теперь разсмотрѣлъ это странное женское лицо, уже потерявшее всѣ краски. Всего удивительнѣе на этомъ лицѣ была улыбка: вѣрнѣе сказать—все лицо состояло изъ одной улыбки. Дама-кенгуру улыбалась не ртомъ и глазами, а какъ-то всей кожей лица, и улыбка расходилась по этому лицу, какъ масляное пятно по высохшей бумагѣ. Ветхій старецъ помѣстился рядомъ со мной и, несмотря на привинченное къ полу кресло, старался занять въ немъ какъ можно меньше мѣста, точно замерзающій человѣкъ, который инстинктивно старается съежиться какъ можно сильнѣе, чтобы уменьшить площадь для истеченія живой теплоты. Дѣло въ томъ, что рядомъ съ нимъ помѣстилась дама очень внушительныхъ размѣровъ, прямо угнетавшая своимъ величіемъ. Рядомъ съ ней бѣдный старикашка казался какимъ-то цыпленкомъ, только-что вытащеннымъ изъ воды.

Начало обѣда проходило въ глубокомъ молчаніи. Слышалось только чавканье какого-то толстяка да звонъ тарелокъ. За нашимъ столомъ тоже царило молчаніе. Особенно аппетитно ѣлъ студентъ, набирая каждаго кушанья по двѣ порціи. Борисъ не утерпѣлъ, толкнулъ меня и сообщилъ шопотомъ:

— У этого молодого человѣка, у котораго еще все впереди, прекрасный аппетитъ...

— А ты зачѣмъ выпилъ сразу двѣ рюмки водки?—отвѣтилъ я тоже шопотомъ.

— Я на морскомъ положеніи... Кто знаетъ, можетъ-быть, изъ меня получится черезъ полчаса жертва морской стихіи.

Утоливъ первый приступъ голода, молодой человѣкъ принялся угощать свою даму-кенгуру краснымъ виномъ, причемъ не забывалъ и себя. Между ними вполголоса шелъ оживленный и видимо веселый разговоръ, причемъ дама-кенгуру сладко закатывала глаза и повторяла:

— Ахъ, Собиновъ!.. Ахъ Шаляпинъ!.. Фигнеръ уже давно выдохся, бѣдняжка.

— Да,—авторитетно соглашался студентъ, отдувая щеки.—Его время прошло, и можно только удивляться его былому успѣху... Въ сущности у него вѣдь никогда не было настоящаго голоса. Это дамы придумали, что у него голосъ...

— Ахъ, перестаньте, перестаньте!—умоляла дама-кенгуру.—Это былъ богъ... Да, совершенно серьезно вамъ говорю.

Студентъ только пожалъ плечами, сдѣлалъ презрительную гримасу и вызывающимъ тономъ спросилъ:

— А какъ вы полагаете относительно Анастасіи Дмитріевны Вяльцевой?

Не дожидаясь отвѣта, студентъ промурлыкалъ:

Захочу—полюблю,
Захочу—погублю.

— Эге, это, видно, не о. Иванъ Кронштадтскій,—язвилъ Борисъ по адресу мурлыкавшаго студента.—Всякій веселится по-своему—истина непреложная

Ветхій старецъ насытился, и, видимо, его одолѣвала охота поговорить. Борисъ спросилъ бутылку краснаго крымскаго вина и усердно подливалъ его въ стаканъ старца.

— Это вашъ букетъ?—спрашивалъ старецъ, чтобы сказать что-нибудь.

— Да, это мой букетъ...—отвѣчалъ Борисъ и прибавилъ, обращаясь ко мнѣ.—Я сейчасъ поведу съ нимъ разговоръ по французской грамматикѣ Оллендорфа.

— Какіе чудные цвѣты!—умилялся старецъ.

— Да, это чудные весенніе цвѣты, а вы не ѣдете ли въ Ялту?

— Да, я ѣду въ Ялту.

— Не ѣдете ли вы отдохнуть?

— Да...

— Можетъ-быть, вы имѣете какія-нибудь болѣзни, которыя желаете оставить въ Ялтѣ?

— Нѣтъ, пока Богъ миловалъ...

— Не осталась ли ваша жена дома?

— Нѣтъ, я давно овдовѣлъ.

— Можетъ-быть, вы имѣете маленькихъ дѣтей или собственный домъ?

— Борисъ, это наконецъ глупо,—остановилъ я его болтовню.

Букетъ Бориса послужилъ предметомъ для общаго разговора. Когда старецъ похвалилъ его, сидѣвшая рядомъ съ нимъ массивная дама презрительно

подняла плечи и презрительно улыбнулась. Это невинное движеніе почему-то задѣло за живое даму-кенгуру, которая вызывающе посмотрѣла въ лорнетъ на массивную даму и разсчитанно-громко проговорила:

— А мнѣ, знаете, нравятся эти весенніе цвѣты... Они такіе нѣжные, блѣдненькіе, точно дѣти послѣ тяжелой зимы. Настоящіе южные цвѣты гдѣ-нибудь на Ривьерѣ или Египтѣ рѣжутъ глазъ своими кричащими красками!..

Массивная дама приняла вызовъ и заговорила объ Европѣ, какъ о своей старой квартирѣ. Оказалось, что она побывала рѣшительно вездѣ, какъ и дама-кенгуру: обѣ поднимались на Везувій, купались у острова Капри, катались въ Венеціи на гондолахъ, пили въ Пиренеяхъ виши и т. д. и т. д. Массивная дама однако схитрила и поберегла рѣшительный ударъ къ самому концу. Взглянувъ еще разъ презрительно на букетъ Бориса, она проговорила:

— Развѣ это цвѣты? Все, что угодно, только не цвѣты... Вотъ въ Японіи, гдѣ я провела цѣлыхъ три года, вотъ гдѣ настоящее царство цвѣтовъ! Это что-то невѣроятное, чего даже нельзя разсказать!..

Она въ какомъ-то изнеможеніи закрыла глаза и потянула воздухъ носомъ, мысленно вдыхая въ себя ароматъ японскихъ цвѣтовъ. Во всякомъ случаѣ рекордъ былъ побитъ, и дама-кенгуру даже не нашлась сказать что-нибудь, а только взглянула на студента такимъ взглядомъ, который ясно говорилъ:

„И все вретъ, мерзавка! Гдѣ-нибудь въ Парголовѣ на дачѣ три года жила, вотъ и вся Японія“.

Нѣкоторыя дамы имѣютъ привычку въ моменты душевнаго волненія выражаться довольно энергично, хотя это и дѣлается про себя.

— А ландыши есть въ Японіи?—спросилъ студентъ.

Этотъ вопросъ заставилъ встрепенуться ветхаго старца, начинавшаго подъ шумокъ разговора сладко дремать.

— Позвольте, ландыши?—вступился онъ въ разговоръ, стараясь что-то припомнить.—Ахъ, да, ландыши...

Онъ даже прищурилъ глаза, точно его осіяло далекимъ блескомъ минувшей молодости. Поправивъ волосы, онъ заговорилъ съ какими-то придыханіями, какъ это дѣлали актеры старой школы.

— Да, ландыши... помню... О, это было давно, очень давно!.. Я былъ еще студентомъ и былъ страшно бѣденъ... Да, голодалъ, т.-е. мы голодали вдвоемъ. Мы жили въ одной комнатѣ съ такимъ же бѣднякомъ-студентомъ... Питались колбасой, рубцомъ... да... Мой товарищъ давно умеръ, еще когда былъ студентомъ... отъ голоднаго тифа... да... Мы очень голодали и пили чай съ черствой булкой, которую покупали въ сосѣдней булочной по уменьшенной таксѣ... да... А рядомъ съ нами занимала маленькую комнату швея, совсѣмъ еще молоденькая дѣвушка. Она тоже голодала и тоже питалась чаемъ и колбасой... Мы называли ее сверчкомъ, потому что въ ея комнатѣ съ утра до ночи трещала швейная машинка... да. И вотъ однажды швейная машинка замолкла... Помню, это было весеннимъ утромъ... Мы ушли на лекціи, потомъ вернулись—машинка молчала. Потомъ... да... потомъ вбѣгаетъ наша квартирная хозяйка и въ ужасѣ сообщаетъ, что бѣдная швейка умерла... Да, умерла...

Старецъ сдѣлалъ трагическую паузу и еще разъ поправилъ свои волосы. Въ его головѣ поднимались картины далекаго молодого, голоднаго прошлаго, и онъ любовался ими, какъ любуется ботаникъ зимой высушенными весенними цвѣтами въ своемъ гербаріи.

— Да, она умерла...—продолжалъ старецъ.—У нашей хозяйки разболѣлись зубы, и на кладбище провожали дѣвушку только мы вдвоемъ съ товарищемъ... Ни родныхъ ни знакомыхъ у нея не было. Да... Помню, былъ чудный

весенній, солнечный день, въ родѣ сегодняшняго... На улицахъ кипѣла весенняя суета, всѣ лица были такія радостныя, а мы уныло шагали за похоронными дрогами... По дорогѣ намъ попался мальчикъ, продававшій первые ландыши... У насъ двоихъ нашлось всего 30 копеекъ,—наше дневное содержаніе,—но мы купили на эти послѣднія деньги букетъ ландышей и положили его на гробъ дѣвушки. Да...

Старецъ умолкъ, точно придавленный этимъ воспоминаніемъ далекой юности. Его безхитростный разсказъ произвелъ впечатлѣніе, особенно на дамъ. Дама-кенгуру даже хотѣла приложить платокъ къ глазамъ, но предварительно спросила:

— Отчего же она умерла, ваша дѣвушка-стрекоза? Отъ чахотки?

Старецъ точно очнулся, посмотрѣлъ на нее и спокойно отвѣтилъ:

— Она? Нѣтъ, она умерла... отъ запоя.

Впечатлѣніе отъ послѣдней фразы было оглушающее. Всѣ точно онѣмѣли. Борисъ надулся, какъ клопъ, сдерживая хохотъ, но кончилъ тѣмъ, что фыркнулъ самымъ глупымъ образомъ и убѣжалъ на палубу.

— Нѣтъ, ей-Богу, отъ запоя... — увѣрялъ старецъ, оглядывая всѣхъ какими-то дѣтскими глазами.

IV.

Благодаря совершенно неумѣстной выходкѣ Бориса, положеніе получалось довольно глупое, и всѣ чувствовали себя какъ-то неловко, тѣмъ болѣе, что самъ ветхій старецъ рѣшительно не желалъ понимать смысла финала своего разсказа и добродушно улыбался. Эта неловкая нѣмая сцена была прервана массивной дамой, которая вдругъ поблѣднѣла и, прижавъ платокъ ко рту, быстро убѣжала къ себѣ въ каюту.

— Эге, качка...—резюмировалъ неизвѣстный голосъ, когда началось поголовное бѣгство дамъ.

Мы только сейчасъ замѣтили, какъ нашъ пароходъ началъ дѣлать плавныя раскачиванія,—волна била сбоку. Когда я вышелъ на палубу, Борисъ стоялъ у борта и любовался шипѣвшей волной, зарывавшейся подъ нашъ пароходъ. Увидавъ меня, онъ громко расхохотался.

— Вотъ такъ анекдотъ!..—повторялъ онъ, задыхаясь.—Что̀ называется, безъ ножа зарѣзалъ всѣхъ, особенно эту кенгуру. Ха-ха... Уморилъ, убилъ, уничтожилъ, разбойникъ!.. А ужъ дамы приготовились пустить слезу... Вотъ такъ букетъ ландышей!.. Нѣтъ, я погибаю, у меня начинаются колики... Меня разорветъ отъ смѣха, если я его увижу хоть издали!

— И все-таки не было никакого основанія фыркать почтенному старичку прямо въ лицо... И если разобрать серьезно, такъ даже особенно смѣшного въ этомъ анекдотѣ ничего нѣтъ.

— Ты думаешь?!.. Да вѣдь отъ такого анекдота покойникъ умретъ отъ смѣха!

— Про покойника ничего не могу сказать, а вотъ твоя переносица краснѣетъ все больше... Пожалуй, букетъ ландышей имѣетъ нѣкоторое отношеніе и къ тебѣ...

— Не приставай и не порти моего благороднаго характера!

Было уже 5 часовъ,—срокъ нашего прибыванія въ Ялту,—а мы продолжали двигаться въ густомъ туманѣ и не видѣли даже береговъ. Странно, что вѣтра не было, а море волновалось какъ-то само собой, разводя довольно сильное волненіе. Дамы перваго и второго класса больше не показывались на палубѣ, зато на палубѣ третьяго класса можно было наблюдать всѣ стадіи

морской болѣзни. Особенно страдали двѣ гимназистки, ѣхавшія изъ Одессы. Одна изъ нихъ, очень энергичная дѣвушка, упорно боролась съ приступами морской болѣзни: ѣла лимоны и подолгу сидѣла, закинувъ голову назадъ. Но все было тщетно, и она въ концѣ концовъ раздѣлила общую печальную участь. И тутъ же, какъ на зло, ни одинъ мужчина не желалъ подвергаться роковому дѣйствію морской стихіи.

Чтобы какъ-нибудь убить время, мы съ Борисомъ отправились въ свою каюту и самымъ безсовѣстнымъ образомъ улеглись спать.

— Ты меня, пожалуйста, разбуди, когда я буду тонуть...—говорилъ Борисъ, сладко потягиваясь на своей койкѣ.—Точно младенца въ люлькѣ покачиваетъ... А наши бѣдныя женщины? А еще говорятъ о равноправности... Сосудъ скудельный, однимъ словомъ...

Послѣ двухъ полусонныхъ ночей, проведенныхъ въ поѣздѣ, мы проспали самымъ безсовѣстнымъ образомъ до 9-ти часовъ вечера.

— Мы давно проѣхали Ялту!..—въ отчаяніи заявилъ Борисъ, провѣряя часы.—Проклятый коридорный не разбудилъ насъ.

Но коридорный оказался невиноватымъ: мы были въ открытомъ морѣ, и пароходъ попрежнему двигался въ густомъ туманѣ, и попрежнему продолжалась качка. Всѣхъ дамъ точно вымело, а на палубѣ уныло бродили одни мужчины. Въ общей залѣ студентъ самымъ аппетитнымъ образомъ ѣлъ кровавый бифштексъ, запивая его краснымъ виномъ.

— Милашка, это онъ съ горя, отъ одиночества уплетаетъ за троихъ,— объяснилъ Борисъ.—А мы, знаешь, по-купечески, спросимъ пару чаю съ лимономъ... а? Сухариковъ тамъ, вареньица... Будемъ убивать время какъ-нибудь въ ожиданіи аваріи.

Мы долго просидѣли „по-купечески“ за своей парой чая, прислушиваясь къ тревожнымъ свисткамъ нашего парохода. Публика начинала волноваться. Слышались негодующіе возгласы. Очевидно, мы сбились съ курса и блуждаемъ въ открытомъ морѣ. Кто-то совсѣмъ ужъ некстати припоминалъ гибель парохода „Владиміръ“ и другія аваріи въ Черномъ морѣ. Студентъ спросилъ себѣ какой-то рыбы и продолжалъ ѣсть съ завиднымъ аппетитомъ.

— Я не могу видѣть этого идіота!..—въ отчаяніи заявилъ Борисъ.— Пойдемъ наверхъ дышать свѣжимъ морскимъ воздухомъ... Кстати, нашъ старикашка спитъ, по выраженію Твэна, какъ ночной сторожъ.

Было уже поздно. Наша палуба была пуста. Нѣкоторое движеніе происходило только на палубѣ третьяго класса, гдѣ бѣднымъ женщинамъ приходилось страдать на глазахъ у всѣхъ. Было тепло, какъ на сѣверѣ не бываетъ даже въ лѣтнія ночи. Подкисленный морскими испареніями воздухъ освѣжалъ и нагонялъ то особенное мечтательное состояніе, которое испытывается только въ морѣ. Мы долго сидѣли на скамейкѣ, прислушиваясь къ немолчному шопоту баюкавшей морской волны. Въ этомъ шопотѣ было что-то гипнотизирующее и нагоняющее сладкую дремоту. Я припомнилъ прочитанное гдѣ-то давно сравненіе этого шопота съ тѣмъ, какъ деревенскія знахарки заговариваютъ кровь,—безсмысленный, однообразный, съ какимъ-то молитвеннымъ глухимъ речитативомъ, и горячая кровь-руда унимается, отъ сердца отваливается злая тяжесть, всего человѣка охватываетъ сладкая истома, какъ засыпающаго ребенка. Хорошо, и не хочется просыпаться отъ этой истомы...

— А вѣдь хорошо, чортъ возьми!—прервалъ Борисъ молчаніе.—А у меня, знаешь, не выходитъ изъ головы этотъ букетъ ландышей... Выходитъ даже совсѣмъ серьезное дѣло. Да...

Онъ перешелъ къ воспоминаніямъ изъ нашей студенческой жизни, когда

мы тоже голодали и питались главнымъ образомъ мечтами о счастливомъ будущемъ. Въ молодомъ воображеніи эти мечты сливались съ туманнымъ образомъ той идеальной дѣвушки, которая сдѣлается первымъ и послѣднимъ словомъ счастья всей жизни.

— Да, все было...—грустно раздумывалъ Борисъ свою жизнь.—Вотъ я... Ты не знаешь моей жены? Глупо спрашиваю: конечно, не знаешь... Некрасивая, старше меня, а я ее отбилъ у мужа. Прибавь къ этому: дама рѣшительная, то, что̀ называется скипидаръ-баба. Мы часто ссоримся и говоримъ другъ другу самыя оскорбительныя вещи. Я проклинаю свою жизнь и завидую рѣшительно всѣмъ счастливцамъ, которые не обязаны имѣть никакого дѣла съ моей Глафирой Ермолаевной. Я мечтаю по цѣлымъ годамъ о какомъ-нибудь путешествіи, чтобы не видѣть ея хотя въ теченіе одного мѣсяца. И уѣзжалъ... Уѣду, пройдетъ недѣля, много—двѣ, и мнѣ вдругъ дѣлается ея жаль, по-хорошему жаль. Вотъ и сейчасъ... Вѣдь въ сущности она не виновата, что некрасива и старше меня и что имѣетъ скипидарный характеръ. Логически красивыхъ женщинъ нѣтъ,—это наше тлѣнное воображеніе играетъ. Разсмотри подъ микроскопомъ по частямъ первую красавицу и дурнушку—разницы никакой. А наше сердце—узелъ противорѣчій... Вотъ я, напримѣръ, люблю свою Глафиру Ермолаевну и не промѣняю ея ни на какую красавицу... Она тоже любитъ меня, будетъ ждать... А главное, когда я такъ думаю, я начинаю себя чувствовать порядочнымъ и хорошимъ человѣкомъ.

Признаться сказать, я никакъ не могъ понять теченія мыслей Бориса: при чемъ тутъ букетъ ландышей, Глафира Ермолаевна и т. д.? Нашъ пароходъ продолжалъ двигаться въ густомъ туманѣ, нарушая ночную тишину неистовыми воплями свистка. Пароходная машина работала съ подавленнымъ гуломъ, точно она выбивалась изъ силъ. А море продолжало волноваться, посылая гряды волнъ. Тотъ же чуткій шопотъ окружалъ насъ. Вѣроятно, въ туманѣ незримо рѣяли невидимые легіоны таинственныхъ морскихъ духовъ и говорили съ нами на невѣдомомъ языкѣ.

— Да, такъ букетъ ландышей...—прервалъ Борисъ слишкомъ затянувшуюся паузу.—Мнѣ стыдно сейчасъ за давешній глупый хохотъ, и я расцѣлую старикашку, когда онъ вернется къ бытію. Вѣдь, понимаешь, это я хоронилъ дѣвушку-стрекозу, я купилъ на послѣднія деньги букетъ ландышей, чтобы положить ей въ гробъ, и я хоронилъ ее не одинъ разъ... Это вѣдь была та самая дѣвушка, которая должна была сдѣлать меня счастливымъ... И ты ее хоронилъ и всѣ другіе... Мнѣ нѣтъ никакого дѣла, отчего она умерла, а я съ ней хоронилъ свои хорошія, молодыя, честныя чувства... И вотъ глубокимъ старикомъ, когда все кругомъ потеряло для меня всѣ краски, когда собственная кровь уже не грѣетъ, когда нервы притупились,—я вспоминаю о своемъ букетѣ ландышей, и никто, никто не хочетъ меня понять. Прибавь къ этому, что я никогда не видалъ ея, этой дѣвушки, но чувствовалъ, какъ въ безнадежной тоскѣ билось ея сердце... И мои лучшія чувства не нашли своего приложенія, мои лучшія слова остались невыговоренными, и ко мнѣ быстро приближается грозный призракъ уничтоженія...

Финалъ этого разговора получился совершенно неожиданный: Борисъ закрылъ лицо руками, и послышались сдерживаемыя всхлипыванія.

— Борисъ, что̀ съ тобой? Перестань... успокойся...

— Я... я ничего... Я сейчасъ... Все пройдетъ... Ахъ, какая тоска, тоска, тоска!..

Мнѣ пришлось отпаивать его холодной водой, водить по палубѣ, но отъ грустнаго до смѣшного—одинъ шагъ. Когда мы совершали свою прогулку,

мимо насъ торопливо прошла дама-кенгуру, которая вела подъ-руку своего студента, имѣвшаго какой-то разслабленный видъ. Бѣдняга не успѣлъ дойти до пароходнаго борта, и послѣдствія морской болѣзни настигли его какъ разъ среди палубы. Дама-кенгуру въ отчаяніи совала ему въ носъ какой-то флакончикъ съ духами и повторяла:

— Я вамъ говорила... Да, говорила...

Борисъ сразу очнулся и сквозь слезы проговорилъ:

— Нѣтъ печальнѣе исторіи Ромео и Джульетты.

Онъ и смѣялся и плакалъ, какъ нервная женщина, называлъ себя интеллигентной нервной дрянью и долго не могъ успокоиться. А морская волна продолжала колыхать нашъ пароходъ и шептала, шептала безъ конца, баюкая измученное человѣчество.

1903.

ВАСЬКА-ЗАБАЛУЙ.

I.

Васька, подручный старшаго дворника, вышелъ съ метлой на свой дворъ и остановился въ раздумьѣ. Дрова онъ относилъ по всѣмъ пяти этажамъ и теперь въ видѣ отдыха взялся за метлу. Это былъ плечистый и коренастый мужикъ съ краснымъ дворницкимъ затылкомъ и окладистой русой бородой. Красная кумачная рубаха и сапоги гармоникой „доказывали“ отчаянное дворническое щегольство и собственное Васькино сердцеѣдство. Мужикъ былъ въ самой порѣ, подъ тридцать, и могъ разсчитывать на вниманіе женщинъ, а ихъ было въ домѣ достаточно—цѣлыхъ пять этажей были набиты черными и бѣлыми кухарками, горничными, кормилицами, нянями и просто „дѣвушками при господахъ“.

Итакъ, Васька стоялъ посреди двора съ метелкой въ рукахъ и разсѣянно смотрѣлъ куда-то вверхъ, откуда сѣялся мелкій осенній дождь. Дворъ походилъ на громадную шахту, изрѣшеченную сотнями оконъ. Такъ какъ домъ принадлежалъ какому-то военному генералу, то на дворѣ соблюдалась самая отчаянная чистота, за чѣмъ въ оба смотрѣлъ старшій дворникъ Иванъ Семенычъ, степенный старикъ, отвѣчавшій у экономнаго генерала и за управляющаго. Въ теченіе дня Васька подметалъ дворъ разъ десять. Сейчасъ онъ медлилъ приступить къ своимъ обязанностямъ, потому что еще не успѣлъ отдышаться отъ носки дровъ, а потомъ его мучила одна непріятная мысль, заставлявшая чесать затылокъ и дѣлать гримасы.

Дѣло въ томъ, что, когда Васька поднимался съ вязанкой дровъ въ пятый этажъ, его встрѣтила на лѣстницѣ кухарка изъ третьяго этажа, Даниловна, и крикнула ему вслѣдъ:

— Эй, ты, Забалуй... Что̀ это ты, никакъ кофтами собрался торговать? Ахъ, безстыжіе твои глаза...

— Какая кофта? Чего ты мелешь-то, Даниловна?..

— А ты спроси верхнюю Аннушку, корсетку,—она тебѣ скажетъ, какія такія кофты бываютъ... Ахъ, Забалуй, Забалуй!.. А нижняя Аннушка рветъ и мечетъ... „Все бы, гритъ, ему, прохвосту, простила, окромя вотъ этой самой кофты“. И еще гритъ, я изрѣжу эту самую кофту на мелкія части — на, носи—не потеряй. Отъ нея станется, отъ нижней Аннушки.

На этотъ разговоръ хлопнуло нѣсколько дверей, и на лѣстницу высыпала любопытная часть человѣческаго рода. Послышался смѣхъ, остроты, и Васька поднимался со своими дровами какъ сквозь строй. Вотъ проклятыя бабы навязались! Васька ужасно озлился на верхнюю Аннушку, которой дѣйствительно подарилъ плисовую кофту и которая не утерпѣла, разболтала всѣмъ.

Теперь бабы проходу не дадутъ, а нижняя Аннушка непремѣнно устроитъ скандалъ.

Были двѣ горничныхъ Аннушки: одна во второмъ этажѣ — нижняя, а другая въ пятомъ — верхняя, она же и „корсетка“, потому что носила корсетъ. Васька сначала пользовался всѣми благами любви у нижней Аннушки, а потомъ промѣнялъ ее на верхнюю. Вообще путаная голова и больше ничего. Обозленный Васька теперь напрасно придумывалъ, какую ему каверзу устроить „корсеткѣ“, чтобы поправить свою собственную репутацію въ глазахъ общественнаго мнѣнія, глядѣвшаго на него изъ оконъ всѣхъ этажей. Онъ чувствовалъ, что сдѣлался центромъ общаго вниманія, и это еще больше его злило. Вотъ бы теперь попала „корсетка“—въ самый бы разъ... Время было раннее, господа еще спали, а по двору шмыгали усиленно кухарки, ходившія въ лавку за провизіей, и стремглавъ летѣли горничныя за сливками, сахаромъ и булками. Ни одна не прошла мимо Васьки, чтобы не отпустить по его адресу какого-нибудь ядовитаго замѣчанія, улыбки или краснорѣчиваго взгляда. Какъ есть осрамился Васька!.. Воздухъ, казалось, былъ насыщенъ однимъ словомъ: кофта! кофта! кофта!..

— Ахъ, ты, чтобъ тебя... дда-а!..—ворчалъ Васька, принимаясь наконецъ за работу съ такимъ ожесточеніемъ, точно хотѣлъ навсегда вымести изъ русскаго лексикона проклятое слово.

Пользуясь сномъ господъ, кухарки и горничныя перебѣгали изъ кухни въ кухню, шушукались и лѣзли къ окнамъ, чтобы посмотрѣть, что̀ дѣлаетъ Васька Забалуй.

— Здорово влопался...

— Такъ ему и надо, Забалую. Вишь, какой затылокъ наѣлъ!.. Вотъ у него въ головѣ-то и завелись пустяки.

— И что̀ это онъ польстился на „корсетку“? Нижняя Аннушка почище будетъ, корпусная изъ себя, и при этомъ у ней въ сундукѣ всего накладено...

— „Корсетка“-то, вишь, помоложе, вотъ ему и лестно, псу... Онъ за ней обихаживалъ мѣсяца два. Проходу не давалъ, ну, той и надоѣло... Всѣ смѣются, ей обидно, а тутъ хоть не даромъ смѣяться будутъ, и кофта при этомъ. Три рубля отвалилъ...

— Я видѣла: о-отличная кофта!

Въ этихъ замѣчаніяхъ сказывалась и ревность, и своя бабья зависть, и неудержимое желаніе вмѣшаться въ чужое дѣло. Въ громадномъ генеральскомъ домѣ женской прислуги было человѣкъ шестьдесятъ, и всѣ эти бабьи головы и бабьи языки были заняты теперь Васькой: какъ онъ выверпется изъ скандальной исторіи? Нижняя Аннушка не спуститъ „корсеткѣ“, ужъ это вѣрно. Всѣ замирали въ ожиданіи скандала. Васька въ этомъ бабьемъ царствѣ разыгрывалъ роль моднаго тенора и не имѣлъ соперниковъ. Захаживали солдаты, военные, писарьки, приказчикъ изъ зеленной лавки, помощникъ парикмахера, но все это были такъ, не настоящіе: походятъ-походятъ, да поминай какъ звали. Тотъ же Васька проходу не даетъ. Крадется вечеркомъ по двору какой-нибудь солдатикъ, а Васька тутъ какъ тутъ.

— Ахъ, извините, ваше высокоблагородіе: я не узналъ васъ по ногамъ-то. За генерала принялъ...

Одного писарька, ухаживавшаго за нижней Аннушкой, Васька прямо спустилъ съ лѣстницы, а тому и пожаловаться нельзя. Вообще, озорникъ... Жаловались на него кухарки Ивану Семеновичу, но строгій старикъ прямо отрѣзалъ:

— У меня чтобъ баловства вашего женскаго ни-ни... А Васька пр

вильно, ежели выгонитъ сторонняго непутеваго человѣка. Есть у васъ праздники, ну, и знайте ихъ.

Женская прислуга почти въ полномъ составѣ не отличалась строгостью нравовъ. Очень ужъ много въ столицѣ соблазна, да и всѣ такія же, ни лучше ни хуже. Сыта, одѣта, въ теплѣ, да еще жалованье—чего же бабѣ нужно? Чуть не понравились одни господа, сейчасъ къ другимъ, — батюшка Питеръ великъ, и всѣмъ мѣста хватитъ. Кого-кого тутъ ни было, со всѣхъ смежныхъ губерній набралось—Новгородской, Псковской, Тверской и даже Костромской, а всего больше изъ своей Петербургской. Простая деревенская баба необыкновенно быстро осваивалась съ легкимъ столичнымъ житьемъ, нагуливала тѣло и начинала рядиться въ кофты и дипломаты. Своя деревня забывалась, а съ ней и мужъ и семья. Въ результатѣ получалась та столичная кухарка и горничная, которая побывала и на конѣ и подъ конемъ.

Васька уже кончалъ свою работу, когда показалась нижняя Аннушка—она шла съ корзиной въ мясную. Всѣ пять этажей замерли въ ожиданіи событій, но Аннушка даже не взглянула на измѣнщика и съ дѣловымъ видомъ прошла въ ворота.

— Ей-то какой антересъ въ Васькѣ,—резюмировалъ неизвѣстный бабій голосъ изъ четвертаго этажа.—Ей даже совсѣмъ наплевать...

— Обнаковенно, ежели обманщикъ...

— А вотъ она до той-то доберется, до „корсетки",—х-ха..

— А „корсетка" спряталась... Знаетъ кошка, чье мясо съѣла.

— Погоди, выйдетъ... Вотъ господа проснутся и въ сливочную пошлютъ. У нихъ третьяго-дня сливки-то брали... Такъ, одно слово, что господа. Сама-то барыня куски считаетъ и кастрюли лижетъ.

Васькѣ приходилось выслушивать эту бабью болтовню и молчать. Развѣ запрешь бабьи языки? Онъ только благочестиво отплевывался. Но вотъ всѣ этажи точно замерли. Васька понялъ, что это „корсетка" вышла изъ своей кухни и спускается по лѣстницѣ. Давешняя злоба поднялась въ немъ съ новой силой. Развѣ запустить ей метлой по ногамъ? Еще заоретъ, подыметъ крикъ... Лучше выждать вечера и подкараулить гдѣ-нибудь на лѣстницѣ, чтобы впередъ чувствовала, какъ надо языкъ держать за зубами.

„Корсетка", молодая дѣвушка съ болѣзненнымъ лицомъ, дѣйствительно спускалась по лѣстницѣ и впередъ боялась встрѣчи съ Васькой. Когда она выглянула изъ подъѣзда, то первымъ дѣломъ увидѣла именно Ваську, стоявшаго съ метлой въ рукѣ. Онъ смотрѣлъ на нее злыми глазами. „Корсетка" такъ и замерла на мѣстѣ. А тутъ еще, какъ на грѣхъ, въ воротахъ показалась нижняя Аннушка, возвращавшаяся изъ мясной. Она тоже остановилась. Соперницы жили на одной лѣстницѣ и должны были пройти одна мимо другой. Нижняя Аннушка, здоровая и краснощекая баба лѣтъ тридцати, перекинула свою корзину съ правой руки на лѣвую и сдѣлала шагъ впередъ. Во всѣхъ окнахъ мелькали любопытныя женскія лица. Вотъ соперницы уже совсѣмъ близко,—ихъ раздѣляетъ всего нѣсколько шаговъ. У нижней Аннушки выступили красныя пятна на лицѣ, она сжимаетъ кулакъ... Но въ самый критическій моментъ, когда соперницы готовы были вцѣпиться другъ въ друга, послышался старчески-дребезжащій голосъ Ивана Семеныча

— Васька, гдѣ ты?

— Здѣсь, Иванъ Семенычъ...

— Подь-ка сюды... Будетъ тебѣ съ бабами лясы точить... Иди, иди, озорникъ...

Васька обрадовался счастливому случаю, избавлявшему его отъ непріят-

ности, и охотно пошелъ въ дворницкую. Пробѣгавшая мимо горничная объяснила налету, что къ Васькѣ пріѣхала изъ деревни жена. Верхняя и нижняя Аннушки посмотрѣли другъ на друга и прошли мимо безъ всякихъ послѣдствій.

II.

Дворницкая дѣлилась на двѣ каморки. Въ дальней жилъ Иванъ Семенычъ со своей старушкой, а передняя замѣняла контору. У дверей этой передней теперь стояла крестьянская баба въ лаптяхъ и съ замотанной головой какой-то полинявшей и грязной шалью. Она была средняго роста и казалась старше своихъ лѣтъ.

— Умаялась дорогой-то, милая?—участливо спрашивала толстая и обрюзгшая дворничиха.—Тоже не близкое мѣсто ваша-то Костромская губернія...

— До машины сорокъ верстовъ шла пѣшкомъ, а потомъ по машинѣ все ѣхала. Боялась все, потому какъ въ первый разъ... Непривычка.

— Ну-ка, иди, иди, Забалуй...—послышался въ дверяхъ голосъ Ивана Семеныча.—Вотъ тебѣ какой гостинецъ пріѣхалъ изъ деревни.

Мужъ и жена въ первую минуту не узнали другъ друга, а потомъ она повалилась ему въ ноги, какъ требовалъ деревенскій обычай.

— Ты это зачѣмъ объявилась-то сюда, Матрена? — сурово спросилъ Васька, принимая суровый видъ деревенскаго мужа.

— Не сама пошла, а батюшка послалъ...—покорно отвѣтила жена, глядя на мужа, какъ на высшее существо. — Разнемогся батюшка-то... Изъ силовъ вышелъ.

— Ну, а зять Иванъ?

— Охъ, и не спрашивай, Василій Спиридонычъ... Съ круга спился, изъ дому все тащитъ—никакого съ нимъ нѣтъ способа. Вотъ батюшка и послалъ меня... Крѣпко наказывалъ, чтобъ безъ тебя не выворачиваться домой, потому какъ силовъ нашихъ не стало.

— Да вѣдь я же деньги вамъ посылаю? Ну, работника бы взяли.

— Батюшка говоритъ, что деньгами-то человѣка не укупишь. Брали и работника—такой же пьяница, какъ зять. Вмѣстѣ пировали...

— Это уже вѣрно: по крестьянскому дѣлу деньгами человѣка не купишь, — поддержалъ Иванъ Семенычъ, какъ-то особенно любовно поглядывавшій на эту простую деревенскую бабу, полную такой хорошей мужицкой заботы.—Вѣрно батюшка-то говоритъ... Правильно. Старичка-то, видно, не обманешь деньгами, а то вы всѣ давно бы откупились отъ деревни.

Васька увелъ жену въ свою дворницкую и рѣшительно не зналъ, что̀ ему говорить съ ней. Совсѣмъ чужая...

— Ты, можетъ, ѣсть хочешь, Матрена?

— Нѣтъ, Василій Спиридонычъ, я поѣла еще на машинѣ. Остатки были—корочекъ насушила на дорогу, ну, и сыта.

Деревенскія корочки покоробили Ваську, избалованнаго столичной ѣдой и чаями. Онъ все смотрѣлъ на жену, точно хотѣлъ ее узнать.

— Вотъ что̀, Матрена, а какъ насчетъ ребятишекъ?..

— Старшенькая-то дѣвчоночка въ прошломъ годѣ померла, а мальчонка Спирька живъ. Здоровый такой растетъ... Какъ есть озорникъ. Батюшка-то отписывалъ тебѣ насчетъ дѣвчурки... Прибралъ ее Господь объ Успеньевомъ посту. Животомъ померла...

Пришли еще двое подручныхъ и тоже съ удивленіемъ смотрѣли на жену Васьки Забалуя, — какъ есть самая простящая деревенская баба, рядомъ съ мужемъ такъ дура дурой. Васька почувствовалъ эти жестокія мысли, и ему

сдѣлалось совѣстно. И зачѣмъ только претъ эта деревня въ городъ!.. Недаромъ говорится, что деревенская родня — какъ зубная боль, и вмѣстѣ съ тѣмъ Васькѣ сдѣлалось жаль жены. Развѣ она такая въ дѣвкахъ была? Ну, а тутъ пошли ребята, своя бабья работа безъ конца-краю,—хоть кто измотается.

Плохо спалось ночь Васькѣ Забалую. Все ему казалось, что онъ какъ будто и онъ, какъ будто и не онъ. Въ первую минуту ему показалось даже смѣшнымъ требованіе родителя, чтобъ онъ, Забалуй, вернулся въ деревню. Что̀ онъ тамъ будетъ дѣлать? Какіе такіе деревенскіе заработки? А здѣсь онъ получаетъ десять рублей жалованья, да еще сколько на чаи перепадетъ. Ну-ка, попробуй, заработай такія деньги въ деревнѣ... Съ другой стороны, передъ нимъ вставалъ отецъ и старая привычка повиноваться ему. Батюшка приказалъ—развѣ тутъ можно разговаривать? Дальше представилось Васькѣ рушившееся деревенское хозяйство, — легко сказать, весь домъ нарушался. Отецъ изработался, зять пьянствуетъ, жена вся вытянулась на работѣ... „Все равно, не поѣду, — думалъ Васька, перебирая эти соображенія въ умѣ. — Я имъ посылаю—чего же имъ еще нужно?..“—Съ этимъ онъ и заснулъ.

Рано утромъ Васька, по обыкновенію, былъ уже на работѣ съ шести часовъ. Жена поднялась по-деревенски—чуть свѣтъ и вышла на дворъ посмотрѣть. Ее все удивляло: и громадный домъ, и множество оконъ, и то, откуда только народу въ такихъ домахъ набирется: Ваську опять конфузили и ея лапти и простая деревенская одежда. Вотъ подымутся кухарки—вконецъ засмѣютъ деревенскую дуру. А тутъ еще проклятая кофта... Васька впередъ переживалъ тѣ непріятности, какія ему придется испытать, но по какой-то деликатности не могъ сказать женѣ, чтобъ она убиралась въ свою дворницкую и сидѣла тамъ. Все-таки жена, хоть и деревенская. Таская дрова, Васька поглядывалъ на жену и опять началъ злобиться: стоитъ какъ березовый пень, хоть ты ей колъ на головѣ теши. Не понимаетъ того, глупая, что только мужа срамитъ: деревня какъ есть. Недаромъ и поговорка такая: Богъ да городъ, чортъ да деревня.

А Матрена все стояла и стояла. Вотъ начали просыпаться модныя городскія кухарки. Въ окнахъ начали показываться заспанныя женскія лица. Гдѣ-то захлопали двери.

— Какъ это онѣ только и живутъ,—удивлялась Матрена.—Одна страсть Господня... Кажется, трехъ дней бы не прожила, померла.

Вѣсть о томъ, что къ Васькѣ пріѣхала изъ деревни жена, облетѣла всѣ кухни еще съ вечера. Пересудамъ и догадкамъ не было конца. Зачѣмъ ее принесло? Сидѣла бы ворона въ своемъ гнѣздѣ, а то туда же, въ городъ потащилась. Конечно, Васька озорникъ и забалуй, но все-таки его жалѣли. Помилуйте, такой мужикъ—и вдругъ жена въ лаптяхъ!.. Утромъ всѣ проснулись съ мыслью о Васькѣ, что̀ онъ будетъ дѣлать и какъ покажетъ деревенскую жену. Тоже стыдно будетъ. Когда, проснувшись, кухарки увидали Матрену, стоявшую у воротъ, вчерашнее скептическое настроеніе сразу исчезло. Да, она стоитъ въ лаптяхъ, голова замотана по-деревенски платкомъ, на самой сарафанишко изъ линючаго ситца, а сверху крестьянскій зипунишко. Стоитъ и смотритъ, что̀ дѣлается на дворѣ. Первая опомнилась Даниловна и проговорила:

— Что̀ же она такъ-то стоитъ? Хоть бы кофіемъ ее угостить... Тоже, поди, въ гости къ мужу бабочка пріѣхала... Изъ себя-то ужъ только очень ляданцая.

Это было началомъ вниманія къ деревенской Матренѣ. Другія бабы сейчасъ же заразились этимъ настроеніемъ, точно отъ Матрены на нихъ пахнуло

свѣжимъ деревенскимъ воздухомъ, своей деревенской заботой и чѣмъ-то такимъ настоящимъ хорошимъ, отъ чего защемило на душѣ.

— Охъ, голубушка, сладко ѣдимъ, долго спимъ и чисто одѣваемся, а настоящаго-то и нѣтъ, — причитала Даниловна, угощая Матрену у себя на кухнѣ.

— Чего настоящаго-то?

— А такъ...

Даниловна не досказала „настоящаго“ и только махнула рукой. Коли не понимаетъ деревенская „бабочка“, такъ оно и лучше...

Матрена сдѣлалась героиней дня. За ней всѣ ухаживали, дарили ей разные пустяки, точно это была сама живая совѣсть, которую надо задобрить. Даже нижняя Аннушка приняла участіе въ общемъ движеніи. О „корсеткѣ“ никто не проронилъ ни одного слова, какъ и о кофтѣ.

Васька Забалуй видѣлъ все, что̀ происходило, и какъ-то вдругъ озлобился на всѣхъ бабъ, проживавшихъ въ генеральскомъ домѣ. Какія это бабы? Ежели разобрать серьезно — такъ одно названіе осталось, что будто баба. Онъ уже не боялся больше ни нижней Аннушки ни насмѣшекъ остальныхъ кухарокъ— всѣ, всѣ онѣ опротивѣли ему, какъ опротивѣлъ онъ и самъ себѣ. Тоже, хорошій мужикъ, нечего сказать... Ни стыда ни совѣсти. Да ежели разобрать серьезно, такъ всѣ эти бабы пальца Матрены не сто̀ятъ. У всѣхъ душонка-то мотается, какъ овечій хвостъ.

Черезъ три дня Васька пришелъ къ Ивану Семенычу и заявилъ:

— Значитъ, сходилъ я въ баню, Иванъ Семенычъ...

— Ну?

— Потомъ, значитъ, все чистое на себя надѣлъ... ну, и того, шабашъ...

— Въ деревню ѣдешь?

— Да, будетъ баловать... И то грѣховъ-то, какъ на черемухѣ цвѣту.

Передъ Иваномъ Семенычемъ стоялъ совсѣмъ другой человѣкъ—настоящій крестьянинъ. И лицо у Васьки было другое и глаза смотрѣли прямо.

ВЕЛИКІЙ ГРѢШНИКЪ.

Разсказъ.

I.

— Званіе, имя, отчество, фамилія?—спрашивалъ сонным голосомъ тюремный смотритель Аѳанасій Иванычъ стоявшаго передъ нимъ худого мужика въ длинномъ темномъ полукафтаньѣ.

— Рабъ Божій,—глухимъ, надтреснутымъ голосомъ отвѣтилъ мужикъ, равнодушно осматривая голыя стѣны острожной пріемной,—Кириллъ...

— Значитъ, непомнящій родства? — уже сердито спросилъ Аѳанасій Иванычъ, не поднимая глазъ отъ бумаги, въ которой что-то писалъ своимъ мелкимъ старческимъ почеркомъ.

— Ужъ это какъ тебѣ будетъ угодно... Такой же человѣкъ, какъ и ты. Помни: рабъ Божій...

Смотритель медленно поднялъ лысую голову, посмотрѣлъ равнодушно черезъ очки своими выпученными глазами на раба Божія, пожевалъ толстыми посинѣвшими губами и равнодушно замѣтилъ:

— У меня такихъ-то рабовъ Божьихъ полонъ острогъ...

У дверей „пріемной", вытянувшись въ струнку, стояли полицейскій стражникъ, конвоировавшій новаго арестанта, и тюремный надзиратель Будзько. Аѳанасій Иванычъ, кончивъ писать, молча сдѣлалъ надзирателю знакъ своею лысою головой, и тотъ повелъ новаго арестанта въ сосѣднюю комнату, за перегородку, гдѣ происходило переодѣванье новичковъ въ арестантское платье и послѣдній обыскъ. По дорогѣ мужикъ еще разъ оглянулся на закопченыя стѣны пріемной, на шкапъ съ дѣлами, на захватанную дверь, которая вела въ канцелярію,—состоявшую изъ двухъ согнутыхъ спинъ,—на лысину самого Аѳанасья Иваныча, и молча покачалъ головой.

— Не простъ человѣкъ, ваше высокоблагородіе, — вполголоса, нерѣшительно проговорилъ стражникъ, по-солдатски скашивая глаза въ сторону перегородки, гдѣ происходило переодѣванье.

— А что?

— Да такъ... На постояломъ дворѣ его приставъ Акакій Семенычъ заполучили. Быдто проѣзжающій, а хвать — паспорта и не обозначилось. Сейчасъ обыскали, хвать—при ёмъ одёжа особенная. Этакая черная одежа, въ томъ родѣ, какъ монашецкая, только съ краснымъ кантомъ. Ну, опять шапочка черная, значитъ клобукъ, книги церковныя, свѣчи восковыя, въ томъ родѣ, какъ будто вся архирейская снасть. Акакій-то Семенычъ все и забрали, потому какъ кругомъ не простъ человѣкъ... И еще Акакій Семенычъ наказывали, чтобы ваше высокоблагородіе особливо его досматривали...

Послѣднее замѣчаніе окончательно взбѣсило Аѳанасья Иваныча. Онъ весь побагровѣлъ, закашлялся и зарычалъ неистово-сиплымъ голосомъ:

— А у меня развѣ проѣзжающіе номера, а?.. Полнымъ-полнёхонекъ весь зàмокъ: яблоку упасть некуда... А тутъ еще по постоялымъ дворамъ собираете разныхъ проходимцевъ да добрыхъ людей безпокоите. Такъ и скажи своему Акакію... Мнѣ не по карманамъ разсаживать бродягъ, а по отдѣльнымъ камерамъ. У меня вотъ какіе сизые голуби сидятъ: Слеза, Чечень, Аквамаринъ. Такъ и скажи... Мнѣ хоть самого митрополита посылай...

Когда Аѳанасій Иванычъ сердился, то начиналъ походить на индѣйскаго пѣтуха, а потому за нимъ въ зàмкѣ съ незапамятныхъ временъ утвердилась кличка Жаръ-птицы. Старикъ вѣчно кипятился, багровѣлъ, удушливо кашлялъ и проклиналъ свою каторжную должность. Обругавъ стражника и пристава Акакія, онъ продолжалъ кричать уже просто потому, что разошелся, какъ пущенная въ ходъ машина.

— Ты такъ и скажи своему Акакію... да!.. И для чего берутъ какого-то дурака? Пусть бы ѣхалъ съ своею шапочкой и ладаномъ... Слава Богу, свѣтъ не клиномъ сошелся.

Въ этотъ моментъ въ канцеляріи послышалось шмыганье тяжелыхъ ногъ, а потомъ въ дверяхъ показалась длинная, стриженая подъ гребенку голова. По походкѣ можно было предположить грузнаго мужчину, а вошелъ тощій, сгорбленный, точно высушенный субъектъ. Это и былъ знаменитый Акакій, гроза всѣхъ воровъ, грабителей и разбойниковъ. Самымъ замѣчательнымъ у Акакія была голова—длинная, сплюснутая, какъ у сушеной рыбы. Коротко остриженные волосы стояли ежомъ, придавая ему ключій видъ. Худощавое лицо съ дубленымъ загаромъ было украшено двумя остановившимися сѣрыми глазками,—оно напоминало именно остановившіеся часы. Длинный носъ, длинныя руки и ноги, длинное туловище точно были взяты на время отъ кого-то другого.

— Легокъ на поминѣ,—проворчалъ Аѳанасій Иванычъ.

Акакій, вмѣсто отвѣта, по привычкѣ понюхалъ сначала воздухъ, оттопырилъ нижнюю губу и прищурилъ одинъ глазъ. Стражникъ совсѣмъ замеръ. Осмотрѣвшись, Акакій съежился, подошелъ къ столу и протянулъ свою длинную лапу, всегда холодную, какъ у лягушки.

— Получилъ фрукта?—спросилъ онъ чахоточнымъ тенорокомъ.

— Да ты съ ума сошелъ?—накинулся на него Аѳанасій Иванычъ.— Тоже, нашелъ время ловить безпаспортныхъ... У меня однихъ неисмнящихъ родства больше двухсотъ человѣкъ.

Приставъ подсѣлъ къ столу, вытянулъ длинныя ноги и приготовился слушать. Полицейская ферма сидѣла на немъ, какъ на коровѣ сѣдло.

— Ну?—коротко спросилъ онъ послѣ нѣкоторой паузы.

— Это ужъ послѣдняго принимаю!—азартно заговорилъ Аѳанасій Иванычъ, взмахивая затекшею отъ писанья рукой.—Отца родного приведи, и то некуда посадить... Въ шестомъ номерѣ всего одно мѣсто.

— Особенный человѣкъ...

— А мнѣ плевать! У меня всѣ особенные: Слеза въ семнадцати дуракахъ ходитъ, Чечень въ девяти повинился, Аквамаринъ въ четырехъ хочетъ признаться... А ты мнѣ какого-то бродягу посылаешь! Такъ, пустой человѣкъ... Сразу видать. Рабъ Божій...

Эти слова не произвели на Акакія никакого впечатлѣнія. Онъ точно заснулъ на стулѣ, какъ вытащенная изъ воды рыба. Въ его сдавленной головѣ ползли свои мысли, а смотритель Аѳанасій Иванычъ былъ простъ и

глупъ. Въ замкѣ арестанты называли пристава Ежовою-головой, и это названіе точно было приклеено къ нему. Именно такъ думалъ сейчасъ Аѳанасій Иванычъ, наблюдая черезъ очки своего стараго благопріятеля. Конечно, Ежовая-голова. когда бѣглыхъ архіереевъ по постоялымъ дворамъ собираетъ.

Въ этотъ моментъ изъ-за перегородки вывели обряженнаго въ арестантскій халатъ новаго узника. Онъ казался теперь еще ниже ростомъ, а лицо блѣднѣе. Только сѣрые глаза смотрѣли изъ-подъ нависшихъ бровей съ такою же простодушною кротостью. Приставъ Акакій сосредоточилъ свое вниманіе на окладистой бородкѣ, охваченной инеемъ серебристой старости, и на темныхъ волосахъ, какъ-то странно запрятанныхъ подъ широкій воротъ арестантскаго халата.

— Хорошъ,—пробурчалъ приставъ, переводя глаза на Аѳанасія Иваныча.

Его немного смутило то обстоятельство, что и арестантъ въ свою очередь съ такимъ же вниманіемъ разсматривалъ его и даже, какъ ему показалось, чуть замѣтно улыбнулся. Ихъ глаза встрѣтились на одну секунду, и приставъ Акакій отвернулся. Не робкаго десятка былъ человѣкъ, а тутъ не выдержалъ.

Будзько стоялъ въ дверяхъ, вытянувшись, какъ охотничья собака. Когда лысая голова Жаръ-птицы сдѣлала ему знакъ, онъ молча схватилъ арестанта за широкій рукавъ и повелъ за собой.

— Шестой номеръ,—прохрипѣлъ Аѳанасій Иванычъ.

Арестантъ-новичокъ неловко шагалъ за надзирателемъ, съ непривычки путаясь въ длинныхъ полахъ своего арестантскаго халата и тяжело шлыгая ногами въ большихъ арестантскихъ „калишкахъ“, болтавшихся у него на ногахъ. Одною рукой онъ придерживалъ на груди расходившіяся полы халата, а другая рука висѣла неподвижно, какъ у покойника. По пути онъ еще разъ внимательно оглядѣлъ канцелярію и, не торопясь, началъ спускаться по крутой лѣсенкѣ въ темный проѣздъ, который велъ съ улицы на арестантскій дворъ. Одинъ конецъ этого проѣзда глухою желѣзною дверью выходилъ на улицу. и здѣсь, у крошечной желѣзной калитки, вѣчно толпились родственники и знакомые арестантовъ, ожидавшіе свиданія. Эта калитка ежедневно проглатывала по нѣскольку новыхъ жертвъ. Другимъ концомъ проѣздъ выходилъ на арестантскій дворъ. Здѣсь у рѣшетчатыхъ желѣзныхъ воротъ всегда стоялъ часовой. Новый арестантъ съ особеннымъ вниманіемъ осмотрѣлъ весь проѣздъ, оглянулся на калитку, за которой остался вольный бѣлый свѣтъ, и покорно зашагалъ за торопившимся надзирателемъ. Его охватилъ острый холодокъ снѣжнаго ноябрьскаго утра. Будзько отомкнулъ ворота. Молодой безусый солдатикъ сонными глазами посмотрѣлъ на новаго арестанта и привычнымъ движеніемъ вскинулъ ружье на плечо.

— Стой, миленькій... крѣпче стой! — проговорилъ новичокъ-арестантъ, обернувшись къ часовому.

— Ты... не разговаривать!—зыкнулъ на него Будзько.

Собственно тюрьма помѣщалась въ большомъ каменномъ флигелѣ, занимавшемъ центръ замковаго двора. Три этажа глядѣли маленькими окнами, защищенными желѣзными рѣшетками. Передняя часть двора была занята своею арестантскою церковью, канцеляріей, квартирой смотрителя, больницей и кухней. Въ глубинѣ налѣво тянулась высокая острожная стѣна, а въ ней рѣшетчатыя желѣзныя ворота, отдѣлявшія женскую половину. Теперь на дворѣ сѣрая кучка арестантовъ лѣниво убирала выпавшій на ночь снѣгъ, выгадывая каждую лишнюю минуту. Эти блѣдныя изнуренныя лица казались

еще блѣднѣе при яркой бѣлизнѣ молодого снѣга, а сами арестанты походили на грязныя пятна, омрачавшія своимъ присутствіемъ эту дѣвственную бѣлизну. Появленіе новичка вызвало самое пристальное вниманіе, и арестанты сбились въ одну кучу. Въ этотъ моментъ на дворѣ показался Аѳанасій Иванычъ. Онъ съ трудомъ догналъ новаго арестанта, схватилъ его за плечо, ощупалъ правый рукавъ и съ торжествомъ вытащилъ изъ него бутылку изъ-подъ сельтерской воды съ какою-то безцвѣтною жидкостью.

— Это что̀... а?—зашипѣлъ онъ, поднимая бутылку.—Ахъ, разбойникъ, что это̀?.. а?..

Арестантъ улыбнулся своею тихою, привѣтливою улыбкой и проговорилъ:

— Святая вода.

— Что-о?.. Знаемъ мы вашего брата!..

Смотритель даже захохоталъ и накинулся на Будзько, обыскивавшаго арестанта при переодѣваньи.

— Ты его обыскивалъ... Ты?.. а?.. Развѣ такъ обыскиваютъ?

— Вашескородіе, не было при ёмъ никакой бутылки,—оправдывался Будзько, сконфуженный передъ арестантами.—Вотъ сейчасъ съ мѣста не сойти... Слава Богу, не впервой обыскиваю ихняго брата, не иначе, что онъ мнѣ глаза отвелъ, вашескородіе. А бутылки никакой не было, потому какъ его еще на постояломъ дворѣ обыскивали.

— Не заговаривай зубовъ!—накинулся Аѳанасій Иванычъ съ новою яростью.—А какъ же я-то увидѣлъ? Смотрю въ окно, а рукавъ-то и натянулся. Мнѣ вотъ никто глазъ, небось, не отведетъ!

Теперь въ окнѣ „пріемной“ выглядывалъ Акакій Семенычъ, слѣдившій за всей сценой съ равнодушнымъ видомъ. Ловкая птица, коли такъ ловко провелъ прожженаго Будзько.

Аѳанасій Иванычъ вернулся въ „пріемную“ съ торжествующимъ видомъ и молча поставилъ бутылку на столъ. Конечно, Будзько оказалъ себя дуракомъ, а и Акакій Семенычъ тоже хорошъ: вѣдь самъ обыскивалъ. Приставъ молча взялъ бутылку, внимательно ее осмотрѣлъ, откупорилъ и понюхалъ.

— Вода,—пробормоталъ онъ.

— Хорошъ архирей?—язвилъ Аѳанасій Иванычъ.—Этакъ онъ въ рукавѣ цѣлую бы четверть пронесъ въ за̀мокъ. Ты-то чего смотрѣлъ?

— А ну его и съ водой!

— А кто сталъ бы отвѣчать, а?.. Ты его поймалъ, сдалъ мнѣ на руки и кругомъ чистъ, а я за него долженъ отвѣчать. Хорошо, что вода.

Аѳанасій Иванычъ попробовалъ воду на языкъ, сплюнулъ и бутылку присовокупилъ къ числу вещественныхъ доказательствъ, хранившихся въ отдѣльномъ шкапу. Приставъ мрачно шагалъ по комнатѣ, тяжело шаркая ногами.

— Сегодня утромъ присылали ко мнѣ на квартиру отъ старухи Капуниковой,—выговорилъ онъ наконецъ тяготившую его мысль.

— Н-но-о?—протянулъ Аѳанасій Иванычъ.—Это насчетъ этого архирея?

— Видно, что такъ... Старуха богомольная и крѣпко стоитъ по своей австрійской вѣрѣ. Ничего бы не пожалѣла, кабы я умнѣе былъ... Дурака я свалялъ на постояломъ. Чортъ его зналъ, что̀ за человѣкъ. Теперь-то ужъ ничего не подѣлаешь. Вотъ оно какое дѣло...

Друзья пришли въ нѣкоторое уныніе. Посаженный въ острогъ архіерей уже потерялъ всякую цѣнность, и трудно было извлечь изъ него что-нибудь. Впрочемъ, Аѳанасій Иванычъ сейчасъ сообразилъ, что дѣло еще не такъ плохо, и именно онъ, Аѳанасій Иванычъ, можетъ кое-чѣмъ воспользоваться. Да... А приставъ Акакій сыгралъ дурака... Вѣрно.

II.

Сконфуженный и обозленный Будзько провелъ арестанта во флигель. Здѣсь сразу обдало застоявшимся гнилымъ воздухомъ, какой бываетъ въ старыхъ баняхъ. Въ концѣ коридора шагалъ часовой. Освѣщался коридоръ всего однимъ окномъ, и поэтому подробности трудно было разглядѣть сразу. Глазъ привыкалъ только потомъ къ этому пыльному полусвѣту. По сторонамъ коридора темными впадинами выдѣлялись грязныя тяжелыя двери съ крошечными оконцами. Всѣ онѣ были закрыты, а за ними слышался неопредѣленный глухой гулъ, какъ въ ульѣ.

— Ничего, крѣпкая работа,—полюбовался новый арестантъ, останавливаясь, чтобы перевести духъ.

Вмѣсто отвѣта, Будзько пребольно ударилъ его кулакомъ въ бокъ, такъ что арестантъ чуть не растянулся тутъ же.

— Какой легкій чортъ!—ругался Будзько, обозлившись еще больше.

Онъ молча ткнулъ рукой на крутую лѣстницу, поднимавшуюся кверху точно изгрызенными ступеньками. Вездѣ была настоящая острожная грязь, которой пропитаны были стѣны и самый воздухъ. Арестантъ съ трудомъ поднялся во второй этажъ, гдѣ шелъ такой же коридоръ, какъ и внизу, съ тою разницей, что здѣсь какъ будто было немного посвѣтлѣе. Единственное окно въ концѣ коридора походило на громадное бѣльмо. Будзько подвелъ къ одной изъ тяжелыхъ дверей, отворилъ ее и безъ всякихъ разговоровъ грубо втолкнулъ арестанта въ полутемную узкую камеру. Дверь опять захлопнулась, точно деревянная челюсть какого-то чудовища. Кириллъ остановился, оглядѣлся кругомъ, вздохнулъ и перекрестился широкимъ раскольничьимъ крестомъ, а потомъ по-архіерейски оградилъ двумя руками всѣ четыре стѣны каземата. Помѣщеніе было незавидное и производило впечатлѣніе чего-то голаго. Собственно комната была порядочной величины, но казалась узкой отъ деревянныхъ наръ, тянувшихся сплошнымъ помостомъ вдоль внутреннихъ стѣнъ. Между нарами оставался только неширокій проходъ. И больше ничего, что напоминало бы о человѣческомъ существованіи. Маленькое оконце, задѣланное снаружи тяжелою желѣзною рѣшеткой, давало мало свѣта, особенно зимой. Только привыкнувъ къ этому томительному полусвѣту, Кириллъ разсмотрѣлъ давно небѣленыя стѣны, обсаленныя и затертыя арестантскими спинами, грязныя нары, грязный выбитый полъ. Здѣсь стоялъ такой удушливый воздухъ, что у старика закружилась голова. Его вдругъ охватила та томящая тоска, которая овладѣваетъ попавшеюся въ клѣтку вольною птицей. Это была живая могила.

— Благодарю тебя, Господи,—шепталъ Кириллъ въ изнеможеніи,—сподобилъ и меня грѣшнаго принять заточеніе. Любя, Ты наказуешь раба Твоего Кирилла.

Оглядѣвшись, онъ подсѣлъ на нару къ окну. Черезъ переплетъ рамы и желѣзныя рѣшетины открывался видъ на крышу церкви и трубы. Отпотѣвшія запыленныя стекла скупо пропускали свѣтъ. Кириллъ еще разъ оглядѣлъ стѣны, дверь, окно и улыбнулся своею тихою, кроткою улыбкой: ничего, крѣпкая работа. „Онъ“ крѣпко умѣетъ строить для своихъ помраченныхъ душъ: однихъ держатъ, другіе держатъ, и всѣ одинаково слуги антихристовы. Кириллъ припомнилъ красную рожу Жаръ-птицы, Ежовую-голову, надзирателя Будзько, солдатика часового,—всѣ они въ плѣну у антихриста и служатъ ему съ яростію. Вотъ какъ ухватились за него. Злости-то, злости-то сколько въ нихъ, бѣдненькихъ! Готовы, кажется, прямо зубами за горло схватить, до того помрачились своими плѣнными душами.

Не нужно онъ припомнилъ исторію съ бутылкою святой воды. Ухранилъ онъ ее при обыскѣ въ тюрьмѣ, а антихристъ все-таки ее сцапалъ, потому какъ не любитъ онъ этой святой воды. Ахъ, какъ еще не любитъ!.. Львоярростно накинулся на него смотритель, а того не понимаетъ миленькій, что не своею волей дѣйствуетъ, а яко слуга и поборникъ антихриста, любезный его сосудъ и вмѣстилище.

— Помѣшала имъ всѣмъ святая-то вода,—вслухъ замѣтилъ Кириллъ съ своею кроткою улыбкою.—Антихристъ лапою своею поганой и сцапалъ ее. То-то, горемыки миленькіе, помрачились совсѣмъ!..

Эти благочестивыя размышленія были прерваны появленіемъ „шестого номера", который гулялъ на дворѣ. Въ коридорѣ послышался тяжелый топотъ десятковъ ногъ, громкій говоръ, хохотъ и ругань, а затѣмъ дверь распахнулась, и въ въ казематъ ввалилась цѣлая орда. Всѣхъ арестантовъ въ шестомъ номерѣ помѣщалось двадцать человѣкъ, и Кириллъ былъ двадцатымъ. Въ первый моментъ онъ не могъ разглядѣть отдѣльныхъ лицъ,—такъ всѣ были похожи другъ на друга: всѣ такіе сѣрые, истощенные, съ затаенною, какою-то голодною злобой во взглядѣ. Арестанты столпились около новичка и внимательно его разглядывали, какъ стадо овецъ новую овцу. Потомъ изъ толпы послышался гоcосъ:

— Ты, святая вода, куды забрался-то?

— Куда посадили, тамъ и сижу,—отвѣтилъ Кириллъ, не понявъ вопроса.

Изъ толпы арестантовъ выдѣлился коренастый, чернобородый мужикъ и, схвативъ Кирилла за шиворотъ, оттащилъ его отъ окна.

— Не по чину мѣсто ухватилъ,—объяснилъ кто-то.

Толпа разомъ загалдѣла. Кто-то хохоталъ, кто-то ругался. Въ казематѣ казалось теперь еще темнѣе, чѣмъ раньше. Кириллъ скромненько присѣлъ на нару у самой двери. Онъ только теперь понялъ, что у окна мѣсто для избранныхъ, и тяжко вздохнулъ. Здѣсь, у двери, было и темно и душно. Арестанты заняли каждый свое мѣсто на нарахъ и больше не обращали на новичка никакого вниманія. Они всѣ успѣли обсидѣться вмѣстѣ и имѣли свои острожные общіе интересы, свой языкъ и свои темы для разговора. Кириллъ слушалъ и ничего не могъ понять. Тоска сдавила его еще сильнѣе, точно онъ попалъ на самое дно ада, гдѣ мучатся грѣшныя души. Это и былъ адъ, смрадный и тѣсный.

— За какія качества?—коротко спросилъ Кирилла, подсаживаясь къ нему, сѣдой, остриженный подъ гребенку арестантъ съ черными бойкими глазами.

— А не знаю, миленькій. Ничего не знаю.

— Перестань врать. Безъ паспорта, видно, Ежовой-головѣ попался?

— Не имѣю антихристовой печати, миленькій. Это ты вѣрно. На что мнѣ паспортъ?.. Одинъ у меня паспортъ: рабъ Божій...

Весь шестой номеръ залился хохотомъ. Ловокъ новый бродяга... Тоже и объяснилъ. Арестанты обступили опять новичка, а сѣдой арестантъ продолжалъ допросъ:

— На казенные хлѣба пожелалъ поступить?.. Такъ и говори. Что же, до весны посидишь, а тамъ по мѣсту жительства. А ты вотъ скажи, по какой такой причинѣ бутылку съ собой принесъ?

— Святая вода въ бутылочкѣ была,—ну, и принесъ.

Опять взрывъ общаго хохота: извѣстно, какую святую воду въ замокъ приносятъ съ собой. Ловкій мужичонка и передъ своими дурака валяетъ.

— Вотъ тебѣ Будзько пропишетъ два неполныхъ за твою святую воду,— объяснялъ сѣдой арестантъ.—Ему теперь Жаръ-птица и жару и пару задастъ за тебя, а Будзько ужъ свое будетъ на тебѣ наверстывать. Ловокъ ты, рабъ Божій, хоть бы и намъ, такъ въ самую пору... А рукомесло у тебя какое?

— Кузнецъ я...

— А ну, покажи ручки... Какъ есть кузнецъ, изъ кузницы съ краснымъ товаромъ. На крупчаткѣ замѣшанъ... Да и языкъ у тебя сладкій,—меду много кушалъ.

— На тракту вязовою иглой шапки шилъ!—крикнулъ голосъ откуда-то изъ угла.

— Фальшивый монетчикъ!—отвѣтилъ голосъ изъ другого угла.—Шалай, ты ему глухую исповѣдь задай!..

Шалай, сѣдой арестантъ, допрашивавшій Кирилла, зналъ свое дѣло, какъ настоящій мастеръ, потому что сидѣлъ въ острогѣ за бродяжничество уже десятый разъ и чувствовалъ себя какъ дома. Его вниманіе теперь сосредоточили на себѣ волосы новичка. Опытный арестантскій глазъ еще на дворѣ замѣтилъ, что тутъ дѣло что-то не такъ. Кириллъ чувствовалъ этотъ ястребиный взглядъ на себѣ и кротко улыбался. Онъ не шевельнулся, когда Шалай придвинулся къ нему совсѣмъ близко, обнялъ его одною рукой и быстрымъ воровскимъ движеніемъ другой вытащилъ изъ-за ворота длинные волосы Кирилла.

— Вотъ такъ кузнецъ, братцы!—грянула вся камера.—Теперь мы и обѣдню можемъ отслужить.

Кириллъ сидѣлъ съ закрытыми глазами и безмолвно шевелилъ губами, читая какую-то молитву: давеча антихристъ спаналъ святую воду, а теперь добрался и до волосъ... И какъ хитро подбирался, яко тать въ нощи. Вонъ какъ ему весело, точно жеребецъ заржалъ...

— Попокъ раскольничій,—объяснилъ Шалай.—То-то ручки-то бѣлыя. Купчихъ, видно, оглаживалъ, которыя побогаче... Одно у васъ у всѣхъ ремесло-то. Ну, и намъ теперь, братцы, будетъ лафа: навезутъ купчихи въ острогъ къ намъ и жаренаго и вареннаго.

— А ты-то чему обрадовался?—тихо спросилъ Кириллъ.—Тебя антихристъ вонъ какъ гладко выстригъ... Изъ солдатъ?...

— Случалось, отче. Ну, такъ какъ же мы будемъ съ тобой разговаривать-то теперь? Кузнецъ ты по всей видимости настоящій и денегъ, навѣрное, наковалъ... Надо бы съ тебя вступную на артель.

— Ничего у меня нѣтъ, да и не было, а рухлядишка какая была—вся въ полиціи осталась.

— А ты требуй деньги.

— Было пять съ полтиной...

— И пять съ полтиной деньги. Вотъ святую воду пронесъ, а деньги оставилъ... Эхъ, ты, святая душа на костыляхъ!

Этимъ и закончился допросъ новаго арестанта. Больше съ него и взять было нечего. Такъ, сдуру попался человѣкъ...

Шестой номеръ былъ занятъ мелкими преступниками, по преимуществу непомнящими родства, разными бродягами и ворами. Народъ былъ все надоѣдливый, вздорный и легковѣсный. Не было такой каверзы, придирки и пакости, которую здѣсь не придумали бы, благо времени свободнаго было достаточно. Для Аѳанасія Иваныча именно этотъ шестой номеръ составлялъ

сущую муку, какъ неизсякаемый источникъ всякихъ жалобъ и „доёмокъ“. Доёмками на острожномъ языкѣ называли цѣлую систему мелкихъ придирокъ къ какому-нибудь одному лицу, которое желали донять.

Каждый новичокъ проходилъ тоже черезъ своего рода „доёмку“, и только выдержавшій этого рода искусъ становился членомъ острожнаго братства, съ его порядками, традиціями и уставами. Жизнь складывалась здѣсь сотни лѣтъ, и выработались свои опредѣленныя формы. Новичокъ поступалъ на все готовое и долженъ былъ слѣпо подчиниться этому готовому. Кириллъ это чувствовалъ и объяснилъ по-своему, именно все тою же антихристовою работой.

Первый день показался ему ужасно тяжелымъ. Арестантскій обѣдъ въ общей столовой просто оглушилъ его, какъ сонмище нечестивыхъ. Въ столовой сошлись цѣлыхъ пять камеръ, и можно себѣ представить, что это такое было. Шумъ, гвалтъ, неистовство, хохотъ. И ѣли все неистово, какъ ѣстъ скотина, нѣтъ—хуже. Да и чего было ждать отъ этихъ татей, насильниковъ, грабителей, человѣкоубійцъ!.. Кириллъ съ какимъ-то ужасомъ смотрѣлъ на это стадо свиное, неистово попиравшее даръ Божій. Самъ онъ едва прикоснулся къ пищѣ, отвѣдавъ арестантскихъ щей. Въ этой пестрой толпѣ никто не обращалъ на него вниманія, и Кириллъ малодушно радовался, что можетъ оставаться незамѣтнымъ. Но и эта относительная свобода была омрачена: къ нему подсѣлъ какой-то лысый старичокъ и повелъ доёмку.

— Изъ австрицкихъ будешь?—пѣвучимъ голосомъ спрашивалъ старичокъ.—Изъ обливанцевъ?

— А тебѣ на что, кто я таковъ? Ты самъ по себѣ, я самъ по себѣ...

— Нѣтъ, оно любопытно... Какъ же!.. На тебѣ священный санъ, такъ любопытно поглядѣть, какіе австрицкіе попы бываютъ.

— А ты изъ какихъ?

— Я-то? Я-то безпоповецъ... изъ стариковщины... Мы люди темные, неученые. Да... Съ насъ и взыскъ по нашему малому разуму... Съ большого человѣка и взыскъ большой.

— Отстань... Не о чемъ намъ съ тобой разговаривать.

— Не гордись, отче. . Господь-то Батюшка насъ всѣхъ сравнялъ, какъ траву въ полѣ. А мнѣ любопытно на тебя поглядѣть...

У Кирилла даже сердце сжалось при видѣ безпоповца. Это былъ уже настоящій волкъ... Православные—тѣ не приставали, а этотъ сразу полѣзъ съ кусательнымъ словомъ и укорилъ обливанствомъ. Онъ хотѣлъ уйти изъ-за стола раньше, но Будзько не пустилъ и обругалъ худымъ словомъ.

— Гордость-то, отче, захватилъ съ собою, видно, и въ острогъ?—хихикалъ безпоповецъ.—То-то вы всѣ такіе, австрицкіе... Сладко ѣдите, мягко спите, почетъ любите собирать у богатыхъ милостивцевъ. Власть себѣ присовокупили вязать и разрѣшать.

И пошелъ, и пошелъ. Около нихъ сбилась опять кучка арестантовъ, галдѣвшихъ и хохотавшихъ надъ раскольниками, а Будзько сдѣлалъ видъ, что ничего не замѣчаетъ,—онъ рѣшился мстить раскольничьему попу за его хитрость.

Кириллъ вздохнулъ свободнѣе, когда обѣдъ кончился и онъ могъ уйти въ свою камеру. Но, къ его удивленію, лысый безпоповецъ оказался тоже въ шестомъ номерѣ, куда Будзько нарочно привелъ его, чтобы травить раскольничьяго попа. Пусть раскольники погрызутся.

III.

Наступила ночь. Ахъ, какъ она медленно спускалась надъ острогомъ и какъ ея ждалъ Кириллъ! Онъ такъ устелъ за этотъ день отъ окружавшей его толпы арестантовъ, отъ говора и хохота, отъ тяжелаго воздуха, а главное, отъ своихъ собственныхъ мыслей, лежавшихъ тяжелымъ камнемъ на душѣ.

Ужинъ прошелъ безъ всякихъ приключеній. Всѣ были такіе сумрачные, и даже не было того галдѣнья, какъ за обѣдомъ. Въ коридорахъ тускло горѣли маленькія лампочки, и такая же лампочка одна освѣщала казематъ. Арестанты залегли спать на нары сейчасъ же послѣ ужина. Кое-гдѣ шелъ разговоръ вполголоса. Большинство заснуло сейчасъ же тяжелымъ острожнымъ сномъ. Воздухъ спирался еще сильнѣе отъ дыханія спавшихъ. Слышался тяжелый бредъ, сонное бормотанье и тяжелые вздохи. Кириллъ забился въ уголокъ около самой двери и лежалъ съ открытыми глазами: сонъ не шелъ къ нему. Онъ чувствовалъ только одно, что дышать нечѣмъ, и что воздухъ дѣлается все тяжелѣе.

— Къ окошечку бы пробраться... дохнуть одинъ разъ...

Эта мысль окончательно овладѣла имъ. Онъ больше ничего не могъ думать, потому что задыхался. Кровь тяжело стучала въ головѣ, все тѣло точно было налито свинцомъ, во рту пересохло... Кажется, всѣ спятъ?.. Кириллъ снялъ съ себя арестантскій халатъ и въ одной рубашкѣ, босой, осторожно началъ пробираться къ окну, точно воръ. Только одинъ разъ дохнуть... Но вотъ и окно, запотѣвшее, тусклое, слезившееся... Кириллъ прижалъ горѣвшею головой къ мокрому стеклу и съ жадностью вдохнулъ охлажденную струю воздуха, точно онъ ее пилъ. Ахъ, какая радость!.. Да, удушье прошло сейчасъ же, а вмѣстѣ съ нимъ и смертная истома. Кириллу даже сдѣлалось совѣстно за собственное малодушіе,—вѣдь спятъ же другіе, дышатъ и ничего, живы, а онъ изнемогъ и впалъ въ малодушіе. Въ царившей полутьмѣ онъ видѣлъ эти скорченныя фигуры, босыя ноги, судорожно сжатыя руки и блѣдныя, сѣрыя лица съ полуоткрытыми ртами. Это была ужасная картина. Какія мысли витали надъ этимъ сбродомъ? Какіе сны спускались въ помраченныя души, какія желанія и чувства незримо ползли въ этихъ пропащихъ головахъ? Господи, и онъ, пастырь стада Христова, здѣсь, въ обществѣ этихъ татей, насильниковъ и душегубцевъ... И ему сдѣлалось страшно. За что?..

Но это была опять минутная слабость, вызванная непривычкой къ новой обстановкѣ. Кириллъ началъ молиться про себя, усердно, истово и горячо. Молитва его успокоила, умилила, а по лицу катились слезы.

— Господи, благодарю Тебя, что не оставилъ и меня Своею милостью...

Нѣсколько разъ эта молитва прерывалась чьимъ-нибудь бормотаньемъ. Нѣкоторые поднимались, садились на нары и долго смотрѣли на него ничего не понимавшими глазами, а потомъ разслабленно валились опять на нары, чтобы опять заснуть тяжелымъ сномъ. А Кириллъ стоялъ у окна и продолжалъ молиться, не замѣчая, какъ летитъ время. Ему вдругъ сдѣлалось такъ легко и хорошо на душѣ. Да, ему все теперь было понятно, и это все было такъ просто, что хотѣлось разбудить всѣхъ этихъ спавшихъ грѣшниковъ и все разсказать имъ. Да, все... И просвѣтились бы помраченныя души, умилились бы очерствѣвшія сердца, и исторгалось бы окрыленное молитвой слово. Тьма ихъ объяла, а тутъ свѣтъ, и радость, и ликованіе.

Охваченный однимъ чувствомъ и своимъ свѣтлымъ настроеніемъ, Кириллъ благословилъ спавшихъ двумя руками, какъ пастырь.

— Спите, миленькіе горемыки... Господь съ вами.

Такъ онъ и простоялъ на молитвѣ до самаго утра, когда въ шесть часовъ смѣняли часовыхъ и на дворѣ поднялась обыденная суета. Свѣта еще не было, а только небо дало отбѣли, точно было заслонено громаднымъ матовымъ стекломъ. Настоящій свѣтъ гдѣ-то былъ еще тамъ, далеко, но тѣмъ напряженнѣе чувствовалось его медленное приближеніе.

Кириллъ лежалъ въ своемъ уголкѣ и совсѣмъ не хотѣлъ спать. Не первую ночь приходилось ему проводить на молитвѣ, но ни одна не пролила въ его душу такого спокойствія, любовнаго и радостнаго. Ему страстно хотѣлось разбудить всѣхъ товарищей по узилищу и разсказать имъ все, чѣмъ такъ сейчасъ была полна его собственная душа. И какъ все ясно, просто, понятно... И они прозрѣютъ, всѣ до одного, озаренные новымъ свѣтомъ, и тогда не нужно будетъ ни этихъ каменныхъ стѣнъ, ни желѣзныхъ затворовъ, никакой „тѣлесно ощущаемой власти", какъ Жаръ-птица или Ежовая-голова.

— Господи, помоги мнѣ, грѣшному,—молился Кириллъ про себя.—Не дажди ми духа унынія...

Когда уже занялось настоящее утро, Кириллъ забылся тревожнымъ сномъ, точно его придавила могильная плита.

Видѣлъ онъ себя на свободѣ, ѣдущимъ по дѣламъ своей разсѣянной по весямъ и градамъ паствы. Между прочимъ, завернулъ онъ и въ Межигорье, чтобы разрѣшить сварившихся межигорскихъ поповъ Авдея и Варсонофія. Большая отъ нихъ смута шла въ боголюбивыхъ народахъ, а паче того соблазнъ и прещеніе. Авдей былъ стараго поставленія, начетчикъ и трудникъ, но сталъ зашибать отъ воды забвенія. По просьбѣ межигорянъ, Кириллъ поставилъ имъ новаго попа Варсонофія, человѣка непьющаго, но скромнаго и не весьма борзаго на языкъ. За Авдея была своя партія старыхъ дружковъ и милостивцевъ, которые не признали Варсонофія за правильнаго попа, а этимъ подрывали и его собственный пастырскій авторитетъ. Значитъ, спъ, Кириллъ, и попа настоящаго поставить не умѣлъ и власти не имѣетъ отрѣшить Авдея на-прочь. А всего хуже, что въ эту „прю" вмѣшались тайно безпоповцы со своими стариками и начетчиками. Они еще больше увеличивали свару своими навѣтами и шопотами и успѣли отбить отъ смутившагося стада не одну овцу. Такъ, старуха Канунникова, издревле прилежавшая старой вѣрѣ, замѣтно пошатилась къ безпоповцамъ, хотя явно и держала себя попрежнему. А за ней потянулось бы много слабыхъ душъ: столбъ уронитъ, и заборъ развалится. Вотъ и поѣхалъ Кириллъ въ Межигорье, чтобъ унять свару и проявить свою пастырскую власть. Раньше онъ всегда останавливался у нея въ домѣ и проживалъ по недѣлямъ, а теперь притаился гдѣ-то на постояломъ дворѣ. Къ Варсонофію онъ тоже не поѣхалъ, чтобы новый ставленникъ не превознесся гордостью.

Каково было удивленіе, когда владыка Кириллъ нежданно-негаданно явился въ часовню, гдѣ служилъ Авдей. Это было на повечеріи. Старуха Канунникова стояла на своемъ мѣстѣ впереди, у лѣваго клироса. Когда повечеріе кончилось, Авдей подошелъ подъ благословеніе.

— Владыка, благослови...

— Ты самъ себя благословилъ, такъ для чего тебѣ еще мое благословеніе? Не пастырь ты, а волкъ и губитель. Не твое здѣсь мѣсто...

Смутился Авдей и сказать не знаетъ что, и клиръ смущенъ, и Канунникова больше всѣхъ. Такъ Кириллъ повернулся и вышелъ. Ужъ на улицѣ

догналъ его приказчикъ Капунниковой и слезно началъ просить „погоститься“ къ ней въ домъ.

— Больно велики у васъ палаты, миленькій,—отвѣчалъ Кириллъ,—а я человѣкъ маленькій... Еще заблужусь грѣшнымъ дѣломъ. Такъ и скажи Авдотьѣ Марковнѣ... Была прежде дорога, да заросла та дорога травой.

— Владыка, слезно наказывала просить!

— Слезы-то хороши во-время, а безо времени онѣ хуже воды.

Такъ и не пошелъ къ Авдотьѣ Марковнѣ: пусть чувствуетъ. У нея милліоны, такъ и важничаетъ, а у него ничего нѣтъ, такъ еще нужно больше важничать. На другой день пріѣзжала сама, но Кириллъ ея не принялъ, а ушелъ къ попу Варсонофію и тамъ просидѣлъ. Хорошій попъ Варсонофій, да только простъ, а въ Межигорьѣ нужно пробойнаго попа, чтобы въ случаѣ чего и зубы свои могъ показать.

— Плохо, владыка, у насъ,—плакался Варсонофій,—и самъ я чувствую, что простъ не къ мѣсту... Переведи куда-нибудь въ другой приходъ, а здѣсь мнѣ не жить. Купцы богатые привыкли помыкать своими-то ставленными попами, а я не умѣю имъ кланяться. Авдей, тотъ хоть и оказываетъ себя на словахъ грубымъ, привѣсился къ нимъ давно.

— Не мѣсто къ головѣ приставляютъ, а голову къ мѣсту,—успокаивалъ оробѣвшаго пастыря Кириллъ.—А ты поменьше слушай наговоры-то да бабьи шопоты, а дѣлай по-своему... Такъ-то!

А Варсонофій сильно растужился, даже до слезъ, такъ что владыка даже прикрикнулъ на него, чтобы напустить храбрости. Что, въ самомъ дѣлѣ, прежде времени горевать? Крѣпкій былъ человѣкъ Кириллъ. Самъ прошелъ отъ простого начетчика всѣ ступени раскольничьей іерархіи и зналъ до тонкости всю повадку богатыхъ доброхотовъ: имъ только спусти.

— А главная причина отъ безпоповцевъ идетъ,—разсказывалъ Варсонофій.—Усилились они черезъ своихъ бабъ... Она, баба, женскимъ дѣломъ вездѣ пролѣзетъ и вездѣ: шу-шу-шу. Авдей-то не отъ ума на заднія лапы поднялся... Только онъ самъ не знаетъ, что дѣлаетъ.

— Мы его утихомиримъ живою рукой... Не великъ въ перьяхъ-то. А про безпоповцевъ я самъ знаю.

Хорошая слава шла про Кирилла. Ревностный былъ человѣкъ и въ словѣ твердъ. И не боялся онъ ничего и не потакалъ богатымъ мужикамъ. Время-то не такое, чтобы мирволить смутьянамъ да расшатывать старую вѣру. И то трудныя времена наступили. Вездѣ раздѣленіе, свары и домашняя рознь. Рушилась старая вѣра, потому что не стало подвижниковъ и трудниковъ, да и суета мірская обошла кругомъ. Раньше-то потѣснѣе жилось, ну, и между собой не было разсѣченія и раздѣлки, а всѣ тянули въ одну сторону.

Межигорскую свару Кириллъ считалъ пустымъ дѣломъ и надѣялся уладить ее домашними средствами. Прежде всего нужно было сломить зазнавшихся столповъ и Авдотью Марковну въ первую голову. А придутъ они въ себя, и все пойдетъ своимъ чередомъ. Наложилъ Кириллъ свою владычную опалу на межигорскихъ толстосумовъ, да такъ и хотѣлъ уѣхать. Дальше были свои дѣла до самой Москвы. А тутъ вдругъ на постояломъ дворѣ приставъ и заарестовалъ.

Это послѣднее случилось такъ неожиданно, что Кириллъ не могъ даже опомниться. Межигорье славилось древнимъ благочестіемъ, и проѣздъ всегда былъ свободенъ, благодаря предстательству сильныхъ доброхотовъ и милостивцевъ. „Тѣлесно ощущаемая власть“ смотрѣла сквозь пальцы на проѣз-

жавшихъ черезъ Межигорье раскольничьихъ архіереевъ, и Кириллъ не ожидалъ, что все такъ выйдетъ. Даже во время самаго ареста онъ могъ вывернуться: стоило приставу сказать только слово. Но Кириллъ какъ-то уперся, точно на пень наѣхалъ: не хочу, и конецъ тому дѣлу. Въ острогъ, такъ и въ острогъ: пусть Авдотья Марковна порадуется.

„Пусть со своими безпоповскими дружками милуется,—думалъ Кириллъ, наслаждаясь собственнымъ униженіемъ.—Подвижники и не это терпѣли, а намъ и Богъ велѣлъ“.

Но все-таки, за вычетомъ этихъ благочестивыхъ размышленій и личныхъ счетовъ, оставалась незаполненной цѣлая пропасть. Являлась какая-то гнетущая пустота. Въ самомъ дѣлѣ, прожилъ всю жизнь, хлопоталъ, трудился, шелъ неуклонною стезей и вдругъ точно въ яму оступился. Собственно острожнаго сидѣнья Кириллъ не боялся: ну посидитъ, ну будетъ слѣдователь пытать, потомъ окружный судъ, потомъ ссылка,—не онъ первый, не онъ послѣдній. Обидно было то, что все случилось какъ-то ужъ очень глупо и не къ мѣсту. Остановись онъ у Авдотьи Марковны въ ея палатахъ, да развѣ кто-нибудь смѣлъ бы его хоть пальцемъ тронуть, а тутъ Ежовая-голова сцапалъ на постояломъ дворѣ, и конецъ тому дѣлу. И дѣла-то много, ахъ, какъ много,—вездѣ неотложная нужда, вездѣ ждутъ боголюбивые народы, а тутъ вотъ сиди въ каменномъ мѣшкѣ. Всѣ пастырскіе планы, намѣренія и мысли разбились объ острожную стѣну, какъ набѣжавшая волна.

Мысли какъ-то плохо вязались въ головѣ Кирилла, и только ночью на молитвѣ онѣ прояснились. Да, онъ понялъ, что именно такъ было нужно, какъ все случилось, и что тутъ нѣтъ ничего ни глупаго ни случайнаго. Это было только завершеніе его пастырскаго подвига... Ему необходимо пострадать, чтобы его примѣромъ укрѣпились маловѣры и шатаемые вѣтромъ разноученій. Господь все видитъ и все знаетъ. Перебирая въ умѣ всѣ мельчайшія подробности своего злоключенія, Кириллъ видѣлъ только послѣдовательный ходъ того, что должно было быть. И какъ это онъ раньше самъ не видѣлъ именно главнаго? Да, слѣпота обуяла. Другихъ видѣлъ, а себя не видѣлъ. Оно такъ и бываетъ, если Господь во-время не откроетъ внутреннихъ глазъ. А зато какъ теперь легко, ясно, хорошо, точно самый казематъ освѣтился тѣмъ же внутреннимъ свѣтомъ. А безпоповцы-то радуются его бѣдѣ, маловѣры, и не понимаютъ того, что Господь строитъ имъ же во вредъ.

IV.

На другой день утромъ Кириллъ былъ разбуженъ громкимъ говоромъ всей камеры, сбившейся въ одну живую кучу у окна. Въ казематѣ трудно было что-нибудь разсмотрѣть, и Кириллъ долго не могъ сообразить, гдѣ онъ и что съ нимъ. Въ груди саднило, дышать было нечѣмъ, а голова давила, точно пудовая гиря.

— Аквамарина вывели!..—галдѣли арестанты у окна.

— Въ четырехъ душахъ у слѣдователя повинился...

— Самъ, видно, считалъ души-то, такъ и вышло четыре, да несчитанныхъ два столько наберется... Тоже ловкачъ!..

Послѣдній голосъ показался Кириллу знакомымъ. Да, это говорилъ Шалай. Теперь все было ясно... Странно, Кириллу показалось, что онъ уже давно здѣсь сидитъ, очень давно, и все кругомъ такъ знакомо и близко. Прошлое отодвинулось куда-то далеко-далеко.

— Аквамаринъ изъ безсрочныхъ... Съ каторги три раза бѣжалъ.

— Изъ себя-то плечистъ,.. А рука: схватитъ—заржавѣетъ.

По утрамъ на прогулку выводили главныхъ арестантовъ, содержавшихся по отдѣльнымъ камерамъ, за особо строгимъ карауломъ. Это была своя островная аристократія, возбуждавшая въ остальныхъ арестантахъ и зависть, и уваженіе, и почетъ. Особенно завидовали непомнящіе родства и мелкіе воришки. Всѣмъ-то имъ вмѣстѣ вся цѣна расколотый грошъ. Такъ на нихъ смотрятъ и надзиратели, и часовые, и своя братія арестанты. У всѣхъ у нихъ „короткая душа“ и на настоящее не хватаетъ смѣлости. Именно такое настроеніе переживалъ сейчасъ шестой номеръ, занятый прогулкой Аквамарина. Кириллъ заразился общимъ жаднымъ вниманіемъ и протискался къ самому окну. Сквозь запотѣвшія стекла онъ увидѣлъ наконецъ гулявшаго по двору подъ конвоемъ двухъ солдатъ высокаго сутулаго мужика съ длинными руками и маленькою головой. Узкое, сѣрое лицо едва было тронуто жиденькою бородкой. Аквамаринъ ходилъ медленно, едва таская ноги и не глядя по сторонамъ. Вообще, ничего особеннаго.

— Онъ бабъ тиранилъ...—проговорилъ подъ ухомъ Кирилла голосъ Шалая.—Поймаетъ въ лѣсу бабенку, истиранитъ и прикончитъ. Въ четырехъ душахъ у слѣдователя повинился... Лакомъ до бабъ, а вонъ какимъ волкомъ глядитъ. Мужиковъ не трогаетъ, а все бабъ...

Слѣдующимъ номеромъ послѣ Аквамарина явился Слеза, небольшого роста плечистый мужикъ съ большою рыжею бородой. Онъ держался на показъ и постоянно скидывалъ съ одного плеча свой арестантскій халатъ, точно плохой актеръ въ какой-нибудь трагической роли. И было чѣмъ гордиться: Слеза повинился въ семнадцати душахъ, и его выводили на прогулку подъ конвоемъ четырехъ солдатъ. Слеза славился тѣмъ, что его не держали никакія стѣны, никакіе кандалы, и во время его прогулки въ окнѣ пріемной все время торчала голова Жаръ-птицы.

— Этотъ уйдетъ, сколько ни гляди,—увѣренно повторяли голоса.— Можетъ, всѣ десять разъ уходилъ... Достанется за него Жаръ-птицѣ на орѣхи.

— Конечно, уйдетъ... Какъ нить дастъ, уйдетъ. Орелко, однимъ словомъ...

— Этотъ козырный, не чета Аквамарину.

— И еще семнадцать душъ прикончитъ... У Слезы рука не дрогнетъ. Вишь какъ похаживаетъ, точно губернаторъ.

— Семнадцать душъ?—переспросилъ Кириллъ своего сосѣда, тихонькаго арестанта-бродяжку, кашлявшаго въ руку.

— Сказываютъ, больше...—отвѣчалъ бродяжка съ печальною улыбкой.— А главная причина: неизвѣстный человѣкъ. Это не нашъ братъ, непомнящій родства... Всѣ мы, бродяжки, къ своему мѣсту придемъ. Тутъ насъ и накроютъ, а у Слезы другое на умѣ... Его всѣ боятся. Онъ вонъ какъ учнетъ съ надзирателями разговаривать, али съ Жаръ-птицей. Только Слеза безпремѣнно уйдетъ...

Всѣ разговоры о Слезѣ заканчивались неизмѣнно однимъ и тѣмъ же: уйдетъ, и тому дѣлу конецъ. Кириллъ слушалъ и только вздыхалъ. Конечно, онъ и раньше слыхалъ о разбойникахъ и разбойныхъ дѣлахъ, но все это дѣлалось гдѣ-то тамъ, въ сторонѣ, а тутъ всѣ были налицо, вотъ здѣсь, совсѣмъ близко. Хуже всего было то, что маленькіе арестанты завидовали большимъ преступникамъ, учились разному звѣрству и только ждали случая, чтобы сдѣлать то же, что дѣлали большіе. И тотъ, кто сдѣлалъ, и тотъ, кто еще не успѣлъ сдѣлать, одинаково стояли на днѣ погибельной пропасти. У

каждаго былъ свой часъ и своя часть. И, можетъ-быть, тѣ, которые еще ничего не сдѣлали, гораздо хуже явныхъ разбойниковъ и душегубовъ, хуже по своей испорченности и тайнымъ мыслямъ. Кириллъ все ждалъ, что хоть кто-нибудь осудитъ страшныхъ душегубовъ, скажетъ слово обличенія, но никто и ничего не говорилъ.

— Господи, гдѣ я?—повторялъ Кириллъ въ ужасѣ.—Господи, за что? И земля-матушка носитъ такихъ злодѣевъ, не разступится отъ ихъ звѣрства, и онъ, служитель Божій, сидитъ съ ними подъ одною кровлей. Вотъ они здѣсь, въ нѣсколькихъ шагахъ, обагренные невинною кровью, полные новыхъ злодѣйскихъ замысловъ, закоснѣлые и нераскаянные. Какъ они не боятся Божьяго солнца, бѣлаго свѣта, собственной совѣсти, Божьяго милосердія? Они могутъ и ѣсть и спать, какъ всѣ другіе, и еще смущаютъ этихъ другихъ. Истинно безстрашные сыны погибели и кровные слуги антихриста.

— Вотъ какъ добрые-то люди поживаютъ, отче! — говорилъ Шалай, хлопая Кирилла по плечу.—Не то, что ты, со святою водою влопался.

Безпоповецъ смотрѣлъ на Кирилла и злобно хихикалъ.

— Я-то знаю, зачѣмъ попалъ сюда,—отвѣчалъ Кириллъ съ кротостью.— А вотъ вы всѣ помрачились до самаго дна, яко прямые слуги антихриста. Обуяла васъ всѣхъ злоба... Слѣпотствуете отъ этой самой злобы, яко приспѣшники всескверпаго льстеца, иже есть все онъ же, антихристъ.

Это неожиданное обличеніе вызвало дружный хохотъ всей камеры. Очень ужъ смѣшной раскольничій попокъ попался и слова говоритъ несообразныя.

— Еще прибавь отче... ха-ха!..

— Кровь неповинная вопіетъ, а вы лютѣ радуетесь.

— Ну, ну, катай.

— И скажу... Кто же другой вотъ скажетъ?.. Каменными стѣнами да желѣзными затворами не удержать злыхъ мыслей. И буду говорить: горе душамъ вашимъ! Горе и мнѣ, сидящу съ вами...

Эта проповѣдь была прервана появленіемъ на острожномъ дворѣ новаго лица. Вся камера замерла, столпившись у окна.

— Братцы, глядите: Чечня вывели... — шепталъ неизвѣстный голосъ.— Этотъ ночище Слезы будетъ...

— Есть и поглядѣть на что: въ руки нечего взять.

— Не великъ звѣрь, да ластистъ... Охъ, ловкій чортъ! Два года регентомъ въ церкви служилъ и сейчасъ у себя въ номерѣ все духовное распѣваетъ...

Чечень „ходилъ въ небольшихъ душахъ“, но привлекалъ особенное вниманіе острожной толпы, потому что его дѣло было обставлено романическими подробностями. На видъ это былъ сѣденькій, сгорбленный, худенькій старичокъ съ умильно-благочестивымъ лицомъ. Онъ гулялъ по двору, опустивъ глаза, и только время отъ времени угнетенно вздыхалъ, подавленный тайно-благочестивыми мыслями. Какъ арестантъ, Чечень не представлялъ никакой опасности, и усатая рожа Жаръ-птицы оставалась въ своей кобурѣ безъ любопытства. Она даже улыбалась и дѣлала такія движенія, какъ [illegible] малгинскъ старинныхъ часовъ.

— Чечень-то все на свою Чечотку поглядываетъ,—[illegible] какой-то голосъ.—Тоже, сексовалась другъ по дружкѣ.

— Достигъ онъ ее, Чечотку-то

— Ужò какъ достигъ... А потомъ задушитъ.

— Конечно, задушитъ. Она и сама говоритъ то же самое...

— А изъ какихъ онъ будетъ?

— Неизвѣстно: Чечнемъ назвался. Такая лѣсная птичка есть, на манеръ воробья. Ну, онъ у слѣдователя и объявилъ себя чечнемъ, а сполюбовницу свою чечоткой назвалъ...

Кириллъ слушалъ эти „неистовыя слова“ и молчалъ съ грустною улыбкой. Онъ даже не полюбопытствовалъ взглянуть на Чечня. Не все ли равно? Зло было слишкомъ велико, ярко и разнообразно. Кириллу начинало казаться, что все, чтò онъ видѣлъ и слышалъ, тяжелый сонъ, одинъ изъ тѣхъ сновъ, отъ которыхъ человѣкъ не можетъ проснуться. И, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ точно давно зналъ вотъ всѣхъ этихъ людей—и Шалая, и безпоповца, и смирнаго бродяжку.

— Ну, чтò ты молчишь, отче?—приставалъ къ нему Шалай.

— Страшно мнѣ, братъ...

— Отчего?

— Объя мя ужасъ и сѣнь смерти...

— Отъ писанія, отче?

— Есть немножко... Въ писаніи-то чтò сказано, миленькій... Царь Давыдъ пряменько сказалъ: „день дни отрыгаетъ глаголъ, и нощь нощи возвѣщаетъ разумъ“. Вотъ ты и подумай...

Въ голосѣ Кирилла послышались слезы. Около него опять столпились арестанты. И слова мудреныя, и самъ не то блаженненькій, не то обморошный, не то просто дуракъ.

— Ну-ка, еще прибавь, владыка!—язвилъ безпоповецъ, примащиваясь поближе.

— А ты читалъ въ книгѣ притчей премудраго царя Соломона: „блаженъ человѣкъ, иже увѣдѣ премудрость, и смертенъ, иже увѣдѣ разумъ“? Вотъ это о тебѣ сказано, миленькій... Нощь возвѣщаетъ разумъ, и разумъ возвѣщаетъ смерть. Есть у тебя глаза, а ты слѣпотствуешь, ибо велика облекающая языки мгла и далекъ день...

На арестантовъ произвело сильное впечатлѣніе слово „отъ писанія“. Безпоповецъ не зналъ, чтò ему отвѣчать, потому что былъ мало ученъ и не хотѣлъ срамиться въ открытомъ диспутѣ. Бродяжка слушалъ Кирилла съ раскрытымъ ртомъ. Но произведенное впечатлѣніе было нарушено появленіемъ Будзько.

— Шестой номеръ, гулять!—крикнулъ онъ, отворяя дверь.

Вся камера загалдѣла и бросилась въ коридоръ. Кириллъ остался послѣднимъ.

— Ты, ворона, шевелись!.. — крикнулъ на него Будзько и больно ударилъ кулакомъ въ бокъ.—Я тебѣ покажу святую воду!..

Кириллъ тихо вскрикнулъ, посмотрѣлъ на Будзько и ничего не сказалъ. Да и чтò онъ могъ сказать вѣрному слугѣ антихриста, творившему волю пославшаго?

Прогулка по двору продолжалась около часу. Кириллъ былъ не радъ и свѣжему воздуху, потому что продрогъ до костей. Онъ ежился въ своемъ арестантскомъ халатѣ и ярталъ руки. Арестанты старались незамѣтно пробраться въ ту часть двора, гдѣ были ворота на женскую половину. Это была слабая попытка завести хотя отдаленное знакомство съ острожными красавицами. Будзько не дремалъ и гналъ арестантовъ съ неистовою руганью.

Стоявшій у самыхъ воротъ часовой улыбался. Кириллъ не понималъ, въ чемъ дѣло, и смотрѣлъ на всѣхъ недоумѣвавшими глазами. Его занимало больше всего неукротимое неистовство „приставника“. И откуда такая злоба?

— Я васъ, галманы, выворочу всѣхъ наоборотъ!—кричалъ Будзько.

Арестанты галдѣли, толкали другъ друга и ругались.

— Хорошая работка, владыка?—тихо спрашивалъ безпоповецъ, показывая Кириллу на острожныя стѣны.—Крѣпко налажено?..

— Ничего... А ты не приставай.

— Я-то?.. Не любишь?..

— Считаю тебя за прямого волка.

— Вотъ ты какой, владыка: я къ тебѣ съ добромъ, а ты рыло воротишь. А все отъ гордости... Обуяла тебя гордость.

— Не гордость, а кривыхъ твоихъ словъ не люблю, волчище. Зубы волчьи прячешь и слѣдъ хвостомъ заметаешь.

— Ну, ты попрями, владыка..

Кириллъ никакъ не могъ подавить въ себѣ чувства отвращенія къ безпоповцу. Нехорошо, а съ собой не совладаешь. Всѣ другіе арестанты возбуждали въ немъ скорѣе сожалѣніе и даже страхъ, а этого онъ не любилъ. Вѣдь вотъ и правду сказалъ относительно антихристовой работы, а все-таки неюбъ... Да, эта горькая правда была огорожена каменными стѣнами, заперта желѣзными запорами и оцѣплена всякою тѣлесно ощущаемою властью. Сколько тутъ было и хлопотъ, и трудовъ, и заботъ, и лютой хитрости. Недаромъ сказано: „египетскія работы вмѣстятся“. И вмѣстились. Онъ тоже не любитъ, чтобы сложа руки сидѣли, и донимаетъ вотъ какъ.

V.

Второй день прошелъ мучительно-медленно, какъ идутъ дни только въ тюрьмѣ. Особенно было тяжело, когда погасъ дневной свѣтъ и камеры освѣтились жалкими лампочками. Арестанты ходили такіе хмурые и озлобленные. Ихъ возмущало все: и дрянной арестантскій обѣдъ, и полутьма каземата, и больше всего наболѣвшее сознаніе неволи. Гдѣ-то въ трубѣ голоднымъ волкомъ завывалъ вѣтеръ, нагоняя на всѣхъ еще бо́льшую тоску. Казалось, что недоставало малѣйшаго повода, чтобъ они бросились другъ на друга, какъ дикіе звѣри. И въ острогѣ бываютъ свои свѣтлые и тяжелые дни...

Кириллъ лежалъ на нарѣ въ своемъ уголкѣ и переживалъ самое мучительное состояніе, извѣстное только арестантамъ. Онъ въ тысячу первый разъ повторялъ про себя всѣ мельчайшія подробности своего ареста. Мысль работала неутомимо, возвращаясь упорно къ началу, когда онъ былъ свободнымъ человѣкомъ. Давно ли это было? Неужели всего два дня назадъ? А сошлись онъ на Капунникову, и ничего бы этого не было. Можетъ-быть, безпоповецъ и правъ, когда говорилъ о гордости... Да, погордился безъ времени. Воображеніе рисовало другія картины: вотъ онъ ѣдетъ въ своей кибиткѣ дальше... мелькаютъ станціи... а тамъ и матушка Москва. Его ужъ вездѣ ждутъ, ему рады... Есть еще христолюбивые народы, которые неукоснительно блюдутъ святоотеческія преданія. Пошатилось древлее благочестіе, а есть еще во Израилѣ седмь тысячъ мужей, не преклонявшихъ колѣнъ предъ Вааломъ. Да, есть, и есть живая душа, тягчившаяся чужимъ беззаконіемъ. Виноградникъ уже созрѣлъ, но нѣтъ дѣлателя винограда. А тутъ смрадъ, стенанія и скрежетъ зубовный. Нужна ли жертва? Въ писаніи сказано: „милости хощу, а не

жертвы". Кириллъ начиналъ испытывать приступы слабости и скорбѣлъ за свое малодушіе.

„Только бы вырваться изъ затвора, — думалъ онъ про себя, продолжая основную мысль.—Ну, будетъ пытать слѣдователь... потомъ въ преторію Пилата... Потомъ къ Аннѣ и Каіафѣ. А тамъ непомнящихъ родства сошлютъ не въ столь отдаленныя мѣста... Все-таки воля, хоть и волчья. Вездѣ люди живутъ".

Но рядомъ съ этою мечтой о возможной свободѣ возникла совершенно новая мысль, немало смущавшая Кирилла. Да, за нимъ нѣтъ никакой большой вины, и сколько ни подержатъ въ затворѣ, а все-таки выпустятъ. Увидитъ онъ опять вольный бѣлый свѣтъ, и зеленый лѣсъ, и всякое сельное произрастаніе, а вотъ „эти" останутся. Вся работа антихристова останется, какъ была. Страшны не каменныя стѣны, не жестокіе приставы и желѣзные затворы, а страшенъ мракъ душевный, страшна облегающая тьма. И будутъ они томиться, полные грѣха и злыхъ помысловъ, и ни одинъ свѣтлый лучъ не заглянетъ въ очерствѣвшія души. Они останутся, а онъ, служитель Христовъ, малодушно думаетъ о волѣ... Какая воля, когда врачъ нуженъ не здоровымъ, а больнымъ? Въ одной сутки Кириллъ ужо сжился съ этимъ новымъ міромъ и впередъ болѣлъ за него.

Полутьма въ казематѣ. Нѣкоторые арестанты уже спятъ, а другіе тяжело ворочаются на голыхъ нарахъ, вздыхаютъ и ворчатъ. Рядомъ съ Кирилломъ примостился Шалай и въ темнотѣ заводитъ свой арестантскій разговоръ:

— Видѣлъ, отче, Слезу-то давѣ?

— Видѣлъ.

— Ну, такъ онъ семнадцать душъ порѣшилъ... Трехъ любовницъ зарѣзалъ, а попался на пяти душахъ. Вотъ этакъ-то по зимѣ взялъ двухъ благопріятелей и отправился на работу. Самъ Слеза нарядился подрядчикомъ, одинъ благопріятель какъ будто его подручный, а другой за кучера отвѣчаетъ. Вотъ и пріѣзжаютъ они къ богатому купцу, который промышлялъ сплавомъ лѣса. Дѣло было къ вечеру... Ну, приняли ихъ честь честью: и чай, и закуска, и поужинать. Слеза ведетъ свою линію, точно всю жизнь только и дѣлалъ, что торговалъ лѣсомъ. Сговорились, ударили по рукамъ, а Слеза сейчасъ купцу задатокъ. Купцу это и любопытно, что покупатель прямо на домъ пріѣхалъ. То, се, купецъ-то и оставилъ гостей ночевать... Ну, а ночью Слеза всю семью и вырѣзалъ до тла: и купца съ женой, и двоихъ дѣтей, и няньку, а добро навалилъ къ себѣ въ конную, да и былъ таковъ. Только стряпку не могли найти второпяхъ, а она и выдала. Сбила народъ, ударили въ погоню, и Слезу накрыли съ поличнымъ... Только онъ, все одно, уйдетъ изъ замка. Жаръ-птица и то говоритъ, что уйдетъ...

— Чеченъ какъ примѣръ почище будетъ, — смѣшался безпоповецъ, подсаживаясь ближе.—Хоша онъ всего въ пяти душахъ повинился, да работа другая. Ты его видѣлъ, владыка, то-есть Чечена?

— Нѣтъ... Да и что смотрѣть: одинъ звѣрмный образъ у всѣхъ, вже есть число шестьсотъ и шестьдесятъ и шесть.

— А про себя ты какъ помечешь, владыка?—хихикнулъ безпоповецъ.

— Ничего не помечаю... Грѣшный рабъ Божій, и все тутъ.

— Не напущай смиренія паче гордости... Ну, да это все равно. А вотъ Чеченъ-то ножомъ этаго орла днемъ съ огнемъ покоснулъ... Надо тебѣ разсказать, владыка.

— Не хочу я слушать такихъ нечестивыхъ рѣчей.

— Нѣтъ, пусть разсказываетъ!—вступились голоса.

Безпоповецъ еще разъ хлебнулъ, подсѣлъ еще ближе къ Кириллу и завелъ рѣчь нѣвучимъ расплывчатымъ речитативомъ:

— Надо тебѣ сказать, владыка, что въ городѣ прошлою зимой у Обжорнаго ряда, гдѣ кабакъ Яжка, нашли задушеннаго старика-нищаго. Ну, полиція дознаніе производитъ... слѣдователь... Показалось удивительно то, что нищій задушенъ на самомъ бойкомъ мѣстѣ, чуть не осередь бѣла дня. Въ Яжкѣ-то собирается разная голь да рвань, и всѣ пьяницы-воришки. Однимъ словомъ, пьянчуги да жулье заборное... А тутъ работа жаркая. Слѣдователь-то и принялся... Ну, и выпалъ, что вечеромъ въ Яжку приходилъ регентъ и выпилъ водки. Первое, какая корысть регенту заходить въ Яжку, а второе— у нищаго всего и капиталу были пять копѣекъ. Сейчасъ къ регенту, и сейчасъ отъ самыхъ вратъ у него обозначились, и сейчасъ паспортъ неправильный, а откуда и какой человѣкъ—неизвѣстно. Усадили регента въ зѣнекъ, а онъ себя Чеченцемъ назвалъ. Вотъ и сидитъ Чеченъ и мѣсяцъ, и два, и три, и все выпирается: не знаю, и тому дѣлу конецъ. Только надо тебѣ сказать, что у этого самаго Чечена,—по видимости-то онъ старообразъ мусорный,— оказалась сожительница. Понимаешь?

— Будетъ... Остаръ.

— Нѣтъ, ты слушай, что дальше-то вышло. Ну, и оказалось, что эта сожительница въ острогѣ сидитъ. Вызвалъ это Чеченъ чрезъ арестантовъ и посылаетъ ей наказъ, чтобъ перемѣстилась въ какой острогъ. А та на дыбы: не хочу я тебя, стараго чорта, знать. Бабенка-то молодая, у нея свои дѣла вышли. Ну, тогда Чеченъ у слѣдователя хвостую и сдѣлалъ: „такъ и такъ, покаянъ еще въ нихъ душахъ. Только не одинъ, а вмѣстѣ съ сожительницей". И разсказалъ... Сначала-то все у него прилично, какъ и у Сусы... Народился купецъ, посадилъ сожительницу, въ родѣ какъ жена, и на своихъ коняхъ пріѣзжаетъ въ одну деревню къ самому богатому мужику. „Пустите переночевать". Хозяина-то дома не оказалось, а оставалась жена съ двумя ребятишками, старикъ-отецъ да неженатый братъ. Хорошо. Расположился Чеченъ со своею Чечоткой въ задней избѣ, задалъ коняхъ корму и потребовалъ самоваръ. Какъ слѣдуетъ быть настоящему купцу. Ну-съ, хорошо. Сидятъ, попиваютъ чаекъ, а потомъ купчиха пошла въ переднюю избу и зоветъ старика угоститься чайкомъ. Старикъ лежалъ на печкѣ больной и отказался. Ну, тогда она уводитъ хозяйскаго брата. Привела, усадила за столъ, а Чеченъ его и задавилъ... У него мертвая хватка. Вѣдь глядѣть не на что, а рука желѣзная. Такимъ-то маверомъ напоила она чайкомъ хозяйку, а потомъ пошла въ переднюю избу и старика на печкѣ прикончила, и дѣвочку-трехлѣтку,—на полатяхъ спала,—и ребенка грудного въ зыбкѣ, и кошку. Чеченъ взялъ веревочку, связалъ вмѣстѣ съ кошкой и на гвоздь на стѣнку повѣсилъ... Ну, потомъ ограбили все и ушли. Такъ и слѣдъ простылъ. Только изъ-за Чечотки дѣло все и сплыло. „Вмѣстѣ,—говоритъ Чеченъ-то,—пойду на каторгу со своею Чечоткой и задушу ее"... И задушитъ.

— Конечно, задушитъ,—подтвердила вся камора.

Кириллъ молчалъ, сворачившись въ своемъ уголкѣ. Его точно обступала какая-то холодная вода, даже зубы стучали. Господи, что онъ слышитъ? А безпоповецъ, какъ волкъ, такъ и жмется все ближе къ нему.

— Уйди,—тихо попросилъ его Кириллъ.—Будетъ.

— А я тебѣ еще разскажу случай, владыка, — такъ же тихо отвѣчалъ этотъ назойливый врагъ.—Ты не спи...

Кое-гдѣ арестанты уже храпѣли. У окна кто-то шептался. Шалай ушелъ, а на его мѣстѣ расположился безпоповецъ.

— Владыка, ты започивалъ никакъ?..

— Ахъ, Господи, Господи... Не могу я больше... уйди...

— Видишь, какое дѣло вышло...—не унимался безпоповецъ, продолжая свой шопотъ.—Въ номерѣ третьемъ содержится у насъ одинъ человѣкъ, т.-е. онъ не человѣкъ, а простой деревенскій парень. Изъ себя такой бѣлобрысый да рябой. Промежду прочимъ, могутный парень-то, только придурковатъ малость... Хорошо. Ефимомъ звать. Вотъ и сидитъ этотъ Ефимъ у себя въ избѣ у окошка, это, значитъ, въ деревнѣ. Сидитъ и въ окошко поглядываетъ. Только старикъ-отецъ и говоритъ: „Ефимъ, ты видѣлъ, какъ мужикъ проѣхалъ въ новомъ полушубкѣ, и свиная туша въ саняхъ, въ передкѣ?“ — „Видѣлъ, тятенька“.—„Такъ надо отнять у него и полушубокъ и тушу“. — „Да онъ не отдастъ“. — „А ты силой...“ — „А онъ пожалится?“ — „А ты возьми...“ Ну, старикъ и научилъ, что̀ надобно сдѣлать. А мужикъ ѣдетъ себѣ путемъ-дорогой и посвистываетъ, потому какъ былъ на торжкѣ, продалъ что-то, выпилъ малымъ дѣломъ,—ну, весело человѣку. Дѣло зимнее, снѣжокъ падаетъ... хорошо. Только верстахъ въ десяти отъ деревни его и догоняетъ Ефимъ. Ну, разговорились. То, се, Ефимъ и говоритъ: „Тутъ ближе есть дорога, значитъ, покосами...“. Пьяненькій мужичокъ и согласись. А Ефимъ сослался, что будто за сѣномъ ѣдетъ. Такимъ манеромъ завезъ онъ мужика въ сторону, да и насѣлъ на него. Вынулъ кнутовище, да кнутовищемъ глазъ мужику и выковырялъ, а потомъ другой. Снялъ съ него полушубокъ новенькій, навалилъ къ себѣ свиную тушку, а мужикъ въ крови весь катается по снѣгу... Глядитъ Ефимъ, а на немъ еще остался пониток, какой мужики подъ шубу надѣваютъ. „Ну,—говоритъ Ефимъ,—пониток-то я, видно, оставлю тебѣ, потому какъ не было родительскаго благословенія насчетъ пониткa...“ Сѣлъ на сани и былъ таковъ, а мужикъ съ выковырянными глазами остался въ лѣсу. И больно ему, и кровь хлещетъ, и холодомъ донимаетъ. Ну, у смерти конецъ... Однако мужикъ-то собрался съ послѣднею силой, поползъ къ лошади, распрягъ ее, сѣлъ верхомъ и пустилъ,—куда-нибудь вывезетъ Богова скотинка. Ѣхали-ѣхали, долго ли, коротко ли, а потомъ лошадь стала... Слышитъ мужикъ, что она сѣномъ шуршитъ,—значитъ, къ зароду съ сѣномъ пріѣхали. Слѣзъ слѣпой мужикъ, забрался въ зародъ и малымъ дѣломъ отогрѣлся. А потомъ опять на лошадь и поѣхалъ дальше. Слышитъ, что лошадь вышла на твердую дорогу, значитъ, въ деревню вывезетъ. Только слышитъ мужикъ, что кто-то его догоняетъ. По голосу-то мальчонка... Остановился мужикъ, а мальчонка какъ увидѣлъ его въ крови, да сѣномъ всего его на свѣжую кровь облѣпило—назадъ. Тутъ ужъ мужикъ источнымъ голосомъ взмолился. Мальчонка выворотился и кричитъ: „Ежели ты не оборотень, прочитай Исусову молитву, да перекрестись“. Прочиталъ мужикъ и молитву и перекрестился, а мальчонка его въ Ефимову деревню и предоставилъ прямо въ волость. Ну, наѣхалъ становой, слѣдователь, дознались до Ефима, а онъ въ отпоръ. Обыскъ сдѣлали у отца — ничего. Слѣдователь-то догадливъ былъ: взялъ да и уѣхалъ, а потомъ черезъ три дня, ночью, и накрылъ ихъ. И тушка обозначилась свиная, и новый полушубокъ, и Ефимъ повинился во всемъ. Дурашливъ онъ: родительскому, говоритъ, благословенію не посмѣлъ перечить. Вотъ какія дѣла, владыка, бываютъ!

— Господи, Господи, страсть-то какая...—шепталъ Кириллъ, чувствуя опять, какъ весь холодѣетъ.—Никакой звѣрь такъ не сдѣлаетъ...

— Куда же звѣрю!.. Особливо, ежели сытый звѣрь, онъ никого не тронетъ.

— Хуже звѣря омраченный душою человѣкъ... Послѣднія погибельныя времена, а все его работа, антихриста. Господи!.

Въ темнотѣ послышались тихія рыданія,—это плакалъ Кириллъ, а безпоповецъ хихикалъ, счастливый, что извелъ раскольничьяго владыку вконецъ. Шестой номеръ уже спалъ, спалъ и безпоповецъ, а Кириллъ лежалъ и плакалъ о лютыхъ грѣхахъ міра, о помраченныхъ злобой душахъ, о себѣ. Вторая ночь была еще тяжелѣе, чѣмъ первая. Кириллъ не могъ даже сказать, спалъ онъ или не спалъ. Его что-то душило, точно кто сидѣлъ на немъ или навалили на него тяжелый камень. А потомъ онъ какъ будто забылся и видѣлъ странный, коварный сонъ: будто онъ не Кириллъ, а Слеза, Чечень и Ефимъ вмѣстѣ... онъ чувствовалъ теплую кровь и жаждалъ новыхъ убійствъ, какъ волкъ, забравшійся въ овечье стадо. Потомъ охватила его ярость любостяжанія: онъ все хваталъ и все пряталъ, и все, казалось ему, было мало. А какъ трудно было прятать... Страхъ на него нападалъ, и Кириллъ начиналъ прятаться самъ. Его кто-то искалъ и старался поймать... Потомъ видѣлъ онъ посинѣвшее лицо задушенной Ежовой-головы, а отрѣзанная голова Жаръ-птицы показывала ему такой страшный, синій языкъ. Наконецъ видитъ Кириллъ, что ѣдетъ онъ вмѣстѣ съ Чечоткой, онъ правитъ, а она рядомъ съ нимъ и прижимается плечомъ... Несутся кони, а Кириллу кажется, что все тихо, и что за ними гонятся тѣни убитыхъ, зарѣзанныхъ и задушенныхъ, и ближе всѣхъ маленькій задушенный ребеночекъ съ веревкой на шеѣ. А Чечотка все тѣснѣе жмется къ нему, и онъ даже чувствуетъ теплоту этого грѣшнаго бабьяго тѣла.

Кириллъ вскрикнулъ отъ страха и проснулся. Онъ обливался холоднымъ потомъ, зубы стучали. Господи, что же это такое?.. Машинально Кириллъ хотѣлъ поправить свои волосы и въ ужасѣ опустилъ руку: половина волосъ была отрѣзана. Рядомъ лежалъ безпоповецъ и притворно храпѣлъ: это была его работа.

„Вотъ онъ когда добрался до меня,—скорбно думалъ Кириллъ, — протянулъ свою мерзкую лапу и зацѣпилъ назарейскіе власы...“

VI.

Рано утромъ, когда еще разсвѣтало, дверь шестого номера отворилась, и показался Будзько. Это было признакомъ, что кого-нибудь изъ арестантовъ вызываютъ къ слѣдователю. Надзиратель прошелся по каземату, строго оглядѣлъ арестантовъ и, отыскавъ глазами Кирилла, проговорилъ какъ-то въ сторону:

— Ну, ты, святая вода, собирайся!

Кириллъ сначала не понялъ, и Будзько толкнулъ его, но не больно, какъ это дѣлалъ раньше, а больше для формы. Кириллъ поднялся, отыскалъ свою шапку, запахнулъ полы арестантскаго халата и покорно поплелся за суровымъ служилымъ человѣкомъ. Въ камерѣ нѣкоторое время царило завистливое молчаніе. Каждый считалъ себя обиженнымъ. Многіе томились по нѣскольку мѣсяцевъ, выжидая свой очереди, а тутъ, здорово живешь, не успѣлъ человѣкъ переночевать двухъ ночей, какъ его уже вызываютъ.

— Это не къ слѣдователю,—объяснилъ безпоповецъ. — Кто-нибудь изъ

своихъ раскольничьихъ милостивцевъ вспомнилъ... Умъ это вѣрно, Бѣлуплятъ, не сужѣвайтесь...

Будзько шагалъ за узникомъ въ нѣкоторомъ смущеніи и нѣсколько разъ чесалъ въ затылкѣ. Ему только-что досталась головомойка отъ Жаръ-птицы именно за этого проклятаго раскольничьяго попа. Вотъ навязался-то человѣкъ!

А въ пріемной сидѣла сама Авдотья Марковна Капунникова, важная, строгая и грустная. Это была рослая, крѣпкая старуха съ типичнымъ русскимъ лицомъ. Большіе, темные глаза смотрѣли сурово. Она сидѣла въ лисьей старинной шубѣ. Голова была покрыта стариннымъ шелковымъ платкомъ. Передъ ней стоялъ на вытяжку Жаръ-птица и не зналъ, какъ занять дорогую гостью. Онъ не ожидалъ, что старуха сама пріѣдетъ, да еще въ такой ранній часъ. Въ порывѣ усердія Жаръ-птица осторожно пріоткрылъ дверь въ канцелярію и еще разъ вытянулся, застегивая старый мундиръ.

— Такъ „туда“ нельзя?—сурово спрашивала старуха, не поднимая глазъ.

— Никакъ невозможно, Авдотья Марковна... Законъ-съ.

— У васъ все законъ...

— Не мы законы-то пишемъ, Авдотья Марковна. Подневольные люди...

Старуха брезгливо осмотрѣла давно не бѣленныя стѣны, шкапы, письменный столъ и замѣтила:

— А „тамъ“ еще хуже?

— По положенію, Авдотья Марковна.

Въ этотъ моментъ послышались звяканье арестантскихъ кандаловъ, и старуха встрепенулась. Жаръ-птица пропустилъ арестанта и такъ скосилъ глаза на Будзько, что того точно вынесло изъ комнаты вѣтромъ. За нимъ послѣдовалъ и самъ Жаръ-птица, ступая на цыпочкахъ, точно боялся кого-нибудь разбудить.

— Ты, идолъ...—шепчетъ старикъ на Будзько, давая выходъ сдержанному волненію.—Ты у меня смотри, дракалія!

Въ пріемной происходила нѣмая сцена. Старуха поднялась со своего мѣста, выпрямилась, нѣсколько мгновеній смотрѣла на стоявшаго передъ ней смиреннаго узника и какъ-то вся рухнула ему въ ноги. Онъ не шевельнулся, оставаясь въ той же позѣ.

— Владыка миленькій, прости... — причитала Авдотья Марковна, подползая къ ногамъ Кирилла.—Охъ, попритчилась напасть нежданная...

Кириллъ наклонился и пригнулъ голову старухи къ самому полу

— Покиньте кланяйся, миленькая... пониже. Не мнѣ кланяешься...

Голова миллионерши-раскольницы нѣсколько разъ стукнулась о грязный полъ, заплеванный арестантскими ногами.

— Страдалецъ ты нашъ! — хныкала старуха, лежа на полу.—На кого ты насъ покинулъ, миленькій? Безъ тебя-то всѣмъ намъ голешенька съ плечъ!

— Ну, ну, будетъ... Вставай, горюха.

Онъ помогъ подняться грузной старухѣ и усадилъ ее на прежнее мѣсто. Она смотрѣла на него и не вытирала катившихся по лицу слезъ. Ее больше всего смущалъ его арестантскій костюмъ. Точно другой человѣкъ. А лицо блѣдное такое и спокойное. Запыленное окно съ грязными стеклами давало мало свѣта, и все казалось здѣсь такимъ грязнымъ и сѣрымъ.

— За наши грѣхи муку принимаешь,—заговорила Авдотья Марковна, придя въ себя.—Тоже и мы чувствуемъ... Я тебя кормила, окаянная. Охъ, мѣста я не найду: дочь и мочь душа. Мой грѣхъ, владыка...

Кириллъ улыбнулся.

— Великъ грѣхъ, Авдотья Марковна, пожалуй, и не поднять одной-то... Засилье не возьмегъ.

— Ахъ, велика и наша женская слабость... Когда бы ты не прогнѣвался на мое малодушіе и остановился у меня, развѣ бы кто смѣлъ тебя пальцемъ тронуть?.. Не впервой... А только и ты, владыка, погордился малымъ дѣломъ, когда Акакій тебя сцапалъ на постояломъ. Ну что тебѣ стоило шепнуть ему одно словечко про меня?.. Да онъ бы самъ тебя привезъ ко мнѣ... Опалился ты на меня, худоумную, а того не подумалъ, чего со старухи взять?.. Вотъ вся тутъ.

— Вижу, что вся... У всѣхъ у васъ глаза боятся, а руки дѣлаютъ.

— Постой казнить-то, миленькій... Цѣлыхъ два дня безъ отдыху хлопотала о тебѣ и выхлопотала... да.

Старуха вытащила откуда-то изъ рукава бережно сложенный вчетверо листъ бумаги и подала Кириллу.

— Вотъ читай, миленькій!

Кириллъ взялъ бумагу, не торопясь, развернулъ ее и принялся читать, шевеля беззвучно губами. Это было офиціальное разрѣшеніе взять его на поруки. Кириллъ прочиталъ еще разъ документъ, бережно его сложилъ, пожевалъ губами и, возвращая назадъ, проговорилъ спокойнымъ тономъ:

— Напрасно хлопотала, миленькая.

У Авдотьи Марковны руки опустились отъ ужаса. Она именно этого и боялась, когда ѣхала въ острогъ на своемъ тысячномъ рысакѣ. Горденекъ владыка Кириллъ. Оно такъ и вышло. Въ первую минуту старуха не знала, что ей говорить и что дѣлать. Она опять видѣла только сѣрый арестантскій халатъ, эти разношенныя калишки, блѣдное лицо, и не знала, куда ей дѣть добытую съ такимъ трудомъ бумагу.

— Какъ же такъ, миленькій?—бормотала она.—На меня гнѣвишь и себя не жалѣешь... Не подобаетъ мужской крѣпости женскую слабость тѣснить до конца... Измучилась я, лучше бы я сама сѣла за тебя въ острогъ.

Жаръ-птица и Будзько, дежурившіе въ передней, видѣли, какъ гордая старуха вторично упала въ ноги арестанту, какъ она ползала за нимъ, стараясь поймать владычную руку, какъ плакала и причитала, а рабъ Божій отвѣчалъ ей что-то тихимъ голосомъ и оставался непреклоннымъ.

„Вотъ такъ гусь лапчатый!—подумалъ Жаръ-птица, закусывая свой длинный усъ.—Ловокъ рабъ Божій!“

Онъ вспомнилъ, что свидѣтелемъ этой унизительной сцены былъ Будзько, и однимъ взглядомъ выгналъ его въ коридоръ.

— Ну, перестань, будетъ,—уговаривалъ Кириллъ заливавшуюся слезами старуху.—Слезы твои, яко дорогой бисеръ... Была ты изрядная послушница, а теперь воздыханія утробу твою терзаху. Будетъ... Такъ нужно... Да... Вотъ ты бумагу мнѣ суешь, а того не подумаешь, что все сіе лестныя его козновенія. Кто бумагу-то писалъ? Вотъ ты и подумай...

— Да ежели безъ бумаги нельзя?

— Міръ сотворенъ безъ бумаги, и прейдетъ міръ тоже безъ бумаги. И я сначала-то, какъ попалъ сюда, поддался-было малодушію... Тѣсненько здѣсь, удушливо, муторно... И моя грѣшная плоть вознегодовала, да во-время опомнился, миленькая. Это Господь мнѣ милость послалъ, грѣшному, а ты съ бумагой разлетѣлась. Не пойду я отсюда, пока не извергнутъ властодержцы.

Авдотья Марковна тихо плакала, закрывъ лицо платкомъ. О, такъ умѣлъ

говорить только владыка Кириллъ, великій подвижникъ. Онъ положилъ ей руку на плечо и заговорилъ своимъ тихимъ, ласковымъ голосомъ:

— Не сердитую я на тебя и на другихъ тоже. Вѣдь я за всѣхъ за васъ отвѣчать долженъ, расточенныя овцы!.. Сижу въ затворѣ и молюсь, миленькая... Такъ нужно, говорю.

— Ничего я не понимаю, родной,—всхлипывая, повторяла старуха.— Одно только знаю, что все черезъ меня вышло.

— Любя, Господь наказуетъ, миленькая... Много у Него милости. Маловѣрны мы и вдаемся страху. А Господь строитъ все намъ же на пользу. У каждаго свой часъ... И мой часъ насталъ. Да... Нужно радоваться, а не плакать...

Этотъ ласковый голосъ успокоилъ Авдотью Марковну, хотя она и продолжала сидѣть, опустивъ голову и не смѣя взглянуть на Кирилла. Великую власть онъ имѣлъ надъ людьми, а сейчасъ больше, чѣмъ когда-нибудь, и старуха поняла, почему онъ не взялъ бумагу. Недаромъ Кириллъ пастырство свое носитъ.

Кириллъ подсѣлъ къ столу и разсказалъ все, что̀ самъ пережилъ за эти дни: какъ онъ сердился на нее, какъ не хотѣлъ сослаться на нее приставу Акакію, когда тотъ забиралъ его на постояломъ дворѣ, какъ его привели въ острогъ и онъ радовался, что досадитъ хоть этимъ вотъ ей, Авдотьѣ Марковнѣ, какъ потомъ онъ одумался и понялъ все. Все разсказалъ Кириллъ и ничего не утаилъ, до сегодняшняго сна включительно.

— Понимаешь, къ чему это прещеніе было мнѣ, недостойному?—уже шопотомъ спросилъ онъ, оглядываясь.

— Глупа я... стара...

— А вотъ я такъ догадался. Пастырь я, а душой злобился... такъ? Пастырь, а впалъ въ уныніе... такъ? Пастырь, а осудилъ помраченныхъ антихристовою прелестью... такъ?.. Силенъ онъ, врагъ, а нощь нощи отрыгнула разумъ. Понимаешь теперь: хуже я всѣхъ вотъ здѣсь, во узилищѣ, потому что считалъ себя лучше и осуждалъ другихъ. Тѣ яростно служатъ льстецу всескверному и дѣло свое погубительное содѣваютъ наотличку, отметая и совѣсть, и душу, и разумъ... Вотъ какъ служатъ воистину-то, а я малодушествовалъ, да еще считалъ себя получше всѣхъ. Спала и моя слѣпота съ глазъ, и вижу я все, миленькая... Радуйтесь за меня, маловѣрніи, ибо наступилъ день посѣщенія. Оставьте меня дѣлать мое дѣло, а Богъ поможетъ, вернусь и къ вамъ. Иди и скажи всѣмъ про мою худость.

Въ заключеніе Кириллъ отвернулъ стоячій воротникъ своего арестантскаго халата и показалъ обрѣзанные волосы. Авдотья Марковна въ ужасѣ всплеснула руками и опять застонала и закричала, пока Кириллъ строго не остановилъ ее.

— Будетъ, маловѣрная. И это должно быть. Антихристъ-то какъ меня донимаетъ здѣсь. Первымъ дѣломъ святую воду сцапалъ, а потомъ и до волосъ добрался: мнѣ прещеніе, а онъ волосы огрызуетъ съ яростію. Направилъ безпоповца, а тотъ, горемыка, и думаетъ, что самъ это дѣлаетъ. И всѣ такъ-то... Вотъ и тебя онъ же съ бумагой-то подослалъ.

Кириллъ тихо улыбнулся и торжествующе посмотрѣлъ на смущенную Авдотью Марковну.

Такъ старуха и уѣхала ни съ чѣмъ. На прощанье она отозвала Жаръ-птицу въ сторону, сунула ему что-то въ скорченную ладонь и строго наказала, что̀ нужно дѣлать.

— Ужъ будьте покойны, Авдотья Марковна,—бормоталъ смотритель, краснѣя отъ усердія.—Для васъ въ ниточку готовъ вытянуться.

Острожный глазъ Будзьки видѣлъ, какъ за спиной Жаръ-птица смущенно комкалъ сторублевую бумажку. Вотъ такъ святая вода!

Не успѣлъ рысакъ унести вихремъ Авдотью Марковну, какъ притащился приставъ Акакій. Онъ встрѣтилъ старуху на дорогѣ и бросился по горячему слѣду.

— Ну что?—спрашивалъ онъ, глядя въ уголъ.—На выпускъ архирея-то выправила сама?

— Какъ на выпускъ?—удивился Аѳанасій Иванычъ.

— А такъ... На поруки сама взяла и залогъ внесла.

— Ну ужъ это дудки!—ворчалъ Аѳанасій Иванычъ, испугавшись.—Да и я его не выпущу... Неизвѣстный человѣкъ.

— Аль полюбился?—засмѣялся Акакій.

Служилые люди посмотрѣли другъ на друга и злобно отвернулись. Акакій понялъ, что Жаръ-птица схапалъ кушъ и что онъ еще разъ остался въ дуракахъ. Со злости Акакій удушливо закашлялся и обругалъ пріятеля, а потомъ молча протянулъ руку.

— Ты это чего?—изумился Аѳанасій Иванычъ, отступая.

— А вотъ это самое...

— Ха-ха... Самъ виноватъ, что не умѣлъ въ рукахъ держать, когда счастье свалилось. Эхъ, ты, Акимъ-простота!

Приставъ Акакій зашипѣлъ, какъ змѣя, которой наступили на хвостъ, хотѣлъ обругать Жаръ-птицу, но только закашлялся и плюнулъ.

VII.

Посѣщеніе Авдотьи Марковны произвело сильное дѣйствіе на весь острогъ. Всѣ арестанты какими-то невѣдомыми путями узнали всѣ подробности въ тотъ же день. Первою откликнулась камера № 6-й. Когда Кириллъ вернулся изъ пріемной, арестанты не выразили ни малѣйшаго любопытства и даже сдѣлали видъ, что ничего не замѣтили. Занятый своими мыслями, Кириллъ не обратилъ вниманія на собиравшуюся грозу и только за обѣдомъ почувствовалъ, что случилось что-то особенное. Арестанты своей камеры сторонились его, а другіе шептались, оглядывали его и вообще что-то замышляли.

— Эй, ты, бабій архирей! — крикнулъ вдогонку неизвѣстный голосъ, когда арестанты всею толпой выходили изъ столовой.

Кириллъ оглянулся, посмотрѣлъ на злобныя лица и все понялъ: всѣ были противъ него и по-своему всѣ были правы. Да, правы...

Въ шестомъ номерѣ его встрѣтилъ Шалай.

— Ну что, ваше преосвященство, какъ дѣлишки?

Кириллъ молчалъ. Въ камерѣ послышался сдержанный шопотъ, а потомъ сразу прорвалась ругань.

— Выкупятъ архирея богатыя бабы!

— Угодникъ бабій!

— То-то онъ одною ногой на небо, а за другую бабы держатся... Одно слово, купленный архирей!

— Отъ писанія подползаетъ, святая душа на костыляхъ.

— Небойсь, за насъ нѣтъ заступы... Всѣхъ сгноятъ по острогамъ, а онъ обрадуется съ своими купчихами.

— Изъ миконькихъ архирей-то выпскался.

— Однимъ словомъ, святая вода...

Кириллъ молчалъ, подавленный сознаніемъ, что злобствованіе на него были правы.

— То-то онъ все плакалъ и вздыхалъ,—не унимался Шалай.—Вотъ и выплакалъ: сама Авдотья Марковна пріѣхала и всему начальству ручку позолотила... Этакъ-то поспособнѣе будетъ, ежели съ молитвой. Кабы мнѣ вымолить такую Авдотью Марковну...

— Ну, ты еще рыломъ не вышелъ, Шалай. Твои-те молитвы на большомъ тракту въ кустахъ засѣли... Ты у насъ трактовый архирей.

— А все-таки не изъ-за бабьей спины хлѣбъ себѣ добывалъ, братцы,—объяснилъ Шалай.—Ну, грѣшный человѣкъ, бывало всячины, такъ опять же я на небо не топорщился со святою водой...

Безпоповецъ держалъ себя политично и даже защищалъ Кирилла; положимъ, притворно защищалъ, но все-таки не смѣшивался съ другими въ откровенной ненависти.

— Что̀ вы къ нему пристали, братцы?—сказалъ онъ.—Завидно вамъ, ну, и лѣзете съ ложкой на чужую кашу... да. Лѣзете, а того не знаете, что къ мірскому человѣку приставленъ одинъ бѣсъ, къ бѣлому попу семь бѣсовъ, къ миниу четырнадцать, а къ архирею два столька. Неучены вы, вотъ и не понимаете... Бѣсъ-то всегда норовитъ черезъ бабъ: самое для него пріятное кушанье.

Даже безотвѣтный бродяжка, привязавшійся въ эти дни къ Кириллу, точно отшатнулся отъ него и только смотрѣлъ такими недоумѣвающими глазами. Это молчаливое отчужденіе всего больше огорчало Кирилла: въ бродяжкѣ для него уже чувствовался свой человѣкъ, и вдругъ этотъ свой человѣкъ отшатнулся.

Такъ Кириллъ и промолчалъ весь вечеръ, выслушивая укоры, брань и всяческое поношеніе, пока арестантамъ не надоѣло ругаться.

Опять погасъ дневной свѣтъ, и весь острогъ погрузился въ темноту. Затихъ и шестой номеръ, но не спалъ Кириллъ. Теперь его острогъ уже не пугалъ, а пугало то, что вотъ этотъ острогъ былъ противъ него. Всѣ номера ненавидѣли его, значитъ, онъ былъ хуже ихъ всѣхъ, вотъ этихъ душегубовъ, татей и насильниковъ. Гласъ народа—гласъ Божій... Не спалъ и бродяжка, занимавшій уголокъ напротивъ.

— Кириллъ,—окликнулъ бродяжка шопотомъ

— Я... а что̀?

Бродяжка завозился, сползъ съ нары и подсѣлъ къ Кириллу.

— Уходи какъ ни на есть,—зашепталъ онъ.—Не ровенъ часъ, еще убьютъ.

— За что?

— Случается... Не взлюбили тебя крѣпко, вотъ главная причина, потому какъ заступа у тебя объявилась.

— Ну, это особливая статья, а итти мнѣ некуда. Да и не хочу я...

Бродяжка только вздохнулъ и молча уползъ въ свой уголокъ.

Утромъ на другой день пришелъ самъ Жаръ-птица, строго оглядѣлъ выстроившійся въ двѣ шеренги шестой номеръ и движеніемъ головы велѣлъ Кириллу слѣдовать за собой. Среди арестантовъ послышался сдержанный ропотъ.

— Это еще что̀?—закричалъ Жаръ-птица.—Вы у меня смотрите!

— А зачѣмъ не въ очередь?—отвѣтилъ изъ толпы неизвѣстный голосъ.

Будзько бросился разыскивать смѣльчака, но его, конечно, не оказалось, да и арестанты, все равно, не выдали бы. Тѣмъ временемъ Жаръ-птица уже выходилъ съ Кирилломъ на дворъ, но тутъ опять случилась бѣда. У воротъ женскаго отдѣленія сбилась толпа арестантокъ и что-то такое кричала. Доносились какія-то причитанія, охи и жалостливый шопотъ.

— Это что̀?—спрашивалъ смотритель догнавшаго Будзько.

— А бабы бунтуются, ваше благородіе... Вызнали, что, значитъ, не простъ человѣкъ, ну, и того... способу не стало. Извѣстно, бабы... Причитаютъ, воютъ, лѣзутъ на стѣну.

На женскомъ отдѣленіи, дѣйствительно, происходилъ настоящій бунтъ. Арестантки узнали, что въ шестомъ номерѣ заключенъ архіерей, и подняли смуту. Надзирательница скрыла отъ Аѳанасья Иваныча это происшествіе, надѣясь уладить его домашними средствами, но арестантки предали ее, когда своими глазами увидѣли Кирилла.

— Къ слѣдователю повели!—шептали бабьи голоса.—Статочное ли это дѣло? Хоша и не настоящій, а все-таки архирей. Не стало имъ простыхъ-то арестантовъ...

— Вотъ я васъ, чечотки!—погрозилъ имъ Жаръ-птица, прибавляя шагу.—Этакъ житья не будетъ у себя въ острогѣ...

Кириллъ шелъ съ опущенною головой. Эта манифестація его огорчила, потому что являлась недоразумѣніемъ и даже усугубляла его вину передъ арестантами. Теперь ему проходу не дадутъ. Аѳанасій Иванычъ тоже чувствовалъ себя смущеннымъ: на него теперь всѣ будутъ коситься вотъ за этого самаго архіерея—и арестанты, и своя канцелярія, и даже Будзько. Всѣ будутъ выслѣживать, какъ онъ замирволитъ архіерея... Нелегко достанутся денежки Авдотьи Марковны: пожалуй, и деньгамъ не обрадуешься. Вонъ какимъ волкомъ накинулся тогда Акакій: такъ бы, кажется, съ живымъ мясомъ и вырвалъ. Эхъ, грѣхи, грѣхи!.. Только разъ поддайся, а тамъ ужъ не обрадуешься.

Всѣ эти благочестивыя размышленія проходили въ головѣ Аѳанасія Иваныча, пока шло переодѣванье арестанта въ шубу и валенки. А тутъ еще Авдотья Марковна присылала своего рысака, чтобъ отвезти Кирилла къ слѣдователю,—тоже придумала на старости лѣтъ. Но старикъ выдержалъ характеръ и отправилъ лошадь обратно. Безъ того архіерея на извозчикѣ повезутъ, хотя этого и не полагалось, за исключеніемъ болѣзни. А тутъ еще, того гляди, Акакій подвернется. Вѣчно по городу рыщетъ да все обнюхиваетъ... Вообще, Аѳанасій Иванычъ волновался и былъ даже радъ, когда Кирилла вывели изъ острога.

„Хоть бы убѣжалъ съ дороги,—подумалъ старикъ малодушно.—Да нѣтъ, куда ему... Этакіе-то не бѣгутъ. Ахъ, ты, Боже мой, вотъ наказанье-то!.. Впрочемъ, что̀ же я: слѣдователь не задержитъ, а потомъ въ окружный судъ и але маширъ“.

Не успѣлъ Аѳанасій Иванычъ додумать до конца своихъ смотрительскихъ мыслей, какъ въ пріемную ворвался Будзько.

— Ваше высокоблагородіе, вотъ напасть-то... Только я его, значитъ, вывелъ за ворота, только, значитъ, сталъ усаживать на извозчика, а онъ у меня въ рукахъ и распустился.

— Ка-акъ распустился, дракалія

— Слушаю-съ... Значитъ, какъ младенецъ маленькій распустился: головенка на одну сторону, руки какъ плети, глаза закатилъ... А изъ лица блѣднѣе снѣга. И при этомъ кровь...

— Ахъ, ты, дуракъ!..

Аѳанасій Иванычъ, какъ былъ, въ одномъ мундирѣ выскочилъ за ворота. Тамъ, дѣйствительно, произошло именно то, о чемъ докладывалъ Будзько: Кириллъ лежалъ на извозчичьихъ саняхъ въ обморокѣ. Около саней уже столпилась куча любопытныхъ. Аѳанасій Иванычъ замахалъ на толпу, обругалъ Будзько и вообще проявилъ приличную случаю энергію.

— Въ больницу тащите!—командовалъ онъ, поддерживая голову Кирилла.—Да гдѣ фельдшеръ?.. За докторомъ пошлите!.. Ахъ, ты, Боже мой!.. Вѣдь вотъ случится же такой случай...

Кириллъ очнулся только въ арестантской больницѣ, въ высокой и свѣтлой комнатѣ, пропитанной застоявшимся запахомъ всевозможныхъ лѣкарствъ. Онъ съ удивленіемъ оглядѣлся кругомъ, вздохнулъ и закрылъ глаза отъ утомленія. Передъ нимъ стояли Жаръ-Птица и молоденькій военный фельдшеръ.

— Ну что̀, какъ?—какъ-то суетливо спрашивалъ Аѳанасій Иванычъ, заглядывая въ лицо больному.—Это отъ свѣжаго воздуха голову обнесло... бываетъ. Особливо, ежели кто съ непривычки.

— Ничего не упомню,—слабо отвѣтилъ Кириллъ.—А ты не безпокойся, ваше благородіе: я жаловаться никому не буду... Да и не на что жаловаться. Просто, слабъ я... немощенъ.

— Ну, здѣсь отдохнешь, Кириллъ.

— Отдохну? А за что они меня всѣ ненавидятъ?

— Кто—они?

— Да всѣ.

— Ну, это дѣло твое... Здѣсь тебѣ спокойно будетъ, и никто тебя не будетъ ненавидѣть. Вотъ докторъ пріѣдетъ... Лежи себѣ, пока не надоѣстъ.

— А ежели я не хочу?

— Чего не хочу?

— Да здѣсь оставаться...

— Ну, ужъ это дудки! Посадили, такъ и сиди. А то какъ козьи рога, ни изъ кузова ни въ кузовъ.

Аѳанасій Иванычъ даже разсердился. Что̀ онъ, въ самомъ-то дѣлѣ, дурачка валяетъ передъ какимъ-то проходимцемъ? Этакъ всякое уваженіе потеряешь у себя въ острогѣ... Старикъ сердито повернулся и вышелъ. Кириллъ проводилъ его глазами и замѣтилъ:

— Не поглянулось...

Фельдшеръ молчалъ, внимательно разглядывая раскольничьяго архіерея. Онъ уже слышалъ о немъ и про себя могъ только удивиться: „Ну какой это архіерей? Просто какой-то мужичонка, да и мужичонка плохой“.

Скоро пріѣхалъ докторъ, вызванный экстренно. Онъ вошелъ въ палату къ Кириллу съ недовольнымъ лицомъ. Это былъ средняго роста, среднихъ лѣтъ господинъ съ одутловатымъ лицомъ. Военный мундиръ сидѣлъ на немъ мѣшковато, какъ носятъ мундиры военные врачи. Начался осмотръ больного. Кириллъ покорно повиновался. Докторъ долго и внимательно выслушивалъ и выстукивалъ его и покачалъ головой.

— Нужно беречься,—замѣтилъ онъ, стараясь придать привычной фразѣ почти ласковый оттѣнокъ.—Ты давно въ острогѣ?

— Нѣтъ, всего четыре дня.

— Гм... да...—протянулъ докторъ, разсматривая больного черезъ очки.—Да, вамъ нужно беречься... очень...

— Напрасныя слова, ваше благородіе...

— Это почему?

— А ужъ, видно, такъ: предѣлъ положенъ всякому человѣку... Такъ и я. Мой предѣлъ здѣсь... Напрасно тебя безпокоили: все одно—помру. Я это знаю...

Предупрежденный смотрителемъ, что̀ за птица новый больной, докторъ отнесся къ нему съ большимъ вниманіемъ. Подсѣвъ на кровать, онъ разговаривалъ съ нимъ тѣмъ тономъ добродушнаго покровительства, какимъ говорятъ большіе съ дѣтьми.

— Раньше вы не испытывали стѣсненія въ груди? одышки? Потъ по ночамъ, можетъ-быть, былъ? Плохой аппетитъ?.. Раздражительность характера? Можетъ-быть, галлюцинаціи, т.-е. видѣнія?.. Или какъ это по-вашему: сны? Да, сны...

— Случалось,—отвѣчалъ Кириллъ, съ удивленіемъ слушая странные и непонятные для него вопросы.

— Кашель мучитъ по ночамъ? сухой кашель?.. Ознобъ бываетъ?.. При глубокомъ вдыханіи колотье вотъ здѣсь?.. Можетъ-быть, показывалась кровь?.. Зрѣніе ослабѣло?..

— Ничего не знаю.

Докторъ пожалъ плечами, пожелавъ спокойствія и вышелъ, на ходу давая какія-то приказанія фельдшеру. Для Кирилла все это было такъ ново и необычно, точно онъ попалъ въ какой-то другой міръ. И для чего разспрашивалъ докторъ столько пустяковъ: велитъ Богъ—будешь живъ, не велитъ—помрешь. Все это такъ ясно и просто, какъ Божій день.

VIII.

Въ больницѣ Кириллу показалось скучнѣе, чѣмъ въ шестомъ номерѣ, несмотря на окружавшую его чистоту и самый внимательный уходъ. И свѣту было много и дышать легче, а зато тоска такъ и давила. Особенно по ночамъ было трудно. Спать Кириллъ не могъ и все думалъ, думалъ и думалъ. Лѣчиться ему никогда не случалось, и доктора онъ видѣлъ около себя въ первый разъ въ жизни. Именно этотъ докторъ и смущалъ: все разспрашиваетъ, суетъ какія-то лѣкарства и вообще надоѣдаетъ, какъ осенняя муха.

— Петръ Иванычъ у насъ добрый,—объяснялъ фельдшеръ.—Угодникъ, а не докторъ. И всѣ арестанты его любятъ... Попасть въ больницу для нихъ праздникъ. Главное, пища хорошая полагается...

— Такъ, такъ, миленькій,—соглашался Кириллъ, пытливо глядя на молодого человѣка своими свѣтлыми глазами.—Все у васъ по-хорошему, миленькій?

— По положенью.

— Такъ... Кругомъ каменныя стѣны, часовые, властодержцы, а въ середкѣ доброта. Такъ и морите и лѣчите: одною рукой морите, а другой—лѣчите. На что добрѣе... Тутъ тебѣ лазаретъ, а у лазарета сейчасъ часовой.

— По положенью.

Молоденькій фельдшеръ полюбился Кириллу, и онъ любилъ съ нимъ разговаривать. Такой славный паренекъ и такъ вѣритъ въ свое „положенье". У нихъ все „по положенью".

— Ну, а если человѣкъ помретъ, это тоже по положенью?

— Случается... Больше бродяжки помираютъ. Наголодаются, отощаютъ,—ну, и придутъ въ острогъ въ чемъ душа... Прямо у смерти конецъ. Которыхъ успѣемъ отходить, а которые такъ и замаются...

— На лѣкарство свое больше всего надѣетесь?.. А ежели въ немъ вся душа повернута, такъ тутъ какое лѣкарство по вашему положенію? Вѣдь въ каждомъ человѣкѣ живая душа, миленькій... Затоскуетъ человѣкъ, ничего не мило.

— Разные бываютъ. Другой все молчитъ... Нѣтъ этакихъ-то хуже. Вонъ рядомъ въ палатѣ скопецъ лежитъ... Ничего отъ него не добьешься.

Наивность фельдшера производила на Кирилла успокаивающее дѣйствіе. Совсѣмъ несмысленный паренекъ и такъ хорошо вѣритъ въ свои лѣкарства. Тутъ такое зло кромѣшное, отчаянныя души, тьма и скрежетъ зубовный, а онъ порошки свои суетъ да микстуры... Рядомъ съ этимъ въ душѣ Кирилла проснулось какое-то враждебное чувство къ доктору. Сначала онъ его не понималъ, а потомъ все стало ясно, какъ день. Этотъ слуга антихристовъ почище всѣхъ будетъ: всѣ остальные злостью своей брали, а этотъ добротой донималъ... Ласковый такой, какъ же, а на ласковое слово какого угодно человѣка можно поймать. Теперь Кириллъ испытывалъ жуткое чувство, когда въ его палату входилъ добрый докторъ. Онъ старался не смотрѣть на него и отвѣчалъ неохотно, скрывая свое недомоганье.

— Выпиши меня лучше,—просилъ Кириллъ.—Я здоровъ...

— Да вѣдь въ казематѣ хуже, чѣмъ здѣсь!—удивлялся докторъ.

— А другіе сидятъ? Господь и не то терпѣлъ, и намъ грѣшнымъ терпѣть приказалъ... Ужъ это вѣрно.

— Вотъ поправитесь, тогда и отпустимъ.

— Уморите вы меня, вотъ что̀...

Докторъ только пожималъ плечами, не понимая, въ чемъ дѣло. Какой-то мудреный арестантъ попался. Наконецъ это было интересно, и докторъ удвоилъ свою внимательность. Собственно, положеніе больного было опасное, хотя, съ другой стороны, именно такія натуры отличаются изумительной живучестью. Все дѣло въ повышенномъ тонѣ всей психики. Докторъ чувствовалъ, что Кириллъ его не выноситъ, и это даже составляло неразрѣшимую загадку: кромѣ хорошаго, онъ ничего не сдѣлалъ для него.

— Вы меня почему-то не любите, Кириллъ?—спрашивалъ докторъ въ одинъ изъ визитовъ.

— Не я тебя не люблю, а ты самъ себя не любишь...—отвѣтилъ старикъ, стараясь не глядѣть на доктора.

— Каждый себя любитъ...

— Кабы любили, такъ и острогов̀ъ было бы не нужно, и дохтуровъ и солдатъ.

— Какъ же это такъ?

Кириллъ въ этотъ моментъ сидѣлъ у себя на кровати. Вопросъ доктора точно ожегъ его. Онъ вскочилъ, посмотрѣлъ на доктора своими свѣтлыми глазами и захохоталъ.

— А вотъ какъ!.. вотъ какъ!..—крикнулъ онъ, хватая со своего столика склянки и разбрасывая ихъ по комнатѣ.—Вотъ какъ! Что̀, хорошо?..

Докторъ не шевельнулся, а только чуть-чуть сузилъ глаза. Онъ ожидалъ, что Кириллъ пуститъ одной изъ склянокъ въ него, но этого не случилось. Разбросавъ лѣкарства, старикъ посмотрѣлъ на доктора вызывающимъ взглядомъ,—его обезоружило спокойствіе врача.

— Ну, что̀ же ты молчишь? а?—торопливо заговорилъ старикъ, глядя прямо въ глаза доктору.—А? Вотъ и вся твоя работа... Ты-то придумывалъ-придумывалъ, миленькій, маялся тоже, а я всю твою городьбу разомъ и

прикончилъ... Будетъ... довольно... Вѣдь я лучше всѣхъ васъ знаю, что скоро помру... Божья воля на то, а не твои лѣкарства.

— Послушайте, вѣдь я не для собственнаго удовольствія лѣчу васъ, а это моя обязанность.

— Вотъ, вотъ: обязанность. „Онъ“ васъ всѣхъ обязалъ. Какъ же! Въ лучшемъ видѣ! Вотъ ты по обязанности и добрымъ прикидываешься, потому какъ онъ тебѣ жалованье за твою доброту платитъ. У другихъ-то открытая злоба, а ты съ умильными словами творишь волю пославшаго. Все вижу, миленькій!..

— Вы успокойтесь, а потомъ мы поговоримъ серьезно,—отвѣтилъ невозмутимый докторъ.—Мнѣ очень интересно.

— Интересно? Ха-ха... Такъ я тебѣ скажу... скажу...

Кириллъ не могъ договорить начатой фразы и раскашлялся удушливымъ нехорошимъ кашлемъ, отъ котораго у него выступили слезы на глазахъ а на лбу показались крупныя капли холоднаго пота. Старикъ чувствовалъ, какъ сразу весь обезсилѣлъ, изнемогъ, и что все у него кружится передъ глазами. Докторъ подалъ ему стаканъ воды.

— Такъ ты добрый?—тихо спросилъ онъ послѣ длинной паузы совсѣмъ другимъ тономъ.—Добрый?..

— Да, и не за жалованье.

— Хорошо... Добрый, такъ отпусти меня въ шестой номеръ. Понимаешь, мнѣ это нужно... Я не для твоихъ лѣкарствъ сюда попалъ... Мнѣ нужно все имъ сказать, горемыкамъ миленькимъ, антихристовымъ служакамъ. Все... Ахъ, часъ уже близится, а я медлилъ... Близокъ часъ великаго отвѣта, и я не умру спокойно, ежели ты меня не пустишь къ нимъ.

— Гм... Это увидимъ. Если вы не будете волноваться... Вообще, какъ позволитъ здоровье.

— Здоровье?.. Да вѣдь ты-то знаешь, что я умру, а говоришь о здоровьѣ. Здоровье тебѣ дорого, а душа ни по чемъ.

— Одно другому не мѣшаетъ.

Наступила неловкая пауза. Доктору нужно было уходить, но онъ оставался изъ чувства какой-то совѣстливости. Что-то было не выговорено, не досказано. Послѣ нѣкотораго колебанія онъ подсѣлъ на кровать къ больному и заговорилъ своимъ спокойнымъ тономъ:

— За что вы меня ненавидите, Кириллъ? Вѣдь я чувствую, что вы ненавидите...

— Я?.. Нѣтъ, миленькій, не ненавижу, а жалѣю... Кому ты служишь-то своими порошками?

— Какъ кому? Всѣмъ служу... Вотъ вы больны—вамъ служу.

— Всѣмъ? Нѣтъ, ты „ему“ служишь... всескверному льстецу. И съ легкимъ сердцемъ еще служишь, потому „онъ“ обошелъ васъ всѣхъ своимъ смрадомъ. Вы какъ дѣлаете: накажутъ грѣшника плетями, ты его вылѣчишь, и опять грѣшника наказывать... Это, по-твоему, работа?

— Да вѣдь нынче плетями наказываютъ только на каторгѣ...

— Все одно. И тамъ свои дохтура... Одною рукой наказываете, а другою лѣчите. И хуже того скажу... Своими глазами видѣлъ. Вотъ такіе же ученые да умные собрались вкупѣ въ нѣкоторомъ домѣ и занялись бѣсоиманіемъ: бѣсъ ихъ давно поймалъ, а они его ловятъ. До чего дошло—и сказать страшно... Сѣли это табачники вокругъ стола и начали бѣса вызывать. А онъ уже тутъ... То въ стѣнку постучитъ: „здѣсь я, миленькіе!“, то когтемъ подъ

столешницей: цапъ!.. Онъ знаетъ, гдѣ ему высунуть свою мерзкую лапу... Ты подумай, что̀ такое столъ-то? Охъ, великій и студный грѣхъ!.. Хлѣбъ на столѣ-то ѣдятъ, миленькій, и съ молитвой ѣдятъ... А помрешь, миленькій, куда тебя положатъ?.. Вотъ „онъ“ тебя тогда когтемъ и зацѣпитъ. Вѣрно тебѣ говорю. Вездѣ теперь маловѣрніи бѣсоиманіемъ занялись... Самое сладкое дѣло. И вездѣ „онъ“ оказываетъ свой звѣриный образъ.

— Все это пустяки, Кириллъ. Просто глупые люди убиваютъ свое время пустяками...

— Нѣтъ, не пустяки, миленькій. Еще въ нѣкоторомъ домѣ я видѣлъ его лестныя козновавія. Тоже табачники собрались... Они-то потѣшаются, а мнѣ со стороны все и видно, какъ „онъ“ орудуетъ. Взяли нѣкоторую дѣвицу, завязали ей глаза и повели по горницѣ... Небойсь, тоже страшно съ открытыми-то глазами! Ну, вотъ она, дѣвица, и идетъ, якобы въ нѣкоторомъ тонцѣ спѣ... Идетъ, ручками разводитъ, точно по жердочкѣ, и прямо ко мнѣ... Подошла прямо ко мнѣ и ручкой тянется-тянется, а я-то вижу, что это не ея рука, а его мерзкая лапа. Самъ-то „онъ“ побоялся ухватить невинную отроковицу и привелъ ее ко мнѣ, да еще лапу свою мерзкую суетъ... „На, молъ, получай преданное въ мои бѣсовскія лапы невинное чадо!“ Тутъ ужъ я не утерпѣлъ и возревновалъ... Взялъ дѣвицу, развязалъ ей глаза и оградилъ, а она, миленькая, стоитъ и плачетъ. Не подвернись я, замучилъ бы „онъ“ ее... Ужъ совсѣмъ было-сцапалъ. Бывали случаи... Отъ человѣка одинъ смрадъ оставался. Это по-твоему тоже пустяки?

— Не пустяки, а только грѣшнаго ничего нѣтъ.

— А платкомъ зачѣмъ глаза завязывать? Зачѣмъ невинная отроковица понадобилась для сего козновавія. Нѣтъ, ты подумай... „Аще око твое чисто“,— вотъ что̀ въ писаніи сказано, ну, и завязываютъ чистое-то око. „Очи мои выну ко Господу“,— ну, это *ему* и не нравится. И еще сказано: „аще око твое десное соблазняетъ тя, изжени его“, а тутъ око-то чистое, око отроковицы, еще не отемненное студнымъ желаніемъ. Страшно было смотрѣть на миленькую, какъ она ручкой-то тянулась... Живая душа гибла на глазахъ.

Кириллъ откинулся на подушкѣ и закрылъ отяжелѣвшіе глаза. Слышалось только его тяжелое дыханіе. Свидѣтелемъ этой сцены былъ одинъ фельдшеръ, стоявшій въ дверяхъ. Доктора заинтересовало оригинальное толкованіе раскольничьяго архіерея чудесъ магитизма, гипнотизма и столоверченія. Даже это было не смѣшно, потому что служило только выраженіемъ цѣльнаго міросозерцанія.

— Вотъ что̀, миленькій, отпусти ты меня *туда*, въ номеръ... — тихо заговорилъ Кириллъ, не открывая глазъ. — Нужно мнѣ... Ахъ, какъ нужно. Не великъ часъ остался, а сказать нужно много.

— Скажите мнѣ, я передамъ...

— Ты?

Кириллъ засмѣялся.

— Какъ же ты скажешь, когда самъ ничего не видишь? И всѣ вы ничего не видите... всѣ помрачены... Былъ я какъ-то на Москвѣ, такъ тамъ жизнь свою начали страховать: и скотину страхуютъ и свои души. Не надѣются на милость Божію, а на свои увертки... Это какъ, по-твоему, а?.. Всѣ по-богатому хотятъ жить, а *онъ* къ богатству-то и льнетъ... Ему это первое дѣло, гдѣ легкій хлѣбъ. Самый скусъ...

Разговоръ въ томъ же родѣ повторился и въ слѣдующій разъ, и опять онъ кончился просьбой Кирилла перевести его въ шестой номеръ.

— Да вѣдь я сказалъ вамъ, что это неудобно, — говорилъ докторъ. — Можетъ-быть, вы чѣмъ-нибудь недовольны?

— Нѣтъ, доволенъ. А все-таки отпусти... Нужно мнѣ. Ахъ, миленькій, вся душенька во мнѣ изболѣлась...

Докторъ только пожалъ плечами. Кириллъ однако нашелъ другой путь. Онъ черезъ посредство фельдшера „сослался“ съ Авдотьей Марковной: написалъ мелкимъ старческимъ полууставомъ нѣкоторую „слезницу“. Авдотья Марковна сейчасъ же прикатила въ острогъ и устроила все живою рукой.

— Какъ докторъ... — мялся Аѳанасій Иванычъ, глядя въ уголъ.

— Докторъ — подневольный человѣкъ.

Упрямая старуха такъ наступала на Аѳанасія Иваныча, что тому ничего не оставалось, какъ только сдаться. Что̀ вы подѣлаете съ проклятыми бабами? Когда въ заключеніе этихъ переговоровъ Авдотья Марковна попробовала предложить нѣкоторую благодарность въ видѣ ассигнацій, Аѳанасій Иванычъ стыдливо спряталъ обѣ руки за спиной.

— Нѣтъ, ужъ увольте, Авдотья Марковна... И то сытъ по горло вашими милостями. Вашъ-то архирей вотъ гдѣ у меня сидитъ...

Старикъ внушительно показалъ на свой красный затылокъ и прибавилъ:

— Не за мзду служу... И притомъ у меня свое семейство-съ. Неудобно-съ... Вообще... Лучше ужъ такъ.

— Ну, какъ знаешь. Пригодилось бы ребятишкамъ на молочишко...

— Неудобно-съ... Безъ того всѣ пальцами указываютъ, что я продался. Извините... Не могу-съ.

IX.

Въ шестой номеръ Кириллъ вернулся въ тотъ моментъ, когда арестанты ужинали. Онъ занялъ свое мѣсто въ уголкѣ и терпѣливо ждалъ возвращенія товарищей по несчастію. Камера слабо освѣщалась жестяною лампочкой, и Кириллъ чувствовалъ, что онъ уже умеръ и тихо лежитъ въ могилѣ. Что̀ же, пора отдохнуть. Вотъ только нужно сказать имъ все. Да, все, все...

Онъ все-таки вздрогнулъ, когда въ коридорѣ послышался тяжелый топотъ десятковъ ногъ. Арестанты ворвались въ казематъ гурьбой и въ первый моментъ не замѣтили Кирилла. Шалай чуть его не раздавилъ, бросившись на нары.

— Братцы, да вѣдь это опять наша святая вода объявилась! — крикнулъ онъ громко. — Откедова взялся, владыка?

— Гдѣ былъ, тамъ ничего не осталось...

— А мнѣ сказывали, что его перевели въ женское отдѣленіе, — язвилъ безпоповецъ. — И то бабешки подослали ему два рушника... Какъ же! Для нихъ вотъ такіе божественные старички самый скусъ. Бабій-то грѣхъ сейчасъ онъ отмолитъ.

Камера загалдѣла, какъ осиное гнѣздо, обрадовавшись даровому представленію. Кириллъ сидѣлъ въ своемъ уголкѣ, смотрѣлъ на всѣхъ своими свѣтлыми глазами и кротко улыбался. Арестанты окружили его живою стѣной и наступали все ближе, подталкивая впередъ безпоповца.

— Ну-ка, безпоповщина, возьми его... Валяй!.. Чего на него смотрѣть-то?.. Онъ у насъ въ томъ родѣ, какъ дорогой гость, такъ ужъ надо и принимать честь-честью...

— А сколько Авдотья-то Марковна отвалила Жаръ-птицѣ? Ну-ка, сказывай, святая душа...

— Не троньте вы его! — притворно вступился безпоповецъ. — Владыка ничего сномъ дѣла не знаетъ... Пустыя вы слова болтаете, охаверники. Старичокъ правильный, однимъ словомъ... А что касаемо женскаго полу, такъ опять же причины его тутъ нѣтъ. Извѣстно, бабы — дуры... Авдотья Марковна богатимая старушка, богомольная, ну, и пожалѣла старичка...

— А отчего насъ она не жалѣетъ?

— Не отъ писанія вы, вотъ и не жалѣетъ... Главное: по писанію. Онъ ловко умѣетъ пугать этихъ самыхъ бабъ писаніемъ: тутъ тебѣ и желтый огонь, и адъ кромѣшный, и антихристъ...

Камера хохотала, а Кириллъ съежился въ комочекъ.

— Будетъ вамъ, галманы! — продолжалъ безпоповецъ въ томъ же тонѣ.— Ничего вы не понимаете... Кто вы такіе? Душегубы, тати, насильники, лиходѣи, а онъ — спасенная душа. Вотъ какъ надо говорить-то... У него и на умѣ одно спасенье, а вы ржете... Жалѣетъ онъ насъ всѣхъ по своей милости... Миленькіе горемыки, говоритъ. А выправитъ его Авдотья Марковна, онъ за насъ Богу будетъ молиться.

— Ужъ этотъ умолитъ... Вѣрно...

— Мы-то будемъ здѣсь сидѣть, а спасенная душа опять около своихъ купчихъ обернется горошкомъ... И опять такъ напугаетъ ихъ, потому какъ за старую вѣру пострадалъ. Ему все зачтется... И на томъ свѣтѣ особливое мѣстечко приготовлено. Да ты что молчишь-то, владыка?..

— Говори, говори... — тихо отвѣтилъ Кириллъ. — Относительно того свѣта ничего не знаю, а что здѣсь — правильно говоришь. Великій я грѣшникъ, и ты правильно сказалъ, что хуже я всѣхъ... Только ты не знаешь одного, миленькій: „Невѣдѣніе есть горше согрѣшенія. Вѣдый, аще согрѣшивъ, вѣсть о чемъ каятися, а не вѣдый творитъ согрѣшивъ, не вѣсть о чемъ каятися“. Вотъ здѣсь ты меня похуже будешь, миленькій...

— Однако ловко метнулъ!..

Безпоповецъ растерялся, не ожидая такого оборота. Ему нужно было какъ-нибудь выкрутиться изъ неловкаго положенія, чтобы не осрамить себя передъ товарищами.

— Такъ невѣдѣніе паче согрѣшенія? — бормоталъ онъ, подступая все ближе къ Кириллу. — А знаешь, что сейчасъ у меня на умѣ?

Кириллъ не успѣлъ отвѣтить, какъ получилъ звонкую пощечину. Наступило общее молчаніе, а Кириллъ не издалъ ни одного звука и только повернулъ другую щеку для второго удара. Пришедшій въ азартъ безпоповецъ уже замахнулся, а Кириллъ закрылъ глаза, какъ чья-то рука схватила руку безпоповца. Это былъ молчаливый бродяжка.

— Не тронь, — прошепталъ онъ задыхавшимся голосомъ.

Рука безпоповца обрушилась на него, хотя и не съ такою силой, какъ въ первый разъ. Завязалась молчаливая драка, и сцѣпившіеся враги покатились по грязному полу.

— Катай его! — кричали такіе.

Но въ драку вмѣшался Кириллъ и рознялъ валявшихся на полу. Ему досталось нѣсколько здоровыхъ тумаковъ, но онъ не чувствовалъ уже боли.

— Миленькіе, перестаньте, — шепталъ Кириллъ, помогая безпоповцу подняться съ полу. — Ахъ, миленькіе, нехорошо. Вѣдь я во всемъ виноватъ. Всѣхъ я хуже, потому что я все знаю и все вижу, а вы слѣпотствуете въ злобѣ своей.

Когда сконфуженный безпоповецъ поднялся, Кириллъ поклонился ему въ поясъ.

— Братець миленькій, прости Бога ради, коли чѣмъ я тебя обидѣлъ... и вы, миленькіе, простите... Шалай, ты, можетъ, тоже гнѣваешься на меня, такъ и ты прости.

— Ну, ну, будетъ... — бормоталъ Шалай, отстраняя его руку.

— Это на новый манеръ! — раздался голосъ въ толпѣ и сдавленно замеръ, не встрѣтивъ сочувствія.

Наступило мертвое молчаніе. Кириллъ съ трудомъ поднялся съ пола, съ трудомъ перевелъ духъ и сѣлъ на край нары. Его схватилъ изнуренный кашель, отъ котораго все кружилось въ головѣ. Кто-то зачерпнулъ изъ ушата воды и поднесъ большой желѣзный ковшъ къ самому лицу надрывавшагося отъ кашля старика.

— Испей... Отпустить.

Другой сердобольный арестантъ молодой принялся колотить по спинѣ — тоже вѣрное средство отъ кашля. Но напрасны были всѣ средствъ. Кириллъ прислонился горѣвшею головой къ холодной острожной стѣнѣ и безмолвно просидѣлъ такъ минуты двѣ. Въ глазахъ у него было совершенно темно, и онъ въ ужасѣ думалъ, что наступаетъ уже смерть; сердце такъ и замирало. Арестанты молчали, и только слышалось нерѣшительное переступаніе съ ноги на ногу.

— Скоро конецъ, миленькіе, — замолвилъ Кириллъ, собравшись съ послѣдними силами. — Но не страшна смерть, а страшно оставить васъ въ невѣдѣніи. Расточенные люди, какъ овцы безъ пастыря... А сынъ погибельный радуется вашему невѣдѣнію, ибо въ васъ явлена была ею ластныя мученія и горесть адова.

Переводя духъ и сдѣлавъ нѣсколько глотковъ холодной воды, Кириллъ заговорилъ своимъ тихимъ, старческимъ голосомъ, не повышая и не понижая тона, какъ читаютъ по покойникѣ. Это и былъ „канунъ на исходъ души"... Кириллъ говорилъ о себѣ, разсказывая съ самаго начала, какъ попалъ въ острогъ.

— Слѣпымъ я сюда вошелъ, миленькіе, а теперь прозрѣлъ... Малый часъ остался покаяться въ грѣсѣхъ, иже мѣсть числа и мѣры. Господь открылъ глаза и мнѣ, многогрѣшному. Скажу вамъ все, миленькіе горемыки, ничего не потаю, ибо близка власть провозвѣщеннаго звѣря, иже есть число шестьсотъ и шестьдесятъ и шесть. Малъ часъ, но велика вѣра, миленькіе...

Разсказалъ Кириллъ про свары и разсѣченіе своей паствы, и какъ онъ пріѣхалъ устранить рознь, и какъ хотѣлъ смирить гордыню Авдотьи Марковны, а вмѣсто этого попалъ въ лапы Ежовой-головѣ.

— Это антихристъ наложилъ на меня свою скверную лапу... Вы-то думаете, кто это властодержецъ, а я узрѣлъ внутреннимъ окомъ смрадную печать на немъ пославшаго. И смотритель тоже, и приставники, и солдаты съ ружьями — никто не видитъ на себѣ печати-то, а службу служатъ съ лютою яростью и неистовствомъ. Развѣ за деньги купишь такихъ вѣрныхъ слугъ?..

— Это ты правильно...

Дальше Кириллъ разсказывалъ, какъ его привели въ острогъ, какъ обыскивали, записывали въ антихристову книгу, и подъ конецъ всего смрадный слуга антихристовъ отнялъ бутылочку со святою водой.

— Не любитъ *онъ* этой воды, — съ дѣтскою улыбкой объяснилъ Кириллъ, покачивая головой. — Вотъ какъ не любитъ... Ужъ совсѣмъ я водичку пронесъ, а онъ меня на дворѣ и сцапалъ: такъ орломъ и налетѣлъ. Послѣ над-

зиратель сколько разъ принимался бить, а я молчу... Не знаютъ, миленькіе, что лютуютъ не отъ себя.

— Ахъ, ты, братецъ ты мой, а вѣдь это точно... отъ того... Правильныя твои слова.

Дальше слѣдовалъ разсказъ о послѣдующихъ антихристовыхъ козняхъ, до обрѣзанія волосъ включительно. Кириллъ картинно разсказывалъ, какъ хитростно погибельный сынъ подкрадывался къ его волосамъ, но не смѣлъ ихъ угрызть при дневномъ свѣтѣ, а сдѣлалъ это ночью.

— Вамъ-то это и невдомекъ, а я-то все видѣлъ,—объяснялъ Кириллъ, покачивая головой. — Тяжеленько и срамно, а молчу. Вы смѣетесь, а я молитву про себя творю. Ночью-то слезами плакалъ и вотъ за него молился, который по невѣдѣнію слугой антихристовымъ обернулся...

Кириллъ указалъ на безпоповца и сейчасъ же прибавилъ:

— Только его тутъ вины нѣтъ... и вашей нѣтъ. Въ писаніи прямо сказано: ни единый власъ съ главы не падетъ безъ воли Божіей. Ну, а дальше...

Разсказалъ Кириллъ и о дальнѣйшихъ козняхъ все того же антихриста: какъ онъ подсылалъ къ нему съ бумагой Авдотью Марковну, какъ потомъ предалъ въ руки лѣкаря, хотѣвшаго взять его ласковыми „словесы", и т. д. Вся камера притихла, какъ одинъ человѣкъ, слушая эти странныя рѣчи. Для всѣхъ сдѣлалось ясно все то, что̀ говорилъ Кириллъ. Конечно, обошелъ всѣхъ антихристъ и такъ ловко обошелъ: комаръ носу не подточитъ. Кто-то широко вздохнулъ, подавленный этою ясною, какъ день, мыслью. Притихшая толпа арестантовъ придвинулась ближе къ Кириллу, который сидѣлъ опять въ своемъ уголкѣ. Лампочка такъ скупо освѣщала казематъ, что трудно было разсмотрѣть лицо говорившаго старика, но всѣ смотрѣли въ одну точку, изъ которой лилась старческая рѣчь.

— *Онъ* мысленно царствуетъ,—уже шопотомъ разсказывалъ Кириллъ.— А знаменія кругомъ... И никто этого не видитъ, ослѣпленный собственною гордыней и плѣннымъ разумомъ. Да, не видитъ... Люте воспламеняется всякая плоть и сейчасъ плачетъ. Вотъ и васъ *онъ* зацапалъ своею лапой и ввергъ во узилище... Вы-то думаете, что сами попали, а я-то вижу *его* работу. И Слеза, и Чечень, и Аквамаринъ, и баушка Акулина, — всѣ любезные слуги и прелестные сосуды все его же. Антихриста-то не видятъ и думаютъ, что все сами дѣлаютъ... Они дѣлаютъ, а другіе слуги антихристовы ихъ злѣ наказуютъ и казни египетскія вмѣняютъ. Работа идетъ кругомъ...

Голосъ Кирилла неожиданно окрѣпъ, и полилась рѣчь обличенія противъ отступниковъ.

— Льется напрасная христіанская кровь, погубляются души, во тьмѣ содѣваются тайно-страшныя и неудобь-сказуемыя дѣла... И женскъ полъ пріялъ свою часть въ студныхъ дѣлахъ. Страхъ и трепетъ объялъ всѣхъ. Иные и ничего не сдѣлали, а просто бѣгутъ и скитаются по лѣсамъ, бѣгутъ, а за ними *онъ* люте гонится и дышитъ огненальною яростью на пріявшаго звѣриный образъ человѣка. А тамъ мать стыдится зачатаго въ утробѣ младенца и дѣвица не знаетъ своего дѣвичьяго стыда... Всуе мятутся расточенные люди и свои не познаша своихъ. А что̀ сказано у Игнатія Богоносца? „Всякъ глаголяй, кромѣ повелѣнныхъ, аще и достовѣренъ будетъ, аще и поститъ и дѣвствуетъ, аще и знаменія творитъ, аще и пророчествуетъ, волкъ тебѣ да мнится въ овчей кожѣ, овцамъ пагубу содѣвающъ"... А въ Кирилловой книгѣ сказано: „Да не бываемъ къ тому младенцы умомъ, влающеся и скитающеся

во всякомъ вѣтрѣ ученія, во лжи человѣчестей, въ коварствѣ козней льщенія. Будемъ истинствующе въ любви"... И еще сказано: „И власть перваго звѣря всю творитъ и поклонятся ему: и огнь сотворитъ нисходити на землю предъ человѣки... работы египетскія вмѣстятся"... Ахъ, какъ нужно молиться, ибо будетъ внѣ страхъ, внутрь трепетъ, гладъ и жажда, въ домѣхъ рыданіе...

Въ шестомъ номерѣ царила мертвая тишина... При тускломъ освѣщеніи сбившіеся въ одну кучу арестанты походили на тѣ грѣшныя души, о которыхъ говорилъ Кириллъ.

— Люте восплачется всякая душа! — вдохновенно продолжалъ онъ. — Увянутъ доброты лицъ и лѣпоты женскія увидятся, и желаніе всѣмъ человѣкомъ отбѣгнетъ. Восхощутъ семь женъ одного мужа, и его не будетъ, ибо желаніе мужское истощится... Не будетъ правильнаго рожденія, ибо затворилось само небо и затворилось всякое желаніе. Роду человѣческому погибель, даже прежде того, какъ появится изъ утробы матерней... Сказывали мнѣ въ Москвѣ, какъ и теперь женскъ полъ на аеръ поднимается и въ бездну низвергается... да. Знаменія въявь. Одна нѣмка на аеръ поднималась на пузырѣ: надуютъ пузырь, опустятъ ей веревку, она за веревку зубами и въ такомъ превращенномъ видѣ на аеръ вознесется. А другая нѣмка заберется въ циркѣ подъ самый потолокъ, этакъ саженъ на десять, да оттуда внизъ головой и низринется. И живы обѣ... Сами онѣ такую страсть принимаютъ? Нѣтъ, бѣсъ ихъ и на аеръ возноситъ и въ бездну низвергаетъ тычмя головой... Всенародно бѣсоугодия пляски творятся оголеннымъ женскимъ поломъ, по трактирамъ прельщенно распѣваютъ безстыжія жидовки, а властодержцы и богоборные потаковники утверждаютъ всякіе зломерзкіе заводы, идеже люте гибнетъ всякъ полъ. Не для сего сотворена Ева изъ ребра Адамова... Хоть и жидовки и нѣмки, а не своею волей мучатся: льстецъ ихъ гладомъ донимаетъ. Тоже ѣсть хотятъ миленькія горемыки... Тутъ запляшешь голая, когда женская плоть отдана на поруганіе и гладомъ изнемогаетъ. Не для рожденія чадъ жена, а на позоръ... Вотъ что онъ творитъ!.. И еще скажу другое дѣло: работать никто не хочетъ... Всѣ боярили бы да легкій хлѣбъ ѣли. Машинами хотятъ свою лѣность утѣшить: машина пусть работаетъ, а я буду пѣсни пѣть да радоваться. Да... Тутъ тебѣ бѣси слова твои по проволокамъ волокутъ, тутъ тебѣ бѣси машинами ворочаютъ, тутъ бѣси въ зломерзкія трубы перекликаются, визжатъ неистово, огнь съ неба низводятъ... О, горе душамъ нашимъ! Одного только бѣси не придумаютъ: *хлѣба*... И работы египетскія вмѣстились у огненныхъ машинъ, и въ ситцы, крашеные собачьей кровью, всѣ разодѣлись, и за самовары усѣлись, и табачищемъ задымили, а хлѣбушко все дорожаетъ... И хуже еще: онъ увезетъ его, хлѣбушко, къ нѣмцамъ, а назадъ отрыгнетъ желѣзомъ да блондами...

— Ужъ это правильно! — загалдѣла камера. — Ты это вѣрно, дѣдушка!..

Цѣлую ночь не спалъ шестой номеръ, а Кириллъ все говорилъ и говорилъ. Онъ выложилъ всю свою душу.

X.

Кириллъ умеръ черезъ два дня въ острожной больницѣ, умеръ тихо, какъ засыпаютъ дѣти. Свидѣтелями этой сцены были молодой фельдшеръ и непомнящій родства бродяжка.

— Кончился... — шопотомъ произнесъ фельдшеръ, щупая пульсъ.

Бродяжка закрылъ глаза „усопшему новопреставленному рабу Божію Кириллу"... Въ большія окна острожной больницы яркими полосами падалъ

весенній свѣтъ. Въ воздухѣ незримо уже наливалась грядущая весна, и смерть являлась здѣсь живымъ контрастомъ. Бродяжка особенно чувствовалъ эту прибывавшую за стѣнами острога жизнь, и въ немъ ныла эта вѣчная тоска по волѣ. Смерть раскольничьяго архіерея служила только иллюстраціей, какъ нужно торопиться, чтобы хотя еще разъ дохнуть свѣжимъ вольнымъ воздухомъ.

Острогъ уже зналъ о смерти Кирилла. Какъ это случилось, вѣроятно, никто не могъ бы объяснить, но всѣ это знали — и часовые, стоявшіе на своихъ постахъ, и женское отдѣленіе, и шестой номеръ, и заключенные въ одиночныхъ камерахъ душегубы. Послѣднимъ узналъ о совершившемся событіи Аѳанасій Иванычъ, когда къ нему явился съ докладомъ Будзько. Смотритель, прежде всего, разсердился... Этого еще недоставало!.. Онъ покраснѣлъ, какъ клопъ, закашлялся и накинулся на Будзько.

— Ты у меня смотри! — ругался старикъ, взмахивая затекшею волосатою рукой. — Ррракаллія!.. Ты... ты... ты...

— Слушаю-съ!

— Дурракъ!

Въ слѣдующій моментъ Аѳанасій Иванычъ мелкою рысцой побѣжалъ въ больницу и по дорогѣ обругалъ подвернувшагося на глаза фельдшера.

— Ты у меня смотри!.. Я васъ всѣхъ въ бараній рогъ согну!..

Кириллъ, дѣйствительно, лежалъ на своей койкѣ мертвый, съ мертвоспокойнымъ лицомъ. Около него оставался одинъ бродяжка. Аѳанасій Иванычъ обругалъ его и затопалъ ногами.

— Ты у меня смотри!.. Я вамъ покажу!..

Потомъ Аѳанасій Иванычъ смутился. Покойникъ точно смотрѣлъ двумя мѣдными копейками, положенными на глаза. Аѳанасій Иванычъ торопливо перекрестился и еще разъ пригрозилъ бродяжкѣ.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой! — бормоталъ смотритель, не зная, что ему слѣдуетъ предпринять. — Вѣдь вотъ, надо же было помирать... Это онъ на зло мнѣ... Вышелъ бы изъ острога и помирай себѣ на здоровье, а то вотъ взялъ да и испортилъ все дѣло.

Въ острогѣ рѣдко кто умиралъ. Отъ чего это зависѣло — трудно сказать, но это было такъ. Съ одной стороны, арестанты были все люди среднихъ лѣтъ, въ самой рабочей порѣ, съ другой — здоровье, можетъ-быть, поддерживалось приподнятымъ нервнымъ настроеніемъ. Однимъ словомъ, смерть здѣсь являлась рѣдкою гостьей, точно она обходила это мѣсто глухихъ страданій и острожнаго терпѣнія.

Когда Аѳанасій Иванычъ вернулся къ себѣ въ пріемную, тамъ уже сидѣла Авдотья Марковна съ какою-то старушкой въ черномъ платкѣ. Старикъ окончательно смутился и не зналъ, что ему сказать.

— Знаю... — коротко и рѣзко проговорила Авдотья Марковна.

— Какъ же это такъ... т.-е. я не виноватъ... — бормоталъ Аѳанасій Иванычъ, краснѣя отъ натуги и ощупывая пуговицы своего мундира. — Ей-Богу, не виноватъ, Авдотья Марковна... Все былъ живъ, а тутъ вдругъ... Ужъ, кажется, у насъ ли не жить... т.-е. я относительно пищи...

— Перестань молоть! — остановила его раскольница. — Будетъ вамъ, желѣзные носы, издѣваться... Да и дѣло Божье, а не вашего ума. Сегодня утромъ *онъ* приходилъ ко мнѣ прощаться... Лежу это я утромъ, сплю и не сплю, а проснуться не могу. Только какъ будто гляжу и вижу: онъ, страдалецъ миленькій, сталъ у двери и стоитъ... Ну, я на той же нотѣ сюда и кинулась.

Вотъ и читалку привезла... Она все тамъ управитъ и кануны по единоумершемъ будетъ говорить по-нашему.

— Какъ же это такъ?.. Невозможно, Авдотья Марковна. Посторонній человѣкъ...

— Ладно, разговаривай... Сама поѣду къ прокурору и все оборудую. не безпокойся. Да онъ самъ пріѣдетъ. Я ужъ засылку дѣлала...

— Какъ знаете, Авдотья Марковна...

— Что ужъ тутъ знать: Божье дѣло. Теперь и знать нечего...

Всѣ три дня, пока покойникъ лежалъ въ больницѣ, Аѳанасій Иванычъ былъ точно на горячихъ угольяхъ. Онъ началъ всего бояться. У воротъ острога толпились какіе-то неизвѣстные люди, которыхъ нельзя было никакъ отогнать. Все это были раскольники, приходившіе неизвѣстно зачѣмъ. Торчатъ цѣлый день у воротъ и только часовыхъ напрасно смущаютъ. Потомъ привезли деревянную „колоду", въ какихъ хоронятъ раскольниковъ, т.-е. гробъ, выдолбленный изъ цѣлаго дерева. Въ эту „колоду" и былъ положенъ покойникъ, причемъ, по раскольничьему обычаю, ему подъ голову спрятали камень. Вмѣстѣ съ Аѳанасіемъ Ивановичемъ волновался весь острогъ, слѣдя за всѣми приготовленіями съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ. По камерамъ ходили самые невозможные слухи: покойникъ уже являлся нѣкоторымъ во снѣ, потомъ ночью слышали его тихій плачъ, въ трубахъ завывалъ жалобно вѣтеръ, часовой видѣлъ, какъ онъ вышелъ изъ острога сквозь стѣну свѣтлою тѣнью, и т. д. Фантазія работала неустанно, и всѣ чувствовали одно, именно, что свершилось что-то необычное.

Особенно волновался шестой номеръ. Сначала всѣ молчали. Безпоповецъ съежился, ожидая непріятностей. На утренней прогулкѣ онъ шепнулъ Будзько, чтобы онъ перевелъ его въ другую камеру.

— Еще изувѣчатъ, грѣшнымъ дѣломъ... — объяснялъ онъ шопотомъ.

— Не до тебя... Убирайся ко всѣмъ семи чертямъ! — ругался Будзько.— Не велико кушанье, если и вздуютъ.

Эта сцена и послужила поводомъ для взбучки. Вечеромъ, послѣ ужина, вся камера наступила на безпоповца.

— Эй, ты, бабій шопотъ, о чемъ съ Будзькой сговаривался, а?..

— А вамъ какое дѣло?

Безпоповецъ былъ избитъ самымъ звѣрскимъ образомъ, какъ это умѣютъ дѣлать только настоящіе мастера. Били его за доемки покойнаго Кирилла, за то, что отрѣзалъ ему волосы и далъ пощечину. Прямо это не было сказано, но всѣ и безъ словъ знали, въ чемъ дѣло.

Наконецъ наступилъ и день похоронъ.

Большихъ хлопотъ стоило Авдотьѣ Марковнѣ добыть разрѣшеніе похоронить Кирилла „по-своему". Раннимъ утромъ у воротъ острога собралась громадная толпа. День былъ весенній. По дорогѣ бѣжали ручьи, рыхлый снѣгъ взбухъ, почернѣлъ и просѣлъ ниже. Въ воздухѣ стояла весенняя раздражающая свѣжесть. Конечно, въ острогъ никого не впустили, и покойника вынесли сторожа. Толпа встрѣтила его однимъ тяжелымъ вздохомъ. Гдѣ-то жалобно запричиталъ одинокій женскій голосъ и замеръ. Гробъ приняли „сварившіеся" попы Авдей и Варсонофій, а къ нимъ присоединились именитые раскольничьи милостивцы. Простая деревянная „колода" тяжело колыхнулась въ воздухѣ и точно поплыла по дорогѣ къ городу Народъ ринулся за ней густою толпой.

— Слава Тебѣ, Господи!—громко проговорилъ Аѳанасій Иванычъ, стоя за воротами рядомъ съ приставомъ Акакіемъ. — Ну и намаялся я съ *нимъ*... А все изъ-за тебя!.. Удружилъ!..

Акакій, по обыкновенію, мрачно молчалъ. Онъ былъ командированъ полицеймейстеромъ на похороны съ спеціальною цѣлью, чтобы отнюдь и ни-ни не было никакихъ безпорядковъ. Но это было напрасною предосторожностью: громадная толпа слѣдовала съ благоговѣйною тишиной, торопливо унося драгоцѣнные останки. Раскольничій „могильникъ“ былъ по другую сторону города, и Акакій сдѣлалъ только одно распоряженіе, чтобы гробъ не несли по главнымъ улицамъ.

— Ну что, милашъ? — приставалъ Аѳанасій Иванычъ. — Муху проглотилъ?

— Отвяжись, смола.

Аѳанасій Иванычъ хрипло захохоталъ, хлопнулъ Акакія по плечу и, указывая на исчезавшую въ первомъ переулкѣ похоронную процессію, прошепталъ:

— Твоя работа, Акакій!.. Дернуло тогда тебя! А между прочимъ, уже заверни потомъ горячаго пирожка отвѣдать.

Акакій даже вздрогнулъ, обругался и торопливо бросился въ свои сани, чтобы догонять процессію, а смотритель ехидно улыбался, продолжая стоять за воротами.

Раскольничій „могильникъ“ походилъ на громадную бобровую шапку, брошенную на крутомъ берегу рѣки. Кругомъ города все было вырублено еще въ незапамятныя времена, и оставался одинъ могильный боръ, подъ сѣнью котораго упокоивались раскольничьи кости. Не было здѣсь ничего, что говорило бы о послѣдней суетѣ суетъ, — всѣ могилки были какъ одна. [illegible] холмикъ земли, надъ нимъ деревянный осьмиконечный крестъ подъ дер[illegible] кровелькой, кое-гдѣ деревянный „голубецъ“, т.-е. деревянная обшив[illegible] гилки, и больше ничего. На похоронахъ Кирилла весь могильникъ былъ [illegible] нечно, переполненъ народомъ. Безконечная раскольничья служба [illegible]ила ч[illegible] не до вечера, и у этой отверстой могилы примирились наконецъ враждовавшіе раскольничьи попы Авдей и Варсонофій, соборне справлявшіе полнымъ чиномъ обрядъ погребенія. Тихо шумѣли вершины столѣтнихъ сосенъ, и этотъ весенній шумъ красиво оттѣнялъ заунывное раскольничье пѣніе.

Приставъ Акакій проводилъ процессію до могильника, осмотрѣлъ могилку и не зналъ, что ему слѣдовало дѣлать дальше. Авдотья Марковна вывела его изъ затрудненія.

— Поѣзжай-ка, миленькій, домой... Нечего тебѣ здѣсь дѣлать.

— Слушаю-съ, Авдотья Марковна.

— А вотъ тебѣ за труды праведные.

Акакій только крякнулъ, опуская въ карманъ смятую ассигнацію. Обидное слово сказала зазнавшаяся милліонерша, да ничего съ ней не подѣлаешь. Маленькій человѣкъ приставъ Акакій, а сколько онъ проглотилъ на своемъ вѣку незаслуженныхъ обидъ и еще больше натворилъ ихъ самъ. И все-таки обидно... Постоялъ Акакій для порядку еще малое время, чтобы не показать постыднаго бѣгства, а потомъ вспомнилъ про горячій пирогъ, ожидавшій его въ острогѣ, и отправился обратно черезъ весь городъ, чтобы выпить съ горя двѣ уставныхъ рюмки.

Аѳанасій Иванычъ поджидалъ друга у себя въ пріемной. Онъ принялъ свой обычный казенно-сердитый видъ и неистово просматривалъ какіе-то „исходящіе“ журналы.

— Ну что? — спросилъ онъ равнодушно, не глядя на вошедшаго Акакія.

— А ну ихъ!.. Скоро пирогъ-то?

— Обожди малость.

Старикъ грозно перекинулъ нѣсколько истрепанныхъ до-нельзя книгъ, хлопнулъ ими по столу, поднялся, потянулся и проговорилъ:

— Ахъ, чортъ!.. Чуть не забылъ!..

Онъ отправился къ шкапу съ вещественными доказательствами, отыскалъ бутылочку со святой водой, отобранную у Кирилла, присмотрѣлъ ее къ свѣту, откупорилъ, понюхалъ, поморщился и вопросительно посмотрѣлъ на Акакія.

— Ну, что̀ ты будешь съ ней дѣлать? — спросилъ Акакій.

— Вотъ то-то и оно-то: что̀ съ ней будемъ дѣлать?

— А это твое дѣло... Просто, возьми и брось.

— Да вѣдь она занесена въ протоколъ? Ахъ, братецъ ты мой, какая штука! Вещественное доказательство, — понимаешь?..

— Да, это надо смозговать.

Друзья долго обсуждали мудреный вопросъ, горячились, спорили и наконецъ вырѣшили по взаимному соглашенію: бутылка была запечатана, снабжена ярлыкомъ и отправлена въ духовную консисторію при особомъ рапортѣ, которымъ предлагалось духовной консисторіи освидѣтельствовать „вышеозначенную“ бутылку, дѣйствительно ли въ ней святая вода.

1893.

ВОЛЧЬЯ ПѢСНЯ.

Очеркъ.

I.

Короткій зимній день уже начиналъ смеркаться. На улицѣ вьюга такъ и завывала, какъ голодный звѣрь. Когда Сила Мокинъ вышелъ изъ своей избенки, онъ едва устоялъ на ногахъ, — вѣтеръ такъ и рвалъ. Правда, что Мокинъ плохо держался на ногахъ, которыя были застужены на тяжелой промысловой работѣ, когда приходилось по цѣлымъ днямъ стоять въ ледяной водѣ. Все это и сказалось. Теперь Мокинъ уже не могъ работать, а промышлялъ разными дѣлами. Въ Кушву (въ Среднемъ Уралѣ) наѣзжали постоянно золотопромышленники, искавшіе счастья, и Мокинъ являлся однимъ изъ первыхъ, долго топтался на одномъ мѣстѣ и потомъ сообщалъ таинственнымъ образомъ:

— А у меня есть на примѣтѣ одно мѣстечко...

Затѣмъ онъ таинственно добывалъ изъ-за пазухи или изъ-за голенища тряпочку, въ которой были завернуты „знаки“: въ одной тряпочкѣ нѣсколько долей розсыпного золота, въ другой — кварцъ съ крапленнымъ въ него золотомъ, въ третьей—съ ползолотника платины. И разговоръ шелъ короткій:

— Вѣрное дѣльце, ваше степенство! Вотъ какъ будете благодарить Силу Мокина...

Въ Гороблагодатскомъ казенномъ округѣ всѣ земли были открыты для частной золотопромышленности, и развилась настоящая золотая лихорадка. Нѣкоторымъ повезло, и эти счастливцы являлись живымъ примѣромъ для всѣхъ остальныхъ. Въ Кушвѣ, какъ въ центрѣ всего Гороблагодатскаго округа, складывались цѣлыя легенды, какъ отыскивали золото, причемъ исторія повторялась съ небольшими варіантами одна и та же: пришелъ мужичокъ, вытащилъ изъ-за пазухи грязную тряпочку, и т. д. О тѣхъ, кто прогоралъ на промыслахъ, быстро забывали, какъ забываютъ дурной сонъ. Сначала мужички, дѣйствительно, говорили правду, и если случалось обмануть, то не по своей винѣ. Такое ужъ азартное дѣло, что они сами начинали вѣрить въ свои „знаки“ и разныя завѣтныя мѣста. Потомъ явились мужички похитрѣе, которые уже завѣдомо шли на обманъ, только бы соврать получше да сорвать задатокъ. Лучше всѣхъ въ этомъ отношеніи проявилъ себя Сила Мокинъ, обманывавшій направо и налѣво. У него прежде всего была подкупающая наружность—широкое бородатое лицо, смотрѣвшіе такъ прямо глаза; а потомъ Сила Мокинъ не лазилъ за словомъ въ карманъ и умѣлъ заговорить зубы кому угодно, только слушай.

Въ „казенное время“, когда дѣлали развѣдки золота казенные инженеры, Мокинъ участвовалъ въ поисковыхъ партіяхъ и хлебнулъ горя досыта, вмѣстѣ съ другими, приписанными къ казеннымъ заводамъ, крестьянами и мастеровыми. Время было строгое, и казенное дѣло велось на военную ногу. Чуть что̀—сейчасъ казаки пропишутъ такую баню, что не скоро забудешь. Именно въ это время Мокинъ набрался всякихъ свѣдѣній по золотому дѣлу и зналъ всѣ мѣста кругомъ не на одну сотню верстъ, чѣмъ и воспользовался впослѣдствіи, когда явились частные золотопромышленники, а онъ обезножилъ, какъ опоенная лошадь. Нужно и то сказать, что у Мокина была необыкновенная память: разъ онъ увидѣлъ или услышалъ—точно топоромъ зарубилъ.

Удивительнѣе всего было то, что нѣсколько изъ указанныхъ имъ мѣстъ „оправдали себя“, т.-е. въ нихъ нашли обѣщанное золото. Другіе мужики, промышлявшіе обманомъ золотопромышленниковъ, часто корили за это Мокина.

— Прохарчилъ опять мѣстечко, безногій чортъ!.. Этакъ скоро и житья не будетъ нашему брату. Всѣ на тебя пальцами указываютъ...

— А кто его зналъ, что тамъ золото оправдается! — говорилъ Мокинъ, разводя руками.—Зря сболтнулъ, за красный билетъ, а оно вонъ что̀ вышло... Не моя причина, ежели у меня на золото рука легкая...

Вообще Сила Мокинъ пользовался извѣстной репутаціей, и чѣмъ онъ больше вралъ, тѣмъ больше ему вѣрили. Послѣднее удивляло даже самого Мокина, когда онъ повторялъ, какъ урокъ, всѣмъ одно и то же. Люди, ослѣпленные жаждой быстрой наживы, точно теряли умъ отъ одного слова „золото“.

Такъ промышлялъ Мокинъ больше десяти лѣтъ и жилъ себѣ помаленьку, хотя и случалось иногда голодать, когда не было работы. Надо же, въ самомъ дѣлѣ, какъ-нибудь жить, а у купцовъ, все равно, деньги дикія. Но года два, какъ дѣла у Мокина пошли совсѣмъ плохо, и счастье точно откачнулось отъ него. Придетъ, начинаетъ врать—и ничего не выходитъ.

— Сбѣсились проклятые купцы...—ругался Мокинъ.— Все равно, кому-нибудь другому повѣрятъ.

Такъ и выходило, что вѣрили другимъ, и эти другіе получали задатки.

— Знаемъ ты тебя, сахара!—говорили Мокину купцы и прибавляли:— тебѣ, первое дѣло, шею нужно накостылять, старому чорту, чтобы не обманывалъ публику.

— Ахъ, Бож-же мой!.. да я... да провалиться сейчасъ на этомъ самомъ мѣстѣ, ежели я...

— Ладно, разговаривай!..

Очевидно, всю практику у Мокина отбили болѣе счастливые конкуренты, которые умѣли говорить другія, болѣе убѣдительныя слова. Старику приходилось все болѣе и болѣе голодать, одежонка обносилась, изба тоже сдѣлалась холодной—одно шло къ одному.

II.

— Эхъ, какая непогодь! — ворчалъ Мокинъ, чувствуя, какъ холодный вѣтеръ точно ощупывалъ его дырявую шубенку, чтобы проморозить до самой души.—Ну, братъ, шалишь!... Вотъ ужо такую шубу себѣ укупимъ... да.

Въ послѣдніе годы завѣтной мечтой Мокина была шуба. Да, настоящая шуба изъ лохматой и жесткой степной овчины. Онъ, размечтавшись о будущемъ, даже чувствовалъ крѣпкій дубленый запахъ отъ этой шубы и скрытую въ ней благодатную теплоту. Вѣдь Сила Мокинъ мерзъ и колѣлъ отъ холода цѣлую жизнь, но тогда былъ молодъ, а сейчасъ стало не подъ силу. Другой

мечтой Силы Мокина было „горяченькое“. Раньше онъ могъ питаться однимъ хлѣбомъ, а сейчасъ его мучилъ голодъ. Хорошо бы пшенную кашку сварить, горошницу, картошки поджарить, щи изъ крупы...

Сила Мокинъ шелъ и мечталъ. Да, плохо его дѣло. Главное, старость начала одолѣвать. Того гляди, и помирать пора... Долго крѣпился старикъ, но дальше стало невмоготу, и онъ рѣшилъ пустить послѣднее средство, которое берегъ про запасъ. У него, дѣйствительно, было одно завѣтное мѣстечко съ самымъ вѣрнымъ золотомъ, но онъ его берегъ про черный день, чтобы продать навѣрняка. Когда-то думалъ, что сдѣлаетъ заявку самъ; но заявка стоила не меньше сотеннаго билета, да жди годъ или два отвода—хлопотамъ бѣдному человѣку и конца-краю не будетъ. Нужда и нездоровье заставили прибѣгнуть къ послѣднему средству.

— Прямо приду къ Ивану Митричу и скажу: на, получай, твое, значитъ, счастье!—думалъ Мокинъ, съ трудомъ вытаскивая ноги изъ снѣга. — Не въ ночь стало...

Иванъ Митричъ былъ великой силой. Онъ покупалъ и продавалъ пріиски десятками, и желающіе попытать золотого счастья обращались теперь уже прямо къ нему, избѣгая измотавшихся мужиковъ, обманывавшихъ направо и налѣво. Въ нѣсколько лѣтъ Иванъ Митричъ разбогатѣлъ и забралъ великую силу. У него явился новый полукаменный двухъэтажный домъ, свои лошади и всѣ остальные атрибуты туго сколоченнаго счастья.

На счастье Мокина, Иванъ Митричъ оказался дома. Это былъ плотный, румяный мужчина, ходившій въ „трухмальныхъ“ рубахахъ. Онъ узналъ Мокина и весело проговорилъ:

— Ну, каково прыгаешь, старичокъ?

— Не до прыганья, Иванъ Митричъ... Болѣсть одолѣла, работать не могу, ѣсть нечего... Изнищалъ въ конецъ. Вотъ пришелъ къ тебѣ поговорить...

Мѣстечкомъ обмануть хочешь?

Зачѣмъ обманывать, Иванъ Митричъ?... Грѣшно обманывать. Прежде по малодушеству случалось, а нынче мы этимъ дѣломъ не занимаемся...

— Такъ, такъ... Заговаривай зубы, старичокъ! Ну, какъ дальше?

— А все то же, Иванъ Митричъ... Про запасъ оставлялъ мѣстечко, ну, а ужъ теперь вконецъ устигла нужда... Хоть по міру итти, такъ въ самую пору. Обносился, ѣсть нечего.

Иванъ Митричъ громко расхохотался.

— Ха-ха... Была у волка одна пѣсня, да и ту ты перенялъ? — говорилъ онъ.

— Въ самый разъ, Иванъ Митричъ: истинно волкомъ вою...

— Такъ ужъ ты того, Сила, кого-нибудь другого обманывать иди, а меня не разжалобишь. Стара штука...

— Иванъ Митричъ... ахъ, Боже мой... Да я... вотъ съ мѣста не сойти, ежели обману...

— Ладно, ладно... У васъ у всѣхъ и слова-то одинаковыя...

— Да вѣдь мы чужестранныхъ купцовъ обманывали, Иванъ Митричъ, а тебя-то гдѣ обмануть!

Иванъ Митричъ хохоталъ до слезъ. Очень ужъ просто хотѣлъ обмануть его вороватый мужичонка.

— Вотъ что я тебѣ скажу, Сила,—заговорилъ онъ, вытирая глаза шелковымъ платкомъ.—Покажи мнѣ къ примѣру, какъ будто ты говоришь сущую правду...

— Иванъ Митричъ, голубчикъ, да я...

— Нѣтъ, не выходитъ. Ну-ка, еще попробуй... Припомни, какъ прежде обманывалъ другихъ, и говори. Двугривенный за труды получишь...

— Да, Иванъ Митричъ, будь отцомъ роднымъ... Правильное мѣсто, самъ хотѣлъ заявку дѣлать...

— Такъ, такъ... Дальше валяй.

— Не хватило, значитъ, силы-мочи... И мѣсто-то совсѣмъ близко, вскрыша верховика до песковъ всего два аршина, рѣчка поблизости... Знаки правильные: со ста пудовъ песку будетъ падать вѣрныхъ долей шестьдесятъ. Богачество... А главная причина въ томъ, что совсѣмъ близкое мѣсто, прямо рукой подать. Другіе протчіе народы все дальше идутъ, точно золото схоронилось въ какой трущобѣ; а оно совсѣмъ близко, подъ носомъ... Потому и осталось, что близко.

— Валяй, валяй... Совсѣмъ похоже на правду. Ну, такъ ты, значитъ, продаешь мѣсто?

— И даже очень, Иванъ Митричъ... Задатку дашь, если милость будетъ, ну, пять красныхъ бумажекъ, а тамъ, глядя по дѣлу, не обидишь старика...

— Значитъ, пай хочешь получить?

— Какой тамъ пай!.. Какъ твоя милость пожалѣетъ старика — вотъ и весь пай.

— Ну, а гдѣ мѣсто-то?

Сила Мокинъ замялся.

— Сказать оно, конечно, отчего не сказать, Иванъ Митричъ, только ты мнѣ сперва задатокъ выдай!.. пять красненькихъ... Ну, тогда и сурьезный разговоръ будетъ.

Иванъ Митричъ такъ и прыснулъ отъ смѣха. Все старикъ говорилъ, какъ правду, а тутъ и сорвался.

— Нѣтъ, не вышло у тебя подъ конецъ, Сила!

— Иванъ Митричъ, да сейчасъ провалиться, ежели вру. Ахъ, Боже мой!..

Иванъ Митричъ сунулъ ему обѣщанный двугривенный и велѣлъ убираться.

— Нѣтъ, прежде ты лучше умѣлъ подъ правду говорить, а сейчасъ ничего не выходитъ.

III.

Старикъ Мокинъ вышелъ отъ Ивана Митрича въ какомъ-то туманѣ. У него даже передъ глазами рябило. А вьюга такъ и выла, точно хотѣла смести съ лица земли стараго промысловаго волка.

„За что, Господи?“ — думалъ онъ, напрасно перебирая въ умѣ, къ кому бы еще ему зайти.

Время стояло зимнее, глухое, а золотопромышленники наѣзжали въ Кушву только подъ весну, о Великомъ постѣ. Итти домой, чтобы голодать и зябнуть—не стоило. Лучше ужъ околѣть на улицѣ, какъ бездомной собакѣ.

— Развѣ толкнуться къ Пашкѣ Горбунову? Еще, пожалуй, въ шею попадетъ, ежели подъ пьяную руку...

Но выбирать было не изъ чего, и Сила Мокинъ потащился на другой конецъ завода, черезъ плотину. Прежде у Мокина съ Пашкой бывали дѣла, т.-е. Мокинъ обманывалъ Пашку. Впрочемъ, и другіе тоже его обманывали. Пашка уже лѣтъ пять, какъ прогорѣлъ окончательно и періодически пилъ запоемъ. Когда-то богатый купеческій домъ, устроенный такъ же, какъ и у Ивана Митрича, быстро ветшалъ, и половина оконъ была заколочена наглухо ставнями. Калитка стояла открытой,—на дворѣ нечего было взять не то, что

ворамъ, а и самому хозяину. Въ кабинетѣ виднѣлся, впрочемъ, огонь, и Мокинъ отправился на кухню, чтобы вызнать предварительно, въ какомъ видѣ хозяинъ.

— Въ самомъ лучшемъ видѣ...—сурово объяснила старуха-кухарка.

Когда-то Горбуновскій домъ былъ полная чаша, а сейчасъ изъ каждаго угла вѣяло мерзостью запустѣнія. Жену и дѣтей Пашка выгналъ и жилъ совершенно одинъ, пропивая послѣднее. Мокинъ помнилъ расположеніе комнатъ и ощупью добрался до хозяйскаго кабинета. Пашка лежалъ на диванѣ съ папироской. Онъ повернулъ свое опухшее отъ пьянства лицо и спросилъ:

— Тебѣ чего нужно, идолъ?

— Павелъ Мартынычъ, до вашей милости...

— Ахъ, ты... Подходи ближе,—я тебя гресну, а то лѣнь подниматься.

— Виноватъ, Павелъ Мартынычъ... Дѣйствительно, былъ такой грѣхъ: всего два раза обманулъ тебя. Хотѣлъ еще въ третій разъ обмануть, да ты тогда чуть меня не убилъ...

— И слѣдовало убить... Такъ ты сейчасъ опять меня пришелъ обманывать? Убирайся... растерзаю...

— Какой же это разговоръ, Павелъ Мартынычъ?.. Развѣ бы я посмѣлъ, ежели что... А мѣстечко, дѣйствительно, есть... Я сейчасъ отъ Ивана Митрича... Прогналъ онъ меня. „Не умѣешь, гритъ, правду говорить, а ступай, гритъ, по-волчьи повой“. Охъ, трудно, Павелъ Мартынычъ... А мѣстечко-то совсѣмъ правильное, для себя берегъ. Ну, а теперь не къ чему стало и беречь... Помирать приходится...

Пашка засмѣялся, какъ давеча Иванъ Митричъ.

— Ну, ну, ври дальше, старый чортъ!..

— Нечего мнѣ врать: весь тутъ, дома ничего не оставилъ...

Покоры враньемъ наконецъ озлобили старика, и онъ началъ ругаться.

— Ничего вы всѣ-то не понимаете!—кричалъ онъ.—Когда вралъ, такъ всѣ вѣрили; а когда говорю правду, такъ не вѣрите... да. А сами, какъ слѣпые котята у чашки съ молокомъ; надо каждаго рыломъ тыкать въ молоко...

Этотъ взрывъ негодованія развеселилъ Пашку. Онъ удушливо хохоталъ, запрокинувъ голову. Вотъ такъ старичокъ, истинно сказать—уважилъ.

— Ай, дѣдка! Ну, позолоти еще... Ахъ, прокуратъ!.. Совсѣмъ позабылъ, какъ и обманываютъ добрыхъ людей... Прежде-то куда лучше обманывалъ. Похоже было на правду... Съ меня два раза тогда содралъ задатки. Ну, ну, дѣлай!..

Мокинъ впалъ въ бѣшенство. Онъ бросилъ свою рваную шапчонку оземь и какъ-то захрипѣлъ:

— Я?!.. вру?!.. Да вы, идолы, развѣ можете понимать что-нибудь?!.. На нашемъ мужицкомъ горбѣ выѣзжали всю жисть... Кровопивцы вы, вотъ что... Вамъ вотъ смѣшно, когда правду говорятъ...

— А ну, скажи, гдѣ золото?

— И скажу...

— Да я и самъ знаю твое мѣсто... Такъ и называется: не положилъ—не ищи.

— А вотъ и врешь, Павелъ Мартынычъ... Теперь ужъ, видно, я надъ тобой посмѣюсь.

— А ну, посмѣйся...

Мокинъ имѣлъ ужасный видъ. Блѣдный, съ округлившимися глазами, онъ весь трясся, какъ въ жестокой лихорадкѣ.

— Я?!.. я вру?!..—бормоталъ онъ въ изступленіи.

— Да ты мѣсто-то укажи... Соври еще разокъ, — вѣдь не дорого дано.

Старикъ подошелъ къ нему совсѣмъ близко и съ пѣной у рта проговорилъ:

— Про Кривые-Лужки слыхивалъ? Всего-то верстовъ съ десять... Ну, тамъ еще старые казенные шурфы остались... у ключика, гдѣ лотокъ на-двое расходится...

— Будетъ, будетъ, уморилъ!.. Да кто Кривыхъ-Лужковъ не знаетъ? Ахъ, ты, прокуратъ, чѣмъ надуть хотѣлъ...

Старикъ хотѣлъ еще что-то сказать, но только махнулъ рукой. Онъ поднялъ свою шапку съ полу, нахлобучилъ ее и, не оглядываясь, вышелъ, какъ пьяный.

Утромъ его нашли замерзшимъ на заводскомъ пруду. Старикъ, вѣроятно, выбралъ дорогу поближе, обезсилѣлъ и замерзъ.

Пашка Горбуновъ сдѣлалъ заявку въ Кривыхъ-Лужкахъ и снова разбогатѣлъ.

1899.

ВЪ РАКОВИНѢ.

Разсказъ.

I.

Шелковое небо, шелковое море, шелковыя горы... Красавица Ялта спряталась въ зубчатой каменной рамѣ, точно въ раковинѣ. Пестрой мозаикой разсыпались по дну этой раковины прихотливыя южныя постройки. Тамъ и сямъ онѣ были точно окроплены зеленью, а отъ нихъ эта зелень поблѣднѣвшими тонами ползла вверхъ по горнымъ кручамъ, глубокимъ горнымъ впадинамъ и взбиралась расплывавшимися, зеленоватыми, блѣдными пятнами на самыя вершины. Получались перламутровые переливы зеленаго, розоваго, синяго и оранжеваго цвѣтовъ, согрѣтыхъ живымъ золотомъ весенняго южнаго солнца. Море лежало нагрѣтой глыбой воронёной стали, по которой шелковымъ отливомъ бродили широкія полосы изумрудно-зеленаго цвѣта, мѣшаясь съ фіолетовымъ и глубокой эмалевой синевой далекаго горизонта.

Крымская весна стояла въ разгарѣ. Цвѣтущія глициніи облѣпили своими кистями стѣны, террасы и балконы. Начинали распускаться розы, чудныя крымскія розы, которыя ползли по заборамъ и даже фонарнымъ столбамъ. Почтальоны ходили съ розами въ петлицѣ, не говоря о горничныхъ. „Собственныя“ лошади тоже были украшены розами, какъ и знаменитые крымскіе проводники, цѣлыми днями торчащіе въ ожиданіи лакомой добычи на набережной. Они усвоили равнодушно-скучающій видъ своихъ кліентовъ.

Шесть часовъ вечера. Въ ресторанахъ и отеляхъ заканчивался обѣдъ, и наступилъ тотъ мучительный промежутокъ, когда публика не знаетъ, что съ собою дѣлать и куда дѣваться. Даже въ карты было рано садиться играть, хотя люди, пріѣхавшіе на югъ отдохнуть, и не были ничѣмъ связаны. Для дамъ это время являлось тѣми „потерянными часами“, которыхъ некуда было дѣвать—entre chien et loup. Дамы сразу куда-то исчезали, чтобы появиться только вечеромъ, когда солнце спрячется за горами. Мы говоримъ о настоящихъ дамахъ, а не о тѣхъ несчастныхъ, которыя изнывали въ городскомъ саду, слушая военный оркестръ, или тоскливо бродили по набережной.

Именно въ такіе „потерянные часы“ на террасѣ шикарнаго отеля „Азія“, затканной живыми шпалерами изъ глициній, убивала свое время небольшая компанія „туристовъ“, какъ они себя называли, въ отличіе отъ больныхъ, пріѣхавшихъ въ Ялту лѣчиться.

— Я теперь начинаю бояться каждаго крюка на стѣнѣ, а на веревки просто боюсь смотрѣть,—говорилъ жирнымъ баскомъ неопредѣленныхъ лѣтъ брезгливый господинъ, одѣтый по послѣднему слову англійской моды въ

„хаки“.— Да, боюсь... Такъ и тянетъ повѣситься. Впрочемъ, для россійскаго коммерсанта это даже не оригинально.

— Да, по части оригинальности тебѣ какъ будто чего-то и недостаетъ,— сонным голосомъ проговорилъ господинъ тоже неопредѣленныхъ лѣтъ, но въ чесучѣ.—Ты походишь на старый мѣдный пятакъ, побывавшій въ милліонахъ рукъ.

— Старо, голубчикъ. Это сравненіе гдѣ-то у Щедрина встрѣчается. Да, такъ я боюсь повѣситься, потому что вмѣстѣ со мной прекратится миткалевая династія Амфаловыхъ. Понимаешь, Григорій Потапычъ?

— Значитъ, по-твоему, Николай Иванычъ, я могу свободно повѣситься вмѣсто тебя, потому что моя династія не перервется вмѣстѣ со мной?

— Можешь съ совершенно спокойной совѣстью, голубчикъ. Я даже напишу твой некрологъ и напечатаю въ Платошкиной газетѣ. Пролью, такъ сказать, слезу дружбы... А кстати, гдѣ наша Иммортелька? Она насъ совсѣмъ забыла...

Амфаловъ пустилъ синюю струю дыма дорогой сигары, заложилъ ногу за ногу и другимъ тономъ прибавилъ:

— Знаешь, Григорій Потапычъ, мы заставимъ Иммортельку написать корреспонденцію изъ Ялты въ Платошкину газету... ха-ха!.. Вотъ будетъ комедія...

— Да, того... дѣйствительно...—соглашался Григорій Потапычъ, жмуря глаза.

— А потомъ сочинимъ на свою корреспонденцію ругательное опроверженіе, какъ настоящіе писатели... х-ха!.. А Платошка будетъ какъ радъ даровымъ сотрудникамъ. Вѣдь это—идея, Григорій Потапычъ.

— Да, того... Знаешь, можно даже списать корреспонденцію откуда-нибудь изъ старыхъ газетъ... Оно безъ хлопотъ даже выйдетъ.

— Нѣтъ, мы сами сочинимъ... не хуже другихъ... Надо будетъ послать за Иммортелькой.

На террасѣ въ уголкѣ сидѣли еще двѣ дамы, не принимавшія участія въ этой дружеской бесѣдѣ. Одна, жена Амфалова, шатенка съ горячими темными глазами и немного вздернутымъ капризнымъ носикомъ, читала какой-то англійскій романъ. Одѣта она была въ сѣрое шелковое платье, сидѣвшее на ней, какъ перчатка. Для своихъ тридцати лѣтъ съ хвостикомъ и какъ мать троихъ дѣтей она сохранилась замѣчательно. Другая—миссъ Инглисъ, ея компаньонка, какое-то безцвѣтное существо, у которой все какъ-то выходило угломъ,—и фигура, и движенія, и даже улыбка была угловата, какъ у человѣка послѣ тяжелой болѣзни. Мужчины не обращали вниманія на дамъ, а дамы въ свою очередь не обращали никакого вниманія на мужчинъ.

Съ террасы открывался чудный видъ на море и на горы. Видна была частичка набережной. Василиса Ильинична Амфалова время отъ времени смотрѣла изъ-за своей книги на море и вздыхала. Оно напоминало ей далекую родную Волгу. Ахъ, тамъ теперь такъ хорошо: безконечные караваны, рыбачьи лодки, русская пѣсня, такая же длинная и печальная, какъ бурлацкая бечева... А здѣсь все какое-то не настоящее, чужое и лишнее, а чудное южное море какъ-то совсѣмъ напрасно бьется своей изумрудной волной въ скалистые берега.

— Ахъ, какъ скучно...—проговорила наконецъ Василиса Ильинична, бросая книгу.—Миссъ Инглисъ, вамъ скучно?

— Нѣтъ, ничего,—спокойно отвѣтила англичанка поднимая отъ работы свои безцвѣтные глаза.

— Я завидую вамъ...

— Бѣдные люди не имѣютъ права скучать, мистриссъ Амфалова.

— Какъ бы я желала быть такой бѣдной!

Миссъ Инглисъ только печально улыбнулась. Развѣ мистриссъ Амфалова могла понимать, какая ужасная вещь бѣдность и что̀ такое бѣдная англійская дѣвушка?

— Мы сегодня будемъ гулять вечеромъ по набережной,—проговорила Василиса Ильинична, глядя на море.

— Да,—отвѣтила миссъ Инглисъ.—Мистриссъ Амфалова очень любитъ морской воздухъ...

— Да, очень...

Разговоръ шелъ по-англійски, причемъ мистриссъ Амфалова сдѣлала нѣсколько самыхъ непростительныхъ ошибокъ по части произношенія. Дѣвочкой, когда она воспитывалась въ англійской семьѣ, она говорила по-англійски очень бойко, а сейчасъ уже начинала забывать спеціально-англійскіе обороты рѣчи. Миссъ Инглисъ состояла при Василисѣ Ильиничнѣ именно для возстановленія англійскаго произношенія и вмѣстѣ—занималась съ дѣтьми.

II.

— Иммортелька пришла! Браво...

Въ дверяхъ террасы стояла худенькая дама неопредѣленныхъ лѣтъ, вся въ черномъ. Она, снимая перчатку, съ удивленіемъ смотрѣла на бурно радовавшихся друзей и свѣжимъ голосомъ спросила:

— Чѣмъ обязана такому пріему, господа?

— Они затѣваютъ какую-то глупость и хотятъ привлечь васъ къ участію,—объяснила Василиса Ильинична, здороваясь съ гостьей.

— И совсѣмъ не глупость,—оправдывался Амфаловъ, помогая Иммортелькѣ снять жакетъ.—А мы ужъ хотѣли посылать за вами... Григорій Потапычъ, ради Бога, бумаги и чернилъ! Половину Ялты за листъ бумаги... Да вели человѣку подать любимый Иммортелькинъ ликеръ. Иммортелька, вѣдь мы тутъ безъ васъ чуть не повѣсились съ тоски. Вамъ выдадутъ золотую медаль за спасеніе погибающихъ... Садитесь вотъ сюда, къ столу.

Иммортелька недоумѣвающе смотрѣла на всѣхъ и улыбалась, показывая два ряда чудныхъ зубовъ. Она привыкла къ выходкамъ скучающихъ московскихъ коммерсантовъ и не удивилась, когда узнала, въ чемъ дѣло.

— Вы и о насъ пишите, Иммортелька, — объяснилъ Амфаловъ. — Понимаете: безъ пощады!.. на всѣ корки!.. Такъ своими словами и катайте... Вѣдь вы стихи пишете, а прозой-то еще лучше напишете. Мы съ Григоріемъ Потапычемъ плоховаты по части грамоты...

Иммортелька, не отвѣчая на это любезное предложеніе, устало опустилась въ кресло и проговорила:

— А я сейчасъ была у моего верхняго бѣдняжки. Это — его часъ... Уложили его спать. Представьте себѣ, онъ требуетъ, чтобы я сидѣла у его кровати, пока онъ не заснетъ. И я дождалась...

Амфаловъ вскочилъ и забѣгалъ по террасѣ.

— Иммортелька, вы хотите окончательно отравить намъ жизнь!? Ради Бога, не говорите ничего о вашихъ бѣдняжкахъ... Это какіе-то сумасшедшіе!..

— Скоро предстоитъ ампутація лѣвой руки этому Евгеньеву,—продолжала Иммортелька.—А онъ хоть бы что̀... Такой молодой и такой здоровякъ...

— Молодость...—коротко объяснила Василиса Ильинична, вздыхая.— А другой?

— Карповъ? Тотъ сидитъ неподвижно въ своемъ креслѣ и тоже веселъ... Шутитъ, разсказываетъ анекдоты, такъ заразительно смѣется... Это ужасно!.. Я у него должна быть ровно въ семь часовъ.

— Вѣдь это вы ему играете на гитарѣ?—перебилъ ее Амфаловъ.

— Да... Вѣдь у него чудный бархатный баритонъ. Если бы не была парализована вся правая половина, онъ имѣлъ бы на сценѣ громадный успѣхъ. Удивительный голосъ...

— Замѣчательный!—иронизировалъ Амфаловъ.—Когда онъ поетъ свои романсы, я не знаю, что̀ дѣлать: броситься въ террасы внизъ головой или бѣжать и утопиться въ морѣ... Вѣдь что̀ возмутительно: знаетъ, что человѣкъ конченный, калѣка, а надрываетъ душу своими романсами. Вѣдь вы только подумайте, Иммортелька, что̀ это такое?!..

— Я рада, что хоть чѣмъ-нибудь могу быть полезна моимъ бѣдняжкамъ,—спокойно отвѣтила Иммортелька и съ улыбкой прибавила:—Если бы вы знали, какъ они ревнуютъ меня другъ къ другу, особенно Евгеньевъ.. Карпова все-таки вывозятъ въ креслѣ на набережную и въ садъ, а Евгеньев долженъ лежать неподвижно въ своей кровати. Не правда ли, какъ эт ужасно: Евгеньевъ завидуетъ Карпову... И такіе оба смѣшные, точно дѣти. Евгеньевъ изъ зависти старается очернить въ моихъ глазахъ Карпова и каждый разъ что-нибудь придумаетъ про него самое непріятное. А въ сущности оба—ужасные эгоисты, какими могутъ быть только одни мужчины, и оба страшно хотятъ жить...

— А что̀ же, это было бы очень оригинально, если бы г. Карпова вывозили на сцену въ креслѣ или въ телѣжкѣ, какъ вывозятъ убогонькихъ на ярмаркѣ пѣть Лазаря, — продолжалъ иронизировать Амфаловъ. — Да, оригинально. Вѣдь въ операхъ господа артисты поютъ въ лежачемъ положеніи...

— Это возмутительно, что̀ ты говоришь!—вступилась Василиса Ильинична.—Смѣяться надъ чужимъ несчастіемъ грѣшно...

— Если кто несчастный, такъ это я, потому что каждый вечеръ долженъ слушать пѣніе г. Карпова.

Григорій Потапычъ вернулся, торжественно неся бумагу, перо и чернильницу. За нимъ офиціантъ несъ цѣлый подносъ съ ликерами.

— Представь себѣ, Николай Иванычъ...—говорилъ Григорій Потапычъ.— Я обыскалъ свой номеръ и твой кабинетъ и другой бумаги, кромѣ вексельной, не могъ найти. Пришлось обратиться къ благосклонному содѣйствію коридорнаго.

— Ну, это все равно,—согласился Амфаловъ.—Не въ векселяхъ счастье... Иммортелька, вотъ ваше мѣсто. Мы будемъ прежде всего обличать ситцевыхъ и миткалевыхъ московскихъ плутократовъ, потомъ ихъ женъ, которыя дарятъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ благочестивыхъ татарскихъ проводниковъ... Да соли и перцу побольше, чтобы у читателя печенки распухли отъ благороднаго негодованія. Офиціантъ, фруктовъ... Mesdames, пожалуйте къ ликерамъ... Миссъ Инглисъ, вѣдь вы любите шартрезъ?

— О, yes...—конфузливо отвѣтила англичанка.

— Ваши мѣста, mesdames... Мы и нашего милаго доктора Кубасов. прилетемъ съ его диссертаціей о сладкихъ боляхъ, и милѣйшаго инженера Прокудина съ его „ремонтцемъ“,—однимъ словомъ, всѣхъ. Пока мы пишемъ, они успѣютъ подойти.

Послѣ хорошаго обѣда всѣ дамы у себя дома любили выпить по рюмочкѣ хорошаго ликера, хотя для приличія морщились и кашляли. Иммортелька, — кстати ее звали Анной Павловной Черняковой, — тоже любила пить ликеръ, хотя постоянно и раскаивалась въ этомъ.

— Итакъ, приступаемъ къ дѣлу, — командовалъ Амфаловъ, шагая по террасѣ. — Иммортелька, я начинаю диктовать: „Ялта за послѣдніе годы превратилась въ настоящій лагерь разныхъ прожигателей жизни, представителей миткалевыхъ, плисовыхъ и ситцевыхъ династій, отдыхающихъ хищниковъ изъ далекой Сибири, проѣдающихся побилей изъ Тамбовской губерніи, представителей науки, искусства и промышленности, не знающихъ, какъ и чѣмъ убить золотое время“... Кажется, недурно для начала, господа? Дальше... „Если мы внимательно разсмотримъ благословенную полосу южнаго Крыма, то нашимъ глазамъ представится удивительная картина... да... картина... Это настоящая жемчужная нитка, т.-е. нитка изъ болѣзненныхъ наростовъ, прикрытыхъ жемчужнымъ блескомъ. Вѣрнѣе сказать, это—типичная галлерея, если можно такъ выразиться, раковидныхъ опухолей и наростовъ“.

— Позволь, Николай Иванычъ, это уже слишкомъ... — перебилъ Амфалова Григорій Потапычъ.—Какъ будто не того... гм... да... И слишкомъ сильно сказано и какъ будто непонятно. Вмѣсто твоихъ опухолей лучше какъ-нибудь принести, напримѣръ, болѣзненныхъ микробовъ, бациллъ, холерныхъ запятыхъ, чахоточныхъ палочекъ...

— Это своимъ чередомъ, г. Сорокинъ... Первое дѣло, нужно господина просвѣщеннаго коммерсанта раздѣлать на всѣ корки. Напримѣръ, доказать положительный вредъ высшаго образованія для него... Говорю это не для краснаго словца, а по глубокому внутреннему убѣжденію. Къ чему учить эту породу мелкихъ и крупныхъ хищниковъ, которые при помощи дорогого хлѣба науки будутъ еще ловчѣе обирать ближняго и набивать себѣ карманы? Совершенно ненужная роскошь... Пусть учится на здоровье кухаркинъ сынъ или поповичъ. И Некрасовъ сказалъ: „Коли бѣдна ты, такъ будь ты умна“... Да, такъ будемъ вышибать дно изъ его степенства, г. коммерсантъ...

— Господа, оставьте вы эту жалкую комедію, — вступилась Василиса Ильинична.—Вѣдь всему есть границы...

— Василиса Ильинична, позвольте намъ послужить на благо любезнаго отечества...

III.

Амфаловы представляли собой типичную вырождающуюся купеческую фамилію, —именно фамилію, а не семью. Николай Ивановичъ получилъ высшее образованіе, но дѣломъ не занимался, предпочитая путешествовать. Въ собственномъ смыслѣ слова это были даже не путешествія, а просто перекочевки съ одного мѣста на другое, безъ цѣли и плана, а просто, чтобы убить какъ-нибудь ненавистное время. Амфаловы путешествовали всей семьей и вездѣ возили за собой спеціально-русскую скуку. Да, скучно и на Капри, и въ Венеціи, и въ Кадиксѣ, и въ Швейцаріи, и даже въ Парижѣ.

— Русскому коммерсанту необходимо все видѣть,—объяснялъ въ ироническомъ тонѣ Николай Ивановичъ. — Помилуйте, какъ же безъ насъ за границей будутъ добрые люди жить?..

Себя Николай Ивановичъ считалъ очень добрымъ человѣкомъ, потому что вездѣ щедро давалъ отельной прислугѣ пурбуары. И другіе считали его добрымъ малымъ, немножко взбалмошнымъ и нерѣдко капризнымъ, но все-таки добрымъ. Его недостатки великодушно извинялись, потому что какой же богатый человѣкъ не имѣетъ ихъ. Удивительнѣе всего было то, что, гдѣ бы Николай Ивановичъ ни появился, около него сейчасъ же собиралась кучка самыхъ подозрительныхъ тунеядцевъ и прихлебателей. Въ Ялтѣ было то же, какъ и вездѣ. Первымъ явился очень подозрительный купецъ Григорій Пота-

новичъ Сорокинъ, увѣрявшій, что у него на Волгѣ работаютъ шесть пароходовъ. За нимъ появились какой-то сомнительный инженеръ Прокудинъ, у котораго были какія-то дѣла въ Средней Азіи, и американскій докторъ Кубасовъ, писавшій диссертацію „о сладкихъ боляхъ". По вечерамъ они играли въ винтъ или убивали время за разными глупостями, какъ сегодняшняя корреспонденція.

„Ахъ, какъ все это скучно... надоѣло... — съ тоской думала Василиса Ильинична, отходя отъ стола.—И зачѣмъ Иммортелька позволяетъ помыкать собой?..."

Съ Иммортелькой они познакомились въ Швейцаріи. Это было доброе существо, не находившее приложенія собственнымъ силамъ. Иммортелька была изъ старой дворянской семьи, получила образованіе въ институтѣ, но въ молодости „имѣла" какой-то романъ и навсегда осталась дѣвушкой. Николай Ивановичъ прозвалъ ее Иммортелькой за необыкновенно сохранившуюся фигуру, лицо, движенія и чувства. Это была какая-то завидная вѣчная юность. Какъ Николай Ивановичъ вездѣ находилъ себѣ прихлебателей, такъ Иммортелька находила разныхъ бѣдняжекъ, которые нуждались въ ея участіи, помощи и просто въ ея присутствіи. Отъ этой странной дѣвушки точно вѣяло тепломъ, которое она вносила вездѣ.

— Ну-съ, Иммортелька, мы кстати достаточно ярко доказали вредъ высшаго образованія для господъ россійскихъ коммерсантовъ, — говорилъ Амфаловъ, шагая по террасѣ.—Да, это вѣрно... Теперь надо перейти къ хищеніямъ. Что у насъ не крадетъ? Одни милѣйшіе желѣзнодорожные строители чего стоятъ... Вѣдь и всего-то дѣла, что человѣку дали покрасить нѣсколько бочекъ да три скамейки, да какой-нибудь заборчикъ, а, глядишь, въ результатѣ и собственная виллочка на южномъ берегу Крыма... Очень просто и мило! Каждомъ русскомъ человѣкѣ самымъ вѣжливымъ образомъ притаился казенный воръ... Даже дамы — и тѣ отлично умѣютъ погрѣть ручки около разныхъ подрядовъ, поставокъ и казенныхъ хозяйственныхъ предпріятій... Очень мило выходитъ... Итакъ, будемъ продолжать... Виноватъ, совсѣмъ забылъ о модныхъ врачахъ. Господи, какіе они куши рвутъ со страждущаго человѣчества!.. Болѣть имѣютъ право только очень богатые люди, а мелкота при собственныхъ средствахъ. Ну, я еще понимаю, какъ крадетъ какой-нибудь банковскій дѣлецъ или инженеръ — съ опаской, въ ночной тишинѣ, со всѣми необходимыми предосторожностями воровского ремесла; а модный врачъ сдираетъ съ васъ кожу и въ то же время наговариваетъ хорошія ученыя слова. Прямо—грабежъ среди бѣлаго дня и еще съ благодарностью нашему знаменитому, почтенному и глубокоуважаемому грабителю.

— Николай Иванычъ, вы отвлекаетесь въ сторону, — предупредила Иммортелька, глядя на часы.—Мнѣ скоро будетъ нужно уходить... Часъ Карнова отъ семи до восьми.

— А какъ же благодарное отечество останется съ недоконченной корреспонденціей?

— Докончимъ завтра...

— А вдохновеніе? Вѣдь его нельзя напустить по произволу..

Иммортелька поднялась и рѣшительно заявила, что должна сейчасъ итти.

— Онъ меня ждетъ, — отвѣчала она на всѣ просьбы остаться. — Я не имѣю права его обманывать...

Амфаловъ разсердился и чуть не наговорилъ дерзостей, но въ этотъ критическій моментъ появились въ дверяхъ террасы инженеръ Прокудинъ, небольшого роста плечистый господинъ съ рыжими усами, и докторъ Кубасовъ, стройный молодой шатенъ съ немного измятымъ лицомъ. Прокудинъ былъ въ

формѣ своего вѣдомства, несмотря на жару, а Кубасовъ въ какой-то хламидѣ англійскаго покроя

— А, васъ-то, господа, и недоставало!—весело встрѣтилъ гостей Амфаловъ. — Въ самый разъ... Мы тутъ поработали на славу. Цѣлую корреспонденцію наваляли... И вамъ досталось. Всѣмъ сестрамъ по серьгамъ. Григорій Потапычъ, ты у меня мастеръ читать по-писаному и каждый вексель можешь разобрать. „По сему моему векселю, имя рекъ, обязуюсь я“... и т. д. Или: „Ходилъ я, нотаріусъ такой-то, и не могъ найти никакого имущества у невинно обанкрутившагося купца первой гильдіи Григорія Потапова Сорокина“. Всѣ тамъ будемъ, милорды: будутъ и векселя, и нотаріусъ будетъ ходить, и мѣста не столь отдаленныя ждутъ своего лучшаго украшенія... Однимъ словомъ, романъ Гончарова: „Обыкновенная исторія“.

Гости вынужденно улыбались, а докторъ разсматривалъ фальшивый брильянтъ на собственномъ мизинцѣ. Они привыкли къ довольно вульгарнымъ выходкамъ Амфалова, но снисходили, принимая во вниманіе то, что онъ имѣлъ скромную привычку проигрывать во всѣ игры и въ награду кормилъ своихъ партнеровъ на убой.

— Я ухожу...—говорила Иммортелька, прощаясь съ дамами.

Мужчины не обратили на это никакого вниманія, точно уходила кошка, и только Амфаловъ презрительно поднялъ плечи.

— Григорій Потапычъ, читай...

Амфаловъ имѣлъ привычку со всѣми сходиться на „ты“, хотя изъ-за этого иногда выходили для него большія непріятности. Его пріятели компрометировали его своимъ зазорнымъ поведеніемъ, когда отказывались платить карточные долги и т. д.

— А не лучше ли будетъ, если мы предварительно повинтимъ, господа?—предложилъ инженеръ Прокудинъ, не уважавшій печатной бумаги вообще, а обличительныхъ корреспонденцій въ особенности.

— Я ничего не имѣю...—поддержалъ его докторъ.—Отчего и не повинтить, а корреспонденція не уйдетъ.

— Это ужъ, господа, свинство!—обидѣлся Амфаловъ, разводя руками.—Ни малѣйшаго признака патріотизма... Нѣтъ, какъ хотите, а мы корреспонденцію прочтемъ. Григорій Потапычъ, начинайте...

Василиса Ильинична наблюдала эту сцену улыбавшимися глазами и, когда началось чтеніе, демонстративно вышла, шелестя шелковой юбкой. Миссъ Инглисъ послѣдовала за ней скорбной тѣнью

— Ну, и прекрасно,—проговорилъ имъ вслѣдъ Амфаловъ.—Я очень люблю женщинъ, когда онѣ не мѣшаютъ, а особенно тѣхъ, которыя умѣютъ уходить во-время. Не правда ли, господа?

IV.

Амфаловы занимали три номера. Одинъ занималъ Николай Ивановичъ, другой Василиса Ильинична, а третій, большой, служилъ дѣтской, гдѣ ютились трое маленькихъ дѣтей подъ надзоромъ старой няньки Прокофьевны, выпяньчившей еще Николая Ивановича, и миссъ Инглисъ. Дѣти не пользовались особеннымъ вниманіемъ и росли какъ-то сами собой. Единственное, что требовалось отъ нихъ, это—ежедневныя упражненія въ англійскомъ языкѣ съ миссъ Инглисъ. Верховодила въ дѣтской всѣмъ Прокофьевна, ворчливая и хитрая старуха, ссорившаяся со всѣми и ненавидѣвшая Василису Ильиничну, которую называла за глаза „водохлебкой“, какъ волжанку. Причиною этой старушечьей ненависти было то, что по мнѣнію Прокофьевны, Николай

Ивановичъ женился на водохлебкѣ совершенно напрасно. Мало ли въ Москвѣ было невѣстъ; выбирай любую да лучшую. Нѣтъ, поѣхалъ на ярмарку въ Нижній, раскутился съ благопріятелями да взялъ и женился съ пьяныхъ глазъ на водохлебкѣ. Василиса Ильинична платила нянькѣ той же монетой и не упускала случая сдѣлать ей какую-нибудь непріятность.

— У, змѣя подколодная,—шипѣла старуха.—Простъ Николай-то Иванычъ... Другой мужъ выучилъ бы вотъ какъ...

Къ числу особенностей Прокофьевны принадлежало то, что она всегда и всѣмъ была недовольна, всѣхъ „хаяла“ и вообще страдала самымъ модным пессимизмомъ

Съ террасы Василиса Ильинична прошла въ дѣтскую. Младшая трехлѣтняя дѣвочка уже спала, а старшій мальчикъ и средняя дѣвочка пили свою вечернюю порцію молока. Мальчикъ походилъ на мать, а дѣвочки—на отца.

— Мама, ты куда?—спрашивалъ шестилѣтній Петя, набивая ротъ булкой.—Опять поѣдешь кататься верхомъ?

— Опять поѣду, пѣтушокъ.

— И миссъ Инглисъ?

— И миссъ Инглисъ, бутузъ...

Василиса Ильинична какъ-то виновато приласкала дѣтей, расцѣловала ихъ и ушла въ свою комнату переодѣваться.

— Тоже, нашла моду верхомъ гонять...—ворчала Прокофьевна.—Отецъ ниже пупа поясъ носилъ, а она на лошадяхъ съ татарскими образинами раскатываетъ.

Распахнувъ окно въ своемъ номерѣ, Василиса Ильинична долго любовалась открывавшимся въ него видомъ на горы. Солнце уже закатилось. По горнымъ ущельямъ и впадинамъ сгущались вечернія тѣни. Самыя горы казались выше. Поднималась волнистая синева, кутавшая зеленую горную поросль и прозрачной дымкой ложившаяся на скалистые гребни. Въ окно тянуло вечерней прохладой и тонкимъ ароматомъ весеннихъ цвѣтовъ. Миндали, персики и яблони уже отцвѣли, но распускалась бѣлая акація.

Надѣвъ синюю амазонку и посмотрѣвшись въ зеркало, Василиса Ильинична хотѣла уже выходить, какъ въ окно ворвались знакомые звуки. Она даже вздрогнула, точно это пѣніе было отвѣтомъ на то, что̀ было такъ бережно скрыто и въ чемъ она боялась признаться самой себѣ. Сквозь изнемогающее треньканье гитары поднимался чудный мотивъ:

Звѣзда-а вечерняя ммоя,
Тебѣ привѣтъ, привѣтъ шлю я...

„Ахъ, зачѣмъ, зачѣмъ онъ поетъ?!“ — съ какимъ-то ужасомъ подумала Василиса Ильинична, хватаясь за голову.

Это пѣлъ паралитикъ Карповъ подъ аккомпанементъ Иммортельки. Василиса Ильинична присѣла къ окну, уронила голову на подоконникъ и собрала всѣ силы, чтобы не расплакаться самымъ глупымъ образомъ. И хорошо, и жутко, и обидно, и жаль самой себя... И никто-никто не пойметъ вотъ ее, водохлебку... Но, къ ея счастью, мотивъ оборвался, и послѣ небольшой паузы въ окно ворвалось совсѣмъ другое:

Праздникомъ свѣтлымъ
Вся жизнь предо мною...

Господи, и это поетъ несчастный калѣка... У Василисы Ильиничны отлегло на сердцѣ. Вѣдь еще можно дышать, вѣдь еще цвѣтутъ розы, вѣдь завтра еще взойдетъ солнце, вѣдь еще можно нестись въ неизвѣстную даль съ быстротой вѣтра...

— Миссъ Инглисъ, вы готовы?

— О, yes..

Англичанка всегда волновалась, когда надѣвала на себя амазонку. Она страстно любила лошадей, и прогулка верхомъ для нея составляла величайшее удовольствіе. Она прекрасно ѣздила и чувствовала себя въ сѣдлѣ совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Несчастная компаньонка оставалась дома, а на лошади неслась живая женщина... Миссъ Инглисъ даже хорошѣла въ такіе моменты, и ея безжизненное лицо покрывалось нѣжнымъ румянцемъ.

— Аглицкая-то фефела какъ хвостъ распустила,—злорадствовала Прокофьевна.—Туда же топорщится, чучело гороховое... Эхъ, и жисть только!.. А папа-то водохлебка какъ расфуфырилась... Въ самый разъ—барыня природная.

Старуха проводила амазонокъ злыми глазами и долго ворчала себѣ подъ носъ.

Спустившись по лѣстницѣ внизъ, Василиса Ильинична имѣла удовольствіе слышать, какъ Карповъ захлебывавшимся отъ волненія голосомъ пѣлъ:

Мммилла-ая, т-ты услышь меня...
Подъ окномъ твоимъ я-а-а съ гитарррою!..

Миссъ Инглисъ только покачала головой. Она жила въ Россіи уже цѣлыхъ десять лѣтъ и каждый день чему-нибудь удивлялась. Вѣдь другого такого народа, какъ русскій, нѣтъ на свѣтѣ... Въ ея глазахъ даже ея патроны являлись только милыми дикарями.

— Идемте, миссъ Инглисъ,—торопила ее Василиса Ильинична, прислушиваясь къ пѣнію Карпова.—Ахъ, этотъ несчастный... Онъ, [illegible] вытянетъ всю душу!

Проходя по коридору, дамы слышали въ открытую дверь [illegible] Николая Ивановича, выходившую на террасу, что тамъ уже началась игра.

— Малый шлемъ въ червяхъ...—шепеляво „заказывалъ“ Николай Ивановичъ.—Докторъ, не дѣлайте злого лица. Мы останемся всего безъ двухъ...

„Ахъ, вѣчно одно и то же“, — съ тоской думала Василиса Ильинична, привычнымъ движеніемъ подбирая шлейфъ своей амазонки.

Онѣ не пошли большой парадной лѣстницей, гдѣ могли встрѣтить кого-нибудь изъ знакомыхъ, а изъ коридора спустились по маленькой лѣстницѣ прямо въ садъ. На нижней общей террасѣ въ своемъ креслѣ лежалъ Карповъ, совсѣмъ еще молодой господинъ съ окладистой русой бородкой и завиднымъ цвѣтомъ лица. Около него на стулѣ съ гитарой въ рукахъ помѣстилась Иммортелька, подбиравшая какой-то новый мотивъ. Василиса Ильинична нарочно свернула въ боковую аллею, чтобы не помѣшать этому оригинальному дуэту. Когда онѣ уже подходили къ выходу изъ сада, ихъ точно догналъ новый романсъ:

Я-а оббожжа-аю,
Я-а обббожа-а-а-ю...

Василиса Ильинична прибавила шагу, точно убѣгая отъ преслѣдовавшаго ее мотива. Когда она уже была у самаго выхода, съ верхней террасы донесся голосъ Николая Ивановича:

— Я вамъ говорилъ, докторъ, что мы останемся безъ двухъ.

Набережная была полна гуляющей публики. Съ эластическимъ трескомъ неслись собственные экипажи. Вихремъ пролетѣлъ красавецъ-проводникъ Хайбибула на своемъ лихомъ гнѣдомъ иноходцѣ. Море переливалось живымъ серебромъ, разбиваясь о набережную жемчужной пѣной. Изъ городского сада доносились звуки военной музыки.

V.

Онѣ перешли черезъ улицу, въ двухъ шагахъ отъ знаменитой скамейки, гдѣ ждали своихъ кліентовъ проводники. Василиса Ильинична по набережной повернула вправо, къ мосту черезъ Учанъ-су. Когда онѣ прошли городской садъ, ихъ догналъ кривоногій и рябой проводникъ Ибрагимъ. Онъ какъ-то конфузливо подалъ Василисѣ Ильиничнѣ букетъ изъ розъ. Она молча, не оглядываясь, взяла цвѣты и улыбавшимися глазами посмотрѣла на миссъ Инглисъ. Въ противоположность другимъ проводникамъ, Ибрагимъ не отличался красотой. Хороши были одни темные глаза.

— Лошади готовы, мадамъ,—бормоталъ онъ.

Василиса Ильинична продолжала итти впередъ молча, а Ибрагимъ шелъ за ней по мостовой, не рѣшаясь перейти на тротуаръ. Она обрывала одну розу за другой и незамѣтно роняла на мостовую. Ибрагимъ поднималъ каждый цвѣтокъ и прижималъ къ сердцу. Миссъ Инглисъ упорно смотрѣла на море, стараясь не замѣчать происходившаго. Въ магазинахъ уже зажигали огни. Движеніе на набережной усиливалось. Показались больные, устало возвращавшіеся домой. Одинъ молодой человѣкъ прислонился къ перилам набережной и удушливо кашлялъ. Молодое исхудалое лицо съ зловѣщимъ румянцемъ не оставляло сомнѣнія, что дни несчастнаго сочтены. Василиса Ильинична испытывала жуткое чувство, проходя мимо. Вѣдь нигдѣ такъ не боятся вотъ этихъ чахоточныхъ, какъ именно въ Ялтѣ. Ихъ не пускаютъ въ хорошіе отели и даже въ меблированныя комнаты, отъ нихъ сторонятся на улицѣ, ихъ избѣгаютъ вездѣ.

— Мадамъ, лошадь готова...—повторилъ Ибрагимъ, когда они подошли къ площадкѣ у самаго моста.

— Мы здѣсь подождемъ,—отвѣтила наконецъ Василиса Ильинична.

Она чувствовала себя такъ хорошо. Отъ ходьбы на лицѣ у нея выступилъ совсѣмъ молодой, дѣвичій румянецъ. Ибрагимъ исчезъ. На площадкѣ тамъ-тамъ по скамейкамъ размѣстились счастливыя парочки, пользовавшіяся быстро наступавшей темнотой.

„Ахъ, какіе они счастливые,—невольно подумала Василиса Ильинична, выбирая одну изъ ближайшихъ скамеекъ.—Да, счастливые... молодые и счастливые...“

На рейдѣ красивыми звѣздочками затеплились судовые фонари, отражаясь въ водѣ переливавшейся золотой дрожью. Было слышно, какъ гудѣлъ паръ, выпускаемый стоявшимъ у мола пароходомъ. Горка, на которой стоитъ церковь, расцвѣтилась огоньками, и лѣпившіеся по ней домики придавали ей видъ громаднаго сота. А сонныя волны продолжали биться въ берегъ, обсасывая громадные камни и точно со вздохомъ убѣгая назадъ. Горъ уже не было видно, а только смутно обрисовывались темные силуэты.

Послышавшійся звонкій топотъ лошадиныхъ копытъ заставилъ Василису Ильиничну вздрогнуть. Она сразу узнала плавный перебой ибрагимовскаго иноходца. Это была единственная лошадь во всей Ялтѣ. Ибрагимъ ухаживалъ за ней и лелѣялъ ее, какъ любимую женщину.

— Идемте, миссъ Инглисъ...

Ибрагимъ какъ-то особенно ловко умѣлъ помогать дамамъ садиться на лошадь, и Василиса Ильинична каждый разъ чувствовала, какъ онъ любовно прикасается къ ней. Да, этотъ дикарь умѣлъ любить... Но развѣ онъ любилъ и миссъ Инглисъ, потому что она смѣло ѣздила верхомъ.

— Ибрагимъ, ѣдемъ на Учанъ-су,—коротко приказала Василиса Ильинична, поправляясь въ сѣдлѣ.

— Темно... Баринь не боится темно?—спросилъ Ибрагимъ.

— Нисколько..

— Верхней дорога или нижней, черезъ Аутку?

— Верхней... Да я сама отлично знаю дорогу.

Во время поѣздокъ Ибрагимъ почему-то вмѣсто „мадамъ“ называлъ Василису Ильиничну „баринь“.

Кавалькада быстрымъ аллюромъ черезъ мостъ понеслась въ гору. Ибрагимовскій иноходецъ во время сѣдловки подъ дамское сѣдло хитрилъ, т.-е. надувался, чтобы подпруги не такъ туго затягивались, и во время быстрой ѣзды сѣдло немного хлябало. Въ полугорѣ Ибрагиму пришлось поправить сдѣланную ошибку.

— Ахъ, ты, шайтанъ!—ругался Ибрагимъ, хотя въ тонѣ его голоса не было суровыхъ нотъ.

Василиса Ильинична держалась въ сѣдлѣ не по всѣмъ правиламъ искусства, какъ миссъ Инглисъ, но крѣпко, и Ибрагимъ любовался ея посадкой. О, она такъ любила эти прогулки верхомъ, точно онѣ уносили ее отъ постылаго настоящаго... Это настоящее оставалось гдѣ-то далеко-далеко, и ей казалось, что она никогда больше не вернется домой. Да развѣ у нея былъ свой домъ? Развѣ у нея былъ мужъ? Переизжившій и переиспытавшій все, разслабленный Николай Иванычъ развѣ могъ ее любить здоровымъ, хорошимъ чувствомъ? Она подарила свою молодость этой живой развалинѣ и „отбыла бабью воинскую повинность“, какъ Николай Иванычъ называлъ рожденіе дѣтей. Все это было, а она чувствовала себя такой молодой, ей такъ хотѣлось жить, дышать, быть просто женщиной. Василиса Ильинична не могла упрекнуть себя ни въ чемъ, кромѣ того, что любила такія поѣздки съ Ибрагимомъ, причемъ миссъ Инглисъ являлась громоотводомъ противъ всякихъ подозрѣній.

„Пусть говорятъ, что хотятъ...—думала Василиса Ильинична, почему-то припоминая давешнее пѣніе Карпова.—И пусть пишутъ...“

По пути Василиса Ильинична перебрала въ своей памяти всѣхъ мужчинъ, въ обществѣ которыхъ ей приходилось вращаться,—все это были копіи ея собственнаго Николая Иваныча, какъ ихъ жены—ея копіей. Жизнь складывалась по какому-то ужасному трафарету, и женщины поневолѣ вынуждены мириться съ цѣлымъ таборомъ тѣхъ продажныхъ тварей, которыя служатъ ихъ дополненіемъ для ихъ мужей.

А иноходецъ летѣлъ по шоссе съ быстротой вѣтра, такъ что миссъ Инглисъ и Ибрагимъ отставали. Онъ самъ увлекался и просилъ поводьевъ. Ялта осталась далеко вправо, закутанная сіявшимъ отъ огней маревомъ. Обогнувъ голую покатость, шоссе потерялось въ заросляхъ. Начиналась лѣсная часть дороги. Здѣсь пахло лѣсными цвѣтами и свѣжей зеленью. Попались двѣ татарскихъ, неистово скрипѣвшихъ арбы, на которыхъ ѣхали „честные крымскіе люди“. Ибрагимъ перекинулся съ ними нѣсколькими фразами. Начались подъемы и спуски. Чувствовалась свѣжесть, которую даетъ вода. Не доѣзжая до водопада, Василиса Ильинична сказала по-англійски миссъ Инглисъ:

— Миссъ, вы меня подождете въ домикѣ, гдѣ пьютъ молоко. Помните?

— О, yes...

— Вы не боитесь? Отлично...

Миссъ Инглисъ умѣла ждать. Миссъ Инглисъ всю жизнь ждала, пока другіе жили. Она покорно при помощи Ибрагима (это былъ единственный мужчина, который дотрогивался когда-нибудь до дѣвственной таліи миссъ Инглисъ) соскочила съ сѣдла и усталой походкой поднялась на открытую

террасу небольшого деревяннаго домика, гдѣ туристы, ѣздившіе любоваться водопадомъ Учанъ-су, находили „свое молоко“.

— Мы скоро вернемся,—донесся изъ темноты голосъ Василисы Ильиничны, заглушаемый конскимъ топотомъ.

— О yes...

VI.

Старая Прокофьевна, уложивъ дѣтей спать, долго ворчала, — ворчала такъ, въ пространство. Нѣсколько разъ она выходила въ коридоръ и успѣла поругаться съ бойкими номерными горничными въ бѣлыхъ крахмальныхъ передникахъ и батистовыхъ крахмальныхъ коронкахъ на головѣ. За франтовство Прокофьевна называла ихъ „фуфырками“.

— Да вѣдь у насъ, няня, такая форма полагается, — оправдывались дѣвушки.

— Форма... Тоже и выговорятъ. Что вы,—развѣ вы при полиціи служите? Надѣла бы платочекъ на голову, вотъ и вышла бы настоящая дѣвушка, а то ни дѣвка, ни баба, ни солдатка.

Прокофьевнѣ рѣшительно нечего было дѣлать, и она спустилась въ садъ подышать свѣжимъ воздухомъ. Карповъ сидѣлъ въ своемъ креслѣ и при свѣтѣ свѣчи подъ стекляннымъ колпакомъ читалъ только-что полученныя газеты. Прокофьевна нѣсколько разъ прошла мимо, а потомъ остановилась противъ него и, подперевъ по-бабьи щеку рукой, проговорила:

— Эка тебѣ житье-то какое, несчастненькому...

— Отстань, старая кочерыжка,—проворчалъ Карповъ, продолжая читать.

— Да я такъ, жалѣючи...

— Себя пожалѣй, старая мочалка... Ступай на набережную къ татарамъ, они изъ тебя шашлыкъ сдѣлаютъ.

— Чему ты радуешься-то, несчастненькій? Слова-то какія говоришь, да еще надъ старухой смѣешься... Не боишься грѣха-то? Поди, тоже родители есть, такъ въ свое время учили...

— Отстань, ржавчина...

По саду въ дальней аллеѣ бродилъ, стараясь остаться незамѣтнымъ, среднихъ лѣтъ господинъ въ формѣ судебнаго вѣдомства. Онъ издали слѣдилъ за верхней террасой, гдѣ играли въ карты, и прислушивался по отдѣльнымъ возгласамъ къ ходу игры. Его особенно волновалъ шепелявый голосъ Амфалова и его придурковатое хихиханье.

— Зачѣмъ вы объявляете третьи трефы, когда вашъ партнеръ два раза повторилъ бубны?! — хотѣлъ онъ крикнуть Амфалову. — А давеча просолили короля пикъ, какъ и даму червей...

Это былъ провинціальный слѣдователь, привезшій въ Крымъ всю семью, составлявшую что-то въ родѣ домашняго лазарета. Больная жена и четверо дѣтей-рахитиковъ... Цѣлые дни дома онъ проводилъ на службѣ, а вечера въ клубѣ. Здѣсь же вынужденный отдыхъ и безцѣльное шатанье приводили его въ отчаяніе. Подходящихъ знакомствъ какъ-то не завязывалось, а тутъ цѣлые вечера надъ самой головой раздавались веселые голоса картежниковъ, раскатистый смѣхъ и, главное, вся карточная терминологія.

Прокофьевна видѣла скитавшуюся по саду тѣнь „его благородія“ и нарочно обошла другой аллеей, чтобы не встрѣчаться.

„Тоже, бѣдненькій, не знаетъ, куда дѣваться“,—думала она, пробираясь къ выходу на набережную.

Сейчасъ вся набережная ярко была освѣщена электричествомъ, и по

тротуарамъ вереницей двигались толпы гуляющей публики. Скамейка проводниковъ была пуста. Лихіе наѣздники теперь гарцевали для собственнаго удовольствія.

— Азіятцы поганые,—ругалась Прокофьевна. — Смотрѣть-то на нихъ, озорниковъ, тошнехонько... И чего, подумаешь, мечутся, какъ угорѣлые? Бѣсъ ихъ погоняетъ...

Старуха поджидала, не возворотится ли водохлебка. Шелъ уже двѣнадцатый часъ. Тоже мужней женѣ какъ будто и зазорно по ночамъ гонять на лошади незнамо гдѣ. Эхъ, простъ Николай-то Иванычъ... Другія-то жены по домамъ сидятъ, а наша водохлебка полируетъ по горамъ съ азіятцемъ Ибрагимкой.

— И на порогъ его не пущу, поганца, — продолжала ругаться Прокофьевна.—Вѣдь я-то все вижу, что̀ и къ чему...

Чудеса крымской природы на Прокофьевну не производили никакого впечатлѣнія. „Ну, камень кругомъ—птицѣ негдѣ сѣсть, опять море соленое—испить водицы нельзя, народъ безбожный—тьфу! То ли Звенигородскій уѣздъ... И дерево-то здѣсь поганое: совсѣмъ и на дерево не походитъ, — колючками да иголками растетъ, и травы-муравы настоящей нѣтъ. Всего и лѣсу, что одна-одинешенька сердешная березка въ городскомъ саду вянетъ да чахнетъ. И головушка на бокъ у бѣдной. На что, кажется, дерево, а и тому не сладко на чужой сторонѣ... А нашимъ господамъ нѣтъ того слаще, какъ проклятущая заграница или Кавказъ“. Прокофьевна со своими господами объѣхала всѣ благословенные уголки Европы и ничего лучше своего Звенигородскаго уѣзда не нашла.

Прокофьевнѣ нѣсколько разъ казалось, что ѣдетъ водохлебка, но каждый разъ ошибалась,—ѣхали другіе. Возвращались веселыя и шумныя кавалькады изъ Гурзуфа или изъ Алупки.

„Никакъ мнѣ блазнитъ...—съ сокрушеніемъ думала старуха, возвращаясь въ свой садикъ.—Итти поглядѣть, не проснулись ли ребята“.

Въ воротахъ сада ее кто-то больно толкнулъ прямо въ бокъ. Это былъ Ибрагимъ.

— Тьфу, окаянная душа!—обругала его Прокофьевна, отплевываясь.—Чего бѣжишь, какъ чумной быкъ?

Ибрагимъ посмотрѣлъ на нее своими блестѣвшими темными глазами и, улыбнувшись, скрылся въ толпѣ.

— Какъ они мимо меня-то проѣхали?—недоумѣвала старуха.—Оборотни какіе-то, прости Господи...

Потомъ Прокофьевна струсила, что водохлебка вернулась, а она убѣжала изъ дѣтской. Тоже не порядокъ. Вотъ какъ еще достанется отъ водохлебки... Старая нянька торопливо бросилась черезъ садъ къ своей лѣстницѣ и на аллеѣ у террасы носомъ къ носу столкнулась со слѣдователемъ. Какъ это иногда случается, онъ взялъ вправо и она взяла вправо, потомъ онъ взялъ влѣво и она влѣво, а въ концѣ концовъ они столкнулись.

— Охъ, извините, ваше высокоблагородіе...—забормотала Прокофьевна.—Правду говорятъ, что на печи отъ старухъ проѣзду нѣтъ...

— Ничего, ничего, старушка...—добродушно отвѣтилъ слѣдователь, уступая дорогу.

Этотъ добрый тонъ тронулъ Прокофьевну. Она уже сдѣлала нѣсколько шаговъ и вернулась.

— Ваше высокоблагородіе...

— Ну?

— Давно мнѣ хочется вамъ одно словечко сказать. Да... Не ходите вы тутъ подъ нашей галдареей.

— Это почему?

— А такъ... Смѣются надъ вами наши-то господа, т.-е. они и не господа, а такъ... изъ купцовъ. Москвичи они, а наши московскіе все насмѣхъ дѣлаютъ. Вы-то гуляете тутъ да ихнюю игру слушаете, а они васъ мученикомъ зовутъ. Извѣстно, охальники... Они нарочно кричатъ, будто играютъ, чтобы вы подошли... Однимъ словомъ, ваше высокоблагородіе, настоящіе московскіе безстыдники...

— Но вѣдь имъ весело, старушка?

— Ужъ на что веселѣе... По всему бѣлому свѣту за весельемъ-то гоняются.

Слѣдователь былъ радъ, что старая нянька въ темнотѣ не могла разсмотрѣть, какъ онъ покраснѣлъ, точно пойманный въ шалости школьникъ. Да, ему сдѣлалось стыдно и за себя и за московскихъ безстыдниковъ...

„Боже мой, до чего я дожилъ?!..“ — думалъ несчастный „мученикъ“, пробираясь къ себѣ въ номеръ.

Когда Прокофьевна вернулась въ дѣтскую, тамъ была одна миссъ Инглисъ. Василиса Ильинична прошла прямо въ свою комнату, не взглянувъ на дѣтей, и заперлась на ключъ. Прокофьевна бабьимъ нюхомъ почувствовала, что случилось что-то неладное.

VII.

На другой день Василиса Ильинична не вышла къ утреннему кофе, пославъ миссъ Инглисъ сказать, что у нея болитъ голова.

— Я такъ и зналъ, — проговорилъ Николай Ивановичъ, откладывая въ сторону газету.—Вѣдь это сумасшествіе—скакать по горамъ ночью... Удивительная фантазія!

Когда Василиса Ильинична не вышла и къ обѣду, Николай Ивановичъ встревожился. Онъ иногда начиналъ чувствовать себя мужемъ, т.-е. принималъ озабоченный видъ и старался что-нибудь придумать такое, что̀ долженъ былъ дѣлать настоящій мужъ. Сейчасъ онъ отправился въ комнату жены. Она лежала полуодѣтая на оттоманкѣ. Сторы на окнахъ были спущены.

— Ты больна? — спрашивалъ Николай Ивановичъ, стараясь придать голосу особенную нѣжность.

— Да, такъ...

— Нужно пригласить врача...

— Ахъ, ради Бога, никого мнѣ не нужно! Все пройдетъ само собой...

— Ты не бережешь себя, мой другъ. Такъ нельзя...

Василиса Ильинична молчала. Ей было непріятно, что Николай Ивановичъ взялъ стулъ и сѣлъ у ея изголовья. Все это фальшивое участіе ее возмущало до послѣдней степени. Что̀ она такое, въ самомъ дѣлѣ, для Николая Ивановича? Такъ, прихоть, игрушка, машинка, на которую была возложена священная обязанность продолжать славный родъ Амфаловыхъ... Николай Ивановичъ съ рѣшимостью человѣка, который приготовился пожертвовать свою жизнь, просидѣлъ у жены цѣлыхъ пять минутъ, наговорилъ какихъ-то ненужныхъ словъ и былъ счастливъ, когда получилъ наконецъ отпускъ. Онъ уже готовъ былъ шмыгнуть въ дверь, какъ Василиса Ильинична его остановила.

— Николай Ивановичъ, у меня есть къ тебѣ просьба...

— А... что̀?..

— Уѣдемъ, пожалуйста, поскорѣе изъ Ялты... Весенній сезонъ въ концѣ, скоро начнутся жары...

— Да, да... Дѣйствительно, пора. Можно провести лѣто въ Кисловодскѣ. Тамъ лѣтомъ не жарко... воды... гм... да...

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Я хочу домой...

— Въ Москву?!..

— Нѣтъ, куда-нибудь на Волгу или въ Звенигородскій уѣздъ... Все равно куда, только домой... Будетъ шататься.

— Что же, хорошо и на Волгу...

— Будемъ жить у себя въ имѣніи... я займусь хозяйствомъ... Однимъ словомъ, куда-нибудь подальше, въ глушь. Ты можешь уѣзжать по дѣламъ въ Москву, въ Нижній... Я соскучилась по своей родной Волгѣ.

— Гм... да.... отчего же... Т.-е. я хочу сказать, что съ удовольствіемъ вернусь, куда ты хочешь.

— Николай Ивановичъ, вернись... Сядь рядомъ... да...

Въ голосѣ зазвучала нерѣшительная нотка... Онъ терпѣть не могъ никакихъ объясненій и съ недовольнымъ видомъ занялъ свое мѣсто у оттоманки.

— Я слушаю, Василиса Ильинична...

Она взглянула на него такими виноватыми глазами. Ей хотѣлось раскрыть всю душу, все разсказать... Пусть будетъ что будетъ, но только не это адское состояніе. Господи, если бы это былъ настоящій мужъ... Да, тогда онъ бы понялъ ее, каждое движеніе, каждое недосказанное слово понялъ... Истинно любящіе люди и могутъ убить и могутъ простить, а тутъ ничего, ничего, ничего! Николай Ивановичъ исчерпалъ весь запасъ того вниманія, какое полагается мужу, и сидѣлъ на стулѣ съ такимъ видомъ, какъ ожидающій отпуска человѣкъ. Онъ какъ-то покряхтывалъ, потиралъ жирное колѣно жирной ладонью и съ тоской поглядывалъ на дверь.

— Убирайтесь вонъ!—неожиданно крикнула Василиса Ильинична, приподнимаясь.

Николай Иванычъ нисколько не смутился, а только шепеляво проговорилъ:

— Это, матушка, совсѣмъ не по-европейски... Я и такъ уйду. Гм... да...

— Ради Бога уходите!..

Онъ посмотрѣлъ на нее какими-то мертвыми глазами и, сдерживая зѣвоту, медленно направился къ двери. Очевидно, у Василисы Ильиничны разыгрались нервы, и еще болѣе очевидно, что онъ въ этомъ обстоятельствѣ виноватъ столько же, какъ въ прошлогоднемъ снѣгѣ.

— Что же, пора и уѣзжать...—еще разъ согласился онъ съ женой. — И въ Москвѣ люди живутъ...

Вечеромъ на террасѣ опять играли въ винтъ, въ саду опять блуждалъ „мученикъ“ а на нижней террасѣ Карповъ подъ треньканье гитары пѣлъ:

Каждый день она къ фонтану
Шла, красой своей сіяя...
Каждый вечеръ ей навстрѣчу
Выходилъ невольникъ юный...

Василиса Ильинична лежала на своей оттоманкѣ, спрятавъ лицо въ подушки. О, каждое слово этихъ гейневскихъ стиховъ рвало ея сердце, и она безутѣшно плакала. Вѣдь все кончено, вся жизнь—впереди ничего, ничего... Не жила и должна умереть.

— Барыня... а барыня?—послышался въ дверяхъ нерѣшительный голосъ няни Прокофьевны.

— Чего тебѣ, няня?

— Да вотъ... этотъ нехристь... Ибрагимка...

Старуха, оглядываясь, вошла въ номеръ и подала барынѣ букетъ розъ.

— Передай, говоритъ, барынѣ, а она ужъ знаетъ...

Василиса Ильинична вскочила, какъ ужаленная.

— Ибрагимъ? Да какъ онъ смѣлъ, негодяй!.. Гони его!.. Нѣтъ, постой, я ему должна...

Она достала изъ портмонэ имперіалъ и прибавила:

— Вотъ, отдай ему долгъ...

— А пукетъ?

— Брось куда-нибудь...

Ибрагимъ ждалъ у лѣстницы въ садъ. Прокофьевна спрятала деньги въ карманъ, разсуждая такъ: „И зачѣмъ нехристю деньги травить? Пусть съ другихъ барынь получаетъ... У денегъ-то глазъ нѣтъ“.

— Ты чего тутъ торчишь?—сурово обратилась она къ Ибрагиму.—Вотъ тебѣ твой пукетъ...

Цвѣты полетѣли прямо въ лицо Ибрагиму, который совершенно растерялся.

— Я... баринь хочу видѣть...

— Я вотъ тебѣ покажу такую барыню! Вонъ Николай-то Иванычъ на галдареѣ сидитъ... Чтобы духу твоего поганаго здѣсь не было!

Сконфуженный такимъ пріемомъ, Ибрагимъ быстро повернулся и запагалъ къ задней садовой калиткѣ. Расхрабрившаяся старуха схватила камень и запустила имъ вдогонку.

— Вотъ тебѣ, окаянный!..

Нѣмымъ свидѣтелемъ этой сцены былъ „мученикъ“, спрятавшійся за кустомъ сирени.

На верхней террасѣ продолжалась игра, причемъ Николай Иванычъ отличался особенной разсѣянностью. Ему нравилась мысль, какъ завтра инженеръ Прокудинъ и докторъ Кубасовъ придутъ вечеромъ на обычную партію винта, а его, Амфалова, и слѣдъ простылъ. Ужасно глупое положеніе друзей... Николай Иванычъ внутренне хихикалъ и говорилъ ни къ селу ни къ городу:

— Ахъ, господа, ѣдали вы когда-нибудь настоящій малороссійскій борщъ? Да-а... Онъ приготовляется съ жареными голубями. Одинъ поваръ въ Москвѣ готовитъ молодыхъ барашковъ... гм... Вы сказали — третьи пики? Я — четвертыя бубны... Да, барашковъ... Нужно, чтобы барашекъ пахнулъ дымомъ...

1901.

ГОРНАЯ НОЧЬ.

Эскизъ.

I.

Солнце уже спускалось надъ горнымъ хребтомъ Авалякъ. Рѣка Бѣлая подернулась туманомъ. Изъ березоваго лѣска, на опушкѣ котораго раскинута была наша расшитая бухарская палатка, потянуло сыростью. Мы ночевали уже вторую ночь въ горахъ, и я, сидя на коврѣ, долго любовался чудной картиной горнаго заката, когда по горамъ бродятъ фіолетовыя тѣни, а въ ущельяхъ наливается волокнистый туманъ. Ближайшее жилье, безыменная башкирская деревушка, была заслонена отъ насъ свѣтлымъ, какъ транспарантъ, березнякомъ. Сейчасъ видно было только, какъ поднимаются изъ-за зеленыхъ купъ тонкія струйки синеватаго дыма. Это топились башкирскія чувалы (каминъ изъ битой глины) для какихъ-то фантастическихъ хозяйственныхъ соображеній. Деревушка вымирала голодной смертью, и топить чувалы было не для чего.

Мы путешествовали по южному Уралу съ полнымъ комфортомъ, какой можетъ дать только привольная жизнь на золотыхъ промыслахъ. Мой спутникъ, Александръ Васильичъ, любилъ удобства вообще, а въ данномъ случаѣ хотѣлъ сохранить престижъ главнаго управляющаго цѣлой золотоносной системы. Въ этихъ видахъ впереди насъ шла тройка съ палаткой и кухней, а назади—другая тройка, съ прислугой. Къ этому еще нужно прибавить проводниковъ и почетную стражу изъ любопытныхъ башкиръ. Вообще вся обстановка путешествія носила импонирующій характеръ и на языкѣ промысловой ариѳметики стоила сущій грошъ, потому что лошади все равно стояли по конюшнямъ даромъ и требовали проминки, а промысловая челядь, ютившаяся около главной конторы, все равно получала бы и свое жалованье и свои харчи. Былъ въ нашей свитѣ даже свой придворный льстецъ, который по своей охотѣ провожалъ насъ цѣлыхъ шестьдесятъ верстъ верхомъ съ единственной цѣлью выслужиться предъ Александромъ Васильичемъ.

— Ты-то зачѣмъ, Бураковъ, трясешься за нами?—спрашивалъ его Александръ Васильичъ.—Тебя вѣдь никто не звалъ.

— А я такъ... Очень ужъ пріятно на настоящихъ господъ поглядѣть,—оправдывался жиденькимъ, „пшеничнымъ“ тенорокомъ Бураковъ, вихлястый и нескладный мужикъ съ необыкновенно длинной шеей и соотвѣтствующе длиннымъ носомъ и узенькими мышиными глазками.—Мнѣ это первое дѣло, чтобы угодить настоящимъ господамъ. Я вѣдь достаточно привѣсился ко всякой господской повадкѣ и могу вполнѣ подражать въ характеръ.

Бураковъ принадлежалъ къ числу промысловыхъ темныхъ людей, имя которымъ легіонъ. Отъ настоящей мужицкой работы онъ давно отбился, а жилъ такъ, чѣмъ придется, какъ живутъ только на Руси. То онъ бралъ какія-то дѣлянки, то продавалъ лошадей и вездѣ получалъ убытки, а все-таки ухитрялся существовать. Послѣдней счастливой мыслью Буракова была торговля. Денегъ у него, конечно, не было, и на этомъ основаніи онъ просиживалъ цѣлые дни у крылечка главной пріисковой конторы, выжидая появленія Александра Васильича, причемъ вскакивалъ, какъ ужаленный, срывалъ торопливо шапку съ головы и отвѣшивалъ поклонъ.

— Ну что̀, Бураковъ?—спрашивалъ Александръ Васильичъ.

— А ничего... Слава Богу, живемъ. Вотъ торговлишку хочу завести.

— Для торговли нужны деньги...

— Вотъ-вотъ, въ самый разъ. Значитъ, я и пришелъ посовѣтоваться съ вами... Какъ ужъ вы, значитъ, опредѣлите...

— При чемъ же тутъ я? Вотъ тебѣ разъ...

— Значитъ, вобче...

— Ничего не выйдетъ, и ты напрасно здѣсь сидишь.

Бураковъ провожалъ насъ на охоту, привозилъ кумысъ, добывалъ откуда-то рыбу и т. д. Ему, видимо, больше всего нравилась хоть въ этой формѣ близость къ настоящимъ господамъ. Молва говорила, что онъ перепродаетъ краденыхъ лошадей, приторговываетъ краденымъ золотомъ и вообще занимается художествами, но по промысловой логикѣ: не пойманъ—не воръ, и Бураковъ могъ смѣло смотрѣть въ глаза настоящимъ господамъ.

Когда мы ѣхали въ горы и Бураковъ трясся около нашего экипажа на горбоносой киргизской лошади, Александръ Васильичъ замѣтилъ:

— Посмотрите на него: вѣдь онъ будетъ непремѣнно купцомъ. Я въ этомъ убѣжденъ... Удивительная настойчивость хотя по отношенію ко мнѣ. У меня не разъ являлось преступное желаніе отвязаться отъ него, т.-е. дать сто рублей на разживу. Я убѣжденъ, что онъ мнѣ возвратитъ меньше чѣмъ черезъ годъ, съ процентами въ видѣ фунта гнилого изюма. Вообще, это человѣкъ будущаго...

Бураковъ обладалъ цѣлой массой тѣхъ маленькихъ талантовъ, которые скрашиваютъ жизнь. Онъ и бухарскую палатку умѣлъ поставить, и нахолодилъ кумысъ въ рѣкѣ, и привезъ съ собой лимонъ, о которомъ забылъ состоявшій при Александрѣ Васильичѣ „человѣкъ“, и баранину умѣлъ поджарить прямо на угляхъ,—однимъ словомъ, молодецъ на всѣ руки. Челядинцы только разводили завистливо руками, изумляясь неистощимой изобрѣтательности „человѣка будущаго“.

— Его шиломъ выкормили,—объяснялъ суровый кучеръ Андронъ, разглаживая окладистую рыжую бороду.—Вотъ онъ и тормошится.

Нужно сказать, что наши конвойные были молодецъ къ молодцу—рослые, широкоплечіе, бородатые. Это были потомки далекихъ переселенцевъ изъ средней Россіи, когда на южномъ Уралѣ вершилось блаженной памяти казенное горное дѣло. Великорусскій типъ сохранился вполнѣ и даже улучшился на южно-уральскомъ привольѣ.

II.

Итакъ, спускался чудный лѣтній вечеръ. Завтра раннимъ утромъ мы выступали въ походъ уже верхомъ, а нашъ обозъ оставался на мѣстѣ. Вызваны были спеціалисты-проводники башкиры, которые сейчасъ сидѣли на корточкахъ около огонька и оживленно бесѣдовали, вѣроятно, обсуждая

завтрашнее событіе. Башкиры—типичный народъ-нищій, вымирающій подъ напоромъ россійской цивилизаціи съ фаталистической покорностью. Но въ этихъ нищихъ еще сохранились слѣды настоящаго степного джентльменства и своеобразной граціи,—иначе я не умѣю назвать ихъ дѣтскую наивность и довѣрчивость. Заботы о будущемъ не шли дальше сегодняшняго дня, и вотъ они сидятъ около чужого огня, счастливые, позабывшіе вѣчную домашнюю нужду, точно растворившіеся въ настоящей блаженной минутѣ. И въ лицахъ у нихъ—что-то такое по-дѣтски добродушное. Вотъ по части одежды очень плохо,—большинство щеголяло въ самыхъ отчаянныхъ лохмотьяхъ, причемъ маленькая особенность—ни одного босого. Я долго наблюдалъ этихъ дѣтей горной уральской глуши, и какъ-то было жутко думать, что они уже осуждены на уничтоженіе. Исторія вынесла свой вердиктъ, а жизнь приводила его въ исполненіе. Безпомощность башкиръ особенно рельефно выдѣлялась по сравненію съ богатырями-конвойцами.

— Ишь, ждутъ, когда барана будутъ рѣзать,—сердито объяснялъ кучеръ Андронъ, закуривая отъ головешки свернутую изъ газетной бумаги цыгарку.— Только помани ихъ барашкомъ—за сто верстъ набѣгутъ.

Дѣйствительно, сегодня вечеромъ готовилось великое торжество. Бураковъ еще раннимъ утромъ успѣлъ съѣздить куда-то верстъ за двадцать и привезъ поперекъ сѣдла большого курдючнаго барана, который теперь въ блаженномъ невѣдѣніи пасся на зеленой муравѣ сейчасъ за палаткой. Затѣя устроить пиръ принадлежала, конечно, Буракову, причемъ онъ впередъ выговорилъ себѣ баранью шкуру за хлопоты. Между прочимъ онъ пообѣщалъ показать башкирскій хороводъ, въ чемъ всѣ сомнѣвались, потому что башкирки не показываются на глаза чужихъ мужчинъ, а при случайныхъ встрѣчахъ, по правиламъ строгой башкирской вѣжливости, поворачиваются къ встрѣчнымъ мужчинамъ спиной.

— Зря захвалился нашъ Бураковъ,—говорили наши конвойцы.—Гдѣ ему привести башкырокъ... Ни въ жисть!.. Ему башкыры-то и башку оторвутъ за его художество.

Эти сомнѣнія высказывались вслухъ, но „человѣкъ будущаго“ не унывалъ и передъ самымъ вечеромъ, когда Александръ Васильичъ отправился стрѣлять утокъ на Бѣлую, онъ таинственно исчезъ.

Когда солнце сѣло за горный кряжъ, Александръ Васильичъ вернулся. хота была неудачная, и онъ былъ не въ духѣ.

— Гдѣ Бураковъ? Ничего не будетъ... Нужно рѣзать барана, а его нечего ждать.

— Вотъ Мурача зарѣжетъ,—замѣтилъ кучеръ Андронъ, указывая на сѣдого башкира съ бронзовымъ отъ загара лицомъ.—Онъ это въ лучшемъ видѣ оборудуетъ...

— Ну, пусть Мурача... Мнѣ все равно.

Башкиры гурьбой отправились за нашу палатку, а кучеръ Андронъ началъ разводить костеръ принесенными заранѣе дровами. Надъ костромъ болтался на шестикѣ большой чугунный котелъ, въ которомъ должна была вариться баранина. Андрону съ какимъ-то ожесточеніемъ помогали другіе мужики, ругая по пути Буракова на чемъ свѣтъ стоитъ.

— Гдѣ ему, долговязому. На словахъ-то онъ, какъ гусь на водѣ.

— Хвастунъ долгоносый...

— Въ болотѣ гдѣ-нибудь завязъ, какъ журавль.

— Сбѣсился онъ окончательно.

Баранъ былъ освѣжеванъ съ замѣчательной быстротой. Это была на-

стоящая артистическая работа. Наступила уже быстрая горная ночь, казавшаяся темнѣе отъ яркаго костра. Вѣсть о готовившемся пиршествѣ, очевидно, успѣла облетѣть всѣ избенки скрытой за лѣсомъ башкирской деревушки, и начала понемногу подбираться публика. Башкиры подходили по одному и по двое, держались нѣкоторое время въ темнотѣ, а потомъ уже вступали въ освѣщенный огнемъ кругъ, точно подкрадывались, кккъ дѣлаютъ бездомныя собаки. Съ большими появились подростки и совсѣмъ маленькіе малайки (малайка—мальчикъ). Не видно было только ни одного женскаго лица.

— Прогулялъ нашъ Бураковъ своего барана.—глумились теперь уже всѣ.—Развѣ какая косточка обглоданная достанется.

— Ладно ему и такъ, хвастуну.

Дѣйствительно, вареная и жареная баранина скоро поспѣла, а Буракова все не было.

— Ну, пора ѣсть,—рѣшилъ Александръ Васильичъ, начинавшій тоже сердиться на „человѣка будущаго".—И для чего онъ придумалъ этотъ дурацкій хороводъ... Удивительная фантазія! А впрочемъ, чортъ его знаетъ. Надо и ему оставить кусочекъ баранины.

Пиръ вышелъ на славу. Дѣлежка мяса предоставлена была Мурачѣ, который и выполнилъ свою задачу съ математической точностью, причемъ баранья печенка и почки были предоставлены господамъ. Наши конвойцы проявили при этомъ замѣчательную деликатность, уступая лучшіе куски башкирамъ.

— Пусть ихъ поѣдятъ... Имъ въ диковинку баранина-то.

Самымъ лакомымъ кускомъ оказался курдючный жиръ, который былъ подѣленъ между башкирами. Каждый изъ башкиръ, получивъ свою порцію въ сложенныя вмѣстѣ ладони, выходилъ изъ освѣщеннаго круга, поворачивался къ огню спиной и, усѣвшись на корточки, принимался за ѣду

— Точно зайцы сидятъ въ травѣ,—смѣялся Александръ Васильичъ.—Это они изъ вѣжливости...

Въ самый разгаръ нашего пира раздался голосъ кучера Андрона:

— Бураковъ ѣдетъ!..

Всѣ повскакали, ожидая чего-то необыкновеннаго. Дѣйствительно, ѣхалъ Бураковъ, а за сѣдломъ у него мотался какой-то человѣкъ. Впереди бѣжалъ башкиренокъ-малайка и размахивалъ трехструнной киргизской балалайкой. Это былъ замѣчательно красивый мальчикъ съ смѣлымъ личикомъ и большими, темными, быстрыми глазами.

— Это у тебя что̀ за ворона?—галдѣли мужики, обступая кругомъ лошадь Буракова.

— Какая-то баба, братцы!.. Выкралъ гдѣ-то старуху...

Когда Бураковъ спѣшился, старуха оказалась старымъ беззубымъ старикомъ, да еще слѣпымъ. Всѣ шутки и смѣхъ сразу смолкли.

— Вотъ такъ хороводъ!—ахнула вся толпа.

— Не хороводъ, а сто̀итъ, можетъ, побольше хоровода,—спокойно заявилъ Бураковъ.—Ляксандра Васильичъ, вотъ какъ будете довольны...

Башкиры были какъ-то смущены, и въ ихъ толпѣ послышался шопотъ: „Байгушъ Надыръ! О, совсѣмъ слѣпой байгушъ" *)...

— Онъ, Ляксандра Васильичъ, не совсѣмъ того...—объяснялъ Бураковъ.—Значитъ, мѣшаный... Значитъ, не совсѣмъ въ умѣ. А только поетъ очень ужъ занятно...

Башкирскаго барда накормили бараниной и напоили кумысомъ. Это

*) Байгушъ—нищій.

былъ совсѣмъ тщедушный старичокъ съ козлиной бородкой. Голова у него немного тряслась. Около него образовался кругъ. Байгушъ Надыръ посадилъ рядомъ съ собой своего мальчика, настроилъ балалайку и заигралъ какую-то монотонную грустную мелодію, а потомъ запѣлъ дрожавшимъ старческимъ голосомъ. Во время пѣнія онъ раскачивался изъ стороны въ сторону и въ патетическихъ мѣстахъ припадалъ головой къ землѣ. Бураковъ прекрасно говорилъ по-башкирски и переводилъ намъ дословно все.

„О, проклятый, проклятый генералъ Соймоновъ,—пѣлъ старикъ.—Ты построилъ городъ Оренбургъ... Проклятый генералъ Соймоновъ, ты поставилъ на горѣ двѣнадцать каменныхъ столбовъ, на каменныхъ столбахъ поставилъ двѣнадцать желѣзныхъ шестовъ, а на шесты посадилъ двѣнадцать башкирскихъ старшинъ, лучшихъ башкирскихъ старшинъ, проклятый генералъ Соймоновъ. Тутъ же на горѣ ты собралъ три тысячи лучшихъ башкиръ и отрѣзалъ имъ уши, другимъ отрубилъ руки, а четыреста человѣкъ повѣсилъ, кого за шею, кого за ребро. Вотъ какой ты, проклятый генералъ Соймоновъ... А башкирскіе старшины сдѣлали всего только одну ошибку—повѣрили тебѣ. Ахъ, если бы всѣ башкиры думали какъ одинъ человѣкъ, они никогда бы не повѣрили проклятому генералу Соймонову!..“

Башкиры сидѣли, склонивъ бритыя головы. Плачущій речитативъ невольно захватилъ всѣхъ. Что-то было особенное во всей картинѣ, точно въ самомъ воздухѣ рѣяли незримыя тѣни посаженныхъ на колъ башкирскихъ старшинъ, повѣшенныхъ и изувѣченныхъ. Народная пѣсня, какъ любящая мать, вспоминала погибшихъ своихъ дѣтей, а байгушъ Надыръ долго лежалъ, припавъ головой къ землѣ. Пѣсня передавала историческое событіе, перемѣшавъ имена. Дѣло происходило въ 1740 г., когда по поводу основанія Оренбурга возмутился „башкирскій ханъ“ Каракасалъ. Бунтъ былъ подавленъ и вызвалъ кровавую расправу, учиненную княземъ Урусовымъ. Экзекуція имѣла такой видъ: пять сообщниковъ Каракасала были посажены на колъ, 11 человѣкъ повѣшены за ребра, 85 человѣкъ повѣшены, такъ сказать, нормальнымъ образомъ, 21-му человѣку отрублены головы; а затѣмъ гдѣ-то „на одной горѣ“ подъ Сакмарскъ-городкомъ было отрублено еще 120 башкирскихъ головъ, 50 человѣкъ повѣшены, 300 башкиръ наказаны кнутомъ и, по урѣзаніи носовъ и ушей, отпущены на волю. Генералъ Соймоновъ тоже гдѣ-то скрывствовалъ и тоже чинилъ „знатное замиреніе“. Кажется, это было позже.

Потомъ байгушъ Надыръ пѣлъ о Кучюмовичахъ, о старомъ Сеитѣ, объ Алтынъ-Баѣ и Салаватѣ. Онъ самъ увлекался пѣніемъ и входилъ въ экстазъ.

Закончилось это пѣніемъ о какомъ-то молодомъ ханѣ Кучюмовичѣ, который скрывается въ степи, но со временемъ соберетъ всѣхъ башкиръ въ одно царство.

„О, молодой ханъ отомститъ за всѣхъ... Много прольется крови, а жирныя русскія бабы будутъ бѣжать за ханскимъ конемъ и ловить его стремя. Молодой ханъ будетъ справедливъ и убьетъ только однихъ мужчинъ, а женщинъ отдастъ въ неволю. Тогда будетъ счастье на землѣ... Всѣ башкиры будутъ счастливы и будутъ сыты каждый день. Много терпѣли башкиры, а молодой Кучюмовичъ отдастъ имъ все—и горы, и степи, и рѣки. Пойте молодого Кучюмовича и плачьте отъ радости...“

Начало уже свѣтать, когда нашъ праздникъ кончился. Всѣ были утомлены, но спать не хотѣлось.

— Да,—задумчиво повторялъ Александръ Васильичъ, когда мы сидѣли у потухавшаго костра.—Вѣдь если разобрать, такъ и мы... А впрочемъ, попробуемте заснуть.

1898.

ГОРОЙ.

Изъ лѣтнихъ скитаній по Уралу.

I.

Путешественники, которые теперь переѣзжаютъ черезъ Уральскія горы по желѣзной дорогѣ, даже приблизительно не могутъ себѣ представить всѣхъ тѣхъ неудобствъ и затрудненій, съ какими прежде неизбѣжно былъ соединенъ тотъ перевалъ изъ Европы въ Азію, или наоборотъ—изъ Азіи въ Европу.

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ мнѣ случилось ѣхать изъ Петербурга въ Зауралье. Студенческіе сборы невелики: тощенькій чемоданчикъ, подушка, тулупъ—и больше ничего. До Перми путешествіе въ лѣтнее время — я ѣхалъ въ началѣ іюня — обставлено всѣми удобствами цивилизаціи: до Нижняго по желѣзной дорогѣ, а отъ Нижняго — на пароходѣ. Все шло отлично, и черезъ пять дней я былъ въ Перми.

Итакъ, я въ Перми съ восемью рублями въ карманѣ, а нужно еще сдѣлать на лошадяхъ больше трехсотъ верстъ, притомъ приходилось ѣхать или почтовымъ сибирскимъ трактомъ на Екатеринбургъ, или еще болѣе убійственнымъ гороблагодатскимъ на Тагилъ. Первый путь былъ для меня длиннѣе, но можно было скорѣе найти компаньона; второй — короче, но приходилось искать компаньона. Получалось что-то въ родѣ сказочной „розстани", гдѣ расходились три пути-дороги: по первой поѣдешь — самъ будешь сытъ, конь голоденъ, по второй поѣдешь —конь сытъ, самъ голоденъ, и т. д. Съ восемью рублями въ карманѣ далеко не ускачешь, и мнѣ пришлось прождать въ Перми цѣлыхъ восемь дней, вѣроятно, по числу рублей, пока выискался попутчикъ.

Погода стояла отличная. Отъ Перми до Кыновскаго завода считается около 200 верстъ, и мы проѣхали этотъ конецъ ровно въ сутки. Въ Кыну намъ приходилось разстаться, — мой попутчикъ долженъ былъ ѣхать гороблагодатскимъ трактомъ дальше, къ Тагилу, а я предпочелъ отправиться „горой", т.-е. вверхъ по р. Чусовой. Мнѣ случалось тутъ ѣздить не разъ, и всегда съ особеннымъ удовольствіемъ дѣлалъ этотъ перевалъ верхомъ по бурлацкимъ тропамъ, такъ какъ тутъ на разстояніи семидесяти верстъ пути до деревни Межевой Утки, гдѣ была тогда демидовская пристань, не встрѣтишь ни одного колеса. Это замѣчательно дикій и глухой уголокъ, оставшійся какъ-то въ сторонѣ отъ всякой цивилизаціи,—и теперь тамъ нѣтъ колесныхъ дорогъ. Уральская желѣзная дорога окончательно убила эту позабытую Богомъ и людьми сторону, потому что прежде она оживала хоть на время навигаціи, когда по рѣкѣ Чусовой съ ранней весны до поздней осени сплавля-

лись заводскіе и купеческіе караваны, а нынче грузы идутъ желѣзнымъ путемъ.

Повѣрье, что если разъ не повезетъ, такъ не будетъ счастья до самаго конца, оправдалось на мнѣ самымъ блестящимъ образомъ. Оставшись въ Кыну, я никакъ не могъ найти верховой лошади и проводника на проходъ до Межевой Утки. Прежде всегда были лошади, и своя цѣна установилась— три рубля за пару лошадей. Я обходилъ весь заводъ, но никто не соглашался везти дальше ближайшей чусовской деревушки Деменевой. Чтобы не сидѣть въ Кыну, пришлось согласиться и на это, хотя въ Деменевой было всего пять дворовъ и трудно было разсчитывать на подводу.

— Да ужъ вѣрно тебѣ говорю: въ Деменевой завсегда лошади есть,— увѣрялъ меня старикъ-проводникъ.

— А если нѣтъ?

— Ну, тогда на лодкѣ подымутъ...

— Да вѣдь до Утки на лодкѣ ходу двое сутокъ?.. Верхомъ-то я утромъ изъ Кына, а къ вечеру на Уткѣ... Да и дорого на лодкѣ.

— Ужъ это обнакновенно, на коняхъ куда способнѣе. Ужъ это что̀ говорить... Тропами пятьдесятъ верстъ будетъ—не будетъ, а водой всѣ семьдесятъ. Не близкое мѣсто лодку-то подымать. Только лошади въ Деменевой завсегда есть...

Выбирать было не изъ чего, и пришлось согласиться съ гипотезой, что въ Деменевой непремѣнно должны быть лошади.

Мы выѣхали раннимъ лѣтнимъ утромъ чуть свѣтъ. И рѣка Чусовая и весь Кыновскій заводъ еще были подернуты туманной мглой. Этотъ Чусовской заводъ считается однимъ изъ очень красивыхъ на Уралѣ, но мнѣ положительно не нравится,—ужасно дикое мѣсто, и весь заводъ точно спрятался въ глубокой горной разсѣлинѣ. Прямо изъ завода наша дорога пошла въ гору, открывая горную панораму съ каждымъ шагомъ впередъ все шире и шире. Рѣка Чусовая съ вершины горы казалась такой обыкновенной рѣчонкой, которую только вотъ курицы не перебродятъ. Кругомъ обступили ее непривѣтливыя и высокія горы, заставляя выдѣлывать такія колѣна и кривулины, точно ползла змѣя. Мнѣ больше всего не нравится здѣшній лѣсъ—угрюмый, непривѣтливый, и эти болота, которыя не только въ низкихъ мѣстахъ, гдѣ имъ самъ Богъ велѣлъ быть, но и на горахъ. Послѣднее просто возмутительно. Подымаешься-подымаешься по каменистой дорогѣ въ гору,-и вдругъ верстъ на пять разляжется самая непролазная болотина, гдѣ приходится ѣхать то по колѣно въ грязи, то по такимъ сланямъ, гдѣ несчастная лошадь прыгаетъ съ мостовины на мостовину точно по клавишамъ фортепіано. Тутъ можно и ногу сломать и голову, а главное — такъ навихаетъ въ сѣдлѣ, что не скоро разогнешься. Впрочемъ, это только первая, самая скверная станція, а дальше дорога идетъ берегомъ Чусовой и ѣдешь даже съ удовольствіемъ.

Несмотря на хорошую погоду и сравнительно хорошую дорогу, мы въ Деменеву пріѣхали часовъ черезъ пять. Деменева раскидала свои пять избушекъ на лѣвомъ высокомъ берегу Чусовой, и можно только удивляться, что̀ заставляетъ крещеныхъ людей жить въ этой трущобѣ.

— Эй, кто живъ человѣкъ есть!.. — кричалъ старикъ, поочередно подъѣзжая къ избушкамъ и постукивая кнутовищемъ нагайки въ оконца.—Барина я привезъ, коней надобно... Эй, живая душа, выходи!..

Всѣ пять избъ точно вымерли, и только въ одной мелькнули бѣлыя дѣтскія головки и сейчасъ же спрятались. Въ самой послѣдней избушкѣ откликнулась какая-то больная старуха.

— Никого нѣту, родимые... и званья никого нѣтъ!—слышался разбитый старческій голосъ.

— Да вымерли, что ли?..

— Зачѣмъ вымирать... Мужики-то разбрелись по убившимъ баркамъ, ну и бабешки съ ними и дѣвки. По цѣлковому поденщины платятъ дѣвчонкамъ... вотъ какое дѣло. Въ Тесовомъ броду убившая барка, подъ Высокимъ Камнемъ.

— Ну что̀ я теперь буду дѣлать?—накинулся я на проводника:—вѣдь я тебѣ говорилъ, что лошадей нѣтъ... а?.. ну?..

— Вотъ поди жъ ты, какъ оно тово...

— Что̀ же я здѣсь буду дѣлать?..

Мой старикъ, видимо, былъ сконфуженъ и долго чесалъ кнутовищемъ у себя за ухомъ. Потомъ движеніемъ головы передвинулъ свою шляпу съ уха на ухо и убѣжденнымъ голосомъ проговорилъ:

— Чего-нибудь вретъ старуха, баринъ... Какая-нибудь да есть живая душа!..

Мы спѣшились. Старикъ пошелъ въ избу, а потомъ я видѣлъ, какъ онъ перелѣзалъ черезъ прясло въ сосѣдній огородъ. Черезъ четверть часа послышался разговоръ и даже смѣхъ. Мой проводникъ перелѣзалъ опять черезъ прясло, но теперь въ сопровожденіи какой-то бабы, которая не безъ кокетства толкала старика въ шею.

— Вонъ какую я тебѣ звѣрину привелъ, — весело заговорилъ старикъ, появляясь въ воротахъ, — почище другой лошади-то будетъ. Параха, вотъ тебѣ и баринъ...

— Лошади есть? — спросилъ я ухмылявшуюся Параху.

— Какіе у насъ кони, баринъ...

— Такъ какъ же?

— А ужъ не знаю...

— Ты зачѣмъ же ее привелъ въ такомъ случаѣ? — накинулся я опять на старика.

— Можетъ, у сусѣдей у кого кони есть?—заговорилъ старикъ.

— И у сусѣдей нѣтъ... Семишкина кобыла охромѣла, у другихъ кони въ пасевѣ. Да и какіе у насъ кони... Меринъ одинъ, да и тотъ кривой.

— Этакое пропащее мѣсто! — выругался старикъ и даже бросилъ свою шляпу о̀-земь. — Параха, такъ ка̀къ же мнѣ съ бариномъ быть?..

— Увезешь назадъ въ Кынъ, — хладнокровно отвѣтила Параха, почесывая одной голой ногой другую.

Средняго роста, съ бойкимъ лицомъ и высокой грудью, эта Параха была по-деревенски завидная баба. Ветхій, истрепанный сарафанишко изъ линючаго и гнилого ситца сидѣлъ на ней съ тѣмъ особеннымъ щегольствомъ, какъ ходятъ только заводскія бабы. Здоровая, загорѣлая Параха глядѣла вообще козыремъ, какъ всѣ чусовскія бабы, побывавшія на сплавахъ.

— Придется, видно, тебѣ, баринъ, на душегубкѣ рѣкой подыматься, — рѣшилъ наконецъ старикъ:—вотъ Параха въ лучшемъ видѣ предоставитъ... Предоставишь, Параха?.. Вонъ и лодки валяются: любую да лучшую выбирай.

Параха помялась для церемоніи, а потомъ согласилась.

II.

Наши сборы были недолгіе. Параха сбѣгала въ избу захватить поникъ и краюшку хлѣба, наказала что-то семилѣтней босоногой дѣвчонкѣ, потомъ перемолвилась чрезъ окошко съ больной старухой — и все тутъ. Было

часовъ около десяти утра, и въ воздухѣ чувствовался наливавшійся лѣтній зной. Наши лошади стояли, понуривъ головы, и тяжело отмахивались грязными хвостами отъ жужжавшихъ слѣпней. Мы спустились подъ гору, къ рѣкѣ, гдѣ на берегу валялось до десятка лодокъ-однодеревокъ, извѣстныхъ подъ названіемъ душегубокъ. Названіе самое подходящее, потому что, когда я помѣстился въ одну изъ такихъ скорлупъ, а за мной стала Параха съ легкимъ шестикомъ въ рукахъ, борта лодки отдѣлялись отъ воды всего какимъ-нибудь вершкомъ запаса.

— Надо бы съ барина на шкаликъ... — говорилъ старикъ, отталкивая лодку.

— За что это шкаликъ-то?..

— Какъ же... Вотъ какая баба-то: дерево смолевое, да и солдатка къ тому будетъ.

— Будетъ тебѣ, мелево!..—огрызнулась Параха и такъ двинула шестомъ, что наша лодка полетѣла вверхъ стрѣлой.

Нужно сказать, что чусовляне, какъ мужики, такъ и бабы, никогда не ѣздятъ въ своихъ душегубкахъ сидя, а непремѣнно стоя. Маленькое и короткое веселко лежитъ въ носу лодки только на случай, когда выдается особенно глубокое мѣсто, гдѣ шестикъ не достаетъ, или когда приходится переплывать рѣку. Около берега лодка всегда идетъ на шестикѣ, т.-е. пловецъ стоитъ на носу лодки и упирается шестомъ въ дно. Когда плывутъ двое, то можно полюбоваться,—душегубка летитъ впередъ, какъ щука. С[illegible] такъ и кажется, что въ такой верткой и неустойчивой лодкѣ в[illegible] десяти саженяхъ, особенно въ бойкихъ мѣстахъ, какъ чусов[illegible], гдѣ струя бьется въ край лодки съ шумомъ и точно нарочно стараетс[illegible] опрокинуть ее. Но стоило присмотрѣться къ той же Парахѣ, какъ [illegible] стояла своими голыми ногами и какъ ловко работала шестикомъ, чтобы всякій страхъ прошелъ навсегда.

— Вѣдь ты устанешь скоро?—спрашивалъ я, съ удовольствіемъ растягиваясь по дну лодки.

— Зачѣмъ устану... сызмальства на водѣ бьемся... привышны... А пристану, такъ бечевой пойду... не впервой.

Параха молодцовато взмахнула шестомъ, который едва доставалъ до дна. Несмотря на малую лѣтнюю воду, Чусовая все-таки представляла и теперь громадную силу сопротивленія,—чувствовалось, какъ струя била въ дно лодки и точно не пускала ее впередъ. Паденіе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ было настолько велико, что положительно приходилось плыть въ гору. Изъ сплавныхъ рѣкъ Чусовая въ этомъ отношеніи занимаетъ первое мѣсто.

День былъ великолѣпный. Скоро сдѣлалось до того жарко, что можно было изжариться въ собственномъ соку. А Параха все помахивала своимъ шестикомъ, и можно было только удивляться желѣзной выносливости этого на диво сколоченнаго тѣла. Вѣдь эта работа пойдетъ и часъ, и два, и три. Каждый шагъ впередъ покупался громаднымъ напряженіемъ, а лодка шла ровнымъ, мѣрнымъ ходомъ, точно работалъ не человѣкъ, а машина. Изрѣдка Параха отмахивалась отъ одолѣвавшихъ ее мухъ, отирала потъ съ лица и съ улыбкой начинала опять мѣрять дно своимъ шестомъ.

Замѣчательная это рѣка Чусовая... Какъ всѣ настоящія красавицы, она хороша неувядающей красотой, которая въ каждое время года [illegible] особенную прелесть. Весной — это дикій, неукротимый звѣрь, к[illegible] съ ревомъ и стономъ, бросаясь на тѣснящія каменныя громад[illegible] — это суровая, угрюмая рѣка, которая льется точно по высѣченному [illegible] ко-

ридору; зимой—настоящая спящая красавица, скованная льдомъ и занушенная глубокимъ снѣгомъ. Теперь, лѣтомъ, Чусовая катится въ зеленыхъ берегахъ, мимо бойцовъ, горныхъ тѣснинъ и крутыхъ мысовъ лѣнивой струей, которая бурлитъ и бунтуетъ только на переборахъ. Что-то такое лѣнивое и сонное, ласковое и сильное чувствуется кругомъ... Вонъ и кустики распушились по берегу и свѣсили надъ водой свои зеленыя вѣтки; вонъ густая сочная осока зеленымъ бархатнымъ ковромъ ушла въ самую рѣку; вонъ красуются на берегу заливные луга, дремучій хвойный лѣсъ, свѣжіе березняки и остальная лѣсная поросль. Откуда-нибудь изъ осоки бросается въ воду утиный выводокъ, тамъ насвистываютъ кулички и разная другая болотная мелочь. Всѣмъ и честь, и мѣсто, и покой, и только на голыхъ скалахъ остаются грязно-бурыя полосы, обозначающія вешній уровень воды. Глядя на развертывающіяся предъ вами картины мирнаго горнаго пейзажа, какъ-то отказываешься вѣрить, что эта же самая рѣка поднимается весной иногда на три сажени и сметаетъ, какъ пыль, не только траву и кусты, но многолѣтнія деревья. Хороша именно эта дремлющая сила, которая отдыхаетъ теперь, какъ заснувшій богатырь.

Да, мирно и тихо кругомъ. Горячо печетъ уральское солнце. Кое-гдѣ высыпетъ на берегъ мертвая деревушка, попадетъ гульная лошадь, которая мирно пасется въ густой травѣ, обгонитъ лодка,—и опять зеленая пустыня охватитъ васъ своимъ чарующимъ покоемъ, точно плывешь въ какомъ-то сказочномъ царствѣ. Вонъ и каменные дворцы, крѣпости, башни, валы... Тамъ, высоко-высоко надъ головой, по уступамъ и трещинамъ лѣпятся горныя ели и сибирскіе кедры, и кажется, что это не деревья, а живые люди. Вонъ спрятался за выступомъ скалы цѣлый военный отрядъ, выше на скалѣ неподвижно торчитъ часовой, а тамъ изъ-за зубчатыхъ стѣнъ выглядываютъ однѣ головы сказочныхъ богатырей. Не хочется вѣрить, что все здѣсь мертво и пусто. Воображеніе пишетъ движенія и жизни, глазъ придаетъ человѣческія формы дереву, ухо слышитъ и далекій звонъ, и окрикъ часовыхъ, и неясный гулъ тяжелыхъ шаговъ... Нѣтъ, это одна рѣка, сжатая въ каменныхъ берегахъ, разговариваетъ сама съ собой и разсказываетъ безконечную сказку.

Мечтаешь съ открытыми глазами и чувствуешь, какъ дѣлаешься сильнѣе и точно лучше. Даже Параха на время превращается въ сказочную улыбающуюся красавицу, которая ведетъ свою лодку куда-нибудь въ замокъ.

— Нонѣ вода у насъ страшенная была по веснѣ,—говоритъ Параха,—коломенокъ страсть сколько убилось... Больше внизу, у Кумыша подъ бойцами.

— У Молокова?

— И у Молокова и у Горчака... Слышь, семнадцать барокъ одинъ Горчакъ съѣлъ. Страсть была одна... Ну, и верховые бойцы тоже здорово играли. Сила не взяла на баркахъ-то... Человѣкъ сотня бурлачковъ перетонуло, сердешныхъ. Снѣга больно глубоки были, а весна выпала поздняя, дружная,—ну, рѣка и взыграла. Теперь чусовлянамъ на все лѣто хватитъ работы: металлъ добываютъ изъ воды, а потомъ грузить будутъ на полубарки да сплавлять по межени *).

— А подъ верхними бойцами тоже много убилось коломенокъ?

— По всей рѣкѣ... Наши деменевскіе страсть сколь денегъ зарабливаютъ съ убившихъ коломенокъ.

— А ты?

*) Межень — лѣтняя вода.

— И я робила... только вышла домой-то робятишекъ провѣдать. Тоже гребтится... Въ деревнѣ-то одна старуха осталась. Кому горе да разоренье, а намъ хлѣбъ... это съ убившихъ-то барокъ. Вонъ подъ Зайчикомъ ихъ шесть штукъ расшиблось... съ пшеницей шли. Ну, теперь который мѣсяцъ кули изъ рѣки на берегъ тащатъ да сушатъ, а пшеница такъ и прѣетъ. Да вотъ самъ увидишь...

Мы разговорились. Меня заинтересовала жизнь такой глухой деревушки, какъ Деменева. Но Параха не умѣла разсказать, что̀ было мнѣ нужно, т.-е. о другихъ. О себѣ она говорила просто и толково. Неприглядная эта бабья жизнь. Она вышла за молодого парня, а потомъ мужа взяли въ солдаты. Куда-то подъ хивинца ушелъ. Послѣ мужа осталось двое ребятъ.

Куда же идетъ эта лошадиная бабья работа, заботы, непокрытая нужда? Мнѣ становится жаль Парахи, собственно даже не Парахи, а той солдатки, которая сидитъ въ ней... Что-то такое темное и стихійно-злое есть въ человѣческой жизни, которое роковымъ образомъ становится поперекъ дороги, какъ вотъ эти чусовскіе бойцы.

— Скоро, видно, и Зайчикъ будетъ, — говоритъ Параха, налегая на свой шестикъ съ видимымъ усиліемъ. Въ теченіе трехъ часовъ она отдохнула всего раза два, чтобы напиться. — Краюхина, Прова Михайлыча, слыхивали можетъ?

Я назвалъ пристань, гдѣ царилъ Провъ Михайлычъ.

— Онъ самый... Шесть барокъ убилъ нынѣ. Разорится, говорятъ... Только нечисто дѣло вышло у него...

— А что̀?..

— Да такъ... нечисто. Грѣхъ случился...

Какой грѣхъ?

Разное болтаютъ: онъ на зайчиковскихъ мужиковъ жалится, мужики — на его... Всякъ свое говоритъ. Конечно, не баская слава про Зайчики ходитъ, ну, да мало ли что̀ болтаютъ.

III.

Черезъ четверть часа показался длинный мысъ, на которомъ высыпала бойкая деревнюшка дворовъ въ двадцать. Она извѣстна подъ именемъ Зайчиковъ *) и получила свое названіе отъ страшнаго бойца, который стоитъ немного повыше деревни. Еще подъѣзжая къ деревнѣ, издали можно видѣть верхушку большой известковой скалы; она стоитъ въ крутой излучинѣ, въ самомъ прибоѣ, и весной здѣсь ежегодно бьются барки. Этотъ боецъ пользуется громадной извѣстностью у бурлаковъ; „игристый камешекъ этотъ Зайчикъ веселенькій“...

Странно то, что этотъ боецъ создалъ деревню. Нужно кому-нибудь вытаскивать убитыя барки, перегружать металлы и разный другой грузъ, — вотъ и выросла цѣлая деревушка. Страшный боецъ каждый годъ давалъ работу на цѣлое лѣто.

Видъ деревни, какъ вообще всѣхъ чусовскихъ поселковъ, не особенно привлекателенъ, и первое, что̀ бросается въ глаза, это — необыкновенная близость лѣса. Нѣкоторыя избы стоятъ почти совсѣмъ въ лѣсу. По линіи берега попадается нѣсколько покосовъ, есть даже пашня — и только. Скотина

*) Зайчикъ — вымышленное названіе: между Кыной и Межевой Уткой такого бойца нѣтъ, какъ нѣтъ и деревни.

пасется въ лѣсу. Избы разставлены безъ всякаго порядка; постройка хорошая, благо лѣсу не занимать стать. Правый берегъ гористый; лѣвый, гдѣ выдался мысъ, отлогій, и только вдали синѣется горный скалистый гребень. Вообще мѣсто непривѣтливое и дикое. Жители — раскольники безпоповщинскаго толка, или, какъ говорятъ на Уралѣ, кержаки.

— Пустая деревня-то, всѣ на работѣ, — объясняла Параха, когда наша лодка ткнулась носомъ въ песчаный берегъ.

— Подъ бойцомъ?

— Подъ нимъ подъ самымъ. Вонъ, видишь, черныя кучи на берегу, — это все мокрая пшеница навалена. Около нея страсть сколько народу бьется...

— Ну что̀, устала?..

— Не то чтобы больно пристала, а только плечо ломитъ да поясница отниматься начала.

Параха улыбнулась, показавъ свои бѣлые зубы. По уговору она обязалась доставить меня въ Зайчики и теперь поздравляла съ приваломъ, какъ это дѣлаютъ всѣ бурлаки. Взваливъ мои пожитки на плечо, она зашагала къ большой пятистѣнной избѣ, изъ воротъ которой бросилось на насъ штукъ пять собакъ.

Пропасти на васъ нѣтъ... — ругалась Параха, отмахиваясь отъ собакъ моимъ чемоданомъ. — Эй, кто дома живъ человѣкъ есть!.. Сосипатръ-то дома?..

Изъ глубины темнаго двора, крытаго на раскольничій манеръ глухой крышей, послышался сначала старческій кашель, а потомъ несвязное бормотанье. Это и былъ Сосипатръ, лысый, сгорбленный старикъ, едва тащившій свои кривыя ноги. Онъ посмотрѣлъ на насъ изъ-подъ руки, какъ смотрятъ противъ солнца, и заговорилъ:

— Это никакъ ты, Параха... и съ бариномъ, надо полагать.

— Въ лѣсу нашла да вотъ привезла тебѣ показать: можетъ, поглянется, а не поглянется — вези дальше.

— Куда везти-то?..

— На пристань, на Межевую Утку.

— Коней-то нѣтъ дома... въ пасевѣ гуляютъ.

— Пошлешь за конямъ, — рѣшила Параха.

— А кто повезетъ? — спрашивалъ старикъ, продолжая разглядывать насъ изъ-подъ руки.

— Самъ повезешь... недалеко.

— Это на вершной-то?.. Востра больно! Изъ Деменевой везла барина-то?..

— Изъ Деменевой... Да ты что̀ насъ въ избу-то не зовешь, дѣдка?.. Баринъ поись хочетъ и чайку испить... Провъ-то Михайлычъ, видно, у тебя проживаетъ?

— Видно, у меня... Ну, заходите, инъ, въ избу. Спитъ Провъ-то Михайлычъ...

Мы вошли въ темный дворъ, поднялись по крылечку и очутились наконецъ въ избѣ, гдѣ на лавкѣ спалъ Провъ Михайлычъ, а напротивъ сидѣла какая-то молоденькая дѣвушка въ яркомъ кумачномъ сарафанѣ.

— Это ты, Лукерья? — удивилась Параха, складывая мое имущество на лавку.

Лукерья ничего не отвѣтила, а только указала глазами на громадную фигуру Прова Михайлыча, лежавшаго на лавкѣ подъ окномъ.

— Да вѣдь онъ, сказывали, прогналъ тебя? — шопотомъ говорила Параха, здороваясь.

— Сперва прогналъ, а потомъ опять вытребовалъ, — шопотомъ отвѣтила Лукерья, искоса взглядывая на меня. — Замаялась я съ нимъ, Паранюшка.

— Легкое мѣсто сказать: вотъ какое дерево... Вотъ что̀, Лукерьюшка, спроворь барину моему самоварчикъ. Я говорила Сосипатру, да вѣдь онъ забудетъ. Есть самоваръ-то у васъ?..

— Какъ же, есть... У Прова Михайлыча свой есть. Я сама поставлю, скорѣе дѣло-то будетъ.

Когда Лукерья вышла изъ избы, Параха сообщила шопотомъ, что эта Лукерья и есть „главная причина“ всему дѣлу.

— Какому дѣлу?

— Ну, убившія барки, значитъ... отъ нея все горе Прову-то Михайлычу. Вотъ ужо поѣдете, такъ Сосипатръ дорогой-то все обскажетъ...

Пока старикъ ходилъ въ лѣсъ за лошадьми и пока Лукерья ставила самоваръ, я пошелъ размять ноги. Деревня вся точно вымерла, и только оставались однѣ собаки. Всѣ были около убитыхъ барокъ. Я пошелъ по берегу къ бойцу. Большія темныя кучи, на которыя указывала давеча Параха, оказались цѣлыми валами изъ кучъ съ пшеницей. Нѣсколько кучъ были изъ чистаго зерна, которое „горѣло“ на солнцѣ. Ближе можно было уже слышать прогорклый запахъ зерна.

Нѣсколько женщинъ были заняты разборкой мокрыхъ кулей, другія разсыпали пшеницу, третьи переносили ее на носилкахъ изъ одной кучи въ другую. На самомъ берегу и въ водѣ бродили десятки мужиковъ, разбиравшихъ убитыя барки и вытаскивавшихъ кули изъ воды на берегъ. Въ водѣ и на берегу торчали обломки барочнаго лѣса; разобрано было только двѣ барки, а четыре оставались еще въ водѣ. Онѣ сидѣли неглубоко, и можно было видѣть разбитыя части, — у одной выворочено было плечо, другая стояла съ выхваченнымъ бокомъ, у третьей расщепало корму и т. д.

— Богъ помочь! — поздоровался я съ работавшими.

— Спасибо...

Громадныя насыпи почернѣвшаго зерна ужасно походили на муравьиныя кучки, а ходившіе по нимъ люди — на муравьевъ. Я сунулъ руку въ одну изъ насыпей, — внутри было горячо. Вытащенную изъ воды пшеницу негдѣ было просушить, и она теперь горѣла въ этихъ насыпяхъ.

— Былъ хлѣбушка, а сталъ навозъ, — замѣтилъ старикъ, очевидно, наблюдавшій за работой.

— Отчего мало рабочихъ у васъ? — спросилъ я.

— Да гдѣ ихъ взять-то?.. Негдѣ взять, — вотъ и пачкаемся. По всей Чусовой нонѣ наколотило барокъ-то, ну, народъ и разбѣжался. Нашъ-то кормилецъ Зайчикъ вонъ какую работу наработалъ... страсть глядѣть. Въ шести-то баркахъ девяносто тысячъ зерна было... Охъ-хо! согрѣшили мы, грѣшные! Вонъ дѣвкамъ по цѣлковому въ день платимъ, а онѣ, курвы, и знать не хотятъ... испотачились работой.

— Сколько барокъ разобрали?

— Да, видно, вторую кончаютъ, а тамъ еще четыре стоитъ въ водѣ. Не знаю ужъ, когда это мы и подымемъ ихъ. Главное, сила не беретъ насчетъ народу. А Провъ-то Михайлычъ свое... закутилъ не на животъ, а на смерть. Тоже обидно, хоть до кого доведись.

Я присѣлъ на груду барочныхъ досокъ и смотрѣлъ на работу. Разговаривавшій со мной старикъ отправился къ работавшимъ бабамъ и, вѣроятно, изъ желанія показать свою энергію, началъ ихъ ругать на чемъ свѣтъ стоитъ.

Бойкія чусовлянки, бродившія по пшеницѣ голыми ногами, огрызались, а потомъ подняли старика на смѣхъ. Эта сцена съ берега перешла въ воду, гдѣ хохотали надъ расходившимся старикомъ мужики.

— Палкой-то, дѣдка, палкой валяй бабенокъ! — поощряли голоса. — Дуньку первую лупани...

Не дождавшись конца этой горячей сцены, я пошелъ къ самому бойцу, до котораго было съ полверсты. Это была известковая скала, выдвинувшаяся въ рѣку однимъ ребромъ. Наверху лѣпились мелкія елочки, точно сбѣжавшіяся въ игрѣ дѣти. Кругомъ разросся угрюмый ельникъ. Рѣка текла подъ самой скалой, съ тихимъ ропотомъ облизывая подножіе бойца. При яркомъ солнечномъ свѣтѣ получалась оригинальная картина, пожалуй, немножко дикая, но во всякомъ случаѣ полная своеобразной прелести. Глазъ искалъ чего-то страшнаго въ этомъ бойцѣ, но страшнаго ничего не было, — такихъ „камней" по Уралу разбросаны милліоны. По весной — другое дѣло... Вы не узнали бы картины, когда Зайчикъ начиналъ „играть". Рѣка подъ бойцомъ клокочетъ и превращается въ пѣну; глухой ревъ несется далеко, точно борются на смерть два разъяренныхъ чудовища.

IV.

— А вѣдь коней-то я не нашелъ, баринъ, — объявилъ мнѣ Сосипатръ, когда я вернулся въ деревню.

— Вотъ тебѣ разъ... Такъ какъ же я-то буду?..

— Ужъ не знаю, родимый мой. Бѣгалъ-бѣгалъ по лѣсу-то, точно сквозь землю провалились мои кони. Съ боталами ходятъ, далеко слышно... А ты попей чайку покедова, можетъ, они сами подойдутъ къ тому времю. Оводъ гонитъ изъ лѣсу скотину-то...

— А на лодкѣ нельзя подняться?

— Да кто повезетъ-то?.. Некому, родимый... Работы у насъ не изработать. Кормилецъ-то нашъ далъ вонъ какую задачу...

— Какой кормилецъ?

— А Зайчикъ... Имъ кормимся: чего пошлетъ, то и жуемъ. Ласковый онъ до насъ... Въ прошлую весну барку съ мѣдью ушибъ, въ позапрошлую весну сортовое желѣзко,—кажинный годъ хлѣбъ даетъ. Въ самъ-дѣлѣ, ступай въ избу, тамъ Лукорья все спроворила, а тѣмъ временъ, можетъ, и кони подойдутъ.

Ничего не оставалось, какъ итти въ избу и „заняться чайкомъ". Положеніе было самое безвыходное, и я обругалъ проклятую дорогу: не повезло съ самаго начала, — значитъ, такъ пойдетъ и до конца.

Въ избѣ кипѣлъ самоваръ, а за самоваромъ сидѣлъ самъ Провъ Михайлычъ и пилъ чай. Тутъ же стояла на столѣ бутылка водки и лежала въ газетной бумагѣ какая-то мудреная закуска. Провъ Михайлычъ принадлежалъ къ разряду настоящихъ великановъ, и его лохматая голова точно была привинчена къ широкимъ плечамъ. Грязная ситцевая рубашка была разстегнута, и изъ-подъ нея выставлялась богатырская волосатая грудь. Около стола сидѣли и Лукерья съ Парахой и тоже пили чай. Лукерья была дѣвушка лѣтъ семнадцати, бѣлокурая, свѣженькая, съ розовыми губами и такими красивыми сѣрыми глазами. Въ простомъ народѣ рѣдко попадаются вообще красивыя женщины, а бѣлокурыя въ особенности. Въ этой Лукерьѣ еще сохранилось что-то дѣтское, что̀ пропадаетъ въ зрѣлой женской красотѣ.

— Пожалуйте... — хрипло проговорилъ Провъ Михайлычъ, тяжело поднимая голову: — а водки прикажете?

— Нѣтъ, благодарю.

— Ваше дѣло... Значитъ, мы съ Парахой выпьемъ.

— Я и то выпила, Провъ Михайлычъ... Напьюсь пьяная,—нехорошо будетъ.

— Ну, ну... съ солдатки нечего взять: вся своя.

Параха, видимо, конфузилась, но съ устатку ей хотѣлось выпить. Послѣ нѣкотораго ломанья она взяла рюмку и выпила ее какъ-то по-куричьи, маленькими глотками и закинувъ голову назадъ.

— Отлично... — похвалилъ Провъ Михайлычъ и сразу выпилъ двѣ рюмки, не моргнувъ глазомъ, точно два гвоздя заколотилъ.

— Охъ, захмелѣла я... — плаксиво жаловалась Параха, вытирая губы рукавомъ рубашки. — На тебѣ будетъ грѣхъ, Провъ Михайлычъ.

— Ладно, ладно... Мнѣ ужъ заодно маяться-то.

Мы долго пили чай молча. Параха улыбалась и все толкала локтемъ молчавшую Лукерью. Провъ Михайлычъ долго смотрѣлъ въ налитый чаемъ стаканъ и задумчиво повторялъ: „Да... дда-а!". Въ избѣ было страшно жарко. Гдѣ-то жужжала муха. Вошелъ старикъ Сосипатръ и по мужицкой вѣжливости раскланялся со всѣми.

— А... старый колдунъ! — протянулъ Провъ Михайлычъ. — Хочешь чаю?

— Спасибо, родимый мой... Смолоду-то что-то не привыкъ я къ вашимъ чаямъ, а на старости лѣтъ грѣшить не приводится.

Старикъ подсѣлъ на лавочку и улыбавшимися глазами посмотрѣлъ на раскраснѣвшуюся Параху.

— Охъ, ѣшь тебя мухи съ комарами...—бормоталъ Сосипатръ,—размалѣла!

— И то размалѣла... — соглашалась Параха и кокетливо закрыла лицо рукавомъ, — все Провъ Михайлычъ... его грѣхъ.

— Прову-то Михайлычу не привыкать съ бабами возиться... Одна Лукерья чего стоитъ.

— Ты опять, старый чортъ?! — закричалъ Провъ Михайлычъ и ударилъ по столу кулакомъ.

— Дѣло говорю... Али не поглянулось?..

— Ты еще поговори у меня!.. Возьму стараго чорта за ногу да прямо въ воду.

Женщины переглянулись и хихикнули.

— Въ воду? — не унимался Сосипатръ: — этакое ты слово сказалъ, Провъ Михайлычъ... А ужъ тебѣ-то надо бы ровно знать, какая она такая эта самая вода бываетъ.

— Не тронь, Сосипатръ, — вступилась неожиданно Лукерья, — твое развѣ это дѣло?..

— А ты чего заступаешься... а?..

— А вотъ заступаюсь...

— Утопить бы тебя, курву... Слыхала?.. За хвостъ да и бросить, какъ кошку... Ишь выискалась тоже... Убѣжала, небось, какъ тогда бурлаки наступили... не поглянулось!..

Провъ Михайлычъ слушалъ эту ругань, а потомъ неожиданно засмѣялся. Старикъ посмотрѣлъ на него, плюнулъ и выбѣжалъ изъ избы.

— Ишь, какъ его разбираетъ, колдуна... — смѣялся Провъ Михайлычъ.

Лукерья сердито посмотрѣла на пьянаго купца и опустила глаза.

— Ну, ты чего на меня-то сердишься, Луша? — ласково заговорилъ Провъ Михайлычъ и потянулся своей волосатой рукой къ дѣвушкѣ, но Лукерья еще дальше отодвинулась отъ него.

Къ моему удивленію, лошади дѣйствительно пришли сами, и черезъ часъ послѣ чая мы уже выѣхали изъ деревни. Сосипатръ ѣхалъ на рыжей кобылѣ безъ сѣдла рядомъ со мной и смѣшно болталъ голыми ногами, когда лошадь пускалась трусцой. Мы проѣхали мимо разбитыхъ барокъ, гдѣ теперь все было тихо. Народъ только-что пообѣдалъ и отдыхалъ, кому гдѣ показалось лучше. Большинство искало спасенья отъ лѣтняго зноя въ тѣни кустовъ, нѣкоторые заползли подъ барочный ломъ, изъ-подъ котораго выставлялись только однѣ ноги, а двое спали прямо на солнцѣ, раскинувшись въ самыхъ отчаянныхъ позахъ.

— Такъ это вашъ кормилецъ? — спросилъ я Сосипатра, когда мы проѣзжали мимо бойца.

— Прямой кормилецъ... А то какъ же по-твоему?.. Цѣлая деревня около него кормится... По-твоему, камень, молъ, и вся тутъ. Тоже камень камню розь, родимый мой. Тоже вотъ вода... Поглядѣть, такъ оно самое простое дѣло, а ежели головой своей подумать хорошенько, такъ она, вода-то, точно-что вода, да не просто.

— А какая же вода?.

— Такая... Она вонъ какъ подыграла Прова-то Михайлыча. Вотъ тебѣ и вода. Тыщъ пятьдесятъ рублей выдула изъ кармана-то единымъ духомъ. Вотъ она какая...

Меня заинтересовалъ этотъ разговоръ. Старикъ былъ разговорчивый, и мы болтали всю дорогу. Лошади знали дорогу и не нуждались въ поводьяхъ.

— Теперь взять Прова Михайлыча, — разсуждалъ Сосипатръ, — богатенный купецъ по Чусовой, денегъ у его — страсть. А отъ кого жить пошелъ? Отъ матушки Чусовой... Сначала по малости сплавлялъ разную кладь, больше по межени на полубаркахъ, а потомъ, какъ въ силу вошелъ, и развернулся. Вонъ сколько хлѣба нонѣ скупилъ, да не привелъ Господь до конца, значитъ, довести: Зайчикъ не пустилъ... Стой!.. Будетъ баловаться. Ты играть, и я съ тобой поиграю. Вотъ и вышла игрушка...

— Какая игрушка?

— Ну, а которая въ избѣ съ нимъ сидитъ... Лукерья эта самая. Изъ-за нея вѣдь все дѣло вышло. Раньше-то Провъ Михайлычъ степенный человѣкъ былъ, а какъ разбухъ отъ своихъ денегъ, — дурь эта самая въ немъ и заходила. Жена своя есть, дочь на возрастѣ, а онъ себѣ вонъ Лукерью припрегъ... И курва только дѣвчонка!.. Обошла мужика, окружила совсѣмъ... Плачетъ вѣдь онъ безъ ней, какъ ребенокъ безъ матери. Нечистое дѣло, однимъ словомъ.

— Откуда она, Лукерья-то?

— Да наша же, чусовская, съ верхнихъ пристаней откедова-то. Ну, путался съ ней Провъ-то Михайлычъ, а тутъ весна, надо караванъ сплавлять. Ну, все наладилъ, казенку *) выстроилъ, а въ казенку-то вотъ эту самую Лукерью посадилъ. Какъ это по-твоему: ладно или неладно?.. Матушка-земля всякій грѣхъ въ себѣ терпитъ, а вотъ вода-то не любитъ этого, пакости-то нашей не любитъ. Набралъ Провъ Михайлычъ что̀ ни есть лучшихъ сплавщиковъ, поставилъ на свои барки бурлаковъ въ полной мѣрѣ, только плыви... А оно вышло не такъ. Тридцать лѣтъ по Чусовой-то плавалъ Провъ Михайлычъ, понадѣялся, ну, а тутъ и казенку и другія барки подъ Зайчикомъ и убило.

— Да вѣдь не у него одного барки нынче разбило?

---

*) Казенка — барка съ каютой.

— У другихъ другое, родимый мой... У другихъ-то изъ шести барокъ одну убьетъ, много двѣ, а тутъ всѣ шесть Зайчикъ съѣлъ. Это ужъ не спроста. Вода не хотѣла поднимать его-то озорство. Развѣ такъ добрые-то люди плаваютъ?.. Тутъ надо съ молитвой да со страхомъ, а онъ придумалъ въ казенкѣ съ Лукерьей обниматься. Ты какъ полагаешь насчетъ этой воды?.. Вѣдь она вся живая, она чувствуетъ... да. Посмотри-ка, какъ наша Чусовая примется по веснѣ свои разговоры разговаривать: только стонъ стоитъ. Это она веселится, кормилица. Тогда, какъ убило подъ Зайчикомъ казенку-то, такъ Лукерью едва вытащили изъ воды, совсѣмъ было-захлебнулась. Самъ-то Провъ Михайлычъ какъ осетеръ плаваетъ, ну, онъ ее и выволокъ на берегъ... Тутъ опять бурлаки накинулись на нее, на Лукерью.

— А они за что накинулись?..

— За это за самое, что изъ-за нея всѣ досыта воды нахлебались. Тоже понимаютъ... Такъ разстервенились — страсть. Въ воду хотѣли бросить. Едва она тогда убѣжала. Ну, а потомъ Провъ-то Михайлычъ нарочно за ней, курвой, посылалъ. Я же и ѣздилъ...

1886.

ИИИ.

Святочная фантазія.

I.

Уже второй мѣсяцъ шли проливные тропическіе дожди. Озеро Нямъ-Нямъ превратилось въ безбрежное море, и только по верхушкамъ камышей, выставлявшимся изъ воды, можно было приблизительно опредѣлить русло вытекавшей изъ озера рѣки Міу-Міу. Періодъ дождей даже для привычныхъ ко всему дикарей племени Ийи являлся проклятымъ временемъ, потому что въ разливъ не ловилась никакая рыба, и приходилось питаться только земляными червями, улитками и ананасами. Впрочемъ, ананасы, когда ихъ употребляли въ пищу въ большомъ количествѣ, не удовлетворяли голода, а только вызывали разстройство желудка и рвоту, поэтому ими кормили только однѣхъ женщинъ. Лучшимъ праздникомъ являлось то, когда женщины ловили гдѣ-нибудь ежа и приносили его своему повелителю, царю царей, старому Ийи. Это было его любимымъ кушаньемъ, и царь царей съѣдалъ ежа живьемъ, оставляя подданнымъ одну ежовую щетину. Сколько было лѣтъ старому Ийи, никто не зналъ, но у него сохранился прекрасный аппетитъ и замѣчательное обоняніе, какъ у шакала. Его считали безсмертнымъ, какъ единственнаго и прямого потомка грознаго бога Ийи. Отъ него получило названіе и все племя, состоявшее изъ сорока шалашей. Одинъ царь царей помнилъ то счастливое время, когда племя Ийи имѣло до тысячи шалашей и жило въ благословенной мѣстности, гдѣ росли финиковыя пальмы, гдѣ текли полныя рыбой рѣки и гдѣ паслись стада остророгихъ антилопъ. Да, все это было, а сейчасъ племя Ийи ютилось на плоской возвышенности, которую не заливала вода. Если царь царей Ийи считалъ роскошью полакомиться живымъ ежомъ, то остальные довольствовались полевыми мышами, ящерицами и змѣями, спасавшимися отъ наводненія на сухой возвышенности. Когда и эта живность была истреблена, пришлось питаться червями и шариками изъ жирной глины. Вообще было очень скверное время, и всѣ дикари удивлялись ему, хотя оно и повторялось ежегодно.

Нынче разливъ былъ особенно великъ, и всѣмъ приходилось особенно скверно. Исхудавшіе, голодные, озлобленные дикари уже нѣсколько разъ приступали съ угрозами къ своему царю царей и говорили:

— Царь царей, владыка вселенной, мы умираемъ съ голоду... Наши женщины превратились въ скелеты, обтянутые кожей. Ты долженъ насъ накормить...

— Подождите, несчастные. Богъ боговъ Ийи накормитъ всѣхъ, какъ

онъ кормитъ каждую мошку и каждую травку. Своимъ недовольствомъ вы вызовете только гнѣвъ бога боговъ... Подождите.

Это „подождите“ всегда спасало царя царей. Волновавшіеся подданные на время успокаивались, тѣмъ болѣе, что они страшно боялись бога боговъ Ийи. Вѣдь онъ все вѣдаетъ и знаетъ, и отъ него не спрячется даже земляной червь, какъ бы онъ глубоко ни зарылся въ землю.

Царь царей, старый Ийи тоже волновался за участь своего вымиравшаго на его глазахъ племени и старался принять свои мѣры. Онъ ежедневно наказывалъ роптавшихъ подданныхъ самымъ жестокимъ образомъ, сжигалъ ихъ шалаши, чтобы лишить послѣдняго крова, — однимъ словомъ, принималъ самыя отеческія мѣры. Но ничто не помогало, и царь царей рѣшился прибѣгнуть къ послѣдней мѣрѣ, которая пускалась въ ходъ только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ.

— Конечно, виноватъ во всемъ богъ боговъ Ийи, — рѣшалъ про себя царь царей Ийи.—Зачѣмъ онъ посылаетъ столько дождя? Зачѣмъ озеро Нямъ-Нямъ разлилось до самаго неба? Нѣтъ, погоди, куманекъ, тебя нужно поучить.. Ты любишь принимать жирныя жертвы и забываешь о своихъ обязанностяхъ.

Шалашъ царя царей Ийи ничѣмъ не отличался отъ шалашей его подданныхъ, за исключеніемъ того, что въ немъ хранились двѣ святыни, — во-первыхъ, деревянный идолъ бога боговъ Ийи и, во-вторыхъ, священный барабанъ. Идолъ представлялъ собой деревянный обрубокъ съ грубымъ подобіемъ человѣческой головы самаго звѣрскаго вида,—страшные глаза изъ черныхъ раковинъ, красный ротъ до ушей съ оскаленными зубами изъ перламутра и безобразными ушами. На немъ были повѣшены разные амулеты, хвосты антилопъ, зеленыя перья попугаевъ и побрякушки изъ кости. Священный барабанъ былъ обтянутъ кожей убитаго царемъ царей вождя враждебнаго племени Кіу-кіу. Снаружи шалашъ царя царей былъ украшенъ деревянными шестами, на которыхъ были повѣшены черепа убитыхъ имъ враговъ. За шалашомъ въ одинъ рядъ помѣщались маленькіе шалаши четырехъ женъ царя царей, совсѣмъ еще молоденькихъ дѣвушекъ, главная обязанность которыхъ заключалась въ томъ, чтобы прокармливать своего повелителя. Онѣ же составляли его почетную стражу. Была еще пятая жена, самая красивая, съ атласной черной кожей, тонкими пальцами и жирными бедрами, но царь царей такъ ее любилъ, что не могъ удержаться и съѣлъ.

Итакъ, старый Ийи рѣшился проучить зазнавшагося бога боговъ Ийи.

Это было глубокою ночью, когда онъ ударилъ въ священный барабанъ. Спавшіе подданные повскакали, какъ сумасшедшіе. Царскія жены уже разводили громадный костеръ изъ сухого тростника. Царь царей сидѣлъ у своего шалаша и неистово колотилъ въ барабанъ. Ему скоро отвѣтили десятки другихъ барабановъ, забившихъ усиленную тревогу, какъ во время войны. Женщины подняли усиленный вой.

Когда всѣ собрались вокругъ огня, старый Ийи бросился въ шалашъ и вытащилъ оттуда деревяннаго идола. Онъ его бросилъ на землю и, наступивъ ногой на грудь, дико крикнулъ:

— Погоди, куманекъ, я тебѣ покажу, какъ заставлять насъ умирать отъ голода!..

Всѣ собравшіеся вокругъ огня женщины и мужчины замерли отъ страха, а потомъ, какъ по командѣ, бросились на землю внизъ лицами.

— Я много терпѣлъ отъ тебя, Ийи,—продолжалъ царь царей. — Но у меня болитъ животъ отъ земляныхъ червей, а мои женщины отъ твоихъ ана-

насовъ превратились въ живые скелеты. Я тебя, Ийи, накажу самымъ позорнымъ образомъ для мужчины: тебя высѣкутъ женщины...

Подданные стараго Ийи не смѣли дышать отъ ужаса. А между тѣмъ жены царя царей отправились въ шалашъ за прутьями, которыхъ даже въ самое голодное время хранился достаточный запасъ. Приготовлялось что-то небывало ужасное, но, когда женщины вернулись къ огню съ пучками розогъ, случилось нѣчто удивительное...

II.

Женщины уже замахнулись розгами и богу боговъ было бы нанесено несмываемое ничѣмъ оскорбленіе, но царь царей остановилъ ихъ однимъ движеніемъ руки. Онъ понюхалъ воздухъ и проговорилъ:

— Около насъ скрывается чужой человѣкъ... да.

У стараго Ийи сохранилось обоняніе настоящаго шакала. Онъ еще разъ понюхалъ воздухъ и утвердительно кивнулъ головой. Всѣ повскакали. Мужчины бросились въ свои шалаши за копьями и луками.

— „Онъ“ тамъ, въ камышахъ, — объяснилъ Ийи, вооружаясь священной боевой палицей.

Устроена была настоящая облава, какъ на дикаго звѣря. Когда камыши были окружены, остальные дикари тоже почуяли присутствіе чужого человѣка. Онъ былъ тутъ, совсѣмъ близко. По сигналу царя царей разомъ вспыхнули десятки факеловъ и раздался военный кличъ. Въ отвѣтъ изъ камышей поднялись двѣ черныхъ руки.

— Не убивайте его,—командовалъ Ийи.—Онъ проситъ пощады...

Смѣльчаки бросились въ камышъ и скоро вытащили оттуда громаднаго кафра, который даже и не думалъ сопротивляться. Его все-таки связали по рукамъ и ногамъ и тащили по землѣ, какъ дикое животное. Царь царей подошелъ къ нему и, погрозивъ своей священной дубиной, грозно проговорилъ:

— Зачѣмъ ты здѣсь?

— Я три дня не ѣлъ...—съ трудомъ отвѣтилъ кафръ.

Царь царей присѣлъ около него на корточки и самымъ внимательнымъ образомъ осмотрѣлъ его голову и все тѣло. Его особенное вниманіе привлекли рубцы по всей спинѣ кафра. Опытнымъ глазомъ старый Ийи опредѣлилъ ихъ хронологію: однимъ рубцамъ было лѣтъ десять, а послѣднимъ, еще не подзившимъ хорошенько, всего нѣсколько мѣсяцевъ.

— Меня поймали рыжіе англійскіе дьяволы и хотѣли продать въ неволю,—объяснялъ кафръ,—но я вырвался и убѣжалъ...

— Такъ, такъ... — соглашался старый Ийи, не вѣря ни одному его слову.

Онъ что-то соображалъ про себя и кончилъ тѣмъ, что расхохотался. Онъ только сейчасъ понялъ все: богъ боговъ Ийи перехитрилъ всѣхъ.

По приказанію царя царей, кафра перетащили на то мѣсто, гдѣ лежалъ деревянный идолъ; старый Ийи присѣлъ на корточки у самой его головы и далъ женщинамъ знакъ начинать экзекуцію. Въ воздухѣ засвистѣли розги, и корчившійся отъ боли кафръ неистово закричалъ.

— У тебя прекрасный голосъ. — проговорилъ старый Ийи, подмигивая и улыбаясь.

— Лучше меня убейте!—умолялъ кафръ.—За что вы меня наказываете? Я ничего не сдѣлалъ дурного...

— Ты глупъ, куманекъ... Богъ боговъ Ийи хитеръ и вмѣсто себя подставилъ подъ розги тебя. Притомъ онъ совсѣмъ не умѣетъ кричать и заста-

вилъ вмѣсто себя кричать тебя. О, онъ отлично знаетъ, что самая лучшая музыка на свѣтѣ, это — когда человѣкъ кричитъ отъ боли... Да, у тебя прекрасный голосъ.

Кафръ наконецъ догадался и притворился мертвымъ. Тогда его оставили въ покоѣ. Старый Ийи сдѣлалъ видъ, что вѣритъ ему. Онъ еще разъ ощупалъ его и только покачалъ головой. Кафръ былъ слишкомъ истощенъ, чтобы его съѣсть, а затѣмъ онъ какъ-то пробовалъ кафрскаго мяса, и оно ему не понравилось. Извѣстно, что всѣ кафры очень дурно пахнутъ...

Послѣ жестокой экзекуціи спина кафра была обложена кашицей изъ алоэ. Онъ сейчасъ же заснулъ и проспалъ до полудня. Одна сжалившаяся старушка принесла ему освѣжиться ананасъ, и онъ съѣлъ его съ жадностью. Старый Ийи велѣлъ его развязать и еще разъ повторилъ:

— Да, у тебя чудный голосъ. Если бы ты зналъ, какой я веселый человѣкъ и какъ люблю хорошіе голоса, когда развеселюсь... Вотъ ты недоволенъ, что тебя высѣкли, а мои жены считаютъ за счастье, когда я ихъ велю сѣчь. Прежде, когда я былъ молодъ и глупъ, я выбиралъ въ жены самыхъ красивыхъ дѣвушекъ, а нынче выбираю дѣвушекъ съ лучшими голосами, — которая сильнѣе кричитъ отъ боли, та мнѣ и лучше. У меня четыре жены, и каждая кричитъ по-своему: старая жена И вопитъ басомъ, вторая жена Ия кричитъ контральто, третья жена Иии кричитъ дискантомъ, а четвертая жена Инии визжитъ, какъ поросенокъ, и я ее люблю больше всѣхъ. Да, я очень веселый человѣкъ и люблю хорошіе голоса.

— И я тоже былъ веселымъ человѣкомъ,— признался кафръ, охая отъ боли.—Меня и погубило веселье... Я объѣхалъ цѣлый свѣтъ, и вездѣ меня хвалили за веселый характеръ. Вотъ только заживетъ спина, я покажу тебѣ самыя веселыя штуки. О, я все видѣлъ и все знаю!

— Ты видѣлъ, какъ живутъ бѣлые люди у себя дома?—изумился царь царей.—Вѣроятно, они живутъ на самыхъ высокихъ деревьяхъ или въ большихъ шалашахъ? Значитъ, ты плавалъ на ихъ большихъ желѣзныхъ лодкахъ, изъ которыхъ идетъ густой дымъ?

Царь царей засыпалъ кафра вопросами. Онъ вообще отличался любопытствомъ и слушалъ кафра съ жадностью. Временами отъ радости онъ такъ хоталъ и кувыркался по землѣ, какъ обезьяна.

Только, пожалуйста, не обманывай и говори правду,—умолялъ онъ.— меня законъ: за каждое ложное слово я выбиваю по зубу.

Но кафръ былъ слишкомъ утомленъ, чтобы много говорить. Онъ все жаловался на голодъ и засыпалъ на полусловѣ. Во снѣ онъ что-то бредилъ на непонятномъ языкѣ, вскакивалъ и поднималъ руки вверхъ, что всѣхъ заставляло хохотать до слезъ. Къ счастью кафра, вода начала быстро спадать, и появилась рыба въ изобиліи. Его заставляли ѣсть до рвоты и залѣчивали раны. Черезъ недѣлю онъ настолько поправился, что могъ отвѣчать на вопросы царя царей со всѣми подробностями.

— Ты видишь, какой хитрый богъ боговъ Ийи, — объяснилъ ему, подмигивая, царь царей.—Только я его наказалъ хорошенько,—сейчасъ вода и спала. А ты еще жаловался, глупый, когда тебя сѣкли...

— Меня всю жизнь сѣкли,—сознавался кафръ.—И все напрасно.

— А бѣлые люди сѣкутъ хорошо?

— О, это дьяволы!..

Среди стана дикарей теперь весело горѣлъ костеръ, около котораго собирались всѣ дикари, чтобы послушать разсказы кафра о томъ, какъ живутъ бѣлые люди у себя дома. Многое изъ его разсказовъ казалось невѣроятнымъ.

Развѣ можно жить въ пятиэтажныхъ каменныхъ шалашахъ? Развѣ можно плавать по водѣ въ желѣзныхъ громадныхъ домахъ? А больше всего дикарей удивляли тѣ изобрѣтенія, которыми гордится европейская цивилизація: громадныя пушки, ружья, динамитъ и т. д.

— Если бы мнѣ хоть одну такую пушку, которая сразу убиваетъ сто человѣкъ,—съ тоской говорилъ царь царей.—Я завоевалъ бы цѣлый свѣтъ... Ни одного бѣлаго человѣка не осталось бы.

— Ты не безпокойся, Ийи, бѣлые люди сами истребятъ другъ друга,— успокаивалъ его кафръ.—Они постоянно воюютъ между собой...

Кафръ дѣйствительно былъ въ Европѣ и въ Америкѣ, гдѣ изображалъ въ разныхъ циркахъ дикаго человѣка. Онъ долженъ былъ для удовольствія цивилизованныхъ зрителей ѣсть живыхъ голубей, глоталъ зажженную паклю, перегрызалъ желѣзную проволоку, „глоталъ“ шпаги и т. д. Потомъ его охватила тоска по родинѣ. Онъ обокралъ содержателя цирка и вернулся на родину какъ разъ къ войнѣ буровъ съ англичанами. Но на родинѣ ему не повезло. Сначала онъ служилъ лазутчикомъ у англичанъ, но попался въ плѣнъ къ бурамъ и былъ тяжко наказанъ; затѣмъ онъ служилъ въ той же должности у буровъ и попался въ плѣнъ къ англичанамъ, наказанъ еще сильнѣе и приговоренъ къ повѣшенію. Спасся онъ только благодаря ночному нападенію буровъ на англійскій лагерь и бѣжалъ къ сѣверу. Ему все казалось, что англичане преслѣдуютъ его по пятамъ. Онъ прятался, какъ дикій звѣрь, по разнымъ логовищамъ, пока не попался въ плѣнъ къ племени Ийи. Его разсказы, какъ очевидца, о бурской войнѣ приводили царя царей въ неистовый восторгъ. Старикъ катался по землѣ, танцовалъ вокругъ огня и билъ въ священный барабанъ.

— Бѣлые убиваютъ бѣлыхъ?—повторялъ онъ тысячу разъ и дико хохоталъ.

— Цѣлыми сотнями,—подтверждалъ кафръ.—А стариковъ, женщинъ и дѣтей морятъ голодомъ... Всѣ дома сжигаютъ, скотъ съѣдаютъ...

— Ахъ, какъ отлично! — восхищался царь царей. — Знаешь что: я со своими воинами тоже отправлюсь туда. Мнѣ ужасно хочется повоевать... Только я не оставилъ бы ни одного живого плѣннаго. Бѣлые люди глупы и кричатъ: „Руки вверхъ!“, вмѣсто того, чтобы всѣхъ убивать. Мнѣ все равно, кого убивать: англичанъ или буровъ. Моимъ воинамъ тоже все равно, потому что они храбрѣе всѣхъ на свѣтѣ. А главное, какъ будетъ доволенъ и счастливъ богъ боговъ Ийи... Онъ любитъ кровь, стоны раненыхъ, хрипѣнье умирающихъ... Вѣдь это онъ устроилъ, чтобы бѣлые начали убивать бѣлыхъ... Ха-ха!..

Царь царей катался по землѣ, хохоталъ до боли въ животѣ и заставлялъ кафра по десяти разъ разсказывать, какъ англичане убиваютъ буровъ, а буры англичанъ. Относительно предложенія итти на войну кафръ скромно отмалчивался и только почесывалъ изсѣченную спину.

III.

Царь царей ужасно полюбилъ кафра и даже помѣстилъ его въ собственномъ шалашѣ.

— Я еще въ первый разъ въ жизни вижу такого удивительнаго человѣка,—увѣрялъ царь царей гостя.—Да... А, кажется, я достаточно видѣлъ хорошаго на свѣтѣ. Я два раза былъ счастливъ, а сейчасъ счастливъ въ третій разъ.

Царь царей обнималъ кафра, терся своимъ носомъ объ его щеки и

проявлялъ вообще самыя нѣжныя чувства. Его жены обязаны были каждое утро натирать кафра рыбьимъ жиромъ и кормили разжеванным ими сахарнымъ тростникомъ.

— Тебѣ нравятся мои жены? — лукаво спрашивалъ царь царей. — Выбирай любую, голосъ которой тебѣ больше нравится...

Старый Ийи велѣлъ сѣчь поочередно и вмѣстѣ несчастныхъ женъ, но кафръ отказался отъ этого царскаго подарка. Онъ подозрѣвалъ царя царей въ какой-нибудь гнусности и сильно боялся, что вмѣстѣ со своими женами онъ велитъ высѣчь и его, чтобы получился единственный въ своемъ родѣ квинтетъ.

— Нѣтъ, мнѣ не нужно твоихъ женъ,—скромно объяснялъ онъ.—У меня на родинѣ остались свои жены, и я не желаю ихъ огорчать.

— Какъ знаешь,—соглашался царь царей.—Я не желаю тебя обижать, если ты не знаешь толку въ хорошей музыкѣ.

Разъ, когда они вечеромъ сидѣли у огня, царь царей не выдержалъ и разсказалъ, какъ онъ былъ счастливъ два раза.

— Я только никакъ не могу рѣшить, въ который разъ былъ счастливѣе,—задумчиво говорилъ царь царей, улыбаясь.—Въ первый разъ... Да... Это было давно, когда у моего племени было до двухсотъ шалашей. Тогда мы жили далеко отсюда, въ области великихъ озеръ, и я питался исключительно языками гиппопотамовъ и яйцами страусовъ. О, это было чудное время!.. Но пришли бѣлые люди и заставили насъ нести на головахъ ихъ тюки съ разными товарами, съѣстными припасами и оружіемъ. Меня полюбилъ главный вождь этихъ бѣлыхъ людей и поручилъ нести за нимъ его ружье и патроны. Я въ первый разъ видѣлъ, какъ бѣлые люди стрѣляютъ изъ ружей, и пришелъ въ восторгъ. Я не спалъ ночей и все думалъ о томъ, какъ бы добыть себѣ такое же ружье. Случай мнѣ помогъ: бѣлый вождь захворалъ лихорадкой, я укралъ у него ружье и патроны и бѣжалъ... Ахъ, какъ я былъ тогда счастливъ!..

Царь царей закрывалъ глаза отъ наслажденія и долго хихикалъ.

— Когда я вернулся съ ружьемъ домой,—продолжалъ онъ,—то прежде всего... Ахъ, что это было! Недалеко отъ насъ жило враждебное намъ племя Кіу-Кіу. Мы жили въ шалашахъ, и Кіу-Кіу часто нападали на насъ и спасались на своихъ деревьяхъ, какъ обезьяны. Достать ихъ было невозможно. И вотъ, благодаря своему ружью, я каждый день отправлялся на охоту... О, они меня сразу поняли и спасались на самыхъ вершинахъ. Но у Ийи зоркій глазъ, и я убивалъ ихъ десятками, пока не перестрѣлялъ всѣхъ до одного. Богъ боговъ Ийи приходилъ ко мнѣ два раза ночью и благодарилъ за чудную жертву. Послѣднимъ я убилъ вождя Кіу-Кіу и изъ его кожи сдѣлалъ священный барабанъ. Да, я былъ счастливъ...

Кафръ слушалъ его съ жадностью, и его черные глаза загорались завистью... Онъ никогда не испыталъ такого счастья...

— А когда ты былъ счастливъ во второй разъ?—спросилъ онъ, затаивая дыханіе.

— Счастье, вообще, проходитъ быстро,—философствовалъ царь царей.— У меня украли мое ружье, и первое счастье кончилось. Но богъ боговъ не забылъ меня. О, боги всегда справедливы, даже боги жестокихъ бѣлыхъ людей... Когда у меня украли ружье, я готовъ былъ сойти съ ума. А потомъ только я понялъ, что это богъ боговъ Ийи сдѣлалъ не спроста, а только хотѣлъ испытать меня. Да... Кажется, не прошло двухъ лѣтъ, какъ у насъ опять появились бѣлые люди. Но только безъ ружей и жестокости. Это были очень смѣлые люди, потому что они явились вдвоемъ. Онъ называлъ себя миссіо-

неромъ, а она называла себя его дьякониссой. Онъ читалъ намъ толстую-толстую книгу о томъ, какъ мы должны любить другъ друга, прощать обиды, любить своихъ враговъ, — однимъ словомъ, это были совсѣмъ глупые люди. Они прожили у насъ около трехъ лѣтъ, и наши женщины начали даже увлекаться ихъ ученіемъ. Да... Я тоже притворялся, что слушаю ихъ, а въ сущности только слушалъ, какъ поетъ дьяконисса. Она была отвратительна: кожа какъ молоко антилопы, золотистые волосы и... и самое ужасное — это сѣрые, прозрачные, какъ вода въ источникѣ, глаза. Вотъ благодаря ей я и получилъ любовь къ женскому пѣнію... Я цѣлыхъ три года слушалъ, какъ она поетъ, и только подъ конецъ понялъ, что она поетъ исключительно для одного меня. Ахъ, какая это была удивительная женщина!.. Я даже простилъ ей ея бѣлую кожу.

Царь царей прерывалъ свой разсказъ и весело кувыркался по землѣ Кафръ дико хохоталъ и ходилъ на рукахъ кругомъ костра.

— Да, прошло три года,—разсказывалъ царь царей.—Я больше не могъ ждать и въ одно прекрасное утро убилъ миссіонера самымъ вѣжливымъ образомъ, т.-е. зарѣзалъ его соннаго. Потомъ мы его съѣли, но онъ оказался очень невкуснымъ. Дьякониссу я взялъ себѣ, и эта глупая женщина страшно кричала и плакала. Она не могла понять, что лучше быть женой царя царей, чѣмъ женой какого-то миссіонера. Впрочемъ, она мнѣ скоро надоѣла, и я велѣлъ своимъ женамъ ее откармливать. Наши женщины умѣютъ это дѣлать удивительно искусно. Онѣ перевязали ей руки и ноги тонкими бечевками, положили на землю и такъ привязали къ колышкамъ, вбитымъ въ землю, что она въ теченіе шести недѣль не могла сдѣлать ни одного движенія. Она была настолько глупа, что хотѣла уморить себя голодомъ, и мои жены имѣли терпѣніе все время кормить ее насильно. Но она осталась глупой до самаго конца. Когда она настолько разжирѣла, что даже кожа на животѣ начала лопаться, я пришелъ и заявилъ ей, что ее завтра зарѣжутъ, она подняла самый отчаянный крикъ. Это съ ея стороны была самая черная неблагодарность, и я чуть не разсердился. „О чемъ ты кричишь, бѣлая женщина?—говорилъ я ей самымъ убѣдительнымъ образомъ.—Развѣ мы заставляли тебя голодать хоть одинъ день? Развѣ мы заставляли тебя работать?“. Она продолжала упорно ничего не понимать и опять кричала. „Пожалуйста, бѣлая женщина, не порти мнѣ аппетита,—уговаривалъ я ее.—Какъ ты не хочешь понять, что тебя зарѣжетъ не кто-нибудь, а царь царей своими собственными руками, и что я съѣмъ самые жирные куски твоего откормленнаго тѣла. Такое счастье достается немногимъ... А когда я тебя съѣмъ, ты вѣдь войдешь въ кровь царя царей и сдѣлаешься частицей самого меня. Въ моемъ собственномъ желудкѣ ты найдешь ту вѣчную жизнь, о которой проповѣдывала намъ цѣлыхъ три года. Если тебѣ совѣстно за свою отвратительную бѣлую кожу, то я тебѣ велю оказать послѣднюю милость и велю передъ смертью выкрасить всю самой лучшей краской“. Кажется, я говорилъ убѣдительно, но голосъ истинной мудрости не доходилъ до сердца неблагодарной бѣлой женщины, и она продолжала неистово кричать.

— Подожди, Ийи,—остановилъ его кафръ.—Мнѣ пришла въ голову очень счастливая мысль...

Кафръ не договорилъ и, какъ акробатъ, перевернулся въ воздухѣ. Потомъ онъ дико захохоталъ и принялся танцовать вокругъ огня.

— Ну, теперь продолжай,—проговорилъ онъ, хлопая царя царей по животу.—Вѣдь ты съѣлъ эту дьякониссу?

— И даже съ большимъ удовольствіемъ, — самодовольно отвѣтилъ царь

царей, облизываясь.—Я ей передъ тѣмъ, какъ зарѣзать, сказалъ откровенно: „Ты напрасно сердишься, бѣлая женщина... Если кто изъ насъ долженъ сердиться, такъ это я. Ты забыла, какъ мы зажарили твоего мужа миссіонера и какъ онъ жестоко обманулъ насъ даже мертвый. Мясо у него оказалось жесткое, какъ у старой жирафы, и я сломалъ о него лучшій изъ своихъ зубовъ. Онъ самъ виноватъ, что не получилъ въ моемъ желудкѣ вѣчной жизни". Она осталась глупой до самой послѣдней минуты, но зато какое вкусное мясо оказалось у нея. Я въ теченіе всей своей жизни ничего вкуснѣе не ѣдалъ... Я только тутъ понялъ, что она все время притворялась и скрывала, какое у нея нѣжное и сочное мясо, точно у молодой антилопы.

Когда царь царей кончилъ свой разсказъ, кафръ принялся такъ неистово кувыркаться, точно онъ былъ сдѣланъ изъ резины. Потомъ онъ рычалъ, какъ шакалъ, хохоталъ, танцовалъ и продѣлывалъ все, чему его научили въ пиркахъ. Царь царей кричать по старости лѣтъ не могъ, а только катался по землѣ и хихикалъ.

— Ну, а какая у тебя счастливая мысль?—спросилъ царь царей кафра, когда тотъ успокоился.

— А вотъ какая: у тебя что-нибудь осталось отъ съѣденной дьякониссы?

— Какъ же, осталось. Золотое кольцо и зеленое шерстяное платье... Остальное все украдено. Мои подданные—всѣ страшные воры.

— Отлично, довольно платья и кольца, Ийи. Тебѣ вѣдь хочется посмотрѣть на войну бѣлыхъ?

— О, страшно!..

— Вотъ мы и отправимся вдвоемъ. Только сдѣлаемъ это потихоньку отъ всѣхъ.

— Я буду радъ отдохнуть... А то мнѣ, признаться, порядочно надоѣло управлять своими ворами-подданными. Да и жены мнѣ надоѣли... Можетъ-быть, мы съ тобой гдѣ-нибудь еще закусимъ бѣлой женщиной.

— Непремѣнно.

IV.

Начались приготовленія въ далекій путь, причемъ соблюдалась величайшая таинственность.

— Если мои жены догадаются, онѣ бросятся за нами въ погоню,— шепотомъ сообщалъ царь царей.—Онѣ безумно меня любятъ... А далеко намъ итти?

— Недѣли двѣ, а можетъ-быть, и больше.

Въ ночь, когда было назначено выступленіе, весь планъ чуть не разстроился благодаря тому, что старый Ийи непремѣнно хотѣлъ захватить деревяннаго идола. Кафръ не соглашался. Тащить этого дурацкаго чурбана триста верстъ—благодарю покорно. Порѣшили на томъ, чтобы зарыть его въ землю вмѣстѣ съ священнымъ барабаномъ и священной палицей, на чемъ царь царей и успокоился.

Кафръ устроилъ изъ зеленой юбки съѣденной дикарями дьякониссы широкій мѣшокъ и сложилъ въ него необходимые припасы. Онъ особенно дорожилъ ею и тщательно разглаживалъ каждую складку. Вообще онъ что-то замышлялъ и такъ же бережно относился къ царю царей.

Въ одну изъ прекрасныхъ африканскихъ ночей они покинули лагерь племени Ийи. Когда дикари хватились ихъ утромъ—ихъ и слѣдъ простылъ. Старый Ийи и кафръ умѣли ходить, не оставляя слѣдовъ.

Бѣглецы шли главнымъ образомъ ночью, пользуясь прохладой, а спали

днемъ. На одной изъ такихъ стоянокъ царь царей показалъ кафру маленькаго деревяннаго идола бога боговъ, котораго спеціально смастерилъ для дороги.

— Все-таки я тебя перехитрилъ,—хвастался онъ, лукаво хихикая.

Кафръ отнесся къ этой хитрости совершенно равнодушно, потому что слишкомъ былъ занятъ собственными мыслями. Онъ теперь день и ночь думалъ о родномъ краалѣ, гдѣ его считали погибшимъ. И вдругъ онъ явится... У него даже выступали слезы отъ этихъ мыслей.

На полдорогѣ царь царей настолько утомился, что рѣшительно отказался итти дальше.

— Я умираю отъ усталости,—объяснялъ онъ упавшимъ голосомъ.—У меня нѣтъ больше силы..

Пришлось сдѣлать дневку, но это мало помогло. Царь царей продолжалъ капризничать. Тогда кафръ придумалъ новый способъ путешествія. Царь царей уже страдалъ старческой худобой, и кафръ посадилъ его въ зеленую юбку дьякониссы и потащилъ на собственныхъ плечахъ. Старому Ийи этотъ способъ путешествія очень понравился, и онъ, сидя въ юбкѣ, едва сдерживалъ смѣхъ. Кафръ былъ силенъ, какъ лошадь, и ему ничего не стоило тащить царя царей.

Это оригинальное путешествіе продолжалось цѣлыхъ двадцать дней, такъ что даже желѣзное терпѣніе кафра начало истощаться. Ему начало казаться, что проклятый старикъ съ каждымъ днемъ начинаетъ дѣлаться все тяжелѣе. Они шли уже по территоріи, разоренной англичанами. Вездѣ стояли развалины сожженныхъ бурскихъ фермъ, хлѣбъ на поляхъ былъ или сожженъ, или вытоптанъ, кое-гдѣ бродилъ одичавшій скотъ. Разъ ночью кафръ въ первый разъ услышалъ глухой гулъ отдаленнаго пушечнаго выстрѣла.

— Это богъ боговъ Ийи сердится,—шопотомъ объяснилъ проснувшійся царь царей.

— Нѣтъ, это стрѣляютъ изъ пушекъ.

Царь царей отъ радости началъ кувыркаться по землѣ. Наконецъ-то онъ увидитъ, какъ бѣлые люди убиваютъ бѣлыхъ людей...

Имъ пришлось итти еще цѣлый день, прежде чѣмъ на высокомъ плоскогорьѣ забѣлѣли палатки укрѣпленнаго англійскаго лагеря. Царь царей визжалъ отъ радости, когда надъ лагеремъ взвивались бѣлые клубы дыма отъ пушечныхъ выстрѣловъ. О, это—настоящая война, и богъ боговъ Ийи радуется. Вѣдь это онъ руками бѣлыхъ людей стрѣлялъ изъ пушекъ въ бѣлыхъ людей. Отъ восторга царь царей хотѣлъ вылѣзть изъ своего мѣшка и итти пѣшкомъ, но кафръ этого ему не позволилъ.

— Сиди смирно и крѣпче держись за мою шею,—совѣтовалъ онъ.

Подойдя къ линіи англійскихъ аванпостовъ, кафръ поднялъ руки вверхъ и что-то крикнулъ часовымъ по-англійски, что вызвало общій смѣхъ.

— Да это нашъ Самъ!—крикнулъ кто-то изъ толпы солдатъ, одѣтыхъ въ сѣрые хаки и такіе же сѣрые шлемы изъ пробки.

Кафръ торжественно внесъ царя царей въ средину лагеря и остановился только у палатки полковника Гичъ-Гича. Его окружили со всѣхъ сторонъ и со смѣхомъ разсматривали выставлявшуюся изъ зеленаго мѣшка голову царя царей.

— Это—старая обезьяна,—острилъ кто-то изъ молодыхъ офицеровъ.

Когда изъ палатки вышелъ самъ полковникъ Гичъ-Гичъ въ сопровожденіи своего адъютанта Гичъ-Гича, кафръ Самъ опустилъ зеленый мѣшокъ на землю и съ торжествомъ проговорилъ:

— Полковникъ, я принесъ тебѣ людоѣда, который на берегахъ озера

Нямъ-Нямъ съѣлъ миссіонера и его жену... Я его тащилъ на собственной спинѣ цѣлыхъ три недѣли

Кафръ самъ, очевидно, разсчитывалъ на эффектъ своего заявленія, но полковникъ Гичъ-Гичъ молча посасывалъ свою трубочку, заложивъ руки въ карманы штановъ.

— Развяжи-ка своего людоѣда,—скомандовалъ адъютантъ Гипъ-Гипъ

Выташивъ царя царей изъ зеленаго мѣшка и поставивъ его на ноги, кафръ Самъ объяснилъ, показывая мѣшокъ:

— А это—зеленая юбка той дьяконессы, которую съѣлъ вотъ этотъ Ийп... Онъ называетъ себя царемъ царей

Офицеры хотѣли разсмѣяться надъ послѣдней фразой, и даже по рыжимъ усамъ полковника Гичъ-Гича пропозло что-то въ родѣ улыбки, какъ въ этотъ моментъ раздался оглушительный пушечный выстрѣлъ, и царь царей подпрыгнулъ высоко въ воздухъ, а потомъ началъ кататься по землѣ. Это вызвало общій хохотъ. Царь царей не понялъ, что Самъ говорилъ про него по-англійски, и былъ очень доволенъ произведеннымъ впечатлѣніемъ. Онъ тоже хохоталъ вмѣстѣ съ другими.

— Веселая каналья,—замѣтилъ адъютантъ Гипъ-Гипъ, любуясь хохотавшимъ Ийп.—Я въ первый разъ вижу людоѣда и не думалъ, что людоѣды походятъ на плохо вычищенный вакой сапогъ.

Полковникъ Гичъ-Гичъ узналъ Сама съ перваго раза и рѣшилъ про себя, что единственной наградой этому измѣнику можетъ служить только висѣлица. Что касается людоѣда, то и его тоже слѣдуетъ повѣсить, но предварительно разобрать все дѣло. Полковникъ отличался истинно-англійской корректностью.

— Заковать въ кандалы этихъ негодяевъ,—приказалъ онъ, повернулся и ушелъ въ свою палатку.

Кафръ Самъ понялъ все значеніе этого лаконическаго приказанія и дико завылъ. Онъ разсчитывалъ, что за доставку людоѣда ему простятся его грѣхи, и что даже будетъ дано вознагражденіе, а получалось нѣчто ужасное. Царь царей ничего не понималъ и только глупо озирался кругомъ, когда ихъ повели въ дальній конецъ лагеря, гдѣ стояли фургоны съ артиллерійскими снарядами.

Исполнявшій приказаніе адъютантъ Гипъ-Гипъ велѣлъ приковать обоихъ къ колесамъ одного фургона. Царя царей приковали къ переднему колесу на короткую цѣпь, а кафра Сама—на длинную къ заднему. Очутившись прикованными, недавніе друзья сейчасъ же разссорились.

— Тебя, людоѣда, повѣсятъ,—сообщилъ Самъ.

Царь царей только рычалъ и плевалъ на него.

V.

Негодяевъ повѣсили бы въ тотъ же день, но это была суббота, да и буры усиленно обстрѣливали англійскій лагерь. На глазахъ у царя царей было убито нѣсколько англійскихъ солдатъ шрапнелью, и онъ помирился со своей участью. Несмотря на всю безнадежность своего положенія, старый Ийп не могъ не любоваться, какъ надъ его головой въ воздухѣ разрывались шрапнели, осыпая своими осколками и картечью англійскихъ солдатъ. Еще лучше были бурскія гранаты, которыя съ визгомъ и шипѣньемъ зарывались въ землю, и потомъ слѣдовалъ ужасающій взрывъ. Полковникъ все время сидѣлъ въ своей палаткѣ, а распоряжался боемъ адъютантъ Гипъ-Гипъ отвѣчавшій на каждый бурскій выстрѣлъ изъ своихъ орудій.

Адъютантъ Гипъ-Гипъ время отъ времени подходилъ къ царю царей и долго смотрѣлъ на него задумчивыми сѣрыми глазами. Старый Ийи не выносилъ этого взгляда и весь съеживался.

— Онъ хочетъ ѣсть,—коротко объяснялъ Самъ.

Когда подали походный котелокъ съ какими-то объѣдками отъ солдатскаго обѣда, кафръ Самъ отнялъ его у царя царей и съѣлъ все одинъ. Старый Ийи рычалъ, ругался и плевалъ на безсовѣстнаго кафра, что смѣшило собравшихся около нихъ солдатъ до слезъ. Для царя царей ничего ужаснѣе не было, какъ чувство голода. Вѣдь онъ своихъ плѣнныхъ, которыхъ съѣдалъ, всегда кормилъ до отвала, даже насильно, какъ зеленую дьякониссу. Вообще англичане казались ему невоспитанными и грубыми людьми до послѣдней степени.

— Это безсовѣстно—морить царя царей голодомъ!—кричалъ старый Ийи, хотя его и понималъ одинъ кафръ Самъ.—Мои жены кормили меня ежами, жеваным сахарнымъ тростникомъ, древесными улитками...

Канонада съ обѣихъ сторонъ продолжалась до самой полночи. Когда наступила темнота, взрывы шрапнелей и гранатъ были особенно эффектны. Это богъ боговъ Ийи бросилъ въ англичанъ огненную смерть за то, что они морили голодомъ царя царей Ийи. Дѣло было ясно какъ день.

Ровно въ полночь выстрѣлы прекратились. Наступало воскресенье. Весь англійскій лагерь заснулъ, не опасаясь за нападеніе, потому что и буры тоже чтили священный день. Не спалось только одному царю царей, котораго мучилъ жестокій голодъ. Чтобы чѣмъ-нибудь утишить страданія, онъ дѣлалъ изъ земли шарики и глоталъ ихъ. Лучше ужъ боли въ животѣ, чѣмъ голодъ. А тутъ рядомъ наѣвшійся до отвала Самъ храпитъ, какъ буйволъ... Это еще усиливало муки царя царей.

Такъ старый Ийи и заснулъ на новосельѣ голоднымъ. Зато во снѣ къ нему явился самъ богъ боговъ Ийи и сказалъ:

— Царь царей не плачь, что ты голоденъ... Подожди немного, пока бѣлые перебьютъ другъ друга и вся земля достанется чернокожимъ. Не останется ни одного бѣлаго человѣка...

Проснулся царь царей отъ странной музыки, какой онъ никогда не слыхалъ. Около палатки полковника собрались всѣ солдаты. Адъютантъ Гипъ-Гипъ игралъ на фисгармоніумѣ, украденномъ съ бурской фермы, воскресный гимнъ, а солдаты пѣли. Получалась самая трогательная картина христіанскаго праздника. Когда гимнъ кончился полковникъ Гичъ-Гичъ долго читалъ библію.

— Что они дѣлаютъ?—спрашивалъ царь царей Сама.

— Молятся своему бѣлому богу,—объяснилъ кафръ, показывая свои бѣлые зубы.—Развѣ забылъ какъ пѣла твоя дьякониссa?

Воспоминаніе о дьякониссѣ привело стараго Ийи въ бѣшенство: онъ еще никогда въ своей жизни не котѣлъ такъ ѣсть, какъ сейчасъ. У него даже въ головѣ начинало мутиться при одномъ воспоминаніи о сочномъ мясѣ дьякониссы. Царь царей рычалъ отъ голода и грызъ свою цѣпь, а Самъ громко хохоталъ.

Эта дикая сцена между дикарями прервала англиканское богослуженіе. Полковникъ Гичъ-Гичъ, одѣтый не въ мундиръ, а въ длиннополый сюртукъ англиканскаго пастора, подошелъ съ библіей въ рукахъ къ неистовствовавшимъ дѣтямъ природы и проговорилъ кроткимъ голосомъ:

— Что вы дѣлаете, дѣти мои? Зачѣмъ вы нарушаете покой великаго дня мира и любви?

— Я уже два дня не ѣлъ!..—кричалъ царь царей съ пѣной у рта.

Гичъ-Гичъ скромно опустилъ глаза и началъ говорить о покаяніи, о прощеніи обидъ ближнему, о безконечномъ милосердіи Божіемъ, о спасеніи души вообще, а для этого прежде всего нужно перейти въ лоно англиканской церкви.

— Зачѣмъ ты все это говоришь?—спрашивалъ его кафръ Самъ.—Я вѣдь знаю, что завтра ты велишь обоихъ насъ повѣсить...

— Сегодня я вашъ братъ и говорю какъ братъ, и ничего не знаю, что завтра законъ велитъ мнѣ исполнить, какъ начальнику.

Кафръ Самъ хохоталъ самымъ тупымъ образомъ, но полковникъ Гичъ-Гичъ нисколько не смутился и въ цѣляхъ обращенія этихъ дикарей на путь истины прочелъ имъ цѣлыхъ три главы изъ Библіи. Вѣрный сынъ англиканской церкви еще не терялъ надежды, что эти чернокожіе негодяи по крайней мѣрѣ умрутъ добрыми христіанами. Черный Самъ отлично зналъ эту толстую книгу, которую читалъ полковникъ. Онъ три раза принималъ христіанство и получалъ за это деньги, обувь, платье и пищу. И старый Ийи тоже узналъ ее,—точно такая же толстая книга была у миссіонера, котораго онъ съѣлъ. Разница вся заключалась только въ томъ, что этотъ миссіонеръ стрѣлялъ изъ пушки въ своихъ же бѣлыхъ людей, которые читали такую же толстую книгу.

Воскресный день прошелъ, какъ всегда, очень скучно. Единственнымъ развлеченіемъ для солдатъ было кормленіе дикарей. Черный Самъ съ ловкостью акробата выхватилъ котелокъ съ ѣдой изъ-подъ самаго носа у царя царей и съѣлъ все безъ остатка. Старый Ийи щелкалъ зубами отъ голода и вылъ, какъ гіена.

На другой день рано началась опять канонада. Англичанамъ приходилось плохо, и полковникъ Гичъ-Гичъ рѣшилъ перенести лагерь въ другое мѣсто.

— А куда мы дѣнемъ этихъ негодяевъ?—спросилъ адъютантъ Гипъ-Гипъ.

— Ахъ, да... Устроимъ сейчасъ же полевой судъ. Куда намъ таскать ихъ за собою... Приготовьте все, чтобы не было задержки.

Судъ происходилъ на открытомъ воздухѣ передъ палаткой полковника. Предсѣдательствовалъ самъ полковникъ Гичъ-Гичъ, обвинялъ одинъ изъ офицеровъ, а адъютантъ Гипъ-Гипъ занялъ мѣсто секретаря. Главнымъ обвинителемъ явился Самъ, который со всѣми подробностями разсказалъ печальную исторію съѣденной царемъ царей миссіонерской четы. Полковникъ равнодушно покуривалъ коротенькую трубочку, прислушиваясь къ усиливавшейся канонадѣ. Адъютантъ Гипъ-Гипъ усердно рисовалъ красивую женскую головку, подъ которой написалъ: „Милая миссъ Модъ“. Спрошенный, признаётъ ли себя виновнымъ, старый Ийи показалъ себѣ на ротъ, т.-е. что онъ голоденъ, но это было принято за признаніе, что онъ сознаётся въ своемъ преступленіи.

Черезъ полчаса оба дикаря были лишены всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ и приговорены къ повѣшенію,—Самъ, какъ дезертиръ и измѣнникъ, а старый Ийи, какъ людоѣдъ. Въ качествѣ вещественныхъ доказательствъ на судейскомъ столѣ лежала одна зеленая юбка дьякониссы.

— Вамъ остается только привести приговоръ въ исполненіе,—обратился полковникъ къ своему адъютанту.—Да поторопитесь...

— Слушаю, г. полковникъ!—браво отвѣтилъ адъютантъ, дѣлая подъ козырекъ.

Когда черный Самъ объяснилъ царю царей о состоявшемся рѣшеніи суда, старикъ горько заплакалъ.

— О чемъ плачетъ эта старая обезьяна?—спросилъ полковникъ стараго Сама, служившаго переводчикомъ.

— Онъ голоденъ,—коротко объяснилъ черный Самъ и не безъ дерзости прибавилъ:—я цѣлыхъ три дня съѣдалъ его порцію.

Плечи полковника сдѣлали нетерпѣливое движеніе.

— Ну, теперь уже некогда васъ кормить и не для чего,—рѣшилъ онъ.

Когда осужденныхъ повели на казнь, онъ прибавилъ съ презрѣніемъ:

— Этакія животныя...

Въ лагерѣ не было ни одного „приличнаго" дерева, на которомъ можно было бы повѣсить двухъ преступниковъ. Строить спеціально для нихъ висѣлицу было слишкомъ большой роскошью, да и времени на это не оставалось. Полковому фельдшеру пришла, впрочемъ, счастливая мысль: поднять повыше дышло артиллерійскаго фургона—и висѣлица готова. Старый Ийи все время рыдалъ и повторялъ одно и то же:

— Я никогда не поступалъ такъ со своими плѣнными. Повѣсить голоднаго, это—безчеловѣчно.

Адъютантъ Гипъ-Гипъ во всемъ копировалъ своего полковника: такъ же цѣдилъ слова сквозь зубы, такъ же принималъ скучающій видъ, такъ же закладывалъ руки въ карманы штановъ и такъ же ничему не удивлялся и ничѣмъ не возмущался, чтобы не портить своего характера и аппетита. Онъ слѣдилъ равнодушными глазами, какъ шли приготовленія къ повѣшенію людоѣда,—его была первая очередь. Старый Ийи вдругъ присмирѣлъ и смотрѣлъ моргающими глазами кругомъ. Его вздернули на дышло, какъ котенка, и онъ какъ-то жалко задрыгалъ худыми ногами. Адъютантъ Гипъ-Гипъ подозвалъ къ себѣ военнаго фельдшера, который долженъ былъ констатировать смерть, и что-то ему шепнулъ на ухо.

— О, yes,—отвѣтилъ фельдшеръ.

Именно этимъ моментомъ и воспользовался Самъ. Онъ неожиданно прорвался черезъ цѣпь солдатъ и ринулся къ брустверу съ быстротой испуганной лошади. Растерявшіеся солдаты дали по немъ залпъ, когда онъ уже былъ за линіей аванпостовъ. Но все было напрасно. Кафръ спасся какимъ-то чудомъ, и адъютантъ въ бинокль видѣлъ, какъ его темная фигура мелькала въ темной заросли у линіи бурскихъ аванпостовъ

— Адъютантъ, готово... — шепнулъ фельдшеръ, осторожно передавая какой-то свертокъ.

— Снесите ко мнѣ въ палатку,—отвѣтилъ адъютантъ, не рѣшаясь прикоснуться къ таинственному свертку.

VI.

Вся добрая старая Англія любовалась красавицей миссъ Модъ. Ее встрѣчали вездѣ: на первыхъ представленіяхъ въ театрѣ, на скачкахъ Дэрби, на знаменитыхъ гребныхъ гонкахъ, гдѣ благородное юношество изъ Оксфорда и Кэмбриджа оспаривало пальму первенства передъ лицомъ всей націи, и т. д. Она поднималась на Везувій и чуть не поднялась на Монбланъ; она отлично правила четверкой крозныхъ бѣлорожденныхъ лошадей, запряженныхъ цугомъ, немного рисовала, немного играла на роялѣ, немного пѣла и т. д. Однимъ словомъ, талантамъ миссъ Модъ не было конца. Прибавьте къ этому, что никто не умѣлъ одѣваться съ такимъ вкусомъ, какъ миссъ Модъ, и репортеры описывали ея бальные костюмы, какъ выдающееся событіе дня. Но всего замѣчательнѣе была сама миссъ Модъ — высокая, стройная, гибкая, съ удивительно красивымъ лицомъ, освѣщеннымъ загадочнымъ взглядомъ двухъ

зеленоватыхъ глазъ, напоминавшихъ восточные хризолиты. Вообще это было послѣднее слово европейской цивилизаціи, и художники боялись признаться, что миссъ Модъ даже сложена лучше, чѣмъ античныя статуи. Въ мірѣ англійскаго искусства она получила названіе бѣлокурой римлянки, хотя это и не выражало ничего, кромѣ желанія опредѣлить неопредѣлимое. Поклонники миссъ Модъ не знали главнаго ея недостатка, который она тщательно скрывала: у нея были широкія и плоскія ступни. Это ее убивало, и миссъ Модъ называла себя Венерой на гусиныхъ лапахъ.

И, несмотря на всѣ перечисленныя совершенства, къ общему удивленію, миссъ Модъ упорно продолжала оставаться дѣвушкой... Добрые люди, которые привыкли заниматься чужими дѣлами, самымъ добросовѣстнымъ образомъ увѣряли, что миссъ Модъ мѣшала ея чудовищная гордость и что будто бы она желала сдѣлаться не меньше, какъ герцогиней. Герцоговъ въ Англіи достаточно, но они, отдавая должную дань ея личнымъ достоинствамъ и милліонамъ приданаго, не могли простить ей ея довольно темнаго происхожденія. Достаточно сказать, что ея прадѣдъ, отъ котораго началось благосостояніе рода, былъ простымъ капитаномъ невольничьяго корабля, а папаша торговалъ опіумомъ въ Китаѣ, устраивалъ какіе-то сомнительные трёсты и синдикаты по всевозможнымъ отраслямъ промышленности и вообще былъ довольно сомнительный джентльменъ. Даже въ Англію онъ пріѣзжалъ для свиданія съ единственной дочерью подъ строжайшимъ incognito, чтобы не компрометировать миссъ Модъ.

У миссъ Модъ на морскомъ берегу былъ чудный зàмокъ, въ которомъ она жила одна, какъ сказочная красавица. Посторонній глазъ не могъ ее видѣть. Нашъ разсказъ застаетъ ее именно въ этомъ зàмкѣ, въ моментъ появленія таинственнаго отца, котораго въ глаза не знала даже ея собственная прислуга. Она въ эти немногіе дни свиданія съ отцомъ чувствовала себя всегда нехорошо, капризничала и даже плакала потихоньку отъ всѣхъ. Отецъ и дочь встрѣчались только въ столовой, когда вмѣстѣ завтракали и обѣдали. Онъ какъ-то боязливо смотрѣлъ на нее влюбленными глазами, какъ смотрятъ на божество, что̀ уже совсѣмъ не шло къ его точно отлитой изъ бронзы фигурѣ, загорѣлому, суровому лицу и большимъ, краснымъ рукамъ.

— Модъ, у тебя опять глаза красные? — нерѣшительнымъ тономъ проговорилъ онъ, когда она вышла къ завтраку.—Ты опять плакала?

— Нѣтъ... такъ...

— Тебѣ скучно?

— Какъ всегда...

— Тебѣ, можетъ-быть, что-нибудь нужно?

— Благодарю. У меня все есть и даже слишкомъ много совершенно ненужныхъ вещей. Я не знаю даже, что̀ могъ бы придумать человѣкъ, который пожелалъ бы мнѣ что-нибудь подарить. Ты меня избаловалъ, какъ принцессу...

— Ты знаешь, какъ я тебя люблю, Модъ...—какъ-то виновато проговорилъ онъ, точно оправдываясь передъ дочерью. — И мнѣ кажется, что все мало и все недостойно тебя... Могу сказать съ гордостью, что изъ твоего зàмка я сдѣлалъ музей рѣдкостей. Каждая вещь—unicum, и другой такой не найдешь... Одни китайскіе лаки и китайскій фарфоръ чего сто̀ятъ,—имъ больше тысячи лѣтъ, и имъ нѣтъ цѣны даже въ Китаѣ. Это пріобрѣтено мною по случаю, изъ добычи, которую захватилъ маршалъ Пелисье, когда ограбилъ въ первый разъ Пекинъ. А китайская бронза? А коллекціи индѣйскихъ вещей послѣ разграбленія Дэли? А золотая статуэтка Изиды изъ Танагры? А мумія

священной кошки изъ пирамиды фараона Хеопса? А цѣлая коллекція китайскихъ вазъ изъ нефрита?

— Да, да, ты правъ, отецъ...—со вздохомъ соглашалась миссъ Модъ.

— Ты не подумай, что это я грабилъ... Грабили другіе — французы, нѣмцы, американцы, англичане, а я только покупалъ за наличныя деньги. А какіе у тебя жемчуга, рубины и сапфиры изъ Голконды, брильянты всѣхъ цвѣтовъ... Помнишь, я тебѣ подарилъ одинъ восточный изумрудъ въ пятьдесятъ каратъ? Это—камень первой воды... И собственно это даже не изумрудъ, какъ они опредѣлили въ парижской академіи наукъ, а восточный зеленый корундъ. А твой любимый карбункулъ изъ малоазіатскихъ раскопокъ, который походитъ на сгустокъ запекшейся крови?

Отецъ хорошо зналъ, чѣмъ угодить дочери, и чудное лицо миссъ Модъ покрылось счастливымъ румянцемъ. О, вѣдь она и сама — тоже величайшая рѣдкость... Отецъ умѣлъ ее любить, и его любовь свѣтилась разноцвѣтными огнями драгоцѣнныхъ камней, радужными теплыми переливами жемчуга, сіяла золотомъ, смотрѣла на нее блеклыми тонами гобеленовъ и старыхъ шелковъ, молочной бѣлизной слоновой кости. Сколько чернаго и самаго тяжелаго труда было затрачено на всѣ эти коллекціи, сколько искусства, генія, энергіи! И все это только для того, чтобы миссъ Модъ могла сказать: все это сейчасъ мое. Она чувствовала себя среди этихъ драгоцѣнностей маленькой царицей, для которой добрыми европейцами ограбленъ былъ весь міръ.

— Знаешь что̀, отецъ, — задумчиво проговорила миссъ Модъ, когда вопросъ былъ исчерпанъ. — У самой лучшей медали есть оборотная сторона... Мнѣ впередъ жаль моего будущаго жениха. Бѣдняжкѣ трудно будетъ придумать что-нибудь подарить мнѣ.

— Гм... да... А развѣ уже есть такой?

— Пока опредѣленнаго ничего еще нѣтъ, но одинъ молодой человѣкъ мнѣ почти нравится... Впрочемъ онъ далеко, и говорить о немъ не сто̀итъ. Онъ хорошей фамиліи и будетъ лордомъ, когда умретъ его старшій сумасшедшій братъ.

— Сумасшедшіе имѣютъ дурную привычку жить дольше, чѣмъ имъ слѣдуетъ...

Этотъ интересный разговоръ былъ прерванъ лакеемъ-индусомъ въ бѣлой кисейной чалмѣ, который съ низкимъ поклономъ подалъ своей повелительницѣ на серебряномъ подносѣ письмо и какой-то футляръ. Миссъ Модъ знакомъ руки велѣла ему удалиться и, пробѣжавъ адресъ, съ удивленіемъ проговорила:

— Вотъ кстати... Мы только-что о немъ говорили, отецъ. Это письмо отъ того офицера, который... Ты меня извинишь, что я буду читать это письмо при тебѣ. Кстати, онъ пишетъ всегда такія длинныя письма, точно у него собственная писчебумажная фабрика.

Любящему отцу пришлось шагать по столовой довольно долго, пока Модъ прочла письмо до конца. Она нѣсколько разъ останавливалась и, откинувъ прелестную головку, шептала:

— Ахъ, какой онъ милый, мой Арчибальдъ!.. И храбрый, и великодушный, и все время думаетъ только обо мнѣ.

Кончивъ чтеніе, миссъ Модъ раскрыла футляръ, въ которомъ лежала темная кожаная записная книжка въ золотой оправѣ съ брильянтами.

— Отецъ, посмотри, что̀ это за прелесть!..—восхищалась миссъ Модъ.— Оправа изъ настоящаго африканскаго золота съ настоящими африканскими брильянтами...

Любящій отецъ повертѣлъ въ рукахъ записную книжку и по привычкѣ мысленно ее оцѣнилъ. Книжка стоила не больше тридцати фунтовъ стерлинговъ. Миссъ Модъ поняла эти коммерческія соображенія и весело засмѣялась.

— Эта книжка будетъ самой замѣчательной вещью во всѣхъ моихъ коллекціяхъ, — объяснила она съ дѣтской серьезностью и прибавила, предупреждая недовѣрчивую улыбку отца.—Представь себѣ, она сдѣлана изъ кожи людоѣда... Да, настоящаго живого людоѣда, котораго Арчибальдъ взялъ въ плѣнъ и казнилъ. Это былъ гигантскаго роста человѣкъ, звѣрской наружности... У него даже ногти были отточены, какъ у тигра, и отравлены ядомъ гремучей змѣи...

— Виноватъ, кажется, въ Африкѣ гремучихъ змѣй нѣтъ?

— Ахъ, не перебивай меня... Посмотри, какая удивительная кожа... совсѣмъ темная...

— Очевидно, негритянская.

— Когда его казнили, Арчибальдъ велѣлъ вырѣзать изъ него кусокъ кожи и послалъ ее въ Лондонъ... Онъ все время думаетъ обо мнѣ. Какъ это мило съ его стороны... Такой книжки рѣшительно ни у кого въ цѣломъ свѣтѣ нѣтъ и не было.

— На одномъ аукціонѣ въ Парижѣ продавали портсигаръ изъ кожи Пранцини...

— Что такое Пранцини? Простой бульварный убійца, а это—настоящій людоѣдъ. Нѣтъ, я чувствую, что я сразу полюбила Арчибальда... Онъ будетъ со временемъ главнокомандующимъ и превзойдетъ рыцарскимъ великодушіемъ даже лорда Китченера. Ахъ, кстати, какая смѣшная была фамилія у этого людоѣда: Ийн.

На слѣдующій день миссъ Модъ занесла въ новую записную книжку нѣсколько мыслей.

Во-первыхъ, какъ я люблю своего Арчибальда... Эта удивительная книжка—его свадебный подарокъ, и она останется навѣки доказательствомъ побѣды цивилизаціи и гуманности надъ варварствомъ. Во-вторыхъ, мой Арчибальдъ, я тебѣ скажу по секрету, что намъ съ тобой принадлежитъ весь міръ. Мы—бѣлокурые римляне... Черноволосые римляне боялись моря, и отъ этого пала цивилизація. Когда буры будутъ истреблены до послѣдняго человѣка, весь міръ удивится нашему геройству, какъ сейчасъ завидуютъ нашимъ славнымъ подвигамъ. Въ-третьихъ, мой Арчибальдъ, я еще немножко люблю себя...“

1902.

ИСПЫТАНІЕ.

Разсказъ.

I.

На одномъ изъ приоковъ Оки, недалеко отъ Москвы, раскинулось большое село Стругановка. Когда-то оно было помѣщичьимъ, а теперь о добромъ старомъ времени напоминаетъ одна барская усадьба со стариннымъ барскимъ домомъ и большимъ запущеннымъ садомъ. Изъ-за покосившейся деревянной ограды такъ и выпираютъ цѣлыя облака зелени. Передъ домомъ когда-то были разбиты англійскія куртины съ молодымъ дубкомъ въ центрѣ, но куртины давно превратились въ простую русскую поляну, а дубокъ росъ все выше и выше и даже успѣлъ пустить кругомъ себя молодую поросль.

— Надо бы, Катерина Васильевна, пообрѣзать поросль-то,—аккуратно каждую весну докладывалъ своей барынѣ старый садовникъ Иванъ.

— Да для чего это?—удивлялась каждый разъ барыня и вопросительно смотрѣла на вѣрнаго слугу черезъ очки.

— Да какъ же-съ, Катерина Васильевна... Такой ужъ порядокъ: какъ молодь зачнетъ одолѣвать, сейчасъ ее и подрѣзываешь. Настоящій англійскій садъ былъ, по всей формѣ...

— Хорошо, хорошо, Иванъ... Пусть молодь порастетъ, а мы посмотримъ.

Старикъ-садовникъ разглаживалъ степенно свою сѣдую бороду, вертѣлъ въ рукахъ шапку и еще разъ спрашивалъ:

— Такъ, значитъ, пусть порастетъ, Катерина Васильевна?

— Пусть порастетъ...

— Слушаю-съ!

Во всемъ слова барыни для сторожа были закономъ, но тутъ онъ никакъ не могъ согласиться съ барской волей, и „молодь" просто мозолила ему глаза. „Ужъ, конечно, Катерина Васильевна барыня настоящая, великатная, — разсуждалъ старый садовникъ, возвращаясь къ своимъ обязанностямъ, — а все-таки напрасно поблажку даютъ... Главное, чтобы все было аккуратно, значитъ, порядокъ первое дѣло!" Этотъ Иванъ въ барской усадьбѣ „отвѣчалъ" за цѣлый штатъ помѣщичьей прислуги, совмѣщая въ себѣ и дворецкаго, и приказчика, и мажордома вообще. Настоящая прислуга давно разошлась, и оставался одинъ Иванъ, преданный старому барскому дому всей душой. На новой жизни на новыхъ людей старикъ не признавалъ, а жилъ въ прошломъ.

— Все это наплывъ сброда,—разсуждалъ онъ въ своей каморкѣ, которую прежде занималъ главный швейцаръ. — Не стало настоящихъ господъ, вотъ главная причина... Одна Катерина Васильевна осталась на всю округу.

Старое рабье сердце Ивана было преисполнено неподдѣльной любви къ послѣдней представительницѣ вымершаго дворянскаго рода Струганцевыхъ. Когда Екатерина Васильевна по вечерамъ выходила на балконъ и садилась съ какой-нибудь работой у двери на своемъ любимомъ креслѣ, Иванъ издали любовался ей. Вотъ барыня, такъ барыня, не чета другимъ прочимъ. Накупили разоренныхъ господскихъ усадебъ и думаютъ, что стали господами: то, да не то. Катерина Васильевна пройдетъ по комнатѣ, такъ одна походка чего стоитъ. А какъ она одѣнется? Къ каждой оборочкѣ, къ каждой складкѣ платья „барышни" старикъ относился съ какимъ-то благоговѣніемъ: все это настоящее, дворянское, и ничего нѣтъ холуйскаго. Про себя онъ всегда называлъ ее барышней, хотя этой барышнѣ уже перевалило за пятьдесятъ и она давно носила темныя платья, тщательно избѣгая яркихъ, вызывающихъ цвѣтовъ.

А барышня любила по вечерамъ посидѣть на балконѣ, съ котораго открывался широкій видъ и на все село и на окрестности. Вонъ тамъ желтая волна полей, вонъ блеститъ рѣчонка, а тамъ пыльной полоской уходитъ къ станціи желѣзной дороги проселокъ. Съ ранняго дѣтства эта ничтожная пыльная полоска для Екатерины Васильевны имѣла какое-то особенное значеніе, какъ таинственный нервъ, соединявшій усадьбу съ остальнымъ міромъ — по ней налетали въ струганповскую усадьбу и радости, и „надежды", и напасти. Старая нянька, качая дѣвочку на колѣняхъ, часто говорила ей: „Вонъ по той дорожкѣ пріѣдетъ къ Катенькѣ женихъ... Выдадимъ Катеньку за офицера"... Нянька давно умерла, Катенька успѣла состариться, шоссе, по которому ѣздили офицеры, искавшіе въ помѣщичьихъ усадьбахъ богатыхъ невѣстъ, зарастало зеленой травой, а теперешняя Катенька все-таки иногда поглядывала на пыльный проселокъ и потихоньку вздыхала. Она даже какъ-то иногда начинала бояться этой таинственной нити, соединяющей захудавшее дворянское гнѣздо съ желѣзнодорожной станціей. Тамъ, по этой новой желѣзной дорогѣ, ѣздятъ уже новые люди, поглощенные своими новыми интересами, и имъ не понять вымирающихъ старыхъ людей. Жизнь давно ушла впередъ и неудержимо несетъ съ собой все новое, а старое въ силу какого-то соціальнаго удѣльнаго вѣса остается назади.

Высокая ростомъ, красиво сложенная и съ красивымъ, выразительнымъ лицомъ, Екатерина Васильевна хорошо сохранилась для своихъ лѣтъ. Единственнымъ недостаткомъ было то, что она слишкомъ рѣдко улыбалась. Сѣрые, большіе глаза смотрѣли всегда съ ласковой задумчивостью, гладко зачесанные мягкіе русые волосы открывали такой умный бѣлый лобъ, а прямой, точно выточенный носъ придавалъ лицу строгое выраженіе. Хорошее это было лицо, съ той задумчивой прелестью, какой отличаются одни женскія русскія лица. Почти монашескій костюмъ походилъ на трауръ, но зато „барышня" питала большую слабость къ тонкому дорогому бѣлью и выписывала обувь изъ Парижа. Стремленіе къ внѣшней чистотѣ выражало глубокую внутреннюю потребность.

Лѣтними вечерами Екатерина Васильевна подолгу просиживала на своемъ балконѣ и все смотрѣла вдоль дороги. Солнце садится. На рѣкѣ начинаетъ дымиться легкій туманъ, который отсюда разстилается по всѣмъ низинкамъ и выемкамъ. Мимо барской усадьбы вереницей катятся крестьянскія телѣги, возвращаются косцы и жнецы, бѣгутъ ребятишки. Въ селѣ подымается призывный дымокъ и зажигаются огни. Иногда проходятъ толпы рабочихъ съ веселыми пѣснями, иногда тяжело тащатся одинокія женщины, усталыя и измученныя, а за ними плетутся жалкіе ребятишки.

„Охъ, хотя бы часокъ вотъ такъ-то пожить... — думаетъ какая-нибудь вдова, останавливаясь предъ барской усадьбой перевести духъ и съ завистью поглядывая на балконъ, гдѣ вѣчно торчитъ „барышня“. — Вѣдь живется же людямъ, подумаешь, ни тебѣ работы, ни тебѣ заботы... Сиди да поглядывай, какъ другіе маются“.

Бѣдныя бабы, особенно тѣ, которыя маялись съ ребятишками, хорошо знали дорогу въ барскую усадьбу—у Екатерины Васильевны не было отказу, хотя Иванъ и защищалъ ее отчаяннымъ образомъ отъ одолѣвавшей деревенской босоты и наготы.

— Всѣхъ не одѣнешь и не накормишь,—бормоталъ онъ, выпроваживая просительницъ.—А наша барышня какая рубашку съ себя готова отдать..

Усердствовавшій по-своему старикъ не подозрѣвалъ, что барышня часто смотритъ со своего балкона на проходящихъ мимо бабъ почти съ завистью... Да, вотъ эти несчастныя, вытянувшіяся на работѣ женщины знаютъ, для чего онѣ живутъ — нуженъ каждый ихъ шагъ, каждый часъ работы, каждая забота. Есть дѣти, которыхъ нужно накормить и одѣть, есть тѣ мелкія заботы и нужды которыя дѣлаютъ день короткимъ. Этотъ кусокъ черствого ржаного хлѣба, который вмѣсто обѣда съѣдается торопливо на ходу, въ тысячу разъ лучше вѣчной сытости, а сознаніе, что *нужно* жить, *нужно* работать и *нужно* вытягивать день за днемъ, дѣлаетъ жизнь полной. А вотъ она, Екатерина Васильевна, сидитъ на своемъ балконѣ съ дамской работой, и чѣмъ дольше сидитъ, тѣмъ яснѣе сознаетъ, что ни дамская работа не нужна, ни сама она, Екатерина Васильевна. Эта ненужность собственнаго существованія являлась тяжелымъ гнетомъ, и барышня думаетъ о другихъ людяхъ, которые умѣли же устроиться иначе и наполнили свою жизнь. Но вѣдь и она думала когда-то иначе скоротать свой вѣкъ: были свои надежды, свои мечты и планы, а въ результатѣ получилась полная ненужность... Правда, ее постоянно тревожатъ посторонніе люди, она помогаетъ по своей силѣ бѣднымъ, наконецъ, есть у ней цѣлый кругъ дворянской родни, но все это не даетъ забывать ей о своемъ одиночествѣ и съ грустью смотрѣть вдоль роковой дороги, по которой уже некого ждать.

Большая половина стругановскихъ хоромъ стояла пустой, особенно зимой— не для кого было топить лишнія десять комнатъ. Барышня зиму и лѣто проводила въ своихъ двухъ „дѣвичьихъ покояхъ“, какъ называлъ Иванъ для нарочитой важности двѣ комнаты, носившія сыспоконъ вѣку свои клички — балконная и угольная. Съ октября мѣсяца Екатерина Васильевна наглухо запирала балконную дверь, Иванъ вставлялъ въ окна зимнія рамы, и цѣлый домъ окончательно замиралъ. Впрочемъ въ нижнемъ этажѣ, гдѣ въ доброе старое время убивались надъ работой красныя сѣнныя дѣвушки, въ одномъ окнѣ, какъ волчій глазъ, подолгу горѣлъ по ночамъ одинокій огонекъ: это въ креслѣ-катушкѣ лежалъ разбитый параличомъ братъ Екатерины Васильевны, отставной гусаръ Евлампій Васильевичъ, сѣдой старикъ съ перекошеннымъ лицомъ и выкаченными сѣрыми глазами. Бреттеръ, картежникъ, дѣвушникъ и кутила расплачивался за свои старые грѣхи. Екатерина Васильевна никогда не заглядывала сюда, да и женская прислуга тоже, потому что старый грѣшникъ не могъ видѣть женскаго лица, чтобы не отпустить какого-нибудь неприличнаго слова. Бариномъ завѣдывалъ тотъ же Иванъ.

— Скоро ли уже васъ Господь Батюшка приберетъ,—повторялъ Иванъ каждый день, когда убиралъ комнату.—Одно сквернословіе въ васъ только и осталось...

II.

Когда наступала весна, Екатерина Васильевна испытывала тревожное и тяжелое чувство. Она не находила въ своей душѣ отвѣта возрождавшейся около нея жизни. Покрывалась яркой молодой зеленью земля, развертывались на деревьяхъ давно набухшія почки, въ кустахъ и рѣчныхъ зарослях заливались первые соловьи, на балконъ отворялась дверь и выставлялись рамы, но эта зачинавшаяся жизнь отзывалась въ душѣ барышни старой болью и поднимала неудовлетворенное чувство.

— Скоро, видно, гости пріѣдутъ, Катерина Васильевна, — говорилъ Иванъ, выколачивая старую мебель и провѣтривая комнаты.—Кого-то нынче намъ Богъ пошлетъ...

Барская усадьба оживлялась заодно съ природой, а въ концѣ мая являлись и гости. Въ саду звенѣли молодые голоса, по комнатамъ раздавались легкіе шаги, и вездѣ сыпался такой беззаботный молодой смѣхъ. „Гдѣ тетя Кока?.. Тетя Кока, пойдемъ сегодня въ лѣсъ?.. Миленькая Кока, у меня ботинки развалились окончательно...“ Кока, Кока и Кока — вездѣ тетя Кока, какъ называла налетѣвшая въ Стругановку молодежь Екатерину Васильевну. Это былъ цѣлый букетъ племянницъ: Фофочка, Кетти, Жюли и Бѣлочка. Мальчиковъ тетя Кока не любила. Фофочка и Кетти—дочери сестры Варвары Васильевны, Жюли и Бѣлочка — брата Александра Васильевича. Дѣвочки пріѣзжали въ Стругановку изъ столичныхъ пансіоновъ и вносили за собой веселый шумъ. Тетя Кока не успѣвала отвѣчать на поцѣлуи, разбирать жалобы и, главное, класть безконечные „пятачки“ на разорванныя платья. А въ этомъ дѣлѣ она достигла замѣчательнаго совершенства, и проворная игла, точно сама собой, выдѣлывала мелкую стежку, когда тетя Кока въ сотый разъ отвѣчала пристававшимъ дѣвочкамъ одно и то же: купаться можно будетъ, когда Иванъ починитъ купальню, малина поспѣетъ въ августѣ, гулять можно только до рѣчки, а за рѣчкой можно встрѣтить пьянаго мужика, и т. д. Это былъ маленькій катехизисъ, и пьяный мужикъ появлялся на сцену исправно каждое лѣто.

Въ столовой устраивалась временная спальня. У стѣнъ кокетливо размѣщались бѣленькія кроватки, а на особыхъ подставкахъ висѣли лѣтніе костюмы: малорусскіе, мордовки, болгарки и простыя ситцевыя или холстинковыя платьица съ хорошенькими оборочками и разноцвѣтными рюшками. Всякая пансіонская „форма“ оставалась дома, и счастливыя дѣвочки прыгали въ своихъ лѣтнихъ нарядахъ, какъ вырвавшееся на свободу стадо козъ. Въ старинной спальнѣ была устроена уборная, и у двухъ мраморныхъ умывальниковъ гостьи полоскались по утрамъ, какъ гусиный выводокъ. Въ гостиной,— тамъ висѣли старинные портреты въ золотыхъ рамкахъ и стояла такая смѣшная пузатая мебель,—играть не позволялось, а дверь въ кабинетъ, гдѣ въ стеклянныхъ шкапахъ стояла библіотека, совсѣмъ была закрыта, и женское любопытство могло удовлетворяться только разсматриваніемъ сквозь замочную скважину. Тетя Кока была немножко странная, какъ увѣряла Фофочка: книги печатаются для того, чтобы ихъ читали, а не для того, чтобы прятать подъ замкомъ въ шкапахъ. Въ таинственномъ кабинетѣ, между прочимъ, цѣлая стѣна была занята всевозможнымъ оружіемъ, уздечками, нагайками и разной другой охотничьей сбруей.

Въ теченіе какого-нибудь одного дня въ цѣломъ домѣ, во дворѣ и въ саду не оставалось ни одного уголка или щели, которые не были бы изслѣдованы маленькими Евами съ такимъ вниманіемъ, точно онѣ производили

строжайшее судебное слѣдствіе. Садовникъ Иванъ трепеталъ за свою оранжерею и за клумбочки цвѣтовъ: на него дѣлались правильныя атаки, и старикъ не зналъ, куда ему дѣваться отъ улыбавшагося и щебетавшаго непріятеля. Бывали, конечно, крупныя непріятности, когда Иванъ клялся и божился, что сейчасъ же пойдетъ и пожалуется барышнѣ, и дѣйствительно шелъ... куда-нибудь въ кухню или въ свою каморку, что̀ покрывало его новымъ позоромъ. Непріятель пользовался каждой его слабостью въ свою пользу, вызывая новые casus belli: цвѣты рвали, общипывали совсѣмъ зеленыя ягоды, и разъ заперли Ивана въ оранжереѣ на щеколду, такъ что старикъ долженъ былъ вылѣзать оттуда чрезъ окно. Въ довершеніе скандала непріятель устроилъ засаду, и когда въ окнѣ показалась сѣдая борода Ивана и его покраснѣвшее отъ натуги лицо, послышался дружный залпъ безумнаго смѣха.

Но не всѣ проказы сходили такъ благополучно, и частенько тетя Кока появлялась среди дѣтей, отыскивала глазами виноватую и своимъ ровнымъ голосомъ говорила:

— Фофочка, мнѣ нужно съ тобой побесѣдовать...

Гостьи знали отлично, что̀ это значило, и покорно отправлялись подъ дубокъ, гдѣ стоялъ зеленый садовый диванчикъ. На языкѣ пансіонерокъ этотъ дубокъ получилъ названіе судебнаго дерева, а бойкая Жюли называла его дубомъ Людовика Святого, подъ которымъ благочестивый король чинилъ судъ надъ своими подданными. Попавшая подъ судебное дерево возвращалась оттуда съ нахмуреннымъ краснымъ лицомъ, а иногда съ заплаканными глазами. Тетя Кока оставалась на диванчикѣ нѣсколько времени одна, чтобы успокоиться, и возвращалась въ домъ со своимъ обычнымъ достоинствомъ. Если бы дѣвочки могли понимать, какую бурю поднимали въ душѣ тети Коки ихъ маленькія шалости, онѣ, навѣрно, никогда не стали бы шалить. Вѣдь тетя Кока была такая добрая и такъ страдала... Да и было отъ чего тетѣ мучиться. Вотъ уже двадцать лѣтъ, какъ она почти безвыѣздно живетъ въ своей усадьбѣ и каждое лѣто нянчится съ дѣвочками. Много ихъ тутъ перебывало, и всѣ такъ походятъ одна на другую. Именно это сходство и пугало тетю Коку: неужели же всѣ люди одинаковы? Къ первымъ двумъ своимъ воспитанницамъ, дочерямъ старшей сестры, она ужасно привязалась и дѣлала для нихъ рѣшительно все, отказывая себѣ въ послѣднемъ. Это было дорогое и хлопотливое удовольствіе, но оно наполняло жизнь и придавало ей смыслъ. Барышня начала даже смотрѣть на дѣвочекъ, какъ на своихъ собственныхъ дѣтей, и незамѣтно срослась съ ними всей душой, жаждавшей привязанности. Но вотъ тутъ и случилось жестокое разочарованіе. Наступало новое лѣто, дѣвочки были уже большими подростками, и тетя Кока ожидала ихъ пріѣзда въ деревню съ болѣзненнымъ нетерпѣніемъ. Когда наконецъ подъѣхалъ экипажъ съ пансіонерками, тетя Кока съ несвойственной ея характеру живостью выпорхнула на крыльцо и съ распростертыми объятьями бросилась къ гостьямъ. Она плакала отъ радости, но дѣвочки отнеслись къ ней сдержанно и даже съ недовѣріемъ. Тетя Кока опѣшила и сильно смутилась... Дѣвочки пожили съ недѣлю, начали сильно скучать и, видимо, тяготились обществомъ своей воспитательницы.

„Что̀ такое случилось? — на тысячу ладовъ передумывала Екатерина Васильевна и терялась въ догадкахъ.—Что̀ я такое сдѣлала?..“

Тетя Кока ничего не сдѣлала, а только столкнулась лицомъ къ лицу съ самымъ критическимъ переходнымъ возрастомъ, когда ея воспитанницъ и любимицъ потянуло куда-то вдаль, и онѣ не нашли ничего въ своей душѣ, чтобы отвѣтить мучившей тетю Коку жаждѣ материнства. Это была стихійная, злая

сила, отрывавшая отъ тети часть ея собственной души. Въ дѣвочкахъ проснулся эгоизмъ созрѣвавшихъ женщинъ, неудержимо толкавшій ихъ впередъ, къ тѣмъ людямъ, которые точно такъ же шли къ нимъ навстрѣчу. Отдѣльные люди исчезали, а оставалась безжалостная слѣпая власть, не знавшая нравственныхъ побужденій.

Вотъ подъ этимъ дубкомъ и происходило самое неловкое объясненіе, заставлявшее тетю краснѣть.

— Я вижу, что вы перемѣнились ко мнѣ, дѣточки...—говорила она ласково дрожавшимъ голосомъ.—А такъ какъ не бываетъ дѣйствія безъ причины, то мнѣ и желательно было бы выяснить наши отношенія. Однимъ словомъ, что̀ я такое сдѣлала?..

Дѣвочки съ искреннимъ недоумѣніемъ переглянулись между собой, посмотрѣли на тетю и отвѣтили въ голосъ:

— Нѣтъ, тетя Кока, рѣшительно ничего не случилось, и мы все такія же, какими были всегда... Это тебѣ такъ показалось, милая тетя!

Ей показалось?.. О, нѣтъ, она чувствовала сердцемъ, какъ далеко были отъ нея Бэтси и Нолли, несмотря на то, что сидѣли рядомъ, а ее обступалъ холодъ своего одиночества. Бэтси была такая красивая блондинка, съ задумчивыми сѣрыми глазами, и тетя Кока особенно любила ее за чистую, открытую душу. Подавленная своимъ настроеніемъ, она теперь заглянула въ эти сѣрые, довѣрчивые глаза, точно въ нихъ могло быть спасеніе, и опустила голову: Бэтси, любимица Бэтси скучающимъ и равнодушнымъ взглядомъ смотрѣла въ сторону.

— Мнѣ просто показалось... — бормотала виновато тетя Кока, быстро поднимаясь съ мѣста, — потому что я не совсѣмъ здорова... Забудьте, пожалуйста, этотъ разговоръ.

Вечеромъ тетя Кока плакала въ своей комнатѣ, долго и горько плакала, не отдавая себѣ отчета, въ чемъ даже заключалось горе. Вѣдь дѣвочки просто глупы, ихъ одолѣваетъ растительная сила переходнаго возраста, а потомъ все это пройдетъ само собой и смѣнится сознательной полосой. Она сама виновата, что требуетъ отъ дѣтей того, чего они не могутъ дать. Конечно, тетя Кока много мечтала: вотъ дѣвочки будутъ большія, она привьетъ къ нимъ свои взгляды и убѣжденія и съ ними будетъ переживать вторую молодость, какъ это и бываетъ въ дѣйствительности. А когда она, тетя Кока, состарится, Бэтси и Нолли согрѣютъ ее у своего огня... Вѣдь она ничего не требуетъ, чистая отъ всякихъ эгоистическихъ побужденій. По пути она припомнила своихъ сестеръ, которыя ушли изъ родного гнѣзда и совершенно забыли про нее. У нихъ были свои семьи, слѣдовательно и свои заботы. Но все-таки какъ ей тяжело и грустно... Потомъ явилось нехорошее и самолюбивое чувство: зачѣмъ же она будетъ навязываться со своими нѣжностями къ постороннимъ людямъ?

Наблюдая теперь гостившихъ племянницъ, которыя такъ ласково и наивно льнули къ ней, тетя Кока боялась отнестись къ нимъ съ прежней привязчивостью и со страхомъ ждала наступленія кризиса, когда дѣвочки отвернутся отъ нея и улетятъ вить свои гнѣзда. Да, это законъ природы, и лучше всего быть птицей, которая къ осени сама разгоняетъ подросшихъ цыплятъ. Въ жизни матерей это такой ужасный моментъ, когда приходится душой разставаться съ дѣтьми, которыхъ вырываетъ изъ родного гнѣзда посторонняя грубая сила.

Тетя Кока боялась признаться даже самой себѣ, что Фофочка, самая бойкая изъ дѣвочекъ, нравится ей съ каждымъ годомъ все больше. Она на-

поминала ей Бэтси: такая же порывистая ласковость, мечтательный взглядъ и припадки чарующей нѣжности. Она часто въ ночной кофточкѣ прибѣгала въ комнату тети, садилась къ ней на кровать и щебетала, какъ ласточка, присѣвшая отдохнуть гдѣ-нибудь на карнизѣ высокаго дома.

— Милая Кока, какъ я боялась итти черезъ гостиную, но мнѣ такъ хотѣлось обнять и поцѣловать тебя...—лепетала она, пряча свою бѣлокурую головку на груди тети.—Ты позволишь мнѣ уснуть здѣсь, на твоей кровати или вонъ тамъ на кушеткѣ?.. Дѣвочки всѣ заснули, а я лежала и думала о тебѣ, милая моя Кока...

III

Яркое утреннее солнце врывается снопами въ окна барской усадьбы. Въ угловой комнатѣ спущены занавѣски, но кое-гдѣ солнечные лучи, какъ золотыя змѣйки, проползаютъ въ оставленныя между половинками занавѣсокъ щели и разбѣгаются по полу горящими пятнами. У письменнаго стола сидитъ Екатерина Васильевна съ перомъ въ рукахъ и приготовилась слушать, что̀ ей скажетъ появившійся въ дверяхъ Иванъ. Она думаетъ совсѣмъ о другомъ и сморщила лобъ.

— А я, барышня, своими ушами слышалъ...—нерѣшительно заявляетъ Иванъ, повертывая шапку въ рукахъ.—Сижу это въ грядахъ, ну, а старшая барышня...

— Фофочка?

— Онѣ самыя... Сижу это я, значитъ, въ бороздѣ, притулился, а имъ меня и не видно. Ну, Фофочка и говоритъ: „Тетя у насъ, какъ полицмейстеръ, все смотритъ да смотритъ... Каждую тесемочку доглядитъ“. Да-съ... Не понравилось мнѣ это, признаться сказать, а Фофочка свое: „Къ священнику сынъ пріѣхалъ, емназистъ, а тетя и не знаетъ, какъ я ему черезъ заборъ записочки передаю“... Ей-Богу!.. Я чуть не ахнулъ въ бороздѣ-то: вотъ такъ притча... А дѣйствительно, видѣлъ я емназиста этакъ подъ вечеръ раза два и еще согрѣшилъ, подумалъ, что онъ не насчетъ ли клубники похаживаетъ около саду-то около нашего. Да-съ...

— Какія глупости... Ты, навѣрно, ослышался: мало ли что̀ дѣвочки болтаютъ.

— Нѣтъ ужъ, Катерина Васильевна, какъ вамъ угодно, а на свои уши свидѣтелей не нужно. Все слышалъ, а если бы не слышалъ, такъ самъ другому никому не повѣрилъ бы... Зачѣмъ зря буду болтать, не такія мои лѣта.

— Хорошо, вѣрю... Все?..

Садовникъ переминался съ ноги на ногу и не уходилъ, видимо, не рѣшаясь сказать самаго главнаго.

— Ахъ, какой ты, Иванъ: говори скорѣе, видишь, что мнѣ некогда!..— нетерпѣливо замѣтила Екатерина Васильевна, напрасно стараясь сохранить свое обычное спокойствіе.

— Есть и еще дѣльце и опять про Фофочку,—заговорилъ Иванъ, оглядываясь кругомъ.—Ужъ это не знаю, какъ и сказать вамъ... Вѣдь онѣ, значитъ, опять же Фофочка, проникли къ Евлампію Васильичу, ей-Богу-съ.

— Фофочка?—съ ужасомъ спрашивала поблѣднѣвшая Екатерина Васильевна.

— Точно такъ-съ... А у Евлампія-то Васильича извѣстный разговоръ: одно сквернословіе. Онъ и то меня все къ окну умаливалъ кресло подкатить, а я прихожу какъ-то, а Евлампій Васильичъ неприличное слово напишутъ

на бумажку, бумажку прилѣпятъ на палку, а палкой къ стеклу и наставятъ... Тоже рисунки разные скверные на окно налѣпили, а я ихъ на самомъ этомъ занятіи и накрылъ-съ. Чувствуютъ они, Евлампій Васильичъ, значитъ, что женскій полъ кругомъ, ну, имъ это и не втерпежъ... А какъ Фофочка къ нимъ достигла—даже ума не приложу!.. Помилуйте, какъ есть барышня изъ пансіона, и вдругъ при нихъ Евлампій-то Васильичъ свои слова началъ бы выражать... Я ихъ потомъ допрашивалъ, а Евлампій Васильичъ обыкновенно сквернословятъ и языкъ мнѣ показываютъ. Вотъ какое дѣльце, Катерина Васильевна...

Барышня только махнула ему рукой, чтобы убрался. Это извѣстіе страшно ее взволновало: началось именно то, чего она такъ боялась. И кто же все это надѣлалъ? Фофочка... Нѣтъ, положительно, стòитъ только ей къ кому-нибудь привязаться, чтобы сейчасъ же обрушилась на ея голову какая-нибудь непріятность.

Конечно, послѣдовало объясненіе подъ дубомъ, причемъ Фофочка проявила всѣ признаки самой упорной нераскаянности. Она ни въ чемъ не сознавалась и даже замѣтила, что слушать разныхъ наушниковъ и шпіоновъ нехорошо. Это ужъ было черезчуръ, и Екатерина Васильевна поблѣднѣла.

— Фофочка, ты не подумала хорошенько...—усовѣщевала она маленькую грѣшницу.—Какъ ты мнѣ отвѣчаешь?.. Какой примѣръ будетъ другимъ дѣвочкамъ?

Тетя Кока неожиданно заплакала, но и это не растрогало Фофочку. Обѣ стороны изъ своего неловкаго положенія были выведены Иваномъ, который не рѣшился подойти къ судебному дереву и только издали дѣлалъ барышнѣ разные знаки, какъ глухонѣмой.

— Чтò еще случилось?—проговорила Екатерина Васильевна и знàкомъ подозвала старика поближе.—Видишь, что мнѣ некогда, Иванъ...

Но лицо садовника имѣло такой несчастный видъ, что барышня удержалась отъ дальнѣйшихъ упрековъ и отослала Фофочку въ комнаты.

— Валентина Петровна пріѣхали... т.-е. пришли черезъ садовую калитку,—докладывалъ садовникъ шопотомъ.—Я смотрю, а онѣ по лѣстницѣ вверхъ идутъ. Такъ и обомлѣлъ Однако удержалъ ихъ и увелъ въ бильярдную, пока сбѣгаю за вами.

— Чтò же ей нужно отъ меня?—въ ужасѣ прошептала Екатерина Васильевна, ломая руки.—Зачѣмъ ты сказалъ, что я дома?..

— Да вѣдь онѣ видѣли васъ въ окошко, барышня, да и такой развѣ человѣкъ Валентина Петровна, чтобы попуститься: на днѣ морскомъ сыщутъ-съ.

— Скажи, что я сейчасъ приду...—прошептала Екатерина Васильевна, собирая послѣднія силы.

„Чтò еще нужно этой ужасной женщинѣ? — думала она, обмахиваясь платкомъ, чтобы скрыть слѣды недавнихъ слезъ.—И она осмѣлилась явиться въ мой домъ... ко мнѣ... Нѣтъ, навѣрно, Иванъ что-нибудь перепуталъ отъ старости!“

Однако все оказалось справедливымъ: Валентина Петровна сидѣла въ бильярдной и терпѣливо ждала хозяйку. Это была невысокаго роста женщина, одѣтая съ претензіей недавней красавицы. Напудренное лицо съ подведенными глазами было закрыто вуалью, руки въ длинныхъ модныхъ перчаткахъ. Когда въ дверяхъ бильярдной показалась Екатерина Васильевна, гостья поднялась и порывисто бросилась навстрѣчу.

— Валентина Петровна, я удивляюсь вашей смѣлости, чтобы не сказать

больше...—начала Екатерина Васильевна, не подавая руки.—Вы осмѣлились переступить порогъ моего дома... вы... что̀ вамъ угодно отъ меня?

Поблѣднѣвшее лицо выдавало сильное волненіе Екатерины Васильевны, губы тряслись, она задыхалась.

— Мнѣ некуда итти... я стара...—прошептала Валентина Петровна и даже сдѣлала попытку опуститься на колѣна.—Я понимаю, что мое дыханіе заражаетъ вотъ эти стѣны...

— Я не вѣрю ни одному вашему слову, и поэтому всякія объясненія совершенно излишни... Самое лучшее—это вернуться вамъ туда, откуда вы явились.

— А если мнѣ некуда итти?..

— Это не мое дѣло... притомъ я не вѣрю ни одному вашему слову!..

— Екатерина Васильевна, не отталкивайте меня... не говорите со мной такимъ тономъ... Предъ вами глубоко-несчастная женщина.

— У васъ есть мужъ и друзья... Вы всегда умѣли отлично устроиться, да я и не интересуюсь вашей судьбой.

Съ ужасной женщиной сдѣлался припадокъ, конечно, притворный, какъ была убѣждена Екатерина Васильевна, но не выбрасывать же ее на улицу, когда она такъ корчится, стонетъ и охаетъ.

— Приготовь постель въ бильярдной,—коротко приказала Екатерина Васильевна вечеромъ Ивану, который замоталъ головой, точно деревянная кукла.—Да, пожалуйста, не болтай ничего и никому...

— Слушаю-съ.

Уложивъ дѣвочекъ по постелямъ ранѣе обыкновеннаго, тетя Кока затворилась въ своей комнатѣ на ключъ, точно она боялась, что Валентина Петровна ворвется къ ней.

— За что же, о, Господи?—шептала она, шагая по комнатѣ.

Ея душевное состояніе можно было сравнить съ тѣмъ, какое бываетъ у человѣка, открывшаго въ себѣ присутствіе неизлѣчимой смертельной болѣзни. Главное, отъ себя никуда не убѣжишь, а за тобой по пятамъ пойдетъ и страшный призракъ.

Чтобы объяснить эту встрѣчу, вернемся далеко назадъ, когда барскій домъ въ Стругановкѣ стоялъ полной чашей и Екатерина Васильевна была еще молодой дѣвушкой. Семья у нихъ была большая и по лѣтамъ собиралась въ полномъ составѣ. Съ младшей сестрой Варварой занималась гувернантка, именно Валентина Петровна. Это было безродное существо, пригрѣтое у Струганцевыхъ почти на правахъ родной. Она всегда держалась какой-то кисейной барышней, наивничала и кокетничала, какъ горничная, особенно когда въ усадьбѣ появлялся какой-нибудь новый мужчина. И вотъ эта пустая и ничтожная во всѣхъ отношеніяхъ женщина явилась для Екатерины Васильевны чѣмъ-то въ родѣ божескаго наказанія. Дѣло въ томъ, что вскорѣ послѣ смерти матери у Екатерины Васильевны появился женихъ, очень порядочный и образованный человѣкъ. Гувернантка сумѣла разстроить это молодое счастье и сама вышла замужъ за жениха Екатерины Васильевны, т.-е. просто заставила его жениться на себѣ. Все это такъ потрясло Екатерину Васильевну, что она не стала никуда показываться и навсегда заперлась въ своей усадьбѣ—ее поразила какая-то безсмысленность жизни, отсутствіе всякихъ нравственныхъ началъ и пустота. Имѣли успѣхъ въ этой глупой комедіи только такія ничтожныя женщины, какъ Валентина Петровна, потому что онѣ будутъ кривляться, кокетничать и не остановятся ни передъ чѣмъ, чтобы

добиться своей цѣли. Соперничать съ такими обезьянами—что могло быть обиднѣе, а между тѣмъ онѣ и пользуются успѣхомъ. Сколько было пережито, сколько погибло неудовлетворенныхъ желаній, сколько разлетѣлось надеждъ, и въ концѣ концовъ Екатерина Васильевна осталась старой дѣвицей.

Конечно, старая ненависть къ Валентинѣ Петровнѣ давно улеглась, но сейчасъ Екатерина Васильевна переживала органическое чувство отвращенія къ ней, какъ чистоплотный человѣкъ, которому предлагаютъ надѣть грязныя лохмотья. Притомъ и весь день такой выдался: сначала эта Фофочка... Ахъ, да при чемъ тутъ какая-нибудь Фофочка: всѣ люди одинаковы. Всю ночь напролетъ Екатерина Васильевна проходила по своей комнатѣ, переживая еще разъ всю свою напрасно загубленную жизнь.

IV.

ано утромъ на другой день у подъѣзда усадьбы стояла заложенная въ старинный экипажъ лошадь, и садовникъ Иванъ торжественно сидѣлъ на козлахъ, вызывая смѣхъ всѣхъ дѣвочекъ, выглядывавшихъ изъ окна второго этажа. Это было послѣднее средство, на которое рѣшилась Екатерина Васильевна: она не желала видѣть ужасной гостьи. О, довольно съ нея и этой ночи... Утромъ она думала не о себѣ, а о томъ, чтобы дѣвочки не видали Валентины Петровны. А гостья преспокойно пила чай въ бильярдной и печально улыбалась, припоминая разныя приключенія: мужъ ее выгналъ за новую исторію, теперь гонитъ Екатерина Васильевна, эта помѣщичья добродѣтель, выхоленная на даровыхъ хлѣбахъ. Ночь она проспала отлично, а цѣлое утро занята была своимъ туалетомъ: умывалась, натирала лицо кольдъ-кремомъ, подводила рѣсницы, особенно тщательно замазывала бѣлилами „гусиныя лапки“ въ углахъ глазъ и въ заключеніе обильно посыпала все лицо пудрой. Да, нужно уѣзжать: вотъ люди... Въ нихъ нѣтъ даже того великодушія, какое проявляетъ торжествующій непріятель.

— Лошадь подана, сударыня...—докладывалъ Иванъ, появляясь въ дверяхъ, на время мѣняя званіе кучера на лакейское.

— Хорошо, хорошо... Я сейчасъ.

Екатерина Васильевна въ это время была въ гостиной. Она собрала около себя всѣхъ дѣвочекъ и при помощи разныхъ военныхъ хитростей удерживала ихъ отъ желанія непремѣнно посмотрѣть въ окно, какъ поѣдетъ Иванъ. О, эти невинныя дѣтскія души не должны даже подозрѣвать, что существуютъ на свѣтѣ жестокія драмы... Вонъ и Фофочка, кажется, успѣла одуматься за ночь и поглядываетъ на тетю Коку своими прелестными сѣрыми глазами съ явными признаками раскаянія. Остальныя дѣвочки тоже притихли и собрались около тети, какъ цыплята около насѣдки...

— Дѣти, вы чѣмъ-нибудь занялись бы,—предлагала тетя Кока.—Вотъ Фофочка что-нибудь почитаетъ, а другія послушаютъ...

— А ты, Кока, тоже будешь слушать?

— Да...

— У насъ нѣтъ совсѣмъ книгъ, нечего читать,—заявила Фофочка съ огорченнымъ видомъ.—Кромѣ священной исторіи ничего нѣтъ...

Всѣ дѣвочки улыбнулись: читать священную исторію лѣтомъ—нѣтъ, это уже слишкомъ, какъ говорятъ классныя дамы.

— Принесите евангеліе...—сказала тетя Кока рѣшительнымъ тономъ, не допускавшимъ возраженій.—У меня на столѣ: такая маленькая книжка.

— А потомъ мы пойдемъ гулять?—спросила самая младшая гостья.

— Потомъ вы пойдете гулять...

— И ты, Кока, пойдешь съ нами?

— И я пойду...

— Кока пойдетъ!.. Ура!.. Кока будетъ гулять... Миленькая Кока!..

Бѣлочка и Жюли запрыгали, какъ сумасшедшія, а Фофочка уже раскрывала маленькую книжку. Кока помогла ей найти главу о добромъ пастырѣ и усадила на диванъ рядомъ съ собой. Фофочка поняла это движеніе и нерѣшительно взяла своей рукой лежавшую неподвижную руку тети—эта любящая рука отвѣтила ей дружескимъ пожатіемъ... Зачѣмъ Фофочка передавала записочки гадкому гимназисту, зачѣмъ она ходило къ дядѣ, который такъ ужасно стоналъ, зачѣмъ она называла тетю полицеймейстеромъ и вчера еще подъ дубомъ чуть не наговорила тетѣ дерзостей, потому что была сама виновата кругомъ? Нагнувшись къ тетѣ и притянувъ ея голову къ себѣ, Фофочка съ краской въ лицѣ прошептала:

— Тетя, мнѣ нужно съ тобой поговорить подъ судебнымъ деревомъ.

Тетя Кока ничего не отвѣтила, а только ласково притянула къ себѣ раскаявшуюся грѣшницу. Фофочка откашлялась и начала читать притчу о добромъ пастырѣ. Ея свѣженькій голосокъ такъ мило зазвенѣлъ въ этой старой комнатѣ, полной тяжелыхъ фамильныхъ воспоминаній. Давно-давно, когда тетя Кока была такимъ же подросткомъ, какъ Фофочка, она тоже читала вслухъ эту притчу своей матери. А голосъ Фофочки все раздавался, отчетливо и съ дѣтской серьезностью выговаривая святыя слова, въ которыхъ билась неумирающая и вѣчно живая истина. Въ дѣтской комнатѣ тети Коки была и картина добраго пастыря, несшаго на своихъ плечахъ погибшую овцу.

Дожидавшійся у подъѣзда Иванъ началъ выражать знаки нетерпѣнія и все поглядывалъ во второй этажъ. Улыбавшіяся лица давно скрылись изъ оконъ, и старикъ имѣлъ полное основаніе догадаться, что тамъ сама барышня. „Эге, видно, приструнила молодь...“—думалъ Иванъ, поправляя въ десятый разъ слѣзавшую на бокъ шлею. Лошадь въ Стругановкѣ закладывалась такъ рѣдко, что сбруя давно оставалась безъ всякаго ремонта, сохла, трескалась и сидѣла на лошади, точно проволочная—тоненькіе ремешки такъ и горбились. Старая лошадь, мирно доживавшая свой вѣкъ на подножномъ корму, имѣла такой удивленный видъ, когда ее закладывали въ экипажъ, какъ было и теперь, но за первымъ моментомъ возбужденія сейчасъ же слѣдовала тяжелая дремота—старый конь поднималъ одну заднюю ногу, опускалъ голову по-коровьи, закрывалъ глаза и отвѣшивалъ нижнюю губу, походившую на старый грибъ.

„Экая напасть эта самая Валентина Петровна... — раздумывалъ Иванъ, начиная дремать на козлахъ.—Тогда жениха у барышни чѣмъ-то приворожила, а теперь на-ка-поди, къ намъ же хвостомъ своимъ и прикинулась... Этакая переметная сума, подумаешь! О! Господи Батюшка, нехорошо даже и думать-то...“

Когда старикъ окончательно задремалъ вмѣстѣ съ лошадью, въ окнѣ показалась Екатерина Васильевна и громко крикнула:

— Иванъ, отложи лошадь!..

— Сейчасъ подаю, сударыня...—встрепенулся Иванъ и съ дребезгомъ подкатилъ къ подъѣзду.

— Отложи лошадь, Иванъ

— Ась?..

Громкій смѣхъ молодыхъ голосовъ заставилъ старика окончательно про-

снуться. Онъ почесалъ въ затылкѣ и кое-какъ добрался, въ чемъ дѣло. Чтобы выйти съ честью изъ затрудненія, онъ хлестнулъ лошадь кнутомъ и проворчалъ:

— Ну ты, старое коромысло, поворачивайся...

Надъ Стругановкой пронеслось нѣсколько лѣтъ. Старый барскій домъ казался еще старѣе, но въ немъ кипѣла горячая жизнь. Въ яркіе солнечные дни на балконѣ теперь сидѣли въ креслахъ двѣ старушки, въ которыхъ проницательный читатель, конечно, уже впередъ узнаетъ тетю Коку и Валентину Петровну. Да, это были онѣ, соединенныя закатомъ жизни.

— Намъ достанетъ солнечнаго тепла какъ разъ на двоихъ...—говорила иногда тетя Кока и улыбалась своей хорошей улыбкой.—Не правда ли, Валентина Петровна?..

Событія шли своимъ чередомъ: Фофочка давно вышла замужъ, Бѣлочка вслѣдъ за ней, неблагодарная Бэтси овдовѣла и вернулась въ стругановскую усадьбу съ четверыми дѣтьми. Бѣдная Нолли была несчастлива замужествомъ и частенько пріѣзжала въ усадьбу отдохнуть. Жюли оставалась Христовой невѣстой и тоже ютилась около тети Коки. Старый барскій домъ оказался набитымъ людьми, и тетя Кока жалѣла, что въ суткахъ не сорокъ восемь часовъ. Сколько новыхъ заботъ и новаго горя... Племянницы и внучки, являясь въ Стругановку, выгружали передъ тетей цѣлый ворохъ своихъ неудачъ, разочарованій, разбитыхъ надеждъ и безконечныхъ женскихъ слезъ. Не было ни одной, которая могла бы сказать: „милая тетя Кока, я совершенно счастлива!“.

— Знаете что̀, Валентина Петровна,—говорила однажды тетя Кока, снимая очки:—я могу сказать, что не жалѣю о своемъ положеніи... Право, жизнь такая тяжелая вещь, что даже страшно подумать, если бы пришлось начинать снова. Васъ слишкомъ много любили, а меня слишкомъ мало, но я не завидую... Жизнь вообще несправедлива, Валентина Петровна!..

Валентина Петровна ничего не отвѣчала, а только ниже опускала свою старую голову. Да и что̀ ей было говорить?.. По ночамъ она часто вставала и цѣлые часы молилась, чтобы отогнать тяжелые призраки безумныхъ лѣтъ. Да, она много любила, но любила, какъ обезьяна..

1888.

„ИСТОРИЧЕСКІЕ“ ЛЮДИ.

Очеркъ.

I.

Станція Колотово разметала свои гнилыя избушки въ широкой луговинѣ, пересѣкаемой челябинскимъ трактомъ. Мѣсто, вообще, самое незавидное, тѣмъ болѣе, что въ двухъ верстахъ залегло прекрасное башкирское озеро Култай-Куль, гдѣ можно было бы жить припѣваючи. Но если русскія деревни лѣзутъ непремѣнно въ болото, то башкирской, какъ Колотово, и Богъ проститъ. По сторонамъ тракта разсажалось до сотни одноглазыхъ избенокъ, до того проваленныхъ, что страшно на нихъ смотрѣть. Колотовскіе башкиры по преимуществу промышляютъ воровствомъ на тракту и по сосѣднимъ русскимъ деревнямъ. Свои земли они сдаютъ за безцѣнокъ мастеровымъ изъ ближайшихъ горныхъ заводовъ.

Самый трактъ въ осеннее время представляетъ собою одну сплошную непролазную грязь, по которой тройка почтовыхъ лошадей едва можетъ двигаться со скоростью трехъ верстъ въ часъ. Зажоры, колдобины и настоящія волчьи ямы составляютъ то, что̀ принято называть колеей. Именно въ такую погоду мой экипажъ доползъ наконецъ до Колотовой. Лошади были въ разгонѣ, и приходилось ждать. Содержатель постоялаго двора, заложивъ руки за спину, въ утѣшеніе мнѣ проговорилъ:

— Не вамъ однимъ, господинъ, дожидать приходится... Проѣзжающіе господа вонъ ужъ полсутокъ сидятъ у насъ. Можетъ, слыхали Нагибина?.. Они самые...

Въ самомъ скверномъ положеніи лучшимъ утѣшеніемъ служатъ такія же несчастія себѣ подобныхъ, и станціонные смотрители знаютъ этотъ психологическій фактъ очень хорошо. Въ Колотовой не было даже и такого смотрителя, а его замѣнялъ простой ямщикъ, державшій почтовую гоньбу. Моросилъ мелкій осенній дождь-сѣногной, и я отправился въ избу, гдѣ томились другіе проѣзжающіе господа. Въ сѣняхъ стояла та грязь, какая бываетъ только на однѣхъ почтовыхъ станціяхъ. Осѣвшая въ петляхъ дверь вела прямо въ длинную избу, перегороженную на двѣ половины: чистая для господъ и черная для кучеровъ и обозной ямщины. Блохи, клопы и тараканы служили одинаково обѣимъ половинамъ. Мнѣ сначала не хотѣлось безпокоить расположившихся въ чистомъ отдѣленіи пассажировъ, но путешествія вообще дѣлаютъ насъ эгоистами. Послѣ минутнаго колебанія я уже входилъ вмѣстѣ съ чемоданомъ въ отдѣленіе для господъ. Тамъ было двое,—на лавкѣ у окна лежала

дѣвушка съ блѣднымъ лицомъ, а около нея неровнымъ шагомъ ходилъ старичокъ въ сѣрой охотничьей курткѣ съ выцвѣтшими зелеными отворотами и металлическими пуговицами. Онъ остановился, посмотрѣлъ на меня въ упоръ своими слезившимися, воспаленными глазами и хрипло проговорилъ:

— Вы куда же это лѣзете, милостивый государь? Кажется, можете видѣть, что мы заняли мѣсто раньше васъ...

— Папа, какой ты странный... Заходите, пожалуйста, всѣмъ мѣста будетъ,—отвѣтила дѣвушка, поднимаясь со своей лавочки.

Старикъ посмотрѣлъ на дочь, потомъ на меня, сердито плюнулъ и безмолвно зашагалъ по другому направленію. Вышла неловкая сцена. Я бросилъ свой чемоданъ въ уголъ и помѣстился у другого окна. На столѣ около потухшаго самовара были разложены дорожныя закуски, табакъ въ коробочкѣ, и тутъ же валялась разогнутая книга. По костюму дѣвушки можно было заключить, что она изъ небогатой трудовой семьи,—простое ситцевое платье, суконная кофточка, дорожная сумочка черезъ плечо. Сердитый старикъ принадлежалъ къ типу „отставныхъ". Озлобленное, изжелта-сѣрое лицо свидѣтельствовало о достаточномъ количествѣ житейскихъ неудачъ.

— Не прикажете ли насчетъ самоварчика?—предлагалъ мнѣ хозяинъ, появляясь въ дверяхъ.

— Пожалуйста...

Старикъ сердито взметнулъ на него глазами и сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Можно съ самоварчикъ ослобонить?—справился хозяинъ, обращаясь къ дѣвушкѣ.

— Мы кончили чай, можете убирать,—отвѣтила та и закашлялась тяжелымъ, нехорошимъ кашлемъ.

Когда хозяинъ, широко разставивъ руки и тяжело ступая своими сапогами, потащилъ самоваръ, старикъ отставной какъ-то даже зашипѣлъ отъ злости и, догнавъ мужика, заговорилъ своимъ хриплымъ голосомъ:

— А... ты не знаешь меня?!.. А... не узналъ?!.. А... не знаешь?!..

— Что̀ вы, Иванъ Митричъ, какъ не узнать... Не одинъ разъ допрежь того стаивали у насъ на фатерѣ. Оченно хорошо помнимъ...

— А зачѣмъ каблучищами своими стучишь, какъ лошадь... а?.. Если знаешь, такъ ка̀къ ты смѣлъ рожу свою сыромятную показывать сюда... а?..

— Папа...

Мужикъ посмотрѣлъ на насъ какъ-то черезъ плечо, осклабился и, не отвѣчая ничего, вышелъ съ самоваромъ. У дѣвушки на лицѣ выступили розовыя пятна.

— „Оченно хорошо помнимъ"...—передразнивалъ Иванъ Митричъ, обращаясь уже ко мнѣ.—Меня всѣ по тракту помнятъ. Да... Развѣ прежде онъ смѣлъ войти ко мнѣ въ комнату?.. Нѣтъ, каблучищами-то онъ какъ стучалъ, бестія... а?.. Впрочемъ, всѣ они на одну колодку.

— Тебѣ вредно волноваться, папа... Помнишь, что̀ докторъ сказалъ?

— Ахъ, Нюрочка, отстань... Совсѣмъ это не твое дѣло!.. Ну что̀ же, пусть будетъ у меня ожирѣніе сердца, а я не могу... Не могу я видѣть этой подлости. Понимаешь: ввалился въ комнату и давай возить по полу каблучищами, какъ только-что подкованная лошадь. „Оченно хорошо помнимъ, Иванъ Митричъ"...

Дѣвушка какъ-то вся съежилась и отвернулась къ окну. Старикъ забѣгалъ опять по комнатѣ, размахивая ожесточенно руками, точно онъ отбивался отъ какого-то невидимаго непріятеля

II.

Пить чай одному, когда другіе стараются изъ вѣжливости не смотрѣть на васъ, вообще непріятно. Я предложилъ своимъ неважнымъ компаньонамъ принять участіе въ чаепитіи.

— Что̀ же, отъ скуки можно...—согласился Иванъ Митричъ и, какъ-то быстро шаркнувъ ногой, отрапортовалъ:—А позвольте отрекомендоваться: Иванъ Митричъ Нагибинъ... Можетъ-быть, и слыхали? А это моя дочь, Анна Ивановна Нагибина... Это ужъ принято: если отецъ Иванъ, то дочь А. Ивановна. Анна Ивановна, будь нашей дамой и займи мѣсто хозяйки.

Фамилію Нагибина я дѣйствительно слыхалъ: это былъ какой-то становой, о которомъ что-то такое было напечатано въ мѣстной прессѣ. Анна Ивановна покорно занялась разливаніемъ чая и взглядомъ спросила меня, какой крѣпости нуженъ чай.

— Если у васъ ожирѣніе сердца, то не совѣтую очень крѣпкій,—пробовалъ Иванъ Митричъ тономъ радушнаго хозяина.—Впрочемъ, доктора всегда врутъ...

Старикъ какъ-то сразу отмякъ и даже улыбнулся безъ всякой побудительной причины. Во время завязавшагося разговора ни о чемъ онъ нѣсколько разъ какъ-то сбоку посмотрѣлъ на дочь, а потомъ съ дѣланымъ спокойствіемъ проговорилъ:

— Нюрочка, тамъ у насъ, кажется, тово... осталось еще въ бутылочкѣ...

Анна Ивановна сдѣлала видъ, что не слышитъ, и спокойно продолжала разсказывать, какъ они разсчитывали доѣхать вечеромъ домой, а теперь должны сидѣть на этой отвратительной станціи, какъ ужасно трясетъ дорогой, какъ у нихъ чуть не перевернулся экипажъ въ канаву и т. д.

Въ этой разговорчивости такъ и чувствовалось напускная живость, особенно когда Анна Ивановна дѣлала паузы, чтобъ перевести духъ,—ей, видимо, трудно было говорить, и она сдерживала приступы сухого чахоточнаго кашля. Иванъ Митричъ торопливо выпилъ свой стаканъ, взъерошилъ коротко остриженные волосы съ сильной просѣдью и задумчиво проговорилъ, продолжая какую-то внутреннюю нить мыслей:

— Весь трактъ зналъ Ивана Митрича... да. Бывало, еще подъѣзжаешь къ станціи, а онъ ужъ ворота растворилъ и самъ безъ шапки передъ вами трясется... Да, и трясется, а не то, чтобы каблучищами... А почему? Потому что онъ хотя и скотина, а чувствовалъ... Да-съ, чувствовалъ; имѣлъ уваженіе къ „твердости“ и опять чувствовалъ. Развѣ тогда могло не быть лошадей?.. а? Да тогда бы я всю ихнюю деревню вверхъ дномъ повернулъ, а теперь вотъ сидимъ-съ и ждемъ-съ. Ослабла власть и не стало чувства, а осталась одна дерзость. Нюрочка, у насъ, кажется, тово...

— Да вѣдь докторъ строго запретилъ, папа?

— Ахъ, отстань, пожалуйста... Развѣ ты можешь понимать? Вотъ онъ меня возмутилъ, и мнѣ необходимо успокоиться. Всего одну рюмочку! Нюрочка, голубчикъ...

Дѣвушка поднялась со своего мѣста и съ недовольнымъ лицомъ вышла изъ комнаты. Черезъ минуту подъ окномъ, шлепая голыми ногами по грязи, пробѣжалъ посланный за водкой мальчикъ. Иванъ Митричъ облегченно вздохнулъ и, лукаво подмигнувъ въ мою сторону, проговорилъ:

— Славная эта Нюрочка и весьма довѣрчива даже... Ежели бы была жена, такъ хоть лопни, а не дала бы капли. Конечно, женская слабость.

Да-съ... я, знаете, часто смотрю на Нюрочку и удивляюсь, что это моя собственная дочь. Ничего похожаго... А вы читали въ газетахъ мое дѣло?..

— Кажется, что-то читалъ, а хорошенько не помню.

— Разгромили и уничтожили... Въ грязь вкомкали. Э, да что̀ тутъ толковать: не я одинъ пострадалъ. За взятки пострадалъ... А что̀ же, позвольте васъ спросить, капиталы у меня, милліоны? Взяточникъ, а весь тутъ... Да-съ, бралъ жаренымъ и вареным, а выгнали со службы—ничего не осталось. Вотъ господа адвокаты, господа врачи, купцы—это все не взяточники... Ха-ха!.. Это, изволите видѣть, законные способы благопріобрѣтенія, а Иванъ Нагибинъ взяточникъ... Въ шею Ивана Нагибина!.. Нюрочка сколько слезъ пролила изъ-за этого одного слова. Особенная она у меня, все хочется по-нынѣшнему... Тоже учительницей служитъ... Да... Два жениха подвертывались: не пошла. А надъ ребятишками заморила себя. Это откуда, по-вашему?.. Время, сударь, такое, общее затемнѣніе. Могу сказать одно: я крѣпко держалъ власть и не скомпрометировалъ себя какой-нибудь слабостью. У меня со всѣми былъ короткій разговоръ, и всѣ въ струну... Нѣтъ-съ, старое время уплыло. Теперь ужъ другое-съ...

Хозяинъ принесъ бутылку съ водкой и поставилъ ее на столъ. Иванъ Митричъ дрожавшей рукой налилъ рюмку, поморщился и опрокинулъ ее съ ловкостью записного пьяницы. Понюхавъ корочку хлѣба, онъ оглянулся на дверь и повторилъ.

— Вѣдь какіе орлы прежде-то были,—заговорилъ онъ послѣ приличной паузы.—Мужика спросите, когда то-то или то-то было, онъ вамъ и скажетъ: до мамаевщины или послѣ герасимовщины... Въ другихъ мѣстахъ мужичье по пожарамъ счетъ годамъ ведетъ, а у насъ по исправникамъ или становымъ. Сила была... Мѣста богатѣйшія, писаря тысячные, ярмарки—ну, однимъ словомъ, жить было можно. Про станового Фуксинова слыхали?.. Голова была. Ѣдетъ мимо деревни, а у деревни камень лежитъ вѣсомъ тысячи въ три пудовъ. Кажется, что̀ бы тутъ? Ну деревня, ну камень—ничего не выйдетъ. А Фуксиновъ сейчасъ старшину: „Хорошій у васъ камень...“—„Точно такъ-съ, вашескородіе“.—„Нужно его въ Петербургъ непремѣнно отправить“. Ну, обыкновенно, по гривеннику съ души и обошлось. Какъ вы думаете, вѣдь это надо придумать? И въ другой разъ взялъ по гривнѣ и въ третій, а камень все лежитъ... Въ другой деревнѣ этотъ же Фуксиновъ озеро опечаталъ и тоже взялъ. Ха-ха... Въ третьей подъѣзжаетъ къ волости, а на улицѣ народъ столпился. „Что̀ за народъ?“—„Да такъ, вашескородіе, ребята балуются... Гусь, значитъ, подохъ, а ребята, извѣстно, дѣло праздничное—не отъ ума, давай, говорятъ, будемъ мертвое тѣло потрошить... Конечно, глупость ихняя ребячья, вашескородіе!“ Ну, Фуксиновъ на дыбы: какъ такъ мертвое тѣло, какъ такъ потрошить, да я, да вы—и пошелъ... Что̀ же бы вы думали: заставилъ временную могилу вырыть, положилъ туда гуся и приставилъ къ нему караулъ. Конечно, деревня взвыла, а Фуксиновъ сидитъ себѣ да посмѣивается. Ну, сами догадались и принесли по двугривенному съ души да еще сколько кланялись, а Фуксиновъ имъ: „Только для васъ послабленіе сдѣлаю“... Или взять Чебакова—молодой человѣкъ-съ, смотрѣть не на кого, а хватки были. Повадился онъ на мельницу ѣздить... Мельникъ, конечно, радъ, что начальство съ нимъ за панибрата. Ну, конечно, что̀ тамъ натурой, что̀ деньгами—это своимъ чередомъ. Только пріѣзжаетъ разъ Чебаковъ на мельницу совсѣмъ пьяный. Мельникъ угощаетъ, а чтобы поскорѣе Чебаковъ захмелѣлъ—вывелъ его на балконъ, а самъ бросился въ погребъ за бутылкой коньяку. Сидитъ

пьяный Чебаковъ на балконѣ, и показалось ему обидно, что мельникъ такъ просто хочетъ его обойти. Хорошо-съ... Обидно, а самъ пьянъ. Что бы, вы думали, онъ устроилъ: по водосточной трубѣ залѣзъ на крышу да прямо на конекъ: сѣлъ верхомъ и посвистываетъ. Мельникъ бѣжитъ по двору съ бутылкой, да какъ глянулъ наверхъ-то, такъ и обмеръ. „Вашескородіе, не погубите“... А Чебаковъ ему съ крыши-то: „Выноси пятьдесятъ рублей, тогда слѣзу“. Понимаете, какое положеніе мельника: вдругъ становой оттуда сверзится... А Чебаковъ ему: „Выноси скорѣе, а то прямо внизъ головой чебурахну!“ Конечно, вынесъ и со слезами просилъ принять. Вотъ это была голова!.. Ха-ха...

— А давно это было?

— Да уже давненько... Нынче и такихъ не стало. Куда, что вы!.. Вѣдь какія головы были, а нынче ходи да оглядывайся самъ... Напримѣръ, были два брата Копорскіе: одинъ на одномъ концѣ тракта, другой—на другомъ. Два брата. Хорошо-съ, Ну что, кажется, взять съ тракта?.. А Копорскіе придумали. Да-съ.. Поправлять трактъ должны крестьяне, ну-съ... одинъ братъ Копорскій и погналъ съ своего конца мужиковъ на другой—верстъ за сто, а другой братъ къ нему своихъ мужиковъ гонитъ. Конечно, мужики взвыли... ну, конечно, по рублю съ рыла. Да-съ, этого-такого Адамъ Смитъ не придумаетъ или какъ его тамъ, Милль Стюартъ, что ли... Нюрочка у меня любитъ ученыя книжки читать. Такъ я что собственно говорю-съ... Видите ли, чтобы взять, нужно имѣть большое остроуміе,—такъ-съ?

Иванъ Митричъ съ какимъ-то ожесточеніемъ хлопнулъ третью рюмку и закашлялся. Наступилъ нѣкоторый перерывъ, а потомъ разговоръ принялъ тотъ непріятно-интимный характеръ, какъ умѣютъ говорить захмелѣвшіе люди. Выпивая рюмку за рюмкой, старикъ два раза успѣлъ посвятить въ разныя фамильныя тайны, а потомъ слѣдовала безконечная глава пережитыхъ Иваномъ Митричемъ несправедливостей и огорченій. Когда этотъ матеріалъ исчерпался съ достаточной полнотой, мой мучитель перешелъ къ изложенію своихъ плановъ, надеждъ и разныхъ „самонайвѣрнѣйшихъ“ ожиданій: да, его, Ивана Митрича, призовутъ... у него есть рука въ канцеляріи губернатора... тогда ужъ онъ покажетъ нынѣшнимъ молокососамъ-становымъ, какимъ долженъ быть настоящій становой и т. д.

III.

Анна Ивановна все время сидѣла на крылечкѣ и какъ-то безучастно смотрѣла на грязнѣйшій постоялый дворъ, по которому бродили точно общипанныя курицы. Ей, видимо, было тяжело дышать сквернымъ воздухомъ, какой стоялъ въ избѣ, а можетъ-быть, не хотѣлось видѣть пьянаго отца.

Лошади явились только подъ-вечеръ, когда уже начало замѣтно темняться. Иванъ Митричъ еще разъ вспылилъ на хозяина и обругалъ его нехорошими словами. Усаживаясь уже въ экипажъ, расходившійся старикъ по старой полицейской привычкѣ нѣсколько разъ спрашивалъ хозяина:

— Какъ тебя зовутъ?.. Сидоромъ?.. Хорошо... я понмѣю тебя въ виду... Значитъ, Сидоромъ?

— Точно такъ, Сидоромъ...

— Хорошо... Нюрочка, подвинь подушку за спину. Вотъ такъ... Да. Такъ Сидоромъ?..

— Сидоромъ...

Экипажъ тронулся. Лошади тяжело шлепали по грязи. Гдѣ-то скыркала

и визжала какая-то отчаянная гайка. Кучеръ, размахивая кнутомъ, выкрикивалъ: „Эй, вы, залетныя, плавай!“...

— Вотъ однихъ спасажировъ сплавилъ, слава Богу,—объяснялъ Сидоръ, провожая глазами удалявшуюся повозку,—а потомъ и вамъ лошадокъ сгоношимъ... Экое ненастье Господь послалъ: всѣмъ ямщикамъ одинъ изморъ. А лошадокъ вамъ сгоношимъ... Должны скоро подойти.

Мы долго стояли такимъ образомъ на крыльцѣ и разговаривали о разныхъ постороннихъ предметахъ. Сидоръ оживился, когда зашла рѣчь о башкирахъ: самый проваленный народъ... Среди богатства умираютъ съ голода. Только и боятся, что одного становаго.

— А этотъ Нагибинъ хорошъ былъ?—спросилъ я.

— Да такъ... Извѣстно, всѣ начальники одинаковы. У Ивана Митрича одна нехорошая повадка была: куражиться любилъ. Никакъ его не укладешь, бывало, какъ козьи рога въ коробъ. А такъ ничего, даже вызволялъ многихъ... Свѣтленько пожилъ, ну, а теперь сильно захудалъ.

Переставшій-было дождь заморосилъ въ осенней назойливостью. Въ воротахъ остановилось нѣсколько башкиръ,—посмотрѣли на насъ, перекинулись двумя-тремя фразами и побрели дальше. Сумерки надвигались все больше.

— А я, знаете, вотъ эту самую барышню изъ головы своей никакъ не могу выкинуть,—послѣ длинной паузы проговорилъ Сидоръ, перебирая воротъ своей ситцевой рубахи.

— А что̀?

— Да такъ-съ... Особенный нонѣ народъ пошелъ. Какъ-то на недѣлѣ возилъ вотъ такую же барышню. Она, значитъ, поповна... да. Ѣдемъ и разговариваемъ. „Куда вы, говорю, барышня, изволите проѣзжать?“—„Въ городъ“, говоритъ.—„А за какимъ дѣломъ?“—„А, говоритъ, работы ѣду искать въ городѣ. Дома-то не у чего сидѣть...“ Такъ-съ.—„Какъ-то, говорю, барышня, неловко, поди, вамъ по вашей женской части и ѣхать, напримѣръ, по тракту одной? Неровенъ часъ—и пообидѣть могутъ...“—„Ничего, говоритъ, я не боюсь“. И этакъ, знаете, обстоятельно сказала, а сама молодая и изъ лица красивая. Я вотъ своимъ умомъ и мекаю: нашему брату, мужику, на заработки ходить солоно, а тутъ барышня ѣдетъ незнамо куда и этакъ обстоятельно все говоритъ. Удивительно мнѣ это очень, потому что много ихъ нонѣ такихъ-то... Тоже вотъ и Анна Ивановна: учительша она и родителя своего содержитъ. Да еще водки ему подай... Давѣ вышла, добыла изъ сумочки портмонетъ, считала-считала свои меліоны и справила-таки родителю полуштофчикъ, чтобы передъ посторонними людями не острамить старика... Совѣстливо такъ сдѣлала, да. Въ ней, въ Аннѣ-то Ивановнѣ, золотая душа, а она гинетъ на работѣ... Отдохнуть бы надо, повеселиться молодымъ дѣломъ, а она какой возъ везетъ. У кого, главное, чему научилась-то, а?.. Вотъ это и сумнительно: родитель-то вонъ какое сокровище, а дочь точно съ того свѣту къ нему пришла. И я такъ своимъ умомъ полагаю, что нашей крестьянской бабѣ, напримѣръ, тяжело достается, а барышнямъ-то вотъ такимъ, пожалуй, вдвое.

Я только теперь разсмотрѣлъ, что̀ за человѣкъ былъ этотъ Сидоръ. Плечистый и широкій въ кости, съ широкимъ русскимъ лицомъ и маленькими сѣрыми глазами; мочальная бородка скрывала такую умную усмѣшку. Эта мужицкая жалость къ барышнѣ такъ шла къ его могучей, ширококостной фигурѣ.

1888.

И ТОМУ ПОДОБНАЯ БАБА.

Разсказъ.

I.

Шесть часовъ лѣтняго утра. Яркое солнце просѣивается сквозь зеленую сѣтку густой кленовой листвы живымъ золотомъ, разливается по травѣ, овальными пятнами бродитъ по песку садовыхъ дорожекъ и точно чего-то ищетъ своими лучами-щупальцами. Лѣтомъ я люблю вставать рано и удивляюсь, какъ люди могутъ просыпать такія утра. Много ли солнечныхъ лѣтнихъ дней отпущено на нашу долю, а раннее утро—самая лучшая часть лѣтняго дня. Обыкновенно я ухожу часовъ въ пять утра въ паркъ и тамъ гуляю положенные два часа. Павловскій паркъ, можетъ-быть, единственный въ мірѣ по своей красотѣ, устройству и величинѣ. На эту громадную площадь затрачено въ теченіе болѣе сотни лѣтъ масса труда и спеціально-парковаго искусства. Почти всѣ деревья посажены рукой садовника, по извѣстному плану, который былъ составленъ еще въ XVIII столѣтіи какимъ-то французскимъ художникомъ-декораторомъ.

Сегодня противъ обыкновенія я не пошелъ въ паркъ, а остался дома. Хорошо посидѣть на садовой террасѣ и что-нибудь почитать. Есть авторы, которые хорошо читаются зимой, и есть другія книги, которыя написаны точно спеціально для лѣтняго чтенія. Но сегодня и чтеніе шло какъ-то плохо. Просто не читалось, и мысли какъ-то разбѣгались. Мой дачный садикъ невеликъ, но вѣдь это былъ цѣлый міръ, въ которомъ жизнь кипѣла. Гдѣ-то въ кустахъ чиликали какія-то маленькія пичужки, точно задыхавшіяся отъ радости собственнаго существованія; летали суетливо шмели, пчелы, осы, собиравшія медъ по цвѣтамъ; пестрѣли бабочки, неловко дѣлая въ воздухѣ имъ однимъ понятные зигзаги и ломаныя линіи. Два раза, повидимому, ни съ того ни съ сего, залетала ворона, садилась на старую березу, хлопала носомъ по суку и тотчасъ же безъ всякой видимой причины исчезала, тяжело размахивая крыльями. Въ одномъ мѣстѣ, гдѣ аллея дѣлала поворотъ, по утрамъ имѣли привычку собираться бездомныя кошки. Ихъ никто не кормилъ, дачный дворникъ Пименъ гонялся за ними съ метлой, но онѣ стоически переносили всякія напасти и почему-то собирались именно у меня въ саду. Иногда ихъ набиралось штукъ восемь.

— А это все барыни виноваты,—оправдывался передо мной дворникъ Пименъ.—Навезутъ по веснѣ кошекъ видимо-невидимо, а поѣдутъ съ дачи осенью въ городъ и всѣхъ ихъ бросятъ здѣсь. Ну, вотъ онѣ и собираются

въ саду... А дачники меня обвиняютъ: „Дворникъ Пименъ развелъ кошекъ!“. Каждое утро ихъ гоняю, а онѣ опять тутъ. Извѣстно, кошка самая упрямая тварь. Собаку прогонишь—она въ слѣдующій разъ и посовѣстится прійти, а кошка даже наоборотъ. Ее гонишь, а она пуще того лѣзетъ...

Въ числѣ враговъ дворника Пимена, мужика „сумлительнаго“ и большого хлопотуна, второе мѣсто послѣ бездомныхъ кошекъ занимала старуха Матрена, приносившая грибы.

— Эта еще похуже, пожалуй, кошекъ-то будетъ,—увѣрялъ онъ меня.— Самая вредная старушонка... И какъ она прорвется въ садъ?.. Только отвернешься, а она и успѣетъ прошмыгнуть.

— Тебѣ-то она чѣмъ помѣшала?—защищалъ я старуху.—Она грибы продаетъ...

— Она-то? Грибы? Ежели бы она была правильная женщина, такъ она честь честью несла бы въ куфню, дождалась бы барыни, а она нѣтъ, норовитъ непремѣнно прорваться въ садъ, чтобы вамъ свои грибы подсунуть. Хищная старушонка, знаетъ, что вы не будете торговаться, ну, она и деретъ съ васъ дикую пошлину. Всѣ онѣ, палкинскія-то бабы, на одинъ фасонъ. Я ихъ всѣхъ насквозь знаю... Мужичонки всѣ плуты и горькіе пьяницы, а бабы... Недаромъ про нихъ говорится: и тому подобная баба...

— А что̀ это значитъ: и тому подобная баба?

— Да очень просто, баринъ...—Пименъ нѣсколько замялся и почесалъ въ затылкѣ.—Пустяками онѣ занимаются, когда въ дѣвкахъ сидятъ... Особенно это прежде было, когда лезервы на маневры выходили къ Палкиной. Лезервы-то уйдутъ, а глядишь—въ Палкиной съ десятокъ дѣвокъ и того... Однимъ словомъ, и тому подобныя бабы образуются еще до вѣнца. И сейчасъ, напримѣръ, у такой дѣвицы и женихъ объявится. У нихъ это очень просто... А расчетъ такой: послѣ вѣнца-то она мѣсяца черезъ два разродится и сейчасъ къ господамъ въ кормилки поступаетъ. Мужу-то и лафа, потому какъ она и жаренымъ и варенымъ волокетъ отъ господъ-то, водкой его поитъ, денегъ даетъ да еще мамошное приданое вынесетъ.

— И Матрена тоже была „и тому подобной бабой“?

— А то какъ же... Только она дура, ничего не умѣла про себя сберечь, а мужишка все и пропивалъ, да еще ее же за труды праведные колотилъ. Очень даже просто... А все по хорошимъ господамъ жила и добра-то вотъ сколько волокла къ себѣ домой. Ну, а теперь и сиди да на кулакъ слезы мотай...

Сегодня, какъ и раньше, старуха Матрена проскользнула въ садъ, когда дворникъ Пименъ кончилъ свою работу и ушелъ въ дворницкую. Это была сморщенная, совсѣмъ дряхлая, беззубая женщина. Ее еще больше старилъ костюмъ, состоявшій изъ рваной грязной кофты, такой же юбки и рваного платка на головѣ. Все лѣто она ходила босая. Меня интересовало, какъ и чѣмъ она существуетъ, и мы подолгу разговаривали. Матрена уже страдала спеціально-старческой болтливостью и охотно разсказывала про свою горькую жизнь. Любопытно было то, что она о самой себѣ говорила, какъ о постороннемъ человѣкѣ, и какъ-то странно смѣялась, припоминая разныя злоключенія. Каждый такой разсказъ она заканчивала стереотипной фразой: „Конечно, глупая была... Охъ, какая глупая!“. Дѣлалось даже немного жутко, когда Матрена, прикрывъ изъ вѣжливости беззубый ротъ рукой, начинала смѣяться старческимъ короткимъ смѣшкомъ надъ самой собой.

Въ садъ она вошла крадучись, совсѣмъ по-кошачьи. Очевидно, ее одо-

лѣвалъ страхъ встрѣчи съ грознымъ гонителемъ Пименомъ. Поздоровавшись, старушка сняла съ плечъ плетеный коробокъ со своимъ товаромъ и проговорила нерѣшительно:

— А я тебѣ принесла сегодня гостинцу... Только не знаю, уважаешь ли ты рыбку?

— Какая у тебя рыба?

— А ужъ вотъ этого не умѣю сказать... Для меня всякая рыба одинакова, да и не ѣла я ее годовъ съ пятнадцать. Зять, значитъ, у меня есть, Степаномъ звать... Прегорькая пьяница... Ну, онъ, когда черезвый, охочъ рыбки половить. Вотъ вчера наловилъ и принесъ мнѣ, чтобы я, значитъ, продала. Обѣщалъ за труды цѣлый пятакъ заплатить... Ей-Богу!.. Значитъ, цѣльный фунтъ ситнаго заработаю, ежели продамъ.

Я посмотрѣлъ въ ея кузовокъ и ахнулъ отъ изумленія. Въ свѣжей крапивѣ лежали чудные харюзы *). Крайне рѣдкая и замѣчательно вкусная рыба, которая водится только на сѣверѣ. По наружному виду она напоминаетъ сига, только гораздо тоньше. Въ продажѣ харюзы почти не встрѣчаются, потому что не выносятъ перевозки. Ихъ нужно употреблять на мѣстѣ лова или перевозить съ особыми предосторожностями: въ крапивѣ или во льду. „Горькій пьяница“ Степанъ, очевидно, умѣлъ обращаться съ капризной рыбой.

— А Степанъ часто ловитъ такую рыбу?—спрашивалъ я.

— А кто его знаетъ... Жену-то его знаешь? Палагеей звать... Такъ онъ, змѣй, что̀ дѣлаетъ: наловитъ рыбы-то да украдомъ отъ нея и продастъ. Ей-Богу... А деньги на пропой души.

— Ты поговори съ нимъ, что я приду къ вамъ въ Палкину и пойду вмѣстѣ съ нимъ ловить рыбу.

— Господа къ намъ наѣзжаютъ, которые любопытничаютъ насчетъ рыбки. А Степану это на руку... Водочкой угостятъ да еще денегъ за труды сунутъ. Глядишь, онъ и пьянъ цѣлыхъ два дня. Ужъ такой обормотъ, что не приведи, Господи...

— Такъ я приду къ тебѣ, Матрена, а ты узнай, когда Степанъ будетъ дома.

— Да онъ всегда дома. Куды ему дѣваться-то... А я тебя кофіемъ угощу, только безъ молока. Своей-то коровы у меня нѣтъ, а наши палкинскія бабы не продаютъ мнѣ молока...

— Почему же не продаютъ?

— А кто ихъ знаетъ... Должно-быть, мои-то деньги погаными считаютъ. Мы ужъ съ дочерью такъ кофій-то пьемъ, безъ молока. Вотъ ситника куплю, принесу домой—и сыты.

— А къ обѣду что̀ готовите?

— Какой у насъ обѣдъ: тотъ же кофій. Другой разъ вотъ картошку сваримъ, да и то начетисто... Дровцы-то въ сапожкахъ ходятъ. Если надо печку истопить, ну, пойдешь въ мелочную лавочку и купишь полѣнъ пять-шесть. По пятачку за каждое полѣно платишь, какъ за французскую булку. Наши-то палкинскія бабы позабыли, какъ и хлѣбъ дома-то пекутъ. Все въ Павловскѣ покупаютъ... Нѣтъ у насъ дровъ-то.

— Да вѣдь у васъ есть свой лѣсъ? Ваши палкинскіе мужики намъ продаютъ дрова.

---

*) По-ученому эта рыба называется „харіусъ“, но я придерживаюсь народнаго произношенія.

— Вамъ-то продаютъ, а дома ничего не оставляютъ. Сколько продалъ— столько и пропилъ... И лѣсъ агромадный былъ, только теперь онъ, значитъ отдалѣлъ. Начальство давно запретило рубить, а наши пьяницы у себя воруютъ...

II.

Село Палкино заняло своими двумя сотнями избъ красивый пригорокъ вытянувшись одной улицей по широкому шоссе. Издали, какъ восковая свѣча красиво бѣлѣла каменная церковь, построенная еще „княземъ“ до воли Вблизи впечатлѣніе портилось тѣмъ, что нигдѣ не было видно ни одного дерева, ни одного кустика. А еще ближе получалась уже полная картина крестьянской разрухи. Когда-то стояли крѣпкія избы, большею частью въ два этажа, были хозяйственныя пристройки, а березовые пни по сторонамъ шоссе остались единственнымъ воспоминаніемъ когда-то существовавшихъ здѣсь березовыхъ аллей. Однимъ словомъ, село было зажиточное и невпримѣръ другимъ благоустроенное благодаря неусыпной бдительности самого князя. При освобожденіи князь надѣлилъ палкинскихъ крестьянъ по-княжески. На каждую душу пришлось по семнадцати десятинъ и кромѣ того громадный лѣсъ, причемъ князь все это подарилъ своимъ бывшимъ крѣпостнымъ.

Настоящее существованіе Палкина составляло сплошную загадку, по крайней мѣрѣ для меня. Разореніе и нищета глядѣли изъ каждаго покосившагося окна, сквозь щели въ крышахъ, изъ разъѣхавшихся пазовъ осѣвшихъ построекъ, точно какая-то невидимая рука неустанно трудилась надъ всеобщимъ разрушеніемъ. Получалась какая-то обидная наглядная несообразность, обидная тѣмъ болѣе, что, помимо громаднаго земельнаго надѣла, Палкино было обезпечено самой выгодной работой, благодаря близости большого дачнаго мѣста. Не говоря о мужикахъ, каждая баба вела бойкую торговлю молочными продуктами, яйцами, овощами, цыплятами, грибами и ягодами, и, какъ говорила Матрена, безъ рубля домой не возвращалась.

Отъ Павловска до Палкина было верстъ пять, и я нѣсколько разъ дѣлалъ туда прогулки прямой дорожкой среди полей и луговъ. Кругомъ столько простора, свѣта, зелени... Идешь, и даже какъ-то не вѣрится, что всего какой-нибудь часъ ходьбы отдѣляетъ отъ дачнаго муравейника, гдѣ петербуржцы съ трогательнымъ усердіемъ стараются создать себѣ неосуществимый призракъ дачнаго отдыха и кажущейся лѣтней свободы.

Уговорившись съ горькимъ пьяницей Степаномъ черезъ Матрену относительно рыбной ловли, я раннимъ утромъ отправился въ Палкино. Изба Матрены стояла недалеко отъ церкви и когда-то была, вѣроятно, изъ числа лучшихъ, а сейчасъ едва держалась. Въ нижнемъ этажѣ жилъ племянникъ со своей семьей, переднюю половину второго этажа занималъ Степанъ, а Матрена съ дочерью ютились въ задней избѣ, состоявшей изъ одной комнаты, половину которой занимала громадная русская печь. На завалинкѣ у избы сидѣли два мужика въ бѣлыхъ передникахъ, какіе носятъ дворники. Въ одномъ, который былъ постарше, я сразу узналъ горькаго пьяницу Степана. Это былъ красивый, типичный мужикъ лѣтъ пятидесяти. Коренастый, крѣпкій, съ добродушнымъ лицомъ, онъ меньше всего походилъ на алкоголика.

— Ты будешь Степанъ?—обратился я прямо къ нему.

— Онъ самый, баринъ... А вы насчетъ рыбки? Вотъ дожидаемъ васъ съ племяшомъ, потому какъ Матрена все намъ объяснила. И сѣть готова... Милости просимъ.

Племянникъ, молодой парень съ длиннымъ, сѣрымъ лицомъ и длиннымъ носомъ, былъ уже другого склада. Во всей фигурѣ и въ выраженіи лица чувствовалось уже начинавшееся вырожденіе, какъ у всѣхъ подгородныхъ крестьянъ.

На шумъ голосовъ вышла и Матрена.

— Легка на поминѣ...—ворчалъ Степанъ, раскуривая трубочку.

Она стала приглашать меня напиться „кофію", но я отказался, потому что и кофе не пью, и выпилъ уже свою утреннюю порцію молока.

— Ахъ, ты, телячья голова, какой теперь кофій?—обругалъ ее Степанъ, какъ говорится, за здорово живешь.—Намъ надо рыбу итти добывать... Ну, а вотъ воротимся назадъ, такъ ты намъ сообрази самоварчикъ. Моя-то Палагея улопочетъ въ Павловско и до самаго вечера пропадомъ пропадетъ. А самоваръ-то возьми у насъ... Поняла?

— Какъ не понять...—ворчала Матрена.—Не видала я, что ли, какіе такіе самовары бываютъ? Можетъ, и яишенку сдѣлать?

— Обнакновенно... Господа уважаютъ яйца.

До рѣки Ижоры было всего версты двѣ, и мы были на мѣстѣ рыбной ловли черезъ полчаса. Степанъ съ племяшомъ, вскинувъ довольно большую сѣть на плечи, шагали ровнымъ солдатскимъ шагомъ. Рѣка Ижора не велика, но въ этомъ мѣстѣ имѣла быстрое теченіе.

— Это харюзу первое дѣло, чтобы вода была бойкая,—объяснялъ Степанъ.—Онъ всегда на самой струѣ стоитъ. Аккуратная рыбка... Другую-то рыбу противъ теченія ловимъ сѣтью, а для харюза ведемъ сѣть внизъ по рѣкѣ, по струѣ, потому какъ онъ бросается навстрѣчу водѣ.

Прежде чѣмъ начать ловлю, Степанъ на уютной полянкѣ, упиравшейся въ рѣку песчанымъ мыскомъ, разложилъ костеръ. Оказалось, что онъ захватилъ съ собой и желѣзный котелокъ, и лукъ съ солью, и хлѣба. Все это было завѐрнуто въ сѣть. Его племяшъ, въ свою очередь, добылъ искусно скрытыя въ шапкѣ пять яицъ и нѣсколько картошекъ.

— Полное обзаведеніе, баринъ,—говорилъ Степанъ.—А пусть тамъ Матрена съ яйцами-то хлопочетъ. Мы тутъ на свѣжемъ воздухѣ вотъ какъ закусимъ... Нѣтъ этого пріятнѣе, какъ сварить уху прямо на берегу. Принесъ рыбу домой—уха-то ужъ совсѣмъ наоборотъ, потому какъ рыба дорогой-то уснетъ. Совсѣмъ даже другой скусъ... А Матрена хотя и сноха мнѣ доводится, а настоящая баба-скапидаръ.

— А ты зачѣмъ ее обижаешь?—вступился я.

— Ее-то, Матрену-то? Да кто ее обидитъ... Ей слово, а она десять. Такъ вы, баринъ, тутъ посидите около огоньку, а мы съ племяшомъ пойдемъ въ забродъ. Ежели баринъ счастливый, такъ вотъ сколько рыбы наловимъ.

Степанъ оказался большимъ балагуромъ и, какъ всѣ умные мужики, умѣлъ говорить какъ-то особенно вкусно. У него говорилъ не одинъ языкъ, а все лицо и весь корпусъ. Племяшъ все время молчалъ и только время отъ времени встряхивалъ головой. Ужъ спускаясь съ сѣтью въ воду, Степанъ обернулся и проговорилъ:

— Баринъ, а баринъ? Вы не обижайтесь на глупомъ словѣ, а вѣдь я про водку-то даже вотъ совсѣмъ забылъ... И вода здѣсь ключевая, студеная, и притомъ, напримѣрно, уха... Законъ требуетъ порядку...

— Гдѣ же я возьму здѣсь водку?

— Ну, это пустое дѣло... Вонъ мальчишки бѣгутъ по берегу. Это они сюда лопочутъ, потому имъ вездѣ забота. Сейчасъ мы и выправимъ черезъ

нихъ бутылочку... Ей-Богу! То есть вотъ какъ въ самый разъ придется... А Матрена пусть насъ дожидаетъ со своими яйцами. Ничего, сама потомъ съѣстъ.

Любопытная деревенская дѣтвора, дѣйствительно, окружила насъ и съ жаднымъ вниманіемъ слѣдила за каждымъ нашимъ движеніемъ. Степанъ за пятачокъ снарядилъ цѣлую экспедицію въ казенку.

— Ну, а теперь за работу...—думалъ онъ вслухъ, поглядывая на небо.— Пожалуй, кабы дождя не случилось. Будто немного поманиваетъ...

— Для рыбы это лучше, ежели подъ дождь...—замѣтилъ племяшъ.— Эна, рыба эта самая, смирная дѣлается, особливо въ грозу.

Мои рыбаки отправились по берегу вверхъ, чтобы сдѣлать первый забродъ прямо къ моему мыску. Я остался около костра. Что̀ можетъ быть лучше, какъ посидѣть въ лѣсу у огонька... И мѣсто было такое красивое, и зеленая полянка выстилала весь берегъ точно шелковымъ ковромъ, и высокіе камыши живой стѣной шуршали и шептались въ водѣ, и шустрые стрижи стрѣлой носились надъ рѣкой. Послѣ зимняго городского сидѣнія всѣ эти скромныя красоты производили особенно сильное впечатлѣніе.

Скоро послышалось бултыханіе воды и голосъ Степана: „Куды прё-ошь, чоортъ? Держи лѣвѣе...“. Степанъ шелъ по самому глубокому мѣсту, гдѣ вода ему подходила подъ мышки. Племяшъ держался у самаго берега, пугая рыбу изъ камышей хворостиной. Сѣть не надувалась, какъ противъ теченія, а ползла за ними пустымъ мѣшкомъ. Они выбрели прямо къ моему мыску. Добыча оказалась довольно незавидная.

— Окунекъ... три плотвы... Вотъ тебѣ и вся музыка!—ворчалъ Степанъ.— Ничего, ба̀ринъ, мы возьмемъ харюзовъ повыше... Отъ меня не уйдутъ, все одно. Я слово такое знаю...

— Не хвастай ты,—уговаривалъ его племяшъ.—Нехорошо...

Ловля рыбы продолжалась часа два, пока не было поймано пять харюзовъ на уху. Несмотря на лѣтній жаркій день, у Степана стучали зубы отъ холода.

— Ключи тутъ... студеная вода...—коснѣющимъ языкомъ объяснялъ онъ.—А зимой она не замерзаетъ...

Уха поспѣла живой рукой, какъ говорилъ Степанъ. Онъ умѣлъ ее готовить и даже захватилъ съ собою перцу и лавроваго листа.

— Главное дѣло, чтобы вездѣ выходила своя пропорція, баринъ,—говорилъ онъ.—Испортилъ пропорцію—ничего и не будетъ.

— И въ водкѣ пропорція?

— Первымъ дѣломъ... Ежели переложить въ другой разъ, такъ башка дня три трещитъ. И удивительное это дѣло: какъ похмелье, такъ и денегъ въ дому ни гроша. И я, напримѣрно, каждый разъ зарокъ даю... Ей-Богу!.. Ну ее, эту самую водку. И опять, напримѣрно, какой случай выходитъ каждый разъ: только укрѣпишься, а тутъ какъ на грѣхъ и подвернется какой-нибудь вредный человѣкъ. Да... „Степанъ, выпьемъ!“. Ей-Богу... Вѣдь уговорятъ, хрѣнъ имъ въ голову. Даже и грѣхъ на себя берутъ, только пей.

III.

Мнѣ всегда нравилось смотрѣть, какъ настоящіе „сурьезные“ мужики пьютъ съ устатку водку и даже не пьютъ, а „принимаютъ“. Не торопясь, съ чувствомъ, толкомъ и разстановкой. Такъ именно выпилъ свой стаканчикъ Степанъ и, крякнувъ, проговорилъ:

— Всякъ выпьетъ да не всякъ крякнетъ, баринъ... Тоже всякое дѣло надо умѣючи дѣлать. Вонъ нынѣшніе-то молодые просто хлещутъ эту водку, даже противно на нихъ смотрѣть. Тоже вотъ пиво нонѣ пошло, а какой въ немъ толкъ: тепла въ немъ никакого, а только въ животѣ урчитъ. А вотъ и ушка готова, баринъ... Кушайте на здоровье.

— Садитесь и вы вмѣстѣ,—предложилъ я.

— Нѣтъ, ужъ мы подождемъ...

Уха была великолѣпная, и я съ удовольствіемъ съѣлъ свою порцію. Степанъ сидѣлъ на корточкахъ у огонька и подбрасывалъ хворостъ и сухіе сучья, которые подносилъ племяшъ. Солнце уже было высоко, и дѣлалось жарко. Передавъ котелокъ съ ухой рыбакамъ, я спросилъ Степана, отчего они плохо живутъ въ своемъ Палкинѣ

— Мы-то плохо? — удивился онъ моему вопросу. — Дай Богъ другимъ протчимъ народамъ такъ прожить... У насъ одной земли сколько, собственный, напримѣрно, лѣсъ... Наша баба безъ рубля объ лѣтнюю пору домой не выворотится.

— А отчего всѣ избы валятся?

— Избы-то, дѣйствительно... оно, конечно...

— Изба гніетъ, валится, а вы даже и починить не хотите.

— Ужъ ежели починить, такъ изба вдвое простоитъ. Это вѣрно, баринъ... Надо прямо говорить.

— Дворы грязные, службы валятся, скотина морная... Въ избахъ тоже грязь.

Степанъ только почесалъ въ затылкѣ.

— Это вы вѣрно, баринъ...—согласился онъ.—Ежели, напримѣрно, кормить лошадь, или корову, или курицу, такъ всякая скотина вдвое себя оправдаетъ. Тоже вотъ сказать про разную снасть: колесо новое поставилъ, ну, помажь его смолкой — оно вотъ какъ будетъ свою службу служить, или, напримѣрно, купилъ новые гужи, шлею — помажь всю музыку деготькомъ — износу не будетъ. Тоже вотъ уголъ осѣлъ, сейчасъ изъ пазовъ мохъ вылѣзетъ, зимой снѣгомъ забьетъ и сейчасъ все гнить начнетъ отъ сырости, а ты его поправь, этотъ, значитъ, самый уголъ — все и будетъ тебѣ наоборотъ.

— Отчего же, вотъ я ѣзжу на охоту и бываю въ чухонскихъ деревняхъ, отчего тамъ вездѣ порядокъ и чистота?

— Такъ вѣдь на то они и чухонцы, баринъ. Народъ, пряменько сказать, хитрый... И чухонка тоже баба самая хитрая. Она даже и свою корову мыломъ моетъ... Сама не доѣстъ, не доспитъ, а всякую скотину соблюдетъ. Однимъ словомъ, и баба чухонская всячески хитритъ...

— Чухонцы пашни свои хорошо удобряютъ, лучше пашутъ, куръ держатъ много, выращиваютъ свиней, сѣютъ траву...

Степанъ даже вскочилъ на ноги и, ударивъ себя кулакомъ въ грудь, съ азартомъ заговорилъ:

— Баринъ, да развѣ мы не понимаемъ этого самаго? Ахъ, Божже мой... Да вотъ какъ понимаемъ еще!.. Удобряютъ чухонцы, потому скотины много держатъ, потому что не продаютъ всего сѣна, какъ мы. Наша-то скотинка рада зимой и овсяной соломкѣ, а чухонская рыло воротитъ. Ей подавай сѣно да еще клеверъ. И скотина чухонская тоже хитрая. На что ужъ, кажется, распослѣднее дѣло курица, а чухонки сколько денегъ на нихъ наживаютъ. Первое дѣло, у нихъ ведется курица большая, она и яица несетъ крупныя, да и кладется съ Рождества, потому какъ сидитъ въ теплѣ, а наша всю зиму колѣетъ въ конюшнѣ и едва-едва къ Пасхѣ начнетъ нестись.

По всѣмъ статьямъ своего крестьянскаго хозяйства Степанъ зналъ все, что̀ было нужно, и особенно недостатки спеціально-палкинскаго. Разсуждалъ онъ очень толково. Вообще, мужикъ былъ съ настоящей хозяйственной сметкой и тонкой, чисто-мужицкой наблюдательностью.

— Вотъ вы все отлично понимаете, — заговорилъ я, убѣдившись, что Степанъ свое дѣло понимаетъ лучше меня. — Почему же не хотите жить по-настоящему, хоть бы такъ, какъ живутъ чухонцы? Вѣдь деревни у васъ рядомъ...

На Степана накатило раздумье, и онъ вдругъ отвѣтилъ:

— Баринъ, вы-то по-своему правильно дѣло наше обсуждаете, а только, видите ли, у насъ своя линія...

— Какая линія?

— А вотъ такая... Всѣ, значитъ, на одну колодку. Обойдите всю округу подъ Питеромъ, и всѣ на одну колодку. Значитъ, одна линія всѣхъ обошла. Все понимаемъ и даже, можетъ, попревосходнѣе даже чухонца, а изъ линіи-то и не выдерешься... Оно ужъ все одно къ одному и выходитъ, какъ дрова въ полѣнницѣ.

— Неужели не хочется жить лучше: въ теплѣ, въ чистотѣ, въ достаткѣ?

— Ахъ, баринъ, баринъ... Да ужъ, кажется, мы-то стараемся, чтобы достатокъ-то промыслить! Сѣно все на базаръ свеземъ, до тла, и дрова тоже, и бревна... Ничего не жалѣемъ и ничего себѣ не оставляемъ... да. Кожу съ себя готовы продать...

— Хорошо. А гдѣ же деньги?

Степанъ только тряхнулъ головой и засмѣялся.

— А линія-то на что? Мы какъ рыба въ сѣти бьемся въ ней... Всѣ насъ считаютъ пьяницами, деньги, молъ, всѣ пропиваютъ... Есть и такой грѣхъ, а только, баринъ, пьянство пьянствомъ... да... А все-таки дѣло не въ пьянствѣ. Однимъ словомъ: линія...

Мы никакъ не могли столковаться относительно послѣдняго термина, какъ Степанъ ни старался мнѣ объяснить его понятнѣе. Ничего не выходило. Линія — и кончено. Племянъ все время молчалъ. Онъ имѣлъ унылый видъ человѣка, страдающаго какой-то неизлѣчимой внутренней болѣзнью.

Поглядѣвъ на небо, Степанъ заявилъ:

— Баринъ, а вѣдь тучка набѣгаетъ. Кабы не того... Вотъ какъ отполощетъ.

— Что̀ же, пойдемте домой...

Одна половина неба имѣла такой радостный, совсѣмъ праздничный видъ, а другая быстро начинала хмуриться.

— Давненько у насъ дождичка не было... — вслухъ думалъ Степанъ, складывая пожитки въ мокрую сѣть. — Скоро страда, трава начала подсыхать... Тоже и для овсовъ способнѣе, ежели дождичкомъ спрыснетъ.

— Въ другихъ мѣстахъ ужъ сѣнокосъ давно идетъ...—замѣтилъ я.

— А мы не торопимся, потому, какъ сперва сырой травой продаемъ, а потомъ ужъ сѣно будемъ ставить.

Опять выходила своя „линія“.

Мы отправились въ Палкино, вытянувшись гуськомъ. Мокрая сѣть была тяжелая, и приходилось ее перекладывать съ плеча на плечо. Степанъ шелъ впереди и что-то бормоталъ про себя, встряхивая головой. Послѣ холодной ванны онъ даже не захмелѣлъ отъ выпитой водки, а только сдѣлался вялымъ. Я шелъ за ними и думалъ о роковой „линіи“, которая окружала Петербургъ роковымъ кольцомъ на нѣсколько десятковъ верстъ. Благодаря разлагающему вліянію столичнаго легкаго житья, точно вывѣтрилась вся настоящая деревенская психологія. Объяснять все одной экономической под-

кладкой было бы несправедливо. Конечно, въ палкинскіе карманы попадало много легкихъ денегъ, конечно, утвердилось стремленіе къ легкой жизни, но суть дѣла была гораздо глубже, именно въ той роковой „линіи“, которую Степанъ никакъ не могъ объяснить. Столица являлась настоящимъ очагомъ страшной нравственной заразы, которая разносилась прежде по шоссейнымъ дорогамъ, проселкамъ и водянымъ путямъ сравнительно довольно медленно, а сейчасъ летѣла вихремъ на пароходахъ и, главное, по желѣзнымъ дорогамъ. Деревня перестала быть деревней, смыслъ ея тысячелѣтней жизни отлетѣлъ, мужикъ пересталъ быть настоящимъ мужикомъ, баба — настоящей бабой... Новой, подходящей къ складу народной жизни формы не выработалось, а получались какія-то потемки, гдѣ никто и ничего не могъ разобрать. Даже если бы былъ внѣшній видъ благосостоянія, то и это по существу дѣла ничего бы еще не доказывало, кромѣ удовлетворенія насущныхъ потребностей внѣшней жизни. Количествомъ запашекъ, лошадей, коровъ, телятъ и курицъ еще нельзя мѣрять ту душевную подоплеку, которая составляетъ истинную и естественную основу всей толщи громадной и сложной народной жизни.

Мы успѣли дойти вò-время. Гроза еще только надвигалась. Въ воздухѣ точно повисла тяжелая истома, и все живое притаилось въ ожиданіи близившейся катастрофы.

— Ужо зайдите ко мнѣ, баринъ,—приглашалъ Степанъ, когда мы подходили къ его избѣ.—Эхъ, Палагеи-то нѣтъ... Она теперь по дачамъ полируетъ... Свой рубль ищетъ.

Дворъ Степана былъ достоинъ кисти художника. Несмотря на стоявшую сухую погоду, пройти по немъ до крылечка можно было только по скользкой дощечкѣ и то съ рискомъ свалиться въ густую навозную жижу.

— Чтò это такое? — взмолился я

— Это, баринъ, мы навозъ ростимъ. Нарочно ничего не убираемъ.

Въ избѣ Степана тоже, повидимому, ростили навозъ. Невообразимая грязь, вонь, духота. Избитый полъ, покосившаяся дверь, какая-то облѣзлая русская печь, закопченный потолокъ и т. д. и т. д.

— Это ужъ все отъ Палагеи, — объяснилъ Степанъ, предупреждая мой вопросъ.—Мое мужицкое дѣло на дворѣ, а бабье въ избѣ. Такъ и поговорка говорится: мужикъ да собака на улицѣ, а баба да кошка въ избѣ. Эхъ, Палагеи-то нѣтъ, а то она живой бы рукой что-нибудь сообразила намъ.

— Ничего не нужно, я пойду сейчасъ въ гости къ Матренѣ.

IV.

Мнѣ пришлось подняться по деревянной, точно изгрызанной лѣстницѣ, съ шатавшимися, какъ гнилые зубы, ступеньками, во второй этажъ. Переднюю избу отъ задней, гдѣ жила Матрена, отдѣляли большія темныя сѣни. Старуха поджидала меня и, заслышавъ мои шаги, отворила тяжелую, захватанную дверь.

— Милости просимъ... Ужъ два раза подогрѣвала самоварчикъ.

Я вошелъ въ большую, свѣтлую комнату, треть которой была занята громадной русской печью. Покосившійся полъ, какъ на сценѣ, отъ порога шелъ покато къ двумъ окнамъ, тоже покосившимся, съ почернѣвшими отъ сырости рамами. Стѣны были оклеены обрывками обоевъ, кругомъ стѣнъ шли лавки, у двери въ углу стояла подъ ситцевымъ пологомъ двухспальная кровать, въ переднемъ углу крашеный столъ, почернѣвшій образъ точно прятался въ кустахъ засохшихъ вербъ—вообще, несмотря на всю бѣдность, чувствовалось стремленіе къ нѣкоторому комфорту. На стѣнѣ висѣлъ даже лито-

графированный портретъ какой-то русской красавицы въ кокошникѣ и тѣлогрѣѣ. На столѣ кипѣлъ самоваръ, окруженный сборной посудой, и стояли тарелки съ хлѣбомъ, солеными огурцами и изюмомъ.

— А вотъ водочки-то я и не припасла, баринъ, — извинялась хозяйка.

— И не нужно.

— И пивца тоже нѣтъ.

— И тоже не нужно.

- А яишенку я тебѣ живо спроворю.

Странно, что Матрена жила „въ господахъ“ и „тыкала“, а Степанъ говорилъ „вы“. Оглушенная своей бѣдностью старуха, вѣроятно, забыла всякое „великатное“ обращеніе, а Степанъ „подражалъ подъ хорошихъ господъ“, пріѣзжавшихъ половить рыбку.

— А это у тебя чей портретъ? — спросилъ я, когда Матрена ушла къ печи готовить яичницу.

— Аль не узналъ?

Она засмѣялась своимъ мелкимъ старческимъ смѣшкомъ.

— Дочь?

— Вотъ и не угадалъ... Мой патретъ, когда у князя въ кормилкахъ жила. Да... Съ меня какой-то баринъ рисовалъ, и деньги ему заплатили. Вотъ какая я была молодая-то... Ну, а теперь, значитъ, немного угорѣла.

Трудно было повѣрить, что изъ типичной русской красавицы Матрена превратилась въ теченіе какихъ-нибудь тридцати лѣтъ въ типичную корявую старушонку.

— У тебя сколько дѣтей было, Матрена?

— У меня-то? Постой... Первымъ я мальчикомъ разродилась... Славный былъ такой мальчикъ. Я пошла, значитъ, тогда въ кормилки, а его отдала на воспитаніе теткѣ... Она деньги-то съ меня брала, а младенчика не жалѣла. Онъ и померъ... Еще годика не было. Ну, у меня сейчасъ молоко пропало, и мѣста я хорошаго лишилась. Вторая была дѣвчонка... Та тоже маленькой померла. Потомъ опять мальчикъ, и опять его тетка заморила, потому какъ я опять въ кормилкахъ у господъ служила. Ну, вотъ тебѣ трое... да... А въ живыхъ остались двѣ дѣвки. Младшая-то со мной живетъ, убогая она и все на печкѣ лежитъ, а старшая... старшую-то я прокляла. Стала передъ образомъ и прокляла.

Послышалось опять старческое хихиканье, и Матрена прибавила:

— Ей-Богу, прокляла! Змѣя она подколодная.

Яичница была готова и продолжала трещать и пузыриться, когда Матрена подала ее на столъ. Но не успѣлъ я взять въ ротъ перваго куска, какъ надъ самой избой раздался оглушительный ударъ грома. Обыкновенно бываютъ предупреждающіе удары, а тутъ точно произошелъ взрывъ мины. Матрена со страха спряталась гдѣ-то за печкой, а съ печки быстро соскочила босоногая дѣвицѣ съ растрепанными темными волосами. Она была полуодѣта и весело улыбалась.

— Ахъ, глупая, глупая!..—жалостливо ворчала Матрена, выбираясь изъ своей засады.—Это она, баринъ, радуется грому... Вѣдь ровнешенько ничего не слышитъ, а вотъ ударитъ громъ,—она и учуетъ. Ну, и радуется, глупая... Чему ты смѣешься-то, Олимпіада? Ты образъ-то свой перекрести.

„Образъ“ Олимпіады былъ очень непривлекателенъ. Изрытое оспой лицо, сплюснутый носъ, широкій ротъ. Она посмѣялась и съ быстротой обезьяны скрылась у себя на печкѣ.

— Совсѣмъ глупая... — продолжала Матрена, качая головой. — А такъ работать работаетъ. Гряды копаетъ въ огородѣ, полетъ, поливаетъ, а больше

всего любитъ грибы собирать... Я-то плохо вижу, ну, а она и старается. И всѣ мѣста вотъ какъ знаетъ.

— Она родилась глухой?

— Нѣтъ, родилась здоровенькая, а только покойничекъ-отецъ ее махонькую съ полатей на полъ сбросилъ... Пьяный былъ да и разстервенился на младенца. Ну, а она шибко расшиблась да и оглохла. Охъ, горюшко... Вотъ теперь вдвоемъ и маемся: я-то старая, а она глухая дурочка. Мужъ-то у меня извергъ былъ... Я на могилку къ нему не хожу. Грѣшный человѣкъ, даже радуюсь, что Господь прибралъ моего мучителя. Вѣдь лѣтъ съ тридцать онъ меня изводилъ.

Опять старческій дряблый смѣхъ, отъ котораго дѣлалось жутко: точно покойникъ смѣялся надъ самимъ собой.

Второго удара грома не было, а полился крупный лѣтній дождь, будто открылся какой-то гигантскій душъ. Дождевыя капли падали почти отвѣсно съ тѣмъ особеннымъ шумомъ, когда земля суха и получается своеобразный резонансъ.

Матрена была огорчена, что я не могъ съѣсть всей яичницы, и усердно принялась угощать чаемъ. Изъ вѣжливости она ни за что не хотѣла въ моемъ присутствіи сѣсть на лавку.

— Тоже мы знаемъ господскіе порядки, — повторяла она, переминаясь съ ноги на ногу.—И то цѣлую зиму на лавкѣ-то сижу.

Мы разговорились на горькую тему, чѣмъ и какъ живетъ Матрена въ своей избѣ-гнилушкѣ. Вопросъ являлся съ перваго взгляда почти неразрѣшимымъ.

— А живемъ съ дочерью, слава Богу.

— Можетъ-быть, кто-нибудь вамъ помогаетъ?

— Намъ-то?!. Помогаетъ?!.—изумилась она.—Что̀ ты, баринъ, и придумалъ.

— Такъ вѣдь надо же чѣмъ-нибудь жить? Можетъ-быть, огородъ большой?

— Есть огородъ-то, только онъ про себя. Картошку садимъ, капусту, рѣдьку... Пробовала въ третьемъ годѣ рѣпу посадить. И рѣпа выросла большая-пребольшая, а меня жадность взяла: пусть еще маненько подрастетъ. Ей-Богу... А дочь-то, Олимпіада, значитъ, хоть и дурочка, а маячитъ мнѣ, чтобы рвать рѣпу. Я поупрямилась, а тутъ въ одну ночь ее у насъ добрые люди всю и вырвали. Ни одной рѣпки не оставили. Бѣдовый у насъ народъ... Озорникъ на озорникѣ. Надо мной же потомъ и смѣются: гдѣ ей, беззубой, говорятъ, такую хорошую да ядреную рѣпу ѣсть. У насъ вѣдь все такъ. И другимъ не слаще... Охъ, и смѣхъ и горе! Былъ тутъ у насъ мужичокъ. Онъ, значитъ, гдѣ-то у господъ въ имѣніи служилъ и приглядѣлся ко всему. Ну, выворотился домой съ деньгами, выправилъ свою избенку и сейчасъ началъ садъ разводить. И яблоньки посадилъ, и вишни, и сливы, и крыжовникъ, и черной смородины... Ей-Богу! Года три этакъ-то со своимъ садомъ безъ утыху водился. Ну, Господь ему и пошли урожай на все. Такой, значитъ, годъ издался, и всякое деревцо плодомъ своимъ отродилось. И что̀ бы, ты думаешь, вышло? Не успѣло все поспѣть, какъ наши озорники все до тла и разграбили. Да не то, чтобы яблоко зеленое сорвать, а они всѣ вѣтки пообломали и всѣ деревья съ корнями повырывали. Ей-Богу! Вотъ какой у насъ народъ. И не то, чтобы ребята набаловали ребячьимъ дѣломъ, а и большіе. Слезами вѣдь плакалъ мужичокъ-то, какъ я о своей рѣпѣ.

Изъ дальнѣйшаго разговора оказалось, что у Матрены была довольно крупная статья дохода въ видѣ надѣльнаго участка земли и дѣлянки лѣса. Но и тутъ ничего не выходило.

— Что̀ я буду съ землей-то дѣлать, когда у меня ни лошади ни коровы нѣтъ? — совершенно резонно разсуждала она. — Мужъ былъ живъ, такъ въ

аренду сдавалъ, а послѣ-то него свои же сосѣди все порасхватали. Недалеко ходить, взять того же Степана: мою землю и пашетъ и коситъ, а мнѣ ничего. Жаловалась я и въ волостное, и уряднику, и земскому—тоже ничего. На меня же волостные старички обозлились, зачѣмъ, вишь, напрасно ихъ безпокою да подъ начальство подвожу. Съ лѣсомъ тоже бѣда. Самовольно вырубаютъ которое дерево получше, а что̀ касаемо дровъ, такъ я опять должна къ своимъ же мужичкамъ обращаться. А у насъ какой народъ: давай задатокъ. Давала и задатокъ: возьмутъ, пропьютъ, и поминай, какъ звали. Еле-еле валежнику возъ-другой раздобуду, тѣмъ и грѣемся зиму-то.

Однимъ словомъ, горе-горькая нужда окружала Матрену со всѣхъ сторонъ, и она еще благодарила Бога, что онъ прибралъ тирана-мужа. Значитъ, при мужѣ было еще хуже. Теперь хоть голодна и холодна, но зато, по крайней мѣрѣ, не бита.

— За что же мужъ тебя тиранилъ?—невольно спросилъ я.

— Мужъ-то? По первоначалу-то онъ по правилу тиранилъ,—совершенно спокойно объясняла Матрена. — Выходила-то я замужъ „и тому подобной“ ну, а онъ мой грѣхъ прикрывалъ, значитъ. Не одна я такая-то, баринъ. И другія тоже замужъ вышли да ничего, прожили жисть, а ужъ мнѣ во всемъ незадача. Извѣстно, сама виновата кругомъ... Молодая была, глупа, а у насъ тогда, какъ на грѣхъ, лезервы стояли... значитъ, драгунскаго штабу... Вотъ я въ дѣвушкахъ-то и затяжелѣла... Охъ, грѣхи, грѣхи!..

— А что̀ же отецъ твоего ребенка?

— Отецъ-то? Ишь ты, баринъ, и скажешь...

Матрена махнула рукой и засмѣялась.

— Вѣдь не одинъ солдатъ-то былъ... лезервы, извѣстно... Былъ одинъ солдатикъ, Ѳедоромъ звали, такъ онъ, а можетъ, и не онъ. Кто его знаетъ... Лезервы-то ушли, а я осталась и тому подобной. Ну, уже послѣ-то, когда я уже замужемъ была, такъ сказывали, что Ѳедоръ-то померши. Такъ я опять, чтобы не брать напраснаго грѣха на душу, за него одного и не молилась, а сразу за всѣхъ: „Господи, помилуй и лезервы, и всего драгунскаго штабу“. Ей-Богу... Можетъ, Ѳедоръ и не виноватъ... Очень я сумлѣвалась, грѣшная, на него, ну, да дѣло прошлое... Все еще меня, бывало, останавливалъ: „Эй, ты, трухмальная именинница!“. На гармоніи вотъ какъ весело игралъ... Всѣ лезервы пляшутъ, и я по глупости лѣтъ пляшу съ ними. То-то глупость была дѣвичья... А все отъ простоты, баринъ, дѣлается. На ласковое-то чужое слово какъ коза брынская идешь.

Дождь пріостановился. Въ окна засматривалъ точно мокрый еще свѣтъ. Отъ земли подымался тяжелый паръ. Пора было уходить домой. Но Матрена разошлась и остановила меня.

— Погоди, ужъ до самаго конца доскажу, баринъ... Дочь-то Анѳиса, которую я прокляла... да... Такъ она по антилеріи пошла... Красивая такая, озорная уродилась, ничего не боялась. У меня, бывало, на нее сердце вскипитъ, а она мнѣ: „Погоди, старая корга, вотъ ужо пойду да папашѣ нажалуюсь“... Это она мнѣ-то про мои лезервы въ глаза тычетъ. Ей-Богу... Вотъ-то безстыжая дѣвка!.. А разъ стала я ее антилеріей страмить, такъ она этакъ усмѣхнулась и говоритъ: „Мамынька, развѣ ты не знаешь, что у каждой бабы седьмая часть солдату принадлежитъ“. Вотъ тѣ Христосъ, такъ въ глаза и отрѣзала. Ну, я ее и прокляла... Теперь за швицара въ городу замужъ вышла, живетъ, сказываютъ, хорошо, а матери хоть бы что̀.

1904.

КАКЪ У ДРУГИХЪ...

Разсказъ.

I.

На Царскосельскомъ вокзалѣ царила радостная предпраздничная суматоха. Было уже пять часовъ, и къ подъѣзду торопливо подъѣзжали извозчичьи сани и собственные экипажи. Падалъ мягкій снѣжокъ и сквозь его живую, двигавшуюся сѣтку синеватый свѣтъ электрическаго фонаря, и все принимало фантастическій характеръ. Большинство подъѣзжающихъ были мужчины. Они торопливо выскакивали изъ саней, торопливо стряхивали съ себя снѣгъ и торопливо исчезали въ дверяхъ подъѣзда. Посыльные и носильщики тащили цѣлыя груды всевозможныхъ коробокъ и кульковъ и на ходу успѣвали раскланиваться со знакомыми господами, приговаривая:

— Съ наступающимъ праздникомъ, баринъ...

Въ отвѣтъ сыпалась серебряная мелочь, которая немедленно переходила въ буфетъ третьяго класса, куда услужающіе забѣгали по пути погрѣться. Нѣкоторые ходили уже съ покраснѣвшими глазами и постепенно утрачивали ясность членораздѣльной рѣчи.

— Эхъ, хорошіе господа бываютъ!—хвастался кто-то, показывая зажатый въ кулакѣ рубль.—Даже вотъ какіе господа...

— А другіе господа совсѣмъ упамши... Иванъ Митричъ подъѣхалъ давеча, извозчикъ худенькій; я къ нему съ метелочкой, чтобы снѣгъ смести, а онъ только махнулъ головой. Хоть бы гривенникъ...

— Тоже и господа свои дѣла имѣютъ: кто въ гору, а кто и подъ гору. Вонъ Сергѣй Иванычъ пѣшечкомъ прибрелъ на вокзалъ, на своихъ на двоихъ... Прежде же вотъ какъ на лихачахъ зажаривалъ!

Хорошіе господа у желѣзнодорожной прислуги были всѣ на счету, и было извѣстно до тонкости, кто и сколько даетъ и когда дастъ. Сергѣй Иванычъ, дѣйствительно, пришелъ на вокзалъ пѣшкомъ. Онъ страдалъ канцелярской одышкой и утѣшалъ себя тѣмъ, что такое пѣшее хожденіе полезно. Докторъ уже давно ему совѣтовалъ ходить пѣшкомъ. А тутъ расчетъ въ цѣломъ полтинникѣ по крайней мѣрѣ. Для своихъ сорока пяти лѣтъ Сергѣй Иванычъ казался гораздо старше благодаря брюзглой полнотѣ, желтизнѣ дряблаго лица и вялости движеній. Это была типичная канцелярская старость. Когда къ Сергѣю Иванычу подскочилъ знакомый посыльный Иванъ и суетливо смахнулъ съ его пальто снѣгъ, онъ по привычкѣ протянулъ уже руку въ карманъ, чтобы дать на чай, но во-время вспомнилъ, что у него двугривенныхъ оста-

лось совсѣмъ мало, и конфузливо прошелъ дальше, не давъ ничего. Въ дверяхъ на него накинулся другой посыльный, чтобы взять коробки, но былъ устраненъ.

— Я самъ...—бормоталъ Сергѣй Иванычъ, шагая къ буфету.

Носыльные только переглянулись между собой, и Сергѣй Иванычъ чувствовалъ, что сразу потерялъ въ ихъ глазахъ престижъ настоящаго барина.

Въ буфетѣ, какъ всегда передъ отходомъ пятичасового обѣденнаго поѣзда, была масса народа. Всѣ столики были заняты. Закусывали стоя у буфета. Сергѣй Иванычъ тоже подошелъ, выпилъ рюмку водки и съѣлъ пирожокъ, о чемъ сейчасъ же и пожалѣлъ, потому что пришлось заплатить 15 копеекъ. Вѣдь безъ этого расхода можно было обойтись... Въ залѣ стоялъ громкій говоръ, слышался смѣхъ, и всѣ имѣли такой праздничный видъ. Посыльные едва успѣвали вносить и уносить предпраздничныя покупки въ кулькахъ, коробкахъ, корзиночкахъ и бумажныхъ сверткахъ. Все это были праздничныя покупки: украшенія для елки, игрушки, сласти, разныя закуски и т. д. Серѣй Иванычъ раскланялся кой съ кѣмъ изъ знакомыхъ, кое отъ кого отвернулся и сдѣлалъ видъ, что нѣкоторыхъ не узналъ. Одинъ господинъ въ потертомъ пальто особенно его возмутилъ, точно въ немъ онъ узналъ самого себя. Давно ли человѣкъ былъ со средствами, а сейчасъ, вѣроятно, жмется, какъ и онъ, Сергѣй Иванычъ, изъ-за каждаго гроша. Это былъ его роковой двойникъ...

Нѣкоторые подходили къ Сергѣю Иванычу и здоровались.

— Покупочки къ празднику везете?

— Да... Знаете, нельзя. То, да другое, да третье...

— И я тоже. Мы и зимой остаемся на положеніи дачныхъ мужей. Жена сегодня завалила меня порученіями: окорокъ, виноградъ, пуговицъ, украшенія на елку и т. д. А главное—непремѣнно купи въ такомъ-то магазинѣ. Ну, и рыщешь по городу... Вы который годъ въ Царскомъ живете?

— Около четырехъ лѣтъ. Дѣтямъ хорошо въ Царскомъ: тихо, свѣжій воздухъ, лѣтомъ не нужно нанимать дачу. Вообще много удобствъ...

— Квартиры-то нынче въ Петербургѣ—приступу нѣтъ.

— Ну, и въ Царскомъ не дешево жить.

Сергѣю Иванычу казалось, что знакомые говорятъ съ нимъ совсѣмъ не такъ, какъ прежде, оглядываютъ его и даже пожимаютъ плечами. Неужели они уже знаютъ объ его положеніи? Чего же тутъ удивительнаго, конечно, знаютъ, какъ раньше онъ тоже зналъ о другихъ. Сергѣй Иванычъ при послѣдней мысли невольно начиналъ ежиться. Конечно, его дѣла незавидныя и даже наградныхъ къ празднику не получилъ; но вѣдь это еще ничего не значитъ. Все можетъ измѣниться къ лучшему. Придется взять гдѣ-нибудь вечернія занятія—и только. Трудненько будетъ, а если переждать непогоду и перетерпѣть—все и устроится помаленьку.

Разразившаяся надъ Сергѣемъ Ивановичемъ катастрофа принадлежала къ самымъ обычнымъ геологическимъ переворотамъ, совершающимся въ глубинахъ разныхъ канцелярій и служилыхъ гнѣздъ. Гдѣ-то тамъ, наверху, упало одно свѣтило и повлекло за собой сопутствующія созвѣздія меньшаго калибра, и въ число послѣднихъ попалъ и Сергѣй Иванычъ. Къ пятидесяти годамъ онъ занималъ сравнительно видное мѣсто и получалъ окладъ жалованья около шести тысячъ. Жить было можно, хотя относительно и скромно, потому что подрастали дѣти, а съ ними росли и расходы. Катастрофа разразилась еще въ маѣ, но лѣто прошло безъ замѣтныхъ перемѣнъ. Новое свѣтило присмат-

ривалось къ дѣлу и не спѣшило производить перемѣны, хотя всѣ и ждали ихъ, какъ неизбѣжнаго зла.

— „Онъ“ сначала насъ пожуетъ,—говорили старые, опытные служаки, видавшіе виды.—Который налетитъ сразу и начнетъ ломать, съ тѣмъ еще можно жить...

Сергѣй Иванычъ тревожился за свое положеніе вмѣстѣ съ другими, а потомъ къ осени совершенно успокоился. Но именно въ этотъ моментъ и налетѣлъ начальническій шквалъ. Послѣдовали сокращенія штата, увольненія, перемѣщенія, урѣзки окладовъ. Сергѣй Иванычъ попалъ въ послѣднюю категорію. Его окладъ сократился на половину. Это былъ жестокій ударъ. Слѣдовало бы по логикѣ вещей бросить службу и перейти куда-нибудь въ другое учрежденіе, но такихъ мѣстъ не оказалось, да и начинать въ пятьдесятъ лѣтъ карьеру съ первыхъ ступенекъ было трудно. Урѣзка бюджета на половину сильно отразилась, конечно, прежде всего у себя дома, въ тысячѣ тѣхъ мелочей, изъ которыхъ составляется ткань жизни. Маленькія сбереженія, сдѣланныя про черный день, растаяли въ два-три мѣсяца, и наступила та приличная нужда, которая хуже открытой бѣдности. Но всего хуже были наступавшіе праздники, когда и прежній бюджетъ трещалъ по всѣмъ швамъ. Единственная надежда оставалась на награду къ празднику, но и она сегодня лопнула. Сергѣй Иванычъ переживалъ минуты молчаливаго отчаянія, которое еще усиливалось подъ впечатлѣніемъ праздничнаго настроенія гудѣвшей въ буфетѣ толпы. Да, всѣ ликуютъ, радуются и явятся домой, какъ счастливые побѣдители. А онъ, Сергѣй Иванычъ, возвращается съ пустыми карманами и самыми грошовыми покупками. Еще дорогой Сергѣй Иванычъ рѣшилъ ничего не говорить женѣ, чтобы не отравлять ей праздниковъ, но развѣ можно что-нибудь скрыть отъ женщины? Старшая дочь Лидочка тоже пойметъ все, какъ только взглянетъ на праздничныя покупки. Ей уже семнадцать лѣтъ, а въ эти годы дѣвушки понимаютъ гораздо больше, чѣмъ принято думать. Двое другихъ дѣтей,—сынъ Володя, двѣнадцати лѣтъ, и восьмилѣтняя Катя,—находились еще въ томъ счастливомъ возрастѣ, когда дѣти счастливы просто потому, что они еще дѣти и „ничего не понимаютъ“.

II.

Сергѣй Иванычъ ушелъ пораньше въ вагонъ и забился подальше въ уголокъ, чтобы не встрѣчаться съ знакомыми. Онъ уже впередъ переживалъ щемящее чувство: еще полчаса, и онъ дома, разбитый, усталый, съ фальшивой ласковостью во взглядѣ, съ виноватымъ выраженіемъ лица и съ вынужденной ложью на языкѣ. О, онъ впередъ видѣлъ встревоженную жену, превратившуюся въ одинъ нѣмой вопросъ... И онъ будетъ опять лгать, извертываться, чтобы выиграть время и не портить женѣ праздника. Наградныя выдадутъ только на праздникѣ, это—новая затѣя новаго начальства... Она повѣритъ, какъ привыкла ему вѣрить всю жизнь. А потомъ можно сдѣлать гдѣ-нибудь заемъ и выплачивать его постепенно.

„Да, а потомъ явятся новые долги... — продолжалъ онъ свою мысль.— Придется переписывать векселя... унижаться передъ кредиторами... А потомъ судебный приставъ... красныя печати на мебели...“

Сергѣй Иванычъ въ ужасѣ закрылъ глаза, чувствуя, какъ его что-то начинаетъ душить. А праздничный гулъ ворвался и въ вагонъ. Хлопали двери, кто-то хохоталъ, посыльные уставляли покупки по полкамъ. За спиной Сергѣя Иваныча какой-то старческій голосъ что-то разсказывалъ, и Сергѣй Иванычъ невольно вслушивался.

— Ну, какъ будутъ жить молодые люди... а?

Собесѣдникъ отмалчивался или отвѣчалъ сочувствующимъ мычаніемъ. Но старичокъ не унимался, и его голосъ продолжалъ дребезжать, какъ скрипитъ въ лѣсу старое дерево.

— Вы знаете?..

Сергѣй Иванычъ не разслышалъ фамиліи.

— Человѣкъ получалъ тысячъ десять въ годъ,—тянулъ старичокъ,—а тутъ вдругъ на двѣ тысячи съѣхалъ... Жаль смотрѣть. Семья привыкла жить на широкую ногу... А денегъ нѣтъ и взять ихъ негдѣ. А все отчего? Жили какъ другіе, т.-е. не по средствамъ...

— Что̀ же, и всѣ мы такъ живемъ...

— Вотъ, вотъ... Развѣ нынче можетъ жениться молодой человѣкъ, у котораго двѣ тысячи жалованья? Считайте: на квартиру—тысяча, на содержаніе—тысяча, а гдѣ на все остальное? Дѣти пойдутъ, новые расходы... Тоже и удовольствіе хочется получить молодымъ людямъ. Ничего и не выкроешь изъ двухъ-то тысячъ... А главное—надо жить, какъ другіе. Я вотъ читаю въ газетахъ всѣ судебные процессы, и гдѣ подлогъ, растрата, присвоеніе или прямое воровство—непремѣнно человѣкъ тянулся вотъ за этими самыми другими. Вѣдь посмотрѣть на русскую публику гдѣ-нибудь въ театрѣ, на гуляньи, въ вагонѣ—все богачи...

— Гм... да...

— А у богачей-то только и богатства, что просроченные векселя. Я не говорю, что нужно во что бы то ни стало копить и копить, а только о привычкѣ жить не по средствамъ. Да взять хоть...

Далѣе слѣдовалъ старческій шопотъ и соглашающееся мычанье собесѣдника. Именно этотъ шопотъ и мычанье какъ-то особенно раздражали Сергѣя Иваныча, а когда невидимый старичокъ заговорилъ о самоубійствахъ, какъ прямомъ результатѣ жизни „какъ у другихъ“, онъ не утерпѣлъ и пересѣлъ въ другой конецъ вагона.

— Выжилъ изъ ума старый чортъ!—обругалъ онъ словоохотливаго старика.—Нашелъ, въ чемъ обвинять... Конечно, всѣ живутъ приблизительно одинаково и не можетъ быть иначе.

Поѣздъ мчался съ подавленнымъ грохотомъ. Электрическія лампы давали мало свѣта. Кое-гдѣ велись разговоры вполголоса, а большинство молчало. Русскій человѣкъ не умѣетъ путешествовать и предпочитаетъ скучать, но не заговоритъ съ незнакомымъ человѣкомъ. Сергѣй Иванычъ откинулся на спинку диванчика и дремалъ. У него не выходила изъ головы формулирующая фраза: какъ у другихъ... Онъ припоминалъ разныя мелочи своей домашней обстановки, выраставшія постепенно привычки, весь складывавшійся обиходъ домашней жизни. Что̀ же, конечно, квартиру можно было бы имѣть подешевле, вмѣсто четырехъ прислугъ держать двухъ, уничтожить журфиксы, сократить нѣкоторыя знакомства, произвести экономію въ содержаніи, въ костюмахъ—вообще сжаться. Пожалуй, постепенно можно свести годовой бюджетъ и на три тысячи, безъ особенно чувствительныхъ лишеній.

Въ самомъ дѣлѣ, много ли въ Петербургѣ живетъ семей съ трехтысячнымъ годовымъ бюджетомъ? Въ сущности вѣдь это—счастливцы, которымъ завидуетъ масса людей, получающихъ гораздо меньше. Значитъ, можно жить и на эти средства и жить очень недурно. Конечно, трудно сразу отказаться отъ установившагося режима, а главное—какъ-то неловко передъ знакомыми. Придутъ въ гости, а вдругъ нѣтъ ни дорогихъ закусокъ, ни дорогой рыбы

ни дорогихъ винъ... Оно какъ-то даже совѣстно... Раньше все было, а тутъ вдругъ что-нибудь самое скромное, этакое мѣщанское. Ему, Сергѣю Иванычу, и женѣ всѣ эти угощенія въ сущности и не существуютъ, потому что у него катарръ желудка, а у нея нервы. Дѣтямъ тоже, конечно, все равно, и даже чѣмъ проще, тѣмъ лучше.

„Ахъ, чортъ возьми, а вѣдь старичокъ-то того...—невольно подумалъ Сергѣй Иванычъ, точно начиная оживать.—Вѣдь я сейчасъ не мучился бы такъ, если бы... И жена не мучилась бы. Для кого же мы мучимся оба? Господи, да какъ же все это просто!.. Лида переживаетъ критическій возрастъ, будетъ выѣзжать на балы и составитъ себѣ о жизни самое фантастическое представленіе; потомъ выйдетъ замужъ и всю жизнь будетъ мучиться тѣмъ же, какъ и отецъ съ матерью, чтобы жить, „какъ другіе“. А если она пойдетъ по трудовой дорогѣ, найдетъ такого же труженика-мужа и заведетъ свое трудовое теплое гнѣздышко... А главное—не зависѣть отъ проклятыхъ денегъ, которыя дѣлаются главной цѣлью жизни и главнымъ источникомъ заботъ и огорченій. Развѣ три тысячи не деньги?.. И даже очень большія деньги... И для дѣтей какъ будетъ хорошо, если они вырастутъ въ скромной трудовой обстановкѣ. Вѣдь это же счастье, да, настоящее счастье. Каждая дешевенькая обновка доставитъ вѣдь гораздо больше удовольствія, чѣмъ разное дорогое тряпье“.

Сергѣю Иванычу вдругъ сдѣлалось легко и тепло на душѣ, какъ уже давно не было. Къ чорту все... Пусть другіе живутъ, какъ имъ угодно, а онъ будетъ жить по-своему. А какъ это хорошо будетъ для дѣтей!.. Вѣдь въ сущности они съ женой и живутъ только для этихъ дѣтей, а между тѣмъ сами-то собственными руками прививаютъ имъ ядъ совершенно ненужной роскоши. По пути Сергѣй Иванычъ припомнилъ собственное дѣтство, скромную обстановку отчаго крова, тѣ священныя заплатки, которыми мать такъ искусно прикрывала разные недочеты въ его дѣтскихъ костюмчикахъ. Да, именно теперь Сергѣй Иванычъ съ какимъ-то умиленіемъ вспоминалъ объ этихъ заплаткахъ, которыя выкраивались любящей материнской рукой...

Свистокъ. Поѣздъ замедлилъ ходъ. Сергѣй Иванычъ вышелъ изъ вагона съ веселымъ лицомъ, точно получилъ двѣ награды къ празднику. Шагая по платформѣ, онъ вспомнилъ про старичка, который навелъ его на эти новыя счастливыя мысли. Ему захотѣлось пожать руку этого старичка и поблагодарить за невольно подслушанный разговоръ, но въ двигавшейся мимо него толпѣ старичка уже не было,—онъ точно сквозь землю провалился.

1899.

КУСОЧЕКЪ ЧЕРНАГО ХЛѢБА.

Разсказъ.

I.

У Анны Сергѣевны былъ твердый характеръ, настолько твердый, что иногда она сама начинала имъ тяготиться. Довести всякое дѣло до конца, выдержать характеръ, настоять на своемъ, — это у нея „доходило до слабости", какъ упрекалъ мужъ Анны Сергѣевны, горный инженеръ безъ всякаго характера. Взять хотя настоящую поѣздку, — вѣдь Анна Сергѣевна совершенно спокойно могла переночевать въ Кыштымскомъ заводѣ, но она рѣшила, что поѣдемъ дальше, и, несмотря на всѣ уговоры, отправилась дальше.

— Вамъ придется ѣхать горами цѣлыхъ тридцать шесть верстъ, — уговаривали ее. — Дорога лѣсная, а на Сойминской станціи всего одна изба, гдѣ вамъ придется заночевать съ дѣтьми. Наконецъ, кажется, собирается гроза...

— Нѣтъ, я уже рѣшила, — невозмутимо отвѣчала Анна Сергѣевна, дѣлавшаяся еще тверже отъ такихъ уговоровъ, очевидно, посягавшихъ на ея самостоятельность. — Знаете, у меня ужъ такой характеръ: разъ рѣшила — значитъ, нужно сдѣлать.

Двое дѣтей Анны Сергѣевны — трехлѣтняя Таня и пятилѣтній Илюша — съ удивленіемъ смотрѣли на уговаривавшихъ маму, — вѣдь мама сказала, что поѣдемъ. „Мама сказала" — было своего рода закономъ.

Стоялъ іюньскій горячій день. Къ вечеру сдѣлалось душно, и въ небѣ кучились дождевыя облака. Въ горахъ грозы налетаютъ быстро, и Анна Сергѣевна чувствовала приближеніе такой грозы по особому нервному состоянію, съ которымъ упорно боролась цѣлую жизнь. Ее охватывало какое-то жуткое ощущеніе, въ родѣ того, когда ждутъ выстрѣла изъ громаднаго орудія.

„Да, будетъ гроза", — думала Анна Сергѣевна, когда они выѣзжали изъ завода и дорога начала забирать въ гору.

Экипажъ былъ удобный, какъ всѣ сибирскіе тарантасы, такъ что, въ случаѣ чего, въ немъ свободно можно было и заночевать. Дорога шла все время горами, и Анна Сергѣевна любила этотъ участокъ, гдѣ не встрѣчалось ни одного селенія. По сторонамъ великолѣпный лѣсъ, дорога постоянно дѣлаетъ повороты, спуски и подъемы, картины мѣняются на каждомъ шагу, воздухъ чистый, пропитанный специфическимъ ароматомъ горныхъ елей, пихтъ и сосенъ. Чего стоило одно удовольствіе дышать такимъ воздухомъ...

Почтовая тройка бѣжала легко и быстро, молодой парень кучеръ весело посвистывалъ, экипажъ покачивалъ, нагоняя дорожную дрему. Маленькая Таня

точно распустилась вся и заснула сладкимъ дѣтскимъ сномъ сейчасъ же, какъ только выѣхали. Маленькій Илюша бодрствовалъ, задавая матери свои безконечные дѣтскіе вопросы.

Анна Сергѣевна страстно любила дѣтей и считала себя не безъ основанія примѣрной матерью. Вотъ гдѣ ей больше всего пригодится ея твердость характера... Вѣдь все воспитаніе, въ сущности, сводится на выдержку характера. Уже сейчасъ она могла припомнить тысячи такихъ случаевъ, когда спасала своихъ дѣтей отъ опасности именно благодаря только своей выдержкѣ. Въ сущности говоря, самыя серьезныя вещи начинаются сплошь и рядомъ съ почти незамѣтныхъ пустяковъ. Да вотъ хоть сейчасъ взять Илюшу, — онъ какой-то вялый и жиденькій мальчикъ. А отчего? Очень просто: вялость кишекъ, понижеціе перистальтическаго ихъ движенія. Значитъ, нужно поднять питаніе...

„Ахъ, ужъ это мнѣ питаніе!“ — невольно подумала Анна Сергѣевна, припоминая свой материнскій пятилѣтній опытъ.

Господи, чего-чего она ни дѣлала вотъ для этого вялаго Илюши. Началось съ кормилицъ, потомъ, въ теченіе трехъ лѣтъ, стерилизованное молоко, мясной порошокъ, шотландская овсянка, — ну, не выдержи характера Анна Сергѣевна въ этой дѣтской кухнѣ, Илюши давно бы не существовало на свѣтѣ. Чего стоило пріучить его пить крѣпкій мясной экстрактъ, который Анна Сергѣевна приготовляла сама, не довѣряя рѣшительно никому. Развѣ можно положиться на няню, которая непремѣнно напичкаетъ ребенка ржанымъ хлѣбомъ, — къ послѣднему Анна Сергѣевна питала что-то въ родѣ органическаго отвращенія, какъ къ источнику всякаго дѣтскаго зла. Будетъ раздуваться животъ, явится кислая отрыжка, — нѣтъ, благодарю покорно. Аннѣ Сергѣевнѣ до точности были извѣстны всѣ количественные и качественные анализы пищевыхъ веществъ, и она съ особеннымъ удовольствіемъ пользовалась ученой номенклатурой, какъ „азотистыя соединенія“, „бѣлковыя вещества“ и т. д. Правда, что и здѣсь были свои проклятые вопросы, въ родѣ того, какъ ѣсть яйцо — вкрутую или всмятку. Одни ученые говорятъ одно, другіе — другое, — и вся твердость характера Анны Сергѣевны подвергалась постоянному искушенію. Вопросъ объ яйцахъ оставался открытымъ...

„А можетъ-быть, и вялость кишекъ у Илюши происходитъ именно отъ того, что онъ ѣлъ яйца только всмятку? — съ ужасомъ думала Анна Сергѣевна. — Вотъ уже три года, какъ онъ придерживается именно этой системы питанія...“

Наблюдая Илюшу, Анна Сергѣевна испытывала почти отчаяніе отъ одной мысли о проведеніи во всей строгой послѣдовательности раціональнаго питанія. Сколько она ученыхъ книжекъ перечитала, сколько совѣтовалась съ медицинскими знаменитостями, — и въ концѣ концовъ оставалась единственная надежда на твердость собственнаго характера...

II.

Увлекшись своими материнскими мыслями и соображеніями, Анна Сергѣевна незамѣтно задремала и проснулась только тогда, когда экипажъ остановился. Первой ея мыслью было, что они уже пріѣхали на станцію, но оказалось, что экипажъ стоитъ на спускѣ съ горы. Было еще достаточно свѣтло, и нигдѣ не видно было признаковъ жилья.

— Что̀ случилось? — спросила она кучера.

— А вонъ баба, значитъ...

— Какая баба?

— А вонъ изъ лѣсу идетъ и рукой машетъ.

— Что̀ ей нужно?

— А кто ее знаетъ... Она махнула рукой, ну, я и остановился.

Дѣйствительно, съ лѣвой стороны дороги, изъ рѣдкаго сосноваго лѣска выходила баба съ ребенкомъ на рукахъ, а за ней бѣжала босоногая дѣвочка лѣтъ пяти, съ растрепанными бѣлыми волосенками. Нужно сказать, что Анна Сергѣевна ужасно боялась „этихъ дѣтей", которыя представлялись въ ея воображеніи живыми препаратами всевозможныхъ дѣтскихъ болѣзней — дифтерита, скарлатины, дизентеріи и т. д. Первой мыслью Анны Сергѣевны было то, что баба съ ребенкомъ остановила экипажъ съ спеціальной цѣлью попросить у нея какого-нибудь лѣкарства, — вѣдь „эти дѣти" всегда чѣмъ-нибудь больны и могутъ заразить Илюшу и Таню въ одно мгновеніе. Она сдѣлала даже знакъ бабѣ остановиться и со страхомъ спросила:

— Постой, не подходи, милая... Дѣти у тебя здоровы?

— А ничего, слава Богу... — отвѣтила баба.

У Анны Сергѣевны отлегло на сердцѣ, и она проговорила уже другимъ тономъ:

— А что̀ тебѣ нужно, милая? Подходи ближе...

Баба подошла къ самому экипажу и какъ-то особенно быстро заговорила, роняя слова:

— Огоньку, барыня, у насъ нѣтъ... Мужъ-то у меня, значитъ, померъ на пріискѣ, вотъ я и ѣду съ ребятами домой... Трое ребятишекъ-то, а ѣхать триста верстъ... Хорошо еще, лошадь своя осталась.. Покормимъ ее въ лѣсу и ѣдемъ... Вотъ и сейчасъ остановилась, надо огонька развести, а спичекъ-то и нѣтъ. Дунька дорогой потеряла... А ежели безъ огня, такъ лошадь-то изобьется отъ овода, да и сами чего-нибудь сваримъ... болтушку изъ старыхъ корочекъ...

Анна Сергѣевна внимательно разглядѣла эту несчастную пріисковую бабу, у которой конвульсивно вздрагивали губы, когда она заговорила о покойномъ мужѣ. И сама какая-то точно вся ободранная: сарафанъ рваный, платокъ на головѣ тряпицей, и даже исхудалое, запеченное на солнцѣ лицо походило на какую-то заплату.

— У васъ, поди, и поѣсть нечего? — спрашивала Анна Сергѣевна, приноравливаясь къ языку ободранной бабы.

— Какая ужъ ѣда, барыня... Вотъ только бы лошадь поѣла, а мы ужъ какъ-нибудь. Накопала даве саранки (горная лилія), ну, сварю ее въ котелкѣ — вотъ и вся ѣда. Все же ребята какъ будто горяченькаго похлебаютъ...

У Анны Сергѣевны мелькнула счастливая мысль. Конечно, твердость характера прежде всего, но въ дѣтяхъ необходимо „развивать и сердце". Она поцѣловала проснувшуюся Таню, такъ смѣшно таращившую свѣтлые синіе глазки на незнакомыхъ людей, и сказала Илюшѣ, который по своей малости не проявлялъ даже законнаго дѣтскаго любопытства:

— Илюшка, достань корзинку съ нашей провизіей...

Мальчикъ съ трудомъ досталъ плетеную корзинку и еще съ бо̀льшимъ трудомъ открылъ ее.

— Дѣвочка, подойди сюда... — приглашала Анна Сергѣевна дичившуюся Дуньку.

Мать подталкивала ее, и Дунька взобралась на подножку тарантаса, голодными глазами слѣдя за Анной Сергѣевной, которая вынимала изъ корзинки завернутые въ бумагу припасы — пирожки съ мясомъ, вареныя яйца, телятину, колбасу.

— Ну, выбирай, Дуня, что̀ тебѣ нравится, — предлагала Анна Сергѣевна, съ завистью наблюдая голодную дѣвочку. Господи, какой завидный аппетитъ у „этихъ дѣтей“. Если бы Илюшѣ хотя сотую долю такого аппетита...

Но тутъ случилось нѣчто совершенно неожиданное: Дунька осмотрѣла всѣ запасы, напрасно отыскивая своими голодными глазами что-нибудь подходящее, и отрицательно покачала головой. Это движеніе даже обидѣло Анну Сергѣевну: скажите, пожалуйста, какая разборчивая дѣвчонка... Изволите ли видѣть, не нашла ничего подходящаго. Вотъ вамъ и будьте добрыми съ „этими дѣтьми“. Впрочемъ, это, пожалуй, хорошій урокъ Илюшѣ, который такъ мило предложилъ Дунькѣ пирожокъ съ говядиной, а она отрицательно покачала головой и даже спрятала свои грязныя ручонки за спиной.

— Н-нѣ-етъ... — протянула Дунька, оглядываясь на мать

— Отчего она не хочетъ брать? — обиженно спрашивала Анна Сергѣевна и прибавила: — у насъ провизія самая свѣжая...

— Нѣтъ, она не возьметъ... — отвѣтила баба.

— Такъ вы возьмите и дайте ребятамъ...

— Тоже не будутъ ѣсть, барыня...

— Хлѣба, наконецъ, возьмите. Надѣюсь, что бѣлый хлѣбъ они у васъ ѣдятъ... У меня есть великолѣпныя сдобныя лепешки.

Баба взяла такую великолѣпную сдобную лепешку, повертѣла въ рукахъ и возвратила назадъ.

— Нѣтъ, не будутъ ѣсть... все равно... — повторяла она упрямо.

— Это... это... я наконецъ не понимаю! — начала горячиться Анна Сергѣевна, оскорбленная въ лучшемъ движеніи своего дисциплинированнаго сердца.

Единственнымъ свидѣтелемъ всей этой сцены былъ молодой кучеръ, смотрѣвшій съ козелъ на Дуньку и на барыню съ самой глупой улыбкой. Онъ наконецъ рѣшился вывести барыню изъ недоумѣнія и проговорилъ:

— Она глупая, барыня, значитъ, эта самая баба... Словъ-то у ней нѣтъ, чтобы выразить... Постъ теперь, значитъ, Петровки, ну, ребята поэтому и не будутъ скоромиться.

— А, вотъ въ чемъ дѣло... — протянула Анна Сергѣевна, для которой все сдѣлалось ясно. — И маленькіе не будутъ ѣсть мяса? — спросила она бабу.

— Да вѣдь и маленькіе понимаютъ, барыня, — удивилась въ свою очередь баба, что барыня не можетъ понять такой простой вещи.

— Ужо, у меня есть кусочекъ чернаго хлѣба, — говорилъ кучеръ, добывая изъ-за пазухи ломоть чернаго хлѣба, завязанный въ удивительно грязный платокъ, насыщенный всевозможными бактеріями. — На̀, Дунька.

Анна Сергѣевна сунула бабѣ какую-то мелочь, коробку шведскихъ спичекъ и велѣла ѣхать дальше. Кучеръ встряхивалъ головой и улыбался про себя: дескать, ловко осрамила барыню что̀ ни на есть простецкая баба...

Экипажъ осторожно спускался подъ гору, и Анна Сергѣевна нѣсколько разъ оглянулась назадъ. Баба съ голодной дѣвочкой стояла еще на дорогѣ, провожая глазами барскій экипажъ.

„Да, вотъ какъ воспитываютъ характеръ...“ — съ горечью думала Анна Сергѣевна, наблюдая Илюшу, вяло жевавшаго кусокъ колбасы.

Гдѣ-то погромыхивали первые раскаты начинавшейся грозы, и начали падать первыя капли дождя съ сухимъ шумомъ, точно кто [illegible] листвѣ дробью.

1898.

МАКАРКА.

Разсказъ.

I.

Петровъ день для всего Шайтанскаго завода являлся тройнымъ праздникомъ. Во-первыхъ, въ этотъ день, „престолъ“ въ мѣстной заводской церкви, потомъ фабрика закрывалась вплоть до Успенья и, въ-третьихъ, что̀ самое главное — конскій праздникъ. Съ ранней весны, какъ покажется молодая травка и кончится тяжелая, зимняя, конная работа по перевозкѣ руды, дровъ, угля и „металла“, сотни лошадей угоняются въ горы, гдѣ и отгуливаются на вольныхъ горныхъ пастбищахъ, главнымъ образомъ на мѣстахъ большихъ куреней, гдѣ на свѣжей поруби бросается чудная горная трава. Въ Петровъ день табуны отгулявшихся въ горахъ лошадей пригоняются въ заводъ на показъ хозяевамъ.

Какъ-то всегда случалось такъ, что Петровъ день выдавался солнечный, теплый и радостный. Такъ было и нынче. И праздничный колоколъ на деревянной колокольнѣ гудѣлъ какъ-то торжественно. Рядомъ съ церковью былъ заводскій базаръ, а за нимъ большой „пригонъ“, куда загонялись лошади. Съ утра на базарѣ и церковной площади начали собираться кучки разодѣтыхъ по-праздничному мастеровыхъ. На уральскихъ горныхъ заводахъ щегольство, благодаря заработкамъ, очень развито. Вездѣ мелькали красныя кумачныя рубахи, праздничные халаты изъ чернаго и синяго сукна, новенькія фуражки. Конечно, щеголяла главнымъ образомъ заводская молодежь, а старики довольствовались старинными кафтанами изъ домашняго сукна и войлочными шляпами. Женщинъ было не видно,—онѣ заняты дома праздничной стряпней. Къ Петрову дню съѣзжалось изъ сосѣднихъ селъ и заводовъ много гостей, и всѣхъ надо было угостить. Только самыя древнія старушки плелись въ церковь, подпираясь длинными палками. Имъ дома нечего было дѣлать.

До окончанія церковной службы, на базарѣ всѣ лавки были заперты, и около нихъ собирались кучки ожидавшихъ выгона лошадей. У большинства въ рукахъ мотались узды и недоуздки. Говорили о лошадяхъ, о дружной веснѣ, выгнавшей раннюю травку, о далекомъ Матюгиномъ куренѣ, гдѣ было устроено на нынѣшній годъ „пàсево“.

— На Таломъ было лучше,—толковали старики.

— Лучше-то лучше, да началъ Талый обрастать осинниками и березняками. И медвѣди теперь тамъ развелись, сказываютъ. Для нихъ осинникъ-то по веснѣ первое дѣло... Нутро у него не дѣйствуетъ, когда вылѣзетъ изъ берлоги, ну, а какъ хватилъ осиновой коры — его и пройметъ сразу. Смышлястый звѣрь...

— Ужъ это что говорить. На то поискать. Сказываютъ, понѣшнюю весну четырехъ лошадей задралъ да ободралъ штукъ съ десять.

— Можетъ, пастухи и оправдаются, ежели конскія копыта предоставятъ, а то плати штрахъ...

— А что ты съ него возьмешь, съ пастуха? Съ голаго, что со святого, не пуговицу сорвешь... Прошлогоднимъ снѣгомъ заплатятъ... Разговоръ извѣстный.

Тема о медвѣдяхъ была безконечна. Между лошадью и медвѣдемъ существовала неразрывная связь. Гдѣ кони въ лѣсу—тамъ и медвѣдь, какъ ихъ прямое дополненіе. Въ среднемъ Уралѣ во множественномъ числѣ не говорятъ „лошади", а всегда—кони. Отсюда—конная работа, конный пастухъ, конный дворъ, конская сбруя и т. д. На конномъ праздникѣ, конечно, не могло обойтись безъ разсказовъ о медвѣдѣ. Сидѣвшіе на церковной завалинкѣ старики могли много поразсказать. Многіе встрѣчались съ нимъ въ лѣсу глазъ-на-глазъ или видали издали. Всего бывало... На завалинкѣ въ числѣ другихъ сидѣлъ бывшій конный пастухъ Пароенъ, сѣдой сгорбленный старикъ съ вытекшимъ лѣвымъ глазомъ и поврежденной лѣвой рукой. Его два раза въ конномъ пасевѣ подминалъ подъ себя медвѣдь и чуть въ послѣдній разъ не отгрызъ на-прочь правую руку. Однимъ словомъ, бывалый человѣкъ.

— Что же медвѣдь?—разсуждалъ онъ авторитетно.— Это только со стороны странно... Вонъ спросите Ефима, сколькихъ онъ залобовалъ *) Минпенъ.

— Что же Ефимъ? — послышалось сразу нѣсколько голосовъ. — Ефимъ слово такое знаетъ, ну, ему медвѣдь ни по чемъ... Этакъ-то и всякій бы на медвѣдя ходилъ, ежели бы слово такое зналъ.

Старикъ Ефимъ сидѣлъ тутъ же и молчалъ, точно разговоръ шелъ о комъ-то другомъ. Это былъ подслѣповатый, худенькій старичокъ съ бородкой клинышкомъ. Глядя на него, никому и въ голову бы не пришло, что это — знаменитый медвѣжатникъ. Онъ былъ не шайтанскій, а изъ глухой лѣсной деревни Бугай, затерявшейся въ горахъ. Туда не было даже колесной дороги. Бугаевцы промышляли главнымъ образомъ лѣсомъ, доставляя на фабрику зимой дрова и уголь, „сидѣли" деготь и смолу, „лѣсовали", т.-е. вели промысловую охоту на звѣря.

— Ну, такъ какъ, Ефимъ?—спрашивалъ кто-то.—На которомъ медвѣдѣ остановился?..

— А на послѣднемъ... — глухо отвѣтилъ старикъ, не любившій болтать зря. — Только никакого я слова не знаю... Это вы даже совсѣмъ напрасно. А что касаемо медвѣдя, такъ просто — глупый звѣрь и больше ничего... Ухватку надо его знать—вотъ и все.

— Ну, ужъ это ты напрасно, Ефимъ, — спорилъ старикъ съ окладистой бородой. — Я своими глазами видѣлъ, какъ онъ скрадывалъ лошадиный табунъ... Ползетъ въ чапыжникѣ **), какъ кошка. А въ другой разъ ѣду верхомъ, вдругъ моя лошадь какъ хранпетъ—едва усидѣлъ въ сѣдлѣ, гляжу, а онъ по сторонѣ лѣсомъ мчится. Вотъ какъ стѣнь (тѣнь) мелькаетъ и ни одного сучка не задѣнетъ.

— А я видѣлъ, какъ онъ лошадь дралъ,—разсказывалъ Пароенъ.—Онъ выстерожилъ ее сбоку, когда она траву щипала... Извѣстно, трава въ зубахъ-то хруститъ, ну, лошадь-то и не слышитъ, какъ онъ къ ней крадется. Ну, а потомъ какъ кинется на нее, прямо на шею, и сейчасъ горло грызетъ... Она,

*) Залобовать—убить.
**) Чапыжникъ—молодая, густая лѣсная заросль.

милая, безъ ума несется по лѣсу, а онъ одной лапой за деревья хватается. Березки, которыя въ руку толщиной, вмѣстѣ съ корнемъ выворачивалъ, пока не уронилъ ее наземь... Ну, я нагналъ ихъ и ничего не разберу: такъ однимъ комомъ по землѣ и валяются. Онъ реветъ, лошадь тоже реветъ... Я ухватилъ орясину *) и давай ей обхаживать по медвѣдю. И все норовлю ему по носу изгадать... Однова шибанулъ-таки, ну, онъ тогда на меня кинулся. Разстервенился вотъ какъ, а я ему въ пасть всю руку сую... Едва успѣлъ ножъ добыть... Ну, какъ всадилъ ему ножъ-то прямо въ пузу — онъ и отшатился маненько, а потомъ какъ будто закряхтѣлъ... Идетъ, а у самого голова мотается, какъ у пьянаго. Ну, я его тутъ орясиной и прикончилъ.

Благовѣстъ въ церкви кончился, и старички направились къ службѣ. На завалинкѣ остался одинъ Пароенъ. Богомольный былъ человѣкъ, а сейчасъ не могъ. Старикъ все присматривалъ изъ-подъ руки на горку, зеленѣвшую своими покосами сейчасъ за прудомъ. По ней вилась та дорога, по которой погонятъ конскій табунъ. Церковь стояла на этомъ берегу заводскаго пруда, и все будетъ видно, какъ на ладонкѣ. Никто не зналъ, какъ у стараго пастуха замирало сердце отъ ожиданія...

— Что-то позамѣшкались наши пастухи,—думалъ вслухъ Пароенъ.— Пора бы ужъ выгонять... Всегда выгоняли табунъ къ благовѣсту. Покойный попъ Яковъ вотъ какъ сердился, что мы мѣшаемъ православнымъ молиться. А рззвѣ мы виноваты? Зачѣмъ коней морить...

Къ Пароену съ базара подошла артелька молодыхъ мужиковъ.

— Здравствуй, старикъ.

— Здравствуйте, молодые.

— Что это, сказываютъ, шестерыхъ коней задралъ въ пасевѣ?

— Сказываютъ...

— Прежде этого не было. Ну, задеретъ одну лошадь, много двухъ...

— Прежде?

Пароенъ неожиданно разсердился и обругалъ молодежь молокососами.

— А какіе нонѣ пастухи у васъ? — угрожающе спрашивалъ онъ, размахивая палкой. — Развѣ это пастухи?!.. Эхъ, вы... Прежде-то, когда табуны гонялъ Макаръ Иванычъ...

— Макарка?!..

— Для васъ онъ зимой былъ Макарка, когда послѣднимъ человѣкомъ въ кабакѣ сидѣлъ, а когда садился на лошадь—Макаръ Иванычъ былъ. Супротивъ него и пастуховъ не осталось... Самъ въ пастухахъ двадцать лѣтъ пробылъ. Ничего вы не понимаете... У Макара Иваныча ни одного копыта не пропало, пока онъ пастушничалъ.

II.

Знаменитый конный пастухъ Макарка лежалъ недвижимъ въ своей избушкѣ, которая, какъ гнилой зубъ, засѣла на главной заводской улицѣ между новыми домами заводскихъ богачей. Макарка давно уже проживалъ бобылемъ, потому что „родная жена“ давно оставила его за озорство и разныя другія „качества“. Отъ бывшаго двора и надворныхъ построекъ оставались однѣ ворота. Въ избѣ тоже было пусто, и она уныло глядѣла на улицу своими двумя покосившимися оконцами. Макарка лежалъ на лавкѣ, недалеко отъ двери. Сейчасъ это былъ одинъ скелетъ, обтянутый кожей. Широкъ былъ въ плечахъ Макарка, высокъ ростомъ, съ богатырской грудью,—и куда все дѣ-

*) Орясина—жердь, толстая палка.

валось? Макарка умиралъ уже лѣтъ пять и никакъ не могъ умереть. Изрѣдка заходили провѣдать его знакомые, качали головами и участливо говорили:

— Давно бы тебѣ пора помереть, Макаръ Иванычъ... Только напрасно маешься.

— И то напрасно...—спокойно соглашался Макарка.—Господь смерти не посылаетъ,—вотъ и маюсь.

Тревожная была жизнь Макарки. Много разъ его пьянаго бивали насмерть, падалъ онъ съ лошади и вмѣстѣ съ лошадью, дралъ его медвѣдь — все сходило съ рукъ. А разболѣлся онъ отъ самыхъ пустяковъ — бросился останавливать перепуганный медвѣжьимъ ревомъ лошадиный табунъ, и обезумѣвшія отъ страха лошади вышибли его изъ сѣдла и пронеслись ураганомъ по нему. Его подняли пастухи замертво и замертво привезли домой, гдѣ онъ пришелъ въ себя недѣли черезъ двѣ. На немъ, какъ говорится, не было живого мѣста, но богатырская натура взяла свое—Макарка остался живъ, хотя и калѣкой. Неблагодарность современниковъ выразилась по отношенію къ нему въ самой яркой формѣ, несмотря на то, что онъ искалѣчился на общественной службѣ. Его забыли при жизни... Это было хуже смерти. Вспоминали изрѣдка благочестивые старики да старушки, да немногіе, остававшіеся еще въ живыхъ, конные пастухи, какъ Пароенъ. Жизнь коннаго пастуха самая отчаянная и отвѣтственная, и шли на эту работу только такіе отпѣтые люди, какимъ въ свое время былъ Макарка. Замѣчательно, что Макарка полгода пилъ мертвую и занимался разными „качествами", а когда садился весной на лошадь—дѣлался совсѣмъ другимъ. Въ теченіе всего лѣта онъ напивался только одинъ разъ, именно въ Петровъ день, когда выгонялъ табунъ „въ гости домой". Макарка зналъ „въ лицо" каждую лошадь не только на своемъ заводѣ, но и съ сосѣднихъ селъ и деревень. Онъ былъ и коноваломъ и объѣзжалъ дикихъ степныхъ лошадей, которыхъ приводили на заводъ съ далекихъ конныхъ ярмарокъ. Лошадь для Макарки была все, и онъ „жалѣлъ" ее, потому что она была, по глубокому убѣжденію Макарки, гораздо лучше человѣка.

— Развѣ лошадь украдетъ?—разсуждалъ Макарка.—Развѣ она можетъ обидѣть? И людей бы на свѣтѣ не было, кабы не лошадь...

И самыя дикія лошади точно чувствовали любящую Макаркину руку и покорялись съ перваго раза, стоило ему только подойти. Вѣроятно, это былъ своего рода гипнозъ, а съ другой стороны—Макарка не зналъ страха даже передъ самыми отчаянными степняками, отъ которыхъ отказывались самые опытные наѣздники.

— Онъ, Макарка, хотя и дуракъ бываетъ по зимамъ, а слово такое знаетъ,—говорили про него, какъ говорили и про стараго медвѣжатника Ефима.

Да, лежитъ въ своей избушкѣ всѣми забытый Макарка и мучится. Какой день-то сегодня: всѣ радуются, всѣмъ праздникъ, а онъ какъ привязанъ къ своей лавкѣ. И хоть бы одна живая душа вспомнила... Съ трепетомъ слушалъ онъ церковный благовѣстъ,—вотъ-вотъ погонятъ коней... По улицѣ проходили толпы народа, кто-то говорилъ, кто-то смѣялся. Макаркино чуткое ухо ловило малѣйшій звукъ, доносившійся съ улицы. Онъ даже вздрогнулъ, когда въ пріотворенную дверь окликнулъ его тонкій дѣтскій голосокъ:

— Макарка, ты еще живъ?

— Это ты, Матрена Спиридоновна?

— Я-а... Маменька прислала туесокъ *) съ квасомъ... да шаньгу **)...

*) Туесокъ, или буракъ, дѣлается изъ бересты, имѣетъ форму цилиндра, съ дномъ и крышкой.

**) Шаньга—хлѣбная лепешка, покрытая пенкой изъ сметаны.

Матрена Спиридоновна, дѣвочка лѣтъ семи, не сразу вошла въ избу, а сначала оглядѣлась кругомъ. Она жила въ сосѣдяхъ, и мать посылала ее къ Макаркѣ съ разными домашними постряпеньками, квасомъ и молокомъ. Она приходилась какой-то дальней родней Макаркѣ и по-бабьему жалѣла его. Дѣвочка забѣгала охотно въ Макаркину избушку и сообщала больному послѣднія заводскія новости. Онъ любилъ слушать эту ребячью болтовню и называлъ дѣвочку Матреной Спиридоновной. Переступивъ порогъ, дѣвочка перекрестилась въ передній уголъ и поставила свой туесокъ и горячую шаньгу на столъ около больного.

— Скажи матери-то спасибо, что не забыла... Коней-то еще не гонятъ?

— Нѣтъ, ничего еще не видать... Народу около церкви и на базарѣ страсть сколько набралось... Всѣ до смерти ждутъ коней... У насъ, сказываютъ, буланая-то кобыла захромала... А у Вахрамѣевыхъ вороного жеребца медвѣдь хваталъ... у Петуниныхъ гнѣдой меринъ потерялся, и копытъ, слышь, не нашли.

По условію найма, пастухи при потерѣ лошади отъ несчастнаго случая—медвѣдь задралъ или сама пала отъ болѣзни—обязаны доставлять хозяину ея копыта, а иначе платятъ полную стоимость потерянной лошади. Дѣвочка говорила, какъ большая, и личико у нея было серьезное, какъ у большой. Она была черноволосая и смуглая, съ большими круглыми глазами и тоненькой косичкой. Мать по-старинному одѣвала ее въ сарафанъ. Бѣгала она, конечно, босая отъ снѣга до снѣга.

— Матрена Спиридоновна, а ты бы сбѣгала на базаръ, — просилъ Макарка.—Погляди, какъ выгонятъ коней на гору, и прибѣги мнѣ сказать...

— Поди, ужъ выгнали,—тономъ большой отвѣтила дѣвочка. — Скоро на церквѣ трезвонить будутъ...

— Ну, такъ ступай, милая... Какъ пыль покажется на дорогѣ—значитъ, коней гонятъ, ну, ты и бѣги стрѣлой.

— Ужъ я-то живой рукой обернусь, Макарка. Какъ ящерка прибѣгу къ тебѣ...

— Вотъ-вотъ... Ступай съ Богомъ.

— И то пойду. Тятька съ уздой ушелъ за кобылой-то...

— Можетъ, встрѣнешь Пароена... знаешь, кривой Пароенъ? Ну, такъ скажи ему отъ Макара Иваныча поклончикъ да спроси, будетъ ли сегодня гоняться соловая кобылка кузнеца Сиволобова. Самъ-то онъ померъ, а остался зять... Потомъ узнай отъ Пароена, какіе другіе кони будутъ гоняться.

Когда дѣвочка убѣжала, Макарка вспомнилъ, что забылъ ей сказать о двухъ лошадяхъ, которыхъ некому было взять изъ табуна въ гости. У одной по веснѣ умерли отъ горячки и хозяинъ и хозяйка, а другой хозяинъ попалъ въ острогъ и дома остались одни ребята.

— Эхъ, сиротами придутъ кони къ празднику-то,—думалъ вслухъ Макарка. — Некому и кормить будетъ... Другихъ-то всѣхъ разберутъ, а эти въ загонѣ сиротами останутся.

Макарка лежалъ на своей лавкѣ и волновался. Въ его воображеніи рисовался цѣлый рядъ самыхъ обидныхъ картинъ. Да, кажется, давно ли онъ все лѣто проводилъ въ горахъ съ табуномъ... Что̀ могло быть лучше такого кочевья? Цѣлый день верхомъ на лошади, а вечеркомъ съ другими пастухами у своего балагана. Курится огонекъ, идутъ разговоры, пастушьи собаки изъ киргизскихъ волкодавовъ стерегутъ собранный въ загоны табунъ... Хорошо лѣтомъ въ горахъ... пахнетъ свѣжей травой... наноситъ дымкомъ отъ лошадинаго курева, которое раскладывалось для отгона одолѣвавшихъ коней ко-

маровъ и мошкары... Короткій, но бодрый сонъ. Утромъ еще стелется густой туманъ по травѣ, а Макарка ужъ въ сѣдлѣ... Онъ слышитъ, какъ фыркаютъ лошади, какъ играютъ молодые жеребята, какъ зовутъ ржаньемъ кобылки оставшихся въ табунѣ жеребятъ... Хорошо. Весело на душѣ... А солнце всходитъ надъ горами, такое большое, безъ лучей, и быстро подбираетъ ночную росу...

— Хоть бы однимъ глазомъ Господь привелъ взглянуть,—продолжаетъ думать Макарка.— Поглядѣлъ бы и померъ... Ей-Богу, сейчасъ бы померъ, а не маячилъ бы напрасно. Прибираетъ же Господь другихъ, а меня, видно, забылъ.

Отзвонили въ церкви, а Матрена Спиридоновна не возвращалась. Макарка „услышалъ тишину"—это табунъ спускался съ горы къ заводской плотинѣ, и вся толпа замерла. Онъ помнилъ этотъ моментъ, когда еще былъ мальчишкой, и потомъ, когда мчался впереди всѣхъ съ длиннымъ пастушьимъ хлыстомъ. Вотъ слышится надвигающійся гулъ отъ тысячи конскихъ копытъ... перезвонъ боталъ *), окрики пастуховъ... хлопанье пастушьихъ хлыстовъ... Табунъ прогонялся по улицѣ, гдѣ стояла избушка Макарки. Звуки нарастали, ширились... А онъ, безпомощный, жалкій, забытый всѣми, дышалъ ими, если такъ можно выразиться... Вотъ уже совсѣмъ близко... Макарка зналъ, что табунъ ведетъ главный пастухъ Спирька Косой, и слышалъ, какъ онъ ловко орудовалъ своимъ хлыстомъ. Прежде, бывало, впереди табуна скакалъ Макарка, а теперь его смѣнилъ Спирька Косой...

Табунъ пронесся подъ окнами Макаркиной избушки. Лошади жались одна къ другой, сбивались съ ноги, бросались по сторонамъ... И опять хлопанье пастушьихъ хлыстовъ, веселый топотъ, неясный гулъ уходившей впередъ головки табуна.

— Господи, хоть бы поглядѣть однимъ глазкомъ! — стоналъ Макарка, напрасно стараясь подняться на локти.

III.

Матрена Спиридоновна вихремъ донеслась до церковной ограды и сейчасъ же забыла о своемъ порученіи, потому что именно въ этотъ моментъ на горѣ показалось облако пыли.

— Гонятъ!.. Гонятъ!..—послышались голоса.

Дѣвочка вмѣстѣ съ другими бросилась на берегъ пруда и замерла въ ожиданіи. Табунъ спускался съ горы широкой лентой, оставляя за собой столбы пыли. Вотъ уже голова табуна скрылась за первыми избушками улицы Пеньковки... Слышенъ далекій топотъ и звонъ боталъ... Вотъ показался впереди табуна главный пастухъ Спирька Косой и началъ сдерживать напиравшихъ молодыхъ лошадей, — нужно было провести табунъ по узкой заводской плотинѣ, гдѣ онѣ могли столкнуть другъ друга въ воду.

— Вонъ нашъ—Воронко!—кричалъ кто-то, хотя на такомъ разстояніи и трудно было узнать свою лошадь.—Ей-Богу, онъ... А Спирька ловко зажариваетъ, косой чортъ!..

Плотина нѣсколько задержала движеніе табуна, и онъ двинулся полнымъ ходомъ только по улицѣ, которая вела мимо избушки Макарки прямо къ церкви. Толпа замерла... Вотъ вылетѣлъ изъ-за угла на своемъ гнѣдомъ иноходцѣ Спирька Косой и оглушительнымъ хлопаньемъ своимъ длиннымъ на-

---

*) Ботало — большое колокольце, которое надѣвается на лошадей, отбивающихся изъ табуна.

ступнымъ хлыстомъ принялся загонять молодыхъ лошадей къ изгороди за базаромъ. Въ головѣ табуна всегда бѣжали самыя молодыя лошади, въ срединѣ держались матки со своими жеребятами, а въ хвостѣ скромно бѣжали старыя, опытныя лошади, которыхъ выгоняли съ горныхъ пастбищъ уже не первый разъ.

Конные пастухи были сегодня героями дня и проявляли много совершенно ненужной энергіи. Отгулявшіяся за два мѣсяца лошади тоже выказывали излишнюю бодрость и не узнавали своихъ хозяевъ, особенно молодыя, которыя совсѣмъ одичали.

— Съ праздникомъ, народъ православный!—здоровался Спирька Косой, слѣзая со своего взмыленнаго иноходца.—Получайте дорогихъ гостей...

Это былъ самый торжественный моментъ. Всѣ наперебой бросились разбирать своихъ воронковъ, чалокъ, рыжихъ и гнѣдыхъ, чтобы вести домой въ гости. Отдѣльно стояли хозяева задранныхъ медвѣдемъ лошадей. Для нихъ не было праздника... Вынуть изъ живого хозяйства лошадь много значитъ, особенно, когда въ большинствѣ случаевъ не на что купить другую. Матрена Спиридоновна разыскала свою буланую кобылу, а когда отецъ надѣлъ на нее узду, торжественно повела ее домой, гдѣ уже было приготовлено и сѣно, и овесъ, и ржаные сухари, круто посыпанные солью. Кобыла отгулялась на диво и даже излишне раздула животъ. Дома уже ждали гостью. Всѣ ласкали ее, совали куски хлѣба, гладили и не знали, чѣмъ и какъ проявить свою радость.

— Очень ужъ животъ у нея великъ,—говорила мать.—Тяжело ей потомъ будетъ возы-то возить.

— Ничего, животъ-то на работѣ въ одну недѣлю подберетъ,—успокаивалъ ее отецъ.—За зиму-то въ ниточку вытянется...

Съ далекаго перегона лошадь нельзя было поить, и ее поставили къ сухому сѣну выстояться и подобрать потъ. Матрена Спиридоновна не отходила отъ нея и раза три даже пролѣзла подъ брюхомъ безъ всякой надобности, а такъ, для озорства. Кобыла была умная и смотрѣла на нее такими добрыми глазами.

Когда уже сѣли обѣдать, Матрена Спиридоновна вспомнила о Макаркѣ. Она всплеснула руками и проговорила въ ужасѣ:

— Мамынька, вѣдь Макарка-то зачѣмъ-то послалъ... шибко наказывалъ, а я и забыла...

— Дорогой, видно, потеряла?—шутилъ отецъ.

— Ничего, вотъ понесешь ему чашку горячихъ штецъ, такъ онъ тебѣ въ другой разъ скажетъ, — успокаивала мать.— Охота и ему горяченькаго-то похлебать... Тоже всѣмъ праздникъ.

Макарка лежалъ одинъ, изнывая отъ тоски. Когда появилась Матрена Спиридоновна съ чашкой дымившихся щей, онъ ничего не сказалъ ей, а только поморщился.

— Макарушка, голубчикъ, прости ты меня ради истиннаго Христа,— слезливо говорила Матрена Спиридоновна, переступая съ ноги на ногу. — Какъ есть все перезабыла, что̀ ты мнѣ наказывалъ... До базара бѣжала — все помнила, а тутъ и забыла, какъ къ церкви подбѣжала.

— Ладно, ладно, Богъ тебя проститъ... А ты сбѣгай еще разъ...

— Какъ ящерка побѣгу...

— Ну, такъ ты бѣги къ пригону... да... тамъ двѣ лошади должны оставаться... ихъ некому взять... Одна-то Савоськи Конюхова, который по веснѣ померъ отъ горячки вмѣстѣ съ хозяйкой, а другая Ефрема Коврыгина, который въ острогѣ сидитъ... Поняла?

Все до ниточки поняла, Макарка...

— Ну, такъ ты погляди и прибѣги сказать... Да не забудь, смотри

Дѣвочка побѣжала къ пригону во весь духъ, чтобы быстрѣй загладить вину. Она вернулась раньше, чѣмъ Макарка ожидалъ.

— Ишь какая востроногая!—похвалилъ Макарка.

— Стоятъ... обѣ... въ пригонѣ...—разсказывала Матрена Спиридоновна, едва переводя духъ.—Савоськина-то сивая... а коврыгинская гнѣдая... бѣлоглазая... лѣвое ухо порото... Ребятишки-то прибѣгали... и по кусочку принесли... коврыгинскіе-то вотъ какъ ревутъ...

— Такъ, такъ... Ахъ, какъ это нехорошо! — жалѣлъ Макарка. — Вѣдь скотина тоже понимаетъ, сердечная... Всѣ кони по домамъ разобраны, а эти сиротами остались... нехорошо и даже грѣшно...

Подумавъ немного, Макарка прибавилъ:

— Вотъ что̀, Матрена Спиридоновна, бѣги-ка ты живымъ духомъ къ церковному старостѣ Маркелу... Знаешь, гдѣ живетъ?

— Ну вотъ...

— Ну, такъ придешь къ нему и скажи, что, молъ, меня прислалъ къ тебѣ Макарка и слезно просилъ принять въ гости коней-то осиротѣлыхъ... Такъ и скажи. Лучше, молъ, нищему не подать, а богову скотину накормить... Богатый Маркелъ-то, и душа въ ёмъ добрая, ежели не пьянъ... Ну, такъ поскорѣе, Матрена Спиридоновна.

Церковный староста Маркелъ выслушалъ внимательно „посла“, тряхнулъ головой и сказалъ:

— Правильно говоришь, птица... Макарка-то поумнѣе насъ себя обозначилъ, что про чужую скотину не забылъ. Настоящій, значитъ, пастухъ, а вотъ другихъ-то такихъ и не осталось. Я-то торопился изъ церкви домой и не доглядѣлъ, какіе кони остались въ пригонѣ. Скажи Макаркѣ-то поклончикъ да еще скажи, что староста Маркелъ позаботится обо всемъ...

Когда Матрена Спиридоновна вернулась, Макарка лежалъ на полу мертвый. Онъ, очевидно, хотѣлъ переползти со своей лавки къ окну, но по дорогѣ умеръ отъ натуги.

1904.

МОНЕТКА.

Разсказъ.

I.

Въ Пропадинскѣ онъ появился неизвѣстно откуда, точно свалился съ неба, причемъ выбралъ и время самое неудобное—послѣдніе дни передъ самымъ Рождествомъ, когда стоялъ сильный морозъ. Первымъ открылъ его присутствіе базарный староста Провъ Силантьичъ Иковъ, который по обязанности службы раннимъ утромъ, еще до свѣта, обходилъ на Черномъ рынкѣ ряды крестьянскихъ возовъ съ разными деревенскими продуктами. Смотритъ Провъ Силантьичъ, а между возами ходитъ неизвѣстный человѣкъ съ какой-то деревянной шкатулкой черезъ плечо на широкомъ ремнѣ. Всего удивительнѣе было то, что, несмотря на страшный морозъ, неизвѣстный человѣкъ ходилъ въ одномъ осеннемъ рваномъ пальто, а голову пресмѣшно замоталъ для тепла какимъ-то бабьимъ платкомъ.

Провъ Силантьичъ привыкъ считать себя начальствомъ и довольно строго спросилъ:

— Что есть за человѣкъ и въ какомъ смыслѣ шатаешься между возами?

— А я только сегодня пріѣхалъ... совсѣмъ только сегодня... Ей-Богу!— отвѣтилъ неизвѣстный человѣкъ, поскакивая съ ноги на ногу, чтобы согрѣться.— Уфъ, какой страшный холодъ...

— Мнѣ все это единственно, пріѣхалъ ты или пришелъ, а можетъ-быть, ты воръ?..

— О, храни Боже... И что только скажетъ купецъ, такой славный русскій купецъ!..

— Паспортъ имѣешь?

— О, настоящій паспортъ... и марки и печать настоящія...

Провъ Силантьичъ посмотрѣлъ на незнакомца, поднялъ брови и спросилъ:

— А въ какомъ смыслѣ ты между возами шляешься?

— О, я же товаръ продаю мужичкамъ... У меня всякій товаръ, какого кто хочетъ. Я дешевле всѣхъ на свѣтѣ продаю... такъ дешево, что даже и придумать дешевле невозможно, потомъ я мѣдныхъ дѣлъ мастеръ...

— Можетъ, и фальшивую монету умѣешь приготовлять?

— О, какъ это можно... Пхе-е! У васъ есть самоваръ—я его сдѣлаю какъ новый, кастрюли починиваемъ, лампы, часы, старое платье покупаемъ, играемъ музыку на вечерахъ... Я все могу, и вы будете довольны и всегда скажете: вотъ молодецъ.

— Такъ, такъ, вижу, что кругомъ молодецъ; пойдемъ-ка въ участокъ, тамъ разберутъ...

при словѣ „участокъ“ незнакомецъ какъ-то весь съежился и даже сдѣлалъ движеніе, какъ человѣкъ, который хочетъ убѣжать. Но Провъ Силантьичъ уже держалъ его за воротъ.

— А, вотъ ты кто таковъ... Нечего сказать, хорошъ купецъ. Въ участокъ! Тамъ, братъ, все разберутъ.

Полицейское управленіе было въ двухъ шагахъ, сейчасъ подъ пожарной каланчой. Неизвѣстный человѣкъ при входѣ сдѣлалъ еще попытку скрыться, но Провъ Силантьичъ его удержалъ.

— Иди, иди, другъ, тамъ все разберутъ.

Въ участкѣ сидѣлъ околоточный Иванъ Митричъ, провѣрявшій ночную добычу. Двое подобраны на улицѣ въ безчувственномъ состояніи, поймали вора, сломана у кладбищенской церкви кружка, у извозчика угнали лошадь и т. д.

— Подожди, не до тебя,—ворчалъ Иванъ Митричъ, когда Иковъ предъявилъ неизвѣстнаго подозрительнаго человѣка, который успѣлъ сдернуть съ головы платокъ и предсталъ во всей красотѣ. Это былъ тщедушный старикъ-еврей, беззубый, съ сильной просѣдью и слезившимися глазами. Большія уши торчали у него, какъ у летучей мыши.

— Паспортъ...—коротко проговорилъ Иванъ Митричъ.

Читая заявленный листъ, онъ нѣсколько разъ осматривалъ предъявителя съ ногъ до головы и, очевидно, свѣрялъ примѣты.

— Что же, паспортъ того... правильный. Исай Левдикъ?

— Онъ самый, ваше высокое благородіе...

— А ты хорошенько посмотри паспортъ-то,—настаивалъ Провъ Силантьичъ.—Можетъ, воръ...

— Ну, этого въ паспортахъ не пишутъ. Онъ, вонъ, мастеръ...

— О, я все могу!—увѣрялъ Левдикъ.—Вы только скажите: „почини часы, Исайка!“. Или: „Исайка, достань мнѣ такое... чего и не придумать“.

— Вотъ видишь?—засмѣялся околоточный, обращаясь къ сомнѣвавшемуся Прову Силантьичу.—Отъ скуки на всѣ руки... Какъ ты сюда-то попалъ, орелъ?

— А я въ Томскѣ съ губернаторомъ поссорился. Онъ мнѣ и сказалъ: „Убирайся вонъ“. Да. Только и всего. У! какой строгій губернаторъ... „Я, говоритъ, покажу тебѣ черту осѣдлости. Вонъ!“... Серьезно сказалъ.

Въ Пропадинскѣ, крошечномъ уѣздномъ зауральскомъ городишкѣ, до сихъ поръ не было ни одного еврея, и это окончательно смутило благочестиваго Прова Силантьича. Были нѣмцы, были татары, былъ даже ссыльный черкесъ, а отъ евреевъ Богъ помиловалъ. И паспортъ правильный—значитъ, самъ поддѣлалъ. Навѣрно, фальшивый монетчикъ.

— Ничего нельзя подѣлать,—говорилъ Иванъ Митричъ, когда Левдикъ ушелъ.

— Зачѣмъ же онъ упирался и хотѣлъ бѣжать, если его дѣло правое? Честный человѣкъ не побѣжитъ...

— А кто его знаетъ. Вѣдь ты не былъ у него на умѣ. А паспортъ правильный. Ремесленникъ, значитъ, можетъ жить.

II.

Въ Пропадинскѣ было всего двѣ тысячи жителей, которые жили какъ-то такъ, неизвѣстно чѣмъ. Купцы сидѣли въ лавкахъ, чиновники служили, мѣщане исполняли все остальное, чего требовалъ несложный обиходъ городишки. Оживлялся городъ только зимой, когда начиналась торговля хлѣбомъ. Въ общемъ жили не дурно, а такъ себѣ—ни шатко, ни валко, ни на сторону.

Такое ничтожное событіе, какъ появленіе перваго еврея, сдѣлалось чуть не злобой дня.

А Левдикъ уже устроился на окраинѣ города, гдѣ появилась вывѣска: „Мастеръ мѣдныхъ дѣлъ“. Работы на первое время не было, и онъ каждое утро, какъ на службу, отправлялся на рынокъ. Подойдетъ къ возу съ хлѣбомъ, спроситъ цѣну и покачаетъ головой.

— Охъ, и зачѣмъ только бѣдному человѣку нужно хлѣбъ ѣсть.

Черезъ нѣсколько дней онъ зналъ уже цѣны рѣшительно на все и что-то такое прикидывалъ въ умѣ. Всякая торговля влекла его къ себѣ неудержимо, и онъ по цѣлымъ часамъ стоялъ, прислушиваясь, какъ городскіе прасолы сбиваютъ цѣны у мужиковъ.

Понялъ Левдикъ, обошелъ всѣ лавки и магазины, гдѣ на него смотрѣли, какъ на рѣдкаго и смѣшного звѣря.

— Ну, чего стоишь?—накидывались приказчики.

— А такъ... Можетъ-быть, вамъ какую-нибудь мѣдную работу нужно. А то я и на скрипкѣ играю...

Купцы только качали головами. Вотъ мастеръ, нечего сказать. Отъ скуки они выкидывали надъ нимъ разныя веселыя штуки и по пути дали кличку: Монетка. Исайка-Монетка—такъ эта кличка и пошла гулять.

Съ легкой руки Икова всѣ почему-то подозрѣвали Левдика въ изготовленіи фальшивой монеты.

Доказательствъ и уликъ не было, но это еще ничего не значило—не сдѣлалъ, такъ сдѣлаетъ. Потомъ всѣхъ занимала „религія“ Левдика. Ни господскихъ ни богородичныхъ праздниковъ не признаетъ, ни празднествъ,—однимъ словомъ, хуже всякаго татарина.

— Татаринъ вотъ какъ знаетъ своего Аллу,—разсуждали купцы.—А ты, Монетка, ни два ни полтора.

Особенно донимали Левдика по субботамъ. Нарочно подошлютъ молодцовъ съ какой-нибудь работой и мѣшаютъ справлять шабашъ.

Въ субботу Левдикъ точно сходилъ съ ума и ничего не понималъ. Сидитъ, бормочетъ и въ руки ничего не возьметъ. Купцы, давшіе работу, нарочно посылали деньги въ субботу—возьметъ онъ или не возьметъ. Левдикъ не бралъ, что до извѣстной степени подняло его авторитетъ.

— Значитъ, тоже свой законъ держитъ. Сколько разовъ прямо въ руки ему деньги совали—ни-ни, не беретъ. А ужъ, кажется, на что всѣ они жадные до денегъ.

Благодаря своей неизсякаемой энергіи и терпѣнію, Левдикъ устроился скоро. И работу разыскалъ, и на скрипкѣ игралъ на Святкахъ, и порученія всевозможныя исполнялъ, и умѣлъ все сдѣлать дешевле другихъ. Околоточный Иванъ Митричъ нарочно посылалъ за нимъ, когда что-нибудь было нужно къ спѣху.

— Ты, Монетка, смотри—одна нога здѣсь, другая тамъ. Понимаешь?

— Я?! Да я изъ кожи своей вылѣзу для высокаго благородія. На что жиду кожа, а было бы начальство довольно.

— Ладно, ладно... Только смотри у меня, насчетъ фальшивой монеты—не потерплю.

Въ теченіе полугода всѣ какъ-то привыкли къ Монеткѣ, точно онъ всегда жилъ въ Пропадинскѣ. Исключеніе составлялъ одинъ Иковъ, благочестивый и богобоязненный старичокъ, который всегда отплевывался, когда Монетка проходилъ мимо.

— Христа продалъ, сквернавецъ!—ворчалъ старикъ.

Къ Левдику даже его доброхоты относились какъ-то не по-человѣчески. Ну что ему сдѣлается, еврею. Вонъ цѣлую зиму проходилъ безъ шубы. Другой бы подохъ, а Монетка только подпрыгиваетъ да ожигается. Какъ жилъ этотъ Левдикъ, что у него было на умѣ—никого, конечно, не интересовало. Всѣ знали только одно: ужъ жидъ устроится само собой. Вотъ наши мастера-мѣдники пьянствуютъ и чужія вещи пропиваютъ, которыя отдаютъ имъ въ починку, да еще походи за такимъ мастеромъ да покланяйся, а Монетка самъ придетъ за работой и самъ принесетъ ее въ срокъ. И работаетъ чисто, нечего похаять.

— Что же, извѣстно, жидъ...—объясняли всѣ.—Водка ему не полагается, вотъ главная причина. Что ему не жить...

Общее удивленіе достигло послѣдняго предѣла, когда весной Монетка пришелъ на рынокъ въ сопровожденіи молодого еврейчика съ красными припухшими вѣками и торчавшими ушами.

— Это еще что за звѣрь?—изумлялись купцы.

— А сынъ...

— Чей сынъ?

— А мой... Я его самъ родилъ, значитъ—мой.

— По ушамъ-то какъ разъ твой будетъ. Ну и Монетка... Ловко.

Кажется, ничего не было удивительнаго въ томъ, что у человѣка есть сынъ, но всѣ считали нужнымъ удивляться. Старичокъ Иковъ даже обидѣлся.

— Вотъ вамъ и второй фальшивый монетчикъ. Да... Вотъ какъ посматриваетъ.

— Янкель у меня и на музыкѣ играетъ и по портновской части,—объяснялъ счастливый Монетка.—У, какой способный дитя...

Изъ Томска съ первымъ пароходомъ пріѣхала къ Левдику вся семья, состоявшая изъ восьми душъ—жена, три сына и четыре дочери. Они пріѣхали ужъ на все готовое и размѣстились всѣ въ одной комнатѣ. Купцы только теперь догадались, что Монетка не только плутъ, но и богатъ. Вѣдь такую семьищу надо прокормить. По сапожкамъ купить, такъ восемь паръ нужно, а это кругленькую копеечку стоитъ. Когда приставали къ Левдику, онъ въ какомъ-то умиленіи закрывалъ глаза и точно оправдывался.

— Будетъ день—будетъ хлѣбъ. О, у меня жена такая умная... Она тоже все умѣетъ.

— И тоже съ губернаторомъ ссорилась?

— Нѣтъ, губернаторъ меня гонялъ... „Я, говоритъ, серьезный человѣкъ, а ты—жидъ“. Онъ не зналъ, что мы всѣ голодомъ должны были помереть, если бы Янкель не игралъ на музыкѣ лучше меня...

III.

Жена Левдика, дѣйствительно, оказалась умной. Сначала она никѣмъ не проявляла себя, а потомъ начала ходить по домамъ и скупать старое, поношенное платье. Дѣло велось потихоньку, по-семейному. Чиновницы были даже рады этой статьѣ дохода, потому что мало ли въ домѣ наберется разной рвани, а рубль деньги. Купчихи и тѣ не брезговали и охотно подъ сурдинку сбывали разный хламъ.

— Куда ты такое барахло скупаешь, Лія?—удивлялись продавщицы.—На улицу выбросить, такъ никто не подниметъ...

— У насъ уйдетъ,—объясняла Лія.—И даже очень уйдетъ...

Подъ вывѣской „Мѣдныхъ дѣлъ мастеръ“ открылась настоящая еврейская мастерская. Тутъ всѣмъ было достаточно работы. Янкель былъ здоро-

шикомъ, а остальные шили. Работа начиналась съ ранняго утра и кончалась поздним вечеромъ.

— И хитрые какіе, что̀ придумали,—удивлялись сосѣди.—Какъ ни поглядишь—все работаютъ. Прямо сказать: жадные.

Лучшія вещи подновлялись, а потомъ куда-то отправлялись. Самыя плохія шли на шапки и фуражки. Этотъ послѣдній товаръ имѣлъ хорошій сбытъ, особенно среди крестьянъ. Городскіе торговцы шапками ходили даже жаловаться на Левдика полицеймейстеру, чтобы унялъ разбойниковъ.

— Продавайте и вы дешевле—вотъ и все,—посовѣтовалъ полицеймейстеръ.

— Никакъ невозможно, вашескородіе. Самимъ дороже стоитъ, а они не иначе, какъ изъ краденаго дѣлаютъ...

— Вотъ и мѣдники тоже приходили жаловаться и тоже говорятъ, что Монетка изъ краденой мѣди работаетъ. А забыли поговорку: не пойманъ—не воръ...

Такъ и ушли ни съ чѣмъ.

Обозленные лавочники теперь не давали Левдику прохода.

— Эй, ты, Монетка, ты это что̀ же дѣлаешь?

— Какъ что̀? Работаю...—удивлялся Левдикъ.

— Какая же это работа!.. Ты такъ по міру пустишь со своей-то работой. Въ колья васъ всѣхъ надо, работниковъ... Всѣ цѣны на товаръ сбили.

Больше всего возмущало то, что еврейская семья ютилась въ одной комнатѣ, выгадывая на квартирной платѣ, а потомъ ѣли они Богъ знаетъ что̀—одинъ хлѣбъ съ лукомъ. Этакъ и всякій можетъ разбогатѣть. Да еще работаютъ по воскресеньямъ, когда добрые люди Богу молятся.

— Мы въ субботу не работаемъ,—оправдывался Левдикъ

— Это дѣло ваше, а вотъ воскресенье...

Даже солидные купцы начали коситься на Монетку. Что̀ же это въ самомъ дѣлѣ: сегодня мѣдныхъ дѣлъ мастеръ, завтра музыкантъ, послѣзавтра портной, а тамъ и еще что-нибудь объяснится. Недаромъ Монетка шляется по базару да всѣ цѣны узнаетъ. Того гляди къ хлѣбному дѣлу пристроится или кабакъ откроетъ. Отъ такого человѣка всего можно ожидать. Конечно, работаютъ, живутъ тѣсно, мрутъ съ голода, а все-таки кто ихъ знаетъ, что̀ у нихъ на умѣ.

Больше всѣхъ волновался Иковъ и повторялъ:

— Я говорилъ, что дѣло не чисто! Да... Вотъ оно по-моему и выходитъ.

Время шло. Къ еврейской семьѣ въ теченіе года успѣли привыкнуть, по крайней мѣрѣ никто не удивлялся, когда встрѣчали вѣчно куда-нибудь торопившагося Левдика. Что̀ же, на то онъ жидъ, чтобы торопиться. Такъ ужъ ему назначено. Но тутъ случилось нѣчто такое, что̀ сдѣлало Левдика опять предметомъ общаго вниманія. Дѣло было весной, когда въ Пропадинскѣ разыгралась эпидемія скарлатины и дифтерита. Лія за безцѣнокъ купила у какой-то чиновницы все платье послѣ умершаго отъ дифтерита ребенка, принесла его домой и заразила всю семью. Въ одну недѣлю умерло три маленькихъ Левдика, а еще черезъ недѣлю и сама Лія. Ни чиновница, продававшая зараженное платье, ни сама Лія, покупавшая его, конечно, не имѣли никакого понятія о томъ, что̀ дѣлаютъ.

— Все равно, ежели бы не у меня, такъ у кого-нибудь другого она купила бы платье послѣ больного,—оправдывалась чиновница, когда докторъ ей объяснилъ, въ чемъ дѣло.—Да и то сказать, кто бы подумалъ, что евреямъ что-нибудь сдѣлается отъ такихъ пустяковъ.

Докторъ только развелъ руками. Извольте объяснить что-нибудь обыва-

телямъ Пропадинска, которые привыкли, чтобы ихъ дѣти умирали, какъ мухи, весной отъ дифтерита и скарлатины, горлышкомъ, какъ говорили, лѣтомъ— отъ дизентеріи, а зимой—отъ цѣлой коллекціи тифовъ. Святая наука въ непроходимыхъ дебряхъ пропадинскаго невѣжества едва теплилась замиравшимъ болотнымъ огонькомъ.

Левдикъ не показывался на рынкѣ цѣлый мѣсяцъ. Купцы уже начинали забывать о его существованіи, какъ въ одно прекрасное утро онъ появился. Его не встрѣтили обычными шутками, а всѣ ждали, что̀ онъ самъ будетъ дѣлать. Прежде всего удивило всѣхъ то, что лицо у Левдика было совсѣмъ веселое и онъ даже улыбался.

— Ну что̀, Монетка, какъ поживаешь?

— Ничего-поживаю... слава Богу.

— Жену-то, поди, тоже жаль?

— Жену? Какую жену?

— А дѣтокъ тоже жаль?

— Какихъ дѣтокъ?—удивился левдикъ.—У меня есть скрипка... Я музыкантъ мѣдныхъ дѣлъ... Веселые Исайка много играетъ... танцы играю... да. Я играю, а другіе танцуютъ. „Исайка, играй шибче!“. Весело играетъ...

У бѣднаго Левдика оказалось тихое помѣшательство. Онъ точно забылъ все свое прошлое, а отъ прежнихъ привычекъ осталась одна—каждое утро ходить на рынокъ.

— Вѣдь вотъ, поди жъ ты, тоже чувствуетъ,—удивлялся Провъ Силантьичъ, когда мимо него проходилъ сумасшедшій Монетка.

1897.

МУММА.

Разсказъ.

I.

Мумма волновалась уже нѣсколько дней, волновалась, по обыкновенію, не за себя, а за другихъ. Муммѣ Богъ далъ доброе сердце, которое служило источникомъ безконечныхъ страданій. Глядя на ея круглое, румяное лицо, никто бы не подумалъ, сколько эта женщина перенесла.

Да, Мумма волновалась...

„Ахъ, ужъ это мнѣ десятое сентября...“—повторяла она про себя и угнетенно вздыхала.

Особенно грустно было то, что прежде это былъ такой веселый день, а потомъ съ каждымъ годомъ молодое веселье таяло, смѣняясь нараставшей тоской.

Сентябрьскій денекъ выдался кисленькій, съ мелкимъ назойливымъ дождемъ. Окна отпотѣли. Въ Петербургѣ такіе дни производятъ особенно унылое впечатлѣніе, точно въ окна на васъ кто-то смотритъ заплаканными глазами.

Непріятности начались съ утра. Мумма поднялась рано, когда всѣ еще спали. Ей было за пятьдесятъ; когда-то бѣлокурые волосы проросли сѣдиной, старческое ожирѣніе скрыло всякую фигуру, что̀ при небольшомъ ростѣ выходило очень некрасиво, но у нея оставались живыми каріе большіе глаза и почти молодая бодрость движеній. Она коротко стригла волосы, что̀ ее молодило. Мумма до сихъ поръ не знала устали. Кстати, ее звали Капитолиной Евграфовной, а Муммой называли дѣти.

Непріятности подготовлялись съ вечера. Во-первыхъ, пріѣхалъ изъ провинціи старшій сынъ Вадимъ. Боже мой, сколько заботъ, труда и надеждъ было вложено въ этого человѣка, а онъ не только не оправдалъ ихъ, а остался жалкимъ неудачникомъ. Кажется, ужъ всѣ системы воспитанія были примѣнены, всѣ послѣднія слова педагогіи были использованы, и это только для того, чтобы получился „человѣкъ двадцатаго числа“, кое-какъ пристроившійся въ акцизъ. Какъ всѣ неудачники, онъ женился очень рано, студентомъ, а потомъ жена его бросила, и онъ привезъ двухъ своихъ дѣтей, Олега и Игоря, къ матери.

— Что̀ я съ ними буду дѣлать, Мумма,—говорилъ онъ.—Я цѣлый день на службѣ, матери нѣтъ, а ты по натурѣ насѣдка... Вотъ тебѣ благодарный матеріалъ.

Мы уже сказали, что Мумма была добра, и приняла на воспитаніе вну-

чать безъ слова, даже со слезами на глазахъ. Она все-таки безумно любила своего неудачнаго Вадима, въ которомъ видѣла свою молодость. Притомъ мальчики уже были въ школьномъ возрастѣ, и въ Муммѣ проснулось желаніе воспитывать. О, она цѣлую жизнь занималась воспитаніемъ, и вы ее навѣрно встрѣчали на всѣхъ собраніяхъ разныхъ педагогическихъ кружковъ, на лекціяхъ, выставкахъ, актахъ и бесѣдахъ. Мумма глубоко вѣрила въ то, что только при помощи воспитанія можно пополнить всѣ пробѣлы и недочеты человѣческой природы и создать ту новую породу людей, о которой мечтала еще великая Екатерина.

Семья Туразовыхъ состояла изъ двухъ сыновей и двухъ дочерей. О старшемъ, Вадимѣ, мы уже говорили, а младшій, Ярославъ, еще учился въ университетѣ. Старшая дочь, извѣстная въ семьѣ подъ кличкой „Ниника-буржуйка", была давно замужемъ за биржевымъ маклеромъ, который презиралъ семью жены за ея интеллигентность, потому что самъ могъ думать только о деньгахъ. Мумму возмущало до глубины души, что ея дочь можетъ любить такого человѣка и еще больше—быть счастливой. Младшая дочь Лія находилась въ критическомъ возрастѣ „дѣвушки на взлетѣ", какъ дразнили ее братья, слѣдившіе за каждымъ ея шагомъ, который велъ къ ловлѣ жениха. Это была миловидная дѣвушка, кончившая гимназію и побывавшая на всевозможныхъ курсахъ. Она отличалась какой-то странной апатіей и почти не интересовалась ничѣмъ, что̀ дѣлалось кругомъ. Это очень огорчало Мумму. Много ли хорошихъ, выигрышныхъ лѣтъ у каждой дѣвушки, и проспать ихъ безсовѣстнымъ образомъ... Мумма невольно вспоминала свою бурную, веселую молодость, когда каждый день являлся цѣлымъ капиталомъ.

Когда Вадимъ пріѣзжалъ въ гости, онъ разыгрывалъ какого-то хозяина. Все критиковалъ, дѣлалъ недовольное лицо и вообще, какъ говорится, фыркалъ. Впрочемъ, онъ это дѣлалъ только при матери, а при отцѣ сдерживался. Сегодня онъ всталъ поздно и долго ворчалъ на горничную, а потомъ вышелъ въ столовую съ такимъ видомъ, точно его только-что вытащили изъ воды.

— Поздравляю...—лѣниво протянулъ онъ, здороваясь съ матерью.—Сегодня у тебя, кажется, особенно отличный день?

— Именно?

— Мыслящему реалисту исполнилось шестьдесятъ лѣтъ... Это немножко много для серьезнаго человѣка.

— Именно?

— Какъ это тебѣ сказать, Мумма... Въ шестьдесятъ лѣтъ, какъ говорятъ вѣжливо китайцы, порядочные люди уже раскланиваются съ здѣшнимъ міромъ для будущаго блаженства.

— Негодяй...

— Нѣтъ, серьезно... Потомъ, Мумма, я считаю, что вы просто живете на мой счетъ. Отецъ ничего не зарабатываетъ, и вы преспокойно проѣдаете мое наслѣдство. Вѣдь наслѣдниковъ насъ двое: я и Ярославъ. Вотъ и посчитай сама, что̀ намъ сто̀итъ содержать васъ двоихъ. Мыслящій реалистъ не привыкъ ни въ чемъ себѣ отказывать...

Мумма смотрѣла расширенными глазами на своего любимца и не находила словъ для отвѣта. Господи, что̀ же это такое, наконецъ? Бываютъ границы и шуткамъ... Мыслящимъ реалистомъ въ семьѣ называли отца, Андрея Гаврилыча, какъ стараго шестидесятника, и находили это очень смѣшнымъ. У бѣдной Муммы появились даже слезы на глазахъ.

Вадимъ продолжалъ первничать и безжалостно изводилъ мать. По наружности онъ не походилъ ни на мать ни на отца,—длинный, вихлястый

весь какой-то сѣрый. Его вытянутое лицо, едва тронутое чахлой растительностью, всегда имѣло раздражительное выраженіе.

— Вотъ что, Вадимъ,—заговорила Мумма, собравшись съ силами.—Я не понимаю, зачѣмъ ты пріѣхалъ?

— Какъ зачѣмъ? Выправлять тятенькины именины... Вѣдь у васъ все на купеческую руку, хотя вы и считаете себя интеллигентами, а по купечеству должно уважать родителевъ. Да и посмотрѣть на мыслящихъ реалистовъ интересно...

— Немного ужъ ихъ осталось, и ты напрасно смѣешься, Вадимъ... Да, каждый годъ собирается все меньше и меньше. Ты не можешь себѣ представить, какъ это тяжело и грустно, когда убываютъ такіе дорогіе и близкіе люди, а остающіеся въ живыхъ ждутъ своей очереди. Прошлой зимой умеръ Егоровъ... Помнишь, такой высокій, худой?

— Что-то такое помню...

— Ахъ, какой былъ человѣкъ!.. Какая чудная, свѣтлая душа!.. Потомъ весной почти въ одно время умерли Погодаевъ и Никоновъ. Лѣтомъ умерла Елена Ивановна Грекова, съ которой мы вмѣстѣ жили въ Вилюйскѣ... Ракитинъ разбитъ параличомъ, у Бурцева грудная жаба... Какіе все люди!..

— Безсмертіе, Мумма, не обязательно—это во-первыхъ, а во-вторыхъ, удѣлъ всякой рухляди—уничтожаться въ свое время.

— Ты меня оскорбляешь, Вадимъ... Ты самъ отецъ и долженъ понимать, какъ тяжело переносить оскорбленія отъ дѣтей.

— Это ужъ законъ природы: черная неблагодарность потомковъ...

Игорь и Олегъ воспользовались пріѣздомъ отца и дѣдушкиными именинами и не пошли въ гимназію. Они проспали чуть не до самаго завтрака, потомъ принялись шалить и кончили ожесточенной дракой, потребовавшей вмѣшательства бабушки.

— Дѣти, какъ вамъ не стыдно?!—возмущалась Мумма, появляясь въ дверяхъ дѣтской въ позѣ римскаго трибуна.—Вы забываете, что вы ужъ большіе...

— Мумма, я тебѣ стихи сегодня напишу,—говорилъ Олегъ, мальчикъ лѣтъ пятнадцати, занимавшій въ семьѣ постъ поэта.

— Хорошо, хорошо... Одѣвайтесь и не дурачьтесь. Стыдно!

Студентъ Ярославъ еще спалъ въ своей комнатѣ, потому что вернулся домой только въ пять часовъ.

— Мумма, съ именинникомъ!—кричали сорванцы, когда бабушка ушла въ коридоръ.

II.

„Мыслящій реалистъ“ сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ, въ креслѣ съ колесами. У него былъ ревматизмъ сочлененій, и двигаться онъ могъ съ величайшимъ трудомъ. По наружности это былъ почти цвѣтущій мужчина, несмотря на свои шестьдесятъ лѣтъ. Плотный, широкій въ плечахъ, съ типичнымъ русскимъ лицомъ. Длинные сѣдые волосы придавали ему профессорскій видъ.

Стѣны кабинета сплошь были заняты полками съ книгами. Въ простѣнкахъ между ними висѣли портреты знаменитостей шестидесятыхъ годовъ. Громадный письменный столъ занималъ почти половину комнаты и былъ заваленъ тѣмъ ненужнымъ хламомъ, какой набирается только на письменныхъ столахъ.

Разговоръ въ столовой велся настолько громко, что „мыслящій реалистъ“

могъ кое-что слышать, а объ остальномъ догадываться. Онъ только пожималъ плечами и думалъ вслухъ.

— Вотъ негодяй... а?

Ему всегда было обидно, когда дѣти начинали вышучивать Мумму, а теперь, кромѣ обиды, явилось еще сожалѣніе. Въ домѣ давно установился слишкомъ свободный тонъ, благодаря убѣжденію Муммы, что нельзя стѣснять дѣтскую свободу. Теперь приходилось переносить результаты такого воспитанія. Положимъ, въ присутствіи отца дѣти сдерживались, но было тѣмъ хуже, что они такъ много себѣ позволяли съ матерью. Много разъ „мыслящій реалистъ“ хотѣлъ прекратить всѣ эти выходки, но, какъ настоящій русскій человѣкъ, ограничивался мелкими вспышками, а потомъ себя же чувствовалъ виноватымъ по нѣскольку дней. Возмущенный поведеніемъ Вадима, Андрей Гаврилычъ покатился на своемъ креслѣ въ столовую съ твердымъ намѣреніемъ раздѣлать негодяя на всѣ корки, но по дорогѣ вспомнилъ, что онъ сегодня именинникъ и что въ такіе дни все-таки неудобно поднимать семейныя исторіи. Въ концѣ концовъ всѣхъ больше огорчилась бы та же Мумма, душа не чаявшая въ своемъ первенцѣ.

„А ну его къ чорту, негодяя“,—рѣшилъ именинникъ, вкатываясь въ столовую.

Къ завтраку собралась вся семья. Ярославъ очень походилъ фигурой и наружностью на отца, хотя и старался подражать старшему брату по части недовольства. Вышла изъ своей комнаты Лія, немного заспанная и апатичная. Прибѣжали Олегъ и Игорь, счастливые тѣмъ, что не пошли въ свою гимназію. Послѣдней пріѣхала Нинка-буржуйка, высокая и костлявая дама, походившая на брата Вадима.

— Ну, вотъ мы и всѣ собрались, дѣти,—говорила Мумма, чтобы сказать что-нибудь.

— А Анатолій Денисовичъ?—перебилъ ее Олегъ, поглядывая на покраснѣвшую Лію.

— Онъ днемъ занятъ и пріѣдетъ только вечеромъ,—коротко объяснила Мумма, сдерживая волненіе.—Я говорю про свою семью, а онъ не членъ нашей семьи.

Всѣ переглядывались, сдерживая улыбки, и Андрей Гаврилычъ догадался, что отъ него что-то скрываютъ.

— Мнѣ этотъ вашъ Анатолій Денисовичъ совсѣмъ не нравится,—брезгливо замѣтила Нинка-буржуйка.—Онъ и на мужчину не походитъ... Такъ, слизнякъ какой-то.

— Ну, ужъ это ты того: „ахъ, оставьте!“—авторитетно проговорилъ Ярославъ.

— Анатолій Денисычъ—геній!—съ азартомъ вмѣшался Олегъ и даже покраснѣлъ отъ волненія.—Да, геній...

— Да?—иронически удивилась Нинка-буржуйка.—Скажите, пожалуйста, а я-то, глупая, и не замѣчала... Не могу не отдать ему справедливости, что онъ удивительно искусно скрываетъ свою геніальность.

Андрей Гаврилычъ не вмѣшивался въ споръ и только улыбался. Мумма замѣтила, что Лія смотритъ на отца и тоже начинаетъ улыбаться. Послѣднее задѣло ее за живое.

— Анатолій Денисычъ пишетъ громадное сочиненіе...—вызывающе проговорила она, глядя на мужа.—Да-съ, сочиненіе.

— А можно узнать, о чемъ онъ именно пишетъ?—спросилъ Андрей Гаврилычъ, продолжая улыбаться.

— Онъ... онъ не изъ того сорта людей, которые, какъ курица, высидятъ какого нибудь болтуна и будутъ кричать на всю улицу.

— Онъ намъ читалъ нѣкоторые отрывки, Мумма,—поддержалъ мать Ярославъ.—Дѣйствительно, геніально... Но, къ сожалѣнію, мы не имѣемъ права прежде времени раскрывать основныя идеи его труда.

— Скрытый геній, какъ бываетъ скрытая теплота,—съязвила Нинка-буржуйка.—Съ этимъ ничего не подѣлаешь... Остается вѣра, какъ во всѣ чудеса.

— И даже очень глупо!—вспылилъ Ярославъ.—Анатолій Денисычъ не виноватъ, что есть такіе люди, то-есть женщины, которыя... которыя...

— Я договорю за тебя,—перебила Нинка-буржуйка,—„которыя глупы, какъ пробка". Да?

— Мадамъ, не смѣю съ вами спорить...

— Господа, довольно,—вступилась Мумма.—Вы начинаете говорить другъ другу дерзости, а это плохое доказательство въ спорахъ.

Несмотря на ея старанія потушить огонь, непріятный разговоръ о геніи поднимался съ новой силой нѣсколько разъ, и зачинщицей опять являлась Нинка-буржуйка, видимо старавшаяся угодить отцу. Одинъ Вадимъ мрачно отмалчивался. Отецъ не обращалъ на него вниманія, что̀ опять волновало Мумму. Все-таки человѣкъ пріѣхалъ поздравить отца, а онъ даже не хочетъ его замѣчать.

Споръ закончился неожиданнымъ заявленіемъ Нинки-буржуйки:

— Всѣ вы, господа, непротивлёныши... Не правда ли, папа? А этотъ Анатолій Денисычъ является вождемъ этого несчастнаго стада.

— Нина, довольно,—строго остановила ее Мумма.—Нужно уважать чужія убѣжденія... да. А критиковать другихъ можно только тогда, если ты въ состояніи стать на ихъ точку зрѣнія. Да.

Мнѣ жаль папу, которому приходится выслушивать всякую декадентскую галиматью,—не унималась Нинка-буржуйка.—Больничный бредъ ницшеніанства, проникновенное бормотанье пьянаго босячества, политико-экономическій мистицизмъ, безумный эгоизмъ въ основѣ переоцѣнки всѣхъ цѣнностей, новѣйшая эстетика при закрытыхъ дверяхъ, горячечныя галлюцинаціи декадентства...

— Нинка, заткни фонтанъ своего краснорѣчія!—накинулся на нее Ярославъ.—Это скучно даже для нашего мыслящаго реалиста...

— Меня ты можешь оставить въ покоѣ,—съ улыбкой замѣтилъ Андрей Гаврилычъ.—Я уже давно привыкъ ко всему и все-таки навсегда останусь мыслящимъ реалистомъ... Я горжусь послѣднимъ.

— Господа, вы забываете, что папа сегодня именинникъ,—проговорилъ Вадимъ и со скучающимъ видомъ зѣвнулъ.—Не слѣдуетъ огорчать человѣка въ такія торжественныя минуты...

— Вадимъ?!..—взмолилась Мумма, ожидая семейной сцены.

Но Андрей Гаврилычъ только посмотрѣлъ на нее грустными глазами и, ничего не отвѣтивъ, покатился изъ столовой.

Лія демонстративно поднялась и ушла въ свою комнату. Чтобы сорвать сердце, Мумма накинулась на Нинку-буржуйку.

— Это все ты! Да, ты, ты! Я могу только удивляться, зачѣмъ ты пріѣхала къ намъ?

— Мумма, ты меня гонишь?

Всѣ разомъ накинулись на Нинку-буржуйку, но она рѣшила дорого продать свою жизнь и отчаянно защищалась.

— Вы—непротивлёныши, декаденты, выродки... да!..

Туразовскій домъ являлся чѣмъ-то въ родѣ караванъ-сарая для всевозможныхъ модныхъ теченій. Это объяснялось живымъ, увлекающимся характеромъ Муммы, которая не могла слышать равнодушно о чемъ-нибудь новомъ. Послѣдовательно, какъ по ступенькамъ, шла черезъ позитивизмъ, утилитаріанизмъ, народничество, марксизмъ, пока окончательно не застряла въ непроходимыхъ дебряхъ ницшеніанства, толстовщины, декадентства и босяцкой проникновенной философіи. Какъ это все укладывалось у нея въ головѣ—не могъ объяснить ни одинъ философъ. Но это было такъ. Дѣло въ томъ, что Мумма привязывала каждую теорію къ какому-нибудь живому лицу, и почему-то случалось всегда такъ, что носителемъ новой идеи являлся мужчина. Женщинъ-философовъ, какъ извѣстно, до сихъ поръ еще не было, и Муммѣ, несмотря на то, что она была ярая феминистка, поневолѣ приходилось вѣрить поработителямъ женщинъ—мужчинамъ, какъ она вѣрила больше врачамъ-мужчинамъ.

Милая Мумма, какъ она страдала, перелѣзая съ одной ступеньки на другую. Происходило что-то въ родѣ переѣзда на новую квартиру, причемъ старая мебель ломалась, являлась смутная тоска о насиженномъ углѣ и неопредѣленный страхъ предъ будущимъ. Но исторія требуетъ жертвъ, какъ увѣряла себя Мумма, и приспособляемость съ годами утратила свою эластичность.

Послѣдней стадіей въ ряду этихъ метаморфозъ явился Анатолій Денисычъ Бурнашевъ. Съ нимъ въ туразовскій домъ влилась новая струя, которую трудно было даже назвать. Это была переоцѣнка всѣхъ цѣнностей на религіозно-мистической подкладкѣ. Въ домѣ какъ-то вдругъ водворились давно позабытыя слова. Мумма растерялась, какъ пойманный врасплохъ школьникъ, и даже испугалась. Она многаго не понимала и только судила по молодежи, что это нахлынувшее новое представляетъ собой силу и, какъ всякая сила, имѣетъ право на существованіе. Мумма не спорила и не соглашалась, а только слушала, что̀ говорятъ между собой „потомки“. Самъ по себѣ Бурнашевъ ничего особеннаго не представлялъ, хотя былъ солидно образованный человѣкъ съ очень выдержаннымъ характеромъ. У него было состояніе, и онъ жилъ холостякомъ безъ занятій. Мумму поражало больше всего то, что апатичная Лія замѣтно интересовалась имъ, какъ и онъ въ свою очередь обращалъ на нее особенное вниманіе.

„Что̀ же, все бываетъ на свѣтѣ...—по-матерински думала Мумма.— Человѣкъ серьезный, обезпеченный...“

Накапунѣ отцовскихъ именинъ Лія неожиданно заявила матери:

— Мумма, Анатолій Денисычъ сдѣлаетъ мнѣ предложеніе. Онъ мнѣ ничего не говорилъ объ этомъ, но я знаю.

III.

Готовность такъ быстро устроить судьбу Ліи удивляла самоё Мумму Она старалась провѣрить себя. Выходило какъ-то такъ, что она была и права и въ то же время не права. Конечно, вполнѣ естественно со стороны матери позаботиться о судьбѣ дочери, тѣмъ болѣе, что она, Мумма, изъ принципа никогда не насиловала воли своихъ дѣтей, оставляя за собой только право высказать свое мнѣніе. Съ другой стороны, она какъ-то инстинктивно чувствовала, что этотъ Бурнашевъ—человѣкъ изъ другого міра, совершенно случайно попавшій къ нимъ въ домъ. Онъ останется навсегда чужимъ, какъ и мужъ Нинки-буржуйки. Но что̀ было дѣлать? Гдѣ нынче настоящіе люди?

Мумма усиленно волновалась; волновалась что ей рѣшительно было не

съ кѣмъ подѣлиться охватившимъ ее настроеніемъ. Конечно, естественнѣе ближе всего было обратиться къ „мыслящему реалисту“ и поговорить съ нимъ откровенно. Она съ этой цѣлью даже входила нѣсколько разъ подъ разными предлогами къ нему въ кабинетъ—и возвращалась. Ей дѣлалось такъ жаль этого больного старика, съ которымъ она рука объ руку прошла всю жизнь. Зачѣмъ его напрасно тревожить, когда, можетъ-быть, Лія преувеличиваетъ и ошибается.

Было еще одно обстоятельство, которое заставляло ее сдерживаться. Въ послѣднее время „мыслящаго реалиста“ начала серьезно безпокоить мысль о смерти, а каждыя новыя именины точно подталкивали къ роковому концу, напоминая о прожитыхъ годахъ. Прямо онъ ничего не говорилъ, но она чувствовала его настроеніе и старалась не выдавать своего собственнаго безпокойства. А сегодня „мыслящій реалистъ“ имѣлъ такой грустный видъ.

Андрей Гаврилычъ, дѣйствительно, переживалъ тяжелый день, тяжелый особенно уже тѣмъ, что никакихъ опредѣленныхъ основаній для этого не было.

„Старческая тоска,—думалъ онъ, покачивая головой.—Сердце перестаетъ функціонировать нормально. Да... Маразмъ, вообще...“

Когда въ кабинетъ входила Мумма, онъ старался пріободриться и дѣлалъ беззаботное лицо. Передъ нимъ на столѣ лежала послѣдняя книжка новаго журнала „съ настроеніемъ“, и онъ малодушно прятался за нее. Въ сущности, отъ текущей литературы онъ порядочно отсталъ, а говоря проще—пересталъ понимать новыхъ авторовъ, хотя и не желалъ въ послѣднемъ признаться даже самому себѣ. Старые моряки испытываютъ, вѣроятно, такое же чувство, когда смотрятъ на новыя суда, построенныя при новыхъ условіяхъ и требованіяхъ техники и послѣднихъ словъ морской войны.

Дверь кабинета выходила въ гостиную, и „мыслящій реалистъ“ могъ слышать обрывки разговоровъ. Нинка-буржуйка продолжала волноваться и ссорилась съ Вадимомъ. Студентъ Ярославъ дразнилъ гимназистовъ Игоря и Олега и хохоталъ неестественно-громко.

„Въ кого они всѣ такіе уродились?—невольно думалъ Андрей Гаврилычъ.—Какіе никчемные и никчемужные люди“.

Было и обидно и досадно, и поднималась глухая тоска за то, что̀ не осуществилось въ жизни, а когда-то манило впередъ, радовало и дѣлало счастливымъ. Ахъ, если бы эти несчастныя дѣти могли только понять, что̀ переживалъ сейчасъ „мыслящій реалистъ“.

— Нашъ мыслящій реалистъ сегодня не въ своей тарелкѣ,—доносился изъ гостиной голосъ Ярослава.—Онъ недоволенъ существующимъ порядкомъ...

Обѣдъ прошелъ какъ-то особенно скучно. Даже неугомонная Нинка-буржуйка молчала и все поглядывала на мать. Андрей Гаврилычъ догадывался, что въ семьѣ что-то происходитъ и что всѣ отъ него что-то скрываютъ. Мумма чутко прислушивалась къ звонку въ передней,—она ожидала офиціальнаго появленія будущаго жениха. Лія сидѣла съ опущенными глазами и старалась избѣгать пытливыхъ взглядовъ матери.

„Точно семья заговорщиковъ...“ — невольно подумалъ Андрей Гаврилычъ, не желая даже догадываться, что̀ происходитъ.

Онъ не дождался третьяго блюда и укатился къ себѣ въ кабинетъ, куда попросилъ подать ему кофе.

Вадимъ проводилъ его глазами и, прищурившись, замѣтилъ вполголоса:

— Мыслящій реалистъ сегодня напоминаетъ мнѣ того опереточнаго короля Бабеша, у котораго во всемъ государствѣ былъ всего одинъ жукъ и которому этотъ единственный жукъ попалъ въ стаканъ чая.

Мальчики не могли удержаться и прыснули.

— Замолчите, несчастные! — накинулась на нихъ Нинка-буржуйка.

— Охъ, страшно! — иронически отозвался Ярославъ, набивая ротъ любимымъ орѣховымъ тортомъ.

Мумма молчала, опустивъ глаза, а потомъ быстро поднялась и демонстративно вышла изъ комнаты. Ради сегодняшняго дня она не хотѣла поднимать семейной исторіи. Вадимъ въ ея глазахъ продолжалъ оставаться тѣмъ ребенкомъ, котораго изъ приличія иногда журятъ и которому, тѣмъ не менѣе, прощается все.

— Козявки несчастныя! — ругалась Нинка-буржуйка. — А тебѣ, Вадимъ, какъ старшему, ужъ совсѣмъ не къ лицу говорить глупости. Мать бѣжитъ отъ васъ...

Вадимъ сдѣлалъ удивленное лицо, поднялъ брови и проговорилъ съ самымъ невиннымъ видомъ:

— При чемъ же я тутъ?! Можетъ-быть, у Муммы животъ болитъ!

Мальчики замерли сначала отъ находчивости Вадима, а потомъ закатились неудержимымъ хохотомъ. Для нихъ Вадимъ всегда являлся идеаломъ, и они копировали каждый его жестъ, интонаціи голоса и по недѣлямъ повторяли его остроумныя словечки.

До самаго вечера время тянулось мучительно медленно, какъ это всегда бываетъ, когда ждутъ обязательныхъ гостей.

Получено было нѣсколько поздравительныхъ телеграммъ. Первый звонокъ обманулъ всѣхъ: это былъ портной. Отъ скуки Ярославъ собралъ мальчугановъ въ гостиной и принялся читать вслухъ критическую статью о Бальмонтѣ. Онъ нарочно читалъ настолько громко, чтобы въ кабинетѣ мыслящаго реалиста слышно было каждое слово.

„...Бальмонтъ — залетная комета. Она повисла въ лазури надъ сумракомъ, точно рубиновое ожерелье... И потомъ сотнями красныхъ слезъ пролилось надъ заснувшей землей. Бальмонтъ — заемная роскошь кометныхъ багрянцевъ на изысканно-нѣжныхъ пятнахъ пунцоваго моха. Сладкій ароматъ розовѣющихъ шапочекъ клевера, вернувшихъ имъ память о дѣтствѣ“.

— Восхитительно! — шепталъ Олегъ.

— Проникновенно! — авторитетно подтвердилъ Игорь.

— Геніально, чортъ возьми! — восхищался Вадимъ. — Не много, а все сказано.

— Позвольте, господа, дайте кончить, — остановилъ эти неистовые восторги Ярославъ. — Я продолжаю: „Онъ, то-есть Бальмонтъ, разукрасилъ свой причудливый гротъ собранными богатствами. На перламутровыхъ столахъ разставилъ блюда съ рубиновыми орѣшками. Золотые фонарики вѣчности озарили. Онъ возлегъ въ золотой коронѣ. Ложемъ ему служитъ блѣдно-розовый кораллъ, и онъ ударялъ въ лазурно-звонкіе колокольчики. И онъ разбивалъ звонкіе колокольчики рубиновыми орѣшками...“

— Фу, какая глупость! — послышался голосъ мыслящаго реалиста изъ кабинета. — Будетъ, Ярославъ!.. Меня просто начинаетъ тошнить.

— Папа, значитъ, ты отрицаешь свободу человѣческой мысли? — отозвался Ярославъ. — Кажется, это не либерально.

— А ну васъ, сумасшедшихъ! — ворчалъ мыслящій реалистъ.

— Н-не по-пра-ви-лось! — ехидно замѣтилъ Вадимъ, кивая головой въ сторону отцовскаго кабинета. — Что дѣлать, силой милому не быть...

Онъ взялъ лежавшій на столикѣ томикъ Ницше: „Такъ говорилъ Заратустра“ и, перелистывая, проговорилъ:

— Попробуемъ почитать эту книжку... Напримѣръ: „Счастье мужчины называется: „я хочу“. Счастье женщины называется: „онъ хочетъ“. И повиноваться должна женщина и присоединить глубину къ поверхности своей. Поверхность — душа женщины, подвижная, безпокойная волна на мелкой водѣ“. Гм, недурно. А вотъ далѣе: „Ты идешь къ женщинамъ? Не забудь плетку!“

Онъ перевернулъ нѣсколько страницъ и съ особеннымъ удовольствіемъ прочелъ:

„...Для тебя, чародѣйка, я пѣлъ до сихъ поръ, теперь — ты должна кричать для меня! Подъ тактъ плетки моей должна ты плясать и кричать“.

— Не правда ли, какъ просто и ясно разрѣшенъ весь женскій вопросъ? Наша Мумма напрасно хлопотала цѣлую жизнь, разрѣшая его.

— Не-го-дя-и! — слышалось изъ кабинета.

— Папа, ты опять лишаешь насъ свободы слова? — вмѣшался Ярославъ, не боявшійся отца. — Это ужъ рабство!

Раздавшійся въ передней звонокъ прекратилъ начинавшуюся семейную бурю.

Это былъ самъ Бурнашевъ.

IV.

Онъ входилъ всегда какъ-то крадучись и непремѣнно оглядывался кругомъ своими близорукими глазами, точно боялся засады. И протягивалъ руку съ нерѣшительной улыбкой,—онъ постоянно улыбался. По наступившей почтительной тишинѣ въ гостиной Мумма догадалась изъ своей комнаты, кто пришелъ.

„Охъ, ужъ скорѣе бы“, — подумала она.

Бурнашевъ отлично зналъ, что старикъ Туразовъ его ненавидитъ, но дѣлалъ видъ, что ничего не замѣчаетъ, и сейчасъ отправился прямо въ кабинетъ поздравить дорогого именинника.

— Благодарю, очень благодарю, — бормоталъ Андрей Гаврилычъ.

У Бурнашева всегда была въ запасѣ какая-нибудь сенсаціонная новость, которую онъ получалъ изъ вѣрныхъ источниковъ, и всегда онъ начиналъ разговоръ стереотипной фразой:

— А вы слышали?

Андрею Гаврилычу приходилось разыгрывать гостепріимнаго хозяина, хотя эта роль и плохо удавалась ему. Бурнашева онъ совершенно не понималъ. Что это за человѣкъ? Въ чемъ заключается секретъ его вліянія на молодежь? Почему даже глупости, которыя онъ проповѣдывалъ, имѣли такой успѣхъ? Несомнѣнно было одно, что онъ былъ не глупый и образованный человѣкъ, но какой-то весь сдавленный и съежившійся. Онъ и говорилъ такими же сдавленными словами, напоминавшими палый осенній листъ. Но всего непріятнѣе была его покровительственная манера спорить, точно онъ дѣлалъ величайшее одолженіе каждымъ звукомъ своего голоса. Впрочемъ, Андрей Гаврилычъ избѣгалъ этихъ споровъ.

На этотъ разъ бесѣда съ Бурнашевымъ была счастливо прервана. Раздался необыкновенно громкій звонокъ, такъ что Мумма даже выскочила изъ своей комнаты.

— Господи, да это какой-то разбойникъ ломится въ дверь?! — взмолилась она.

Всѣ невольно притихли. Горничная бросилась отворять дверь съ особенной быстротой. Въ передней послышалось какое-то гудѣнье, точно ворвался громадный шмель.

— Дома старикъ-то, а? И старуха дома, а?

— Господа всѣ дома, — обидчиво отвѣтила горничная, разглядывая незнакомаго гостя.

— Ну, и отлично... — добродушно гудѣлъ онъ. — Скажи, что Якимъ Образовъ пріѣхалъ.

Проходя гостиной, гость поздоровался съ молодыми людьми за руку, причемъ всѣмъ безъ церемоніи говорилъ „ты". Особенное его вниманіе обратилъ на себя Бурнашевъ, котораго онъ принялъ за старшаго сына.

— Эге-ге! Да въ кого ты выросъ такой щупленькій... а? Ни въ мать ни въ отца...

— Вы, вѣроятно, ошиблись и приняли меня за Вадима Андренча, — съ достоинствомъ отвѣтилъ Бурнашевъ.

Неловкую сцену прервала Мумма. Она безъ церемоніи взяла громкаго гостя за руку и потащила въ кабинетъ.

— Да погоди, старуха! — упирался тотъ. — Столько лѣтъ не видались. Надо же и поцѣловаться по христіанскому обычаю. Ѣду въ Питеръ, а самъ думаю: ужъ застану ли васъ живыми.

— А ты все такой же, Якимъ, — удивлялась Мумма, качая головой.

— Все такой же... Ха-ха!.. Пробовали меня передѣлывать на всѣ лады, да, какъ видишь, ничего изъ сего не вышло.

Онъ крѣпко обнялъ Мумму и расцѣловалъ изъ щеки въ щеку.

— Гдѣ ты пропадалъ столько лѣтъ, Якимъ? — спрашивала она, съ трудомъ вырываясь изъ его могучихъ объятій.

— Гдѣ я пропадалъ? Ха-ха... Лучше спроси, гдѣ я не пропадалъ. Ну, да это не интересно...

Когда гость ушелъ въ кабинетъ, гостиная точно опустѣла.

— Вотъ это такъ мыслящій реалистъ, — замѣтилъ Вадимъ. — Ему кули таскать на набережной.

— Д-да-а... — протянулъ Бурнашевъ. — Вѣроятно, изъ духовныхъ. Отличный протодьяконъ вышелъ бы.

— А я его отлично помню, — вмѣшалась Нинка-буржуйка. — Онъ меня, маленькую, на рукахъ носилъ. Странный добрякъ...

Гость наполнилъ гудѣньемъ кабинетъ и нѣсколько разъ принимался цѣловать хозяина.

— Ну, вотъ и увидѣлись, — повторялъ онъ. — Давно ножки-то потерялъ.

— Да ужъ скоро десять лѣтъ будетъ, Якимъ.

— Это у васъ, у дворянъ, ужъ повадка такая... Даже и стишонки такіе есть: „Стала немножко шалить его правая ножка".

Мумма сидѣла на кушеткѣ и во всѣ глаза смотрѣла на громкаго гостя, вмѣстѣ съ которымъ ворвалось въ домъ такое далекое-далекое, такое хорошее-хорошее прошлое. А этотъ богатырь, который былъ извѣстенъ въ студенческихъ кружкахъ шестидесятыхъ годовъ подъ кличкой Еруслана, оставался все такимъ же младенцемъ. Да, громадный сѣдой младенецъ, широкоплечій, съ широкимъ русскимъ лицомъ, съ мягкимъ русскимъ носомъ, съ окладистой бородой, съ громкимъ голосомъ. Говорилъ онъ, какъ настоящій „володимирецъ", сильно упирая на *о*, и, кромѣ того, ставилъ ударенія надъ словами совершенно по-своему: „дѣятельность", „совремѐнный", „мòлодежь". Товарищи по медицинской академіи и университету были убѣждены въ духовномъ происхожденіи Еруслана и увѣряли, что онъ скрываетъ въ себѣ притаившагося дьякона. Но это было неправда: Образовъ происходилъ изъ мѣщанской семьи, промышлявшей плотничьими подрядами. Голосъ у него былъ, дѣйствительно,

громадный и никакого слуха. На студенческихъ пирушкахъ Еруслапъ ревѣлъ, какъ быкъ, не слушая никого. Временами онъ пропадалъ неизвѣстно куда, потомъ какъ-то неожиданно появлялся, причемъ не любилъ разсказывать о своихъ приключеніяхъ.

— Емль его и давляше, — смѣялся онъ надъ самимъ собой.

Послѣ первыхъ разговоровъ, которые послѣ долгой разлуки обыкновенно плохо вяжутся, Мумма спросила:

— Что̀ же, Якимъ: у тебя есть семья, дѣти?

— У меня? — удивился Еруслапъ. — Некогда было... Понимаешь, некогда — и все тутъ. Однимъ словомъ, фасонъ не вышелъ... Не по моей спеціальности. Такъ и остался перекати-полемъ.

Дальше начались воспоминанія, тѣ обидныя стариковскія воспоминанія, которыя совершенно непонятны молодымъ людямъ. Мумма съ трогательнымъ чувствомъ перечислила умершихъ друзей, болящихъ и вообще всѣхъ отсутствующихъ.

— Что̀ же, и намъ скоро пора очистить мѣсто молодымъ, — спокойно отвѣтилъ Образовъ. — Нужно смотрѣть на вещи философски... Больше ничего не подѣлаешь. Было наше время, пожили недурно, а теперь пора и честь знать.

Андрей Гаврилычъ все время молчалъ и улыбался какой-то виноватой улыбкой. Когда-то, въ дни молодости, онъ очень ревновалъ Мумму къ Образову и почему-то боялся его. Теперь, конечно, никакой опасности не представлялось, но жуткое и фальшивое чувство сохранилось. Образовъ принадлежалъ къ типу тѣхъ странныхъ русскихъ людей, отъ которыхъ всю жизнь ожидаютъ чего-то особеннаго и необыкновеннаго.

Обѣдъ прошелъ шумно и весело. Говорилъ, конечно, одинъ Образовъ, а Бурнашевъ демонстративно молчалъ и только изрѣдка улыбался своей ехидной улыбкой. Мумма съ затаенной тревогой наблюдала за Нинкой-буржуйкой, которая довольно безцеремонно разсматривала гостя, какъ въ зоологическомъ саду разсматриваютъ рѣдкихъ звѣрей. Ее немного огорчило и шокировало, что Образовъ попрежнему глоталъ водку рюмку за рюмкой, все больше краснѣлъ и началъ хохотать неестественно-громкимъ голосомъ.

— Да, такъ вотъ вы какіе... — повторялъ онъ, обращаясь къ наблюдавшей его молодежи. — Чистенькіе, вымытые... да... Очень даже хорошо. Значитъ, всякому овощу свое время... Такъ я говорю, Мумма?

Дурной привычкой Образова было задавать вопросы и отвѣчать на нихъ самому. Вообще, онъ не привыкъ стѣсняться, и Мумма даже незамѣтно отодвинулась отъ него.

— Да, были хорошіе люди... — повторялъ Образовъ съ тяжелымъ вздохомъ. — Иныхъ ужъ нѣтъ, а тѣ далече.

Бурнашевъ долго молчалъ, а потомъ неожиданно привязался къ какой-то фразѣ. Образовъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него и добродушно проговорилъ:

— Я не люблю спорить... Мое время прошло.

— Это, можетъ-быть, очень великодушно съ вашей стороны, — замѣтилъ Бурнашевъ, — но манера не отвѣчать на вопросы — это плохое доказательство.

— А если я не желаю вамъ ничего доказывать? Да, не же-ла-ю...

Бурнашевъ только пожалъ плечами. Мумма смотрѣла на него умоляющими глазами. Всѣ притихли. Андрей Гаврилычъ съ самымъ глупымъ видомъ каталъ шарики изъ чернаго хлѣба. Это была одна изъ его дурныхъ привычекъ, всегда возмущавшая Мумму. Хорошо еще, что Образовъ никогда не замѣчалъ, что̀ дѣлалось вокругъ него.

Обѣдъ, къ общему удовольствію, кончился благополучно, и всѣ вздохнули свободно.

Когда гость и хозяинъ ушли послѣ обѣда въ кабинетъ курить сигары, Нинка-буржуйка съ удивленіемъ увидѣла, что мать плачетъ.

— Мама, что̀ съ тобой?

Мумма только махнула рукой.

— Ахъ, Нина, сейчасъ ты меня не поймешь... У старыхъ людей свои мысли и своя логика. Могу только пожалѣть, что ты не увидишь того, что̀ въ свое время переживали мы... да...

Бурнашевъ остался въ столовой и съ обиженно-ядовитымъ выраженіемъ лица наблюдалъ происходившую чувствительную сцену. Да, его присутствія милыя хозяйки не замѣчали, и ему, по примѣру милаго хозяина, остается одно: катать хлѣбные шарики. Онъ демонстративно поднялся и началъ прощаться. Верхомъ неприличія было то, что его не удерживали. Когда Мумма вышла проводить его въ переднюю и съ офиціальной любезностью хозяйки дома спросила, почему онъ торопится уходить, Бурнашевъ съ разсчитанной грубостью проговорилъ:

— У меня, знаете... да... у меня разболѣлся животъ.

А изъ кабинета доносилось ровное и густое гудѣнье, точно туда залетѣлъ громадный шмель.

V.

Мумму интересовало, зачѣмъ Образовъ вернулся въ Петербургъ и что̀ предполагаетъ дѣлать. Спросить объ этомъ прямо она не рѣшилась. Между ними уже легла громадная полоса жизни, мѣшавшая взаимному пониманію. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ думаетъ этотъ странный человѣкъ? Чѣмъ больше думала Мумма на эту тему, тѣмъ сильнѣе ей дѣлалось жаль друга юности. Да, надъ его сѣдѣвшей головой уже витало холодное и обидное одиночество безпріютной старости. На эту тему Мумма пробовала говорить съ мужемъ, но Андрей Гаврилычъ только разводилъ руками и повторялъ стереотипную фразу, какой отвѣчаютъ непонимающіе мужики:

— А кто его знаетъ...

— Но вѣдь такое одиночество ужасно?

— Что̀ же, самъ виноватъ, если не умѣлъ во̀-время устроиться иначе.

— Какой ты странный... Развѣ можно судить такихъ людей по обычному шаблону. Онъ мнѣ прямо сказалъ, что ему просто было *некогда* подумать о личномъ счастьѣ.

— Ну, этого мы еще не знаемъ и будемъ спорить о неизвѣстномъ.

— Есть вещи, которыя продѣлываютъ одинаково умные и глупые люди. А затѣмъ, я даже не вижу основаній, чтобы непремѣнно всѣ женились или выходили замужъ... да. Возьми Англію, тамъ уже образовался такъ называемый третій полъ, т.-е. цѣлый классъ дѣвушекъ, которыя, выражаясь по-нѣмецки, никогда не получатъ мужа.

Мумма не могла понять этого вынужденнаго безбрачія и протестовала съ женскимъ азартомъ. Въ самомъ дѣлѣ, такой выдающійся по душевному складу человѣкъ и долженъ влачить свое существованіе бобылемъ, — Мумма подумала именно этой замученной фразой.

Самъ Образовъ, повидимому, меньше всего думалъ и заботился о собственной особѣ. У него были какія-то дѣла въ Петербургѣ, и онъ то пропадалъ на нѣсколько дней, то появлялся совершенно неожиданно и непре-

мѣнно въ самые неудобные часы, — то слишкомъ рано утромъ, когда дамы еще были неодѣты, то слишкомъ поздно вечеромъ, когда пора было ложиться спать, то послѣ обѣда, когда ему приходилось подавать отдѣльно, точно въ ресторанѣ. Это была дурная привычка думать только о себѣ. Потомъ, онъ держалъ себя, какъ будто онъ былъ хозяиномъ въ домѣ, и дѣло доходило до того, что онъ безъ церемоній уходилъ въ кабинетъ Андрея Гаврилыча и, не раздѣваясь, разваливался спать на диванѣ. Мумму такое поведеніе стараго друга очень смущало, главнымъ образомъ потому, что дѣти откровенно его не понимали. Особенно волновалась Нинка-буржуйка.

— Это ужъ слишкомъ безцеремонно, мама, — говорила она, пожимая худенькими плечами. — Кажется, онъ принимаетъ нашъ домъ за трактиръ, гдѣ можно и наѣсться и выспаться.

— Ахъ, ты ничего не понимаешь, — отговаривалась Мумма, напрасно подбирая слова. — Однимъ словомъ, это такой человѣкъ... какъ тебѣ сказать? Ну, совсѣмъ, совсѣмъ особенный человѣкъ.

Образовъ упорно не желалъ ничего замѣчать и даже больше — обращалъ особенное вниманіе на Нинку-буржуйку и производилъ ей что-то въ родѣ экзамена. Разъ она не выдержала и довольно рѣзко ему замѣтила:

— Вы меня, Якимъ Ильичъ, кажется, принимаете за свою ученицу:

— Ну-съ, и что̀ же? — невозмутимо спросилъ онъ и даже улыбнулся.

— А то, что я уже совсѣмъ взрослый человѣкъ и въ экзаменахъ не нуждаюсь.

— Такъ-съ... да... Ну, мы такъ и запишемъ: окончательно взрослая дѣвица съ амбиціей.

Старый другъ начиналъ тяготить Туразовыхъ, и Мумма все чаще и чаще начинала думать о томъ, когда же онъ, наконецъ, уѣдетъ. Ее немного шокировало и то, что этотъ старый другъ точно ухаживаетъ за Ниной, а та въ свою очередь дѣлала такой видъ, что ей такое ухаживаніе противно. Въ результатѣ получалось что-то совсѣмъ несообразное и нелѣпое. Волновались и мальчики и ревниво наблюдали за каждымъ движеніемъ стараго мамина друга.

Разъ Образовъ пришелъ въ такое время, когда стариковъ не было дома. Волей-неволей пришлось принимать дорогого гостя Нинкѣ-буржуйкѣ. Онъ, какъ всегда, не замѣчалъ непривѣтливости и сухого тона молодой хозяйки и спокойно разсказывалъ что-то о своихъ безконечныхъ странствіяхъ. Когда Мумма вернулась домой, она нашла Образова въ столовой. Онъ сидѣлъ и пилъ пиво. Мумму возмутило, что Нинка-буржуйка не умѣла занять гостя. Образовъ понялъ ея настроеніе и совершенно спокойно проговорилъ:

— Барышня обидѣлась на меня.

— Вы поссорились?

— Нѣтъ... т.-е. видишь ли, Мумма, я, какъ это у васъ говорится, сдѣлалъ ей предложеніе...

— Ты?! Предложеніе?!

— Да... А она заплакала и убѣжала въ свою комнату. Однимъ словомъ, никакъ не могу понять, чѣмъ я могъ ее обидѣть. Конечно, дѣло самое обыкновенное.

Мумма поступила, какъ настоящая любящая мать, т.-е. присѣла къ столу, закрыла лицо платкомъ и заплакала. Вотъ ужъ этого она никакъ не ожидала.

Нинка-буржуйка подслушивала изъ сосѣдней комнаты этотъ разговоръ и, когда въ столовой все стихло, она осторожно пріотворила дверь и увидѣла

необыкновенную картину. Образовъ цѣловалъ мумму и задыхавшимся шепотомъ повторялъ:

— Она напомнила мнѣ мою молодость... напомнила тебя, когда ты была молодой... О, вѣдь я такъ тебя любилъ...

Мумма отняла руки отъ заплаканнаго лица и отвѣтила тоже шопотомъ:

— Ты? любилъ меня?

— И потомъ... всегда...

Мумма обняла его и молча поцѣловала. Пинка-буржуйка была жестоко наказана за свое любопытство, осторожно притворила дверь и расплакалась уже настоящими слезами.

Черезъ два дня Мумма исчезла. Всѣ, конечно, ужасно встревожились, а Андрей Гаврилычъ совершенно потерялъ голову. Прошло цѣлыхъ два дня, пока получено было письмо отъ Муммы. Она извѣщала, что больше не вернется домой, просила прощенія и умоляла ея не разыскивать. Она бѣжала съ Образовымъ за границу.

1907.

НА ОГОНЕКЪ.

Разсказъ.

I.

— Вотъ такъ причина...—проговорилъ мой кучеръ, заглядывая подъ передокъ дорожнаго экипажа.—Ахъ, ты, братецъ ты мой!..

Онъ задергалъ локтями, мотнулъ головой и остановилъ лошадей.

— Что̀ случилось?—полюбопытствовалъ я.

— Вѣдь говорилъ старостѣ Ивану Митричу, что не доѣдетъ передняя ось... Ну, и шабашъ!.. Ахъ, ты, братецъ мой, причина какая вышла...

Въ первый моментъ я не сообразилъ всей важности случившагося и отнесся къ словамъ кучера довольно равнодушно. Но это оказалось большой ошибкой. Кучеръ осмотрѣлъ ось, покачалъ съѣхавшее на бокъ колеса, бросилъ на землю кожаныя рукавицы и рѣшительно заявилъ:

— Что̀ мы теперь дѣлать-то будемъ, баринъ?..

— Какъ-нибудь доѣдемъ потихоньку...

Кучеръ съ презрѣніемъ посмотрѣлъ на меня, какъ на человѣка ничего не понимающаго, и разразился новой руганью по адресу какого-то ямщицкаго старосты Ивана Митрича. Меня всегда удивляла въ такихъ случаяхъ логика виноватаго русскаго человѣка—онъ непремѣнно сваливалъ свою ошибку на кого-нибудь другого, какъ и въ данномъ случаѣ.

— Что̀ же ты самъ-то смотрѣлъ?—накинулся я на кучера.—Долженъ былъ сказать мнѣ, вообще, предупредить... да.

— А кто его зналъ... Не впервой ѣду. Вся причина, что Иванъ Митричъ подвелъ... Можно сказать: совсѣмъ сконфузилъ передъ хорошимъ барномъ. Вѣдь говорилъ я ему... Ахъ, Иванъ Митричъ, Иванъ Митричъ!..

Мнѣ ничего не оставалось, какъ вылѣзти изъ экипажа и самому убѣдиться въ бренности довольно первобытнаго экипажа. Передняя ось, дѣйствительно, сломалась у самаго курка, и ѣхать дальше нечего было и думать. Прибавьте къ этому, что несчастіе случилось на самой серединѣ длинной станціи въ тридцать верстъ, что дорога была отвратительная, что быстро спускался лѣтній вечеръ, что гдѣ-то погромыхивала приближавшаяся гроза. Однимъ словомъ, отлично. Прикинувъ въ умѣ приблизительно, сколько времени придется здѣсь простоять, я пришелъ въ уныніе—раньше пяти часовъ не сдвинуться. Пока кучеръ доѣдетъ до станціи, пока будетъ ругаться со старостой Иваномъ Митричемъ, пока ему дадутъ новый передокъ и новыхъ лошадей—вообще, исторія длинная. Въ ожиданіи этого сидѣнья я началъ волноваться. Напримѣръ, зачѣмъ кучеръ полѣзъ подъ экипажъ, легъ въ грязь

на спину и принялся разсматривать сломанное мѣсто? Вѣдь это совершенно излишнее усердіе, только напрасно отнимавшее время.

— Ишь вѣдь, точно зубомъ кто перекусилъ...—вслухъ думалъ кучеръ, для чего-то трогая обломки оси.

— Вотъ что̀, ты ступай-ка поскорѣе на станцію,—ворчалъ я.—Только напрасно время теряешь...

Мнѣ даже хотѣлось обругать этого дурака, но я удержался, потому что отъ причиненнаго огорченія онъ могъ меня проморить здѣсь лишнихъ два-три часа. Эта полная зависимость еще больше злила меня. Кучеръ, въ свою очередь, тоже злился на мое замѣчаніе и пересталъ меня уважать. Я подозрѣвалъ ходъ его мыслей: „вѣдь возилъ же другихъ господъ—ничего, а тутъ точно зубомъ перекусило“.

Мой экипажъ былъ вывороченъ изъ грязной колеи и подтащенъ въ сторону, подъ гостепріимную сѣнь придорожной березы. Кучеръ все дѣлалъ теперь демонстративно—толкалъ экипажъ, ударилъ въ морду пристяжную кулакомъ, кого-то ругалъ въ пространство. Я былъ очень радъ, когда онъ сѣлъ на отложенную пристяжную, взмахнулъ локтями и поплелся собачьей рысцой обратно на станцію. Мы разстались врагами, обвиняя одинъ другого въ черствости сердца и черной неблагодарности.

Когда мой возница исчезъ изъ виду, я сдѣлалъ нѣкот географическое опредѣленіе мѣста крушенія. Вязкая черноземная дорога грязной лентой вилась по чудной долинѣ р. Міяса; впереди громоздились неправильными контурами массивы южнаго Урала, а позади правильными холмами тянулась гряда Ильменскихъ горъ. Съ высоты птичьяго полета, вѣроятно, ландшафтъ получился очень красивый, но лично для меня его портила грязная дорога, которая такъ и лѣзла въ глаза, точно прорѣха на зеленой башкирской муравѣ. Отложенный коренникъ, очевидно, былъ доволенъ своей судьбой и мирно пощипывалъ придорожную траву. Я долго смотрѣлъ на этого четвероногаго философа и пришелъ къ убѣжденію, что единственное и лучшее—примириться съ судьбой, и для оживленія ландшафта рѣшилъ разложить огонекъ. Вышло совсѣмъ недурно. Даже получилось нѣчто въ родѣ идилліи.

Солнце быстро опустилось за горы, и еще быстрѣе наступила горная ночь. Я долго наблюдалъ, какъ терялась даль, какъ исчезали предметы одинъ за другимъ, и какъ постепенно весь міръ для меня сосредоточился въ небольшомъ кругѣ, освѣщенномъ всполохами моего костра. Лично я являлся ничтожной точкой, негодовавшей на несправедливость судьбы, подсунувшей совсѣмъ некстати какую-то дрянную ось. Почему, въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ ночью чувствуетъ себя и меньше и ничтожнѣе?

Я разостлалъ около огня бурку и улегся на ней въ позѣ скучающаго туриста. По общему правилу неудачныхъ путешественниковъ, я долженъ былъ испытывать страхъ—ночь, глухое мѣсто, пустынная дорога, но и этого не было. Кого и чего бояться? Правда, со мной было ружье, но вѣдь не буденъ же изъ него стрѣлять въ живого человѣка, который подойдетъ къ огоньку закурить трубочку.

Прошло часа два. Мнѣ сдѣлалось скучно. Въ самомъ дѣлѣ, положеніе глупое. Почему у другихъ не ломаются оси, а моя сломалась? Если взять общее число осей въ Россіи и раздѣлить на число ихъ ломаній, получится самый ничтожный процентъ, и непремѣнно почему-то я долженъ былъ попасть именно въ этотъ процентъ. Вообще, глупо... Я старался думать о чемъ-нибудь другомъ, но всѣ мысли упорно сводились опять-таки къ проклятой оси.

— Э, нужно попробовать заснуть,—рѣшилъ я, пускаясь на отчаянное средство.

Еще разъ я постарался поудобнѣе устроиться на своей буркѣ, закрылъ глаза и про себя началъ считать до тысячи—испытанное средство отъ безсонницы.

Не помню, заснулъ я или не заснулъ, но только меня заставилъ подняться чей-то осторожный шопотъ:

— Конокрадъ, я тебѣ говорю...

— Ну, тоже и сказалъ!.. А я тебѣ говорю: изъ цыганъ...

— Вотъ ты всегда такъ, Антонъ Степанычъ, всегда споришь. Просто на зло говоришь, и только... Языкъ у тебя...

— Тсс... пошевелился.

Когда я сѣлъ и оглянулся въ сторону спорившихъ голосовъ, раздался тихій смѣхъ и какое-то фырканье, а потомъ зашлепали по грязи невидимыя ноги и показалась изъ травы собачья морда.

— Миръ на стану!—окликнулъ меня изъ темноты веселый голосъ.

— Миръ дорогой,—отвѣтилъ я въ тонъ.

Черезъ нѣсколько секундъ предо мною стояли по всѣмъ признакамъ два охотника. Одинъ—высокій, сутулый, съ козлиной бородкой и грубымъ голосомъ, а другой—низенькаго роста, съ окладистой бородой и нѣвучимъ теноркомъ. Охотничьи сапоги, сумки и болтавшіяся за плечами ружья обличали несомнѣнную принадлежность незнакомцевъ къ почтенному сословію охотниковъ.

— Однако вы насъ, милостивый государь, порядочно таки-напугали,—заговорилъ высокій хриплымъ голосомъ.

— Я?..

— Да-съ, вы... Идемъ это во тьмѣ, и вдругъ этакъ курится огонечекъ малешенекъ, ну, мы сейчасъ на огонекъ и повернули, а потомъ и раздумались—итти или нѣтъ. Время ночное, всяко бываетъ...

— Ничего не испугались,—заявилъ низенькій.—Все это ты врешь, Антонъ Степанычъ... А только ты сказалъ: „навѣрно, конокрадъ". „Вонъ, говоришь, и лошадь краденая ходитъ". А я говорю: изъ цыганъ. Идемъ и перекоряемся...

— Садитесь, господа,—приглашалъ я.—Ужъ если кому пугаться, такъ мнѣ, потому что васъ двое.

Длинный присѣлъ на корточки, выхватилъ изъ костра головешку и, раскуривая папиросу, проговорилъ:

— Разсердилъ онъ меня... да.

— Нѣтъ, ты меня разсердилъ, Антонъ Степанычъ, потому какъ говоришь несообразно.

— Я? несообразно? Это ты несообразно говоришь... Вотъ все равно что ихнее дѣло: ѣхалъ-ѣхалъ, а тутъ ось пополамъ....

Антонъ Степанычъ съ необыкновеннымъ участіемъ вошелъ въ мое положеніе и принялся ругать и кучера, и старосту Ивана Митрича, и проклятую дорогу. Эта усиленная энергія объяснилась охотничьей фляжкой, которую Антонъ Степанычъ добылъ изъ своей сумы и по-джентльменски предложилъ первую чарку мнѣ.

— Оно тово... ровно бы и достаточно...—замѣтилъ низенькій бородачъ.—Катерина-то Асафовна что скажетъ?

— Опять ни съ чѣмъ несообразно: вѣдь намъ съ тобой еще мѣсить грязь верстъ на десять, ну, ничего и не останется. Не серди ты меня... Все поперекъ говоришь.

II.

У меня вообще большая слабость къ охотничьему сословію, а въ данномъ случаѣ они просто спасли меня отъ самаго томительнаго одиночества. Оба оказались пріисковыми служащими. Отправились послѣ обѣда на охоту и запоздали.

— А все изъ-за тебя, Антонъ Степанычъ. Говорилъ я тебѣ: пора домой.

— Скажите, пожалуйста... Изъ-за меня!.. Это ты меня завелъ...

Друзья не могли сказать двухъ словъ, чтобы не поспорить. Очевидно, они очень любили другъ друга, но не могли не противорѣчить. Помѣстившись у огонька, Антонъ Степанычъ выкурилъ двѣ папиросы съ какой-то жадностью и обратился ко мнѣ:

— Вотъ что̀, милостивый государь... Цѣлый день мы сегодня спорили. Да... я свое, а онъ—свое. Дѣло, видите ли, въ чемъ...

— Да ужъ говори прямо, а не виляй хвостомъ!..

— Что̀ же, и скажу... Все дѣло вышло изъ-за панталонъ, т.-е. дамскихъ панталонъ. Вы ужъ извините меня, что такой предметъ... Привязался онъ ко мнѣ, можно сказать—впился, какъ лѣсной клещъ. Что̀ же тутъ дурного, что женщины носятъ панталоны? Даже очень хорошо и притомъ для здоровья... да.

Низенькій залился какимъ-то удушливымъ смѣхомъ и даже спряталъ свое бородатое лицо въ траву.

— Вотъ изволите видѣть, милостивый государь, каковъ дикарь? Конечно, дикарь... Конечно, наши бабы воспитаніе получили простое и понятія не имѣютъ ни о чемъ подобномъ этому предмету. Такъ-съ... Хорошо. Но у меня былъ братъ... хорошо. Возьми да и помри этотъ самый братъ. Конечно, воля Божья. Хорошо. Осталась у него, напримѣръ, дочь-сиротка, а мнѣ племянница. У насъ-то съ женой дѣтей не бывало, ну, мы и взяли сиротку. Какъ это по-вашему, смѣшно?

— Да ты дальше-то, дальше-то разсказывай...

— Вотъ и живетъ эта самая племянница Маша, растетъ... А я про себя думаю: что̀ она будетъ такъ зря на пріискахъ расти? Будетъ баба бабой... Долго я думалъ, напримѣръ, а потомъ мы и порѣшили съ Катериной Асафовной: отдадимъ Машу въ гимназію. Все у насъ, слава Богу, есть и на нашъ вѣкъ хватитъ, а Машѣ-то еще и послѣ насъ придется жить. Господинъ Некрасовъ прямо сказалъ:

Коли бѣдна ты,
Такъ будь ты умна...

Да-съ. А у меня свой умыселъ. Скажу вамъ, что учился я самъ-то у раскольничьихъ старухъ-мастерицъ, псалтырь да часовникъ — однимъ словомъ, получилъ полное университетское образованіе. И мнѣ это весьма обидно, потому что я человѣкъ съ понятіемъ, и ежели бы меня учить... Ну, объ этомъ нечего говорить. Я и думаю: ежели ужъ мнѣ не удалось ничему выучиться, такъ пусть Маша будетъ ученая. Право, даже со злостью думалъ... Обидно за себя-то. Только и знаешь, что въ газетѣ почитаешь... Ну, хорошо. Повезъ я Машу въ Екатеринбургъ, тамъ у меня тетка... Опредѣлилъ ее въ приготовительный классъ. Теткѣ за квартиру плачу десять рублей въ мѣсяцъ, за ученье въ годъ сорокъ—ну, и все прочее.

— Ты въ годъ-то сосчитай, сколько это выйдетъ...

— А ты зубы у себя во рту считай... Видите, милостивый государь,

какой-такой бываетъ естественный прирожденный дикарь? Ежели бы я лошадь себѣ купилъ, снотовую шубу—онъ весьма бы одобрилъ, потому что дальше этихъ пустяковъ ничего не понимаетъ. Привыкъ человѣкъ къ ничтожной жизни...

— Ты вотъ о панталонахъ-то разскажи, образованный человѣкъ.

— Скажемъ и о панталонахъ. Видите ли, пріѣзжаетъ Маша на первыя каникулы и первымъ дѣломъ къ теткѣ относительно этой самой женской аммуниціи. Конечно, видитъ дѣвочка, какой у другихъ порядокъ, и не хочетъ быть сама хуже другихъ. Такъ? А наша пріисковая дикая тьма теперь вотъ третій годъ меня донимаетъ этими самыми панталонами. Дальше-то ничего не могутъ понимать... да.

Антонъ Степанычъ вдругъ разсердился и даже плюнулъ на огонь.

— А я такъ другое понимаю...—заговорилъ онъ уже другимъ тономъ.— Да... Вотъ какъ въ маѣ у нихъ экзаменты кончаются, я и урвусь въ Екатеринбургъ за Машей, ужъ непремѣнно урвусь и непремѣнно заверну въ ихнюю гимназію. Съ главнымъ швейцаромъ познакомился... Стану этакъ въ шинельной, будто Машу жду, а самъ смотрю да любуюсь. Много ихъ тамъ, дѣточекъ милыхъ, и всѣ съ книжками... Понимаете, ужъ ихъ коснулось настоящее-то. Да... Шестьсотъ ученицъ въ гимназіи-то, и всякая будетъ образованная дѣвушка. Вы только это подумайте... Со всѣхъ онѣ сторонъ слетѣлись, какъ пчелки... Стою, смотрю, любуюсь и за свою собственную дикую темноту стыжусь. Да... Вѣдь теперь только подумать, что эти шестьсотъ дѣвушекъ выучатся, а на ихъ мѣсто новыя шестьсотъ ужъ готовы. И такъ безъ конца-краю... Ну-ка, прикинь на сто лѣтъ—это шестьдесятъ тысячъ. Ну-ка, а на всю Расею прикинь—милліоны выходятъ. Неисчерпаемое множество... И всякая, напримѣръ, въ домъ къ себѣ воротится, и ужъ все у нея по-другому, замужъ выйдетъ—дѣтокъ своихъ будетъ учить, книжки читать, умный разговоръ у ней. Да вѣдь этого и не пересчитаешь...

Выкуривъ еще папироску, Антонъ Степанычъ продолжалъ:

— Ну, образованнымъ людямъ не въ диковинку, что у нихъ въ домѣ гимназистка заведется. У нихъ ужъ это все положено... А вотъ мнѣ, дикому человѣку, дорого. Везу вотъ нынче Машу изъ гимназіи, ну, дорогой грѣшнымъ дѣломъ выпилъ... А она сейчасъ мнѣ нотацію: „зачѣмъ, дядя, водку пьешь?“—„А затѣмъ милая, что я есть дикій человѣкъ, и у меня одно дикое удовольствіе превратиться въ образъ свиньи“. Да-съ... Такъ и говорю. А потомъ еще: „Машенька, а ты не гордись, что образованная будешь... Нѣтъ, не гордись. Это только счастье такое тебѣ задалось передъ другими. Да... А ты вотъ этихъ другихъ-то и учи, чтобы эту самую темноту дикую изгнать и разорить“. Такъ я говорю, милостивый государь? Теперь у меня въ дому и книжка разная ведется, и тетрадки ученическія, и прочее, а выучится Маша...

Гдѣ-то вдали слабо звякнулъ колокольчикъ, и нашъ интересный разговоръ прервался. Ѣхалъ мой кучеръ.

Черезъ полчаса мы разстались. Охотники пропали опять въ темнотѣ. Костеръ потухалъ. Въ воздухѣ шарахнулась ночная птица и мгновенно исчезла, какъ брошенный сильной рукой камень.

1896.

НИМФА.

Разсказъ.

I.

Щегольской волжскій пароходъ „Вулканъ“ далъ уже второй свистокъ. По деревяннымъ сходнямъ торопливо бѣжала запоздавшая публика. Толкотня и давка, какъ на пожарѣ. Особенно волновались женщины, кромѣ узловъ и котомокъ тащившія ребятъ всевозможныхъ возрастовъ. Кто-то ругался, кто-то тяжело вздыхалъ, кто-то вполголоса „творилъ молитву“.

— И куда торопятся?!..—вслухъ удивлялся высокій сѣдой старикъ въ синей суконной поддевкѣ и такомъ же картузѣ.—Слава Богу, всѣмъ мѣста хватитъ, да еще и отъ насъ останется...

Онъ легко несъ свой багажъ, состоявшій изъ большого мѣшка, парусиннаго чемоданчика, овчиннаго тулупа и какихъ-то дорожныхъ узловъ. Разыскавъ свободную скамейку въ третьемъ классѣ, старикъ, не торопясь, размѣстилъ свой багажъ и, снявъ картузъ, истово помолился на одну изъ церквей, красовавшихся на нагорномъ берегу Волги.

— Здравствуйте...—степенно поздоровался онъ, раскланиваясь съ сосѣдями, но не получилъ отвѣта.

Какой-то исхудалый молодой человѣкъ интеллигентной наружности съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него и какъ-то болѣзненно съежился, втягивая голову въ плечи, точно ему было холодно, несмотря на тропическую іюльскую жару. Ихъ мѣста были рядомъ.

— Охъ, горе душамъ нашимъ...—со вздохомъ проговорилъ старикъ-купецъ, устроившись на своей лавочкѣ.

— Какое же такое особенное у васъ горе?—не безъ раздраженія спросилъ молодой человѣкъ, раскуривая папиросу.

— А такое... гм... У всякаго человѣка свое горе. Мало ли... Вотъ мы съ вами, напримѣръ, захватили во-время мѣста, устроились... да... А вдругъ паровикъ лопнетъ?

— Съ чего ему лопаться-то?

— На грѣхъ мастера нѣтъ... Не то что паровикъ, а и другой живой человѣкъ можетъ лопнуть. Вдругъ терпѣнья не станетъ въ человѣкѣ... Вонъ, въ газетахъ-то каждый день что пишутъ: тотъ отравился, тотъ удавился, тотъ застрѣлился, тотъ утопился... Даже женскій полъ и тотъ руки на себя накладываетъ. Разсердилась—и хлопъ нашатырнаго спирту или другой какой отравы.

— Это случайность...

— Случайность? Нѣтъ, ужъ извините, господинъ хорошій... Отчего же, напримѣрно, спрошу я васъ, въ прежнія времена этого не было?

— Очень просто: въ старину пароходовъ и паровыхъ машинъ не было — вотъ и взрывовъ парового котла не могло быть. А что̀ касается самоубійствъ, то... вообще... можетъ-быть, топились, вѣшались и отравлялись больше, чѣмъ теперь, только объ этомъ въ газетахъ не печатали.

— Ну, ужъ это извините, господинъ хорошій... Конечно, случаи бывали, но только дѣлалось это въ лишеніи ума а не за здорово-живешь.

— А вы слыхали про „сухую бѣду“ у вотяковъ? Нѣтъ? Ужъ тутъ совсѣмъ просто дѣлается... Живемъ мы съ вами, напримѣръ, сосѣдями въ деревнѣ. Вы и богаче и сильнѣе меня, и обижаете меня на каждомъ шагу. Ну, я и хочу вамъ отомстить разомъ за всѣ непріятности.. Приду ночью да на вашихъ воротахъ и повѣшусь!

— Для чего же это именно на моихъ воротахъ, позвольте узнать?

— А для того, что явится полиція, становой, слѣдователь,—ну, вы и отвѣчайте, какъ знаете.

— Такъ, такъ... Что̀ же, умственно придумано. И даже весьма... Ахъ, горе душамъ нашимъ!

Этотъ интересный разговоръ былъ прерванъ изнемогающей трелью невидимаго колокола. Пароходъ нѣсколько разъ тяжело вздохнулъ и началъ тихо отдѣляться отъ пристани, взбивая крутую волну.

— Господи, благослови...—шепталъ купецъ, откидывая широкіе кресты.— Пронеси, Николай-угодникъ...

Когда пароходъ дѣлалъ красивый поворотъ, Нижній съ его нагорнымъ берегомъ и ярмарочной стороной открылся во всей своей красотѣ.

— Эхъ, батюшка Нижній, всю-то Волгу-матушку ты кормишь и поишь,— думалъ вслухъ купецъ. — Мнѣ сказывалъ одинъ нѣмецъ-механикъ, что красивѣе его и во всемъ свѣтѣ не сыскать.

Молодой человѣкъ ядовито хихикнулъ, но купецъ сдѣлалъ видъ, что не обращаетъ на него вниманія.

— Ахъ, хорошо...—въ умиленіи повторялъ старикъ.—Вотъ, сорокъ лѣтъ плаваю по Волгѣ-матушкѣ, а наглядѣться не могу... Расчудесное это дѣло: пароходъ. Не то, что машина, гдѣ люди бѣгаютъ въ отсутствіи ума. А здѣсь вотъ позовешь услужающаго, онъ соберетъ пару чайку...

— А буфетъ вы забыли?

— Буфетъ? Ну, это опять особенная церемонія... Дѣло тоже невредное, особенно по осени, когда прохватитъ сыростью да холодомъ. Во благовременіи вино не вредитъ, и въ Писаніи такъ сказано: „невинно вино, а укоризненно піанство“. Такъ-то-съ, господинъ молодой человѣкъ...

А пароходъ все сильнѣе врѣзывался желѣзной грудью въ водяную гладь и, распахивая волну, усиливалъ ходъ. Берега точно плыли навстрѣчу ему. Десятки всевозможныхъ судовъ подолгу оставались въ полѣ зрѣнія. По правому берегу лѣпились въ живописномъ безпорядкѣ пригородныя постройки, домики, избушки,—издали вся эта незамысловатая стройка казалась и красивой и какъ-то особенно уютной. Кое-гдѣ мелькали яблоновые садики, огороды и полоски вспаханной земли. Старикъ-купецъ обошелъ всю палубу третьяго класса, любуясь въ окно съ разныхъ сторонъ на развертывавшуюся красу великой русской рѣки. Публики было много, и все какая-то бѣднота. Мужики съ унылыми лицами, изнуренныя, прежде времени состарѣвшіяся бабы, грязные ребятишки, глядѣвшіе кругомъ голодными глазами, разная инородь изъ Казанской губерніи,—все это сбилось въ одинъ живой муравей-

никъ. Нѣкоторые помѣстились прямо на полу, подостлавъ подъ себя верхнее платье.

По пути старикъ завернулъ въ буфетъ и спросилъ рюмку водки. Буфетчикъ, мрачный и непривѣтливый господинъ, какъ-то нехотя налилъ рюмку и отвернулся.

— Ярославскіе будете?—спросилъ старикъ, прожевывая закуску.

— Случалось...—нехотя отвѣтилъ буфетчикъ.

— А какого уѣзду?

— Забылъ... Давно родился...

— Должно полагать, ночью,—замѣтилъ обиженный неразговорчивостью ярославца старикъ. — Ярославцы-то всѣ по ночамъ рожаются, ну, и не помнятъ. Что̀ же, у всякаго свой фасонъ...

Обругавъ про себя неразговорчиваго ярославца, старикъ отправился бродить по пароходу. Между прочимъ, онъ зашелъ и на половину второго класса, гдѣ набралась чистая публика. Тамъ было совсѣмъ весело. Всѣ столики были заняты. Пили чай, закусывали, а за однимъ столомъ двое купцовъ съ особеннымъ аппетитомъ ѣли стерляжью уху.

— Въ Москвѣ такая полпорція стерляжьей-то ухи три рублика стоитъ,— объяснялъ одинъ.—Ей-Богу... А здѣсь полтина серебра.

— Мало ли что̀ въ Москвѣ,—отозвался другой.—Въ Москвѣ-то толсто звонятъ, да тонко ѣдятъ...

Старикъ походилъ, напрасно отыскивая знакомыхъ, и вернулся къ себѣ въ третій классъ. Подозвавъ услужающаго, бѣгавшаго съ салфеткой подъ мышкой, купецъ заказалъ себѣ порцію стерляжьей ухи. Услужающій человѣкъ бросился исполнять заказъ съ такой энергіей, точно хотѣлъ выскочить изъ собственной кожи, только бы угодить настоящему пассажиру. Третьеклассная публика бѣдная, и рѣдко кто побалуется чайкомъ, а всѣ русскіе услужающіе—самые продувные психологи

Когда услужающій подвинулъ купцу столикъ, накрылъ его салфеткой и поставилъ приборъ, всѣ сосѣди голодными глазами слѣдили за этими аппетитными приготовленіями. Появленіе ухи вызвало нѣсколько голодныхъ вздоховъ, а худенькій интеллигентный молодой человѣкъ даже отвернулся. Послѣднее движеніе не ускользнуло отъ вниманія старика, и онъ даже вздохнулъ.

„Эхъ, бѣдность, бѣдность...“ — думалъ онъ, съ особеннымъ удовольствіемъ прихлебывая стерляжью уху.

— Охъ, горе душамъ нашимъ... — вздохнулъ старикъ, дѣлая передышку.

Кончивъ свою порцію, старикъ почувствовалъ себя точно виноватымъ. Это было навязчивое, обидное чувство, когда человѣкъ начинаетъ оправдываться передъ самимъ собой. Старикъ только хотѣлъ покреститься, отыскивая востокъ, какъ глаза его встрѣтились съ улыбавшимися глазами молодой женщины, наблюдавшей его изъ-за плеча, очевидно, своего мужа—сухопараго молодого человѣка.

— Позвольте узнать, сударыня, чему вы изволите смѣяться?—обратился старикъ къ ней.

— А такъ... Жаль мнѣ васъ...

— Меня?!.

— Да... Вотъ вы съѣли порцію стерляжьей ухи, и вдругъ вамъ совѣстно.

— Совѣстно? Это какъ же такъ выходитъ? Ежели я за свои собственныя деньги... да...

— А ежели у другихъ собственныхъ-то денегъ нѣтъ, да они еще должны смотрѣть, какъ вы чавкаете?..

— Мадамъ, позвольте...

Купецъ что-то хотѣлъ сказать, но только махнулъ рукой и отвернулся.

II.

Путешествіе хорошо уже тѣмъ, что время летитъ совершенно незамѣтно, а спеціально для русскаго человѣка время—величайшій врагъ. Убивать этого врага существуетъ масса способовъ, до картъ включительно. Путешествіе на пароходѣ въ этомъ случаѣ занимаетъ первое мѣсто, потому что и поѣсть можно, и чай пить по три раза въ день, и въ буфетъ заглядывать время отъ времени. Купецъ такъ и дѣлалъ, пока не спустились сумерки.

Молодой человѣкъ, сидѣвшій рядомъ, ушелъ въ машинное отдѣленіе, гдѣ отъ работавшей машины такъ и тянуло благодатнымъ тепломъ. Его жена оставалась на мѣстѣ, кутаясь въ теплый платокъ.

— Сударыня, а вы куда изволите проѣзжать?—спрашивалъ старикъ.

— А такъ, куда глаза глядятъ...

— Такъ-съ, дорога самая прямая... А сами откуда изволите быть?

— Гдѣ были, тамъ ничего не осталось...

— Вѣрно-съ... Адресъ, можно сказать, безъ ошибки... Прямо можно сказать: посылай заказное письмо по такому-то адресу. По-нашему, по-мужицки, говорится такъ... Спрашиваютъ двухъ бродягъ:—„Гдѣ ты живешь?“ А онъ: „Гдѣ день, гдѣ ночь“. А другой-то говоритъ: „Я насупротивъ него живу, изъ окна въ окно“. Да-съ, случается...

— Охъ, горе душамъ нашимъ...—передразнила его сосѣдка и вызывающе засмѣялась.

Купецъ сдѣлалъ видъ, что не разслышалъ, и спросилъ:

— А чѣмъ вы занимаетесь, сударыня, т.-е. вашъ супругъ?

— Мы вмѣстѣ одно жалованье получаемъ: четыре недѣли въ мѣсяцъ, а пятую—спать...

„Этакая зубастая бабенка...“—удивлялся про себя старикъ, а потомъ прибавилъ вслухъ:—А вашъ супругъ, извините, имѣетъ свою службу?

— Отвяжитесь вы отъ меня... Супругъ... Какой онъ мнѣ супругъ? Такъ, въ родѣ офиціанта... „Эй, подай тò... подай другое...“

— Это вы, сударыня, изволите совершенно правильное разсужденіе имѣть...

— Скучно... А онъ же мнѣ въ глаза заглядываетъ...

Сдѣлавъ паузу, она прибавила, точно думая вслухъ:

— Если бы онъ хоть разъ пришелъ домой пьяный... да... ну, прибилъ бы меня... подъ глазами синяки съ кулакъ... Ну, я бы визжала, плакала, жаловалась всѣмъ... Вѣдь онъ кругомъ виноватъ, а я у него же прощенья бы просила... Однимъ словомъ, была бы баба бабой!

— Это вы точно, сударыня...

— Я ждала бы его пьянаго цѣлыя ночи напролетъ... А потомъ взяла бы, да и отравила...

Старикъ вскочилъ и сурово заявилъ:

— Ну, ужъ это совершенно напрасно... Такого закону, чтобы мужей травить, бабамъ еще не дадено... Очень даже просто!

Въ отвѣтъ на эти горячія слова старой мудрости послышался тихій, раздражающій смѣхъ, какъ смѣются избалованныя дѣти, когда ихъ щекочутъ. Старикъ поднялся и пошелъ опять къ буфету, а за нимъ по пятамъ тянулся русалочій смѣхъ.

— Старичокъ, на что вы сердитесь? Вернитесь...

Въ буфетъ старикъ не пошелъ, а остановился подъ люкомъ въ машинномъ отдѣленіи и началъ смотрѣть, какъ работаетъ паровая машина. Она казалась старику громаднымъ желѣзнымъ паукомъ, который съ трудомъ втягивалъ и вытягивалъ на себя десятки тонкихъ желѣзныхъ ногъ.

— Любуетесь машиной?—проговорилъ надъ его ухомъ появившійся неизвѣстно откуда худенькій молодой человѣкъ.

— Да... Невредно удумано. Каждую штучку вѣдь надо было изобрѣсти, да приладить, да отшлифовать.

— А знаете, кто устроилъ эту машину?

— Разные люди, которые поумнѣе.

Молодой человѣкъ засмѣялся и спокойно проговорилъ:

— Нѣтъ, все одинъ человѣкъ и придумалъ и сдѣлалъ...

— Ну, ужъ это вы извините, господинъ хорошій... т.-е. никакъ невозможно!

— А я его знаю... Его зовутъ: „голодный человѣкъ"...

Старикъ даже отодвинулся отъ своего собесѣдника, а потомъ покачалъ головой и проговорилъ:

— А что же... вѣдь вы, дѣйствительно, того... Ахъ, горе-душамъ нашимъ!.. Совсѣмъ даже правильно... Онъ, голодный, всякой всячины удумалъ, а гдѣ же сытому. Вѣрно!.. Золотое словечко изволили выговорить...

Подхвативъ молодого человѣка подъ руку, купецъ повелъ его въ сторону буфета.

— Водочку изволите принимать? — спрашивалъ старикъ, когда они остановились передъ закусками.

— Какъ вамъ сказать...—замялся молодой человѣкъ, оглядываясь на дверь.

— Понимаемъ-съ... Вѣдь всѣ супружницы этого не одобряютъ, а ваша меня впередъ вотъ какъ отчитала.

— Да?

— Въ лучшемъ видѣ...

Молодой человѣкъ весело засмѣялся, быстро выпилъ и велѣлъ налить снова по рюмкѣ.

— А не много ли будетъ?—спрашивалъ купецъ.—У насъ такъ отецъ дьяконъ на поминкахъ передъ каждой рюмкой спрашиваетъ.

Чтобы не оставаться въ долгу, купецъ спросилъ двѣ бутылки пива. Они стояли у буфета и благодушествовали. Молодой человѣкъ замѣтно раскраснѣлся и все пожималъ плечами, а потомъ не вытерпѣлъ и спросилъ старика:

— А она говорила съ вами?

— Обругали-съ въ лучшемъ видѣ...

— Это у нея нервы... Вы не сердитесь на нее. Если бы вы только знали, какъ мнѣ ее жаль...

Въ голосѣ молодого человѣка послышались слезы, и онъ какъ-то безсильно махнулъ рукой, точно она была у него перешиблена.

— Да, конечно, жена и всякое прочее...—бормоталъ старикъ, чтобы сказать что-нибудь.—Вообще, случается...

— Нѣтъ, тутъ дѣло не вообще, а совершенно особенный случай... Да что мы здѣсь стоимъ—пойдемте на воздухъ.

Они прошли на самую корму и присѣли на свернутый канатъ. Незамѣтно спустился лѣтній вечеръ. На небѣ ярко блестѣли звѣзды, отражаясь въ водѣ. За пароходомъ далеко тянулся двойной слѣдъ, замиравшій на берегу пѣнившейся волной.

— А вѣдь хорошо...—вслухъ подумалъ купецъ.—Вѣдь это благодать, кругомъ благодать... А намъ все мало... Ни у кого ничего нѣтъ, а всѣ другъ дружкѣ завидуемъ... Вотъ, примѣрно, пароходъ—почему онъ не мой, а какой-то компанейскій?

— Ну, это уже много будетъ. Вотъ мнѣ этого парохода и даромъ не надо...

— Позвольте, господинъ хорошій... Ежели вамъ пароходъ не нравится, вы его продайте, а на деньги-то и купите то, что̀ по сердцу. Вѣдь деньги, какъ паръ въ машинѣ—во всѣ стороны давятъ и рвутъ.

Пауза. Откуда-то изъ далекой ночной мглы донесся пароходный свистокъ, гдѣ-то высоко надъ головой просвистѣла стая дикихъ утокъ, летѣвшая на ночную кормежку.

— Да, деньги—сила, — согласился молодой человѣкъ, попыхивая въ темнотѣ папиросой.—А все-таки... да... Нѣтъ, мнѣ не нужно денегъ. Развѣ на деньги купишь счастье?

— Это вы правильно, потому какъ черезъ золото это самое, можетъ-быть, слезъ-то побольше льется, чѣмъ черезъ заплатки...

— А самое скверное то, что богатый человѣкъ дѣлается несправедливымъ...

— Глядя по человѣку...

— Нѣтъ, уже извините, тутъ всѣ одинаковы и равны, какъ въ болѣзни. Да и въ Писаніи сказано...

— Извините, что-то какъ будто не упомню...

— Въ церкви читаютъ... Помните: „Легче верблюду пройти черезъ игольныя уши, чѣмъ богатому войти въ царство небесное“.

— Да, да...—вспомнилъ старикъ, покачивая головой.

— И еще въ Писаніи сказано: „Кая бо польза человѣку, аще міръ весь пріобрящетъ, а душу свою отщетитъ“.

— Ахъ, Господи, да вы изъ духовныхъ, хорошій господинъ?

— Нѣтъ, такъ, просто... Люблю иногда божественное почитать.

— Читать-то, милый человѣкъ, одно, а понимать другое...

— А къ дѣлу, т.-е. къ своей жизни приложить—третье...

— Это вы изволите выражать даже очень умственно... Охъ, горе душамъ нашимъ!..

— Нужно своимъ маленькимъ довольствоваться и никому не завидовать.

— Это вы насчетъ парохода-то?

Опять пауза. Чуткая тишина лѣтней ночи усиливаетъ впечатлѣніе шумной работы машины. Тяжелые вздохи паровика, подавленный гулъ движущихся членовъ желѣзнаго скелета, какой-то желѣзный скрежетъ вѣчно голоднаго чудовища, дышащаго огнемъ...

— А она — славная... — заговорилъ молодой человѣкъ такимъ тономъ, точно старался убѣдить самого себя.—Знаете, сейчасъ мы возвращаемся изъ Малороссіи къ себѣ домой... въ Лаишевскій уѣздъ... Цѣлыхъ два года промаячили въ Малороссіи. Кто-то вѣдь придумалъ: „благословенная Малороссія“. Х-ха... Ну, мы и повѣрили... да...

— Видно, тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ?

— Вѣдь мы спали и видѣли только одну эту Малороссію. Ну, а тутъ я получилъ маленькое наслѣдство... Такъ, тысячи три-четыре. Много ли намъ двоимъ нужно? Сейчасъ я бросилъ службу, пораспродалъ весь скарбъ—и въ дорогу. Былъ у меня въ Полтавской губерніи знакомый учитель, который жилъ своимъ хуторкомъ. Ну, мы къ нему... Очень намъ понравилось. Бѣленькая

хатка, баштанъ, вишневый садочекъ, свои арбузы. Однимъ словомъ, помирать не надо... И намъ онъ помогъ купить имѣньице, т.-е. такъ, клочокъ земли въ пять десятинъ. Была и своя хатка, и садикъ, и огородикъ... Мечта!.. Понимаете? Когда мы перешли на свою землю, я заплакалъ, какъ ребенокъ... Конецъ скитаньямъ... Самъ, своими руками буду все дѣлать и буду жить трудами только собственныхъ рукъ... А жена мечтала о курочкахъ, уточкахъ, гусяхъ, поросятахъ... Хозяйство-то, какъ колесо, заразъ всѣми спицами вертится, и ни одну вынуть нельзя. Однимъ словомъ, радуемся до слезъ, точно во второй разъ родились... Жена сразу оживилась. Набѣгается по хозяйству день-денской — ну, конечно, и аппетитъ отличный и сонъ мертвый.

— И картошку, и огурчикъ, и капустку садили?—спрашивалъ купецъ, увлекаясь хозяйственными мечтами.—Помилуйте, первое это дѣло, чтобы настоящій крѣпкій овощъ... да. А фруктъ—это сущіе пустяки. Одно баловство.

— Съ овощами-то мы и не могли устроиться...

— Какъ такъ?!.

— Еще картошка кое-какъ росла, а капуста и огурецъ не согласны... Нашихъ сортовъ и не выгонишь, а ихніе—не нашъ вкусъ.

— Капуста требуетъ землю сырую и потную, и чтобы ее морозцемъ взбадривало. У огурца опять своя церемонія.... Супротивъ нашего-то муромскаго огурчика по всѣму свѣту не сыскать... Даже самъ колется отъ своего сѣмя...

— У хохловъ свое хозяйство...

— А рыбка полагается?

— Совсѣмъ мало... Озеръ нѣтъ, рѣкъ мало... Такъ, кое-гдѣ помѣщики разводятъ у себя въ прудахъ карасей да карповъ.

— Такъ, такъ... А безъ рыбки-то даже вотъ какъ скучно, особенно кто ежели посты соблюдаетъ...

Купецъ широко вздохнулъ, разгладилъ бороду и спросилъ:

— Ну, такъ какъ же вы тамъ съ имѣньемъ-то своимъ управлялись, господинъ хорошій?

Молодой человѣкъ болѣзненно съежился и тихо отвѣтилъ:

— А такъ... Бросили все и бѣжали...

— Ну-у?!.. Т.-е. позвольте, въ какомъ это смыслѣ: бѣжали?

— Даже безъ всякаго смысла бѣжали... Не у чего было оставаться.

— А имѣнье-то?

— Вотъ въ немъ-то и вышла вся наша бѣда... Пробовали развести фруктовый садъ—всѣ деревья вытащили и переломали. Развели огородъ... весь овощъ раскрали... да... Гусей, утокъ, куръ — все раскрали. Парочку овечекъ кормили и поросеночка—тоже.

— Скажжите... Кто же это озорничалъ?

— А вотъ это и неизвѣстно... Мы никому зла не дѣлали.

— Такъ, такъ... Даже со стороны это обидно. Да-а... Ну-съ, что же вы сдѣлали подъ конецъ, господинъ хорошій?

— Да что было дѣлать: продали все за половину цѣны мѣстному лавочнику, а сами бѣжали. И стыдно и обидно, а ничего не подѣлаешь... Теперь ни къ чему домой ѣдемъ... Вотъ жена и волнуется впередъ.

— Даже вполнѣ понятно, хоть до кого доведись... Ахъ, горе душамъ нашимъ!.. И все такъ на бѣломъ свѣтѣ дѣлается... Одинъ скачетъ, а пятеро плачутъ...

III.

Ночь. Темная июльская ночь. Небо покрыто облаками. Въ прорывахъ тучъ иногда мелькаютъ одинокія, точно заблудившіяся въ недосягаемой вышинѣ звѣздочки. По рѣкѣ ползетъ колыхающейся массой туманъ. Публика уже спитъ, за исключеніемъ двухъ-трехъ неугомонныхъ пассажировъ, которые бродятъ, какъ ночныя тѣни. Старикъ-купецъ устроилъ себѣ на лавочкѣ походную постель и готовился заснуть. Но въ самый интересный моментъ, когда мысли уже начали путаться въ головѣ, его кто-то осторожно потрогалъ за руку. Онъ быстро сѣлъ и увидѣлъ стоявшую передъ нимъ странную сосѣдку. Она куталась въ свой теплый платокъ, какъ привидѣніе.

— Сударыня...

— Я вамъ помѣшала спать?—тихо спросила она.

— Нѣтъ, ничего-съ... Такъ, вздремнулъ.

Она сѣла рядомъ съ нимъ и заговорила:

— Вы меня презираете?..

— Я-съ? Помилуйте, не имѣю никакого полнаго права...

— А мужъ вамъ жаловался на меня?

— Нѣтъ-съ, былъ посторонній разговоръ...

— Ахъ, не обманывайте меня... Онъ всѣмъ жалуется. Ходитъ по пароходу и жалуется.

— Это вы изволите совершенно напрасно воображать себѣ...

— Знаю, знаю, а только я не виновата... да... А васъ какъ зовутъ?

— Егоромъ, сударыня... Егоръ Иванычъ Пышкинъ.

— Ну, фамилія глупая, а имя хорошее... Вѣдь въ имени каждаго человѣка сказана впередъ вся его судьба. Егоръ—это и бодро и серьезно... да. Вотъ я называлась Глафирой, да еще Кузьминичной... Развѣ изъ такого глупаго имени можетъ быть что-нибудь хорошее? Вотъ прожила всю жизнь, а ни одной еще порядочной Глафиры не встрѣчала... Такъ, шушера разная: старыя дѣвы, просвирни, разведенныя жены...

— Изволите ошибаться, сударыня... У насъ въ городу есть одна Глафира Павловна, такъ женщина, можно сказать, первый сортъ. И при собственномъ капиталѣ и при собственномъ каменномъ домѣ, а мужъ—тише воды, ниже травы. Преотличная дама, однимъ словомъ...

— А все-таки Глафира...

Она тихонько засмѣялась, а потомъ проговорила уже другимъ тономъ:

— А знаете, что̀ я сейчасъ думала? Ни за что не угадать... да... Я боюсь воды... Вѣдь всего одинъ шагъ, бросилась въ воду и поминай, какъ звали. Можетъ-быть, кто-нибудь и пожалѣетъ сумасшедшую Глафиру... Вотъ вы первый, вѣдь пожалѣете?

— Всекопечно... И даже весьма, потому очень еще вы молоды, и все у васъ впереди... А кромѣ всего прочаго, самое-то главное и въ каждомъ человѣкѣ—душа. Вотъ душу-то и надо пожалѣть...

— Послушайте, Егоръ Иванычъ, вы совсѣмъ не то говорите... Вы мнѣ годитесь въ отцы и должны меня побранить... да... По-настоящему побранить, чтобы мнѣ сдѣлалось совѣстно-совѣстно... Зачѣмъ я, напримѣръ, чужой вѣкъ заѣдаю?

— Это вы насчетъ супруга?

— Да... Вѣдь нашлась бы другая женщина, съ которой онъ былъ бы счастливъ... У нихъ были бы такія хорошія дѣтки, а онъ такъ любитъ дѣтей... У васъ есть дѣти?

— Ахъ, барыня, барыня... Всякія вѣдь дѣтки-то бываютъ, особенно по

нынѣшнимъ временамъ. Еще ходить не выучился, а ужъ родителевъ не уважаетъ... Даже очень просто!.. У меня двѣ дочери замужемъ да сынъ неженатый...

— Вотъ и отлично... И не жените, а то попадется еще жена такая же шалая, какъ я.

— Все отъ Бога, сударыня... Кому ужъ какое счастье.

— А отчего же у меня нѣтъ счастья? Мужъ хорошій, смирный, а я все злюсь... Настоящая змѣя подколодная... Какія слова ему говорю... Другой мужъ такую-то жену десять бы разъ убилъ... И вѣдь все я отлично понимаю, и про себя вотъ какъ раскаиваюсь, и даже плачу по ночамъ... Самой на себя обидно!.. Да... А удержаться никакъ не могу.

— Богу нужно молиться, сударыня...

— А если во мнѣ настоящей молитвы нѣтъ?

— Тогда нужно плакать, сударыня... Слезы—тоже молитва.

— И плакать не могу... Если и плачу, то со злости

— И опять грѣхъ... Угодники-то Богу молились со слезами, а не злились.

— На то они и угодники были, а мы... Ахъ, тоска тоскучая!.. Я вотъ разговариваю съ вами, а сама ненавижу васъ... да...

— За что же-съ, позвольте узнать?

— За все... А главное за то, что вы такъ довольны собой. Да... Я вотъ мѣста не нахожу себѣ, а вы собой любуетесь... Навѣрно, и жену еще свою колотите... Да? Знаю, знаю этакихъ-то благочестивыхъ старичковъ... Чуть что, и сейчасъ жену въ ухо, чтобы въ головѣ дня три звенѣло, какъ на колокольнѣ въ Пасху...

— Ну, это вы напрасно, сударыня... Не случалось. Нынче и скотину, и ту не бьютъ.

— Потому что нѣтъ расчета... А почему же не отколотить собственную супругу? Законъ-то вѣдь за васъ... Это называется: мужъ жену учитъ. За скотину-то деньги плачены, а жена даромъ досталась...

— Видите ли, сударыня, вѣдь жены-то разныя бываютъ...

— А почему бьютъ именно хорошихъ женъ? Своими глазами сотню разъ видала...Живешь въ деревнѣ, такъ вашего мужского звѣрства досыта насмотришься...

Старикъ тяжело вздохнулъ и только махнулъ рукой. Молодой человѣкъ, притворявшійся спящимъ, неожиданно фыркнулъ отъ смѣха, вскочилъ и убѣжалъ въ буфетъ.

— Видѣли?—спрашивала она.—Ему же и смѣшно, идіоту...

Старикъ молча поднялся и тоже пошелъ къ буфету. Изъ-за двери выставилась голова молодого человѣка, который продолжалъ улыбаться.

— Ну, и купоросъ мѣдный, а не женщина,—говорилъ старикъ, входя въ буфетъ.—Самыя кусательныя слова такъ изъ нея и сыплются, точно изъ мѣшка съ горохомъ, когда его проткнутъ палкой...

Молодой человѣкъ продолжалъ улыбаться.

„Да онъ съ ума спятилъ или отъ роду блаженненькій“, — невольно подумалъ купецъ.

Выпили по двѣ рюмки. Старикъ какъ-то сразу размякъ и что-то сормоталъ себѣ подъ носъ. „Очень просто... да... всеконечно... гм...“ Въ буфетъ заходила „публика“, торопливо „проглатывала рюмку“ и возвращалась на палубу по своимъ мѣстамъ. Буфетчикъ дремалъ за своей стойкой, глядя на гостей непонимающими глазами.

— Тяжело вамъ, господинъ хорошій, день-то деньской за стойкой торчать?—пробовалъ опять заговорить старикъ.

— Ничего, мы привыкши...

Послѣ легкой выпивки въ буфетѣ, Егоръ Иванычъ взялъ молодого че-

ловѣка подъ руку и повелъ на верхнюю палубу, куда допускалась только публика перваго и второго классовъ. Разставленныя по бортамъ скамейки были сейчасъ пусты, и друзья заняли одну изъ нихъ.

— Расчудесное дѣло...—думалъ старикъ вслухъ.

— Именно?

— А такъ... вообче... Значитъ: благодать.

Молодой человѣкъ хотѣлъ что-то сказать, но старикъ перебилъ его:

— Позвольте, господинъ хорошій... да... Какъ-никакъ, а съ женой надо помириться. Мало ли что̀ бываетъ по семейному дѣлу... Женщина—слабъ сосудъ, какъ въ Писаніи сказано. Да...

— Ахъ, ужъ и надоѣли вы мнѣ со своимъ Писаніемъ...

— А вы не сердитесь... Не нами удумано, не нами и кончится. Да... Такъ первое дѣло: всякаго человѣка надо жалѣть. Счастливыхъ людей нѣтъ, у всякаго есть свое горе... да. Теперь возьмемъ такой случай, что человѣкъ не понимаетъ... живетъ и не понимаетъ.

— Случается...

— И всѣ мы ничего не понимаемъ... А со стороны-то и жаль смотрѣть... Особенно на молодыхъ людей... Даже вотъ какъ жаль... Эхъ, самое это любезное дѣло, ежели бы миркомъ да ладкомъ.

— Я понимаю, куда вы клоните... Только я-то при чемъ тутъ?

— А надо умѣть, господинъ хорошій... Надо въ другой разъ и видѣть да не видѣть, и слышать да не слышать. Что̀ дѣлать, видно, ужъ такія времена настали...

Старикъ долго говорилъ въ этомъ родѣ, говорилъ, въ сущности, „пустыя слова“, но молодой человѣкъ слушалъ его съ жадностью. На него, главнымъ образомъ, гипнотизирующе дѣйствовалъ спокойный, мѣрный тонъ старческаго увѣщанія.

Темная лѣтняя ночь обняла Волгу. Жуткая тишина настраивала воображеніе. Егоръ Иванычъ нѣсколько разъ зѣвнулъ и заявилъ:

— Пора и на боковую... д-да.

Молодой человѣкъ, какъ тѣнь, поплелся за нимъ. Старикъ угрюмо молчалъ и молча расположился на своемъ ложѣ. Онъ тяжело вздыхалъ, а потомъ захрапѣлъ. Сквозь сонъ онъ почувствовалъ, что кто-то осторожно присѣлъ къ нему на лавочку. Егоръ Иванычъ быстро сѣлъ. Это была опять Глафира.

— Сударыня...

— Извините меня...—умоляюще прошептала она.—Мнѣ тошно... тяжело... Ахъ, какъ тяжело!..

Она наклонилась къ нему и тихо прибавила:

— Меня такъ и тянетъ броситься въ воду... Ради Бога, держите меня... Ахъ, какъ тяжело... Вѣдь вы говорили, что у васъ есть дочь?.. Навѣрно, и ей бываетъ тяжело...

— Ахъ, сударыня...

— Вы разсердитесь на меня... побраните...

У старика что-то захолонуло на душѣ. Ему вдругъ стало жаль вотъ эту несчастную, которая, какъ ночная птица, летѣла на окно, освѣщенное чужимъ свѣтомъ. Надо было что-то сказать, успокоить, просто пожалѣть вслухъ, а словъ не было. Голова была, какъ пустой карманъ.

— Что̀ же я вамъ скажу, дорогая моя? Вѣдь я простой человѣкъ, и во мнѣ никакихъ образованныхъ словъ нѣтъ...

— Вотъ именно и не надо этихъ образованныхъ словъ... Очертѣли они мнѣ... А что-нибудь простое, строгое... чтобы я плакала настоящими, а не злыми слезами...

Старикъ молчалъ. Онъ долго покачивалъ головой, стараясь что-то припомнить, а потомъ рѣшительнымъ тономъ проговорилъ:

— Нѣту такихъ словъ, сударыня... Это въ прежнія времена, дѣйствительно, бывали строгія, сурьезныя слова, а нынче... Какъ бы это вамъ попятнѣе выразить? Въ деревнѣ жили, такъ видали, какъ хлѣбъ молотятъ... да-съ... Хорошее-то, полновѣсное зерно поближе къ хозяину падаетъ, а пустое-то вмѣстѣ съ мякиной летитъ во всѣ стороны...

— Къ чему вы это говорите? Я ничего не понимаю...

— А такъ, для вразумленія... Очень ужъ дешевыя слова пошли кругомъ, ну, ихъ и разноситъ во всѣ стороны, какъ мякину...

— И все-таки не понимаю, хоть убейте...

— Очень даже просто: и слова бываютъ пустыя и люди пустые... Оно ужъ одно къ одному. Извините, есть такая мужицкая поговорка: свинья не родитъ бобра... Ежели человѣкъ не будетъ себя взнуздывать, ну, и пропалъ...

Она тихо засмѣялась.

— Вотъ вамъ смѣшно, сударыня, а я даже весьма сурьезно... Надо все сурьезно дѣлать. Тогда и горя не будетъ... И всѣ будутъ между собой, какъ братья...

— Скучно, терпѣнья не хватитъ...

— А въ терпѣньи-то и вся наша сила... Все отъ терпѣнья.

— Это со стороны-то легко говорить, а вотъ посадить бы васъ въ нашу бабью кожу... Вѣдь вы ни за какія деньги не согласились бы превратиться въ бабу?

— Зачѣмъ же это-съ, позвольте?

— А такъ, къ слову... Впрочемъ, тутъ не о чемъ и разговаривать. Курица не птица, баба не человѣкъ.

Пауза. Глухо гудитъ машина, тяжело вздыхаетъ паровикъ, точно его душитъ какая-то невидимая рука.

— Говорите же что-нибудь...—шептала женщина въ сѣромъ платкѣ.— Вѣдь слова-то дешево стоятъ... А у меня никого-никого нѣтъ. Однимъ словомъ: „нимфа“, какъ меня называетъ мужъ. Мнѣ такъ хочется чего-нибудь бояться... бояться и кого-то любить... Такъ, по-хорошему любить, чтобы и у самой на душѣ тепло дѣлалось... Вѣдь есть же на бѣломъ свѣтѣ хорошіе люди? Когда была маленькой, я такъ любила ходить въ церковь. Угодники смотрятъ съ образовъ такими строгими-строгими глазами, а ты знаешь, что они всѣ до одного были добрые и хорошіе... Я и житія святыхъ любила читать, страшно и хорошо, и хотѣлось плакать...

— Сударыня, вотъ что я вамъ скажу: пора спать...

Она вскочила, какъ ужаленная, посмотрѣла на него округлившимися глазами и покорно пошла къ своей лавочкѣ.

IV.

Егоръ Иванычъ не сумѣлъ бы сказать, что съ нимъ было: какъ будто задремалъ, а какъ будто и нѣтъ. Мимо него ходили люди, разыскивая свободныя мѣста, гдѣ-то переругивались невидимые голоса, пароходъ стоялъ у какой-то пристани, и т. д. и т. д. Потомъ пароходъ двинулся, загудѣлъ и вдругъ остановился. Поднялась суматоха.

— Вонъ тамъ бросилась!..—хрипло кричалъ кто-то.—Прямо подъ колесо.

— Кто бросился?

— А женщина въ сѣрой шали...

— Давайте лодку!..

Очнувшись, Егоръ Иванычъ сразу понялъ, какая женщина бросилась въ воду, и набожно перекрестился.

— Охъ, горе душамъ нашимъ...—благочестиво шепталъ онъ.

1908.

ОДИНЪ ИЗЪ АНЕКДОТИЧЕСКИХЪ ЛЮДЕЙ.

Изъ уральской лѣтописи.

I.

Странно устроенъ русскій человѣкъ, если посмотрѣть на него со стороны... Между прочимъ, можно указать на такую, чисто-русскую аномалію,— именно, что только на Руси водятся чисто-анекдотическіе люди, какихъ рѣшительно нигдѣ не сыскать. Живетъ - живетъ человѣкъ, по-своему о чемъ-то думаетъ, чего-то желаетъ, даже куда-то стремится, а умеръ — и помянуть нечѣмъ. Ну, будь это еще обыкновенный коптитель неба, какая-нибудь микроскопическая посредственность, существующая, между прочимъ, Богъ знаетъ для чего—тогда еще понятно, пожалуй, такое ничтожество; а то—умираетъ видный человѣкъ, крупная величина, человѣкъ, извѣстный не только всей Россіи, но и „заграницѣ", начинаютъ біографы рыться въ его прожитой жизни съ самыми благочестивыми намѣреніями вытащить на Божій свѣтъ хотя что-нибудь—и въ результатѣ получается та роковая точка, которая, по образному выраженію математиковъ, не имѣетъ никакого измѣренія. Въ самомъ счастливомъ случаѣ, плодомъ кропотливой біографической работы является всего нѣсколько анекдотовъ, какъ остаются отъ просѣяннаго песку на днѣ рѣшета нѣсколько галекъ... И замѣчательно то, что иногда десятокъ такихъ галекъ получается, когда просѣютъ жизнь нѣсколькихъ поколѣній видной исторической фамиліи!..

На эти невеселыя мысли навела насъ смерть извѣстнаго нашего уральскаго магната Павла Павловича Демидова, князя Санъ-Донато, и мы теперь рѣшились побесѣдовать съ читателемъ объ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ съ нашей—„мѣстной, уральской"—точки зрѣнія, тѣмъ болѣе, что столичная печать уже сказала о немъ свое „столичное" слово. Мы съ намѣреніемъ выждали, когда столичная печать выскажетъ все о покойномъ. П. П. Демидовъ принадлежалъ всегда столицамъ, слѣдовательно столичная печать могла представить о немъ наиболѣе полныя біографическія данныя. Что же получилось въ результатѣ? Да ровно ничего, кромѣ двухъ-трехъ анекдотовъ, да и анекдотовъ-то очень плохихъ... Чтобы сказать что-нибудь о покойномъ, столичная печать принуждена была перерыть жизнь Демидовыхъ за нѣсколько поколѣній, и все-таки ничего, кромѣ давно извѣстныхъ анекдотовъ, не нашла. Согласитесь, читатель, что все это немножко странно, чтобы не сказать больше, и невольно наводитъ на цѣлый рядъ мыслей нашей общественной психологіи...

II.

Родился П. Н. Демидовъ въ 1839 г. въ г. Веймарѣ, умеръ въ 1885 г. въ Италіи. Образованіе свое онъ закончилъ въ петербургскомъ университетѣ, гдѣ получилъ степень кандидата по юридическому факультету, а затѣмъ служилъ по разнымъ вѣдомствамъ и учрежденіямъ: при государственной канцеляріи, при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, такъ что поочередно былъ—то помощникомъ старшаго экспедитора (62 г.), то камеръ-юнкеромъ двора Его Величества (63 г.), то состоящимъ при посольствѣ въ Вѣнѣ (65 г.), то совѣтникомъ подольскаго губернскаго правленія (70 г.), наконецъ кіевскимъ городскимъ головой (71 г.) и егермейстеромъ двора Его Величества (73 г.). Кромѣ всего этого, Демидовъ былъ постоянно занятъ разными промышленными предпріятіями или просто предпріятіями: сахароваренiемъ, американскими элеваторами, изданіемъ своей собственной газеты, мурманскими рыбными промыслами, еврейскимъ вопросомъ и т. д. и т. д. Внезапная смерть этого неугомоннаго дѣятеля была почтена сочувственной телеграммой самого итальянскаго короля Гумберта, адресованной на имя жены Демидова.

Просматривая этотъ длинный списокъ „дѣятельностей“ покойнаго уральскаго заводчика, является невольно вопросъ: позвольте, что же Демидовъ сдѣлалъ для своихъ громадныхъ заводовъ и когда онъ успѣвалъ что-нибудь сдѣлать для нихъ, состоя и помощникомъ старшаго экспедитора и совѣтникомъ подольскаго губернскаго правленія? Вопросъ довольно щекотливый, но онъ разрѣшается очень просто: Демидовъ занимался рѣшительно всѣмъ, кромѣ своего заводскаго дѣла, да и на заводахъ почти не бывалъ... Въ первый разъ онъ былъ въ Тагильскихъ заводахъ въ 1849 году, подросткомъ-мальчикомъ, вмѣстѣ со своей матерью Авророй Карловной Карамзиной, а во второй и послѣдній разъ вскорѣ послѣ „воли“—въ 1863 г., когда пріѣзжалъ на Уралъ полноправнымъ владѣльцемъ всѣхъ своихъ милліонныхъ имѣній. Послѣ этого послѣдняго визита на Уралъ, продолжавшагося около трехъ недѣль, Демидовъ, въ теченіе двадцати лѣтъ съ лишкомъ, совсѣмъ не заглядывалъ на заводы, предпочитая служить помощникомъ экспедитора и губернскимъ совѣтникомъ.

Можетъ-быть, Демидовъ не любилъ заводскаго дѣла, поэтому и предпочиталъ оставаться въ сторонѣ, предоставивъ все въ руки своихъ повѣренныхъ?—но вѣдь заводское дѣло слагается не изъ одной спеціально-фабричной дѣятельности, требующей спеціальныхъ знаній и даже извѣстнаго склада характера; рядомъ съ чисто-фабричной работой совершается громадная административная дѣятельность, а мы уже видѣли выше, что Демидовъ не прочь былъ отъ разныхъ промышленныхъ предпріятій и даже занимался чисто-канцелярской службой. Что же его въ такомъ случаѣ не пускало на заводы, гдѣ работы было по горло? Между прочимъ, извѣстно всѣмъ демидовскимъ служащимъ, что ихъ владѣлецъ каждый годъ собирался ѣхать въ Тагильскіе заводы и каждый разъ откладывалъ свое намѣреніе: это уже какая-то трагедія съ непреодолимымъ рокомъ, въ качествѣ главнаго дѣйствующаго лица...

III.

Округъ Нижнетагильскихъ заводовъ, принадлежащихъ Демидову на правѣ посессіоннаго владѣнія, занимаетъ собой громадную территорію въ **600.000 десятинъ, съ пятидесятитысячнымъ населеніемъ. Всѣхъ заводовъ 11,**

не считая селъ и деревень. Годовая производительность заводовъ достигаетъ до 6 милліоновъ рублей, причемъ чистый доходъ владѣльца—1½ милліона рублей. Насколько велика дѣятельность этихъ заводовъ—мы можемъ указать только на приблизительную цифру ежегодно истребляемаго ими древеснаго топлива, именно, около 200.000 куб. саж. дровъ, т.-е. если эти дрова превратить въ обыкновенныя квартирныя, то получится полѣниница въ 1200 верстъ! Однимъ словомъ, заводское хозяйство громадное, и намъ остается только добавить, что его размѣры безъ особенныхъ натяжекъ могли бы быть увеличены въ десять разъ, потому что природныя богатства этого округа буквально неистощимы: одна гора Высокая, которая стоитъ въ самомъ Нижнетагильскомъ заводѣ, заключаетъ въ себѣ, ни больше ни меньше, какъ около 30 милліардовъ лучшей въ свѣтѣ желѣзной руды! Демидову принадлежитъ, кажется, четвертая часть этой горы. Кромѣ этого, въ томъ же округѣ есть богатыя мѣдныя руды, золотыя розсыпи, единственные въ свѣтѣ по своему богатству платиновые пріиски и т. д. и т. д. Кажется, есть надъ чѣмъ поработать!..

Мы уже сказали, что въ первый разъ Демидовъ былъ на своихъ заводахъ вмѣстѣ съ матерью, — еще совсѣмъ мальчикомъ, — и, конечно, трудно было ожидать, чтобы такая поѣздка могла имѣть для юнаго магната серьезныя послѣдствія. Но заводское населеніе до сихъ поръ вспоминаетъ съ удовольствіемъ о матери Демидова, которая прожила на заводахъ цѣлое лѣто и успѣла оставить по себѣ самую хорошую память, главнымъ образомъ—своей благотворительностью и необыкновенной доступностью. Кромѣ первыхъ основателей заводовъ, изъ владѣльцевъ никто не жилъ на нихъ, а проводили всю жизнь въ столицахъ или за границей,—поэтому цѣлое лѣто, проведенное владѣлицей на заводахъ, являлось пріятнымъ исключеніемъ. Аврора Карловна умѣла обращаться съ народомъ, была необыкновенно ласкова со всѣми и входила во всевозможныя мелочи заводскаго быта: крестила дѣтей у рабочихъ, была посажёной матерью на свадьбахъ, дарила приданое бѣднымъ невѣстамъ и т. д. По ея иниціативѣ были устроены богадѣльня, родильный домъ, нѣсколько школъ, дѣтскіе пріюты; выдавались пособія по совершенію нечаяннымъ несчастіямъ, какъ падежъ лошади или коровы...

— Мать была наша...—говорилъ одинъ старикъ-служащій, вспоминая пріѣздъ Авроры Карловны на заводы.—Да и изъ себя была она такая красавица писаная... А съ народомъ, съ самой чернядью, какъ обращалась: съ мужиками цѣловалась!.. Да!.. Конечно, крѣпостные всѣ были, зависимые, а честь да ласка дороже золота, потому тоже — душа у каждаго! И Андрей Николаевичъ Карамзинъ, мужъ Авроры Карловны, отличный человѣкъ: серьезный такой и внимательный...

Андрей Николаевичъ Карамзинъ былъ сынъ нашего историка Карамзина; онъ погибъ въ крымскую кампанію, гдѣ-то на Дунаѣ. Какъ человѣкъ, онъ отличался замѣчательными достоинствами, и его имя въ Тагильскихъ заводахъ до сихъ поръ произносится съ уваженіемъ.

IV.

Наступила воля. Въ Тагильскіе заводы пріхалъ самъ молодой баринъ. П. П. Демидову тогда было лѣтъ 22—23. Всѣ, конечно, ждали его пріѣзда, какъ евреи ждутъ своего мессію.

Что-то скажетъ молодой баринъ? Какіе порядки поставитъ? Не поможетъ ли простой черняди въ новомъ вольномъ положеніи?

Баринъ явился въ сопровожденіи громадной свиты, во главѣ которой

стоялъ профессоръ Добровольскій, ѣхавшій на Уралъ со спеціальной цѣлью завести новые административные порядки.

— Собрались мы въ господскомъ домѣ, въ пріемной залѣ,—разсказывалъ тотъ же старичокъ, который помнилъ пріѣздъ на заводы Авроры Карловны. — Ждемъ Павла Павлыча... Тоже цѣлую жизнь прослужили, такъ любопытно было, что̀ онъ намъ скажетъ. Попрежнему-то, какъ Аврора Карловна пріѣзжала, ждали отъ барина большой милости. Хорошо... Выходитъ Павелъ Павлычъ, съ нимъ Добровольскій и прочіе. Оглянулъ этакъ насъ, т.-е. служащихъ, да и отвѣсилъ: „Я, говоритъ, все знаю, какъ вы меня обманываете, воруете... а теперь ужъ этого не будетъ. Все по-новому устроимъ!..“ Однимъ словомъ, обругалъ насъ всѣхъ, какъ воровъ и мошенниковъ, да и ушелъ назадъ, а мы стоимъ дураками въ передней,—стыдно другъ другу въ глаза посмотрѣть. Конечно, и у насъ всячины бывало, грѣхъ не по лѣсу ходитъ, а по людямъ — пользовались которые разными крохами, да вѣдь на крѣпостномъ-то положеніи безъ малаго голодная смерть; ну, только не всѣ же воры были да мошенники! Народъ извѣстный, по пальцамъ всѣхъ пересчитать можно, а кто разбогатѣлъ на демидовскомъ-то добрѣ? Мы же для него старались въ свою долю, по своему разуму, а онъ насъ—вонъ какъ встрѣтилъ!.. Были, я вамъ скажу, среди насъ такіе служаки, которые демидовское-то добро пуще своего наблюдали; ну, ихъ онъ зачѣмъ обидѣлъ?..

Дѣйствительно, нужно отдать справедливость, что заводская среда выдвигаетъ постоянно самыхъ безкорыстныхъ работниковъ, особенно изъ старыхъ служакъ. Мы когда-нибудь спеціально вернемся къ этому интересному типу, а теперь указываемъ на него только по поводу оригинальной рѣчи молодого Демидова, обругавшаго поголовно всѣхъ своихъ крѣпостныхъ служащихъ— ворами и мошенниками...

— Конечно, Павелъ Павлычъ молоды были и сего не могли понимать,— продолжалъ старикъ.—Его такъ еще въ Петербургѣ настроили противъ насъ, ну, значитъ, и грѣхъ на душѣ у этихъ настройщиковъ-то... Со мной рядомъ стоялъ старикъ Иванъ Леонтьичъ; онъ въ мѣдномъ рудникѣ лѣтъ двадцать смотрителемъ служилъ и честнѣйшая душа: какъ хорошій песъ всегда надъ демидовскимъ-то добромъ трясся. Каждый день въ году спускался и по всѣмъ работамъ самъ обходилъ, а это, на худой конецъ, подъ землей по шахтамъ верстъ десять надо обѣжать: вода бѣжитъ, грязь вездѣ, гдѣ въ три погибели надо сгибаться, а гдѣ и на четыркахъ ползти... Ну, на этакую работу здоровье нужно имѣть!.. Я разъ спускался въ мѣдную шахту, обошелъ съ нимъ работы, такъ потомъ недѣли съ двѣ ноги да руки точно чужія были. Мудреная работа и вознагражденіе капельное... Ну, а Иванъ Леонтьичъ какъ каторжный хлопоталъ, и безкорыстный былъ человѣкъ, — а тутъ вдругъ попалъ изъ подлецовъ въ подлецы... Легко это?.. Выходимъ мы изъ господскаго дома, смотрю я на Ивана Леонтьича, а у него слезы на глазахъ. Ничего старикъ не сказалъ, крѣпкій былъ человѣкъ, а только рукой махнулъ... Вонъ, нынче инженеровъ къ намъ въ Тагилъ нагнали, — такъ, небось, пріѣдетъ на мѣдный-те рудникъ, выкуритъ папиросу да, съ позволенія сказать, сходитъ кой-куда — и былъ таковъ. Конечно, инженеры—люди образованные, жалованье имъ большое, и честь, и награды,—гдѣ же такой-то человѣкъ станетъ вамъ въ горѣ ползать, какъ Иванъ Леонтьичъ?..

Демидовъ прожилъ на заводахъ около трехъ недѣль и провелъ все время въ разныхъ „забавкахъ“ или на охотѣ; служащимъ и рабочимъ къ нему не было никакого доступа; особенно сторожились подозрительныхъ личностей, которыя могли обезпокоить барина прошеніемъ. Дѣлами баринъ не

занимался и на фабрикахъ не бывалъ. Кстати, интересно, какъ Н. Н. Демидовъ объѣзжалъ свои владѣнія. Въ это время какъ разъ мнѣ случилось быть въ Висимѣ, на одномъ изъ небольшихъ заводовъ, въ сорока верстахъ отъ Тагила. Стояла середина лѣта, настоящая заводская страда, но рабочіе толкались въ ожиданіи барина въ селеньи, потому что — какъ же не встрѣтить Павла Павлыча... Фабрика и господскій домъ были вычищены и вылизаны до послѣдней степени, поскольку допускаетъ чистоту фантазія и предѣлы человѣческихъ силъ. Такъ прошло, въ самомъ томительномъ ожиданіи, нѣсколько дней, наконецъ было получено самое вѣрное извѣстіе, что Павелъ Павлычъ „ѣдутъ". Помню, какъ около господскаго дома собралась трехтысячная толпа съ ранняго утра; съ ближайшаго завода, гдѣ баринъ кушали чай, летѣли „загонщики" одинъ за другимъ, съ извѣстіями, что баринъ начали кушать чай, потомъ откушали, садятся въ коляску и изволили благополучно отбыть. Суматоха ожиданія была ужасная,—точно на Висимъ шелъ непріятель. Наконецъ прилетѣлъ послѣдній загонщикъ, махавшій отчаянно шапкой, а за нимъ вихремъ прокатилась коляска четверней, заключавшая барина; коляска была окружена почетнымъ конвоемъ изъ джигитовавшихъ пѣсообъѣздчиковъ, а за ней тряслись нѣсколько экипажей съ избранными представителями свиты. Весь народъ, конечно, стоялъ безъ шапокъ; барину поднесли хлѣбъ-соль, баринъ принялъ и немного нахмурился—ему, видимо, надоѣла эта церемонія; онъ побылъ въ господскомъ домѣ какъ разъ столько времени, сколько было нужно для перекладки новыхъ лошадей, т.-е. четверть часа, сказалъ нѣсколько словъ окружавшей господскій домъ толпѣ и — укатилъ на слѣдующій заводъ. Объ осмотрѣ фабрики, конечно, не могло быть и рѣчи: баринъ переѣзжалъ съ завода на заводъ съ такой отчаянной скоростью, точно за нимъ гналась стая волковъ. Единственнымъ результатомъ этой поѣздки по заводамъ было нѣсколько загнанныхъ лошадей...

Такъ баринъ Павелъ Павлычъ — ни съ чѣмъ пріѣхалъ и ни съ чѣмъ уѣхалъ, предоставивъ обновленіе дѣла своимъ приспѣшникамъ, призваннымъ со спеціальной цѣлью обновить дѣло. И дѣйствительно обновили, т.-е. просто-напросто — устроили съ одной стороны неизбѣжное сокращеніе штатовъ служащихъ и рабочихъ, а съ другой—прибавили крупной сошкѣ жалованья, а дѣло такъ и осталось на прежнемъ положеніи.

— Аврора-то Карловна, наша голубушка, сама по всѣмъ фабрикамъ ходила, — говорилъ мнѣ одинъ старикъ, бывшій кричный мастеръ.—У насъ на Висимѣ была на фабрикѣ, такъ я полосу на ея глазахъ вытянулъ: похвалила и цѣлковый изъ собственныхъ ручекъ пожаловала... Павелъ Павлычъ, конечно, заправскій баринъ,—только до мамыньки далеко ему!..

V.

Послѣ своей второй поѣздки на Уралъ Н. Н. Демидовъ цѣлыхъ двадцать два года собирался ѣхать на заводы, но какая-то роковая „сила" вѣчно его отталкивала отъ такого подвига. Нужно замѣтить, что этой „силѣ" было очень выгодно такое положеніе владѣльца: рабочіе и мелкіе служащіе—все поголовные мошенники, а честные люди—только тѣ, которые получаютъ жалованье отъ трехъ тысячъ до пятнадцати... Пока Павелъ Павлычъ собирался, честные „дорогіе" люди продолжали политику профессора Добровольскаго: закрывались мало по малу школы, уничтожены были родильный домъ и богадѣльня, жалованье мелкой служительской сошкѣ доведено до такихъ микроскопическихъ размѣровъ, которые едва ли удовлетворили бы самую скромную бактерію; сокращающая рука коснулась даже церковныхъ про-

свиреп... Выдававшіяся пособія увѣчнымъ и престарѣлымъ отмѣнены; получающимъ жестокія членовредительства на заводской работѣ начали выдавать одновременное пособіе въ размѣрѣ, кажется, 3 р., а тамъ—промышляй самъ. Достаточно указать на тотъ фактъ, что на мосту, между заводоуправленіемъ и фабрикой, въ Тагилѣ, лѣтъ пятнадцать сидѣлъ рабочій съ выжженными порохомъ на рудниковой работѣ глазами и питался подаяніемъ. Увѣчные, престарѣлые, безпріютные — всѣ были выброшены на улицу. Нашлись добрые люди, которые на частныя средства устроили благотворительное общество и на средства этого общества дѣтскій пріютъ,—и что же? Тагильское заводоуправленіе въ лицѣ своихъ власть имѣющихъ представителей — постоянно преслѣдовало это общество и подставляло ему ножку на каждомъ шагу! Достаточно указать на тотъ фактъ, что, напримѣръ, и теперь просвѣщенное тагильское управленіе, въ лицѣ горнаго инженера Грамматчикова, не находитъ возможнымъ дать какой-нибудь уголъ дѣтскому пріюту общества; мало того, когда благотворительнымъ обществомъ даются спектакли для увеличенія своихъ скудныхъ средствъ, управленіе Грамматчикова не стыдится брать съ общества по 25 р. за помѣщеніе, такъ какъ спектакли даются въ демидовскомъ заводскомъ театрѣ. По нашему личному мнѣнію, такое скваныжничество просто-напросто—недостойно...

А между тѣмъ въ самомъ Тагилѣ встрѣчаются случаи самой вопіющей бѣдности. Такъ, одна дама-благотворительница разсказывала такую „живую картину“: пріѣзжаетъ она въ своемъ участкѣ въ одну избушку и застаетъ пятерыхъ, буквально голыхъ дѣтей, которыя жались всѣ на печи, — дѣло было зимой; ѣли они, какъ щенята, изъ одного большого желѣзнаго таза, куда мать-нищая складывала дневную порцію подаянія... Положеніе бѣдности, не имѣющей возможности по дряхлости или увѣчью даже просить подаянія, самое вопіющее, и только одно тагильское заводоуправленіе ничего знать не хочетъ, потому что у всемірнаго благотворителя—Павла Павлыча—развѣ могутъ быть бѣдные на собственныхъ заводахъ?!..

— Помилуйте-съ! Развѣ можно взвалить на плечи Павлу Павлычу все,—разсуждалъ одинъ заводскій администраторъ.—Теперь, слава Богу, есть земство, наконецъ сельскія общества — пусть они устраиваютъ богадѣльни да школы...

И дѣйствительно народныя школы, которыя содержались въ крѣпостное время Демидовымъ, перешли на земское иждивеніе, за исключеніемъ двухъ-трехъ да тагильскаго реальнаго училища, которое существуетъ для нѣкоторыхъ лицъ только какъ спеціальная статья кормленія.

Послѣ приведенныхъ данныхъ смѣшно говорить о фамильной благотворительности П. П. Демидова, какъ почтили его память, напримѣръ, „Новости“. Въ упомянутой газетѣ приведена даже цифра ежегодно расходуемыхъ Демидовымъ суммъ на благотворительныя цѣли, именно, ни больше ни меньше, какъ 255 тысячъ рублей. Интересно, какъ распредѣляется эта круглая сумма: одна половина этой суммы расходится на благотвореніе въ предѣлахъ Россіи, а другая идетъ на заводы, именно на содержаніе учебныхъ заведеній, церквей и причтовъ, госпиталей и аптекъ и т. д. На это мы замѣтимъ „Новостямъ“, что содержаніе школъ и госпиталей на всѣхъ фабрикахъ обязательно, — слѣдовательно эта графа расходовъ никоимъ образомъ не можетъ быть подведена подъ рубрику „благотворительности“; относительно содержанія церквей и причтовъ то же самое — это что угодно, а только не благотворительность. А гдѣ богадѣльня, гдѣ родильный домъ, гдѣ пенсіи увѣчнымъ и престарѣлымъ?.. Если разобрать по закону, то Демидовъ долженъ имѣть однихъ

школъ какъ разъ вдвое или даже втрое больше, потому что вѣдь у него цѣлыхъ одиннадцать заводовъ, а школы только въ двухъ-трехъ! Вотъ вамъ и „фамильная демидовская благотворительность“, которая среднимъ числомъ въ годъ ограничивается для всѣхъ заводовъ нищенской цифрой тысячи въ двѣ, а не въ полтораста! Если деньги летѣли изъ демидовскаго кармана, то отнюдь не на заводы, а въ центральные города и за границу, гдѣ онѣ раздавались щедрой рукой, безъ всякаго разбора, направо и налѣво, десятками и сотнями тысячъ. Но что десятитысячное населеніе, представлявшее Демидову милліонные доходы, ничѣмъ не пользовалось отъ него—это фактъ!..

„Новости“, въ пылу усердія, приписываютъ иниціативѣ того же П. П. Демидова открытіе въ Тагильскихъ заводахъ 10-ти ссудо-сберегательныхъ товариществъ; но и въ этомъ случаѣ князь Сапъ-Донато не былъ виноватъ ни душой ни тѣломъ, и подвержено большому сомнѣнію, подозрѣвалъ ли онъ вообще о существованіи какихъ-то ссудо-сберегательныхъ товариществъ на бѣломъ свѣтѣ...

Единственное, что̀ еще можно было бы поставить въ нѣкоторую заслугу П. П. Демидову, какъ заводчику (кстати, никто изъ его панегиристовъ не обмолвился объ этомъ ни единымъ словомъ) — это постепенное введеніе на своихъ заводахъ минеральнаго топлива; первый примѣръ, тѣмъ болѣе почтенный, что онъ, разъ, требовалъ громадныхъ затратъ, а второе — отъ этого зависитъ дальнѣйшее преуспѣяніе всей уральской заводской промышленности. Но и этотъ фактъ мы не можемъ поста ить насчетъ заслугъ покойнаго магната, потому что такой переходъ къ минеральному топливу былъ вынужденъ недостаткомъ древеснаго, а потомъ еще вопросъ, кому принадлежитъ иниціатива въ этомъ, дѣйствительно важномъ дѣлѣ.

Какъ человѣкъ, какъ типъ, П. П. Демидовъ является крайне сложнымъ явленіемъ, выработавшимся подъ давленіемъ совершенно исключительныхъ условій исторіи уральскаго горнаго дѣла, и для его разъясненія мы должны просмотрѣть біографію выдающихся уральскихъ заводчиковъ, въ генеалогическомъ порядкѣ, за весь періодъ „насажденія горнаго дѣла“ на Уралѣ, начиная съ императора Петра Великаго. Къ этому мы и приступимъ въ одномъ изъ слѣдующихъ нашихъ очерковъ.

1885.

ОТВѢТА НЕ БУДЕТЪ.

Разсказъ.

I.

— Такъ у насъ будетъ яблоневый садъ? — спрашивала она, подводя лѣвый глазъ чернымъ карандашомъ.

— Да... Весной яблони чудно цвѣтутъ...—отвѣчалъ онъ, наблюдая, какъ она быстро и умѣло гримировалась.

— А внизу Волга?

— Усадьба стоитъ на самомъ обрывѣ... Съ балкона открывается видъ верстъ на пятнадцать; а въ весенній разливъ Волга разливается верстъ на семь...

— Очень хорошо... т.-е. хорошо и обрывъ, и разливъ Волги, и цвѣтущія яблони. А знаете, чего недостаетъ въ вашемъ саду?

Она повернула къ нему свое раскрашенное лицо и посмотрѣла улыбающимися глазами. О, это было удивительное лицо, которое тянуло его къ себѣ, какъ электромагнитъ. Чего стоили одни глаза, сѣрые съ поволокой, маленькій ротъ, при каждой улыбкѣ открывавшій два ряда бѣлыхъ, какъ слоновая кость, зубовъ, розовыя, маленькія уши, лукавая ямочка на подбородкѣ, небольшой, но красиво вылѣпленный лобъ, даже родинка на лѣвой щекѣ,—все было хорошо и точно картина было вставлено въ живую раму мягкихъ, слегка вьющихся, съ золотистымъ отливомъ бѣлокурыхъ волосъ.

— Да, недостаетъ въ вашемъ саду fleur d'orange... — проговорила она, медленно роняя слова.

Онъ не понялъ, что̀ она хотѣла сказать, и совершенно серьезно отвѣтилъ:

— Fleur d'orange — это цвѣты померанцеваго дерева, проще сказать— апельсиноваго...

— Да-а? Вотъ удивительно... Значитъ, изъ каждаго бутона подвѣнечныхъ цвѣтовъ выросло бы по апельсину — и только?

— И только...

— Ахъ, зачѣмъ вы это мнѣ сказали?.. А я думала, что fleur d'orange совсѣмъ особенное растеніе, въ родѣ лиліи, и что оно спеціально растетъ, какъ эмблема юности и невинности. Вѣдь это жалкая проза: апельсинъ.

Онъ продолжалъ не понимать и смущенно улыбался. Она хлопнула его лежавшимъ на столѣ вѣеромъ и проговорила серьезнымъ тономъ:

— Ну-съ, что̀ же мы стали бы дѣлать въ вашемъ саду?

— Каждый день гуляли бы...

— А въ усадьбѣ?

— А въ усадьбѣ стали бы жить...

Она засмѣялась, запрокинувъ голову. Онъ видѣлъ ея точеную круглую шею, тяжело подымавшуюся грудь и вздрагивавшія отъ смѣха покатыя плечи.

— Гулять въ саду... жить... — повторяла она, вытирая набѣжавшія отъ смѣха на глаза слезы. — Вотъ вы мнѣ испортили весь гримъ... Ахъ, милое дитя!.. Сколько вамъ лѣтъ?

— Будетъ двадцать три...

— Прекрасные года, и могу только позавидовать вамъ. А какъ вы думаете, сколько мнѣ лѣтъ? Впрочемъ, лучше не угадывайте, да я и сама начинаю забывать собственную хронологію...

Разговоръ происходилъ въ артистической уборной одного изъ веселыхъ лѣтнихъ уголковъ Петербурга, на дверяхъ которой была прилѣплена бумажка съ надписью: Марья Ивановна Гуляева. Внутренность этой уборной поражала своимъ убожествомъ. Стѣны были устроены кое-какъ изъ барочнаго лѣса съ круглыми дырами отъ деревянныхъ гвоздей; эти дыры служили источникомъ вѣчнаго сквозняка, несмотря на затычки изъ ваты, тряпокъ и бумаги. Обстановка состояла изъ просиженнаго диванчика, двухъ стульевъ, туалетнаго столика и умывальника. Въ углу на вѣшалкѣ въ артистическомъ безпорядкѣ размѣщены были разные театральные костюмы. Застоявшійся воздухъ былъ пропитанъ запахомъ одеколона, пудры, дешевыхъ крѣпкихъ духовъ. Единственное окно, выходившее въ садъ, было цѣломудренно завѣшено пожелтѣвшей отъ времени кисеей,—во время спектакля, когда Марья Ивановна переодѣвалась, его было неудобно отворять, а въ остальное время дня и ночи — не нужно. Но и такая уборная составляла извѣстнаго рода роскошь, доступную только „первымъ номерамъ“ лѣтней садовой труппы. Марья Ивановна находилась уже въ предѣльномъ возрастѣ садовыхъ этуалей и вела отчаянную борьбу съ наступавшей, неумолимой, какъ смертный грѣхъ, артистической старостью. Ея дни были сочтены, но она держалась на лѣтнихъ сценахъ прочно, благодаря громкому имени. Въ каждой профессіи есть свои громкія имена...

Стоявшій предъ ней молодой человѣкъ былъ ни красивъ ни дуренъ, а только молодъ, молодъ нетронутой молодостью. Окладистая русая бородка придавала ему солидный видъ не по годамъ, а серьезные каріе глаза смотрѣли какъ-то необыкновенно просто и довѣрчиво. По изящному лѣтнему костюму можно было безъ ошибки опредѣлить, что онъ принадлежалъ къ людямъ „изъ общества“. Марья Ивановна отлично изучила свою садовую „зоологію“ и видѣла каждаго насквозь съ первыхъ минутъ знакомства. Молодой человѣкъ ей нравился именно своей порядочностью, и она позволяла ему бывать у себя въ уборной. Но сегодня онъ ее удивилъ, такъ что даже Марья Ивановна растерялась, стараясь придать всему шутливый тонъ.

— Не забудьте, что я говорилъ все совершенно серьезно...—проговорилъ онъ немного глуховатымъ тономъ,—у него отъ волненія пересохло во рту.

— Да? Ахъ, да... Пожалуйста, не мѣшайте мнѣ своими шутками... Сейчасъ мой номеръ... Что̀ вамъ спѣть?

— Все равно, что̀ хотите...

— Хорошо... Я знаю, что̀ вы любите больше всего.

Она хотѣла еще что-то сказать, но послышался осторожный стукъ въ дверь,—это было приглашеніе режиссера. Она быстро поднялась, подхватила длинный трэнъ и, шелестя шелковыми юбками, какъ очковая змѣя своей сухой кожей, торопливо вышла изъ уборной. Идя по грязному коридору, едва освѣщенному жалкими керосиновыми лампочками, она улыбалась и повторяла про себя:

— Ахъ, какой смѣшной... какой глупый... милый!..

Дверь въ уборную оставалась открытой, и онъ слышалъ, какъ раздался неистовый вопль тысячи голосовъ, аплодисменты и тотъ особенный шумъ человѣческой толпы, который такъ напоминаетъ морской прибой. Это она показалась на сценѣ, и толпа ревѣла, какъ хищный голодный звѣрь, которому бросили кусокъ сырого мяса. Потомъ все стихло. Потомъ послышались первыя слова романса, который онъ такъ любилъ:

Не зажигай огня...

Онъ замеръ отъ волненія, впивая въ себя каждую ноту. Да, это она пѣла для него и дѣлала признанія чужими словами...

Звуки замолкли. Легкая пауза. И опять цѣлая буря, какъ тысячеголосое эхо на призывъ и ласку. Онъ поднялся и началъ ходить по уборной быстрыми шагами. У него въ душѣ тоже была буря, но молчаливая, какъ собирающаяся гроза. О, какъ онъ ненавидѣлъ сейчасъ все: и эту неистово ревущую толпу, и всю кабацкую обстановку, даже самый воздухъ, пропитанный специфическими міазмами безшабашнаго разгула. Это было настоящее гнилое болото, точившее изъ себя ядовитыя испаренія, а она — та водяная лилія, чистая и благоухающая, невинную бѣлизну которой не могли убить всѣ болотные яды, взятые вмѣстѣ. Кабацкій адъ и первый окрыляющій лепетъ любви...

Публика продолжала неистовствовать, заставляя пѣть все новые номера. Марья Ивановна пѣла изъ „Гейши", модные цыганскіе романсы и т. д. Въ уборную она вернулась усталою, съ красными пятнами на лицѣ, съ помутившимися глазами. Въ рукахъ у нея было нѣсколько визитныхъ карточекъ, которыя она небрежно швырнула на туалетный столикъ. На его нѣмой вопросъ она устало проговорила:

— Ахъ, это все приглашенія на ужинъ въ отдѣльномъ кабинетѣ... Мои милые поклонники, кажется, думаютъ, что у меня, какъ у верблюда, шесть желудковъ... И все наши провинціалы, и все семейные люди, и все старички... Дома-то стыдно съ пѣвицами по отдѣльнымъ кабинетамъ ужинать, а здѣсь ихъ никто не знаетъ,—ну и пользуются случаемъ покутить.

Поймавъ ревнивое выраженіе въ его глазахъ, она съ улыбкой прибавила:

— Не бойтесь, у васъ соперниковъ нѣтъ... Я хочу сегодня быть только сама собой, что̀ составляетъ для меня недоступную роскошь. Всего одинъ вечеръ быть самой собой...

Потомъ она положила ему свои бѣлыя, полныя руки на плечи и, пытливо глядя въ глаза, прошептала вполголоса:

— И вѣдь не каждый вечеръ предлагаютъ руку и сердце... Не правда ли?

Онъ опустилъ глаза, и она поняла, что сказала безтактность.

II.

По окончаніи спектакля они отправились въ дальній уголокъ сада, гдѣ въ низенькомъ каменномъ зданіи были устроены отдѣльные кабинеты. Она шла съ нимъ подъ руку и осторожно оглядывалась кругомъ, точно боялась встрѣтить кого-нибудь изъ знакомыхъ. Онъ это чувствовалъ и тоже оглядывалъ толпу. Безъ встрѣчи однако не обошлось. Попались два актера. Одинъ толстый, съ краснымъ лицомъ, другой красивый брюнетъ съ наглыми, темными глазами. Они переглянулись, и толстякъ что-то шепнулъ по адресу Марьи Ивановны. Брюнетъ улыбнулся одними глазами и презрительно повелъ плечомъ.

„Негодяи!.."—думала Марья Ивановна, ускоряя шаги.

Отдѣльный кабинетъ походилъ, какъ всѣ кабинеты, на кабацкое лого-

вище. Захватанная, грязная мебель, исцарапанное бриллянтами зеркало, заношенный коверъ на полу и т. д. Въ дверяхъ кабинета Марью Ивановну догналъ капельдинеръ и хотѣлъ тайно сунуть ей въ руку еще двѣ визитныхъ карточки, но она брезгливо отстранила его.

— Довольно, довольно!.. Скажи, что я умерла... да, умерла.

Когда дверь затворилась, она упала въ кресло и проговорила упавшимъ голосомъ:

— Ахъ, какъ я устала, если бы вы знали... Кстати, вѣдь я забыла, какъ васъ зовутъ... простите...

— Павелъ Константиновичъ Ружищевъ..

— Да, да... Еще разъ простите. У меня такая плохая память, а потомъ...

Она хотѣла сказать: „...у меня столько знакомыхъ, и каждый день все новые“, но во-время удержалась. Онъ разсматривалъ меню кушаній, не зная, что предложить.

— Павелъ Константиновичъ, я хочу сегодня выбрать что-нибудь самое дешевое: борщокъ... сосиски съ капустой... печенку въ сметанѣ...

— А я хотѣлъ вамъ заказать паровую стерлядь...

— Ахъ, нѣтъ... Мнѣ до смерти надоѣли всѣ эти деликатесы... Я хочу чего-нибудь самаго-самаго простого...

— А какое вино?

— Не нужно вина... Спросите бутылку самаго дешеваго пива. Поужинаемъ по-студенчески... Сейчасъ я закажу вареной колбасы съ чеснокомъ... Знаете, ломтиками съ переплетомъ изъ кожицы... потомъ кусокъ дешеваго русскаго сыра, который крошится подъ ножомъ... Прелесть!..

Онъ засмѣялся, довольный ея фантазіей. Получившій заказъ официантъ презрительно посмотрѣлъ на Ружищева,—развѣ гости такъ угощаютъ Марью Ивановну? Помилуйте, первый номеръ и вдругъ — бутылка пива!..

— Отлично, отлично...—повторяла она, разсматривая суженными глазами Ружищева.

Она сбросила лѣтнюю накидку и нѣсколько разъ подходила къ окну и прислушивалась къ смутному гулу садовой толпы.

— Слѣдовало уѣхать куда-нибудь въ дешевенькій ресторанчикъ...—соображала она. — Есть такіе... Тамъ всегда пахнетъ пригорѣлымъ масломъ, жаренымъ лукомъ, селедкой... Впрочемъ, теперь уже все закрыто, кромѣ самыхъ дорогихъ ресторановъ.

Ужинъ вышелъ совсѣмъ по-семейному. Марья Ивановна имѣла привычку выпивать на ночь рюмку водки, „для нервовъ“, какъ она объясняла. Сейчасъ она раскраснѣлась и казалась совсѣмъ миловидной. Впечатлѣніе портили только остатки грима около глазъ. Ружищевъ все время любовался ею и съ большимъ вниманіемъ слушалъ безконечную женскую болтовню.

— Я вамъ надоѣдаю? — нѣсколько разъ спрашивала она съ какой-то виноватой улыбкой.—А мнѣ такъ хочется разсказать вамъ все, все... т.-е. ужъ не совсѣмъ все, а то, что вамъ можетъ быть интересно. Родилась я и выросла тамъ, далеко, на югѣ... Семья была не богатая и не бѣдная, а такъ, концы съ концами сводились. Дѣтство прошло скучно и неинтересно... А вотъ когда я перешла въ четвертый классъ гимназіи — мнѣ тогда было ровно четырнадцать лѣтъ... Но я казалась гораздо старше, а коротенькое платье-форма дѣлало меня даже пикантной. О, я рано узнала себѣ цѣну... Можетъ-быть, въ этомъ и заключалось все несчастіе послѣдующей жизни. Вы, мужчины, не понимаете, какъ радостно просыпается въ дѣвочкѣ-подросткѣ женщина... Что вы торчите въ креслѣ, Константинъ Павлычъ?

— Павелъ Константиновичъ...

— Виновата... Садитесь вотъ сюда, на диванъ, рядомъ... чокнемтесь! Да, было очень хорошо... Какъ сейчасъ вижу себя такимъ подросткомъ. У меня былъ великолѣпный ростъ, большая коса, чудный цвѣтъ лица, красивые, ласковые глаза... Я могу теперь говорить такъ о себѣ потому что это было давно, и я говорю о себѣ, какъ о постороннемъ человѣкѣ, какъ говорила бы о тѣхъ дѣвочкахъ, которыхъ встрѣчаю сейчасъ на улицѣ и которыми искренно восхищаюсь. Да садитесь вы ближе!.. Ахъ, какой вы... странный! Или лучше я сама подвинусь къ вамъ... Вотъ такъ!..

Она почти касалась плечомъ его плеча. Онъ чувствовалъ теплоту ея тѣла, запахъ пудры... Голова слегка кружилась, и глаза застилало туманомъ, какъ въ горячее лѣтнее утро, когда земля курится невидимымъ ароматомъ. Было и жутко и хорошо, и хотѣлось сказать такъ много, сказать тѣми удивительными словами, которыя такъ же трудно поймать, какъ собственную тѣнь. А она болтала, прихлебывая изъ своего стакана пиво и обсыпая крошками сыра свое платье.

— Вы обращали вниманіе, Констан... т.-е. Павелъ Константиновичъ, на выраженіе человѣческихъ глазъ? Боже, какъ хорошо смотрятъ маленькія дѣти, совсѣмъ маленькія!.. У мальчиковъ чистота взгляда утрачивается быстро, а у дѣвочекъ сохраняется лѣтъ до шестнадцати... Да, именно чистота... Хочется смотрѣть въ такіе глаза, какъ на тихую воду, не возмущенную еще вѣтромъ. Такими глазами смотритъ вся душа, пока она чиста и нетронута... Да, такъ я была въ четвертомъ классѣ, потомъ перешла въ третій... Мнѣ было уже неудобно ходить въ коротенькомъ форменномъ платьицѣ...

Она вздохнула и откинула голову на спинку дивана, полузакрывъ глаза. Онъ взялъ ея руку и тихо ее гладилъ. Она не отнимала руки и не открывала глазъ. Это было сладкое полузабытье, и Марья Ивановна продолжала видѣть себя дѣвочкой-подросткомъ.

— Да, это было чудное время....—прошептала она, точно просыпаясь.— А потомъ...

— Я знаю, что̀ было потомъ...—перебилъ онъ.—То-есть догадываюсь...

Ее охватила страстная жажда разсказать ему все, все, разсказать всю свою жизнь. Вѣдь онъ такой хорошій, такой весь чистый, и долженъ знать, какую женщину хочетъ привести въ свою родовую усадьбу, въ свой любимый яблоновый садъ. Конечно, онъ отвернется отъ нея, будетъ презирать, но это все-таки лучше подлаго обмана... О, она такъ много лгала, цѣлую жизнь лгала, каждое ея слово было ложь. Когда онъ давеча сдѣлалъ ей предложеніе, она сочла это за одну изъ тѣхъ шутокъ, какія пускаются въ оборотъ для сближенія съ такими женщинами, какъ она. Въ ея репертуарѣ было нѣсколько такихъ случаевъ. Но сейчасъ она чувствовала, чувствовала какъ-то всѣмъ своимъ существомъ, что онъ говорилъ съ ней совершенно серьезно, какъ чувствовала его удивительный взглядъ, — онъ смотрѣлъ на нее тоже всѣмъ своимъ существомъ, смотрѣлъ каждой каплей своей неиспорченной, чистой крови.

Они молчали нѣсколько минутъ, но это молчаніе было краснорѣчивѣе всякаго разговора. Онъ понялъ, о чемъ она думала, и предупредилъ ее.

— Да, я знаю... — заговорилъ онъ, съ трудомъ подбирая слова,—знаю, что у васъ было прошлое... да... Но это меня не касается, я этого не желаю знать... Есть чувства, которыя покрываютъ все, какъ огонь очищаетъ металлъ отъ ржавчины... Я отлично сознаю, что̀ дѣлаю и на что иду... Только одно условіе: ради Бога, никогда и ни одного слова объ этомъ прошломъ! Мнѣ было бы обидно, больно и ужасно слышать о немъ, да еще отъ васъ...

Она молчала, чувствуя, какъ ей начинаетъ недоставать воздуха и какъ передъ глазами начинаютъ ходить разноцвѣтные круги.

— Да, никогда, никогда! — повторилъ онъ, крѣпко сжимая ея руку. — Человѣкъ—не въ своихъ ошибкахъ, а въ своей душѣ... въ своемъ сердцѣ...

Онъ говорилъ еще что-то, серьезно и просто, какъ братъ съ сестрой. А изъ сада доносился шумъ гулявшей толпы, звуки садовой музыки... Марьѣ Ивановнѣ казалось, что ее зовутъ туда, гдѣ бурлитъ эта тысячная толпа, и ей хотѣлось спрятаться, уйти куда-то далеко, оставивъ здѣсь навсегда ту Марью Ивановну, которую знала садовая публика и къ которой относилась какъ къ своей собственности. Такъ думаютъ безнадежные больные, которые мечтаютъ уѣхать какъ можно дальше отъ собственной болѣзни.

— Вы хорошій и добрый... — говорила она материнскимъ тономъ. — Главное, добрый... Добрыхъ людей такъ мало на свѣтѣ. Добрымъ нельзя сдѣлаться,—это въ крови... Вѣроятно, у васъ и отецъ и мать очень добрые люди?

— Да, не злые...

Они просидѣли до глубокой ночи, болтая о разныхъ постороннихъ вещахъ, получившихъ въ ихъ глазахъ сейчасъ какое-то особенное значеніе и важность. На прощанье она его крѣпко поцѣловала. Это былъ первый поцѣлуй, и она удивилась, что ея сердце бьется чаще обыкновеннаго.

Стояла безлунная, бѣлая ночь. Въ саду оставались только запоздавшіе гости. Изъ одного кабинета доносился шумъ пьяной драки. Измученные офиціанты торопливо сновали съ пустой посудой и неоплаченными счетами. Воздухъ былъ напоенъ пьянымъ угаромъ.

Ружицевъ проводилъ Марью Ивановну до извозчика и усадилъ ее въ экипажъ.

— Я не люблю, когда меня провожаютъ...—ласково предупредила она съ загадочной улыбкой.

III.

Да, стояли безлунныя, бѣлыя петербургскія ночи...

Съ Марьей Ивановной было плохо. Она испытывала такое ощущеніе, какъ будто ее что-нибудь придавило. Марья Ивановна плакала и злилась на себя.

— Ахъ, старая дура, старая дура!..

Она подходила къ зеркалу, разсматривала съ особеннымъ вниманіемъ начинавшее блекнуть лицо и горько улыбалась.

— Старая, совсѣмъ старая...

Когда-то Марья Ивановна такъ издѣвалась надъ старившимися женщинами, которыя отчаянно молодились для сцены... А теперь наступала ея очередь... Время безжалостно. Она въ нѣмомъ отчаяніи хваталась за голову, проклинала себя и опять плакала. О, никто, никто не долженъ ничего знать!.. Въ теченіе одного дня у нея составлялось по десяти разныхъ рѣшеній. Конечно, она никогда не выйдетъ за Ружицева: это было бы просто смѣшно,— мужу двадцать четыре года, а женѣ тридцать семь. Цѣлая пропасть въ тринадцать лѣтъ. Нѣтъ, она будетъ его любить такъ, просто, безъ всякихъ обязательствъ, пока онъ будетъ ее любить... годъ, можетъ-быть, два... Быть нищей, быть нелюбимой—это еще ничего, а быть смѣшной—это уже свыше всякихъ силъ. Съ другой стороны, женятся же старики на совсѣмъ молоденькихъ дѣвушкахъ, бываютъ браки на взаимномъ уваженіи, бываютъ наконецъ мужчины, которые любятъ всего одинъ разъ въ жизни и видятъ въ женѣ человѣка, друга, лучшую часть самого себя. Еще дальше: вѣдь она можетъ

умереть въ разгаръ своего счастья, и онъ тоже. Наконецъ, она всегда можетъ уйти, замѣтивъ перемѣну въ его чувствахъ, и вернуть ему полную свободу.

Ея увлеченіе уже не составляло тайны для товарищей по сценѣ. Ее встрѣчали двусмысленными улыбками, а толстый комикъ Бутусовъ пустилъ въ оборотъ перифразъ извѣстной французской остроты:

— Наша Марья Ивановна, въ добрый часъ будь сказано, хочетъ перемѣнить свою сорокафранковую монету на двѣ двадцатифранковыхъ: одна наличными деньгами, а другая въ кредитъ. Это называется конверсіей внутренняго займа...

Добрые друзья, конечно, передавали Марьѣ Ивановнѣ всѣ эти сплетни, пересуды и плоды дешеваго остроумія. Она злилась и отвѣчала одно:

— Они ничего не понимаютъ, поэтому и злятся.

Въ интернаціональномъ хорѣ была одна бѣлокурая дѣвушка, которую звали Таней. Она недавно поступила на сцену, и въ ней еще не погасла дѣвичья застѣнчивость. Марья Ивановна немного покровительствовала ей и часто приглашала къ себѣ въ уборную, чтобы приколоть живые цвѣты къ ея корсажу или угостить конфетами. Эта Таня относилась къ Марьѣ Ивановнѣ, какъ къ недосягаемому идеалу. Она поджидала ее въ коридорѣ передъ выходомъ на сцену, какъ влюбленная, ловила каждый ея взглядъ и провожала влюбленными глазами. Это нѣмое обожаніе забавляло Марью Ивановну, и она, по какому-то инстинкту, жалѣла немного эксцентричную, милую дѣвушку. Выслушавъ всѣ закулисныя сплетни, Таня подкараулила Марью Ивановну въ коридорѣ и безъ приглашенія вошла за ней въ уборную.

— Тебѣ что-нибудь нужно, Таня?—спросила Марья Ивановна.

— Нѣтъ... т.-е. да...

Дѣвушка сконфузилась, а потомъ проговорила:

— Всѣ говорятъ, что вы влюблены...

— Ахъ, какія глупости, Таня! И хочется тебѣ повторять, что̀ другіе болтаютъ...

— Нѣтъ, я знаю, Марья Ивановна, что вы влюблены...

— Ну, предположимъ, что это такъ... Что̀ же изъ этого слѣдуетъ?

— Я хотѣла васъ спросить, какъ это бываетъ...

Марья Ивановна невольно расхохоталась.

— Ахъ, дурочка, дурочка!.. Догадываюсь: ты тоже влюблена?

— Не знаю... За меня сватаются двое: старшій капельдинеръ Иванъ Тимоѳеичъ и парикмахеръ Альфредъ.

— Котораго же ты любишь?

— Мнѣ оба нравятся одинаково...

— Ахъ, глупенькая, глупенькая!.. Если оба нравятся, значитъ, не любишь ни одного изъ нихъ. Любятъ только одного... Твое время еще не пришло, Таня. Когда полюбятъ, то никого объ этомъ не спрашиваютъ...

Марья Ивановна обняла и расцѣловала наивную дѣвушку, у которой выступили слезы на глазахъ.

— Васъ всѣ любятъ, Марья Ивановна... за вами всѣ ухаживаютъ...— шептала Таня, прижимаясь своей бѣлокурой головкой къ плечу Марьи Ивановны.—Вы только не хотите мнѣ сказать, а сами все знаете... Капельдинеръ Иванъ Тимоѳеичъ съ горя пьетъ третью недѣлю, а парикмахеръ Альфредъ грозитъ застрѣлиться, и я не знаю, что̀ мнѣ дѣлать...

Надъ этой сценой Марья Ивановна долго смѣялась, но Ружницевъ находилъ ее совсѣмъ не смѣшной.

Они видѣлись каждый день. Ружницевъ каждый вечеръ проводилъ въ

саду, какъ на дежурствѣ. Онъ зналъ въ лицо не только всѣхъ артистовъ капельдинеровъ и официантовъ, но и садовыхъ завсегдатаевъ, котовъ и хулигановъ. И чѣмъ ближе онъ знакомился съ этой клоакой, тѣмъ сильнѣе ее ненавидѣлъ. Это было нѣчто ужасное, безобразное и безнадежное... Онъ нестерпимо страдалъ, глядя, какъ на подмосткахъ безобразно кривлялись артисты и артистки въ угоду пьяной толпѣ. Особенно отличались артистки, стараясь превзойти одна другую въ цинизмѣ. Марья Ивановна была не лучше другихъ, когда распѣвала скабрезныя шансонетки и канканировала. Ружищева охватывалъ ужасъ, когда онъ смотрѣлъ на нее, нарумяненную, увѣшанную поддѣльными брильянтами, съ нахальной улыбкой и циничными движеніями. Каждый вечеръ за ужиномъ онъ повторялъ ей одно и то же:

— Маня, уйдемъ отсюда... Это ужасно! Ты не можешь себѣ представить, какъ мнѣ больно смотрѣть на тебя, когда ты кривляешься на этой проклятой сценѣ... Я тебя не узнаю. У тебя дѣлается совсѣмъ другое лицо, другія движенія, улыбка, голосъ...

— Милый, это отъ непривычки... Вѣдь нашъ цинизмъ именно для насъ лично и не существуетъ, какъ не существуетъ смысла въ площадной брани для тѣхъ, кто къ ней привыкъ. А уйти я не могу, потому что связана неустойкой...

— Я заплачу неустойку...

— А репутація? Какой антрепренеръ возьметъ меня въ труппу, если я нарушу здѣсь контрактъ? Наша артистическая репутація—нашъ капиталъ. Сегодня ты меня любишь, все хорошо, а кто знаетъ, что будетъ съ нами завтра?

— Ради Бога, не говори такъ, Маня!..

Они были на „ты“. Ружищевъ держалъ себя скромно, почти застѣнчиво и какъ-то избѣгалъ говорить о себѣ. Но въ средѣ артистовъ не бываетъ тайнъ, и Марья Ивановна знала черезъ другихъ, что онъ—единственный сынъ богатаго приволжскаго помѣщика, кончилъ университетъ, служитъ при какомъ-то министерствѣ безъ жалованья и т. д. Около садовыхъ артистовъ вертѣлся какой-то подозрительный господинъ въ цилиндрѣ и золотыхъ очкахъ. Онъ говорилъ на нѣсколькихъ языкахъ, зналъ, кажется, рѣшительно всѣхъ на свѣтѣ и являлся для артистовъ, а особенно для артистокъ, чѣмъ-то въ родѣ комиссіонера. По фамиліи—Астмусъ. Говорили, что это очень темная личность и что онъ не брезгуетъ ничѣмъ. Свести выгодное знакомство, напечатать хвалебный отзывъ или инсинуацію гдѣ-нибудь въ газетѣ, пустить сплетню—все было дѣломъ его рукъ. Марья Ивановна была знакома съ нимъ нѣсколько лѣтъ, пользовалась его услугами и теперь боялась его, какъ огня. Вѣдь Астмусъ отлично зналъ все ея бурное прошлое и могъ какимъ-нибудь анонимнымъ письмомъ испортить ея все нараставшее счастье. Онъ это отлично понималъ и держался съ ней съ вызывающей фамильярностью.

— Эге, мы устраиваемъ романъ, Марья Ивановна!..—шутилъ Астмусъ, глядя на нее въ упоръ своими безсовѣстными глазами.—Что же, не слѣдуетъ терять дорогого времени, милашка... На мою скромность можете вполнѣ разсчитывать, потому что я—живая могила всѣхъ женскихъ тайнъ. Это мой принципъ, Марья Ивановна... Впрочемъ, вы имѣли достаточно случаевъ, чтобы убѣдиться въ моей корректности. Потомъ, знаете, Марья Ивановна, мы были бы совсѣмъ друзьями, если бы вы оказали мнѣ маленькую услугу... Да. Вы вѣдь знаете эту хористочку Таню... Она мнѣ очень нравится и разыгрываетъ изъ себя недотрогу... Если бы я могъ встрѣтиться съ ней у васъ на квартирѣ, конечно, случайно... Да... Я знаю, что она любитъ васъ, и вы могли бы повліять на нее, какъ женщина опытная и разумная...

Марья Ивановна вся вспыхнула и рѣзко отвѣтила:

— Извините, г. Астмусъ, я такими дѣлами не занимаюсь.

— Боитесь конкуренціи, милашка? Хе-хе!.. Благодарю, не ожидалъ...

Послѣ такого разговора ничего не оставалось, какъ бѣжать. Да, именно не уходить, а бѣжать...

IV.

Ружицевъ пришелъ въ неистовую радость, когда Марья Ивановна сообщила ему о своемъ рѣшеніи оставить сцену.

— Я сегодня пою въ послѣдній разъ...—объявила она, наблюдая его счастливыми глазами.—А завтра объявлю директору... Мнѣ немного совѣстно, что я оставляю сцену въ разгарѣ сезона. Вѣдь я все-таки являлась извѣстной приманкой, публика привыкла ко мнѣ... Мой уходъ можетъ отразиться на дѣлахъ всей труппы.

— Милая, милая, вѣдь найдется же кто-нибудь другой, чтобы замѣнить тебя...

— Ты забываешь, что мнѣ придется заплатить громадную неустойку... что-то около шести тысячъ... У меня сбережено про черный день около двухъ тысячъ...

— О деньгахъ не можетъ быть рѣчи...

— Выходитъ такъ, какъ будто ты выкупаешь будущую жену изъ плѣна...

— Именно... совершенно вѣрно!.. Итакъ, въ послѣдній разъ на сценѣ?

— Въ послѣдній разъ, милый... И въ послѣдній разъ поужинаемъ въ этомъ кабакѣ.

Они крѣпко расцѣловались. Она начала гримироваться для своего номера, а онъ ушелъ въ партеръ, чтобы въ послѣдній разъ посмотрѣть на свой позоръ. Кабака больше не было, не было шантажистовъ, котовъ, хулигановъ, кутившихъ напропалую провинціальныхъ старцевъ, пріѣхавшихъ въ Петербургъ по дѣламъ... Все это исчезло, какъ дурной сонъ. Ружицевъ даже не видѣлъ отдѣльныхъ лицъ,—все сливалось въ одно безсмысленное, живое, движущееся пятно, какъ капля зараженной крови подъ микроскопомъ. Только бы вырваться отсюда на свѣжій воздухъ, увезти свое счастье на берегъ родной Волги...

Время точно остановилось, какъ текучая вода, встрѣтившая на своемъ пути непреодолимую преграду. Марья Ивановна пѣла послѣдней, и публика, точно предчувствуя разлуку, вызывала ее безъ конца. Ружицевъ торжествовалъ, повторяя про себя:

— Будетъ... довольно...

Его удивляла странная и непонятная для него фантазія Марьи Ивановны поужинать въ послѣдній разъ въ отдѣльномъ кабинетѣ. Нужно было бѣжать, очертя голову... Впрочемъ, есть, съ одной стороны, женскія фантазіи, а съ другой, можетъ-быть, это было прощанье съ прошлымъ, послѣдняя дань дурной привычкѣ.

Онъ ждалъ ее въ „своемъ“ кабинетѣ, который ему сегодня не казался даже такимъ грязнымъ и отвратительнымъ, какъ раньше.

Она пришла позднѣе обыкновеннаго, счастливо встревоженная и радостная.

— Все кончено?—спросилъ Ружицевъ.

— Да...

— Видѣла своего директора?

— Мелькомъ... я его предупредила... Не будемъ объ этомъ говорить.

Она бросила на столъ нѣсколько визитныхъ карточекъ и разсмѣялась.

— Милые провинціальные старички не даютъ мнѣ покоя...—коротко объяснила она, дѣлая гримасу.—Вотъ кого я ненавижу отъ всей души... Развратничаетъ не молодежь, а вотъ именно такіе почтенные отцы семействъ, добродѣтельные мужья и живые примѣры тихаго семейнаго счастья.

Она могла бы прибавить, что эти карточки были доставлены при благосклонномъ участіи г. Астмуса, служившаго между прочимъ и поставщикомъ живого товара.

Ужинъ опять заказанъ былъ по-студенчески. Они сидѣли на диванѣ обнявшись и предавались воспоминаніямъ. Марья Ивановна смотрѣла на Ружищева и повторяла:

— Боже мой, какъ все „это“ недавно было... точно сонъ... Позволь, какъ мы познакомились? Я, право, не могу припомнить...

— Ну, знакомство не изъ интересныхъ... Вотъ такъ же, въ отдѣльномъ кабинетѣ... Забыла?

— Позволь... съ тобой были тогда какіе-то два старичка... Да? Одинъ еще такой смѣшной... маленькій... и называлъ себя докторомъ Киндербальзамомъ... Онъ разсказывалъ, что вы познакомились только здѣсь, въ саду...

— Нѣтъ, онъ тебя просто мистифицировалъ, Маня...

Ружищевъ засмѣялся и прибавилъ:

— Это будетъ нашей маленькой тайной, Маня... Видишь ли, мой отецъ очень добрый и хорошій человѣкъ, но иногда любитъ покутить...

Она вырвалась изъ его объятій, вскочила и, вся блѣдная и дрожащая, проговорила задыхавшимся голосомъ:

— Это... это былъ твой... отецъ?!..

Онъ тоже поднялся, взялъ ее за руки и хотѣлъ усадить.

— Да, отецъ... Онъ очень хорошій, хотя и не безъ маленькихъ недостатковъ...

— Отецъ?!..—въ ужасѣ повторяла она, прислушиваясь къ звуку собственнаго голоса.—Отецъ?!..

Потомъ она вырвалась изъ его рукъ и безсильно упала въ кресло.

— Маня, Маня, что съ тобой? Такіе пустяки...

Но она ничего не отвѣчала, а только закрыла лицо руками.

— Маня, ты его извинишь... Вообще, пустяки...

Она только стонала, схватившись за голову.

— Со мной это иногда случается...—объясняла она, не отнимая рукъ.—Странныя головныя боли... Ты не сердись... я сейчасъ же должна уѣхать домой... Окончательный мой отвѣтъ получишь здѣсь... вечеромъ... Нужно окончательно переговорить съ директоромъ...

— Я тебя провожу, Маня...

— Ахъ, ради Бога, не нужно!..—испугалась Марья Ивановна.—Меня проводитъ Таня...

Онъ все-таки проводилъ ее до уборной. Таня уже собиралась домой и была счастлива, что можетъ ѣхать на одномъ извозчикѣ съ самой Марьей Ивановной. Ружищевъ усадилъ ихъ въ экипажъ и остался на тротуарѣ. Онъ ничего не понималъ. Марья Ивановна на прощанье какъ-то особенно долго смотрѣла ему въ глаза и крѣпко поцѣловала.

Извозчикъ отъѣхалъ всего саженъ пятьдесятъ, какъ Марья Ивановна горько зарыдала, не обращая никакого вниманія на возвращавшуюся по тротуарамъ садовую публику.

— Марья Ивановна... милая... что съ вами?!..—испуганно бормотала Таня, обнимая обожаемую женщину.—Марья Ивановна...

Марья Ивановна посмотрѣла на нее дикими глазами и, не вытирая катившихся по лицу слезъ, проговорила задыхавшихся голосомъ:

— Марьи Ивановны нѣтъ... Марья Ивановна умерла... Ахъ, Боже мой!.. Вотъ когда пришла твоя казнь...

— Голубушка, Марья Ивановна... мужчины всѣ обманщики...

— Ахъ, не то, Таня... Онъ хорошій, чистый... Ты у меня останешься ночевать... да... Мнѣ страшно... Я тебѣ не могу объяснить, что̀ случилось...

Отъ сада до квартиры Марьи Ивановны было всего нѣсколько кварталовъ, но она успѣла все передумать и рѣшить. Въ ея головѣ мысли неслись вихремъ, а роковое слово „отецъ“ стучало, какъ молотъ. Да, отецъ... Она его видѣла сейчасъ, какъ живого, и вздрагивала всѣмъ тѣломъ. Послѣ знакомства въ отдѣльномъ кабинетѣ, устроеннаго Астмусомъ, онъ бывалъ у нея на квартирѣ раза три... Привозилъ букеты, цвѣты, дорогія бездѣлушки... Это былъ жизнерадостный, хорошо сохранившійся для своихъ лѣтъ провинціальный старичокъ. Послѣ каждаго визита доктора Киндербальзама Марья Ивановна находила на своемъ ночномъ столикѣ подъ коробкой пудры сторублевую ассигнацію. Эти воспоминанія жгли сейчасъ Марью Ивановну, какъ раскаленное желѣзо, и она слышала голосъ доктора Киндербальзама:

— Молодые люди ничего не понимаютъ... мальчишки... А докторъ Киндербальзамъ—спеціалистъ по женскимъ болѣзнямъ, лѣкарства для которыхъ выписываются по рецептамъ Экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ въ ювелирныхъ магазинахъ...

Марья Ивановна чувствовала, какъ она тонетъ въ той грязи, въ которой барахталась цѣлую жизнь... Развѣ она могла выйти замужъ за сына послѣ этой исторіи съ отцомъ? Довольно... будетъ... И она, гадкая, отвратительная, смѣла еще любить!.. И не было такой казни, какую она могла бы себѣ придумать...

Вечеромъ на другой день Ружицовъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ отвѣта отъ Марьи Ивановны... Таня разыскала его и молча подала длинный конвертъ. На почтовомъ листкѣ была написана всего одна фраза Маргариты Готье: „Отвѣта не будетъ“...

Марья Ивановна, отправивъ письмо съ Таней, отравилась.

1904.

ПОЛОНЯНКА.

Быль *).

I.

— Ваше высокоблагородіе, Иванъ Степанычъ, наши-то казачишки изъ поиску выворотились,—докладывалъ старикъ-вахмистръ Аѳонька, вытягиваясь въ струнку.—Вся станица на валъ высыпала...

— Н-но-о?—изумился старикъ-комендантъ, — онъ всегда чему-нибудь удивлялся.—Выворотились, говоришь?..

— По степѣ идутъ... Пѣсенники впередъ, а Степанъ Иванычъ съ бубномъ попереду всѣхъ.

— Ахъ, кошма проклятая!..

Старичокъ-комендантъ страшно засуетился. Онъ заглянулъ въ слѣдующую комнату, гдѣ комендантша разбирала шерсть, и проговорилъ просительно-заискивающе:

— Васенька, я схожу на валъ поглядѣть, какъ наши казаки изъ орды идутъ?..

— Чего не видѣлъ-то, старый дуракъ?—обругалась сердитая комендантша.—А впрочемъ, ступай... Мнѣ Степанъ Иванычъ обѣщалъ гостинецъ изъ орды привезти...

Обрадованный милостивымъ позволеніемъ, комендантъ весело подмигнулъ Аѳонькѣ и, запахнувъ свой засаленный халатишко и шлепая туфлями, надѣтыми на босую ногу, торопливо пошелъ за вахмистромъ. Форменную фуражку онъ надѣлъ уже дорогой. Съ трубкой Иванъ Степанычъ никогда не разставался и теперь весело размахивалъ ею.

Станица Поперешная поднялась, какъ одинъ человѣкъ, когда пронеслась радостная вѣсть, что казаки возвращаются изъ похода. На глиняномъ валу, обращенномъ къ „ордѣ", собрались теперь всѣ: солдаты мѣстнаго гарнизона, старые казаки, а главное казачки со своими ребятишками. Бойкія эти бабы-казачки, и старикъ-комендантъ едва пробился впередъ, прочищая дорогу своей трубкой. Народъ весело галдѣлъ, наблюдая приближавшуюся сотню казаковъ. Яркій солнечный лѣтній день такъ и слѣпилъ глаза, а казаки шли точно въ дыму, поднимая страшную пыль.

— То-то, поди, наворовали!..—ворчали гарнизонные солдаты, всегда завидовавшіе казакамъ. — Охулки на руку не положатъ, только дорвутся въ орду...

Казачки впились въ приближавшійся отрядъ, выглядывая своихъ мужей,

---

*) Время нашего разсказа относится къ началу настоящаго столѣтія.

которыхъ издали узнавали по лошадямъ. Всѣ ли цѣлы воротятся казачки, и кого-то недосчитаетъ острый бабій глазъ? Рѣдкій поискъ проходитъ безъ урону, а Степанъ Иванычъ пѣсни запариваетъ.

— Полонъ ведутъ!—крикнулъ кто-то, вглядываясь изъ-подъ руки.

Комендантъ сидѣлъ верхомъ на вѣстовой пушкѣ и даже всплеснулъ руками: зацѣпилъ, видно, атаманъ Степанъ Иванычъ самого батыря Майгака—вотъ и радуется.

— Майгака везутъ!..—пронесся по толпѣ шопотъ.—Ай да Степанъ Иванычъ... молодца!

А казаки ужъ совсѣмъ близко. Видно, какъ атаманъ взмахиваетъ своимъ бубномъ; пѣсенники такъ и заливаются... Отворили станичныя ворота, и отрядъ торжественно вступилъ въ родную ограду. Общее вниманіе привлекала какая-то таинственная, закутанная съ головой фигура, сидѣвшая на великолѣпномъ иноходцѣ золотистой масти. Когда отрядъ выстроился, атаманъ Степанъ Иванычъ, сѣдобородый осанистый старикъ, снялъ свою папаху и перекрестился. То же сдѣлала и вся сотня. Потомъ атаманъ спѣшился и подошелъ къ коменданту.

— Здравствуй, Иванъ Степанычъ!..

— Здравствуй, Степанъ Иванычъ!..

Старики обнялись и облобызались, причемъ комендантская трубка очутилась на широкой атаманской спинѣ.

— Какъ Богъ спасалъ, атаманушка? Все ли благополучно?..

— Слава Богу, комендантушка... Нагнали мы холоду на барантачей: долгонько не забудутъ. Ну, а только вышла и наша неустойка — изъ рукъ батырь Майгакъ ушелъ. Между глазъ прошелъ, воровская душа...

— Ахъ, Степанъ Иванычъ, Степанъ Иванычъ!.. Да кабы я... да я бы его своей трубкой зашибъ!.. Который годъ онъ теперь намъ спокою не даетъ... Я бы его утихомирилъ!

— Ну, ладно, расхрабрился, Иванъ Степанычъ!..—пошутилъ атаманъ, потрепавъ стараго друга по плечу. — А вотъ я тебѣ гостинца привезъ... Да еще какого гостинца-то: вѣкъ будешь благодарить. Какъ глянешь на атаманскій подарокъ, такъ и спасибо скажешь атаману.

Старикъ сдѣлалъ знакъ хорунжему. Тотъ вывелъ на середину круга иноходца съ таинственнымъ всадникомъ. Степнякъ-иноходецъ красиво шарахнулся и, раздувъ ноздри, обвелъ всѣхъ своими большими глазами.

— Тише ты, киргизкій чортъ!—крикнулъ на лошадь атаманъ.

Онъ взялъ ее подъ уздцы и подвелъ къ коменданту.

— Вотъ, Иванъ Степанычъ, все ты жалился на меня, что вывожу я изъ орды добычу, а съ тобой не дѣлюсь... Вотъ на, владѣй конькомъ!

Атаманъ взялъ уздной поводъ полой бешмета, а комендантъ принялъ его полой своего халата — такъ всегда дѣлается при передачѣ лошади отъ одного хозяина другому

— И съ уздой, и съ сѣдломъ, и съ сѣдокомъ дарю...—говорилъ атаманъ, срывая съ сѣдока закутывавшее его покрывало.

Вся станичная публика обомлѣла... Въ высокомъ киргизскомъ сѣдлѣ сидѣла по-мужски красавица-дѣвушка. На головѣ у нея была мерлущатая шапка-каракулка, изъ-подъ которой мелкими косичками выбивались черные, какъ смоль, волосы; шелковый полосатый бешметъ на груди былъ покрытъ монистомъ изъ серебряныхъ монетъ. Плѣнница большими темными глазами смѣло посмотрѣла сначала на растерявшагося Ивана Степаныча, а потомъ на окружавшую ихъ толпу. Писаная была красавица, даромъ что „киргизка".

II.

Много всякой всячины испыталъ комендантъ Иванъ Степанычъ, а такого „экземпля“ отъ закадычнаго друга не ожидалъ. Что̀ онъ будетъ дѣлать теперь съ дѣвкой-киргизкой?

— Ты бы хоть спасибо-то сказалъ...—попрекнулъ его атаманъ.— Лучше этой дѣвки во всей ордѣ не сыскать!.. А звать ее Най-Хэ...

— А что̀ Васенька скажетъ?—уныло проговорилъ комендантъ послѣ долгаго раздумья.

— А Василиса Марковна сама меня просила о гостинцѣ... Да что̀ съ тобой говорить, Иванъ Степанычъ: я самъ къ Василисѣ Марковнѣ отвезу гостинцы, а тамъ дѣлите, какъ знаете...

— И поѣзжай... Она тебѣ покажетъ такого гостинца, что не обрадуешься. Тоже придумалъ, хрѣнъ тебѣ въ голову!

Атаманъ вскочилъ на коня, сказалъ нѣсколько словъ по-киргизски Най-Хэ и повелъ ее къ комендантскому дому, а за ними хлынула вся станица. На старомъ мѣстѣ остались только комендантъ со своей трубкой да вахмистръ Аѳонька.

— И расчешетъ его Васенька, атамана...—думалъ вслухъ комендантъ, провожая глазами толпу.

— Охъ, какъ расчешетъ!—отвѣтилъ Аѳонька, какъ эхо.—Тоже придумалъ атаманъ дѣвку привезти изъ орды... Жаренымъ и варенымъ эти казаки воруютъ, а тутъ живую дѣвку приволокли. Надо повременить малымъ дѣломъ, Иванъ Степанычъ, пока Василиса Марковна будетъ раздѣлывать атамана... Не дай Богъ подъ сердитую руку къ ней попасть!..

— Это ты правильно, Аѳонька... И то повременимъ малымъ дѣломъ.

Распутившійся атаманъ дорогой по-киргизски объяснялъ Най-Хэ, что старикъ въ халатѣ главный ханъ, которому онъ, атаманъ, даритъ ее въ жены, а теперь они ѣдутъ къ старой ханшѣ. Дѣвушка низко опустила голову и ничего не отвѣчала: она впередъ боялась старой ханши. Ѣхавшій за ними хорунжій Захарчукъ понималъ по-киргизски, какъ всѣ казаки, и чуть не лопнулъ отъ душившаго его смѣха. И придумалъ атаманъ штуку...

Комендантша, завидѣвъ изъ окна приближавшуюся толпу, сама вышла на крыльцо. Атаманъ спѣшился и, снявъ папаху, поклонился ей въ поясъ.

— Не обезсудь, Василиса Марковна, на гостинцѣ, ежели не угодилъ...

Грозная комендантша только взглянула на Най-Хэ, какъ сразу поняла казацкую выдумку.

— Иди въ горницу...—коротко отвѣтила она.—Да народъ разгони: нечего имъ глядѣть...

Атаманъ помогъ Най-Хэ слѣзть съ лошади и повелъ ее въ комендантскій домъ, а Захарчуку велѣлъ разогнать галдѣвшій народъ. Что̀ затѣмъ произошло въ комендантскихъ горницахъ—исторія скромно умалчиваетъ, только атаманъ вылетѣлъ на улицу весь красный, какъ ракъ, и даже безъ папахи. А грозная комендантша высунулась въ окно и, погрозивъ кулакомъ, проговорила:

— Я еще съ тобой не такъ разсчитаюсь, кошемный атаманишка! Ты у меня попомнишь Василису Марковну, татарская образина... Я тебя выворочу, какъ свой карманъ...

Единственнымъ свидѣтелемъ этой горячей сцены былъ хорунжій Захарчукъ, да изъ-за угла выглядывала сѣдая комендантская голова.

[illegible] ругался атаманъ, хватаясь за бока.—Ну и баба!.. [illegible] какъ встрѣтила мужа Василиса Марковна, [illegible] къ себѣ въ домъ.

— [illegible] рились меня безчестить на старости лѣтъ!..—кри- [illegible], наступая на старика.—Ты его просилъ при- [illegible] ку... [illegible]

— Васенька... милая...

Исторія вторично умалчиваетъ о томъ, что происходило дальше. Только комендантъ былъ запертъ на замокъ въ своей горницѣ и громко стоналъ, а знаменитый черешневый чубукъ валялся на полу, сломанный на нѣсколько частей. Досталось и Аѳонькѣ, который просто подвернулся подъ руку...

— Ступай къ атаманшѣ Лукерьѣ Спиридоновнѣ и позови ее ко мнѣ,— наказывала комендантша, давая вахмистру здороваго подзатыльника. — Да шевелись живѣе, старая крыса!

Во все время, пока Василиса Марковна расправлялась съ атаманомъ и комендантомъ, Най-Хэ сидѣла въ горницѣ на полу и не смѣла шевельнуться. Такая блѣдная-блѣдная сидитъ, и только одни глаза горятъ, точно угли. По-своему она понимала все поведеніе ревнивой старой ханши и только удивлялась главному хану, который все время закрывалъ свою лысую голову руками, пока старая ханша лупила его чубукомъ. Отчего онъ не выгналъ ее, какъ старую лошадь, или, по крайней мѣрѣ, не поучилъ хорошенько нагайкой, какъ дѣлаютъ настоящіе ханы? Да и бѣдная обстановка комендантской квартиры заставила дѣвушку усомниться въ словахъ атамана... Въ ея душу закрался слабый лучъ надежды. А старая ханша все время ходила около нея и сердито оглядывала всю съ ногъ до головы.

— Этакая погань уродится же... тьфу!..—обругалась она, останавливаясь передъ красавицей-плѣнницей.

Атаманша не заставила себя ждать. Это была толстая старуха съ краснымъ „калмыковатымъ“ лицомъ. Она ходила по станицѣ въ шелковыхъ татарскихъ бешметахъ и въ шапкѣ, какъ татарка. И говорить умѣла она по-киргизски не хуже любого казака. Мужъ разсказалъ ей о „гостинцѣ“, и атаманша сгорала отъ нетерпѣнія посмотрѣть на ордынскую дѣвку.

— Вотъ, на-ка-сь, полюбуйся!—встрѣтила ее комендантша.—Твой мужеенекъ приволокъ...

Комендантша вдругъ заголосила и запричитала, какъ быть слѣдуетъ настоящей бабѣ, а гостья подсѣла къ полоняночкѣ и заговорила съ ней по-киргизски. Най-Хэ обрадовалась атаманшѣ, какъ родной матери, и тоже расплакалась.

— Весь аулъ выжгли да вырѣзали наши казаки,—объясняла атаманша хозяйкѣ,—а вотъ она осталась... Ну, куды ее дѣть дѣвичьимъ дѣломъ? Мой-то Степанъ Иванычъ и пожалѣлъ...

Тогда бы домой и везъ къ себѣ!..

Пошутить хотѣлъ... И ей насказалъ, что въ жены ее отдаетъ старому хану. Напугалъ дѣвку до смерти... Сирота вѣдь она теперь круглая, хоша и кыргызка.

Разжалобили эти слова комендантшу, и она велѣла сейчасъ же накормить полоняночку.

III.

Станица Поперешная была закинута далеко въ киргизскую степь, гдѣ проходила „линія“, какъ называли пограничную черту, отдѣлявшую русскія

ладѣнія отъ „орды“. Свое названіе станица получила отъ того, живала такъ называемый „старый калмыцкій бродъ“, которым вѣку кочевники нападали на русскую границу, — стала стани „калмыцкому броду“ и вышла „поперешная“. Послѣ пугачовщин особенно серьезныхъ волненій не происходило, но частныя стычки зал то тамъ, то сямъ, перебрасываясь блуждающими огоньками по всей лини Главнымъ поводомъ ко всѣмъ недоразумѣніямъ были степная баранта—съ одной стороны, а съ другой—свои казачьи шалости.

Гарнизонъ Поперешной составился наполовину изъ оренбургскихъ казаковъ и наполовину изъ старыхъ солдатъ, дослуживавшихъ здѣсь свой солдатскій вѣкъ. Между этими двумя родами оружія сыспоконъ вѣку царила непрерывающаяся рознь, вызванная разницей положенія сторонъ. Казаки жили припѣваючи, потому что и служба у нихъ легкая, и землей они надѣлены, и живутъ со своими семьями — умирать не надо. А солдатское положеніе было самое печальное: бездомные инвалиды несли тяжелую солдатскую службу, выходили постоянно на ученье, а въ свободное время употреблялись на крѣпостныя работы. Да и какіе это были солдаты—беззубые почти поголовно, глухіе, кривые, однимъ словомъ, самый оборъ. Бойкія казàчки не давали этимъ инвалидамъ прохода, высмѣивая ихъ на каждомъ шагу. Только и названія солдатамъ было: „крупа“. Въ свою очередь инвалиды прозвали казаковъ „кошемнымъ войскомъ“, а сокращенно—просто „кошмой“. Станица такъ и дѣлилась на двѣ половины: казачій конецъ и солдатская слободка. Въ первомъ было нѣсколько широкихъ улицъ, усаженныхъ чистенькими домиками со всякимъ хозяйственнымъ обзаведеніемъ, а вторая состояла изъ двухъ солдатскихъ казармъ, старой и новой, цейхгауза, провіантскаго магазина, комендантскаго домика и гауптвахты. Казачій конецъ процвѣталъ и выглядѣлъ съ веселой домовитостью, а солдатская слободка смахивала на плохую каторгу, потому что женатыхъ солдатъ не полагалось, и никакого хозяйства они не вели. Главное, не было въ солдатской слободкѣ ни одной бабы...

Но и со всѣмъ этимъ инвалиды могли бы примириться — ужъ такое солдатское счастье, а главная обида лежала въ томъ, что солдаты безвыходно должны были сидѣть въ станицѣ, неся гарнизонную службу, а казаки постоянно высылались въ орду и возвращались оттуда непремѣнно съ добычей.

— Первые заворуи, съ камня кожу сдерутъ,—ругали ихъ инвалиды.— А мы сиди да посиди, да только поглядывай, какъ кошма карманы себѣ набиваетъ... Эхъ, жисть!..

Каждое возвращеніе казаковъ изъ орды являлось настоящимъ праздникомъ: весь казачій конецъ радовался по недѣлямъ. Пили, горланили пѣсни, ходили изъ одной избы въ другую въ гости, а инвалиды только ожигались, поглядывая на казачью вольную жизнь. Только и бѣды было, что казàчки поревутъ объ убитыхъ въ ордѣ, а объ инвалидахъ и плакать было некому.

Привезенная киргизская полонянка Най-Хэ послужила настоящимъ яблокомъ раздора между казаками и солдатами. Дѣло въ томъ, что она жила пока въ комендантскомъ домѣ и привыкала къ русскому обиходу. Дѣвушка была смѣтливая и бойкая, такъ что въ какихъ-нибудь полгода выучилась говорить по-русски, хотя и съ грѣхомъ пополамъ. Василиса Марковна даже полюбила ее, но все-таки опасалась—очень ужъ красивая дѣвка, кровь съ молокомъ

— Ты у меня смотри!..—грозила комендантша мужу.—У всѣхъ у васъ, мужчинъ, одна вѣра-то...

Иванъ Степанычъ, благодаря полонянкѣ. влачилъ самое жалкое суще-

[illegible] что [illegible] въ подозрѣніи. Не красно ему и [illegible] а тутъ хоть [illegible] на шею. Онъ даже прятался, чтобы не [illegible] Най-Хэ. А сколько перенесъ онъ незаслуженныхъ попрековъ, [illegible] ругани... Нѣсколько разъ Иванъ Степанычъ убѣгалъ изъ дома [illegible] и въ свою очередь ругалъ его на чемъ свѣтъ стоитъ. Атаманъ [illegible] свой красный затылокъ, разглаживалъ окладистую сѣдую бороду и говорилъ:

— Да, оно, дѣйствительно, того... Кто его зналъ!.. Тебѣ же хотѣлъ угодить...

— Угодилъ, нечего сказать!.. Веревку на шею надѣлъ...

— Пожалѣлъ дѣвку... Пропала бы она у себя въ ордѣ, потому какъ ни роду ни племени не осталось.

Когда Най-Хэ обжилась и перемѣнила свой костюмъ на обыкновенный бабій сарафанъ, а волосы заплела въ одну дѣвичью косу, — изъ казачьяго конца холостые казаки начали шататься въ солдатскую слободку каждый день: кто съ пѣсней пройдетъ, кто съ балалайкой. Это подняло на ноги и казачекъ и солдатъ. Первыя подняли настоящій бунтъ, потому что какой это порядокъ, ежели холостые парни будутъ за „кыргызкой“ ходить. Свои дѣвки сидятъ да жениховъ ждутъ, а тутъ выискалось приворотное зелье. Досталось отъ бойкихъ казачекъ и атаману и коменданту. На перваго онѣ даже плевали. Инвалидная команда тоже поднялась на ноги. Произошелъ настоящій бунтъ.

— Ты какъ хочешь, Иванъ Степанычъ, а чтобы казачишки не шатались въ нашу слободку,—галдѣли инвалиды. — У нихъ своихъ бабъ непочатый уголъ, а у насъ только и свѣту въ окнѣ, что дѣвка-кыргызка...

— Да вы бѣлены объѣлись, старые черти?!..—кричалъ Иванъ Степанычъ, топая ногами.—Да я васъ всѣхъ въ бараній рогъ согну... Какая ваша дѣвка?..

За инвалидовъ вступилась Василиса Марковна и разомъ вырѣшила дѣло.

— Ладно, солдатушки, будетъ по-вашему,—говорила она.—И то наприма́лись вы горя достаточно...

— Матушка наша Василиса Марковна, не оставь! — взмолились инвалиды.—Не дай въ обиду кошмѣ проклятой...

— Ну-ка, выстройтесь, ребятушки!—скомандовала комендантша.

Василиса Марковна любила покомандовать надъ солдатами, но они не обижались этимъ, потому что она же, матушка комендантша, выстаивала ихъ передъ казаками и не давала въ обиду, а Иванъ Степанычъ робкой души былъ человѣкъ и не умѣлъ этого сдѣлать.

Выстроились солдаты въ двѣ шеренги и ждутъ, что̀ будетъ дальше. А комендантша вывела на крыльцо Най-Хэ, показала на солдатъ и говоритъ:

— Вонъ какіе молодцы, дѣвушка... Который тебѣ любѣе всѣхъ?..

Подтянулась вся команда при этихъ словахъ, не смѣетъ дохнуть, а Най-Хэ застыдилась вся и опустила глаза.

— Эй, вы, ребятушки: налѣво кругомъ... ммарршъ!—скомандовала комендантша.—А ты, дѣвушка, гляди во всѣ глаза...

Два раза прошли солдаты мимо крыльца, отбивая шагъ. Вахмистръ Аѳонька впереди всѣхъ, какъ на настоящемъ смотру.

— Смирррно-о!.. Ну, что̀ же, дѣвушка? Будетъ тебѣ сиротой въ дѣвкахъ сидѣть.

Подняла свои темные глаза Най-Хэ, а сама блѣдная-блѣдная, какъ

полотно. Но потомъ точно она что вспомнила и у[illegible] руки Аѳоньку, который стоялъ ближе всѣхъ.

— Ну, твое счастье, Аѳонюшка,—рѣшила ком[illegible] тому дѣлу... Окрестимъ дѣвушку, а потомъ и свадьбу сыграем.

Такимъ образомъ разрѣшились всѣ недоразумѣ[illegible], вызванныя ніемъ Най-Хэ въ Поперешной станицѣ. Всѣ были довольны, и бунтовали казачки и солдаты, и Иванъ Степанычъ и Степанъ Иванычъ. Плакала только одна Най-Хэ: забилась она въ чуланъ и цѣлыхъ три дня не выходила.

IV.

Полонянка Най-Хэ была крещена въ сосѣдней станицѣ и названа Натальей. Черезъ двѣ недѣли она вышла замужъ за вахмистра Аѳоньку, для котораго инвалидной командой былъ выстроенъ въ мѣсяцъ отдѣльный домикъ. Солдатская слободка переживала необыкновенное оживленіе, торжествуя свою первую побѣду надъ казачьимъ концомъ. Инвалиды выбивались изъ силъ, чтобы чѣмъ-нибудь угодить своей солдатской молодухѣ. Они носили ей воду изъ рѣки, помогали по хозяйству и ухаживали, какъ за ребенкомъ.

— Наша вѣдь ты, Натальюшка, — ласково приговаривали беззубые старики.—Наша солдатская косточка... сестричка солдатская...

Первое время солдатская молодуха сильно похудѣла и все молчала, пока солдатская любовь не растопила ея сердце, точно разомъ она сдѣлалась другой. Въ солдатской слободкѣ вообще происходило что-то небывалое, невиданное и неслыханное. Настоящій праздникъ... А когда черезъ годъ у вахмистра Аѳоньки родился сынъ, слободка точно сошла съ ума: инвалиды пронесли ребенка по всей станицѣ съ пѣснями и пляской. Даже комендантша Василиса Марковна прослезилась, глядя на своихъ солдатушекъ.

Такъ дѣло шло года три. Хорошо жилось молодухѣ, особенно когда пошли дѣти. Совсѣмъ настоящая русская баба сдѣлалась, кабы не лицо. Вотъ только весной она задумывалась и начинала тосковать. Никому ничего не говоритъ, а убѣжитъ въ комендантскую конюшню, обниметъ иноходца, на которомъ привезъ ее изъ орды атаманъ, а сама рѣкой разливается... Плачетъ и лошадь цѣлуетъ, точно родного человѣка.

— О чемъ пригорюнилась, касатка?—спроситъ въ другой разъ вахмистръ.—Аль про свою сторону вспомнила? Аль я тебѣ чѣмъ не угодилъ?

— Нѣтъ, Аѳонюшка, всѣмъ я довольна, а только по веснамъ у меня сердце сосетъ... тоска нападаетъ.

Ровно черезъ четыре года, весной, подъ Поперешной показался извѣстный киргизскій батырь Майгакъ, — все время пропадалъ, считали его уже убитымъ, а онъ точно съ того свѣта пришелъ. Кружитъ около станицы на своемъ гнѣдомъ иноходцѣ и дразнитъ казаковъ, чтобы погоню вызвать. Пробовали счастья казаки, да ужъ очень хорошъ конь у Майгака: вѣтеръ, а не конь.

— Кто мнѣ поймаетъ Майгака, тому насыплю столько серебряныхъ рублей, сколько войдетъ въ мою папаху!—вызывалъ удальцовъ атаманъ Степанъ Иванычъ.

А Майгакъ совсѣмъ близко подъѣзжалъ къ станицѣ, на ружейный выстрѣлъ—подъѣдетъ, шапкой машетъ, ругается. Каждый день станичники выходили на валъ и смотрѣли на киргизскаго батыря. Пришла какъ-то и солдатская молодуха. Глянула она на батыря и вся побѣлѣла... А батырь узналъ ее и совсѣмъ близко подъѣхалъ: смѣется и по-киргизски лопочетъ.

— Гли-ка, братцы, узналъ, собака, свою-то кыргыцкую кость!—удивлялись казаки.

Крикнула ему что-то въ отвѣтъ и Най-Хэ, только никто не могъ ничего разобрать.

Сказали вахмистру Аѳонькѣ, какъ его жена съ барантачомъ переговаривалась. Разсердился старикъ и въ первый разъ побилъ жену. Ничего не сказала Най-Хэ, а только забилась въ уголъ, какъ звѣрь, да тамъ и просидѣла цѣлую ночь.

— Ты у меня смотри: я вышибу лишнюю-то дурь! — пригрозилъ ей мужъ на всякій случай.

Ничего не сказала Най-Хэ, а только взглянула чернымъ глазомъ, точно огнемъ обожгла.

Ночью она пропала. Пропалъ и иноходецъ съ комендантской конюшни. Ударили по станицѣ тревогу, и полетѣли казаки въ погоню за Майгакомъ: онъ увезъ Най-Хэ—больше некому.

Три дня и три ночи гнались казаки за разбойникомъ. Догадливъ былъ атаманъ Степанъ Иванычъ и гналъ погоню о-двуконь. На третій день завидѣли казаки и Майгака: вдвоемъ онъ уходилъ отъ погони, лихіе кони притомились. Видятъ казаки—курится въ степи огонекъ малешенекъ, а около огня стоитъ самъ Майгакъ. Припалъ атаманъ къ лукѣ, гикнулъ и полетѣлъ съ лучшей пятеркой. Подпустилъ Майгакъ совсѣмъ близко, а потомъ птицей сѣлъ на своего гнѣдого иноходца и улетѣлъ, а у огонька остался трупъ только-что зарѣзанной Най-Хэ. Двоимъ не уйти отъ погони, и Майгакъ зарѣзалъ бѣглянку, чтобы не досталась живая казакамъ.

1892.

Оглавленіе

XI тома.

стр.

Падающія звѣзды. Романъ 3

Въ нѣкоторое время.

Совершенно невѣроятная исторія.

1. „Третій пунктъ", Сладкоѣжка и тетя 155
2. Человѣкъ безъ спины 163
3. „Адамовы головы" и „Вице-рой" 171
4. Развязка 178

Охотничьи разсказы.

1. Комары. 187
2. Скверные 1/4 часа 194
3. Блудливое мѣсто. Разсказъ капитана Вараксина. 204

Медовыя рѣки.

1. Въ одно мѣсто, къ одному человѣку, по одному дѣлу. 210
2. Бумажный тигръ 222
3. Отрадное явленіе 233
4. Перекати-поле 237
5. Душевный гладъ 255
6. Сибирскіе старцы, кухарка Агаѳья и гражданинъ Рихтеръ 264

Беззавѣтная любовь. Повѣсть 294
Блажные. Очеркъ изъ заводскихъ нравовъ 324
Боговая искра. Эскизъ 333
Божій огородъ. Очеркъ 341
Букетъ ландышей. Изъ морскихъ картинокъ 346
Васька-забалуй 358
Великій грѣшникъ. Разсказъ. 364
Волчья пѣсня. Очеркъ 404
Въ раковинѣ. Разсказъ 410
Горная ночь. Эскизъ 426
Горой. Изъ лѣтнихъ скитаній по Уралу 431
Ийи. Святочная фантазія 443
Испытаніе. Разсказъ 459
Историческіе люди. Очеркъ 471
И тому подобная баба. Разсказъ 477
Какъ у другихъ. Разсказъ 489
Кусочекъ чернаго хлѣба. Разсказъ 494
Макарка. Разсказъ 498
Монетка. Разсказъ 506
Мумма. Разсказъ 512
На огонекъ. Разсказъ. 526
Нимфа. Разсказъ. 531
Одинъ изъ анекдотическихъ людей. Изъ уральской лѣтописи 542
Отвѣта не будетъ. Разсказъ 549
Полонянка. Быль 560

494379
LR
M2655B
Mamin, Dmitry Narkisovich
Полное собраніе сочиненій ... [П.В.Быков]
v.11. [Translit: Polnoe sobranie sochineny
[P.V.Buikov]]

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED